



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1957

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

1852-1868

ЧАСТИ VI-VIII

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1957



А. И. ГЕРЦЕН

С фотографии С. Л. Львова-Львицкого, 1861 г.

Государственный литературный музей, Москва

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Часть шестая

АНГЛИЯ

(1852 — 1864)

ГЛАВА I

ЛОНДОНСКИЕ ТУМАНЫ

Когда на рассвете 25 августа 1852 я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замаранно-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его.

Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал. Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин для того, чтоб снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать.

Я изменил своей логике и забыл, как розен современный человек в мнениях и делах, как громко начинает он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы.

Месяца два продолжались ненужные встречи, бесплодное искание, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидал... чего-то ожидал. Но моя реальная натура не могла остаться долго в этом призрачном мире, я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет.

Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя. Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты, и я чувствовал страшную, невыразимую усталость... Как мне была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения мою исповедь, была бы несчастна моим несчастьем; но кругом стлалась больше и больше

пустыня, никого близкого... ни одного человека... А может, это было и к лучшему.

Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне.

Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом в одной из самых дальних частей города, за Режент-парком, близ Примроз-Гилля.

Дети оставались в Париже, один Саша был со мною. Дом на здешний манер был разделен на три этажа. Весь средний этаж состоял из огромного, неудобного, холодного drawing-room¹. Я его превратил в кабинет. Хозяин дома был скульптор и загромоздил всю эту комнату разными статуэтками и моделями... Бюст Лолы Монтез сгоял у меня пред глазами вместе с Викторией.

Когда на второй или третий день после нашего переезда, разобравшись и устроившись, я взошел утром в эту комнату, сел на большие кресла и просидел часа два в совершеннейшей тишине, никем не тормозимый, я почувствовал себя как-то свободным,— в первый раз после долгого, долгого времени. Мне было не легко от этой свободы, но все же я с приветом смотрел из окна на мрачные деревья парка, едва сквозившие из-за дымчатого тумана, благодаря их за покой.

По целым утрам сиживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая; иногда прибегал Саша, но не мешал одиночеству. Г<ауг>, живший со мной, без крайности никогда не входил до обеда; обедали мы в седьмом часу. В этом досуге разбираю я факт за фактом все бывшее: слова и письма, людей и себя. Ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлечение другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот... были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке; но были и другие, не радостные, но мужественные; я чувствовал в себе силу, я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех.

¹ гостиной (англ.). — *Ред.*

Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, т. е. не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чужой между посторонними, сочувствовал больше одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарад кончился, домино были сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел другие черты, не те, которые я предполагал. Что же мне было делать? Я мог не показывать, что я многих меньше люблю, т. е. больше знаю; но не чувствовать этого я не мог, и, как я сказал, эти открытия не отняли у меня мужества, но, скорее, укрепили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благоприятна. Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Его образ жизни, расстояния, климат, самые массы народонаселения, в которых личность пропадает,— все это способствовало к тому вместе с отсутствием континентальных развлечений. Кто умеет *жить один*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точно так же как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя, ищущему привет, участие, внимание; нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продымленного тумана кислород. Масса спасается завоевыванием себе насущного хлеба, кучцы— недосугом стяжания, все — суетой дел; но нервные, романтические натуры, любящие жить на людях, умственно тянуться и праздно млеть, пропадают здесь со скуки, впадают в отчаяние.

Одинок бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями, я много прожил.

Обыкновенно вечером, когда мой сын ложился спать, я отпраивлялся гулять; я почти никогда ни к кому не заходил; читал газеты, всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу.

С одной стороны прорезываются и готовы исчезнуть ста-
лактиты парламента, с другой — опрокинутая миска св. Пав-
ла... и фонари... фонари без конца в обе стороны. Один город,
сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся — пусто,
только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком.
Посидишь, бывало, помотришь, и на душе делается тише и
мирнее. И вот за все за это я полюбил этот страшный муравей-
ник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где присло-
нить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умер-
ших с голода, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истра-
тивши двух фунтов.

Но такого рода переломы, как бы быстро ни приходили,
не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени про-
шло, пока я сладил с новыми мыслями. Рецидившись на труд,
я долго ничего не делал или делал не то, что хотел.

Мысль, с которой я приехал в Лондон — искать *суда сво-
их*, — была верна и справедлива. Я это и теперь повторяю
с полным и обдуманым сознанием. К кому же, в самом деле,
нам обращаться за судом, за восстановлением истины, за об-
личением лжи?

Не идти же нам тягаться перед судом наших врагов, судя-
щих по другим началам, по законам, которых мы не признаем.

Можно разведаться самому, можно, без сомнения. Само-
управство вырывает силой взятое силой и тем самым приводит
к равновесию; месть — такое же простое и верное человеческое
чувство, как благодарность; но ни месть, ни самоуправство
ничего не объясняют. Может же случиться, что человеку в
объяснении — главное дело, может быть ему *восстановление
правды* дороже мести.

Ошибка была не в *главном положении* — она была в прила-
гательном: для того чтоб был суд своих, надобно было прежде
всего иметь *своих*. Где же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был
отрезан на чужбине... Надобно было, во что б ни стало, снова
завести речь с своими, хотелось им рассказать, что тяжело
лежало на сердце. Писем не пропускают — книги сами прой-
дут; писать нельзя — буду печатать; и я принялся мало-по-
малу за «Былое и думы» и за *устройство русской типографии*.



ГЛАВА II

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

Центральный европейский комитет.— Маццини.— Ледрю-Роллен.— Кошут.

Издавая прошлую «Полярную звезду», я долго думал, что следует печатать из лондонских воспоминаний и что лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложил, теперь я печатаю из нее несколько отрывков.

Что же изменилось? 59 и 60 годы* раздвинули берега. Личности, партии уяснились, одни окрепли, другие улетучились. С напряженным вниманием, останавливая не только всякое суждение, но самое биение сердца, следили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырезывались из него с такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымом. *На сию минуту* он рассеялся, и на сердце легче, все дорогие головы целы!

А еще дальше за этим дымом, в тени, без шума битв, без ликований торжества, без лавровых венков, одна личность достигла колоссальных размеров.

Осыпaeмый проклятиями всех партий: обманутым плебеем, диким попом, трусом-буржуа и пизмонтской дрянью, оклеветанный всеми органами всех реакций, от папского и императорского «Монитера» до либеральных кастратов Кавура* и великого евнуха лондонских менял «Теймса» (который не может назвать имени Маццини, не прибавив площадной брани), — он остался не только... «неколебим пред общим заблуждением»*... но благословляющим с радостью и восторгом врагов и друзей, исполнявших *его* мысль, *его* план*. Указывая на него,

как на какого-то Абадонну —

Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою...*

...Но возле него стоял не Кутузов, а Гарибальди. В лице своего героя, своего освободителя Италия не разрывалась с Маццини. Как же Гарибальди не отдал ему полвенка своего? Зачем не признался, что идет с ним рука в руку? Зачем оставленный триумvir римский не предъявил своих прав? * Зачем он сам просил не поминать его, и зачем народный вождь, чистый, как отрок, молчал и лгал разрыв?

Обоим было что-то дороже их личностей, их имени, их славы — *Италия!*

И пошлая современность их не поняла. У ней не хватило емкости на столько величия; бухгалтерской книги их не достало до того, чтоб подвести итог таких *credit* и *débet!*

Гарибальди сделался еще больше «лицом из Корнелия Непота»¹; он так антично велик в своем хуторе, так простодушно, так чисто велик, как описание Гомера, как греческая статуя. Нигде ни риторики, ни декораций, ни дипломатий — в эпоху они были не нужны; когда она кончилась и началось продолжение календаря, тогда король отпустил его, как отпускают довезшего ямщика*, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголял Австрию колоссальной неблагодарностью*; а Гарибальди и не рассердился, — он, улыбаясь, с пятидесятью скудами в кармане, вышел из дворцов стран, покоренных им, предоставляя дворовым учитывать его расходы и рассуждать о том, что он испортил шкуру медведя. Пускай себе тешатся — половина великого дела сделана, лишь бы Италию сколотить в одно и прогнать белых кретинов*.

Были минуты тяжелые для Гарибальди. Он увлекается людьми; как он увлекся А. Дюма, так увлекается Виктором-Эммануилом*; неделикатность короля огорчает его; король это знает и, чтоб задобрить его, посылает фазанов, собственноручно убитых, цветы из своего сада и любовные записки, подписанные: «*Sempre il tuo amico Vittorio*»².

¹ V «Полярная звезда»*.

² «Всегда твой друг Виктор» (итал.).— *Ред.*

Для Маццини люди не существуют, для него существует *дело*, и притом *одно дело*; он сам существует, «живет и движется» только в нем. Сколько ни посылай ему король фазанов и цветов, он его не тронет. Но он сейчас соединится не только с ним, которого он считает за доброго, но пустого человека, но с его маленьким Талейраном *, которого он вовсе не считает ни за доброго, ни за порядочного человека. Маццини — аскет, Кальвин, Прочида итальянского освобождения. Односторонний, вечно занятый одной идеей, вечно на страже и готовый, Маццини с тем упорством и терпением, с которым он создал из разбросанных людей и неясных стремлений плотную партию* и, после десяти неудач, вызвал Гарибальди и его войско, полсвободной Италии и живую, непреложную надежду на ее единство, — Маццини не спит. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видят худую, печальную руку Маццини, указывающую на Рим, — и они еще пойдут туда!

Я дурно сделал, что выпустил в напечатанном отрывке несколько страниц об Маццини; его усеченная фигура вышла не так ясно, я остановился именно на его размолвке с Гарибальди в 1854 и на моем разномыслии с ним *. Сделано было это мною из деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О таких людях нечего умалчивать, *их щадить нечего!*

После своего возвращения из Неаполя он написал мне записку; я поспешил к нему *. Сердце щемило, когда я его увидел; я все же ждал найти его грустным, оскорбленным в своей любви; положение его было в высшей степени трагическое; я действительно его нашел телесно состарившимся и помолодевшим душой; он бросился ко мне, по обыкновению протягивая обе руки, с словами: «Итак, наконец-то, сбывается!..» В его глазах был восторг, и голос дрожал.

Он весь вечер рассказывал мне о времени, предшествовавшем экспедиции в Сицилию *, о своих сношениях с Виктором-Эммануилом *, потом о Неаполе. В увлечении, в любви, с которыми он говорил о победах, о подвигах Гарибальди, было столько же дружбы к нему, как в его брани за его доверчивость и за неумение распознавать людей.

Слушая его, я хотел поймать одну ноту, один звук обиженного самолюбия — и не поймал: ему грустно, но грустно, как матери, оставленной на время возлюбленным сыном, — она знает, что сын воротится, и знает больше этого — что сын счастлив; это покрывает все для нее!

Маццини исполнен надежд, с Гарибальди он ближе, чем когда-нибудь. Он с улыбкой рассказывал, как толпы неаполитанцев, подбитые агентами Кавура, окружили его дом с криками: «Смерть Маццини!» * Их, между прочим, уверили, что Маццини — «бурбонский республиканец». «У меня в это время было несколько человек наших и один молодой русский *; он удивлялся, что мы продолжали прежний разговор. Вы не опасайтесь, — сказал я ему в успокоение, — *они меня не убьют, они только кричат!*»

Нет, таких людей нечего щадить!

31 января 1861.

В Лондоне я спешил увидеть Маццини не только потому, что он принял самое теплое и деятельное участие в несчастиях, которые пали на мою семью, но еще и потому, что я имел к нему особое поручение от его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапо, Козенц, Бертани и другие были недовольны направлением, которое давалось из Лондона; они говорили, что Маццини плохо знает новое положение, жаловались на революционных царедворцев, которые, чтоб подслужиться, поддерживали в нем мысль, что все готово для восстания и ждет только сигнала. Они хотели внутренних преобразований, им казалось необходимым ввести гораздо больше военного элемента и иметь во главе стратегов вместо адвокатов и журналистов. Для этого они желали, чтоб Маццини сблизился с талантливыми генералами вроде Уллоа, стоявшего возле старика Пене в каком-то недовольном отдалении *.

Они поручили мне рассказать все это Маццини долею потому, что они знали, что он имел ко мне доверие, а долею и потому, что мое положение, независимое от итальянских партий, развязывало мне руки.

Маццини меня принял как старого приятеля. Наконец речь дошла до порученного мне от его друзей. Он меня сначала

Вотрѣвѣн

изъ

Былаго и Думъ

I. Мемуары к Штурману - Рун, Кунд
кери-манна - Schriftbände
Александровъ Одръ The Leader
Минимум к С. Мартин, К. М. Штикер

II Робинзонские подвиги - Робин-
зонскія и робинзонскія повѣсти - Тамъ
Байеръ, промисловителъ - Кадетскій - 1800 -
Кунд - Рун - Минимум 33 ин.

III Курс о Французской Штурману - Лодж
Коллек (в Кунд) - Лодж - 1812 - П. Тонъ
Бурден 77

IV Робинзон

Самуэль

Лодж Кунд
Данскій V

IX Паруса с 1861 - 1868

«Былое и думы». Оглавление отрывков из части VI
(автограф Герцена).

Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина

слушал очень внимательно, хотя и не скрывал, что ему не совсем нравится оппозиция; но когда из общих мест я дошел до частных и личных вопросов, тогда он вдруг прервал мою речь:

— Это совершенно не так, тут нет ни слова дельного!

— Однако,— заметил я,— нет полутора месяца, как я оставил Геную, и в Италии был два года без выезда, и могу сам подтвердить многое из того, что говорил ему от имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были в Генуе. Что такое Генуя? Что вы могли там слышать? Мнение одной части эмиграции. Я знаю, что она так думает, я и то знаю, что она ошибается. Генуя — очень важный центр, но это одна точка, а я знаю всю Италию; я знаю потребность каждого местечка от Абрुцц до Форалберга. Друзья наши в Генуе разобщены со всем полуосгровом, они не могут судить об его потребностях, об общественном настроении.

Я сделал еще два-три опыта, но он уже был en garde¹, начинал сердиться, нетерпеливо отвечал... Я замолчал с чувством грусти; такой нетерпимости я прежде в нем не замечал.

— Я вам очень благодарен,— сказал он, подумав.— Я должен знать мнение наших друзей; я готов взвесить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нет — это другое дело; на мне лежит большая ответственность не только перед совестью и богом, но перед народом итальянским.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывал свое 3 февраля 1853 года *; дело для него было решенное, а друзья его не были с ним согласны.

— Знакомы вы с Ледрю-Ролленом и Кошутом?

— Нет.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вам надобно с ними повидаться, я вам напишу к обоим несколько слов. Расскажите им, что вы видели, как оставили наших. Ледрю-Роллен,— продолжал он, взяв перо и начав записку,— самый милый человек в свете, но француз jusqu'au

¹ настороже (франц.).— *Ред.*

bout des ongles¹: он твердо верует, что без революции во Франции Европа не двинется,— le peuple initiateur!..² А где французская инициатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшие Францию, шли из Италии или из Англии. Вы увидите, что новую эру революции начнет Италия! * Как вы думаете?

— Признаюсь вам, что я этого не думаю.

— Что же,— сказал он, улыбаясь,— славянский мир?

— Я этого не говорил; не знаю, на чем Ледрю-Роллен основывает свои верования, но весьма вероятно, что ни одна революция не удастся в Европе, пока Франция в том состоянии протрации, в которой мы ее видим.

— Так и вы еще находитесь под prestige'ем Франции?

— Под престижем ее географического положения, ее страшного войска и ее естественной опоры на Россию, Австрию и Пруссию³.

— Франция спит, мы ее разбудим.

Мне оставалось сказать: «Дай бог, вашими устами мед пить!»

Кто из нас был прав на ту минуту, доказал Гарибальди. В другом месте я говорил о моей встрече с ним в вест-индских доках, на его американском корабле «Common Wealth» *.

Там за завтраком у него, в присутствии Орсини, Гауга и меня, Гарибальди, говоря с большой дружбой о Маццини, высказывал открыто свое мнение о 3 февраля 1853 (это было весной 1854) и тут же говорил о необходимости соединения всех партий в одну военную.

В гот же день, вечером, мы встретились в одном доме; Гарибальди был невесел, Маццини вынул из кармана лист «Italia del Popolo» * и показал ему какую-то статью. Гарибальди прочитал ее и сказал:

— Да, написано бойко, а статья превредная; я скажу откровенно: за такую статью стоит журналиста или писателя сильно наказать. Раздуть всеми силами раздор между нами и Пизмонтом в то время, когда мы только имеем одно войско —

¹ до кончика ногтей (франц.).— *Ред.*

² ипрод-инициатор! (франц.).— *Ред.*

³ Этот разговор был осенью 1852.

войско сардинского короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступления.

Маццини отстаивал журнал; Гарибальди сделался еще скучнее.

Когда он собирался ехать с корабля, он говорил, что ночью будет поздно возвращаться в доки и что он поедет спать в отель: я предложил, вместо отеля, ехать спать ко мне, Гарибальди согласился.

После этого разговора, осажденный со всех сторон неустрашимым легионом дам, Гарибальди ловкими маршами и контрмаршами выпутался из хоровода и, подойдя ко мне, шепнул мне на ухо:

— Вы до которого часа останетесь?

— Поедьте хоть сейчас.

— Сделайте одолжение.

Мы поехали; на дороге он сказал мне:

— Как мне жаль, как мне бесконечно жаль, что Рерро¹ так увлекается и с благороднейшим, чистейшим намерением делает ошибки. Я не мог вытерпеть давеча: тешится тем, что выучил своих учеников дразнить Пиэмонт. Ну что же, если король бросится совсем в реакцию, свободное слово итальянское смолкнет в Италии и последняя опора пропадет? Республика, республика! Я всегда был республиканец, всю жизнь, да дело теперь не в республике Массы итальянские я знаю лучше Маццини, я жил с ними, их жизнью. Маццини знает Италию образованную и владеет ее умами; но войска, чтоб выгнать австрийцев и папу, из них не составишь; для массы, для народа итальянского одно знамя и есть — *единство и изгнание иноземцев!* А как же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственно сильное королевство в Италии, которое, из каких бы причин ни было, хочет стать за Италию и боится? Вместо того чтоб его звать к себе, его толкают прочь и обижают. В тот день, в который *молодой человек* * поверит, что он ближе к эрцгерцогам, чем к нам, судьбы Италии затормозятся на поколение или на два.

На другой день было воскресенье, он ушел гулять с моим

¹ Уменьшительное от Джузеппе.

сыном, сделал у Калдези его дагерротип и принес мне его в подарок, а потом остался обедать.

Середь обеда меня вызывает один итальянец, посланный от Маццини,— он с утра отыскивал Гарибальди; я просил его сесть с нами за стол.

Итальянец, кажется, хотел говорить с ним наедине,— я предложил им идти ко мне в кабинет.

— У меня никаких секретов нет, да и чужих здесь нет, говорите,— заметил Гарибальди.

В продолжение разговора Гарибальди еще раз повторил, и притом раза два, то же, что мне говорил, когда мы ехали домой.

Он внутренне был совершенно согласен с Маццини, но расходился с ним в исполнении, в средствах. Что Гарибальди лучше знал массы, в этом я совершенно убежден. Маццини, как средневековый монах, глубоко знал одну сторону жизни, но другие *создавал*; он много жил мыслью и страстью, но не на дневном свете; он с молодых лет до седых волос жил в карбонарских юнтах *, в кругу гонимых республиканцев, либеральных писателей; он был в сношениях с греческими гетериями и с испанскими *exaltados* ¹*, он конспирировал с *настоящим* Каваньяком * и поддельным Ромарино *, с швейцарцем Джессом Фази, с польской демократией, с молдо-валахами *... Из его кабинета вышел благословленный им восторженный Конарский, пошел в Россию и погибнул *. Все это так, но с народом, но с этим *solo interprete della legge divina* ², но с этой густой толщей, идущей до грунта, т. е. до полей и плуга, до диких калабрийских пастухов, до факинов и лодочников, он никогда не был в сношениях; а Гарибальди не только в Италии, но везде жил с ними, знал их силу и слабость, горе и радость; он их знал на поле битвы и середь бурного океана и умел, как Бем, сделаться легендой *: в него верили больше, чем в его патрона Сан-Джузеппе.

Один Маццини не верил ему.

И Гарибальди, уезжая, сказал:

¹ радикалами (испан.).— *Ред.*

² единственным истолкователем божественного закона (итал.).— *Ред.*

— Я еду с тяжелым сердцем: я на него не имею влияния, и он опять предпримет что-нибудь до срока!

Гарибальди угадал: не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки; Орсини был схвачен пизмонтскими жандармами на пизмонтской земле, чуть не с оружием в руках; в Риме открыли один из центров движения, и та удивительная организация, о которой я говорил¹, разрушилась*. Испуганные правительства усилили полицию; свирепый трус, король неаполитанский *, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпел и напечатал свое известное письмо: «В этих несчастных восстаниях могут участвовать или сумасшедшие, или враги итальянского дела»*.

Может, письма этого и не следовало печатать. Маццини был побит и несчастен, Гарибальди наносил ему удар... Но что его письмо совершенно последовательно с тем, что он мне говорил и при мне, в этом нет сомнения.

На другой день я отправился к Ледрю-Роллену. Он меня принял очень приветливо. Колоссальная импозантная фигура его, которой не надобно разбирать en détail², общим впечатлением располагала в его пользу. Должно быть, он был и bon enfant³ и bon vivant⁴. Морщины на лбу и проседь показывали, что заботы и ему не совсем даром прошли. Он потратил на революцию свою жизнь и свое состояние — а общественное мнение ему изменило. Его странная, непрямая роль в апреле и мае, слабая в Июньские дни отдалила от него часть красных, не сблизив с синими *. Имя его, служившее символом и произносимое иной раз с ошибкой⁵ мужиками, но все же произносимое, реже было слышно. Самая партия его в Лондоне таяла больше и больше, особенно, когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне *.

¹ «Пол(ярная) зв(езда)». V.

² по мелочам (франц.).— *Ред.*

³ добрый малый (франц.). — *Ред.*

⁴ любитель хорошо пожить (франц.).— *Ред.*

⁵ Мужички дальних краев любили Le duc Rollin'a (герцога Роллена (франц.) и жалели только, что им руководствует женщина, с которой он связался, — La Martine. Что она-то дюка и сбивает, а что он сам pour le populaire (за народ (франц.)).

Усевшись покойно на кушетке, Ледрю-Роллен начал меня *гарантировать*¹.

— Революция,—говорил он,— только и можетлучиться (гауонпер) из Франции. Ясно, что, к какой бы стране вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать нам для вашего собственного дела. Революция только может выйти из Парижа. Я очень хорошо знаю, что наш друг Маццини не того мнения, — *он увлекается своим патриотизмом*. Что может сделать Италия с Австрией на шею и с Наполеоновыми солдатами в Риме? Нам, надобно Париж; Париж — это Рим, Варшава, Венгрия, Сицилия, и, по счастью, Париж совершенно готов — не ошибайтесь — совершенно готов! Революция сделана — *la révolution est faite: c'est clair comme bonjour*². Я об этом и не думаю, я думаю о последствиях, о том, как избежать прежних ошибок...

Таким образом он продолжал с полчаса и вдруг, спохватившись, что он и не один и не перед аудиторией, добродушнейшим образом сказал мне:

— Вы видите, мы с вами совершенно одинакого мнения.

Я не раскрывал рта. Ледрю-Роллен продолжал:

— Что касается до материального факта революции, он задержан нашим безденежьем. Средства наши истощились в этой борьбе, которая идет годы и годы. Будь теперь, сейчас в моем распоряжении *сто тысяч* франков — да, мизерабельных сто тысяч франков,— и послезавтра, через три дня революция в Париже.

— Да как же это, — заметил я наконец, — такая богатая пация, совершенно готовая на восстание, не находит ста тысяч, полмиллиона франков?

Ледрю-Роллен немного покраснел, но не запинаясь отвечал:

— Pardon, pardon. Вы говорите о *теоретических предположениях*, в то время как я вам говорю о фактах, о простых фактах.

Этого я не понял.

Когда я уходил, Ледрю-Роллен, по английскому обычаю,

¹ обратился с торжественной речью, от *haranguer* (франц.).— *Ред.*

² революция сделана, это ясно, как день (франц.).— *Ред.*

проводил меня до лестницы и, еще раз подавая мне свою огромную, богатырскую руку, сказал:

— Надеюсь, это не в последний раз, я буду всегда рад...
Итак, au revoir.

— В Париже, — ответил я.

— Как в Париже?

— Вы так убедили меня, что революция за плечами, что я, право, не знаю, успею ли я побывать у вас здесь.

Он смотрел на меня с недоумением, и потому и поторопился прибавить:

— По крайней мере я этого искренно желаю; в этом, думаю, вы не сомневаетесь.

— Иначе вы не были бы здесь, — заметил хозяин, и мы расстались.

Кошута в первый раз я видел, собственно, во второй раз. Это случилось так. Когда я приехал к нему, меня встретил в парлоре¹ военный господин, в полувенгерском военном костюме, с извещением, что г. губернатор не принимает.

— Вот письмо от Маццини.

— Я сейчас передам. Сделайте одолжение. — Он указал мне на трубку и потом на стул. Через две-три минуты он возвратился.

— Г. губернатор чрезвычайно жалеет, что не может вас видеть сейчас: он оканчивает американскую почту; впрочем, если вам угодно подождать, то он будет очень рад вас принять.

— А скоро он кончит почту?

— К пяти часам непременно.

Я взглянул на часы — половина второго.

— Ну, трех часов с половиной я ждать не стану.

— Да вы не придете ли после?

— Я живу не меньше трех миль от Ноттинг-Гилля. Впрочем, — прибавил я, — у меня никакого спешного дела к г. губернатору нет.

— Но г. губернатор будет очень жалеть.

— Так вот мой адрес.

Прошло с неделю. Вечером является длинный господин

¹ гостиной (англ. parlour). — Ред.

с длинными усами — венгерский полковник, с которым я летом встретился в Лугано.

— Я к вам от г. губернатора, он очень беспокоится, что вы у него не были.

— Ах, какая досада. Я ведь, впрочем, оставил адрес. Если б я знал время, то непременно поехал бы к Кошуту сегодня — или... — прибавил я вопросительно, — как надобно говорить: к г. губернатору?

— *Zu dem Olten, zu dem Olten*¹, — заметил, улыбаясь, гонвед. — Мы его между собой всё называем *der Olte*. Вот увидите человека... такой головы в мире нет, не было и... — полковник внутренне и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра в два часа приеду.

— Это невозможно. Завтра среда, завтра утром старик принимает одних наших, одних венгерцев.

Я не выдержал, засмеялся, и полковник засмеялся.

— Когда же ваш старик пьет чай?

— В восемь часов вечера.

— Скажите ему, что я приеду завтра в восемь часов, но, если нельзя, вы мне напишите.

— Он будет очень рад. Я вас жду в приемной.

На этот раз, как только я позвонил, длинный полковник меня встретил, а короткий полковник тотчас повел в кабинет Кошута.

Я застал Кошута работающего за большим столом; он был в черной бархатной венгерке и в черной шапочке. Кошут гораздо лучше всех своих портретов и бюстов; в первую молодость он был, вероятно, красавцем и должен был иметь страшное влияние на женщин особенным романически задумчивым характером лица. Черты его не имеют античной строгости, как у Маццини, Саффи, Орсини, но (и, может, именно поэтому он был роднее нам, жителям севера) в печально-кротком взгляде его сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и несколько восторженная речь окончательно располагали в его пользу. Говорит он чрезвычайно хорошо, хотя и с резким акцентом, равно остающимся в его

¹ К старику, к старику (южно-нем.).— *Ред.*

французском языке, немецком и английском. Он не отделяется фразами, не опирается на битые места; он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль почти всегда оригинально, потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии. Может, в его манере доводов и возражений виден адвокат, но то, что он говорит, серьезно и обдуманно.

Кошут много занимался до 1848 года практическими делами своего края; это дало ему своего рода верность взгляда. Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон; что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным. И вот причина, между прочим, почему Кошут уступает Маццини в огненной деятельности и почему, с другой стороны, Маццини делает непрерывные опыты, натягивает попытки, а Кошут их не делает вовсе.

Маццини глядит на итальянскую революцию, как фанатик; он верует в свою мысль об ней; он ее не подвергает критике и стремится она е sempre¹, как стрела, пущенная из лука. Чем меньше обстоятельств он берет в расчет, тем прочнее и проще его действие, тем чище его идея.

Революционный идеализм Ледрю-Роллена тоже несложен, его можно весь прочесть в речах Конвента и в мерах Комитета общественного спасения. Кошут принес с собою из Венгрии не общее достояние революционной традиции, не апокалиптические формулы социального доктринаризма, а протест своего края, который он глубоко изучил, — края нового, неизвестного ни в отношении к его потребностям, ни в отношении к его дико свободным учреждениям, ни в отношении к его средневековым формам. В сравнении с своими товарищами Кошут был специалист.

Французские рефюжье², с своей несчастной привычкой рубить сплеча и все мерить на свою мерку, сильно упрекали Кошута за то, что он в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям, а в речи, которую произнес в Лондоне с балкона Mansion House, с глубоким уважением говорил о парламентаризме *.

¹ теперь и всегда (итал.).— *Ред.*

² эмигранты (франц. réfugié).— *Ред.*

Кошут был совершенно прав. Это было во время его путешествия из Константинополя, т. е. во время самого торжественно-эпического эпизода темных лет, шедших за 1848 годом. Северо-американский корабль, вырвавший его из занесенных когтей Австрии и России, с гордостью плыл с изгнанником в республику и остановился у берегов другой. В этой республике ждал уже приказ полицейского диктатора Франции, чтоб изгнанник не смел ступить на землю будущей империи. Теперь это прошло бы так, но тогда еще не все были окончательно надломлены; толпы работников бросились на лодках к кораблю приветствовать Кошута, и Кошут говорил с ними, очень натурально, о социализме. Картина меняется. По дороге одна свободная сторона выпросила у другой изгнанника к себе в гости. Кошут, всенародно благодаря англичан за прием, не скрыл своего уважения к государственному быту, который его сделал возможным. Он был в обоих случаях совершенно искренен; он не представлял вовсе такой-то партии; он мог, сочувствуя с французским работником, сочувствовать с английской конституцией, не сделавшись орлеанистом и не предав республики. Кошут это знал и отрицательно превосходно понял свое положение в Англии относительно революционных партий; он не сделался ни глюкистом, ни пиччинистом *, он держал себя равно вдалеке от Ледрю-Роллена и от Луи Блана. С Маццини и Ворцелем у него был общий terrain¹, смежность границ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; с ними он и сошелся с первыми.

Но Маццини и Ворцель давным-давно были, по испанскому выражению, *afrancesados*². Кошут, упираясь, туго поддавался им, и очень замечательно, что он уступал по той мере, по которой надежды на восстание в Венгрии становились бледнее и бледнее.

Из моего разговора с Маццини и Ледрю-Ролленом видно, что Маццини ждал революционный толчок из Италии и вообще был очень недоволен Францией, но из этого не следует, чтоб я был неправ, назвав и его *afrancesado*. Тут, с одной стороны,

¹ почва, основа (франц.).— *Ред.*

² офранцужены (испан.).— *Ред.*

в нем говорил патриотизм, не совсем согласный с идеей братства народов и всеобщей республики, с другой — личное негодование на Францию за то, что в 1848 она ничего не сделала для Италии, а в 1849 — все, чтоб погубить ее. По быть раздраженным против современной Франции не значит быть *вне ее духа*; французский революционаризм имеет свой общий мундир, свой ритуал, свой символ веры; в их пределах можно быть специально политическим либералом или отчаянным демократом; можно, не любя Франции, любить свою родину на французский манер; все это будут вариации, частные случаи, но алгебраическое уравнение останется то же.

Разговор Кошута со мной тотчас принял серьезный оборот: в его взгляде и в его словах было больше грустного, нежели светлого; наверное, он не ждал революции завтра. Сведения его об юго-востоке Европы были огромны, он удивлял меня, цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой *.

— Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания *, — сказал он, — и какой страшный вред вы сделали самим себе. Какая узкая и *противуславянская* политика — поддерживать Австрию. Разумеется, Австрия и спасибо не скажет за спасение, разве вы думаете, что она не понимает, что Николай не ей помогал, а вообще деспотической власти?

Социальное состояние России ему было гораздо меньше известно, чем политическое и военное. Оно и не удивительно: многие ли из наших государственных людей знают что-нибудь о нем, кроме общих мест и частных, случайных, ни с чем не связанных замечаний. Он думал, что казенные крестьяне отправляют барщиной свою подать, расспрашивал о сельской общине, о помещичьей власти; я рассказал ему что знал.

Оставив Кошута, я спрашивал себя: да что же общего у него, кроме любви к независимости своего народа, с его товарищами? Маццини мечтал Италией освободить человечество, Ледрю-Роллен хотел его освободить в Париже и потом строжайше предписать свободу всему миру. Кошут вряд заботился ли обо всем человечестве и был, казалось, довольно равнодушен к тому, скоро ли провозгласят республику в Лиссабоне, или дей Триполи будет называться простым гражданином одного и нераздельного триполийского братства.

Различие это, бросившееся мне в глаза с первого взгляда, обличилось потом рядом действий. Маццини и Ледрю-Роллен, как люди, независимые от практических условий, каждые два-три месяца усиливались делать революционные опыты: Маццини восстаниями, Ледрю-Роллен посылкою агентов. Мацциньевские друзья гибли в австрийских и папских тюрьмах, ледрю-ролленовские посланцы гибли в Ламбессе или Кайенне, но они с фанатизмом слепо верующих продолжали отправлять своих Исааков на заклание *. Кошут не делал опытов; Лебени, ткнувший ножом австрийского императора*, не имел никаких сношений с ним.

Без сомнения, Кошут приехал в Лондон с более сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было от чего закружиться в голове. Вспомните опять эту постоянную овапию, это царственное шествие через моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему навстречу и вести в свои стены. Двумиллионный гордый Лондон ждал его на ногах у железной дороги, карета лорд-мэра стояла приготовленная для него; алдермены, шерифы, члены парламента провожали его морем волнующегося народа, приветствовавшего его криками и бросаньем шляп вверх. И когда он вышел с лордом-мэром на балкон Меншен гауза, его приветствовало то громогласное «ура!», которого Николай не мог в Лондоне добиться ни протекцией Веллингтона, ни статуей Нельсона *, ни куртизанством каким-то лошадям на скачках.

Надменная английская аристократия, уезжавшая в свои поместья, когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре * и бражничал с мещанами в Сити, толпилась, забыв свое достоинство, в колясках и каретах, чтоб увидеть знаменитого агитатора; высшие чины представлялись ему, изгнаннику. «Теймс» нахмурил было брови *, но до того испугался перед криком общественного мнения, что стал ругать Наполеона, чтоб загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошут воротился из Америки полный упований? Но, проживши в Лондоне год-другой и видя, куда и как идет история на материке и как в самой Англии остывал энтузиазм, Кошут понял, что восстание невозможно и что Англии — плохая союзница революции.

Раз, еще один раз, он исполнился надеждами и снова стал адвокатом за прежнее дело перед народом английским, это было в начале Крымской войны.

Он оставил свое уединение и явился рука об руку с Ворцелем, т. е. с демократической Польшей, которая просила у союзников одного *воззвания*, одного согласия, чтоб рискнуть восстание. Вез сомнения, это было для Польши великое мгновение— *oggi o mai*¹. Если б восстановление Польши было признано, чего же было бы ждать Венгрии? Вот почему Кошут является на польском митинге 29 ноября 1854 года и требует слова. Вот почему он вслед за тем отправляется с Ворцелем в главные города Англии, проповедуя агитацию в пользу Польши. Речи Кошута, произнесенные тогда, чрезвычайно замечательны и по содержанию и по форме. Но Англии на этот раз он не увлек; народ толпами собирался на митинги, рукоплескал великому дару слова, готов был делать складчины; но вдаль движение не шло, но речи не вызывали тот отзвук в других кругах, в массах, который бы мог иметь влияние на парламент или заставить правительство изменить свой путь. Прошел 1854 год, настал 1855, умер Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегом Крыма; о восстановлении польской национальности нечего было и думать; Австрия стояла костью в горле союзников; все хотели к тому же мира; главное было достигнуто — *статский* Наполеон покрылся военной славой.

Кошут снова сошел со сцены. Его статьи в «Атласе» и лекции о конкордате, которые он читал в Эдинбурге, Манчестере, скорее должно считать частным делом. Кошут не спас ни своего достоинства, ни достоинства своей жены. Привыкший к широкой роскоши венгерских магнатов, ему на чужбине пришлось выработать себе средства; он это делает, несколько не скрывая.

Во всей семье его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тут прошли великие события и что они подняли диапазон всех. Кошут еще до сих пор окружен несколькими верными сподвижниками; сперва они составляли его двор, теперь они— просто его друзья.

¹ теперь или никогда (итал.).— *Ред.*

Не легко прошли ему события; он сильно состарелся в последнее время, и тяжело становится на сердце от его покоя.

Первые два года мы редко видались; потом случай насвел на одной из изящнейших точек не только Англии, но и Европы — на Isle of Wight¹. Мы жили в одно время с ним месяц времени в Вентноре; это было в 1855 году.

Перед его отъездом мы были на детском празднике. Оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцевали вместе с моими детьми... Кошут стоял у дверей и как-то печально смотрел на них, потом, указывая с улыбкой на моего сына, сказал мне:

— Вот уже и юное поколение совсем готово нам на смену.

— Увидят ли они?

— Я именно об этом и думал. А пока пусть попляшут, — прибавил он и еще грустнее стал смотреть.

Кажется, что и на этот раз мы думали одно и то же.

А увидят ли отцы? И что увидят? Та революционная эра, к которой стремились мы, освещенные догорающим заревом девяностых годов, к которой стремилась либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему? Эти люди не делают ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь? Их религия, их язык, их движение, их цель — все это и родственно нам, и с тем вместе чужое... Звуки церковного колокола тихим утром праздничного дня, литургическое пение и теперь потрясают душу, но веры все же в ней нет!

Есть печальные истины; трудно, тяжело прямо смотреть на многое, трудно и высказывать иногда что видишь. Да вряд ли нужно ли? Ведь это тоже своего рода страсть или болезнь. «Истина, голая истина, одна истина!» Все это так, да соответственно ли ведение ее с нашей жизнью? Не разъедает ли она ее, как слишком крепкая кислота разъедает стенки сосуда? Не есть ли страсть к ней страшный недуг, горько казнящий того, кто воспитывает ее в груди своей?

¹ острове Уайт (англ.). — Ред.

Раз, год тому назад, в день, памятный для меня, мысль эта особенно поразила меня.

В день кончины Ворцеля я ждал скульптора в бедной комнате, где домучился этот страдалец. Старая служанка стояла с оплывшим, желтым огарком в руке, освещая исхудалый труп, прикрытый одной простыней. Он, несчастный, как Иов, заснул с улыбкой на губах, вера замерла в его потухающих глазах, закрытых таким же фанатиком, как он, — Маццини.

Я этого старика грустно любил и ни разу не сказал ему *всей правды*, бывшей у меня на уме. Я не хотел тревожить потухающий дух его: он и без того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то он был так рад, когда Маццини его умирающему уху шептал обеты и слова веры!





ГЛАВА III

ЭМИГРАЦИИ В ЛОНДОНЕ

Немцы, французы. — Партии. — В. Гюго. — Феликс Пиа. —
Луи Блан и Арман Барбес. — *On Liberty*.

Сидехом и плакахом на берегах вавилонских...*

Псалтырь

Если б кто-нибудь вздумал написать со стороны внутреннюю историю политических выходцев и изгнанников с 1848 года в Лондоне, какую печальную страницу прибавил бы он к сказаниям о современном человеке. Сколько страданий, сколько лишений, слез... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бедность умственных сил, запасов, понимания, какое упорство в раздоре и мелкость в самолюбии...

С одной стороны, люди простые, инстинктом и сердцем понявшие дело революции и приносящие ему наибольшую жертву, которую человек может принести, — добровольную нищету, составляют небольшую кучку праведников. С другой — эти худо прикрытые, затаенные самолюбия, для которых революция была служба, *position sociale*¹ и которые сорвались в эмиграцию, не достигнув места; потом всякие фанатики, мопоманы всех мопоманий, сумасшедшие всех сумасшествий; в силу этого нервного, натянутого, раздраженного состояния верчение столов наделало в эмиграции страшное количество жертв. Кто не вертел столов, от Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который пошел дальше... и узнавал все, что человек делал лет тысячу тому назад!

¹ общественное положение (франц.). — *Ред.*

Притом ни шагу вперед. Они, как придворные версальские часы, показывают один час — час, в который умер король... и их, как версальские часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывают одно событие, одну кончину какого-нибудь события. Об нем они говорят, об нем думают, к нему возвращаются. Встречая тех же людей, те же группы месяцев через пять-шесть, года через два-три, становится страшно: те же споры продолжаются, те же личности и упреки, только морщин, нарезанных нищетою, лишениями, больше; сертуки, пальто вытерлись, больше седых волос, и все вместе старее, костлявее, сумрачнее... А речи все те же и те же!

Революция у них остается, как в девяностых годах, метафизикой общественного быта, но тогдашней наивной страсти к борьбе, которая давала резкий колорит самым тощим всеобщностям и тело сухим линиям их политического сруба, у них нет и не может быть; всеобщности и отвлеченные понятия тогда были радостной новостью, откровением. В конце XVIII столетия люди в первый раз не в книге, а на самом деле начали освобождаться от рокового, таинственно тяготевшего мира теологической истории и пытались весь гражданский быт, выросший помимо сознания и воли, основать на сознательном понимании. В попытке *разумного* государства, как в попытке религии *разума*, была в 1793 могучая, титаническая поэзия, которая принесла свое, но с тем вместе выветрилась и оскудела в последние шестьдесят лет. Наши наследники титанов этого не замечают. Они, как монахи Афонской горы, которые занимаются своим, ведут те же речи, которые вели во время Златоуста, и продолжают жизнь, давно задвинутую турецким владычеством *, которое само уж приходит к концу... собираясь в известные дни помянуть известные события, в том же порядке, с теми же молитвами.

Другой тормоз, останавливающий эмиграции, состоит в отстаивании себя друг против друга; это страшно убивает внутреннюю работу и всякий добросовестный труд. Объективной цели у них нет, все партии упрямо консервативны, движение вперед им кажется слабостью, чуть не бегством; стал под знамя, так стой под ним, хотя бы со временем и разглядел, что цвета не совсем такие, как казались.

Так идут годы — исподволь все меняется около них. Там, где были сугробы снега, растет трава, вместо кустарника — лес, вместо леса — одни пни... они ничего не замечают. Некоторые выходы совсем обвалились и засыпались — они в них-то и стучат; новые щели открылись, свет из них так и врывается полосами, но они смотрят в другую сторону.

Отношения, сложившиеся между разными эмиграциями и англичанами, могли бы сами по себе дать удивительные факты о химическом сродстве разных народностей.

Английская жизнь сначала ослепляет немцев, подавляет их, потом поглощает или, лучше сказать, распускает их в плохих англичан. Немец по большей части, если предпринимает какое-нибудь дело, тотчас брется, поднимает воротнички рубашки до ушей, говорит «yes», вместо «ja», и «well»¹, там где ничего не надобно говорить. Года через два он пишет по-английски письма и записки и живет совершенно в английском кругу. С англичанами немцы никогда не обходятся как с равными, а как наши мещане с чиновниками и наши чиновники с столбовыми дворянами.

Входя в английскую жизнь, немцы не в самом деле делаются англичанами, но притворяются ими и долею перестают быть немцами. Англичане в своих сношениях с иностранцами — такие же капризники, как во всем другом; они бросаются на приезжего, как на комедианта или акробата, не дают ему покоя, но едва скрывают чувство своего превосходства и даже некоторого отвращения к нему. Если приезжий удерживает свой костюм, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанин пшынняет над ним, но мало-помалу привыкает в нем видеть самобитное лицо. Если же испуганный сначала иностранец начинает подлаживаться под его манеры, он не уважает его и снисходительно трактует его с высоты своей британской надменности. Тут и с большим тактом трудно найти иной раз, чтоб не согрешить по минусу или по плюсу, — можно же себе представить, что делают немцы, лишённые всякого такта, фамильярные и подобострастные, слишком вычурные и слиш-

¹ хорошо, ладно (англ.). - *Ред.*

ком простые, сентиментальные без причины и грубые без вызова.

Но если немцы смотрят на англичан как на высшее племя того же рода и чувствуют себя ниже их, то из этого не следует никак, чтоб отношение французов, и преимущественно французских рефюжье, было умнее. Так, как немец все без разбору уважает в Англии, француз протестует против всего и ненавидит все английское. Это доходит, само собой разумеется, до уродливости самой комической.

Француз, во-первых, не может простить англичанам, что они не говорят по-французски, во-вторых — что они не понимают, когда он Чаринг Крос называет *Шаран'кро* или Лестер-сквер — *Лесестер-скуар* *. Далее, его желудок не может переварить, что в Англии обед состоит из двух огромных кусков мяса и рыбы, а не из пяти маленьких порций всяких рагу, фритюр, салми и пр. Затем, он не может примириться с «рабством», по которому трактиры заперты в воскресенье и весь народ *скучает богу*, хотя вся Франция семь дней в неделю *скучает Бонапарту*. Затем, весь *habitus*¹, все хорошее и дурное в англичанине ненавистно французам. Англичанин плотит ему той же монетой, но с завистью смотрит на покрой его одежды и карикатурно старается подражать ему.

Все это очень замечательно для изучения сравнительной физиологии, и я совсем не для смеха рассказываю это. Немец, как мы заметили, сознает себя, по крайней мере в гражданском отношении, низшим видом той же породы, к которой принадлежит англичанин, и подчиняется ему. Француз, принадлежащий к другой породе, не настолько различной, чтоб быть равнодушным, как турок к китайцу, ненавидит англичанина, особенно потому, что оба народа слепо убеждены каждый о себе, что они представляют первый народ в мире. И немец внутри себя в этом уверен, особенно *auf dem theoretischen Gebiete*², но стыдится признаться.

Француз действительно во всем противоположен англичанину; англичанин — существо берложное, любящее жить особ-

¹ облик (лат.).— *Ред.*

² в области теории (нем.).— *Ред.*

няком, упрямое и непокорное, француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно параллельные развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет — в лавку надо.

Два краеугольных камня всего английского быта: личная независимость и родовая традиция — для француза почти не существуют. Грубость английских нравов выводит француза из себя, и она действительно противна и отравляет лондонскую жизнь, но за ней он не видит той суровой мощи, которую народ этот отстоял свои права, того упрямства, вследствие которого из англичанина можно все сделать, льстя его страстям, но не раба, веселящегося галунами своей ливреи, восхищающегося своими цепями, обвитыми лаврами.

Француз так дик, так непонятен мир самоуправления, децентрализации, своеобразно, капризно разросшийся, что он, как долго ни живет в Англии, ее политической и гражданской жизни, ее прав и судопроизводства не знает. Он теряется в неспетом разноначалии английских законов, как в темном бору, и совсем не замечает, какие огромные и величавые дубы составляют его и сколько прелести, поэзии, смысла в самом разнообразии. То ли дело маленький кодекс с посыпанными дорожками, с подстриженными деревцами и с полицейскими садовниками на каждой аллее.

Опять — Шекспир и Расин.

Видит ли француз пьяных, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящего с спокойствием постороннего и любопытством человека, следящего за петушиным боем, — он приходит в неистовство, зачем полисмен не выходит из себя, зачем не ведет кого-нибудь *au violon*¹. Он и не думает о том, что личная свобода только и возможна, когда полицейский не имеет власти отца и матери и когда его вмешательство сводится на страдательную готовность — до тех пор, пока его позовут. Уверенность, которую чувствует каждый бедняк, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, изменяет

¹ в кутузку (франц.).— *Ред.*

взгляд человека. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами иногда придется преступник, — пускай себе. Гораздо лучше, чтоб должный вор остался без наказания, нежели чтоб каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. До моего приезда в Англию всякое появление полицейского в доме, в котором я жил, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde против врага. В Англии полицейский у дверей и в дверях только прибавляет какое-то чувство безопасности.

В 1855, когда жерсейский губернатор, пользуясь особым *бесправием* своего острова, поднял гонение на журнал «L'Нотте» за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим рефюжье, протестовавшим в пользу журнала, оставить Жерсей, — здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власти, что им следует остаться и сделать процесс ему. «Daily News» обещал с другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и как — «будто возможно выиграть процесс против правительства». Они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории — и гордо отступили в Гернсей*.

Расскажу один пример французского понимания английских нравов. Однажды вечером прибегает ко мне один рефюжье и после целого ряда ругательств против Англии и англичан рассказывает мне следующую «чудовищную» историю.

Французская эмиграция в то утро хоронила одного из своих собратьев. Надо сказать, что в томной и скучной жизни изгнания похороны товарища почти принимаются за праздник, — случай сказать речь, пронести свои знамена, собраться вместе, пройтись по улицам, отметить, кто был и кто не был, — а потому демократическая эмиграция отправилась au grand complet¹. На кладбище явился английский пастор с молитвенником. Приятель мой заметил ему, что покойник не был христианин и что, в силу этого, ему не нужна его молитва. Пастор, педант и лицемер, как все английские пасторы, с притворным смирением и национальной флегмой, отвечал, что «может, покойнику и

¹ в полном сборе (франц.). — *Ред.*

не нужна его молитва», но что «ему по долгу необходимо сопровождать каждого умершего молитвой на последнее жилище его». Завязался спор, и, так как французы стали горячиться и кричать, упрямый пастор позвал полицейских.

— Allons donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée liberté!¹ — прибавил главный актер этой сцены после покойника и пастора.

— Ну, что же сделала, — спросил я, — la force brutale au service du noir fanatisme?²

— Пришли четыре полицейских, et le chef de la bande³ спрашивает: «Кто говорил с пастором?» Я прямо вышел вперед, — и, рассказывая, мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами*, — c'est moi «monsieur», — car je m'en garde bien de dire «citoyen»⁴ à ces gueux-là⁵ — Тогда le chef des sbires⁶ с ве-

¹ Ну вот, а вы еще говорите об этой отвратительной стране с ее проклятой свободой (франц.). — *Ред.*

² грубая сила, состоящая на службе черного фанатизма? (франц.). — *Ред.*

³ и предводитель шайки (франц.). — *Ред.*

⁴ В пояснение того, что мой красный приятель употреблял в разговоре с полисменом слово «Monsieur» <«сударь» (франц.)>, чтобы не употреблять во зло слово «Citoyen»* <«гражданин» (франц.)>, надо вот что рассказать. В одной из темных, бедных и нечистых улиц, лежащих между Сого и Лестерсквером, где обыкновенно кочует недостаточная часть эмиграции, завел какой-то красный ликворист <продавец ликеров, настоек (франц. Liqueuriste)> небольшую аптеку*. Идучи мимо, я зашел к нему взять седативной воды. За прилавком сидел он сам, высокий, с грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большим носом и ртом несколько на сторону, — настоящий уездный террорист 94 года, к тому же и бритый. — «Распалевой воды* на шесть пенсов, monsieur», — сказал я. Он отвешивал какую-то трагу, за которой пришла девочка, не обращая никакого внимания на мой вопрос; я мог досыта налюбоваться этим Collot d'Herbois, пока он, наконец, припечатал сургучом уголки бумажного пакета, надписал и потом довольно строго обратился ко мне с «plaît-il?» <что прикажете? (франц.)>. — «Распалевой воды на шесть пенсов, — повторил я, — monsieur». Он посмотрел на меня с каким-то свирепым выражением и, оглядев с головы до ног, важным и густым голосом сказал мне: «Citoyen, s'il vous plaît» <«Гражданин, пожалуйста» (франц.)>.

⁵ это я, «сударь», ибо я, конечно, не называю такую сволочь гражданином (франц.). — *Ред.*

⁶ начальник полицейских (франц.). — *Ред.*

личайшей дерзостью сказал мне: «Переведите другим, чтоб они не шумели, хороните вашего товарища и ступайте по домам. А если вы будете шуметь, я вас всех велю отсюда вывести». — Я посмотрел на него, снял с себя шляпу и громко, что есть силы, прокричал: «Vive la république démocratique et sociale!»¹

Едва удерживая смех, я спросил его:

— Что же сделал «начальник сбиров»?

— Ничего, — с самодовольной гордостью заметил француз. — Он переглянулся с товарищами, прибавил: «Ну, делайте, делайте ваше дело!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имеют дело не с английской чернью... у них тонкий нос!

Что-то происходило в душе серьезного, плотного и, вероятно, выпившего констабля во время этой выходки? Приятель и не подумал о том, что он мог себе доставить удовольствие прокричать то же самое перед окнами королевы у решетки Букингамского дворца без малейшего неудобства. Но еще замечательнее, что ни мой приятель, ни все прочие французы при таком происшествии и не думают, что за подобную проделку во Франции они бы пошли в Кайенну или Ламбессу *. Если же им это напомнишь, то ответ их готов: «Ah bas! C'est une halte dans la boue... ce n'est pas normal!»²

А когда же у них свобода была нормальна?

Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое *право убежища* не для ищущих его, а из уважения к себе, раздражала нервы.

А тут оторванность от людей и привычек, невозможность передвижения, разлука с своими, бедность вносили горечь, нетерпимость и озлобление во все отношения. Столкновения стали злее, упреки в прошедших ошибках — беспощаднее. Оттенки партий расходились до того, что старые знакомые перерывали все сношения, не кланялись...

¹ «Да здравствует демократическая и социальная республика!» (франц.). — *Ред.*

² «Ну! Это остановка в грязи... это ненормально!» (франц.). — *Ред.*

Были действительные, теоретические и всяческие раздоры... но рядом с идеями стояли лица, рядом со знаменами — собственные имена, рядом с фанатизмом — зависть и с открытым увлечением — наивное самолюбие.

Антагонизм, некогда выражавшийся *возможным* Мартином Лютером и *последовательным* Томасом Мюнцером, лежит, как семенные доли, при каждом зерне; логическое развитие, расчленение всякой партии непременно дойдет до обнаружения его. Мы его равно находим в *трех* невозможных Гракхах, т. е. считая тут же и Гракха Бабёфа, и в слишком возможных Суллах и Сулуках всех цветов. Возможна одна диагональ, возможен компромисс, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословию, богатству, пониманью. Из Лиги и гугенотов делается Генрих IV, из Стюартов и Кромвеля — Вильгельм Оранский, из революции и легитимизма — Людовик-Филипп. После него антагонизм стал между возможной республикой и последовательной; возможную назвали *демократической*, последовательную — *социальной*; из их столкновения вышла империя, но партии остались.

Несговорчивые крайности очутились в Кайенне, Ламбессе, Бель-Иле * и долею за французской границей, преимущественно в Англии.

Как только они в Лондоне перевели дух и глаз их привык различать предметы в тумане, старый спор возобновился с особенной нетерпимостью эмиграции, с мрачным характером лондонского климата.

Председатель Люксембургской комиссии * был *de jure*¹ главное лицо между социалистами в лондонской эмиграции. Представитель организации работ и эгалитарных² рабочих обществ, он был любим работниками; строгий по жизни, неукоризненной чистоты в мнениях, вечно работающий сам, *sobre*³, мастер говорить, популярный без фамильярности, смелый и вместе осторожный, он имел все средства, чтоб действовать на массу.

С другой стороны, Ледрю-Роллен представлял религиозную

¹ по праву (лат.).— *Ред.*

² уравнительных, от *égalitaire* (франц.).— *Ред.*

³ скромный (франц.).— *Ред.*

традицию 93 года; для него слова *республика* и *демократия* обнимали все: насыщение голодных, право на работу, освобождение Польши, сокрушение Николая, братство народов, падение папы. Работников было меньше около него, его хор состоял из *saracités*¹, т. е. из адвокатов, журналистов, учителей, клубистов и пр.

Двойство этих партий ясно, и именно поэтому я никогда не умел понять, как Маццини и Луи Блан объясняли свое окончательное распадение частными столкновениями; разрыв лежал в самой глубине их воззрения, в задаче их. Им вместе нельзя было идти, но, может, не нужно было и ссориться публично.

Дело социализма и итальянское дело различались, так сказать, чередом или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического устройства в Италии. То же мы видели в Польше 1831, в Венгрии 1848. Но тут нет места полемике, это скорее вопрос о хронологическом разделении труда, чем о взаимном уничтожении. Социальные теории мешали прямому, сосредоточенному действию Маццини, мешали военной организации, которая для Италии была необходима; за это он сердился, не соображая, что для французов такая организация только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, он напал на социалистов, и в особенности на Луи Блана, в небольшой брошюрке, оскорбительной и ненужной. По дороге зацепил он и других; так, например, называет Прудона «демоном» *... Прудон хотел ему отвечать, но ограничился только тем, что в следующей брошюре назвал Маццини «архангелом» *. Я раза два говорил, шутя, Маццини:

— *Ne réveillez pas le chat qui dort*², а то с такими бойцами трудно выйти без сильных рубцов.

Лондонские социалисты отвечали ему тоже желчно, с ненужными личностями и дерзкими выражениями.

Другого рода вражда, и вражда больше основательная, была между французами двух революционных толков. Все опыты соглашения формального республиканизма с социализмом

¹ Здесь: людей свободных профессий (франц.).— *Ред.*

² Не будите спящего кота, т. е. не играйте с огнем (франц.).— *Ред.*

были неудачны и делали только очевиднее неоткровенность уступок и непримиримый раздор; через ров, их разделявший, ловкий акробат бросил свою доску и провозгласил себя на ней императором *.

Провозглашение империи было гальваническим ударом; судорожно вздрогнули сердца эмигрантов и ослабли.

Это был печальный, тоскливый взгляд больного, убедившегося, что ему не встать без костылей. Усталость, скрытная безнадежность стала овладевать теми и другими. Серьезная полемика начинала бледнеть, сводиться на личности, на упреки, обвинения.

Еще года два оба французские стана продержались в агрессивной готовности: один, празднуя 24 февраля, другой—июльские дни *. Но к началу Крымской войны и к торжественной прогулке Наполеона с королевой Викторией по Лондону * бессилие эмиграции стало очевидно. Сам начальник лондонской Metropolitan Police¹ Роберт Мен засвидетельствовал это. Когда консерваторы благодарили его, после посещения Наполеона, за ловкие меры, которыми он предупредил всякую демонстрацию со стороны эмигрантов, он отвечал: *«Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана»*.

Признак, еще больше намекавший на близкую кончину, обнаружился около того же времени в подразделениях партий во имя лиц или личностей, без серьезных причин.

Партии эти составлялись так, как у нас выдумывают мипистерства или главные управления для помещения какого-нибудь лишнего сановника, так, как иногда компонисты придумывают в операх партии для Гризи и Лаблаша не потому, чтоб эти партии были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

Года через полтора после coup d'Etat² приехал в Лондон Феликс Пиа из Швейцарии *. Бойкий фельетонист, он был известен процессом, который имел*, скучной комедией «Диоген», понравившейся французам своими сухими и тощими сентен-

¹ столичной полиции (англ.).— *Ред.*

² государственного переворота (франц.).— *Ред.*

циями, наконец, успехом «Ветошника» на сцене Porte Saint-Martin. Об этой пьесе я когда-то писал целую статью¹ *. Ф. Пиа был членом последнего законодательного собрания, сидел на «Горе», *подрался* как-то в палате с Пруденом*, замешался в протест 13 июня 1849 и, вследствие этого, должен был оставить Францию тайком. Ускал он, как я, с молдавским видом и ходил в Женеве в костюме какого-то мавра, вероятно, для того, чтоб его все узнали. В Лозанне, куда он пересекал, составил Ф. Пиа небольшой круг почитателей из французских изгнанников, живших манною его острых слов и крупницами его мыслей. Горько ему было из кантональных вождей перейти в какую-нибудь из лондонских партий. Для лишнего кандидата на великого человека не было партии — приятели и поклонники его выручили из беды: они выделились из всех прочих партий и назвались *лондонской революционной коммуной*.

La commune révolutionnaire² должна была представлять самую красную сторону демократии и самую коммунистическую — социализма. Она считала себя вечно начеку, в самых тесных связях с «Марьянной»* и с тем вместе вернейшей представительницей *Бланки in partibus infidelium*³.

Мрачный Бланки, суровый педант и доктринер своего дела, аскет, искудавший в тюрьмах, расправил в образе Ф. Пиа свои морщины, подкрасил в алый цвет свои черные мысли и стал морить со смеху парижскую коммуну в Лондоне. Выходки Ф. Пиа в его письмах к королеве, к Валуевскому, которого он назвал *ex-réfugié* и *ex-Polonais*⁴, к принцам и пр. были очень забавны*; но в чем сходство с Бланки, я никак не мог добратся; да и вообще в чем состояла отличительная черта, делившая его от Луи Блана, например, простым глазом видеть было трудно.

То же должно сказать о жерсейской партии Виктора Гюго.

¹ — Зачем вы испортили вашего «Chiffonnier», являя ему в конце счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы и ее артистическое единство? — спросил я раз Пиа. — Затем, — отвечал он, — что если б я огорчил парижан мрачной судьбой старика и девушки, на другое представление никто бы не пошел.

² Революционная коммуна (франц.).— *Ред.*

³ в стране неверных (лат.).— *Ред.*

⁴ бывшим эмигрантом и бывшим поляком (франц.).— *Ред.*

Виктор Гюго никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии, чтоб быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он вместе с тем был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий, — виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря *; это пышная, великая личность, но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколения. Кого не заставил задуматься над вопросом смертной казни «Последний день осужденного» и в ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести резкие, страшно и странно освещенные, на манер Турнера, картины общественных язв, бедности и рокового порока?

Февральская революция застала Гюго врасплох; он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция в свою очередь не опередила его. Приведенный в негодование ценсурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции *. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 он стал во весь рост. Он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию, под пулями протестовал против *сoup d'Etat* и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Жерсей; оттуда, едва переводя дух, он бросил в императора своего «Napoléon le Petit», потом свои «Châtiments». Как ни старались бонапартистские агенты примирить старого поэта с новым двором — не могли. «Если останутся хоть десять французов в изгнании — я останусь с ними; если три — я буду в их числе; если останется один, то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию» *.

Отъезд Гюго из Жерсея в Гернсей, кажется, убедил еще больше его друзей и его самого в политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном. Дело было так. Когда Ф. Пиа написал свое письмо к королеве Виктории, после ее посещения к Наполеону, он, прочитав его на митинге, отослал его в редакцию «L'Homme». Свентославский,

печатавший «L'Homme» на свой счет в Жерсее, был тогда в Лондоне. Он вместе с Ф. Пиа приезжал ко мне и, уходя, отвел меня в сторону и сказал, что ему знакомый его lawyer¹ сообщил, что за это письмо легко можно преследовать журнал в Жерсее, состоящем на положении колонии, а Пиа хочет непременно в «L'Homme». Свентославский сомневался и хотел знать мое мнение.

— Не печатайте.

— Да я и сам думаю так, только вот что скверно: он подумает, что я испугался.

— Как же не бояться при теперешних обстоятельствах потерять несколько тысяч ффранков?

— Вы правы — этого я не могу, не должен делать.

Свентославский, так премудро рассуждавший, уехал в Жерсей и письмо напечатал.

Слухи носились, что министерство хотело что-то сделать. Англичане были обижены за тон, с которым Пиа обращался к жене². Первым результатом этих слухов было то, что Ф. Пиа перестал ночевать у себя дома: он *боялся в Англии visite domiciliaire*³ и ночного ареста за напечатанную статью! Преследовать судом правительство и не думало; министры подмигнули жерсейскому губернатору, или как там он у них называется, и тот, пользуясь незаконными правами, которые существуют в колониях, велел Свентославскому выехать с острова. Свентославский протестовал, и с ним человек десять французов, в том числе В. Гюго. Тогда полицейский Наполеон Жерсея велел выехать всем протестовавшим. Им следовало не слушаться донельзя; пусть бы полиция схватила кого-нибудь за шиворот и выбросила бы с острова; тогда можно было бы поставить вопрос о высылке перед суд. Это и предлагали французам англичане. Процессы в Англии безобразно дороги, но издатели «Daily News» и других либеральных листов обещали собрать какую надобно сумму, найти способных защитников. Французам путь легальности показался скучен и долг, противен, и они

¹ юрист (англ.).— *Ред.*

² королеве (англ. queen).— *Ред.*

³ домашнего обыска (франц.).— *Ред.*

с гордостью оставили Жерсей, увлекая с собой Свентославского и С. Телеки.

Объявление полицейского приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейский чиновник взошел к нему, чтоб прочесть приказ, Гюго позвал своих сыновей, сел, указал на стул чиновнику и, когда все уселись, — как в России перед отъездом, — он встал и сказал: «Г. комиссар, мы дслаем теперь страницу истории (Nous faisons maintenant une page de l'histoire). Читайте вашу бумагу». Полицейский, ожидавший, что его выбросят задвери, был удивлен легостью победы, обязал Гюго подпиской, что он едет, и ушел, отдавая справедливость учтивости французов, давших даже ему стул. Гюго уехал, и другие с ним вместе оставили Жерсей. Большая часть поехали не дальше Гернсея; другие отправились в Лондон; дело было проиграно, и право высылать осталось непочатым.

Серьезных партий, как мы сказали, было только две, т. е. партия формальной республики и насильственного социализма — Ледрю-Роллена и Луи Блана. Об нем я еще не говорил, а знал его почти больше, чем всех французских изгнанников.

Нельзя сказать, чтоб воззрение Луи Блана было неопределенно, — оно во все стороны обрезано, как ножом. Луи Блан в изгнании приобрел много фактических сведений (по своей части, т. е. по части изучения первой французской революции), несколько устоялся и успокоился, но в сущности своего воззрения не подвинулся ни на один шаг с того времени, как писал «Историю десяти лет» и «Организацию труда»*. Осевшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.

В маленьком тельце Луи Блана живет бодрый и круто сложившийся дух, très éveillé¹, с сильным характером, с своей определенно вываанной особностью, и притом совершенно французской. Быстрые глаза, скорые движения придают ему какой-то вместе подвижный и точеный вид, не лишенный грации. Он похож на сосредоточенного человека, сведенного на наименьшую величину, в то время как колоссальность его противника Ледрю-Роллена похожа на разбухнувшего ребенка, на карлу в огромных размерах или под увеличительным!

¹ всегда оживленный (франц.). — *Ред.*

стеклом. Они оба могли бы чудесно играть в Гулливеровом путешествии.

Луи Блан — и это большая сила и очень редкое свойство — мастерски владеет собой, в нем много выдержки, и он в самом пылу разговора, не только публично, но и в приятельской беседе, никогда не забывает самые сложные отношения, никогда не выходит из себя в споре, не перестает весело улыбаться... и никогда не соглашается с противником. Он мастер рассказывать и, несмотря на то, что много говорит как француз, никогда не скажет лишнего слова как корсиканец.

Он занимается только Францией, знает только Францию и ничего не знает «разве ее». События мира, открытия науки, землетрясения и наводнения занимают его по той мере, по которой они касаются Франции. Говоря с ним, слушая его тонкие замечания, его занимательные рассказы, легко изучить характер французского ума, и тем легче, что мягкие, образованные формы его не имеют в себе ничего, вызывающего раздражительную колкость или ироническое молчание тем самодовольным, иногда простодушным, нахальством, которое делает так несносным сношения с современными французами.

Когда я ближе познакомился с Луи Бланом, меня поразили внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второстепенных, прикладных. Свои счета он свел: *er war im Klaren mit sich*¹; ему было нравственно свободно, как человеку, который знает, что он прав. В частных ошибках своих, в промахах друзей он сознавался добродушно; теоретических угрызений совести у него не было. Он был доволен собой после разрушения республики 1848, как Моисеев бог после создания мира. Подвижной ум его в ежедневных делах и подробностях был японски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уверенность в основах, однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком, прочно держалась на нравственных подпорочках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложкой обводили его

¹ он все уяснил для себя (нем.).— *Ред.*

китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения¹.

Я иногда, шутя, останавливал его на общих местах, которые он, вероятно, повторял годы, не думая, чтоб можно было возражать на такие почтенные истины, и сам не возражая:

— Жизнь человека — великий социальный долг, человек *должен* постоянно приносить себя на жертву обществу...

— Зачем же? — спросил я вдруг.

— Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица — благосостояние общества.

— Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.

— Это игра слов.

— Варварская сбивчивость понятий, — говорил я, смеясь.

— Мне никак не дается материалистическое понятие о духе, — говорил он раз, — все же дух и материя разное, — тесно связанное, так тесно, что они и не являются врозь, но все же они не одно и то же... — И, видя, что как-то доказательство идет плохо, он вдруг прибавил: — Ну вот, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата, вижу его черты, слышу его голос — где же материальное существование этого образа?

¹ Все это, за исключением некоторых добавок и поправок, писано лет десять тому назад. Я должен признаться, что последние события заставили меня отчасти изменить мое мнение о Луи Блане. Он действительно сделал *шаг вперед* — и, как следовало ждать от якобинских старообрядцев, он ему не прошел даром.

— Что делать, — говорил еще мне в разгар мексиканской войны * Луи Блан, — честь нашего знамени компрометирована.

Мнение чисто французское и совершенно противучеловеческое. Видно, оно сильно мучило Луи Блана. Через год, за обедом, который давали в Брюсселе В. Гюго после издания «Les Misérables», Луи Блан в своей речи сказал: «Горе народу, когда его понятие о чести вообще не совпадает с понятием военной чести» *. Тут был целый переворот. Он-то и обличился при начале последней войны. Энергические, полные меткости и истины статьи Луи Блана, помещаемые в «Le Temps», возбудили грозу «Siècle'я» и «Opinion National»; они чуть не выдали Луи Блана за австрийского агента — и выдали бы совсем, если б он не пользовался действительно заслуженной репутацией чистоты.

Не даром достается французам прогресс.

Приобщение

к Сербскому Векништву - нбр. 4 №136.

Метро Раасаи, Киншаса, Ср. Мр, Гарому
Аутлан и французеие импантии

(Минициати срп. 81 пера)

1. (Метро Раасаи и Киншаса)

На српски ден в отправиха на
Метро Раасаи - от мек прити оск
привативо. Колосална, митосаунна
сприво е - които не надбво расбураше он
detail - одукти вперативниот раснохана
в ево носу. Деврмо ботм он ботм и бот
сифан и бот vivont. Моринав на кой и пр-
ент - понатива ми са ботм и еву и фоботм
даротм протм. Он импантии ил ревампанти
бав (аестомие - а одуктивниот мектм еву
и мектм. Ево импантии, неприяв расб ботм
в Метро и Метр, алат в фонтмие ден - он
даротм от нево гитм красител - не собител
и мектм. Метр ево импантии (мектмие и протм
нонтив ион рас ^{не ботм и} ^{импантии}
- протмие (мектмие). Салар мектм ево в Метро
мектм ботмие и ботмие - одуктивниот мектм (фонтм
но отукти ево кевотм в Метро.

(*) Метроиме гитмие красч - мектмие Le due Riva
и мектмие гитмие - мектмие гитмие гитмие. Салариме
со мектмие он ботмие - до мектмие. Гитмие он мек
дрок и ботмие, а мек он гитмие расб и протмие.

«Былое и думы», часть VI, глава «Горные вершины». Страница рукописи (автограф Герцена).

Я сначала думал, что он шутит, но, види, что он говорит совершенно серьезно, я заметил ему, что образ его брата на сию минуту в фотографическом заведении, называемом мозгом, и что вряд есть ли портрет Шарля Блана отдельно от фотографического снаряда...

— Это совсем другое дело, материально в моем мозгу нет изображения моего брата.

— Почему вы знаете?

— А вы почему?

— По наведению.

— Кстати — это напоминает мне преуморительный анекдот...

И тут, как всегда, рассказ о Дидро или М-ше Tencin, очень милый, но вовсе не идущий к делу.

В качестве преемника Максимилиана Робеспьера Луи Блан — поклонник Руссо и в холодных отношениях с Вольтером. В своей «Истории» он по-библейски разделил всех деятелей на два стана. Одесную — агнцы братства; ошуйю — козлы ячности и эгоизма. Эгоистам вроде Монтеня пощады нет, и ему досталось порядком. Луи Блан в этой сортировке ни на чем не останавливается и, встретив финансиста Лау, смело зачислил его по братству, чего, конечно, отважный шотландец никогда не ожидал.

В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги Барбес *. Луи Блан привел его ко мне. С умилением смотрел я на страдальца, который провел почти всю жизнь в тюрьме. Я прежде видел его один раз — и где? В окне Hôtel de Ville 15 мая 1848, за несколько минут перед тем, как ворвавшаяся Национальная гвардия схватила его¹.

Я звал их на другой день обедать; они пришли, и мы просидели до поздней ночи *.

Они просидели до поздней ночи, вспоминая о 1848 годе; когда я проводил их на улицу и возвратился один в мою

¹ До чего доходило остервенение хранителей порядка в этот день, можно измерить тем, что Национальная гвардия схватила на бульваре Луи Блана которого вовсе не следовало арестовать и которого полиция тотчас велела освободить. Видя это, национальный гвардеец, державший его, схватил его за палец, врезал в него свои ногти и повернул последний сустав.

комнату, мною овладела бесконечная грусть; я сел за свой письменный стол и готов был плакать...

Я чувствовал то, что должен ощущать сын, возвращаясь после долгой разлуки в родительский дом. Он видит, как в нем все почернело, покривилось, отец его постарел, не замечая того; сын очень замечает, и ему тесно, он чувствует близость гроба, скрывает это, но свиданье не оживляет его, не радует, а утомляет.

Барбес, Луи Блан! Ведь это всё старые друзья, почетные друзья кипучей юности. «*Histoire de Dix ans*», процесс Барбеса перед Камерой пэров * — все это так давно обжилося в голове, в сердце, со всем с этим мы так сроднились — и вот они налицо.

Самые злые враги их никогда не осмеливались заподозреть неподкупную честность Луи Блана или набросить тень на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоих все видели, знали во всех положениях, у них не было частной жизни, не было закрытых дверей. Одного из них мы видели членом правительства, другого за полчаса до гильотины. В ночь перед казнию Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал *. В них есть французский идеализм, религиозные мечты, но ни тени слабости; его дух не смутился, не уныл; с ясным сознанием приготавлился он положить голову на плаху и покойно писал, когда рука тюремщика сильно стукнула в дверь. «Это было на рассвете, я (и это он мне рассказывал сам) ждал исполнителей», — но вместо палачей вошла его сестра и бросилась к нему на шею. Она выпросила, без его ведома, у Людовика-Филиппа перемену наказания * и скакала на почтовых всю ночь, чтоб успеть.

Колодник Людовика-Филиппа через несколько лет является наверху цивического¹ торжества: цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу *. Но прямое сердце Барбеса не смутилось; он явился первым обвинителем Временного правительства за руанские убийства *. Реакция росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой, и Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-

¹ гражданского, от *civique* (франц.).— *Ред.*

Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Косидьер! * Coup d'Etat не удался, и Барбес, колодник республики, снова перед судом. Он в Бурже так же, как в Камере пэров, говорит законникам мещанского мира, как говорил грешному старцу Пакье: «Я вас не признаю за судей, вы враги мои, я ваш восшошленный, делайте со мною что хотите, но судьями я вас не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за ним.

Случайно, против своей воли, вышел он из тюрьмы; Наполеон его вытолкнул из нее почти в насмешку, прочитав во время Крымской войны письмо Барбеса *, в котором он, в припадке галльского шовинизма, говорит о военной славе Франции. Барбес удалился было в Испанию; перепуганное и тупое правительство выслало его. Он уехал в Голландию и там нашел покойное, глухое убежище.

И вот этот-то герой и мученик вместе с одним из главных деятелей Февральской республики, с первым государственным человеком социализма вспоминали и обсуживали прошедшие дни славы и невзгоды!

А меня давила тяжелая тоска; я с несчастной ясностью видел, что они тоже принадлежат истории *другого десятилетия*, которая окончена до последнего листа, до переплета!

Окончена не для них лично, а для всей эмиграции и для всех теперичных политических партий. Живые и шумные десять, даже пять лет тому назад, они вышли из русла и теряются в песке, воображая, что всё текут в океан. У них нет больше ни тех слов, которые, как слово «республика», пробуждали целые народы, ни тех песен, как «Марсельеза», которые заставляли содрогаться каждое сердце. У них и враги не той же величины и не той же пробы; нет ни седых феодальных привилегий короны, с которыми бы было трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы, скатываясь с эшафота, уносила с собой целую государственную организацию. Казните Наполеона — из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас — из этого не выйдет взятия Бастилии! * *Тогда*, в этих громах и молниях, раскрывалось новое откровение — откровение государства, основанного на разуме, новое искупление из средневекового мрачного рабства. С тех пор искупление

революцией обличилось несостоятельным, на разуме государство не устроилось. Политическая реформация выродилась, как и религиозная, в риторическое пустословие, охраняемое слабостью одних и лицемерием других. «Марсельеза» остается святым гимном, по гимном прошедшего, как «Gottes feste Burg»*, звуки той и другой песни вызывают и теперь ряд величественных образов, как в макбетовском процессе теней — всё цари, но всё мертвые*.

Последний едва еще виден в спину, а об новом только слухи. Мы в *междоцарствии*; пока, до наследника, полиция все захватила во имя наружного порядка. Тут не может быть и речи о правах, это временные необходимости, это Lynch law¹ в истории, экзекуция, оцепление, карантинная мера. Новый порядок, совместивший все тяжкое монархии и все свирепое якобинизма, огражден не идеями, не предрассудками, а страхами и неизвестностями. Пока одни боялись, другие ставили штыки и занимали места. Первый, кто прорвет их цепь, пожалуй, и займет главное место, занятое полицией,— только он и сам сделается сейчас квартальным.

Это напоминает нам, как Косидьер вечером 24 февраля пришел в префектуру с ружьем в руке, сел в кресла только что бежавшего Делессера, позвал секретаря, сказал ему, что он назначен префектом, и велел подать бумаги. Секретарь так же почтительно улыбнулся, как Делессеру, так же почтительно поклонился и пошел за бумагами, и бумаги пошли своим чередом; ничего не переменилось, только ужию Делессера съел Косидьер.

Многие узнали пароль префектуры, но лозунга истории не знают. Они, когда было время, послушали точно так, как Александр I: они хотели, чтоб старому порядку был нанесен удар, но не смертельный; а Бенигсена или Зубова у них не было*.

И вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся *людской неблагодарности*, и пусть останутся при этой мысли, пусть думают, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многих других.

¹ закон Линча (англ.).— *Ред.*

А еще лучше им вовсе не ходить туда; пусть они нам и нашим детям повествуют о своих великих делах. Сердиться за этот совет нечего: живое меняется, неизменное становится памятником. Они оставили свою бразду так, как свою оставят за ними идущие, и их обгонит в свою очередь свежая волна, а потом все — бразды... живое и памятники — все покроется всеобщей амнистией вечного забвения!

На меня сердятся многие за то, что я высказываю эти вещи. «В ваших словах, — говорил мне очень почтенный человек, — так и слышится *посторонний зритель*».

А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я оччень вынослив, но выбился, наконец, из сил.

Я пять лет не видал светлого лица, не слышал простого смеха, понимающего взгляда. Всё фельдшеры были возле да прозекторы. Фельдшеры всё пробовали лечить, прозекторы всё указывали им по трупу, что они ошиблись, — ну, и я, наконец, схватил скальпель; может, резнул слишком глубоко в непривычки.

Говорил я не как посторонний, не для упрёка, — говорил оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило из терпения. Что я раньше отрезвел — это мне ничего не облегчило. Это и из фельдшеров только самые плохие самодовольно улыбаются, глядя на умирающего. «Вот, мол, я сказал, что он к вечеру протянет ноги, он и протянул».

Так зачем же я вынес?

В 1856 году лучший из всей немецкой эмиграции человек, *Карл Шурц*, приезжал из Висконсина в Европу *. Возвращаясь из Германии, он говорил мне, что его поразило нравственное запустение материка. Я перевел ему, читая, мои «Западные арабески», он оборонялся от моих заключений, как от привидения, в котором человек не хочет верить, но которого боится.

— Человек, — сказал он мне, — который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее.

— Вы так и поступили, — заметил я.

— Отчего же вы этого не делаете?

— Очень просто: я могу вам сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности —

«у меня в Швабии есть свой король», — у меня в России есть свой народ!

Сходя с вершин в средние слои эмиграции, мы увидим, что большая часть была увлечена в изгнание благородным порывом и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, т. е. за их музыку, не давая себе никогда ясного отчета в смысле их. Они их любили горячо и верили в них, как католики любили и верили в латинские молитвы, не зная по-латыни. «La fraternité universelle comme base de la république universelle»¹ — это кончено и принято! «Point de salaires, et la solidarité des peuples!»² — и, покраснейте, этого иному достаточно, чтоб идти на баррикаду, а уж коли француз пойдет, он с пее не побежит.

«Pour moi, voyez-vous, la république n'est pas une forme gouvernementale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera»³, — говорил мне один участник всех восстаний со времени ламарковских похорон *. «Et lorsque la religion sera une république»⁴, — добавил я. — Précisément!⁵ — отвечал он, очень довольный тем, что я вывернул наизнанку его фразу.

Массы эмиграции представляют своего рода вечно открытое угрызение совести перед глазами вождей. В них все их недостатки являются в том преувеличенном и смешном виде, в котором парижские моды являются где-нибудь в русском уездном городе.

И во всем этом есть бездна наивного. За декламацией на первом плане — la mise en scène⁶.

Античные драпри и торжественная постановка Конвента так поразила французский ум своей грозной поэзией, что,

¹ «Всемирное братство как основа всемирной республики» (франц.). — *Ред.*

² «Долой наемный труд, и да здравствует солидарность народов!» (франц.). — *Ред.*

³ «Для меня, видите ли, республика не форма правления, это религия, и она тогда только будет истинной республикой, когда будет религией» (франц.). — *Ред.*

⁴ «И когда религия станет республикой» (франц.). — *Ред.*

⁵ Именно так! (франц.). — *Ред.*

⁶ театральные эффекты (франц.). — *Ред.*

например, с именем республики ее энтузиасты представляют не внутреннюю переменную, а праздник федерализации *, барабанный бой и заунывные звуки *tocsin*¹. Отечество возмущается в опасности, народ встает массой на его защиту в то время, как около деревьев свободы празднуется торжество цивизма; девушки в белых платьях пляшут под напев патриотических гимнов, и Франция в фригийской шапке посылает громадные армии для освобождения народов и низвержения царей!

Главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии; этим характер их уже обозначен. Марка или штемпель мещанства так же трудно стирается, как печать дара духа святого, которую прикладывают наши семинарии своим ученикам. Собственно купцов, лавочников, хозяев в эмиграции мало, и те попали в нее как-то невзначай, вытолкнутые большей частью из Франции после 2 декабря за то, что не догадались, что на них лежит священная обязанность изменить конституцию. Их тем больше жаль, что положение их совершенно комическое: они потеряны в красной обстановке, которой дома не знали, а только боялись; в силу национальной слабости им хочется себя выдавать за гораздо больших радикалов, чем они в самом деле; но, не привыкнув к революционному *jargon*, они, к ужасу новых товарищей, беспрестанно впадают в орлеанизм. Разумеется, они были бы все рады возвратиться, если б *point d'honneur*², единственная крепкая, нравственная сила современного француза, не воспрещал просить дозволения.

Над ними стоящий слой составляет лейб-компанейскую роту эмиграции: адвокаты, журналисты, литераторы и несколько военных.

Большая часть из них искали в революции общественного положения, но при быстром отливе они очутились на английской отмели. Другие бескорыстно увлеклись клубной жизнью и агитациями; риторика довела их до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. В их числе много чистых и благородных людей, но мало способных; они попали в революцию по темпе-

¹ набата (франц.).— *Ред.*

² вопрос чести (франц.).— *Ред.*

раменту, по отваге человека, который бросается, слыша крик, в реку, забывая об ее глубине и о своем неумении плавать.

За этими детьми, у которых, по несчастю, поседелли узкие бородки и несколько очистился от волос остроконечный галльский череп, стояли разные кучки работников, гораздо более серьезных, не столько связанные в одно наружностью, сколько духом и общим интересом.

Их революционерами поставила сама судьба; нужда и развитие сделали их практическими социалистами; оттого-то их дума реальнее, решимость тверже. Эти люди вынесли много лишений, много унижений, и притом молча,— это дает большую крепость; они переплыли Ламанш не с фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положение спасло их от буржуазного *suffisance*¹, они знают, что им некогда было образоваться; они хотят учиться, в то время как буржуа не больше их учился, но совершенно доволен знанием.

Оскорбленные с детства, они ненавидят общественную неправду, которая их столько давила. Тлетворное влияние городской жизни и всеобщей страсти стяжания превратило у многих эту ненависть в зависть; они, не давая себе отчета, тянутся в буржуазию и терпеть ее не могут, так, как мы не можем терпеть счастливого соперника, страстно желая занять его место или отомстить ему его наслаждения.

Но ненависть ли или зависть, желание ли у одних блага, у других мести — и те и другие будут страшны в будущем западном движении. Они будут на первом плане. Перед их рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипевшим желанием мести что сделают консерваторы и риторы? Да что сделают и прочие горожане, когда на зов работника поднимется саранча полей и деревень? Крестьянские войны забыты; последние эмигранты из земледельцев относятся ко временам ревокации Нантского эдикта*: Вандея исчезла за пороховым дымом. Но мы обязаны 2 декабря тем, что своими глазами вновь увидели эмигрантов в деревянных башмаках*.

Сельское население на юге Франции, от Пиреней до Альп, приподняло голову после *сoup d'Etat*, как бы спрашивая:

¹ самодовольства (франц.).— *Ред.*

«Не пришла ли наша пора?» Восстание было задавлено в самом начале массами солдат; за ними явились военно-судные комиссии; стая гончих жандармов и полицейских ищек рассыпались по проселочным дорогам и деревушкам. Очаг крестьянина, его семья, эти святыни его, были обесчещены полицией; она требовала наказания жены на мужа, сына на отца и по двусмысленному слову родственника, по одному допосу *garde champêtre*¹ вели в тюрьму отцов семейства, седых, как лунь, стариков, юношей, женщин; судили их кой-как, гуртом, и потом случайно кого выпустили, кого послали в Ламбессу, в Кайенну, другие сами бежали в Испанию, в Савойю, за Варский мост².

Крестьян я мало знаю. Видел я в Лондоне несколько человек, спасшихся *на лодке* из Кайенны; одна дерзость, безумие этого предприятия лучше целого тома характеризуют их. Они были почти все с Пиренеев. Совсем другая порода, широкоплечая, рослая, с крупными чертами, вовсе не шифонированными³, как у поджарых французских горожан с их скудной кровью и бедной бородкой. Разорение их домов и Кайенна воспитали их.

— Мы воротимся еще когда-нибудь, — говорил мне сорокалетний геркулес, большей частью молчавший (все они были не очень разговорчивы), — и посчитаемся!

На других эмигрантов, на их сходки и речи они что-то смотрели чужими... и недели через три они пришли ко мне проститься. «Не хотим даром жить, да и здесь скучно, едем в Испанию, в Сантандр, там обещают поместить нас дровосеками». Взглянул я еще раз на сурово мужественный вид и на мускулярную руку будущих дровосеков и подумал: «Хорошо, если топор их только будет рубить каштановые деревья и дубы».

¹ сельского стражника (франц.).— *Ред.*

² Я был в Нице во время варского и драгиньянского восстания. Двое крестьян, замешанных в дело, пробрались до реки Вара, составляющей границу *. Тут они были настигнуты жандармом. Жандарм выстрелил в одного из них и ранил в ногу — тот свалился; в это время другой пустился бежать. Жандарм хотел раненого привязать к лошади, но, боясь упустить того, он выстрелил в голову *à bout portant* (<в упор(франц.)> раненому; уверенный, что убил его, он поскакал за другим. Изуродованный крестьянин остался жив.

³ помятыми, от *chiffonner* (франц.).— *Ред.*

Дикую, разъедающую силу, накипевшую в груди городского работника, я видел ближе¹.

Прежде чем мы перейдем к этой дикой, стихийной силе, которая мрачно содрогается, скованная людским насилием и собственным невежеством, и подчас прорывается в щели и трещины разрушительным огнем, наводящим ужас и смятение,— остановимся еще раз на последних *тамплиерах* и классиках французской революции — на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбоннской, демократической буржуазии, которая участвовала лет десять в борьбе с Людвигом-Филиппом, увлеклась событиями 1848 года и осталась им верной и дома и в изгнании.

В их рядах есть люди умные, острые, люди очень добрые, с горячей религией и с готовностью ей пожертвовать всем,— но понимающих людей,— людей, которые бы исследовали свое положение, свои вопросы так, как естествоиспытатель исследует явление или патолог — болезнь, почти вовсе нет. Скорее полное отчаяние, презрение к лицам и делу, скорее праздность упреков и попреков, стоицизм, героизм, все лишения, чем исследование... Или такая же полная вера в успех, без взвешивания средств, без уяснения практической цели. Вместо ее удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом... Право на работу... уничтожение пролетариата... Республика и порядок!.. братство и солидарность всех народов... Да как же все это устроить, осуществить? Это — последнее дело. Лишь бы быть во власти, остальное делается декретами, плебисцитами. А не будут слушаться — «*Grenadiers, en avant, aux armes! Pas de charge... baïonnettes*»². И религия террора, *coup d'Etat*, централизации, военного вмешательства сквозит в дыры карманьолы и блузы*. Несмотря на доктринерский протест нескольких антических умов орлеанской партии, пахнущих Англией на ружейный выстрел.

Террор был величествен в своей грозной неожиданности,

¹ В след<ующей> главе: два процесса работника Бартеlemi.

² «Гренадеры, вперед, к оружию! Быстрым шагом... в штыки!» (франц.).— *Ред.*

в своей неприготовленной, колоссальной мести; но останавливаться на нем с любовью, но звать его без необходимости — странная ошибка, которой мы обязаны реакции. На меня Комитет общественного спасения производит постоянно то впечатление, которое я испытывал в магазине Charrigère, rue de l'École de Médecine¹: со всех сторон блестит зловещим блеском стали кривые, прямые лезвия, ножницы, пилы... оружия вероятного спасения, но верной боли. Операции оправдываются успехом. Террор и этим похвастаться не может. Он всей своей хирургией не спас республики. К чему была сделана *дантономия*, к чему *эбертономия*? Они ускорили лихорадку Термидора, — а в ней республика и зачахла; люди все так же и еще больше бредили спартанскими добродетелями, латинскими сентенциями и латиклавами à la David *, бредили до того, что «*Salus populi*»² одним добрым днем перевели на «*Salvum fac imperatorem*»³ и пропели его «соборне» во всем архиерейском орнаменте⁴, в нотрдамском соборе *.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, резкие образы их глубоко вываялись в пятом действии XVIII века и останутся в истории до тех пор, пока у рода человеческого не «зашибет памяти»; но нынешние французы-республиканцы на них смотрят не так, — они в них видят образцы и стараются быть кровожадными в теории и в надежде приложения.

Повторяя à la Saint-Just натянутые сентенции из хрестоматий и латинских классов, восхищаясь холодным, риторическим красноречием Робеспьера, они не допускают, чтоб их героев судили, как прочих смертных. Человек, который бы стал говорить о них, освобождаясь от обязательных титулов, которые стоят всех наших «в бозе почивших», был бы обвинен в ренегатстве, в измене, в шпионстве.

Изредка встречал я, впрочем, людей эксцентричных, совравшихся с своей торной, гуртовой дороги.

Зато уж французы в этих случаях, закусывая удила и усваивая себе какую-нибудь мысль, не принадлежащую к сумме

¹ Шаррьера на улице Медицинской школы (франц.).— *Ред.*

² «Благо народа» (лат.).— *Ред.*

³ «Храни императора» (лат.).— *Ред.*

⁴ полном облачении. от *ornatum* (лат.).— *Ред.*

оборотных мыслей и идей, неслись до того через край, что человек, подавший им эту мысль, сам с ужасом отпрядывал от нее.

В 1854 доктор Сœurderoy, посылая мне из Испании свою брошюру *, написал ко мне письмо.

Такого озлобленного крика против современной Франции и ее последних революционеров мне редко удавалось слышать. Это был ответ Франции на легко перенесенный *coup d'Etat*. Он сомневался в уме, в силе, в «крови» своей расы, он звал казаков для «поправления выродившегося народонаселения». Он писал ко мне, потому что нашел в моих статьях «то же воззрение». Я отвечал ему, что до исправительной трансфузии¹ крови не иду, и послал ему «*Du développement des idées révolutionnaires en Russie*».

Сœurderoy не остался в долгу; он ответил мне, что возлагает всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить дотла, без пощады и сожаления, цивилизацию, обветшавшую, испорченную и которая не имеет сил ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцелевшее письмо его прилагаю:

M-r. A. Herzen

Santander, 27 mai

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les Idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacune des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout, qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg St. Antoine*.

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez-moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est

¹ переливания (франц. transfusion).— *Ред.*

ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un *Philistin* d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré,— mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant les négations et les affirmations les plus hardies du 19^e siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

...Sur le point particulier de la Rénovation ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions ne soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but: *la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale*. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'Absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes:

1) que la Force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme;

2) qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainc que la Force prépare toujours la Révolution que l'Idée a démontrée nécessaire;

3) que l'Idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction;

4) que le Despotisme, au point de vue de la Rapidité, de la Sûreté, de la possibilité d'exécution, est plus apte que la Démocratie à bouleverser un monde;

5) que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave;

6) qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, glaive, épée, et exécuter l'Occident, et trancher le nœud gordien;

etc. etc. etc.

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre, sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation occidentale*. Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre I^{er}, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un semblable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples conquérants, voyez-

vous à l'Orient? Avant que la démocratie slave ait trouvé son mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir, qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen; seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi, j'aime mieux voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens: ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds (ou muets) de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand'peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de Liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est si séduisant de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins. Comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braquettes, etc, etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beaucoup plus hypocrites. Ils portent des faux cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribuns que les peuples admirent!

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement. Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politesse banale.

Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots: la Force et la Destruction de demain — par le tzar, la Pensée et l'ordre d'après-demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agrérez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mes sympathies.

Ernest Cœurderoy.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq. que le journal *L'Homme* a données à ses lecteurs. Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff? Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire.

La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié *Mes jours d'Exil*.

«ПЕРЕВОД:

«Г-ну А. Герцену

Сантаандер, 27 мая

Милостивый государь!

Прежде всего я должен поблагодарить Вас за то, что Вы прислали мне Вашу работу о революционных идеях и их развитии в России. Я уже читал эту книгу, но не мог ее оставить у себя, к великому моему сожалению.

Этим я хочу лишь показать Вам, как я ценю ее по существу и по форме и сколь полезной ее считаю для того, чтобы пробудить сознание в каждой из действующих сил мировой революции, особенно у французов, которые полагают, что революция возможна лишь по *инициативе С.-Антуанского предместья* *.

Поскольку Вы оказали мне дружеское внимание, прислав свое произведение, разрешите мне, милостивый государь, выразить Вам мою благодарность, высказав то, что я о нем думаю, — не потому, что я придаю значение своему мнению, но чтобы доказать Вам, что я прочитал Вашу книгу внимательно.

Это великолепное исследование, цельное и оригинальное, в нем есть подлинная мощь, серьезный труд, неприкрытые истины, глубоко волнующие места. Это молодо и сильно, как славянская раса; отлично чувствуешь, что не парижанин, не какой-нибудь кабинетный ученый, не немецкий *филистер* писал эти пламенные строки; не конституционный республиканец, не умеренный социалист-теократ, — но казак (Вас не пугает это слово, не правда ли?), крайний анархист, утопист и поэт, приемлющий самые дерзновенные отрицания и утверждения XIX века. Немногие французские революционеры отваживаются на это.

Что касается, в частности, будущего этнографического обновления, то я нашел в Вашей книге (особенно во введении) много мест, которые, как мне кажется, приближаются к моим взглядам. Хотя Ваши заключения не очень точно сформулированы в этом пункте, я полагаю, что для успеха революции Вы рассчитываете на образование демократической федерации славянских народов, которые дадут Европе общий толчок. Разумеется, между нами нет расхождений в отношении цели: *воскрешение европейского континента в демократической и социальной форме*. Но я считаю, что цивилизация будет уничтожена абсолютизмом. В этом я усматриваю все различие между нами.

Да, я утвердился в этих взглядах, которые иные называют несчастными заблуждениями, и я настаиваю на них, потому что каждодневно все более убеждаюсь в справедливости того:

- 1) что сила имеет немалое значение в делах нашего микрокосма;
- 2) что, изучая ход революционных событий во времени и в пространстве, убеждаешься в том, что сила всегда подготавливает революцию, необходимость которой доказана идеей;

- 3) что идея не может вершить дело крови и разрушения;
- 4) что деспотизм, с точки зрения быстроты, верности, возможности исполнения, более способен разрушить целый мир, нежели демократия;
- 5) что русская монархическая армия будет приведена в действие скорее, чем славянская демократическая фаланга;
- 6) что в Европе только лишь Россия, еще достаточно сплоченная под властью самодержавия, еще довольно мало раздражаемая интересами собственников и партий, способна образовать массив, клин, дубину, меч, пшугу, привести в исполнение смертный приговор над Западом и рассечь гордые узел; и т. д. и т. д. и т. д.

Пусть мне укажут другую силу, способную выполнить подобную задачу; пусть мне покажут где-нибудь демократическую армию в полной готовности, исполненную решимости напасть на народы, на своих братьев, проливать кровь, жечь, разить, без оглядки, без колебаний. Тогда я изменю свое мнение.

С Вами я желал бы лишь уточнить вопрос и ограничить его единственным пунктом *о способах полного уничтожения западной цивилизации*. Мне нет необходимости говорить Вам, что наши оценки прошедшего и будущего совпадают. Мы расходимся только относительно настоящего. Вы, так правильно оценивший революционную роль Петра I, почему Вы не допускаете, что кому-либо другому, Николаю или одному из его преемников, предстоит сыграть такую же роль? Чью еще руку, более могущественную, более объемистую, более способную собрать воедино силы народов-завоевателей, видите Вы на Востоке? Прежде чем славянская демократия найдет свой лозунг и выразит смутную тайну своих чаяний, царь перевернет Европу. Судьба цивилизованных наций в его руках, если он того пожелает. Разве мир не трепещет, оттого что он заговорил чуть громче обычного? Признаюсь Вам, сила эта так поражает меня, что я не могу постигнуть, как можно рассчитывать найти другую. Революционеры тоже настолько ощущают необходимость диктатуры для разрушения, что сами желали бы установить ее в случае успеха какой-нибудь новой революции. По-моему, они не заблуждаются относительно необходимости этого средства, но только оно не соответствует ни их роли, ни их принципам, ни тем силам, которыми они располагают. Что до меня, то я предпочитаю, чтоб эту отвратительную роль могильщика взял на себя деспотизм.

Это письмо и так уже слишком длинно. Я хотел лишь уточнить с Вами этот спорный пункт. Я хорошо чувствую, что нам сейчас необходимо: личная беседа, один час которой дал бы нам больше, чем тысячи писем. Я не оставляю этой надежды и день, когда она осуществится, будет для меня желанным днем. Я думаю, что всегда найду общий язык с революционером, тружеником, ученым, человеком большой отваги.

Что же касается глухих (или немых) революционной традиции 93 года, то я очень опасаясь, что Вы никогда не превратите их в международных социалистов и свободных людей. Еще в меньшей мере Вы сделаете их сторонниками собственности, права на труд, обмена и

договора. Ведь так соблазнительно пометать о должности комиссара при войсках или в полиции, или же о синекуре представителя народа, опоясанного красивым красным шарфом. Как говорил Рабле, красивые букеты, красивые ленты, нарядный камзол, щегольские гульфики и т. д. и т. д. Большинство наших революционеров так думает!

Взрослые ничуть не умнее детей, но значительно лицемернее их. Они носят пристежные воротнички и ордена и считают себя знаменитостями. Дети серьезнее играют в солдаты, чем великие монархи и величественные трибуны, которыми восхищаются народы.

Вы, конечно, простите меня за то, что я написал Вам, не имея чести быть лично знаком.

В особенности прошу прощения за то, что я высказал о Ваших произведениях мнение, едипственным достоинством которого является его искренность. Я полагаю, по своим собственным впечатлениям, что это наиболее действенное выражение благодарности за подарок, доставивший большое удовольствие. Впрочем, наше положение изгнанников и наши общие стремления, как мне кажется, должны избавить нас обоих от необходимости прибегать к пустым формулам банальной вежливости.

Я кончаю, подытоживая свое мнение в двух словах: завтрашние насилие и разрушение — дело царя, послезавтрашние мысль и порядок — дело международных социалистов, славянских в такой же мере, как германо-латинских.

Примите, милостивый государь, уверение в моем глубоком уважении и симпатии.

Эрнест Кёрдера.

Я надеюсь, что Вы опубликуете отдельным томом Ваши письма к эсквайру Линтону, с которыми газета «L'Homme» познакомила своих читателей*. Не могли ли бы Вы сообщить мне, существуют ли французские переводы Пушкина, Лермонтова и в особенности Кольцова? То, что Вы о них говорите, возбуждает во мне безграничное желание прочитать их.

Лицо, которое передаст Вам это письмо, — мой друг Л. Шарр, как и мы, изгнанник; ему я посвятил «Мои дни изгнания»* (франц.) >.





ПРИБАВЛЕНИЕ

ДЖОН-СТЮАРТ МИЛЛЬ И ЕГО КНИГА «ON LIBERTY»

Много я принял горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, без страха и сожаления, высказываю это. С того времени, как я печатал в «Современнике» мои «Письма из Avenue Marigny» *, часть друзей и недругов показывали знаки нетерпения, негодования, возражали... а тут, как назло, с каждым событием становилось на Западе темнее, угарнее, и ни умные статьи Парадоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталамбера, ни замена прусского короля прусским принцем не могли отвести глаз, искавших истины *. У нас не хотят этого знать и, натурально, сердятся на нескромного обличителя.

Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надобно выдумать. Разве наивные вольнодумцы XVIII века, и в их числе Вольтер и Робеспьер, не говорили, что если и нет бессмертия души, то его надобно проповедовать для того, чтоб держать людей в страхе и добродетели? Или разве мы не видим в истории, как иногда вельможи скрывали тяжкую болезнь или скоропостижную смерть царя и управляли именем трупа или сумасшедшего, как это недавно было в Пруссии?

Ложь ко спасению — дело, может, хорошее, но не все способны к ней.

Я не унывал, впрочем, от порицаний и утешал себя тем, что и здесь мною высказанные мысли принимались не лучше, да еще тем, что они объективно истинны, т. е. независимы от личных мнений и даже добрых целей воспитания, исправления

нравов и т. д. Все само по себе истинное рано или поздно взойдет и обличится, «kommt an die Sonnen»¹ *, как говорит Гёте.

Одна из причин неудовольствия, собственно, против *моих* мнений антропологически понятна: сверх докучного беспокойства, приносимого разрушением окончанных мнений и окаменелых идеалов, на меня досадовали за то, что я, *свой человек*, с чего же, в самом деле, вдруг вздумал судить и ридить, да еще старших, и каких?

В нашем новом поколении есть странный кряж; в нем спаяны, как в маятниках, самые противоположные элементы: с одной стороны, оно толкается каким-то жестяным, костлявым, неукладчивым самолюбием, заносчивой самонадеянностью, щепетильной обидчивостью; с другой—в нем поражает обескураженная подавленность, недоверие к России, преждевременное старчество. Это естественный результат тридцатилетнего рабства; в нем в иной форме сохранилась наглость начальника, дерзость барина — с подавленностью подчиненного, с отчаянием ревизской души, отпускаемой в услужение.

Пока меня побранивали наши начальники литературных отделений, время шло себе да шло, и наконец прошло целых десять лет. Многое из того, что было ново в 1849, стало в 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасбродным парадоксом — перешло в общественное мнение, и много *вечных и неизблемых* истин прошли с тогдашним покровом платья.

Серьезные умы в Европе стали смотреть серьезно. Их очень немного, — это только подтверждает мое мнение о Западе, но они далеко идут, и я очень помню, как Т. Карлейль и добродушный Олсон (тот, который был замешан в дело Орсини *) улыбались над остатками моей веры в английские формы. Но вот является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. *Pereant, qui ante nos nostra dixerunt*², и спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудоном, ни даже

¹ «выйдет на свет божий», обнаружится (нем.).— *Ред.*

² Да погибнут те, кто раньше нас высказал сказанное нами (лат.).— *Ред.*

Пьером Леру или другим социалистом-изгнанником, раздраженным, — совсем нет: она писана одним из известнейших политических экономов, одним из недавних членов индийского борда, которому три месяца тому назад лорд Стенли предлагал место в правительстве. Человек этот пользуется огромным, заслуженным авторитетом: в Англии его нехотя читают тори и со злобой — виги, его читают на материке те несколько человек (исключая специалистов), которые вообще читают что-нибудь, кроме газет и памфлетов.

Человек этот — Джон-Стюарт Милль.

Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту *свободы мысли, речи и лица* *; я говорю «странную», потому что неужели не странно, что там, где за два века Мильтон писал о том же *, явилась необходимость снова поднять речь *on Liberty*¹. А ведь такие люди, как С. Милль, не могут писать из удовольствия; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской *. Он потому заговорил, что зло стало хуже. Мильтон защищал свободу речи против нападений власти, против насилия, и все энергичное и благородное было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной: он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против *общества*, против *нравов*, против мервящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против «посредственности».

Это не негодующий старик-царедворец Екатерины, который брюзжит, обойденный кавалерией, над юным поколением и колет глаза Зимнему дворцу Грановитой палатой. Нет, это человек, полный сил, давно живущий в государственных делах и глубоко продуманных теориях, привыкший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель, и он-то, наконец, не вытерпел и, подвергаясь гневу невских регистраторов цивилизации и москворецких книжников западного образования, закричал: «Мы тонем!»

Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его; он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное,

¹ о Свободе (англ.).— *Ред.*

рядское, стертое, пожалуй, «добропорядочное», но пошлее. Он видит в Англии (го, что Токвиль заметил во Франции *), что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: «Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — *душа убывает*».

Но зачем же будит он спящих, какой путь, какой выход он придумал для них? Он, как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и зовет на покаяние *. Вряд второй раз подвинешь ли этим отрицательным рычагом людей. Стюарт Милль стыдит своих современников, как стыдил своих Тацит; он их этим не остановит, как не остановил Тацит. Не только несколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но, может, никакой плотиной в мире.

«Люди иного закала, — говорит он, — сделали из Англии то, что *она была*, и только люди другого закала могут ее предупредить от *падения*».

Но это понижение личностей, этот недостаток закала — только патологический факт, и признать его — очень важный шаг для выхода, но не выход. Стюарт Милль корит больного, указывая ему на здоровых праотцев, — странное лечение и едва ли великодушное.

Ну, что же, начать теперь корить ящерицу допотопным ихтиосавром—виновата ли она, что она маленькая, а тот большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, закричал со страстей и с горя, как богатыри в наших сказках: «Есть ли в поле жив человек?»

Зачем же он его звал? Затем, чтоб сказать ему, что он выродившийся потомок сильных праотцев и, следовательно, должен сделаться таким же, как они.

Для чего? — Молчание.

И Роберт Оуэн звал людей лет семьдесят сряду и тоже без всякой пользы; но он звал их *на что-нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопия, фантазия или истина — нам теперь до этого дела нет; нам важно то, что он звал с целью; а С. Милль, подавляя современников суровыми рембрандтовскими тенями времен Кромвеля и пуритан, хочет, чтоб вечно обвешивающие, вечно обмеривающие лавочки сделались из какой-то

поэтической потребности, из какой-то душевной гимнастики — героями!

Мы можем также вызвать монументальные, грозные личности французского Конвента и поставить их рядом с бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и *épiciers*¹ и начать речь вроде Гамлета:

Look here, upon this picture and on this...
Hyperion's curis, the front of Jove himself;
An eye like Mars...

Look you now, what follows,
Here is your husband...^{2*}

Это будет очень справедливо и еще больше обидно, но неужели от этого кто-нибудь оставит свой пошлый, но удобный быт, и все это для того, чтоб величаво скучать, как Кромвель, или стоически нести голову на плаху, как Дантон?

Тем было легко так поступать, потому что они были под господством страстного убеждения, *d'une idée fixe*³.

Такая *idée fixe* был католицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху Возрождения, революция в XVIII столетии.

Где же эта святая мономания, этот *magnum ignotum*⁴, этот сфинксовский вопрос нашей цивилизации? Где та могущая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, как сталь, довести душу до того судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер?

Посмотрите кругом — что в состоянии одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религия ли папы с его незапятнанным рождением богородицы или религия без папы с ее догматом воздержания от пива в субботний день? Арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов или идолопоклонство монархии? Суеверие ли в республику или суеверие в парламент-

¹ лавочниками (франц.).— *Ред.*

² Смотрите сюда, на этот портрет и на тот... Кудри Гипериона, чело самого Юпитера; взгляд, как у Марса... Посмотрите теперь на другой, вот ваш супруг (англ.).— *Ред.*

³ навязчивой идеи (франц.).— *Ред.*

⁴ великое неизвестное (лат.).— *Ред.*

ские реформы?.. Нет и нет; все это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы *.

Только на беду их нет у наших почерневших кумиров, по крайней мере С. Милль не указывает их.

Знает он их или нет — это сказать трудно.

С одной стороны, английскому гению противно отвлеченное обобщение и смелая логическая последовательность; он своим скептицизмом чувствует, что логическая крайность, как законы чистой математики, неприлагаемы без ввода жизненных условий. С другой стороны, он привык, физически и нравственно, застегивать пальто на все пуговицы и поднимать воротник, это его предостерегает от сырого ветра и от суровой нетерпимости. В той же книге С. Милля мы видим пример этому. Двумя-тремя ударами необычайной ловкости он опрокинул немного падшую на ноги христианскую мораль и во всей книге ничего не сказал о христианстве¹.

С. Милль, вместо всякого выхода, вдруг замечает: «В развитии народов, кажется, есть предел, после которого он останавливается и *делается Китаем*».

Когда же это бывает?

Тогда, отвечает он, когда личности начинают стираться, пропадать в массах, когда все подчиняется принятым обычаям, когда понятие добра и зла смешивается с понятием сообразности или несообразности с принятым. Гнет обычая останавливает развитие: развитие, собственно, и состоит из стремления к *лучшему* от обычного. Вся история состоит из этой борьбы,

¹ «Христианская нравственность имеет весь характер реакции, это большей частью один протест против язычества. Ее идеал скорее отрицательный, чем положительный, страдательный — чем деятельный. Она больше проповедует воздержание от зла, чем делание добра. Ужас от чувственности доведен до аскетизма. Награды на небе и наказания в аду придают самым лучшим поступкам чисто эгоистический характер, и в этом отношении христианское воззрение гораздо ниже античного. Лучшая часть в наших смутных понятиях об общественных обязанностях взята из греческих и римских источников. Все доблестное, благородное, самое понятие чести передано нам светским воспитанием нашим, а не духовным, проповедующим слепое повиновение как высшую добродетель». J.-S. Mill.

и если большая часть человечества не имеет истории, то это потому, что жизнь ее совершенно подчинена обычаю.

Теперь следует взглянуть, как наш автор рассматривает современное состояние образованного мира. Он говорит, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все идет к *посредственности*, лица теряются в толпе. Эта collective mediocrity¹ ненавидит все резкое, самобытное, выступающее; она проводит над всем общий уровень. А так как в среднем разрезе у людей не много ума и не много желаний, то сборная посредственность, как топкое болото, понимает, с одной стороны, все желающее вынырнуть, а с другой — предупреждает беспорядок эксцентричных личностей воспитанием новых поколений в такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведения состоит преимущественно в том, чтоб жить, как другие. «Горе мужчине, а особливо женщине, которые вздумают делать то, *чего никто не делает*; но горе и тем, которые не делают *того, что делают все*». Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли; люди занимаются своими *делами* и иной раз для развлечения шалят в филантропию (philanthropic hobby²) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то среде принадлежит сила и власть; самое правительство по той мере мощно, по какой оно служит органом господствующей среды и понимает ее инстинкт.

Какая же это державная среда? «В Америке к ней принадлежат все белые, в Англии господствующий слой составляет *среднее состояние*»³.

С. Милль находит одно различие между мертвой неподвижностью восточных народов и современным мещанским государством. И в нем-то, мне кажется, находится самая горькая капля из всего кубка полыни, поданного им. Вместо азиатского, косного покоя, современные европейцы живут, говорит он, в пустом беспокойстве, в бессмысленных переменах: «Отвергая особенности, мы не отвергаем перемен, лишь бы они были всякий раз

¹ коллективная посредственность (англ.).— *Ред.*

² филантропическая забава (англ.).— *Ред.*

³ Пусть читатели вспомнят, что было сказано об этом в «Западных арабесках», «Полярная звезда» на 1857 год*.

сделаны *всеми*. Мы бросили свою обычную одежду наших отцов и готовы менять два-три раза в год покрой нашего платья, но с тем, чтоб все меняли его, и это делается не из видов красоты или удобства, а для самой перемены!»

Если личности не высвободятся от этого утягивающего омота, от замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные antecedенты и свое христианство, *сделается Китаем*».

Вот мы и возвратились и стоим перед тем же вопросом. На каком основании будить спящего? Во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая в мелочь вдохновится, сделается недовольна своей теперешней жизнью с железными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изделиями?

Личности не выступают оттого, что нет достаточного повода. За кого, за что или против кого им выступать? Отсутствие сильных деятелей — не причина, а последствие.

Точка, линия, после которой борьба между желанием *лучшего* и сохранением *существующего* оканчивается в пользу сохранения, наступает (кажется нам) тогда, когда господствующая, деятельная, *историческая* часть народа близко подходит к такой форме жизни, которая соответствует ему; это своего рода насыщение, сатурация; все приходит в равновесие, успокоивается, продолжает вечное одно и то же до катаклизма, обновления или разрушения. *Semper idem*¹ не требует ни огромных усилий, ни грозных бойцов; в каком бы роде они ни были, они будут лишние: середь мира не нужно полководцев.

Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которая наиболее отстоялась, — на страну, которой Европа начинает сесть, — на Голландию: где ее великие государственные люди, где ее великие живописцы, где тонкие богословы, где смелые мореплаватели? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятется, не бунтует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои смеющиеся деревни на обсушенных болотах, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: «Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели завсцали мне это богатство, мои великие художники

¹ Всегда то же самое (лат.).— *Ред.*

украсили мои стены и церкви, мне хорошо, — чего же вы от меня хотите? Резкой борьбы с правительством? Да разве оно теснит? У нас и теперь свободы больше, нежели во Франции когда-либо бывало».

Да что же из этой жизни?

Что выйдет? Да вообще, *что* из жизни выходит? А потом — разве в Голландии нет частных романов, коллизий, сплетней? Разве в Голландии люди не любятя, не плачут, не хохочут, не поют песен, не пьют скидама *, не пляшут в каждой деревне до утра? К тому же не следует забывать, что, с одной стороны, они пользуются всеми плодами образования, наук и художеств, а с другой — им бездна дела: гранпасьянс торговли, меледа хозяйства *, воспитание детей по образу и подобию своему; не успеет голландец оглянуться, обдосужиться, а уж его несут на «божью ниву» в щегольски отлакированном гробе, в то время как сын уж запряжен в торговое колесо, которое необходимо следует беспрестанно вертеть, а то дела останутся.

Так можно прожить тысячу лет, если не помешает какое-нибудь второе пришествие Бонапартова брата *.

От старших братьев я прошу позволение отступить к меньшим.

Мы не имеем достаточно фактов, но можем предположить, что животные породы, так, как они установились, представляют последний результат долгого колебания разных видоизменений, ряда совершенствований и достижений. Эта история делалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нерв.

Допотопные животные представляют какую-то героическую эпоху этой *книги бытия*; это титаны и богатыри; они мельчают, уравновешиваются с новой средой и, как только достигают довольно ловкого и прочного типа, начинают типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака в «Одиссее» похожа, как две капли воды, на всех наших собак. И это не все: кто сказал, что животные политические или общественные, живущие не только стадом, но и с некоторой организацией, как муравьи и пчелы, что они так сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Миллионы поколений легли и погибли прежде, чем они устроились и упрочили свои *китайские* муравейники.

Я желал бы уяснить этим, что если какой-нибудь народ дойдет до этого состояния ответственности внешнего общественного устройства с своими потребностями, то ему нет никакой внутренней необходимости до перемены потребностей идти вперед, воевать, бунтовать, производить эксцентрические личности.

Покойное поглощение в стаде, в улье — одно из первых условий сохранения достигнутого.

До этого полного покоя мир, о котором говорит С. Милль, не дошел. Он после всех своих революций и потрясений не может ни устояться, ни отстояться: бедна дряни наверху, все мутно, нет ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной белизны. В нем множество неспетого, уродливого, даже болезненного, и в этом отношении ему предстоит, действительно, на его собственном пути еще шаг вперед. Ему надобно приобрести не энергические личности, не эксцентрические страсти, а честную мораль своего положения. Англичанин перестанет обвешивать, француз — помогать всякой полиции, этого требует не только *respectability*, но и прочность быта.

Тогда Англия может, по словам С. Милля, превратиться в Китай (и, конечно, в усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е. облегчая его по мере возрастания обязательного обычая, который лучше всех судов и наказаний заморит волю. А Франция может в это время взойти в красивое военное русло персидской жизни, расширенное всем, что образованная централизация дает в руки власти, вознаграждая себе за потерю всех человеческих прав блестящими набегам на соседей и приковывая другие народы к судьбам централизованной деспотии... Черты зуавов уже теперь больше принадлежат азиатскому типу, чем европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятия, я тороплюсь сказать, что здесь речь идет ни о моих желаниях, ни даже о моих мнениях. Труд мой чисто логический, я хотел *развернуть скобки* формулы, в которой выражен результат С. Милля, я хотел от его личностей-дифференциалов взять исторический интеграл.

Стало быть, вопрос не может быть в том, учтиво ли прочесть Англии судьбы Китая (это же сделал не я, а он сам) и деликатно ли предсказывать Франции, что она будет Персией. Хотя, по справедливости, я и не знаю, отчего же Китай и Персию можно безнаказанно оскорблять. Вопрос действительно важный, до которого С. Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подседаы и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшуюся траву? А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество и проголодь, позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на десять тысяч, в пример, ободрение и усмирение прочим, разбогатеть и сделаться из снедаемого обедающим.

Вопрос этот разрешат события, — теоретически его не решишь.

Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы.

Но если народ сломит, неминуем *социальный переворот*

Не это ли и есть *идея*, которая может быть произведена в *idée fixe*, несмотря на пожимание плеч аристократии, ни на скрежет зубов мещан?

Народ это чует, и очень; прежней детской веры в законность или по крайней мере в справедливость того, что делается, нет; есть страх перед силой и неуменье возвести в общее правило частную боль, но слепого доверия нет. Во Франции народ грозно заявил свой протест в то самое время, когда среднее состояние в упоении от власти и силы венчало себя на царство под именем республики, и, развалясь с Маррастом на креслах Людовика XV в Версале, диктовало законы*; народ восстал с отчаяния, видя, что он опять остался за дверями и без куска хлеба; он восстал варварски, не имея никакого решения, без плана, без вождей, без средств, но в энергических личностях у него недостатка не было, и еще больше — он, с другой стороны, вызвал этих хищных, кровожадных коршунов вроде Каваньяка.

Народ побили наголову. Вероятности Персии *поднялись* и с тех пор всё идут в гору.

Как английский рабочий поставит свой социальный вопрос, мы не знаем, но воловья упорность его велика. С его стороны числовое большинство, но сила не с его стороны. Число ничего не доказывает. Три-четыре линейных казака да два-три гарнизонных солдата водят из Москвы в Сибирь по пятисот колодников.

Если народ и в Англии будет побит, как в Германии во время крестьянских войн, как во Франции в Июньские дни, — тогда Китай, пророчимый Стюартом Миллем, не далек. Переход в него делается незаметно, не утратится, как мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкие, люди чувствительные говорят, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, как согласиться с ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоит именно в том, что та идея, которая может спасти народ и устремить Европу к новым судьбам, *невыгодна* господствующему классу, что ему, если б он был последователен и смел, *выгодно* только государство с американским невольничеством!¹

¹ Этот разбор книги Д.-С. Милля мы берем из V книжки «Полярной звезды», которая выйдет к 1 мая*.



〈ГЛАВА IV〉 ДВА ПРОЦЕССА

Rule, Britannia! ^{1*}

1. ДУЭЛЬ ²

В 1853 году известный коммунист Виллих познакомил меня с парижским рабочником *Бартеlemi*. Имя его я знал прежде по июньскому процессу, по приговору и, наконец, по его бегству из Бель-Иля.

Он был молод, невысокого роста, но мускульно сильного сложения; черные, как смоль, и курчавые волосы придавали ему что-то южное; лицо его, слегка отмеченное оспой, было красиво и резко. Постоянная борьба воспитала в нем непреклонную волю и умение управлять ею. Бартеlemi был один из самых цельных характеров, которых мне случилось видеть. Школьного, книжного образования он не имел, кроме по своей части: он был отличным механиком. Заметим мимоходом, что из числа механиков, машинистов, инженеров, работников на железных дорогах вышли самые решительные бойцы июньских баррикад.

Жизненная мысль его, страсть всего его существования была неутолимая, спартаковская жажда восстания рабочего класса против среднего сословия. Мысль эта у него была неразрывна с свирепым желанием истребления буржуазии.

Какой комментарий дал мне этот человек к ужасам 93 и

¹ Правь, Британия! (англ.).— *Ред.*

² Рассказ этот относится к отрывку, помещенному в VI кн. «Полярной звезды»*.

94 года, к сентябрьским дням *, к той ненависти, с которой ближайшие партии уничтожали друг друга! В нем я наглазно видел, как человек может соединять желание крови с гуманностью в других отношениях, даже с нежностью и как человек может быть правым перед совестью, посылая, как Сен-Жюст, десятки людей на гильотину.

«Чтоб революция в десятый раз не была украдена из наших рук, — говорил Бартеlemi, — надобно дома, в нашей семье сломить голову злейшему врагу. За прилавком, за конторкой мы его всегда найдем — в своем стане следует его побить!» В его листы проскрипции входила почти вся эмиграция: Виктор Гюго, Маццини, Виктор Шельшер и Кошут. Он исключал очень немногих и в том числе, я помню, Луи Блана.

Особым, задушевым предметом его ненависти был Ледрю-Роллен. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лицо Бартеlemi судорожно подергивалось, когда он говорил об «этом диктаторе буржуазии».

А говорил он мастерски, этот талант становится реже и реже. Публичных говорунов в Париже, и особенно в Англии, бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевых карандашей, наемные светские и духовные ораторы в парках — все они имеют удивительную способность *проповедовать*, но говорить *для комнаты* умеют немногие.

Односторонняя логика Бартеlemi, постоянно устремленная в одну точку, действовала, как пламя паяльной грубки. Он говорил плавно, не возвышая голоса, не махая руками; его фразы и выбор слов были правильны, чисты и совершенно свободны от трех проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Откуда же взял этот работник, воспитанный в душных мастерских, где ковали и тянули железо для машин, в душных парижских закоулках, между питейным домом и наковальнею, в тюрьме и на каторжной работе, верное понятие меры и красоты, такта и грации, — понятие, утраченное буржуазной Францией? Как он умел сохранить естественность языка среди вычурных риторов, гасконцев революционной фразы?

Это действительно задача

Видно, около мастерских веет воздух посвежее. Впрочем, вот его жизнь.

Ему не было двадцати лет, когда он замешался в какую-то эмёту¹ при Людвиге-Филиппе. Жандарм остановил его, и так как он стал ему что-то говорить, то жандарм хватил его кулаком в лицо. Бартелеми, которого держал муниципал, рванулся, но не мог ничего сделать. Удар этот пробудил тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работник, встал на другой день переродившимся.

Надобно заметить, что арестованного Бартелеми полиция отпустила, найдя его невиноватым. Об обиде, причиненной ему, никто и говорить не хотел. «Зачем ходить по улицам во время эмёты! Да и как найти теперь жандарма!»

Вот как. Бартелеми купил пистолет, зарядил его и пошел бродить около тех мест: побродил день-другой — вдруг на углу стоит жандарм. Бартелеми отвернулся и взвел курок.

— Вы меня узнали? — спросил он полицейского.

— Еще бы нет.

— Так вы помните, как вы?

— Ну, ступайте, ступайте своей дорогой, — сказал жандарм.

— Счастливого и вам пути, — отвечал Бартелеми и спустил курок.

Жандарм повалился, а Бартелеми пошел. Жандарм был смертельно ранен, но не умер.

Бартелеми судили как простого убийцу. Никто не взял в расчет величину обиды, особенно по понятиям французов, невозможность работника послать ему вызов, невозможность сделать процесс. Бартелеми был осужден на *каторжную работу*. Это был третий пансион, в котором он воспитывался после кузницы и тюрьмы. При переборе дел министром юстиции Кремье, после Февральской революции, Бартелеми выпустили.

Пришли Июньские дни. Бартелеми, принадлежавший к горячим последователям Бланки, явился тут во весь рост.

Он был схвачен, геройски защищая баррикаду, и сведен в

¹ мятеж (франц. émeute). — *Ред.*

форты. Одних победители расстреливали, другими набивали тюльерийские подвалы, третьих отсылали в форты и там иногда расстреливали, случайно, больше, чтоб очистить место.

Бартелеми уцелел; в суде он и не думал оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимого, чтоб из нее сделать трибуну для обвинения Национальной гвардии. Ему мы обязаны многими подробностями о каннибальских подвигах защитников порядка, сделанных втихомолку, некоторым образом семейно. Несколько раз президент приказывал ему молчать и, наконец, перервал его речь приговором на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лет (у меня нет перед глазами июньского процесса).

Бартелеми был с другими отправлен в Belle-Ile.

Года через два он бежал оттуда и явился в Лондон с предложением ехать назад и устроить бегство шести заключенных. Небольшая сумма денег, которую он просил (тысяч 6—7 фр.), была ему обещана, и он, одевшись аббатом, с молитвенником в руке отправился в Париж, в Бель-Иль, все устроил и возвратился в Лондон за деньгами. Говорят, что дело не состоялось за спором, освобождать ли Бланки или нет. Сторонники Барбеса и других лучше желали оставить несколько человек друзей в тюрьме, чем освободить одного врага.

Бартелеми уехал в Швейцарию. Он разошелся со всеми партиями и отстал от них; с ледрю-ролленистами он был заклятый враг, но он не был другом и с своими; он был слишком резок и угловат, крайние мнения его были неприятны запевалам и отпугивали слабых. В Швейцарии он особенно занялся ружейным мастерством. Он изобрел особенного устройства ружье, которое заряжалось по мере выстрелов и таким образом давало возможность пустить ряд пуль в одну точку, друг за другом. Этим ружьем он думал убить Наполеона, но дикие страсти Бартелеми два раза спасли Бонапарта от человека, в котором решимости было не меньше, чем у Орсини.

В партии Ледрю-Роллена находился лихой человек, бретер, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежал к особому типу людей, который часто встречается между польскими панам и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими в деревне,

к ним принадлежал Денис Давыдов и его «собутыльник» Бурцов, Гагарин — Адамова Головка и секундант Ленского Зарецкий *. В вульгарной форме они встречаются между прусскими «юнкерами» и австрийским казарменным бродерством¹. В Англии их совсем нет, во Франции они дома, как рыба в воде, но рыба с почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безрассудства и очень недалекие. Они всю жизнь живут воспоминанием двух-трех случаев, в которых они прошли сквозь огонь и воду, кому-нибудь обрубив уши, простояли под градом пуль. Случается, что они сперва наклеплют на себя отважный поступок, а потом действительно его сделают, чтоб подтвердить свои слова. Они смутно понимают, что этот задор — их сила, единственный интерес, которым они могут похвастаться, — а хвастаться им хочется смертельно. При этом они часто хорошие товарищи, особенно в веселой беседе и до первой размолвки, за своих стоят грудью и вообще имеют больше военной отваги, чем гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки в картах и в жизни, ланскене * всякого отчаянного предприятия, особенно если притом можно надеть мундир с генеральским шитьем, схватить денег, крестов и потом снова успокоиться на несколько лет в бильярдной или кофейной. А уж помогая Наполеону ли в Страсбурге, герцогине ли Беррийской в Блуа или красной республике в предместьи св. Антона * — все равно. Храбрость и удача для них и для всей Франции покрывают все.

Курне начал свою карьеру во флоте во время ссоры Франции с Португалией *. Он с несколькими товарищами влез на португальский фрегат, овладел экипажем и взял фрегат. Случай этот определил и окончил дальнейшую жизнь Курне. Вся Франция говорила о молодом мичмане; далее он не пошел и так же кончил свою карьеру абордажем, которым начал ее, как если б он на нем был убит наповал. Из флота он был впоследствии исключен. В Европе царил глухой мир; Курне поскучал, поскучал и стал воевать на свой салтык. Он говорил, что у него было до двадцати дуэлей; положим, что их было де-

¹ братством, от Bruder (нем.).— *Ред.*

сять, — и этого за глаза довольно, чтоб его не считать серьезным человеком.

Как он попал в красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли он во французской эмиграции не играл. Рассказывали об нем разные анекдоты, как он в Бельгии поколотил полицейского, который хотел его арестовать, и ушел от него, и другие проделки в том же роде. Он считал себя «одной из первых шпаг во Франции».

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненного, по-своему, необузданнейшим самолюбием, столкнувшись с надменной храбростью Курне, должна была привести к бедствиям. Они ревновали друг друга. Но, принадлежа к разным кругам, к враждебным партиям, они могли всю жизнь не встречаться. Добрые люди братски помогли делу.

Бартелеми имел на Курне какой-то зуб за письма, посланные ему через Курне из Франции, которые до него не дошли. Очень вероятно, что в этом деле он не был виноват; вскоре к этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился в Швейцарии с одной актрисой, итальянкой, и был с нею в связи. «Какая жалость, — говорил Курне, — что этот социалист из социалистов пошел на содержание к актрисе». Приятели Бартелеми тотчас написали ему это. Получив письмо, Бартелеми бросил свой проект ружья и свою актрису и прискакал в Лондон.

Мы уже сказали, что он был знаком с Виллихом. Виллих был человек с чистым сердцем и очень добрый прусский артиллерийский офицер; он перешел на сторону революции и сделался коммунистом. Дрался в Бадене за народ, начальствуя орудиями во время Геккерова восстания *, и когда все было побито, уехал в Англию. В Лондон он явился без гроша денег, попробовал давать уроки математики, немецкого языка — ему не повезло. Он бросил учебные книги и, забывая бывшие эполеты, геройски стал работником. С несколькими товарищами они завели мастерскую щеточных изделий; их не поддержали. Виллих не терял надежды ни на восстание Германии, ни на поправку своих дел; однако дела не поправлялись, и он надежду на тевтонскую республику увез с собою в Нью-Йорк, где получил от правительства место землемера.

Виллих понял, что дело с Курне примет очень дурной оборот, и сам себя предложил в посредники. Бартелеми вполне верил Виллиху и поручил ему дело. Виллих отправился к Курне; твердый, спокойный тон Виллиха подействовал на «первую шагу»; он объяснил историю писем; после, на вопрос Виллиха «уверен ли он, что Бартелеми жил на содержании у актрисы?», Курне сказал ему, что «он повторил слух и что жалеет об этом».

— Этого, — сказал Виллих, — совершенно достаточно, — напишите что вы сказали на бумаге, отдайте мне, и я с искренней радостью пойду домой.

— Пожалуй, — сказал Курне и взял перо.

— Так это вы будете извиняться перед каким-нибудь Бартелеми? — заметил другой рефюжье, взошедший в конце разговора.

— Как извиняться? И вы принимаете это за извинение?

— За действие, — сказал Виллих, — честного человека, который, повторивши клевету, жалеет об этом.

— Нет, — сказал Курне, бросая перо, — этого я не могу.

— Не сейчас же ли вы говорили?

— Нет, нет, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, что я «сказал это потому, что хотел сказать».

— Брависсимо! — воскликнул другой рефюжье.

— На вас, м. г., падет ответственность за будущие несчастья, — сказал ему Виллих и вышел вон.

Это было вечером. Он зашел ко мне, не выдавшись еще с Бартелеми; печально ходил он по комнате, говоря: «Теперь दुэль неотвратима! Экое несчастье, что этот рефюжье был налицо».

«Тут не сможешь, — думал я. — Ум молчит перед диким разгаром страстей, а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерий¹ и разных хористов в амфитеатре!..»

Через день, утром, я шел по Пель-Мелю; Виллих скорыми шагами торопился куда-то, я остановил его; бледный и встревоженный, обернулся он ко мне:

— Что?

— Убит наповал.

— Кто?

¹ партий, кружков (франц. coterie).-- *Ред.*

— Курне. Я бегу к Луи Блану за советом, что делать.

— Где Бартелеми?

— И он, и его секундант, и секунданты Курне в тюрьме; один из секундантов только не взят; по английским законам Бартелеми можно повесить.

Виллих сел на омнибус и уехал. Я остался на улице, постоял, постоял, повернулся и пошел опять домой.

Часа через два пришел Виллих. Луи Блан принял, разумеется, деятельное участие, хотел посоветоваться с известными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дело так, чтоб следователи не знали, кто стрелял и кто был свидетелем. Для этого надобно было, чтоб обе стороны говорили одно и то же. В том, что английский суд не захочет в деле дуэли употреблять полицейские уловки — в этом все были уверены.

Надобно было передать это приятелям Курне, но никто из знакомых Виллиха не ездил ни к ним, ни к Ледрю-Роллену, — Виллих поэтому отправил меня к Маццини.

Я его застал сильно раздраженным.

— Вы, верно, приехали, — сказал он, — по делу этого убийцы?

Я посмотрел на него, намеренно помолчал и сказал:

— По делу *Бартелеми*.

— Вы с ним знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастного Курне, были тоже приятели и друзья...

— Которые, вероятно, не называли его разбойником за то, что он был на двадцати дуэлях, на которых, кажется, *не он* был убит.

— Теперь ли поминать об этом.

— Я отвечаю.

— Что же, теперь спасти *его* из петли?

— Я полагаю, что особенного удовольствия никому не будет, если повесят человека, который себя так вел, как Бартелеми на июньских баррикадах. Впрочем, речь идет не о нем одном, а и о секундантах Курне.

— Его не повесят.

— Почему знать, — заметил хладнокровно молодой английский радикал, причесанный à la Jésus, молчавший все вре-

мя и подтверждавший слова Маццини головой, дымом сигары и какими-го неуловимыми *полифтонгами*, в которых пять-шесть гласных, сплюснутых вместе, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имеете против этого?

— Мы любим и уважаем закон.

— Не оттого ли,— заметил я, придавая добродушный вид моим словам,— все народы больше уважают Англию, чем любят англичан.

— Оеузэ?— спросил радикал, а может, и отвечал.

— В чем дело? — перебил Маццини.

Я рассказал ему.

— Они уже сами думали об этом и пришли к тому же результату.

Процесс Бартелеми имеет чрезвычайный интерес. Редко английский и французский характер обличались с такой резкостью, в такой тесной и удобоизмеримой раме.

Начиная с места поединка, все было нелепо. Они дрались близ Виндзора. Для этого надобно было по железной дороге (которая *только* идет в Виндзор) отъехать несколько десятков миль *от границы внутрь* королевства, в то время как вообще люди дерутся на границе, близ кораблей, лодок и пр. Выбор Виндзора, сверх того, сам по себе был никуда не годен: королевский дворец, любимая резиденция Виктории, разумеется, в полицейском отношении находится под двойным надзором. Я полагаю, что место это было выбрано очень просто, потому что французы из всех окрестностей Лондона только и знают *Ришмон* и *Вансор* *.

Секунданты взяли на *всякий случай* рапиры с отточенными концами, хотя и знали, что противники будут стреляться. Когда Курне пал, все, за исключением одного секунданта, который уехал особо и вследствие того спокойно пробрался в Бельгию, поехали вместе, *не забыв с собою взять* рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцию в Лондоне, телеграф уже давно известил полицию. Полиции искать было нечего: «четыре человека, с бородами и усами, в фуражках, говорящие по-французски и с завернутыми рапирами», были взяты выходя из вагонов.

Как же все это могло случиться? Не нам, кажется, учить французов прятаться от полиции. Эле, расторопнее, безнравственнее и неутомимее в своем усердии нет полиции в мире, как французская. Во время Людовика-Филиппа *ищущий* и *искомый* играли мастерски свою партию, каждый ход был рассчитан (теперь это не нужно: полиция по-русски, вперед говорит *шах и мат*), но ведь время Людовика-Филиппа не за горами. Каким же образом такой умный человек, как Бартеlemi, и такие бывалые люди, как секунданты Курне, наделали столько промахов?

Причина одна и та же: совершенное незнание Англии и английских законов. Они слыхали, что никого арестовать нельзя без «уаранд»¹; они слыхали о каком-то «абеас корпус» *, по которому следует выпустить человека по требованию адвоката, и полагали, что они доедут домой, переоденутся и будут в Бельгии, когда утром за ними придет одураченный констабль, *непрерменно* с палочкой (как их описывают во французских романах), и скажет, увидя, что их нет: «Goddamn!»², — несмотря на то, что ни констабли палочек не носят, ни англичане не говорят «goddamn!»

Арестованных посадили в Surrey'скую тюрьму. Начались посещения, поехали дамы, поехали приятели убитого Курне. Полиция, разумеется, тотчас догадалась, в чем дело и как оно было; впрочем, этого нельзя ей поставить в заслугу: приятели и неприятли Бартеlemi и Курне кричали в трактирах и public-гаузах³ о всех подробностях дуэли, разумеется, прибавляя и такие, которых вовсе не было и совершенно не могло быть. Но официально полиция *не хотела* знать, и потому, когда одни посетители спрашивали позволение видеть секунданта «Бароне», другие секунданта Бартеlemi, полицейский офицер решил им сказать: «Гг., мы вовсе не знаем, кто из них секундант, кто виноватый, следствие еще не открыло всех обстоятельств дела, называйте, пожалуйста, знакомых ваших по именам». Первый урок!

¹ приказа, ордера (англ. warrant).— *Ред.*

² «Черт побери!» (англ.).— *Ред.*

³ пивных (англ. public-house).— *Ред.*

Наконец, судебный круг дошел до Surrey, назначен был день, в который lord-chief-justice¹ Кембель будет судить дело о неизвестно кем убитом французе Курне и прикосновенных к его убийству лицах.

Я тогда жил возле Primrose-Hill; часов в семь холодно-туманного февральского утра вышел я в Режент-парк, чтоб, пройдя его, отправиться на железную дорогу.

День этот остался очень рельефно в моей памяти. От тумана, покрывавшего парк и белых лебедей, сонно плывших по воде, подернутой искрасно-желтым дымом, до той минуты, когда, далеко за полночь, я сидел с одним lawyer'ом у Верри на Режент-стрите и пил шампанское за здоровье Англии. Все — как на блюдечке.

Я английского суда не видал прежде; комизм средневековой mise en scène² будит в нас больше воспоминаний оперы-буфф, чем почтенной традиции, но это можно забыть в этот день.

Около десяти часов перед гостиницею, где стоял лорд Кембель, явились первые маски, герольды с двумя трубачами, возвестившие, что лорд Кембель в открытом суде будет в 10 часов судить тако-то дело. Мы бросились к дверям судебной залы, которая была в нескольких шагах; между тем через площадь двигался и лорд Кембель в золоченой карете, в парике, который только уступал в величине и красоте парика его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пешком человек двадцать атторнеев, солиситоров, подобрав мантии, без шляп и в шерстяных париках, намеренно сделанных как можно меньше похожими на человеческие волосы. В дверях я чуть было, вместо суда чиф-джюстиса³ Кембеля над Бартеlemi, не попал на суд, который бог держал над Курне.

В самых дверях масса народа, вытесняемая полицейскими из залы, и нечеловеческий напор сзади произвели остановку, — вперед нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейским надоело работать по мелочи, они схватились за руки и разом, дружно пошли на приступ; передний ряд мсня так прижал, что дыхание сперлось... Еще и еще храбрый напор

¹ лорд верховный судья (англ.).— *Ред.*

² постановки (франц.).— *Ред.*

³ верховного судьи (англ. chief-justice).— *Ред.*

осаждающих — и мы вдруг очутились вытесненными, выжатыми, выброшенными на десять шагов далее двери на улицу.

Если б не знакомый адвокат, мы бы совсем не попали: зала была набита; он нас провел особыми дверями, и мы, наконец, уселись, отирая пот и справляясь, целы ли часы, деньги и пр.

Замечательная вещь, что нигде толпа не бывает многочисленнее, плотнее, страшнее, как в Лондоне, а делать «кё»¹ ни в каком случае не умест; англичане всегда берут своим национальным упорством, дают два часа — что-нибудь да продавят. Меня это много раз дивило при входе в театры: если б люди шли друг за другом, они наверное вошли бы в полчаса, но так как они прут всей массой, то множество передних прибываются по правой и левой стороне дверей, тут ими овладевает какое-то сосредоточенное ожесточение, и они начинают давить с боков медленнодвигающуюся среднюю струю без всякой пользы для себя, но как бы вымещая на их боках их счастье.

Стучат в двери. Какой-то господин, тоже в маскарадном платье, кричит: «Кто там?» — «Суд», — отвечают с той стороны; отворяются двери, и является Кембель в шубе и в каком-то женском шлафроке; он поклонился на все четыре стороны и объявил, что суд открыт.

Мнение о деле Бартеlemi, составленное судом, т. е. Кембелем, было ясно с начала до конца, и он его выдержал, несмотря на все усилия французов сбить его с дороги и ухудшить. Была дуэль. Один убит. Оба — французы, рефюжье, имеющие иные понятия о чести, чем мы; кто из них прав, кто виноват, разобрать трудно. Один сошел с баррикад, другой бретер. Нам нельзя оставить это безнаказанным, но не следует всю силой английских законов побивать иностранцев, тем больше что все они люди чистые и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому — кто убийца, мы не будем добиваться; всё вероятие, что убийца — тот из них, который бежал в Бельгию; подсудимых мы обвиним в участии и спросим присяжных, виноваты ли они в manslaughter² или нет? Обвиненные присяжными,

¹ становится в очередь (франц. faire la queue).— *Ред.*

² человекоубийстве (англ.).— *Ред.*

они в наших руках; мы приговорим их к одному из наименьших наказаний и покончим дело. Оправдают их присяжные— бог с ними совсем, пусть идут на все четыре стороны.

Все это французам обеих партий было нож острый!

Сторонники Курне хотели воспользоваться случаем, чтоб потерять в мнении суда Бартелеми и, не называя его прямо, указать на него как на убийцу Курне.

Несколько человек друзей Бартелеми и сам он домогались покрыть презрением и стыдом Бароне и компанию странной подробностью, которая открылась в полицейском следствии. Пистолеты были взяты у ружейника, после дуэли ему их прислали. Один пистолет был заряжен. Когда началось дело, ружейник явился с пистолетом и с показанием, что под пулей и порохом лежала небольшая тряпочка, так что выстрел был невозможен.

Дуэль шла так: Курне выстрелил в Бартелеми и не попал. У Бартелеми капсуль исправно щелкнул, но выстрела не было; ему дали другой капсуль — та же история. Тогда Бартелеми бросил пистолет и предложил Курне драться на рапирах. Курне не согласился; решились еще раз стрелять, но Бартелеми потребовал другой пистолет, на что Курне тотчас согласился. Пистолет был подан, раздался выстрел, и Курне упал мертвый.

Стало быть, пистолет, возвратившийся к ружейнику заряженным, был тот самый, который был в руках Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты достал приятель Курне Пардигон, некогда участвовавший в «*Voix du Peuple*» и страшно изуродованный в Июньские дни¹.

¹ Пардигон, схваченный в Июньские дни, был брошен в тюльерийский подвал; там находилось тысяч до пяти человек. Тут были холерные, раненые, умиравшие. Когда правительство прислало Корменена освидетельствовать положение их, то, отворивши двери, он и доктора отпрянули от удушающей заразной вонючки. К окошечкам *sourigail* (отдушины (франц.)) было запрещено подходить. Пардигон, изнемогая от духоты, поднял голову, чтоб подышать; это заметил часовой из Национальной гвардии и сказал ему, чтоб он отошел или он выстрелит. Пардигон медлил; тогда почтенный буржуа опустил дуло и выстрелил в него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть; он упал. Вечером часть арестантов повели в форты, в том числе подняли раненого Пардигона,

Если б можно было доказать, что тряпка была положена с целью, т. е. что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позором и погублены на веки веков.

За такой приятный результат Бартелеми охотно пошел бы на десять лет в каторжную работу или в депортацию.

По следствию оказалось, что лоскуток, вынутый из пистолета, действительно принадлежал Пардигону: он был вырван из тряпки, которой он обгирал лаковые сапоги. Пардигон говорил, что он чистил дуло, надев тряпочку на карандаш, и что, может, вертевши ею, отрезал лоскуток; но друзья Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нету городков от складок...

С своей стороны противники Бартелеми приготовили фалангу свидетелей à décharge¹ в пользу Бароне и его товарищей.

Политика их состояла в том, что атторней со стороны Бароне будет их спрашивать об antecedентах Курне и прочих. Они превознесут их и будут молчать о Бартелеми и его секундантах. Такое единодушное умалчивание со стороны соотечественников и «корелигиознеров»² должно было, по их мнению, сильно поднять в глазах Кембеля и публики одних и сильно уронить других. Призыв свидетелей стоит денег, да и, сверх того, у Бартелеми не было целой ширинги друзей, которым он мог бы отдать приказание говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при следствии, умели красноречиво молчать.

Одного из арестованных свидетелей, Бароне, следопроизводитель спросил, знает ли он, кто убил Курне, или кого он подо-

связали ему руки и повели. Тут известная тревога на Карусельской площади, в которой Национальная гвардия со страха стреляла друг в друга; раненый Пардигон выбился из сил и упал; его бросили на пол в полицейскую корлегардию, и он остался с связанными руками, лежа на спине и *захлебываясь* своей кровью из раны. Так его застал какой-то политехник, разругавший этих каннибалов и заставивший их снести больного в больницу. Помнится, я этот случай рассказал в «Письмах из Италии и Франции» *... но это не мешает протверживать, чтоб не забывать, что такое обрванная парижская буржуазия.

¹ защиты (франц.).— *Ред.*

² единомышленников (франц. coreligionnaire).— *Ред.*

зревает. Бароне отвечал, что никакие угрозы, никакие наказания не заставят его назвать человека, лишившего жизни Курне, несмотря на то, что покойник был лучший друг его. «Если бы я должен был десяток лет влечь цепи в душной тюрьме, то я и тогда не сказал бы».

Солиситор перебил его хладнокровным замечанием: «Да это ваше право; впрочем, вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете».

И после всего этого они хотели перехитрить — кого же? — *лорда Кембеля*? Я желал бы приложить его портрет для того, чтоб показать всю меру нелепости этой попытки. Старика лорда Кембеля, поседевшего и сморщившегося на своем судейском кресле, читая равнодушным голосом, с шотландским акцентом, страшнейшие evidences¹ и распутывая самые сложные дела с осязательной ясностью, — его хотела перехитрить кучка парижских клубистов... Лорда Кембеля, который никогда не поднимает голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяет себе в самых смешных или сильных минутах высморкаться... Лорда Кембеля, с лицом ворчуньи-старухи, в котором, вглядываясь, вы ясно видите известную метаморфозу, так неприятно удивившую девочку *красную шпичку*, что это вовсе не бабушка, а волк, в парике, женском робоне и кацавейке, обшитой мехом.

Зато его лордшипство не осталось в долгу.

После долгих дискуссий о тряпочке и после показаний Пардигона защитники Бароне начали вызывать свидетелей.

Во-первых, явился старик рефюжье, товарищ Барбеса и Блапки. Он сначала с некоторым отвращением принял библию, потом сделал движение рукой, — «была, мол, не была», — присягнул и вытянул шею.

— Давно ли вы, — спросил один из атторнеев, — знакомы с Курне?

— Граждане, — сказал рефюжье по-французски, — с молодых лет моих преданный одному делу, я посвятил жизнь свою священному делу свободы и равенства... — и пошел было в этом роде.

¹ свидетельские показания (англ.).— *Ред.*

Но атторней остановил его и, обращаясь к переводчику, заметил: «Свидетель, кажется, не понял вопроса, переведите его на французский».

За ним следовал другой. Пять-шесть французов, с бородами, идущими в рюмочку, и плешивых, с огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконец с волосами, падающими на плечи, и в красных шейных платках, явились один за другим, чтоб сказать вариации на следующую тему: «Курне был человек, которого достоинства превышали добродетели, а добродетели равнялись достоинствам, он был украшение эмиграции, честь партии, жена его неутешна, а друзья утешаются только тем, что остались в живых такие люди, как Бароне и его товарищи».

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, он французский рефюжье... Видал, но не знаю ничего об нем. — При этом свидетель чмокал по-французски ртом.

— Свидетеля такого-то... — сказал атторней.

— Позвольте, — заметила бабушка Кембель голосом мягкого участия, — не беспокойте их больше, это множество свидетелей *в пользу* покойного Курне и подсудимого Бароне нам кажется излишним и вредным, мы не считаем ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы их честность и порядочное поведение следовало доказывать с таким упорством. Сверх того, Курне умер, и нам вовсе не нужно ничего знать о нем, мы призваны судить одно дело о его убиении; все идущее к этому преступлению для нас важно, а события прошлой жизни подсудимых, которых мы равно считаем весьма порядочными джэнтльменами, нам не нужно знать. Я, с своей стороны, не имею никаких подозрений насчет г. Бароне.

— «А на что у тебя, бабушка, такие хитрые да смеющиеся глаза?»

— «На то, что ртом я, по мозму сану, не могу смеяться над вами, милые внучаты, а потому посмеюсь глазами».

Разумеется, что после этого свидетелей с прической внизу и с прической наверху, с военным видом и с кашне всех семи цветов призмы, отпустили не слушавши.

Затем дело пошло быстро.

Один из защитников, представляя присяжным, что подсу-

димые — иностранцы, совершенно не знающие английских законов, заслуживают всякого снисхождения, прибавил:

— Представьте себе, гг. присяжные, г. Бароне так мало знал Англию, что на вопрос: «Знаете ли вы, кто убил Курне?» отвечал, что если б его в цепях посадили лет на десять в тюремные склепы, то он и тогда бы не сказал имени. Вы видите, что г. Бароне еще имел об Англии какие-то средневековые понятия: он мог думать, что за его умалчивание его можно ковать в цепи, бросить на десять лет в тюрьму. Надеюсь, — сказал он, не удерживая смеха, — что несчастное событие, по которому г. Бароне был несколько месяцев лишен свободы, убедило его, что тюрьмы в Англии несколько улучшились с средних веков и вряд ли хуже тюрем в некоторых других странах. Докажемте же подсудимым, что и суд паш также человечествен и справедлив, и пр.

Присяжные, составленные наполовину из иностранцев, нашли подсудимых «виновными».

Тогда Кембель обратился к подсудимым, напомнил им строгость английских законов, напомнил, что иностранец, ступая на английскую землю, пользуется всеми правами англичанина и за это должен нести и равную ответственность перед законом. Потом перешел к разнице нравов и сказал, наконец, что он не считал бы справедливым наказать их по всей строгости законов, а потому приговаривает их *к двухмесячному тюремному заключению*.

Публика, народ, адвокаты и мы все были довольны: ждали резкого наказания, но не смели думать о меньшем *minimum'e*, как три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошел к Бартелеми; он мрачно сжал мне руку и сказал:

— Пардигон-то остался чист, Бароне... — и он пожал плечами.

Когда я выходил из зала, я встретил моего знакомого, lawyer'a; он стоял с Бароне.

— Лучше бы меня, — говорил последний, — на год посадили, чем смешать с этим злодеем Бартелеми.

Суд кончился часов около десяти вечером. Когда мы пришли на железную дорогу, мы застали в амбаркадере толпы фран-

цузов и англичан, громко и шумно рассуждавших о деле. Большинство французов было довольно приговором, хотя и чувствовало, что победа не по ту сторону Ламанша. В вагонах французы затащили «Марсельезу».

— Господа,— сказал я,— справедливость прежде всего; на этот раз споемте-ка «Rule, Britannia!»

И «Rule, Britannia» запели!

БАРТЕЛЕМИ

Прошло два года... Бартелеми снова стоял перед лордом Кембелем, и на этот раз угрюмый старик, накрывшись черным клобуком, произнес над ним иной приговор.

В 1854 году Бартелеми еще больше отдалился от всех; вечно чем-то занятой, он мало показывался, готовил что-то в тиши; люди, жившие с ним вместе, знали не больше других. Я его видал изредка; он всегда мне показывал большое сочувствие и доверие, но ничего особенного не говорил.

Вдруг разнесся слух о двойном убийстве: Бартелеми убил какого-то мелкого, неизвестного английского купца и потом полицейского агента, который хотел его арестовать *. Объяснения, ключа — никакого. Бартелеми молчал перед судьями, молчал в Ньюгете *. Он с самого начала признался в убийстве полицейского; за это его можно было приговорить к смертной казни, а потому он остановился на признании, защищая, так сказать, *свое право* быть повешенным за последнее преступление, не говоря о первом.

Вот что мы узнали мало-помалу. Бартелеми собрался ехать в Голландию. В дорожном платье, с визированным паспортом в кармане, с револьвером в другом, в сопровождении женщины, с которой он жил, Бартелеми отправился в девять часов вечером к англичанину, фабриканту содовой воды. Когда он постучался, горничная открыла ему дверь; хозяин пригласил их в парлор и вслед за тем пошел с Бартелеми в свою комнату.

Горничная слышала, как разговор становился крупнее, как он перешел в брань; вслед за тем ее господин открыл дверь и пихнул Бартелеми; тогда Бартелеми вынул из кармана пистолет и выстрелил в него. Купец упал мертвый. Бартелеми

бросился вон; испуганная француженка скрылась прежде него и была счастливее. Полицейский агент, слышавший выстрел, остановил Бартелеми на улице; он грозил ему пистолетом, полицейский не пускал. Бартелеми выстрелил... На этот раз больше чем вероятно, что он не хотел убить агента, а только пострадать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолет, в таком близком расстоянии, он его смертельно ранил. Бартелеми пустился бежать, но уже полицейские его заметили, и он был схвачен.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это был просто акт разбоя, что Бартелеми хотел ограбить англичанина. Но англичанин вовсе не был богат. Без полного помешательства трудно предположить, чтоб человек пошел на открытый разбой в Лондоне, в одном из населеннейших кварталов, в знакомый дом, часов в девять вечером, с женщиной, — и все это, чтоб украсть каких-нибудь сто ливров (что-то такое было найдено в комодѣ убитого).

Бартелеми за несколько месяцев до этого завел какую-то мастерскую крашеных стекол с узорами, арабесками и надписями по особому способу. Он на привилегию истратил фунтов до 60, фунтов 15 недостало, он попросил у меня взаймы и очень аккуратно отдал. Ясно, что тут было что-то важнее простого воровства... Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, его мономания остались. Что он ехал в Голландию только для того, чтобы оттуда пробраться в Париж, — это знали многие.

Едва три-четыре человека остановились в раздумье перед этим кровавым делом; остальные все испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повешенным в Англии не respectfully; имѣть связи с человеком, судимым за убийство, — shocking¹; ближайšie друзья его отшарахнулись...

Я тогда жил в Твикнеме. Прихожу раз домой вечером, меня ждут два рефужье.

— Мы к вам, — говорят они, — приехали, чтоб вас удостоверить, что мы ни малейшего участия не имѣли в страшном деле Бартелеми; у нас была общая работа, мало ли с кем приходится работать. Теперь скажут... подумают...

¹ скандално (англ.). — *Ред.*

— Да неужели вы за этим приехали из Лондона в Твикнем? — спросил я.

— Ваше мнение нам очень дорого.

— Помилуйте, господа; да я сам был знаком с Бартеlemi, и хуже вас, потому что никакой общей работы не имел, но не отрекаюсь от него. Я не знаю дела, суд и осуждение предоставляю лорду Кембелю, а сам плачу о том, что такая молодая и богатая сила, такой талант так воспитался горькой борьбой и средой, в которой жил, что в пущем цвете лет его жизнь потухнет под рукою палача.

Поведение его в тюрьме поразило англичан: ровное, покойное, печальное без отчаяния, твердое без *jaistance*¹. Он знал, что для него все кончено, и с тем же непоколебимым спокойствием выслушал приговор, с которым некогда стоял под градом пуль на баррикаде.

Он писал к своему отцу и к девушке, которую любил. Письмо к отцу я читал, — ни одной фразы, величайшая простота; он кротко утешает старика, как будто речь не о нем самом.

Католический священник *, который *ex officio*² ходил к нему в тюрьму, человек умный и добрый, принял в нем большое участие и даже просил Палмерстона о перемене наказания, но Палмерстон отказал. Разговоры его с Бартеlemi были тихи и исполнены гуманности с обеих сторон. Бартеlemi писал ему: «Много, много благодарен я вам за ваши добрые слова, за ваши утешения. Если б я мог обратиться в верующего, то, конечно, одни вы могли бы обратить меня; но что же делать... у меня нет веры!» После его смерти священник писал одной знакомой мне даме *: «Какой человек был этот несчастный Бартеlemi! Если б он дольше прожил, может, его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душе!»

Тем больше останавливаюсь я на этом случае, что «Times» с злобой рассказал насмешку Бартеlemi над шерифом.

За несколько часов до казни один из шерифов, узнав, что Бартеlemi отказался от духовной помощи, счел себя обязанным обратиться к нему на путь спасения и начал ему пороть ту

¹ самохвальства (франц.).— *Ред.*

² по должности (лат.).— *Ред.*

пиетистическую дичь, которую печатают в английских грошовых трактатах, раздаваемых даром на перекрестках. Бартеlemi на- доело увещание шерифа. Апостол с золотой цепью заметил это и, приняв торжественный вид, сказал ему:

— Подумайте, молодой человек, через несколько часов вы будете не мне отвечать, а богу.

— А как вы думаете,— спросил его Бартеlemi,— бог говорит по-французски или нет? Иначе я ему не могу отвечать.

Шериф побледнел от негодования, и бледность и негодова- ние дошли до парадного ложа всех шерифских, мэрских, ал- дерманских вздохов и улыбок,— до огромных листов «Теймса».

Но не один апостольствующий шериф мешал Бартеlemi уме- реть в том серьезном и нервно поднятом состоянии, которого он искал, которое так естественно искать в последние часы жизни.

Приговор был прочтен. Бартеlemi заметил кому-то из дру- зей, что, уж если нужно умереть, он предпочел бы тихо, без свидетелей потухнуть в тюрьме, чем всенародно, на площади, погибнуть от руки палача. «Ничего нет легче: завтра, после- завтра я тебе принесу стрихнину». Мало одного — двое взялись за дело. Он тогда уже содержался, как осужденный, т. е. очень строго; тем не меньше через несколько дней друзья достали стрихнин и передали ему в белье. Оставалось убедиться, что он нашел. Убедились и в этом...

Боясь ответственности, один из них, на которого могло пасть подозрение, хотел на время покинуть Англию. Он попросил у меня несколько фунтов на дорогу; я был согласен их дать. Что, кажется, проще этого? Но я расскажу это ничтожное дело для того, чтоб показать, каким образом все тайные заговоры французов открываются, каким образом у них во всяком деле компрометирована любовью к роскошной *mise en scène* бездна посторонних лиц.

Вечером в воскресенье у меня были, по обыкновению, не- сколько человек польских, итальянских и других рефюжье. В этот день были и дамы. Мы очень поздно сели обедать, часов в восемь. Часов в девять взошел один близкий знакомый. Он ходил ко мне часто, и потому его появление не могло бро- ситься в глаза; но он так ясно выразил всем лицом: «Я умал- чиваю!», что гости переглянулись.

— Не хотите ли чего-нибудь съесть или рюмку вина? — спросил я.

— Нет,— сказал, опускаясь на стул, сосуд, отяжелевший от тайны.

После обеда он при всех вызвал меня в другую комнату и, сказавши, что Бартеlemi достал яд (новость, которую я уже слышал), передал мне просьбу о ссуде деньгами отъезжающего.

— С большим удовольствием. Теперь? — спросил я. — Я сейчас принесу.

— Нет, я ночую в Твикнеме и завтра утром еще увижусь с вами. Мне не нужно вам говорить, вас просить, чтоб ни один человек...

Я улыбнулся.

Когда я взшел опять в столовую, одна молодая девушка спросила меня: «Верно, он говорил о Бартеlemi?»

На другой день, часов в восемь утра, взшел Франсуа и сказал, что какой-то француз, которого он прежде не видел, требует непременно меня видеть.

Это был тот самый приятель Бартеlemi, который хотел незаметно уехать. Я набросил на себя пальто и вышел в сад, где он меня дождался. Там я встретил болезненного, ужасно исхудалого черноволосого француза (я после узнал, что он годы сидел в Бель-Иле и потом à la lettre¹ умирал с голоду в Лондоне). На нем был потертый пальто, на который бы никто не обратил внимания, но дорожный картуз и большой дорожный шарф, обмотанный круг шеи, невольно остановили бы на себе глаза в Москве, в Париже, в Неаполе.

— Что случилось?

— Был у вас такой-то?

— Он и теперь здесь.

— Говорил о деньгах?

— Это все кончено — деньги готовы.

— Я, право, очень благодарен.

— Когда вы едете?

— Сегодня... или завтра.

К концу разговора подоспел и наш общий знакомый. Когда путешественник ушел—

¹ буквально (франц.).— *Ред.*

— Скажите, пожалуйста, зачем он приезжал? — спросил я его, оставшись с ним наедине.

— За деньгами.

— Да ведь вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотелось с вами познакомиться; он спрашивал меня, приятно ли вам будет, — что же мне было сказать?

— Без сомнения, очень. Но только я не знаю, хорошо ли он выбрал время.

— А разве он вам помешал?

— Нет, а как бы полиция ему не помешала выехать...

По счастью, этого не случилось. В то время как он уезжал, его товарищ усомнился в яде, который они доставили, подумал-подумал и дал остаток его собаке. Прошел день — собака жива, прошел другой — жива. Тогда, испуганный, он бросился в Ньюгет, добился свиданья с Бартелеми через решетку и, улучив минуту, шепнул ему:

— У тебя?

— Да, да!

— Вот видишь, у меня большое сомнение. Ты лучше не принимай: я пробовал над собакой, — никакого действия не было!

Бартелеми опустил голову и потом, поднявши ее и с глазами, полными слез, сказал:

— Что же вы это надо мной делаете!

— Мы достанем другого.

— Не надобно, — ответил Бартелеми, — пусть совершится судьба.

И с той минуты стал готовиться к смерти, не думал об яде и писал *какой-то мемуар, который не выдали* после его смерти другу, которому он его завещал (тому самому, который уезжал).

Девятнадцатого января в субботу * мы узнали о посещении священником Палмерстона и его отказе.

Тяжелое воскресенье следовало за этим днем... Мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался один. Лег спать, уснул и тотчас проснулся. Итак, через семь-шесть-пять часов его, исполненного силы, молодости, страстей, совершенно здо-

рового, выведут на площадь и убьют, безжалостно убьют, без удовольствия и озлобления, а еще с каким-то фарисейским состраданием!.. На церковной башне начало бить семь часов. *Теперь* двинулось шествие, и Калкрофт налицо... Послужили ли бедному Бартеlemi его стальные нервы? У меня стучал зуб об зуб.

В 11 утра взошел Д<оманже>.

— Кончено? — спросил я.

— Кончено.

— Вы были?

— Был.

Остальное досказал «Times»^{1*}.

¹ Против статьи «Теймса» аббат Roux напечатал*:

«The murderer Barthélemy.

A monsieur le rédacteur du „Times“.

Monsieur le Rédacteur, — Je viens de lire dans votre estimable feuille de ce jour, sur les derniers moments du malheureux Barthélemy, un récit, auquel je pourrais beaucoup ajouter, tout en y relevant un grand nombre de singulières inexactitudes. Mais, vous comprenez, Monsieur, tout ce que m'impose de réserver ma position de prêtre catholique et de confident du prisonnier.

J'étais, donc, résolu de demeurer étranger à tout ce qui serait publié sur les derniers moments de cet infortuné (et c'est ainsi que j'avais refusé de répondre à toutes les demandes qui m'avaient été adressées par des journaux de toutes les opinions); mais je ne puis laisser passer sous silence l'imputation, flétrissante pour mon caractère, qu'on met adroitement dans la bouche du malheureux prisonnier, quand on lui fait dire: „que j'avais trop bon goût pour le troubler au sujet de la religion“.

J'ignore si Barthélemy a réellement tenu un pareil langage, et à quelle époque il l'a tenu. S'il s'agit de mes trois premières visites, il disait vrai. Je connaissais trop bien cet homme pour essayer de lui parler de la religion avant d'avoir gagné sa confiance; il me serait arrivé ce qui était arrivé à d'autres prêtres catholiques qui l'ont visité avant moi. Il aurait refusé de me voir plus longtemps; mais dès ma quatrième visite la religion a été le sujet de nos continuels entretiens. Je n'en voudrais pour preuve que cette conversation si animée, qui a eu lieu entre nous dans la soirée de dimanche sur l'éternité des peines, l'article de notre, ou plutôt de sa religion, qui lui faisait le plus de peine. Il refusait, avec Voltaire, de croire, que —

Ce Dieu qui sur *nos* jours versa tant de bienfaits,
Quand ces jours sont finis, *nous* tourmente à jamais.

Je pourrais citer encore les paroles qu'il m'adressait un quart d'heure

Когда все было готово, рассказывает «Times», он попросил письмо той девушки, к которой писал, и, помнится, локон ее волос или какой-то сувенир; он сжал их в руке, когда палач подошел к нему... Их, сжатыми в его окоченелых пальцах,

avant de monter à l'échafaud; mais, comme ces paroles n'auraient d'autre garantie que mon propre témoignage, j'aime mieux citer la lettre suivante, écrite par lui le jour même de l'exécution, à six heures du matin, au moment où, selon le récit de votre correspondant, il dormait d'un profond sommeil:

„Cher Monsieur l'Abbé, — Avant de cesser de battre, mon cœur éprouve le besoin de vous témoigner toute sa gratitude pour les soins affectueux que vous m'avez si évangéliquement prodigués pendant mes derniers jours. Si ma conversion avait été possible, elle aurait été faite par vous; je vous l'ai dit: je ne crois à rien! Croyez bien que mon incrédulité n'est point le résultat d'une résistance orgueilleuse; j'ai sincèrement fait mon possible, aidé de vos bons conseils; malheureusement, la foi ne m'est pas venue, et le moment est proche... Dans deux heures je connaîtrai le secret de la mort. Si je me suis trompé, et si l'avenir qui m'attend vous donne raison, malgré ce jugement des hommes, je ne redoute pas de paraître devant notre Dieu, qui, dans sa miséricorde infinie, voudra bien me pardonner mes péchés en ce monde.

Oui, je voudrais pouvoir partager vos croyances, car je comprends que ceux qui se réfugient dans la foi religieuse trouvent, au moment de mourir, des forces dans l'espérance d'une autre vie, tandis que moi, qui ne crois qu'à l'anéantissement éternel, — je suis obligé de puiser à ce moment suprême mes forces dans les raisonnements, peut-être faux, de la philosophie et dans le courage humain.

Encore une fois merci! et adieu!

E. Barthélemy.

Newgate, 22 janvier, 1855, 6 h. du matin.

P. S. Je vous prie d'être auprès de M. Clifford l'interprète de ma gratitude».

J'ajouterai à cette lettre que le pauvre Barthélemy se trompait lui-même, ou plutôt cherchait à me tromper, par quelques phrases, dernières concessions faites à l'orgueil humain. Ces phrases auraient disparu, je n'en doute pas, si la lettre eût été écrite une heure plus tard. Non, Barthélemy n'est pas mort incrédule; il m'a chargé, au moment de mourir, de déclarer qu'il pardonnait à tous ses ennemis, et m'a prié de me tenir auprès de lui jusqu'au moment où il aurait cessé de vivre. Si je me suis tenu à une certaine distance, — si je me suis arrêté sur la dernière marche de l'échafaud, l'autorité en connaît la cause. Du reste, j'ai rempli religieusement les dernières volontés de mon malheureux compatriote. Il m'a dit en me quittant, avec un

нашли помощники палача, пришедшие снять его тело с виселицы. «Человеческая справедливость,— как говорит «Теймс»,— была удовлетворена!»

Я думаю,— да это и дьявольской не показалось бы мало!

accent que je n'oublierai de ma vie — „Priez, priez, priez!“ J'ai prié avec effusion de cœur, et j'espère que celui a déclaré qu'il était né catholique, et qu'il voulait être catholique, aura eu à son moment suprême un de ces repenties ineffables qui purifient une âme, et lui ouvrent les portes de l'éternelle vie.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression de mes sentiments les plus distingués,

L'abbé Roux.

Chapel-house, Cadogan-terrace, Jan. 24.

<«Убийца Бартеlemi.»

Господину редактору „Теймса“.

Господин редактор, я только что прочел в сегодняшнем номере Вашей уважаемой газеты о последних минутах несчастного Бартеlemi — рассказ, к которому я мог бы многое прибавить, указав и на большое количество странных неточностей. Но Вы, господин редактор, понимаете, к какой сдержанности обязывает меня мое положение католического священника и духовника заключенного.

Итак, я решил отстраниться от всего, что будет напечатано о последних минутах этого несчастного (и я действительно отказывался отвечать на все вопросы, с которыми ко мне обращались газеты всех направлений); но я не могу обойти молчанием позорящее меня обвинение, которое ловко вкладывают в уста бедного узника, якобы сказавшего, что „я достаточно воспитан, чтобы не беспокоить его вопросами религии“.

Не знаю, говорил ли Бартеlemi действительно что-либо подобное и когда он это говорил. Если речь идет о первых трех моих посещениях, то он говорил правду. Я слишком хорошо знал этого человека, чтобы пытаться заговорить с ним о религии, и завоевав прежде его доверия; в противном случае со мной случилось бы то же, что и со всеми другими католическими священниками, посещавшими его до меня. Он не захотел бы меня больше видеть; но начиная с четвертого посещения, религия являлась предметом наших постоянных бесед. В доказательство этого я желал бы указать на нашу столь оживленную беседу, состоявшуюся в воскресенье вечером, о вечных муках — догмате нашей или, скорее, его религии, который больше всего угнетал его. Вместе с Вольтером он отказывался верить, что „тот бог, который излил на дни нашей жизни столько благоденний, по окончании этих дней предаст нас вечным мукам“.

Я мог бы привести еще слова, с которыми он обратился ко мне за четверть часа до того, как он взошел на эшафот; но так как эти слова не име-

Тут бы и остановиться. Но пусть же в моем рассказе, как было в самой жизни, равно останутся следы богатырской поступи... и возле ступня... ослиных и свиных копыт. /

Когда Бартелеми был схвачен, у него не было достаточно денег, чтоб платить солиситору; да ему и не хотелось панимать его. Явился какой-то неизвестный адвокат Геринг, предложивший ему защищать его,— явным образом, чтоб сделать себя известным. Защищал он слабо, но и не надобно забывать, задача была необыкновенно трудна: Бартелеми молчал и не хотел, чтоб Геринг говорил о главном деле. Как бы то ни было, Геринг возился, терял время, хлопотал. Когда казнь была назначена, Геринг пришел в тюрьму проститься. Бартелеми был тронут, благодарил его и, между прочим, сказал ему:

— У меня ничего нет, я не могу вознаградить ваш труд ничем, кроме моей благодарности. Хотел бы я вам по крайней мере оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нет, что б я мог вам предложить. Разве мое пальто?

— Я вам буду очень, очень благодарен, я хотел его у вас просить.

— С величайшим удовольствием, — сказал Бартелеми, — но он плох...

ли бы иного подтверждения, кроме моего собственного свидетельства, я предпочитаю сослаться на следующее письмо, написанное им в самый день казни, в шесть часов утра, в тот самый миг, когда он спал глубоким сном, по словам Вашего корреспондента:

„Дорогой господин аббат. Сердце мое, прежде чем перестать биться, испытывает потребность выразить Вам свою благодарность за нежную заботу, которую Вы с такой евангельской щедростью проявили по отношению ко мне в течение моих последних дней. Если бы мое обращение было возможно, оно было бы совершено Вами: я говорил Вам: «Я ни во что не верю!» Поверьте, что мое неверие вовсе не является следствием сопротивления, вызванного гордыней; я искренне делал все, что мог, пользуясь Вашими добрыми советами; к несчастью, вера не пришла ко мне, а роковой момент близок... Через два часа я познаю тайну смерти. Если я ошибался и если будущее, ожидающее меня, подтвердит Вашу правоту, то, несмотря на этот суд людской, я не боюсь предстать перед богом, который, в своем бесконечном милосердии, конечно, простит мне мои грехи, совершенные в сем мире.

Да, я желал бы разделять Ваши верования, ибо я понимаю, что тот, кто находит убежище в религии, черпает, в момент смерти, силы в надежде

— О, я его не буду носить... признаюсь вам откровенно, я уж запродам его, и очень хорошо.

— Как запродали? — спросил удивленный Бартеlemi.

— Да, madame Тюссо, для ее... особой галереи *.

Бартеlemi содрогнулся.

Когда его вели на казнь, он вдруг вспомнил и сказал ше-рифу:

— Ах, я совсем было забыл попросить, чтоб мое пальто никак не отдавали Герингу!

на другую жизнь, тогда как мне, верующему лишь в вечное уничтожение, приходится в последний час черпать силы в философских рассуждениях, быть может, ложных, и в человеческом мужестве.

Еще раз спасибо! и прощайте!

Е. Бартеlemi

Ньюгет, 22 января 1855 г., 6 ч. утра.

Р. S. Прошу Вас передать мою благодарность г. Клиффорду*.

Прибавлю к этому письму, что бедный Бартеlemi сам заблуждался, или, вернее, пытался ввести меня в заблуждение несколькими фразами, которые были последней уступкой человеческой гордыне. Эти фразы, несомненно, исчезли бы, если бы письмо было написано часом позднее. Нет, Бартеlemi не умер неверующим; он поручил мне, в минуту смерти, объявить, что он прощает всем своим врагам, и просил меня быть около него до той минуты, когда он перестанет жить. Если я держался на некотором расстоянии, — если я остановился на последней ступеньке эшафота, то причина этого известна властям. В конце концов, я выполнил, согласно религии, последнюю волю моего несчастного соотечественника. Покидая меня, он сказал мне с выражением, которого я никогда в жизни не забуду: „Молитесь, молитесь, молитесь!“ Я горячо молился от всего сердца, и надеюсь, что тот, кто объявил, что он родился католиком и что он хотел бы быть католиком, вероятно, в последний час испытал одно из тех невыразимых чувств раскаяния, которые очищают душу и открывают ей врата вечной жизни.

Примите, г. редактор, выражение моего глубочайшего уважения.

Аббат *Ру*.

Chapel-house, Cadogan-terrace, 24 января >



⟨ГЛАВА V⟩
«NOT GUILTY»¹

«...Вчера арестовали на собственной квартире доктора Симона Бернара * по делу Орсини...»

Надобно несколько лет прожить в Англии, чтоб понять, как подобная новость удивляет... как ей не сразу веришь... как *континентально* становится на душе!..

На Англию находят, и довольно часто, периодические страхи, и в это время оторопелости не попадайся ей ничего на дороге. Страх вообще безжалостен, беспощаден, но имеет ту выгоду за собой, что он скоро проходит. Страх не злопамятен, он старается, чтоб его поскорее забыли.

Не надобно думать, чтоб трусливое чувство осторожности и тревожного самохранения лежало в самом английском характере. Это следствие отучения от богатства и воспитания всех помыслов и страстей на стяжание. Робость в английской крови внесена капиталистами и мещанством; они передают болезненную тревожность свою официальному миру, который в представительной стране постоянно подделывается под нравы, голос и деньги имущих. Составляя господствующую среду, они при всякой неожиданной случайности теряют голову и, не имея нужды стесняться, являются во всей беспомощной, неуклюжей трусости своей, не прикрытой пестрым и линиялым фуляром французской риторики.

Надобно уметь переждать; как только капитал придет в себя, успокоится за проценты, все опять пойдет своим чередом.

¹ «Не виновен» (англ.).— P. 9.

Взятием Бернара думали отделаться от гнева кесарева за то, что Орсини на английской почве обдумывал свои гранаты *. Слабодушные уступки обыкновенно раздражают, и вместо спасибо грозные поты сделались еще грознее, носные статьи в французских газетах запахли еще сильнее порохом. Капитал побледнел, в глазах его помутилось, он уж видел, чуял винтовые пароходы, красные штаны, красные ядра, красное зарево, банк, превращенный в Мабиль * с исторической надписью: «Ici l'on danse!» ¹ Что же делать? — Не только выдать и уничтожить доктора Симона Бернара, но, пожалуй, срыть гору Сен-Бернар и ее уничтожить, лишь бы проклятый прирзак красных штанов и черных бородок исчез, лишь бы смести гнев союзника на милость.

Лучший метеорологический снаряд в Англии, Палмерстон, показывающий очень верно состояние температуры средних слоев, перевел «очень страшно» на Conspiracy Bill *. По этому закону, если бы он прошел, с некоторой старательностью и усердием к службе, каждое посольство могло бы усадить в тюрьму, а в иных случаях и на корабль, любого из врагов своих правительств.

Но, по счастью, температура острова не во всех слоях одинакая, и мы сейчас увидим премудрость английского распределения богатств, освобождающую значительную часть англичан от заботы о капитале. Будь в Англии все до единого капиталисты, Conspiracy Bill был бы принят, а Симон Бернар был бы повешен... или отправлен в Кайенну.

При слухе о Conspiracy Bill и о почти несомненной возможности, что он пройдет, старое англосаксонское чувство независимости встрепенулось; ему стало жаль своего древнего права убежища, которым кто и кто не пользовался, от гугенотов до католиков в 1793, от Вольтера и Паоли до Карла X и Людовика-Филиппа? Англичанин не имеет особой любви к иностранцам, еще меньше — к изгнанникам, которых считает бедняками, — а этого порока он не прощает, — но за право убежища он держится; безнаказанно касаться его он не позволяет, так точно, как касаться до права митингов, до свободы книгопечатания.

¹ «Здесь танцуют!» (франц.).— Ред.

Предлагая Conspiracy Bill, Палмерстон считал, и очень верно, на упадок британского духа; он думал об одной среде, очень мощной, но забыл о другой, очень многочисленной.

За несколько дней до вотирования билля * Лондон покрылся афишами: комитет, составившийся для противудействия новому закону, приглашал на митинг в следующее воскресенье в Hyde Park*; там комитет хотел предложить адрес королеве. В этом адресе требовалось объявление Палмерстона и его товарищей изменниками отечества, их подсудимость и просьба в том случае, если закон пройдет, чтоб королева, в силу ей предоставленного права, отвергла его. Количество народа, которое ожидали в парке, было так велико, что комитет объявил о невозможности говорить речи; параграфы адреса комитет распорядился предлагать на суждение телеграфическими знаками.

Разнесся слух, что к субботе собираются работники, молодые люди со всех концов Англии, что железные дороги привезут десятки тысяч людей, сильно раздраженных. Можно было надеяться на митинг в двести тысяч человек. Что могла сделать полиция с ними? Употребить войско против митинга законного и безоружного, собирающегося для адреса королеве, было невозможно, да и на это необходим был Mutiny Bill*; следовало предупредить митинг. И вот в пятницу Милнер-Гибсон явился с своею речью против Палмерстонова закона. Палмерстон был до того уверен в своем торжестве, что улыбаясь ждал счета голосов. Под влиянием будущего митинга часть Палмерстоновых клиентов вотировала против него, и когда большинство, больше 30 голосов, было со стороны Милнер-Гибсона*, он думал, что считавший обмолвился, переспросил, потребовал речи. ничего не сказал, а, растерянный, произнес несколько бессвязных слов, сопровождая их натянутой улыбкой, и потом опустил на стул, оглушаемый враждебным рукоплесканием.

Митинг сделался невозможен, не было больше причины ехать из Манчестера, Бристоля. Ньюкастля-на-Тейне... Conspiracy Bill пал, и с ним — Палмерстон с своими товарищами.

Классически-велеречивое и чопорно-консервативное министерство Дерби, с своими еврейскими мелодиями Дизраели и дипломатическими тонкостями времен Каstellри, сменило их.

В воскресенье, часу в третьем, я пошел с визитом и именно к г-же Милнер-Гибсон; мне хотелось ее поздравить; она жила возле Гайд-парка. Афиши были сняты, и посыльщики ходили с печатными объявлениями на груди и спине, что по случаю падения закона и министров митинга не будет. Тем не меньше, пригласивши тысяч двести гостей, нельзя было ожидать, чтоб парк остался пуст. Везде стояли густые группы народа, ораторы, взгромоздившись на стулья, на столы, говорили речи, и толпы были возбуждены больше обыкновенного. Несколько полицейских ходили с девичьей скромностью, ватаги мальчишек распевали во все горло: «Pop, goes the weasel!»¹ Вдруг кто-то, указывая на поджарую фигуру француза с усиками, в потертой шляпе, закричал: «A French spy!..»² В ту же минуту мальчишки бросились за ним. Перепуганный шпион хотел дать стрелка, но, брошенный на землю, он уже пошел не пешком: его потащили волоком с торжеством и криком: «French spy, в Серпентину его! *», привели к берегу, помокнули его (это было в феврале), вынули и положили на берег с хохотом и свистом. Мокрый, дрожащий француз барахтался на песке, выкликая в парке: «Кабман! Кабман!»³

Вот как повторилось через пятьдесят лет в Гайд-парке знаменитое тургеневское «французя топим»*.

Этот пролог à la Pristnitz к бернардовскому процессу показал, как далеко распространилось негодование. Народ английский был действительно рассержен и спас свою родину от пятна, которым conglomerated mediocrity⁴ Ст. Милля непременно опозорила бы ее.

Англия велика и сносна *только* при полнейшем сохранении своих прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневековые платья и пуританские кафтаны, но допустивших жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической уверенности в законной почве.

То, что понял инстинктом народ английский, Дерби так же мало оценил, как и Палмерстон. Забота Дерби состояла в том,

¹ «Хлоп! Вот идет ласка!» (англ.).— *Ред.*

² «Французский шпион!..» (англ.).— *Ред.*

³ «Извозчик! Извозчик!» (англ. cabman).— *Ред.*

⁴ сплоченная посредственность (англ.).— *Ред.*

чтоб успокоить капитал и сделать всевозможные уступки для рассерженного союзника; ему он хотел доказать, что и без Conspiracy Bill он наделает чудеса. В излишнем рвении он сделал две ошибки.

Министерство Палмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его в *misdeemeanour*, т. е. в дурном поведении, в бездельничестве, словом, в преступлении, которое не влекло за собою *большого* наказания, как трехлетнее тюремное заключение. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика не приняли бы особенного участия в деле, и оно, вероятно, кончилось бы против Бернара. Дербби потребовал судить Бернара за *felony*, за уголовное преступление, дающее судье право, в случае обвинительного вердикта, приговорить его к виселице. Это нельзя было так пропустить; сверх того, увеличивать виновность, пока виноватый под судом, совершенно противно юридическому смыслу англичан.

Палмерстон в самых острых припадках страха, после attentата¹ Орсини, поймал безвреднейшую книжонку какого-то Адамса, рассуждавшего о том, когда *tyrannicide*² позволено и когда нет, и отдал под суд ее издателя Трулова.

Вся независимая пресса с негодованием взглянула на эту континентальную замашку. Преследование брошюры было совершенно бессмысленно: в Англии тиранов нет, во Франции никто не узнал бы об брошюре, писанной на английском языке, да и такие ли вещи печатаются в Англии ежедневно.

Дербби, с своими привычками тори и скачек, захотел нагнать, а если можно, обскакать Палмерстона. Феликс Пиа написал от имени революционной коммуны какой-то манифест, оправдывавший Орсини; никто не хотел издавать его; польский изгнанник Тхоржевский поставил имя своей книжной лавки на послании Пиа. Дербби велел схватить экземпляр и отдать под суд Тхоржевского.

Вся англосаксонская кровь, в которой железо не было заменено золотом, от этого нового оскорбления бросилась в голову, все органы Шотландии, Ирландии и, разумеется, Англии: (кроме двух-трех журналов *на содержании*) приняли за пре-

¹ покушения (франц. attentat).— *Ред.*

² тираноубийство (франц.).— *Ред.*

ступное посягательство на свободу книгопечатания эти опыты урезывания слов и спрашивали, в полном ли рассудке поступает так правительство или оно сошло с ума?

При этом благоприятном настроении в пользу правительственных преследований начался в Old Bailey процесс Бернара, это «юридическое Ватерлоо» Англии, как мы сказали тогда в «Колоколе» *.

Процесс Бернара я проследил от доски до доски, я был все заседания в Old Bailey (раз только часа два опоздал) и не раскаиваюсь в этом. Первый процесс Бартеlemi и процесс Бернара доказали мне очевидно, насколько Англия совершеннолетнее Франции в юридическом отношении.

Чтоб обвинить Бернара, французское правительство и английское министерство взяло колоссальные меры, процесс этот стоил обоим правительствам до 30 000 ф<унтов> стер<линг>, т. е. до 750 000 фр<анков>. Ватага французских агентов жила в Лондоне, ездила в Париж и возвращалась для того, чтоб сказать одно слово, для того, чтоб быть в готовности *на случай* надобности; семьи были выписаны, доктора медицины, жокеи, начальники тюрем, женщины, дети... и все это жило в дорогих гостиницах, получая фунт (25 фр<анков>) в день на содержание. Цезарь был испуган. Карфагены были испуганы! * И все-то это понял насупившись неповоротливый англичанин и в продолжение следствия преследовал мальчишками, свистом и грязью на Геймаркете и Ковентри французских шпионов; английская полиция должна была не раз их спасать.

На этой ненависти к политическим шпионам и к бесцеремонному вторжению их в Лондон основал Эдвин Джемс свою защиту. Что он сделал с английскими агентами, трудно себе вообразить. Я не знаю, какие средства нашел Scotland Yard * или французское правительство, чтоб вознаградить за пытку, которую заставлял их выносить Э. Джемс.

Некто Рожерс свидетельствует, что Бернар в клубе на Местер-сквере говорил то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона.

— Вы были там? — спрашивает Э. Джемс.

— Был.

— Вы, стало, занимаетесь политикой?

— Нет.

— Зачем же вы ходите по политическим клубам?

— По обязанностям службы.

— Не понимаю, какая же это служба?

— Я служу у сэра Ричарда Мена¹.

— А... Что же, вам дается инструкция?

— Да.

— Какая?

— Велено слушать, что говорится, и сообщать об этом по начальству.

— И вы получаете за это жалованье?

— Получаю.

— В таком случае *вы шпион*, а сру? Вы давно бы сказали.

Королевский атторней Фицрой Келли встает и, обращаясь к лорду Кембелю, одному из четырех судей, призванных судить Бернара, просит его защитить *свидетеля* от дерзких наименований адвоката. Кембель, с всегдашним бесстрашием своим, советует Э. Джемсу не обижать свидетеля. Джемс протестует: он и намерения не имел его обижать; слово «сру», говорит он, — plain English word² и есть название его должности; Кембель уверяет, что лучше называть *иначе*; адвокат отыскивает какой-то фюлиант и читает определение слова «шпион». «Шпион — лицо, употребляемое за плату полицией для подслушивания и пр.», а Рожерс, прибавляет он, сейчас сказал, что он за деньги, получаемые от сэра Ричарда Мена (причем он указывает на самого Ричарда Мена головой), ходит слушать в клубы и доносит, что там делается. А потому он просит у лорда извинения, но иначе не может его называть, и потом, обращаясь к негодяю, на которого обращены все глаза и который второй раз обтирает пот, выступивший на лице, спрашивает:

— Шпион Рожерс, вы, может, тоже и от французского правительства получали жалованье?

Пытаемый Рожерс бесится и отвечает, что он никогда не служил никакому деспотизму.

¹ Начальник Metropolitan Police.

² вполне английское слово (англ.).— *Ред.*

Эдвин Джемс обращается к публике и среди гомерического смеха говорит:

— Наш spy Rogers за представительное правительство.

Допрашивая агента, взявшего бумаги Бернара, он спросил его: с кем он приходил? (горничная показала, что он был не один).

— С моим дядей.

— А чем ваш дядюшка занимается?

— Он кондуктором омнибуса.

— Зачем же он приходил с вами?

— Он меня просил взять его с собой, так как он никогда не видал, как арестуют или забирают бумаги.

— Экой любопытный у вас дядюшка. Да кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо от Орсини; письмо это было на итальянском языке, а доставили вы его в переводе; не дядюшка ли ваш переводил?

— Нет, письмо это переводил Убичини¹.

— Англичанин?

— Англичанин.

— Никогда не случилось мне слышать такой английской фамилии. Что же, г. Убичини занимается литературой?

— Он переводит по обязанности.

— Так ваш приятель, может, как шпион Рожерс, служит у сэра Ричарда Мена (снова кивая на сэра Ричарда головой)?

— Точно так.

— Давно б вы сказали.

С французскими шпионами он до этой степени не доходил, хотя доставалось и им.

Всего больше мне понравилось то, что, вызвав на эстраду свидетеля, какого-то содержателя трактира, француза или белга, за весьма неважным вопросом, он вдруг остановился и, обращаясь к лорду Кембелю, сказал:

— Вопрос, который я хочу предложить свидетелю, такого рода, что он может его затруднить в присутствии французских агентов. Я прошу вас их на время выслать.

¹ Кажется, так.

— Huissier¹, выведите французских агентов,— сказал Кембель.

И huissier, в шелковой мантилье, с палочкой в руках, повел дюжину шпионов, с бородками и удивительными усами, с золотыми цепочками, перстнями, через залу, набитую битком. Чего стоило одно такое путешествие, сопровождаемое едва сдержимым хохотом?

Процесс известен. Я не буду его рассказывать.

Когда свидетелей переспросили, обвинитель и защитник произнесли свои речи, Кембель холодно подсуммировал дело, прочитав всю evidence.

Кембель читал часа два.

— Как это у него достает груди и легких?.. — сказал я полицейскому.

Полицейский посмотрел на меня с чувством гордости и, поднося мне табатерку, заметил:

— Что это для него! Когда Пальмера судили *, он *шесть с половиной* часов читал, и то ничего — вот он какой!

Сграшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок — это задача. У нас понятия не имеют о такой деятельности и о такой работе, особенно в *первых трех* классах. Кембель, например, приезжал в Old Bailey ровно в 10 часов, до 2 он безостановочно вел процесс. В 2 судьи выходили на четверть часа или минут на двадцать и потом снова оставались до 5 и 5¹/₂. Кембель писал всю evidence своей рукой. Вечером того же дня он являлся в палату лордов и произносил длинные речи как следует, с ненужными латинскими цитатами, произнесенными так, что сам Гораций не понял бы своего стиха.

Гладстон между двумя управлениями финансов, имея полтора года времени, написал комментарии к Гомеру*.

А *вечно юный* Палмерстон, скачущий верхом, являющийся на вечерах и обедах, везде любезный, везде болтливый и неистощимый, бросающий ученую пыль в глаза на экзаменах и задачах премий — и пыль либерализма, национальной гордости и благородных симпатий в застольных речах, — Палмерстон.

¹ Пристав (франц.).— Ред.

заведующий своим министерством и отчасти всеми другими, исправляющий парламент!

Эта прочность сил и страстная привычка работы — тайна английского организма, воспитания, климата. Англичанин учится медленно, мало и поздно, с ранних лет пьет порт и шерри, объедается и приобретает каменное здоровье; не делая школьной гимнастики, немецких *Turner-Übungen*¹, он скачет верхом через плетни и загородки, правит всякой лошадыю, гребет во всякой лодке и умест в кулачном бою поставить самый разноцветный фонарь. При этом жизнь введена в наезженную колею и правильно идет от *известного* рождения *известными* аллеями к *известным* похоронам; страсти слабо ее волнуют. Англичанин теряет свое состояние с меньшим шумом, чем француз приобретает свое; он проще застреливается, чем француз переезжает в Женеву или Брюссель.

— *Vous voyez, vous mangez votre veau froid chaudement*, — говорил один старый англичанин, желавший объяснить французу разницу английского характера от французского, — *et nous mangeons notre beef chaud froidement*². — Оттого-то их и становится лет на восемьдесят...

...Прежде чем я возвращусь к процессу, мне остается объяснить, почему полицейский потчевал меня табаком. В первый день суда я сидел на лавочках стенографов; когда ввели Бернара на помост подсудимых, он провел взглядом по зале, допелзья набитой народом, — ни одного знакомого лица; он опустил глаза, взглянул около и, встретив мой взгляд, слегка кивнул мне головой, как бы спрашивая, желаю ли я признаться в знакомстве или нет; я встал и дружески поклонился ему. Это было в самом начале, т. е. в одну из тех минут безусловной тишины, в которые каждый шорох слышен, каждое движение замечено. Сандерс, один из начальников *detective police*³, пошептался с кем-то из своих и велел наблюдать за мной, т. е. он очень просто указал на меня пальцем какому-то детективу,

¹ гимнастических упражнений (нем.).— *Ред.*

² Вот видите, вы с жаром едите вашу холодную телятину, а мы хладнокровно съедаем наш горячий *бифштекс* (франц.).— *Ред.*

³ сыскной полиции (англ.).— *Ред.*

и с той минуты он постоянно был вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряжение. Уходил ли я на четверть часа, во время отдыха судей, в таверну выпить стакан элю и, приходя, не находил места, полицейский кивал мне головой и указывал, где сесть. Оставивливал ли меня в дверях другой полицейский, тот давал ему знак — и полицейский пропускал. Наконец, я раз поставил шляпу на окно, забыл об ней и напором массы был совершенно оттерт от него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти; я приподнялся, чтоб взглянуть, нет ли какой щели, но полицейский меня успокоил:

— Вы, верно, шляпу ищите? Я ее прибрал.

После этого не трудно понять, почему его товарищ потчевал меня шотландским, рыженьким кавендишем.

Приятное знакомство с детективом послужило мне на пользу даже впоследствии. Раз, взявши каких-то книг у Трюбнера, я сел в омнибус и забыл их там; на дороге хватился — омнибус уехал. Отправился я в Сити на станцию омнибусов; идет мой детектив, поклонился мне.

— Очень рад; вот научите-ка, как скорее достать книги.

— А как называется омнибус?

— Так-то.

— В котором часу?

— Сейчас.

— Это пустяки, пойдемте, — и через четверть часа книги были у меня.

Фицрой Келли прочел свой обвинительный акт с примесью желчи, сухой, cassant¹; Кембель прочел evidence, и присяжных увели.

Я подошел к лавке адвокатов и спросил знакомого solicitor'a, как он думает?

— Плохо, — сказал он, — я почти уверен, что приговор присяжных будет против него.

— Скверно. И неужели его...?

— Нет, не думаю, — перебил солиситор, — ну, а в депортацию попадет; все будет зависеть от судей.

¹ резкий (франц.).— *Ред.*

В зале был страшный шум, хохот, разговор, кашлянье. Какой-то алдермен снял с себя свою золотую цепь и показывал ее дамам; толстая цепь ходила из рук в руки. «Неужели ее никто не украдет?» — думал я. Часа через два раздался колокольчик; взошел снова Кембель, взошел Поллок — дряхлый, худой старик, некогда адвокат королевы Шарлотты, и два другие собрата-судьи. Huissier возвестил им, что присяжные согласны.

— Введите присяжных! — сказал Кембель.

Водворилась мертвая тишина; я смотрел кругом: лица изменились, стали бледнее, серьезнее, глаза зажглись, дамы дрожали. В этой тишине, при этой толпе обычный ритуал вопросов, присяги был необыкновенно торжественен. Скрестив руки на груди, спокойно стоял Бернар, несколько бледнее обыкновенного (во весь процесс он держал себя превосходно).

Тихим, но внятным голосом спросил Кембель:

— Согласны ли присяжные, избрали ли они из среды своей старшего, и кто он?

Они избрали какого-то небогатого портного из Сити.

Когда он присягнул и Кембель, вставши, сказал ему, что суд ждет решения присяжных, сердце замерло, дыханье сперлось.

«...Перед богом и подсудимым на помосте... объявляем мы, что доктор Симон Бернар, обвиняемый в участии аттентата 12 января *, сделанного против Наполеона, и в убийстве, — он усилил голос и громко прибавил: — not guilty!»

Несколько секунд молчанья, потом пробежал какой-то нестройный вздох, и вслед за тем безумный крик, треск рукоплесканий, гром радости... Дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мужчины с раскрасневшимся лицом, с слезами, струившимися на щеках, судорожно кричали: «Уре! Уре!» Прошли минуты две; судьи, недовольные неуважением, велели huissiers восстановить тишину; две-три жалкие фигуры с палками махали, шевелили губами; шум не переставал и не делался слабее. Кембель вышел, и товарищи его вышли. Никто не обращал на это внимания; шум и крик продолжались. Присяжные торжествовали.

Я подошел к эстраде, поздравил Бернара и хотел пожать ему руку, но, как он ни наклонялся и я ни вытягивался, руки его я не достал. Вдруг два адвоката, незнакомые, в мантиях и париках, говорят мне: «Постойте, погодите», и, не ожидая ответа, схватывают меня и подсаживают, чтоб я мог достать его руку.

Только что крик стал утихать, и вдруг какое-то море ударило в стены и ворвалось с глухим плеском во все окна и двери здания; это был крик на лестнице в сенях; он уходил, приближался и разливался все больше и больше и наконец слился в общий гул: это был голос народа.

Кембель взмолился и объявил, что Бернар по этому делу от суда освобожден, и вышел с своими «братьями-судьями». Вышел и я. Это была одна из тех редких минут, когда человек смотрит на толпу с любовью, когда ему легко с людьми... Много грехов Англии будут отпущены ей и за этот вердикт и за эту радость!

Я вышел вон; улица была запружена народом.

Из бокового переулка выехал угольщик, посмотрел на толпу народа и спросил:

— Кончилось?

— Да.

— Чем?

— Not guilty.

Угольщик положил вожжи, снял свою кожаную шапку с огромным козырьком сзади, бросил ее вверх и неистовым голосом принялся кричать: «Уре! Уре!», и толпа опять принялась кричать: «Уре!»

В это время из дверей Old Bailey вышли под прикрытием полиции присяжные. Народ их встретил с *непокрытой головой* и с бесконечными криками одобрения. Дороги им не приходилось расчищать полицейским — толпа сама расступилась; присяжные пошли в таверну на Флитстрит, народ пошел их провожать, новые толпы по мере того, как они проходили, кричали им ура и бросали шляпы вверх.

Это было часу в шестом; в семь часов в Манчестере, Ньюкастле, Ливерпуле и пр. работники бегали по улицам с факелами, возвещая жителям освобождение Бернара. Весть эту

сообщили по телеграфу их знакомые; с четырех часов толпы стояли у телеграфических контор.

Вот как Англия отпраздновала новое торжество своей свободы!

После палмерстоновского поражения за Conspiracy Bill и неудачу дербитов в деле Бернара процессы, затеянные правительством против двух брошюр, становились невозможными. Если б Бернар был обвинен, повешен или послан лет на двадцать в депортацию и общественное мнение осталось бы равнодушным, тогда было бы легко принести на заклание, для полноты жертвы, двух-трех Исааков книгопечатания *. Французские агенты уже точили зубы на другие брошюры и в том числе на «Письмо» Маццини *.

Но Бернар был от суда освобожден, и это не все. Овация присяжным, восторженный шум в Old Bailey, радость во всей Англии не предсказывали успеха. Дело брошюр перенесли в Queen's Bench *.

Это был последний опыт обвинить подсудимых. Присяжные Old Bailey казались ненадежными, жители Сити, строго держащиеся своих прав и несколько оппозиционные по традиции, не внушали доверия, присяжные Queen's Bench из Вест-Энда — большей частью богатые торговцы, строго придерживающиеся религии порядка и традиции наживы. Но и на это jury¹ трудно было считать после вердикта портного.

К тому же вся пресса в Лондоне и во всем королевстве, за исключением нескольких заведомо подкупленных листов, восстала, без различия партий, против посягательства на свободу книгопечатания. Сбирались митинги, составлялись комитеты, делались складки для уплаты штрафов и проторей, если бы правительству удалось осудить издателей; писались адреса и петиции.

Дело становилось труднее и нелепее со всяким днем. Франция в широких шароварах, couleur garance², в кепи несколько набок *, с зловецим видом смотрела из-за Ламанша, чем кончится дело, предпринятое в защиту ее господина. Освобожде-

¹ суд присяжных (англ.).— *Ред.*

² красного цвета (франц.).— *Ред.*

аристократки и коммуниста? Барон, не охотник до физиологических опытов, говорят, прогнал его в три шеи. Правда это?

— Как же вы можете верить таким нелепостям?

— Да я и в самом деле не очень верю. Живу здесь в захолустье и слышу только о том, что делается в Лондоне, от немцев; все они, а особенно эмигранты, врут бог знает что, все между собой в ссоре, клеветают друг на друга. Я думаю, это К<инкель> распустил такой слух в знак благодарности за то, что баронесса его выкупила из тюрьмы. Ведь он бы и сам за ней поволочился, да воли-то нет: жена не дает ему баловаться. «Ты, говорит, меня от первого мужа отбил, так уж теперь довольно...»

Вот образчик философской беседы Арнольда Руге.

Один раз он изменил своему диапазону и стал с дружеским участием говорить о Бакуanine, но на полдороге спохватился и добавил:

— А впрочем, в последнее время он как-то стал опускаться, бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом.

Я уехал от него с тяжелым сердцем и с твердым намерением никогда не возвращаться.

Через год он читал в Лондоне несколько лекций о философском движении в Германии. Лекции были плохи, берлински-английский акцент неприятно поражал ухо; к тому же он все греческие и римские имена произносил на немецкий манер, так что англичане не могли догадаться, кто эти Иофис¹, Юно²... На вторую лекцию пришли десять человек; на третью — человек пять — да я с Ворцелем. Руге, проходя по пустой зале мимо нас, сильно сжал мне руку и прибавил:

— Польша и Россия пришли, а Италии нет; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новом восстании народов.

Когда он ушел, разгневанный и грозный, я посмотрел на сардоническую улыбку Ворцеля и сказал ему:

— Россия зовет Польшу к себе отобедать.

— *C'en est fait de l'Italie*³, — заметил Ворцель, качая головой, и мы пошли.

¹ Юпитер (лат. *Jovis*).— *Ред.*

² Юнона (лат. *Juno*).— *Ред.*

³ Вот и покончено с Италией (франц.).— *Ред.*

Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне *. Человек безукоризненного поведения, работавший в поте лица своего, что, как ни странно может это показаться, почти вовсе не встречалось в эмиграциях, *Кинкель* был заклятый враг Руге. Почему? Это так же трудно объяснить, как то, что проповедник атеизма Руге был другом неокатолика Ронге *. *Готфрид Кинкель* был один из глав сорока сороков лондонских немецких расколов.

Глядя на него, я всегда дивился, как величественная, зевсовская голова попала на плечи немецкого профессора и как немецкий профессор попал сначала на поле сражения, потом, раненый, в прусскую тюрьму; а может, мудренее всего этого то, что все это *плюс* Лондон его несколько не изменили и он остался немецким профессором. Высокий ростом, с седыми волосами и бородой с проседью, он сам по себе имел величавый и внушающий уважение вид; но он к нему прибавлял какое-то официальное помазание, *Salbung*¹, что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттенок этот в разных вариациях встречается у модных пасторов, у дамских врачей, особенно у магнетизеров, адвокатов, специально защищающих нравственность, у главных waiter'ов² аристократических отелей в Англии. *Кинкель* в молодости много занимался богословием; освободившись от него, он остался священником в приемах. Это не удивительно: сам *Ламенне*, подрубая так глубоко корни католицизма, сохранил до старости вид аббата. Обдуманная и плавная речь *Кинкеля*, правильная и избегающая крайностей, шла какой-то назидательной беседой; он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием — самого себя.

Он был профессором в Сомерсет гаузе и в нескольких высших заведениях, читал публичные лекции об эстетике в Лондоне и Манчестере — этого ему не могли простить голодно и праздношатающиеся в Лондоне освободители тридцати четырех немецких отечеств. *Кинкель* был постоянно обругиваем в американских газетах, сделавшихся главным стоком немецких сплетен, и на тощих митингах, ежегодно держимых в па-

¹ елейность (нем.).— *Ред.*

² официантов (англ.).— *Ред.*

что английский закон, давая всевозможную свободу печати, тем не менее имеет полные средства наказывать вызов на таксе ужасное преступление и пр. Но так как правительство по таким-то соображениям от преследования отказывается, то и он готов, если присяжные согласны, суд прекратить; впрочем, если они этого не хотят, он будет продолжать».

Присяжные хотели завтракать, идти по своим делам и потому, не выходя вон, обернулись спиной и, переговоривши, отвечали, как и следовало ожидать, что они тоже согласны на прекращение суда.

Кембель возвестил Трулову, что он от суда и следствия свободен. Тут не было даже рукоплескания, а только хохот.

Наступил антракт. В это время Б<откин> вспомнил, что он еще не пил чаю, и пошел в ближнюю таверну. Черту эту я особенно отмечаю как совершенно русскую. Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец пьет тоже пиво да еще пиво за все прочее; но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой полной зависимости от желудочных привычек, как русский. Это связывает их по рукам и ногам. Остаться без обеда... как можно... лучше днем опоздать, лучше того-то совсем не видать. Б<откин> заплатил за свой чай, сверх двух шиллингов, следующей превосходной сценой.

Когда черед дошел до Тхоржевского, Фицрой Келли встал и снова объявил, что он имеет сообщение от правительства. Я натянул уши. Какую же причину он выдумал? Тхоржевский письма не писал.

«Подсудимый, — начал Ф. Келли, — Stanislas Trouj... Torj... Toush...», и он остановился, добавив: «That is impossible! The foreign gentleman at the bar...¹, хотя и действительно виноват в издании и продаже брошюры Ф. Пиа, но правительство, взяв в расчет, что он иностранец и английских законов по этой части не знал, на первый случай отказывается от преследования».

¹ «Это невозможно! Господин иностранец, привлеченный к суду...» (англ.). — *Ред.*

И та же комедия. Кембель спросил присяжных. Присяжные в ту же минуту акитировали¹ Тхоржевского.

Французы и тут были недовольны. Им хотелось пышную *mise en scène*, им хотелось громить тиранов и защитить *la cause des peuples...*²; может, по дороге Трулова и Тхоржевского приговорили бы к штрафу, к тюрьме; но что значит тюрьма, десять лет тюрьмы... перед всенародным повторением великих начал, ставящих вне закона тиранов и их сеидов... — незыблемых начал 1789 года, на которых так твердо стоит свобода Франции... в ссылке!

Правительство, испуганное соседом, ударилось второй раз об гранитный утес английской свободы и смиренно отступило. Какого же больше торжества свободной печати?

¹ оправдали, от *acquitter* (франц.).— *Ред.*

² дело народов (франц.).— *Ред.*



〈ГЛАВА VI〉

В начале будущего года думаем мы издать IV и V томы «Былого и думы» *. Найдут ли они тот прием, полный сочувствия, как отрывки из них, напечатанные в «Полярной звезде», и три первые части? * Покаместь мы решились, когда есть место, помещать в «Колоколе» отрывки из ненапечатанных глав и на первый случай берем рассказ *о польских выходцах в Лондоне*.

Глава эта (IV в V томе) начата в 1857 году и, помнится, дописана в 1858. Она бедна и недостаточна. Я сделал, перечитывая ее, несколько внешних поправок; переделывать существенное в записках не идет: помеченные воспоминания так же принадлежат быломu, как и события. Между ею и настоящим прошли 63 и 64 годы, совершились страшные несчастья, раскрылись страшные правды.

Не дружеский букет на гробе доброго старика в Париже, не плач на Гайгетской могиле * нужны теперь, — не человек хоронится, а целый народ толкают в могилу *. Его судьбе прилична одна горесть — горесть пониманья и, может, с нашей стороны один дар — дар молчания. Последние события в Польше вдохновят еще не одного поэта, не одного художника, они долго будут, как тень Гамлетова отца, звать на месть, не щадя самого Гамлета... Мы еще слишком близки к событиям. Рукам, по которым текла кровь раненых, не идет ни кисть, ни резец: они еще слишком дрожат.

Я назвал тогда главу эту «Польские выходцы»; справедливее было бы назвать ее «Легендой о Ворцеле», но, с другой стороны, в его чертах, в его житии так поэтично воплощается поль-

ский эмигрант, что его можно принять за высший тип. Это была натура цельная, чистая, фанатическая, святая, полная той *полной* преданности, той несокрушимой страсти, той великой мономании, для которой нет больше жертв, счета службы, жизни вне своего дела. Ворцель принадлежал к великой семье мучеников и апостолов, пропагандистов и поборников своего дела, всегда являвшихся около всякого креста, около всякого освобождения...

Мне пришлось совершенно случайно перечитать мой рассказ о Ворцеле в Лугано. Там живет один из крепких старцев * той удивительной семьи, о которой идет речь, и мы с ним вспомнили покойного Ворцеля. Ему за семьдесят, он сильно состарился с тех пор, как я его не видал, но это тот же неутомимый работник итальянского дела, тот же фанатический друг Маццини, которого я знал десять лет тому назад. Вендетта за альпийскими скалами, сам поседевшая скала итальянского освобождения, он дожил в борьбе не только до исполнения половины своих надежд, но и до новых черных дней, готовый опять, как прежде, на бой, на гибель и не уступивший никогда никому ни в чем ни одной йоты своего *credo*. Как Ворцель, он беден и, как Ворцель, не думает об этом. Большинство этих людей гибнет на полдороге, насильственной или своей смертью, но все, что делается, делается *ими*. Мы расчищаем дорогу, мы ставим вопросы, мы подпиливаем старые столбы, мы бросаем дрожжи в душу; они ведут массы на приступ, они падают или побеждают... Таков на первом плане Гарибальди: и не мыслитель, и не политик, а любовь, вера и надежда.

Судьба Ворцеля самая трагическая из всех. Ее пятое действие продолжалось и заключилось после его смерти; об нем нельзя сказать того, что говорится о большей части павших на дороге к обетованной земле: «Зачем он не дожил!» Смерть его скосила во-время. Что было бы с ним, если б он дожил до 1865 года?

Я рад, что память об Ворцеле так ярко воскресла в Лугано: мне дорог этот угол с своим теплым озером, обнесенным горами, с своим вечно электрическим воздухом... Там я жил после страшных ударов 1852 года... Там есть каменная женщина, опершаяся

на обе руки, в безвыходном горе глядящая перед собой и вечно плачущая... Это была *Италия*, когда резец Велы¹ со-
здал ее, не *Польша ли* она теперь?

Туц, 17 августа 1865.

ПОЛЬСКИЕ ВЫХОДЦЫ

Алоизий Бернадский. — Станислав Ворцель. -- Агитация
1854—56 года. — Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!²

«*Inferno*»*

Другие несчастья, другие страдальцы ждут нас. Мы живем на поле вчерашней битвы: кругом лазареты, раненые, пленные, умирающие. Польская эмиграция, старшая всем, истощилась больше других, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки, вопреки Дантону, взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету. Европа расступилась с уважением перед торжественным шествием отважных бойцов *. Народы выходили к ним на поклон, цари сторонились и отворачивались, чтоб дать им пройти, не замечая их. Европа проснулась на минуту от их шагов, нашла слезы и участие, нашла деньги и силу их дать³. Печальный образ польского

¹ Превосходная статуя Велы в саду Чиани. Пусть русские, особенно женщины, сходят взглянуть на нее.

² Новые мучения и новые мученики! (итал.).— *Ред.*

³ Д-р П. Дараш рассказывал мне случай, бывший с ним самим. Он студентом медицины участвовал в восстании 1831. После взятия Варшавы отряд, в котором он был, перешел границу и небольшими кучками стал пробираться во Францию. Везде по городам и деревням мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанников к себе, предлагая свои комнаты, часто—свои кровати. В одном небольшом городке хозяйка заметила, что у него изорван (помнится) кисет, и взяла его починить. На другой день на пути Дараш, ощутив в кисете что-то постороннее, нашел в нем тщательно зашитыми два золотых. Дараш, у которого не было ни гроша, бросился назад, чтоб отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знает, потом принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тут надобно вспомнить, что в маленьком немецком городке для небогатой женщины значат *два золотых*; они составляли вероятно, плод откладывания в Sparbüchse <копилку (нем.)> разных крей-

выходца, этого рыцаря народной независимости, остался в памяти народной. Двадцать лет на чужбине вера его не ослабла, и на всякой роковой переключке в дни опасности и борьбы за волю поляки первые отвечали: «Здесь!» — как сказал Ворцель или старший Дараш Временному правительству в 1848 году *.

Но правительство, в котором сидел Ламартиц, в них не нуждалось и вовсе об них не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтоб ее употребить не откровенным криком восстания и войны 15 мая 1848 *. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазия (у которой Польша была капризом, как у английской — Италия) стала с тех пор дуться. В Париже не говорили больше с прежней риторикой о *Varsovie échevelée*¹, и только в народе оставалась, рядом с всякими бонапартовскими воспоминаниями, легенда о *Понятуски**, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовский тонет верхом в своей *chapska*.

С 1849 начинается для польской эмиграции самое удручительное время. Томно длится оно до Крымской войны и смерти Николая. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало *. Отрезанная от страны, эмиграция осталась на другом берегу и, как дерево без новых соков, вяла, сохла, делалась чужой для родины, не переставая быть чужой для стран, в которых жила. Они до некоторой степени ей сочувствовали, но их несчастье продолжалось слишком долго, а в душе человека нет доброго чувства, которое бы не изнашивалось. К тому же вопрос польский прежде всего был вопрос национальный и только формально революционный, т. е. по отношению к чужеземному игу.

Эмиграция смотрела столько же назад, сколько вперед; она стремилась восстановить, как будто в прошедшем что-нибудь достойное восстановления, кроме независимости, — а одна независимость ничего не говорит: это — понятие отрицательное. Разве можно быть независимее России? В сложную, туго

церов, пфеннигов, хороших и дурных грошей в продолжение нескольких лет... Прощай все мечты об шелковом платке, о цветной мантилии, о яркой шали. Перед такими подвигами я на коленях!

¹ истерзанной Варшаве (франц.). — *Ред.*

вырабатывающуюся формулу будущего общественного устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другим в справедливой надежде на взаимность. Борьба за независимость всегда вызывает горячее сочувствие, но она не может стать *своим* делом для чужих. Только те интересы принадлежат всем, которые по существу своей *не национальны*, как, например, интересы католицизма и протестантизма, революции и реакции, экономизма и социализма.

...В 1847 году познакомился я с польской демократической Централизацией *. Тогда она жила в Версале и, сколько мне казалось, самый деятельный член ее был Высоцкий. Особенного сближения не могло быть. Эмигрантам хотелось слышать от меня подтверждение своим желанием, своим предположениям, а не то, что я знал. Они желали иметь сведения о каком-то заговоре, подкапывающем все государственное здание в России, и спрашивали, участвует ли в нем Ермолов... * А я им мог рассказывать о радикальном направлении тогдашней молодежи, о пропаганде Грановского, об огромном влиянии Белинского, о социальном оттенке в обеих партиях, бившихся тогда в литературе и в обществе, у западников и славянофилов. Им казалось это неважным.

У них было богатое прошедшее, у нас — большая надежда; у них грудь была покрыта рубцами, у нас только крепи для них мышцы. Мы казались ополченцами перед ними, ветеранами. Поляки — мистики, мы — реалисты. Их влечет в таинственный полусвет, в котором стираются очертания, носятся образы, в котором можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видеть ясно. Они могут жить в этом полусне, без анализа, без *холодного* исследования, без сосущего сомнения. В глубине их души, как человек в военном стане, есть чуждый нам отблеск средних веков и распятие, перед которым в минуты тяжести и устали они могут молиться. В поэзии Красинского «Stabat Mater» * заглушает народные гимны и влечет нас не к торжеству жизни, а к торжеству смерти, к дню великого суда... Мы или *глупее* верим или *умнее* сомневаемся.

Мистическое направление развернулось во всей силе после наполеоновской эпохи. Мицкевич, Товянский, даже математик

Вронский — все способствовали мессианизму *. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиков. Старики, получившие образование еще в XVIII веке, были свободны от теософических фантазий. Классический закал, который давал людям великий вкус, как дамаск, не стирался. Мне еще удалось видеть два-три типа старых панов-энциклопедистов.

В Париже, и притом в rue de la Chaussée d'Antin, жил с 1831 года гр. Алоизий Бернадский, нунций польской диеты, министр финансов во время революции, маршал дворянства какой-то губернии, представлявший свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал, в 1814 г. *

Совершенно разоренный конфискацией, он поселился с 1831 года в Париже, и притом на той маленькой квартире в Шоссе d'Antin, которую я упомянул; оттуда-то он выходил всякое утро в темнокоричневом сертуке на прогулку и чтение журналов и всякий вечер — в синем фраке с золотыми пуговицами — к кому-нибудь провести вечер; там в 1847 году я познакомился с ним. Дом состарился, хозяйка хотела его перестроить. Бернадский написал к ней письмо, которое до того тронуло француженку (что очень не легкая вещь, когда замешаны финансы!), что она пустилась с ним в переговоры и просила его только на время переехать. Отделав квартиру, она снова отдала ее Бернадскому за ту же цену. С горестью увидел он новую красивую лестницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбе.

Во всем умеренный, безусловно чистый и благородный старик был поклонник Вашингтона и приятель О'Коннеля. Настоящий энциклопедист, он проповедовал эгоизм *bien entendu*¹ и провел всю жизнь в самоотвержении и пожертвовал всем, от семьи и богатства до родины и общественного положения, никогда не показывая особенного сожаления и никогда не падая до ропота.

Французская полиция оставляла его в покое и даже уважала его, зная, что он был министр и *нунций*; префектура пресерьезно думала, что нунций польской диеты был что-то вроде папского нунция. В эмиграции это знали, и потому товарищи

¹ разумный (франц.).— *Ред.*

и соотсественники беспрестанно посылали его об них хлопотать. Бернадский шел беспрекословно и до тех пор говорил правильные комплименты и надоедал, что префектура часто делала уступки, чтоб отвязаться от него. После совершенного покорения Февральской революции тон переменился: ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни седой головой ничего нельзя было взять, а тут как назло приехала в Париж жена польского генерала, участвовавшего в венгерской войне, в большой крайности. Бернадский просил помощи для нее у префектуры; префектура, несмотря на громкий адрес «à son excellence monsieur le Nonce»¹, отказала наотрез. Старик отправился сам к Карлье; Карлье, чтоб отвязаться от него и с тем вместе унижить, заметил ему, что пособия только дают выходцам 1831 года. «Вот, — прибавил он, — если вы принимаете такое участие в этой даме, подайте просьбу, чтоб вам по бедности назначили пособие; мы вам положим франков двадцать в месяц, а вы их отдавайте кому хотите!»

Карлье был пойман. Бернадский самым простодушным образом принял предложение префекта и тотчас согласился, рассыпаясь в благодарности. С тех пор всякий месяц старик являлся в префектуру, ждал в передней час-другой, получал двадцать франков и относил их к вдове.

Бернацкому было далеко за семьдесят лет, но он удивительно сохранился, любил обедать с друзьями, посидеть вечером часов до двух, иногда выпить бокал-другой вина. Раз как-то, поздно, часа в три, возвращались мы с ним домой; дорога наша шла по улице Лепелетье. Опера горела в огне; пьерро и дебардеры^{2*}, едва прикрытые шальями, драгуны и полицейские толпились в сенях. Шутя и уверенный, что он откажется, я сказал Бернацкому:

— Quelle chance³, не зайти ли?

— С величайшим удовольствием, — отвечал он, — я лет пятнадцать не видал маскарада.

— Бернадский, — сказал я ему, шутя и входя в сени, — когда же вы начнете стареть?

¹ «ого превосходительству господину нунцию» (франц.).— *Ред.*

² грузчики (франц. débardeur).— *Ред.*

³ Какая удача (франц.).— *Ред.*

— Un homme comme il faut, — отвечал он, смеясь, — acquiert des années, mais ne vieillit jamais!¹

Он выдержал характер до конца и, как благовоспитанный человек, расстался с жизнью тихо и в хороших отношениях: утром ему нездоровилось, к вечеру он умер.

Во время смерти Бернацкого я был уже в Лондоне. Там вскоре после моего приезда сблизился я с человеком, которого память мне дорога и которого гроб я помог снести на Гайгетское кладбище, — я говорю о Ворцеле. Из всех поляков, с которыми я сблизился тогда, он был наиболее симпатичный и, может, наименее исключительный в своей нелюбви к нам. Он не то чтоб любил русских, но он понимал вещи гуманно и потому далек был от гуловых проклятий и ограниченной ненависти. С ним с первым говорил я об устройстве русской типографии. Выслушав меня, больной встрепенулся, схватил бумагу и карандаш, начал делать расчеты, вычислять, сколько нужно букв и пр. Он сделал главные заказы, он познакомил меня с Чернецким, с которым мы столько работали потом.

— Боже мой, боже мой, — говорил он, держа в руке первый корректурный лист, — Вольная русская типография в Лондоне!.. Сколько дурных воспоминаний стирает с моей души этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей!²

— Нам надобно идти вместе, — повторял он часто потом, — нам одна дорога и одно дело... — и он клал исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщине 29 ноября 1853 года я сказал речь в Ганновер-Руме*; Ворцель председательствовал. Когда я кончил, Ворцель, при громе рукоплесканий, обнял меня и со слезами на глазах поцеловал.

— Ворцель и вы, — заметил мне, выходя, один итальянец (граф Нани), — вы меня поразили давеча на платформе; мне казалось, что этот увядающий, благородный, покрытый сединами старец, обнимающий вашу здоровую, плотную фигуру, представляли типически Польшу и Россию.

¹ Благовоспитанный человек становится старше, но никогда не стареет! (Франц.).— *Ред.*

² «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне», сборник .А. Чернецкого, стр. VIII*.

— Добавьте только, — прибавил я ему, — Ворцель, подавая мне руку и заключая в свои объятия, *именем Польши прощал Россию*.

Действительно, мы могли идти вместе. Это не удалось.

Ворцель был *не один*... Но прежде об нем одном.

Когда родился Ворцель, его отец, один из богатых польских аристократов в Литве, родственник Эстергази, Потоцким и не знаю кому, выписал из пяти поместий старост и с ними молодых женщин, чтоб они присутствовали при крещении графа Станислава и помнили бы до конца жизни об панском угощении по поводу такой радости. Это было в 1800 году *. Граф дал своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитание; Ворцель был математик, лингвист, знакомый с пятью-шестью литературами; с ранних лет приобрел он огромную эрудицию и притом был светским человеком и принадлежал к высшему польскому обществу в одну из самых блестящих эпох его заката, между 1815—1830 годами; Ворцель рано женился и только что начал «практическую» жизнь, как вспыхнуло восстание 1831 года. Ворцель бросил все и пристал душой и телом к движению. Восстание было подавлено, Варшава взята. Граф Станислав перешел, как и другие, границу, оставляя за собой семью в состоянии.

Жена его не только не поехала за ним, но прервала с ним все сношения и за то получила обратно какую-то часть имения. У них было двое детей, сын и дочь; как она их воспитала, мы увидим; на первый случай она их выучила забыть отца.

Ворцель между тем пробрался через Австрию в Париж и тут сразу очутился в вечной ссылке и без малейших средств. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Он, как Бернацкий, свел свою жизнь на какой-то монашеский пост и ревностно начал свое апостольство, которое прекратилось через двадцать пять лет с его последним дыханием в сыром углу нижнего этажа убогой квартиры, в темной Hunter street.

Реорганизовать польскую партию движения, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграционные силы, приготовить новое восстание и для этого проповедовать с утра до ночи, для этого жить — такова была тема всей жизни Ворцеля, от которой он не отступал ни на шаг и которой подчинил все. С этой

целью он сблизился со всеми людьми движения во Франции, от Годфруа Каваньяка до Ледрю-Роллена; с этой целью был масоном, был в близких сношениях с сторонниками Маццини и с самим Маццини впоследствии. Ворцель твердо и открыто поставил революционное знамя Польши против партии Чарторижских. Он был уверен, что аристократия погубила восстание, он в старых папах видел врагов своему делу и собирал новую Польшу, чисто демократическую.

Ворцель был прав.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему делу, шла во многом вразрез с стремлениями нашего времени; перед ее глазами постоянно носился образ прежней Польши, не новой, а восстановленной, ее идеал был столько же в воспоминании, сколько в упованиях. Польше достаточно было и одного католического ядра на ногах, чтоб отставать, — рыцарские доспехи совсем остановили бы ее. Соединяясь с Маццини, Ворцель хотел привенчать польское дело к общеевропейскому, республиканскому и демократическому движению. Ясно, что он должен был искать почвы в незнатной шляхте, в городских жителях и в рабочих. Начаться восстание могло только в этой среде. Аристократия пристала бы к движению, крестьян можно было бы увлечь, инициативы они никогда бы сами не взяли.

Можно обвинять Ворцеля за то, что он вступил в ту же колею, в которой уже вязла и грузла западная революция, что он в этом пути видел единственный путь спасения; но, однажды приняв его, он был последователен. Обстоятельства его вполне оправдали. Где же в Польше была действительно революционная среда, как не в том слое, к которому постоянно обращался Ворцель и который сложился, вырос и окреп между 1831 годом и шестидесятыми годами?

Как бы мы розно ни смотрели на революцию и ее средства, но нельзя отвергнуть, что все приобретенное революцией приобретено средним слоем общества и городскими рабочими. Что сделал бы Маццини, что Гарибальди без *городского* патриотизма, а ведь польский вопрос был вопрос чисто патриотический; у самого Ворцеля интерес национальной независимости все же был ближе к сердцу, чем социальный переворот.

Года за полтора до Февральской революции по дремавшей Европе пробежала какая-то дрожь пробуждения: краковское дело, процесс Мерославского *, потом война Зондербунда * и итальянское *risorgimento*¹ *. Австрия отвечала восстанию имперской пугачевщиной, Николай подарил ей не принадлежавший ему Краков, но тишина не возвратилась. Людвиг-Филипп пал в феврале 1848 года, поляк возил его трон на сожжение. Ворцель во главе польской демократии явился напомнить Временному правительству о Польше. Ламартин принял его холодной риторикой. Республика была больше мир, чем империя.

Был миг, в который можно было надеяться; этот миг пропустила Польша, пропустила вся Западная Европа, и Паскевич донес Николаю, *что Венгрия у его ног* *.

С падением Венгрии ждать было нечего, и Ворцель, вынужденный оставить Париж, переселился в Лондон.

В Лондоне я его застал в конце 1852 членом Европейского комитета² *. Он стучался во все двери, писал письма, статьи в журналах, он работал и надеялся, убеждал и просил, — а так как при всем остальном надо было есть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черчения и даже французского языка; кашляя и задыхаясь от астма, ходил он с конца Лондона на другой, чтоб заработать два шиллинга, много — полкроны. И тут он еще долю выработанного отдавал своим товарищам.

Дух его не унывал, но тело отстало. Лондонский воздух — сырой, копченый, не согретый солнцем — был не по слабой груди. Ворцель таял, но держался. Так он дожил до Крымской войны; ее он не мог, я готов сказать, не должен был пережить. «Если Польша *теперь* ничего не сделает, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мне лучше закрыть глаза», — говорил Ворцель мне, отправляясь по Англии с Кошутом. Во всех главных городах собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встречали громом рукоплесканий, делали небольшие денежные сборы — *и только*. Парламент и правительство очень хорошо знают, когда народная волна просто шумит и

¹ возрождение (итал.). — *Ред.*

² Миццини, Кошут, Ледрю-Роллен, Арнольд Руге, Браттиано и Ворцель.

когда она в самом деле напирает. Твердо стоявшее министерство, предложившее Conspiracy Bill, пало *в ожидании* народного схода в Гайд-парке *. В митингах, собираемых Кошутом и Ворцелем для того, чтоб вызвать со стороны парламента и правительства признание польских прав, заявления симпатии к польскому делу, ничего не было определенного, не было силы. Страшный ответ консерваторов был неотразим: «В Польше все покойно». Правительству приходилось не признать совершившийся факт, а вызвать его, взять революционную инициативу, разбудить Польшу. Так далеко в Англии общественное мнение не идет. К тому же *in petto*¹ все желали окончания войны, только что начавшейся, дорогой и, в сущности, бесполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался в Лондон. Он был слишком умен, чтоб не понять неудачу; он старился наглазно, был угрюм и раздражителен, и с той лихорадочной деятельностью, с которой умирающие принимаются тревожно за всякое лечение, с зловещей боязнию в груди и с упорной надеждой ездил он опять в Бирмингам или Ливерпуль с трибуны поднимать свой плач о Польше. Я смотрел на него с глубокой горестью. Но как же он мог думать, что Англия поднимет Польшу, что Франция Наполеона вызовет революцию? Как он мог надеяться на ту Европу, которая допустила Россию в Венгрию, французов в Рим? Разве самое присутствие Маццини и Кошута в Лондоне не громко ему напоминало о ее падении?

...Около того же времени давно накипавшее неудовольствие против Централизации в молодой части эмиграции подняло голос. Ворцель обомлел — этого удара он не ждал, а он пришел совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавших Ворцеля, далеко не имела одного уровня с ним. Ворцель понимал это, но, привыкнув к своему хору, был под его влиянием. Он воображал, что он ведет, в то время как хор, стоя сзади, направлял его куда хотел. Только Ворцель подымался на ту высь, в которой ему было свободно дышать, в которой ему было естественно, — хор, исполняя должность мещанской родни, стягивал его в низменную сферу эмиграционных дрязг и мелочных

¹ в душе (итал.).— *Ред.*

расчетов. Преждевременный старик задыхался в этой среде от духовного астма столько же, как и от физического.

Люди эти не поняли серьезного смысла того союза, который я предлагал. Они в нем видели средство придать новый колорит делу; вечная таутология общих мест, патриотические фразы, казенные воспоминания — все это приелось, наскучило. Соединение с русским давало новый интерес. К тому же они думали поправить свои дела, очень расстроенные, на счет русской пропаганды.

С самого начала между мной и членами Централизации не было настоящего пониманья. Недоверчивые ко всему русскому, они хотели, чтоб я написал и напечатал нечто вроде *profession de foi*¹. Я написал «Поляки прощают нас» *. Они просили изменить кой-какие выражения. Я это сделал, хотя далеко не был согласен с ними. В ответ на мою статью Л. Зенкович написал воззвание к русским и прислал мне его в рукописи. Ни тени новой мысли; те же фразы, те же воспоминания и притом католические выходки. Прежде чем переводить на русский язык, я показал Ворцелю нелепости редакции. Ворцель был согласен и пригласил меня вечером объяснить дело членам Централизации.

Тут произошла вечная сцена Трисотина и Вадюса*: именно те места, на которые я указывал, они-то и были *необходимы* для того, чтоб Польша не сгиняла. Насчет католических фраз они сказали, что каковы бы ни были их личные верования, но что они хотят быть с народом, а народ горячо любит свою гонимую мать — латинскую церковь...

Ворцель поддерживал меня. Но, как только он начинал говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлял от табачного дыма и ничего не мог сделать. Он обещал мне переговорить с ними потом и настоять на главных поправках. Через неделю вышел «Демократ польский». В воззвании не было переменено *ни одной йоты*; я отказался от перевода. Ворцель говорил мне, что и он был удивлен этой проделкой. «Этого мало, что вы удивились, зачем вы не остановили?» — заметил я ему.

¹ исповедания веры (франц.).— *Ред.*

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопрос станет для Ворцеля так: разорваться с тогдашними членами Централизации и остаться в близком отношении со мной или разорваться со мной и остаться по-прежнему с своими революционными недорослями. Ворцель выбрал последнее — я был огорчен этим, но никогда не сетовал на него и не сердился.

Здесь я должен буду взойти в печальные подробности. Когда я завел типографию, у нас было решено так: все расходы книгопечатания (бумага, набор, наем места, работа etc.) падали на мой счет. Централизация брала на свой счет пересылку русских листов и брошюр теми путями, которыми они пересылали польские брошюры. Все, что они брали для пересылки, я им давал безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша, но вышло, что и она была мала.

Для своих дел, и преимущественно для собрания денег, Централизация решила послать в Польшу эмиссара. Хотели даже, чтоб он пробрался в Киев, а если можно — в Москву, для русской пропаганды, и просили от меня писем. Я отказал, боясь наделать бед. Дни за три до его отправления, вечером, встретил я на улице Зенковича, который тотчас меня спросил:

— Вы сколько даете на посылку эмиссара — с своей стороны?

Вопрос показался мне странным; но, зная их стесненное положение, я сказал, что, пожалуй, дам фунтов десять (250 фр.).

— Да что вы, шутите, что ли? — спросил, морщась, Зенкович. — Ему надобно по меньшей мере шестьдесят фунтов, а у нас *ливров сорок* недостает. Этого так оставить нельзя, я поговорю с нашими и приду к вам.

Действительно, на другой день он пришел с Ворцелем и двумя членами Централизации. На этот раз Зенкович меня просто обвинил в том, что я не хочу дать достаточно денег на посылку эмиссара, а согласен ему дать русские печатные листы.

— Помилуйте, — отвечал я, — вы решились послать эмиссара, вы находите это необходимым, — трата падает на вас. Ворцель налицо, пусть он вам напомнит условия.

— Что тут толковать *о вздоре!* Разве вы не знали, что у нас теперь гроша нет?

Тон этот мне, наконец, надоел.

— Вы, — сказал я, — кажется, не читали «Мертвых душ», а то бы я вам напомнил Ноздрева, который, показывая Чирикову границу своего имения, заметил, что и с той и с другой стороны земля его. Это очень сбивает на наш дележ: мы делили работу нашу и тягу пополам на том условии, чтоб обе половины лежали на моих плечах.

Маленький желчевой литвин начал выходить из себя, кричать о гоноре и заключил нелепую и невежливую речь вопросом:

— Чего же вы хотите?

— Того, чтоб вы меня не принимали ни за *bailleur de fonds*¹, ни за демократического банкира, как меня назвал один немец в своей брошюре. Вы слишком оценили мои средства, и, кажется, слишком мало меня... вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте... — горячился бледный от ярости литвин.

— Я не могу дозволить продолжение этого разговора! — сказал, наконец, Ворцель, мрачно сидевший в углу и вставая. — Или продолжайте его без меня. *Sher Herzen*², вы правы, но подумайте об нашем положении: эмиссара послать необходимо, а средств нет...

Я остановил его.

— В таком случае можно было меня спросить, могу ли я что-нибудь сделать, но нельзя было требовать; а требовать в этой грубой форме просто гадко. — Деньги я дам; делаю это единственно для вас и — и даю вам честное слово, господа, в последний раз.

Я вручил Ворцелю деньги, и все мрачно разошлись.

Как вообще делались финансовые операции в нашем мире, я покажу еще на одном примере.

После моего приезда в Лондон в 1852, говоря о плохом состоянии итальянской кассы с Маццини, я сообщил ему, что в Генуе я предлагал его друзьям завести свою *income-tax*³ и платить бессемейным процентов десять, семейным меньше.

— Примут все, — заметил Маццини, — а заплотят весьма немногие.

¹ негласного пайщика (франц.).— *Ред.*

² Дорогой Герцен (франц.).— *Ред.*

³ подоходный налог (англ.).— *Ред.*

— Стыдно будет, заплотят. Я давно хотел внести свою лепту в итальянское дело; мне оно близко, как родное — я дам десять процентов с дохода, единовременно. Это составит около двухсот фунтов. Вот сто сорок фунтов, а шестьдесят останутся за мной.

В начале 1853 Маццини исчез. Вскоре после его отъезда явились ко мне два породистых рефюжье — один в шинели с меховым воротником, потому что он десять лет тому назад был в Петербурге, другой без воротника, но с седыми усами и военной бородкой. Они пришли с поручением от Ледрю-Роллена: он хотел знать, не намерен ли я прислать какую-нибудь сумму денег в Европейский комитет. Я признался, что *не имею*.

Несколько дней спустя тот же вопрос был мне сделан Ворцелем.

— С чего это взял Ледрю-Роллен?

— Да ведь дали же вы Маццини.

— Это скорее резон не давать никому другому.

— Кажется, за вами остались шестьдесят фунтов?

— Обещанные Маццини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

...Прошла неделя; я получил письмо от Маццолени, в котором он уведомлял меня, что до его сведения дошло, что *я не знаю*, кому доставить шестьдесят фунтов, оставшиеся за мной, в силу чего он просит переслать их ему, как *представителю Маццини* в Лондоне.

Маццолени этот действительно был секретарем Маццини. Чиновник, бюрократ по натуре, он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о восстании в Милане 3 февраля 1853 была напечатана в журналах, я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вестей. Маццолени просил меня подождать; потом вышел озабоченный, доблестный, с какими-то бумагами и с Вратиано, с которым был в важном разговоре.

— Я к вам приехал узнать, нет ли каких вестей.

— Нет, я сам узнал из «Теймса»; жду с часу на час депешу.

Подошли еще человека два. Маццолени был доволен и

потому морщился и жаловался на недосуг. Разговорившись, он начал полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете? — спросил я его.

— Это... это, разумеется, мои соображения, — заметил, несколько смешавшись, Маццолени.

— Завтра утром я к вам приеду...

— А если сегодня будет что-нибудь, я извещу вас.

— Вы меня одолжите; от 7 до 9 я буду у Веры.

Маццолени не забыл. Часу в восьмом я обедал у Веры. Возшел итальянец, которого я раза два видал; он подошел ко мне, осмотрелся, выждал, когда гарсон пошел за чем-то, и, сказав мне, что Маццолени поручил ему передать, что никакой телеграммы не было, ушел.

...Получив письмо от этого статс-секретаря по революции, я ему отвечал шутя, что он напрасно меня представляет в каком-то беспомощном состоянии, стоящего среди Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесят ливров; что я без письма Маццини вовсе не намерен их кому бы то ни было отдавать.

Маццолени написал мне длинную и несколько гневную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть колкой для получающего, не выходя, впрочем, из пределов парламентской вежливости.

Не прошло недели после этих искушений, как утром рано приехала ко мне Эмилия Г.*, одна из преданнейших женщин Маццини и близкий его друг. Она мне сообщила о том, что восстание в Ломбардии не удалось и что Маццини еще скрывается там и просит немедленно выслать денег, а денег нет.

— Вот вам, — сказал я ей, — знаменитые шестьдесят фунтов; не забудьте только сказать тайному советнику Маццолени да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не так-то дурно сделал, не бросив в омут Европейского комитета эти полторы тысячи франков.

Предупреждая наш русский национальный вывод из моего рассказа, я должен сказать, что деньгами, так собираемыми, никогда никто не пользовался¹; у нас их кто-нибудь украл

¹ Итальянская эмиграция выше всякого подозрения. В французской был один забавный случай. Бароне, о котором была речь в рассказе о дуэли Бартолеми, собрал, по поручению Ледрю-Роллена, какие-то деньги

бы, — здесь они исчезали в том роде, если б кто-нибудь, не записывая нумеров, жег бы на свече ассигнации.

Эмиссар поехал и приехал назад, ничего не сделавши. Война приближалась... началась. Эмиграция была недовольна; молодые эмигранты винули товарищей Ворцеля в неспособности, лени, в желании устроить свои делишки вместо польских дел, в апатии. Неудовольствие их дошло до явного ропота; они поговаривали об отчете, который хотели требовать от членов Централизации, об открытом заявлении недоверия. Их останавливало и удерживало одно — уважение и любовь к Ворцелю. Сколько мог, я, через Чернецкого, поддерживал это; но ошибка за ошибкой Централизации должны были, наконец, вывести из терпения хоть кого.

В ноябре 1854 был снова польский митинг, но уже совсем в другом духе, чем в прошлом году. Председателем был избран член парламента Жозуа Вомслей — поляки ставили свое дело под английский патронаж *. В предупреждение слишком красных речей Ворцель написал кой к кому записки вроде полученной мною: «Вы знаете, что 29 у нас митинг; не можем пригласить вас и в этот год, как в прошлый, сказать нам несколько сочувствующих слов: война и необходимость сближения с англичанами заставляет нас дать митингу иной цвет. Не Герцен, не Ледрю-Роллен и Пьянчани будут говорить,

и прожил их. После этого желание возвратиться в Лондон сильно уменьшилось, и он стал просить разрешения остаться в Марсели. Бильо отвечал, что Бароне как политический человек так безопасен, что мог бы оставаться, но что бесчестный поступок его с своей собственной партией показывает, что он ненадежный человек, в силу чего он ему отказывает.

Своего рода пальма и тут принадлежит немцам. Они сколотили сборами в Америке и Манчестере, помнится, тысяч двадцать франков. Деньги эти, назначенные для агитации, пропаганды, поддержания процессов и пр., они положили в один из лондонских банков и избрали распорядителями: Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха — трех непримиримых врагов. Те тотчас догадались, какой богатый источник неприятностей друг другу им дан в руки, а потому и поспешили написать в условиях взноса, чтоб банк не выдавал никакой суммы без всех трех подписей. Стоило одному или двум даже подписаться — третий не соглашался. Что ни делало немецкое эмиграционное общество, — одной подписи не доставало. Так и лежит сумма, не тронутая и поднесь, в банке — вероятно, приданым будущей тевтонской республики.

а большей частью англичане; из наших же один Кошут возьмет речь, чтоб изложить положение дел и пр.» Я отвечал, что «приглашение *не говорит* на митинге я получил, и с тем большей охотой его принимаю, что оно очень легко».

Сближение с англичанами не состоялось, уступки были сделаны напрасно — даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказал, что он готов дать денег, но не хочет подписать своего имени, не желая, как член парламента, официально участвовать в сборе, цель которого не признана правительством.

Все это и, между прочим, мое отдаление от митинга довело раздражение молодых людей до крайней степени; у них уже ходил по рукам обвинительный акт. Как нарочно в то же время я должен был перевести русскую типографию в другое место. Зенкович, нанимавший на свое имя дом, в котором помещалась она вместе с польской типографией, был кругом в долгах, два раза уже являлись брокеры¹ — всякий день можно было ждать, что типографию захватят вместе с другой мебелью. Я поручил Чернецкому ее перевести; Зенк<ович>упирался, не хотел выдать букв и принадлежностей; я написал ему холодную записку.

В ответ на нее на другой день приехал больной и расстроенный Ворцель ко мне в Твикнем.

— Вы нам наносите *le coup de grâçe*²; в то самое время, как у нас идет такая усобица, вы переводите типографию.

— Уверяю вас, что тут никаких нет политических причин, ни ссор, ни демонстраций, а очень просто: я боюсь, что опишут все у Зенк<овича>. Отвечаете ли вы мне, что этого не будет? Я на *ваше* честное слово положусь и типографию оставлю.

— Дела его очень запутаны, это правда.

— Как же вы хотите, чтоб я рисковал моим единственным орудием? Если даже я потом и выкуплю, чего будет стоить одна потеря времени? Вы знаете, как это здесь делается...

Ворцель молчал.

— Вот что я могу сделать для вас: я напишу письмо, в котором скажу, что хозяйственные распоряжения заставляют меня перевести типографию, но что это не только не значит, что мы расходимся, но, напротив — что у нас вместо одной

¹ судобные исполнители (англ. broker).— *Ред.*

² смертельный удар (франц.).— *Ред.*

будут две типографии. Письмо это вы можете напечатать, если желаете, или показать кому угодно.

Действительно, я в этом смысле и написал письмо на имя Жабицкого *, забитого члена Централизации, заведовавшего ее материальной частью.

Ворцель остался обедать; после обеда я уговорил его переночевать в Твикнеме; вечером мы сидели с ним вдвоем перед камином. Он был очень печален, ясно понимая, каких ошибок он наделал, как все уступки не повели ни к чему, кроме к внутреннему распадению, наконец — как агитация, которую он делал с Кошуттом, пропадала бесследно; а фондом¹ всей черной картины — убийственный покой Польши.

< - >

П. Тейлор велел хозяйке дома всякую неделю посылать к нему счет за квартиру, стол и прачку — этот счет он платил, но «на руки» ему не давал ни одного фунта *.

Осенью 1856 Ворцелю советовали ехать в Ниццу и сначала пожить на теплых закраинах Женевского озера. Услышав это, я ему предложил деньги, нужные на путь. Он принял, и это нас снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирався он в путь тихо; лондонская зима, сырая, с продыmlенным, давящим туманом, вечной сыростью и страшными северновосточными ветрами, начиналась. Я торопил его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страх от перемены, от движения, он боялся одиночества. Я ему предлагал взять с собою кого-нибудь до Женевы; там я его передал бы Карлу Фогту. Он все принимал, со всем соглашался, но ничего не делал. Жил он *ниже rez-de-chaussée*²; у него в комнате почти никогда не было светло — там-то, в астме, без воздуха, дыша каменным углем, он потухал.

Ехать он решительно опоздал; я ему предложил нанять для него хорошую комнату в Brompton consumption hospital³.

— Да это было бы хорошо... но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну так что же?

¹ фондом (франц. fond).— *Ред.*

² первого этажа (франц.)— *Ред.*

³ бромптонском туберкулезной санатории (англ.)— *Ред.*

— Жабицкий живет здесь, и все дела наши здесь, а он *должен каждое утро приходить ко мне с дневным отчетом!*
Тут самоотвержение граничило с сумасшествием.

< >

— Вы, верно, слышали, — спросил меня Ворцель, — что против нас готовится обвинительный акт?

— Слышал.

— Вот что я заслужил под старость... вот до чего дожил... — и он грустно качал седой головой своей.

— Вряд правы ли вы, Ворцель. Вас так привыкли любить и уважать, что если этому делу не давали хода, то это только из боязни вас огорчить. Вы знаете — зуб не на вас, пусть ваши товарищи идут своей дорогой.

— Никогда, никогда! Мы всё делали вместе, на нас лежит общая ответственность.

— Вы их не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назад по поводу того, что Россель предал своих товарищей? *

Это было вечером. Я стоял поодаль от камина, Ворцель сидел у самого огня, обернувшись лицом к камину; его болезненное лицо, на котором дрожал красный отсвет, показалось мне еще больше истомленным и страдальческим. Слеза, старая слеза скатывалась по исхудалой щеке его... Прошли несколько минут невыносимо тяжелого молчания... Он встал, я проводил его в его спальню; большие деревья шумели в саду. Ворцель отворил окно и сказал:

— Я здесь с моей несчастной грудью прожил бы вдвое. Я схватил его за обе руки.

— Ворцель, — говорил я ему, — останьтесь у меня, я вам дам еще комнату; вам никто мешать не будет, делайте что хотите, завтракайте одни, обедайте одни, если хотите; вы отдохнете месяца два... вас не будут беспрерывно тормозить, вы освежитесь. Я вас прошу как друга, как ваш меньшой брат!

— Благодарю, благодарю вас от всего сердца; я сейчас бы принял наше предложение, но при теперичных обстоятельствах это просто невозможно.. С одной стороны война, с другой — наши это примут за то, что я их оставил. Нет, каждый должен нести крест свой до конца.

— Ну, так усните по крайней мере спокойно, — сказал я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

...Война оканчивалась, умер Николай, началась новая Россия. Дожили мы до Парижского мира и до того, что «Полярная звезда» и все напечатанное нами в Лондоне покупалось *на корню*. Мы стали издавать «Колокол», и он пошел... Мы с Ворцелем видались редко, он радовался нашим успехам с той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, с которой мать, потерявшая сына, следит за развитием чужого отрока... Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелем в его *oggi o mai*, наступало, и он гаснул...

За три дня до его кончины Чернецкий прислал за мною. Ворцель меня спрашивал — он был очень плох, ждали его кончины. Когда я приехал к нему, он был в забытьи, близком к обмороку; бледный, восковой, лежал он на диване... щеки его совершенно ввалились. Такие припадки с ним повторялись в последние дни, он привыкал быть мертвым. Через четверть часа Ворцель стал приходить в себя, слабо говорить, потом узнал меня, привстал и лег полусидя на диване.

— Читали вы газеты? — спросил он меня.

— Читал.

— Расскажите, как идет невшательский вопрос*, я не могу ничего читать.

Я ему рассказал, он все слышал и все понял.

— Ах, как спать хочется. Оставьте меня теперь, я не усну при вас, а мне от сна будет легче.

На другой день ему было получше. Ему хотелось мне что-то сказать... Он раза два начинал и останавливался... и, только оставшись со мной наедине, умирающий, подозвал меня к себе и, слабо взяв меня за руку, сказал:

— Как вы были правы... Вы не знаете, как вы были правы... У меня лежало это на душе вам сказать.

— Не будем больше говорить об них.

— Идите вашей дорогой... — он поднял на меня свой умирающий, но светлый, лучезарный взгляд. Больше он говорить не мог. Я поцеловал его в губы — и хорошо сделал: мы простились надолго. Вечером он встал, вышел в другую комнату, хлебнул теплой воды с джином у хозяйки дома, простой,

превосходной женщины, религиозно уважавшей в Ворцеле какое-то высшее явление, взмог опять к себе и уснул. На другой день, утром, Жабицкий и хозяйка спросили, не надобно ли ему чего больше. Он просил сделать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сделали. Ворцель не просыпался.

Я уже не застал его. Худое-худое лицо его и тело было покрыто белой простыней; я посмотрел на него, протиснулся и пошел за работником скульптора, чтоб снять маску.

Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказал в другом месте¹*. Прибавлю к ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорил о своей семье. Раз как-то он искал для меня какое-то письмо; порывшись на столе, он открыл ящик. Там лежала фотография какого-то сытого молодого человека с офицерскими усами.

— Наверное, поляк и патриот? — сказал я, больше шутя, чем спрашивая.

— Это, — сказал Ворцель, глядя в сторону и поспешно взяв у меня из рук портрет, — это... мой сын.

Я узнал впоследствии, что он был русским чиновником в Варшаве.

Дочь его вышла замуж за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины он диктовал Маццини свое завещание — совет Польше, поклон ей, привет друзьям...

— Теперь все, — сказал умирающий. Маццини не покидал пера.

— Подумайте, — говорил он, — не хотите ли вы в эту минуту...

Ворцель молчал.

— Нет ли еще лиц, которым бы вы имели что-нибудь сказать?

Ворцель понял; лицо его подернулось тучей, и он ответил:

— *Мне им нечего сказать.*

Я не знаю проклятия, которое ужаснее звучало бы и тяжелей бы ложилось этих простых слов.

¹ «Сборник типографии», стр. 163—164.

С смертью Ворцеля демократическая партия польской эмиграции в Лондоне обмельчала. Им, его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партия распалась на мелкие партии, почти враждебные. Годичные митинги вразбивку стали бедны числом и интересом: вечная панихида, перечень старых и новых потерь и, как всегда в панихидах, чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века, чаяние во второе пришествие Бонапарта и в преобразование Речи Посполитой.

Два-три благородных старца остались величественными и скорбными памятниками; как те длиннородые, седые израильтяне, которые плачут у стен иерусалимских, они не как вожди указывают путь вперед, а как иноки — могилу; они останавливают нас своим *Sta, viator! Herois sepulcrum...*¹

Между ними — лучший из лучших *, сохранивший в дряхлом теле молодое сердце и юный, кроткий, детски чистый, голубой взгляд, — одна нога его уже в гробе, — скоро уйдет он, скоро и противник его, Адам Чарторижский.

Уж не в самом ли деле это *finis Poloniae?*^{2*}

...Прежде чем мы совсем оставим трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодном Гайгетском кладбище, я хочу рассказать несколько мелочей о нем. Так люди, идущие с похорон, приостанавливая скорбь, рассказывают разные подробности о покойном.

Ворцель был очень рассеян в маленьких житейских делах; после него всегда оставались очки, их чехол, платок, табатерка; зато, если близко него лежал не его платок, он его клал в карман; он приходил иногда с тремя перчатками, иногда с одной.

Прежде чем он переехал в *Hunter street*, он жил возле, в полукруге небольших домов *Burton crescent*, 43, недалеко от Нью-Рода. На английский манер все дома полукруга были одинакие. Дом, в котором жил Ворцель, был пятый с края — и он всякий раз, зная свою рассеянность, считал двери. Возвращаясь как-то с противоположной стороны полулунья, Ворцель поступал и, когда ему отперли, вошел в свою комнатку. Из нее вышла какая-то девушка, вероятно, хозяйская дочь. Ворцель сел

¹ Стой, путник! Могила героя... (лат.).— *Ред.*

² ионец Польше? (лат.).— *Ред.*

отдохнуть к потухавшему камину. За ним кто-то раза два кашлянул: на креслах сидел незнакомый человек.

— Извините, — сказал Ворцель, — вы, верно, меня ждали?

— Позвольте, — заметил англичанин, — прежде чем я отведу, узнать, с кем я имею честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имею удовольствия знать, что же вам угодно?

Тут вдруг Ворцеля поразила мысль, что он не туда попал; оглядевшись, он увидел, что мебель и все прочее не его. Он рассказал англичанину свою беду и, извиняясь, отправился в пятый дом с другой стороны. По счастью, англичанин был очень учтивый человек, что не очень обыкновенный плод в Лондоне.

Месяца через три та же история. На этот раз, когда он постучал, горничная, отворившая дверь, видя почтенного старика, просила его взойти прямо в парлор; там англичанин ужинал с своей женой. Увидя входящего Ворцеля, он весело протянул ему руку и сказал:

— Это не здесь, вы живете в 43 №.

При этой рассеянности Ворцель сохранил до конца жизни необыкновенную память; я в нем спрашивался, как в лексиконе или энциклопедии. Он читал все на свете, занимался всем: механикой и астрономией, естественными науками и историей. Не имея никаких католических предрассудков, он, по странному *pli*¹ польского ума, верил в какой-то духовный мир, неопределенный, ненужный, невозможный, но отдельный от мира материального. Это не религия Моисея, Авраама и Исаака, а религия Жан-Жака, Жорж Санд, Пьера Леру, Маццини и пр. Но Ворцель имел меньше их всех прав на нее.

Когда его астм не очень мучил и на душе было не очень темно, Ворцель был очень любезен в обществе. Он превосходно рассказывал, и особенно воспоминания из старого панского быта; этими рассказами я заслушивался. Мир пана Тадеуша, мир Мурделио * проходил перед глазами, — мир, о кончине которого не жалеешь, напротив, радуешься, но которому невозможно отказать в какой-то яркой, необузданной поэзии, вовсе недостающей нашему барскому быту. Нам, в сущности, так не свойственна западная аристократия, что все рассказы

¹ складу (франц.). — *Ред.*

о наших тузах сводятся на дикую роскошь, на ширь на целый город, на бесчисленные дворни, на тираниство крестьян и мелких соседей, с рабским подобострастием перед императором и двором. Шереметевы и Голицыны, со всеми их дворцами и поместьями, ничем не отличались от своих крестьян, кроме немецкого кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Все они беспрерывно подтверждали изречение Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди — это те, с которыми он говорит и пока говорит... Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что может быть жалче *et moins aristocratique*¹, как последний представитель русского барства и вельможничества, виденный мною, князь Сергей Михайлович Голицын, и что отвратительнее какого-нибудь Измайлова.

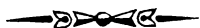
Замашки польских панов были скверны, дики, почти непонятны теперь; но диаметр другой, но другой закал личности и ни тени холопства.

— Знаете вы, — спросил меня раз Ворцель, — отчего называется *Passage Radzivil* в Пале-Рояле?

— Нет.

— Вы помните знаменитого Радзивилла, приятеля регента *, который проехал на своих из Варшавы в Париж и для всякого ночлега покупал дом? Регент был без ума от него; количество вина, которое выпивал Радзивилл, покорило ему ослабленного хозяина; герцог так привык к нему, что, выдаясь всякий день, посылал еще по утрам к нему записки. Занудилось как-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Он послал хлопа к нему с письмом. Хлопец искал, искал, не нашел и принес повинную голову. «Дурак, — сказал ему пан, — поди сюда. Смотри в окно: видишь этот большой дом?» (Пале-Рояль). — «Вижу». — «Ну, там живет первый здешний пан, каждый тебе укажет». Пошел хлопец, искал, искал — не может найти. Дело было в том, что дома отгораживали дворец и надобно было сделать обход по *St.-Honoré*... — «Фу, какая скука! — сказал пан. — Велите моему поверенному скупить дома между моим дворцом и Пале-Роялем, да и сделайте улицу, чтоб дурак этот не плутал, когда я опять его пошлю к регенту».

¹ и менее аристократично (франц.). — *Ред.*



〈ГЛАВА VII〉

НЕМЦЫ В ЭМИГРАЦИИ

Руге, Кинкель.— Schwefelbande^{1*}. — Американский обед.— «The Leader». — Народный сход в St-Martin's Hall. <—D-r Müller.>

Немецкая эмиграция отличалась от других * своим тяжелым, скучным и сварливым характером. В ней не было энтузиастов, как в итальянской, не было ни горячих голов, ни горячих языков, как между французами.

Другие эмиграции мало сближались с нею; разница в манере, в *habitus'e* удерживала их на некотором расстоянии; французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью. Отсутствие общепринятой светскости, тяжелый школьный доктринаризм, излишняя фамильярность, излишнее простодушие немцев затрудняли с ними сношения непривыкших людей. Они и сами не очень сближались... считая себя, с одной стороны, гораздо выше прочих по научному развитию и, с другой — чувствуя перед другими неприятную неловкость провинциала в столичном салоне и чиновника в аристократическом кругу.

Внутри немецкая эмиграция представляла такую же рассыпчатость, как и ее родина. Общего плана у немцев не было, единство их поддерживалось взаимной ненавистью и злым преследованием друг друга. Лучшие из немецких изгнанников чувствовали это. Люди энергические, люди чистые, люди умные, как К. Шурц, как А. Виллих, как Рейхенбах, уезжали в Америку. Люди кроткие по праву прятались за делами, за лон-

¹ Шайка поджигателей, «серная шайка» (нем.).— *Ред.*

донской далью, как Фрейлиграт. Остальные, исключая двух-трех вожаков, раздирали друг друга на части с неумолимым остервенением, не щадя ни семейных тайн, ни самых уголовных обвинений.

Вскоре после моего приезда в Лондон поехал я в Брайтон к Арнольду Руге. Руге был коротко знаком московскому университетскому кругу сороковых годов: он издавал знаменитые «Hallische Jahrbücher», мы в них черпали философский радикализм. Встретился я с ним в 1849 в Париже, на не остывшей еще, вулканической почве. В те времена было не до изучения личностей. Он приезжал одним из поверенных баденского инсurreкционного¹ правительства звать Мерославского, не умевшего по-немецки, начальствовать армией фрейшерлеров и переговаривать с французским правительством, которое вовсе не хотело признавать революционный Баден. С ним был К. Блинд. После 13 июня ему и мне пришлось бежать из Франции. К. Блинд опоздал несколькими часами и был посажен в Консьержри. С тех пор я не видал Руге до осени 1852.

В Брайтоне я нашел его брюзгливым стариком, озлобленным и злоречивым. Оставленный прежними друзьями, забытый в Германии, без влияния на дела и перессорившийся с эмиграцией, Руге был поглощен сплетнями и пересудами. В постоянной связи с ним были два-три бездарнейших газетных корреспондента, грошовых фельетониста, этих мелких мародеров гласности, которых никогда не видать во время сражения и всегда — после, майских жуков политического и литературного мира, каждый вечер с наслаждением и усердием копающихся в выброшенных остатках дня. С ними Руге составлял статейки, подзадоривал их, давал им материал и сплетничал на несколько журналов в Германии и Америке.

Я обедал у него и провел весь вечер. В продолжение всего времени он жаловался на эмигрантов и сплетничал на них.

— Вы не слыхали, — говорил он, — как идут дела нашего сорокапятилетнего Вертера с баронессой? * Говорят, что, открываясь ей в любви, хотел ее увлечь химической перспективой гениального ребенка, который должен родиться от

¹ повстанческого (франц. insurrection).— *Ред.*

аристократки и коммуниста? Барон, не охотник до физиологических опытов, говорят, прогнал его в три шеи. Правда это?

— Как же вы можете верить таким нелепостям?

— Да я и в самом деле не очень верю. Живу здесь в захолустье и слышу только о том, что делается в Лондоне, от немцев; все они, а особенно эмигранты, врут бог знает что, все между собой в ссоре, клеветают друг на друга. Я думаю, это К<инкель> распустил такой слух в знак благодарности за то, что баронесса его выкупила из тюрьмы. Ведь он бы и сам за ней поволочился, да воли-то нет: жена не дает ему баловаться. «Ты, говорит, меня от первого мужа отбил, так уж теперь довольно...»

Вот образчик философской беседы Арнольда Руге.

Один раз он изменил своему диапазону и стал с дружеским участием говорить о Бакуanine, но на полдороге спохватился и добавил:

— А впрочем, в последнее время он как-то стал опускаться, бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом.

Я уехал от него с тяжелым сердцем и с твердым намерением никогда не возвращаться.

Через год он чигал в Лондоне несколько лекций о философском движении в Германии. Лекции были плохи, берлински-английский акцент неприятно поражал ухо; к тому же он все греческие и римские имена произносил на немецкий манер, так что англичане не могли догадаться, кто эти Иофис¹, Юно²... На вторую лекцию пришли десять человек; на третью — человек пять — да я с Ворцелем. Руге, проходя по пустой зале мимо нас, сильно сжал мне руку и прибавил:

— Польша и Россия пришли, а Италии нет; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новом восстании народов.

Когда он ушел, разгневанный и грозящий, я посмотрел на сардоническую улыбку Ворцеля и сказал ему:

— Россия зовет Польшу к себе отобедать.

— *C'en est fait de l'Italie*³, — заметил Ворцель, качая головой, и мы пошли.

¹ Юпитер (лат. Jovis).— *Ред.*

² Юнона (лат. Juno).— *Ред.*

³ Вот и покончено с Италией (франц.).— *Ред.*

Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне *. Человек безукоризненного поведения, работавший в поте лица своего, что, как ни странно может это показаться, почти вовсе не встречалось в эмиграциях, *Кинкель* был заклятый враг Руге. Почему? Это так же трудно объяснить, как то, что проповедник атеизма Руге был другом неокатолика Рюнге *. *Готфрид Кинкель* был один из глав сорока сороков лондонских немецких расколов.

Глядя на него, я всегда дивился, как величественная, зевсовская голова попала на плечи немецкого профессора и как немецкий профессор попал сначала на поле сражения, потом, раненый, в прусскую тюрьму; а может, мудренее всего этого то, что все это *плюс* Лондон его несколько не изменили и он остался немецким профессором. Высокий ростом, с седыми волосами и бородой с проседью, он сам по себе имел величавый и внушающий уважение вид; но он к нему прибавлял какое-то официальное помазание, *Salbung*¹, что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттенок этот в разных вариациях встречается у модных пасторов, у дамских врачей, особенно у магнетизеров, адвокатов, специально защищающих нравственность, у главных waiter'ов² аристократических отелей в Англии. *Кинкель* в молодости много занимался богословием; освободившись от него, он остался священником в приемах. Это не удивительно: сам *Ламенне*, подрубая так глубоко корни католицизма, сохранил до старости вид аббата. Обдуманная и плавная речь *Кинкеля*, правильная и избегающая крайностей, шла какой-то назидательной беседой; он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием — самого себя.

Он был профессором в Сомерсет гаузе и в нескольких высших заведениях, читал публичные лекции об эстетике в Лондоне и Манчестере — этого ему не могли простить голодно и праздношатающиеся в Лондоне освободители тридцати четырех немецких отечеств. *Кинкель* был постоянно обругиваем в американских газетах, сделавшихся главным стоком немецких сплетен, и на тощих митингах, ежегодно держимых в па-

¹ елейность (нем.).— *Ред.*

² официантов (англ.).— *Ред.*

мать Роберта Блума, первого баденского Schilderhebung'a¹, первого австрийского Schwertfahrt'a² и пр. * Ругали его все его соотечественники, не имевшие никогда уроков, всегда просящие денег взаймы, никогда не отдающие занятого и постоянно готовые выдать человека за шпиона и вора в случае отказа. Кинкель не отвечал... Писаки лаяли, лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изредка какая-нибудь нечесаная и шершавая шавка выбежит из нижнего этажа германской демократии куда-нибудь в фельетон никем не читаемого журнала и залется злейшим лаем, который так и напомнит счастливые времена братских восстаний в разных Тюбингенах, Дармштадтах и Брауншвейг-Волфенбюттелях.

В доме Кинкеля, на его лекциях, в его разговоре все было хорошо и умно — но недоставало какого-то масла в колесах, и оттого все вертелось туго, без скрыпа, но тяжело. Он говорил всегда интересные вещи; жена его, известная пианистка, играла прекрасные вещи, а скука была смертная. Одни дети, прыгая, вносили какой-то больше светлый элемент; их светленькие глазенки и звонкие голоса обещали меньше достоинства, но .. больше масла в колесах.

«Ich bin ein Mensch der Möglichkeit»³, — говорил мне Кинкель не раз, чтоб характеризовать свое положение между крайними партиями; он думает, что он возможен как будущий министр в будущей Германии; я не думаю этого, зато Иоганна, его супруга, не сомневается.

Кстати, слово об их отношениях. Кинкель постоянно хранил достоинство, она постоянно удивлялась ему. Между собой они об самых будничных вещах говорят слогом благонаправленных комедий (светской haute comédie⁴ в Германии!) и нравственных романов.

— Beste Johanna, — говорит он звучно и не торопясь, — du bist, mein Engel, so gut, schenke mir noch eine Tasse von dem vortrefflichen Thee, den du so gut machst ein!

¹ подвигия щитов (нем.).— *Ред.*

² брицания мечей (нем.).— *Ред.*

³ «И человек возможностей» (нем.).— *Ред.*

⁴ высокой комедии (франц.).— *Ред.*

— Es ist zu himmlisch, liebster Gottfried, daß er dir geschmeckt hat. Tue, mein Bester, für mich einige Tropfen Schmand hinein!¹

И он каплет сливки, глядя на нее с умилением, и она глядит на него с благодарностью.

Johanna ожесточенно преследовала своего мужа беспрепятственными, неумолимыми попечениями о нем: давала ему револьвер во время тумана в каком-то особом поясе, умоляла беречь себя от ветра, от злых людей, от вредных кушаний и in petto от женских глаз — вреднее всех ветров и pate de foie gras²... Словом, она отравляла его жизнь острой ревностью и неумолимой, вечно возбужденной любовью. В замену она поддерживала его в мысли, что он гений, по крайней мере не хуже Лессинга, что Германии в нем готовится будущий Штейн; Кинкель знал, что это правда, и кротко останавливал Иоганну при посторонних, когда похвалы уватали слишком через край.

— Иоганна, слышали ли вы об Гейне? — спрашивает ее раз расстроено взбежавшая Шарлотта.

— Нет, — отвечает Иоганна.

— Умер... вчера в ночь...

— В самом деле?

— Zu wahr!³

— Ах, как я рада: я все боялась, что он напишет какую-нибудь едкую эпиграмму на Готфрида, — у него был такой лживый язык. Вы меня так удивили, — прибавила она, спохватившись, — какая потеря для Германии⁴.

< , >
отвращения, является горькое чувство зависти.

Источник этих ненавистей долею лежит в сознании политической второстепенности *германского отечества* и в

¹ — Дражайшая Иоганна, ты, ангел мой, так добра; налей мне еще одну чашку превосходного чая, который ты так хорошо приготавлиешь! Это слишком божественно, дорогой Готфрид, что чай пришелся тебе по вкусу. Налей мне, дражайший, несколько капель сливок! (нем.).— *Ред.*

² паштета из гусиной печенки (франц. *râté de foie gras*).— *Ред.*

³ абсолютно верно! (нем.).— *Ред.*

⁴ В свою очередь, и мне жаль, что я написал эти строки. Вскоре потом бедная женщина бросилась из окна четвертого этажа на каменный мост; ревность и болезнь в сердце довели ее до этой страшной смерти.

притязании играть первую роль. Смешно национальное фанфаронство и у французов, но все же они могут сказать, что «некоторым образом за человечество кровь проливали»... в то время как ученые германцы проливали одни чернила. Притязание на какое-то огромное национальное значение, идущее рядом с доктринерским космополитизмом, тем смешнее, что оно не предъявляет другого права, кроме неуверенности в уважении других, в желании *sich geltend machen*¹.

— За что нас поляки не любят? — говорил серьезно в обществе гелертеров один немец.

Тут случился журналист, умный человек, давно поселившийся в Англии.

— Ну, это еще не так мудроно понять, — отвечал он. — Вы лучше скажите, кто нас любит? или за что нас все ненавидят?

— Как все ненавидят? — спросил удивленный профессор.

— По крайней мере все пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русские, славяне.

— Позвольте, Herr Doktor, есть же исключения, — возразил обеспокоенный и несколько сконфуженный гелертер.

— Без малейшего сомнения, и какое исключение: Франция и Англия.

Ученый начал расцветать.

— И знаете отчего? Франция нас не боится, а Англия презирает.

Положение немца действительно печальное, но печаль его не интересна. Все знают, что они справиться могут с внутренним и внешним врагом, но не умеют. Отчего, например, единоплеменные ей народы — Англия, Голландия, Швеция — свободны, а немцы нет? Неспособность тоже обязывает, как дворянство, кой к чему, и всего больше к скромности. Немцы чувствуют это и прибегают к отчаянным средствам, чтоб иметь верх: выдают Англию и Северо-Американские Штаты за представителей германизма в сфере государственной Praxis² *. Руге, разгневавшись на Эдгара Бауэра за его пустую брошюру о России, кажется, под заглавием «Kirche und Staat» *,

¹ показать себя (нем.).— *Ред.*

² практики (нем.).— *Ред.*

и подозревая, что я Э. Бауэра ввел в искушение, писал мне (а потом то же самое напечатал в «Герсейском альманахе»), что Россия — один грубый материал, дикий и неустроенный, которого сила, слава и красота только от того и происходят, что германский гений ей придал свой образ и подобие.

Каждый русский, являющийся на сцену, встречает то озлобленное удивление немцев, которое не так давно находили от них же наши ученые, желавшие сделаться профессорами русских университетов и русской академии. Выписным «коллегам» казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватом чужого места.

Маркс, очень хорошо знавший Бакунина, который чуть не сложил свою голову за немцев под топором саксонского палача, *выдал его за русского шпиона*. Он рассказал в своей газете целую историю *, как Ж. Санд слышала от Ледрю-Роллена, что, когда он был министром внутренних дел, видел какую-то его компрометирующую переписку. Бакунин тогда сидел, ожидая приговора, в тюрьме и ничего не подозревал *. Клевета толкала его на эшафот и порывала последнее общение любви между мучеником и сочувствующей в тиши массой. Друг Бакунина А. Рейхель написал в Nohant к Ж. Санд и спросил ее, в чем дело. Она тотчас отвечала Рейхелю и прислала письмо в редакцию Марксова журнала, отзываясь с величайшей дружбой о Бакунине; она прибавляла, что вообще *никогда не говорила* с Ледрю-Ролленом о Бакунине, в силу чего не могла повторить и сказанного в газете. Маркс нашелся ловко и поместил письмо Ж. Санд с примечанием, что статейка о Бакунине была помещена «во время его отсутствия».

Финал совершенно немецкий, — он невозможен не только во Франции, где point d'honneur так щепетилен и где издатель зарыл бы всю нечистоту дела под кучей фраз, слов, околичностей, нравственных сентенций, покрыл бы ее отчаянием qu'on avait surpris sa religion¹, но даже английский издатель, несравненно менее церемонный, не смел бы свалить дела на сотрудников².

¹ что злоупотребили его доверием (франц.).— *Ред.*

² Несмотря на то, что они себе позволяют ужасно много. Для их характеристики расскажу один случай, бывший с Луи Бланом. «Теймс»

Через год после моего приезда в Лондон Марксова партия еще раз возвратилась на гнусную клевету против Бакунина, тогда погребенного в Алексеевском рavelине.

В Англии, в этом стародавнем отечестве поврежденных, одно из самых оригинальных мест между ними занимает *Давид Уркуард*; человек с талантом и энергией, эксцентрический радикал из консерватизма, он помешался на двух идеях: во-первых, что Турция — превосходная страна, имеющая большую будущность, в силу чего он завел себе турецкую кухню, турецкую баню, турецкие диваны... во-вторых, что русская дипломатия, самая хитрая и ловкая во всей Европе, подкупает и надувает всех государственных людей во всех государствах мира сего, и преимущественно в Англии. Уркуард работал годы, чтоб отыскать доказательства того, что Палмерстон на откуп у петербургского кабинета. Он об этом печатал статьи и брошюры, делал предложения в парламенте, проповедовал на митин-

напечатал, что Луи Блан, бывши членом Временного правительства, истратил «миллиона полтора фр. казенных денег» на составление себе партии между работниками. Луи Блан отвечал редакции, что она имеет неверные сведения о нем, что, при пущем желании, он не мог ни украсть, ни истратить полтора миллиона фр., потому что во все время его заведования люксембургской комиссией у него не было в распоряжении более 30 000 фр. «Теймс» не поместил его ответа. Луи Блан отправился в редакцию сам и потребовал свидания с главным издателем. Ему отвечали, что главного издателя *вовсе нет*, что «Теймс» издается как-то артелью. Луи Блан требовал ответственного артельщика — ему отвечали, что никто лично ни за что не отвечает.

— К кому же, наконец, я должен обратиться, у кого требовать отчет в том, что мое письмо в деле, касающемся до моего доброго имени, не было помещено?

— Здесь, — сказал ему один из чиновников при «Теймсе», — не так, как во Франции; у нас нет ни *gérant responsable* <ответственного редактора (франц.)>, ни законного обязательства помещать ответы.

— Решительно нет ответственного редактора? — спросил Луи Блан.

— Нету.

— Очень, очень жаль, — заметил Луи Блан, зло улыбаясь, — что нет главного редактора, а то я непременно надавал бы ему пощечин. Прощайте, господа.

— Good day, Sir, good day. God bless you! <Добрый день, сударь, добрый день. Да благословит вас господь! (англ.)> — повторил чиновник при «Теймсе», учтиво и спокойно отворяя двери.

гах. Сначала на него сердились, отвечали ему, бранили его, потом привыкли. Обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращали внимания... наконец разразились общим хохотом.

На одном митинге в одном из больших центров Уркуард до того увлекся своей идеей fixe, что, представляя Кошута человеком неверным, он прибавил, что если Кошут и не подкуплен Россией, то находится под влиянием человека, явным образом работающего в пользу России... и этот человек — Маццини! Уркуард, как дантовская Франческа, не продолжал больше своего чтения в этот день. При имени Маццини поднялся такой гомерический смех, что сам Давид заметил, что итальянского Голиафа он не сбил своей пращей, а себе свихнул руку.

Человек, думавший и открыто говоривший, что от Гизо и Дерби до Эспартеро, Кобдена и Маццини всё — русские агенты, был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины — Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule¹ клеветы и заподозревания всех людей, выступавших на сцену с большим успехом, чем они сами. Им недоставало честного имени. Уркуард его дал.

Д. Уркуард имел тогда большое влияние на «Morning Advertiser» — один из журналов, самым странным образом поставленных. Журнала этого нет ни в клубах, ни у больших стешинеров², ни на столе у порядочных людей — а он имеет большую циркуляцию, чем «Daily News», и только в последнее время дешевые листы, вроде «Daily Telegraph», «Morning и Evening Star», отодвинули «M. Advertiser» на второй план. Ивление чисто английское: «M. Advertiser» — журнал питейных домов, и нет кабака, в котором бы его не было.

С Уркуардом и публикой питейных домов взойшли в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья *. «Где пиво, там и немцы».

Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунин русский агент или нет?» * Само

¹ высшую школу (нем.). — *Ред.*

² торговцев писчебумажными товарами, газетами (англ. stationer). — *Ред.*

собою разумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакунине.

Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным * (об этом субъекте будет особая глава), но выбора не было. Я пригласил Ворцеля и Маццини присоединиться к нашему протесту — они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя польской демократической Централизации и такого человека, как Маццини, все кончено. Но немцы не остановились на этом. Они затянули скучнейшую полемику с Головиным *, который с своей стороны поддерживал ее для того, чтоб собою занимать публику лондонских кабаков.

Мой протест, то, что я писал к Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнев Маркса. Вообще это было время, в которое немцы спохватились и стали меня окружать такою же грубой неприязнью, как окружали прежде грубым ухаживанием. Они уже не писали мне панегириков, как во время выхода «*Vom andern Ufer*» и «Писем из Италии», а отзывались обо мне как о «дерзком варваре, осмеливающимся смотреть на Германию сверху вниз»¹. Один из марксовских гезеллей² написал целую книжку против меня и отослал Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда он напечатал (что я узнал гораздо позже) ту статейку в «Лидере», о которой шла речь. Имя его я не припомню.

К марксидам присоединился вскоре рыцарь с опущенным забралом, *Карл Блинд*, тогда *famulus*³ Маркса, теперь его враг *. В его корреспонденции в нью-йоркские журналы было сказано по поводу обеда, который давал нам американский консул в Лондоне *: «На этом обеде был русский, именно А. Г.,

¹ Это печатал некто *Колачек* в одном американском журнале по поводу второго французского издания «*Du développement des idées révolutionnaires en Russie*». *Пикантное* этого состоит в том, что *весь текст* этой книги был прежде напечатан по-немецки в «*Deutsche Jahrbücher*» *, издаваемых... тем же самым *Колачеком*!

² подмастерьев (нем. *Gesell*).— *Ред.*

³ подручный (лат.).— *Ред.*

выдающий себя за социалиста и республиканца. Г. живет в близких отношениях с Маццини, Кошутом и Саффи... Со стороны людей, стоящих во главе движения, чрезвычайно неосторожно, что они допускают русского в свою близость. Желаем, чтоб им не пришлось слишком поздно раскаяться в этом».

Сам ли Блинд это писал или кто из его помощников, я не знаю: текста у меня перед глазами нет, но за смысл я отвечаю.

При этом надобно заметить, что как со стороны К. Блинда, так и со стороны Маркса, которого я совсем не знал, вся эта ненависть была чисто платоническая, так сказать, безличная: меня приносили в жертву фатерланду из патриотизма. В американском обеде, между прочим, их бесило отсутствие немца — за это они наказали русского¹.

Обед этот, наделавший много шума по ту и другую сторону Атлантики, случился таким образом. Президент Пирс будировал старые европейские правительства и делал всякие школьничества. Долею для того, чтоб приобрести больше популярности дома, долею — чтоб отвести глаза всех радикальных партий в Европе от главного алмаза, на котором ходила вся его политика, — от незаметного упрочения и распространения невольничества.

Это было время посольства Суле в Испанию и сына Р. Оуэна в Неаполь *, вскоре после дуэля Суле с Тюрго * и его настоятельного требования проехать, вопреки приказа Наполеона, через Францию в Брюссель, в котором император французов отказать не решился. «Мы посылаем послов, — говорили американцы, — не к царям, а к народам». Отсюда — идея дать дипломатический обед врагам всех существующих правительств.

Я не имел понятия о готовящемся обеде. Получаю вдруг

¹ Отсутствие немца на обеде напоминает мне похороны матери Гарибальди. Она умерла в Ницце в 1851 году. Друзья ее сына пригласили изгнанников разных стран нести покойницу; в том числе был приглашен и я. Когда мы собрались у сеней дома, оказалось, что приглашенные были: два римлянина (один из них был Орсини), два ломбарда, два неаполитанца, два француза, Хоецкий — поляк и я — русский. «Господа, — сказал Хоецкий, — заметьте, L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand» <Европа представлена полностью, нет даже ни одного немца (франц.)>.

приглашение от Соундерса, американского консула; в приглашении лежала небольшая записочка от Маццини: он просил меня, чтоб я не отказывался, что обед этот делается с целью кой-кого подразнить и показать симпатию кой-кому другому.

На обеде были: Маццини Кошут, Ледрю-Роллен, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульский и я, из англичан — один радикальный член парламента, Жозуа Вомслей, потом посол Бюханан и все посольские чиновники.

Надобно заметить, что одна из целей *красного* обеда, данного защитником *черного* рабства, состояла в сближении Кошута с Ледрю-Ролленом. Дело было не в том, чтоб их примирить, — они никогда не ссорились, — а чтоб их официально познакомиться. Их незнакомство случилось так. Ледрю-Роллен был уже в Лондоне, когда Кошут приехал из Турции. Возник вопрос, кому первому ехать с визитом: Ледрю-Роллену к Кошуту или Кошуту к Ледрю-Роллену? Вопрос этот сильно занимал их друзей, сподвижников, их двор, гвардию и чернь. Pro и contra¹ были значительные. Один был диктатор Венгрии; другой не был диктатор, но зато *француз*. Один был почетный гость Англии, лев первой величины, на вершине своей садящейся славы; другой был в Англии как дома, а визиты делаютя вновь приезжающими... Словом, вопрос этот, как квадратура круга, *perpetuum mobile*, был найден обоими дворами неразрешимым... а потому и решили тем, чтоб не ездить ни тому, ни другому, предоставляя дело встречи воле божией и случаю... Года три или четыре Ледрю-Роллен и Кошут, живши в одном городе, имея общих друзей, общие интересы и одно дело, должны были игнорировать друг друга, а случая никакого не было. Маццини решился помочь судьбе.

Перед обедом, после того как Бюханан уже пережал нам всем руки, изъявляя каждому свое полное удовольствие, что познакомился лично, Маццини взял Ледрю-Роллена под руку, и в то же самое время Бюханан сделал такой же маневр с Кошутым, и, кротко подвигая виновников, привели их почти к столкновению и назвали их друг другу. Новые знакомые не оста-

¹ За и против (лат.). — *Ред.*

лись в долгу и осыпали друг друга комплиментами — с восточным, цветистым оттенком со стороны великого мадьяра и с сильным колоритом речей Конвента со стороны великого галла...

Я стоял во время всей этой сцены у окна с Орсини... взглянув на него, я был до смерти рад, видя легкую улыбку — больше в его глазах, чем на губах.

— Послушайте, — сказал я ему, — какой мне вздор пришел в голову: в 1847 году я видел в Париже, в Историческом театре какую-то глупейшую военную пьесу, в которой главную роль играли дым и стрельба, а вторую — лошади, пушки и барабаны. В одном из действий полководцы обеих армий выходят для переговоров с противоположных сторон сцены, храбро идут против друг друга, и, подойдя, один снимает шляпу и говорит: «Souvaroff — Masséna!» На что другой ему отвечает, тоже без шляпы: «Masséna — Souvaroff!»

— Я сам едва удержался от смеха, — сказал мне Орсини с совершенно серьезным лицом.

Хитрый старик Бюханан, мечтавший тогда уже, несмотря на семидесятилетний возраст, о президентстве и потому говоривший гостоянно о счастии покоя, об идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничал с нами так, как любезничал в Зимнем дворце с Орловым и Бенкендорфом, когда был послом при Николае. С Кошутом и Маццини он был прежде знаком; другим он говорил очень хорошо отделанные комплименты, напоминавшие гораздо больше тертого дипломата, чем сурового гражданина демократической республики. Мне он ничего не сказал, кроме того, что он долго был в России и вывез убеждение, что она имеет великую будущность. Я ему на это, разумеется, ничего не сказал, а заметил, что помню его еще со времен коронации Николая. «Я был мальчиком, но вы были так заметны, в вашем простом черном фраке и в круглой шляпе, в толпе шитой, золоченой, ливрейной знати»¹.

Гарибальди он заметил: «У вас такая же слава в Америке, как в Европе, только что в Америке еще прибавляется новый титул: там вас знают — там вас знают за отличного моряка».

¹ Я ни слова тогда не говорил по-английски. Бюханан плохо понимал по-французски. Ворцель ему передал мои слова.

За десертом, когда M-me Saunders уже вышла и нам подали сигары с еще большим количеством вина, Бюханан, сидевший против Ледрю-Роллена, сказал ему, что у него «был знакомый в Нью-Йорке, говоривший, что он готов бы был съездить из Америки во Францию только для того, чтоб познакомиться с ним».

По несчастю, Бюханан как-то шамшил, а Ледрю-Роллен плохо понимал по-английски. В силу чего вышло презабавное *qui pro quo*¹ — Ледрю-Роллен думал, что Бюханан говорит это от себя, и с французским *effusion de reconnaissance*² стал его благодарить и протянул ему через стол свою огромную руку. Бюханан принял благодарность и руку и с тем невозмутимым спокойствием в трудных обстоятельствах, с которым англичане и американцы тонут с кораблем или теряют полсостояния, заметил ему: «I think — it is a mistake³, это не я так думал, это один из моих хороших приятелей в New-York'e».

Праздник кончился тем, что вечером поздно, когда Бюханан уехал, а вслед за ним не счел более возможным остаться и Кошуг и отправился с своим министром без портфеля, консул стал умолять нас снова сойти в столовую, где он хотел сам приготовить какой-то американский пунш из старого кентуккийского виски. К тому же Соундерсу там хотелось вознаградить себя за отсутствие сильных тостов за будущую всемирную (белую) республику и т. д., которых, должно быть, осторожный Бюханан не допускал. За обедом пили тосты двух-трех гостей и его, без речей.

Пока он жег какой-то алкоголь и приправлял его всякой всячиной, он предложил хором *отслужить* «Марсельезу». Оказалось, что музыку ее порядком знал один Ворцель, зато у него было *extinction*⁴ голоса, да кой-как Маццини, — и пришлось звать американку Соундерс, которая сыграла «Марсельезу» на гитаре.

¹ недоразумение (лат.). — *Ред.*

² манерой изливаться в благодарностях (франц.). — *Ред.*

³ «И думаю, это ошибка» (англ.). — *Ред.*

⁴ Здесь: потеря (англ.). — *Ред.*

Между тем ее супруг, окончив свою стрижку, попробовал, остался доволен и разлил нам в большие чайные чашки. Не опасаясь ничего, я сильно хлебнул и в первую минуту не мог перевести духа. Когда я пришел в себя и увидел, что Ледрю-Роллен собирался также усердно хлебнуть, я остановил его словами:

— Если вам дорога жизнь, то вы осторожнее обращайтесь с кентуккийским прохладительным; я русский, да и то опалил себе небо, горло и весь пищеприемный канал — что же будет с вами? Должно быть, у них в Кентукки пунш делается из красного перца, настоящего на купоросном масле.

Американец радовался, иронически улыбаясь, слабости европейцев. Подражатель Митридата* с молодых лет, я один подал пустую чашку и попросил еще. Это химическое средство с алкоголем ужасно подняло меня в глазах консула.

— Да, да, — говорил он, — только в Америке и в России люди и умеют пить.

«Да есть и еще больше лестное сходство, — подумал я, — только в Америке и в России умеют крепостных засекать до смерти».

Пуншем в 70° окончился этот обед, испортивший больше крови немецким фолликуляриям¹, чем желудок обедавшим.

За трансатлантическим обедом следовала попытка *международного комитета* — последнее усилие чартистов и изгнанников соединенными силами заявить свою жизнь и свой союз. Мысль этого комитета принадлежала Эрнсту Джонсу. Он хотел оживить дряхлевший не по летам чартизм, сближая английских работников с французскими социалистами. Общественным актом этой *entente cordiale*² назначен был митинг в воспоминание 24 фев<аля> 1848*.

Международный комитет избрал между десятком других и меня своим членом, прося меня сказать речь о России, — я поблагодарил их письмом, речи говорить не хотел; тем бы и заключил, если б Маркс и Головин не вынудили меня явиться назло им на трибуне St.-Martin's Hall*.

¹ газетным писакам, от folliculaire (франц.). — *Ред.*

² сердечного согласия (франц.). — *Ред.*

Сначала Джонс получил письмо от какого-то немца, протестовавшего против моего избрания. Он писал, что я известный папславист, что я писал о необходимости завоевания Вены, которую назвал славянской столицей, что я проповедую русское крепостное состояние как идеал для земледельческого населения. Во всем этом он ссылался на мои письма к Линтону («La Russie et le vieux monde»). Джонс бросил без внимания патристическую клевету.

Но это письмо было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с целью комитета, и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желаний быть членом, и сообщивши ему официально избрание, не может изменить решения по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения, и он их предложит теперь же на обсуждение комитета.

На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский, и притом *русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию*; что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти.

Эрнст Джонс, французы, поляки, итальянцы, человека дватри немцев и англичане вотировали за меня. Маркс остался в страшном меньшинстве. Он встал и с своими присными оставил комитет и не возвращался более.

Побитые в комитете, марксисты отретировались в свою твердыню — в «Morning Advertiser». Герст и Блакет издали английский перевод одного тома «Былого и дум», включив в него «Тюрьму и ссылку». Чтоб товар продать лицом, они, не обинуясь, поставили: «*My exile in Siberia*»¹ на заглавном листе. «Express» первый заметил это фанфаронство. Я написал к издателю письмо и другое — в «Express». Герст и Блакет объявили, что заглавие было сделано ими, что в оригинале его нет,

¹ «Моя ссылка в Сибирь» (англ.). — Ред.

но что Гофман и Кампе поставили в немецком переводе тоже «в Сибирь». «Express» все это напечатал. Казалось, дело было кончено. Но «Morning Advertiser» начал меня шпиговать в неделю раза два-три. Он говорил, что я слово «Сибирь» употребил для лучшего сбыта книги, что я протестовал *через пять дней* после выхода книги, т. е. давши время сбыть издание. Я отвечал; они сделали рубрику: «Case of M. H.»¹, как помещают дополнения к убийствам или уголовным процессам... Адвертейзеровские немцы не только сомневались в Сибири, приписанной книгопродавцем... но и в самой ссылке. «В Вятке и Новгороде г. Г. был на *императорской* службе — где же и когда он был в ссылке?»

Наконец интерес иссяк... и «Morning Advertiser» забыл меня*.

Прошло четыре года. Началась итальянская война*. Красный Маркс избрал самый черно-желтый журнал в Германии, «Аугсбургскую газету», и в ней стал выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона*, Кошута, С. Телеки, Пульского и пр.— как продавшихся Бонапарту. Вслед за тем он напечатал: «Г., по самым верным источникам, получает большие деньги от Наполеона. Его близкие сношения с Palais-Royal'ем были и прежде не тайной»...

Я не отвечал, но зато был почти обрадован, когда тощий лондонский журнал «Herald» поместил статейку*, в которой говорится, несмотря на то что я десять раз отвечал, что я этого никогда не писал, что я «рекомендую России завоевать Вену и считаю ее столицей славянского мира».

Мы сидели за обедом — человек десять; кто-то рассказывал из газет о злодействах, сделанных Урбаном с своими пандурами* возле Комо. Кавур обнарудовал их. Что касается до Урбана, в нем сомневаться было грешно. Кондотьер, без роду и племени, он родился где-то на биваках и вырос в каких-то казармах; *fille du régiment*² мужского пола и по всему, *par droit de conquête et par droit de naissance*³, свирепый солдат, пандур и грабитель.

¹ «Дело г. Герцена» (англ.).— *Ред.*

² дочь полка (франц.).— *Ред.*

³ по праву завоевания и по праву рождения (франц.).— *Ред.*

Дело было как-то около Маженцы и Солферино. Немецкий патриотизм был тогда в периоде злейшей ярости; классическая любовь к Италии, патриотическая ненависть к Австрии — все исчезло перед *патосом* национальной гордости, хотевшей во что б ни стало удержатъ чужой «квадрилатер»¹ *. Баварцы собирались идти, несмотря на то что их никто не посылал, никто не звал, никто не пускал... Гремя ржавыми саблями бефрей-юнгскрига *, они запаивали пивом и засыпали цветами всяких кроатов и далматов, шедших бить итальянцев за Австрию и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанник Бухер и какой-то, должно быть, побочный потомок Барбароссы Родбартус протестовали против всякого притязания иностранцев (т. е. итальянцев) на Венецию...

При этих неблагоприятных обстоятельствах и был, между супом и рыбой, поднят несчастный вопрос об злодействах Урбана.

— Ну, а если это неправда? — заметил несколько побледневши Д-г Мюллер-Стрюбинг из Мекленбурга по телесному и Берлина по духовному рождению.

— Однако ж нота Кавура...

— Ничего не доказывает.

— В таком случае, — заметил я, — может, под Мажентой австрийцы разбили наголову французов: ведь никто из нас не был там.

— Это другое дело... там тысячи свидетелей, а тут какие-то итальянские мужики.

— Да что за охота защищать австрийских генералов... Разве мы и их и прусских генералов, офицеров не знаем по 1848 году? Эти проклятые юнкеры, с дерзким лицом и надменным видом...

— Господа, — заметил Мюллер, — прусских офицеров не следует оскорблять и ставить наряду с австрийскими.

— Таких тонкостей мы не знаем; все они несносны, противны. Мне кажется, что все они, да и вдобавок наши лейб-гвардейцы, такие же...

¹ четырехугольник крепостей (франц. quadrilatère). — *Реч.*

— Кто обижает прусских офицеров, обижает прусский народ: они с ним неразрывны, — и Мюллер, совсем бледный, отставил в первый раз от роду дрожащей рукой стакан налитого пива.

— Наш друг Мюллер — величайший патриот Германии, — сказал я, все еще полушутя, — он на алтарь отечества приносит больше чем жизнь, больше чем обожженную руку: он жертвует здравым смыслом.

— И нога его не будет в доме, где обижают германский народ! — с этими словами мой доктор философии встал, бросил на стол салфетку как материальный знак разрыва и мрачно вышел... С тех пор мы не виделись.

А ведь мы с ним пили на «Du»¹ у Стеели, Gendarmenplatz в Берлине, в 1847 году, и он был самый лучший и самый счастливый немецкий *Bummler*² из всех виденных мною. Не въезжая в Россию, он как-то всю жизнь прожил с русскими, и биография его не лишена для нас интереса.

Как все немцы, не работающие руками, Мюллер учился древним языкам очень долго и подробно, знал их очень хорошо и много. Его образование было до того упорно классическое, что не имел времени никогда заглянуть ни в какую книгу об естествоведении, хотя естественные науки уважал, зная, что Гумбольдт ими занимался всю жизнь. Мюллер, как все филологи, умер бы от стыда, если б он не знал какую-нибудь книжонку — средневековую или классическую дрянь, и не обинуясь признавался, например, в совершенном неведении физики, химии и пр. Страстный музыкант без *Anschlag*'а³ и голоса, платонический эстетик, не умевший карандаша в руки взять и изучавший картины и статуи в *Берлине*, Мюллер начал свою карьеру глубокомысленными статьями об игре талантливых, но все неизвестных берлинских актеров в «Шпееровой газете», и был страстным любителем спектакля. Театр, впрочем, не мешал ему любить вообще все зрелища, от зверинцев с пожилыми львами и умывающимися белыми медведями и

¹ «ты» (нем.). — *Ред.*

² гуляка (нем.). — *Ред.*

³ туше (нем.). — *Ред.*

фокусников до панорам, косморам, акробатов, телят с двумя головами, восковых фигур, ученых собак и пр.

В жизнь мою я не видывал такого *деятельного лентяя*, такого вечно занятого праздношатающегося. Утомленный, в поту, в пыли, измятый, затасканный, приходил он в одиннадцатом часу вечера и бросался на диван. Вы думаете, у себя в комнате? Совсем нет — в учено-литературной биркнейпе¹ у Стеели, и принимался за пиво... Выпивал он его нечеловеческое количество, беспрестанно стучал крышкой кружки, и Jungfer² уже знала без слов и просьбы, что следует нести другую. Здесь, окруженный отставными актерами и еще не принятыми в литературу писателями, проповедовал Мюллер часы о Каулбахе и Корнелиусе, о том, как пел в этот вечер Лабочета (!) в Королевской опере, о том, как мысль губит стихотворение и портит картину, убивая ее непосредственность, и вдруг вскакивал, вспомнив, что он должен завтра, в восемь часов утра, бежать к Пассаланье, в египетский музей, смотреть новую мумию, и это непременно в восемь часов, потому что в половину десятого один приятель обещал ему сводить его в конюшню английского посланника показать, как англичане отлично содержат лошадей. Схваченный таким воспоминанием, Мюллер, извиняясь, наскоро выпивал кружку, забывая то очки, то платок, то крошечную табакерку, бежал в какой-то переулочек за Шпре, подымался в четвертый этаж и торопился выспаться, чтоб не заставить дожидаться мумию, три-четыре тысячи лет покоившуюся, не нуждаясь ни в Пассаланье, ни в D-г Мюллере.

Без гроша денег и тратя последние на *segetalia* и *circenses*³, Мюллер жил на антониевой пище, храня внутри сердца непреодолимую любовь к кухонным редкостям и столовым лакомствам. Зато, когда фортуна ему улыбалась и его несчастная любовь могла перейти в реальную, он торжественно доказывал, что он не только уважал категорию качества, но столько же отдавал справедливость категории количества.

Судьба, редко балующая немцев, особенно идущих по филологической части, сильно баловала Мюллера. Он случайно

¹ пивной (нем. Bierkneip).— *Ред.*

² Здесь: служанка (нем.).— *Ред.*

³ хлеб и зрелища (лат.).— *Ред.*

попал в пассатное русское общество, и притом молодых и образованных русских. Оно завертело его, закармило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, *Genussjahre!*¹ Лица менялись, пир продолжался, бессменным был один Мюллер. Кого и кого, с 1840 года, не водил он по музеям, кому не объяснял Каулбаха, кого не водил в университет? Тогда была эпоха поклонения Германии в пущем разгаре; русский останавливался с почтением в Берлине и, тронутый, что попирает философскую землю, которую Гегель попирает, поминал его и учеников его с Мюллером языческими возлияниями и страсбургскими пирогами.

Эти события могли расстроить все мирозерцание какого угодно немца. Немец не может одним синтезисом обнять страсбургские пироги и шампанское с изучением Гегеля, идущим даже до брошюр Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шаллера, Розенкранца и всех в жизни усопших знаменитостей сороковых годов. У них все еще если страсбургский пирог — то банкир, если *Champagner*² — то юнкер.

Мюллер, довольный, что нашел такое вкусное сочетание науки с жизнью, сбился с ног — покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь в почтовую карету (или потом в вагон), чтоб ехать в Париж, перебрасывала его, как ракету волана, к русской семье, подъезжавшей из Кенигсберга или Штеттина. С провод он торопился на встречу, и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладким пивом нового знакомства. Виргилий философского чистилища, он вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище *des reinen Denkens und des deutschen Kneipens*³. Чистые душою соотечественники наши оставляли с увлечением прибранные комнаты и порядочное вино отелей, чтоб бежать с Мюллером в душную полпивную. Они все были вне себя от буршикозной⁴ жизни, и скверный табачный дым Германии им сладок и приятен был.

В 1847 году и я делил эти увлечения, и мне казалось, что я как-то выше становлюсь в общественном значении оттого,

¹ годы наслаждения! (нем.). — *Ред.*

² шампанское (нем.). — *Ред.*

³ чистого мышления и немецких попок (нем.). — *Ред.*

⁴ студенческой (нем. *burschikos*) — *Ред.*

что по вечерам встречал в полпивной Ауэрбаха, читавшего карикатурно Шиллерову «Bürgerschaft» и рассказывавшего смешные анекдоты вроде того, как русский генерал покупал для двора какие-то картины в Дюссельдорфе. Генерал был не совсем доволен величиной картины и думал, что живописец хочет его обмерить. «Гут,— говорит он,— абер клейп¹. Кейзер liebt grosse Bilder, Кейзер sehr klug; Gott klüger, aber Кейзер noch jung»² и т. п. Сверх Ауэрбаха, там бывали два-три *берлинскич* (что было в этом звуке для русского уха сороковых годов!) профессора, один из них в каком-то сертуке на *военный* манер, и какой-то спившийся актер, который был недоволен современным сценическим искусством и считал себя неузнанным гением. Этого неопцененного Талму заставляли всякий вечер петь куплеты «о покушении Фиески на Людвига-Филиппа» и, немного потише, о выстреле Чеха в прусского короля*.

Hatte keiner je so Pech
Wie der Bürgermeister Tschech,
Denn er schoß der Landesmutter,
Durch den Rock ins Unterfutter³.

Вот она, свободная-то Европа!.. Вот они, Афины на Шпре! И как мне было жаль друзей на Тверском бульваре и на Невском проспекте!

Зачем износились все эти чувства непочатости, северной свежести и неведения, удивленья, поклоненья... Все это — оптический обман. Что же за беда... разве мы в театр ходим не из-за оптического обмана? Только тут мы сами в заговоре с обманщиком, а там обман если и есть, то нет обманщика. Потом всякий увидит свои ошибки... улыбнется, немного посоветится, солжет, что этого никогда не было... а веселые-то минуты *были-таки*.

Зачем видеть сразу всю подноготную? Мне просто хотелось бы воротиться к прежним декорациям и взглянуть на них с лицевой стороны: «Луиза... обмани меня — солги, Луиза!»*

¹ Хороша, но мала (нем. Gut, aber klein).— *Ред.*

² Кейзер любит большие картины, Кейзер очень умен; бог умнее, но Кейзер еще молод (нем.).— *Ред.*

³ Никто никогда не терпел такой неудачи, как бургомистр Чех, ведь он прострелил подкладку мундира матери страны (нем.).— *Ред.*

Но Луиза (тоже Мюллер), отворачиваясь от старика, говорит, надувши губки: «Ach, um Himmelsgnaden, lassen Sie doch ihre Torheiten und gehen Sie mit ihren Weg»¹., и бреди себе по мостовой из бульжнику, в пыли, шуме, треске, в безотрадных, ненужных, мелькающих встречах, ничем не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь к выходу — зачем? Затем, что его миновать нельзя.

Возвращаясь к Мюллеру, я должен сказать, что не все же он жил бабочкой, перелетая от Кронгартена — Под-Липы *. Нет, и его молодость имела свою героическую главу. Он сидел целых *пять лет* в тюрьме.. и никогда порядком не знал за что, так же как и философское правительство *, которое его засадило; тогда преследовали отголоски гамбахского праздника *, студентских речей, брудершафтских тостов, буршендумских идей и тугендбундских воспоминаний. Вероятно, и Мюллер что-нибудь вспомнил — его и посадили. Конечно, во всех Пруссиях, с Вестфалией и Рейнскими провинциями, не было субъекта меньше опасного для правительства, как Мюллер. Мюллер родился зрителем, шафером, публикой. Во время берлинской революции 1848 он отнесся к ней точно так же — он бегал с улицы на улицу, подвергаясь то пуле, то аресту, для того чтоб посмотреть, что там делается и что тут.

После революции отеческое управление короля-богослова и философа стало тяжело, и Мюллер, походивши еще с полгода к Стеели и Пассаланье, начал скучать. Звезда его стояла высоко — спасенье было возле. Полина Гарсия-Виардо пригласила его к себе в Париж. Она была так покрыта нашими подснежными венками, так окружена северной любовью нашей, что сама состояла на правах русской и имела, стало быть, в свою очередь, неотъемлемое право на чичеронство Мюллера в Берлине.

Виардо звала его погостить у них. Быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества, всякого немца без *особенных примет* от французов. Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов

¹ «Ах, ради неба, оставьте свои глупости и ступайте своей дорогой...» (нем.). — *Ред.*

и либералов маррастовского цвета. литераторов, Ж. Санд и пр. Кто не позавидовал бы Мюллеру и его дебютам в Париже?

На другой день после своего приезда он прибежал ко мне, совершенно запаленный от усталости и суевости, и, не имея времени сказать двух слов, выпил бутылку вина, разбил стакан, взял мою трубочку и побегал в театр. В театре он трубочку потерял и, проведя целую ночь по разным полицейским домам, явился ко мне с повишенной головкой. Я отпустил ему грех бинокля за удовольствие, которое мне он доставлял своим медовым месяцем в Париже. Тут только он показал всю ширь своих способностей, он вырос ненасытностью всего на свете: картин, дворцов, звуков, видов, потрясений, еды и питья. Проглотив три-четыре дюжины устриц, он принимался за три других, потом за омара, потом за целый обед; окончив бутылку шампанского, он наливал с таким же наслаждением стакан пива; сходя с лестницы Вандомской колонны, он шел на купол Пантеона, и там и тут удивляясь громким и наивным удивлением немца, этого провинциала по натуре. Между волком и собакой¹ забегал он ко мне, выпивал галон пива, ел что попало, и когда волк брал верх над собакой, Мюллер уж сидел в райке какого-нибудь театра, заливаясь громким гутуральным² хохотом и потом, струившимся со всего лица его.

Не успел еще Мюллер досмотреть Париж и догадаться, что он становится невыносимо противен, как Ж. Санд его увезла к себе в Nohan. Для элегантной Виардо Мюллер à la longue³ был слишком грузен; с ним случались в ее гостиной разные несчастия. Раз как-то он с неосторожной скоростью уничтожил целую корзиночку каких-то особенных чудес, приготовленных к чаю для десяти человек, так что, когда Виардо их предложила, в корзинке были одни крошки, и не в одной корзинке, а и на усах Мюллера⁴.

¹ т. е. и сумерки (франц. поговорка entre chien et loup).— *Ред.*

² гортанным (франц. guttural).— *Ред.*

³ по-таки (франц.).— *Ред.*

⁴ И. Тургенев говорил о Мюллере, что, садясь за закуску, он с опытностью некуского полковника осматривал позицию и, если находил слабое место, что недостает вина или мяса, он тотчас нападал на него и брал себе двойную порцию.

Виардо передала его Ж. Санд. Ж. Санд, наскучив Парижем, ехала на поксйное помещичье житье ... Ж. Санд сделала с Мюллером чудеса. Она как-то вычистила, прибрала, привела его в порядок; исчез темный табак, покрывавший верхнюю часть его белокурых усов, и доля немецких кнейповых песен заменилась французскими, вроде: «Pracadier—répondit Pantore»¹. Мюллер вставил в Nohant двойную рамку лорнета в глаз и помолодел. Когда он приехал в Париж в отпуск, я его едва узнал. Зачем он не утонул, купаясь в Nohant? Зачем не зашибла его где-нибудь железная дорога? Жизнь его кончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамере с буфетами, площадками и музыкой.

После 13 июня 1849 я уехал из Парижа; геройство Мюллера, кричавшего «Au armes!»² на Chaussée d'Antin, я рассказал в другом месте*. Возвратившись в 1850 году в Париж, я Мюллера не видел: он был у Ж. Санд. Меня выслали из Франции. Года через два я был в Лондоне и шел по Трафальгарской площади. Какой-то господин пристально смотрел в вставленный лорнет на Нельсона; досмотревши его с лицевой стороны, он занялся правой.

«Да это он? Кажется, он».

Между тем господин занялся спиной адмирала.

— Мюллер! — закричал я ему.

Он не тотчас пришел в себя—так его заняла плохая статуя скверного человека; но потом с криком «Potz Tausend!»³ бросился ко мне. Он переехал на житье в Лондон,— счастливая звезда его померкла. Да и трудно сказать, зачем он приехал именно в Лондон. Буммлеру⁴, когда у него есть деньги, нельзя не побывать в Лондоне: в нем будет пробел, раскаяние, неудовлетворенное желание; но жить в Лондоне ему нельзя и с деньгами, а без денег и думать нечего.

В Лондоне надобно работать *в самом деле*, работать безоста-

¹ «Бригадир,— ответила Пандора» (искаж. франц.: «Brigadier, répondit Pandore»).— *Ред.*

² «К оружию!» (искаж. франц.: «Aux armes!»).— *Ред.*

³ «Черт возьми!» (нем.).— *Ред.*

⁴ Гуляке (нем. Bummler).— *Ред.*

новочно, как локомотив, правильно, как машина. Если человек отошел на день, на его месте стоят двое других; если человек занемог, его считают мертвым все, от кого ему надобно получать работу, и здоровым все, кому надобно получать от него деньги.

Мюллер, Мюллер!.. Куда ты попал из должности *Виргилия* в Берлине, из салонов *Виардо*, из помещицкой неги *Ж. Санд!* Прощай, *ноганские пресале*¹ и пулярды; прощай, русские завтраки, продолжающиеся до вечера, и русские обеды, оканчивающиеся на другой день; да прощай и русские: в Лондон русские ездили на скорую руку, сконфуженные, потерянные — им было не до Мюллера. Да, кстати, прощай и солнце, которое так хорошо греет и весело светит, когда нет денег на внутреннее топливо... Туман, дым и вечная борьба работы, бой из-за работы!

Года через три Мюллер стал заметно стареть; морщины прорезывались глубже и глубже — он опускался. Уроки не шли (несмотря на то, что он на немецкий лад был очень основательно учен). Зачем он не ехал в Германию? Трудно сказать, но вообще у немцев, даже у таких неистовых патриотов, как Мюллер, делается, проживши несколько лет вне Германии, непреодолимое отвращение от родины, что-то вроде обратного *Heimweh*². В Лондоне он не мог свести концов. Длинная масленица, длившаяся около десяти лет, кончилась, и суровый пост захватил добродушного бумлера; потерянный, вечно ищущий захватить денег, кругом в маленьких долгах, он был жалок и становился *диккенсовским* лицом, все еще доканчивал «Эрика», все еще мечтал, что продаст его и заслужит разом талеры и лавры, — но «Эрик» был упорен и не оканчивался, и Мюллер, чтоб освежиться, позволял себе, сверх пива, одну роскошь — *plaisir-train*^{3*} в воскресенье. Он платил очень дешево за большие пространства и ничего не видал.

— Я еду на *Isle of Wight* взад и вперед (помнится, 4 шиллинга), и завтра утром рано буду опять в Лондоне.

¹ Бараньи котлетки (франц. *présalé*). — *Ред.*

² тоски по родине (нем.). — *Ред.*

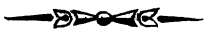
³ Здесь: поездку в удешевленном праздничном поезде (франц.). — *Ред.*

— Что же ты увидишь там?

— Да, но зато четыре шиллинга!

Бедный Мюллер, бедный буммлер!

А впрочем, пусть он ездит в Рейд, не выдавши его; лишь бы также не видал будущего: в его гороскопе не осталось ни одной светлой точки, ни одного шанса. Он, бедняга, безотрадно и бесследно исчезнет в лондонском тумане.





〈 Г Л А В А VIII 〉

Отрывок этот идет за описанием «горных вершин» эмиграции, от их вечно красных утесов до низменных болот и «серых копей»¹. Я прошу читателя не забывать, что в этой главе мы опускаемся с ним ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистым дном его, так, как оно было после февральского шквала.

Почти все описанное здесь изменилось, исчезло; политические подонки пятидесятых годов занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притих, вымер этот низменный мир волнений и гонений, отстой его успокоился и занял свое место в слойке. Оставшиеся личности становятся редкостью, и я уж люблю с ними встречаться.

Печально уродливы, печально смешны некоторые из образов, которые я хочу вывести, но они все писаны с натуры — бесследно исчезнуть и они не должны.

ЛОНДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА ПЯТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ²

Простые несчастья и несчастья политические.— Учители и комиссионеры.— Ходебщики и жожалы.— Ораторы и эпистолаторы.— Ничего не делающие фактотумы и вечно занятые трутни.— Русские.— Воры.— Шпионы.

(Писано в 1856—1857)

...От *серной шайки*, как сами немцы называют марксидов, естественно и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуще всего в Лондоне.

¹ Die Schwefelbände.

² П. V тома «Былое и думы»*.

Можно себе представить, сколько противоположного снабжья захватывают с собой с материка и оставляют в Англии приливы и отливы революций и реакций, истощающих, как перемежающаяся лихорадка, европейский организм, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродят по сырому, топкому лондонскому дну. Каков должен быть хаос понятий, воззрений у этих образцов всех нравственных формаций и реформаций, всех протестов, всех утопий, всех отчаяний, всех надежд, встречающихся в закоулках, харчевнях и питейных домах Лестер-сквера и его *проселочных* переулков. «Там, где, по выражению „Теймса“, обитает жалкое население чужеземцев, носящих шляпы, каких никто не носит, и волосы там, где их не надобно, население несчастное, убогое, загнанное и которого трепещут все сильные монархи Европы, кроме английской королевы». Да, там действительно по public-hous'am и харчевням сидят эти чужие, эти гости, за джином с горячей водой, с холодной водой и совсем без воды, с горьким портером в кружке и с еще больше горькими словами на губах, поджидая революции, к которой они больше не способны, и денег от родных, которых никогда не получают.

Каких оригиналов, каких чудачков я не нагляделся между ними! Тут рядом с коммунистом старого толка, ненавидящим всякого собственника в имя общего братства, старый карлист, пристреливавший своих родных братьев во имя любви к отечеству, из преданности к Монтемолино или Дон-Хуану, о которых ничего не знал и не знает. Там рядом с венгерцем, рассказывающим, как он с пятью гонведами опрокинул эскадрон австрийской кавалерии, и застегивающим венгерку до самого горла, чтобы иметь еще больше военный вид,— венгерку, размеры которой показывают, что ее юность принадлежала другому,— немец, дающий уроки музыки, латыни, всех литератур и всех искусств из насущного пива, атеист, космополит, презирающий все нации, кроме Кур-Гессена или Гессен-Касселя, смотря по тому, в котором из Гессенов родился, поляк прежнего покроя, католически любящий независимость, и итальянец, полагающий независимость в ненависти к католицизму.

Возле эмигрантов-революционеров эмигранты-консерваторы.

Какой-нибудь негоциант или нотариус, *sans adieu*¹ удалившийся от родины, кредиторов и доверителей, считающий себя тоже *несправедливо гонимым*, какой-нибудь *честный* банкрот, уверенный, что он скоро очистится, приобретет кредит и капитал, так, как его сосед справа достоверно знает, что на днях *la gouge*² будет провозглашена лично самой «Марьянной»*, а сосед слева — что орлеанская фамилия укладывается в Клермоне* и принцессы шьют отличные платья для торжественного въезда в Париж.

К *консервативной* среде «виноватых, но не осужденных окончательно *за отсутствием* подсудимого», принадлежат и больше радикальные лица, чем банкроты и нотариусы с горячим воображением; это люди, имевшие на родине *большие несчастья* и желающие всеми силами выдать свои *простые несчастья* за несчастья *политические*. Эта особая номенклатура требует пояснения.

Один наш приятель явился шутя в агентство сватовства. С него взяли десять франков и принялись расспрашивать, какую ему нужно невесту, в сколько приданого, белокурую или смуглую и пр.; затем записывавший гладенький старичок, оговорившись и извиняясь, стал спрашивать о его происхождении, очень обрадовался, узнав, что оно дворянское, потом, усугубив извинения, спросил его, заметив притом, что молчание гроба — их закон и сила:

— Не имели ли вы *несчастий*?

— Я поляк и в изгнании, т. е. без родины, без прав, без состояния.

— Последнее плохо, но позвольте, по какой причине оставили вы вашу *belle patrie*?³

— По причине последнего восстания (дело было в 1848 году).

— Это ничего не значит, *политические несчастья мы не считаем*; оно скорее выгодно, *c'est une attraction*⁴. Но позвольте, вы меня заверяете, что у вас не было *других несчастий*?

— Мало ли было... Ну, отец с матерью у меня умерли.

— О, нет, нет...

¹ но простившись (франц.).— *Ред.*

² красная (франц.).— *Ред.*

³ прекрасную отчину (франц.).— *Ред.*

⁴ это привлекает внимание (франц.).— *Ред.*

— Что же вы разумеете под словом *другого несчастья?*

— Видите, если б вы оставили ваше прекрасное отечество по *частным* причинам, а не по политическим. Иногда в молодости неосторожность, дурные примеры, искушение больших городов, знаете, эдак... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись как-нибудь...

— Понимаю, понимаю, — сказал, расхохотавшись, <Хоецкий>, — нет, уверяю вас, я не был судим ни за кражу, ни за подлог.

...В 1855 году один француз *exilé de sa patrie*¹ ходил по товарищам несчастья с предложением помочь ему в издании его поэмы, вроде Бальзаковой «*Comédie du diable*», писанной стихами и прозой, с новой орфографией и вновь изобретенным синтаксисом. Тут были действующими лицами: Людовик-Филипп, Иисус Христос, Робеспьер, маршал Бюжо и сам бог.

Между прочим, явился он с той же просьбой к Шкельхеру, честнейшему и чопорнейшему из смертных.

— Вы давно ли в эмиграции? — спросил его защитник черных.

— С 1847 года.

— С 1847 года? И вы приехали сюда?

— Из Бреста, из каторжной работы.

— Какое же это было дело? Я совсем не помню.

— О, как же, тогда это дело было очень известно. Конечно, это дело больше частное.

— Однако ж?.. — спросил несколько обеспокоенный Шкельхер.

— Ah bas, si vous y tenez², я по-своему протестовал против права собственности, *j'ai protesté à ma manière*³.

— И вы... вы были в Бресте?

— Parbleu oui!⁴ семь лет каторжной работы *за воровство со взломом* (vol avec effraction).

¹ Изгнанный из своего отечества (франц.). — *Ред.*

² А, если вы настаиваете (франц.). — *Ред.*

³ я протестовал по-своему (франц.). — *Ред.*

⁴ Еще бы, черт возьми! (франц.). — *Ред.*

И Ш<ельхер> голосом целомудренной Сусанны, гнавшей нескромных стариков*, просил самобытного протестанта выйти воп.

Люди, которых несчастья, по счастью, были *общие* и просты коллективные, оставленные пами в закопченных public-hous'ax и черных тавернах, за некрашеными столами с джинуатером¹ и портером, пострадались вдоволь и, что всего больше, не зная совсем за что.

Время шло с ужасной медленностью, но шло; революции нигде не было в виду, кроме в их воображении, а нужда действительная, беспощадная подкашивала все ближе и ближе подножный корм, и вся эта масса людей, большею частью хороших, голодала больше и больше. Привычки у них не было к работе,— ум, обращенный на политическую арену, не мог сосредоточиться на деле. Они хватались за все, но с озлоблением, с досадой, с нетерпением, без выдержки, и все падало у них из рук. Те, у которых была сила и мужество труда, те незаметно выделялись и выплывали из тины, а остальные?

И какая бездна была этих остальных! С тех пор многих унесла французская амнистия и амнистия смерти, но в начале пятидесятих годов я застал еще the great tide².

Немецкие изгнанники, особенно неработники, много бедствовали, не меньше французов. Удач им было мало. Доктора медицины, хорошо учившиеся и, во всяком случае, во сто раз лучше знавшие дело, чем английские цирюльники, называемые surgeon³, не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели, с чистыми и платоническими мечтами об искусстве и священнодейственном служении ему, но без производительного таланта, без ожесточения, настойчивости работы, без меткого чутья, гибли в толпе соревнующих соперников. В простой жизни своего маленького городка, на дешевом немецком корму они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое девственное поклонение идеалам и веру в свое жреческое призвание. Там они остались бы и умерли в подозрении таланта. Вырванные французской бурей из родных пали-

¹ подкой (англ. gin-water).— *Ред.*

² великую волну прилива (англ.).— *Ред.*

³ хирург (англ.).— *Ред.*

садников, они потерялись в Беловежской пуще лондонской жизни.

В Лондоне, чтоб не быть затертым, задавленным, надобно работать много, резко, сейчас и что попало, что потребовали. Надобно остановить рассеянное внимание ко всему приглядевшейся толпы силой, наглостью, множеством, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слепки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цветы — лишь бы скорее, лишь бы кстати и в большом количестве. Жюльен, le grand Julien¹, *через сутки* после получения вести об индейской победе Гевлока * написал концерт с криком африканских птиц и топотом слонов, с индейскими напевами и пушечной пальбой, так что Лондон разом читал в газетах и слушал в концерте реляцию. За этот концерт он выручил громадные суммы, повторяя его месяц. А зарейские мечтатели падали середь дороги на этой бесчеловечной скачке за деньгами и успехами; изнеможенные, с отчаянием складывали они руки или, хуже, подымали их на себя, чтобы окончить неровный и оскорбительный бой.

Кстати к концертам, — музыкантам из немцев вообще было легче; количество их, потребляемое ежедневно Лондоном с его субурбами², колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мещан и нескромные в Argyl-руме, в Креморне, в Casino, cafés-chantants с танцами, cafés-chantants с трико в античных позах, Her Majesty's³, Ковен-гарден, Эксетер-галль, Кристаль-палас, С. Джемс наверху и углы всех больших улиц внизу занимают и содержат целое народонаселение двух-трех немецких герцогств. Мечтай себе о музыке будущего и о России, коленопреклоненном перед Вагнером, читай себе дома à livre ouvert⁴, без инструмента, «Тангейсера» и исполняй, за штатским тамбурмажором и гасром с слоновой палкой, часа четыре кряду какою-нибудь Mary-Ann⁵ польку или Flower

¹ великий Жюльен (франц.). — *Ред.*

² пригородами (англ. suburb). — *Ред.*

³ ее величества (англ.). — *Ред.*

⁴ с листа (франц.). — *Ред.*

⁵ «Мэри-Энн» (англ.). — *Ред.*

and butterfly's¹ redova*—и дадут бедняку от двух до четырех с половиной шиллингов за вечер, и пойдет он в темную ночь по дождю в полшивную, в которую преимущественно ходят немцы, и застанет там моих бывших друзей Краута и Мюллера,— Краута, шестой год работающего над бюстом, который становится все хуже; Мюллера, двадцать шестой год дописывающего трагедию «Эрик», которую он мне читал десять лет тому назад, пять лет тому назад и теперь бы еще читал, если б мы не поссорились с ним.

А поссорились мы с ним за генерала Урбана, но об этом в другой раз...*

...И чего ни делали немцы, чтоб заслужить благосклонное внимание англичан, все безуспешно.

Люди, всю жизнь курившие во всех углах своего жилья, за обедом и чаем, в постели и за работой, не курят в Лондоне в своем законченном, продымленном от угля drawing-room'e и не дозволяют курить гостю. Люди, всю жизнь ходившие в биркнейпы своей родины выпить «шоп»², посидеть там за трубкой в хорошем обществе, идут, не глядя, мимо public-hous'ов и посылают туда за пивом горничную с кружкой или молочником.

Мне случилось в присутствии одного немецкого выходца отправлять к англичанке письмо.

— Что вы делаете? — вскрикнул он в каком-то азарте. Я вздрогнул и невольно бросил пакет, полагая по крайней мере, что в нем скорпион.

— В Англии, — сказал он, — письмо складывают вообще *трое*, а не *четыре*, а вы еще пишете к даме, и к какой!

С начала моего приезда в Лондон я пошел отыскивать одного знакомого немецкого доктора. Я не застал его дома и написал на бумаге, лежавшей на столе, что-то вроде: «*Cher docteur*³, я в Лондоне и очень желал бы вас видеть; не придете ли вечером в такую-то таверну выпить по-старому бутылку вина и потолковать о всякой всячине?» Доктор не пришел, а на другой день я получил от него записку в таком роде:

¹ «Цветка и бабочки» (англ.).— *Ред.*

² кружку (франц. *chop*).— *Ред.*

³ Дорогой доктор (франц.).— *Ред.*

«Monsieur H., мне очень жаль, что я не мог воспользоваться вашим любезным приглашением: мои занятия не оставляют мне столько свободного времени. Постараюсь, Впрочем, на днях посетить вас» и пр.

— А что, у доктора, видно, практика, того?.. — спросил я освободителя Германии, которому был обязан знанием, что англичане письма складывают втрое.

— Никакой нет, *der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominös*¹.

— Так что же он делает? — и я передал ему записку.

Он улыбнулся, однако заметил, что и мне вряд следовало ли оставлять на столе доктора медицины открытую записку, в которой я его приглашаю выпить бутылку вина.

— Да и зачем же в такой таверне, где всегда народ? Здесь пьют дома.

— Жаль, — заметил я, — наука всегда приходит поздно; теперь я знаю, как доктора звать и куда, но наверно не позову.

Затем воротимся к нашим чающим движения народное, присылки денег от родных и работы без труда.

Неработнику начать работу не так легко, как кажется; многие думают: пришла нужда, есть работа, есть молот и долот — и работник готов. Работа требует не только своего рода воспитания, навыка, но и самоотвержения. Изгнанники большей частью люди из мелкой литературной и «паркетной»² среды, журнальные поденщики, начинавшие адвокаты, от своего труда в Англии они жить не могли, другой им былдик, да и не стоило начинать его: они все прислушивались, не раздастся ли набат. Прошло десять лет, прошло пятнадцать лет — нет набата.

В отчаянии, в досаде, без платья, без обеспечения на завтрашний день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрыв глаза, на аферы, выдумывают спекуляции. Аферы не удаются, спекуляции лопают, и потому, что они выдумывают вздор, и потому, что они вносят, вместо капитала, какую-то беспомощную неловкость в деле, чрезвычайную раздражительность, неуменье найтись в самом простом положе-

¹ малому не повезло в Лондоне, ему приходится очень плохо (нем.).— *Ред.*

² судейской, от *parquet* (франц.).— *Ред.*

нии и опять-таки неспособность к выдержанному труду и уссиному терниями началу. При неудаче они утешаются недостатком денег: «Будь сто-двести фунтов, и все пошло бы как по маслу!» Действительно, недостаток капитала мешает, но это общая судьба работников. Чего и чего не выдумывалось, от общества на акциях для выписывания из Гавра куриных яиц до изобретения особых чернил для фабричных марок и каких-то эссенций, которыми можно было превращать сквернейшие водки в превосходнейшие ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на все эти чудеса, надобно было есть и несколько прикрываться от северо-восточного ветра и от застенчивых взоров дочерей Альбиона.

Для этого предпринимались два паллиативные средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но с большими развлечениями. Люди мирные, с *Sitzfleisch*'ем¹, принимались за уроки, несмотря на то что они не только прежде не давали уроков, да и сомнительно, чтоб когда-нибудь их брали. Конкуренция страшно понизила цены.

Вот образчик объявлений одного семидесятилетнего старика, который, мне кажется, принадлежал скорее к числу *самобытных протестантов*, чем коллективных:

MONSIEUR N. N.¹

Teaches the French language

on a new and easy system of rapid proficiency,
has attended Members of the British Parliament and many other
persons of respectability, as vouchers certify,
translates and interprets that universal continental
language, and english,

IN A MASTERLY MANNER

TERMS MODERATE:

Namely, Three Lessons per Week for Six Shillings².

¹ усидчивостью (нем.).— *Ред.*

² Господин N. N. Учит французскому языку по новой и легкой методе быстрого усвоения, занимался с членами британского парламента и со многими уважаемыми лицами. как удостоверяют свидетельства, переводит и объясняет этот всемирный язык, и по-английски, удивительным образом. Цены умеренные: Именно, Три Урока в Неделю — Шесть Шиллингов (искаж. англ.).— *Ред.*

Давать уроки у англичан не составляет особенного удовольствия: кому англичанин платит, с тем он не церемонится.

Один из моих старых приятелей получает письмо от какого-то англичанина, предлагающего ему давать уроки французского языка его дочери. Он отправился к нему в назначенное время для переговора. Отец спал после обеда, его встретила дочь, и довольно учтиво, потом вышел старик, осмотрел с головы до ног Б<оке> и спросил: «Vous être le french teacher?»¹ Б<оке> подтвердил. «Vous pas convenir à moa»². При этом британский осел указал на усы и бороду.

— Что же вы ему не дали тумака? — спрашивал я Б<оке>.

— Я, право, думал об этом, но когда бык повернулся, дочь со слезами на глазах молча просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не так скучно: оно состоит в судорожном и артистическом комиссионерстве, в предложении разных разностей без внимания на запрос. Французы по большей части *работали* в винах и водках. Один легист³ предлагал своим знакомым и *корелижионерам*⁴ коньяк, доставшийся ему чрезвычайным образом, по связям, о которых в теперешнем положении Франции он не мог и не должен был рассказывать, и притом через капитана корабля, которого компрометировать было бы *salamité publique*⁵. Коньяк был так себе и стоил шесть пенсов дороже, чем в лавке. Легист, привыкший «пледировать»⁶ с декламацией, прибавлял к насилью оскорбление: он брал рюмку двумя пальцами за донышко, описывал ею медленные круги, плескал несколько капель, нюхал их на воздухе и всякий раз был изумлен замечательно превосходным запахом коньяка.

Другой товарищ изгнания, некогда провинциальный профессор словесности, увлекался вином. Вино он получал *прямо* из Кот д'Ора, Бургоньи, от прежних учеников и с необыкновенным выбором.

¹ «Вы учитель французского языка?» (искаж. франц.).— *Ред.*

² «Вы мне не подходите» (искаж. франц.).— *Ред.*

³ законовед (франц. *légiste*).— *Ред.*

⁴ единомышленникам (франц. *coreligionnaire*).— *Ред.*

⁵ общественным бедствием (франц.).— *Ред.*

⁶ произносить защитительные речи, от *plaider* (франц.).— *Ред.*

«Гражданин, — писал он ко мне, — спросите ваше братское сердце (*votre cœur fraternel*), и оно вам скажет, что вы должны мне уступить приятное преимущество снабжать вас французским вином. И тут сердце ваше будет знадно со вкусом и экономией: употребляя превосходное вино, по самой дешевой цене, вы будете иметь наслаждение в мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человека, который делу родины и свободы пожертвовал все.

Salut et fraternité!¹

Р. С. Я взял на себя смелость вместе с тем отправить к вам несколько проб».

Образчики эти были в полубутылках, на которых он собственноручно надписывал не только имя вина, но и разные обстоятельства из его биографии: «Chambertin (Gr. vin et très rare!). Côte rôtie (Comète). Pommard (1823!). Nuits (provision Aguado!)...»²

Недели через две-три профессор словесности снова присылал образчики. Обыкновенно через день или два после присылки он являлся сам и сидел час, два, три, до тех пор, пока я оставлял почти все пробы и платил за них. Так как он был неумолим и это повторялось несколько раз, то впоследствии, только что он отворял дверь, я хвалил часть образчиков, отдавал деньги и остальное вино.

— Я не хочу, гражданин, у вас красть ваше драгоценное время, — говорил он мне и освобождал меня недели на две от кислого бургонского, рожденного под кометой, и пряного Кот-роти из подвалов Aguado.

Немцы, венгерцы работали в других отраслях.

Как-то в Ричмонде я лежал в одном из страшных припадков головной боли. Взшел Франсуа с визитной карточкой, говоря, что какой-то господин имеет крайность меня видеть, что он венгерец, *adjutante del generale (see венгерцы-изгнанники,*

¹ Привет и братство! (франц.).— *Ред.*

² «Шамбертен (из лучших вин и очень редкое!). Кот-роти (Комета). Помар (1823!). Нюи (из погребов Агвадо!)...» (франц.).— *Ред.*

не имеющие никакого занятия, никакой честной профессии, называли себя *адъютантами Кошута*). Я взглянул на карточку — совершенно незнакомая фамилия, украшенная капитанским чином.

— Зачем вы его пустили? Сколько тысяч раз я вам говорил?

— Он приходит сегодня в третий раз.

— Ну, зовите в залу.— Я вышел разъяренным львом, вооружившись склянкой распалевой седативной ¹ воды.

— Позвольте рекомендоваться, капитан такой-то. Я долгое время находился у русских в плену, у Ридигера после Вилагоша. С нами русские превосходно обращались. Я был особенно обласкан генералом Глазенапом и полковником.. как, бишь, его... русские фамилии очень мудрены... *ич... ич...*

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я ни одного полковника не знаю... Очень рад, что вам было хорошо. Не угодно ли сесть?

— Очень, очень хорошо... мы с офицерами всякий день эдак, штос, банк... прекрасные люди и австрийцев терпеть не могут. Я даже помню несколько слов по-русски: «глеба», «шевердак» — *une pièce de 25 sous*².

— Позвольте вас спросить, что мне доставляет...

— Вы меня должны извинить, *барон*... Я гулял в Ричмонде... прекрасная погода, жаль только, что дождь идет... я столько наслышался об вас от *самого старика* и от графа Сандора — Сандора Телеки, также от графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, *hors ligne*³. — Молчание.

— Да-с, и Сандор.. мы с ним вместе были в гонведах... Я, собственно, желал бы показать вам... — и он вытащил откуда-то из-за стула портфель, развязал его и вынул портреты безрукого Раглана, отвратительную рожу С.-Арно, Омер-паши в феске.— Сходство, барон, удивительное. Я сам был в Турции, в Кутаисе, в 1849 году,— прибавил он, как будто в удостоверение сходства, несмотря на то что в 1849 году ни Раглана, ни С.-Арно там не было.— Вы прежде видели эту коллекцию?

¹ болеутоляющей, от *sédatif* (франц.).— *Ред.*

² монета в 25 су (франц.).— *Ред.*

³ из ряда вон выходящая (франц.).— *Ред.*

— Как не видать, — отвечаю я, смачивая голову распаленой водой. — Эти портреты вывешены везде, на Чипсайде, по Странду, в Вест-Энде.

— Да-с, вы правы, но у меня вся коллекция, и те не на китайской бумаге. В лавках вы заплатите гинею, а я могу вам уступить за пятнадцать шиллингов

— Я, право, очень благодарен, но скажите, капитан, на что же мне портреты С.-Арно и всей этой сволочи?

— Барон, я буду откровенен, я солдат, а не меттерниховский дипломат. Потеряв мои владения близ Темешвара, я нахожусь во временно стесненном положении, а потому беру на комиссию артистические вещи (а также сигары, га-ванские сигары и турецкий табак — уж в нем-то русские и мы знаем толк!); это доставляет мне скудную копейку, на которую я покупаю «горький хлеб изгнанья», wie der Schiller sagt ¹.

— Капитан, будьте вполне откровенны и скажите, что вам придется с каждой тетради? — спрашиваю я (хотя и сомневаюсь, что Шиллер сказал этот дантовский стих).

— Полкроны.

— Позвольте нам вот как покончить дело: я вам предложу *целую крону*, но с тем, чтоб не покупать портретов.

— Право, барон, мне совестно, но мое положение... впрочем, вы всё знаете, чувствуете... я вас так давно привык уважать... графиня Пульская и граф Сандор... Сандор Телеки.

— Вы меня извините, капитан, я едва сижу от головной боли.

— У нашего губернатора (т. е. у Кошута), у старика, тоже часто болит голова, — замечает мне гонвед как бы в ободрение и утешение, потом наскоро завязывает портфель и берет вместе с удивительно похожими портретами Раглана и компании довольно сходное изображение королевы Виктории на монете.

Между этими *ходебщиками* эмиграции, предлагающими выгодные покунки, и эмигрантами, останавливающими всех не бреющих бороду на улицах и скверах, требуя *десятый год* недостающих двух шиллингов для отъезда в Америку и шести пенсов для покупки гробика ребенку, умершему от скарла-

¹ как говорит Шиллер (нем.). — *Ред.*

тины,— находятся эмигранты, пишущие письма, иногда пользуясь знакомством, иногда пользуясь незнакомством, о всякого рода чрезвычайных нуждах и одновременных денежных затруднениях, часто представляя в дальнейшей перспективе обогащение, и всегда с оригинальным эпистолярным искусством.

Таких писем у меня тетрадь; сообщу два-три особенно характеристических.

«*Heug Graf!*¹ Я был австрийским лейтенантом, но дрался за свободу мадьяров, должен был бежать и совершенно обносился. Если у вас найдутся поношенные панталоны, вы неизменно меня обяжете.

P. S. Завтра в девять часов я наведаюсь у вашего *курьера*».

Это род наивный, но есть письма классические по языку и лапидарности, напр.:

Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquid per me facere potes, gaudeo, gaudebit cor meum.

Mercuris dies 1859»².

Другие письма, не имея ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особенным счетоводством:

«Гражданин, вы были так добры, что прислали мне прошлого февраля (вы, может, не помните, но я помню) *три* ливра. Давно хотел я вам их отдать, но не получал вовсе денег от родных; на днях я получу довольно значительную сумму. Если б мне не было совестно, я бы попросил вас прислать еще два ливра и отдал бы вам *круглым счетом пять* ливров».

Я предпочел остаться при трехугольном. Охотник до круглых счетов начал поговаривать, что я в связях с русским посольством.

Затем идут письма деловые и письма ораторские; и те и другие очень много теряют в русском переводе.

¹ *Граф!* (нем.).— *Ред.*

² «Господин, я галл, изгнанный из своего отечества за дело свободы народа. Мне нечего есть; если можешь что-нибудь для меня сделать, я радуюсь; сердце мое возрадуется. Среда (15 мая) 1859» (лат.).— *Ред.*

«Mon cher Monsieur! ¹ Вы, *верно*, знаете мое открытие, оно доставило бы нашему веку честь, а мне кусок хлеба. И открытис это останется неизвестным, оттого что у меня нет кредита на каких-нибудь двести фунтов и вместо того, чтоб заниматься моим делом, мне приходится за вздорную плату *courir le sacchet* ². Всякий раз, когда мне представляется работа продолжительная и выгодная, насмешливая судьба дует на нее (*я перевозжу слово в слово*), она летит прочь — я за ней, настойчивая дерзость ее берет верх (*son opiniâtre insolence bafoue mes projets*), вновь стегает мои надежды, и я бегу туда-туда. Бегу и теперь. Поймаю ли? Почти уверен, если вы, имея доверие к моему таланту, захотите пустить в волны ваше доверие с моими надеждами по капризному ветру моей судьбы (*embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au soufflé <un> peu aventureux de mon destin*)». Далее объясняется, что восемьдесят фунтов есть в виду, даже восемьдесят пять; остальные сто пятнадцать изобретатель ищет занять, обещая тринадцать, *almeno* ³ одиннадцать процентов в случае удачи. «Можно ли лучше, вернее поместить капитал в наше время, когда фонды всего мира колеблются и государства так нетвердо стоят, опираясь на штыки наших врагов?»

Я ста пятнадцати не даю. Изобретатель начинает соглашаться, что в моем поведении не все ясно, *il y a du louche* ⁴, и что не мешает со мною быть осторожным.

В заключение вот письмо чисто ораторское:

«Великодушный согражданин будущей всемирной республики! Сколько раз вы помогли мне и ваш знаменитый друг Луи Блан, и опять-таки я пишу к вам и пишу к гражданину Блану, чтоб попросить несколько шиллингов. Удручающее положение мое не улучшается вдали от Лар и Пенат, на него-степриимном острове эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы в одном из сочинений ваших (*я постоянно их перечитываю*), что „талант гаснет без денег, как лампа без масла“, и пр.

¹ Дорогой сударь! (франц.). — *Ред.*

² бегать по урокам (франц.). — *Ред.*

³ в крайнем случае (итал.). — *Ред.*

⁴ есть что-то подозрительное (франц.). — *Ред.*

Лондонская вольница

Вольница (x) ~~Николаев~~

Модерн (х) ~~Николаев~~
 Бывшее и Думы.

Впервые в мире, идея за осуществление
 "горячей вольницы" Демингом от нас
 была выведена из пределов за пределы
 Европы и "горячей вольницы" (x). В
 первую очередь, не забудем, что
 мы описываем события ~~тогда~~ еще
 прежде, чем в вольницком центре
 фактически осуществил проект его - не
 нам оно было известно, ^{специально} мы бы
~~не знали~~

Вспомни же описанное вольницкое
 дело, ирландия; повинуясь надобности
 пятидесятилетия вольницы - фактически казнили
 тысячи и тысячи вольниц. И вольница
 пришла, и вольница вольницким корп.
 вольницким и ирландия - описан, и вольница
 вольница, вольница вольница в ^{своем} вольницком
 вольницком вольницком вольницком
 вольницком - и вольница вольница вольница
~~вольницким~~

(x) Вольница вольница вольница - вольница
 вольница - вольница

«Былое и думы», часть VI, глава «Лондонская вольница пятидесятых годов».

Страница рукописи (автограф Герцена).

«Соборская коллекция» Герцена-Огарева

Само собой разумеется, что я этой пошлости никогда не писал и что согражданин по будущей республике, *future et universelle*¹, ни разу не развертывал моих сочинений.

За ораторами на письме идут ораторы на словах, «делающие тротуар и переулок». Большею частью они только прикидываются изгнанниками, а в сущности — спившиеся с круга не английские мастеровые или люди, имевшие дома *несчастия*. Пользуясь необъятной величиной Лондона, они проделывают одну часть за другой и потом снова возвращаются на *Via sacra*², т. е. на Режент-стрит с Геймаркетом и Лестер-сквером.

Лет пять тому назад молодой человек, довольно чисто одетый и с сентиментальной наружностью, несколько раз подходил ко мне в сумерках с вопросом на французском языке с немецким акцентом:

— Не можете ли вы мне сказать, где такая-то часть города? — и он подавал какой-то адрес верст за десять от Вест-Энда, где-нибудь в Головее, Гекнее. Каждый, так, как и я, принимался ему толковать. Его обдавал ужас.

— Теперь девять часов вечера, я еще не ел... когда же я приду? Ни гроша на omnibus... этого я не ждал. Не смею просить вас, но если б вы меня выручили... Мне одного шиллинга за глаза довольно.

Я его встречал еще раза два, наконец он исчез, и я не без удовольствия его встретил, несколько месяцев спустя, на старом месте, с измененной бородой и в другой фуражке. С чувством приподымая ее, спросил он меня:

— Вы, верно, знаете по-французски?

— Знаю, — отвечал я, — да сверх того знаю, что у вас есть адрес, вам придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ели, на omnibus денег нет, вам нужен шиллинг... но на этот раз я вам дам сикспенс³, потому что не вы мне, а я вам рассказал все это.

— Что делать, — отвечал он мне улыбаясь, без малейшей злобы, — ведь вот вы опять не поверите, а я еду в Америку, прибавьте на дорогу.

¹ будущей и всемирной (франц.).— *Ред.*

² священную дорогу (лат.).— *Ред.*

³ шесть пенсов (англ. sixpence).— *Ред.*

Я не выдержал и додал сикспенс.

В числе этих господ были и русские, например, бывший кавказский офицер Стремоухов, просивший на бедность в Париже еще в 1847 году, рассказывая очень плавно историю какой-то дуэли, бегства и прочее и забирая, к сильному озлоблению прислуги, все на свете: старые платья и туфли, фуфайки летом и зимой, панталоны из парусины, детские платья, дамские ненужности. Русские собрали для него денег и отправили в Алжир в иностранный легион. Он выслужил пять лет, привез аттестат и снова отправился из дома в дом рассказывать о дуэли и побеге, прибавляя к ним разные арабские похождения. Стремоухов становился стар — и жаль его было, и надоедал он страшно. Русский священник при лондонской миссии сделал для него коллекту¹, чтоб отправить его в Австралию. Ему дали в Мелбурн рекомендацию и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проезд. Стремоухов приходил к нам прощаться. Мы его совсем снарядили: я ему дал теплое пальто, Г<ауг>—рубашек и пр. Стремоухов, прощаясь, заплакал и сказал:

— Как хотите, господа, а ехать в такую даль не легкая вещь. Вдруг разорваться со всеми привычками, но это надобно...

И он целовал нас и благодарил с горячностью.

Я думал, что Стремоухов давным-давно где-нибудь на берегах Виктории-Ривер, как вдруг читаю в «Теймсе», что какой-то Russian officer Stremouchoff² за буянство, драку в кабаке, вследствие каких-то взаимных обвинений в воровстве и прочем, присуждается на три месяца тюрьмы. Месяца через четыре после этого я шел по Оксфорд-стрит; пошел сильный дождь, со мной не было зонтика — я под ворота. В то самое время, как я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлым зонтиком, торопливо шмыгнула под другие ворота. Я узнал Стремоухова.

— Как, вы воротились из Австралии? — спросил я его, прямо глядя ему в глаза.

— Ах, это вы, а я и не признал вас, — отвечал он слабым и умирающим голосом. — Нет-с, не из Австралии, а из боль-

¹ сбор пожертвований (франц. *collecte*). — *Ред.*

² русский офицер Стремоухов (англ.). — *Ред.*

ницы, где пролежал месяца три между жизнью и смертью... и не знаю, зачем выздоровел.

— В какой же вы были больнице, в St. George's Hospital?¹

— Нет, не здесь, в Соутамтоне.

— Как же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и как же вы не уехали?

— Опоздал на первый train², приезжаю со вторым — паром-с ушел. Я постоял на берегу, постоял и чуть не бросился в пучину морскую. Иду к reverend'u³, к которому наш батюшка меня рекомендовал. «Капитан, говорит, уехал, часу ждать не хотел».

— А деньги?

— Деньги он оставил у reverend'a.

— Вы, разумеется, их взяли?

— Взял-с, но проку не вышло, во время болезни все утащили из-под подушки, такой народ! Если можете чем помочь...

— А вот здесь, во время вашего отсутствия, какого-то другого Стремоухова запекли в тюрьму, и тоже на три месяца, за драку с курьером. Вы не слышали?

— Где же слышать между жизнью и смертью. Кажется, дождь перестает. Желая счастливо оставаться.

— Берегитесь выходить в сырую погоду, а то опять попадетесь в больницу.

После Крымской войны несколько пленных матросов и солдат остались, сами не зная зачем, в Лондоне. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Некоторые из них просили посольство заступиться за них, исходатайствовать прощение, aber was macht es denn dem Herrn Baron von Brunnov!⁴

Они представляли чрезвычайно печальное зрелище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то с дерзостью (довольно неприятною в узких улицах после десяти часов вечера) требовали денег.

¹ госпитале св. Георгия? (англ.).— *Ред.*

² поезд (франц.).— *Ред.*

³ его преподобию (англ.).— *Ред.*

⁴ но какое дело до этого барону фон Бруннову! (нем.).— *Ред.*

В 1853 г. бежало несколько матросов с военного корабля в Портсмуте; часть их была возвращена, в силу нелепого закона, под который подходят исключительно одни матросы. Несколько человек спаслись и пришли пешком из *Порчмы* * в Лондон. Один из них, молодой человек лет двадцати двух, с добрым и открытым лицом, был бапмачником, умел тачать, как он называл, «шлиперы». Я купил ему инструмент и дал денег, но работа не пошла

В это время Гарибальди отплыл с своим «Common Wealth» в Геную, я попросил его взять с собой молодого человека. Гарибальди принял его с жалованьем *фунта* в месяц и с обещанием, если будет хорошо себя вести, давать через год два фунта. Матрос, разумеется, согласился, взял у Гарибальди два фунта вперед и принес свои пожитки на корабль.

На другой день после отъезда Гарибальди матрос пришел ко мне красный, заспанный, вспухнувший.

— Что случилось?— спрашиваю я его.

— Несчастье, ваше благородие, опоздал на корабль.

— Как опоздал?

Матрос бросился на колени и неестественно хныкал. Дело было исправимо. Корабль пошел за углем в Newcastle-upon-Tyne.

— Я тебя пошлю по железной дороге туда,— сказал я ему,— но если ты и на этот раз опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сделаю, хоть умри с голоду. А так как дорога в Newcastle стоит больше фунта, а я тебе не доверю шиллинга, то я пошлю за знакомым и ему поручу продержать тебя всю ночь и посадить в вагон.

— Всю жизнь буду молить бога за в<аше> в<ысокородие>!

Знакомый, взявшийся за отправку, пришел ко мне с рапортом, что матроса выпроводил.

Представьте же мое удивление, когда дня через три матрос явился с каким-то поляком.

— Что это значит?— закричал я на него, в самом деле дрожа от бешенства.

Но прежде чем матрос открыл рот, его товарищ принялся его защищать на ломаном русском языке, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и пива.

— Кто вы такой?

— Польский дворянин.

— В Польше все дворяне. Почему вы пришли ко мне с этим мошенником?

Дворянин расхорохорился. Я сухо заметил ему, что я с ним не знаком и что его присутствие в моей комнате до того странно, что я могу его велеть вывести, позвав полисмена.

Я посмотрел на матроса. В три дня аристократического общества с дворянином его много воспитали. Он не плакал и пьяно-дерзко смотрел на меня.

— Очненно занемог, в'аше б'лагородие. Думал богу душу отдать; полегчало, когда машина ушла.

— Где же это тебя схватило?

— На самой т. е. железной дороге.

— Что ж не поехал с следующей машиной?

— Невдомек-с, да и так как языку не способен...

— Где билет?

— Да билета нет.

— Как нет?

— Уступил тут одному человечку.

— Ну, теперь ищи себе других человечков, только в одном будь уверен: я тебе не помогу ни в каком случае.

— Однако позвольте... — вступил в речь «вольный шляхтич».

— М'илостивый г'осударь, я не имею ничего вам сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился он с своим Телемаком, вероятно, до первого кабака.

Еще ступеньку вниз...

Может, многие с недоумением спросят, какая же это еще ступенька вниз?.. А *есть*, и довольно *большая* — только тут уж темно, идите осторожно. Я не имею *prudence*¹ Ш'ельхе>ра, и мне автор поэмы, в которой Христос разговаривает с маршалом Бюжо, показался еще забавнее после геройского *roug un vol avec effraction*². Если он и украл что-нибудь из-под замка,

¹ ложной стыдливости (франц.).— *Ред.*

² за кражу со взломом (франц.).— *Ред.*

зато подвергался бог знает чему и потом работал несколько лет, может, с ядром на ногах. Он имел против себя не только того, которого обокрал, но все государство и общество, церковь, войско, полицию, суд, всех честных людей, которым красть не нужно, и всех бесчестных, но не уличенных по суду. Есть вору другого рода: награждаемые правительством, отогреваемые начальством, благословляемые церковью, защищаемые войском и не преследуемые полицией, потому что они сами к ней принадлежат. Это люди, ворующие не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпионы — шпионы в квадрате... Ими оканчивается порок и разврат; дальше, как за Лүцифером у Данта, ничего нет, — там уж опять пойдет вверх.

Французы — большие артисты этого дела. Они умеют ловко сочетать образованные формы, горячие фразы, *аромб* человека, которого совесть чиста и *point d'honneur* раздражителен, с должностью шпиона. Заподозрите его — он вызовет вас на дуэль, он будет драться, и *храбро* драться.

«Записки» де ла Года, Шеню, Шнепфа — клад для изучения грязи, в которую цивилизация завела своих блудных детей. Де ла Год наивно печатает, что он, предавая своих друзей, должен был с ними хитрить так, «как хитрит охотник с дичью».

Де ла Год — это Алкивиад шпионства.

Молодой человек с литературным образованием и радикальным образом мыслей, он из провинции явился в Париж, бедный, как Ир, и просил работы в редакции «Реформы». Ему дали какую-то работу, он ее сделал хорошо; мало-помалу с ним сблизились. Он вступил в политические круги, знал многое из того, что делалось в республиканской партии, и продолжал работать *несколько лет*, оставаясь в самых дружеских отношениях к сотрудникам.

Когда, после Февральской революции, Косидьер разобрал бумаги в префектуре, он нашел, что де ла Год все время правильно доносил полиции о том, что делалось в редакции «Реформы». Косидьер позвал де ла Года к Альберу, — там ждали свидетели. Де ла Год явился, ничего не подозревая, попробовал зализаться, но потом, видя невозможность, признался, что письма к префекту писал он. Возник вопрос: что с ним делать? Одни думали, и были совершенно правы, застре-

лить его тут же, как собаку. Альбер восстал пуще всех и не хотел, чтобы в *его квартире* убили человека. Косидьер предложил ему заряженный пистолет с тем, чтоб он застрелился. Де ла Год отказался. Кто-то спросил его, не хочет ли он яду? Он и от яду отказался, а, отправляясь в тюрьму, как благо-разумный человек, *спросил кружку пива*, — это факт, переданный мне сопровождавшим его помощником мэра XII округа*.

Когда реакция стала брать верх, де ла Года выпустили из тюрьмы, он уехал в Англию, но когда реакция еще окончательно восторжествовала, он возвратился в Париж и совался вперед в театрах и других публичных собраниях, как лев особой породы; вслед за тем издал он свои «Записки».

Шпионы постоянно трутся во всех эмиграциях; их узнают, открывают, колотят, а они свое дело делают с полнейшим успехом. В Париже полиция знает все лондонские тайны. День тайного приезда Делеклюза, потом Буашо во Францию были так хорошо известны, что они были схвачены в Кале, лишь только вышли из корабля. В коммунистическом процессе в Кельне* читали документы и письма, «купленные в Лондоне», как наивно признался в суде прусский комиссар полиции.

В 1849 году я познакомился с изгнанным австрийским журналистом Энглендером. Он был очень умен, очень колок и впоследствии помещал в колачековских ярбухах¹ ряд живых статей об историческом развитии социализма. Энглендер этот попался в тюрьму в Париже по делу, названному «Делом корреспондентов». Ходили разные слухи об нем; наконец он сам явился в Лондон. Здесь другой австрийский изгнанник, доктор Гефнер, очень уважаемый своими, говорил, что Энглендер в Париже был на жалованье у префекта и что его сажали в тюрьму за измену брачной верности французской полиции, приревновавшей его к австрийскому посольству, у которого он тоже был на жалованье. Энглендер жил разгульно, на это надобно много денег — одного префекта, видно, не хватало.

Немецкая эмиграция потолковала-потолковала и позвала Энглендера к ответу. Энглендер хотел отшутиться, но Гефнер был беспощаден. Тогда муж двух полиций вдруг вскочил

¹ ежегодниках (нем. Jahrbuch).— *Ред.*

с раскрасневшимся лицом, со слезами на глазах и сказал: «Ну да, я во многом виноват, но не ему меня обвинять»; и он бросил на стол письмо префекта, из которого ясно было, что и Гефнер получал от него деньги.

В Париже проживал пекий Н<идергубе>р, тоже австрийский рефюжье; я познакомился с ним в конце 1848 года. Товарищи его рассказывали об нем необыкновенно храбрый поступок во время революции в Вене. У инсургентов недоставало пороха, Н<идергубе>р вызвался привезти по *железной дороге* и привез. Женатый и с детьми, он бедствовал в Париже. В 1853 г. я его нашел в Лондоне в большой крайности, он занимал с семьею две небольшие комнатки в одном из самых бедных переулков Соо. Все не спорилось в его руках. Завел он было прачечную, в которой его жена и еще один эмигрант стирали белье, а Н<идергубе>р развозил его, но товарищ уехал в Америку — и прачечная остановилась.

Ему хотелось поместиться в купеческую контору; очень неглупый человек и с образованием, он мог заработать хорошие деньги, но — *referense*, *referense*¹, без *referense* в Англии ни шагу. Я ему дал свою; по поводу этой рекомендации один немецкий рефюжье, О<шпенгейм>, заметил мне, что напрасно я хлопочу, что человек этот не пользуется хорошей репутацией, что он будто бы в связях с французской полицией.

В это время Р<ейхель>привез в Лондон моих детей. Он принимал в Н<идергубе>ре большое участие. Я сообщил ему, что об нем говорят.

Р<ейхел>ь расхохотался; он ручался за Н<идергубе>ра, как за самого себя, и указывал на его бедность как на лучшее опровержение. Последнее убеждало отчасти и меня. Вечером Р<ейхель> ушел гулять, возвратился поздно, встревоженный и бледный. Он взмолился на минуту ко мне и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрел на него и сказал:

— У вас есть что-то на душе, *heraus damit!*²

— Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

¹ рекомендация, рекомендация (англ.). — *Ред.*

² выкладывайте! (нем.). — *Ред.*

— Пожалуй, но что за шалости? Предоставьте мсей совести.

— Я не мог успокоиться, услышавши от вас об Н<идергубе>ре, и, несмотря на обещание, данное вам, я решился его спросить и был у него. Жена его на днях родит, нужда страшная... Чего мне стоило начать разговор! Я вызвал его на улицу и наконец, собрав все силы, сказал ему: «Знаете ли, что Г. предупреждали в том-то и том-то; я уверен, что это клевета, поручите мне разъяснить дело». — «Благодарю вас, — отвечал он мне мрачно, — но это не нужно; я знаю, откуда это идет. В минуту отчаяния, умирая с голода, я предложил префекту в Париже мои услуги, чтобы держать его au courant¹ эмиграционных новостей. Он мне прислал триста франков, и я никогда ему не писал потом».

Р<ейхель> чуть не плакал.

— Послушайте, пока жена его не родит и не оправится, даю вам слово молчать; пусть идет в конторщики и оставит политические круги. Но, если я услышу новые доказательства и он все-таки будет в сношениях с эмиграцией, я его выдам. Черт с ним!

Р<ейхель> уехал. Дней через десять, во время обеда, взшел ко мне Н<идергубе>р, бледный, расстроенный.

— Вы можете понять, — говорил он, — чего мне стоит этот шаг; но, куда ни смотрю, кроме вас, спасенья нет. Жена родит через несколько часов, в доме ни угля, ни чая, ни чашки молока, денег ни гроша, ни одной женщины, которая бы могла, не на что послать за акушером.

И он, действительно изнеможенный, бросился на стул и, покрыв лицо руками, сказал:

— Остается пулю в лоб, по крайней мере не увижу этого ужаса.

Я тотчас послал за добрым Павлом Дарашем, дал денег Н<идергубе>ру и, сколько мог, успокоил его. На другой день Дараш заехал сказать, что роды сошли с рук хорошо.

Между тем весть, пущенная, вероятно, по личной вражде, о связях с французской полицией Н<идергубе>ра ходила больше и больше, и наконец Т<аузунау>, известный венский клубист

¹ в курсе (франц.). — *Ред.*

и агитатор, после речи которого народ повесил Латура, уверял направо и налево, что он сам читал письмо от префекта, писанное при присылке денег. Обвинение Н<идергубе>ра, видно, было дорого для Т<аузенау>: он сам зашел ко мне, чтобы подтвердить его.

Положение мое становилось трудно. Гауг жил у меня; до того я ему не говорил ни слова, но теперь это становилось неделикатно и опасно. Я рассказал ему, не упоминая о Р<ейхеле>, которого не хотел путать в драму, имевшую все шансы на то, что V акт ее будет представляться в полицейском суде или в Олд-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: «вскипел бульон»*; я едва мог усмирить Гауга и удержать его от нашествия на чердак Н<идергубе>ра. Я знал, что Н<идергубе>р должен был прийти к нам с переписанными тетрадами, и советовал подождать его. Гауг согласился и как-то утром вбежал ко мне, бледный от ярости, и объявил, что Н<идергубе>р внизу. Я бросил поскорее бумаги в стол и сошел. Перестрелка шла уж сильная. Гауг кричал, и Н<идергубе>р кричал. Калибер крепких слов становился все крупнее. Выражение лица Н<идергубе>ра, искаженного злобой и стыдом, было дурно. Гауг был в азарте и путался. Этим путем можно было скорее дойти до раскрытия черепа, чем дела.

— Господа,— сказал я вдруг середь речи,— позвольте вас остановить на минуту.

Они остановились.

— Мне кажется, что вы портите дело горячностью; прежде чем браниться, надобно поставить совершенно ясно вопрос.

— Что я *шпион* или *нет*?— кричал Н<идергубе>р.— Я ни одному человеку не позволю ставить такой вопрос.

— Нет, не в этом вопрос, который я хотел предложить; вас обвиняет *один человек*, да и не он один, что вы получали деньги от парижского префекта полиции.

— Кто этот человек?

— Т<аузенау>.

— Мерзавец!

— Это к делу не идет; вы деньги получали или нет?

— *Получал*,— сказал Н<идергубе>р с натянутым спокойствием, глядя мне и Гаугу в глаза. Гауг судорожно кривлялся

и как-то стонал от нетерпения снова обругать Н<идергубе>ра; я взял Гауга за руку и сказал:

— Ну, только нам и надобно.

— *Нет, не только*, — отвечал Н<идергубе>р. — Вы должны знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировал никого.

— Дело это может решить только ваш корреспондент Пиетри, а мы с ним не знакомы.

— Да что я у вас — подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я должен перед вами оправдываться? Я слишком высоко ценю свое достоинство, чтобы зависеть от мнения какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будет в этом доме! — прибавил Н<идергубер>, гордо надел шляпу и отворил дверь.

— В этом вы можете быть уверены, — сказал я ему вслед.

Он хлопнул дверью и ушел. Гауг порывался за ним, но я, смеясь, остановил его, перефразируя слова Сизэа: «*Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier — déjeunons!*»¹

Н<идергубе>р отправился прямо к Т<аузунау>. Тучный, лоснящийся Силен, о котором Маццини как-то сказал: «Мне все кажется, что его поджарили на оливковом масле и не обтерли», еще не покидал своего ложа. Дверь отворилась, и перед его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Н<идергубе>ра.

— Ты сказал Г., что я получал деньги от префекта?

— Я.

— Зачем?

— Затем, что ты получал.

— Хотя и знал, что я не доносил. Вот же тебе за это! — При этих словах Н<идергубе>р плюнул Т<аузунау> в лицо и пошел вон... Разъяренный Силен не хотел остаться в долгу; он вскочил с постели, схватил горшок и, пользуясь тем, что Н<идергубе>р спускался по лестнице, вылил ему весь запас на голову, приговаривая: «А это ты возьми себе».

Эпилог этот утешил меня несказанно.

¹ «Сегодня мы те же, что были вчера, — пойдем завтракать!» (франц.). — *Ред.*

— Видите, как хорошо я сделал,— говорил я Гаугу,— что вас остановил. Ну, что бы подобного вы могли сделать над главой несчастного корреспондента Пиетри? Ведь он до второго пришествия не просохнет.

Казалось бы, дело должно было окончиться этой немецкой вендеттой, но у эпилога есть еще небольшой финал. Какой-то господин, говорят, добрый и честный, старик В<интергальтер>, стал защищать Н<идергубера>. Он созвал комитет немцев и пригласил меня *как одного из обвинителей*. Я написал ему, что в комитет не пойду, что все мне известное ограничивается тем, что Н<идергубер> в моем присутствии сознался Гаугу, что он деньги *от префекта получал*. В<интергальте>ру это не понравилось, он написал мне, что Н<идергубер> *фактически* виноват, но *морально* чист, и приложил письмо Н<идергубера> к нему. Н<идергубер> обращал, между прочим, внимание его на *странность* моего поведения. «Г.,— говорил он,— гораздо прежде знал от г. Р<ейхеля> об этих деньгах и не только молчал до обвинения Т<аузенау>, но после того еще дал мне два фунта и присылал на свой счет доктора во время болезни жены!»

Sehr gut!¹

¹ Очень хорошо! (нем.).— *Ред.*





⟨ГЛАВА IX⟩

РОБЕРТ ОУЭН

ПОСВЯЩЕНО К⟨АВЕЛИН⟩У

Ты все поймешь, ты все оценишь!*

Shut up the world at large, let Bedlam out,
And you will be perhaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of «soi - disant» sound mind,
This I *could prove* beyond a single doubt
Were there a jot of sense among mankind,
But till that point *d'appui* is found alas,
Like Archimedes, I leave earth as't was¹

*Byron, «Don Juan», C. XIV — 84 **

I

...Вскоре после моего приезда в Лондон, в 1852 г. я получил приглашение от одной дамы *; она звала меня на несколько дней к себе на дачу в Seven Oaks*. Я с ней познакомился в Ницце, в 50 году, через Маццини. Она еще застала дом мой светлым и так оставила его. Мне захотелось ее видеть; я поехал.

Встреча наша была неловка. Слишком много черного было со мною с тех пор *, как мы не видались. Если человек не

¹ Заприте весь мир, но откройте Бедлам, и вы, возможно, удивитесь, найдя, что все идет тем же самым путем, что и при «soi-disant» ⟨так называемых (франц.) нормальных людях; это я безусловно мог бы доказать, будь у человечества хоть капля здравого смысла, но до того времени, пока этот point d'appui ⟨точка опоры (франц.)⟩ найдется, увы, я, как Архимед, оставляю землю такой, как она есть (англ.).— Ред.

хвастает своими бедствиями, то он их стыдится, и это чувство стыда всплывает при всякой встрече с прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мне руку и повела меня в парк. Это был первый старинный английский парк, который я видел, и один из великолеснейших. До него со времен Елисаветы не дотрогивалась рука человеческая; тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократически-монастырском удалении от мира. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворец был пуст; несмотря на то, что в нем жила одинокая старуха-барыня, никого не было видно; только седой привратник, сидевший у ворот, с некоторой важностью замечал входящим в парк, чтоб в обеденное время не ходить мимо замка. В парке было так тихо, что лани гурьбой перебегали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявши морду. Нигде не раздавался никакой посторонний звук, и вороны каркали, точно как в старом саду у нас в Васильевском *. Так бы, кажется, лег где-нибудь под дерево и представил бы себе тринадцатилетний возраст... мы вчера только что из Москвы, тут где-нибудь неподалеку старик садовник трюит мятную воду... На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют моря и гор.

Мы говорили об Италии, о поездке в Ментоне *; говорили о Медичи, с которым она была коротко знакома, об Орсини, и не говорили о том, что тогда меня и ее, вероятно, занимало больше всего

Ее искреннее участие я видел в ее глазах и молча благодарил ее... Что я мог ей сказать нового?

Стал перепадать дождь; он мог сделаться сильным и продолжительным,— мы воротились домой.

В гостиной был маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом,— с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты¹.

¹ При этом не могу не вспомнить тот же голубой взгляд детства под седыми бровями Лелевеля.

Дочери хозяйки дома бросились к седому дедушке; видно было, что они приятели.

Я остановился в дверях сада.

— Вот кстати как нельзя больше,— сказала их мать, протягивая старику руку,— сегодня у меня есть чем вас угостить. Позвольте вам представить нашего русского друга. Я думаю,— прибавила она, обращаясь ко мне,— вам приятно будет познакомиться с одним из *ваших патриархов*.

— Robert Owen,— сказал, добродушно улыбаясь, старик,— очень, очень рад.

Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения; если бы я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки.

Так вот отчего у него добрый, светлый взгляд, вот отчего его любят дети... Это тот, *один* трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре), который осмелился произнести *not guilty* человечеству, *not guilty* преступнику. Это тот второй чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем * и который, не потонувши, прошел если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращение Оуэна было очень просто; но и в нем, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой; вообще, он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебея и социалиста.

Я тогда совсем не говорил по-английски; Оуэн не знал по-французски и был заметно глух. Старшая дочь хозяйки предложила нам себя в драгомань *: Оуэн привык так говорить с иностранцами.

— Я жду великого от вашей родины,— сказал мне Оуэн,— у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то! Если бы император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего

гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей.

Улыбаясь, просил я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем.

— А ведь он был у меня в Ленарке *.

— И, верно, ничего не понял?

— Он был тогда молод и, — Оуэн засмеялся, — и очень жалел, что мой старший сын такого *высокого роста и не идет в военную службу*. А впрочем, он меня приглашал в Россию.

— Теперь он стар, но так же ничего не понимает и, наверное, еще больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы в самом деле надеетесь?

— Пока человек жив, не надобно в нем отчаиваться. Мало ли какое событие может раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подействует, и он бросит его, что ж за беда, я сделал свое. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живет, сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть.

Итак, этот старец свое всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая! Мне на минуту сделалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболезненный бред о духах? *

Когда я встретил Оуэна, ему был восемьдесят второй год (род. 1771). Он *шестьдесят лет* не сходил с арены.

Года три спустя после Seven Oaks'a я еще раз мельком видел Оуэна. Тело отжило, ум туск и иногда бродил, разнуздавшись, по мистическим областям призраков и теней. А энергия была та же, и тот же голубой взгляд детской доброты, и то же упование на людей! У него не было памяти на зло, он старые счета забыл, он был тот же молодой энтузиаст, учредитель New Lanark'a, худо слышавший, седой, слабый, но так же проповедовавший уничтожение казней и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну,

на которой некогда его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории и на которой пожелтелые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял, не сердясь, и просил кротко, с любовью час времени. Казалось, можно бы было дать ему этот час за шестидесятипятилетнюю беспорочную службу; но ему в нем отказывали, он надоел, он повторял одно и то же, а главное — он глубоко обидел толпу: он хотел отнять у нее право болтаться на виселице и смотреть, как другие на ней болтаются; он хотел у них отнять подлое колесо, которое сзади подгоняет, и отворить селлюлярную клетку, эту бесчеловечную *mater dolorosa*¹ для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами *. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна камнями, но и она сделалась *человеколюбивее*: камни вышли из моды; им предпочитают грязь, свист и журнальные статейки.

Другой старик, такой же фанатик, был счастливее Оуэна, когда слабыми, столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе * и только лепетал: «Дети! любите друг друга!» Простые люди и нищие не хохотали над ним, не говорили, что его заповедь — нелепость; между этими плебеями не было золотой посредственности мещанского мира — больше лицемерного, чем невежественного, больше *ограниченного*, чем глупого. Принужденный оставить свой New-Lanark в Англии, Оуэн десять раз переплывал океан, думая, что семена его учения лучше взойдут на *новом грунте*, забывая, что его расчистили квекеры и пуритане, и, наверно, не предвидя, что пять лет после его смерти джефферсоновская республика, первая провозгласившая права человека, распадется во имя права сечь негров *. Не успев и там, Оуэн снова является на старой почве, стучится ста руками во все двери, у дворцов и хижин, заводит базары, которые послужат типом рочдельского общества * и кооперативных ассоциаций, издает книги, издает журналы, пишет послания, собирает митинги, произносит речи, пользуется всяким случаем. Правительства посылают со всего мира делегатов на «всемирную выставку» * — Оуэн

¹ скорбящую мать (лат.).— *Ред.*

уже между ними, просит их взять с собой оливковую ветку, весть призыва к разумной жизни и согласию, — а те не слушают его, думают о будущих крестах и табатерках. Оуэн не унывает.

Одним туманным октябрьским днем 1858 лорд Брум, очень хорошо знающий, что в ветхой общественной барке течь все сильнее, но чающий еще, что ее можно так проконопатить, что на наш век хватит, совещался о *пакле и смоле* в Ливерпуле на втором сходе Social science association¹.

Вдруг делается какое-то движение: тихо несут на носилках бледного, больного Оуэна на платформу. Он через силу нарочно приехал из Лондона, чтоб повторить свою благую весть о возможности сытого и одетого общества, о возможности общества без палача. С уважением принял лорд Брум старца — они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэн и слабым голосом сказал о приближении другого времени... нового согласия, new harmony², и речь его остановилась, силы оставили... Брум докончил фразу и подал знак — тело старца склонилось, он был без чувств; тихо положили его на носилки и в мертвой тишине пронесли толпой, пораженной на этот раз каким-то благоговением; она будто чувствовала, что тут начинаются какие-то не совсем обыкновенные похороны и тухнет что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло несколько дней, Оуэн немного оправился и одним утром сказал своему другу и помощнику Ригби, чтоб он укладывался, что он хочет ехать.

— Опять в Лондон? — спросил Ригби.

— Нет, свезите меня теперь на место моего рождения*, я там сложу мои кости.

И Ригби повез старца в Монгомеришир, в Ньютоун, где за восемьдесят восемь лет тому назад родился этот странный человек, апостол между фабрикантами...

«Дыханье его прекратилось так тихо, — пишет его старший сын, один успевший еще приехать в Ньютоун до кончины Оуэна, — что я, державший его руку, едва заметил: не было ни ма-

¹ Ассоциации общественной науки (англ.). — *Ред.*

² новой гармонии (англ.). — *Ред.*

лейшей борьбы, ни одного судорожного движения». Ни Англия ни весь мир точно так же не заметили, как этот свидетель à décharge¹ в уголовном процессе человечества перестал дышать.

Английский поп втеснил его праху отпевание вопреки желанию небольшой кучки друзей, приехавших похоронить его; друзья разошлись, Томас Олсоп² протестовал смело, благородно * — and all was over^{3*}.

Хотелось мне сказать несколько слов об нем, но, унесенный общим Wirbelwind'ом⁴, я ничего не сделал; трагическая тень его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за резкими событиями и ежедневной пылью; вдруг на днях я вспомнил Оуэна и мое намерение написать о нем что-нибудь.

Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашел статью о нем * и прочитал ее всю, внимательно. Статью эту писал не враг Оуэна, человек солидный, рассудительный, умеющий отдавать должное заслугам и заслуженное недостаткам, а между тем я положил книгу с странным чувством боли, оскорбления, чего-то душного, — с чувством, близким к ненависти за вынесенное.

Может, я был болен, в дурном расположении, не понял?.. Я взял опять книжку, перечитал там-сям — все то же действие.

«Больше чем двадцать последних лет жизни Оуэна не имеют никакого интереса для публики.

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod^{5*}.

Он сзывал митинги, но почти никто не шел на них, потому что он повторял свои старые начала, давно всеми забытые. Те, которые хотели узнать от него *что-нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о том, что весь общественный быт зиждется на ложных основаниях... Вскоре к этому помешательству (dotage⁶) присовокупилась вера в постукивающие духи... старик толковал о своих беседах с герцогом Кентом, Байроном, Шелли и проч....

¹ защиты (франц.).— *Ред.*

² Известный по делу Орсини.

³ и все было кончено (англ.).— *Ред.*

⁴ вихрем (нем.).— *Ред.*

⁵ Бесплезная жизнь — это ранняя смерть (нем.).— *Ред.*

⁶ старческому слабоумию (англ.).— *Ред.*

Нет ни малейшей опасности, чтоб учение Оуэна было практически принято. Это такие *слабые* цепи, которые не могут *держат* целого народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а он все еще воображал себя благодетелем рода человеческого, каким-то *атеистическим мессией*.

Его обращение к постукивающим духам несколько не удивительно. Люди, *не получившие воспитания*, постоянно переходят с чрезвычайной легкостью от крайнего скептицизма к крайнему суеверию. Они хотят определить каждый вопрос одним *природным* светом. Изучение, рассуждение и осторожность в суждениях им неизвестны.

Мы в предшествующих страницах, — прибавляет автор в конце статьи, — больше занимались жизнью Оуэна, чем его учениями; мы хотели *выразить наше сочувствие* к практическому добру, сделанному им, и с тем вместе заявить наше совершенное несогласие с его теориями. Его биография интереснее его сочинений. В то время как первая может быть полезна и занимательна (*amusé*), вторые могут только сбить с толку и надоесть читателю. Но и тут мы чувствуем, что он *слишком долго жил*: слишком долго для себя, слишком долго для своих друзей и еще дольше для своих биографов!»

Тень кроткого старца носилась передо мной; на глазах его были горькие слезы, и он, грустно качая своей старой-старой головой, как будто хотел сказать: «Неужели я заслужил это?» — и не мог, а рыдая упал на колени, и будто лорд Брум торопился опять покрыть его и делал знак Ригби, чтоб его снесли как можно скорее назад на кладбище, пока испуганная толпа не успеет образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было так дорого и свято, и даже за то, что он так долго жил, заедал чужую жизнь, занимал лишнее место у очага. В самом деле, Оуэн, чай, был ровесником Веллингтона, этой величайшей *неспособности* во время мира *.

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его падение, Оуэн *заслуживает наше признание*». — Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь оксфордского, винчестерского или чичестерского архиерея, проклинающего Оуэна, легче для нас, чем это воздаяние по заслугам? Оттого,

что там страсть, обиженная вера, а тут узенькое *беспристрастие*, — *беспристрастие* не просто человека, а судьи низшей инстанции. В управе благочиния очень хорошо могут обсудить поштуки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, как Мирабо или Фокс. Складным футом легко мерить с большой точностью холст, но очень неудобно прикидывать на него сидельные¹ пространства.

Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической проверке, *пристрастие* нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем.

Дайте школьному педанту, если он только не наделен от природы эстетическим пониманьем, — дайте ему на разбор что хотите — Фауста, Гамлета, — и вы увидите, как исхудаёт «жирный датский принц», помятый каким-нибудь гимназистом-доктринером. С цинизмом Ноева сына покажет он наготу* и недостатки драм, которыми восхищается поколение за поколением.

В мире ничего нет великого, поэтического, что бы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взгляд, — взгляд обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили так метко пословицей, что «для камердинера — нет великого человека».

«Попадись нищему лошадь, как говорит народ и повторяет критик „Вестминстерского обозрения“, он на ней и ускачет к черту... An ex-linen-draper² (это выражение употреблено несколько раз)³, который вдруг сделался (заметьте, после двадцати лет неусыпного труда и колоссальных успехов) важным лицом, на дружеской ноге с герцогами и министрами, натурально, должен был зазнаться и сделаться *смешным, не имея ни большой умеренности, ни большого благоразумия*». Ex-linen-

¹ звездные, от sidéral (франц.).— *Ред.*

² Один экс-торговец холстом (англ.).— *Ред.*

³ Фурье начал с того, что был сидельцем в суконной лавке своего отца; Прудон — сын безансонского крестьянина. Какое *подлое* начало социализма! * От таких ли полубогов и полуразбойников ведут начало династии?

dingereг зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотелось перестроить свет; с этими притязаниями он разо- рился, ни в чем не успел и покрыл себя *смахом*.

И это не все. Если б Оуэн только проповедовал свой эконо- мический переворот, это безумие простили бы ему на первый случай в *классической* стране сумасшествия. Доказательством этому служит то, что министры и архиереи, парламентские ко- митеты и съезды фабрикантов совещались с ним. Успех New Lanark'a увлек всех: ни один государственный человек, ни один ученый не уезжал из Англии, не сделавши поездки к Оуэну; даже (как мы видели) сам Николай Павлович был у него и хотел сманить его в Россию, а сына его в воен- ную службу. Толпы народа наполняли коридоры и сени зал, где Оуэн читал свои речи. Но Оуэн своей дерзостью разом, в четверть часа, уничтожил эту колоссальную популярность, основанную на колоссальном непонимании того, что он го- ворил; видя это, он поставил точку на i, и притом на самое опасное i.

Это случилось 21 августа 1817 года. Протестантские свято- ши, самые неотвязчивые и клейко скучные, давно надоедали ему. Оуэн, сколько мог, отклонял прения с ними, но они не давали ему покоя. Какой-то инквизитор и бумажных дел фабри- кант Филипп дошел в своем церковбесии до того, что в комитете парламента вдруг, ни к селу ни к городу, середь дельных пре- ний, пристал к Оуэну с допросом *, во что он верит и во что не верит.

Вместо того чтоб отвечать бумажных дел фабриканту каки- ми-нибудь тонкостями, как Фауст отвечает Гретхен, ex-linen- dingereг Оуэн предпочел отвечать с высоты трибуны, перед огромнейшим стечением народа, на публичном митинге *в Англии, в Лондоне, в Сити, в London Tavern!** Он по сю сторону Темпль- Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится стар- рый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и свет- ской кафедральной синагоги банка *, — объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — *Религия*. «Нелюбости изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу или лицемера.

С существующими религиозными понятиями, заключил Оуэн, не только не устроишь предполагаемых им общинных деревень, но с ними рай недолго устоял бы раем!» *

Оуэн был до того уверен, что этот акт «безумия» был актом *честности и апостольства*, необходимым последствием его учения, что обнаружить свое мнение заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что через *тридцать пять лет* он писал: «Это величайший день в моей жизни, я исполнил свой долг!»

Нераскаянный грешник был этот Оуэн! Зато ему и досталось!

«Оуэна, — говорит „Westminster Review“, — не разорвали на части за это: время физической мести в делах религии прошло. Но никто даже и ныне *не может безнаказанно оскорблять дорогие нам предрассудки!*»

Английские попы в самом деле не употребляют больше хирургических средств, хотя другими, более духовными, не брезгают. «С этой минуты, — говорит автор статьи, — Оуэн опрокинул на себя страшную ненависть духовенства, и с этого митинга начинается *длинная перечень его неудач, сделавшая смешными сорок последних лет его жизни*. He was not a martyr, but he was an outlaw!»¹

Я думаю, довольно. «Westminster Review» можно положить на место; я ему очень благодарен, он мне так живо напомнил не только святого старца, но и среду, в которой он жил. Обратимся к делу, т. е. к самому Оуэну и его учению.

Одно прибавлю я, прощаясь с неумытным критиком и с другим биографом Оуэна *, тоже неумытным, менее строгим, но не менее солидным, — что, не будучи вовсе завистливым человеком, я завидую им от всей души. Я дал бы дорого за их невозмущаемое сознание своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своим пониманием, за их иногда уступчивую, всегда справедливую, а подчас слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная уверенность и в своем знании, и в том, что они и умнее, и практичнее Оуэна, что, будь у них его энергия и его деньги,

¹ Он не был мучеником, но отверженным! (англ.). — *Ред.*

они бы не наделали таких глупостей, а были бы богаты, как Ротшильд, и министры, как Палмерстон!

II

Р. Оуэн назвал одну из статей, в которых он излагал свою систему, «An attempt to change this *lunatic asylum* into a rational world»¹ *.

Один из биографов Оуэна по этому случаю рассказывает *, как какой-то безумный, содержащийся в больнице, говорил: «Весь свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же; беда моя в том, что *большинство* со стороны всего света».

Это пополняет заглавие Оуэна и бросает яркий свет на все. Мы уверены, что биограф не рассудил, *насколько берет и как далеко бьет* его сравнение. Он только хотел намекнуть на то, что Оуэн был сумасшедший, и мы спорить об этом не станем... но с чего же он *весь свет-то считает умным* — этого мы не понимаем.

Оуэн если был сумасшедшим, то вовсе не потому, что его свет считал таким и он ему платил той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живет в доме умалишенных и окружен больными, он *шестьдесят лет* говорил с ними как с здоровыми.

Число больных тут ничего не значит, ум имеет свое оправдание не в большинстве голосов, а в своей логической самозаконности. И если вся Англия будет убеждена, что такой-то *medium* призывает духи умерших, а один Фаредей скажет, что это вздор, то истина и ум будут с его стороны, а не со стороны всего английского населения. Еще больше, если и Фаредей не будет этого говорить, тогда истина об этом предмете совсем существовать не будет как сознанный, но тем не меньше единогласно принятая целым народом нелепость все же будет нелепость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, в лжи

¹ «(Опыт изменить сумасшедший дом общественного устройства в рациональный».

или в истине, а потому, что оно сильно, и потому, что ключи от Бедлама у него в руках.

Сила не заключает в своем понятии сознательности как необходимого условия; напротив, она тем непродолимее, чем безумнее, тем страшнее, чем бессознательнее. От поврежденного человека можно спастись, от стада бешеных волков труднее, а перед бессмысленной стихией человеку остается сложить руки и погибнуть.

Поступок Оуэна, поразивший ужасом Англию 1817 года, не удивил бы в 1617 родину Ванини и Джордано Бруно, не скандализировал бы в 1717 ни Германию, ни Францию, а Англия не может через полвека вспомнить об нем без раздражения. Может быть, где-нибудь в Испании монахи взбунтовали бы против него дикую чернь или инквизиционные алгвазилы посадили бы его в тюрьму, сожгли бы на костре, но очеловеченная часть общества была бы за него...

Разве Гёте и Фихте, Кант и Шиллер, наконец, Гумбольдт в наше время и Лессинг сто лет тому назад скрывали свой образ мыслей или имели бессовестность проповедовать шесть дней в неделю в академиях и книгах свою философию, а на седьмой фарисейски слушать предика и морочить толпу, la plèbe, своим благочестивым христианством?

Во Франции то же самое: ни Вольтер, ни Руссо, ни Дидро, ни все энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лаплас, ни Конт не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно перед «дорогими предрассудками», и это ни на одну йоту не унизило, не умалило их значения.

Политически поработанный материк нравственно свободнее Англии; масса идей и сомнений, находящихся в обороте, гораздо обширнее; к ней привыкли, общество не трепещет ни страхом, ни негодованием перед свободным человеком—

Wenn er die Kette bricht ¹*

Люди материка беспомощны перед властью, выносят цепи, но не уважают их. Свобода англичанина больше в учреждениях, чем в нем, чем в его совести; его свобода в common law²,

¹ Когда он разбивает цепь (нем.).— *Ред.*

² обычном праве (англ.).— *Ред.*

в Habeas corpus, а не в нравах, не в образе мыслей. Перед общественным предрассудком гордый бритт склоняется без ропота, с видом уважения. Само собою разумеется, что везде, где есть люди, там лгут и притворяются, но не считают откровенности пороком, не смешивают смело высказанное убеждение мыслителя с неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своим падением, но не поднимают лицемерия на степень общественной и притом обязательной добродетели¹.

Конечно, ни Давид Юм, ни Гиббон не лгали на себя мистических верований. Но Англия, слушавшая Оуэна в 1817 году, была не та, во времени и в глубине. Ценс пониманья расширился и не был больше ограничен отборным венком образованных аристократов и литераторов. С другой стороны, она лет пятнадцать просидела в селлюлярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном *, и, с одной стороны, выдвинулась из потока идей, а с другой—жизнь вдвинула вперед огромное большинство мещанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. В новой Англии люди, как Байрон и Шеллей, бродят иностранцами; один просит у ветра нести его куда-нибудь, только не на родину *; у другого судья, с помощью обезумевшей от изверства семьи, обирают детей, потому что он не верит в бога *.

Итак, нетерпимость против Оуэна не дает никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его учения; она только дает меру безумия, т. е. нравственной несвободы Англии, и в особенности того слоя, который ходит по митингам и пишет журнальные статейки.

Ум количественно всегда должен будет уступить, он *на вес* всегда окажется слабейшим; он, как северное сияние, светит далеко, но едва существует. Ум — последнее усилие, вершина, до которой развитие не часто доходит; оттого-то он мощен,

¹ В ныншнем году мирный судья Темплъ не принял показания одной женщины из Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной форме, говоря, что не верит в наказания на том свете. Трелоне (сын известного приятеля Байрона и Шеллея) спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел*, какие меры он предполагает взять в отстранение таких отводов. Министр отвечал, *что никаких*. Подобные случаи повторялись много раз, например, с известным публицистом Голиоком *. Лгать присягой делается необходимостью.

но не устоит против кулака. Ум как сознание может вовсе не быть на земном шаре; он едва родился в сравнении с мастиными альпийскими старцами, свидетелями и участниками геологических революций. В дочеловеческой, в окологеловеческой природе нет ни ума, ни глупости, а — необходимость условий, отношений и последствий. Ум мутно глядит в первый раз молочным взглядом животного, он медленно мужает, вырастает из своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнью рода человеческого. Стремление пробиться к уму из инстинкта постоянно является вслед за сытостью и безопасностью, так что в какую бы минуту мы ни остановили людское сожигание, мы поймаем его на этих усилиях достигнуть ума из-под власти безумия. Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать; история, как поэма Ариоста *, несетя зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, с тем тревожным беспокоейством, которое уже беспельно волнует обезьяну и которого почти совсем нет у низших зверей, этих довольных животного царства.

Слово *lunatic asylum*¹ Оуэн, само собою разумеется, употребил *comme une manière de dire*². Государства — не дома сошедших с ума, а дома не *взошедших в ум*. Практически, впрочем, он мог употребить это выражение... не делая ошибки. Ид или огонь в руках трехлетнего ребенка так же страшен, как в руках тридцатилетнего сумасшедшего. Разница в том, что безумие одного — состояние патологическое, другого — степень развития, состояние эмбриогеническое. Устрица представляет ту степень развития организма, на которой животное *еще не имеет ног*, она фактически *безногая*, но вовсе не так, как зверь, у которого ноги отняты. Мы знаем (но устрица этого не знает), что при хороших обстоятельствах органические попытки дойдут до ног и до крыльев, и смотрим на неразвитые формы моллюска как на одну из растущих, прибывающих волн прилива, в то время как форма искаженная возвращается с отливом в стихийный океан и составляет частный случай смерти или агоний.

¹ сумасшедший дом (англ.).— *Ред.*

² как «красное словцо» (франц.).— *Ред.*

Оуэн, убедившись, что организму в тысячу раз удобнее иметь ноги, руки, крылья, чем постоянно дремать в раковине, понимая, что из тех же самых бедных, но уже *существующих* частей организма есть возможность развить эти оконечности, до того увлекся, что вдруг стал проповедовать устрицам, чтоб они взяли свои раковины и пошли за ним. Устрицы обиделись и сочли его *антимоллюском*, т. е. безнравственным в смысле раковинной жизни, и проклинали его.

«...Характер человека существенно определяется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество может легко* так устроить, чтоб они способствовали наилучшему развитию умственных и практических способностей, сохраняя притом все бесконечное разнообразие личностей и соображаясь с многообразием физической и умственной природы».

Все это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна. Да на него, заметьте, никто и не возражает. Возражение большинством — не ответ, а насилие; возражение, что это безнравственно или не согласно с такой-то традиционной религией или с иной, тоже не опровержение. В худшем случае такие ответы могут только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вред правды*. Истина не подлежит этому суду, ее критериум не тут.

Ахиллова пята Оуэна не в ясных и простых основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая так, он впал в святую ошибку любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов от Иисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сен-Симона и Фурье.

Хроническое *недоумие* в том и состоит, что люди, под влиянием исторического преломления лучей и разных нравственных параллаксов, всего меньше понимают *простое*, а готовы верить, и еще больше *верить, что понимают* вещи очень сложные и совершенно непонятные, но традиционные, привычные и соответствующие детской фантазии... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухом положительно проще дышать, чем водой, но для этого надобно иметь легкие; а где же

им развиться у рыб, которым нужен сложный дыхательный аппарат, чтоб достать немного кислорода из воды. Среда им не позволяет, их не вызывает на развитие легких, она слишком густа и иначе составлена, чем воздух. Нравственная густота и состав, в котором выросли слушатели Оуэна, обусловила у них свои *духовные* жабры, дышать более чистой и редкой средой должно было произвести боль и отвращение.

Не думайте, что тут только внешнее сравнение, — тут истинная аналогия одинаких явлений в разных возрастах и разных слоях.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте — кому? Той толпе, которая наполняет до давки колоссальный трансепт Кристального дворца *, слушая с жадностью и рукоплесканием проповеди какого-то плоского средневекового бакалавра, попавшего не знаю как в наш век и обещающего толпе кары небесные и бедствия земные на вульгарном языке шиллеровского капуцина в «Wallenstein's Lager»? *

Для них не легко!

Люди отдают долю своего достоинства и своей воли, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы тунеядцев, строят суды, тюрьмы и стращают виселицей, строят церкви и стращают адом. Словом, делают все так, чтоб, куда человек ни обернулся, перед его глазами был бы или палач земной, или палач небесный — один с веревкой, готовый все кончить, другой с огнем, готовый жечь всю вечность. Цель всего этого — сохранить общественную безопасность от диких страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни необузданные покушения вырваться из него.

А тут является чужак, который прямо и просто говорит, да еще с какой-то обидной наивностью, *что все это вздор*, что человек вовсе не преступник *par le droit de naissance*¹, что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит, а *воспитанию* — очень. И это не все: он перед лицом судей и попов, имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования

¹ по праву рождения (франц.).— *Ред.*

грехопадение, наказание и отпущение, всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелюдей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, а *лицо*.

И Оуэн воображал, что это *легко* понять?

Разве он не знал, что нам легче себе вообразить кошку, повешенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетным ошейником за оказанное усердие при поимке укрывшегося зайца, чем ребенка, не наказанного за детскую шалость, не говоря уже о преступнике. Примириться с тем, что мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо, что целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно, ужасно трудно, не по нашим жабрам! Резко!

В боязливом упорстве массы, в тупом отстаивании старого, в консервативной цепкости ее есть своего рода темное воспоминание, что виселица и покаяние, смертная казнь и бессмертие души, страх божий и страх власти, уголовная палата и страшный суд, царь и жрец — что все это были некогда огромные шаги вперед, огромные ступени вверх, великие *Ergungenschaften*¹, подмости, по которым люди, выбиваясь из сил, взбирались к покойной жизни, косяги, на которых подплывали, сами не зная дороги, к гавани, где бы можно было отдохнуть от тяжелой борьбы со стихиями, от земляной и кровавой работы, можно было бы найти бестревожный досуг и святую праздность — этих первых условий прогресса, свободы, искусства и сознания!

Чтоб сберечь этот дорого доставшийся покой, люди обставили свои гавани всякого рода пугалами и дали своему царю в руки палку, чтоб погонять и защищать, а жрецу — власть проклинать и благословлять.

Одолевшее племя, естественно, кабалило себе племя покорное и на его рабстве основывало свой досуг, т. е. свое раз-

¹ завоевания, достижения (нем.). — *Ред.*

витие. Рабством собственно началось государство, образование, человеческая свобода. Инстинкт самосохранения навел на свирепые законы, необузданная фантазия доделала остальное. Предания, переходя из рода в род, покрывали больше и больше цветными туманами начала, и подавляющий владыка, так же как подавленный раб, склонялся с ужасом перед заповедями и верил, что при блеске молнии и треске грома их диктовал Иегова на Синае или что они были внушены человеку избранному каким-нибудь паразитным духом, живущим в его мозгу*.

Если свести все разнообразные основы этих краеугольных камней, на которых выводились государства, на главные начала, освобождая их от фантастического, детского, принадлежащего к возрасту, то мы увидим, что они постоянно одни и те же, соприисноуси всякой церкви и всякому государству; декорации и формы меняются, но начала те же.

Дикая расправа царя-зверолова в Африке, который собственноручно прирезывает преступника, совсем не так далека от расправы судьи, доверяющего другому убийство. Дело в том, что ни судья в шубе, в белом парике, с пером за ухом, ни голый африканский царь, с пером в носу и совершенно черный, не сомневаются, что они это делают для спасения общества и не только имеют право в иных случаях убивать, но и священный долг.

Нескладная бессмыслица, произносимая каким-нибудь лесным заклинателем, и складный вздор, произносимый каким-нибудь архиереем или первосвященником, также похожи друг на друга. Существенное не в том, как кто ворожит и каких духов призывает, а в том, допускают ли они или нет какой-то заграничный мир, которого никто не видал, — мир, действующий без тела, рассуждающий без мозга, чувствующий без нерв и имеющий влияние на нас не только после нашего перехода в эфирное состояние, но и при теперешнем податном состоянии. Если допускают, остальное — оттенки и подробности: египетские боги с собачьей мордой и греческие с очень красивым лицом, бог Авраама, бог Иакова, бог Иосифа Мадцини, бог Пьера Леру — это все тот же бог, так ясно определенный в алкоране: «Бог есть бог».

Чем развитее народ, тем развитее его религия, но, с тем вместе, чем религия дальше от фетишизма, тем она глубже и тоньше проникает в душу людей. Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм; а религия без откровения, без церкви и с притязанием на логику почти неискоренима из головы поверхностных умов, равно не имеющих ни довольно сердца, чтоб верить, ни довольно мозга, чтоб рассуждать¹.

То же самое и в юридической церкви. Царь звероловов, исполняющий бердышом или топором свой приговор, близок к тому, что виновный или подсудимый, если у него бердыш длиннее, предупредит его. Сверх того, юрист с пером в носу, вероятно, будет казнить зря, по пристрастию, толпа будет роптать и наконец взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и без веры, как подчиняется человек чуме или наводнению. Но там, где нет лицепрития, где суд честен,

¹ Нет той логической абстракции, нет того собирательного имени, нет того неизвестного начала или неисследованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божеством или святыней. Иконоборцы рационализма, сильно ратующие против кумиров, с удивлением видят, что по мере того как они сбрасывают одних с пьедесталей, на них являются другие. А по большей части они и не удивляются, потому ли, что вовсе не замечают, или сами их принимают за истинных богов.

Естествоиспытатели, хвастающиеся своим материализмом, толкуют о каких-то вперед задуманных планах природы, о ее целях и ловком избрании средств; ничего не поймешь, как будто *natura sic voluit* <так захотела природа (лат.)> яснее *fiat lux* <да будет свет (лат.)>? Это фатализм в третьей степени, в кубе; на первой кипит кровь Января *, на второй орошают поля дождем по молитве, на третьей — открываются тайные замыслы химического процесса, хвалятся экономические способности жизненной силы, заготавливающей желтки для зародышей, и т. п. Как ни смешны *протестантские* статьи, издевающиеся над кипением крови св. Января, помещаемые рядом с молитвами архиереев о снабжении какой-то страны дождем или засухой, — как будто кипятить кровь в католической склянке труднее для бога, чем мочить и сушить по надобности протестантские поля, — но тут иной раз проглядывает наивная глупость, и потому они ничего не значат в сравнении с благочестивой риторикой, которую мы беспрестанно находим в физиологических или геологических лекциях и трактатах, в которых естествоиспытатель с умилением толкует о благости провидения, снабдившего птиц крыльями, без которых бедняжки бы попадали и разбились в прах, и проч.

т. е. верен своим началам, что вовсе не мешает началам быть неверными, там он становится вдвое незыблемее и никто не сомневается в нем, не исключая самого пациента, который печально отправляется на виселицу, уверенный, что так и надобно, что они дело делают, вешая его.

Сверх страха воли,— того страха, который дети чувствуют, начиная ходить без помочей, сверх привычки к этим поручням, облитым пóтом и кровью, к этим ладьям, сделавшимся ковчегами спасения, в которых народы пережили не один черный день,— есть еще сильные контрфорсы, поддерживающие ветхое здание. Незрелость масс, не умеющих понимать, с одной стороны, и корыстный страх — с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок. Образованные сословия, противно своим убеждениям, готовы сами ходить на веревке, лишь бы не спускали с нее толпу.

Оно и в самом деле не совсем безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разве XV, да и то не в самом внизу, — там уж готтенты и кафры различных цветов, пород и климатов.

Если в самом деле подумать об этой цивилизации, которая оседает лаццаронами и лондонской чернью, людьми, свернувшими с полдороги и возвращающимися к состоянию лему-ров и обезьян, в то время как на вершинах ее цветут бездарные Меровинги всех династий и тщедушные астеки всех аристократий, — действительно голова закружится. Вообразите себе этот зверинец на воле, без церкви, без инквизиции и суда, без попа, царя и палача!

Оуэн считал ложью, т. е. отжившей правдой, вековые твердые теологии и юриспруденции, и это понятно; но когда он под этим предлогом требовал, чтоб они сдались, он забыл храбрый гарнизон, защищающий крепость. Ничего в мире нет упорнее трупа: его можно убить, разбить на части, но убедить нельзя. К тому же на нашем Олимпе сидят уж не сговорчивые, не разгульные боги Греции, которым, по словам Лукиана, пока они придумывали меры против атеизма, пришли доложить, что дело их проиграно и что в Афинах доказали, что *их нет**, а они побледнели, улетучились и исчезли. Греки, люди

и боги, были проще. Греки верили вздору, играли в мраморные куклы из детской артистической потребности, а мы из *проиентов*, из барышей поддерживаем иезуитов и old shop^{1*}, в обуздание народа и обеспечение эксплуатации его. Какая же логика тут возьмет?

Это приводит нас к вопросу не о том, прав или не прав Р. Оуэн, а о том, *совместны ли вообще разумное сознание и нравственная независимость с государственным бытом.*

История свидетельствует, что общества постоянно достигают разумной аутономии, но свидетельствует также, что они остаются в нравственной неволе. Разрешимы эти вопросы или нет, сказать трудно; их не решишь сплеча, особенно одной любовью к людям и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всех сферах жизни мы наталкиваемся на неразрешимые антиномии, на эти асимптомы, вечно стремящиеся к своим гиперболам, никогда не совпадая с ними. Это крайние грани, между которыми колеблется жизнь, движется и утекает, касаясь то того берега, то другого.

Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести,— не новость; они являлись обличителями и пророками во всех сколько-нибудь назревших цивилизациях, особенно когда они старели. Это высший предел, *перехватывающая личность*, явление исключительное и редкое, как гений, как красота, как необыкновенный голос. Опыт не доказывает, чтоб их утопии были осуществляемы.

У нас перед глазами страшный пример. С тех пор как род человеческий запомнит себя, не встречалось никогда такого стечения счастливых обстоятельств для разумного и свободного развития государственного, как в Северной Америке; все мешающее на истощенной, исторической почве или на почве, вовсе невозделанной, отсутствовало. Учение великих мыслителей и революционеров XVIII века, без французской военщины, английский common law² без каст, легли в основу их государственного быта. Чего же больше? Все, о чем мечтала старая Европа: республика, демократия, федерация, самозакон-

¹ старую лавку (англ.).— *Ред.*

² обычное право (англ.).— *Ред.*

ность каждого клочка и едва связывающий общий правительственный пояс с слабым узлом в середине.

Что же вышло из всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; сам народ исполняет должность Николая Павловича, III отделения и палача; народ, объявивший восемьдесят лет тому назад «права человека», распадается из-за «права сечь». Преследования и гонения в Южных штатах, поставивших на своем знамени слово *Рабство*, так, как некогда Николай ставил на своем слово *Самодержавие*, за образ мыслей и слова не уступают в гнусности тому, что делал неаполитанский король и венский император*.

В Северных штатах «рабство» не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтоб заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, — в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квекеров!

В формах более мягких мы то же встречаем в Англии и в Швеции. Чем страна свободнее от правительственного вмешательства, чем больше признаны ее права на слово, на независимость совести, тем нетерпимее делается толпа, общественное мнение становится застенком; ваш сосед, ваш мясник, ваш портной, семья, клуб, приход держат вас под надзором и исправляют должность квартального. Неужели только народ, не способный к *внутренней* свободе, может достигнуть свободных учреждений? Или не значит ли все это, наконец, что государство разливает постоянно потребности и идеалы, достижение которых исполняют деятельностью лучшие умы, но которых осуществление несовместимо с государственной жизнью?

Мы не знаем решения этого вопроса, но считать его решенным не имеем права. История до сих пор его решает одним образом, некоторые мыслители, и в том числе Р. Оуэн, — иначе. Оуэн *верит* несокрушимой верой мыслителей XVIII столетия (прозванного веком безверия), что человечество накануне своего торжественного облечения в вирильную тогу*. А нам кажется, что все опекуны и пастухи, дядьки и мамки могут спокойно есть и спать на счет недоросля. Какой бы вздор народы ни потребовали, *на нашем веку* они не потребуют право

совершеннолетия. Человечество еще долго проходит с отложными воротничками à l'enfant¹.

Причин на это бездна. Для того чтоб человеку образумиться и прийти в себя, надобно быть гигантом; да, наконец, и никакие колоссальные силы не помогут пробиться, если бы общественный так хорошо и прочно сложился, как в Японии или Китае. С той минуты, когда младенец, улыбаясь, открывает глаза у груди своей матери, до тех пор, пока, примирившись с совестью и богом, он так же спокойно закрывает глаза, уверенный, что, пока он соснет, его перевезут в обитель, где нет ни плача, ни воздыхания,— все так улажено, чтоб он не развил ни одного простого понятия, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Он с молоком матери сосет дурман; никакое чувство не остается неискаженным, не сбитым с естественного пути. Школьное воспитание продолжает то, что сделано дома, оно обобщает оптический обман, книжно упрочивает его, теоретически узаконивает традиционный хлам и приучает детей к тому, чтоб они *знали не понимая* и принимали бы *названия за определения*.

Сбитый в понятиях, запутанный словами, человек теряет чутье истины, вкус природы. Какую же надобно иметь силу мышления, чтоб заподозрить этот нравственный чад и уже с кружением головы броситься из него на чистый воздух, которым вдобавок страшат все вокруг! На это Оуэн отвечал бы, что он именно потому и начинал свое социальное перерождение людей не с фаланстера, не с Икарии*, а со школы,— со школы, в которую он брал детей с двухлетнего возраста и меньше.

Оуэн был прав, и еще больше — он практически доказал, что *он был прав*: перед New Lanark'ом противники Оуэна молчат. Этот проклятый New Lanark вообще костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике. «Что сделал Консидеран с Брейсбенном, что монастырь Сито, что портные в Клипи и Vanque du peuple² Прудона?»* Но против блестя-

¹ по-детски (франц.).— *Ред.*

² Народный банк (франц.).— *Ред.*

щего успеха New Lanark'a сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды — все выходило с удивлением и благоговением из школы. Доктор герцога Кентского, скептик, говорил о Lanark'e с улыбкой. Герцог, друг Оуэна, советовал ему съездить самому в New Lanark. Вечером доктор пишет герцогу *: «Отчет я оставляю до завтра; я так взволнован и тронут тем, что видел, что не могу еще писать; у меня несколько раз навертывались слезы на глазах». На этом торжественном признании я и жду моего старика. Итак, он доказал свою мысль на деле — он был прав. Пойдемте далее.

New Lanark был на вершине своего благосостояния. Неутраченный Оуэн, несмотря ни на лондонские поездки, ни на митинги, ни на непрерывные посещения всех знаменитостей Европы, даже, как мы сказали, самого Николая Павловича, с той же деятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостоянием работников, между которыми развивал общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, он обанкротился? Учители перессорились, дети избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу вошли какие-то два черных шута, в низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых сертуках: это были двое квекеров*, такие же собственники New Lanark'a, как и сам Оуэн. Насупили они брови, видя веселых детей, несколько не горюющих о грехопадении; ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавание какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов. Ревность о господе успокоилась на время: так греховная цифра была велика*. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни *светскому* пению, а раскольничьему катехизису непременно.

Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения; квекеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек

детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квекеров на этом не остановится. «В таком случае,— сказал он им,— управляйте сами, я отказываюсь»*. Он не мог иначе поступить.

«Квекеры,— говорит биограф Оуэна,— вступив в управление New Lanark'ом, начали с того, что *уменьшили плату и увеличили число часов работы*».

New Lanark пал!

Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишенный образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противудействует нововведениям, и то из недоверия; но как только он убеждается в том, что перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью.

Среда, служащая тормозом,— не тут.

Гейнц, литературный холоп Меттерниха, за обедом во Франк-фурте* сказал Роберту Оуэну:

— Положим, что вы бы успели,— что же бы из этого вышло?

— Очень просто,— отвечал Оуэн,— вышло бы то, что каждый был бы сыт, хорошо одет и получил бы дельное воспитание.

— Да ведь этого-то именно мы и не хотим,— заметил Цицерон Венского конгресса. Гейнц, чего нет другого, был откровенен.

С той минуты, как попы, лавочники догадались, что *потешные* роты работников и учеников* — дело очень серьезное, гибель New Lanark'a была неминуема.

И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки с фабрикой и школой имеет значение исторического несчастья. Развалины оуэнского New Lanark'a наводят на нашу душу не меньше грустных дум, как некогда другие развалины наводили на душу Мария, — с той разницей, что римский изгнанник сидел на гробе старца и думал о суете суетствий, а мы то же думаем, сидя у свежей могилы младенца, много обещавшего и убитого дурным уходом и страхом, *что он потребует наследства!*

Итак, Р. Оуэн был прав перед разумом; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Им только недоставало *пониманья* со стороны слушавших его.

— Это дело времени, когда-нибудь люди поймут.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтоб люди никогда не дошли до понимания своих собственных выгод.

Однако до сих пор было так; этот недостаток понимания восполнялся церковью и государством, т. е. двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтоб люди освободились, — и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна; но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твердость их основана не *на разуме*, а *на недостатке его*, и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса, скалы. История развивалась нелепостями; люди постоянно стремились за бреднями, а достигали очень действительных последствий. Наяву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небе, то небо на земле, а по дороге пели свои вечные песни, украшали храмы своими вечными изваяниями, построили Рим и Афины, Париж и Лондон. Одно сновидение уступает другому; сон становится *иногда* тоньше, но никогда не проходит. Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать; но они с ужасом отпрядают, когда между двумя религиями в раскрытую щель, в которую проходит дневной свет, дунет на них свежий ветер разума и критики. Если б, например, Р. Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квекерам и не знаю кому. Перестраивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принести их еще больше — это все можно, и тысячи пойдут за реформатором; но Оуэн хотел вести *вон* из церкви — тут *sta, viator!*¹ — тут рубеж. До границы легко идти, труднейшее

¹ стой, путник! (лат.). — *Ред.*

во всякой стране — это перейти ее, особенно когда сам народ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки эти были; несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до разумного понимания. Но этим не разрешается наш вопрос: может ли это исключительное развитие сделаться общим? Наведение, которое нам дает прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту; железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческие отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет; но, принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность *здорового смысла*. Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю. Исторического бреда ей станет надолго; им же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной в других сферах.

Люди, которые поняли, что это сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающий, не позволяет им проснуться. Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают с самоотвержением, из вздора идут на смерть, из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьет их совершенно случайно, сам попадет в них, стягивает других и, если не должен спасать-

ся от голодной смерти каторжной, нескончаемой работой, то начинает ожесточенное преследование жены, детей, родных или сам преследуется ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумиться? Разве по другую сторону семьи, за ее гробом, когда человек все потерял, и энергию, и свежесть мысли,— когда он ищет одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы цело́го муравейника или одного муравья отдельно; вникните в его домогательства и цели, в его радости и горе, в его понятия о добре и зле, о *чести и позоре* — во все, что он делает в продолжение всей жизни, с утра до ночи; взгляните, на что он посвящает последние дни и чему жертвует лучшими мгновениями своей жизни,— вас обдаст детской, с ее лошадками на колесах, с блестками и фольгой, с куклами, поставленными в угол, и с розгами, поставленными в другой. В ребячьем лепете слышится иной раз проблеск дела, но он теряется в детской рассеянности. Остановиться, обдуматься нельзя — дела расстроишь, отстанешь, будешь затерт; все слишком компрометировались, и все слишком быстро несутся, чтоб можно было остановиться, особенно перед горстью людей без пушек, без денег, без власти, *протестующих во имя разума*, не подтверждай даже своей истины чудесами.

Ротшильду или Монтефиоре *надобно* с утра в бюро, чтоб начать капитализацию сото́го миллиона; в Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается *— все идет прекрасно; а тут ему говорят о безответственности человека и о *ином* распределении богатств — разумеется, он не слушает. Мак-Магон дни, ночи обдумывал, как вернее, в самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны *; истребил их больше, чем думал; все его поздравляют, даже ирландцы, которые, в качестве папистов, побиты им,— а ему говорят, что война не только отвратительная нелепость, но и преступление. Разумеется, вместо того чтоб слушать, он станет любоваться мечом, поднесенным Ирландией.

В Италии я был знаком с одним стариком, главою богатого банкирского дома. Раз, поздно ночью, мне не спалось, я пошел

гулять и возвращался, часу в пятом утра, мимо его дома. Работники выкатывали из подвалов бочонки с оливковым маслом для отправки морем. Старик-банкир, в теплом сертуке, стоял с бумагой в руке, отмечая каждый бочонок. Утро было свежо, он зябнул.

— Вы уже встали?— сказал я ему.

— Я здесь больше часа,— отвечал он, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, как в России.

— Что делать, стар становлюсь, силы отказывают. Приятели-то ваши (т. е. его сыновья) спят еще, небось,— и пусть поспят, пока старик еще жив. А без собственного надзора нельзя. Я прежнего покроя человек, много нагладелся; пять революций, *amico mio*¹, видел, возле прошли; а я за своей работой все так же: отпущу масло, пойду в контору. Я и кофею там пью,— прибавил он.

— И так до самого обеда?

— До самого обеда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочем, скажу вам откровенно, тут много делает привычка. *Мне скучно без дела.*

«Не нынче—завтра он умрет. Кто же будет масло отпускать, как пойдет дом? — думал я, оставив его. — Разве к тем порам старший сын тоже сделается человеком прежнего покроя и тоже будет скучать без дела и вставать в четыре часа. Так и пойдет одна тысяча золотых к другой до тех пор, пока кто-нибудь из династов, и, наверное, самый лучший, проиграет все в карты или поднесет лоретке». — «Родители-то какие были!— скажут добрые люди. — Они отказывали во всем себе и другим тоже и все копили про детей. А вот блудный сын!..»

Ну, где ж тут скоро добратся, сквозь эту толщу нелепости, до живого мяса?

Этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, Р. Оуэн проповедовал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя

¹ друг мой (итал.).— *Ред.*

всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает.

Биограф Р. Оуэна очень верно судил, говоря, что он разрушил свое влияние, отрекаясь от религии. Действительно, стукнувшись о церковную ограду, ему следовало остановиться, а он перелез на другую сторону и остался там один-одинехонек, провожаемый благочестивым ругательством. Но нам кажется, что рано или поздно он точно так же остался бы и за *другим черепком* раковины — один и outlaw.

Толпа только потому не освирипела на него с самого начала, что государство и суд не так популярны, как церковь и алтарь. Но за право наказания вступились бы, *à la longue*¹, люди получше подкованные, чем богобеснующиеся квекеры и фельетонные святоши.

О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная вперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатие девы Марии или уверять, что геологические исследования Моисея сходны с исследованиями Мурчисона. Светские церкви *гражданского и уголовного суда* и догматы юридического катехизиса стоят гораздо тверже и пользуются, *впредь до рассмотрения*, правами *доказанных* истин и *незыблемых* аксиом.

Люди, опрокинувшие алтари, не дерзали коснуться до зеркала. Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени — Разумом, были так же уверены во всех *salus populi*² * и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости жечь колдунов.

Давно ли один из сильнейших, из самых смелых мыслителей нашего века *, для того чтоб нанести церкви последний удар, секуляризовал ее в трибунал и, вырывая из рук жрецов Исаака, приготовляемого на закляние богу, отдал его под суд, т. е. на закляние справедливости?

Вековой спор — спор тысячелетний о *воле и предопределении* — не кончен. Не один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого

¹ в конце концов (франц.).— *Ред.*

² общественных благах (лат.).— *Ред.*

сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и у врачей и, что всего важнее, у всех занимающихся статистикой преступлений. Во всяком случае спор не решен, но о том, что преступника наказывать справедливо, и притом по мере преступления, об этом и спору нет, это всякий сам знает!

С которой же стороны *lunatic asylum*?

«Наказание есть неотъемлемое право преступника», — сказал сам Платон.

Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы не обязаны с Аддисоновым «Катоном» приговаривать ко всему: «Ты прав, Платон, ты прав» *, даже и тогда, когда он говорит, что «наш дух не умирает».

Если быть выпоронному или повешенному составляет *право* преступника, пусть же он сам и предъявляет его, если оно нарушено. Права втеснять не надобно.

Бентам называет преступника дурным счетчиком; понятно, что кто обчелся, тот должен нести последствия ошибки, но ведь это не право его. Никто не говорит, что если вы стукнулись лбом, то вы имеете право на синее пятно, и нет особого чиновника, который бы посылал фельдшера сделать это пятно, если его нет. Спиноза еще проще говорит о могущей быть необходимости убить человека, мешающего жить другим, «так, как убивают бешеную собаку». Это понятно. Но юристы или так неоткровенны, или так забили свой ум, что они казнь вовсе не хотят признать обороной или мезтью, а каким-то нравственным вознаграждением, «восстановлением равновесия». На войне дела идут прямее: убивая неприятеля, солдат не ищет *его* вины, не говорит даже, что это справедливо, а кто кого сможет, тот того и повалит.

— Но с этими понятиями придется затворить все суды.

— Зачем? Делали же из базилик приходские церкви *, не попробовали ли теперь их отдать под приходские школы?

— С этими понятиями о безнаказанности не устоит ни одно правительство.

— Оуэн мог бы, как первый *исторический брат* *, на это отвечать: «Разве мне было поручено упрочивать правительства?»

— Он в отношении правительств был очень уклончив и умел ладить с коронованными головами, с министрами-тори и с президентом американской республики.

— А разве он был дурен с католиками или протестантами?

— Что ж, вы думаете, Оуэн был республиканец?

— Я думаю, что Р. Оуэн предпочитал ту *форму правительства*, которая наиболее соответствует принимаемой им церкви.

— Помилуйте, у него никакой нет церкви.

— Ну, вот видите.

— Однако нельзя быть без правительства.

— Без сомнения;.. хоть какое-нибудь дрянное, да надобно. Гегель рассказывает о доброй старухе, говорившей: «Ну, что ж, что дурная погода? Все лучше, чтоб была дурная, чем если б совсем погоды не было!»

— Хорошо, смейтесь, да ведь государство погибнет без правительства.

— А мне что за дело!

IV

Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением *сильной правительственной власти**.

Декреты приготовлявшегося правительства уцелели с своим заголовком:

Egalité Liberté
Bonheur Commun¹,

к которому иногда прибавляется в виде пояснения: «Ou la mort!»²

Декреты, как и следует ожидать, начинаются с *декрета полиции **.

§ 1. Лица, ничего не делающие *для отечества*, не имеют никаких политических прав, это *иностранцы*, которым *республика* дает гостеприимство.

¹ Равенство. Свобода. Всеобщее благосостояние (франц.). — *Ред.*

² «Или смерть!» (франц.). — *Ред.*

§ 2. Ничего не делают для отечества те, которые не служат ему полезным трудом.

§ 3. Закон считает полезными трудами:

Земледелие, скотоводство, рыбную ловлю, мореплавание.

Механические и ручные работы.

Мелкую торговлю (la vente en détail).

Извоз и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподавание.

§ 4. Впрочем, науки и преподавание не будут считаться полезными, если лица, занимающиеся ими, не представляют в данное время свидетельство цивизма, написанное по определенной форме.

§ 6. Иностранцам воспрещается вход в публичные собрания.

§ 7. Иностранцы находятся под прямым надзором высшей администрации, которой предоставляется право высылать их с места жительства и отправлять в исправительные места.

В декрете о «работах» все расписано и распределено: в какое время, когда что делать, сколько часов работать; старшины дают «пример усердия и деятельности», другие доносят обо всем, делающемся в мастерских, начальству. Работников посылают из одного места в другое (так, как гоняют мужиков на шоссейную работу у нас) по мере надобности рук и труда.

§ 11. Высшая администрация посылает на каторжную работу (travaux forcés), под надзор ею назначенных общин, лица обоого пола, которых *инцивизм* (incivisme¹), лень, роскошь и дурное поведение дают обществу дурной пример. Их имущество будет конфисковано.

§ 14. Особенности чиновники заботятся о содержании и приплоде скота, об одежде, переездах и облегчениях работающих граждан.

Декрет о распределении имущества.

§ 1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника (magistrat).

¹ отсутствие гражданских добродетелей (франц.).— *Ред.*

§ 2. Народная община с самого начала дает своим членам квартиру, платя, стирку, освещение, отопление, достаточное количество хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла, вина и других напитков.

§ 3. В каждой коммуне, в определенные эпохи, будут общие трапезы, на которых члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякий член, взявший плату за работу или хранящий у себя деньги, *наказывается*.

Декрет о торговле.

§ 1. Заграничная торговля частным лицам *запрещена*. Товар будет конфискован, преступник наказан.

Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не велено ввозить. Республика не выдает денег; внутренние частные долги уничтожаются, внешние уплачиваются; а если кто обманет или сделает подлог, то наказывается *вечным рабством* (esclavage perpétuel).

За этим так и ждешь «*Питер* в Сарском Селе» или «граф *Аракчеев* в Грузине», — а подписал не Петр I, а первый социалист французский *Гракс Бабёф!*

Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте не доставало правительства; обо всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок. Даже воспроизведение животных не предоставляется их собственным слабостям и кокетству, а регламентировано высшим начальством.

И для чего, вы думаете, все это? Для чего кормят «курами и рыбой, обмывают, одевают и *утешают*»¹ этих *крепостных* благосостояния, этих приписанных к равенству арестантов? Не просто для них: декрет именно говорит, что все это будет делаться *médiocrement*². «Одна Республика должна быть богата, великолепна и всемогуща».

Это сильно напоминает нашу Иверскую божью мать: sie hat Perlen und Diamanten³, карету и лошадей, перомонахов

¹ «Каждый гражданин будет от администрации *logé, nourri, habillé et amusé* <укрыт, накормлен, одет и утешен (франц.)>.

² Здесь: скудным образом (франц.). — *Ред.*

³ у нее есть жемчуга и бриллианты (нем.). — *Ред.*

для прислуги, кучеров с незамерзаемой головой, словом, у нее все есть — да ее только нет, она владеет всем добром *in effigie*¹.

Противуположность Роберта Оуэна с Гракхом Бабёфом очень замечательна. Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим *двум коренным зубам* можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что в сущности эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели и из тех же побуждений, — тем ярче их различие.

Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение *федералистов** и демократический террор, народ остался ни при чем. Другой — что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин и усиленной производительности, «веселая Англия»* делается все больше Англией скучной и Англия обжорливая — все больше Англией голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они (и многие другие) почти в одно и то же время попали на этот порядок идей — понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, развиваясь разрозненно, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньших благоприятных обстоятельствах.

Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противоположные стороны.

Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию, последнее *достижение*, последнюю победу тяжелого, сложного исторического похода; он приветствует зарю *нового* дня, никогда не бывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пеленки, помочи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего и, как путешественник, доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бранит ни станционных смотрителей, ни кляч.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Гракх Бабёф*. Она декретировала *восстановление*

¹ в изображении (лат.).— *Ред.*

естественных прав человека, забытых и утраченных. Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников — попов и аристократов. Их следует казнить как врагов отечества, достояние их возвратить законному *государю*, которому теперь есть нечего и который называется поэтому *санкюлотом*. Пора восстановить его старые *неотъемлемые* права.. Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими?.. А! Вы сомневаетесь, — вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мешать практике *акушера* Оуэна.

Бабёф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если б ему удалось овладеть Парижем, комитет *insurrecteur*¹ приказал бы Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис; он втеснил бы французам свое *рабство общего благосостояния* и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы, бросив миру *великую мысль в нелепой форме*, — мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство *довольных*.

Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны он так же последовательно, как Бабёф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая; его микроскоп, его лаборатория был *New Lark*; его учение росло и мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, что главный путь водворения нового порядка — *воспитание*.

Заговор для Оуэна был ненужен, восстание могло только повредить ему. Он не только мог ужиться с лучшим в мире правительством, с английским, но со всяким другим. Он в

¹ повстанческий (франц.).— *Ред.*

правительстве видел устарелый, исторический факт, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойников, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительство, он не домогался нисколько и *поправлять его*. Если б святые лавочники не мешали ему, в Англии и Америке были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony¹ *, в них втекали бы свежие силы рабочего народонаселения, они исподволь отвели бы лучшие жизненные соки от отживших государственных цистерн. Что же ему было бороться с умирающими? Он мог их предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенец, которого приносят в его школы, c'est autant de pris² над церковью и правительством!

Бабёф был казнен. Во время процесса он вырастает в одну из тех великих личностей, мучеников и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек. Он угас, а на его могиле росло больше и больше всепоглощающее чудовище *Централизации*. Перед нею особенность стерлась, завянула, побледнела личность и исчезла. Никогда на европейской почве, со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны * и от нее до исхода Французской революции, человек не был так пойман правительственной паутиной, так опутан сетями администрации, как в новейшее время во Франции.

Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог, говорил, пока его голос доходил. Ил пожимал плечами, качал головой; неотразимая волна мещанства росла, Оуэн старелся и все глубже уходил в трясину; мало-помалу его усилия, его слова, его учение — все исчезло в болоте. Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только *либералов*: аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает.

¹ С легкой руки Оуэна начались в Англии развиваться *кооперативные рабочие ассоциации*; их считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бедно 15 лет тому назад, с капиталом 28 ливров, строит теперь на общественные деньги фабрику с двумя машинами, каждая в 60 сил, и которая им стоит за 30 000 фунтов. Кооперативные общества печатают журнал «The Co-operator», который издается исключительно работниками.

² это новая победа (франц.).— *Ред.*

— Зато будущее их!..

— Как случится.

— Помилуйте, к чему же после этого вся история?

— Да и все-то на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю. Я, как «сестра Анна» в «Синей Бороде», смотрю для вас на дорогу * и говорю что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... Вот едут... едут, кажется, сны; нет, это не братья наши, это бараны, много баранов! Наконец-то приближаются два гига-та, разными дорогами. Ну уж не тот, так другой потреплет Рауля за синюю бороду. Не тут-то было! Грозных указов Ба-бёфа Рауль не слушается, в школу Р. Оуэна не идет, — одного послал на гильотину, другого утопил в болоте. Я этого вовсе не хвалю, мне Рауль не родной; я только констатирую факт *и больше ничего!*

V

...Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Бабёфа и Дорте*, Оуэн жил на одной квартире с другим непризнанным гением и бедняком, Фультоном, и отдавал ему последние свои шиллинги, чтоб тот делал модели машин, которыми он обогатил и облагодетельствовал род человеческий. Случилось, что один молодой офицер * показывал дамам свою батарею. Чтоб быть вполне любезным, он без всякой нужды пустил несколько ядер (это рассказывает он сам), неприятель отвечал тем же — несколько человек пали, другие были изранены; дамы остались очень довольны нервным потрясением. Офицера немножко угрызала совесть: «Люди эти, говорит, погибли совершенно бесполезно»... но дело военное, это скоро прошло. Cela promettait¹, и впоследствии молодой человек пролил крови больше, чем все революции вместе, потребил одной конскрипцией больше солдат, чем надобно было Оуэну учеников, чтоб пересоздать весь свет.

Системы у него не было никакой, добра людям он не желал и не обещал. Он добра желал себе одному, а под добром разумел власть. Теперь и посмотрите, как слабы перед ним Бабёф

¹ Это обещало много (франц.).— *Ред.*

и Оуэн! Его имя тридцать лет после его смерти было достаточно, чтоб его племянника признали императором.

Какой же у него был секрет?

Бабеф хотел людям *приказать благосостояние* и коммунистическую республику.

Оуэн хотел их *воспитать* в другой экономический быт, несравненно больше выгодный для них.

Наполеон не хотел ни того, ни другого; он понял, что французы не в самом деле желают питаться спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего *, что они не очень удовлетворятся тем, что по большим праздникам «граждане будут сходиться рассуждать о законах¹ и обучать детей гражданским добродетелям». Вот, дело другое — подражаться и похвастаться храбростью они точно любят.

Вместо того чтоб им мешать и дразнить, проповедуя вечный мир, лакедемонский стол* римские добродетели и миртовые венки, Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту. Его винить не за что: французы и без него были бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упреком, он ее не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добродетелями, он не представлял ей возвышенный, преображенный идеал; он не являлся ни карающим пророком, ни поучающим гением, *он сам принадлежал толпе* и показал ей *ее самоё*, с ее недостатками и симпатиями, с ее страстями и влечениями, возведенную в *гения* и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет.

Если и он пал, то вовсе не от того, чтоб толпа его оставила, что она разглядела пустоту его замыслов, что она устала отдавать последнего сына и без причины лить кровь человеческую. Он додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своих господ. Христианская нравственность была удовлетворена — нельзя было с большим остервенением защищать своих врагов!

¹ Не из наших ли законов взял Гракх Бабеф это развлечение? Когда в коллегии нет дела, члены должны *читать законы!*

На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обещающая ничего светлого фигура — и этот седой, свирепо-добродушный немецкий кондотьер. Ирландец на английской службе, человек без отечества — и пруссак, у которого отечество в казармах, приветствуют радостно друг друга; и как им не радоваться? Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, — в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат... Дело на рассвете... Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились. И отчего? Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал! * Сколько несчастий и слез стоила народам эта победа! А сколько несчастий и крови стоила бы народам победа противной стороны?

...— Да какой же вывод из всего этого?

— Что вы называете вывод? Нравоучение вроде *fais ce que doit, advienne ce que pourra*¹ или сентенцию вроде

И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек?

Понимание дела — вот и вывод, освобождение от лжи — вот и нравоучение.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбие, и особенно теперь, когда все кричат о безнравственности взяток? «Истина — религия, — толкует старик Оуэн, — не требуйте от нее ничего больше, как ее самоё».

За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения — по крайней мере разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас... Это страшно много! Детский хлам, который мы утрачиваем, не занимает больше, он нам дорог только по привычке. Чего тут жалеть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотом веке сзади или с

¹ делай то, что должно, а будет то, что будет (франц.).— *Ред.*

бесконечном прогрессе впереди, чудотворную склянку св. Януария или метеорологическую молитву о дожде, тайный умысел химических заговорщиков или *natura sic voluit*?¹

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокруг все колеблется, несется; стой или ступай куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вероятно, и море пугало сначала беспорядком, но как только человек понял его бесцельную суету, он взял дорогу с собой и в какой-то скорлупе переплыл океаны.

Ни природа, ни история *никуда не идут* и потому готовы идти *всюду*, куда им укажут, *если это возможно*, т. е. если ничего не мешает. Они слагаются à l'ég et à mesure² бездной друг на друга действующих, друг с другом встречающихся, друг друга останавливающих и увлскающих частностей; но человек вовсе не теряется от этого, как песчинка в горе, не больше подчиняется стихиям, не круче связывается необходимостью, а вырастает тем, что понял свое положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путем сообщения.

Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в нее свой стих, и, если он звучен, он останется *его* стихом, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будет бродить в ее крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу. Стоит тронуть наукой скалу, чтоб из нее текла вода, — да что вода! Подумайте о том, что сделал сгнетенный пар, что делает электричество с тех пор, как человек, а не Юпитер взял их в руки. Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творчество. Стихиям, веществу все равно, они могут дремать тысячелетия и вовсе не просыпаться, но человек шлет их на свою работу, и они идут. Солнце давно ходит по небу: вдруг человек перехватил его луч, задержал его след, и солнце стало ему делать портреты.

Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, рели-

¹ природа так захотела (лат.).— *Ред.*

² постепенно (франц.).— *Ред.*

гиозный поклеп на нее; она не настолько умна, чтоб бороться, ей все равно: «По той мере, по которой человек ее знает, по той мере он может ею управлять», — сказал Бэкон и был совершенно прав. Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она, продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения — тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: «Общее благосостояние или смерть!» *, чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом *лодка, волна и кормчий*. Хоть бы карта была!

— А будь карта у Колумба, не он открыл бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делают что-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса. Если события подтасованы, если вся история — развитие какого-то доисторического *заговора* и она сводится на одно выполнение, на одну его *mise en scène* — возьмите по крайней мере и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слезы для представления провиденциальной шаралы? С предопределенным планом история сводится на вставку чисел в алгебраическую формулу, будущее отдано в кабалу до рождения.

Люди, с ужасом говорящие о том, что Р. Оуэн лишает человека воли и нравственной доблести, мирят предопределение не только с свободой, но и с палачом! Разве только на основании текста, что «Сын человеческий *должен быть* предан, но горе тому, кто его предаст» *¹.

¹ Теологи отважнее доктринеров вообще; они прямо говорят, что без воли божией не падет волос с головы, а ответственность за каждое действие, даже за помыслы, оставляют на человеке. Ученый фатализм утверждает, что у них и речи нет о личностях, о *случайных* носителях идеи...

В мистическом воззрении все это на месте, и там это имеет свою художественную сторону, которой в доктринаризме нет. В религии разворачивается целая драма; тут борьба, возмущение и его усмирение; вечная Мессиада, Титаны, Луцифер, Абадоуна, изгоняемый Адам, прикованный Прометей, караемые богом и искупаемые спасителем. Это роман, потрясающий душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализм, переходя из церкви в школу, утратил весь свой смысл, даже тот смысл правдоподобия, который мы требуем в сказке. Из яркого, пахучего, опьяняющего азиатского цветка доктринеры высушили бледное сено для гербариума. Отталкивая фантастические образы, они остались при голой логической ошибке, при нелепости пред исторической *aggrè-re-pensée*¹, воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами своих целей. Зачем, если она существует, она еще раз осуществляется? Если же ее нет и она только *становится и отстаивается* событиями, то что же за новый *имакулатный*² процесс зачатия зародил во временном преждедущую идею, которая, выходя из чрева истории, возвещает тотчас, что она была прежде и будет после? Это новое сводное бессмертие души, идущее в обе стороны, не личное, не чье-нибудь,

(т. е. речи нет о нашем брате, обыкновенном человеке, а что касается до таких личностей, как Александр Македонский или Петр I,— нам уши прожужжали их всемирноисторическим призванием). Доктринеры, видите, как большие господа: хозяйством истории распоряжаются *en gros* <в общих чертах (франц.)>, гуртом... но где граница стада и личностей, где несколько зерен-то, как спрашивали мои милые афинские софисты, становятся кучей?

Само собою разумеется, что мы никогда не смешивали предопределений с теорией вероятностей; мы вправе наведением делать посылки от прошедшего к будущему. Делая индукцию, мы знаем что делаем, основываясь на постоянстве некоторых законов и явлений, но допуская также и нарушения. Мы видим человека тридцати лет и имеем полное право предполагать, что через другие тридцать лет он будет сед или плешив, несколько сгорбится и пр. Это не значит, что его назначение сесть, плешиветь, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри он тридцати пяти лет, он не будет сесть, а пойдет «на замаску», как говорит Гамлет *, или на салат.

¹ тайной мыслью (франц.).— *Ред.*

² непорочный, от *immaculé* (франц.).— *Ред.*

а родовое... *Бессмертная душа* всего человечества... Это стоит мертвых душ! Нет ли бессмертной березы всех берез?

Мудрено ли, что с таким освещением самые простейшие, обыденные предметы сделались при схоластическом объяснении совершенно непонятными. Может ли, например, быть факт доступнее всякому, как наблюдение, что чем человек больше живет, тем имеет больше случая нажитья; чем дольше глядит на один предмет, тем больше разглядывает его, если ничего не помешает или он не ослепнет? И из этого факта ухитрились сделать кумир *прогресса*, какого-то беспрерывно растущего и обещающего расти в бесконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человек живет не для *совершения судеб*, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился *для* (как ни дурно это слово)... для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо; они никак не хотят обратить внимание на то, что все великое значение наше, при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и состоит, что пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, *мы все-таки сами*, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это не цель наша, не назначение, не заданный урок, а последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями.

И это не все: мы можем *переменить узор ковра*. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть.

— Но если, с одной стороны, вы отдаете судьбу человека на его произвол, а с другой — снимаете с него ответственность, то с вашим учением он сложит руки и просто ничего не будет делать.

Уж не перестанут ли люди есть и пить, любить и

производить детей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнают, что едят и слушают, любят и наслаждаются для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для *скорейшего* достижения *бесконечного* развития совершенства?

Если религия, с своим подавляющим фатализмом, и доктринаризм, с своим безотрадным и холодным, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтоб это сделало воззрение, освобождающее их от этих плит. Одного чутья жизни и непоследовательности было достаточно, чтоб спасти европейские народы от религиозных проказ вроде аскетизма, квиетизма, которые постоянно были только на словах и никогда на деле, — неужели разум и сознание окажутся слабее?

К тому же в реальном воззрении есть свой секрет; тот, кто от него сложит руки, тот не поймет его и не примет; он еще принадлежит к иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры: с одной стороны дьявол с черным хвостом, с другой — ангел с белой лилией.

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладеет ли с ними человек или в ином месте собьется с дороги, а в другом наделает вздору — это другой вопрос. Говоря, что у человека никогда не пропадет голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые.

Есть люди, удовлетворяющиеся малым, с бедными потребностями, с узким взглядом и ограниченными желаниями. Есть и народы с небольшим горизонтом, с странным воззрением, удовлетворяющиеся бедно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, без сомнения, два народа, нашедшие наиболее соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они так неизменно одни и те же.

Европа, кажется нам, тоже близка к «насыщению» и стремится, усталая, осесть, скристаллизироваться, найдя свое прочное общественное положение *в мещанском устройстве*. Ей мешают покойно сложиться монархическо-феодалные остатки и завоевательное начало. Мещанское устройство представ-

ляет огромный успех в сравнении с олигархически-военным — в этом нет сомнения, но для Европы, и в особенности для англо-германской, оно представляет не только огромный успех, но и успех достаточный. Голландия опередила, она первая успокоилась до прекращения истории. Прекращение роста — начало совершеннолетия. Жизнь студента полна событий и идет гораздо бурнее, чем трезвая и работающая жизнь отца семейства. Если б над Англией не тяготел свинцовый щит феодального землевладения и она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду *, если б она, как Голландия, могла достигнуть для всех благосостояния мелких лавочников и небогатых хозяев средней руки, она успокоилась бы на мещанстве. А с тем вместе уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизилась, и жизнь без событий, развлекаемая иногда внешними толчками, свелась бы на однообразный круговорот, на слегка видоизменяющийся *semper idem*. Собирался бы парламент, представлялся бы бюджет, говорились бы дельные речи, улучшались бы формы... и на будущий год то же, и через десять лет то же; это была бы покойная колея взрослого человека, его деловые будни. Мы и в естественных явлениях видим, как начала эксцентричны, а устоявшееся продолжение идет потихоньку: не буйной кометой, описывающей с распущенной косой свои неведомые пути, а тихой планетой, плывущей с своими сателлитами, вроде фонариков, битым и перебитым путем; небольшие отступления выставляют еще больше общий порядок... Весна помокрее, весна посуше, но после всякой — лето, но перед всякой — зима.

— Так это, пожалуй, все человечество дойдет до мещанства да на нем и застрянет?

— Не думаю, чтобы все, а некоторые части наверно. Слово «человечество» препротивное: оно не выражает ничего определенного, а только к смутности всех остальных понятий прибавляет еще какого-то пегого полубога. Какое единство разумеется под словом «человечество»? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым названием, вроде икры и т. п. Кто в мире осмелится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинаким образом ирокезов и ирландцев, арабов и мадьяр, кафров и славян? Мы можем

сказать одно, что некоторым народам мещанское устройство противно, а другие в нем как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов; общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать мещанство. Но из этого никак не следует, что они *достигнут* этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. Одно стремление ничего не обеспечивает, на разницу возможного и неминуемого мы ужасно назираем. Недостаточно знать, что такое-то устройство нам противно, а надобно знать, какого мы хотим и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди: народы буржуазные могут взять совсем иной полет, народы самые поэтические — сделаться лавочниками. Малоли возможностей гибнет, стремлений авортирует¹, развитий отклоняется. Что может быть очевиднее, осязаемое тех не только возможностей, а начал личной жизни, мысли, энергии, которые умирают в каждом ребенке? Заметьте, что и эта ранняя смерть детей тоже не имеет в себе ничего неминуемого; жизнь девяти десятых наверное могла бы сохраниться, если бы доктора знали медицину и медицина была бы в самом деле наукой. На это *влияние человека и науки* мы обращаем особенное внимание, оно чрезвычайно важно.

Заметьте еще посягательство обезьян (например, шимпанзе) на дальнейшее умственное развитие. Оно видно в их беспокойно озабоченном взгляде, в тоскливо грустном присматривании ко всему, что делается, в недоверчивой и суетливой тревожности и любопытстве, которое, с другой стороны, не дает мысли сосредоточиться и постоянно ее рассеивает. Ряды и ряды поколений вновь и вновь стремятся к какому-то разумению, заменяются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умирают, — и так прошли десятки тысяч лет и пройдут еще десятки.

Люди имеют большой шаг перед обезьянами; их стремления не пропадают бесследно, они облекаются словом, воплощаются в образ, остаются в предании и передаются из века в век. Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за нами, как

¹ не дозревает, не имеет успеха, от avorter (франц.).— *Ред.*

за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана — всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу и нет ее «разве него», а с нею мы можем быть властью.

Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незамеченной действительностью; перед каждым открытые двери. *Есть что сказать человеку — пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение — пусть проповедует.* Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой, — ни она не самобытна, ни мы не независимы от общего фонда картины, от одинаких предшествовавших влияний; связь общая есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— *Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!*



〈ГЛАВА X〉
CAMICIA ROSSA ^{1*}

Шекспиров день* превратился в день Гарибальди. Сближение это вытянуто за волосы историей; такие натяжки удаются ей одной.

Народ, собравшись на Примроз-Гилль, чтоб посадить дерево в память threecentenary², остался там, чтоб поговорить о *скоропостижном* отъезде Гарибальди*. Полиция разогнала народ. Пятьдесят тысяч человек (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейских и, из глубокого уважения к законности, вполонину сгубили великое право сходов под чистым небом и, во всяком случае, поддержали незаконное вмешательство власти.

... Действительно, какая-то шекспировская фантазия пронеслась перед нашими глазами на сером фоне Англии, с чисто шекспировской близостью великого и отвратительного, раздражающего душу и скрипящего по тарелке. Святая простота человека, наивная простота масс и тайные скопы за стеной, интриги, ложь. Знакомые тени мелькают в других образах — от Гамлета до короля Лиры, от Гонериль и Корделий до *честного* Яго. Яго — всё крошечные, но зато какое количество и какая у них честность!

Пролог. Трубы. Является идол масс, единственная, вели-

¹ Статья эта назначена была для «Полярной звезды», но «Полярная звезда» не выйдет в нынешнем году; а в «Колоколе», благодаря террору, наложившему печать молчания на большую часть наших корреспондентов, довольно места для нее и еще для двух-трех статей.

² трехсотлетия (англ.).— *Ред.*

кая, народная личность нашего века, выработавшаяся с 1848 года, — является во всех лучах славы. Все склоняется перед ней, все ее празднует, это — очью совершающееся hero-worship¹ Карлейля *. Пушечные выстрелы, колокольный звон, вымпела на кораблях — и только потому нет музыки, что *гость Англии* приехал в воскресенье, а воскресенье здесь постный день... Лондон ждет приезжего часов семь на ногах; овации растут с каждым днем; появление человека в *красной рубашке* на улице делает взрыв восторга, толпы провожают его ночью, в час, из оперы, толпы встречают его утром, в семь часов, перед Стаффорд гаузом *. Работники и дюки², швеи и лорды, банкиры и High Church*, феодальная развалина Дерби и осколок Февральской революции, республиканец 1848 года, старший сын королевы Виктории * и босой sweeper³, родившийся без родителей, ищут наперерыв его руки, взгляда, слова. Шотландия, Ньюкастль-он-Тсйн, Глазгов, Манчестер трепещут от ожидания, а он исчезает в непроницаемом тумане, в синеве океана.

Как тень Гамлетова отца, гость попал на какую-то министерскую дощечку и исчез. Где он? Сейчас был тут и тут, а теперь нет... Остается одна точка, какой-то парус, готовый отплыть.

Народ английский одурачен. «Великий, глупый народ», — как сказал о нем поэт. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джон-Буль* — и жаль его, и смешно! Бык с львиными замашками только что было тряхнул гривой и порасправился, чтоб встретить гостя так, как он никогда не встречал ни одного ни на службе состоящего, ни отрешенного от должности монарха, — а у него его и отняли. Лев-бык бьет двойным копытом, царапает землю, сердится... но сторожа знают хитрости замков и засовов *свободы*,

¹ поклонение героям (англ.). — *Ред.*

² Я прошу позволение дюков называть дюками, а не герцогами. Во-первых, оно правильнее, а во-вторых, одним немецким словом меньше в русском языке. Autant de pris sur le Teutschtum <Все-таки победа над германизмом (франц.)>.

³ трубочист (англ.). — *Ред.*

которыми он заперт, болтают ему какой-то вздор и держат ключ в кармане... а точка исчезает в океане.

Бедный лев-бык, ступай на свой hard labour¹, тащи плуг, подымай молот. Разве три министра, один неминистр, один дюк, один профессор хирургии и один лорд пиетизма не засвидетельствовали всенародно в камере паров и в низшей камере, в журналах и гостиницах, что здоровый человек, которого ты видел вчера, *болен*, и болен так, что его надобно послать на яхте вдоль Атлантического океана и поперек Средиземного моря?.. * «Кому же ты больше веришь: моему ослу или мне?» — говорил обиженный мельник, в старой басне, скептическому другу своему, который сомневался, слыша рев, что осла нет дома...

Или разве *они* не друзья народа? Больше, чем друзья: они его опекуны, его отцы с матерью...

...Газеты подробно рассказали о пирах и яствах, речах и мечях, адресах и кантатах, Чизике и Гильдголле *. Балет и декорации, пантомимы и арлекины этого «сновидения в весеннюю ночь» описаны довольно. Я не намерен вступать с ними в соревнование, а просто хочу передать из моего небольшого фотографического снаряда несколько картинок, взятых с того скромного угла, из которого я смотрел. В них, как всегда бывает в фотографиях, захватилось и осталось много случайного, неловкие складки, неловкие позы, слишком выступившие мелочи рядом с нерукотворенными чертами событий и неподслащенными чертами лиц ..

Рассказ этот дарю я вам, отсутствующие дети (отчасти он для вас и писан), и еще раз очень, очень жалею, что вас здесь не было с нами 17 апреля.

І. В БРУК ГАУЗЕ *

Третьего апреля к вечеру Гарибальди присехал в Соутамтон. Мне хотелось видеть его прежде, чем его завертят, опутают, утомят.

Хотелось мне этого по многому. Во-первых, просто потому, что я его люблю и не видал около десяти лет. С 1848 я следил

¹ каторжный труд (англ.).— *Ред.*

шаг за шагом за его великой карьерой; он уже был для меня в 1854 году лицо, взятое целиком из Корнелия Непота или Плутарха...¹ С тех пор он перерос половицу их, сделался «невенчанным царем» народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком, и это от Украины и Сербии до Андалузии и Шотландии, от Южной Америки до Северных Штатов. С тех пор он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпускают ямщика *, когда он доvez до станции. С тех пор он был обманут и побит, и так, как ничего не выиграл победой, не только ничего не проиграл поражением, но удвоил свою народную силу*. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его с народом. К величию героя прибавился венец мученика. Мне хотелось видеть, тот ли же это добродушный моряк, приведший «Common Wealth» из Бостона в Indian Docks *, мечтавший о плавучей эмиграции, носящейся по океану², и угощавший меня ниццким белетом, привезенным из Америки.

Хотелось мне, во-вторых, поговорить с ним о здешних интригах и нелепостях, о добрых людях, строивших одной рукой пьедестал ему и другой привязывавших Маццини к позорному столбу. Хотелось ему рассказать об охоте по Стансфильду и о тех нищих разумом либералах, которые вторили лаю готических свор, не понимая, что те имели по крайней мере цель — сковырнуть на Стансфильде пегое и бесхарактерное министерство и заменить его своей подагрой, своей ветошью и своим линялым тряпьем с гербами *.

...В Соутамтоне я Гарибальди не застал. Он только что уехал на остров Вайт *. На улицах были видны остатки торжества: знамена, группы народа, бездна иностранцев ..

Не останавливаясь в Соутамтоне, я отправился в Коус *. На пароходе, в отелях все говорило о Гарибальди, о его приеме. Рассказывали отдельные анекдоты, как он вышел на палубу, опираясь на дюка Сутерландского, как, сходя в Коусе с парохода, когда матросы выстроились, чтоб проводить его, Гарибальди пошел было, поклонившись, но вдруг остановился,

¹ «Полярная звезда», кн. V, «Былое и думы»*.

² Там же.

подошел к матросам и каждому подал руку, вместо того чтоб подать на водку.

В Коус я приехал часов в девять вечера; узнал, что Брук гауз очень не близок, заказал на другое утро коляску и пошел по взморью. Это был первый теплый вечер 1864. Море, совершенно спокойное, лениво шаяля, колыхалось; кой-где сверкало, исчезая, фосфорический свет; я с наслаждением вдыхал влажно-йодистый запах морских испарений, который люблю, как запах сена; издали раздавалась бальная музыка из какого-то клуба или казино, все было светло и празднично.

Зато на другой день, когда я часов в шесть утра отворил окно, Англия напомнила о себе: вместо моря и неба, земли и дали, была одна сплошная масса неровного серого цвета, из которой лился частый, мелкий дождь, с той британской настойчивостью, которая вперед говорит: «Если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». В семь часов поехал я под этой душей в Брук гауз.

Не желая долго толковать с тугой на пониманье и скупой на учтивость английской прислужгой, я послал записку к секретарю Гарибальди — Гверцони*. Гверцони провел меня в свою комнату и пошел сказать Гарибальди. Вслед за тем я услышал постукиванье трости и голос: «Где он, где он?» Я вышел в коридор. Гарибальди стоял передомной и прямо, ясно, кротко смотрел мне в глаза, потом протянул обе руки и, сказав: «Очень, очень рад! Вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете!» — обнял меня. — «Куда вы хотите? Это комната Гверцони; хотите ко мне, хотите остаться здесь?» — спросил он и сел.

Теперь была моя очередь смотреть на него.

Одет он был так, как вы знаете по бесчисленным фотграфиям, картишкам, статуэткам: на нем была красная шерстяная рубашка и сверху плащ, особым образом застегнутый на груди; не на шее, а на плечах был платок, так, как его носят матросы: узлом завязанный на груди. Все это к нему необыкновенно шло, особенно его плащ.

Он гораздо меньше изменился в эти десять лет, чем я ожидал. Все портреты, все фотографии его никуда не годятся: на всех он старше, чернее, и, главное, выражение лица нигде не схвачено. А в нем-то и высказывается *весь секрет* не только

его лица, но его самого, его силы, — той притяжательной и отдающейся силы, которой он постоянно покорял все окружающее его... какое бы оно ни было, без различия диаметра: кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drappello¹ гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии*, народные массы всех стран, целые части земного шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильного и скорее напоминающего славянский тип, чем итальянский, оживлена, проникнута беспредельной добротой, любовью и тем, что называется *bienveillance* (я употребляю французское слово, потому что наше «благоволение» затаскалось до того по передним и канцеляриям, что его смысл исказился и оподдел). То же в его взгляде, то же в его голосе, и все это так просто, так от души, что если человек не имеет задней мысли, жалованья от какого-нибудь правительства и вообще не остережется, то он непременно его полюбит.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характер, ни выражение его лица; рядом с его добродушием и увлекаемостью чувствуется несокрушимая нравственная твердость и какой-то возврат на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты, меланхолической, печальной, я прежде не замечал в нем.

Минутами разговор обрывается; по его лицу, как тучи по морю, пробегают какие-то мысли. Ужас ли то перед судьбами, лежащими на его плечах, перед тем народным *помазанием*, от которого он уже не может отказаться? Сомнение ли после того, как он видел столько измен, столько падений, столько слабых людей? Испытание ли величия? Последнего не думаю — его личность давно исчезла в его деле...

Я уверен, что подобная черта страдания перед призваньем была и на лице девы Орлеанской, и на лице Иоанна Лейденского — они принадлежали народу: стихийные чувства, или, лучше, предчувствия, заморенные в нас, сильнее в народе. В их вере был фатализм, а фатализм сам по себе бесконечно грустен. «Да совершится воля твоя», — говорит всеми чертами лица Сикстинская мадонна. «Да совершится воля твоя», —

¹ отряд (итал.).— *Ред.*

говорит ее сын-плебей и Спаситель, грустно молясь на Масличной горе.

...Гарibaldi вспомнил разные подробности о 1854 годе, когда он был в Лондоне, как он ночевал у меня, опоздавши в Indian Docks; я напомнил ему, как он в этот день пошел гулять с моим сыном и сделал для меня его фотографию у Кальдези, об обеде у американского консула с Бюхананом *, который некогда наделал бездну шума и, в сущности, не имел смысла ¹.

— Я должен вам покаяться, что я поторопился к вам приехать не без цели, — сказал я, наконец, ему. — Я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишком английская, т. е. туманная, для того, чтоб ясно видеть закулисную механику одной пьесы, которая с успехом разыгрывается теперь в парламенте... Чем вы дальше поедете, тем гуще будет туман. Хотите вы меня выслушать?

— Говорите, говорите, мы старые друзья.

Я рассказал ему дебаты, журнальный вопль, нелепость выходок против Маццини, пытку, которой подвергали Станфильда.

— Заметьте, — добавил я, — что в Станфильде тори и их сообщники преследуют не только революцию, которую они смешивают с Маццини, не только министерство Палмерстона, но, сверх того, человека, своим личным достоинством, своим трудом, умом достигнувшего в довольно молодых летах места лорда в адмиралтействе, человека без рода и связей в аристократии. На вас прямо они не смеют нападать на сию минуту, но посмотрите, как они бесцеремонно вас трактуют. Вчера в Коусе я купил последний лист «Standard'a»; ехавши к вам, я его прочитал, посмотрите. «Мы уверены, что Гарibaldi поймет настолько обязанности, возлагаемые на него гостеприимством Англии, что не будет иметь сношений с прежним товарищем своим и найдет настолько такта, чтоб не ездить в 35, Thurloe square» ². Затем выговор *par anticipation* ³, если вы этого не исполните.

¹ В ненапечатанной части «Былое и думы» обед этот рассказан*.

² Квартира Станфильда.

³ заранее (франц.). — *Ред.*

— Я слышал кое-что, — сказал Гарибальди, — об этой интриге. *Разумеется, один из первых визитов моих будет к Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что вам делать, я хотел вам только показать без тумана безобразные линии этой интриги.

Гарибальди встал; я думал, что он хочет окончить свидание, и стал прощаться.

— Нет, нет, пойдемте теперь ко мне, — сказал он; и мы пошли.

Прихрамывает он сильно, но вообще его организм вышел торжественно из всякого рода моральных и хирургических сондирований, операций и пр.

Костюм его, скажу еще раз, необыкновенно идет к нему и необыкновенно изящен, в нем нет ничего профессионально-солдатского и ничего буржуазного; он очень прост и очень удобен. Непринужденность, отсутствие всякой аффектации в том, как он носит его, остановили салонные пересуды и тонкие насмешки. Вряд существует ли европеец, которому бы сошла с рук *красная рубашка* в дворцах и палатах Англии.

Притом костюм его чрезвычайно важен: *в красной рубашке* народ узнает себя и своего. Аристократия думает, что, схвативши его коня под уздцы, она его поведет куда хочет, и, главное, отведет от народа; но народ смотрит на *красную рубашку* и рад, что дюки, маркизы и лорды пошли в конюхи и официанты к революционному вождю, взяли на себя должности мажордомов, пажей и скороходов при великом плебее в плебейском платье.

Консервативные газеты заметили беду и, чтоб смягчить безнравственность и бесчиние гарибальдиевского костюма, выдумали, что он носит *мундир* монтевидейского волонтера. Да ведь Гарибальди с тех пор был пожалован генералом королем, которому он пожаловал два королевства*; отчего же он носит мундир монтевидейского волонтера?

Да и почему то, что он носит, — мундир?

К мундиру принадлежит какое-нибудь смертоносное оружие, какой-нибудь знак власти или кровавых воспоминаний. Гарибальди ходит без оружия, он не боится никого и никого не страшит; в Гарибальди так же мало военного, как мало

аристократического и мещанского. «Я не солдат,— говорил он в Кристаль-паласе итальянцам, подносящим ему меч,— и не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтоб их выгнать»*. «Я работник, происхожу от работников и горжусь этим»,— сказал он в другом месте *.

При этом нельзя не заметить, что у Гарибальди нет также ни на йоту плебейской грубости, ни изученного демократизма. Его обращение мягко до женственности. Итальянец и человек, он на вершине общественного мира представляет не только плебей, верного своему началу, но итальянца, верного эстетичности своей расы.

Его мантия, застегнутая на груди,— не столько военный плащ, сколько риза воина-первосвященника, profeta-re¹. Когда он поднимает руку, от него ждут благословения и привета, а не военного приказа.

Гарибальди заговорил о польских делах. Он дивился отваге поляков*.

— Без организации, без оружия, без людей, без открытой границы, без всякой опоры выступить против сильной военной державы и продержаться с лишком год — такого примера нет в истории... Хорошо, если б другие народы переняли. Столько героизма не должно, не может погибнуть; я полагаю, что Галиция готова к восстанию?

Я промолчал.

— Так же, как и Венгрия,— вы не верите?

— Нет, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движения в России?

— Никакого. С тех пор как я вам писал письмо, в ноябре месяце *, ничего не переменилось. Правительство, чувствующее поддержку во всех злодействах в Польше, идет очертя голову, ни в грош не ставит Европу, общество падает глубже и глубже. Народ молчит. Польское дело — не его дело, у нас враг один, общий, но вопрос розно поставлен. К тому же у нас много времени впереди, а у них его нет.

¹ пророка-царя (итал.).— Ред.

Так продолжался разговор еще несколько минут; начались в дверях показываться арханглийские физиономии, шурстеть дамские платья... Я встал.

— Куда вы торопитесь? — сказал Гарибальди.

— Я не хочу вас больше красть у Англии.

— До свиданья в Лондоне — не правда ли?

— Я непременно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландского?

— Да, — сказал Гарибальди и прибавил, будто извиняясь: — Не мог отказаться.

— Так я явлюсь к вам напудрившись, для того чтоб лакеи в Стаффорд гаузе подумали, что у меня пудренный слуга.

В это время явился поэт *лауреат* Теннисон с женой — это было слишком много лавров, и я по тому же непрерывному дождю отправился в Коус.

Перемена декорации, но продолжение той же пьесы. Пароход из Коуса в Соутамтон только что ушел, а другой отправлялся через три часа, в силу чего я пошел в ближайший ресторан, заказал себе обед и принялся читать «Теймс». С первых строк я был ошеломлен *. Семидесятипятилетний Авраам, судившийся месяца два тому назад за какие-то шапши с новой Агарью, принес окончательно на жертву своего галифаксского Исаака *. Отставка Стансфильда была принята. И это в самое то время, когда Гарибальди начинал свое торжественное шествие в Англии. Говоря с Гарибальди, я этого даже не предполагал.

Что Стансфильд подал во второй раз в отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему с самого начала следовало стать во весь рост и бросить свое лордшипство *. Стансфильд сделал свое дело. Но что сделал Чалмерстон с товарищами? И что он лепетал потом в своей речи?.. С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике, о претрепетном желании ему долговечья и всякого блага навеки нерушимого *. Как будто кто-нибудь брал *ли сегіеих* эту полицейскую фарсу Гресо, Трабиссо et С°.

Это была *Мажента* *.

Я спросил бумаги и написал письмо к Гверцони; написал и его со всей свежестью досады и просил его прочесть «Теймс»

Гарibaldi; я ему писал о безобразии этой апотеозы Гарibaldi рядом с оскорблениями Маццини*.

«Мне 52 года,— говорил я,— но признаюсь, что слезы негодования навертываются на глазах при мысли об этой несправедливости», и проч.

За несколько дней до моей поездки я был у Маццини. Человек этот многое вынес, многое умеет выносить, что старый боец, которого ни утомить, ни низложить нельзя; но тут я его застал сильно огорченным именно тем, что его выбрали средством для того, чтоб выбить из стремян его друга. Когда я писал письмо к Гверцони, образ исхудалого, благородного старца с сверкающими глазами носился передо мной.

Когда я кончил и человек подал обед, я заметил, что я не один: небольшого роста белокурый молодой человек с усиками и в синей пальто-куртке, которую носят моряки, сидел у камина, à l'américaine¹, хитро утвердивши ноги в уровень с ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинциальный акцент, делавший для меня его речь непонятной, убедили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующий на берегу мичман, и я перестал им заниматься,— говорил он не со мной, а с слугой. Знакомство окончилось было тем, что я ему подвинул соль, а он за то тряхнул головой.

Вскоре к нему присоединился пожилых лет черноватенький господин, весь в черном и весь до невозможности застегнутый, с тем особенным видом помешательства, которое дает людям близкое знакомство с небом и натянутая религиозная экзальтация, делающаяся натуральной от долгого употребления.

Казалось, что он хорошо знал мичмана и пришел, чтоб с ним повидаться. После трех-четырех слов он перестал говорить и начал проповедовать. «Видел я,— говорил он,— Маккавеев, Гедеона... орудие в руках Промысла, его меч, его пращ... и чем более я смотрел на него, тем сильнее был тронут и со слезами твердил: меч господень! меч господень! Слабого Давида избрал он побить Голиафа. Оттого-то народ английский, народ избранный, идет ему на сретение,

¹ по-американски (франц.).— *Ред.*

как к невесте ливанской... Сердце народа в руках божиих; оно^о сказало ему, что это меч господень, орудие Промысла, Гедеон!»

...Отворились настежь двери, и вошла не невеста ливанская, а разом человек десять важных бриттов, и в их числе лорд Шефсбюри, Линдзей. Все они уселись за стол и потребовали что-нибудь перекусить объявляя, что сейчас едут в Brook House. Это была официальная депутация от Лондона с приглашением к Гарибальди*. Проповедник умолк; но мичман поднялся в моих глазах: он с таким недвусмысленным чувством отвращения смотрел на взошедшую депутацию, что мне пришло в голову, вспоминая проповедь его приятеля, что он принимает этих людей если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросил его, как следует надписать письмо в Brook House: достаточно ли назвать дом, или надобно прибавить ближний город. Он сказал, что не нужно ничего прибавлять.

Один из депутации, седой, толстый старик, спросил меня, к кому я посылаю письмо в Brook House.

— К Гверцони.

— Он, кажется, секретарем при Гарибальди?

— Да.

— Чего же вам хлопотать? Мы сейчас едем, я охотно свезу письмо.

Я вынул мою карточку и отдал ее с письмом. Может ли что-нибудь подобное случиться на континенте? Представьте себе, если б во Франции кто-нибудь спросил бы вас в гостинице, к кому вы пишете, и, узнавши, что это к секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано, и я на другой день имел ответ в Лондоне.

Редактор иностранной части «Morning Star'a» узнал меня. Начались вопросы о том, как я нашел Гарибальди, о его здоровье. Поговоривши несколько минут с ним, я ушел в smoking-room¹. Там сидели за пель-эле² и трубками мой белокурый моряк и его черномазый теолог.

¹ курительную комнату (англ.).— *Ред.*

² Здесь: за кружкой пива (англ. pale-ale).— *Ред.*

— Что, — сказал он мне, — нагляделись вы на эти лица?.. А ведь это неподражаемо хорошо: лорд Шефсбюри, Линдзей едут депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедия! Знают ли они, кто такое Гарибальди?

— Орудие Промысла, меч в руках господних, его пращ... потому-то он и вознес его и оставил его в святой простоте его...

— Это все очень хорошо, да зачем едут эти господа? Спросил бы я кой у кого из них, сколько у них денег в Алабаме?.. Дайте-ка Гарибальди приехать в Ньюкастль-он-Тейн да в Глазгов, — там он увидит народ поближе, там ему не будут мешать лорды и дюки.

Это был не мичман, а корабельный постройщик. Он долго жил в Америке, знал хорошо дела Юга и Севера, говорил о безвыходности тамошней войны, на что утешительный теолог заметил:

— Если господь раздвоил народ этот и направил брата на брата, он имеет свои виды, и если мы их не понимаем, то должны покоряться провидению даже тогда, когда оно карает.

Вот где и в какой форме мне пришлось слышать в последний раз комментарий на знаменитый гегелевский мотто¹: «Все, что действительно, то разумно».

Дружески пожав руку моряку и его каплану, я отправился в Соутамтон.

На пароходе я встретил радикального публициста Голиока; он виделся с Гарибальди позже меня; Гарибальди через него приглашал Маццини; он ему уже телеграфировал, чтоб он ехал в Соутамтон, где Голиок намерен был его ждать с Менотти Гарибальди и его братом. Голиоку очень хотелось доставить еще в тот же вечер два письма в Лондон (по почте они прийти не могли до утра). Я предложил мои услуги.

В 11 часов вечера приехал я в Лондон, заказал в York Hotel'e, возле Ватерлооской станции, комнату и поехал с письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успел перестать. В час или в начале второго приехал я в гостиницу — заперто. Я стучался, стучался... Какой-то пьяный, оканчивавший свой вечер возле решетки кабака, сказал: «Не тут стучите,

¹ изречение (итал. motto).— *Ред.*

в переулке есть night-bell»¹. Пошел я искать night-bell, нашел и стал звонить. Не отворяя дверей, из какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая, чего мне?

— Комнаты.

— Ни одной нет.

— Я в 11 часов сам заказал.

— Говорят, что нет ни одной! — и он захлопнул дверь преисподней, не дождавшись даже, чтоб я его обругал, что я и сделал платонически, потому что он слышать не мог.

Дело было неприятное: найти в Лондоне в два часа ночи комнату, особенно в такой части города, не легко. Я вспомнил об небольшом французском ресторане и отправился туда.

— Есть комната? — спросил я хозяина.

— Есть, да не очень хороша.

— Показывайте.

Действительно, он сказал правду: комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было; я отворил окно и сошел на минуту в залу. Там все еще пили, кричали, играли в карты и домино какие-то французы. Немец колоссального роста, которого я видал, подошел ко мне и спросил, имею ли я время с ним поговорить наедине, что ему нужно мне сообщить что-то особенно важное.

— Разумеется, имею; пойдете в другую залу, там никого нет.

Немец сел против меня и трагически начал мне рассказывать, как его патрон-француз надул, как он три года эксплуатировал его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что он его примет в товарищи, и вдруг, не говоря худого слова, уехал в Париж и там нашел товарища. В силу этого немец сказал ему, что он оставляет место, а патрон не возвращается...

— Да зачем же вы верили ему без всякого условия?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin².

— Ну, это другое дело.

— Я хочу запечатать заведение и уйти.

— Смотрите, он вам сделает процесс; знаете ли вы здешние законы?

¹ ночной звонок (англ.).— *Ред.*

² Потому что я глупый немец (нем.).— *Ред.*

Немец покачал головой.

— Хотелось бы мне насолить ему... А вы, верно, были у Гарибальди?

— Был.

— Ну, что он? Ein famoser Kerl!¹... Да ведь если б он мне не обещал целые три года, я бы иначе вел дела... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется, ничего.

— Эдакая бестия, все скрыл и в последний день говорит: у меня уж есть товарищ-associé... Я вам, кажется, надоел?

— Совсем нет, только я немного устал, хочу спать: я встал в 6 часов, а теперь два с хвостиком.

— Да что же мне делать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли, ich habe so bei mir gedacht, der wird Rat schaffen². Так не запечатывать заведения?

— Нет. А так как ему полюбилося в Париже, так вы ему завтра же напишете: «Заведение запечатано, когда вам угодно принимать его?» Вы увидите эффект; он бросит жену и игру на бирже, прискачет сюда и... и увидит, что заведение не заперто.

— Sapperlot! das ist eine Idee — ausgezeichnet³; я пойду писать письмо.

— А я — спать Gute Nacht⁴.

— Schlafen sie wohl⁵.

Я спрашиваю свечку. Хозяин подает ее собственноручно и объясняет, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сделался духовником.

— Что вам надобно? Оно немного поздно, но я готов.

— Несколько слов. Я вас хотел спросить, как вы думаете, если я завтра выставлю бюст Гарибальди, знаете, с цветами, с лавровым венком, ведь это будет очень хорошо? Я уж и о надписи думал... трехцветными буквами: «Garibaldi — libérateur!»⁶

¹ Великолепный малый! (нем.).— *Ред.*

² я подумал про себя: этот что-нибудь посоветует (нем.).— *Ред.*

³ Черт возьми! Вот это идея — прямо великолепно (нем.).— *Ред.*

⁴ Доброй ночи (нем.).— *Ред.*

⁵ Спите спокойно (нем.).— *Ред.*

«Гарибальди-освободитель» (франц.).— *Ред.*

— Отчего же, можно! Только французское посольство запретит ходить в ваш ресторан французам, а они у вас с утра до ночи.

— Оно так... Но, знаете, сколько денег зашибешь, выставивши бюст... а потом забудут...

— Смотрите, — заметил я, решительно вставая, чтоб идти, — не говорите никому: у вас украдут эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я надеюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомневайтесь, — и я отправился в нечистую спальню его.

Сим оканчивается мое первое свиданье с Гарибальди в 1864 году.

II. В СТАФФОРД ГАУЗЕ

В день приезда Гарибальди в Лондон я его не видал, а видел море народа, реки народа, запруженные им улицы в несколько верст, наводненные площади; везде, где был карниз, балкон, окно, выступили люди, и все это ждало в иных местах *шесть часов*... Гарибальди приехал в половине третьего на станцию Нейн-Эльмс и только в половине девятого подъехал к Стафффорд гаузу, у подъезда которого ждал его дюк Сутерланд с женой.

Английская толпа груба, многочисленные сборища ее не обходятся без драк, без пьяных, без всякого рода отвратительных сцен и, главное, без организованного на огромную скалу воровства. На этот раз порядок был удивительный; народ понял, что это *его* праздник, что он чествует одного из *своих*, что он больше, чем свидетель. И посмотрите в полицейском отделе газет, сколько было покраж в день въезда невесты Вельского и сколько¹ при проезде Гарибальди, а полиция было несравненно меньше. Куда же делись пикпocketы?²

У Вестминстерского моста, близ парламента, народ так плотно сжался, что коляска, ехавшая шагом, остановилась и процессия, тянувшаяся на версту, ушла вперед с своими

¹ Я помню один процесс кражи часов и две-три драки с ирландцами.

² карманные воришки (англ. pickpocket). — *Ред.*

знаменами, музыкой и пр. С криками *ура* народ облепил коляску; все, что могло продраться, жало руку, целовало края плаща Гарибальди, кричало: «Welcome!»¹ С каким-то упоением любуясь на великого плебея, народ хотел отложить лошадей и везти на себе, но его уговорили. Дюков и лордов, окружавших его, никто не замечал — они сошли на скромное место гайдуков и официантов. Эта овация продолжалась около часа; одна народная волна передавала гостя другой, причем коляска двигалась несколько шагов и снова останавливалась.

Злоба и остервенение континентальных консерваторов совершенно понятны. Прием Гарибальди не только обиден для табели о рангах, для ливреи, но он чрезвычайно опасен как пример. Зато бешенство листов, состоящих на службе трех императоров и одного «imperial»²-торизма *, вышло из всех границ, начиная с границ учтивости. У них помутилось в глазах, зашумело в ушах... Англия дворцов, Англия сундуков, забыв всякое приличие, идет вместе с Англией мастерских на сретение какого-то «aventureur»³ — мятежника, который был бы повешен, если б ему не удалось освободить Сицилии. «Отчего, — говорит опростоволосившаяся «La France», — отчего Лондон никогда так не встречал маршала Пелисье, которого слава так чиста?», и даже несмотря на то, забыла она прибавить, что он выжигал сотнями арабов с детьми и женами * так, как у нас выжигают тараканов.

Жаль, что Гарибальди принял гостеприимство дюка Сутерландского. Неважное значение и политическая стертость «пожарного» дюка до некоторой степени делали Стаффорд гауз гостиницей Гарибальди... Но все же обстановка не шла, и интрига, затеянная до въезда его в Лондон, расцвела удобно на дворцовом грунте. Цель ее состояла в том, чтоб удалить Гарибальди от народа, т. е. от работников, и отрезать его от тех из друзей и знакомых, которые остались верными прежнему знамени, и, разумеется, пуще всего от Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этих ширм, но другая половина осталась — именно невозможность

¹ «Добро пожаловать!» (англ.). — *Ред.*

² «императорского» (франц.). — *Ред.*

³ «авантюриста» (франц.). — *Ред.*

говорить с ним без свидетелей. Если б Гарибальди не вставал в 5 часов утра и не принимал в 6, она удалась бы совсем: по счастью, усердие интриги раньше половины девятого не шло; только в день его отъезда дамы начали вторжение в его спальню часом раньше. Раз как-то Мордини, не успев сказать ни слова с Гарибальди в продолжение часа, смеясь, заметил мне:

— В мире нет человека, которого бы было легче видеть, как Гарибальди, но зато нет человека, с которым бы было труднее говорить.

Гостеприимство дюка было далеко лишено того широкого характера, которое некогда мирило с аристократической роскошью. Он дал только комнату для Гарибальди и для молодого человека, который перевязывал его ногу, а другим, т. е. сыновьям Гарибальди, Гверцони и Базилио, хотел нанять комнаты. Они, разумеется, отказались и поместились на свой счет в Bath Hôtel. Чтоб оценить эту странность, надо знать, что такое Стаффорд гауз: в нем можно поместить, не стесняя хозяев, все семьи крестьян, пущенных по миру отцом дюка, — а их очень много.

Англичане — дурные актеры, и это им делает величайшую честь. В первый раз как я был у Гарибальди в Стаффорд гаузе, придворная интрига около него бросилась мне в глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали беспрерывно. Какой-то итальянец сделался полицмейстером, церемониймейстером, экзекутором, дворецким, бутафором, сфлелером *. Да и как не сделаться за честь заседать с дюками и лордами, вместе с ними предпринимать меры для предупреждения и пресечения всех сближений между народом и Гарибальди, и вместе с дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянского вождя и которую хромой генерал рвал ежедневно, не замечая ее.

Гарибальди, например, едет к Маццини. Что делать? Как скрыть? Сейчас на сцену бутафоры, фактотумы — средство найдено. На другое утро весь Лондон читает: «Вчера, в таком-то часу, Гарибальди посетил в Онсло-террас *Джон Френса*. Вы думаете, что это вымышленное имя? Нет, это имя хозяина, содержащего квартиру.

Гарibaldi не думал отречься от Маццини, но он мог уехать из этого водоворота, не встречаясь с ним при людях и не заявив этого публично. Маццини отказался от посещения к Гарibaldi, пока он будет в Стафффорд гаузе. Они могли бы легко встретиться при небольшом числе, но никто не брал инициативы. Подумав об этом, я написал к Маццини записку и спросил его, примет ли Гарibaldi приглашение в такую даль, как Теддингтон *; если нет, то я его не буду звать, тем дело и кончится, если же поедет, то я очень желал бы их обоих пригласить. Маццини написал мне на другой день, что Гарibaldi очень рад и что если ему ничего не помешает, то они приедут в воскресенье, в час. Маццини в заключение прибавил, что Гарibaldi очень бы желал видеть у меня Ледрю-Роллена.

В субботу утром я поехал к Гарibaldi и, не застав его дома, остался с Саффи, Гверцони и другими его ждать. Когда он возвратился, толпа посетителей, дожидавшихся в сенях и коридоре, бросилась на него; один храбрый бритт вырвал у него палку, всунул ему в руку другую и с каким-то азартом повторил:

— Генерал, эта лучше, вы примите, вы позволите, эта лучше.

— Да зачем же? — спросил Гарibaldi, улыбаясь, — я к моей палке привык.

Но видя, что англичанин без боя палки не отдаст, пожал слегка плечами и пошел дальше.

В зале, за мною, шел крупный разговор. Я не обратил бы на него никакого внимания, если б не услышал громко повторенные слова:

— Capite¹, Теддингтон в двух шагах от Гамптон Корта. Помилуйте, да это невозможно, материально невозможно... в двух шагах от Гамптон Корта, это 16—18 миль.

Я обернулся и, видя совершенно мне незнакомого человека, принимавшего так к сердцу расстояние от Лондона до Теддингтона, я ему сказал:

— Двенадцать или тринадцать миль.

Споривший тотчас обратился ко мне:

¹ Поймите (итал.).— *Ред.*

— И тринадцать миль — страшное дело. Генерал должен быть в три часа в Лондоне... Во всяком случае Теддингтон надо отложить.

Гверцони повторял ему, что Гарибальди хочет схать и поедет.

Китальянскому опекуну прибавился англицкий, находивший, что принять приглашение в такую даль сделает гибельный антецедент... Желая им напомнить не деликатность дебатировать этот вопрос при мне, я заметил им:

— Господа, позвольте мне покончить ваш спор, — и тут же, подойдя к Гарибальди, сказал ему: — Мне ваше посещение бесконечно дорого, и теперь больше, чем когда-нибудь; в эту черную полосу для России ваше посещение будет иметь особое значение: вы посетите не одного меня, но друзей наших, заточенных в тюрьмы, сосланных на каторгу. Зная, как вы заняты, я боялся вас звать. По одному слову общего друга, вы велели мне передать, что приедете. Это вдвое дороже для меня. Я верю, что вы хотите приехать, но я не настаиваю (*je n'insiste pas*), если это сопряжено с такими непреоборимыми препятствиями, как говорит этот господин, которого я не знаю. Я указал его пальцем.

— В чем же препятствия? — спросил Гарибальди.

Impressario подбежал и скороговоркой представил ему все резоны, что ехать завтра в 11 часов в Теддингтон и приехать к трем невозможно.

— Это очено просто, — сказал Гарибальди, — значит, надо ехать не в 11, а в 10; кажется, ясно?

Импрезарио исчез.

— В таком случае, чтоб не было ни потери времени, ни исканья, ни новых затруднений, — сказал я, — позвольте мне приехать к вам в десятом часу и поедемте вместе.

— Очень рад, я вас буду ждать.

От Гарибальди я отправился к Ледрю-Роллену. В последние два года я его не видал. Не потому, чтоб между нами были какис-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общего. К тому же лондонская жизнь, и в особенности в его предместьях, разводит людей как-то незаметно. Он держал себя в последнее время одиноко и тихо, хотя и верил с тем же ожесточением, с которым верил 14 июня 1849, в близкую

революцию во Франции. Я не верил в нее почти так же долго и тоже оставался при моем неверии.

Ледрю-Роллен, с большой вежливостью ко мне, отказался от приглашения. Он говорил, что душевно был бы рад опять встретиться с Гарибальди и, разумеется, готов бы был ехать ко мне, но что он, как представитель французской республики, как пострадавший за Рим (13 июня 1849 года) *, не может Гарибальди видеть в первый раз иначе, как у себя.

— Если, — говорил он, — политические виды Гарибальди не позволяют ему официально показать свою симпатию французской республике в моем ли лице, в лице Луи Блана или кого-нибудь из нас, все равно я не буду сетовать. Но отклоню свиданье с ним, где бы оно ни было. Как частный человек, я желаю его видеть, но мне нет особенного дела до него; французская республика — не куртизана, чтоб ей назначать свиданье полутайком. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете к себе, и скажите откровенно, согласны вы с моим рассуждением или нет?

— Я полагаю, что вы правы, и надюсь, что вы не имеете ничего против того, чтоб я передал наш разговор Гарибальди?

— Совсем напротив.

Затем разговор переменялся. Февральская революция и 1848 год вышли из могилы и снова стали передо мной в том же образе тогдашнего трибуна, с несколькими морщинами и сединами больше. Тот же слог, те же мысли, те же обороты, а главное — та же надежда.

— Дела идут превосходно. Империя не знает, что делать. Elle est débordée¹. Сегодня еще я имел весте: невероятный успех в общественном мнении. Да и довольно; кто мог думать, что такая нелепость продержится до 1864.

Я не противоречил, и мы расстались довольные друг другом.

На другой день, приехавши в Лондон, я начал с того, что взял карету с парой сильных лошадей и отправился в Стафффорд гауз.

Когда я взшел в комнату Гарибальди, его в ней не было. А ярый итальянец уже с отчаянием проповедовал о совершенной невозможности ехать в Теддингтон.

¹ Ее захлестнуло (франц.).— *Ред.*

— Неужели вы думаете, — говорил он Гверцони, — что лошади дюка вынесут 12 или 13 миль взад и вперед? Да их просто не дадут на такую поездку.

— Их не нужно, у меня есть карета.

— Да какие же лошади повезут назад, всё те же?

— Не заботьтесь: если лошади устанут, впрягут других. Гверцони с бешенством сказал мне:

— Когда это кончится эта каторга! Всякая дрянь распоряжается, интригует.

— Да вы не обо мне ли говорите? — кричал бледный от злобы итальянец. — Я, милостивый государь, не позволю с собой обращаться, как с каким-нибудь лакеем! — и он схватил на столе карандаш, сломал его и бросил. — Да если так, я все брошу, я сейчас уйду!

— Об этом-то вас просят.

Ярый итальянец направился быстрым шагом к двери, но в дверях показался Гарибальди. Покойно посмотрел он на них, на меня и потом сказал:

— Не пора ли? Я в ваших распоряжениях, только доставьте меня, пожалуйста, в Лондон к 2¹/₂ или 3 часам, а теперь позвольте мне принять старого друга, который только что приехал; да вы, может, его знаете — Мордини.

— Больше чем знаю, мы с ним приятели. Если вы не имеете ничего против, я его приглашу.

— Возьмем его с собой.

Взошел Мордини, я отошел с Саффи к окну. Вдруг фактум, изменивший свое намерение, подбежал ко мне и храбро спросил меня:

— Позвольте, я ничего не понимаю. У вас карета, а едете, — ны сосчитайте: генерал, вы, Менотти, Гверцони, Саффи и Мордини... Где вы сядете?

— Если нужно, будет еще карета, две...

— А время-то их достать...

Я посмотрел на него и, обращаясь к Мордини, сказал ему:

— Мордини, я к вам и к Саффи с просьбой: возьмите энзам¹ и поезжайте сейчас на Ватерлооскую станцию, вы застанете

¹ пролётку (англ. hansom).

train, а то вот этот господин заботится, что нам негде сесть и нет времени послать за другой каретой. Если б я вчера знал, что будут такие затруднения, я пригласил бы Гарибальди ехать по железной дороге; теперь это потому нельзя, что я не отвечаю, найдем ли мы карету или коляску у теддингтонской станции. А пешком идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы едем сейчас, — отвечали Саффи и Мордини.

— Поедемте и мы, — сказал Гарибальди, вставая.

Мы вышли; толпа уже густо покрывала место перед Стафффорд гаузом. Громкое, продолжительное *ура* встретило и проводило нашу карету.

Менотти не мог ехать с нами: он с братом отправлялся в Виндзор. Говорят, что королева, которой хотелось видеть Гарибальди, но которая одна во всей Великобритании не имела на то права, желала *нечаянно* встретиться с его сыновьями. В этом дележе львиная часть досталась не королеве...

III. У НАС

День этот * удался необыкновенно и был одним из самых светлых, безоблачных и прекрасных дней последних пятнадцати лет. В нем была удивительная ясность и полнота, в нем была эстетическая мера и законченность, очень редко случающиеся. *Одним* днем позже — и праздник наш не имел бы того характера. Одним неитальянцем больше — и тон был бы другой, по крайней мере была бы боязнь, что он исказится. Такие дни представляют вершины... Дальше, выше, в сторону — ничего, как в пропетых звуках, как в распутившихся цветах.

С той минуты, как исчез подъезд Стафффорд гауза с фактумами, лакеями и швейцаром Сутерландского дюка и толпа приняла Гарибальди своим *ура*, на душе стало легко, все настроилось на свободный человеческий диапазон, и так осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова теснимый, сжимаемый народом, целуемый в плечо и в полы, сел в карету и уехал в Лондон.

На дороге говорили об разных разностях. Гарибальди дивился, что немцы не понимают, что в Дании побеждает не их

свобода, не их единство, а две армии двух деспотических государств *, с которыми они после не сладят¹.

— Если б Дания была поддержана в ее борьбе, — говорил он, — силы Австрии и Пруссии были бы отвлечены, нам открылась бы линия действий на противоположном берегу.

Я заметил ему, что немцы страшные националисты, что на них наклепали космополитизм, потому что их знали по книгам. Они патриоты не меньше французов, но французы спокойнее, зная, что их боятся. Немцы знают невыгодное мнение о себе других народов и выходят из себя, чтоб поддержать свою репутацию.

— Неужели вы думаете, — прибавил я, — что есть немцы, которые хотят отдать Венецию и квадрилатер? * Может, еще Венецию, — вопрос этот слишком на виду, неправда этого дела очевидна, аристократическое имя действует на них, а вы поговорите о Триесте, который им нужен для торговли, и о Галиции или Познани *, которые им нужны для того, чтоб их *цивилизовать*.

Между прочим я передал Гарибальди наш разговор с Ледрю-Ролленом и прибавил, что, по моему мнению, Ледрю-Роллен прав.

— Без сомнения, — сказал Гарибальди, — совершенно прав. Я не подумал об этом. Завтра поеду к нему и к Луи Блану. Да нельзя ли заехать теперь? — прибавил он.

Мы были на Вондсвортском шоссе, а Ледрю-Роллен живет в Сен Джонс Вуд-парке, т. е. за восемь миль. Пришлось и мне à l'impressario² сказать, что это материально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчал, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминал. Он глядел вдаль, словно искал чего-то на горизонте. Я не прерывал его, а смотрел и думал: «Меч ли он в руках провидения» или нет, но наверное не полководец по ремеслу, не *генерал*. Он сказал святую истину, говоря, что он не солдат, а просто человек, вооружившийся, чтоб защитить поруганный очаг свой. Апостол-воин, готовый проповедовать крестовый

¹ Не странно ли, что Гарибальди в оценке своей шлезвиг-гольштинского вопроса встретился с К. Фогтом? *

² на манер импрессарио (франц.). — *Ред.*

поход и идти во главе его, готовый отдать за свой народ свою душу, своих детей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, рассеять его прах!.. и, позабывши потом победу, бросить окровавленный меч свой вместе с ножнами в глущину морскую...

Все это, и именно это, поняли народы, поняли массы, поняла чернь — тем ясновидением, тем откровением, которым некогда римские рабы поняли непонятную тайну пришествия Христова и толпы страждущих и обремененных, женщин и старцев молились кресту казненного. Понять — значит для них уверовать, уверовать — значит чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейский Теддингтон и толпился у решетки нашего дома, с утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъехали, толпа в каком-то иступлении бросилась его приветствовать, жала ему руки, кричала: «God bless you, Garibaldi!»¹; женщины хватили руку его и целовали, целовали край его плаща — я это видел своими глазами, — подымали детей своих к нему, плакали... Он, как в своей семье, улыбаясь, жал им руки, кланялся и едва мог пройти до сеней. Когда он взшел, крик удвоился; Гарибальди вышел опять и, положа обе руки на грудь, кланялся во все стороны. Народ затих, но остался и простоял все время, пока Гарибальди уехал.

Трудно людям, не видавшим ничего подобного, — людям, выросшим в канцеляриях, казармах и передней, понять подобные явления: «флибустьер», сын моряка из Ниццы, матрос, *повстанец*... и этот царский прием! Что он сделал для английского народа?.. И добрые люди ищут, ищут в голове объяснения, ищут тайную пружину: «В Англии удивительно с каким плутовством умеет *начальство* устраивать демонстрации... Нас не проведешь — wir wissen, was wir wissen² — мы сами Гнейста читали!»*

— Чего доброго, может, и лодочник в Неаполе, который рассказывал³, что медальон Гарибальди и медальон богородицы предохраняют во время бури, был подкуплен партией Сиккарди и министерством Веносты! *

¹ «Господь да благословит вас, Гарибальди!» (англ.). — *Ред.*

² мы знаем что знаем (нем.). — *Ред.*

³ «Колокол», № 177 (1864).

Хотя оно и сомнительно, чтоб журнальные Видоки, особенно наши москворецкие, так уж ясно могли отгадывать игру таких мастеров, как Палмерстон, Гладстон и К^о*, но все же иной раз они ее скорее поймут, по сочувствию крошечного паука с огромным тарантулом, чем секрет гарибальдисевского приема. И это превосходно для них,— пойми они *эту тайну*, им придется повеситься на ближней осине. Клопы на том только основании и могут жить счастливо, что они не догадываются о своем запахе. Горе клопу, у которого раскроется *человеческое обоняние*...

.. Маццини приехал тотчас после Гарибальди, мы все вышли его встречать к воротам. Народ, услышав, кто это, громко приветствовал; народ вообще ничего не имеет против него. Старушечий страх перед конспиратором, агитатором начинается с лавочников, мелких собственников и проч.

Несколько слов, которые сказали Маццини и Гарибальди, известны читателям «Колокола»*, мы не считаем нужным их повторять.

...Все были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини, тем искренним голосом, которым они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало в них, той торжественностью, которую они приобретали от ряда предшествовавших событий, что никто не отвечал, один Маццини протянул руку и два раза повторил: «Это слишком». Я не видал ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида *geseilli*¹ и не было бы взволновано сознанием, что тут пали великие слова, что эта минута вносилась в историю.

...Я подошел к Гарибальди с бокалом, когда он говорил о России, и сказал, что его тост дойдет до друзей наших в казематах и рудниках, что я благодарю его за них.

Мы перешли в другую комнату. В коридоре понабрались разные лица; вдруг продирается старик-итальянец, стародавний эмигрант, бедняк, делавший мороженое; он схватил Гарибальди за полу, остановил его и, заливаясь слезами, сказал:

— Ну, теперь я могу умереть; я его видел, я его видел!

¹ сосредоточенного (франц.).— *Ред.*

Гарибальди обнял и поцеловал старика. Тогда старик, перебиваясь и путаясь, с страшной быстротой народного итальянского языка, начал рассказывать Гарибальди свои похождения и заключил свою речь удивительным цветком южного красно-речия:

— Я теперь умру покойно, а вы — да благословит вас бог — живите долго, живите для нашей родины, живите для нас, живите, пока я воскресну из мертвых!

Он схватил его руку, покрыл ее поцелуями и, рыдая, ушел вон.

Как ни привык Гарибальди ко всему этому, но, явным образом взволнованный, он сел на небольшой диван, дамы окружили его, я стал возле дивана — и на него налетело облако тяжелых дум; но на этот раз он не вытерпел и сказал:

— Мне иногда бывает страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишком много хорошего. Я помню, когда изгнанником я возвращался из Америки в Ниццу, когда я опять увидал родительский дом, нашел свою семью, родных, знакомые места, знакомых людей, я был удручен счастьем... Вы знаете, — прибавил он, обращаясь ко мне, — что и что было потом, какой ряд бедствий. Прием народа английского превзошел мои ожидания... Что же дальше? Что впереди?

Я не имел ни одного слова успокоения, я внутренне дрожал перед вопросом: *что дальше, что впереди?*

...Пора было ехать. Гарибальди встал, крепко обнял меня, дружески простился со всеми; снова крики, снова *ура*, снова два толстых полицейских, и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу; снова «God bless you, Garibaldi, for ever»...¹ и карета умчалась.

Все остались в каком-то поднятом, тихо торжественном настроении. Точно после праздничного богослужения, после крестин или отъезда невесты, у всех было полно на душе, все перебирали подробности и примыкали к грозному, безответному «а что дальше?»

Князь П. В. Долгорукий первый догадался взять лист бу-

¹ «Бог да благословит вас, Гарибальди, навсегда» (англ.).— *Ред.*

маги и записать оба тоста. Он записал верно, другие пополнили. Мы показали Маццини и другим и составили тот текст (с легкими и несущественными переменами), который, как электрическая искра, облетел Европу, вызывая крик восторга и рев негодования...

Потом уехал Маццини, уехали гости. Мы остались одни с двумя-тремя близкими, и тихо настали сумерки.

Как искренно и глубоко жалел я, дети, что вас не было с нами в этот день: такие дни хорошо помнить долгие годы, от них свежеет душа и примиряется с изнанкой жизни. Их очень мало...

IV. 26, PRINCE'S GATE*

«Что-то будет?»... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Как в старых эпопеях, в то время как герой спокойно отдыхает на лаврах, пирует или спит, Раздор, Мечь, Зависть в своем парадном костюме съезжаются в каких-нибудь тучах; Мечь с Завистью варят яд, куют кинжалы, а Раздор раздувает меха и оттачивает остря. Так случилось и теперь, в приличном переложении на наши мирно-кроткие нравы. В наш век все это делается просто людьми, а не аллегориями; они собираются в светлых залах, а не во «тьме ночной», без растрепанных фурий, а с пудренными лакеями; декорации и ужасы классических поэм и детских пантомим заменены простой мирной игрой — и крапленые карты, колдовство — обыденными коммерческими ироделками, в которых *честный* лавочник клянется, продавая какую-то смородинную ваксу с водкой, что это «порт»¹ и притом «олдпорт ***»², зная, что ему никто не верит, но и процесса не сделает, а если сделает, то сам же и будет в дураках.

В то самое время, как Гарибальди называл Маццини своим «другом и учителем», называл его тем ранним, бдящим сеятелем, который одиноко стоял на поле, когда все спало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указал его тому равншемуся на бой за родину молодому воину, из которого вышел пождь народа итальянского; в то время как, окруженный

¹ портвейн (англ. port).—*Ред.*

² старый портвейн, «три звездочки» (англ. old port).—*Ред.*

друзьями, он смотрел на плакавшего бедняка-изгнанника, повторявшего свое «ныне отпускаеши», и сам чуть не плакал; в то время, когда он поверял нам свой тайный ужас перед будущим, — какие-то *заговорщики* решили отделаться во что б ни стало от неловкого гостя и, несмотря на то что в *заговоре* участвовали люди, состарившиеся в дипломатиях и интригах, поседевшие и падшие на ноги в каверзах и лицемерии, они сыграли свою игру вовсе не хуже честного лавочника, продающего на свое *честное* слово смородинную ваксу за old port ***.

Английское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди; это все вздор, выдуманный глубоко-мысленными журналистами на континенте. Англичане, приглашавшие Гарибальди, не имеют ничего общего с министерством. Предположение правительственного плана так же нелепо, как тонкое замечание наших кретинов о том, что Палмерстон дал Стансфильду место в адмиралтействе *именно потому*, что он друг Маццини. Заметьте, что в самых яростных нападках на Стансфильда и Палмерстона об этом не было речи ни в парламенте, ни в английских журналах; подобная пошлость возбуждала бы такой же смех, как обвинение Уркуарда, что Палмерстон берет деньги с России *. Чамберс и другие спрашивали Палмерстона, не будет ли приезд Гарибальди неприятен правительству *. Он отвечал то, что ему следовало отвечать: правительству не может быть неприятно, чтоб генерал Гарибальди приехал в Англию; оно с своей стороны не отклоняет его приезда и не приглашает его.

Гарибальди согласился приехать с целью снова выдвинуть в Англии итальянский вопрос, собрать настолько денег, чтоб начать поход в Адриатике * и совершившимся фактом увлечь Виктора-Эммануила.

Вот и все.

Что Гарибальди будут овации, знали очень хорошо приглашавшие его и все желавшие его приезда. Но оборота, который приняло дело в народе, они не ждали.

Английский народ при вести, что человек «красной рубашки», что *раненный итальянской гудей* * едет к нему в гости, встрепнулся и взмахнул своими крыльями, отвыкнутыми от полета и потерявшими гибкость от тяжелой и непрерывной

работы. В этом взмахе была не одна радость и не одна любовь — в нем была жалоба, был ропот, был стон: в апотеозе одного было порицание другим.

Вспомните мою встречу с корабельщиком из Ньюкастля. Вспомните, что лондонские работники были первые, которые в своем адресе преднамеренно поставили имя Маццини рядом с Гарибальди*.

Английская аристократия на сию минуту от своего могучего и забитого недоросля ничего не боится; сверх того, ее Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революции. Но все же ей был крайне неприятен характер, который принимало дело. Главное, что коробило народных пастырей в мирной агитации работников, — это то, что она выводила их из достойного строя, отвлекала их от доброй, нравственной и притом безвыходной заботы о хлебе насущном, от пожизненного hard labour, на который не они его приговорили, а наш общий фабрикант, our Maker¹, бог Шефсбюри, бог Дерби, бог Сутерландов и Девонширов — в неисповедимой премудрости своей и нескончаемой благодати.

Настоящей английской аристократии, разумеется, и в голову не приходило изгонять Гарибальди; напротив, она хотела утянуть его в себя, закрыть его от народа золотым облаком, как закрывалась волоокая Гера, забавляясь с Зевсом. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему прийти в себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочет денег — много ли могут ему собрать осужденные благодатью нашего «фабриканта», фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира, на тихую и благословенную бедность? Мы ему набросаем полмиллиона, миллион франков, полпари за лошадь на эпсомской скачке*, мы ему купим —

Деревню, дачу, дом,
Сто тысяч чистым серебром.

Мы ему купим остальную часть Капреры, мы ему купим удивительную яхту — он так любит кататься по морю; а чтоб он не бросил на вздор деньги (под вздором разумеется

¹ наш создатель (англ.).— *Ред.*

освобождение Италии), мы сделаем майорат, мы предоставим ему пользоваться рентой¹.

Все эти планы приводились в исполнение с самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди — точно месяц в ненастную ночь: как облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались, выходил светлый, ясный и светил к нам вниз.

Аристократия начала несколько конфузиться. На выручку ей явились *дельцы*. Их интересы слишком скоротечны, чтоб думать о нравственных последствиях агитации, им надобно владеть минутой — кажется, один Цезарь поморщился, кажется, другой насупился — как бы этим не воспользовались тори... и то Станфильдова история вот где сидит.

По счастью, в самое это время Кларендону занудилось попилигримствовать в Тюльери *. Нужда была небольшая, он тотчас возвратился. Наполеон говорил с ним о Гарибальди и изъявил свое удовольствие, что английский народ чтит великих людей, Дрюэн де Люис говорил, т. е. он ничего не говорил *, а если б он заикнулся —

Я близ Кавказа рождена *.
Civis romanus sum!²

Австрийский посол даже и не радовался приему *умвельцунгс*-генерала³ *. Все обстояло благополучно. А на душе-то кошки... кошки.

Не спится министерству; шепчется «первый» с вторым, «второй» — с другом Гарибальди, друг Гарибальди — с родственником Палмерстона, с лордом Шефсбюри и с еще большим его другом Сили. Сили шепчется с оператором Фергуссоном... Испугался Фергуссон, ничего не боявшийся, за ближнего и пишет письмо за письмом о болезни Гарибальди. Прочитавши их, еще больше хирурга испугался Гладстон. Кто мог

¹ Как будто Гарибальди просил денег для себя. Разумеется, он отказался от приданого английской аристократии, давнего на таких нелепых условиях, к крайнему огорчению полицейских журналов, рассчитавших грош в грош, сколько он увезет на Капреру.

² Я — римский гражданин! (лат.).— *Ред.*

³ генерала от переворота (нем. Umwälzungsgeneral).— *Ред.*

думать, какая пропасть любви и сострадания лежит иной раз под портфелем министра финансов?..

...На другой день после нашего праздника поехал я в Лондон. Беру на железной дороге вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болезнь генерала Гарибальди», потом весть, что он на днях едет в Капреру, *не заезжая ни в один город*. Не будучи ни так нервно чувствителен, как Шефсбюри, ни так тревожлив за здоровье друзей, как Гладстон, я несколько не обеспокоился газетной вестью о болезни человека, которого вчера видел совершенно здоровым, — конечно, бывают болезни очень быстрые, император Павел, например, хирел недолго, — но от *атроплексического* удара Гарибальди был далек, а если б с ним что и случилось, кто-нибудь из общих друзей дал бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté.

Ехать к Гарибальди было поздно. Я отправился к Маццини и не застал его, потом к одной даме, от которой узнал главные черты министерского сострадания к болезни великого человека. Туда пришел и Маццини. Таким я его еще не видал: в его чертах, в его голосе были слезы.

Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гилле Шеном *, можно знать en gros¹, как было дело. «Заговорщики» были им названы и обстоятельства описаны довольно верно. Шефсбюри приезжал советоваться с Сили; Сили, как деловой человек, тотчас сказал, что необходимо письмо Фергуссона; Фергуссон — слишком учтивый человек, чтоб отказать в письме. С ним-то в воскресенье вечером, 17 апреля, явились заговорщики в Стаффорд гауз и возле комнаты, где Гарибальди спокойно сидел, не зная ни того, что он так болен, ни того, что он едет, ел виноград, — сговаривались, что делать. Наконец храбрый Гладстон взял на себя трудную роль и пошел в сопровождении Шефсбюри и Сили в комнату Гарибальди. Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, деputationии — мудро ли было заговорить Гарибальди, к тому же он речь вел на итальянском языке, и хорошо сделал, потому что вчетвером говорил без свидетелей. Гарибальди ему отвечал

¹ в общем (франц.).— *Ред.*

сначала, что он здоров; но министр финансов не мог принять случайный факт его здоровья за оправдание и доказывал по Фергуссону, что он болен, и это с документом в руке. Наконец Гарибальди, догадавшись, что нежное участие прикрывает что-то другое, спросил Гладстона, «значит ли все это, что они желают, чтоб он ехал?» Гладстон не скрыл от него, что присутствие Гарибальди во многом усложняет трудное без того положение.

— В таком случае я еду.

Смягченный Гладстон испугался слишком *заметного* успеха и предложил ему ехать в два-три города и потом отправиться в Капреру.

— Выбирать между городами я не умею, — отвечал оскорбленный Гарибальди, — и даю слово, что через два дня уеду.

...В понедельник была интерпелляция в парламенте. Ветреный старичок Палмерстон в одной и быстрый пилигрим Кларендон в другой палате всё объясняли по чистой совести. Кларендон удостоверил паров, что Наполеон вовсе не требовал высылки Гарибальди. Палмерстон, с своей стороны, вовсе не желал его удаления, он только беспокоился о его здоровье... и тут он вступил во все подробности, в которые вступает любящая жена или врач, присланный от страхового общества, — о часах сна и обеда, о последствиях раны, о диете, о волнении, о летах. Заседание парламента сделалось консультацией лекарей. Министр ссылался не на Чатама и Кембея, а на лечебники и Фергуссона, помогавшего ему в этой трудной операции.

Законодательное собрание решило, что Гарибальди болен. Города и села, графства и банки управляются в Англии по собственному крайнему разумению. Правительство, ревниво отталкивающее от себя всякое подозрение в вмешательстве, дозволяющее ежедневно умирать людям с голоду, боясь ограничить самоуправление рабочих домов, позволяющее морить на работе и кретинизировать целые населения, вдруг делается больничной сиделкой, дядькой. Государственные люди бросают кормило великого корабля и шушукуются о здоровье человека, не просящего их о том, прописывают ему без его спроса Атлантический океан и сутерландскую «Унди́ну» *, министр финан-

сов забывает баланс, income-tax, debet и credit и едет на консилиум. Министр министров докладывает этот патологический казус парламенту. Да неужели самоуправление желудком и ногами меньше свято, чем произвол богоугодных заведений, служащих введением в кладбище?

Давно ли Стансфильд пострадал за то, что, служа королеве, не счел обязанностью поссориться с Маццини? А теперь самые *местные* министры пишут не адреса, а рецепты и хлопочут из всех сил о сохранении дней такого же революционера, как Маццини.

Гарибальди *должен был* усомниться в желании правительства, изъявленном ему слишком горячими друзьями его, и остаться. Разве кто-нибудь мог сомневаться в истине слов первого министра, сказанных представителям Англии, — ему это советовали все друзья.

— Слова Палмерстона не могут развязать моего честного слова, — отвечал Гарибальди и велел укладываться.

— Это — Солферино! *

Белинский давно заметил, что секрет успеха дипломатов состоит в том, что они с нами поступают как с дипломатами, а мы — с *дипломатами* как с людьми.

Теперь вы понимаете, *что одним днем позже* — и наш праздник и речь Гарибальди, его слова о Маццини не имели бы того значения.

...На другой день я поехал в Стаффорд гауз и узнал, что Гарибальди переехал к Сили, 26, Prince's gate, возле Кензинтонского сада. Я отправился в Prince's gate; говорить с Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали с глаз; человек двадцать гостей ходило, сидело, молчало, говорило в зале, в кабинете.

— Вы едете? — сказал я и взял его за руку.

Гарибальди пожал мою руку и отвечал печальным голосом:

— Я покоряюсь *необходимостям* (je me plie aux nécessités).

Он куда-то ехал; я оставил его и пошел вниз; там застал и Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона; все были вне себя от отъезда Гарибальди. Взошла М-ме Сили и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась с *чрезвычайным красноречием* к хозяйке дома, говоря о счастье

познакомиться с такой *personne distinguée*¹. М-ме Сили обратилась к Стансфильду, прося его перевести, в чем дело. Француженка продолжала:

— Ах, боже мой, как я рада! Это, верно, ваш сын? Позвольте мне ему представиться.

Стансфильд разуверил француженку, не заметившую, что м-ме Сили одних с ним лет, и просил ее сказать, что ей угодно. Она бросила взгляд на меня (Саффи и другие ушли) и сказала:

— Мы не одни.

Стансфильд назвал меня. Она тотчас обратилась с *речью* ко мне и просила остаться, но я предпочел ее оставить в *tête-à-tête*² с Стансфильдом и опять ушел наверх. Через минуту пришел Стансфильд с каким-то крюком или рванью. Муж француженки избрел его, и она хотела одобрения Гарибальди.

Последние два дня были смутны и печальны. Гарибальди избегал говорить о своем отъезде и ничего не говорил о своем здоровье... во всех близких он встречал печальный упрек. Дурно было у него на душе, но он молчал.

Накануне отъезда, часа в два, я сидел у него, когда пришли сказать, что в приемной уже тесно. В этот день представлялись ему члены парламента с семействами и разная *nobility* и *gentry*³, всего, по «Теймсу», до двух тысяч человек,—это было *grande levée*, царский выход, да еще такой, что не только король виртембергский, но и прусский вряд натянет ли без профессоров и унтер-офицеров.

Гарибальди встал и спросил:

— Неужели пора?

Стансфильд, который случился тут, посмотрел на часы и сказал:

— Еще минут пять есть до назначенного времени.

Гарибальди вздохнул и весело сел на свое место. Но тут прибежал фактотум и стал распоряжаться, где поставить диван, в какую дверь входить, в какую выходить.

— Я уйду,— сказал я Гарибальди.

¹ выдающейся личностью (франц.).— *Ред.*

² наедине (франц.).— *Ред.*

³ знать и дворянство (англ.).— *Ред.*

— Зачем, оставайтесь.

— Что же я буду делать?

— Могу же я, — сказал он, улыбаясь, — оставить одного знакомого, когда принимаю столько незнакомых.

Отворились двери; в дверях стал импровизированный церемониймейстер с листом бумаги и начал громко читать какой-то адрес-календарь: *The right honourable so and so — honourable — esquire — lady — esquire — lordship — missss — esquire*¹ — *M. P. — M. P. — M. P.*² без конца. При каждом имени врывались в дверь и потом покойно плыли старые и молодые кринолины, аэростаты, седые головы и головы без волос, крошечные и толстенные старички-крепыши и какие-то худые жирафы без задних ног, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что как-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы... Каждый имел три, четыре, пять дам, и это было очень хорошо, потому что они занимали место пятидесяти человек и таким образом спасали от давки. Все подходило по очереди к Гарибальди; мужчины трясли ему руку с той силой, с которой это делает человек, попавши пальцем в кипяток; иные при этом что-то говорили; большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрели так страстно и долго на Гарибальди, что в нынешнем году наверное в Лондоне будет урожай детей с его чертами, а так как детей и теперь уж водят в таких же красных рубашках, как у него, то дело станет только за плащом.

Откланявшиеся плыли в противоположную дверь, открывавшуюся в залу, и спускались по лестнице; более смелые не торопились, а старались побыть в комнате.

Гарибальди сначала стоял, потом сел и вставал, наконец просто сел. Нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать... кареты все подъезжали... церемониймейстер все читал памятки.

Грянула музыка *horse-guards'ов*³, я постоял, постоял и

¹ Достопочтенный такой-то и такой-то... почтенный... эсквайр... леди... эсквайр... его светлость... мисс... эсквайр (англ.).— *Ред.*

² Член парламента, член парламента, член парламента (англ. *Member of Parliament*).— *Ред.*

³ конногвардейцев (англ.).— *Ред.*

вышел сначала в залу, а потом вместе с потоком кринолинных волн достиг до каскады и с нею очутился у дверей комнаты, где обыкновенно сидели Саффи и Мордини. В ней никого не было; на душе было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка с позолотой и рядом эта комедия царского приема? Усталый, бросился я на диван; музыка играла из «Лукреции», и очень хорошо; я стал слушать.— Да, да, «Non curiamo l'incerto domani»¹.

В окно был виден ряд карет; эти еще не подъехали; вот двинулась одна и за ней вторая, третья; опять остановка... И мне представилось, как Гарибальди, с раненой *рукой*, усталый, печальный, сидит, у него по лицу идет туча, этого никто не замечает, и всё плывут кринолины, и всё идут *right honou-
rable*'и²,— седые, плешивые, скулы, жирафы...

...Музыка гремит, кареты подъезжают... Не знаю, как это случилось, но я заснул; кто-то отворил дверь и разбудил меня... Музыка гремит, кареты подъезжают, конца не видать... Они в самом деле его убьют!

Я пошел домой.

На другой день, т. е. в день отъезда, я отправился к Гарибальди в семь часов утра, и нарочно для этого ночевал в Лондоне. Он был мрачен, отрывист; тут только можно было догадаться, что он привык к начальству, что он был железным вождем на поле битвы и на море.

Его поймал какой-то господин, который привел сапожника, изобретателя обуви с железным снарядом для Гарибальди. Гарибальди сел самоотверженно на кресло, сапожник в поте лица надел на него свою колодку, потом заставил его потопать и походить; все оказалось хорошо.

— Что ему надобно заплатить?— спросил Гарибальди.

— Помилуйте, — отвечал господин, — вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

— На днях это будет на вывеске, — заметил кто-то, а Гарибальди с умоляющим видом сказал молодому человеку, который ходил за ним:

¹ «Мы не заботимся о неизвестном завтрашнем дне» (итал.). - *Ред.*

² *достопочтенные* (англ.).— *Ред.*

— Бога ради, избавьте меня от этого снаряда, мочи нет, больно.

Это было ужасно смешно.

Затем явились аристократические дамы, менее важные толпой ожидали в зале.

Я и Огарев — мы подошли к нему.

— Прощайте,— сказал я.— Прощайте и до свиданья в Капрере.

Он обнял меня, сел, протянул нам обе руки и голосом, который так и резнул по сердцу, сказал:

— Простите меня, простите меня; у меня голова кругом идет, приезжайте в Капреру.

И он еще раз обнял нас.

Гарибальди после приема собирался ехать на свиданье с дюком Вельским в Стаффорд гауз.

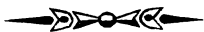
Мы вышли из ворот и разошлись. Огарев пошел к Маццини, я к Ротшильду. У Ротшильда в конторе еще не было никого. Я взшел в таверну св. Павла, и там не было никого... Я спросил себе ромстик и, сидя совершенно один, перебирал подробности этого «сновидения в весеннюю ночь»...

Ступай, великое дитя, великая сила, великий юродивый и великая *простота!* Ступай на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир!— Гонериль тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, она не разлюбит тебя и не умрет!

Четвертое действие кончилось ..

Что-то будет в пятом?

15 мая 1864.



Часть седьмая

**<ВОЛЬНАЯ
РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ
И „КОЛОКОЛ“>**



〈 Г Л А В А I 〉
АПОГЕЙ И ПЕРИГЕЙ

(1858—1862)

I

...Часов в десять утра я слышу снизу густой и недовольный голос:

— *Me dit комса — колонель рюс вё вуар.*

— *Monsieur ne reçoit jamais le matin et...*

— *Же пар демен.*

— *Et votre nom, monsieur...*

— *Mais ву дуре колонель рюс*¹,— и полковник прибавил голосу.

Жюль был в великом затруднении. Я спросил сверху, подошедши к лестнице:

— *Qu'est ce qu'il y a?*

— *Ce ву?* — спросил полковник.

— *Oui, c'est moi*².

— Велите, батюшка, пустить. Ваш слуга не пускает.

— Сделайте одолжение, взойдите.

Несколько рассерженный вид полковника прояснился, и он, вступая вместе со мной в кабинет, вдруг как-то приосанился и сказал:

— Полковник такой-то; находясь проездом в Лондоне, поставил за обязанность явиться.

¹— Скажите просто: русский полковник желает видеть.— Господин никогда не принимает по утрам и... — Завтра я уезжаю. — Ваше имя, сударь? — Да вы скажите: русский полковник (франц.).— *Ред.*

²— В чем дело? — Это вы? — Да, это я (франц.).— *Ред.*

Я тотчас почувствовал себя генералом и, указывая на стул, прибавил:

— Садитесь.

Полковник сел.

— Надолго здесь?

— До завтрашнего числа-с.

— И давно приехали?

— Трое суток-с.

— Что же так мало погостили?

— Видите, здесь без языка-с, оно дико, точно в лесу. Душевно желал вас лично увидеть, благодарить от себя и от многих товарищей. Публикации ваши очень полезны: и правды много, и иногда животы надорвешь.

— Чрезвычайно вам благодарен, это единственная награда на чужбине. И много получают у вас наших изданий?

— Много-с... Да ведь сколько и лист-то каждый читают: до дыр-с, до ключей читают и зачитывают; есть охотники — даже переписывают. Соберемся так иногда читать, ну и критикуем-с... Вы, надеюсь, позволите с откровенностью военного и искренно уважающего человека?

— Сделайте одолжение, нам-то уж не приходится восставать против свободы слова.

— Мы так между собою часто говорим: польза большая в ваших обличениях; сами знаете, что скажешь у нас о Сухозанете, примерно, — держи язык за зубами; или вот об Адлерберге? * Но, видите, вы давно оставили Россию, вы *слишком* ее забыли, и нам все кажется, что больно много напираете на крестьянский вопрос... не созрел...

— Будто?

— Ей-ей-с... Я совершенно согласен с вами; помилуйте, та же душа, образ, подобие божие... и все это, поверьте, теперь видят многие, но торопиться нельзя, *преждевременно*.

— Вы думаете?

— Полагаю-с... Ведь наш мужик страшный лентяй... Он, пожалуй, и добрый малый, но пьяница и лентяй. Освободи его сразу — работать перестанет, полей не засеет, просто с голоду умрет.

— Да вам-то что же за забота? Ведь вам, полковник, никто не поручал продовольствие народа русского...

Из всех возможных и невозможных возражений полковник наименьше ждал того, которое я ему сделал.

— Оно конечно-с, с одной стороны...

— Да вы не бойтесь *с другой*; ведь не в самом деле он умрет с голоду оттого, что хлеб сеять будет не для барина, а для себя?

— Вы меня извините, я счел долгом сказать... Мне кажется, впрочем, я слишком много отнимаю у вас вашего драгоценного времени... Позвольте откланяться.

— Покорнейше благодарю за посещение.

— Помилуйте, не беспокойтесь. *У е мон каб?*¹ Далеконько живете-с.

— Не близко.

Я хотел этой великолепной сценой начать эпоху нашего цветения и преуспеяния. Такие и подобные сцены повторялись непрерывно; ни страшная даль, в которой я жил от Вест-Энда — в Путнее, Фуламе... ни постоянно запертые двери по утрам — ничего не помогало. Мы были в моде.

Кого и кого мы ни видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит... Но тогда, повторяю, *мы были в моде*, и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путнея.

Так было от 1857 до 1863, но прежде было не так. По мере того как росла после 1848 и утверждалась реакция в Европе, а Николай свирепел не по дням, а по часам, русские начали избегать меня и побаиваться... К тому же в 1851 стало известно, что я официально отказался ехать в Россию *. Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужасом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечественника. Когда в Ницце ко мне заехал в карете и с лон-лакеем А. И. Сабуров*, я сам смотрел на это

¹ Где мой экипаж? (франц.).— *Ред.*

как на геройский подвиг. Проезжая тайком Францию в 1852, я в Париже встретил кой-кого из русских * — это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы...

Ни звука русского, ни русского лица ¹*

Нисем ко мне никто не писал. М. С. Щепкин был первый сколько-нибудь близкий человек *из дома*, с которым я увидался в Лондоне. О свидании с ним я рассказывал в другом месте²*. Его приезд был для меня чем-то вроде родительской субботы; мы справляли с ним поминки всему московскому, и самое настроение обоих было какое-то похоронное. Настоящим голубем ковчега с маслиной во рту был не он, а доктор В—ский *.

Он был первый русский, приехавший к нам после смерти Николая в Чомле-Лодж в Ричмонде, постоянно удивляясь, что она называется так, а пишется Cholmondeley Lodge³. Вести, привезенные Щепкиным, были мрачны; он сам был в печальном настроении. В—ский смеялся с утра до вечера, показывая свои белейшие зубы; вести его были полны той надежды, того «сангвинизма», как говорят англичане, который овладел Россией после смерти Николая и сделал светлую полосу на суровом фоне петербургского императорства. Правда, он же привез плохие новости о здоровье Грановского и Огарева, но и это терялось в яркой картине проснувшегося общества, которого он сам был образчиком.

С какой жадностью слушал я его рассказы, переспрашивал, добивался подробностей... Я не знаю, знал ли он тогда или оценил ли после то безмерное добро, которое он мне сделал.

Три года лондонской жизни утомили меня. Работать, не видя близкого плода, тяжело; к тому же я слишком разобщенно стоял со всякой родственной средой. Печатаю с Чернецким лист за листом и сыпая груды отпечатанных брошюр и книг

¹ Я, разумеется, не говорю о двух-трех эмигрантах.

² «Колокол» 1863 год.

³ Милый В—ский попадал в удивительные просаки с английским языком.—Отсюда,— говорил он моему сыну,— судя по карте, недалек Кев? — Я не слыхивал такого места.— Помилуйте, там огромный ботанический сад и первая оранжерея в Европе.— Спросим у садовника.— Спросили, и он не знает. В—ский развернул план. — Да вот он возле самого Рипмон! — Это был Кью.

в подвалы Трюбнера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Не продолжать я не мог: русский станок был для меня делом жизни, доской из отчего дома, которую переносили с собой древние германы; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен. Но при всем том глухо пропадавший труд утомлял, руки опускались. Вера слабела минутами и искала знамений, и не только их не было, но не было *ни одного* слова сочувствия из дома.

С Крымской войной, с смертью Николая, настает другое время; из-за сплошного мрака выступали новые массы, новые горизонты, чуялось какое-то движение; разглядеть издали было трудно — очевидец был необходим. Он-то и явился в лице В—ского, подтвердившего, что эти горизонты — не мираж, а быть, что барка тронулась, что она на ходу. Стоило взглянуть на светлое лицо его... чтоб ему поверить. — Таких лиц вовсе не было в последнее время в России...

Удрученный непривычным для русского чувством, я вспомнил Канта, снявшего бархатную шапочку при вести о провозглашении республики 1792 года и повторившего «ныне отпускаеши» Симеона-богоприимца *. Да, хорошо уснуть на заре... после длинной ненастной ночи, с полной верой, что настает чудесный день!

Так умер Грановский... *

...Действительно, наставало *утро* того дня, к которому стремился я с тринадцати лет — мальчиком в камлотовой куртке, сидя с таким же «злоумышленником» (только годом моложе) в маленькой комнате «старого дома» *, в университетской аудитории, — окруженный горячим братством; в тюрьме и ссылке; на чужбине, проходя разгромом революций и реакций; на вершине семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу с моим печатным *монологом*. Солнце, садившееся, освещая Москву под Воробьевыми горами¹, и уносившее с собой отроческую клятву... выходило после двадцатилетней ночи.

Какой же тут покой и сон... *За дело!* И за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве: громкие рукоплескания и горя-

¹ «Былое и думы», часть I.

чие сочувствия неслись из России. «Полярная звезда» читалась нарасхват. Непривычное ухо русское примирялось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность.

Весной 1856 приехал Огарев, год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист «Колокола» *. Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается, журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усваивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслью. Если же читатель начнет забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее.

Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную звезду». «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, не искаженного ценсурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение; были письма, от которых слезы навертывались на глазах... Но и не одно молодое поколение поддержало нас...

«„Колокол“— власть»,— говорил мне в Лондоне, *hottibile dictu*¹, Катков * и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу... И прежде его повторяли то же и Т<ургенев>, и А<ксаков>, и С<амарин>, и К<авелин>, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П. *, постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфлями... Недоставало только для полного торжества искреннего врага. Мы были в веме², и долго ждать его не пришлось. Не прошел 1858 год, как явилось «обвинительное письмо» Ч<ичерина> *. С высокомерным холодом несгибающегося доктринера, с *goideur*³ судии неумытного позвал он меня к ответу и, как Бирон, вылил мне в декабре месяце ушат холодной воды на голову *. Приемы этого Сен-Жюста бюрократизма удивили меня.

¹ страшно вымолвить (лат.). — *Ред.*

² судилище, от *Veime* (старонем.). — *Ред.*

³ непреклонностью (франц.). — *Ред.*

А теперь... через семь лет¹ письмо Ч. мне кажется цветом учтивости после крепких слов и крепкого патриотизма *михайловского* времени *. Да и общество было тогда ипаче настроено: «обвинительный акт» возбудил взрыв негодования, нам пришлось унимать раздраженных друзей. Мы получали десятками письма, статьи, протесты. Самому обвинителю писали его прежние приятели поодиночке и коллективно письма, полные упреков, одно из них было подписано общими друзьями нашими * (из них три четверти ближе теперь к Ч., чем к нам); он сам с античной доблестью прислал это письмо для хранения в нашей оружейной палате.

Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка Кочубея» *, подстрелившего своего управляющего. Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей *, и говорят, что сам отважный статс-секретарь Б<утко>в в припадке заносчивой самостоятельности повторял, что он ничего не боится, «жалуйтесь государю, делайте что хотите, пожалуй, пишите себе в „Колокол“ — мне все равно». Какой-то офицер, обойденный в повышении, серьезно просил нас напечатать об этом с особенным внушением государю. Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте *, — таких анекдотов мог бы я рассказать десяток...²

...Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу *. «Кто же, — говорил он, — мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?»

Совет обеспокоился и как-то между «Бутковым и государем» келейно потолковал, как бы унять «Колокол». *Бескорыстный* Муравьев советовал подкупить меня; жираф в андреевской ленте, Панин *, предпочитал сманить на службу. Горчаков, игравший между этими «мертвыми душами» роль Мижучена *, усомнился в моей продажности и спросил Панина:

— Какое же место вы предложите ему?

¹ Писано в 1864.

² Оставляются до полного издания.

— Помощника статс-секретаря.

— Ну, в помощники статс-секретаря он не пойдет, — отвечал Горчаков, и судьбы «Колокола» были предоставлены воле божией.

А воля божия ясно обнаружилась в ливне писем и корреспонденций из всех частей России. Всякий писал, что попало: один — чтобы сорвать сердце, другой — чтобы себя уверить, что он опасный человек... но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей. Такие письма выкупали десятки «упражнений», так, как иное посещение платило за всех «колонель рюс».

Вообще *балласт* писем можно было разделить на письма без фактов, но с большим обилием души и краспоречия, на письма с начальническим одобрением или с начальническими выговорами и, наконец, на письма с важными сообщениями из провинции.

Важные сообщения, обыкновенно писанные изящным канцелярским почерком, имели почти всегда еще более изящное предисловие, исполненное возвышенных чувств и неотразимой лести. «Вы открыли новую эру русского слова и, так сказать, мысли; вы первый с высоты лондонского амвона стали гласно клеймить людей, тиранствующих над нашим добрым народом, ибо народ наш *добрый*, вы недаром его любите. Вы не знаете, сколько сердец бьются любовью и благодарностью к вам в дальней дали нашего отечества...

От знойныя Колхиды до льдов...

... скромной Оки, Клязьмы или *такой-то* губернии. Мы на вас смотрим как на единственного защитника. Кто может, кроме вас, обличить изверга, по званию и месту стоящего выше закона, — изверга вроде нашего председателя (казенной, уголовной, удельной палаты... имя, отчество, фамилья, чин)? Человек, не получивший образования, доползший из низменных сфер канцелярского служения до почестей, он сохранил всю грубость старинного крючкотвора, не отказываясь вовсе от благодарности, подписанной князем Хованским* (как говорят у нас старики). Грубость этого сатрапа известна во всех околных губерниях; чиновники бегут казенной палаты, как окаянного места; он дерзок

не только с нами, но и с столоначальниками. Жену свою он оставил и держит на содержании к общему соблазну вдову (имя, отчество, фамилия, чин покойного супруга), которую мы прозвали губернской Миной Ивановной *, потому что ее руками все делается в палате. Пусть же звучный голос „Колокола“ разбудит и испугает этого пашу среди оргий его, в преступных объятиях сорокалетней Иродиады. Если вы напечатаете об нем, мы готовы вам доставлять обильные сведения: у нас довольно „свиней в ермолках“, как выразился бессмертный автор гениального „Ревизора“ *.

Р. С. С тем неподражасмым резцом, которым вы умеете писать ваши едкие сатиры, не забудьте черкнуть, что подполковник внутренней стражи 6 декабря, на бале у дворянского предводителя, куда приехал от градского головы подшофе, к концу ужина так налился, что при сановитых дамах и их дочерях начал произносить слова, более свойственные торговой бане и площади, чем салону предводителя образованнейшего сословия в обществе».

Рядом с письмами, сообщавшими тайны поведения председателя и председателевой жены и явное пьянство подполковника, приходили письма чисто поэтические, бескорыстные и бессмысленные. Многие из них я уничтожил и раздарил друзьям, но некоторые остались; я ими непременно поделюсь с читателями в конце этой части.

Одно из лучших было (повидимому) от молодого офицера, в самой первой эманциповке; оно начиналось с общих мест и с слов «Милостивый государь», очень скромно и лестно... Мало-помалу пульс подымался, пошли советы, потом увещания... Жар возрастает... На четвертой странице (большого формата) дружба наша дошла до того, что незнакомец говорил мне: «Милый мой и мон шер». «Оттого,— заключал храбрый офицер,— я и пишу тебе так откровенно, что люблю тебя от души» Читая это письмо, я так и вижу молодого человека, садящегося, поужинавши, за письмо и за бутылку чего-нибудь очень неслабого... По мере того как бутылка пустеет, сердце наполняется, дружба растет, и с последним глотком добрый офицер меня любит и исправляет, любит и хочет меня поцеловать...

Офицер, офицер, оботрите только губы, и я не буду иметь ничего против нашей быстрой дружбы *in contumaciam*¹.

Впрочем, говоря об офицерах, я должен сказать, что самые симпатичные и здоровые духом люди из посещавших нас — *офицеры*. Молодые люди из невоенных были по большей части непросты, нервны, очень поглощены делами своих литературных кружков и не выходили из них. Военные были скромнее и проще, они чувствовали за собой недостаточное воспитание кадетских корпусов и, как бы зная свою дурную репутацию, рвались вперед и старались чему-нибудь научиться. В сущности, они вовсе не были хуже приготовлены, чем другие, и, по великому закону нравственных противудействий, под гнетом деспотизма корпусов, воспитали в себе сильную любовь к независимости. В офицерском мире после Крымской войны начиналось серьезное движение; оно равно доказывается и казненными, как Сливичкий, Арнгольдт... и убитыми, как Потебня, и сосланными на каторгу, как Красовский, Обручев и пр. *

Конечно, многие и многие поворотили с тех пор оглобли и взошли в разум и в военный артикул, все это — дело обыкновенное. .

Кстати, к ренегатам. Один молодой энтузиаст из офицеров, бывший у меня в одно время с благороднейшим и чистейшим Сераковским и двумя другими товарищами, прощаясь, вывел меня в сад и, крепко обнимая, сказал:

— Если вам понадобится когда-нибудь зачем-нибудь человек, преданный вам безусловно, вспомните обо мне...

— Сохраните себя и в своей груди те чувства, которыми вы полны, и пусть никогда вас не будет в рядах идущих против народа.

Он выпрямился. «Это невозможно!.. Но... если вы услышите когда-нибудь что-нибудь такое обо мне, не щадите меня, пишите ко мне, пишите открыто и напомните этот вечер»...

...Сераковский был уже раненый вздернут на виселицу; часть молодых людей, бывших в то же время в Лондоне, вышла в отставку, рассеялась... Одно имя встречалось мне только *своими повышениями*, — имя моего энтузиаста. Недавно он

¹ заочной (лат.). — *Ред.*

на водах встретил одного старого знакомого — бранил Польшу, хвалил правительство, и, видя, что разговор не вяжется, генерал, спохватившись, сказал:

— А вы, кажется, все еще не забыли наших глупых фантазий в Лондоне... Помните беседы в Alpha road? * Что за ребячество и что за безумие!..

Я не писал ему. Зачем?

II

...Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди, и не только те славные юноши, о которых мне писал Ф. Капп из Нью-Йорка *, но вообще между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой, свежей силой. Пример Трувеллера дополнит лучше всяких комментариев нашу мысль¹.

¹ Историю Трувеллера изложить стоит *. В 1861 явился к нам молодой моряк; лет за десять перед тем я знал его мать в Ницце и помнил его мальчиком. Как его воспитывали, можно судить по тому, что лет восьми или девяти он говорил, что после бога и отца с матерью он никого не любит больше Николая Павловича.

— За что же вы его так любите?— спрашивал я его шутя.

— Он мой законный государь...

Дух такой в воспитанье, может, развили после 1848,— прежде ничего подобного у нас не было и дети воспитывались равно без православия и самодержавия.

Жизнь излечила молодого человека. Он приехал к нам очень грустный и озабоченный. У него умер отец, и умер под судом, обвиняемый в разных злоупотреблениях по делу московской железной дороги. Он был новгородский помещик и взял какие-то подряды. Сын был уверен в невинности отца и решил, что б ни стало восстановить доброе имя его. Все, что он пробовал в России, не удалось ему, и он явился к нам с портфелем бумаг, контрактов, сенатских записок, экстрактов. Разобрать их и составить из них записку для «Колокола» было дело не шуточное. По счастью, оказалось, что Трувеллер — товарищ по университету Кельсиева, ему-то и поручили мы ее составление

В Трувеллере поражало что-то твердое, печальное и детское вместе. Сильно работало в его груди, буравило его; в «законного государя» он не верил больше и с глубоким негодованием говорил о скверном обращении с матросами. В самое то время у нас шла забавная переписка с частью офицеров «Великого адмирала» *. Командир его, помнится — Андреев *, beau parleur <краснобай (франц.)>, константиновский либерал и

...У меня с *морским ведомством* было замечательное столкновение. Один капитан парохода бывал у меня с своим капитан-лейтенантом и другими офицерами и даже звал на свой пароход пировать какие-то именины. Дни за два до этого пира узнал я, что на его пароходе дали какому-то матросу сто линьков за тайком выпитое вино, другого матроса они приготавливались истязать за побег. Я написал капитану следующее письмо и послал его по почте на борт парохода:

«Милостивый государь,

вы были у меня, и я посещение ваше принял за знак сочувствия вашего к нашему труду, к нашим началам; я и теперь не перестал так думать, а потому решился с вами откровенно объясниться насчет одного обстоятельства, сильно огорчившего нас и заставившего сомневаться в том, чтоб мы понимали друг друга.

тогда в фавёре у великого князя *, тоже мучил людей и бранил офицеров, как и велибералы. Помнится, у него был лейтенант Стоффреген, который не только зверски наказывал, но защищал в теории (как впоследствии князь Витгенштейн) военное палачество *.

Мы поместили как-то в «Колоколе» несколько слов об этом. Вдруг получаем из Пирея ответ от имени большинства офицеров, что это неправда... от имени, но без имени. И как писанное письмо было без подписи, оттого мы и не поместили десятой доли того, что в нем было,— помещенную же нами часть мы знали от десяти других офицеров. Поэтому мы коллективного письма не напечатали. Спустя несколько месяцев приехал Трувеллер во второй раз; я ему показал письмо офицеров, защищавших, не поднимая забрала, своего командира. Трувеллер вспыхнул — он был уверен, что это интрига, и в доказательство привел несколько фактов. Я записал их на всякий случай и прочел Трувеллеру в другое посещение. Он нахмурился... Ну, думаю я, испугался.

— Позвольте вашу записку.

— Извольте.

Он ее прочитал, взял перо и подписал.

— Что вы делаете?— спросил я.

— А то, чтоб мои показания не были также безыменны.

Уплывая из Лондона, он накупил целую кипу «Что нужно народу?», «Колокола» и других вещей. Я об этом ничего не знал,— он простился и отправился в Россию. В Портсмуте он имел неосторожность раздать экземпляры, накупленные им, матросам. Кто-то донес, и началось дело, которое сгубило его.

Вот его ответы и письмо к матери *. Это была героическая натура, и он, конечно, не скажет, что мы погубили его, как нас винят многие.

На днях, говоря с г. Тхоржевским, я узнал от него, что на пароходе, находящемся под вашим начальством, матросы сильно наказываются линьками. Причем я слышал историю несчастного моряка, хотевшего бежать и схваченного английской полицией (по гнусному закону, делающему из матроса раба).

Здесь невольно возникает вопрос — неужели закон обязывает вас к исполнению свирепых его распоряжений, и какая ответственность лежала бы на вас, если б вы не исполнили требований, естественно противных всякому человеческому чувству? При всей дикой нелепости наших военных и морских постановлений я не помню, чтоб они под строгой ответственностью вменяли в обязанность телесно наказывать *без суда*; напротив, они стараются *ограничить* произвол начальнических наказаний, ограничивая число ударов. Остается предположить, что вы делаете эти истязания *по убеждению, что они справедливы*; но тогда подумайте, что же общего между нами, открытыми врагами всякого деспотизма, насилья и на первом плане телесных наказаний, и вами?

Если это так, как я должен объяснить ваше посещение?

Вам может показаться странным мое письмо — та нравственная сила, которую мы представляем, мало известна в России, но к ней надобно приучиться. *Гласность* будет стоять возле всех злоупотребляющих властью, и если их совесть долго не проснется, наш „Колокол“ будет служить будильником.

Дайте нам право надеяться, что вы не приведете нас к жесткой необходимости повторить наш совет печатно, и примите уверение, что Огарев и я — мы душевно были бы рады снова протянуть вам руку, но не можем этого сделать, пока она не бросит линька.

Park House, Fulham) *.

На это письмо капитан парохода отвечал *:

М. г. Ал. Ив.,

я получил ваше письмо и сознаю, что оно было для меня неприятно не потому, чтоб я боялся встретить свое имя в «Колоколе» а собственно потому, что человек, которого я вполне почитаю, мог быть обо мне дурного мнения, которого я несколько не заслуживаю.

Если б вы знали сущность дела, о котором вы так горячо пишете,

то, верно, не написали бы мне столько упреков. Я объясню вам все и представлю доказательство, которым вы поверите, если назначите мне время, когда и где могу вас увидеть.

Примите и пр.

Green Grey Dock, Блэквиль *.

Вот мой ответ:

«М. г.,

поверьте, что мне очень больно, что я должен был писать к вам о предмете, неприятном для вас, но вспомните, что вопрос об уничтожении телесных наказаний для нас имеет чрезвычайную важность.

Русский солдат, русский мужик только тогда вздохнут свободно и разовьются во всю ширь своей силы, когда их перестанут бить. Телесное наказание равно растлеывает наказуемого и наказывающего, отнимая у одного чувство человеческого достоинства, у другого чувство человеческого сожаления. Посмотрите на результат помещичьего права и полицейски-военных экзекуций. У нас образовалась целая каста палачей, целые семьи палачей — женщины, дети, девушки розгами и палками, кулаками и башмаками бьют дворовых людей.

Великие деятели 14 декабря так поняли важность этого, что члены общества обязывались не терпеть дома телесных наказаний и вывели их в полках, которыми начальствовали. Фонвизин писал полковым командирам, под влиянием Пестеля, приказ о постепенном выводе телесных наказаний.

Зло это так вкоренилось у нас, что его последовательно не выведешь, его надобно разом уничтожить, как крепостное состояние. Надобно, чтоб люди, поставленные, как вы, отдельными начальниками, взяли благородную инициативу. Это, может, будет трудно — что же из этого? Тем больше славы. Если б я мог надеяться, что наша переписка приведет к этому результату, я благословил бы ее, это была бы для меня одна из высших наград — моя андреевская лента.

Еще слово. Вы говорите, что могли бы показать обстоятельства дела, т. е. доказать, что наказание было справедливо. Это все равно. Мы не имеем права сомневаться в вашей справед-

ливости. Да и что же бы было писать к вам, если б у вас матросы наказывались *несправедливо*? Телесные наказания и тогда надобно уничтожить, когда они по смыслу татарски-немецкого законодательства совершенно справедливы.

Позвольте мне быть уверенным, что вы видите всю чистоту моих намерений и почему я адресовался к вам. Мне кажется, что вы можете сделать эту перемену у вас, другие последуют, — это будет великое дело. Вы покажете пример русским, что древнеславянская кровь больше сочувствует народным страданиям, чем Петербург.

Я сказал все, что было на сердце; дайте мне надежду, что слова мои сколько-нибудь западут в душу, и примите уверение в желании всего благого».

...На праздник я не поехал. Многие находили, что я очень хорошо сделал и что, несмотря на все доблести капитана и его лейтенанта, не надобно было класть пальца в рот. Я этому не верю и никогда не верил. После 1862, конечно, я не поставил бы ноги на палубу русского корабля, но тогда еще не настаивал период Муравьево-Катковский.

Праздник не удался. Переписка наша все испортила. Говорят, что капитан не был главным виновником наказаний, а капитан-лейтенант. Поздней ночью, после попойки, он мрачно сказал: «Такая судьба: другие и не так дерут матросов, да все с рук сходит, а я в кои-то веки употребил меру построже *да тотчас и попал в беду...*»

...Так дошли мы до конца 1862 года.

В дальних горизонтах стали показываться дурные знамения и черные тучи... Да и вблизи совершилось великое несчастье *, чуть ли не единственное политическое несчастье во всей нашей жизни.

III

1862

...Бьет тоже десять часов утра, и я также слышу посторонний голос, уж не воинственный, густой и строгий, а женский, раздраженный, нервный и немного со слезами: «Мне непременно, непременно нужно его видеть... Я не уйду, пока не увижу».

И затем входит молодая русская девушка или барышня, которую я прежде видел раза два.

Она останавливается передо мной, пристально смотрит мне в глаза; черты ее печальны, щеки горят; она наскоро извиняется и потом:

— Я только что воротилась из России, из Москвы; ваши друзья, люди, любящие вас, поручили мне сказать вам, спросить вас... — Она приостанавливается, голос ей изменяет.

Я ничего не понимаю.

— Неужели вы, — вы, которого мы любили так горячо, вы?..

— Да в чем же дело?

— Скажите, бога ради, *да или нет*, — вы участвовали в петербургском пожаре?*

— Я?

— Да, да, вы; вас обвиняют... по крайней мере говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.

— Что за безумие! И вы это можете принимать так серьезно?

— Все говорят!

— Кто это все? Какой-нибудь Николай Филиппович Павлов? (Мое воображение в те времена дальше не шло!)

— Нет, люди близкие вам, люди, страстно любящие вас, вы для них должны оправдаться; они страдают, они ждут...

— А вы сами верите?

— *Не знаю*. Я затем и пришла, что не знаю; я жду от вас объяснения...

— Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы вам сказал это, так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить... Лучше скажите, где, во всем писанном мною, есть что-нибудь, одно слово, которое бы могло оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтоб рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!

— Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? — заметила она, и в глазах ее было видно раздумие и сомнение. — Заклейте печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними, или...

— Или что? Ну, полноте, — сказал я ей, улыбаясь, — играть роль Шарлотты Корде; у вас нет кинжала, и я сижу не в ванне*. Вам стыдно, и нашим друзьям вдвое, верить такому вздору, а нам стыдно в нем оправдываться, да еще по дороге стараясь утопить и разобидеть каких-то нам совершенно незнакомых людей, которые теперь в руках тайной полиции и которые, очень может быть, столько же участвовали в пожарах, сколько и мы с вами.

— Так вы решительно не будете оправдываться?

— Нет.

— Что же я напишу туда?

— Да вот то, что мы с вами говорили.

Она вынула из кармана последний «Колокол» и прочла: «Что за огненная чаша страданий идет мимо нас? Огонь ли это безумного разрушения, кара ли, очищающая пламенем? Что довело людей до этого средства, и что эти люди? Какие тяжелые минуты для отсутствующего, когда, обращаясь туда, где вся любовь его, все, чем живет человек, он видит одно немое зарево?»

— Страшные, темные строки, ничего не говорящие против вас и *ничего за вас*. Верьте мне, оправдывайтесь — или вспомните мои слова: *друзья ваши и сторонники ваши вас оставят*.

...Так, как колонель рюс был тамбурмажором нашего успеха, так мирная Шарлотта Корде явилась провозвестницей нашего распаденья с общественным мнением, и притом в обе стороны. В то время как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами, как с отсталыми на дороге. Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали, как суровые волны жизни сгубят уплывших далеко и только часть причалит назад к берегам.

Клевета росла и вскоре, подхваченная печатью, разошлась по всей России. Тогда только что начинался фискальный период нашей журналистики. Я живо помню удивление людей простых, честных, вовсе не революционеров перед печатными доносами — это было совершенно ново для них. Обличительная литература круто повернула оружие и сразу перегнулась в литературу полицейских обысков и шпионских наушничаний.

В самом обществе произошел переворот. Освобождение крестьян отрезвило одних, другие просто устали от политической агитации; им захотелось прежнего покоя — сытость одолела ими перед обедом, который доставался с такими хлопотами.

Нечего сказать, коротко у нас дыхание и длинна выносливость!

Семь лет либерализма истощили весь запас радикальных стремлений. Все накопившееся и сжатое в уме с 1825 года потрачено на восторги и радости, на предвкушение будущих благ. После усеченного освобождения крестьян слабым нервам казалось, что Россия далеко зашла, что она идет слишком быстро.

В то же время *радикальная* партия, юная и потому самому теоретическая, начинала резче и резче высказываться, пугая без того испуганное общество. Она показывала казовым концом своим такие крайние последствия, от которых либералы и люди постепенного развития, крестьяне и отплевываясь, бежали зажимая уши и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции. Студентская опрометчивость и помещичья непривычка выслушивать других не могли не довести их до драки.

Едва призванная к жизни сила общественного мнения обличилась в диком консерватизме; она заявила свое участие в общем деле, толкая правительство во все тяжкие террора и преследования.

Наше положение становилось труднее и труднее. Стоять на грязи реакции мы не могли, вне ее у нас пропадала почва. Точно потерянные витязи в сказках, мы ждали на перепутье. Пойдешь направо — потеряешь коня, но сам цел будешь; пойдешь налево — конь будет цел, но сам погибнешь; пойдешь вперед — все тебя оставят; пойдешь назад — этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынный, который бы снял с нас тяжесть раздумья...

По воскресеньям вечером собирались у нас знакомые, и преимущественно русские. В 1862 число последних очень увеличилось — на выставку * приезжали купцы и туристы, журнали-

сты и чиновники всех вообще отделений и третьего в особенности. Делать строгий выбор было невозможно; коротких знакомых мы предупреждали, чтоб они приходили в другой день. Благочестивая скука лондонского воскресенья побеждала осторожность.

Отчасти эти воскресенья и привели к беде... Но прежде чем я ее передам, я должен познакомить с двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися в скромной зале Orset House'a *. Наша галерея живых редкостей из России была, без всякого сомнения, замечательнее и занимательнее русского отдела на Great Exhibition¹.

...В 1860 получаю я из одного отеля на Геймаркете русское письмо, в котором какие-то люди извещали меня, что они, русские, находятся в услужении князя Юрия Николаевича Голицына, тайно оставившего Россию: «Сам князь поехал на Константинополь, а нас отправил по другой дороге. Князь велел дожидаться его и дал нам денег на несколько дней. Прошло больше двух недель — о князе ни слуха, деньги вышли, хозяин гостиницы сердится. Мы не знаем, что делать; по-английски никто не говорит». Находясь в таком беспомощном состоянии, они просили, чтоб я их выручил.

Я поехал к ним и уладил дело. Хозяин отеля знал меня и согласился подождать еще неделю.

Дней через пять после моей поездки подъехала к крыльцу богатая коляска, запряженная парой серых лошадей в яблоках. Сколько я ни объяснял моей прислуге, что, как бы человек ни приезжал, хоть цугом, и как бы ни назывался, хоть дюком, все же утром не принимать, — уважения к аристократическому экипажу и титулу я не мог победить. На этот раз встретились оба искусительные условия, и потому через минуту огромный мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бога-вола, обнял меня, благодаря за мое посещение к его людям.

Это был князь Юрий Николаевич Голицын *. Такого крупного, характеристического обломка всея России, такого specimen'a² нашей родины я давно не видал.

¹ Большой выставке (англ.).— *Ред.*

² образчика (англ.).— *Ред.*

Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой: как он давал кантонисту переписывать статью в «Колокол», и как он разошелся с своей женой; как кантонист донес на него, а жена не присылает денег; как государь его услал на безвыездное житье в Козлов, вследствие чего он решился бежать за границу и поэтому увез с собой какую-то барышню, гувернанту, управляющего, регента, горничную через молдавскую границу. В Галаце он захватил еще какого-то лакея, говорившего ломаным языком на пяти языках и показавшегося ему шпионом... Тут же объявил он мне, что он страстный музыкант и будет давать концерты в Лондоне, а потому хочет познакомиться с Огаревым.

— Дорого у вас здесь в Англии б-берут на таможене, — сказал он, слегка заикаясь, окончив курс своей всеобщей истории.

— За товары, может, — заметил я, — а к путешественникам custom-house¹ очень снисходителен.

— Не скажу — я заплатил шиллингов 15 за крок-кодила.

— Да это что такое?

— Как что? Да просто крок-кодил.

Я сделал большие глаза и спросил его:

— Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта — стращать жандармов на границах?

— Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабчонок продает крокодила. Понравился, я и купил.

— Ну, а арабчонка купили?

— Ха, ха! Нет.

Через неделю князь был уже инсталлирован² в Porchester terrace, т. е. в очень дорогой части города, в большом доме. Он начал с того, что велел на веки вечные, вопреки английскому обычаю, открыть настежь ворота и поставил в вечном ожидании у подъезду пару серых лошадей в яблоках. Он зажил в Лондоне, как в Козлове, как в Тамбове.

Денег у него, разумеется, не было, т. е. были несколько тысяч франков на *афишу и заглавный лист* лондонской жизни, — их он тотчас истратил, но пыль в глаза бросил и успел на

¹ таможня (англ.).— *Ред.*

² водворен, от installer (франц.).— *Ред.*

несколько месяцев обеспечиться благодаря английской тупоумной доверчивости, от которой иностранцы всего континента не могут еще поднесь отучить их.

Но князь шел на всех парах... Начались концерты. Лондон был удивлен княжеским титулом на афише, и во второй концерт зала была полна (St. James's Hall, Piccadilly). Концерт был великолепный. Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр — это его тайна, но концерт был совершенно из ряду вои. Русские песни и молитвы, «Камаринская» и обедня, отрывки из оперы Глинки и из евангелия («Отче наш») — все шло прекрасно.

Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой скипетр из слоновой кости. Старушки вспоминали атлетические формы императора Николая, победившего лондонских дам * всего больше своими обтянутыми лосиными, белыми, как русский снег, кавалергардскими collants¹.

Голицын нашел средство и из этого успеха сделать себе убыток. Упоенный рукоплесканиями, он послал в конце первой части концерта за корзиной букетов (не забывайте лондонские цены) и перед началом второй части явился на сцену; два ливрейных лакея несли корзину, князь, благодаря певиц и хористок, каждой поднес по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громом рукоплесканий. Вырос, расцвел мой князь и, как только окончился концерт, пригласил *всех* музыкантов на ужин.

Тут, сверх лондонских цен, надобно знать и лондонские обычаи — в одиннадцать часов вечера, не предупредивши с утра, нигде нельзя найти ужин человек на пятьдесят.

Ассирийский вождь храбро пошел пешком по Regent street с музыкальным войском своим, стучась в двери разных ресторанов, и достучался наконец: смекнувший дело хозяин выехал на холодных мясах и на горячих винах.

Затем начались концерты его с всевозможными штуками, даже с политическими тенденциями. Всякий раз гремел

¹ рейтузами (франц.). — *Ред.*

Herzens Walzer¹, гремела Ogarefs Quadrille² и потом «Emancipation Symphony»³... пьесы, которыми и теперь, может, чарует князь москвичей и которые, вероятно, ничего не потеряли при переезде из Альбиона, кроме собственных имен: они могли легко перейти на Potapoffs Walzer, Mina-Walzer⁴, а потом и в Komissaroffs Partitur⁵.

При всем этом шуме денег не было; платить было нечем. Поставщики начали роптать, и дома начиналось исподволь спартаковское восстание рабов...

...Одним утром явился ко мне factotum⁶ князя, его управляющий, переименовавший себя в секретаря, с «регентом», т. е. не с отцом Филиппа Орлеанского*, а с белокурым и кудрявым русским малым лет двадцати двух, управлявшим певцами.

— Мы, А<лександр> И<ванович>, к вам-с.

— Что случилось?

— Да уж Юрий Николаевич очень обижает; хотим ехать в Россию и требуем расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Так меня и обдало отечественным паром — словно на каменку поддали...

— Почему же вы обращаетесь с этой просьбой ко мне? Если вы имеете серьезные причины жаловаться на князя, — на это есть здесь для всякого суд, и суд, который не покривит ни в пользу князя, ни в пользу графа.

— Мы точно слышали об этом, *да что ж ходить до суда*. Вы уж лучше разберите.

— Какая же польза будет вам от моего разбора? Князь скажет мне, что я мешаюсь в чужие дела, я и поеду с носом. Не хотите в суд — пойдите к послу; не мне, а ему препоручены русские в Лондоне...

¹ «Вальс Герцена» (нем.).— *Ред.*

² «Кадриль Огарева» (англ.).— *Ред.*

³ «Симфония освобождения» (англ.).— *Ред.*

⁴ «Вальс Потапова», «Вальс Мины» (нем.).— *Ред.*

⁵ «Партитуру Комиссарова» (нем.).— *Ред.*

⁶ «правая рука» (лат.).— *Ред.*

— Это уж где же-с? Коль скоро русские господа сидят, какой же может быть разбор с князем; а вы ведь за народ: так мы так и пришли к вам — уж разберите дело, сделайте милость.

— Экие ведь какие; да князь не примет моего разбора — что же вы выиграете?

— Позвольте доложить-с,— с живостью возразил секретарь, — этого они не посмеют-с, так как они очень уважают вас, да и боятся-с сверх того: в «Колокол»-то пошасть им не весело — амбиция-с.

— Ну, слушайте, чтоб не терять нам попусту время, — вот мое решение: если князь согласен принять мое посредничество, я разберу ваше дело, если нет — идите в суд; а так как вы не знаете ни языка, ни здешнего хождения по делам, то я, если вас в самом деле князь обижает, дам человека, который знает то и другое и по-русски говорит.

— Позвольте... — заметил секретарь.

— Нет, не позволяю, любезнейший. Прощайте.

Пока они ходят к князю, скажу об них несколько слов. Регент ничем не отличался, кроме музыкальных способностей; это был откормленный, крупчатый, туповато-красивый, румяный малый из дворовых; его манера говорить прикартавливая, несколько заспанные глаза напоминали мне целый ряд — как в зеркале, когда гадаешь, — Сашек, Сенек, Алешек, Мирошек. И секретарь был тоже чисто русский продукт, но более резкий представитель своего типа. Человек лет за сорок, с небритым подбородком, испитым лицом, в засаленном сертуке, весь — снаружи и внутри — нечистый и замаранный, с небольшими плутовскими глазами и с тем особенным запахом русских пьяниц, составленным из вечно поддерживаемого перегорелого сивушного букета с оттенком лука и гвоздики для прикрытия. Все черты его лица ободряли, внушали доверие всякому скверному предложению: в его сердце оно нашло бы наверное отголосок и оценку, а если выгодно — и помощь. Это был первообраз русского чиновника, мироеда, подьячего, коштана. Когда я его спросил, доволен ли он готовившимся освобождением крестьян, он отвечал мне:

— Как же-с. без сомненья, — и, вздохнувши, прибавил:

— Господи, что тяжёб-то будет-с, разбирательств! А князь завез меня сюда, как на смех, именно в такое время-с.

До приезда Голицына он мне с видом задушевности говорил:

— Вы не верьте, что вам о князе будут говорить насчет притеснения крестьян или как он хотел их без земли на волю выпустить за большой выкуп. Все это враги распускают. Ну, правда, мот он и щеголь, но зато сердце доброе и для крестьян отец был.

Как только он поссорился, он, жалуясь на него, проклинал свою судьбу, что «доверился такому прощелыге... ведь он всю жизнь беспутничал и крестьян разорил, ведь это он теперь прикидывается при вас таким, а то ведь зверь... грабитель...»

— Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили?—спросил я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился, я повернулся и ушел. Родись этот человек не в людской князей Голицыных, не сыном какого-нибудь «земского», давно был бы, при его способностях, министром — Валухевым, не знаю чем.

Через час явился регент и его ментор с запиской Голицына; он, извиняясь, просил меня, если могу, приехать к нему, чтоб покончить эти дразги. Князь вперед обещал принять без спору мое решение.

Делать было нечего, я отправился. Все в доме показывало необыкновенное волнение. Француз слуга, Пико, поспешно мне отворил дверь и с той торжественной суетливостью, с которой провожают доктора на консультацию к умирающему, провел в залу. Там была вторая жена Голицына, встревоженная и раздраженная, сам Голицын ходил огромными шагами по комнате, без галстука, богатырская грудь наголо. Он был взбешен и оттого вдвое заикался; на всем лице его было видно страдание от внутрь взошедших, т. е. не вышедших в действительный мир, зуботычин, пинков, трухов, которыми бы он отвечал инсургентам в Тамбовской губернии.

— Вы б-б-бога ради простите меня, что я в-вас беспокою из-за этих м-м-мошенников...

— В чем дело?

— Вы уж, п-п-пожалуйста, сами спросите—я только буду слушать.

Он позвал регента, и у нас пошел следующий разговор:
— Вы недовольны чем-то?

— Очень недоволен... и оттого именно беспременно хочу ехать в Россию.

Князь, у которого голос лаблашевской силы, испустил львиный стон — еще пять зуботычин возвратились сердцу.

— Князь вас удержать не может, так вы скажите, чем недовольны-то вы?

— Всем-с, А<лександр> И<ванович>.

— Да вы уж говорите потолковитее.

— Как же чем-с? Я с тех пор, как из России приехал, с ног сбит работой, а жалованья получил только два фунта да третий раз вечером князь дали больше в подарок.

— А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-с...

— Есть же у вас определенный оклад?

— Никак нет-с. Князь, когда *изволили бзгать* за границу (это без злого умысла), сказали мне: «Вот хочешь ехать со мной, я, мол, устрою твою судьбу и, если мне повезет, дам большое жалованье, а не то и малым довольствуйся». Ну, я так и поехал.

Это он из Тамбова-то в Лондон поехал на таком условии...

О Русь!

— Ну, а как, по-вашему, *везет* князю или нет?

— Какой везет-с... Оно, конечно, можно бы всё...

— Это другой вопрос. Если ему не везет, стало, вы должны довольствоваться малым жалованьем.

— Да князь сами говорили, что по моей службе, т. е. и способности, по здешним деньгам меньше нельзя, как фунта четыре в месяц.

— Князь, вы желаете заплатить ему по четыре фунта за месяц?

— С о-охотой-с...

— Дело идет прекрасно, что же дальше?

— Князь-с обещал, что если я захочу возвратиться, то пожелает мне на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнул головой и прибавил:

— Да, но в том случае, если я им буду доволен!

— Чем же вы недовольны им?

Теперь плотину прорвало. Князь вскочил; трагическим басом, которому еще больше придавало веса дребезжание некоторых букв и маленькие паузы между согласными, произнес он следующую речь:

— Мне им быть д-довольным, этим м-молокососом, этим щ-щенком?! Меня бесит гнусная неблагодарность этого разбойника! Я его взял к себе во двор из самобеднейшего семейства крестьян, вшами заеденного, босого; я его сам учил, негодяя, я из него сделал ч-человека, музыканта, регента; голос каналье выработал такой, что в России в сезон возьмет рублей сто в месяц жалованья.

— Все это так, Юрий Николаевич, но я не могу разделять вашего взгляда. Ни он, ни его семья вас не просили делать из него Ронкони, стало, и особенной благодарности с его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, как учат соловьев, и хорошо сделали, но тем и конец. К тому же это и к делу не идет...

— Вы правы... но я хотел сказать: каково мне выносить это? Ведь я его... к-каналью...

— Так вы согласны ему дать на дорогу?

— Черт с ним — для вас... только для вас даю.

— Ну, вот дело и слажено; а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

— Говорят, фунтов двадцать.

— Нет, это много. Отсюда до Петербурга сто целковых за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расчел на бумажке и передал Голицыну; тот взглянул на итог — выходило, помнится, с чем-то 30 фунтов. Он тут же мне их и вручил.

— Вы, разумеется, грамоте знаете? — спросил я регента.

— Как же-с...

Я написал ему расписку в таком роде: «Я получил с кн. Ю. Н. Голицына должные мне за жалованье и на проезд из Лондона в Петербург тридцать с тем-то фунтов (на русские деньги столько-то). Затем остаюсь доволен и никаких других требований на него не имею».

— Прочтите сами и подпишитесь...

Регент прочел, но не делал никаких приготовлений, чтоб подписаться.

— За чем дело?

— Не могу-с

— Как не можете?

— Я недоволен...

Львиный сдержанный рев, — да уж и я сам готов был прикрикнуть

— Что за дьявольщина! Вы сами сказали, в чем ваше требование. Князь заплатил все до копейки — чем же вы недовольны?

— Помилуйте-с — а сколько нужды натерпелся с тех пор, как здесь...

Ясно было, что легость, с которой он получил деньги, разлакомила его.

— Например-с, мне следует еще за переписку нот

— Врешь! — закричал Голицын так, как и Лаблаш никогда не кричал... робко ответили ему своим эхо рояли, и бледная голова Пико оказалась в щель и исчезла с быстротой испуганной ящерицы. — Разве переписывание нот не входило в прямую твою обязанность? Да и что же бы ты делал все время, когда концертов не было?..

Князь был прав, хотя и не нужно было пугать Пико гласом контрбомбардосным *.

Регент, привыкнувший к всяким звукам, не сдался и, оставя в стороне переписывание нот, обратился ко мне с следующей нелепостью:

— Да вот-с еще и насчет одежды: я совсем обносился.

— Да неужели, давая вам в год около 50 фун<тов> жалованья, Юр<ий> Ник<олаевич> еще обязался одевать вас?

— Нет-с, но прежде князь все иногда давали, а теперь, стыдно сказать, до того дошел, что без носков хожу.

— Я сам хожу без н-н-носок!.. — прогремел князь и, сложив на груди руки, гордо и с презрением смотрел на регента. Этой выходки я никак не ждал и с удивлением смотрел ему в глаза. Но, видя, что он продолжать не собирается, а что регент непременно будет продолжать, я очень серьезно сказал соколу-певцу:

— Вы приходили ко мне сегодня утром просить меня в посредники, стало, вы верили мне?

— Мы вас очень довольно знаем, в вас мы несколько не сомневаемся, вы уж в обиду не дадите...

— Прекрасно, ну, так я вот как решаю дело: подписывайте сейчас бумагу или отдайте деньги; я их передам князю и с тем вместе отказываюсь от всякого вмешательства.

Регент не захотел вручить бумажки князю, подписался и поблагодарил меня. Избавляю от рассказа, как он переводил счет на целковые; я ему никак не мог вдолбить, что по курсу целковый стоит теперь не то, что стоил тогда, когда он выезжал из России.

— Если вы думаете, что я вас хочу надуть фунта на полтора, так вы вот что сделайте: сходите к нашему попу да и попросите вам сделать расчет. — Он согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не так грозно и бурно вздымалась... но судьба хотела, чтоб и финал так же бы напомнил родину, как начало.

Регент помялся, помялся, и вдруг, как будто между ними ничего не было, обратился к Голицыну с словами:

— Ваше сиятельство, так как пароход из Гулля-с идет только через пять дней, явите милость — позвольте остаться покамест у вас.

«Задаст ему,— подумал я,— мой Лаблаш», самоотверженно приготовляясь к боли от крика.

— Куда ты к черту пойдешь. Разумеется, оставайся.

Регент разблагодарил князя и ушел. Голицын в виде пояснения сказал мне:

— Ведь он предобрый малый; это его этот мошенник, этот в-вор... этот поганый юс подбил...

Поди тут Савиньи и Миттермайер, пусть схватят формулами и обобщат в нормы юридические понятия, развившиеся в православном отечестве нашем между конюшней, в которой драли дворовых, и бариновым кабинетом, в котором обирали мужиков.

Вторая cause célèbre¹, именно с «юсом», не удалась.

¹ славная операция (франц.).— *Ред*

Голицын вышел и вдруг так закричал, и секретарь так закричал, что оставалось затем катать друг друга «под никитки», причем князь, конечно, зашиб бы гунявого подьячсго. Но как все в этом доме совершалось по законам особой логики, то подрались не князь с секретарем, а секретарь с дверью. Набравшись злобы и освежившись еще шкаликом джину, он, выходя, треснул кулаком в большое стекло, вставленное в дверь, и *расшиб его*. Стекла эти бывают в палец толщины.

— Полицию! — кричал Голицын, — Разбой! полицию! — и, взошедши в залу, бросился изнеможенный на диван. Когда он немного отошел, он пояснил мне, между прочим, в чем состоит *неблагодарность* секретаря. Человек этот был поверенным у его брата и, не помню, смощенничал что-то и должен был непременно идти под суд. Голицыну стало жаль его — он до того взошел в его положение, что заложил последние часы, чтоб выкупить его из беды. И потом, имея полные доказательства, что он плут, взял его к себе управляющим!

Что он на всяком шагу надувал Голицына, в этом не может быть никакого сомнения.

Я уехал: человек, который мог кулаком пробить зеркальное стекло, может сам себе найти суд и расправу. К тому же он мне рассказывал потом, прося меня достать ему паспорт, чтоб ехать в Россию, что он гордо предложил Голицыну пистолет и жеребий, кому стрелять.

Если это было, то пистолет наверное не был заряжен.

Последние деньги князя пошли на усмирение сартаковского восстания, и он все-таки наконец попал, как и следовало ожидать, в тюрьму за долги. Другого посадили бы и дело в шляпе — с Голицыным и это не могло сойти просто с рук.

Полисмен привозил его ежедневно в *Strom garden*, часу в восьмом; там он дирижировал, для удовольствия лореток всего Лондона, концерт, и с последним взмахом скипетра из слоновой кости незаметный полицейский вырастал из-под земли и не покидал князя до кеба, который вез узника в черном фраке и белых перчатках в тюрьму. Прощаясь со мной в саду, у него были слезы на глазах. Бедный князь! Другой смеялся бы над этим, но он брал к сердцу свое в неволю заключение. Родные как-то выкупили его. Потом правительство позволило ему

возвратиться в Россию—и отправили его сначала на житье в Ярославль, где он мог дирижировать духовные концерты вместе с Фелинским, варшавским архиереем. Правительство для него было добрее его отца: третий калач не меньше сына, он ему советовал *идти в монастырь*... Хорошо знал сына отец — а ведь сам был до того музыкант, что Бетговен посвятил ему одну из симфоний *.

За пышной фигурой ассирийского бога, тучного Аполлона-вола, не должно забывать ряд других русских странностей.

Я не говорю о мелькающих тенях, как «колонель рюс», но о тех, которые, причаленные разными превратностями судьбы, приостанавливались надолго в Лондоне, вроде того чиновника военного интендантства, который, запутавшись в делах и долгах, бросился в Неву, утонул... и всплыл в Лондоне *изгнанником*, в шубе и меховом картузе, которые не покидал, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы. Вроде моего друга Ивана Ивановича Савича, которого англичане звали *Севидж*, который весь, целиком, с своими antecedентами и будущностью, с какой-то мездрой вместо волос на голове, так и просится в мою галерею русских редкостей.

Лейб-гвардии Павловского полка офицер в отставке, он жил себе да жил в странах заморских и дожил до Февральской революции; тут он испугался и стал на себя смотреть как на преступника; не то, чтоб его мучила совесть, но мучила мысль о жандармах, которые его встретят на границе, казематах, тройке, снеге... и решил отложить возвращение. Вдруг весть о том, что его брата взяли по делу Шевченки. Сделалось в самом деле что-то опасно, и он тотчас решил ехать. В это время я с ним познакомился в Ницце. Отправился Савич, купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переезжая границу, хотел как-то укрепить в дупле пустого зуба и раскусить в случае ареста.

По мере приближения к родине страх все возрастал и в Берлине дошел до удушающей боли; однако Савич переломил себя и сел в вагон. Станций на пять его стало — далее он не мог. Машина брала воду; он под совершенно другим предлогом вышел из вагона... Машина свистнула, поезд двинулся без Савича; того-то ему и было надобно. Оставив чемодан свой на

произвол судьбы, он с первым обратным поездом возвратился в Берлин. Оттуда телеграфировал о чемодане и пошел визиловать свой пасс в Гамбург. «Вчера ехали в Россию, сегодня в Гамбург», — заметил полицейский, вовсе не отказывая в визе. Перепуганный Савич сказал ему: «Письма — я получил письма», и, вероятно, у него был такой вид, что со стороны прусского чиновника просто упущение по службе, что он его не арестовал. Затем Савич, спасаясь никем не преследуемый, как Людвиг-Филипп, приехал в Лондон *. В Лондоне для него началась, как для тысячи и тысячи других, тяжелая жизнь, — он годы честно и твердо боролся с нуждой. Но и ему судьба определила комический бортик ко всем трагическим событиям. Он решился давать уроки математики, черченью и даже французскому языку (*для англичан*). Посоветовавшись с тем и другим, он увидел, что без объявления или карточек не обойдется.

— Но вот беда: как взглянет на это русское правительство... Думал я, думал, да и напечатал *анонимные* карточки.

Долго я не мог нарадоваться на это великое изобретение — мне в голову не приходила возможность визитной карточки без имени.

С своими анонимными карточками, с большой настойчивостью труда и страшной бережливостью (он жевал дни целые картофелем и хлебом) он сдвинул-таки свою барку с мели, стал заниматься торговым комиссионерством, и дела его пошли успешно.

И это именно в то время, когда дела другого лейб-гвардии павловского офицера пошли отвратительно. Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный, шеф Павловского полка * отошел в вечность. Пошли льготы, амнистии. Захотелось и Савичу воспользоваться царскими милостями, и вот он пишет к Бруннову письмо * и спрашивает, подходит ли он под амнистию. Через месяц времени приглашают Савича в посольство. «Дсло-то, — думал он, — не так просто — месяц думали».

— Мы получили ответ, — говорит ему старший секретарь. — Вы нехотя поставили министерство в затруднение: ничего об вас нет. Оно сносилось с министром внутренних дел, и у него не могут найти никакого дела об вас. Скажите нам просто, что с вами было, не может же быть ничего важного!..

— Да в '49 году мой брат был арестован и потом сослан.

— Ну?

— Больше ничего.

«Нет, — подумал Николай, — шалит» и сказал Савичу, что, если так, министерство снова наведет справки. Прошли месяца два. Я воображаю, что было в эти два месяца в Петербурге... отношения, сообщения, конфиденциальные справки, секретные запросы из министерства в III отделение, из III отделения в министерство, справки у харьковского генерал-губернатора... выговоры, замечания... а дела о Савиче найти не могли. Так министерство и сообщило в Лондон.

Посылает за Савичем сам Бруннов.

— Вот, — говорит, — смотрите ответ: нигде ничего об вас. Скажите, по какому вы делу замешаны?

— Мой брат...

— Все это я слышал, да вы-то сами по какому делу?

— Больше ничего не было.

Бруннов, от рождения ничему не удивлявшийся, удивился.

— Так отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сделали...

— Я думал, что все же лучше...

— Стало, просто-напросто, вам не амнистия нужна, а паспорт.

И Бруннов велел выдать пасс.

На радостях Савич прискакал к нам.

Рассказав подробно всю историю о том, как он добился амнистии, он взял Огар(ева) под руку и увел в сад.

— Дайте мне, бога ради, совет, — сказал он ему. — А. И. все смеется надо мной... такой уж нрав у него; но у вас сердце доброе. Скажите мне откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ехать Веной?

Огарев не поддержал доброго мнения и расхохотался. Да что Огар(ев), — я воображаю, как Бруннов и Николай минуты на две расправили морщины от тяжелых государственных забот и осклабились, когда амнистированный Савич вышел из кабинета.

Но при всех своих оригинальностях Савич был честный человек. Другие русские, неизвестно откуда всплывавшие, бродившие месяц-другой по Лондону, являвшиеся к нам с соб-

ственными рекомендательными письмами и исчезавшие неизвестно куда, были далеко не так безопасны.

Печальное дело, о котором я хочу рассказать, было летом 1862*. Реакция была тогда в инкубации и из внутреннего, скрытого гниения еще вылазила наружу. Никто не боялся к нам ездить, никто не боялся брать с собой «Колокол» и другие наши издания, многие хвастались, как они мастерски провозят. Когда мы советовали быть осторожными, над нами смеялись. Писем мы почти никогда не писали в Россию: старым знакомым нам нечего было сказать — мы с ними стояли всё дальше и дальше, с новыми незнакомцами мы переписывались через «Колокол».

Весной возвратился из Москвы и Петербурга Кельсиев. Его поездка, без сомнения, принадлежит к самым замечательным эпизодам того времени. Человек, ходивший мимо носа полиции, едва скрывавшийся, бывавший на раскольничьих беседах и товарищеских попойках, с глупейшим турецким пассом в кармане, и возвратившийся *sain et sauf*¹ в Лондон, немало закусил удила. Он вздумал сделать пирушку в нашу честь в день пятилетия «Колокола», по подписке, в ресторане Кюна. Я просил его отложить праздник до другого, больше веселого времени. Он не хотел. Праздник не удался: не было *entrain*², и не могло быть — в числе участников были люди слишком посторонние.

Говоря о том и сем, между тостами и анекдотами, говорили как о самопростейшей вещи, что приятель Кельсиева Ветошников едет в Петербург и готов с собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многие сказали, что будут в воскресенье у нас. Собралась действительно целая толпа, в числе которой были очень мало знакомые нам лица и, по несчастью, сам Ветошников; он подошел ко мне и сказал, что завтра утром едет, спрашивая меня, нет ли писем, поручений. Бакунин уже ему дал два-три письма. Огарев пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу; к ним я написал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского

¹ здоровым и невредимым (франц.).— *Ред.*

² воодушевления (франц.).— *Ред.*

(к которому я никогда не писал) на наше предложение в «Колоколе» «печатать на свой счет „Современник“ в Лондоне». Гости стали расходиться часов около 12; двое-трое оставались. Ветошников взошел в мой кабинет и взял письмо. Очень может быть, что и это осталось бы незамеченным. Но вот что случилось. Чтоб поблагодарить участников обеда, я просил их принять в память от меня по выбору что-нибудь из наших изданий или большую фотографию мою Левицкого. Ветошников взял фотографию; я ему советовал обрезать края и свернуть в трубочку; он не хотел и говорил, что положит ее на дно чемодана, и потому завернул ее в лист «Теймса» и так отправился. Этого нельзя было не заметить.

Прощаясь с ним с последним, я спокойно отправился спать — так иногда сильно бывает ослепление — и уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне.

Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени... Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить в субботу. Зачем он не приходил утром? Да и вообще, зачем он приходил сам?.. Да и зачем мы писали?

Говорят, что один из гостей * телеграфировал тотчас в Петербург.

Ветошникова схватили на пароходе; остальное известно *.

В заключение этого печального сказанья скажу о человеке, вскользь упомянутом мною и которого пройти мимо не следует. Я говорю о Кельсиеве.

В 1859 году получил я первое письмо от него.





⟨ Г Л А В А II ⟩
В. И. КЕЛЬСИЕВ

Имя В. Кельсиева приобрело в последнее время печальную известность: быстрота внутренней и скорость внешней перемены, удачность раскаяния, неотлагаемая потребность всенародной исповеди * и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной в кающемся и прощенном развязностью — все это, при непривычке нашего общества к крутым и гласным превращениям, вооружило против него лучшую часть нашей журналистики *. Кельсиеву хотелось во что бы ни стало занимать собою публику; он и накопился на видное место мишени, в которую каждый бросает камень, не жалея. Я далек от того, чтоб порипать нетерпимость, которую показала в этом случае наша дремлющая литература. Негодование это свидетельствует о том, что много свежих, неиспорченных сил уцелели у нас, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодование, опрокинувшееся на Кельсиева, — то самое, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения* и отвернулось от Гоголя за его «Переписку с друзьями».

Бросать в Кельсиева камнем лишнее: в него и так брошена целая мостовая. Я хочу передать другим и напомнить ему, каким он явился к нам в Лондон и каким уехал во второй раз в Турцию.

Пусть он сравнит самые тяжелые минуты тогдашней жизни с лучшими своей теперичной карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я в них ничего не переменял и добавил только отрывки из писем. В моем беглом очерке Кельсиев представлен так, как он остался в памяти до его появления на лодке в Скулянскую таможню в качестве запрещенного товара, просящего конфискации и поступления по законам.

Письмо от Кельсиева было из Плимута. Он туда приплыл на пароходе Североамериканской компании и отправлялся куда-то, в Ситку или Уналашку *, на службу. Поживши в Плимуте, ему расхотелось ехать на Алеутские острова, и он писал ко мне, спрашивая, можно ли ему найти пропитание в Лондоне. Он успел уже в Плимуте познакомиться с какими-то теологами и сообщал мне, что они обратили его внимание на замечательные истолкования пророчеств. Я предостерег его от английских клерджименов¹ и звал в Лондон, если он действительно хочет работать.

Недели через две он явился. Молодой, довольно высокий, худой, болезненный, с четверугольным черепом, с шапкой волос на голове, он мне напоминал (не волосами — тот был плешив), а всем существом своим Энгельсона — и действительно, он очень многим был похож на него. С первого взгляда можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опеки и крепостей, но еще не приписался ни к какому делу и обществу — цеха не имел. Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей шпиринге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки: учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодно голову. От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскочкачил в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведенья².

¹ служителей культа (англ. clergyman). — *Ред.*

² Петрашевцами заключается у нас фаланга сильно занимавшихся юношей — их можно назвать последним классом нашего учебно-исторического развития.

Особенно оригинально было то, что в скептическом ощупывании Кельсиева сохранилась какая-то примесь мистических фантазий: он был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дяконовском стихаре. Церковный оттенок, паречие и образность остались у него в форме, в языке, в слогое и придавали всей его жизни особый характер и особое единство, основанное на спайке противоположных металлов.

У Кельсиева шел тот знакомый нам перебор, который делает почти всегда в самом деле проснувшийся русский внутри себя и о котором вовсе не думает за недосугом и заботами западный человек. Втянутые своими специальностями в другие дела, *старшие братья* наши не проверяют задов, и оттого у них сменяются поколения, строя и разрушая, награждая и наказуя, надевая венки и кандалы,— твердо уверенные, что так и надобно, что они делают дело. Кельсиев, напротив, сомневался во всем и не принимал на слово ни добро — добра, ни зло — зла. Кобенящийся дух этот, отрешающийся от вперед идущей нравственности и готовых истин, накипел всего больше в *mi-sagême** нашего николаевского поста и резко стал высказываться, когда гиря, давившая наш мозг, приподнялась на одну линию. На этот-то, полный жизни и отваги, анализ и накинута бог весть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробуждения под звуки севастопольских пушек, с чужих слов многие из наших умников начали повторять, что западный консерватизм у нас — факт прививной, что нас наскоро подогнали к европейскому образованию не для того, чтоб делиться с ним наследственными болезнями и застарелыми предрассудками, а для «сравнения со старшими», для того, чтоб была возможность с ними идти ровным шагом вперед... Но как только мы видим на самом деле, что у проснувшейся мысли, что у возмужалого слова нет ничего твердого, «ничего святого», а есть вопросы и задачи, что мысль ищет, что слово отрицает, что дурное раскачивается вместе с «заведомо» хорошим и что дух пытания и сомнения влечет всё — всё без разбора — в пропасть... лишенную перил, — тогда крик ужаса и иступленья вырывается из груди и пассажиры первых классов закрывают глаза, чтоб не видеть, когда вагоны

сорвутся с рельсов... а кондукторы тормозят и останавливают всякое движенъе.

Разумеется, бояться причины нет. Возникающая *сила* слишком слаба материально, чтоб сдвинуть шестидесятимиллионный поезд с рельсов. Но в ней была программа, может быть, пророчество.

Кельсиев развился под первым влиянием времени, о котором мы говорили. Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и очертя голову пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относился он к вере и к неверью, к русским порядкам и к порядкам западным. Одно, что пустило корни в его грудь, было сознание — страстное и глубокое — экономической неправды современного государственного строя и в силу этого ненависть к нему и темное стремление к социальным теориям, в которых он видел выход.

На это сознание неправды и на эту ненависть сверх понимания он имел неотъемлемое право.

В Лондоне он поселился в одной из отдаленнейших частей города, в глухом переулке Фулама*, населенном матовыми, подернутыми чем-то пепельным, ирландцами и всякими худальми работниками. В этих сырых каменных коридорах без крыши страшно тихо, звуков почти нет никаких, ни света, ни цвета; люди, платья, дома — все полиняло и осунулось, дым и сажа обвели все линии траурным ободком. По ним не трещат тележки лавочников, развозящих съестные припасы, не ездят извозчичьи кареты, не кричат разносчики, не лают собаки — последним ршительно нечем питаться... Изредка только выходит какая-нибудь худая, взъерошенная и покрытая углем кошка, проберется по крыше и подойдет к трубе погреться, выгибая спину и обличая видом, что внутри дома она передрогла.

Когда я в первый раз посетил Кельсиева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, с заплаканными глазами, сидела у тюфяка, посланного на полу, на котором, весь в лихорадке и жаре, метался, страдал, умирал ребенок, году или полутора. Я посмотрел на его лицо и вспомнил предсмертные черты другого ребенка—

это было *то же* выражение. Через несколько дней он умер — другой родился.

Бедность была всесовершеннейшая. Молодая тщедушная женщина, или, лучше, замужня девочка, выносила ее героически и с необычайной простотой. Думать нельзя было, глядя на ее болезненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала в этом хилом теле. Она могла служить горьким уроком нашим заплочным романистам. Она была, хотела быть тем, что впоследствии называли *нигилисткой*: странно чесала волосы, небрежно одевалась, много курила, не боялась ни смелых мыслей, ни смелых слов; она не умилялась перед семейными добродетелями, не говорила о священном долге, о сладости жертвы, которую совершает ежедневно, и о легости креста, давившего ее молодые плечи. Она не кокетничала своей борьбой с нуждой, а делала *все*: шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердым товарищем была она мужу и великой страдальцей сложила голову свою на дальнем Востоке, следуя за блуждающим, беспокойным бегом своего мужа и потеряв разом двух последних малюток *.

...Поборолся я сначала с Кельсиевым, стараясь его убедить, чтоб он не отрезывал себе с самого начала, не изведавши жизни изгнанника, пути к возвращению. Я ему говорил, что надобно прежде узнать нужду на чужбине, нужду в Англии, особенно в Лондоне; я ему говорил, что в России теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здесь делать? — спрашивал я его. Кельсиев собирался всему учиться и обо всем писать; пуще всего хотел он писать о женском вопросе — о семейном устройстве.

— Пишите прежде, — говорил я ему, — об освобождении крестьян с землей. Это первый вопрос, стоящий на дороге.

Но симпатии Кельсиева были не туда обращены. Он действительно принес мне статью о женском вопросе. Она была безмерно плоха. Кельсиев посердился, что я ее не напечатал, и сам благодарил меня за это года два спустя.

Возвращаться он не хотел. Во что бы ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологические эксцентричности его нам помогли. Мы достали ему корректуру

св. писания, издаваемого по-русски Лондонским библейским обществом. Затем передали ему кипу бумаг, полученных нами в разное время, по части старообрядцев. За издание их и приведение в порядок Кельсиев принялся со страстью. То, о чем он догадывался и мечтал, то раскрывалось перед ним фактически: грубо наивный социализм в евангельской ризе сквозил ему в расколе. Это было лучшее время в жизни Кельсиева; он с увлечением работал и прибегал иногда вечером ко мне указать какую-нибудь социальную мысль духоборцев, молокан, какое-нибудь чисто коммунистическое учение федосеевцев; он был в восторге от их скитанья по лесам, ставил идеалом своей жизни скитаться между ними и сделаться учителем социально-христианского раскола в Белокринице * или России.

И действительно, Кельсиев был в душе «бегуном», — бегуном нравственным и практическим: его мучила тоска, неустоявшиеся мысли. На одном месте он оставаться не мог. Он нашел работу, занятие, безбедное пропитание, но не нашел *дела*, которое бы поглотило совсем его беспокойный темперамент; он был готов покинуть все, чтоб искать его, готов был не только идти на край света, но сделаться монахом, приняв священство без веры.

Настоящий русский человек, Кельсиев всякий месяц делал новую программу занятий, придумывал проекты и брался за новую работу, не кончив старой. Работал он запоем и запоем ничего не делал. Он схватывал вещи легко, но тотчас удовлетворялся до пресыщения, из всего тянул он сразу жилы до последнего вывода, а иногда и подальше.

Сборник о раскольниках шел успешно; он издал *шесть* частей *, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародование сведений о старообрядцах. То же случилось с переводом библии. Перевод с еврейского не удался. Кельсиев попробовал сделать *un tour de force*¹ и перевести «слово в слово» несмотря на то, что грамматические формы семитических языков вовсе не совпадают со славянскими. Тем не меньше выпущенные *ливрезоны*² разошлись мгновенно *,

¹ Здесь: невозможное (франц.). — *Ред.*

² тетради, выпуски (франц. *livraison*). — *Ред.*

и святейший синод, испугавшись заграничного издания, *благословил* печатание старого завета на русском языке. Эти обратные победы никогда никем не были поставлены в *crédit*¹ нашего станка.

В конце 1861 Кельсиев отправился в Москву с целью завести прочные связи с раскольниками. Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать *. Она невероятна, невозможна, а на деле действительно была. В этой поездке отвага граничит с безумием; в ней опрометчивость почти престушая, но уж, конечно, не я буду его винить в ней. Неосторожная болтовня за границей могла сделать много бед. Но к делу и оценке самой поездки это не идет.

Возвратясь в Лондон, он принялся, по требованию Трюбнера, за составление русской грамматики для англичан и за перевод какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого он не кончил: путешествие сгубило его последний *Sitzfleisch*. Он тяготился работой, впал в ипохондрию, унывал, а работа была нужна: денег опять не было ни гроша. К тому же и новый червь начинал точить его. Успех поездки, бесспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, победа над опасностями раздули и в его груди без того сильную струю самолюбья; обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку Кельсиев, запуская руки в свои густые волосы, говорил, покачивая грустно головой:

— Еще нету тридцати лет, и уже такая ответственность взята мною на плечи *.

Из всего этого легко можно было понять, что грамматики он не кончит, а уйдет. Он и ушел. Ушел он в Турцию с твердым намерением еще больше сблизиться с раскольниками, составить новые связи и, если возможно, остаться там и начать проповедь вольной церкви и общинного житья. Я писал ему длинное письмо, убеждая его не ездить, а продолжать работу. Но страсть к скитанью, желание подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнее, и он уехал.

Он и Мартыанов исчезают почти в одно время. Один — чтоб, после ряда несчастий и испытаний, хоронить своих и потеряться.

¹ счет (франц.). — *Ред.*

между Яссами и Галацом, другой — чтоб схоронить себя на каторжной работе, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящих помещиков-сенаторов *.

После них являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имея большой глубины и захватывая очень тонкий слой, быстро изменяет и изнашивает формы и цветы.

Между Энгельсоном и Кельсиевым уже целая формация, как между нами и Энгельсоном. Энгельсон был человек сломленный, оскорбленный; зло, сделанное ему всей средой, миазмы, которыми он дышал с детства, изуродовали его. Луч света скользнул по нем и отогрел его года за три до его смерти, когда уже неостанавливаемый недуг грыз его грудь. Кельсиев, тоже помятый и попорченный средой, явился однако без отчаяния и усталости; оставаясь за границей, он не просто шел на покой, не просто бежал без оглядки от тяжести — он шел *куда-то*. Куда — этого *он не знал* (и тут всего ярче выразился видовой оттенок его пласта), определенной цели он не имел; он ее искал и покамест осматривался и приводил в порядок, а пожалуй, и в беспорядок, всю массу идей, захваченных в школе, книгах и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существенным вопросом, которым он жил, выжидая или такого дела, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы он отдался.

Теперь воротимся к Кельсиеву *. Потаскавшись в Турции, Кельсиев решил поселиться в Тульче; там он хотел учредить средоточие своей пропаганды между раскольниками, школу для казачьих детей и сделать опыт общинной жизни, в которой прибыль и убыль должна была падать на всех, чистая и нечистая, легкая и трудная работа — обделываться всеми. Дешевизна помещенья и съестных припасов делали опыт возможным. Он сблизился с старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале перевозносил его до небес*. Летом 1863 подъехал к нему его меньшей брат Иван, прекрасный даровитый юноша *. Он был по студентскому делу выслан из Москвы в Пермь; там попался к негодю губернатору, который его теснил. Потом его опять вызвали в Москву для каких-то показаний — ему грозила ссылка далее Перми. Он бежал из част-

ного дома и пробрался через Константинополь в Тульчу. Старший брат был чрезвычайно рад ему; он искал товарищей и наконец звал жену, которая рвалась к нему и жила на нашем попеченье в Теддингтоне. Пока мы ее снаряжали, явился в Лондон и сам Гончар.

Хитрый старик, почуявший смуты и войны, вышел из своей берлоги понюхать воздух и посмотреть, чего откуда можно ждать, т. е. с кем идти и против кого. Не зная ни одного слова, кроме по-русски и турецки, он отправился в Марсель и оттуда в Париж. В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским, говорят даже, что его возили к Наполеону, — от него я этого не слыхал *. Переговоры ни к чему не привели, и седой казак, качая головой и щуря лукавыми глазами, написал каракульками семнадцатого столетия ко мне письмо, в котором, называя меня «графом», спрашивал; может ли приехать к нам и как нас найти *.

Мы жили тогда в Теддингтоне*; без языка не легко было добраться до нас, и я поехал в Лондон на железную дорогу встретить его. Выходит из вагона старый русский мужик, из зажиточных, в сером кафтане, с русской бородой, скорее худошавый, но крепкий, мускулистый, довольно высокий и загорелый, несет узелок в цветном платке.

— Вы Осип Семенович? — спрашиваю я.

— Я, батюшка, я... — Он подал мне руку. Кафтан распахнулся, и я увидел на поддевке большую звезду — разумеется, турецкую: *русских* звезд мужикам не дают. Поддевка была сияняя и оторочена широкой пестрой тесьмой — этого я в России не видал.

— Я такой-то, приехал вас встретить да проводить к нам.

— Что же ты это, ваше сиятельство, сам беспокоился... того?.. Ты бы того, кого-нибудь...

— Это уж оттого, видно, что я не сиятельство. С чего же, Осип Семенович, вы выдумали меня называть графом?

— А Христос тебя знает, как величать, — ты, небось, в своем деле во главе стоишь. Ну, а я того, человек темный... ну и говорю: граф, т. е. сиятельный, т. е. голова.

Не только оборот речи, но и произношение у Гончара было великорусское, крестьянское. Как у них в захоlustье,

окруженном иноплеменниками, так славно сохранился язык — трудно было б понять без старообрядческого мирщенья. Раскол их выделил так строго, что никакое чужое влияние не переходило за их частокол

Гончар прожил у нас три дня *. Первые дни он ничего не ел, кроме сухого хлеба, который привез с собой, и пил одну воду. На третий день было воскресенье — он разрешил себе стакан молока, рыбу вареную в воде и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себе на уме, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человека, привыкшего с детских лет к полному бесправию и к соседству сильных, к врагам, долгая жизнь, проведенная в борьбе, в настойчивом труде, в опасностях, — все это так и сквозило из-за мнимо простых черт и простых слов седого казака. Он постоянно оговаривался, употреблял уклончивые фразы, тексты из священного писания, делал скромный вид, очень сознательно рассказывая о своих успехах, и если иногда увлекался в рассказах о прошлом и говорил много, то наверное никогда не проговорился о том, о чем хотел молчать.

Этот закал людей на Западе почти не существует. Он не нужен, как не нужна дамаскирная сталь для лезвия... В Европе все делается гуртом, массой; человеку одиночно не нужно столько силы и осторожности.

В успех польского дела он уже не верил и говорил о своих парижских переговорах, покачивая головой.

— Нам, конечно, где же сообразить: люди маленькие, темные, а они вон поди как, — ну, вельможи, как следует; только эдак нрав-то легкой... Ты, мол, Гончар, не сумлевайся: вот как справимся, мы и то и то сделаем для тебя, например. Понимаешь?.. Ну, все будет в удовольствие. Оно точно, люди добрые, да поди вот, *когда справятся...* с такой Палестиной *.

Ему хотелось разузнать, какие у нас связи с раскольниками и какие опоры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами. В сущности для него было все равно: он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с греками, с Россией или Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев. Он и от нас уехал,

качая головой. Написал потом два-три письма, в которых, между прочим, жаловался на Кельсиева, и подал, вопреки нашего мнения, адрес государю *.

В начале 1864 поехали в Тульчу два русских офицера, оба эмигранты, Краснопевцев и В(асильев)(?)*. Малопьяная колония сначала дружно принялась за работу. Они учили детей и солили огурцы, чинили свои платья и копались в огороде. Жена Кельсиева варила обед и обшивала их. Кельсисв был доволен началом, доволен казаками и раскольниками, товарищами и турками¹.

Кельсиев писал еще нам свои юмористические рассказы о их водворении *, а уже черная рука судьбы была занесена над маленькой кучкой тульчинских общинников. В июне месяце 1864, ровно через год после своего приезда, умер двадцати трех лет, на руках своего брата, в злейшем тифе, Иван Кельсиев. Смерть его была для брата страшным ударом; он сам занемог, но как-то отходил. Письма его того времени ужасны. Дух, поддерживавший отшельников, упал... угрюмая скука овладевала ими... начались препинания и ссоры. Гончар писал, что Кельсиев сильно пьет*. Краснопевцев застрелился; В(асильев) ушел. Дольше не мог вытерпеть Кельсиев; он взял свою жену и своих детей (у него еще родился ребенок) и без средств, без цели отправился сначала в Константинополь, потом в дунайские княжества. Совершенно отрезанный от всех, отрезанный на время даже от нас, он в это время разошелся с польской эмиграцией в Турции. Напрасно искал он заработать кусок хлеба, с отчаянием смотрел он на изнурение бедной женщины и детей. Деньги, которые мы посылали иногда, не могли быть достаточны. «Случалось, что у нас вовсе не было хлеба», — писала незадолго до своей смерти его жена *. Наконец, после долгих усилий, Кельсиев нашел в Галаце место «надзирателя за шоссейными работами». Скука томила, грызла его... он не мог не винить себя в положении семьи.

¹ И вот эта ужасная «Тульчинская агенция», имевшая сношения со всемирной революцией, поджигавшая русские деревни на деньги из мацциневских касс, грозно действовавшая года через два после того, как перестала существовать... и теперь еще упоминаемая в литературе сыщиков и в «Полицейских ведомостях» Каткова *.

Невежество диковосточного мира оскорбляло его, он в нем чахнул и рвался вон. Веру в раскольников он утратил, веру в поляков утратил... вера в людей, в науку, в революцию колебалась сильней и сильнее, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется... Он только и мечтал, чтоб во что б ни стало вырваться опять на свет, приехать к нам, и с ужасом видел, что ему покинуть семью нельзя. «Если б я был один,—писал он несколько раз,— я с дагерротипом или органом ушел бы куда глаза глядят и, потаскавшись по миру, пешком явился бы в Женеву».

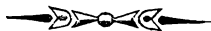
Помощь была близка.

«Милуша» — так звали старшую дочь * — легла здоровая спать... проснулась ночью больная; к утру умерла холерой... Через несколько дней умерла вторая дочь... мать свезли в больницу. У ней открылась острая чахотка.

— Помнишь ли, ты когда-то мне обещал сказать, когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?

— Смерть, друг мой, смерть.

И она еще раз улыбнулась, впала в забытие и умерла *.



⟨ Г Л А В А ІІІ ⟩
⟨ М О Л О Д А Я Э М И Г Р А Ц И Я ⟩

Едва Кельсиев ушел за порог, новые люди, вытесненные суровым холодом 1863, стучались у наших дверей. Они шли не из готовален наступающего переворота, а с обрушившейся сцены, на которой они уже выступали актерами. Они укрывались от внешней бури и ничего не искали внутри; им нужен был временный приют, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти в бой. Люди эти, очень молодые, покончили с идеями, с образованием; теоретические вопросы их не занимали отчасти оттого, что они у них еще не возникали, отчасти оттого, что у них дело шло о приложении. Они были побиты материально, но дали доказательства своей отваги. Свернувши знамя, им приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тон, *cassant, raide*¹, резкий и несколько поднятый, отсюда военное, нетерпеливое отвращение от долгого об-суживания, критики, несколько изысканное пренебрежение ко всем умственным роскошам, в числе которых ставились на первом плане искусства... Какая тут музыка, какая поэзия! «Отечество в опасности, *aux armes, citoyens!*»^{2*} В некоторых случаях они были отвлеченно правы, но сложного и запутанного процесса уравнивания идеала с существующим они не брали в расчет и, само собой разумеется, свои мнения и воззрения принимали за воззрения и мнения целой России. Винить за это наших молодых штурманов будущей бури было бы

¹ надменный, непреклонный (франц.).— *Ред.*

² к оружию, граждане! (франц.).— *Ред.*

несправедливо. Это — общеюношеская черта. Год тому назад один француз, поклонник Конта *, уверял меня, что католицизм во Франции *не существует*, а *complètement perdu le terrain*¹, и между прочим ссылаясь на медицинский факультет — на профессоров и студентов, которые не только <не> католики, но и <не> деисты.

— Ну, а та часть Франции, — заметил я, — которая не читает и не слушает медицинских лекций?

— Она, конечно, держится за религию и обряды... но больше по привычке и по невежеству.

— Очень верю, но что же вы сделаете с нею?

— А что сделал 1792 год?

— Немного: революция <1792> сначала заперла церкви, а потом отперла. Вы помните ответ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордат *: «Нравится ли тебе церемония?» — спросил консул, выходя из Нотр-Дам, якобинца-генерала. — «Очень, — отвечал он, — жаль только, что недостает двухсот тысяч человек, которые легли костями, чтоб уничтожить подобные церемонии». — «Ah bas!.. мы стали умнее и не отопрём церковных дверей или, лучше, не запрем их вовсе и отдадим капища суеверий под школы».

— *L'infâme sera écrasée*² *, — докончил я, смеясь.

— Да, без сомнения... это верно!

— Но мы-то с вами не увидим этого — это вернее.

В этом взгляде на окружающий мир сквозь подкрашенную личным сочувствием призму лежит половина всех революционных неуспехов. Жизнь молодых людей, вообще идущая в своего рода шумном и замкнутом затворничестве, вдали от будничной и валовой борьбы из-за личных интересов, резко схватывая общие истины, почти всегда срезывается на ложном понимании их приложения к нуждам дня.

...Сначала новые гости оживили нас рассказами о петербургском движении, о диких выходках оперившейся реакции, о процессах и преследованиях, об университетских и литературных партиях... потом, когда все это было передано с той

¹ совершенно потерял почву (франц.). — *Ред.*

² Гадина будет раздавлена (франц.). — *Ред.*

скоростью, с которой в этих случаях торопятся всё сообщить, наступили паузы, гиаузы¹... беседы наши сделались скучны, однообразны...

«Неужели, — думал я, — это в самом деле старость, разводящая два поколения? Холод, вносимый летами, усталю, испытаньями?»

Как бы то ни было, я чувствовал, что с появлением новых людей горизонт наш не расширился... а сузился, диаметр разговоров стал короче; нам иной раз нечего было друг другу сказать. Их занимали подробности их кругов, за границей которых их ничего не занимало. Однажды передавши все интересное об них, приходилось повторять, и они повторяли. Наукой или делами они занимались мало — даже мало читали и не следили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаниями и ожиданиями, они не любили выходить в другие области; а нам недоставало воздуха в этой спертой атмосфере. Мы, избаловавшись другими размерами, задыхались!

К тому же, если они и знали известный слой Петербурга, то России вовсе не знали и, искренно желая сблизиться с народом, сближались с ним книжно и теоретически.

Общее между нами было слишком *обще*. Вместе идти, *служить*, по французскому выражению, вместе что-нибудь делать мы могли, но вместе стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезном влиянии и думать было нечего. Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила². Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но при всей искренности это было не в самом деле. Они ждали, чтоб мы формулировали их собственное мнение, и только в том случае соглашались, когда высказанное нами несколько не противуречило ему. На нас они смотрели как на почтенных

¹ перерывы, пропуски (франц. hiatus).— *Ред.*

² Самолюбие их не было так велико, как задрно и раздражительно, а главное — неводержно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильного требования чиновничанья по рангу, им присвоенному. При этом сами они смотрели на все свысока и постоянно трунили друг над другом, отчего их дружбы никогда не продолжались дольше месяца.

инвалидов, как на прошедшее и наивно дивились, что мы еще не очень отстали от них.

Я всегда и во всем боялся «пуще всех печалей» * *мезальянсов*, всегда их допускал долею по гуманности, долею по небрежности и всегда страдал от них.

Предвидеть было немудрено, что новые связи долго не продержатся, что рано или поздно они разорвутся и что этот разрыв — взяв в расчет шероховатый характер новых приятелей — не обойдется без дурных последствий.

Вопрос, на котором покачнулись шаткие отношения, был именно тот старый вопрос, на котором обыкновенно разрываются знакомства, сшитые гнилыми нитками. — Я говорю о деньгах. Не зная вовсе ни моих средств, ни моих жертв, они делали на меня требования, которые удовлетворять я не считал справедливым. Если я мог через все невзгоды, без малейшей поддержки, провести лет пятнадцать русскую пропаганду, то я мог это сделать, налагая меру и границу на другие траты. Новые знакомые находили, что все делаемое мною мало, и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом и не раздающего своего достояния на дуван людям неработающим, но желающим деньги. Очевидно, они стояли еще на непрактической точке зрения христианской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практический социализм.

Опыты собрания «Общего фонда» не дали важных результатов*. Русские не любят давать денег на общее дело, если при нем нет сооружения церкви, обеда, попойки и высшего одобряющего начальства.

В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды.

Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать.

Для того чтоб понять это, следует рассказать об одном странном случае, бывшем в 1858 году*.

Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого русского; он писал мне, что имеет «необходимость меня видеть», и просил назначить время. Я в это время шел в Лондон, а потому, вместо всякого ответа, зашел

сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все молчал; видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать что.

Я ушел, пригласивши его дни через два-три обедать. Прежде этого я его встретил на улице.

— Можно с вами идти?— спросил он.

— Конечно, — не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик...

— Я не боюсь,— и тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию... нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию...

— Помилуйте, вы так молоды?

— Я Россию люблю, очень люблю; но там люди... там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизовы острова*.

Я смотрел на него с немим удивлением.

— Да... да. Это дело решенное — я плыву с первым парходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос?

— Сколько хотите.

— Имеете вы выгоду от ваших публикаций?

— Какая же выгода? Хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будет окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели?

Я расхохотался.

— Ну, да как же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима... Вы меня простите, я не из любопытства спрашиваю: у меня была мысль — оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее, я и решился... да только прежде хотел знать от вас самих насчет дел... Да-с, так я и решился оставить у вас немного денег. На случай, если

вашей типографии нужно или для русской пропаганды вообще, так вы бы и распорядились.

Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением.

— Ни типография, ни пропаганда, ни я — в деньгах мы не нуждаемся; напротив, дело идет в гору, зачем же я возьму ваши деньги? Но, отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за доброе намеренье.

— Нет-с, это дело решенное. У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.

— Куда же я их дену?

— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, подумавши, — делайте что хотите, но... но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сделайте одолжение, в банк и к Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умею по-английски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и ехать.

— Извольте, я деньги принимаю, но вот на каких основаниях: я вам дам расписку...

— Никакой расписки мне не нужно...

— Да, но мне нужно дать, и без этого ваших денег не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах и у вас явится тоска по родине (он покачал головой)... почему знаешь, чего не знаешь... то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует, а мы скажем, что... деньги эти отдаются в полное распоряжение мое и Огарева; буде же мы иного распоряжения не сделаем, то купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством, в 5% или около. Затем, даю вам слово, что без явной крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем; вы на них можете считать во всех случаях, кроме банкротства в Англии*.

— Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их... а завтра едем за деньгами.

Следующий день был необыкновенно смешон и суетлив. Началось с банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнациями. Б<ахметев> возымел сначала благое намерение разменять их на *испанское* золото или серебро. Конторщики Рот<шильда> смотрели на него с изумлением, но когда вдруг, как спросонья, он сказал совершенно ломаным франко-русским языком: «Ну, так летр креди иль Маркиз»¹, тогда Кестнер, директор бюро, обернул на меня испуганный и тоскливый взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли?» К тому же никто еще никогда в доме у Ротшильда не требовал кредитива на Маркизские острова.

Решились тридцать тысяч взять золотом и ехать домой; по дороге заехали в кафе,— я написал расписку; Б<ахметев>, с своей стороны, написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огар<ева> восемьсот фунтов. Потом он ушел зачем-то домой, а я отправился его ждать в книжную лавку; через четверть часа он пришел бледный, как полотно, и объявил, что у него из 30 000 недостает 250 фр. т. е. 10 liv. Он был совершенно сконфужен. Как потеря 250 фр. могла так перевернуть человека, отдававшего без всякой серьезной гарантии 20 т.,— опять психологическая загадка природы человеческой.

— Нет ли лишней бумажки у вас?

— Со мной денег нет, я отдал Rothschild'у, и вот расписка: ровно 800 фунтов получено.

Б<ахметев>, разменявший без всякой нужды на фунты свои ассигнации, рассыпал на конторке Тх<оржевского> 30 000; считал, пересчитывал, — нету 10 фунтов, да и только. Видя его отчаянье, я сказал Тхор<жевскому>:

— Я как-нибудь на себя возьму эти проклятые десять фунтов, а то он же сделал доброе дело, да он же и наказан.

— Горевать и толковать тут не поможет,— прибавил я ему, — я предлагаю ехать сейчас к Ротшильду.

Мы поехали. Было уже позже четырех, и касса заперта. Я Изшел с сконфуженным Б<ахметевым>. Кестнер посмотрел

¹ аккредитив на Маркизские острова (искаж. франц.).— *Ред.*

на него и, улыбаясь, взял со стола десятифунтовую ассигнацию и подал ее мне.

— Это каким образом?

— Ваш друг, меняя деньги, дал вместо двух 5-фунтовых две десятифунтовые ассигнации, а я сначала не заметил.

Б<ахметев> смотрел, смотрел и прибавил:

— Как глупо: одного цвета и 10 фунтов и 5 фунтов,— кто же догадается? Видите, как хорошо, что я разменял деньги на золото.

Успокоившись, он поехал ко мне обедать, а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, пинсель, перевязанная ремнем, и... и *тридцать тысяч франков золотом, завязанные* в толстом фуляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов.

Так ехал этот человек в Маркизские острова.

— Помилуйте,— говорил я ему,— да вас убьют и ограбят, прежде чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги.

— Он полон.

— Я вам сак достану.

Ни под каким видом.

Так и уехал. Я первые дни думал: «Чего доброго, его укошат, а на меня падет подозрение, что подослал его убить».

С тех пор об нем не было ни слуху ни духу. Деньги его я положил в фонды с твердым намерением не касаться до них без крайней нужды типографии или пропаганды.

В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи... чему мы обязаны двум-трем нашим приятелям, давшим слово не говорить об этом. Наконец узнали, что деньги действительно есть и хранятся у меня*.

Весть эта пала каким-то яблоком искушения, каким-то хроническим возбуждением и ферментом. Оказалось, что деньги эти нужны всем, а я их не давал. Мне не могли простить, что я не потерял всего своего состояния, а тут у меня депо¹, данный для пропаганды; а кто же пропаганда,

¹ вклад (франц. dépôt).— *Ред.*

«как не они? Сумма вскоре выросла из скромных франков в рубли серебром и дразнила еще больше желавших сгубить ее *частно* на общее дело. Негодовали на Б<ахметева>, что он мне деньги вверил, а не кому-нибудь другому; самые смелые утверждали, что это с его стороны была ошибка, что он *действительно хотел* отдать их не мне, а одному петербургскому кругу и что, не зная, как это сделать, отдал в Лондоне мне. Отважность в этих суждениях была тем замечательнее, что о фамилии В<ахметева> так же никто не знал, как и о его существовании, и что он о своем предположении ни с кем не говорил до своего отъезда, а после его отъезда с ним никто не говорил.

Одним деньги эти нужны были для посылки эмиссаров, другим для образования центров на Волге, третьим для издания журнала. «Колоколом» они были недовольны и на наше приглашение работать в нем что-то поддавались туго.

Я решительно денег не давал, и пусть требовавшие их сами скажут, где они были бы, если б я дал.

— Б<ахметев>, — говорил я, — может воротиться без гроша; трудно сделать аферу, заводя социалистическую колонию на Маркизских островах.

— Он наверное умер.

— А как, назло вам, жив?

— Да ведь он деньги эти дал на пропаганду.

— Пока мне на нее не нужно.

— Да нам нужно.

— На что именно?

— Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь в Одессу.

— Не думаю, чтоб очень нужно было.

— Так вы не верите в необходимость послать?

— Не верю.

«Старее и становится скуп», — говорили обо мне на разные тоны самые решительные и свирепые. «Да что на него смотреть — взять у него эти деньги да и баста», — прибавляли еще больше решительные и свирепые. «А будет упираться, мы его так продернем в журналах, что будет помнить, как задерживать чужие деньги».

Денег я не дал.

В журналах они не продергивали. Ругательства в печати являются гораздо позже, но тоже из-за денег.

...Эти *более свирепые*, о которых я сказал, были те ультра, те угловатые и шершавые представители «нового поколения», которых можно назвать *Собакевичами и Ноздревыми нигилизма*.

Как ни излишне делать оговорку, но я ее сделаю, зная логику и манеру наших противников. В моих словах нет ни малейшего желания бросить камень ни в молодое поколение, ни в нигилизм. О последнем я писал много раз. Наши Собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения их, а представляют их чересчурную крайность¹. Кто же станет христианство судить по Оригеновым хлыстам и революцию по сентябрьским мясникам и робеспьеровским чулочницам? *

Заносчивые юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временной *тип*, очень определенно вышедший, очень часто повторявшийся, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя.

Большей частью они не имели той выправки, которую дает воспитание, и той выдержки, которая приобретается научными занятиями. Они торопились в первом задоре освобожденья сбросить с себя все условные формы и оттолкнуть все каучуковые подушки, мешающие жестким столкновениям. Это затруднило все простейшие отношения с ними.

Снимая все до последнего клочка, наши *enfants terribles*² гордо являлись как *мать родила*, а родила-то она их плохо, вовсе не простыми дебелими парнями, а наследниками дурной и нездоровой жизни низших петербургских слоев. Вместо атлетических мышц и юной наготы обнаружилились печальные следы наследственного худосочья, следы застарелых язв и различного рода колодок и ошейников. Из народа было мало выходцев между ними. Передняя, казарма, семинария, мелкопоместная

¹ В то самое время в Петербурге и Москве, даже в Казани и Харькове образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшие себя изучению науки, особенно между медиками. Честно и добросовестно трудились они, но, устранные от бойкого участия в вопросах дня, они не были вынуждены покидать России, и мы их почти все не знали.

² сорванцы (франц.).— *Ред.*

господская усадьба, перегнувшись в противоположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих. На это, сколько мне известно, не обращали должного внимания.

С одной стороны, реакция против старого, узкого, давившего мира должна была бросить молодое поколение в антагонизм и всяческое отрицание враждебной среды — тут нечего искать ни меры, ни справедливости. Напротив, тут делается назло, тут делается в отместку. «Вы лицемеры — мы будем циниками; вы были нравственны на словах — мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими — мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, — мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести — мы за честь себе поставим поправление всех приличий и презрение всех *points d'honneur*'ов».

Но, с другой стороны, эта отрешенная от обыкновенных форм общежителства личность была полна своих наследственных недугов и уродств. Сбрасывая с себя, как мы сказали, все покровы, самые отчаянные стали щеголять в костюме гоголевского Петуха *, и притом не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подъяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они остались чужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, строкулистами без места, немцами из русских.

Для полной свободы им надобно забыть свое освобождение и то, из чего освободились, бросить привычки среды, из которой выросли. Пока этого не сделано, мы невольно узнаем переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову.

Бить в рожу по первому возражению, если не кулаком, то ругательным словом, называть Ст. Милля *ракальей* *, забывая всю службу его, — разве это не барская замашка, которая «старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло»? *

Разве в этой и подобных выходках вы не узнаете квартального, исправника, станowego, таскающего за седую бороду бурми-стра? Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и в людях, гово-рящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, — внучат Скалозуба, получивших воспитание в доме дедушки, хотевшего «дать фельдфебеля в Вольтеры»? *

Самая проказа взяток уцелела в домогательстве денег на-храпом, с пристрастием и угрозами, под предлогом общих дел, в поползновении кормиться на счет службы и мстить кляу-зами и клеветами за отказ.

Все это перерабатывается и перемелется; но нельзя не сознаться — странную почву приготовили царская опека и импера-торская цивилизация в нашем «темном царстве». Почву, в ко-торой многообещающие всходы проросли, с одной стороны, по-клонниками Муравьевых и Катковых, с другой — *дантистами* нигилизма и базаровской беспардонной вольницы.

Много дренажа требуют наши черноземы!





〈ГЛАВА IV〉

М. БАКУНИН И ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

В конце ноября мы получили от Бакунина следующее письмо*:
«15 октября 1861. С.-Франсиско. Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско.

Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по *польско-славянскому* вопросу, который был моей *idée fixe* с 1846 и моей *практической специальностью* в 48 и 49 годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю — делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является *славная* вольная *славянская* федерация, единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов...»

О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде.

К Новому году явилась и собственная пышная фигура Бакунина в наших объятиях.

В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз взошел новый элемент, или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом. дух его был молод и восторжен, как в Москве во время «всенощных» споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же

способен увлечься, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революций, среди разгрома и грозной обстановки¹. Он и теперь, как в статьях Жюль Элизара, повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust»² *. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне* в 1849 *, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целостности. Даже язык его напоминал лучшие статьи «Реформы» и «Vraie République», резкие речи de la Constituante³ и клуба Бланки. Тогдашний дух партий, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции — все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят; они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания. Декабристы возвратились из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая их встретила. В то время как два поколения французов несколько раз менялись, краснели и бледнели, поднимаемые приливами и уносимые назад отливами, Барбес и Бланки остались бессменными маяками, напоминавшими из-за тюремных решеток, из-за чужой дали прежние идеалы во всей чистоте.

«Польско-славянский вопрос... разрушение Австрийской империи... вольная славянская и славная федерация...» И все это сейчас, как только он приедет в Лондон... и пишется из С.-Франсиско — одна нога в корабле!

Европейская реакция не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858 — они ему были известны вкратце, издалека, слегка. Он их прочел в Сибири — так, как читал в Кайданове о Пунических войнах и о падении

¹ О Бакунине в IV «Былого и дум», в главе «Сазонов».

² «Страсть к разрушению — страсть созидательная» (нем.).— *Ред.*

³ Учредительного собрания (франц.).— *Ред.*

Римской империи. Как человек, возвратившийся после мора, он слышал, кто умер, и вздохнул об них обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 были возле, близки к сердцу, подробные и живые... разговоры с Косидьером, речи славян на Пражском съезде *, споры с Араго или Руге — все это было для Бакунина вчера, звенело в ушах, мелькало перед глазами.

Впрочем, оно и, сверх тюрьмы, немудрено.

Первые дни после Февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речь на польской годовщине 29 ноября 1847 *, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними... и проповедовал... все проповедовал: коммунизм *et l'égalité du salaire*¹, нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революцию *en permanence*², войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший «порядок из беспорядка», Косидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его в самом деле к славянам * с братской акколадой³ и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. «*Quel homme! Quel homme!*⁴, — говорил Косидьер о Бакунине. — В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять»⁵.

Когда я приехал в Париж из Рима, в начале мая 1848, Бакунин уже витийствовал в Богемии, окруженный староверческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витийствовал до тех пор, пока князь Виндишгрец не положил

¹ и равенство заработной платы (франц.).— *Ред.*

² непрерывную (франц.).— *Ред.*

³ объятием (франц. *accolade*).— *Ред.*

⁴ «Что за человек! Что за человек!» (франц.).— *Ред.*

⁵ — Скажите Косидьеру, — говорил я шутя его приятелям, — что тем-то Бакунин и отличается от него, что и Косидьер славный человек, но что его лучше бы расстрелять накануне революции. Впоследствии, в Лондоне в 1854 году, я ему помянул об этом. Префект в изгнании только ударял огромным кулаком своим в молодецкую грудь с той силой, с которой вбивают сваи в землю, и говорил: «Здесь ношу Бакунина... здесь!»

пушками предел красноречия (и не воспользовался хорошим случаем, чтоб по сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены)*. Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов... советует им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet¹, чтоб осмелились стрелять по Рафаэлю.

Артиллерия ему вообще помогала. По дороге из Парижа в Прагу он наткнулся где-то в Германии на возмущение крестьян,— они шумели и кричали перед замком, не умея ничего сделать. Бакунин вышел из повозки и, не имея времени узнать, в чем дело, построил крестьян и так ловко научил их, что, когда пошел садиться в повозку, чтоб продолжать путь, замок вылаз с четырех сторон.

Бакунин когда-нибудь переломит свою лень и сдержит обещание: он когда-нибудь расскажет длинный мартиролог, начавшийся для него после взятия Дрездена. Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король саксонский заменил топор вечной тюрьмой, потом, без всякого основания, передал его в Австрию. Австрийская полиция думала от него узнать что-нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Градчин и, ничего не добившись, отослали его в Ольмюц. Бакунина, скованного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который <сел> с ним в повозку, зарядил при чем пистолет.

— Это для чего же?— спросил Бакунин.— Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?

— Нет, но вас могут отбить ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае...

— Что же?

— Мне приказано посадить вам пулю в лоб.

И товарищи поскакали.

В Ольмюце Бакунина *приковали к стене* и в этом положении он пробыл *полгода*. Австрии наконец наскучило даром кормить

¹ образованы в слишком классическом духе (нем.).— *Ред.*

чужого преступника; она предложила России его выдать. Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи — об этом акте милосердия я слышал много раз; действительно, цепи с него сняли, но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжелее. Офицер австрийский, сдавши арестанта, потребовал цепи как казенную к. к.¹ собственность.

Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский рavelин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку, эту он требовал «не как царь, а как духовник». Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово «духовник»: в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать, — эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный *leading article*²*. Николай и этим был доволен. «Он умный, и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать назаперти», и *три целых года* после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском рavelине. Содержание, должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишиться себя жизни. В 1854 Бакунина перевели в Шлюссельбург. Николай боялся, что Чарльз Нефир его освободит, но Чарльз Нефир и С-пе освободили не Бакунина от рavelина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милостей и великодушный, оставил Бакунина в крепости до 1857, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после девятилетнего заключения. Начальником края был там, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михайлы Бакунина и Михайлы Муравьева и сам Муравьев, тогда еще не Амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и

¹ императорско-королевскую (нем. kaiserlich-königliche).— *Ред.*

² передовую статью.— *Ред.*

газеты, и сам мечтал с ним... о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества.

В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию; государь сказал, что «при жизни его Бакунина из Сибири не переведут», но, чтоб и она не осталась без утешенья и царской милости, он разрешил ему *вступить в службу писцом*.

Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст императора, решился бежать; я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. Девяти лет каземата и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова? * А что какой-нибудь Курсаков получил выговор...* об этом не стоит и говорить. Жаль, что не два.

Бегство Бакунина замечательно пространствами, это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Гакодади (?) другой американский капитан взялся его довести до С.-Франсиско. Бакунин отправился к нему на корабль и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде; он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и, только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул.

Скрываться было поздно, опасно, смешно... он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву.

— Вы не с нашими ли возвращаетесь? — спросил консул.

— Я только что приехал, — отвечал Бакунин, — и хочу еще посмотреть край.

Вместе покушавши, они разошлись en bons amis¹. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры... Кроме океана, опасности больше не было.

Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, т. е. перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. С страстью проповедования, агитации... пожалуй, демагогии, с беспрерывными усилиями учреждать, устраивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погнубнуть, отвлага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей не удел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий...

Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества — крупны: Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни?

Говорят, будто И. Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине... но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина.

В Лондоне он, во-первых, стал *революционировать* «Колокол» и говорил в 1862 против нас почти то, что говорил в 1847 про Белинского. Мало было пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае, — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные

¹ добрыми друзьями (франц.).— *Ред.*

средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке — Иоанович, Данилович, Петрович; были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным *еско* на конце; наконец, был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий... бонапартовской, мерославской, чарторижской... демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком; социалисты-католики, анархисты-аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться, в Северной или Южной Америке... и преимущественно в Польше.

Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, оставшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать — пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Среди письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата... и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой.

В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный *bohème* с *gîte de Bourgoigne*¹; без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам <готов> отдать всякому последние деньги, отделив от них что

¹ богема с Бургундской улицы (франц.).— *Ред.*

следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил; он родился быть великим бродягой, великим бездомником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Ланд Наполеону о боге: «Sige, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве!»

В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан¹.

Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи *родины*, т. е. студентской жизни в Москве, — груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая... с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Грессе, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения.

Долго после отъезда Бакунина из Лондона — № 10 Paddington green — рассказывали об его житье-бытье, ниспровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его.

— Вчера, — говорит Бакунину один из его друзей, — приехал такой-то из России; прекраснейший человек, бывший офицер..

— Я слышал об нем, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непременно, да что привести! Где он? Сейчас!

— Он, кажется, несколько конституционалист.

— Может быть, но...

¹ Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали, и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал: «Это, Олександр Иванович, — большая Лиза, как же на нее сердиться — дитя!»

- Но, я знаю, рыцарски отважный и благородный человек.
- И верный?
- Его очель уважают в Orsett House'e*.
- Идем.

— Куда же? Ведь он хотел к вам прийти, мы так сговорились — я его приведу.

Бакунин бросается писать; пишет, кой-что перемарывает, переписывает и надписывает в Яссы, запечатывает пакет и в беспокоестве ожидания начинает ходить по комнате ступней, от которой и весь дом 10 № Paddington green ходит ходнем с ним вместе.

Является офицер — скромно и тихо. Бакунин le met à l'aise¹, говорит, как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает:

— Вы, наверно, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?..

— Без сомнения...

— Вас здесь ничего не удерживает?..

— Ничего; я только что приехал... я...

— Можете вы ехать завтра, послезавтра с этим письмом в Яссы?

Этого не случилось с офицером ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира, однако, привыкший к военному послушанию, он, помолчавши, говорит не совсем своим голосом:

— О, да!

— Я так и знал. Вот письмо совсем готовое.

— Да я хоть сейчас... только... — офицер конфузится, — ...я никак не рассчитывал на эту поездку.

— Что? Денег нет? Ну, так и говорите. Это ничего не значит. Я возьму для вас у Герцена — вы ему потом отдадите. Что тут... всего... всего какие-нибудь 20 liv. Я сейчас напишу ему. В Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек...

Пораженный, удивленный офицер и его сопутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. Маленькая девочка, быв-

¹ усаживает его поудобнее (франц.).— *Ред.*

шая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад en losange¹, чтоб чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

— Скажите высокому gentleman'у, что я лично с ним переговорю.

Действительно, переписка оказывается излишней: к обеду, т. е. через час, является Бакунин.

— Зачем двадцать фунтов для **?

— Не для него, для *дела*... а что, брат, ** — прекраснейший человек!

— Я его знаю несколько лет — он бывал прежде в Лондоне.

— Это такой случай... пропустить его грешно, я его посылаю в Яссы. Да потом он осмотрит Кавказ!

— В Яссы?.. И оттуда на Кавказ?

— Ты пойдешь сейчас острить... Каламбурами ничего не докажешь...

— Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах.

— Ты почему знаешь?

— Знаю потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было, ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек... молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность, — ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку — а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка, зачем?

— Какой любопытный. Ты в эти дела со мной не входишь — какое же ты имеешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этот секрет ты скроешь ото всех... ну, а только денег давать на гонцов в Яссы и Букарест я нисколько не намерен.

— Ведь он отдаст — у него деньги будут.

— Так пусть умнее употребит их; полно, полно — письмо пошлешь с каким-нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдем есть.

И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-

¹ в ромбиках (франц.).— *Ред.*

таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: «Теперь настала счастливая минута» — и закуривал папироску.

Бакунин принимал всех, всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж два-три славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате; он тяжело вставал, обливался водой и в ту же минуту принимался их поучать; никогда не скучал он, не тяготился ими; он мог не уставая говорить со свежей головой с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда пресмешные вещи.

Бакунин вставал поздно — нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью

— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.

— Русский.

— Ваша фамилия?

— Такой-то.

— Очень рад.

— Что вы это так поздно встаете — а еще демократ...

...Молчание... слышен плеск воды... каскады.

— Михаил Александрович!

— Что?

— Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?

— Да.

— Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности — вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить... примером.

— Что вы за вздор несете...

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вам что за дело?

— У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата¹.

— Что вы это — допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!

¹ Бакунин ничего не взял за невестой.

— Ну, вот вы и рассердились — а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки найду.

— Хорошо, хорошо — только будьте умнее.

...Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондоне Потенбю. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану, он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и — все-таки идти своей дорогой. Чаше и чаще являлись поляки из края: их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву — прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потенбю и его товарищей, — говорил я Бакунину, — и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками...

— По дороге, по дороге, — возражал Бакунин. — Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.

Бакунин помолодел — он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады — он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспанных ночей, переговоров, договоров, ректификаций¹, шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями *елки*, у меня на сердце скреблись кошки — я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел.

Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так; с другой — готовность поступать совсем иначе. Эта шаткость, эта неспетость, dieses Zögern² наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили

¹ исправлений (франц. rectification). — *Ред.*

² эта нерешительность (нем.). — *Ред.*

даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной; я делал промахи à contre-cœur¹ — вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849*. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость движенья и его бессилие, народное равнодушие, освидрелость реакции и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли.

Сколькими несчастиями было бы меньше в моей жизни... сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя... Меня упрекали в увлекающемся характере... Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобовпечатлительности, я тотчас останавливался — мысль, рефлексия и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи, почему я давал себя вести *volens-volens*²... Причиной быстрой сговорчивости был ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения — любви, дружбы, снисхождения... но почему же все это побеждало логику?..

...После похорон Ворцеля, 5 февраля 1857, когда все провожавшие разбрелись по домам, и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос: не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющим началом при беспрерывно возникавших недоразумениях, исчезла, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими, но вообще одинакового пониманья между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, *добросовестно* неоткровенны, мы делали друг другу уступки, т. е. ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы.

Договориться до одинакого пониманья было невозможно.

¹ поневоле (франц.).—*Ред.*

² волей-неволей (лат.).—*Ред.*

Мы шли с разных точек — и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью. Идеал поляков был *за ними*: они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У них была бездна мощей, а у нас — пустые колыбели. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаяния, сколько яркой веры.

Они ищут воскресения мертвых — мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышления, упования не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то *mésalliance*'ом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины — мы сознавали свою косвенную вину, мы любили их отвагу и уважали их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь с нами, они делали для нескольких русских почетное исключение.

В острожной темноте николаевского царствования, сидя назаперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного протворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После Крымской кампании мы радостно вздохнули — а их наша радость оскорбила: новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований, мы рвались вперед, готовые все ломать... у них — с панихид и упокойных молитв.

Но правительство второй раз нас слаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятым и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам замолкли все вопросы, стерлись все различия... Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков*.

Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово*, в Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный четырьмястами изгнанников, к которому присылались подписи отовсюду, даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже — и рознь, резкая рознь бросалась в глаза.

...Раз у меня сидели Ксаверий Браницкий, Хоецкий и еще кто-то из поляков — все они были проездом в Лондоне и захотели пожать мне руку за статьи. Зашла речь о выстреле в Константина *.

— Выстрел этот,— сказал я,— страшно повредит вам. Может, правительство и уступило бы кое-что — теперь оно ничего не уступит и сделается вдвое свирепее.

— Да мы только этого и хотим! — заметил с жаром Ш.-Э. * — Для нас нет хуже несчастья, как уступки... мы хотим разрыва... открытой борьбы.

— Желаю от души, чтоб вы не раскаялись.

Ш.-Э. иронически улыбнулся, и никто не прибавил ни слова. Это было летом 1861. А через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь *через Петербург* в Польшу *.

Кости были брошены!..

Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы, да *верило и само правительство*—как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм.

Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами, а желанием. Он *хотел* верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украина восстанут, как один человек, услышав о Варшаве; он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтоб узаконить раскол.

В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому приналежал Потебня, росло и крепло,— в этом сомнения не могло быть; но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин...

· Как-то в конце сентября пришел ко мне Бакунин особенно озабоченный и несколько торжественный.

— Варшавский Центральный комитет,— сказал он,— прислал двух членов, чтоб переговорить с нами. Одного из них ты знаешь — это Падлевский; другой — Гиллер, закаленный

боец,— он из Польши прогулялся в кандалах до рудников и, только что возвратился, снова принялся за дело *. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня — надобно окончательно определить наши отношения.

Тогда набирался мой ответ офицерам¹.*

— Моя программа готова — я им прочту мое письмо.

— Я согласен с твоим письмом, ты это знаешь... но не знаю, все ли понравится им; во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало.

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух *. Я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или с адвокатами, трепещущими, чтоб их клиент не проврался бы и не испортил бы всей *игры защиты*, хорошо налаженной, если не по всей правде, то к успешному концу.

Я видел по лицам, что Бакунин угадал и что чтение не то чтоб особенно понравилось.

— Прежде всего,— заметил Гиллер,— мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета.

Читал М<илович>; документ этот, известный читателям «Колокола» *, *был написан по-русски* — не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил,— *это неправда*. Все трое говорили хорошо по-русски.

Смысл акта состоял в том, чтоб через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий *«признание <права> крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой»*. Это заявление, говорил М., обязывало меня смягчить вопросительную и «сомневающуюся» форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им с своей стороны посильнее оттенить и яснее высказать мысль об samozаконности провинций — они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было *одинаково*.

На другой день утром Бакунин уже сидел у меня. Он был

¹ «Колокол», 1862.

недоволен мной, находил, что я слишком холоден, как будто не доверяю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не делали таких уступок. — Они выражаются другими словами, принятыми у них, как катехизис; нельзя же им, подымая национальное знамя, на первом шаге оскорбить раздражительное народное чувство...

— Мне все кажется, что им до крестьянской земли, в сущности, мало дела, а до провинций слишком много.

— Любезный друг, у тебя в руках будет документ, поправленный тобой, подписанный при всех нас, чего же тебе еще?

— Есть-таки кое-что.

— Как для тебя труден каждый шаг — ты вовсе не практический человек.

— Это уже прежде тебя говорил Сазонов.

Бакунин махнул рукой и пошел в комнату к Огареву. Я печально смотрел ему вслед; я видел, что он запил свой революционный запой и что с ним не столкнешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения. За восстанием в Варшаве он уже видел свою «славную и славянскую» федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением... он уже видел красное знамя «Земли и воли» развевающимся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости — и *торопился* сгладить *как-нибудь* затруднения, затушевать противуречия, не выполнить овраги, а бросить через них *чертов мост*.

— Ты точно дипломат на Венском конгрессе, — повторял мне с досадой Бакунин, когда мы потом толковали у него с представителями жонда, — придираешься к словам и выражениям. Это — не журнальная статья, не литература.

— С моей стороны, — заметил Гиллер, — я из-за слов спорить не стану; меняйте, как хотите, лишь бы главный смысл остался тот же

— Bravo, Гиллер! — радостно воскликнул Бакунин.

«Ну, *этот*, — подумал я, — *приехал* подкованный и полетному и на шипы, он ничего не уступит на деле и оттого так легко уступает все на словах».

Акт поправили, члены жонда подписались; я его послал в типографию.

Гиллер и его товарищи были убеждены, что мы представляли заграничное средоточие целой организации, зависящей от нас и которая по нашему приказу примкнет к ним или нет. Для них действительно дело было *не в словах* и не в теоретическом согласии, свое *profession de foi* они всегда могли отменить толкованиями — так, что его яркие цвета пропали бы, полиняли и изменились.

Что в России клались первые ячейки *организации*, в этом не было сомнения — первые волокны, нити были заметны простому глазу; из этих нитей, узлов *могла* образоваться при тишине и времени обширная ткань — все это так, *но ее не было*, и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины.

Вот это-то я и сказал, отправив печатать письмо Комитета, Гиллеру и его товарищам, говоря им о несвоевременности их восстания. Падлевский слишком хорошо знал Петербург, чтоб удивиться моим словам, хотя и *уверял меня*, что сила и разветвления общества «Земли и воли» идут гораздо дальше, чем мы думаем; но Гиллер призадумался.

— Вы думали, — сказал я ему, улыбаясь, — что мы сильнее... Да, Гиллер, вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, т. е. она может сейчас улетучиться; мы сильны *сочувствием* к нам, унисоном с своими. Организации, которой бы мы сказали: «Иди направо или налево», — *нет*.

— Да, любезный друг... однако же .. — начал Бакуниц, ходивший в волнении по комнате.

— Что же, разве *есть*? — спросил я его и остановился.

— Ну, это как ты хочешь назвать; конечно, если взять внешнюю форму... это совсем не в русском характере... Да видишь...

— Позволь же мне кончить — я хочу пояснить Гиллеру, почему я так настаивал на слова. Если в России на вашем знамени не увидят *надел земли и волю провинциям*, то наше сочувствие *вам не принесет никакой пользы, а нас погубит*... потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца; у нас, оно, может, бьется посильнее и потому ушло секундой вперед,

чем у друзей наших, но они связаны с нами сочувствием, а не службой!

— Вы будете нами довольны,— говорили Гиллер и Падлевский.

Через день двое из них отправились в Варшаву, третий уехал в Париж *.

Наступило затишье перед грозой. Время томное, тяжелое, в которое все казалось, что туча пройдет, а она все приближалась; тут явился указ о «подтасованном» наборе * — это была последняя капля; люди, еще останавливавшиеся перед решительным и невозвратным шагом, рвались на бой. Теперь и *белые* стали переходить на сторону движения *.

Приехал опять Падлевский. Подождали дни два. Набор не отменялся. Падлевский уехал в Польшу.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского *, о которой тогда никто не думал). Мельком <явился> Потенбня и исчез вслед за Бакуниным *.

В то же время, как Потенбня, приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от «Земли и воли» *. Он с негодованием рассказывал, как поляки, пригласившие его в Варшаву, ничего не сделали. Он был первый русский, видевший начало восстания. Он рассказал об убийстве солдат, о раненом офицере, который был членом общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали с ожесточением бить поляков. Падлевский — главный начальник в Ковно — рвал волосы... но боялся явно выступить против своих.

Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться *агентами* общества «Земли и воли». Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина, но и Огарева... Я сказал, что мне не нравится это битое французское название. Уполномоченный трактовал нас так, как комиссары Конвента 1793 трактовали генералов в дальних армиях. Мне и это не понравилось.

— А много вас? — спросил я.

— Это трудно сказать... несколько сот человек в Петербурге и *тысячи три* в провинциях.

— Ты веришь? — спросил я потом Огарева.

Он промолчал.

— Ты веришь? — спросил я Бакунина.

— Конечно, *он* прибавил... ну, *нет теперь столько, так будут потом!* — И он расхохотался.

— Это другое дело.

— В том-то все и состоит, чтоб поддержать слабые начинания; если б они были крепки, они и не нуждались бы в нас... — заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

— Они так и должны бы были явиться перед нами — откровенно слабыми... желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость... — прибавил Бакунин и уехал в Швецию.

А вслед за ним уехал и Потемня. Удручительно горестно я простился с ним — я ни одной секунды не сомневался, что он прямо идет на гибель *.

...За несколько дней до отъезда Бакунина пришел Мартьянов, бледнее обыкновенного, печальнее обыкновенного; он сел в углу и молчал. Он страдал по России и носился с мыслью о возвращении домой. Шел спор о восстании. Мартьянов слушал молча, потом встал, собрался идти и вдруг, остановившись передо мной, мрачно сказал мне:

— Вы не сердитесь на меня, Александр Иванович, — так ли, иначе ли, а «Колокол»-то вы порешили. Что вам за дело мешаться в польские дела... Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское — не ваше. Не пожалели вы нас, бог с вами, Александр Иванович. Попомните, что я говорил. Я-то сам не увижу — я ворочусь домой. Здесь мне нечего делать.

— Ни вы не поедете в Россию, ни «Колокол» не погиб, — ответил я ему.

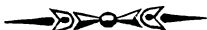
Он молча ушел, оставляя меня под тяжелым гнетом второго пророчества и какого-то темного сознания, что что-то ошибочное сделано.

Мартьянов, как сказал, так и сделал: он воротился весной 1863 и пошел умирать на каторгу, сосланный своим «земским царем» за любовь к России, за веру в него.

К концу 1863 года расход «Колокола» с 2500, 2000 сошел на 500 и ни разу не подымался далее 1000 экземпляров.

Шарлотта Корде из Орла и Даниил из крестьян *были правы!* *

(Пис<ано> в конце 1865 в Montreux и Лозанне)



〈ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЯ К КОМИТЕТУ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ〉

Друзья,

С глубокой любовью и глубокой печалью провожаем мы к вам вашего товарища; только тайная надежда, что *это* восстание будет отложено, сколько-нибудь успокаивает и за вашу участь и за судьбу *всего дела*.

Мы понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию, какое бы оно ни было; вы искупите собой грех русского императорства; да сверх того, оставить Польшу на побиение, без всякого протеста со стороны русского войска, также имело бы свою вредную сторону безмолвно-покорного, безнравственного участия Руси в петербургском палачестве.

Тем не менее ваше положение трагично и безвыходно. Шанса на успех мы никакого не видим. Даже если б Варшава на один месяц была свободна, то оказалось бы только, что вы заплатили долг своим участием в движении *национальной независимости*, но что воздвигнуть русского, социального знамени *Земли и воли* — Польше не дано, а вы слишком мало-численны.

При теперешнем преждевременном восстании Польша, очевидно, погибнет, а русское дело надолго потонет в чувстве народной ненависти, идущей в связь с преданностью царю, — и воскреснет только после, долго после, когда ваш подвиг перейдет в такое же преданье, как 14 декабря, и взволнует умы поколения, теперь еще не зачатого.

Вывод отсюда ясен: отклоните восстание до лучшего

времени *соединения сил*, отклоните его всем вашим влиянием на польский комитет и влиянием на само правительство, которое со страха еще может отложить несчастный набор, отклоните всеми средствами, от вас зависящими.

Если ваши усилия останутся бесплодными, тут больше делать нечего, как покориться судьбе и принять неизбежное мученичество, хотя бы его последствием был застой России на десятки лет. По крайней мере сберегите, по возможности, людей и силы, чтоб из несчастного, проигранного боя оставались элементы для будущей отдаленной победы.

Если же вы успеете и восстание будет отложено, тогда вы должны начертить себе твердую линию поведения и не уклоняться от нее.

Тогда вам надо иметь одно в виду — делать общее русское дело, а не исключительно польское. Составить целую неразрывную цепь тайного союза во всех войсках, во имя *Земли и воли* и Земского собора, как сказано в вашем письме к русским офицерам. Для этого надо, чтоб русский офицерский комитет стал самобытно; поэтому центр его должен быть вне Польши. Вы должны вне себя организовать центр, которому сами подчинитесь; тогда вы будете командовать положением и поведете стройно организацию, которая придет к восстанию не во имя исключительно польской национальности, а во имя *Земли и воли*, и которая придет к восстанию не вследствие минутных потребностей и тогда, когда все силы рассчитаны и успех несомнителен.

Для нас этот план так ясен, что вы не можете не сознавать того, что надо делать.

Добейтесь его, каких бы трудов оно ни стоило.

Н. Огарев.

Друзья и братья.— Строки, писанные другом нашим, Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннею и бесконечною преданностью к великому делу нашего народного да общеславянского освобождения. Нельзя не согласиться с ним, что общему мерному ходу славянского и в особенности русского поступательного движения преждевременное и частное восстание Польши грозит перерывом. Признаться надо, что,

при настоящем настроении России и целой Европы, надежд на успех такого восстания слишком мало — и что поражение партии движения в Польше будет иметь непременно последствием временное торжество царского деспотизма в России.— Но, с другой стороны, положение поляков до того невыносимо, что вряд ли у них станет надолго терпения. Само правительство гнусными мерами систематического и жестокого притеснения вызывает их, кажется, на восстание, отложить которое было бы по этому самому столько же нужно для Польши, как и необходимо для России.— Отложение его до более дальнего срока было бы без всякого сомнения и для них и для нас спасительно. К этому вы должны устремить все усилия свои, не оскорбляя однако ни их священного права, ни их национального достоинства. Уговаривайте их сколько можете и доколь обстоятельства позволяют, но вместе с тем не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми к решительной минуте,—и когда выведенные из последней меры и возможности терпения наши несчастные польские братья встанут, встаньте и вы не против них, а за них,— встаньте во имя русской чести, во имя славянского долга, во имя русского народного дела с кликом: *«Земля и воля»*.— И если вам суждено погибнуть, сама гибель ваша послужит общему делу. А бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш, в противоположность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом?..

Что ж до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь.— Прощайте, и может быть, до скорого свидания.

М. Б а к у н и н.



〈ГЛАВА V〉

ПАРОХОД «WARD JACKSON» R. WEATHERLEY & C^o

I

Вот что случилось месяца за два до польского восстания. Один поляк, приезжавший ненадолго из Парижа в Лондон, Иосиф Сверцкевич, по приезде в Париж был схвачен и арестован вместе с Хмелинским и Миловичем, о котором я упомянул при свиданье с членами жонда *.

Во всей арестации было много странного. Хмелинский приехал в десятом часу вечера, он никого не знал в Париже и прямо отправился на квартиру Миловича. Около одиннадцати явилась полиция.

— Ваш пасс, — спросил комиссар Хмелинского.

— Вот он, — и Хмелинский подал исправно визированный пасс на другое имя.

— Так, так, — сказал комиссар, — я знал, что вы под этим именем. Теперь вашу портфель? — спросил он Сверцкевича.

Она лежала на столе — он вынул бумаги, посмотрел и, передавая своему товарищу небольшое письмо с надписью Е. А., прибавил:

— Вот оно!

Всех трех арестовали, забрали у них бумаги, потом выпустили. Дольше других задержали Хмелинского — для полицейского изящества им хотелось, чтоб он назвался своим именем. Он им не сделал этого удовольствия — выпустили и его через неделю.

Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс *, прокурор в числе обвинительных документов представил бумаги, присланные из русской полиции и принадлежавшие Сверцек(евичу). На возникший вопрос, каким образом бумаги эти очутились в России, прокурор спокойно объяснил, что, когда Сверц(екевич) был под арестом, некоторые из его бумаг были сообщены французской полицией русскому посольству.

Выпущенным полякам велено было оставить Францию — они поехали в Лондон. В Лондоне он сам рассказывал мне подробности ареста и, по справедливости, всего больше дивился тому, что комиссар знал, что у него есть письмо с надписью Е. А. Письмо это из рук в руки ему дал Маццини и просил его вручить Этьенну Араго.

— Говорили ли вы кому-нибудь о письме? — спросил я.

— Никому, решительно никому, — отвечал Св(ерцекевич).

— Это какое-то колдовство — не может же пасть подозрение ни на вас, ни на Маццини. Подумайте-ка хорошенько. Св(ерцекевич) подумал.

— Одно знаю я, — заметил он, — что я выходил на короткое время со двора и, помнится, портфель оставил в незапертом ящике.

— Clewd! Clewd!¹ Теперь позвольте, где вы жили?

— Там-то, в furnished apartments².

— Хозяин англичанин?

— Нет, поляк.

— Еще лучше. А имя его?

— Тур — он занимается агрономией.

— И многим другим, коли отдает меблированные квартиры. Тура этого я немного знаю. Слыхали вы когда-нибудь историю о некоем Михаловском?

— Так, мельком.

— Ну, я вам расскажу ее. Осенью 57 года я получил через Брюссель письмо из Петербурга. Незнакомая особа извещала

¹ Найдено! Найдено! (англ.). — *Ред.*

² в меблированных комнатах (англ.). — *Ред.*

меня со всеми подробностями о том, что один из сидельцев у Трюбнера, Михаловский, предложил свои услуги III отделению шпионить за нами, требуя за труд 200 фунтов, что в доказательство того, что он достоин и способен, он представлял список лиц, бывших у нас в последнее время, и обещал доставить образчики рукописей из типографии. Прежде чем я хорошенько обдумал, что делать, я получил *второе письмо* того же содержания через дом Ротшильда.

В истине сведения я не имел ни малейшего сомнения. Михаловский, поляк из Галиции, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говоривший на четырех языках, имел все права на звание шпиона и ждал только случая *roug se faire valoir*¹.

Я решился схать с Огар<евым> к Трюбнеру и уличить его, сбить на словах и во всяком случае прогнать от Трюбнера. Для большей торжественности я пригласил с собой Пианчиани и двух поляков. Он был нагл, гадок, запирался, говорил, что шпион — Наполеон Шестаковский, *который жил с ним* на одной квартире... Вполовину я готов был ему верить, т. е. что и приятель его шпион. Трюбнеру я сказал, что требую я немедленной высылки его из книжной лавки... Негодяй путался, был гадок и противен и не умел ничего серьезного привести в свое оправдание.

— Это все зависть,— говорил он,— у кого из наших заведется хорошее пальто, сейчас другие кричат: «Шпион!»

— Отчего же,— спросил его Зено Свентославский,— у тебя никогда не было хорошего пальто, а тебя всегда считали шпионом?

Все захохотали.

— Да обидьтесь же, наконец, — сказал Чернецкий.

— Не первый,— сказал философ,— имею дело с такими безумными.

— Привыкли,— заметил Чернецкий.

Мошецник вышел вон.

Все порядочные поляки оставили его, за исключением совсем спившихся игроков и совсем проигравшихся пьяниц.

¹ Здесь: выдвинуться (франц.).— *Ред.*

С этим Михаловским в дружеских отношениях остался один человек, и этот человек — ваш хозяин Тур.

— Да, это подозрительно. Я сейчас...

— Что сейчас?.. Дело теперь не поправите, а имейте этого человека в виду. Какие у вас доказательства?

Вскоре после этого Свер<цекевич> был назначен жондом в свои дипломатические агенты в Лондон. Приезд в Париж ему был позволен — в это время Наполеон чувствовал то пламенное участие к судьбам Польши, которое ей стоило целое поколение и, может, всего будущего.

Бакунин был уже в Швеции, знакомясь со всеми, открывая пути в «Землю и волю» через Финляндию, слаживая посылку «Колокола» и книг и выдавая с представителями всех польских партий. Принятый министрами и братом короля, он всех уверил в неминуемом восстании крестьян и в сильном волнении умов в России. Уверил тем больше, что сам искренно верил — если не в таких размерах, то верил в растущую силу. Об экспедиции Лапинского тогда никто не думал. Цель Бакунина состояла в том, чтоб, устроивши все в Швеции, пробраться в Польшу и Литву и стать во главе крестьян.

Свер<цекевич> возвратился из Парижа с Домантовичем. В Париже они и их друзья придумали снарядить экспедицию на балтийские берега. Они искали парохода, искали дельного начальника и за тем приехали в Лондон. Вот как шла *тайная* негоциация дела.

...Как-то получаю я записочку от Свер<цекевича>: он просил меня зайти к нему на минуту, говорил, что очень нужно и что сам он распростудился и лежит в злой мигрени. Я пошел. Действительно застал больным и в постели. В другой комнате сидел Тхоржевский. Зная, что Сверцекевич писал ко мне и что у него есть дело, Тхоржевский хотел выйти, но Сверцекевич остановил его, и я очень рад, что есть живой свидетель нашего разговора.

Сверцекевич просил меня, оставя все личные отношения и кон siderации¹, сказать ему по чистой совести и, само собой разумеется, в глубочайшей тайне об одном польском эмигранте,

¹ соображения (франц. *considération*).— *Ред.*

рекомендованном ему Маццини и Бакуниным, но к которому он полной веры не имеет.

— Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дело идет первой важности, жду от вас истины, всей истины...

— Вы говорите о Б<улевском>? — спросил я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовал, что могу повредить человеку, о котором все-таки не знаю ничего особенно дурного, и, с другой стороны, понимал, какой вред принесу общему делу, споря против совершенно верной антипатии Свердцевича.

— Извольте, я вам скажу откровенно и все. Что касается до рекомендации Маццини и Бакунина, я ее совершенно отвожу. Вы знаете, как я люблю Маццини; но он так привык из всякого дерева рубить и из всякой глины лепить агентов и так умеет их в итальянском деле ловко держать в руках, что на его мнение трудно положиться. К тому же, употребляя все, что попало, Маццини знает, *до какой степени* и что поручить. Рекомендация Бакунина еще хуже: это большой ребенок, «большая Лиза», как его называл Мартьянов, которому все нравятся. «Ловец человеков», он так радуется, когда ему попадается «красный» да притом славянин, что он далее не идет. Вы помянули о моих личных отношениях к Бул<евскому>; следует же сказать и об этом. Л. З<енкович> и Б<улевский> хотели меня эксплуатировать, инициатива дела принадлежала не ему, а З<енковичу>. Им не удалось, они рассердились, и я все это давно бы забыл, но они стали между Ворцелем и мной — и этого я им не прощаю. Ворцеля я очень любил, но, слабый здоровьем, он подчинился им и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умиравшей рукой сжимая мою руку, он шептал мне на ухо: «Да, вы были правы» (но свидетелей не было, а на мертвых ссылаться легко). Затем вот вам мое мнение: перебирая все, я не нахожу *ни одного поступка, ни одного слова даже*, который бы заставлял подозревать политическую честность Б<улевского>, но я бы не мешал его ни в какую серьезную тайну. В моих глазах он избалованный фразер, безмерно высокомерный и желающий во что бы то ни было играть роль; если же она ему не выпадет, он все сделает, чтоб испортить пьесу.

Сверц(екевич) привстал. Он был бледен и озабочен.

— Да, вы у меня сняли камень с груди... *если не поздно* теперь... я все сделаю.

Взволнованный Сверц(екевич) стал ходить по комнате. Я ушел вскоре с Тхоржевским.

— Слышали вы весь разговор? — спросил я у него, идучи.

— Слышал.

— Я очень рад, не забывайте его — может, придет время, когда я сошлюсь на вас. А знаете что, мне кажется — он ему *все сказал* да потом и догадался проверить свою антипатию.

— Без всякого сомнения. — И мы чуть не расхохотались, несмотря на то, что на душе было вовсе не смешно.

1-е нравоучение

...Недели через две Сверц(екевич) вступил в переговоры с Blackwood — компанией пароходства — о найме парохода для экспедиции на Балтику.

— Зачем же, — спрашивали мы, — вы адресовались именно к той компании, которая десятки лет исполняет все комиссии по части судоходства для петербургского адмиралтейства?

— Это мне самому не так нравится, но компания так хорошо знает Балтийское море; к тому же она слишком заинтересована, чтоб выдать нас, да и это не в английских нравах.

— Все так, да как вам в голову пришло обратиться именно к ней?

— Это сделал наш комиссионер.

— То есть?

— Тур.

— Как, тот Тур?

— О, насчет его можно быть покойным. Его самым лучшим образом нам рекомендовал Б(улевский).

У меня на минуту вся кровь бросилась в голову. Я смешался от чувства негодования, бешенства, оскорбления, да, да, личного оскорбления... А делегат Речи Посполитой, ничего не замечавший, продолжал:

— Он превосходно знает по-английски — и язык, и законодательство.

— В этом я не сомневаюсь. Тур как-то сидел в тюрьме в

Лондоне за какие-то не совсем ясные дела и употреблялся при-
связным переводчиком в суде.

— Как так?

— Вы спросите у Б<улевского> или у Михаловского. Вы
не знакомы с ним?

— Нет.

— Каков Тур! Занимался земледельем, а теперь занимается
вододельем.

Но общее внимание обратил на себя взошедший начальник
экспедиции полковник Лапинский.

II

LAPINSKI-COLONEL. POLLES-AIDE DE CAMP ¹

В начале 1863 года я получил письмо, написанное мелко,
необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстом
«*Sinite venire parvulos*»^{2*}. В самых изысканно льстивых, стелю-
щихся выражениях просил у меня *parvulus*³, называвшийся
Polles, позволения приехать ко мне. Письмо мне очень не по-
нравилось. Он сам — еще меньше. Низкопоклонный, тихий,
вкрадчивый, бритый, напомаженный, он мне рассказал, что
был в Петербурге в театральной школе и получил какой-то
пансион, прикидывался сильно поляком и, просидевши чет-
верть часа, сообщил мне, что он из Франции, что в Париже то-
ска и что там узел всем бедам, а узел узлов — Наполеон.

— Знаете ли, что мне приходило часто в голову, и я больше
и больше убеждаюсь в верности этой мысли? Надобно решить-
ся и убить Наполеона.

— За чем же дело стало?

— Да вы как об этом думаете? — спросил *parvulus*, несколь-
ко смутившись.

— Я никак. Ведь это вы думаете...

И тотчас рассказал ему историю, которую я всегда упо-
требляю в случаях кровавых бредней и совещаниях о них.

— Вы, верно, знаете, что Карла V водил в Риме по Пан-

¹ Лапинский-полковник. Поллес-адъютант (франц.).— *Ред.*

² «Позвольте детям приходиться» (лат.).— *Ред.*

³ дитя (лат.).— *Ред.*

теону паж. Пришедши домой, он сказал отцу, что ему приходила в голову мысль столкнуть императора с верхней галереи вниз. Отец взбесился. «Вот... (тут я варьирую крепкое слово, соображаясь с характером царевубийцы in spe...¹ *негодяй, мошенник, дурак...*) такой ты, сякой! Как могут такие преступные мысли приходиться в голову... и если могут, то их иногда исполняют, но никогда об этом *не говорят!*»²

Когда Поллес ушел, я решил его не пускать больше. Через неделю он встретился со мной близь моего дома, говорил, что два раза был и не застал. Потолковал какой-то вздор и прибавил:

— Я, между прочим, заходил к вам, чтоб сообщить, какое я сделал изобретение, чтоб по почте сообщить что-нибудь тайное, например, в Россию. Вам, верно, случается часто необходимость что-нибудь сообщать?

— Совсем напротив, никогда. Я вообще ни к кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте. Вспомните, когда вам или Огар<еву> захочется послушать кой-какой музыки — я и мой виолончель к вашим услугам.

— Очень благодарен.

И я потерял его из вида — с полной уверенностью, что это шпион — русский ли, французский ли, я не знал, может, интернациональный, как «Nord» — журнал международный.

В польском обществе он нигде не являлся и его никто не знал.

После долгих исканий Домантович и парижские друзья его остановились на полковнике Лапинском как на способнейшем военном начальнике экспедиции. Он был долго на Кавказе со стороны черкесов и так хорошо знал войну в горах, что о море и говорить было нечего. Дурным выбора назвать нельзя.

Ланинский был в полном слове кондотьер. Твердых поли-

¹ в будущем (лат.).— *Ред.*

²—Я к вам пришел спросить совета,— сказал мне один юный грузин, похожий на молодого тигра... снаружи.— Я хочу поколотить Скарягина ... — Вы, верно, знаете, что Карла V...— Знаю, знаю! Бога ради не рассказывайте! — и тигр с млеком в жилах ушел.

тических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию — к австрийской армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, несправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе *.

— Какой случай раз был со мной на Кавказе, — рассказывал Лапинский. — Русский майор, поселившийся с целой усадьбой своей недалеко от нас, не знаю как и за что, захватил наших людей. Узнаю я об этом и говорю своим: «Что же это? Стыд и страх — вас, как баб, крадут! Ступайте в усадьбу и берите что попало и тащите сюда». Горцы, знаете, — им не нужно много толковать. На другой или третий день привели мне всю семью: и слуг, и жену, и детей, самого майора дома не было. Я послал повестить, что если наших людей отпустят да такой-то выкуп, то мы сейчас доставим пленных. Разумеется, наших прислали, рассчитались, и мы отпустили московских гостей. На другой день приходит ко мне черкес. «Вот, говорит, что случилось: мы, говорит, вчера, как отпускали русских, забыли мальчика лет четырех: он спал... так и забыли... Как же быть?» — «Ах вы, собаки... не умеете ничего сделать в порядке. Где ребенок?» — «У меня; кричал, кричал, ну, я сжалился и взял его». — «Видно, тебе аллах счастье послал, мешать не хочу... Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашел; ну и спрашивай выкупа». — У моего черкеса так и глаза разгорелись. Разумеется, мать, отец в тревоге — дали все, что хотел черкес... Пресмешной случай.

— Очень.

Вот черта к характеристике будущего героя в Самогитии *.

Перед своим отправлением Лапинский заехал ко мне. Он вошел не один и, несколько озадаченный выражением моего лица, поспешил сказать:

— Позвольте вам представить моего адъютанта.

— Я уж имел удовольствие с ним встречаться.

Это был *Поллес*.

— Вы его хорошо знаете? — спросил Огар<ев> у Лапинского наедине.

— Я его встретил в том же Boarding House'e, где теперь живу; он, кажется, славный малый и расторопный.

— Да вы уверены ли в нем?

— Конечно. К тому же он отлично играет на виолончели и будет нас тешить во время плаванья...

Он, говорят, тешил полковника и кой-чем другим.

Мы впоследствии сказали Домантовичу, что для нас Поллес очень подозрительное лицо.

Домантович заметил:

— Да я *им обоим* не очень верю, но шалить они не будут.

И он вынул револьвер из кармана.

Приготовления шли тихо... Слух об экспедиции все больше и больше распространялся. Компания дала сначала пароход, оказавшийся негодным по осмотру хорошего моряка — графа Сапеги. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово и часть Лондона знала обо всем, случилось следующее. Сверцкевич и Домантович повестили всех участников экспедиции, чтоб они собирались к *десяти* часам на такой-то амбаркадер¹ железной дороги, чтоб ехать до Гулля в особом train, который давала им компания. И вот к десяти часам стали собираться будущие воины. В их числе были итальянцы и несколько французов; бедные, отважные люди... люди, которым надоела их доля в бездомном скитании, и люди, истинно любившие Польшу. И 10 и 11 часов проходят, но train'a нет как нет. По домам, из которых таинственно вышли наши герои, мало-помалу стали распространяться слухи о дальнем пути... и часом в 12 к будущим бойцам в сенях амбаркадера присоединилась стая женщин, неутешных Дидон, оставляемых свирепыми поклонниками, и свирепых хозяек домов, которым они не заплатили, — вероятно, чтоб не делать огласки. Растрепанные и нечистые, они кричали, хотели жаловаться в полицию... у некоторых были дети... все они кричали, и все матери кричали. Англичане стояли кругом и с удивлением смотрели на картину «исхода». Напрасно старшие из ехавших спрашивали, скоро ли пойдет особый train, показывали свои билеты. Служители железной дороги не слышали ни о каком train'e. Сцена

¹ платформу (франц. embarcadère).— *Ред.*

становилась шумнее и шумнее... Как вдруг прискакал гонец от шефов сказать ожидавшим, что они все с ума сошли, что отъезд вечером в 10, а не утром... и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли с узелками и котомочками к своим оставленным Дидонам и смягченным хозяйкам бедные воины...

В 10 вечером они уехали. Англичане им даже прокричали три раза «ура».

На другой день утром рано приехал ко мне знакомый морской офицер с одного из русских пароходов. Пароход получил вечером приказ утром выступить на всех парах и следить за «Ward Jackson'ом».

Между тем «Ward Jackson» остановился в Копенгагене за водой, прождал несколько часов в Мальме Бакунина, собиравшегося с ними для поднятия крестьян в Литве, и был захвачен по приказанию шведского правительства.

Подробности дела и второй попытки Лапинского * рассказаны были им самим в журналах. Я прибавлю только то, что капитан уже в Копенгагене сказал, что он пароход к русскому берегу не поведет, не желая его и себя подвергнуть опасности, что еще до Мальме доходило до того, что Домантович пригрозил своим револьвером не Лапинскому, а капитану. С Лапинским Д<омантович> все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поехали в Стокгольм, оставляя несчастную команду в Мальме.

— Знаете ли вы, — сказал мне Сверц<екевич> или кто-то из близких ему, — что во всем этом деле остановки в Мальме становится всего подозрительнее лицо Тугендгольда?

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну, как не знаете. Вы его видели у нас: молодой малый без бороды — Лапинский был раз у вас с ним.

— Вы говорите, стало, о Поллесе?

— Это его псевдоним — настоящее имя его Тугендгольд.

— Что вы говорите?.. — И я бросился к моему столу.

Между отложенными письмами особенной важности я нашел одно, присланное мне месяца два перед тем. Письмо это было из Петербурга — оно предупреждало меня, что некий доктор Тугендгольд состоит в связи с III отделением; что он возвра-

тился, но оставил своим агентом меньшого брата * , что меньшой брат должен ехать в Лондон.

Что Поллес и он было одно лицо — в этом сомнения не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы перед отъездом экспедиции, что Поллес был Тугендгольд?

— Знал. Говорили, что он переменял свою фамилию, потому что в краю его брата знали за шпиона.

— Что же вы мне не сказали ни слова?

— Да так, не пришлось.

И Селифан Чичикова знал, что бричка сломана, а сказать не сказал.

Пришлось телеграфировать после захвата в Мальме. И тут ни Домантович, ни Бакунин¹ не умели ничего порядком сделать, — перессорились. Поллеса сажали в тюрьму за какие-то брильянты, собранные у шведских дам для поляков и употребленные на кутеж.

В то самое время как толпа вооруженных поляков, бездна дорого купленного оружия и «Ward Jackson» оставались почетными пленниками на берегу Швеции, собиралась другая экспедиция, снаряженная *белыми* *; она должна была идти через Гибралтарский пролив. Ее вел граф Сбышевский, брат того, который писал замечательную брошюру «La Pologne et la cause de l'ordre». Отличный морской офицер, бывший в русской службе, он ее бросил, когда началось восстание, и теперь вел тайно снаряженный пароход в Черное море. Для переговоров он ездил в Турин, чтоб там секретно видеться с начальниками тогдашней оппозиции и, между прочим, с Мордини.

— На другой день после моего свиданья с Сбышевским, — рассказывал мне *сам Мордини*, — вечером, в палате министр внутренних дел отвел меня в сторону и сказал: «Пожалуйста, будьте осторожнее... у вас вчера был польский эмиссар, который хочет провести пароход через Гибралтарский пролив; как бы дела не было, да зачем же они прежде болтают?»

¹ Домантович, после долгих споров с Бакуниным, говорил: «А ведь что, господа, как ни тяжело с русским правительством, а все же наше положение при нем лучше, чем то, которое нам приготовят эти фанатикосоциалисты».

Пароход, впрочем, и не дошел до берегов Италии: он был захвачен в Кадиксе испанским правительством. По миновании надобности оба правительства дозволили полякам продать оружие и отпустили пароходы.

Огорченный и раздосадованный приехал Лапинский в Лондон.

— Остается одно,— говорил он,— составить общество убийц и перебить большую часть всех царей и их советников... или ехать опять на Восток, в Турцию...

Огорченный и раздосадованный приехал Сбышевский...

— Что же, и вы бить королей, как Лапинский?

— Нет, поеду в Америку... буду драться за республику... Кстати,— спросил он Тхоржевского,— где здесь можно за-вербоваться? Со мной несколько товарищей, и все без куска насущного хлеба.

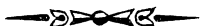
— Просто у консула...

— Да нет, мы хотели на юг *: у них теперь недостаток в людях, и они предлагают больше выгодные условия.

— Не может быть, вы не пойдете на юг!

...По счастью, Тх<оржевский> отгадал. На юг они не пошли!

3 мая 1867.





⟨ Г Л А В А VI ⟩

PATER V. PETCHERINE¹

— Вчера я видел Печерина.

Я вздрогнул при этом имени.

— Как,— спросил я,— *того* Печерина? Он здесь?

— Кто, reverend Petcherine?² Да, он здесь!

— Где же он?

— В иезуитском монастыре С. Мери Чепель в Клапаме.

Reverend Petcherine!.. И этот грех лежит на Николае. Я Печерина лично не знал, но слышал об нем очень много от Редкина, Крюкова, Грановского. Молодым доцентом возвратился он из-за границы на кафедру греческого языка в Московском университете; это было в одну из самых томных эпох николаевского гонения, между 1835 и 1840 *. Мы были в ссылке, молодые профессора * еще не приезжали. «Телеграф» был запрещен, «Европеец» был запрещен, «Телескоп» запрещен, Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Только после 1848 года террор в России пошел еще дальше.

Но угорелое самовластие последних лет николаевского царствования явным образом было *пятым действием*. Тут уже становилось заметно, что не только что-то ломит и губит, но что-то само ломится и гибнет; слышно было, как пол трещит,— но под расседающимся сводом.

В тридцатых годах, совсем напротив, о[•]ьянение власти шло обычным порядком, будничным шагом; кругом глушь,

¹ Отец В. Печерин (лат.).— *Ред.*

² его преподобие Печерин? (англ.).— *Ред.*

молчание, все было безответно, бесчеловечно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор, искавший сочувствия, встречал лакейскую угрозу или испуг, от него отворачивались или оскорбляли его. Печерин задыхался в этом неаполитанском гроте рабства, им овладел ужас, тоска, надобно было бежать, бежать во что бы ни стало из этой проклятой страны. Для того чтоб уехать, надобны деньги. Печерин стал давать уроки, свел свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходил, миновал товарищеские сходки и, накопивши немного денег, уехал.

Через некоторое время он написал гр. С. Строгонову письмо * — он уведомял его о том, что он не воротится больше. Благодаря его, прощаясь с ним, Печерин говорил о невыносимой духоте, от которой он бежал, и заклинал его *беречь* несчастных молодых профессоров, обреченных своим развитием на те же страдания, быть их щитом от ударов грубой силы.

Строгонов показывал это письмо многим из профессоров.

Москва на некоторое время замолкла об нем, и вдруг мы услышали, с каким-то бесконечно тяжелым чувством, что Печерин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре *. Бедность, безучастие, одиночество сломили его; я перечитывал его «Торжество смерти» * и спрашивал себя — неужели этот человек может быть католиком, иезуитом? Ведь он уже ушел из царства, в котором *история делается* под палкой квартального и под надзором жандарма. Зачем же ему так скоро занадобилась другая власть, другое указание?

Разобщенным показался себе, сырым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе, ему было слишком безродно. Когда веревка, на которой он был привязан, порвалась и судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал что делать, не умел с ней управляться и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ, упал в иезуитский монастырь!

На другой день, часа в два, я отправился в St. Mary Chapel. Тяжелая дубовая дверь заперта. Я стукнул три раза кольцом, дверь отворилась, и явился тощий молодой человек лет восемнадцати, в монашеском подряснике; в руках у него был молитвенник.

— Кого вам? — спросил брат-привратник по-английски.

— Reverend Father Petcherine¹.

— Позвольте ваше имя.

— Вот карточка и письмо.

В письме я вложил объявление о русской типографии.

— Взойдите, — сказал молодой человек, запирая снова за мною дверь. — Подождите здесь. — И он указал в обширных сенях на два-три больших стула со старинной резьбой.

Минут через пять брат-привратник возвратился и сказал мне с небольшим акцентом по-французски, что *le père Pétché-rine sera enchanté de me recevoir dans un instant*².

После этого он повел меня через какой-то рефекторий³ в высокую, небольшую комнату, слабо освещенную, и снова просил сесть. На стене было высеченное из камня распятие и, если не ошибаюсь, с другой стороны также богородица. Кругом тяжелого массивного стола стояли большие деревянные кресла и стулья. Противоположная дверь вела сенями в обширный сад, его светская зелень и шум листьев были как-то не на месте.

Брат-привратник показал мне на стене надпись; в ней было сказано, что reverend Fathers принимают имеющих в них нужду от 4 до 6 часов. Еще не было четырех.

— Вы, кажется, не англичанин и не француз? — спросил я его, вслушиваясь в его акценты.

— Нет.

— Sind Sie ein Deutscher?⁴

— O, nein, mein Herr, — отвечал он, улыбаясь, — *ich bin beinah' ihr Landsmann, ich bin ein Pole*⁵.

Ну, брата-привратника выбрали недурно: он говорил на четырех языках. Я сел, он ушел; странно мне было видеть себя в этой обстановке. Черные фигуры прохаживались в саду, человека два в полумонашеском платье прошли мимо меня; они

¹ Преподобного отца Печерина (англ.).— *Ред.*

² отец Печерин будет очень рад принять меня через минуту (франц.).— *Ред.*

³ трапезную, от refectory (англ.).— *Ред.*

⁴ Вы немец? (нем.).— *Ред.*

⁵ О нет, сударь, я почти ваш соотечественник, я поляк (нем.).— *Ред.*

серьезно, но учтиво, кланялись, глядя в землю, и я всякий раз привставал и также серьезно откланивался им. Наконец вышел небольшой ростом, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком:

— Вы желали видеть Печерина?

Я отвечал, что я.

— Чрезвычайно рад вашему посещению,— сказал он, протягивая руку,— сделайте одолжение, присядьте.

— Извините,— сказал я, несколько смешавшись, что не узнал его: мне в голову не приходило, что встречу его костюмированного. — Ваше платье...

Он слегка улыбнулся и тотчас продолжал:

— Давно не слышал я никакой вести о родном крае, об наших, об университете; вы, вероятно, знали Редкина и Крюкова.

Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет; видно было, что под этими морщинами много прошло и прошло tout de bon¹, т. е. умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым, особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи и во всех движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии.

Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова, при которой я был, о том, как его студенты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях — мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепе под граненой шапкой — не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел.

— Sortons un peu au jardin, — сказал Печерин, — le temps est si beau, et c'est si rare à Londres².

¹ не на шутку (франц.).— *Ред.*

² Выйдем на минутку в сад, погода так хороша, а это так редко бывает в Лондоне (франц.).— *Ред.*

— Avec le plus grand plaisir¹. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы с вами говорим по-французски?

— И то! Будемте говорить по-русски; я думаю, что уже совсем разучился.

Мы вышли в сад. Разговор снова перешел к университету и Москве.

— О,— сказал Печерин,— что это было за время, когда я оставил Россию,— без содрогания не могу вспомнить!

— Подумайте же, что теперь делается; наш Саул * совсем сошел с ума после 1848.— И я ему передал несколько гнуснейших фактов.

— Бедная страна, особенно для меньшинства, получившего несчастный дар образования. А ведь какой добрый народ: я часто вспоминаю наших мужиков, когда бываю в Ирландии: они чрезвычайно похожи; кельтский землепашец — такой же ребенок, как наш. Побывайте в Ирландии, вы сами убедитесь в этом.

Так длился разговор с полчаса; наконец, собираясь оставить его, я сказал ему:

— У меня есть просьба к вам.

— Что такое? Сделайте одолжение.

— У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений; в числе их есть трилогия «Поликрат Самосский»*, «Торжество смерти» и еще что-то; нет ли у вас их, или не можете ли вы мне их дать?

— Как это вы вспомнили такой вздор? Это незрелые, ребяческие произведения иного времени и иного настроения.

— Может,— заметил я, улыбаясь.— *поэтому-то* они мне и нравятся. Да есть они у вас или нет?

— Нет, где же!..

— И продиктовать не можете?

— Нет, нет, совсем нет.

— А если я их найду где-нибудь в России, печатать позволите?

— Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления.

¹ С величайшим удовольствием (франц.).— *Ред.*

— Коли вам дела нет, стало, я могу печатать их, положим, без имени?

— Неужели эти стихи вам нравятся до сих пор?

— Это мое дело; вы мне скажите, позволяете мне их печатать или нет?

Прямого ответа он и тут не дал, я перестал приставать.

— А что же,— спросил Печерин, когда я прощался,— вы мне не привезли ничего из ваших публикаций? Я помню, в журналах говорили, года три тому назад, об одной книге, изданной вами, кажется, на немецком языке *.

— Ваше платье,— отвечал я,— скажет вам, по каким соображениям я не должен был привезти ее; примите это с моей стороны за знак уважения и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь; мы можем скорбеть о заблуждении, молиться об исправлении, желать его и во всяком случае любить человека.

Мы расстались.

Он не забыл ни книги, ни моего ответа и дня через три написал ко мне следующее письмо по-французски *:

I. M. I. A.¹

St. Mary's, Clapham, 11 апреля 1853 г.

Я не могу скрыть от вас той симпатии, которую возбуждает в моем сердце слово свободы,— свободы для моей несчастной родины! Не сомневайтесь ни на минуту в искренности моего желания возрождения России. При всем этом я далеко не во всем согласен с вашей программой. Но это ничего не значит. Любовь католического священника обнимает все мнения и все партии. Когда ваши драгоценнейшие упования обманут вас, когда силы мира сего поднимутся на вас, вам еще останется верное убежище в сердце католического священника: в нем вы найдете дружбу без притворства, сладкие слезы и мир, который свет не может вам дать. Приезжайте ко мне, любезный соотечественник. Я был бы очень рад вас видеть еще раз до моего отъезда в Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру * мне.

В. Печерин.

Я свез ему книги и через четыре дня получил следующее письмо:

¹ Иисус милосердный, Иисус благодатный (лат. Iesus Misericors, Iesus Almus).— *Ред.*

St. Pierre, Islands of Guernsey. Chapelle Catholique, 15 апреля 1853 г.

Я прочел обе ваши книги * с большим вниманием. Одна вещь особенно поразила меня *: мне кажется, что вы и ваши друзья — вы опираетесь исключительно на философию и на изящную словесность (*belle littérature*). Неужели вы думаете, что они призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидетельство истории совершенно против вас. Нет примера, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философией и словесностью. Скажу просто (*tranchons le mot!*), одна религия служила всегда основой государств; философия и словесность, это, увы! уже последний цветок общественного древа. Когда философия и литература достигают своей апогеи, когда философы, ораторы и поэты господствуют и разрешают все общественные вопросы, тогда конец, падение, тогда смерть общества. Это доказывает Греция и Рим, это доказывает так называемая александрийская эпоха; никогда философия не была больше изощрена, никогда литература — цветущее, а между тем это была эпоха глубокого общественного падения. Когда философия бралась за пересоздание общественного порядка, она постоянно доходила до жестокого деспотизма, например, в Фридрихе II, Екатерине II, Иосифе II и во всех неудавшихся революциях. У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что «фаланстер — не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может быть только видоизменение николаевского самовластья»*. Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины *, т. е., что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли перерождать общество на таких основаниях?

Может, я высказал вещь избитую и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтоб начать контроверзу, но я считал себя обязанным сделать это замечание, потому что иногда лучшие умы и благороднейшие сердца ошибаются в основе, сами не замечая того. Для того я это пишу вам, чтоб доказать, как внимательно читал я вашу книгу, и дать новый знак того уважения и любви, с которыми...

В. Печерин.

На это я отвечал ему по-русски *:

25, Euston square, 21 апреля 1853 г.

Почтеннейший соотечественник,
душевно благодарю вас за ваше письмо и прошу позволение сказать несколько слов *à la hâte*² о главных пунктах.

¹ будемте откровенны (франц.).— *Ред.*

² наскоро (франц.).— *Ред.*

Я совершенно согласен с вами, что литература, как осенние цветы, является во всем блеске перед смертью государств. Древний Рим не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтерианизмом Луккиана, ни немецкой философией Прокла. Но заметьте, что он равно не мог быть спасен ни элевзинскими таинствами *, ни Аполлоном Тианским, ни всеми опытами продолжить и воскресить язычество.

Это было не только невозможно, но и не нужно. Древний мир вовсе не надобно было спасать: он дожил свой век, и новый мир шел ему на смену. Европа совершенно в том же положении; литература и философия не сохраняют дряхлых форм, а толкнут их в могилу, разобьют их, освободят от них.

Новый мир точно так же приближается, как тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвав фаланстер казармой; нет, все доселе явившиеся учения и школы социалистов, от С.-Симона до Прудона, который представляет одно отрицание, бедны, это первый лепет, это чтение по складам, это терапевты и эссениане* древнего Востока. Но кто же не видит, не чувствует сердцем огромного содержания, просвечивающего через односторонние попытки, или кто же казнит детей за то, что у них трудно режутся зубы или выходят вкось?

Тоска современной жизни — тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери беспокоятся перед землетрясением.

К тому же все остановилось. Одни хотят насильственно раскрыть дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего; у одних впереди пророчества, у других — воспоминания. Их *работа* состоит в том, чтоб мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте.

Рядом другой мир — Русь. В основе его — коммунистический народ, еще дремлющий, покрытый поверхностной пленкой образованных людей, дошедших до состояния Онегина, до отчаяния, до эмиграции, до вашей, до моей судьбы. Для нас это горько. Мы жертвы того, что не вовремя родились; для *дела* это безразлично, по крайней мере не имеет того смысла.

Говоря о революционном движении в новой России, я вперед сказал, что с Петра I русская история — история дворянства и правительства*. В дворянстве находится революционный

фермент; он не имел в России другого поприща, яркого, кровавого, на площади, кроме поприща литературного, там я его и проследил.

Я имел смелость сказать (в письме к Мишле *), что образованные русские — *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли в отрицании, чем, например, французы. В отрицании чего? Разумеется, старого мира.

Онегин рядом с праздным отчаянием доходит теперь до положительных надежд. Вы их, кажется, не заметили. Отвергая Европу в ее изжитой форме, отвергая Петербург, т. е. опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы, слабые и оторванные от народа, мы гибли. Но мало-помалу развивалось нечто новое — уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистов. Этот новый элемент — элемент веры в силу народа, элемент, проникнутый любовью. Мы с ним только начали понимать народ. Но мы далеки от него. Я и не говорю, чтоб *нам* досталась участь пересоздать Россию; и то хорошо, что мы приветствовали русский народ и догадались, что он принадлежит к грядущему миру.

Еще одно слово. Я не смешиваю науки с литературно-философским развитием. Наука если и не пересоздает государства, то и не падает в самом деле с ним. Она — средство, память рода человеческого, она — победа над природой, освобождение. Невежество, *одно невежество* — причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно.

Я буду сердечно рад...

Через две недели я получил от о. Печерина следующее письмо:

I. M. I. A.

St. Mary's, Clapham, 3 мая 1853.

Я вам отвечаю по-французски по причинам, которые вы знаете. Не мог писать я к вам прежде, потому что был обременен занятиями в

Гернсее. Мало остается времени на философские теории, когда живешь в самой середине животрепещущей действительности; нет досуга разрешать спекулятивные вопросы о будущих судьбах человечества, когда человечество с костями и плотью приходит изливаться в вашу грудь свои скорби и требует совета и помощи.

Признаюсь вам откровенно, ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом.

Что будет с нами, когда *ваше* образование (*votre civilisation à vous*) одержит победу? Для вас *наука* — все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука — так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть, поклонение личности (*le culte de la personne*), как бы сказал Мишель Швалье. Если *эта* наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели по крайней мере возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непреодолимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах: рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!» Вот что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?

Придите, если я сколько-нибудь преувеличил темные краски. Мне кажется, что я только довел до законных последствий основания, положенные вами.

Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза (*caprice de spiritualité*)? Россия именно начала с науки так, как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи, она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния, она делается самая образованная страна в мире, провидение ей дало в удел материальный мир — она делает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, — какое

нам дело в этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным.

Я изложил мои идеи с простотою для того, чтоб уяснить нам друг друга. Извините, если я внес в слова мои излишнюю горячность. Так как я еду снова в Ирландию в пятницу утром, мне будет невозможно зайти к вам. Но я буду очень рад, если вам будет удобно посетить меня в среду или в четверг после обеда.

Примите и проч.

В. Печерин.

Я ему отвечал на другой день:

25, Euston square, 4 мая 1853.

Почтеннейший соотечественник,

я был у вас для того, чтоб позать руку русскому, которого имя мне было знакомо, которого положение так сходно с моим... Несмотря на то, что судьба и убеждения вас поставили в торжествующие ряды победителей, меня — в печальный стан побежденных, я не думал коснуться разницы наших мнений. Мне хотелось видеть русского, мне хотелось принести вам живую весть о родине. Из чувства глубокой деликатности я не предложил вам моих брошюр, вы сами желали их видеть. Отсюда ваше письмо, мой ответ и второе письмо ваше от 3 мая. Вы нападаете на меня, на мои мнения (преувеличенные и не вполне разделяемые мною), нельзя же мне не защищаться. Я не давал того значения слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вам только писал, что я совокупность всех побед над природой и всего развития. разумеется, ставлю вне беллетристики и отвлеченной философии.

Но это предмет длинный, и без особого вызова не хочется повторять все, так много раз сказанное об нем. Позвольте мне лучше успокоить вас насчет вашего страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь. Наука не есть учение или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. Вы, верно, хотели сказать о торжестве социальных идей, свободы. В таком случае возьмите страну самую «материальную» и самую свободную — Англию. Люди созерцательные, так, как утописты, находят в ней угол для тихой думы и трибуну для проповеди. А еще Англия,

монархическая и протестантская, далека от полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб.

Созерцательные натуры будут всегда, везде; им будет привольнее в думах и тиши, пусть ищут они себе тогда тихого места; кто их будет беспокоить, кто звать, кто преследовать? Их ни гнать, ни *поддерживать* никто не будет. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни масс потому, что производство этого улучшения *может* обеспокоить слух лиц, не желающих слышать ничего внешнего. Тут даже самоотвержения никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенести следует, а отойти от него. Но журналы всюду идут следом — кто же из *созерцательных* натур зависит от *premier-Paris* или *premier-Londres*?¹

Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите *нам* место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол, как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России.

Кому же следует бояться? Оно конечно — смерть не важна *sub specie aeternitatis*², да ведь с этой точки зрения и все остальное не важно.

Простите мне, п. с., откровенное противуречие вашим словам и подумайте, что мне было невозможно иначе отвечать.

Душевно желаю, чтоб вы хорошо совершили ваше путешествие в Ирландию.

Этим и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Серая мгла европейского горизонта зарделась заревом Крымской войны, мгла от него стала еще черней, и вдруг середь кровавых вестей, походов и осад читаю я в газетах, что там-то, в Ирландии, отдан под суд *reverend Father*

¹ передовых статей парижских или лондонских газет (франц.).— *Ред.*

² с точки зрения вечности (лат.).— *Ред.*

Vladimir Petcherine, native of Russia¹, за публичное сожжение на площади протестантской библии *. Гордый британский судья, взяв в расчет безумный поступок и то, что виноватый — русский, а Англия с Россией в войне, ограничился отеческим наставлением вести себя впредь на улицах благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или он часто снимает граненую шапку и ставит ее устало на стол?

¹ преподобный отец Печерин, родом русский (англ.).— *Ред.*



〈ГЛАВА VII〉

И. ГОЛОВИН

Несколько дней после обыска у меня и захвата моих бумаг, во время июньской битвы *, явился ко мне в первый раз *И. Головин*, до того известный мне по бездарным сочинениям своим * и по чрезвычайно дурной репутации сварливого и дерзкого человека, которую он себе сделал. Он был у Ламорисиера, хлопотал без малейшей просьбы с моей стороны о моих бумагах, ничего не сделал и пришел ко мне позвать скромные лавры благодарности и, пользуясь тем, втеснить мне свое знакомство.

— Я сказал Ламорисиеру: «Генерал, стыдно надоедать русским республиканцам и оставлять в покое агентов русского правительства». — «А вы знаете их?» — спросил меня Ламорисиер. — «Кто их не знает!» — «Nommez-les, nommez-les¹». — «Ну, да Яков Толстой и генерал Жомини» *. — «Завтра же велю у них сделать обыск». — «Да будто Жомини русский агент?» — спросил я. — «Ха, ха, ха! Это мы увидим теперь».

Вот вам человек.

Рубикон был перейден, и, что я ни делал, чтобы воздержать дружбу Головина, а главное, его посещения, все было тщетно. Он раза два в неделю приходил к нам, и нравственный уровень нашего уголка тотчас понижался — начинались ссоры, сплетни, личности. Лет пять спустя, когда Головин хотел меня додразнить до драки, он говорил, что *я его боюсь*; говоря это, он, конечно, не подозревал, как давно я его боялся до лондонской ссоры.

¹ Назовите их, назовите их (франц.).— *Ред.*

Еще в России я слышал об его бестактности, о нецелесообразности в денежных отношениях. Шевырев, возвратившись из Парижа, рассказывал о процессе Головица с лакеем, с которым он подрался, и ставил это на счет нас, западников, к числу которых причислял Гол(овина). Я Шевыреву заметил, что Запад следует винить только в том, что они *дрались*, потому что на *Востоке* Головин просто бы *поколотил* слугу и никто не говорил бы об этом.

Забытое теперь содержание его сочинений о России еще менее располагало к знакомству с ним. Французская риторика, либерализм Роттековой школы, *rôle-mêle*¹ разбросанные анекдоты, сентенции, постоянные личности и никакой логики, никакого взгляда, никакой связи. Погодин писал рубленой прозой, а Головин думал рублеными мыслями.

Я миновал его знакомство донельзя. Ссора его с Бакуниным помогла мне. Головин поместил в каком-то журнале дворянски либеральную статейку *, в которой помянул его. Бакунин объявил, что ни с русским дворянством, ни с Головиным ничего общего не имеет *.

Мы видели, что далее Июньских дней я не пролабировал в моем почетном незнакомстве.

Каждый день доказывал мне, как я был прав. В Головине соединилось все ненавистное нам в русском офицере, в русском помещике с бездною мелких западных недостатков, и это без всякого примирения, смягчения, без выкупа, без какой-нибудь эксцентричности, каких-нибудь талантов или комизмов. Его наружность *vulgar*, провокантная² и оскорбительная, принадлежит, как чекан, целому слою людей, кочующих с картами и без карт по минеральным водам и большим столицам, вечно хорошо обедающих, которых все знают, о которых всё знают, кроме двух вещей: чем они живут и зачем они живут. Головин — русский офицер, французский *bretteur*, *hâbleur*³, английский свиндлер⁴, немецкий юнкер и наш отечественный Ноздрев, Хлестаков *in partibus infidelium*.

¹ как попало (франц.).— *Ред.*

² вызывающая, от *provocant* (франц.).— *Ред.*

³ хвостун (франц.).— *Ред.*

⁴ мошенник (англ. *swindler*).— *Ред.*

Зачем он покинул Россию, что он делал на Западе, — он, так хорошо шедший в офицерское общество своих братьев, им же самым описанных? Сорвавшись с родных полей, он не нашел центра тяжести. Кончив курс в Дерптском университете, Головин был записан в канцелярию Нессельроде. Нессельроде ему заметил, что у него почерк плох, Головин обиделся и уехал в Париж. Когда его потребовали оттуда, он отвечал, что не может еще возвратиться, потому что не кончил своего «каллиграфического образования». Потом он издал свою компиляцию «La Russie sous Nicolas», в которой обидел пуще всего Николая тем, что сказал, что он *нѣтъ* пишет с *e*. Ему велели ехать в Россию — он не поехал. Братья¹ его воспользовались этим, чтоб посадить его на антониеву пищу — они посылали ему гораздо меньше денег, чем следовало. Вот и вся драма.

У этого человека не было ни тени художественного такта, ни тени эстетической потребности, никакого научного запроса, никакого серьезного занятия. Его поэзия была обращена на него самого, он любил позировать, хранить *arrangé*², привычки дурно воспитанного барича средней руки остались в нем на всю жизнь, спокойно сжились с кочевым фуражированием полуизгнанника и полубогемы.

Раз в Турине я застал его в воротах Hôtel Feder с хлыстиком в руке... Перед ним стоял савояр*, полунагой и босой мальчик лет двенадцати. Головин бросал ему гроши и за всякий грош стегал его по ногам; савояр подпрыгивал, показывая, что очень больно, и просил еще. Головин хохотал и бросал грош. Я не думаю, чтоб он больно стегал, но все же стегал — и это могло его забавлять?

После Парижа мы встретились сначала в Женеве, потом в Ницце. Он был тоже выслан из Франции и находился в очень

¹ А рггрос его братьев. Один из них, кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что *отличился* 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: «Умирающая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану... тому... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?» — «*Снести на почту*», — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт.

² внешнее приличие (франц.). — *Ред.*

незавидном положении¹. Ему решительно нечем было жить, несмотря на тогдашнюю баснословную дешевизну в Ницце... Как часто и горячо я желал, чтоб Головин получил наследство или женился бы на богатой... Это бы мне развязало руки.

Из Ниццы он уехал в Бельгию, оттуда его прогнали, он отправился в Лондон и там натурализовался, смело прибавив к своей фамилии титул *князя Ховры*, на который не имел права *. Английским подданным он возвратился в Турин и стал издавать какой-то журнал *. В нем он додразнил министров до того, что они выслали его. Головин стал под покровительство английского посольства. Посол отказал ему — и он снова поплыл в Лондон. Здесь в роли *рыцаря индустрии*, числящегося по революции, он без успеха старался примкнуть к разным политическим кругам, знакомился со всеми на свете и печатал невообразимый вздор *.

В конце ноября 1853 Ворцель зашел ко мне с приглашением сказать что-нибудь на польской годовщине *. Взошел Головин и, смекнув в чем дело, тотчас атаковал Ворцеля вопросом, может ли и он сказать речь.

Ворцелю было неприятно, мне вдвое, но тем не меньше он ему ответил:

— Мы приглашаем всех и будем очень рады; но чтоб митинг имел единство, надобно нам знать à peu près², кто что хочет сказать. Мы собираемся тогда-то, приходите к нам потолковать.

Головин, разумеется, принял предложение. А Ворцель, уходя, сказал мне, качая головой, в передней:

¹ Французская полиция не могла ему простить одну проделку. В начале 1849 была небольшая демонстрация. Президент, т. е. Наполеон III, объезжал верхом бульвары. Вдруг Головин продрался к нему и закричал: «Vive la République!» и «A bas les ministres!» («Да здравствует республика!»... «Долой министров!» (франц.)— «Vive la République», — пробормотал Наполеон.— «Et les ministres?»— «On les changera!» («А министры?» — «Их сменят!» (франц.)» Головин протянул ему руку. Прошло дней пять, министры остались, и Головин напечатал в «Réforme» свою встречу *, с прибавлением, что так как президент не исполнил обещания, то он берет назад свое рукожатье (il retire sa poignée de main). Полиция промолчала и выслала его, несколько месяцев спустя, придравшись к 13 июня *.

² приблизительно (франц.).— *Ред.*

— Что за нелегкое принесло его!

С тяжелым сердцем пошел я на приуготовительное собрание; я предчувствовал, что дело не обойдется без скандала. Мы не были там пяти минут, как мое предчувствие оправдалось. После двух-трех отрывистых, генеральских слов Головин вдруг обратился к Ледрю-Роллену, сначала напомнил, что они где-то встречались, чего Ледрю-Роллен все-таки не вспомнил, потом ни к селу ни к городу стал ему доказывать, что постоянно раздражать Наполеона — ошибка, что политичнее было бы его щадить для польского дела... Ледрю-Роллен изменился в лице, но Головин продолжал, что Наполеон один может выручить Польшу, и прочее. «Это, — добавил он, — не только мое личное мнение; теперь Маццини и Кошут это поняли и всеми силами стараются сблизиться с Наполеоном».

— Как же вы можете верить таким нелепостям? — спросил его Ледрю-Роллен вне себя от волнения.

— Я слышал...

— От кого? От каких-нибудь шпионов, — честный человек не мог вам этого говорить. Господа, я Кошута лично не знаю, но все же уверен, что это не так; что же касается до моего друга Маццини, я смело беру на себя отвечать за него, что он никогда не думал о такой уступке, которая была бы страшным бедствием и вместе с тем изменою всей религии его.

— Да... да... само собой разумеется, — говорили с разных сторон. Ясно было, что слова Головина рассердили всех. Ледрю-Роллен вдруг повернулся к Ворцелю и сказал ему: «Вот видите, мои опасения были не напрасны; состав вашего митинга слишком разнообразен, чтоб в нем не заявили мнения, которые я не могу ни принять, ни даже слушать. Позвольте мне удалиться и отказаться от чести говорить 29 числа речь».

Он встал. Но Ворцель, останавливая его, заметил, что комитет, предпринявший дело митинга, избрал его своим председателем и что в этом качестве он должен просить Ледрю-Роллена остаться, пока он спросит своих товарищей, хотят ли они после сказанного допустить речь Головина и потерять содействие Ледрю-Роллена, или наоборот.

Затем Ворцель обратился к членам Централизации. Результат был несомненен. Головин его очень хорошо предвидел и

потому, не дожидаясь ответа, встал и высокомерно бросил Ледрю-Роллену: «Я уступаю вам честь и место и сам отказываюсь от своего намерения сказать речь 29 ноября».

После чего он, доблестно и тяжело ступая, вышел вон.

Чтоб разом кончить дело, Ворцель предложил мне прочесть или сказать, в чем будет состоять моя речь.

На другой день был митинг — один из последних блестящих польских митингов. Он удался, народу было бездна. Я пришел часов в 8 — все уже было занято, и я с трудом пробирался на эстраду, приготовленную для бюро.

— Я вас везде ищу, — сказал мне d-г Дараш. — Вас ждет в боковой комнате Ледрю-Роллен и непременно хочет с вами поговорить до митинга.

— Что случилось?

— Да все этот шалопай Г<оловин>.

Я пошел к Ледрю-Роллену. Он был рассержен и был прав.

— Посмотрите, — сказал он мне, — что этот негодяй прислал мне за записку — четверть часа до того, как мне ехать сюда!

— Я за него не отвечаю, — сказал я, развертывая записку.

— Без сомнения, но я хочу, чтоб вы знали, кто он такой.

Записка была груба, глупа. Он и тут фанфаронством хотел покрыть fiasco. Он писал Ледрю-Роллену, что если у него нет французской учтивости, то пусть он покажет, что не лишен французской храбрости.

— Я его всегда знал за беспокойного и дерзкого человека, но этого я не ожидал, — сказал я, отдавая записку. — Что же вы намерены делать?

— Дать ему такой урок, которого он долго не забудет. Я здесь всенародно на митинге сорву маску с этого aventurier, я расскажу о нашем разговоре, сошлюсь на вас как на свидетеля, и притом *русского*, и прочту его записку. А потом увидим... я не привык глотать такие конфеты.

«Дело скверное, — подумал я, — Головин со своей весьма подозрительной репутацией окончательно погибнет. Ему один путь спасенья будет — дуэль. Этой дуэли нельзя допустить».

потому что Ледрю-Роллен совершенно прав и ничего обидного не сделал. В его положении нельзя же было драться с всяким встречным. И что за безобразие: на польском митинге одного русского эмигранта затопчут в грязь, а другой поможет».

— Да нельзя ли отложить?

— Чтоб потерять такой случай?

Я еще постарался остановить дело, ввернувши предложение суда, *jury d'honneur*¹, — все удавалось плохо.

...Затем мы вышли на эстраду и были встречены френетическим² рукоплесканием. Рукоплескания и шум толпы, как известно, пьянят — я забыл о Головине и думал о своей речи. Об речи я говорил в другом месте *. Самое появление мое на трибуне было встречено с величайшим сочувствием поляками, французами и итальянцами. Когда я кончил, Ворцель, председатель митинга, подошел ко мне и, обнимая меня, повторял, глубоко тронутый: «Благодарю, благодарю!» Рукоплескания, шум удесятились, и я под их громом отправился на свое место... Тут мне пришел в голову Головин, и я испугался близости той минуты, когда трибун 1848 сомнет в своих руках этого шута. Я вынул карандаш и написал на клочке бумаги: «Бога ради устройте, чтоб гнусное дело Головина не испортило вашего митинга». Эстрада была амфитеатром, я записочку отдал сидевшему передо мной Пианчани, чтоб он ее передал Ворцелю. Ворцель прочитал, черкнул что-то карандашом и отдал в другую сторону, т. е. отправил к Ледрю-Роллену, который сидел выше. Ледрю-Роллен достал меня рукой за плечо и, весело кивая, сказал:

— За вашу речь и для вас я оставляю дело до завтра. — И я, довольный как нельзя больше, отправился ужинать с Руге и Копингамом * в *American Store*^{*}.

Не успел я на другой день встать, как комната моя наполнилась поляками. Они пришли меня благодарить, но, вероятно, благодарность они принесли бы и попозже. Главное, что им не терпелось покончить спор — головинское дело. Бешенство на него распахнулось во всей силе. Они составили акт,

¹ суда чести (франц.).— *Ред.*

² бурным, от *frénétique* (франц.).— *Ред.*

в котором Головин был обруган, адрес Ледрю-Роллену, которому объявили, что решительно не допустят его до дуэли. Десять человек готовы были драться с ним. Требовали, чтоб я подписал и акт и адрес.

Я видел, что из одной истории выйдут пять, и, пользуясь вчерашним успехом, т. е. авторитетом, который он мне дал, сказал им:

— В чем цель? Кончить ли это дело так, чтоб Ледрю-Роллен был удовлетворен и несчастный инцидент, чуть не испортивший ваш митинг, был стерт, или наказать Головина во что бы ни стало? В последнем случае, господа, я не участвую, и делайте как знаете.

— Конечно, главная цель — кончить дело.

— Хорошо; имеете вы ко мне доверие?..

— Да, да... еще бы...

— Я поеду *один* к Головину... и, если улажу дело так, что Ледрю-Роллен будет доволен, то и конец.

— Хорошо — а если не уладите?

— Тогда я подпишу ваш протест и адрес.

— Ладно.

Головина я застал мрачным и сконфуженным; он явно ждал угрозы и вряд был ли доволен, что вызвал ее.

Объяснение наше было недолго. Я сказал ему, что спас его от двух неприятностей, и предложил мои услуги отстранить третью, а именно — примирить его с Ледрю-Ролленом. Ему хотелось окончить дело, но надменная натура его не допускала до сознания своей вины, а еще больше — до признания ее.

— Я соглашаюсь только для вас, — пробормотал он наконец.

Для меня или для кого другого — дело пошло на лад. Я поехал к Ледрю-Роллену, прождал его часа два в холодной комнате и простудился; наконец он приехал очень любезен и весел. Я рассказал ему всю историю от появления повшехного¹ вооружения Посполитой Речи до ломаний нашего матамора², и Ледрю-Роллен со смехом согласился предать дело забвению и принять раскаявшегося грешника. Я отправился за ним.

¹ всеобщего (польск. powszechny).— *Ред.*

² забияки (франц. matamore).— *Ред.*

Головин ждал в сильном волнении. Узнав, что все обстоит благополучно, он покраснел и, набивши все карманы пальто какими-то бумагами, поехал со мной.

Ледрю-Роллен принял настоящим gentleman'ом и тотчас стал говорить о посторонних делах.

— Я приехал к вам, — сказал Головин, — сказать, что мне очень жаль...

Ледрю-Роллен его перебил словами:

— N'en parlons plus¹... Вот ваша записка, бросьте ее в огонь... — и без запятой стал продолжать начатый рассказ. Когда мы встали, чтоб ехать, Головин выгрузил из карманов кипу брошюр и, подавая их Ледрю-Роллену, прибавил, <что> это его последние брошюры и что он просит его принять их в знак его особенного уважения. Ледрю-Роллен, рассыпаясь в благодарности, с почтением уложил кипу, до которой, вероятно, никогда не дотрогивался.

— Вот наш литературный век, — сказал я Головину, садясь в карету. — Слышал я, что умные люди берут с собой на дуэли штопор, но чтоб вооружались брошюрами — это ново!

Зачем я спас этого человека от позора? Право, не знаю и просто раскаиваюсь. Все эти пощады, великодушия, закрасивания, спасения падают на нашу голову по тому великому правилу, постановленному Белинским, что «мошенники тем сильны, что они с честными людьми поступают как с мошенниками, а честные люди с мошенниками — как с честными людьми»*. Бандиты журнального и политического мира опасны и неприятны по своему двусмысленному и затруднительному положению. Терять им нечего, выиграть они могут все. Спасая таких людей, вы их только снова приводите в прежний impasse².

В рассказе моем нет слова преувеличенного. Подумайте же, каково было мое удивление, когда Головин напечатал в Германии через *десять лет*, что Ледрю-Роллен *извинялся перед ним*... * зная, что и он и я, слава богу, живы и здоровы. . Разве это не гениально!

¹ Не будем об этом больше говорить (франц.).— *Ред.*

² тупик (франц.).— *Ред.*

Митинг был 29 ноября 1853 года. В марте 1854 я напечатал небольшое воззвание к русским солдатам в Польше от имени «Русской вольной общины в Лондоне» *. Головина это оскорбило, и он принес мне для напечатания следующий протест *:

По желанию г. Головина я печатаю немедленно письмо его, полученное мною 26 марта. 27 марта 1854 г. *А. Герцен*.

«Я прочел вашу „благовесть“, писанную в день благовещения.

Она подписана: „Вольная русская община в Лондоне“, а между тем встречаются слова: „Не помню, в какой губернии“.

Следовательно, для меня загадка, состоит ли эта община из вас и Энгельсона или из вас одного?

Здесь не место разбирать содержание, мне не бывшее показанное в рукописи. Чтобы упомянуть только о тоне, я бы не подписал обещание не оставить без совета людей, которые меня не просят об этом. Ни скромности, ни совести не позволяют мне сказать, что я примирил имя народа русского с народами Запада.

Посему почтаю должным просить вас объявить при следующем и наискорейшем случае, что я до сих пор не участвовал ни в каких званиях, печатанных вашею типографией по-русски.

Надеясь, что вы не заставите меня прибегнуть к другого рода гласности,

Я пребываю вам покорный

Иван Головин.

Лондон, 25 марта 1854 г.

(Г-ну Герцену — Искандеру).

Р. S. Поставляю на ваше усмотрение напечатать мое письмо в настоящем его виде или объявить содержание оного вкратце.

Протесту я несказанно обрадовался: в нем я видел начало разрыва с этим невыносимо тяжелым человеком и публичное заявление нашего разногласия. Европа и сами поляки так поверхностно смотрят на Россию, особенно в промежутки, когда она не бьет соседей или не присоединяет целые государства в Азии, что я должен был работать десять лет, чтоб меня не смешивали с пресловутым Ivan Golovine.

Вслед за протестом Головин прислал письмо, длинное, бессвязное, которое заключил словами: «Может быть, отдельно мы еще будем полезнее общему делу, если не станем тратить наши силы на борьбу друг с другом».

На это я отвечал ему:

30 марта, четверг.

Я считаю себя обязанным поблагодарить вас за письмо ваше, полученное вчера и которого добрую цель — смягчить печатное объявление — я вполне оценил.

Я совершенно согласен, что отдельно мы принесем больше пользы. Насчет борьбы, о которой вы пишете, — она не входила в мою голову. Я не возьму никакой инициативы, не имея ничего против вас, особенно когда каждый пойдет своей дорогой.

Вспомните, как давно и сколько раз я говорил вам келейно то, что вы сказали теперь публично. Наши нравы, мнения, симпатии и антипатии — все розно. Позвольте мне остаться с уважением к вам, но принять нашу раздельность за *fait accompli*¹ — и вы и я — мы будем от этого свободнее.

Письмо мое — ответ, вопросов в нем нет; я вас прошу не длить этой переписки и полагаюсь на вашу деликатность, что окончательное расставание наше не будет сопровождено ни жестким словом, ни враждебным действием.

Желаю вам всего лучшего.

Что Головину вовсе не хотелось разорвать сношения со мной — это было очевидно; ему хотелось сорвать сердце за то, что мы печатали воззвание без него, и потом примириться, но я уж не хотел упустить из рук этого горячо желанного случая.

Недели две-три после моего письма я получил от него пакет. Раскрываю — бумага с траурным ободком... Смотрю — это половина погребального приглашения, разосланного 2 мая 1852 года *. В ответ на его письмо из Турина я ему его послал и приписал: «Письмо ваше тронуло меня, я никогда не сомневался в добром сердце вашем...» На этом-то листе он написал, что просит у меня свиданья, и давал новый адрес и прибавлял: «Il ne s'agit pas d'argent»².

Я отвечал, что идти к нему не могу, потому что не я имею к нему дело, а он ко мне, потому что он начал разрыв, а не я, наконец, потому, что он довел о том до посторонних. Но что я готов его принять у себя когда ему угодно.

¹ совершившийся факт (франц.).— *Ред.*

² «Дело идет не о деньгах» (франц.).— *Ред.*

Он явился на другое утро, смиренный и шелковый. Я уверял его еще и еще, что никакого враждебного шага с моей стороны сделано не будет, но что наши мнения, нравы до такой степени не сходны, что видаться нам незачем.

— Да как же вы это только теперь заметили?..

Я промолчал.

Мы расстались холодно, но учтиво.

Казалось бы, чего же еще? Нет, на другой же день Головин наградил меня следующим письмом¹:

(Ad usum proprium²)

После сегодняшнего разговора не могу я вам отказать в сатисфакции иметь общинку, имейте! Полемики же вести я никакой не намерен, следовательно, избегайте все, что может дать повод к ней.

Когда ваши новые друзья перед вами согрешат, вы найдете во мне вам всегда преданного.

Мой совет написать в «M. Adv.», что вы процесса не заводите с ними потому только, что презираете невежество, которое не знает отличить патриота и друга свободы от агента, хвалит Бруннова и клеветает на Бакунина.

Я к вам ходить не буду, покуда буду занят делами более важными, нежели снисковать симпатии.

Когда же меня захотите посетить, всегда обрадуете тем более, что имея кое-что общее имеется также кое-что и переговорить.

И. Г.

26 апреля 54 г.

К лету я уехал в Ричмонд и некоторое время ничего не слыхал о Головине. Вдруг от него письмо. Он, не называя никого, говорил, что до него дошло, что я «смеялся над ним» у себя дома... и требовал (как у любовницы), чтоб я возвратил ему портрет его, подаренный в Ницце. Как я ни хлопотал, как ни рылся в бумагах, портрета найти не мог.

Досадно было... но пришлось передать ему, что портрет пропал. Я просил нашего общего знакомого, Савича, сказать

¹ «Morning Advertiser», тогда именно попавшийся в руки К. Блинда и немецких демократов марковского толка, поместил глупейшую статью *, в которой доказывал единство видов моей пропаганды с русским правительством. Головин, дающий такие хорошие советы, сам впоследствии прибегнул к тем же средствам и в том же «Morn(ing) Advert(iser)».

² Для собственного употребления (лат.).— *Ред.*

ему, как я искал, и повторить, что я ни малейшего зла ему не желаю и прошу его оставить меня в покое.

В ответ на это — следующее письмо:

А.

Почтенный Александр Иванович,

Вы говорили Савичу, что если я вам напишу письмо, то вы мне возвратите 10 Liv. Мое распоряжение было дать вам 20 Liv. из последних денег, да и вы сами писали, что вы из 100 возьмете только 20. Я надеялся вывернуться скоро, вышло иначе. Но через неделю, много две, я бы мог вам возвратить эти 10 Liv. Вы говорите, что вы мне не враг, и я прошу об этом не как об одолжении от приятеля, а как об справедливости. Если вам это кажется иначе, то откажите, не барабана об этом вашим поклонникам.

И. Г.

Август 16.

На это письмо я ничего не отвечал. Не нужно и говорить, что я Савичу никаких денежных поручений не давал. Он нарочно спутал два дела, чтоб придать вид какой-то *сделки* простой просьбе. О самом Савиче, одном из забавнейших полевых цветков нашей родины, занесенных на чужбину, мы поговорим еще когда-нибудь*.

Вслед за тем второе письмо. Он догадался, что отсутствие ответа — отказ, и, разумеется, вымерил всю неосторожность своего поступка. Испугавшись, он решился взять дело приступом; он мне писал, что я «немец или жид», отослал назад мое письмо С., надписав на нем: «вы трусите»¹.

¹ В.

22 августа 1854. Ричмонд.

Милостивый государь,

Вы писали мне, что хотите прекратить всякое воспоминание нашего знакомства. Через несколько дней вы просили взаимы десять ливров.

На первое письмо я вам отвечал искренно и вежливо, не обращая внимания на тон вашего письма.

На второе я ничего не отвечал.

Переписка между нами невозможна. Я возвращаю вам письмо и не приму следующих. В полном сознании моей правоты в отношении к вам я буду упорно молчать, пока это возможно, надеясь на здравый смысл всякого беспристрастного человека.

А. Герцен

23 августа 1854 г.

Вы хотите меня заставить с вами драться, так, как заставляют маль-

Затем два письма с поддельной надписью и с бранью внутри вроде D¹.

Жалею, что часть их утратилась, впрочем, тон один во всех.

Он ждал, что вслед за его письмом, в котором он говорит о трусости, я пришлю секундантов. Мои понятия о чести были действительно странны и не совпадали с его понятиями. Что за шалость убить кандидата в Бисетр *, в смиритольный дом, или быть им убитым, искалеченным и наверное попасть под суд, бросить свои занятия — и все это для того, чтоб доказать, что я его не боюсь... Как будто одни бешеные собаки имеют привилегию вселять ужас, не лишая чести боящегося?

Опять пауза. Головин не показывается в наших паражах², кутит на чей-то *другой* счет, говорит дерзости кому-то *другому*, у кого-то другого берет деньги взаймы. Между тем последние светлые точки репутации тускнут, старые знакомые отрекаются от него, новые бегут. Луи Блан извиняется перед друзьями, встретившими его с Головиным на Regent street, дом Мильнер-

чиков. Мне совершенно все равно, считаете ли вы меня трусом или храбрым, вором или фальшивым монетчиком.

Почему вы хотите драться теперь — потому что вам совестно, что попросили десять ливров у человека, с которым грубо прервали все сношения. Если б я вам их дал, у вас не было бы reconnaissance (признательности (франц.)).

Я не буду с вами драться, потому что это глупо, потому что я ничего не сделал, за что обязан вам репарацией, и потому, наконец, что стою самобытно на своих ногах и не покоряюсь чужой воле или ругательным словам, диктованным каким-то помешательством.

Не думайте, что я из этого письма делаю тайну, — вы можете его читать, не читать. Вообще, делайте что хотите, только не пишите ко мне.

Я, с своей стороны, и говорить не буду, не только писать — так мне это надоело.

А. Герцен.

¹ D.

Отослать письмо, не читая, есть дерзость, достойная храбрых. Отослать письмо, полагая, что оно содержит запрос денежный, между тем как ничего такого в нем нету, надо быть жидом. Отослать письмо, не зная, нет ли в нем чего, касающегося для чести, надо иметь об ней странные понятия.

² краях (франц. parage). — *Ред.*

Гибсона окончательно запирают для него, английские «симплетоны»¹, глупейшие из всего мира, догадываются, что он не князь и не политический человек и вообще не человек, и только вдали одни немцы, знающие людей по книгопродавческим каталогам, считают его чем-то, «берюмтом»².

В феврале 1855 приготовлялся известный народный сход С.-Мартинс-Галля, — торжественный, но неудавшийся опыт соединения социалистов всех эмиграций с чартистами. Подробности и схода и марксовских интриг против моего избрания я рассказал в другом месте *. Здесь о Головине.

Я не хотел произносить речи и пошел в заседание комитета, чтоб поблагодарить за честь и отказаться. Дело было вечером, и когда я выходил, я встретил одного чартиста * на лестнице, который меня спросил, читал ли я письмо Головина в «Morning Advertiser'e»? * Я не читал. Внизу был кафе и public-house, «Morning Advertiser» есть во всех кабаках; мы взошли, и Фишлейн показал мне письмо Головина, в котором он писал, что до его сведения дошло, что международный комитет меня избрал членом, и просил, как русского, произнести речь на митинге, а потому он, побуждаемый *одной любовью к истине*, предупреждает, что я не русский, а немецкий жид, родившийся в России, — «раса, находящаяся под особым покровительством Николая».

Прочитав эту шалость, я возвратился в комитет и сказал председателю (Э. Джонсу), что беру назад мой отказ. Вместе с тем я показал ему и членам «Morning Adv.» и прибавил, что Головин очень хорошо знает мое происхождение и «лжет из любви к истине». «Да и к тому же еврейское происхождение вряд могло ли бы служить препятствием, — прибавил я, — взяв во внимание, что первые изгнанники после сотворения мира были евреи — именно Адам и Ева».

Комитет расхохотался, и, с председателя начиная, приняли мое новое решение с рукоплесканием.

— Что касается до вашего выбора меня в члены, я обязан вас благодарить, но защищать ваш выбор — ваше дело.

¹ «простак» (англ. simpleton).— *Ред.*

² «знаменитостью» (нем. berühmt).— *Ред.*

— Да! Да! — закричали со всех сторон.

Джонс на другой день напечатал несколько строк в своем «The People» и послал письмо в «Daily News»*.

«ALEXANDER HERZEN, THE RUSSIAN EXILE.

Some sham democrat has written in the „Morning Advertiser“ a libel with reference to *Mr. Herzen*, with a view to damage, if possible, the approaching demonstration in St. Martin's Hall. The effort is puerile, because that demonstration is one of *peoples* and *principles*, and does not in any way depend on the personality of any individual. But in justice to *Mr. Herzen*, we are bound to say that the ridiculous statement about his not being a Russian and an exile is a downright falsehood, and that the statement that he belongs to the same race as *Joseph* and *Josephus* is utterly without foundation; not that it is not just as honourable to belong to that once mighty and ever consistent people, as to any other. He was five years a captive in the Ural mountains, and liberated thence only to be banished from Russia, his native clime.

Mr. Herzen is at the head of Russian democratic literature, and the most distinguished exile of his country; as such, the representative of its proletarian millions. He will be at the demonstration in St. Martin's Hall, and will, we trust, receive a welcome, that will show the world that the English can sympathise with the Russian people, while they desire to strike at the Russian tyrant»¹.

1

«АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН — РУССКИЙ ИЗГНАННИК.

Какой-то горе-демократ написал клеветническую заметку в „Morning Advertiser“ о г. Герцене, очевидно, с намерением, если возможно, повредить митингу, устраиваемому в St. Martin's Hall'e. Это мальчишеская выходка. Митинг устраивается различными нациями во имя принципов; и ни в какой мере не зависит от личности какого-нибудь отдельного участника. Но, чтобы быть справедливым к г. Герцену, мы обязаны сказать, что смехотворное заявление, будто он не русский и не изгнанник из своей страны, является чистойшей ложью; а утверждение, будто он принадлежит к той же самой расе, что Иосиф и Иосиф Флавий, совершенно ни на чем не основано, хотя, разумеется, нет ничего дурного и постыдного принадлежать к этому некогда могущественному и всегда стойкому наро-

«Mr. HERZEN.

To the editor of „The Daily News“.

Sir, — a letter inserted in one of your contemporaries denies Mr. Herzen, the well-known Russian exile, the right of representing, in the International Committee, Russian democracy, and even the Russian birthright.

Mr. Herzen already has disposed of the second allgation. Allow us, on behalf of the International Committee, to add to Mr. Herzen's reply a few facts respecting the first one, which very likely his modesty has prevented him alluding to.

At twenty years of age, condemned for a conspiracy against the despotism of the czar, he was sent to the frontier of Siberia, where he remained, an exile, for a period of seven years.

Pardoned a first time, he knew very soon how to deserve a second condemnation.

In the meantime, political pamphlets, philosophical writings, and novels secured him one of the most distinguished places in Russian literature.

However, for the literary and political part played by Mr. Herzen in his own country, we can do no better than to refer to an article published on the 6th inst. in the „Athenaeum“, of which nobody will suspect the impartiality.

Arrived in Europe in 1847, Mr. Herzen occupied an important rank amongst the distinguished men who attached their names to the great revolutionary movement of 1848. Since that time he has started in London the first Russian free press, wherein he prosecutes against the czar Nicolas and Russian despotism a deadly and most useful war.

In consequence of these facts, anxious as we were to unite the whole democracy in a common manifestation, we neither

ду, как и ко всякому другому. В течение 5 лет Герцен находился в ссылке на Урале, а освободившись оттуда, он был изгнан из России — своей родины. Герцен стоит во главе русской демократической литературы, он является самым выдающимся из эмигрантов его страны, а как таковой — и представителем ее пролетарских миллионов. Он будет участвовать в митинге в St. Martin's Hall'e, и мы уверены, что прием, который ему будет оказан, покажет всему миру, что англичане могут симпатизировать русскому народу и в то же время намерены бороться с русским тираном» (англ.).— *Ред.*

hoped nor wished to find in England or in Europe a nobler and truer representative of the revolutionary party in Russia. Yours, &c. (Signed on behalf of the International Committee.)

The President
Secretaries:

*Robert Chapman.
Conrad Dombrowski.
Alfred Talandier*¹.

1

«Г-н ГЕРЦЕН.
Издателю „The Daily News“.

М. г.! В одном из номеров вашего издания помещено письмо, отрицающее за известным русским изгнанником г. Герценом не только право на представительство русской демократии в Международном комитете, но даже право на принадлежность к русской национальности.

Г-н Герцен уже отвечал * на второе обвинение. Позвольте нам от имени Международного комитета присоединить к ответу г. Герцена несколько фактов касательно первого обвинения,— фактов, сослаться на которые г. Герцену, по всей вероятности, не позволила его скромность.

Осужденный, имея от роду двадцать лет, за заговор против царского деспотизма, г. Герцен был сослан на границу Сибири, где и проживал в качестве ссыльного в течение семи лет.

Амнистированный в первый раз, он очень скоро сумел заслужить и вторую ссылку.

В то же самое время его политические памфлеты, философские статьи и беллетристические произведения доставили ему одно из самых выдающихся мест в русской литературе.

Чтоб показать, какое место принадлежит г. Герцену в политической и литературной жизни его родины, мы не можем сделать ничего лучшего, как сослаться на статью, напечатанную 6 числа текущего месяца в „Athenaeum“ *, журнале, который никто не заподозрит в пристрастии.

Прибывши в Европу в 1847 году, г. Герцен занял видное место в ряду тех выдающихся людей, имена которых тесно связаны с революционным движением 1848 года. С этого же времени он основал в Лондоне первое свободное русское издание, целью которого стала смертельная, в высшей степени полезная война противцаря Николая и русского деспотизма.

Ввиду всех этих фактов, задавшись целью направить по (единому) руслу деятельность всей демократии в целом, мы не надеялись да и не желали бы найти более благородного и более истинного представителя революционной партии в России, чем г. Герцен.

С почтением
по уполномочию Международного комитета

Председатель

Секретариат: *Роберт Чапмен,*

Конрад Домбровский,

Альфред Таландье» (англ.).— *Ред.*

Головин умолк и уехал в Америку.

«Наконец, — думал я, — мы освободились от него. Он пропадет в этом океане всяких свиндлеров и искателей богатств и приключений, сделается там пионером или диггером¹, шулером или слевгольдером², разбогатеет ли он там, или будет повешен по Lunch law... — все равно, лишь бы не возвратился». Ничуть не бывало — всплыл мой Головин через год в том же Лондоне и встретил на улице Огарева, который ему не кланялся, подошел и спросил его: «А что, это вам не велели, что ли, кланяться?» — и ушел. Огарев нагнал его и, сказав: «Нет, я по собственному желанию не кланяюсь с вами», — пошел своей дорогой. Само собою разумеется, это тотчас вызвало следующую ноту:

Приступая к изданию *Кнута*, я не ищу быть в ладу с моими врагами, но я не хочу, чтобы они думали обо мне всякий вздор.

В двух словах я вам скажу, что было у меня с Герценом. Я был у него на квартире и просил не ссориться. «Не могу, — говорит, — не симпатизирую с вами, давайте полемику вести». Я ее не вел, но когда он отослал мне письмо нераспечатанное, тогда я его назвал немцем. Это Брискорн, называвший Долгорукого немцем на смех солдатам. Но Герцену угодно было отвечать и рассказать свою историю, а потом разгневаться не на себя, а на меня. Но и в истории в этой ничего не было обидного. Допустим, что мое поведение с ним было дурно, а ваше со мною хорошо, хотя вы и не близнецы, все еще не за что становиться на дыбы, не лезя в драку.

Головин.

Янв. 12/57.

Мы решились безусловно молчать. Нет досаднее наказания крикунам и *hâbleur*'ам, как молчание, как немое, холодное пренебрежение. Головин еще раза два сделал опыт написать к Огар(еву) колкие и остроумные записки вроде приложенной второй миссивы³, уже совершенно лишенной смысла и смахивающей на действительное сумасшествие.

Берлин, 20 августа.

Я видел
бог цензуры русской
и не смолчал ему*.

¹ золотоискателем (англ. digger).— *Ред.*

² рабовладельцем (англ. slave-holder).— *Ред.*

³ послания, письма (франц. missive).— *Ред.*

С Будбергом мы грызлись два часа; он рыдал, как теленок.

Vous voulez la guerre, vous l'aurez¹.

Мы были врагами с Герценом два-три года. Что из этого произошло? Пользы никому! Хочет он стреляться! У меня *Стрела* готова! * Но для пользы общей гораздо лучше подать руку!

Victoria Hôtel.

Вы издаете ваши полные сочинения. Пахнет ли в них мертвыми, как в Дании?

Ни слова ответа.

А впрочем, с ума сойти было от чего. Мало-помалу все материальные и моральные средства иссякли, литературные аферы, поддерживавшие его; кредиту — нигде; он предпринимал всякого рода полусветлые и полутемные дела — все падало на его голову или валилось из его рук. На средства он не был разборчив.

Одним добрым утром, вероятно, не зная, где бы на чужой счет хорошенько пообедать, — а хорошо обедать он очень любил, — Головин написал Палмерстону письмо и предложил себя, — это было в конце Крымской войны, — тайным агентом английскому правительству, обещая быть очень полезным по прежним связям своим в Петербурге и по отличному знанию России. Палмерстону стало гадко, и он велел отвечать секретарю, что виконт² благодарит г. Головина за предложение, но в настоящую минуту его услугами не нуждается. Это письмо в пакете с печатью Палмерстона Головин долго носил в кармане и *сам показывал его*.

После смерти Николая он поместил в каком-то журнале ругательную статью против новой императрицы, подписав ее псевдонимом, и через день поместил в том же журнале возражение за своей подписью. Наш приятель Кауфман, редактор «Литографированной корреспонденции», обличил эту проделку, и об ней прокричали десятки журналов. Затем он предложил русскому посольству в Лондоне издавать *правительствен-*

¹ Вы желаете войны — вы ее получите (франц.).— *Ред.*

² виконт (англ. viscount).— *Ред.*

ную газету. Но и Бруннов, как Палмерстон, еще не чувствовал настоящей потребности в его услугах.

Тогда он просто попросил амнистию и тотчас получил ее с условием поступить на службу. Он испугался, стал торговаться о месте служения, просил, чтоб его взял к себе Суворов, бывший тогда генерал-губернатором остзейских провинций. Суворов согласился — Головин не поехал, а написал князю Горчакову письмо о своем сношении: он видел — государь призывает его в свой совет и что он с рвением ему благие дела советует.

Сны не всегда сбываются, и вместо места в царской думе наш поседевший шалун чуть не попал в исправительный дом. Встретившись с каким-то коммерческим фактотумом Стерном, Головин, без гроша денег, поднялся на всякие спекуляции, забывая, что еще в 1846 имя его было выставлено в Париже на бирже как человека, нечисто играющего. Он хотел надуть Стерна — Стерн надул его; Головин прибегнул к своей методе: он поместил в журналах статью о Стерне, в которой коснулся его семейной жизни. Стерн взбесился и потребовал его к суду. Головин явился, растерянный, испуганный, к солиситору¹, он боялся тюрьмы, сильного штрафа, огласки. Солиситор предложил ему подписать какой-то документ на мировую, он подписал полное отречение от сказанного. Солиситор скрепил, а Стерн, вылитографировавши документ и снабдив его facsimil'ем, разослал ко всем своим и головинским знакомым. Один экземпляр получил и я.

4, Egremont Place, London.
29 May 1857.

Dear Sir,

Your having commenced an action for libel against me in respect of certain statements I have made both verbally and in writing reflecting upon your character and your having through the intervention of mutual friends consented to forego further proceedings therein upon my paying the costs thereof and retracting such statements and also expressing my regret at having made use of them, I thus gladly avail myself of those terms and beg to assure you that if anything that I may have written or said has tended in the most remote degree to injure you I can only say that such was not my

¹ адвокату (англ. solicitor). — *Ред.*

intention and that I am very sorry for having adopted the course I did which shall never be repeated by

yours truly

E. Stern Esq.

I. Golovin.

Witness: H. Empson, Solicitor. 61. Moorgate street, London ¹.

Затем Лондон оказался решительно невозможным... Головин оставил его, увозя с собой целую портфель незаключенных счетов портных, сапожников, трактирщиков, домохозяев... Он уехал в Германию и вдруг как-то скоропостижно женился *. Замечательное событие это он телеграфировал в тот же день императору Александру II.

Года через два, проживши приданое жены, он напечатал в фельетоне какой-то газеты о несчастиях гениального человека, женатого на простой женщине, которая не может его понимать.

Затем я не слышал об нем больше пяти лет.

В начале польского восстания — новый опыт примириться: «Польские и русские друзья этого требуют, ждут!» — Я промолчал.

...В начале 1865 я встретил в Париже какого-то сторбившего старика *, с осунувшимся лицом, в поношенной шляпе, в поношенном пальто... Было ветрено и очень холодно... Я шел на чтение к А. Дюма... которое тоже было ветрено и вяло. Старик прятался в воротник; проходя, он, не глядя на меня, пробормотал: «Отзвонил!» — и пошел далее. Я приостановился... Головин шел прежней тяжелой ступней, не оборачиваясь — пошел и я. Остановился я затем, что раза два он

¹ 4, Egremont Place, London. 29 мая 1857.

1

Милостивый государь! Так как Вы возбудили против меня дело о клевете по поводу некоторых моих устных и письменных заявлений, бросающих тень на Ваш характер, и так как Вы при посредничестве общих друзей согласились прекратить это дело в том случае, если я заплачу судебные издержки и откажусь от упомянутых заявлений, а также выражу сожаление, что сделал их, — то я с радостью принимаю эти условия и прошу Вас верить, что, если что-либо из сказанного или написанного мною хотя бы в малейшей степени повредило Вам, я не имел такого намерения и крайне сожалею о том, что сделал и чего более никогда не повторит Ваш покорный слуга.

И. Головин.

Е. Стерну, эсквайру. Свидетель Г. Эмпсон, адвокат.

встречался со мной на лондонских улицах; раз он пробормотал: «Экой злой!», другой — сказал себе что-то под нос, вероятно, обругал, но я не слышал, и ко мне он не обращался, а начинать с ним уличную историю мне не хотелось. Он рассказал впоследствии Савичу и Савашкевичу, что, встретившись, обругал меня, а я промолчал.

— Что же Головин здесь делает? — спросил я того же Головинского, о котором упомянул *.

— Плохо ему; он сделался брокантером, менялой, покупает скверные картины, надувает ими дураков, а большей частью сам бывает надут... Стареет, брюзжит, пишет иногда статьи, которые никто не печатает, не может вам простить ваши успехи... и ругает вас на чем свет стоит.

...Сношений между нами не было с тех пор. Но через годы, когда всего менее ждешь, получается письмо... то с предложением примириться, по просьбе каких-то поляков, то с какой-нибудь бранью. С нашей — ни слова ответа.

Я вздумал, как ни скучно, записать наши похождения и для этого развернул уцелевшие письма его. В то время как я взялся за перо и написал первые строки, мне подали письмо руки Головина. Вот оно как достойный эпиллог:

Александр Иванович!

Напоминаю я Вам о себе редко, но разнесся слух, что вы «умываете себе руки» и сходите с колокольни.

По-моему, не берись за гуж, а взявшись за гуж, не говори, что дуж.

Ваши средства вам позволяют издавать «Колокол» и при потере. Если можно, поместите письмо, при сем приложенное.

Головин.

Г-ну Каткову, редактору «Московских ведомостей».

Милостивый государь!

Извините меня, если я не знаю вас ни по имени, ни по отчеству, знаю вас только за вашу слепую ненависть к полякам, в которых вы не признаете ни людей, ни славян, знаю также за ваше незнание европейских вопросов.

Мне говорят, что в вашем журнале была фраза: «Дерптское перо сожалеет об России и утопает в ничтожестве» или нечто подобное. Я жалею Россию, жалею *опричничество* и неурядицу ее, жалею дворянство, кото-

рое принуждено делать фальшивые ассигнации и фальшивые билеты лотерейные, так что в настоящую минуту представлено три билета, выигравших 100 тысяч рублей, и никто не может отличить, который настоящий, жалею упивающихся крестьян, ворующих чиновников и священников, врущих вздор; но я знаю, что *на Руси не красно жить*.

Угодно было его величеству не велеть мне прописать в паспорт глупый чин, добытый мною в университете, и я записал в его формулярный список титул *благонамеренного*, который ему и остается, так что написанное пером не вырубается и топором.

Украли у меня отечество за политическую экономию; я вспомнил, что я человек прежде нежели русский и служу человечеству — поприще гораздо большее, нежели служба государственная, которую мне возлагали в обязанность.

В моих глазах я не упал, а поднялся. Слышал я, что если б приехал, то заперли бы меня в дом умалишенных; но надо было бы выпустить много крови, чтоб ослабел мой мозг, — операция, известная под 53 градусом северной широты против людей, которым есть с чего сходить.

Имею честь быть ваш покорный слуга.

Ив. Головин


Париж, февр. 1/66.



Часть восьмая

< О Т Р Ы В К И >

(1865 — 1868)



〈ГЛАВА I〉
БЕЗ СВЯЗИ

I

ШВЕЙЦАРСКИЕ ВИДЫ¹

Лет десять тому назад *, идучи поздним зимним, холодным, сырым вечером по Геймаркету, я натолкнулся на негра, лет семнадцати; он был бос, без рубашки и вообще больше раздет тропически, чем одет по-лондонски. Стуча зубами и дрожа всем телом, он попросил у меня милостыни. Дня через два я опять его встретил, а потом еще и еще. Наконец я вступил с ним в разговор. Он говорил ломаным англо-испанским языком, но понять смысл его слов было не трудно.

— Вы молоды,— сказал я ему, — крепки, что же вы не ищите работы?

— Никто не дает.

— Отчего?

— Нет никого знакомого, кто бы поручился.

— Да вы откуда?

— С корабля.

— С какого?

— С испанского. Меня капитан очень бил, я и ушел.

— Что вы делали на корабле?

— Все: платье чистил, посуду мыл, каюты прибирал.

— Что же вы намерены делать?

— Не знаю.

— Да ведь вы умрете с холода и голода, по крайней мере наверно схватите лихорадку.

¹ Небольшие отрывки из этого отдела были напечатаны в «Колоколе».

— Что же мне делать? — говорил негр с отчаянием, глядя на меня и дрожа всем телом от холода.

«Ну, — подумал я, — была не была, не первая глупость в жизни».

— Идите со мной; я вам дам угол и платье, вы будете чистить у меня комнаты, топить камин и останетесь сколько хотите, если будете вести себя порядком и тихо. Се по — по¹.

Негр запрыгал от радости.

В неделю он потолстел и весело работал за четырех. Так прожил он с полгода; потом, как-то вечером, явился перед моей дверью, постоял молча и потом сказал мне:

— Я к вам пришел проститься.

— Как так?

— *Теперь довольно*, я пойду.

— Вас кто-нибудь обидел?

— Помилуйте, я всеми доволен.

— Так куда же вы?

— На какой-нибудь корабль.

— Зачем?

— Очень соскучился, не могу; я сделаю беду, если останусь, мне надобно море. Я поезжу и опять приеду, а *теперь довольно*.

Я сделал опыт остановить его, дня три он подождал и во второй раз объявил, что это сверх сил его, что он должен уйти, что *теперь довольно*.

Это было весной. Осенью он явился ко мне снова тропически раздетый; я опять его одел, но он вскоре наделал разных пакостей, даже грозил меня убить, и я был вынужден его прогнать.

Последнее к делу не идет, а идет к делу то, что я совершенно разделяю воззрение негра. Долго живши на одном месте и в одной колее, я чувствую, что на некоторое время *довольно*, что надобно освежиться другими горизонтами и физиономиями... и с тем вместе взойти в себя, как бы это ни казалось странным. Поверхностная рассеянность дороги не мешает.

Есть люди, предпочитающие отъезжать *внутренно*; кто при помощи сильной фантазии и *отвлекаемости* от окружающего — на это надобно особое помазание, близкое к гениальности

¹ Если нет, так нет (итал.).— *Ред.*

и безумию, — кто при помощи опиума или алкоголя. Русские, например, пьют запоем неделю-другую, потом возвращаются ко дворам и делам. Я предпочитаю передвижение всего тела передвижению мозга и кружение по свету — кружению головы.

Может, оттого, что у меня похмелье тяжело.

Так рассуждал я 4 октября 1866 в небольшой комнате дрянной гостиницы на берегу Невшательского озера, в которой чувствовал себя как дома, как будто в ней жил всю жизнь.

С летами странно развивается потребность одиночества и, главное, тишины... На дворе было довольно тепло, я отворил окно... Все спало глубоким сном: и город, и озеро, и причаленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрыпу и видно по легкому уклонению мачты, никак не попадавшей в линию равновесия и переходившей ее то направо, то налево...

...Знать, что никто вас не ждет, никто к вам не взойдет, что вы можете делать что хотите, умереть, пожалуй... и никто не помешает, никому нет дела... разом страшно и хорошо. Я решительно начинаю дичать и иногда жалею, что не нахожу сил принять светскую схиму.

Только в одиночестве человек может работать во всю силу своей могучести. Воля располагать временем и отсутствие неминуемых перерывов — великое дело. Сделалось скучно, устал человек — он берет шляпу и сам ищет людей и отдыхает с ними. Стоит ему выйти на улицу — вечная каскада лиц несется, нескончаемая, меняющаяся, неизменная, с своей искрящейся радугой и седой пеной, шумом и гулом. На этот водопад вы смотрите, как художник. Смотрите на него, как на выставку, именно потому, что не имеете практического отношения. Все вам постороннее, и ни от кого ничего не надобно.

На другой день я встал ранехонько и уже в 11 часов до того проголодался, что отправился завтракать в большой отель, куда меня с вечера не пустили за неимением места. В столовой сидел англичанин с своей женой, закрывшись от нее листом «Теймса», и француз лет тридцати — из новых, теперь слагающихся типов: толстый, рыхлый, белый, белокурый, мягко-жирный, он, казалось, готов был расплыться, как желе

в теплой комнате, если б широкое пальто и панталоны из упругой материи не удерживали его мясов. Наверно, сын какого-нибудь князя биржи или аристократ демократической империи. Вяло, с недоверием и пытливым духом продолжал он свой завтрак; видно было, что он давно занимается и — устал.

Тип этот, почти не существовавший прежде во Франции, начал слагаться при Людовике-Филиппе и окончательно расцвел в последние пятнадцать лет. Он очень противен, и это, может, комплимент французам. Жизнь кухонного и винного эпикуреизма не так искажает англичанина и русского, как француз. Фоксы и Шериданы пили и ели за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Француз безнаказанно предастся одной *литературной* гастрономии, состоящей в утонченном знании яств и витийстве при заказе блюд. Ни одна нация не *говорит* столько об обеде, о приправах, тонкостях, как французы; но это все фиоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француз заедает, поглощает... оно ему не по нервам. Француз остается цел и невредим только при самом многостороннем волокитстве, это его национальная страсть и любимая слабость, в ней он силен.

— Прикажете десерт? — спросил гарсон, видимо, уважавший француза больше нас.

Молодой господин варил в это время пищу в себе и потому медленно, поднимая на гарсона тусклый и томный взгляд, сказал ему:

— Я еще не знаю, — потом подумал и прибавил: — Une poire!¹

Англичанин, который в продолжение всего времени молчал за ширмами газеты, встрепенулся и сказал:

— Et à moi aussi!²

Гарсон принес две груши, на двух тарелках, и одну подал англичанину; но тот с энергией и азартом протестовал:

— No, no! Aucune chose pour poire!³ Ему просто хотелось пить. Он напился и встал; я тут только заметил, что на нем

¹ Грушу! (франц.).— *Ред.*

² И мне тоже (искаж. франц.).— *Ред.*

³ Нет, нет! Чего-нибудь попить! (искаж. франц.); англичанин спутал poire (груша) с boire (пить).— *Ред.*

была детская курточка, или спенсер, светло-коричневого цвета и светлые панталоны в обтяжку, страшно сморщившиеся возле ботинок. Встала и леди; она подымалась все выше, выше и, сделавшись очень высокой, оперлась на руку приземистого своего мужа и вышла.

Я их проводил улыбкой невольной, но совершенно беззлобной; они все же мне казались вдесятеро больше люди, чем мой сосед, расстегивавший, по случаю удаления дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейн — естественная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько невыразимой скуке обеих сторон. Тройная скука налегла здесь на все: немецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нет удивительного, что единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью *; кроме мертвых, здесь никто не веселится, хотя немецкое общество сильно любит музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Город транзитный: все проезжают по нем, и никто не останавливается, кроме комиссионеров и ломовых извозчиков высшего порядка.

Жить в Базеле без особой любви к деньгам нельзя. Впрочем, вообще в швейцарских городах жить скучно, да и не в одних швейцарских, а во всех небольших городах. «Чудесный город Флоренция, — говорит Бакунин, — точно прекрасная конфета... ешь не нарадуешься, а через неделю нам все сладкое смертельно надоедает». Это совершенно верно; что же и говорить после этого о швейцарских городах? Прежде было покойно и хорошо по берегу Лемана; но с тех пор, как от Вевея до Вето всё застроили подмосковными и в них выселились из России целые дворянские семьи, исхудалые от несчастья 19 февраля 1861, нашему брату там не рука.

Лозанна.

Я в Лозанне проездом *. В Лозанне все проездом, кроме аборигенов.

В Лозанне посторонние не живут, несмотря ни на ее удивительные окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: раз после смерти Кромвеля, раз при жизни Гиббона и теперь, строя в ней дома и виллы. Живут туристы только в Женеве.

Мысль о ней для меня неразрывна с мыслью о самом холодном и сухом великом человеке и о самом холодном и сухом ветре — о Кальвине и о бизе. Я обоих терпеть не могу.

И ведь в каждом жепевце осталось что-то от бизы и от Кальвина, которые дули на него духовно и телесно со дня рождения, со дня зачатия и даже прежде — один из гор, другой из молитвенников.

Действительно, след этих *двух простуд*, с разными пограничными и чоресполосными оттенками — савойскими, валлийскими, пуще всего французскими, — составляет основной характер женевца — хороший, но не то чтоб особенно приятный.

Впрочем, я теперь описываю путевые впечатления, а в Женеве я живу. Об ней я буду писать, отойдя на артистическое расстояние...

...В Фрибург я приехал часов в десять вечера... прямо к Zähringhof'у*. Тот же хозяин, в черной бархатной скуфье, который встречал меня в 1851 году, с тем же правильным и высокомерно-учтивым лицом русского обер-церемониймейстера или английского швейцара, подошел к омнибусу и поздравил нас с приездом

...И столовая та же, те же складные четырехугольные диванчики, обитые красным бархатом.

Четырнадцать лет прошли перед Фрибургом, как четырнадцать дней! Та же гордость кафедральным органом, та же гордость цепным мостом.

Веяние нового духа, беспокойного, меняющего стены, разбрасывающегося, поднятого эквinoxиальными¹ бурями 1848 года, мало коснулось городов, стоящих в нравственной и фи-

¹ равноденственными от equinoxial (франц.). — Ред.

зической стороне, вроде иезуитского Фрибурга и пиетистического Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашьям шагом, стали лучше, но нам кажутся отсталыми в своей каменной одежде, сшитой не по моде... А ведь многое в прежней жизни было недурно, прочнее, удобнее: она была лучше разочтена для *малого* числа избранных и именно поэтому не соответствует огромному числу вновь приглашенных, далеко не так избалованных и не так трудных во вкусе.

Конечно, при современном состоянии техники, при ежедневных открытиях, при облегчении средств можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человек, владеющий местом, довольствуется малым. Вообще на него наклепали, и, главное, наклепал он сам то пристрастие к комфорту и ту избалованность, о которой говорят. Все это у него риторика и фраза, как и все прочее; были же у него свободные учреждения без свободы, отчего же не иметь блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключения. Мало ли что можно найти у английских аристократов, у французских камелий, у иудейских князей мира сего... Все это личное и временное: лорды и банкиры не имеют будущности, а камелии — наследников. Мы говорим *о всем свете*, о золотой посредственности, о хоре и кор-де-бале, который теперь на сцене и жуирует, оставляя в стороне отца лорда Станлея, имеющего тысяч двадцать франков дохода в день, и отца того двенадцатилетнего ребенка, который на днях бросился в Темзу, чтоб облегчить родителям пропитанье.

Старый, разбогатевший мещанин любит толковать об удобствах жизни; для него все это еще ново: *что он барин*, *qu'il a ses aises*¹, что его средства ему позволяют, что это его не разорит. Он дивится деньгам и знает их цену и летучесть, в то время как его предшественники по богатству не верили ни в их истощаемость, ни в их достоинство и потому разорялись. Но разорялись они со вкусом. У «буржуа» мало смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой наследственной, скупой жизни осталась. Он, пожа-

¹ что все к его услугам (франц.).— *Ред.*

луд, и тратит большие деньги, но не на то, что надобно. Поколение, прошедшее прилавком, усвоило себе не те размеры, не те планы, в которых привольно, и не может от них отстать. У них все делается будто на продажу, и они, естественно, имеют в виду как можно большую выгоду, барыш и казовый конец. «Проприетер» инстинктивно уменьшает размер комнат и увеличивает их число, не зная, почему делает небольшие окна, низкие потолки; он пользуется каждым углом, чтоб вырвать его у жильца или у своей семьи. Угол этот ему не нужен, но на всякий случай он его отнимает у кого-нибудь. Он с особенным удовольствием устраивает две неудобных кухни вместо одной порядочной, устраивает мансарду для горничной, в которой пользя ни работать, ни повернуться, но зато сыро. За эту экономию света и пространства он украшает фасад, грузит мебелью гостиную и устраивает перед домом цветник с фонтаном — наказание детям, нянькам, собакам и наемщикам.

Чего не испортило скряжничество, то доделывает нерасторопность ума. Наука, прорезывающая мутный пруд обыденной жизни, не мешаясь с ней, бросает направо и налево свои богатства, но их не умеют удить мелкие лодочники. Вся польза идет гуртовщикам и педится каплями для других; гуртовщики меняют шар земной, а частная жизнь тащится возле их паровозов в старой колымаге, на своих клячах... Камин, который бы не дымился, — мечта; мне один женевский хозяин успокоительно говорил: «Камин этот *только* дымит в бизу»¹, т. е. именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза — как будто случайность или новое изобретение, как будто она не дула до рождения Кальвина и не будет дуть после смерти Фази. Во всей Европе, не исключая ни Испании, ни Италии, надобно, вступая в зиму, писать свое завещание, как писали его прежде, отправляясь из Парижа в Марсель, и в половине апреля служить молебен Иверской божией матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствий, что у них другого дела много, я им прощу и дымящиеся каминь,

¹ северный ветер, от *bise* (франц.).— *Ред.*

и замки, которые разом отворяют дверь и кровь, и вонь в сенях, и прочее, но спрошу, в чем их дело, в чем их высшие интересы? *Их нет...* они только выставляют их для скрытия невозможной пустоты и бессмыслия...

В средние века люди жили наисквернейшим образом и тратились на совершенно ненужные и не идущие к удобствам постройки. Но средние века не толковали о страсти к удобствам — напротив, чем неудобнее шла их жизнь, тем она ближе была к их идеалу; их роскошь была в благолепии дома божия и дома общинного, и там они уж не скупились, не жаллись. Рыцарь строил тогда крепость, а не дворец, и выбирал не наиудобнейшую дорогу для нее, а неприступную скалу. Теперь защищаться не от кого, в спасение души от украшения церковей никто не верит; от форума и ратуши, от оппозиции и клуба мирный гражданин порядка отстал; страсти и фанатизмы, религии и героизмы — все это уступило место материальному благосостоянию, *а оно-то и не устроилось.*

Для меня во всем этом есть что-то печальное, трагическое, точно этот мир живет кой-как, в ожидании, что земля расступится под ногами, и ищет не устроиться, а забыться. Я это вижу не только в озабоченных морщинах, но и в боязни перед серьезной мыслью, в отвращении от всякого разбора своего положения, в судорожной жажде недосуга, внешней рассеянности. Старики готовы играть в игрушки, «лишь бы дело не шло на ум».

Модный отягивающий пластырь — всемирные выставки. Пластырь и болезнь вместе, какая-то перемежающаяся лихорадка с переменными центрами. Все несетя, плывет, идет, летит, тратится, домогается, глядит, устает, живет еще неудобнее, чтоб следить за *успехом* — чего? Ну, так, за успехами. Как будто в три-четыре года может быть такой прогресс во всем, как будто при железных дорогах такая крайность возить из угла в угол дома, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды...

...Ну, а выставки надоедят — примутся за войну, начнут рассеиваться горами трупов, лишь бы не видеть каких-то *черных точек* на небосклоне...

II БОЛТОВНЯ С ДОРОГИ И РОДИНА В БУФЕТЕ

- Есть место в Андерматт?
— Вероятно, будет.
— В кабриолете?
— Может быть; вы заходите в половине одиннадцатого...

Я смотрю на часы — три без четверти... и я с чувством какого-то бешенства сажусь на лавочку перед кафе... Шум, крик, таскают чемоданы, водят лошадей; лошади стучат без нужды по камням; трактирные гарсоны завоевывают путешественников; дамы роются между саками... Щелк, щелк... — один дилижанс поскакал... щелк, щелк — другой поскакал за ним... Площадь пустеет, все разошлось... Жар смертельный, светло до безобразия, камни побледнели; собака легла было середь площади, но вдруг вскочила с негодованием и побежала в тень. Перед кафе сидит толстый хозяин в рубашке, он постоянно дремлет. Идет баба с рыбой. «Почем рыба?» — спрашивает с видом страшной злобы хозяин. Женщина говорит цену. — «Carrogna»¹, — кричит хозяин. — «Ladro»², — кричит женщина. — «Иди мимо, старая чертовка!» — «Берешь, что ли, разбойник?» — «Ну, отдавай за *три венты* фунт». — «Чтоб тебе умереть без исповеди!» Хозяин берет рыбу, женщина — деньги, и дружески расстаются. Все эти ругательства — одна принятая форма, вроде вежливостей, употребляемых нами.

Собака продолжает спать, хозяин отдал рыбу и опять дремлет; солнце печет, сидеть дольше невозможно. Иду в кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу... Описание гор и пропастей, цветущих лугов и голых гранитов — все это есть в гиде... Лучше сплетничать. Сплетни — отдых разговора, его десерт, его соя; одни идеалисты и абстрактные люди не любят сплетней... Но о ком сплетничать?.. Разумеется, о предмете, самом близком нашему патриотическому сердцу, — о наших милых соотечественниках. Их везде много, особенно в хороших отелях.

¹ «Стеррва» (итал). — *Ред.*

² «Разбойник» (итал). — *Ред.*

Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи; они скоро знакомятся с гарсонами и туго — с соседями; они едят с ножа; военные похожи на немцев, но отличаются от них особенно дерзким затылком, с оригинальной щетинкой; дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за *table d'hôte*'ом¹, и пр.

Тунское озеро сделалось цистерной, около которой надели наши туристы высшего полета. *Fremden-Liste*² словно выписан из «Памятной книжки»*: министры и тузы, генералы всех оружий и даже тайной полиции отмечены в нем. В садах отелей наслаждаются сановники, *mit Weib und Kind*³, природой и в их столовой — ее дарами. «Вы через Гемми или Гримзель?» — спрашивает англичанка англичанку. — «Вы в „*Jungfraublick*“ или в „Виктории“ остановились?» — спрашивает русская русскую — «Вот и „*Jungfrau!*“», — говорит англичанка. — «Вот и Рейтерн» (министр финансов), — говорит русская...

.....
Intcing minutes d'arrêt...

Intcing minutes d'arrêt...⁴

и все, что было в вагонах, высыпалось в залу ресторана и бросилось за стол, торопясь съесть обед в какие-нибудь двадцать минут, из которых дорожное начальство непременно украдет пять-шесть да еще прежде испугает аппетит страшным звонком и криком: «*En voiture*»⁵.

Взошла высокая барыня в темном и ее муж в светлом, с ними двое детей... Взошла с застенчивым, неловким видом бедно одетая девушка, у которой на руках были какие-то мешочки

¹ общим обеденным столом (франц.).— *Ред.*

² Список приезжих (нем.).— *Ред.*

³ с женами и детьми (нем.).— *Ред.*

⁴ Скороговорка; надо: *Vingt cinq minutes d'arrêt* — Двадцать пять минут остановки (франц.).— *Ред.*

⁵ «Занимайте места» (франц.).— *Ред.*

и баульчики. Она постояла... потом пошла в угол и села — почти возле меня. Зоркий взгляд гарсона ее заметил; проревя с тарелкой, на которой лежал кусок ростби́фа, он спустился, как коршун, на бедную девушку и спросил ее, что она желает заказать. «Ничего»,— отвечала она, и гарсон, которого кликал английский клержимап, побежал к нему... Но через минуту он опять подлетел к ней и, махая салфеткой, спросил ее: «Что, бишь, вы заказали?»

Девушка что-то прошептала, покраснела и встала. Меня так и кольнуло. Мне захотелось предложить ей чего-нибудь, но я не смел.

Прежде чем я решился, черная дама повела черными глазами по зале и, увидя девушку, подозвала ее пальцем. Она подошла; дама указала ей на недоеденный детьми суп, и та, стоя середь ряда сидящих и удивленных путешественников, смущенная и потерянная, съела ложки две и поставила тарелку.

— Messieurs les voyageurs pour Ucinungen, Onctin et Ton-tuux — en voiture!¹

Все бросились с ненужной поспешностью к вагонам.

Молчать я не мог и сказал гарсону (не коршуну, другому):

— Вы видели?

— Как же не видать — это *русские*.

III

ЗА АЛЬПАМИ

...Архитектуральный, монументальный характер итальянских городов, рядом с их запущенностью, под конец надоедает. Современный человек в них не дома, а в неудобной ложе театра, на сцене которого поставлены величественные декорации.

Жизнь в них не уравновесилась, не проста и не удобна. Тон поднят, во всем декламация, и декламация итальянская (кто слышал чтение Данта, тот знает ее). Во всем та натянутость, которая бывала в ходу у московских философов и немецких ученых художников; все с высшей точки, vom höhern Stand-

¹ Господа пассажиры на Uttigen, Mont-Sion и Tondu, занимайте места! (франц.).—Ред.

punkt. Взынченность эта исключает abandon¹, вечно готова на отпор и проповедь с сентенциями. Хроническая восторженность утомляет, сердит.

Человеку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, иметь *тугенды*², быть тронутым и носиться мыслию далеко в былом, а Италия не спускает с известного диапазона и беспрестанно напоминает, что ее улица не просто улица, а что она памятник, что по ее площадям не только надобно ходить, но должно их изучать.

Вместе с тем все особенно изящное и великое в Италии (а может, и везде) граничит с безумием и нелепостью, по крайней мере напоминает малолетство... Piazza Signoria — это детская флорентинского народа; дедушка Бонарроти и дядюшка Челлини надарили ему мраморных и бронзовых игрушек, а он их расставил зря на площади, где столько раз лилась кровь и решалась его судьба, без малейшего отношения к Давиду или Персею... Город в воде, так что по улицам могут гулять ерши и окуни... Город из каменных щелей, так что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтоб ползать и бегать по узенькому дну, между утесами, составленными из дворцов... А тут Беловежская пуца из мрамора. Какая голова смела создать чертеж этого каменного леса, называемого Миланским собором, эту гору сталактитов? Какая голова имела дерзость привести в исполнение сон безумного зодчего... и кто дал деньги, огромные, невероятные деньги!

Люди только жертвуют на ненужное. Им всего дороже их фантастические цели. Дороже насущного хлеба, дороже своей корысти. В эгоизм надобно воспитаться так же, как в гуманность. А фантазия уносит без воспитания, увлекает без рассуждений. Века веры были веками чудес.

Город поновее, поменее исторический и декоративный — Турин.

— Так и обдает своей прозой.

— Да, а жить в нем легче — именно потому, что он просто город, город не в собственное свое воспоминание, а для обыденной жизни, для настоящего; в нем улицы не представляют архео-

¹ непринужденность (франц.). — *Ред.*

² добродетели (нем. Tugend). — *Ред.*

логического музея, не напоминают на каждом шагу *shemento mori*¹, а взгляните на его работничье население, на их резкий, как альпийский воздух, вид — и вы увидите, что это кряж людей бодрее флорентинцев, венециан, а может, и стойчее генуэзцев.

Последних, впрочем, я не знаю. К ним присмотреться очень трудно: они все мелькают перед глазами, бегут, суетятся, снуют, торопятся. В переулках к морю народ кипит, но те, которые стоят, не генуэзцы, это матросы всех морей и океанов, шкиперы, капитаны. Звонки там, звонки тут — *Partenza!* — *Partenza!*² — и часть муравейника засуетилась: одни нагружают, другие разгружают.

IV

ZU DEUTSCH³

...Три дня льет проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется... В окне книжной лавки выставлена «Переписка Гейне», два тома*. Вот спасенье — я взял их и принялся читать впредь до расчищения неба.

Много воды утекло с тех пор, как Гейне писал Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дело: с 1848 года мы всё пятились да отступали, всё бросали за борт да ежились, а кой-что сделалось, и всё исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, т. е. тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее — может, оттого, что это в самом деле работа. Дон-Кихоты реакции пропороли много наших воздушных шаров, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, как дух божий, над водами с цевницей и пророческим песнопением, а цепляемся за деревья, крыши и за мать сыру землю.

Где эти времена, когда «Юная Германия», в своем «прекрасном высоко», *теоретически* освобождала отечество и в сферах чистого разума и искусства покончивала с миром преданий и предрассудков? Гейне было противно на ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал

¹ Помни о смерти (лат.). — *Ред.*

² Отплытие! Отплытие! (итал.). — *Ред.*

³ Слишком по-немецки (нем.). — *Ред.*

под старость Гёте, грезя не совсем складные, но умные сны второй части «Фауста», однако и он ниже книжного магазина не опустился,— это все еще академическая аула¹, литературные кружки, журнальные приходы, с их сплетнями и дразгами, с их книжными Шейлохами в виде Котты или Гофмана и Кампе, с их геттингенскими архиереями филологии и епископами юриспруденции в Галле или Бонне. Ни Гейне, ни его круг народа не знали, и народ их не знал. Ни скорбь, ни радость низменных полей не подымалась на эти вершины; для того чтоб понять стон современных человеческих трясин, им надобно было переложить его на латинские нравы и через Гракхов и пролетариев добраться до их мысли.

Бакалавры мира *сублимированного*², они выходили иногда в жизнь, начиная, как Фауст, с полпивной и всегда, как он, с каким-нибудь духом школьного отрицанья, который им, как Фаусту, мешал своей рефлексией просто глядеть и видеть. Оттого-то они тотчас возвращались от живых источников к источникам историческим — тут они чувствовали себя больше дома. Занятия их, это особенно замечательно, не только не были *делом*, но и не были *наукой*, а, так сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчас бунтовал против архивного воздуха и аналитического наслаждения, хотел чего-то другого, а письма его — совершенно *немецкие письма* того немецкого периода, на первой странице которого Беттина-дитя, а на последней Рахель-еврейка *. Мы свежее дышим, встречая в его письмах страстные порывы юдаизма; тут Гейне в самом деле увлекающийся человек, но он тотчас стынет, холодеет к юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не бескорыстную измену.

Революция 1830 и потом переезд Гейне в Париж сильно двинули его. «Der Pan ist gestorben!»^{3*} — говорит он с восторгом, и торопится *туда* — туда, куда и я некогда торопился так болезненно страстно,— в Париж; он хочет видеть «великий народ» и «седого Лафайета, разъезжающего на серой лошади». Но литература вскоре берет верх, наружно и внутрен-

¹ актовый зал (лат.). — *Ред.*

² возвышенного, от sublime (франц.).— *Ред.*

³ «Пан умер!» (нем.). — *Ред.*

но письма наполняются литературными сплетнями, личностями впереыпочку с жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположение духа, сквозь которого просвечивает безмерное, оскорбительное самолюбие. И тут же Гейне берёт фальшивую ноту. Холодно вздутый риторический бонапартизм его становится так же противен, как брезгливый ужас гамбургского хорошо вымытого жида перед народными трибунами не в книгах, а на самом деле. Он не мог переварить, что рабочие сходки не представлялись в чопорной обстановке кабинета и салона Варнгагена, «фарфорового» Варнгагена фон Энзе, как он его сам назвал.

Чистотой рук и отсутствием табачного запаха, впрочем, и ограничиваясь чувство его собственного достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не немецкое, не еврейское и, по несчастью, тоже не русское.

Гейне кокетничает с прусским правительством, заискивает в нем через посла, через Варнгагена и ругает его¹. Кокетничает с баварским королем и осыпает его сарказмами, больше чем кокетничает с «высокой» германской диетой и выкупает свое дрянное поведение перед ней едкими насмешками.

Все это не объясняет ли, отчего учено-революционная вспышка в Германии так быстро лопнула в 1848 году? Она тоже принадлежала литературе и исчезла, как ракета, пущенная в Крольгардене; она имела своих вождей-профессоров и своих генералов от филологии, она имела свой народ в ботфортах и беретах, народ-студентов, изменивших революционному делу, как только оно перешло из метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кроме несколько забежавших или завлеченных работников, народ не шел за этими бледными *фюрерами*, они ему так и остались посторонними.

¹ Не то же ли делал и гений на *содержании* прусского короля? Его двуипостасность навлекла на него колкое слово. После 1848 король ганноверский, ультраконсерватор и феодал, приехал в Потсдам. На лестнице дворца встретили разные придворные и Гумбольдт в ливрейнном фраке. Злой король остановился и, улыбаясь, сказал ему: «Immer derselbe: immer Republikaner und immer im Vorzimmer des Palastes». («Все тот же: всегда республиканец и всегда в прихожей дворца» (нем.).)

— Как вы можете выносить все обиды Бисмарка? — спросил я за год до войны * у одного левого депутата из Берлина в самое то время, когда граф набивал себе руку для того, чтоб повышибать зубы покрепче Грабова и К°..

— Мы все сделали, что могли, *innerhalb*¹ конституции.

— Ну, так вы бы, по примеру правительства, попробовали *ausserhalb*².

— То есть что же? Сделать воззвание к народу, остановить платежи налогов?.. Это мечта... *ни один человек не двинулся бы за нас*, не поддержал бы нас... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидетельствуя сами нашу слабость.

— Ну, так и я скажу, как ваш президент при всяком заушении: «Воскликните троекратно „*Es lebe der König!*“³ и разоидитесь с миром!»

V

С ТОГО И ЭТОГО СВЕТА

I. С того

...«*Villa Adolphina.. Адольфина?.. что, бишь, такое?.. Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer*»...⁴

Вхожу — все чисто, хорошо, деревья, цветы, английские дети на дворе, толстые, мягкие, румяные, которым от души желаю никогда не встречаться с антропофагами... Выходит старушка и, спросив о причине прихода, начинает разговор с того, что она не *служанка*, «а больше по дружбе», что М-ме Adolphine поехала в больницу или в богадельню, в которой она патронесса. Потом ведет меня показывать «необыкновенно удобную квартиру», которая первый раз еще не занята во время сезона и которую сегодня утром приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, в силу чего служа-

¹ в пределах (нем.).— *Ред.*

² вне пределов (нем.).— *Ред.*

³ «Да здравствует король!» (нем.).— *Ред.*

⁴ «Вилла Адольфина, большие и малые комнаты, сад, вид на море...» (франц.).— *Ред.*

щая «больше по дружбе» старушка искренно советовала мне не терять времени. Поблагодарив ее за такое внезапное сочувствие и предпочтение, я обратился к ней с вопросом:

— Sie sind eine Deutsche?

— Zu Diensten. Und der gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg¹. Признаться сказать, такого города, кажется, нет и не будет.

— Очень приятно слышать. Вы давно оставили Петербург?

— Да, не вчера-таки; мы вот уже здесь живем на худой конец лет двадцать. Я с детства была подругой с M-me Adolphine и потом никогда не хотела ее покинуть. Она мало хозяйством занимается, все у нее идет так, некому присмотреть. Когда meine Gönnerin² купила этот маленький *парадиз*, она меня тотчас выписала из Брауншвейга...

— А где вы жили в Петербурге? — спросил я вдруг.

— О, мы жили в самой лучшей части города, где lauter Herrschaften und Generäle³ живут. Сколько раз я видела покойного государя, как он в коляске и в саниах на одной лошади проезжал so ernst⁴... можно сказать, настоящий потентат⁵ был.

— Вы жили на Невском, на Морской?

— Да, т. е. не совсем на Нефском, а тут возле, у Полицей-
брюке*.

«Довольно... довольно, как не знать», — думаю я, и прошу старушку, чтоб она сказала, что я приду к самой M-me Adolphine переговорить о квартире.

Я никогда не мог без особого умиления встречаться с развалинами давнишнего времени, с полуразрушенными памятниками храма ли Весты или другого бога, все равно... Старушка «по дружбе» пошла меня провожать через сад к воротам.

— Вот наш сосед тоже долго жил в Петербурге... — она

¹ — Вы немка? — К вашим услугам. А вы, сударь? — Русский. — Очень, очень приятно. Я так долго, так долго жила в Петербурге (нем.). — *Ред.*

² моя покровительница (нем.). — *Ред.*

³ сплошь знатные господа и генералы (нем.). — *Ред.*

⁴ такой серьезный (нем.). — *Ред.*

властитель (нем. Potentat). — *Ред.*

указала мне большой кокетливо убранный дом, на этот раз с английской надписью: «Large and small app(artement) (furnished or unfurnished)»¹...Вы, верно, помните Флориани? Coiffeur de la cour² был, возле Мильонной; он имел одну неприятную историю... был преследован, чуть не попал в Сибирь... знаете, за излишнее снисхождение, — тогда были такие строгости.

«Ну, — думаю, — она непременно производит Флориани в мои „товарищи несчастья“».

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту историю, в пей были замешаны синодский обер-прокурор и другие богословы и гвардейцы...

— Вот он сам.

...Высохший, беззубый старичишка, в маленькой соломенной шляпе, морской или детской, с голубой лентой около тульи, в коротеньком светлогороховом полупальто и в полосатых штанишках... вышел за ворота. Он поднял скупосухие, безжизненные глаза и, пожевывая тонкими губами, кивнул головой старушке «по дружбе».

— Хотите, я его позову?

— Нет, покорно благодарю... *я не по этой части* — видите, бороду не брею... Прощайте. Да скажите, пожалуйста, ошибся я или нет: у monsieur Floriani красная ленточка?

— Да, да, он очень много жертвовал!

— Прекрасное сердце.

В классические времена писатели любили сводить на том свете давно и недавно умерших затем, чтоб они покалякали о том и о сем. В наш реальный век всё на земле и даже часть *того света на этом свете*. Елисейские Поля растянулись в Елисейские берега, Елисейские взморья и рассыпались там-сям по серным и теплым водам, у подножия гор, на рамках озер; они продаются акрами, обрабатываются под виноград... Часть умершего в тревоженной жизни отправляет здесь первый курс переселения душ и гимназический класс Чистилища.

Всякий человек, проживший лет пятьдесят, счоронил це-

¹ «Большие и малые комнаты (с мебелью и без мебели)» (англ.). — *Ред.*

² Парикмахер двора его величества (франц.). — *Ред.*

лый мир, даже два; с его исчезновением он свыкся и привык к новым декорациям другого акта; вдруг имена и лица давно умершего времени являются чаще и чаще на его дороге, вызывая ряды теней и картин, где-то хранившихся на всякий случай, в бесконечных катакомбах памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной раз чуть не расплакаться...

Желающим, как Фауст, повидаться «с матерями» и даже «с отцами» не нужно никаких Мефистофелей, достаточно взять билет на железной дороге и ехать к югу. С Канна и Грасса начиная, бродят греющиеся тени давно утекшего времени; прижатые к морю, они, покойно сгорбившись, ждут Харона и свой черед.

На пороге этой Città, не то чтоб очень dolente¹, стоит привратником высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. После долгой, честной и исполненной бесплодного труда жизни, он всем существом и одной седой бровью ниже другой выражает часть дантовской надписи: Voi ch'entrate², с мыслью домашними средствами поправить застарелое, историческое зло, lasciate ogni speranza³. Старик Брум, лучший из ветхих деньми, защитник несчастной королевы Каролины *, друг Роберта Оуэна, современник Каннинга и Байрона, последний, ненаписанный том Маколея, поставил свою виллу между Грассом и Канном, и очень хорошо сделал. Кого было бы, как не его, поставить примиряющей вывеской в преддверии временного Чистилища, чтоб не отстрашать живых?

Затем мы en plein⁴ в мире умолкших теноров, потрясавших наши восемнадцатилетние груди лет *тридцать* тому назад, ножек, от которых таяло и замирало наше сердце вместе с сердцем целого партера, — ножек, оканчивающих теперь свою карьеру в стоптанных, собственноручно вязанных из шерсти туфлях, пошлепывающих за горничной из бесцельной ревности и по хозяйству — из очень целеобразной скупости...

...И все-то это с разными промежутками продолжается до самой Адриатики, до берегов Комского озера и даже некоторых

¹ Città dolente — град скорбей (итал.).— *Ред.*

² Вы, что входите сюда... (итал.).— *Ред.*

³ ...оставьте всякую надежду (итал.).— *Ред.*

⁴ всецело (франц.).— *Ред.*

немецких водяных *пятен* (Flecken). Здесь villa Taglioni, там Palazzo Rubini, тут Campagna Fanny Elssner и других *лиц*... du *prétérít défini* et du *plus-que-parfait*¹.

Возле актеров, сошедших со сцены маленького театра, актеры самых больших подмостков в мире, давно исключенные из афиш и забытые, — они в тиши доживают век Цинципатами и философами против воли. Рядом с артистами, некогда отлично представлявшими царей, встречаются цари, скверно разыгравшие свою роль. Цари эти захватили с собой, как индейские покойники, берущие на тот свет своих жен, двух-трех преданных министров, которые так усердно помогли им пасть и сами свалились с ними. В их числе есть венценосцы, освистанные при дебюте и все еще ожидающие, что публика придет к больше справедливой оценке и опять позовет их. Есть и такие, которым *impresario* исторического театра не позволил и дебютировать, — мертворожденные, имеющие *вчера*, но не имеющие *сегодня*, — их биография оканчивается до их появления на свет; астеки давно ниспровергнутого закона престолонаследия — они остаются шевелящимися памятниками угасших династий.

Далее идут генералы, знаменитые победами, одержанными над ними, тонкие дипломаты, погубившие свои страны, игроки, погубившие свое состояние, и сморщенные, седые старухи, погубившие во время оно сердца этих дипломатов и этих игроков. Государственные *фосси*², все еще понюхивающие табак, так, как его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминают с «ископаемыми» красавицами времен М-ше Récamier залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибран и дивятся, что Патти смеет после этого петь... И в то же время люди зеленого сукна, прихрамывая и кряхтя, полурасшибленные параличом, полузатопленные водяной, толкуют с другими старушками о других салонах и других знаменитостях, о смелых ставках, о графине Киселевой, о гомбургской и баденской рулетке, об игре покойного Сухозанета, о тех патриархальных временах, когда владетельные принцы немецких вод были в доле с содержателями игр и опасный,

¹ прошедшего и давнопрошедшего (франц.). — *Ред.*

² ископаемые (франц. *fossile*). — *Ред.*

средневековой грабеж путешественников перекладывали на мирное поприще банка и *rouge ou noir*¹...

...И все это еще дышит, еще движется: кто не на ногах, в перамбулаторе, в коляске, укрытой мехом, кто опираясь вместо клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимением слуги. «Списки иностранцев» похожи на старинные адрес-календари, на клочья изорванных газет «времен наваринских и покорения Алжира»*.

Возле гаснущих звезд трех первых классов сохраняются другие кометы и светила, занимавшие собою, лет тридцать тому назад, праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, с которым люди следят за процессами, ведущими от трупов к гильотине и от кучей золота на каторгу. В их числе разные освобожденные от суда за «непением доказательств» отравители, фальшивые монетки, люди, кончившие курс нравственного лечения где-нибудь в центральной тюрьме или колониях, «коптюмасы»² и пр.

Всего меньше встречаются в этих теплых чистилищах тени людей, всплывших среди революционных бурь и неудавшихся народных движений. Мрачные и озлобленные горцы *якобинских* вершин предпочитают суровую бизу; угрюмые лакедемоняне, они скрываются за лондонскими туманами...

II. С этого

1. Живые цветы. — Последняя могиканка

— Поедьте на *bal de l'Opéra*³ — теперь самая пора: половина второго, — сказал я, вставая из-за стола в небольшом кабинете *Café Anglais*, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполне не протрезвлявшемуся. Мне хотелось на воздух, на шум, и к тому же я побаивался длинного *tête-à-tête* с моим невским Клод Лорреном.

— Поедьте, — сказал он и налил себе еще рюмку коньяку. Это было в начале 1849 года, в минуту ложного выздоровленья

¹ рулетки (франц.).— *Ред.*

² осужденные заочно (франц. *contumace*).— *Ред.*

³ бал в Оперу (франц.).— *Ред.*

между двух болезней, когда еще хотелось, или казалось, что хотелось, иногда дурачества и веселья.

...Побродивши по оперной зале, мы остановились перед особенно красивой кадрилию напудренных добардеров с намазанными мелом Пьерро. Все четыре девушки, очень молодые, лет восемнадцати-девятнадцати, были милы и грациозны, плясали и тешились от всей души, незаметно переходя от кадрили в канкан. Не успели мы довольно налюбоваться, как вдруг кадрили расстроился «по обстоятельствам, не зависевшим от танцевавших», как выражались у нас журналисты в счастливые времена цензуры. Одна из танцовщиц, и, увы, самая красивая, так ловко или так неловко опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину груди и часть спины, немного больше того, как делают англичанки, особенно пожилые, которым нечем взять, кроме плечей, на самых чопорных раутах и в самых видных ложах Ковен-гардена * (вследствие чего во втором ярусе решительно нет возможности с достоподобным целомудрием слушать «Casta diva»¹ или «Sub salice»² *).

Едва я успел сказать простуженному художнику: «Давайте-ка сюда Бонарроти, Тициана, берите вашу кисть, а то она поправится», как огромная черная рука, не Бонарроти и не Тициана, а *gardien de Paris*³ схватила ее за ворот, рванула вон из кадрили и потащила с собой. Девушка упиралась, не шла, как делают дети, когда их собираются мыть в холодной воде, но человеческая справедливость и порядок взяли верх и были удовлетворены. Другие танцовщицы и их Пьерро переглянулись, нашли свежего дебардера и снова начали поднимать ноги выше головы и отпрядывать друг от друга для того, чтоб еще яростнее наступать, не обратив почти никакого внимания на похищение Прозерпины *.

— Пойдемте посмотреть, что полицейский сделает с ней, — сказал я моему товарищу. — Я заметил дверь, в которую он ее повел.

Мы спустились по боковой лестнице вниз. Кто видел и помнит бронзовую собаку, внимательно и с некоторым волнением

¹ «Непорочную богиню» (итал.).— *Ред.*

² «Под ивю» (итал.).— *Ред.*

³ полицейского (франц.).— *Ред.*

смотрящую на черепаху, тот легко представит себе сцену, которую мы нашли. Несчастливая девушка в своем легком костюме сидела на каменной ступеньке и на сквозном ветру, заливаясь слезами; перед ней — сухопарый, высокий муниципал, с хищным и серьезно глупым видом, с запятой из волос на подбородке, с полуседыми усами и во всей форме. Он с достоинством стоял сложив руки и пристально смотрел, чем кончится этот плач, приговаривая:

— Allons, allons!¹

Для довершения удара девушка сквозь слезы и хныканье говорила:

— ...Et... et on dit... on dit que... que... nous sommes en République... et... on ne peut danser comme l'on veut!..²

Все это было так смешно и так в самом деле жалко, что я решился идти на выручку военнопленной и на спасение в ее глазах чести республиканской формы правления.

— Mon brave³, — сказал я с рассчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому, — что вы сделаете с mademoiselle?

— Посажу au violon до завтрашнего дня, — отвечал он сурово.

Стенания увеличиваются.

— Научится, как рубашку скидывать, — прибавил блюститель порядка и общественной нравственности.

— Это было несчастье, brigadier⁴, вы бы ее простили.

— Нельзя. La consigne⁵.

— Дело праздничное...

— Да вам что за забота? Etes-vous son réciproque?⁶

— Первый раз от роду вижу, parole d'honneur!⁷ Имени не знаю, спросите ее сами. Мы иностранцы, и нас удивило, что

¹ Идем, идем! (франц.).— *Ред.*

² ...И... еще говорят... еще говорят... что... у нас республика... а... нельзя танцевать, как хочется!.. (франц.).— *Ред.*

³ Почтеннейший (франц.).— *Ред.*

⁴ бригадир (франц.).— *Ред.*

⁵ Инструкция (франц.).— *Ред.*

⁶ Вы ее друг? (франц.).— *Ред.*

⁷ честное слово. (франц.).— *Ред.*

в Париже так строго поступают с слабой девушкой, avec un être frêle¹. У нас думают, что здесь полиция такая добрая... И зачем позволяют вообще канканировать, а если позволяют, г. бригадир, тут иной раз поневоле или нога поднимется слишком высоко, или ворот опустится слишком низко.

— Это-то, пожалуй, и так, — заметил пораженный моим красноречием муниципал, а, главное, задетый моим замечанием, что иностранцы имеют такое лестное мнение о парижской полиции.

— К тому же, — сказал я, — посмотрите, что вы сделаете. Вы ее простудите, — как же из душной залы полуголос дитя посадить на сквозной ветер?

— Она сама не идет. Ну, да вот что: если вы дадите мне честное слово, что она в залу сегодня не взойдет, я ее отпущу.

— Bravo! Впрочем, я меньше и не ожидал от г. бригадира — я вас благодарю от всей души.

Пришлось пуститься в переговоры с освобожденной жертвой.

— Извините, что, не имея удовольствия быть с вами знакомым лично, вступился за вас.

Она протянула мне горячую, мокрую ручонку и смотрела на меня еще больше мокрыми и горячими глазами.

— Вы слышали, в чем дело? Я не могу за вас поручиться, если вы мне не дадите слова, или, лучше, если вы не уедете сейчас. В сущности, жертва не велика; я полагаю, теперь часа три с половиной.

— Я готова, я пойду за мантильей.

— Нет, — сказал неумолимый блюститель порядка, — отсюда ни шагу!

— Где ваша мантилья и шляпка?

— В ложе такой-то №, в таком-то ряду.

Артист бросился было, но остановился с вопросом: «Да как же мне отдадут?»

— Скажите только, что было, и то, что вы от *Леонтины Маленькой*... Вот и бал! — прибавила она с тем видом, с которым на кладбище говорят: «Спи спокойно».

— Хотите, чтоб я привел фиакр?

¹ с хрупким созданием (франц.).— *Ред.*

- Я не одна.
- С кем же?
- С одним другом.

Артист возвратился окончательно распротуженный с шляпой, мантилей и каким-то молодым лавочником или *commis-voyageur*¹.

— Очень обязан, — сказал он мне, потрогивая шляпу, потом ей: — Всегда наделаешь историй! — Он почти так же грубо схватил ее под руку, как полицейский за ворот, и исчез в больших сенях Оперы... «Бедная... достанется ей... И что за вкус... она... и он!»

Даже досадно стало. Я предложил художнику выпить, он не отказался.

Прошел месяц. Мы сговорились человек пять: венский агитатор Таузонау, генерал Г<ауг>, Мюллер-С<трянбинг> и еще один господин, ехать в другой раз на бал. Ни Г<ауг>, ни Мюллер ни разу не были. Мы стояли в кучке. Вдруг какая-то маска продирается, продирается и — прямо ко мне, чуть не бросается на шею и говорит:

— Я вас не успела тогда поблагодарить...

— Ah, mademoiselle Léontine... очень, очень рад, что вас встретил; я так и вижу перед собой ваше заплаканное личико, ваши надутые губки; вы были ужасно милы; это не значит, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрела на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

— Нимало.

— В воспоминанье вашего плена вы должны бы были, если бы вы были очень, очень любезны...

— Ну что же? *Soyez bref*².

— Должны бы отужинать с нами.

— С удовольствием, *ma parole*³, но только не теперь.

— Где же я вас сыщу?

— Не беспокойтесь, я вас сама сыщу, ровно в четыре. Да вот что, я здесь не одна...

¹ приказчиком (франц.).— *Ред.*

² Будьте кратки (франц.).— *Ред.*

³ честное слово (франц.).— *Ред.*

— Опять с вашим другом? — И мурашки пробежали у меня по спине.

Она расхохоталась.

— Он не очень опасен, — и она подвела ко мне девочку лет семнадцати, светлорыжую, с голубыми глазами.

— Вот мой друг.

Я пригласил и ее.

В четыре Леонтина подбежала ко мне, подала руку, и мы отправились в *Café Riche* *. Как ни близко это от Оперы, по дороге Г<ауг> успел влюбиться в «Мадонну» Андреа Del Sarto *, т. е. в блондинку. И за первым блюдом, после длинных и курьезных фраз о тинтореттовской прелести ее волос и глаз, Г<ауг>, только что мы уселись за стол, начал проповедь о том, как с лицом Мадонны и выражением чистого ангела не эстетично танцевать канкан.

— *Armes, holdes Kind!*¹ — добавил он, обращаясь ко всем.

— Зачем ваш друг, — сказала мне Леонтина на ухо, — говорит такой скучный *fatras*²? Да и зачем вообще он ездит на оперные балы — ему бы ходить в Мадлену *.

— Он *немец*, у них уж такая болезнь, — шепнул я ей.

— *Mais c'est qu'il est ennyeux votre ami avec son mal de sermons. Mon petit saint, finiras-tu donc bientôt?*³

И в ожидании конца проповеди усталая Леонтина бросилась на кушетку. Против нее было большое зеркало, она беспрестанно смотрелась и не выдержала; она указала мне пальцем на себя в зеркале и сказала:

— А что, в этой растрепавшейся прическе, в этом смятом костюме, в этой позе я и в самом деле будто недурна.

Сказавши это, она вдруг опустила глаза и покраснела, покраснела откровенно, до ушей. Чтоб скрыть, она запела известную песню, которую Гейне изуродовал в своем переводе и которая страшна в своей безыскусственной простоте:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hôtel-Dieu⁴.

¹ Бедное, милое дитя! (нем.).— *Ред.*

² вздор (франц.).— *Ред.*

³ Однако он скучен, ваш друг, со своими проповедями. Скоро ли ты кончишь, святоша? (франц.).— *Ред.*

⁴ И я умру в собственном доме или в доме призрения (франц.).— *Ред.*

Странное существо, неуловимое, живое, «Ящерица»¹ гётевских элегий *, дитя в каком-то бессознательном чаду. Она действительно, как ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидеть, да и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пела, делала гримасы перед зеркалом, и все с непринужденностью ребенка и с грацией женщины. Ее *frivolité*² была наивна. Случайно завертевшись, она еще кружилась... цеслась... того толчка, который бы остановил на краю или окончательно толкнул ее в пропасть, еще не было. Она довольно сделала дороги, но воротиться могла. Ее в силах были спасти светлый ум и врожденная грация.

Этот тип, этот круг, эта среда не существуют больше. Это — *la petite femme*³ студента былых времен, гризетка, переехавшая из Латинского квартала по сю сторону Сены, равно не *делающая* несчастного *протюара* и не имеющая прочного общественного положения камелии. Этот тип не существует, так, как не существует, *конверсаций*⁴ около камина, чтений за круглым столом, болтанья за чаем. Другие формы, другие звуки, другие люди, другие слова... Тут своя скала, свое *crescendo*⁵ Шаловливый, несколько распушенный элемент тридцатых годов — *du leste, de l'espièglerie*⁶ — перешел в *шик*, в нем был кайеннский перец, но еще оставалась кипучая, растрепанная грация, оставались остроты и ум. С увеличением дел коммерция отбросила все излишнее и всем внутренним пожертвовала выставке, эталажу. Тип Леонтины, разбитной парижской *gâmine*⁷, подвижной, умной, избалованной, искрящейся, вольной и, в случае надобности, гордой, не требуется — и *шик* перешел в *собаку**. Для бульварного Ловласа нужна женщина-собака и пуще всего собака, имеющая своего хозяина. Оно экономнее и бескорыстнее — с ней он может охотиться на чужий счет,

¹ «Ящерица» (лат. *lacerta*). — *Ред.*

² фривольность (франц.). — *Ред.*

³ подружка (франц.). — *Ред.*

⁴ бесед (от *conversation*) (франц.). — *Ред.*

⁵ нарастание (итал.). — *Ред.*

⁶ вольной шутки, шалости (франц.). — *Ред.*

⁷ девчонки (франц.). — *Ред.*

уплачивая одни extra¹. «Parbleu,— говорил мне старик, которого лучшие годы совпадали с началом царствования Людовика-Филиппа, — je ne me retrouve plus — où est le fion, le chic, où est l'esprit?.. *Tout cela, monsieur... ne parle pas, monsieur, — c'est bon, c'est beau wellbredot, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens*»².

Это мне напоминает, как в пятидесятых годах добрый, милый Тальяндье, с досадой влюбленного в свою Францию, объяснял мне с музыкальной иллюстрацией ее падение. «Когда, говорил он, мы были велики, в первые дни после Февральской революции, гремела одна „Марсельеза“ — в кафе, на улицах, в процессиях,— все „Марсельеза“. Во всяком театре была своя „Марсельеза“, где с пушками, где с Рашелью. Когда пошло плоше и тише... монотонные звуки „Mourir pour la patrie“^{3*} заменили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... „Un sous-lieutenant accablé de besogne *... drin, drin, din, din, din“...⁴— эту дрянь пел весь город, столица мира, вся Франция. Это не конец: вслед за тем мы заиграли и зацели „Partant pour la Syrie“⁵ — вверху и „Qu'aime donc Margot... Margot“⁶ — внизу, т. е. бессмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя.

Можно! Тальяндье не предвидел ни «Je suis la femme à barrre»⁷, ни «Сапёра»^{*} — он еще остался в *шике* и до *собаки* не доходил.

Недосужий, мясной разврат взял верх над всеми фиоритурами. Тело победило дух, и, как я сказал еще десять лет тому назад, Марго, la fille de marbre⁸, вытеснила Лизетту Беранже*

¹ излишки (франц.).— *Ред.*

² «Право же... я ничего больше не узнаю... Черт возьми... Где изящество, шик, остроумие?.. Все это, милостивый государь, ничего не говорит сердцу. Это красиво... это благоустроено, но это... отдает мясной лавкой... отдает Рубенсом» (франц.).— *Ред.*

³ «Умереть за отечество» (франц.).— *Ред.*

⁴ «Подноручик, изнемогший от работы... дринь, дринь, динь, динь, динь» (франц.).— *Ред.*

⁵ «Уезжая в Сирию» (франц.).— *Ред.*

⁶ «Что же однако любит Марго» (франц.).— *Ред.*

⁷ «Я женщина с боррродюю» (франц.).— *Ред.*

⁸ мраморная девушка (франц.).— *Ред.*

и всех Леонтин в мире. У них была своя гуманность, своя поэзия, свои понятия чести. Они любили шум и зрелища больше вина и ужина и ужин любили больше из-за постановки, свечей, конфет, цветов. Без танца и бала, без хохота и болтовни они не могли существовать. В самом пышном гареме они заглохли бы, завяли бы в год. Их высшая представительница была Дежазе — на большой сцене света и на маленькой *théâtre des Variétés*. Живая песня Беранже, притча Вольтера, молодая в сорок лет *, Дежазе, менявшая поклонников, как почетный караул, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встречному, чтоб выручить свою приятельницу из беды.

Нынче все опрощено, сокращено, все *ближе к цели*, как говорили встарь помсчики, предпочитавшие водку вину. Женщина с *фионом*¹ интриговала, занимала; женщина с *шиком* жалила, смшила, и обе, сверх денег, брали время. Собака сразу бросается на свою жертву, кусает своей красотой и тащит за полу *sans phrases*². Тут нет предисловий — тут в начале эпилог. Даже, благодаря попечительному начальству и факультету, нету двух прежних опасностей. Полиция и медицина сделали большие успехи в последнее время.

...А что будет после *собаки*? *Pleuvre* Гюго * решительно не удалась, может, оттого, что слишком похожа на *pleutre*³, — не остановиться же на собаке? Впрочем, оставим пророчества. Судьбы провидения неисповедимы.

Меня занимает другое.

Которое-то из двух будущих Кассандриной песни исполнилось над Леонтиной? Что ее некогда грациозная головка — покоится ли на подушке, обшитой кружевами, в *своем* отеле, или она склонилась на жесткий больничный валеk, для того чтоб уснуть навеки или проснуться на горе и бедность? А может, не случилось ни того, ни другого, и она хлопочет, чтоб дочь выдать замуж, копит деньги, чтоб купить подставного сыну... Ведь она уж не молода теперь и, небось, давно перегнула за тридцать.

¹ «изюминкой» (франц. *fiou*).— *Ред.*

² без лишних слов (франц.).— *Ред.*

³ ничтожество (франц.).— *Ред.*

2. Махровые цветы

В нашей Европе повторялось в уменьшенном по количеству и в увеличенном или искаженном по качеству виде все, что делалось в Европе европейской. У нас были ультракатолики из православных, либеральные буржуа из графов, императорские роялисты, канцелярские демократы и лейб-гвардии преображенские или конногвардейские бонапартисты. Мудро ли, что и по дамской части не обошлось без своих *chic* и *chien*¹. С той разницей, что наш *demi-monde*² был *один с четвертью* *.

Наши Травиаты и камелии большей частью титулярные, т. е. почетные, растут совсем на другой почве и цветут в других сферах, чем их парижские первообразы. Их надобно искать не внизу, не долу, а на вершинах. Они не поднимаются, как туман, а опускаются, как роса. Княгиня-камелия и Травиата с тамбовским или воронежским именем — явление чисто русское, и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не-Европы, ее нравы много были спасены крепостным правом, на которое теперь так много клеветают. Любовь была печальна в деревне, она своего кровного называла «болезным», словно чувствуя за собой, что она краденая у барина и он может всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господский двор дрова, сено, баранов и своих дочерей по обязанности. Это был священный долг, коронная служба, от которой отказываться нельзя было, не делая преступления против нравственности и религии и не навлекая на себя розог помещика и кнута всей империи. Тут было не до *шику*, а иногда до топора, чаще до реки, в которой гибла никем не замеченная Палашка или Ллущка.

Что сталося после освобождения, мы мало знаем и потому больше держимся барынь. Они действительно за границей мастерски усваивают себе, и с чрезвычайной быстротой и ловкостью, все ухватки, весь *habitus* лореток. Только при тщательном рассматривании замечается, что чего-то недостает. А недостает самой простой вещи — *быть лореткой*. Это все — Петр I, работающий молотом и долотом в Саардаме *,

¹ шика и собаки (франц.).— *Ред.*

² полусвет (франц.).— *Ред.*

воображая, что делает дело. Наши барыни из ума и праздности, от избытка и скуки *шутят в ремесло* так, как их мужья играют в токарный станок.

Этот характер ненужности, махровости меняет дело. С русской стороны чувствуется превосходная декорация, с французской — правда и необходимость. Отсюда громадные различия. Травиату *tout de bon*¹ бывает часто душевно жаль, «*dame aux perles*»² * — почти никогда; над одной подчас хочется плакать, над другой — всегда смеяться. Имея наследственных двести тысяч душ, сперва вечно, ныне временно разоряемых крестьян, многое можно: интриговать на игорных водах, эксцентрически одеваться, лежать сидеть в коляске, свистать, шуметь, делать скандалы в ресторанах, заставлять краснеть мужчин, менять любовников, ездить с ними на *parties fines*³, на разные «каллистенические»⁴ упражнения и конверсации, пить шампанское, курить гаванские сигары и ставить пригоршни золота на «черное или красное»... можно быть Мессалиной и Екатериной — но, как мы сказали, лореткой быть нельзя, несмотря на то, что лоретки не рождаются, как поэты, а делаются. У каждой лоретки своя история, свое посвящение, втесненное обстоятельствами. Обыкновенно бедная девушка идет не зная куда и наталкивается на грубый обман, на грубую обиду. От сломленной любви, от сломленного стыда у нее являются *dépit*⁵, досада, своего рода жажда мести и с тем вместе жажда опьянения, шума, нарядов... Кругом нужда... деньги только *одним* путем и можно достать, а потому — *vogue la galère!*⁶. Обманутый ребенок без воспитания вступает в бой, победы ее балуют, завлекают (тех, которые не победили, мы не знаем, — те пропадают без вести), у ней в памяти свои Маренго и Арколи *, привычка владычества и пышности входит в кровь. Она же всем обязана одной себе. Начав с одного своего тела, она тоже приобретает души и так же разоряет временно.

¹ в самом деле (франц.).— *Ред.*

² «даму с жемчугами» (франц.).— *Ред.*

³ интимные прогулки (франц.).— *Ред.*

⁴ гимнастические, от *callisthénique* (франц.).— *Ред.*

⁵ досада (франц.).— *Ред.*

⁶ была не была! (франц.).— *Ред.*

привязанных к ней богачей, как наша барыня своих нищих мужиков.

Но в этом *так же* и лежит вся непереходимая даль между лореткой по положению и камелией по диллтантизму. Та даль и та противоположность, которая так ярко выражается в том, что лоретка, ужиная в каком-нибудь душном кабинете *Maison d'Or**, мечтает о своем будущем салоне, а русская дама, сидя в своем богатом салоне, мечтает о трактире.

Серьезная сторона вопроса состоит в том, чтоб определить, откуда у нас взялась в дамском обществе эта потребность разгула и кутежа, потребность похвастаться своим освобождением, дерзко, капризно пренебречь общественным мнением и сбросить с себя все вуали и маски? И это в то время, когда бабушки и матушки наших львиц, целомудренные и патриархальные, краснели до сорока лет от нескромного слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневским нахлебником *, а за неимением его — кучером или буфетчиком.

Заметьте, что аристократический камелизм у нас не идет дальше начала сороковых годов.

И все новое движение, вся возбужденность мысли, исканья, недовольства, тоски идет от того же времени.

Тут-то и раскрывается человеческая и историческая сторона аристократического камелизма. Это своего рода полусознанный протест против старинной, давящей, как свинец, семьи, против безобразного разврата мужчин. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, был досуг читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идет с Ж. Санд *, и когда она наслушалась восторженных рассказов о Бланшах и Селестинах, у нее терпенье лопнуло, и она закусил удила. Ее протест был дик, но ведь и положение было дико. Ее оппозиция не была формулирована, а бродила в крови — она была обижена. Она чувствовала унижение, подавленность, но самобытной воли вне кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведением, ее возмущение было полно избалованности и дурных привычек, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась не освобождаясь. В ней оставался внутренний страх и неуверенность, но ей хотелось делать назло и попробовать *этой другой* жизни. Против узкого

своеволя притеснителей она ставила узкое своеволие лопнувшего терпенья, без твердой направляющей мысли, но с заносчивой отроческой бравадой. Как ракета, она мерцала, искрилась и падала с шумом и треском, но очень не глубоко. Вот вам история наших камелий с гербом, наших Травиат с жемчугом.

Конечно, и тут можно вспомнить желчевого Росточина, говорившего на смертном одре о 14 декабре*: «У нас все наизнанку — во Франции la roture¹ хотела подняться до дворянства — ну, оно и попятно; у нас дворяне хотят сделаться черню — ну, чебуха!»

Но нам именно этот характер вовсе не кажется чебухой. Он идет очень последовательно из двух начал: из чуждости образования, которое вовсе для нас не обязательно, и из основного тона другого общественного порядка, к которому мы сознательно или бессознательно стремимся.

Впрочем, это принадлежит к нашему катехизису — и я боюсь увлечься в повторения.

Травиаты наши в истории нашего развития не пропадут; они имеют свой смысл и значение и представляют удалую и разгульную ширингу авангардных охотников и песельников, которые с присвистом и бубнами, куражась и подплясывая, идут в первый огонь, покрывая собой более серьезную фалангу, у которой нет недостатка ни в мысли, ни в отваге, ни в оружии с «иголкой» *.

3. Цветы Минервы

Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет... Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума... Sans-crinolines, идущие на замену sans-culottes'ам *.

Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями-Травиатами. Вакханки поседели, оплешивели, состарелись и отступили, а студенты заняли их место, еще не вступивши в совершеннолетие. Камелии и Травиаты салонов принадлежали николаевскому времени. Так, как выставочные

¹ чернь (франц.). — *Ред.*

генералы того же времени, щеголи-шагисты, победители своих собственных солдат, знавшие всю туалетную часть военного дела, все кокетство вахтпарадов и не замаравшие мундира неприятельской кровью. Публичных генералов, рысисто «делавших тротуар» на Невском, разом прихлопнула Крымская война. А «блеск упоительный бала», будуарная любовь и шумные оргии *генеральши* круто сменились академической аудиторией, анатомической залой, в которой подстриженный студент в очках изучал тайны природы.

Тут надобно забыть все камелии и магнолии, забыть, что существуют два пола. Перед истиной науки, im Reiche der Wahrheit ¹ различия полов стираются.

Камелии наши — жиронда, оттого они так и смахивают на Фобласа.

Студенты-барышни — якобинцы, Сен-Жюст в амазонке, — все резко, чисто, беспощадно.

У камелий маска *lour** из теплой Венеции.

У студентов маска же, но маска из невского льда. Первая может прилипнуть, вторая непременно растает... но это впереди.

Тут настоящий, сознательный протест, протест и перелом. «Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution»²*. Разгул, роскошь, глумление, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьем-четвертом плане. Афродита с своим голым оруженосцем надулась и ушла; на ее место Паллада с копьем и совой*. Камелии шли от неопределенного волнения, от негодованья, от несытого и томного желанья... и доходили до пресыщения. Здесь идут от идеи, в которую верят, от объявления «прав женщины» и исполняют обязанности, налагаемые верой. Одни отдаются по принципу, другие неверны по долгу. Иногда *студенты* уходят слишком далеко, но все же остаются детьми, непокорными, заносчивыми, но детьми. Серьезность их *радикализма* показывает, что дело в голове, в теории, а не в сердце.

Они страстны в общем и в частную встречу вносят не больше «патоса» (как говаривали всгарь), как всякие Леонтины. Может, меньше. Леонтины играют, играют огнем и очень часто,

¹ в царстве истины (нем.).— *Ред.*

² «Это не бунт, это революция» (франц.).— *Ред.*

вссыхнув с ног до головы, спасаются от пожара в Сене, утянутые жизнью прежде всяких рассуждений, им иной раз трудно победить свое сердце. Наши бурши начинают с анализа, с разбора; с ними тоже многое может случиться, но сюрпризов не будет и падений не будет: они падают с теоретическим парашютом. Они бросаются в поток с руководством о плавании и намеренно плывут против течения.

Долго ли проплывут они à livre ouvert¹, я не знаю, но место в истории займут по всей справедливости.

Самые недогадливейшие в мире люди догадались об этом.

Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дедушки отечества с улыбкой сплсхожденья и даже поощренья смотрели на столбовых камелий (если только они не были супругами их сыновей)... но *студенты* им не поправились... ничего не похожи на «милых шалуний», с которыми они иногда любили языком отогреть старое сердце.

Давно гневались старички на суровых нигилисток и искали случая их подвести под сюркуп².

А тут, как нарочно, Каракозов выстрелил... * «Вот оно, государь (стали ему нашептывать), что значит не по форме одеваться... все эти очки, клочки». — «Как? Не по утвержденной форме? — говорит государь. — Строжайше предписать». — «Попущенье, в. в., попущенье! Мы только и ожидали милостивого разрешения спасти священную особу вашего величества».

Дело не шуточное — принялись дружно. Совет, сенат, спод, министры, архиереи, военначальники, градоначальники и другие полиции совещались, думали, толковали и решили, во-первых, изгнать студентов женского пола из университетов *. При этом один из архиереев, боясь подлога, приснопамятствовал, как во время оно в лжекафолической церкви на папее избрана была папиха Анна *, и предложил было своих иноков... так как «пред очами мертвецов срама телесного нет». Живые не приняли его предложения, генералы же, с своей стороны, думали, что такого рода экспертиза может быть только поручена высшему сановнику, который своим местом и до-

¹ Здесь: без оглядки (франц.).— *Ред.*

² проигрыши (франц. *surcoupe*).— *Ред.*

верием монарха поставлен вне соблазна; хотели от военного ведомства предложить это место Адлербергу старшему, и Буткову — от статских. Но и это не состоялось, говорят, потому, что великие князья домогались на этот пост.

Затем совет, синод, сенат приказали в 24 часа отрастить стриженные волосы, отобрать очки и обязать подпиской иметь здоровые глаза и носить кринолины. Несмотря на то, что в «Кормчей книге» * ничего не сказано о «обручении» и «подолоразверстии», а волосы плести просто в пей запрещено, черное духовенство согласилось. На первый случай жизнь государя казалась обеспеченною до Елисейских Полей *. Не их вина, что в Париже тоже нашлись Елисейские Поля да еще с «круглой точкой» *.

Чрезвычайные меры эти принесли огромную пользу, и это я горю без малейшей иронии. Кому?

Нашим *нигилисткам*.

Им недоставало одного: сбросить мундир, формализм и развиваться с той широкой свободой, на которую они имеют большие права. Самому ужасно трудно, привыкнув к форме, ее отбросить. Платье прирастает. Архиерей во фраке перестанет благословлять и говорить на о...

Студенты наши и бурши долго не отделались бы от очков и прочих кокард. Их раздели на казенный счет, прибавляя к этой услуге ореолу туалетного мученичества.

Затем их дело — плыть au large¹.

P. S. Одни уже возвращаются с блестящим дипломом доктора медицины, и слава им! *

Ницца, летом 1867.

¹ на простор (франц.).— *Ред.*





〈ГЛАВА II〉
VENEZIA LA BELLA ¹*
(Февраль 1867)

Великолепные нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, — само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грациознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои каюты.

Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город, крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это узел, которым привязано что-то за бодами, торговый склад под военным флагом, город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер; на его площади толчется с утра до ночи все население, и молча текут из него реки улиц в море. Пока толпа шумит и кричит на площади св. Марка, никем не замеченная лодка скользит и пропадает — кто знает, что под ее черным пологом? Как тут было не топить людей возле любовных свиданий?

Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale², должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет — что за беда, давайте еще больше резных камней, больше орнаментов, золота, мозаики, ваянья, картин, фресков. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний

¹ Красавица Венеция (итал.).— *Ред.*

² дворце дождей (итал.).— *Ред.*

уступ — еще льва с крыльями и с евангельем св. Марка! Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками или Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамору, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. Павел Веронез, Тинторетт, Тициан, за кисть, на помост, — каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом.

И так был живуч дух, обитавший эти камни, что мало было новых путей и новых приморских городов Колумба и Васко де Гама, чтоб сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтоб на развалинах французского трона явилась «единая и нераздельная» республика и на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет, отравленный Австрией *. Но Венеция переработала яд и снова оказывается живою через полстолетия.

Да живою ли? Трудно сказать, что уцелело, кроме великой раковины, и есть ли новая будущность Венеции. Да и в чем будущность Италии вообще? Для Венеции, может, она в Константинополе, в том вырезающемся смутными очерками из-за восточного тумана свободном союзничестве воскресающих славно-эллинских народностей.

А для Италии?.. Об этом после. Теперь в Венеции карнавал, первый карнавал на воле после семидесятилетнего пленения *. Площадь превратилась в залу парижской Оперы. Старый св. Марк весело участвует в празднике с своей иконописью и позолотой, с патриотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющиеся всякий день в два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетают с карниза на карниз, чтоб убедиться, точно ли их столовая в таком беспорядке.

Толпа все растет, *le peuple s'amuse*¹, дурачится от души, из всех сил, с большим комическим талантом в декламации и словах, в выговоре и жестах, но без кантаридности * парижских Пьерро, без вульгарной шутки немца, без нашей родной грязи. Отсутствие всего неприличного удивляет, хотя смысл

¹ народ веселится (франц.).— *Ред.*

его ясен. Это шалость, отдых, забава целого народа, а не вахт-парад публичных домов, их сукурсалей¹, жительницам которых, снимая многое другое, прибавляют маску, вроде Бисмарковой иголки, чтоб усилить и сделать неотразимее выстрелы*. Здесь они были бы неуместны, здесь тешится народ, здесь тешится сестра, жена, дочь — и горе тому, кто оскорбит маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чем был Станислав в петлице для станционного зрителя².

Сначала карнавал оставлял меня в покое, но он все рос и при своей стихийной силе должен был утянуть всякого.

Мало ли какой вздор может случиться, когда пляска св. Витта овладевает цолым населением в шутовских костюмах. В большой зале ресторана сидят сотни, может больше, лилово-белых масок; они проехали по площади на раззолоченном корабле, который тащили быки (все сухопутное и четвероногое в Венеции — редкость и роскошь), теперь они пьют и едят. Один из гостей предлагает курьезность и берется ее достать, *курьезность эта — я.*

Господин, едва знакомый со мной, бежит ко мне в Albergo Danieli, умоляет, просит явиться с ним на минуту к маскам. Глупо идти, глупо ломаться — я иду. Меня встречают «evviva»³ и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздор, «evviva» сильнее; одни кричат «evviva l'amico di Garibaldi!»⁴, другие — «poeta russo!»⁵. Боясь, что лилово-белые будут пить за меня как за «pittore slavo, scultore e maestro»⁶, я ретируюсь на Piazza St. Marco.

На площади стена людей; я прислонился к пилястре, гордый титулом поэта; возле меня стоял мой проводник, исполнив-

¹ отделений (франц. succursale).— *Ред.*

² Год спустя я видел карнавал в Ницце. Какая страшная разница, не говоря о солдатах в полном боевом вооружении, ни жандармах, ни комиссарах полиции с шарфами... Сама масса народа, не туристов, дивила меня. Пьяные маски ругались и дрались с людьми, сговявшими в воротах, сильные тумачи сшибали в грязь белых Пьерро.

³ «да здравствует» (итал.).— *Ред.*

⁴ «да здравствует друг Гарибальди!» (итал.).— *Ред.*

⁵ «русский поэт!» (итал.).— *Ред.*

⁶ «славянского художника, скульптора и маэстро» (итал.).— *Ред.*

ший *mandat d'amener*¹ лилово-белых. «Боже мой, как она хороша!» — сорвалось у меня с языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый *, не говоря худого слова, схватил меня и разом поставил перед ней. «Это тот *русский*», — начал мой польский граф. «Хотите вы мне дать руку после этого слова?» — перебил я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по-русски, что давно хотела меня видеть, и так симпатически взглянула на меня, что я еще раз пожал ее руку и проводил глазами, пока было видно.

«Цветок, сорванный ураганом, смытый кровью с своих литовских полей, — думал я, глядя ей вслед, — не своим теперь светит твоя красота...»

Я сошел с площади и поехал встречать *Гарибальди* *. На воде все было тихо... нестройно доносился шум карнавала. Строгие, насупившиеся массы домов теснятся все ближе и ближе к лодке, глядят на нее фонарями, у подъезда всплескивает правило, блеснет стальной крючок, прокричит лодочник: «*Apri — sia state*»²... и опять тихо вода утягивает в переулок, и вдруг дома опять раздвигаются; мы в *Grand Canal*'е... «*Ferrovìa, Signoie*»³, — говорит гондольер, картавя, как картавит весь город. *Гарибальди* остался в Болонье и не приезжал. Машина, ехавшая в Флоренцию, стонала в ожидании свистка. Уехать бы и мне: завтра маски надоедят, завтра не увижу я славянской красавицы...

...Город принял *Гарибальди* блестящим образом. *Grand Canal* представлял почти сплошной мост; для того чтоб попасть в нашу лодку, уезжая, нам надобно было перейти через десятки других. Правительство и его клиенты сделали все возможное, чтоб показать, что дуются на *Гарибальди*. Если принцу *Амедею* были приказаны его отцом все мелкие неделикатности, вся подленькая пикировка *, то отчего же у этого мальчика-итальянца не заговорило сердце, отчего он не примирил на минуту город с королем и королевского сына с совестью? Ведь *Гарибальди* им подарил две короны двух Сицилий! *

¹ приказ о приводе (франц.).— *Ред.*

² «Дай дорогу, — остановись» (итал.).— *Ред.*

³ «Железная дорога, синьор», вместо *ferrovìa, Signore* (итал.).— *Ред.*

Я нашел Гарибальди и не состаревшимся и не больным после лондонского свиданья в 1864 *. Но он был невесел, озабочен и неразговорчив с венецианцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящий хор — народные массы; он ожил в Кижии, где его ждали лодочники и рыбаки *; мешаясь в толпу, он говорил этим простым беднякам:

— Как мне с вами хорошо и дома! Как я чувствую, что родился от работников и был работником; несчастья нашей родины оторвали меня от мирных занятий. Я также вырос на берегу моря и знаю каждую работу вашу...

Стон восторга покрыл слова бывшего лодочника, народ ринулся к нему..

— Дай имя моему поворожденному! — кричала женщина.

— Благослови моего!..

— И моего! — кричали другие.

Храбрый генерал Ламармора и неутешный вдовец Рикасоли, со всеми вашими Шиаолами, Депретисами, вы уж отложите попеченье разрушить эту связь *: она затянута мужицкой, работничьей рукой и такой веревкой, которую вам не перетереть со всеми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всеми вашими грошовыми Махиавелли.

Теперь воротимтесь к вопросу: что ждет Италию впереди, какую будущность имеет она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповедовал Маццини, ту ли, к которой ведет Гарибальди... ну хоть ту ли, которую осуществлял Кавур? *

Вопрос этот отбрасывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие самых скорбных и самых спорных предметов. Он прямо касается тех внутренних убеждений, которые легли в основу нашей жизни и той борьбы, которая так часто раздвояет нас с друзьями, а иной раз ставит на одну сторону с противниками.

Я сомневаюсь в *будущности латинских народов*, сомневаюсь в их *будущей* плодотворности: им нравится процесс переворотов, но тягостен добытый прогресс. Они любят рваться к нему — не достигая.

Идеал итальянского освобождения беден; в нем опущен, с одной стороны, существенный, животворный элемент, и, как мазло, с другой — оставлен элемент старый, тлетворный, уми-

рающий и мертвящий. Итальянская революция была до сих пор боем за независимость.

Конечно, если земной шар не даст трещины или комета не пройдет слишком близко и не накалит паншей атмосферы, Италия и в будущем *будет* Италией, страной синего неба и синего моря, изящных очертаний, прекрасной, симпатической породы людей, — людей музыкальных, художников от природы. Конечно, и то, что весь этот военный и штатский *гештеппе*¹, и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры — все это отразится в ее жизни, она из клерикально-деспотической делается (и делается) буржуазно-парламентской, из дешевой — дорогой, из неудобной — удобной и пр. и пр. Но этого мало и с этим еще далеко не уйдешь. Недурен и другой берег, который омывает то же синее море, недурна и та, доблестная и угрюмая, порода людей, которая живет за Пиренеями; внешнего врага у нее нет, камера есть, наружное единство есть... ну, что же при всем этом Испания?

Народы живучи, века могут они лежать *под паром* и снова при благоприятных обстоятельствах оказываются исполненными сил и соков. Но теми ли они восстают, как были?

Сколько веков, я чуть не сказал тысячелетий, греческий народ был стерт с лица земли как государство, и все же он остался жив, и в ту самую минуту, когда вся Европа угорала в чаду реставраций, Греция проснулась и встревожила весь мир. Но греки Каподистрии были ли похожи на греков Перикла или на греков Византии? Осталось одно имя и натянутое воспоминание. Обновиться может и Италия, но тогда ей придется начать другую историю. Ее освобождение — только *право на существование*.

Пример Греции очень идет; он так далек от нас, что меньше возбуждает страстей; Греция афинская, македонская, лишенная независимости Римом, является снова государственно самобытной в византийский период. Что же она делает в нем? Ничего или, хуже, богословскую контроверзу, *серальные* перевороты *par anticipation*. Турки помогают застрялой природе и придают блеск зарева ее насильственной смерти. Древняя

¹ переполох (франц.).— *Ред.*

Греция *изжила свою жизнь*, когда римское владычество накрыло ее и спасло, как лава и пепел спасли Помпею и Геркуланум. Византийский период поднял гробовую крышу, и мертвый остался мертвым, им завладели попы и монахи, как всякой могилкой, им распоряжались евнухи, совершенно на месте, как представители бесплодности. Кто не знает рассказов о том, как крестonosцы были в Византии: в образовании, в утонченности нравов не было сравнения, но эти дикие латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремлений, они шли вперед, с ними был *бог истории*. Ему люди не по хорошу милы, а по коренастой силе и по своевременности их *прогос*¹. Оттого-то, читая скучные летописи, мы радуемся, когда с северных снегов скатываются варяги, плывут на каких-то скорлупах славяне и клеймят своими щитами гордые стены Византии. Я учеником не мог парадовать на дикаря в рубахе, одиноко гребущего свою комягу, отправляясь с золотой серьгой в ухах на свиданье с изнеженным, набогословленным, пышным, книжным императором Цимисхием *.

Подумайте об Византии; пока наши славянофилы не пустили еще в свет новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее, она многое объяснит из того, что так тяжело сказать.

Византия могла *жить*, но *делать* ей было нечего; а историю вообще только народы и занимают, пока они на сцене, т. е. пока они что-нибудь делают.

...Помнится, я упоминал об ответе Томаса Карлейля мне, когда я ему говорил о строгостях парижской цензуры *.

— Да что вы так на нее сердитесь? — заметил он. — Заставляя французов молчать, Наполеон сделал им величайшее одолжение: *им нечего сказать*, а говорить хочется... Наполеон дал им внешнее оправдание...

Я не говорю, насколько я согласен с Карлейлем или нет, но спрашиваю себя: *будет ли что* Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима? И иной раз, не приискав ответа, я начинаю желать, чтоб Рим остался еще надолго оживляющим *desideratum*'ом².

¹ намерений (франц.). — *Ред.*

² стремлением (лат.). — *Ред.*

До Рима все пойдет недурно, хватит и энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Италия многое вынесет: и налоги, и пизмонтское местничество, и грабящую администрацию, и сварливую и докучную бюрократию; в ожидании Рима все кажется неважным; для того чтобы иметь его, можно стесниться, надобно стоять дружно. Рим — черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он поддерживает лихорадку. В Риме все переменится, все обернется... там кажется заключение, венец. Совсем нет — там *начало*.

Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают, — и это превосходно, — что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между перами, кроме признания гражданской способности *совершать акты* — и только.

Какой же *акт* возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял «вселенную и город»? *

Провозгласить «независимость» *sans phrases* мало. А другого ничего нет... И мне подчас кажется, что в тот день, когда Гарибальди бросит свой ненужный больше меч и наденет тогу *virilis*¹ на плечи Италии, ему останется всенародно обняться на берегах Тибра с своим *maestro* Маццини и сказать с ним вместе: «Ныне отпускаеши!»

Я это говорю за них, а не против них.

Будущность их обеспечена, их два имени станут высоко и светло во всей Италии от Фьюме до Мессины и будут подыматься выше и выше во всей печальной Европе по мере исторического понижения и измельчания ее людей.

Но вряд пойдет ли Италия по программе великого карбонаро и великого воина; их религия совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла меч, это труба, разбудившая спящих, знамя, с которым Италия завоевала себя... Половина идеала Маццини исполнилась, и именно потому, что другая часть далеко перехватывала через возможное. Что Маццини теперь

¹ совершеннолетия (лат.).— *Ред.*

уж стал слабее — в этом его успех и величие; он стал *беднее* той частью своего идеала, которая перешла в действительность, это слабость после родов. В виду берега Колумбу стоило плыть и нечего было употреблять все силы своего неукротимого духа. Мы в нашем круге испытали подобное... Где сила, которую придавала нашему слову борьба против крепостного права, против отсутствия всякого суда, всякой гласности?

Рим — Америка Маццини... Дальнейших зародышей *viab-les*¹ в его программе нет — она была рассчитана на борьбу за единство и Рим.

— А демократическая республика?

Это та великая *награда за гробом*, которой напугтовались люди на деяния и подвиги и в которую горячо и искренно верили и проповедники, и мученики...

К ней идет и теперь часть твердых стариков, закаленных сподвижников Маццини, непреклонных, не сдающихся, неподкупных, неутомимых каменщиков, которые вывели фундаменты новой Италии и, когда не доставало цемента, давали на него свою кровь. Но много ли их? И кто пойдет за ними?

Пока тройное ярмо немца, Бурбона и папы давило шею Италии, эти энергические монахи-воины ордена св. Маццини находили везде сочувствие. Принцессы² и студенты, ювелиры и доктора, актеры и попы, художники и адвокаты, все образованное в мещанстве, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты — все тайно, явно было с ними, работало для них. Республики хотели немногие, независимости и единства — все. Независимости они добились, единство на французский манер им опротивело, республики они не хотят. Современный порядок дел во многом итальянцам по плечу, им, туда же, хочется представлять «сильную и величественную» фигуру в сонме европейских государств и, найдя эту *bella e grande figura*³ в Викторе-Эммануиле, они держатся за него⁴.

¹ жизнеспособных (франц.).— *Ред.*

² принцессы (итал. *principessa*).— *Ред.*

³ прекрасную и величественную фигуру (итал.).— *Ред.*

⁴ Один милейший венгерец, граф С<андор> Т<елеки>, служивший потом в Италии кавалерийским полковником, смеялся как-то над мигшур-

Представительная система в ее континентальном развитии действительно всего лучше идет, когда нет ничего ясного в голове или ничего возможного на деле. Это — великое *покамест*, которое перетирает углы и крайности обших сторон в муку и выигрывает время. Этим жерновом часть Европы прошла, другая пройдет, и мы, грешные, в том числе. Чего Египет — и тот въехал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником *.

Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, так долго оставленные на воспитании клерикалов, я не виню даже правительство — да и как же его винить за ограниченность, за неумение, за недостаток порыва, поэзии, такта? Оно родилось в Кариньянском дворце * среди ржавых готических мечей, пудренных старинных париков и накрахмаленного этикета маленьких дворов с огромными притязаниями.

Любви оно не вселило к себе, совсем напротив, но от этого оно не слабже стало. Я был удивлен в 1863 общей нелюбовью в Неаполе к правительству *. В 1867 в Венеции я видел без малейшего удивления, что через три месяца после освобождения его терпеть не могли. Но при этом я еще яснее увидел, *что бояться ему нечего*, если оно само не наделает ряда колоссальных глупостей, хотя и они ему сходят с рук необыкновенно легко.

Пример того и другого перед глазами, я его приведу в нескольких строках.

К разным каламбурам, которыми правительства иногда удостоивают отводить народам глаза, вроде «Prisonniers de

ной роскошью флорентийских щеголей, сказал мне: «Помните бег в Москве или гулянье?.. Глупо, но имеет характер: кучер налит вином, шапка набекрень, лошади в несколько тысяч рублей и барин замирает в блаженстве и соболях. А тут тощий граф какой-нибудь заложит чахлах княж, с тиком в ногах, прядущих головой, и тот же неуклюжий, худенький Жакопо, который у него садовник и повар, сидит на козлах, дергает вожжи, одетый в ливрею не по мерке, а граф просит его: «Жакопо, Жакопо fate una grande e bella figura» («сделайте величественную и прекрасную фигуру» (итал.)). Я прошу у графа Т. ссудить меня этим выражением.

lараix»¹ Людовика-Филиппа, «Империя — мир» Людовика-Наполеона *, Рикасоли прибавил свой — и закон, которым закреплял большую часть достояния духовенству, назвал законом «о свободе (или независимости) церкви в свободном государстве» *. Все недоросли либерализма, все люди, не идущие дальше заглавия, обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало победу; сделка была явным образом выгодна духовенству. Явился бельгийский грешник и мытарь, за которого спрятались отцы-иезуиты *. Он привез с собой груды золота, цвет которого в Италии давно не видали, и предлагал большую сумму правительству, с тем чтоб обеспечить духовенству законное владение имениями, выпытанными на духу, набранными у умирающих преступников и всяких нищих духом.

Правительство видело одно — деньги; дураки — другое: американскую свободу церкви в свободном государстве. Теперь же в моде прикидывать европейские учреждения на американский ярд. Герцог Персиньи находит неумеренное сходство между второй империей и первой республикой нашего времени *.

Однако как ни хитрили Рикасоли и Шиаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована, и подтасована без нее *. Банкир прикидывался импрезарием и старался скупать итальянские голоса, но на этот раз — дело было в феврале — камера охрипла. В Неаполе подняли ропот, в Венеции созвали сходку в театр Малибран для протеста. Рикасоли велел запретить театр и поставить часовых. Без сомнения, из всех промахов, которые можно было сделать, нельзя было ничего придумать глупее. Венеция, только что освобожденная, хотела воспользоваться оппозиционным правом — и была полицейски подрезана. Собираться для празднования короля и подносить букеты al gran comandatore² Ламармора ничего не значит *. Если б венецианцы хотели делать сходки для празднования австрийских архидюков, им, конечно, позволили бы. Опасности сходка в театре Малибран не представляла никакой.

¹ «Пленников мира» (франц.).— Ред.

² великому командиру (итал.).— Ред.

Камера встрепенулась и спросила отчета. Рикасоли отвечал дерзко, высокомерно, как подобает последнему представителю Рауля Синея Бороды, средневековому графу и фсодалу. Камера, «уверенная, что министерство не желает уменьшить право сходок», хотела перейти к очереди. Рауль, взбешенный уже тем, что его закон «о свободе церкви», в котором он не сомневался, стал проваливаться в комитетах, объявил, что он не может принять *ordre du jour motivé*¹. Обиженная камера вотировала против него. За такую продерзость он на другой день отсрочил камеру, на третий распустил, на четвертый думал еще о какой-то крутой мере, но, говорят, Чальдини сказал королю, что на войско рассчитывать трудно.

Бывали примеры, что правительства, зарпортовавшись, приискивали дельный предлог, чтоб сделать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелепый предлог, чтоб засвидетельствовать свое поражение. Если правительство будет дальше и резче идти этим путем, может, оно и сломит себе шею; рассчитывать, предвидеть можно только то, что сколько-нибудь покорено разуму; всемогущество безумия не имеет границ, хотя и имеет почти всегда возле какого-нибудь Чальдини, который в опасную минуту выльет шайку холодной воды на голову.

А если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. Такого призрачного мира лжи и пустых слов, фраз без содержания трудно переработать народу *менее бывалому*, чем французы. У Франции все *не в самом деле*, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладеет с этими тенями китайского фонаря, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего

¹ мотивированный переход к очередным делам (франц.).— *Ред.*

не готовится. Что же делать? Где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых узлах может больше выработаться, если есть чему вырабатываться; оно же и совершенно в духе Италии.

...Середь этих рассуждений мне попала брошюра Кине: «Франция и Германия» *; я ей ужасно обрадовался; не то чтоб я особенно зависел от суждений знаменитого историка-мыслителя, которого лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

В старые годы в Петербурге один приятель, известный своим юмором, пайдя у меня на столе книгу берлинского Мишле «о бессмертии духа» *, оставил мне записочку следующего содержания: «Любезный друг, когда ты прочтешь эту книгу, потрудись сообщить мне вкратце, есть бессмертие души или нет. Мне все равно, но желал бы знать для *успокоения родственников*». Вот для *родственников*-то и я рад тому, что встретился с Кине. Наши друзья до сих пор, несмотря на заносчивую позу, которую многие из них приняли относительно европейских авторитетов, их больше слушают, чем своего брата. Оттого-то я и старался, когда мог, ставить свою мысль под покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть *; держась за полу Стюарта Милля, я твердил об английском китаизме * и очень доволен, что могу взять за руку Кине и сказать: «Вот и почтенный друг мой Кине говорит в 1867 о латинской Европе то, что я говорил обо всей в 1847 и во все последующие».

Кине с ужасом и грустью видит понижение Франции, смягчение ее мозга, ее омельчание. Причины он не понимает, ищет ее в отклонении Франции от начал 1789 года, в потере политической свободы, и потому в его словах из-за печали сквозит скрытая надежда на выздоровление возвращением к серьезному парламентскому режиму, к великим принципам революции.

Кине не замечает, что великие начала, о которых он говорит, и вообще политические идеи латинского мира потеряли свое значение, их пружина доиграла и чуть ли не лопнула. Les

principes de 1789¹ не были фразой, но теперь стали фразой, как литургия и слова молитвы. Заслуга их огромна: *ими, через них* Франция совершила свою революцию, она приподняла завесу будущего и, испуганная, отпрянула.

Явилась дилемма:

Или свободные учреждения снова коснутся заветной заветы, или — правительственная опека, внешний порядок и внутреннее рабство.

Если б в европейской народной жизни была одна цель, одно стремление, та или другая сторона взяла бы давно верх. Но так, как сложилась западная история, она привела к вечной борьбе. В основном бытовом факте двойного образования лежит органическое препятствие последовательному развитию. Жить в две цивилизации, в два пласта, в два света, в два возраста, жить не целым организмом, а одной частью его, употреблять на топливо и корм другую и повторять о свободе и равенстве становится труднее и труднее.

Опыты выйти к более гармоническому, уравновешенному строю не имели успеха. Но если они не имели успеха в данном месте, это больше доказывает неспособность места, чем ложность начала.

В этом-то и лежит вся сущность дела.

Северо-Американские Штаты с своим единством цивилизации легко опередят Европу, их положение проще. Уровень их цивилизации ниже западноевропейского, *но он один*, и до него достигают *все*, и в этом их страшная сила.

Двадцать лет тому назад Франция рванулась титанически к другой жизни, борясь впотьмах, бессмысленно, без плана и другого знания, кроме знания нестерпимой боли; она была побита «порядком и цивилизацией», а отступил победитель. Буржуазии пришлось за печальную победу свою заплатить всем, что она выработала веками усилий, жертв, войн и революций, лучшими плодами своего образования.

Центры сил, пути развития — все изменилось; скрывшаяся деятельность, подавленная работа общественного пересоздания бросились в другие части, за французскую границу.

¹ Принципы 1789 года (франц.).— *Ред.*

Как только немцы убедились, что французский берег понизился, что страшные революционные идеи ее поветшали, что бояться ее нечего, — из-за крепостных стен прирейнских показалась прусская каска.

Франция все пятилась, каска все выдвигалась. Своих Бисмарк никогда не уважал, он наострил оба уха в сторону Франции, он нюхал воздух оттуда, и, убедившись в прочном поижении страны, он понял, что время Пруссии настало. Понявши, он заказал план Мольтке, заказал иголки оружейникам и систематически, с немецкой бесцеремонной грубостью забрал спелые немецкие груши и ссыпал смешному Фридриху-Вильгельму в фартух *, уверив его, что он герой по особенному чуду лютеранского бога.

Я не верю, чтоб судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике. Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: «В тебе, Боруссия, нет ничего, что бы я мог назвать царем»*. Но все же Пруссия отодвинула Францию на второй план и сама села на первое место. Но все же, окрасив в один цвет пестрые лоскутья немецкого отечества, она будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы ее будут предписывать штыком и исполнять картечью, по самой простой причине: потому что у нее больше штыков и больше картечей.

За прусской волной подымается уже *другая*, не очень заботясь, нравится это или нет классическим старикам.

Англия хитро хранит *вид силы*, отошедши в сторону, будто гордая в своем мнимом неучастии... Она почувствовала в глубине своих внутренностей ту же социальную боль, которую она так легко вылечила в 1848 полицейскими палками... Но погуги посильней... и она втягивает далеко хватающие щупальцы звыи на домашнюю борьбу *.

Франция, удивленная, сконфуженная переменой положения, грозит не Пруссии войной, а Италии, если она дотронется до временных владений *вечного отца* *, и собирает деньги на памятник Вольтеру.

Воскресит ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *последнего* военного суда, разбудит ли ее приближение *ученых* варваров?

Chi lo sa?¹

...Я приехал в Геную с американцами, только что переплывшими океан. Генуя их поразила. Все читанное ими в книгах о старом свете они увидели очью и не могли насмотреться на средневековые улицы, гористые, узкие, черные, на необычайной вышины дома, на полуразрушенные переходы, укрепления и проч.

Мы вошли в сени какого-то дворца. Крик восторга вырвался у одного из американцев: «Как эти люди жили, — повторял он, — как они жили! Что за размеры, что за изящество! Нет, ничего подобного вы не найдете у нас». И он готов был покраснеть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева их в портретах, картины, картины, стены, сдавшие цвет, старая мебель, старые гербы, нежилой воздух, пустота и старик кустод² в черной вязаной скуфье, в черном потертом сертуке, с связкой ключей... все так и говорило, что это уж не дом, а редкость, саркофаг, пыльный след прошедшей жизни.

— Да,— сказал я, выходя, американцам,— вы совершенно правы: люди эти хорошо жили.

(Март 1867).

¹ Кто знает? (итал.).— *Ред.*

² сторож (итал. custode).— *Ред.*





〈ГЛАВА III〉
LA BELLE FRANCE¹

Ah! que j'ai douce souvenance
De ce beau pays de France!^{2*}

I
ANTE PORTAS³

Франция была для меня заперта. Год спустя после моего приезда в Ниццу, летом 1851, я написал письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутренних дел, и просил его дозволения приехать на несколько дней в Париж. «У меня в Париже дом, и я должен им заняться»; истый экономист не мог не сдать на это доказательство, и я получил разрешение приехать. «на самое короткое время».

В 1852 я просил права проехать Францией в Англию — *отказ*. В 1856 я хотел возвратиться из Англии в Швейцарию и снова просил визы — *отказ*. Я написал в фрибургский Conseil d'Etat^{4*}, что я отрезан от Швейцарии и должен или ехать тайком, или через Гибралтарский пролив, или, наконец, через Германию, причем я, вероятнее всего, доеду в Петропавловскую крепость, а не в Фрибург. В силу чего я просил Conseil d'Etat вступить в сношение с французским министром иностранных дел, требуя для меня проезда через Францию. Совет отвечал мне 19 октября 1856 года следующим письмом:

¹ Прекрасная Франция (франц.).— *Ред.*

² Ах, какое у меня сладкое воспоминание об этой прекрасной стране Франции! (франц.).— *Ред.*

³ Перед воротами (лат.).— *Ред.*

⁴ государственный совет (франц.).— *Ред.*

Вследствие вашего желания мы поручили швейцарскому министру в Париже сделать необходимые шаги для получения нам авторизации проехать Францией, возвращаясь в Швейцарию. Мы передаем вам текстуально ответ, полученный швейцарским министром: «Г-н Валевский должен был совещаться по этому предмету с своим товарищем внутренних дел; *соображения особенной важности*, сообщил ему м. в. д., заставили отказать г. Герцену в праве проезда Францией в прошлом августе, что он не может изменить своего решения, и проч.

Я не имел ничего общего с французами, кроме простого знакомства; не был ни в какой конспирации, ни в каком обществе и занимался тогда уже исключительно русской пропагандой. Все это французская полиция, единая всезнающая, единая национальная и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня *гневались* за мои статьи и связи.

Про этот гнев нельзя не сказать, что он вышел *из границ*. В 1859 году я поехал на несколько дней в Брюссель с моим сыном. Ни в Остенде, ни в Брюсселе паспорта не спрашивали. Дней через шесть, когда я возвратился вечером в отель, слуга, подавая свечу, сказал мне, что из полиции требуют моего паспорта. «Во-время хватились»,— заметил я. Слуга проводил меня до номера и паспорт взял. Только что я лег, часу в первом, стучат в дверь; явился опять тот же слуга с большим пакетом. «Министр юстиции покорно просит такого-то явиться завтра, в 11 часов утра, в департамент de la sûreté publique»¹.

— И это вы из-за этого ходите ночью будить людей?

— Ждут ответа.

— Кто?

— Кто-то из полиции.

— Ну скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашения после полуночи.

Затем я, как Нулин, «свечку погасил»*.

На другое утро, в 8 часов, снова стук в дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгийская юстиция.

¹ общественной безопасности (франц.).— Ред.

— Entrez!¹

Взошел господин, излишне чисто одетый, в очень новой шляпе, с длинной цепочкой, толстой и на вид золотой, в свежем черном сертуке и пр.

Я, едва, и то отчасти, одетый, представлял самый странный контраст человеку, который *должен* одеваться так тщательно с семи часов утра для того, чтоб его, хоть ошибкой, приняли за честного человека. Авантаж был с его стороны.

— Я имею честь говорить avec М. Herzen-père?²

— C'est selon³, как возьмем дело. С одной стороны, я отец, с другой — сын.

Это развеселило шпиона.

— Я пришел к вам...

— Позвольте, чтоб сказать, что министр юстиции меня зовет в 11 часов в департамент?

— Точно так.

— Зачем же министр вас беспокоит, и притом так рано? Довольно того, что он меня так поздно беспокоил вчера ночью, приславши этот пакет.

— Так вы будете?

— Непременно.

— Вы знаете дорогу?

— А что же, вам велено меня провожать?

— Помилуйте, quelle idée!⁴

— Итак...

— Желаю вам доброго дня.

— Будьте здоровы.

В 11 часов я сидел у начальника бельгийской общественной безопасности.

Он держал какую-то тетрадку и мой паспорт.

— Извините меня, что мы вас побеспокоили, но видите, тут два небольших обстоятельства: во-первых, у вас паспорт швейцарский, а... — он с полицейской пронциательностью, испытуюя меня, остановил на мне свой взгляд.

¹ Войдите! (франц.).— *Ред.*

² с господином Герценом-отцом? (франц.).— *Ред.*

³ Это смотря по тому (франц.).— *Ред.*

⁴ что за мысль! (франц.).— *Ред.*

— *А я русский*, — добавил я.

— Да, признаюсь, это показалось нам странно.

— Отчего же? Разве в Бельгии нет закона о натурализации?

— Да вы?..

— Натурализован десять лет тому назад в Морате, Фрибургского кантона, в деревне Шатель.

— Конечно, *если так*, в таком случае я не смою сомневаться... Мы перейдем ко второму затруднению. Года три тому назад вы спрашивали дозволения приехать в Брюссель и получили отказ...

— Этого, *mille pardons*¹, не было и быть не могло. Какое же я имел бы мнение о *свободной* Бельгии, если б я, никогда не высланный из нее, усомнился в праве моем приехать в Брюссель?

Начальник общественной безопасности несколько смутился.

— Однако вот тут... — И он развернул тетрадь.

— Видно, не все в ней верно. Вот ведь вы не знали же, что я натурализован в Швейцарии.

— Так-с. Консул е. в. Дельпьер...

— Не беспокойтесь, остальное я вам расскажу. Я спрашивал вашего консула в Лондоне, могу ли я перевести в Брюссель русскую типографию, т. е. оставят ли типографию в покое, если я не буду мешаться в бельгийские дела, на что у меня не было никогда никакой охоты, *как вы легко поверите*. Г-н Дельпьер спросил министра. Министр просил его отклонить меня от моего намерения перевести типографию. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерский ответ, и он просил передать мне эту весть, как общего знакомого, Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просил его успокоить г. Дельпьера и уверить его, что я с большой твердостью духа узнал, что *типографию* не пустят в Брюссель; «если б, — прибавил я, — консулу пришлось мне сообщить обратное, т. е. что меня и типографию во веки веков *не выпустят из Брюсселя*, может, я не нашел бы столько геройства». Видите, я очень помню все обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистил голос и, читая тетрадку, заметил:

¹ тысяча извинений (франц.).— *Ред.*

— Действительно так, я о типографии и не заметил. Впрочем, я полагаю, вам все-таки необходимо разрешение от министра; иначе, как это ни неприятно будет для нас, но мы будем вынуждены просить вас...

— Я завтра еду.

— Помилуйте, никто не требует такой поспешности; оставьте неделю, две. Мы говорим насчет оседлой жизни... Я почти уверен, что министр разрешит.

— Я могу его просить для будущих времен, но теперь я не имею ни малейшего желания дальше оставаться в Брюсселе.

Тем история и кончилась.

— Я забыл одно,— запутавшись в объяснении, сказал мне опасливый хранитель безопасности, — мы малы, мы малы, вот наша беда; il y a des égards...¹ — Ему было стыдно.

Два года спустя, меньшая дочь моя, жившая в Париже, занемогла *. Я опять потребовал визы, и Персиньи опять отказал. В это время граф Ксаверий Браницкий был в Лондоне. Обедая у него, я рассказал об отказе.

— Напишите к принцу Наполеону письмо,— сказал Браницкий,— я ему доставлю.

— С какой же стати буду я писать принцу?

— Это правда; пишите к императору. Завтра я еду, и послезавтра ваше письмо будет в его руках.

— Это скорее; дайте подумать.

Приехав домой, я написал следующее письмо:

Sire²,

Больше десяти лет тому назад я был вынужден оставить Францию по министерскому распоряжению. С тех пор мне два раза был разрешен проезд в Париж³. Впоследствии мне постоянно отказывали в праве въезжать во Францию; между тем в Париже воспитывается одна из моих дочерей, и я имею там собственный дом.

¹ есть соображения... (франц.).— *Ред.*

² Государь (франц.).— *Ред.*

³ Второй раз мне был разрешен проезд в Париж в 1853, по случаю болезни М. К. Рейхель. Этот пропуск я получил по просьбе Ротшильда. Болезнь М. К. прошла, и я им не воспользовался. Годь через два мне объявили в французском консульстве, что так как я тогда не ездил, то пропуск не имеет больше значения.

Я беру смелость отнести прямо к в. в. с просьбой о разрешении мне въезда во Францию и пребывания в Париже, насколько потребуют дела, и буду с доверием и уважением ждать вашего решения.

Во всяком случае, *Sire*, я даю слово, что желание мое иметь право ездить во Францию не имеет никакой политической цели.

Остаюсь с глубочайшим почтением вашего величества покорнейшим слугой

А. Г.

31 мая 1861. Лондон, Орсет Гауз, Уэстборн Террас.

Браницкий нашел, что письмо *сухо*, потому, вероятно, и не достигнет цели. Я сказал ему, что другого письма не напишу и что, если он хочет сделать мне услугу, пусть его передаст, а возьмет раздумье — пусть бросит в камин. Разговор этот был на железной дороге. Он уехал.

А через четыре дня я получил следующее письмо из французского посольства:

Кабинет Префекта полиции. I бюро.
Париж, 3 июня 1861.

М. г.

По приказанию императора имею честь сообщить вам, что е. в. разрешает вам въезд во Францию и пребывание в Париже всякий раз, когда дела ваши этого потребуют, так, как вы просили вашим письмом от 31 мая.

Вы можете, следственно, свободно путешествовать во всей империи, соображаясь с общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префект полиции.

Затем — подпись эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на всё, но не на фамилию *Boittelle*.

В тот же день пришло письмо от Браницкого. Принц Наполеон сообщал ему следующую записку императора: «Ликбезный Наполеон, сообщаю тебе, что я сейчас разрешил въезд *господину*¹ Герцену во Францию и приказал ему выдать паспорт».

После этого — «подвись!» Шлагбаум, опущенный в продолжение одиннадцати лет, поднялся, и я отправился через месяц в Париж *.

¹ Я отметил слово *господин*, потому что при моей высылке префектура постоянно писала «*seigneur*» <субъект (франц.)>, а Наполеон в записке написал слово «*monsieur*» <господин (франц.)> всеми буквами.

— Maame Erstin! — кричал мрачный, с огромными усами жандарм в Кале, возле рогатки, через которую должны были проходить во Францию один за одним путешественники, только что сошедшие на берег с доврского парохода и загнанные в каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандарм отдавал пассы, комиссар полиции допрашивал глазами, а где находил нужным — языком, и одобренный и найденный безопасным для империи терялся за рогаткой.

На крик жандарма в этот раз никто из путешественников не двинулся.

— Mame Ogle Erstin! — кричал, прибавляя голоса и махая паспортом, жандарм. Никто не откликнулся.

— Да что же, никого, что ли, нет с этим именем?! — кричал жандарм и, посмотрев в бумагу, прибавил: — Mamselle Ogle Erstin.

Тут только девочка лет десяти, т. е. моя дочь Ольга, догадалась, что защитник порядка вызывал ее с таким неистовством.

— Avancez donc, prenez vos papiers!² — свирепо командовал жандарм.

Ольга взяла пасс и, прижавшись к М<ейзенбург>, потихоньку спросила ее:

— Est-ce que c'est l'empereur?³

Это было с ней в 1860 году, а со мной случилось через год еще хуже, и не у рогатки в Кале (уже не существующей теперь), а *езде*: в вагоне, на улице, в Париже, в провинции, в доме, во сне, наяву — везде стоял передо мной сам император с длинными усами, засмоленными в ниточку, с глазами без взгляда, с ртом без слов. Не только жандармы, которые по положению своему немного императоры, мерещились мне Наполеонами, но солдаты, сидельцы, гарсоны и особенно кондукторы железных дорог и omnibusов. Я только тут, в Париже 1861 года, перед

¹ В стенах (лат.).— *Ред.*

² Подойдите же, возьмите ваши бумаги (франц.).— *Ред.*

³ Это император? (франц.).— *Ред.*

тем же Hôtel de Ville'м, перед которым я стоял полный уважения в 1847 году, перед той же Notre-Dame, на Елисейских Полях и бульварах, понял псалом, в котором царь Давид с льстивым отчаянием жалуется Иегове, что он не может никуда деться от него, никуда бежать: «В воду, говорит, — ты там, в землю — ты там, на небо — и подавно». Шел ли я обедать в Maison d'Or — Наполеон, в одной из своих ипостасей, обедал через стол и спрашивал трюфли в салфетке; отпраивался ли я в театр — он сидел в том же ряду, да еще другой ходил на сцене. Бежал ли я от него за город — он шел по пятам дальше Булонского леса, в сертуке, плотно застегнутом, в усах с круто нафабранными кончиками. Где же его нет? На бале в Мабиль? На обедне в Мадлен? — Непременно там и тут.

La révolution s'est faite homme — «Революция воплотилась в человеке» — была одна из любимых фраз доктринерского жаргона времен Тьера и либеральных историков луи-филипповских времен *. А тут похитрее: «революция и реакция», порядок и беспорядок, *вперед* и *назад* воплотились в одном человеке, и этот человек, в свою очередь, перевоплотился во всю администрацию, от министров до сельских сторожей, от сенаторов до деревенских мэров... рассыпался пехотой, поплыл флотом.

Человек этот не поэт, не пророк, не победитель, не эксцентричность, не гений, не талант, а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаический господин «средних лет, ни толстый, ни худой». Le bourgeois буржуазной Франции, l'homme du destin, le neveu du grand homme¹ — плебея. Он уничтожает, осредотворяет в себе все резкие стороны национального характера и все стремления народа, как вершинная точка горы или пирамиды оканчивает целую гору *ничем*.

В 49, в 50 годах я не угадал Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценил *. 1861 год был один из самых лучших для империи: все обстояло благо-

¹ человек, отмеченный роком, племянник великого человека (франц.).—*Ред.*

получно, все уравнилось, примирилось, покорилось новому порядку. Оппозиций и смелых мыслей было ровно настолько, насколько надобно для тени и слегка пряного вкуса. Лабуле очень умно хвалил Нью-Йорк в пику Парижу, Прево Парадоль — Австрию в пику Франции *. По делу Миреса делали анонимные намеки *. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому движению — слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшиеся пофрондерствовать, как, бывало, мы собирались в Москве в сороковых годах у кого-нибудь из старых приятелей. Были даже свои недовольные знаменитости вроде статских Ермоловых, как Гизо *. Остальное все было прибито градом. И пикто не жаловался; отдых еще нравился так, как нравится первая неделя поста с своим хреном да капустой после семидневного масла и пьянства на масленице. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видеть: он исчезал на короткое или долгое время и возвращался с исправленным вкусом из Ламбессы или из Мазаса *. Полиция, la grande police¹, заменившая la grande armée² *, была везде, во всякое время. В литературе — плоский штиль; плохие лодочки плавали спокойно на плохих лодках по некогда бурному морю. Пошлость пьес, даваемых на всех сценах, наводила к ночи тяжелую сонливость, которая утром поддерживалась бессмысленными журналами. Журналистика в прежнем смысле не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. После leading article³ лондонских газет, писанных сжатым, деловым слогом, с «нервом», как говорят французы, и «мышцами», *premier-Paris*⁴ нельзя было читать. Риторические декорации, полинялые и потертые, и те же возгласы, сделавшиеся больше чем смешными, — гадкими по явному противуречию с фактами, заменяли содержание. Страждущие народности постоянно приглашались по-прежнему надеяться на Францию: она все-таки оставалась «во главе великого движения» и все еще несла миру революцию, свободу и великие принципы 1789 года. Оппозиция делалась под знаменем бонапартизма. Это были нюансы одного

¹ великая полиция (франц.).— *Ред.*

² великую армию (франц.).— *Ред.*

³ передовых статей (англ.).— *Ред.*

⁴ передовые статьи парижских газет (франц.).— *Ред.*

и того же цвета, но их можно было означать в том роде, как моряки означают промежуточные ветры: N. N. W., N. W. N., N. W. W., W. N. W... Бонапартизм отчаянный, беспующий, умеренный, бонапартизм монархический, бонапартизм республиканский, демократический и социальный; бонапартизм мирный, военный, революционный, консервативный, наконец, пале-рояльский и тюльерийский... * Вечером поздно бегали по редакциям какие-то господа, ставившие на место стрелку газет, если она где уходила далеко за N. к W. или E. Они поверяли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились в следующую редакцию.

...В café, читая вечерний журнал, в котором было написано, что адвокат Миреса отказался указать какое-то употребление сумм, говоря, что тут замешаны «слишком высоко поставленные лица», я сказал кому-то из знакомых:

— Да как же прокурор не заставил его назвать, и как же не требуют этого журналы?

Знакомый дернул меня за пальто, огляделся, сделал знак глазами, руками, тростью. Я недаром жил в Петербурге: понял его и стал рассуждать об абсинте с зельцерской водой.

Выходя из кафе, я увидел крошечного человека, бегущего на меня с крошечными объятиями. На близком расстоянии я разглядел Даримона.

— Как вы должны быть счастливы, — говорил левый депутат, — возвратившись в Париж! Ah! je m' imagine! ¹

— Не то чтоб особенно!

Даримон остолбенел.

— Ну, что madame Darimon и ваш маленький, который, верно, теперь ваш большой, особенно если он не берет в росте примера с отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très bien ². — И мы расстались.

Тяжело мне было в Париже, и я только свободно вздохнул, когда через месяц, сквозь дождь и туман, опять увидел грязно-

¹ О! воображаю! (франц.).— *Ред.*

² Все такой же... очень хорошо (франц.).— *Ред.*

белые меловые берега Англии. Все, что жало, как узкие башмаки, при Людовике-Филиппе, жало теперь, как колодка. Промежуточных явлений, которыми упрочивался и прилаживался новый порядок, я не видал, а нашел его через десять лет совершенно *готовым и сложившимся*... К тому же я Париж не узнавал, мне были чужды его перестроенные улицы, недостроенные дворцы * и пуще всего — встречавшиеся люди. Это не тот Париж, который я любил и ненавидел, не тот, в который я стремился с детства, не тот, который покидал с проклятием на губах *. Это Париж, утративший свою личность, равнодушный, откипевший. Сильная рука давила его везде и всякую минуту готова была притянуть вожжи, но это было не нужно: Париж *принял tout de bon* вторую империю, у него едва оставались наружные привычки прежнего времени. У «недовольных» ничего не было серьезного и сильного, что бы они могли противопоставить империи. Воспоминания тацитовских республиканцев и неопределенные идеалы социалистов не могли потрясти цезарский трон *. С «фантазиями» *надзор полиции* боролся не серьезно, они его сердили не как опасность, а как беспорядок и бесчинство. «Воспоминания» досаждали больше «надежд», орлеанистов держали строже. Иногда самодержавная полиция неожиданно раздражалась ударом, несправедливым и грубым, грозно напоминая о себе; она нарочно распространяла ужас на два квартала и на два месяца и снова уходила в щели префектуры и коридоры министерских домов.

В сущности, все было тихо. Два самых сильных протеста были не французские. Покушениями Пианори и Орсини мстила Италия, мстил Рим *. Дело Орсини, испугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлог, чтоб нанести последний удар — *coup de grâse*. Он удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительных людях Эспинаса *, дала свой залог. Надобно было испугать, показать, что полиция ни перед чем не остановится, надобно было сломить всякое понятие о праве, о человеческом достоинстве, надобно было несправедливостью поразить умы, приучить к ней и ею доказать свою власть. Очистив Париж от *подозрительных* людей, Эспинас приказал префектам в *каждом* департаменте открыть заговор, замешать в него не меньше десяти человек заявленных врагов им-

перии, арестовать их и представить на распоряжение министра. Министр имел право сослать в Кайенну, Ламбессу без следствия, без отчета и ответственности. Человек сосланный погибал: ни оправдания, ни протеста не могло и быть; он не был судим — могла быть одна монаршая милость.

— Получаю это приказание, — рассказывал префект Н. нашему поэту Ф. Т. *, — что тут делать? Ломал себе голову, ломал... положение затруднительное и неприятное; наконец мне пришла счастливая мысль, как вывернуться. Я посылаю за комиссаром полиции и говорю ему: можете вы в самом скором времени найти мне десяток отчаянных негодяев, воров, не уличенных по суду, и т. п.? Комиссар говорит, что ничего нет легче. Ну, так составьте список; мы их нынче ночью арестуем и потом представим министру как возмутителей.

— Ну что же? — спросил Т.

— Мы их представили, министр их отправил в Кайенну, и весь департамент был доволен, благодарил меня, что так легко отделался от мошенников, — прибавил добрый префект, смеясь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилия, чем публика и общественное мнение. Времена тишины, покоя, de la sécurité¹ наступали не по дням, а по часам. Мало-помалу разгладились морщины на челе полиции; дерзкий, вызывающий взгляд шпиона, свирепый вид sergent de ville² стали смягчаться; император мечтал о разных умных и кротких свободах и децентрализациях. Неподкупные в усердии министры удерживали его либеральную горячность.

...С 1861 двери были отворены и я проезжал несколько раз Парижем. Сначала я торопился поскорее уехать, потом и это прошло, я привык к новому Парижу. Он меньше сердил. Это был другой город, огромный, незнакомый. Умственное движение, наука, отодвинутые за Сену *, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свои «расширенные свободы» Наполеон дал; беззубая оппозиция подняла свою лысую голову и затянула старую фразеологию сороковых годов; работники не верили им, молчали и слабо пробовали ассоциации.

¹ безопасности (франц.).— *Ред.*

² полицейского (франц.).— *Ред.*

кооперации. Париж становился больше и больше общим европейским рынком, в котором толпилось, толкалось все на свете: купцы, певцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всех стран и невиданная в прежние времена масса немцев. Вкус, тон, выражения — все изменилось. Блестящая, тяжелая роскошь — металлическая, золотая, ценная — заменила прежнее эстетическое чувство; в мелочах и одежде хвастались не выбором, не уменьем, а дороговизной, возможностью трат и непрерывно толковали о наживе, об игре в карты, места, фонды. Лоретки давали тон дамам. Немецкое образование пало на степень прежнего итальянского.

— L'empire, l'empire...¹ вот где зло, вот где беда...

Нет, причина глубже.

— Sire, vous avez un cancer rentré², — говорит Антоммарки.

— Un Waterloo rentré³, — отвечает Наполеон.

А тут две-три революции rentrées, avortées, внутрь взошедшие, недоношенные и выкинутые.

Оттого ли Франция не донашивает, что она слишком рано, слишком поспешно попала в ичтересное положение и хотела отделаться от него кесаревым сечением? Оттого ли, что духа хватило на рубку голов, а на рубку идей не достало? Оттого ли, что из революции сделали армию и права человека покропили святой водой? Оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революция делалась не для крестьян?

III

ALPENDRÜCKEN⁴

Да здравствует свет!

Да здравствует разум!*

Русские, не имея вблизи гор, просто говорят, что «домовой душил». Оно, пожалуй, вернее. Действительно, словно кто-то душит, сон не ясен, но очень страшен, дыхание трудно, а дышать надобно вдвое, пульс поднят, сердце ударяет тяжело и

¹ Империя, империя... (франц.).— *Ред.*

² Государь, у вас внутри рак (франц.).— *Ред.*

³ Не рак, а Ватерлоо внутри (франц.).— *Ред.*

⁴ Гнет гор, кошмар (нем.).— *Ред.*

скоро... За вами гнались, гонятся по пятам не то люди, не то привидения, перед вами мелькают забытые образы, напоминающие другие годы и возрасты... тут какие-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенья нет, вы летите в темную пустоту, крик вырывается невольно — и вы проснулись... проснулись в лихорадке, пот на лбу, дыханье сперто — вы торопитесь к окну... Свежий, светлый рассвет на дворе, ветер оживляет в одну сторону туман, запах травы, леса, звуки и крики... все *наше*, земное... и вы, успокоенные, пьете всеми легкими утренний воздух.

...Меня на днях душил домовый не во сне, а наяву, не в постели, а в книге, и, когда я вырвался из нее на свет, я чуть не вскрикнул: «Да здравствует разум! Наш простой, земной разум!»

Старик Пьер Леру, которого я привык любить и уважать лет тридцать*, принес мне свое последнее сочинение и просил непременно прочесть его, «хоть текст, а примечание после, когда-нибудь».

«*Книга Иова*, трагедия в пяти действиях, сочиненная Исаией и переведенная Пьером Леру»*. И не только переведенная, но и прилаженная к современным вопросам.

Я прочел *весь* текст и, подавленный печалью, ужасом, искал окна.

Что же это такое?

Какие antecedенты могли развить такой мозг, такую книгу? Где отечество этого человека, и что за судьбы и страны и лица? Так сойти можно только с *большого ума*; это заключение длинного и сломленного развития.

Книга эта — бред поэта-лунатика, у которого в памяти остались факты и строй, упования и образы, но смысла не осталось; у которого сохранились чувства, воспоминания, формы, но *разум* не сохранился или если и уцелел, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя из мыслей в фантазии, из истин в мистерии, из выводов в мифы, из знания в откровение.

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состояние, опьянение Пифии, шамана, дурь вертящегося дервиша, дурь вертящихся столов...

Революция и чародейство, социализм и талмуд, Иов и Ж. Санд, Исаия и Сен-Симон *, 1789 год до р. Х. и 1789 после р. Х. — все брошено зря в каббалистический горн. Что же могло выйти из этих натянутых, враждебных совокуплений? Человек захворал от этой неперевариваемой пищи, он потерял здоровое чувство истины, любовь и уважение к разуму. Где же причина, отбросившая так далеко от русла этого старика, некогда стоявшего в числе глав социального движения, полного энергии и любви, — человека, которого речь, проникнутая негодованием и сочувствием к меньшей братии, потрясала сердца? Я это время помню. «Петр Рыжий — так называли мы его в сороковых годах — становится моим Христом», — писал мне всегда увлекавшийся через край Белинский *, — и вот этот-то учитель, этот живой, будящий голос после пятнадцатилетнего удаления в Жерсее является с *grève de Samarez* и с книгой Иова *, проповедует какое-то переселение душ, ищет развязки на том свете, *в этот не верит* больше. Франция, революция обманули его; он скинии свои разбивает в другом мире, в котором нет обмана, да и ничего нет, в силу чего большой простор для фантазии.

Может, это личная болезнь, идиосинкразия? Ньютон имел свою книгу Иова, Огюст Конт — свое помешательство *.

Может... но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу, — все книга Иова, все мутит ум и давит грудь, все заставляет искать света и воздуха, все носит следы душевной тревоги и недуга, чего-то сбившегося с пути. Вряд можно ли в этом случае многое объяснить личным безумием; напротив, надобно искать в общем расстройстве причину частного явления. Я именно в полнейших представителях французского гения вижу следы недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелым сном; в долгом лихорадочном ожидании, усталые от горечи дня и от жгучего нетерпения, они бредят в каком-то полусне и хотят нас и самих себя уверить, что их видения — действительность и что настоящая жизнь — дурной сон, который сейчас пройдет, особенно для Франции.

Неистощимое богатство их длинной цивилизации, колоссальные запасы *слов* и образов мерцают в их мозгу, как фосфо-

ресценция моря, не освещая ничего. Какой-то вихрь, подметающий перед начинающимся катаклизмом осколки двух-трех миров, снес их в эти исполинские памяти без цемента, без связи, без *науки*. Процесс, которым развивается их мысль, для нас непонятен: они идут от слов к словам, от антиномий к антиномиям, от антитезисов к синтезисам, не разрешающим их; иероглиф принимается за дело и желанье за факт. Громадные стремления без возможных средств и ясных целей, недооконченные очертания, недодуманные мысли, намеки, сближения, прорицания, орнаменты, фрески, арабески... Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франция, у них нет, истины они не ищут; она так страшна на деле, что они отворачиваются от нее. Романтизм ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкус от всего простого и здорового.

Размеры потеряны, перспективы ложны...

Да еще хорошо, когда дело идет о путешествиях душ по планетам, об ангельских хуторах Жана Рено, о разговоре Иова с Прудоном и Прудона с мертвой женщиной*; хорошо еще, когда из целой тысячи и одной ночи человечества делается одна сказка и Шекспир из любви и уважения заваливается пирамидами и обелисками, Олимпом и библией, Ассирией и Ниневией. Но что сказать, когда все это врывается в жизнь, отводит глаза и мешает карты для того, чтоб ими ворожить о «близком счастье и исполнении желаний» на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блеском прошедшей славы заштукатуривают гнилые раны и сифилитические пятна на повислых щеках выдают за румянец юноши?

Перед падшим Парижем, в самую не жалкую минуту его паденья, когда он, довольный богатой ливреей и щедростью посторонних помещиков, бражничает на всемирном толкуне, повержен в прахе старик-поэт. Он приветствует Париж путеводной звездой человечества, сердцем мира, мозгом истории, он уверяет его, что базар на *Champ de Mars* — почин братства народов и примирения вселенной*.

Пьянить похвалами поколение измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустых и выродившихся сыновей

и ввучат, покрывая одобрением гения их жалкое, бессмысленное существование, — великий грех.

Делать из современного Парижа *спасителя и освободителя мира*, уверять его, что он велик в своем падении, что он, в сущности, вовсе не падал, сбивает на апотеозу *божественного Нерона и божественного Калигулы или Каракаллы*.

Разница в том, что Сенеки и Ульпианы были в силе и власти *, а В. Гюго — в ссылке.

Рядом с лестью вас поражает неопределенность понятий, смутность стремлений, незрелость идеалов. Люди, идущие вперед, ведущие других, остаются в полумраке, без тоски о свете. Толки о преобразении человечества, о пересоздании существующего... по о каком, но во что?

Это равно не ясно ни на том свете Пьера Леру, ни на этом Виктора Гюго.

«В XX столетии будет чрезвычайная страна. Она будет велика, и это не помешает ей быть свободной. Она будет знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человечеству. Она будет иметь кроткую доблесть старшей сестры.

Эта центральная страна, из которой все лучится, эта образцовая ферма человечества, по которой все кроится, имеет свое сердце, свой мозг, называемый *Париж*.

Город этот имеет одно неудобство — кто им владеет, тому принадлежит мир. Человечество идет за ним. Париж работает для общности земной. Кто бы ты ни был, Париж — твой господин... он иногда ошибается, имеет свои оптические обманы, свой дурной вкус... *тем хуже* для всемирного смысла, компас потерян, и прогресс идет ощупью.

Но Париж настоящий *кажется* не таков. Я не верю в этот Париж — это призрак, а впрочем, небольшая проходящая тень не идет в счет, когда дело идет об огромной утренней заре.

Одни дикие боятся за солнце во время затмений.

Париж — зажженный факел; зажженный факел имеет *волю*... Париж изгоняет из себя все нечистое, он *уничтожил* смертную казнь, насколько это было в его воле, и перенес гильотину в la Roquette. В Лондоне вешают, гильотинировать в Париже нельзя больше; если бы вздумали снова поставить

гильотию перед ратушей, камни восстали бы. Убивать в этой среде невозможно. Остается поставить вне закона, что поставлено вне города!

1866 был годом столкновения народов *, 1867 будет годом их встречей. Выставка в Париже — великий собор мира, все препятствия, тормозы, палки в колесах прогресса сломятся в куски, разлетятся в прах... Война невозможна... Зачем выставили страшные пушки и другие военные снаряды?.. Разве мы не знаем, что война умерла? Она умерла в тот день, когда Иисус сказал: „Любите друг друга!“, и бродила только как привидение; Вольтер и революция убили ее еще раз. Мы не верим в войну. Все народы побратались на выставке, все народы, притекши в Париж, побывали Францией (ils viennent d'être France); они узнали, что есть город-солнце... и должны любить его, желать его, выносить его!» *

И в полном умилении перед народом, который *испаряется братством*, которого свобода — свидетельство совершенности человеческого рода, Гюго восклицает: «О, Франция! прощай! Ты слишком велика, чтоб быть отечеством; с матерью, сделавшейся богиней, следует расстаться. Еще шаг во времени, и ты исчезнешь, преображенная; ты так велика, что скоро тебя не будет. Ты не будешь Францией, ты будешь человечеством. Ты не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами... Решись принять бремя твоей бесконечности и, как Афины сделались Грецией, Рим — христианством, сделайся ты, Франция, миром!»

Когда я читал эти строки, передо мной лежала газета, и в ней какой-то простодушный корреспондент писал следующее *:

«То, что теперь творится в Париже, необыкновенно занимательно, и не только для современников, но и для будущих поколений. Толпы, собравшиеся на выставку, кутят... все границы перейдены, оргия везде, в трактирах и домах, пуще всего на самой выставке. Приезд царей окончательно опьянил всех. Париж представляет какую-то колоссальную *descente de la courtille*¹.

¹ Здесь: уличную вакханалию (франц.).— *Ред.*

Вчера (10 июня) это опьянение дошло до своего апогея. Пока венценосцы пировали во дворце, выдавшем так много на своем веку, толпы наполняли окольные улицы и места. По набережной, на улицах Риволи, Кастилионе, Сент-Оноре пировали на свой манер до трехсот тысяч человек. От Маделены до *théâtre des Variétés* шла самая растрепанная и неперемонная оргия; большие открытые линейки, импровизированные omnibusы и шарабаны, заложенные изнуренными, измученными клячами, едва-едва двигались по бульварам в сплошном множестве голов и голов. Линейки эти, в свою очередь, были битком набиты, в них стояли, сидели, больше всего лежали растянувшись мужчины и женщины во всевозможных позах с бутылками в руках; они с хохотом и песнями переговаривались с пешей толпой; шум и крик несся им навстречу из кафе и ресторанов, совершенно полных; иногда крик и песни сменялись диким ругательством фиакрного извозчика или дружеской ссорой подпивших... На углах, в переулках валялись мертво пьяные; сама полиция, казалось, отступила за невозможностью что-нибудь сделать. Никогда, — пишет корреспондент, — я не видал ничего подобного в Париже, а живу в нем лет двадцать».

Это на улице, «в канаве», как выражаются французы, а что внутри дворцов, освещенных более чем десятью тысячами свечей... что делалось на праздниках, на которые тратилось по миллиону франков?

«С бала, данного городом в *Hôtel de Ville*, государи уехали около двух часов, — это повествует официальный историограф императорских увеселений, — кареты не могли вовремя ни приехать, ни отвезти восемь тысяч человек. Часы шли за часами, усталость овладела гостями, дамы сели на ступенях лестницы, другие просто легли в залах на ковры и заснули у ног лакеев и *huissiers*, кавалеры шагали за них, цепляясь за кружева и уборы. Когда мало-помалу расчистилось место, ковров было не видно, все было покрыто завялыми цветами, раздавленными бусами, лоскутьями блонд и кружев, тюля, кисей, оторванных эфесами, саблями, питьем, царапавшими плечи», и пр.

А за кулисами шпионы били кулаками, ловили, выдавали

за воров людей, кричавших: «Vive la Pologne!»¹, и суд в двух инстанциях осудил их же на тюрьму за *препятствие* шпионам беззаконно, бесформенно арестовывать их с зуботычинами.

Я нарочно помянул одни *мелочи* — микроскопическая анатомия легче даст понятие о разложении ткани, чем отрезанный ломоть трупа...

IV

ДАНИИЛЫ *

В июльские дни 1848 года, после первого террора и опломбенья победителей и побежденных, явился представителем *угрызения совести* угрюмый и худой старик. Мрачными словами заклеил он и проклял людей «порядка», расстреливавших сотнями, не спрося имени, ссылавших тысячами без суда и державших Париж в осадном положении. Окончив анафему, он обернулся к народу и сказал ему: «А ты молчи, ты слишком беден, чтоб тебе иметь речь» *.

Это был Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его седин, его морщин, его глаз, на которых дрожала старая слеза и на которых скоро ничего дрожать не будет.

Слова Ламенне прошли бесследно.

Через двадцать лет другие угрюмые старики явились с своим суровым словом, и их голос погиб в пустыне.

Они не верили в силу своих слов, но сердце не выдержало. Не сговариваясь в своих ссылках и удалениях, эти вемические судьи * и Даниилы произнесли свой приговор, зная, что он не будет исполнен.

Они, на горе себе, поняли, что это «ничтожное облако, мешающее величественному рассвету» *, не так ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмелье после революции не так-то скоро пройдут, и сказали это.

«В худшие времена древнего цезаризма, — говорил Эдгар Кине на конгрессе в Женеве *, — когда все было немо, за исключением владыки, находились люди, оставлявшие свои пустыни для того, чтоб произнести несколько слов правды в глаза падшим народам.

¹ «Да здравствует Польша!» (франц.). — *Ред.*

Шестнадцать лет живу я в пустыне и хотел бы, в свою очередь, прервать мертвое молчание, к которому привыкли в наше время».

Какую же весть принес он с своих гор и во имя чего поднял речь? Он ее поднял для того, чтоб сказать своим соотечественникам (француз, о чем бы ни говорил, говорит всегда о Франции): «У вас нет совести... она умерла, раздавленная пятою сильного, она отреклась от себя. Шестнадцать лет искал я следов ее и не нашел!»

«То же было при цезарях в древнем мире. Душа человеческая исчезла. Народы помогали своему порабощению, рукоплескали ему, не показывая ни сожаления, ни раскаяния. Совесть человеческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всем, как теперь, и для того, чтоб ее наполнить, надобно было *нового бога*.

Кто же наполнит в наше время пропасти, вырытые новым цезаризмом?

На место стертой, упраздненной совести настала ночь; мы бродим впотьмах, не зная, откуда искать помощи, к кому обратиться. Всё — соучастник паденья: церковь и суд, народы и общество... Глуха земля, глуха совесть, глухи народы; право погибло с совестью; одна сила царит...

...Зачем вы пришли, что вы ищете в этих развалинах? Развалин? Вы отвечаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились в обломках падшего зданья права. Вы ищете мира — вы ошибаетесь, его здесь нет. Здесь война. В этой ночи без рассвета должны сталкиваться народы и племена и уничтожать друг друга зря, исполняя волю властителей, перевязавших им ум и руки.

Народы подвинутся только тогда, когда *сознают всю глубину своего паденья!*»

Старик бросил для детей несколько цветов, чтоб уменьшить ужас картины. Ему рукоплескали. Они и тут не ведали что творили. Через несколько дней отреклись от своих рукоплесканий.

Месяца два перед тем, как эти мрачные слова раздались на женевском сходе, в другом швейцарском городе другой изгнанный прежнего времени писал следующие строки *:

«Я не имею больше веры во Францию.

Если когда-нибудь она воскреснет к новой жизни и оправится от страха самой себя, это будет чудо; из такого глубокого падения не подымалась ни одна больная нация. Я не жду чудес. Забытые учреждения могут возродиться, — потухнувший дух народа не оживает. Несправедливое провидение не дало мне и того утешенья, которым оно так щедро наделяет, в замену бедности, всех изгнанников: всегдашней надежды и веры в мечты. От всего прожитого мною остались только уроки опытности, горькое разочарование и неизлечимая усталость (*épuisement*). Мне *холодно* на сердце. Я не верю больше ни в право, ни в человеческую справедливость, ни в здравый смысл. Я отошел в равнодушие, как в могилу».

Жирондист Мерсье, одной ногой уже в гробу, говорил во время падения первой империи: «Я живу еще только для того, чтоб увидеть, чем это кончится!» * «Я и этого не могу сказать, — прибавил Марк Дюфресс, — у меня нет особого любопытства узнать, чем развяжется императорская эпопея».

И старик повернулся к прошедшему и с глубокой печалью показал его исхудалым потомкам. Настоящее ему незнакомо, чуждо, противно. Из его кельи веет могилой, от его слов дрожь пробирает постороннего.

Слова одного, строки другого — все скользнуло бесследно. Слушая их, читая их, у французов не сделалось «холодно в груди». Многие открыто негодовали: «Эти люди лишают нас сил, повергают в отчаяние... где в их словах *выход*, утешенье?»

Суд не обязан утешать; он должен обличать, уличать *там*, где нет сознания и раскаяния. Его дело вызвать *совесть*. Суд — и не пророчество, у него нет мессии в запасе для утешения в будущем. Он так же, как и подсудимый, принадлежит старой религии. Суд представляет чистую и идеальную сторону ее, а масса — ее практическое, уклонившееся, истощенное приложение. Осуждающий служит поневоле практическим обвинителем идеала; защищая его, он указывает его односторонность.

Ни Эдгар Кине, ни Марк Дюфресс действительно не знают *выхода* и зовут вспять. Немудрено, что они его не видят: они к нему стоят спиной. Они принадлежат к прошедшему. Возмущенные бесчестной кончиной своего мира, они схватили клюку

и явились незваными гостями на оргию высокомерного, самодовольного народа и сказали ему: «Ты все утратил, все продал, тебя ничто не оскорбляет, кроме правды, у тебя нет ни прежнего ума, у тебя нет прежнего достоинства, у тебя нет совести, ты на дне паденья и не только не чувствуешь твоего рабства, но, туда же, имеешь притязание освободить народы и народности, украшаясь лаврами войны, — хочешь надеть на себя оливковые венки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающие, пришли тебя звать к раскаянию и, если не пойдешь, сломим жезл наш над тобою».

Они видят свое войско отступающим, бегущим от своего знамени и карой своих слов хотят его возвратить в прежний стан *и не могут*. Для того чтоб их собрать, надобно новое знамя, а его нет у них. Они, как языческие первосвященники, раздирают ризы свои, защищая падавшую святыню свою. Не они, а гонимые назареи возвещали воскресение и жизнь будущего века *.

Кине и Марк Дюфресс скорбят об осквернении храма своего, храма народного представительства. Они скорбят не только об утрате во Франции свободы, человеческого достоинства, они скорбят *о потере передового места*, они не могут примириться с тем, что империя не предупредила единства Германии, они ужасаются тому, что Франция сошла *на второй план*.

Вопрос о том, *зачем Франции*, в которую они сами не верят, *быть на первом месте*, не представлялся ни разу их уму...

Марк Дюфресс с раздраженным смирением говорит, что он не понимает *новых вопросов*, т. е. экономических; а Кине ищет того бога, который сойдет, чтоб наполнить пустоту, оставленную потерей совести... Он прошел мимо их, они его не узнали и допустили его распятие.

P. S. Как комментарий к нашему очерку идет и странная книга Ренана о «современных вопросах» *. Его тоже пугает настоящее. Он понял, что дело идет плохо. Но что за жалкая терапия! Он видит больного по горло в сифилисе и советует ему хорошо учиться, и по классическим источникам. Он видит внутреннее равнодушие ко всему, кроме материальных выгод, и сплетает на выручку из своего рационализма некую

религию — католицизм без настоящего Христа и без папы, но с плотоумерщвлением. Уму ставит он дисциплинарные перегородки, или, лучше, гигиенические.

Может, самое важное и смелое в его книге — это отзыв о революции: «Французская революция была великим опытом, но *опытом неудавшимся*».

И затем он представляет картину ниспровержения всех прежних институтов, стеснительных с одной стороны, но служивших отпором против поглощающей централизации, и на месте их — слабого, беззащитного человека перед давящим, всемогущим государством и уцелевшей церковью.

Поневоле с ужасом думаешь о союзе этого государства с церковью, который совершается наглазно, который идет до того, что церковь теснит медицину, отбирает докторские дипломы у материалистов и старается решать вопросы о разуме и откровении сенатским решением, декретировать *libre arbitre*¹, как Робеспьер декретировал *l'Être suprême*^{2*}.

Не нынче - завтра церковь захватит воспитание — тогда что?

Французы, уцелевшие от реакции, это видят, и положение их относительно иностранцев становится невыгоднее и невыгоднее. Никогда они не выносили столько, как теперь, и от кого же? В особенности от немцев. Недавно при мне был спор одного немецкого *ex-réfugié*³ с одним из замечательных литераторов. Немец был беспощаден. Прежде была какая-то тайно согласенная терпимость к англичанам, которым всегда позволяли говорить нелепости из уважения и уверенности, что они несколько поврежденные, и к французам — из любви к ним и из благодарности за революцию. Льготы эти остались только для англичан — французы очутились в положении состаревшихся и подурневших красавиц, которые долго не замечали, что средства их уменьшились, что на обаяние красотой надеяться больше нечего.

Прежде им спускалось невежество всего, находящегося за

¹ свободу воли (франц.).— *Ред.*

² верховное существо (франц.).— *Ред.*

³ бывшего изгнанника (франц.).— *Ред.*

границами Франции, употребление битых фраз, позолоченный стеклярус, слезливая сентиментальность, резкий, вершающий тон и *les grands mots*¹,— все это утратилось.

Немец, поправляя очки, трепал француза по плечу, приговаривая:

— *Mais, mon cher et très-cher ami*², эти готовые фразы, заменяющие разбор дела, вниманье, пониманье, мы знаем наизусть; вы нам их повторяли лет тридцать; они-то вам и мешают видеть ясно настоящее положение дел.

— Но как бы то ни было, все же, — говорил литератор, видимо желая заключить разговор, — однако же, мой милый философ, вы все склонили голову под прусский деспотизм; я очень понимаю, что для вас это — средство, что прусское владычество — ступень...

— Тем-то мы и отличаемся от вас, — перебил его немец, — что мы идем этим тяжелым путем, ненавидя его и покоряясь необходимости, имея цель перед глазами, а вы *пришли* в такое же положение, как в гавань спасенья; для вас это не ступень, а заключение, — к тому же большинство его любит.

— *C'est une impasse, une impasse*³, — заметил печально литератор и переменял разговор.

По несчастью, он заговорил о речи Жюль Фавра в академии *. Тут окрысился другой немец:

— Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословие может вам нравиться? Лицемерье, неправда о науке, неправда во всем; нельзя же два часа читать панегирик бледному Кузеню. И что ему было за дело защищать казенный спиритуализм? И вы думаете, что эта оппозиция спасет вас? Это риторы и софисты, да и как смешна вся эта процедура речи и ответа, обязательная похвала предшественнику — весь этот средневековый бой пустословья.

— *Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes*⁴...

Мне было жаль литератора...

¹ громкие фразы (франц.).— *Ред.*

² Но, друг мой, дорогой друг (франц.).— *Ред.*

³ Это тупик, тупик (франц.).— *Ред.*

⁴ Что вы! Вы забываете традиции, обычаи (франц.).— *Ред.*

СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ

Но за Данилами видны же и светлые точки, слабые, дальние, и в том же Париже. Мы говорим о Латинском квартале, об этой Авентинской горе, на которую отступили учащиеся и их учителя *, т. е. те из них, которые остались верны великому преданию 1789 года, энциклопедистам, Горе, социальному движению. Там хранится евангелие первой революции, читают ее апостольские деяния и послания святых отцов XVIII века; там известны *великие вопросы*, которых не знает Марк Дюфресс; там мечтают о будущей «веси человеческой» так, как монахи первых веков мечтали о «веси божией».

Из переулков этого Лапиума, из четвертых этажей невзрачных домов его постоянно идут ставленники и миссионеры на борьбу и проповедь и гибнут большею частью морально, а иногда физически, *in partibus infidelium*, т. е. по другую сторону Сены.

Объективная истина с их стороны, всяческая правда и дельность понимания с их стороны — но и только. «Рано или поздно истина всегда побеждает». А мы думаем, *очень поздно* и *очень редко*. Разум спокон века был недоступен или противен большинству. Для того чтоб *разум* мог понравиться, Анахарсис Клоц должен был одеть его в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага *. Действовать на людей можно только грезя их сны яснее, чем они сами грезят, а не доказывать им свои мысли так, как доказывают геометрические теоремы.

Латинский квартал напоминает средневековые чертозы¹ или камалдулы², отступившие на шаг от людского шума, с своей верой в братство, милосердие и, главное, в скорое пришествие царства божия. И это в самое то время, когда за их стенами рыцари и рейтеры жгли и резали, лили кровь, грабили, засекали вилланов, насиловали их дочерей... Потом наступили другие времена, также без братства и второго пришествия, и это прошло — а камалдулы и чертозы остались при своей

¹ картезианские монастыри (итал. certosa).— *Ред.*

² бенедиктинские монастыри (итал. camaldola).— *Ред.*

вере. Нравы еще смягчились, изменилась манера грабить, насиловать стали с платой, обирать — по принятым уставам; но царство божие не приходило, а все неминуемо *наступало* (так казалось в чертогах), знаменья становились все яснее, прямее; вера спасала иноков от отчаяния.

С каждым ударом, от которого разлетаются в прах последние убогие свободы, с каждым падением общества, с каждым наглым шагом назад Латинский квартал приподнимает голову, а *mezza voce*¹ у себя дома поет «Марсельезу» и, поправляя фуражку, говорит: «Этого-то и надобно было. Они дойдут до предела... чем скорее, тем лучше». Латинский квартал верит в *свой курс* и храбро чертит план свой, «весь истины», идя вразрез с «весью действительности».

А Пьер Леру верит в Иова!

А В. Гюго — в выставку братства!

VI

ПОСЛЕ НАБЕГА *

«Святой отец, теперь ваше дело!» *

«Дон Карлос».

(Филипп II великому инквизитору)

Эти слова мне так и хочется повторить Бисмарку. Груша зрела, и без его сиятельства дело не обойдется. Не церемоньтесь, граф!

Я не дивлюсь тому, что делается, и не имею права дивиться — я давно кричал свое: «Берегись, берегись!..» Я просто *прощаюсь*, и это тяжело. Тут нет ни противуречия, ни слабости. Человек может очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будет очень больно; он может, сверх того, почувствовать, что она подымется, что ее ничем не остановишь; тем не меньше ему все же будет *больно*, когда она подымется.

Мне жаль личностей, которых люблю.

Мне жаль страны, которой первое пробуждение я видел своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обесчещенную.

¹ вполголоса (итал.). — Ред.

черное, оттого вам и не очевидна невозможность войны с Италией; правительство слишком хорошо знает, что война за папу поставит против него все мыслящее, ведь все же мы — Франция 1789 года». Первая новость, которую я не прочел, а *увидел*, был флот, отправлявшийся из Тулона в Чивиту *. «Это военная прогулка», — говорил мне другой француз. «On ne viendra jamais aux mains¹, да и не нужно нам мараться в итальянской крови».

Оказалось *нужным*. Несколько юношей из «Лациума» протестовали, их посадили на съезжую, со стороны Франции тем и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италия, благодаря нерешительности короля, шулерству министерства, делала все уступки. Но рассвирепелого француз, упивающегося всякой победой, нельзя было остановить — к крови, к делу ему надобно было прибавить крепкое *слово*.

И на этом крепком слове, покрытом рукоплесканиями империи, подали руку ее злейшие враги: легитимисты, в виде старого стряпчего Бурбонов — Беррье, и орлеанисты, в виде старого Фигаро времен Людовика-Филиппа — Тьера *.

Я считаю *слово* Руэра историческим откровением *. Кто после этого не понял Франции, тот слепорожденный.

Граф Бисмарк, теперь ваше дело!

А вы, Маццини, Гарибальди, последние угодники божии, последние могикане, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь вас не нужно. Вы свое сделали. Теперь дайте место безумию, бешенству крови, которыми или Европа себя убьет, или реакция. Ну что же вы сделаете с вашими ста республиканцами и вашими волонтерами, с двумя-тремя ящиками контрабандных ружей? Теперь — миллион отсюда, миллион оттуда, с иголками и другими пружинами *. Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов... а там тиф, голод, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотели даже и такой бледной республики, как февральская, не хотели подслащенной

¹ Дело никогда не дойдет до драки (франц.).— *Ред.*

демократии, которую вам подносил кондитер Ламартин *.
Вы не хотели ни Маццини-стойка, ни Гарибальди-героя. Вы
хотели *порядка*.

Будет вам за то война, семилетняя, тридцатилетняя...

Вы боялись социальных реформ — вот вам фениане с боч-
кой пороха и зажженным фитилем *.

Кто в дураках?

Генуя, 31 декабря 1867 года.



СТАРЫЕ ПИСЬМА

(Дополнение к «Былому и думам»)

Oh, combien de marins, combien de capitaines,
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce noir horizon, se sont évanouis!
Combien ont disparu...^{1*}

V. Hugo.

Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил не зная, по рассказам, по их сочинениям — и которых больше нет.

Недавно я испытал это еще раз, читая письма *Карамзина* в «Атенеи» и *Пушкина* в «Библиографических записках»*. Дни целые они были у меня перед глазами, и не только они, но тогдашнее время, вся их обстановка, как я ее помнил, как я ее читал, воскресла с ними — вместе с 1812 г. и 1825 — император Александр, книги, костюмы.

Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают *другое* лето, его зной, его теплые ночи, и то, что оно ушло на веки веков, по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в *книге*. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим.

¹ О, сколько за этим угрюмым горизонтом исчезло моряков, капитанов, которые с радостью отправились в далекие странствия! Сколько пропало без вести... (франц.).— *Ред.*

Жаль, что не много писем уцелело у меня. Моя жизнь прибывала меня к разным берегам, к разным слоям, я с многими входил в сношения, но три полицейских нашествия: одно в Москве и два в Париже*, отучили меня от хранения всякого рода писем. Уезжая в 1852 из Италии и думая пробраться через *смирительную* империю, я сжег много дорогого мне и как бы в вознаграждение получил в Лондоне несколько пачек писем, оставленных мною в Москве.

С 1825 года *события* несущейся истории начинают зацеплять больше и больше и наконец совсем увлекают в широкий поток общих интересов. С тем вместе прозелитизм, страстная дружба, вызывает на переписку; она растет и делается какой-то движущейся, раскрытой исповедью... все закреплено, все помечено в письмах и притом наскоро, т. е. без румян и прикрас, и все остается, оседает и сохраняется, как моллюск, залитый кремнем, как бы для того, чтоб когда-нибудь свидетельствовать на страшном суде или упрекнуть своим несправедливым. *Таким ли был я расцветая?** — как будто человек виноват в том, что стареет.

Но не из этой юной и лирической эпохи жизни хочу я на первый раз передать несколько писем. Те — когда-нибудь, после. Теперь на первый случай поделюсь десятком писем от лиц, большей частью известных и любимых у нас или уважаемых.

1 марта 1859.

И-р.

ПИСЬМО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОЛЕВОГО

25 февраля 1836 г. Москва.

Зная, как всегда любил и уважал я вас, вы поверите искренности слов моих, когда я скажу, что я сердечно обрадовался, получив письмо ваше. Добрая весть эта была подарком для меня; слава богу, что вы уцелели, что вы не упали духом, что вы продолжаете занятия ваши, что можно иногда переключнуться с вами. Бодрствуйте, любезнейший Александр

Иванович! Время драгоценное лекарство на все. Будем опять вместе, будем опять философствовать, с тою же бескорыстною любовью к человечеству, с какою философствовали некогда. Наперед всего вы простите меня и не причтите мне в вину долговременное медление мое ответом на уведомление ваше. Причиною была полуожиданная, полунечаянная поездка моя в Петербург, отнявшая у меня почти месяц, а потом тьма мелких забот и нездоровье мое по возвращении; не поверите, сколько различных досад и неприятностей перенес я с тех пор, как мы не видались, моральных и физических. Москва так надоела мне, что, может быть, я решусь совершенно оставить ее; по крайней мере нынешнее лето, с июня месяца, я проживу в Петербурге. Если уж надобно, неволя велит продолжать мне мою деятельность, то надобно продолжать ее в Петербурге, который, как молодой красавец, растет и величится на счет Москвы, стареющей и дряхлеющей во всех отношениях. Но что в будущем, ведомо только богу, а пока я в Москве, прошу вас писать ко мне, когда вздумаете и что вздумаете. Мне приятно сделаться и посредником вашим с журналами и публикою, если вы захотите входить в какие-нибудь с ними сношения. Статью вашу о *Гофмане* я получил*. Мне кажется, вы судите об нем хорошо и верно, но если вы хотите дать публичность этой статье, то примите мой дружеский совет: ее надобно поисправить в слог, весьма небрежном, и необходимо прежде цензуры исключить некоторые выражения. Кроме того, что без этих поправок статья может навлечь на вас* неприятности, положим хоть *журнальные*, спрашиваю: к чему эти выражения? Дело в деле, а не в них. Если вы доверите мне, я охотно приму на себя обязанность продержат над статью вашу политическо-литературную корректуру и потом отдать ее в какой угодно журнал*. Без вашего позволения приступить ни к чему не смею, и, право, не советую без поправок посылать к другому. Верьте, что я желаю вам всякого добра, как родному, уверенный притом, что настоящее положение ваше продолжиться долго не может, если вы будете сколько возможно осторожнее во всех отношениях. Верю, что вы можете быть в состоянии оскорбленного и раздраженного человека, но кто из нас переходил путь жизни без горя и без страданий? Слава богу, если они постигают нас тяжелым опытом в юности. А как изменяются потом в глазах наших взгляды и отношения на все нас окружающее! Великий боже! я сам испытывал и испытываю все это, а мне только еще *сорок* лет. Расстояние между мнениями и понятиями двадцати- и сорокалетнего человека делит бездна. — Братец ваш* рассказывал мне, что вы принялись за географию, за статистику*, дело доброе! Жаль, что по исторической части сторона ваша совершенно бесплодна. Об ней можно сказать одно: жили, а кто жил и зачем жили, бог весть; впрочем, если бы что открылось любопытное, пожалуйста, сообщите мне. Русская история сделалась моею страстью. Я охотно готов сообщить вам исторической пыли сколько хотите. История теперь и кстати. Кажется, что вся литература наша сбивается на задние числа. Адрес мой теперь: в *Москве, под Новинским, в Кудрине, в приходе Десяти мучеников, в доме Сафонова*. Буду ждать писем ваших,

а в ожидании всегда сохраню к вам чувства совершенного почтения и преданности, с коими был и есть

ваш усердный и преланный

И. Полевой ¹.

ИЗ ПИСЕМ ВИССАРИОНА ГРИГОРЬЕВИЧА БЕЛИНСКОГО ²

I

С.-Петербург, 2 января 1846.

Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою и о том, и о сем, и о твоих статьях «Об изучении природы» *, и о твоей статейке «О пристрастии» *, и о твоей превосходной повести *, обнаружившей в тебе новый талант, который мне кажется лучше и выше всех твоих старых талантов (за исключением фельетонного — о Копернике, Ярополке Бодянском * и пр.), об истинном направлении и значении твоего таланта, и обо многом прочем. Но все не было то случая, то времени. Потом я все ждал тебя и раз опять испытал понапрасну сильное нервическое потрясение по поводу прихода г. Герца, о котором мне возвестили как о г. Герцене *. Наконец, слышу, что ты собираешься ехать не то будущю весною, не то будущю осенью. Оставляя все прочее до другого случая, пишу теперь к тебе не о тебе, а о самом себе, о собственной моей особе. Прежде всего — твою руку и, с нею, честное слово, что все написанное здесь останется, впредь до разрешения, строгою тайною между тобою и твоими друзьями.

Вот в чем дело. Я теперь решился оставить «Отечественные записки». Это желание давно уже было моею *idée fixe*; но я все надеялся выполнить его чудесным способом, благодаря моей фантазии, которая у меня услуж-

¹ Статья, о которой идет речь, была напечатана в одной из последних книжек «Телескопа» и поссорила меня с Полевым. К <етчер>, не зная вовсе, что я дал ее Полевому, напечатал ее в «Телескопе» и, считая неосторожным оставить под нею мою фамилию, поставил *Искандер*, подпись, которую я шутя употребил в одной статье, назначенной не для печати. Я был тогда в Вятке.

Полевой рассердился на меня и, не узнав дела, написал мне записочку, в которой говорил, что *серьезные* люди не дают одну и ту же статью в два журнала. Я ему отвечал на это, что *они* имеют еще и другие привычки, например, сперва узнать дело и потом браниться *. На этом переписка остановилась. В 1840 году в Петербурге он велел мне сказать через Вадима Пассека, что «стыдно сердиться». Но я вовсе не за «Гофмана» сердился тогда, это было время «Параши Сибирячки» * и пр.

² Я должен предупредить, что я счел необходимым очень многое из писем Белинского и из писем Грановского не печатать.

лива не менее фантазии г. Манилова, и надеждам на богатых земли. Теперь я увидел ясно, что это все вздор и что надо прибегнуть к средствам, более обыкновенным, более трудным, но зато и более действительным. По прежде о причинах, а потом уже о средствах... Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь. Обыкновенно я недели две в месяц работаю с страшным лихорадочным напряжением, до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но труд мне не опротивел. Я больной писал большую статью «О жизни и сочинениях Кольцова» *, и работал с наслаждением; в другое время я в три недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и бодрым духом. Стало быть, мне невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер, и без того брюзгливый и мелочно раздражительный, но труд не ex officio был бы мне отраден и полезен. Вот первая и главная причина...

К пасхе я издаю толстый огромный альманах *. Достоевский дает повесть, Тургенев повесть и поэму, Н<екрасов> юмористическую статью в стихах («Семейство», он на эти вещи собаку съел), П<анаев> повесть; вот уже пять статей есть; шестую напишу сам; надеюсь у Майкова выпросить поэму *. Теперь обращаюсь к тебе: повесть или жизнь! * Если бы, сверх этого, еще ты дал что-нибудь леговькое, журнальное, юмористическое, о жизни или российской словесности или о том и другом вместе, — хорошо бы было! Но я хочу не одного легкого, а потому прошу Грановского — нельзя ли исторической статьи — лишь бы имела общий интерес и смотрела беллетристически. На всякий случай скажи юному профессору К<авелину>, нельзя ли от него пожить чьим-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал мне (за что благодарен ему до нельзя), чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории — гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Если бы он дал мне статью *, в которой бы развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как благодарить его. Сам я хочу что-нибудь написать о современном значении поэзии *. Таким образом, были бы повести, юмористические статьи, стихотворения и статьи серьезного содержания, и альманах вышел бы на славу. Теперь у твоей повести. Ты пишешь вторую часть «Кто виноват?». Если она будет так же хороша, как первая часть, она будет превосходна; но если бы ты написал новую другую, и еще лучше, я все-таки лучше бы хотел иметь вторую часть «Кто виноват?». А<нненков> 8 января едет. В Берлине он увидится с Кудрявцевым, и, может быть, я и от этого получу повесть *. А<нненков> тоже пришлет что-нибудь вроде путевых заметок *. Я печатаю Кольцова с Ольхиным; он печатает, а барыш пополам: это еще вид в будущем, для

лета. К пасхе же я кончу первую часть моей истории русской литературы *. Лишь бы извернуться на первых-то порах, а там, я знаю, все пойдет лучше, чем было; я буду получать не меньше если еще не больше, за работу, которая будет легче и приятнее. Жму тебе руку и с нетерпением жду твоего ответа.

В. Б

II

С.-Петербург, 14 января 1846.

Несказанно благодарен я тебе, любезный Герцен, что ты не замедлил ответом *, которого я ожидал с лихорадочным нетерпением. Делай как знаешь. Но только на новую повесть твою * мне плоха надежда. Альманах должен выйти к пасхе; времени мало. Пора уже собирать и в цензуру представлять. Ценсоров у нас мало, а работы у них гибель, оттого они страшно задерживают рукописи; чтобы ты успел написать новую повесть, невероятно, даже невозможно. Притом же, бросивши продолжать и доканчивать старую *, чтобы начать новую, ты испортишь обе.

Насчет писем Б<отки>на, об Испании *, нечего и говорить; разумеется, давайте. А<нненков> уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости, так что я теперь живу вовсе без радостей...

Ах, братцы, плохо мое здоровье, — беда! Иногда, знаете, лезет в голову всякая дрянь, например, как страшно оставить жену и дочь без куска хлеба и пр. До моей болезни прошлою осенью я был богатырь в сравнении с тем, что я теперь. Не могу поворотиться на стуле, чтоб не задохнуться от истощения.

Полгода, даже четыре месяца за границею, и, может быть, я лет на пяток или более опять пошел бы как ни в чем не бывало *. Бедность не порок, а хуже порока. Бедняк — подлец, который должен сам себя презирать, как пария, не имеющего права даже на солнечный свет. Журнальная работа и петербургский климат доконали меня.

III

С.-Петербург, 6 февраля 1846.

Рад я несказанно, что нет причины опасаться не получить от тебя ничего для альманаха, так как «Сорока-воровка» кончена и придет ко мне вовремя. А все-таки грустно и больно, что «Кто виноват?» ушло у меня из рук. Такие повести (если 2 и 3 часть не уступают первой) являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальною статьею, разделяя восторг публики с повестью Достоевского «Сбритые бакенбарды», а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во сне, не только наяву. Словно бес какой дразнит меня этою повестью, и, расставшись с нею, я все не перестаю строить на ее счет предположительные планы, например, перепечатал бы я и первую часть вместе с двумя остальными и этим начал бы альманах... Тогда

фурорный успех альманаха был бы вернее того, что а—вор, б—дурак, а в—плут *...

Что статья К<авелина> будет хороша — в этом я уверен как нельзя больше. Ее идея (а отчасти и манера К<авелина> развивать эту ид(ею) мне известна, а этого довольно, чтобы смотреть на эту статью как на что-то весьма необыкновенное.

Впрочем, не подумай, чтобы я не дорожил твоею «Сорокой-воровкой»; уверен, что это грациозно-остроумная и, по твоему обыкновению, дьявольски умная вещь; но после «Кто виноват?» во всякой твоей повести не такой пробы ты всегда будешь без вины виноват. Если бы я не ценил в тебе человека так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира» *, сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: «Он прав, давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и сильный каламбур.

Ты пишешь: «Грановский мог бы прислать из лекций» *; если мог бы, то почем же не пришлет? Зачем тут бы? Статье С<оловье>ва * я рад не сказать и прошу тебя поблагодарить его от меня за нее.

IV

С.-Петербург, 19 февраля 1846.

Ты пишешь, что не знаешь, радоваться или нет, что я оставил журнал. Отвечаю утвердительно: радоваться; дело идет не только о здоровье, о жизни, но и уме моем. Ведь я тулею со дня на день. Памяти нет, в голове хаос от русских книг, а в руке всегда готовые общие места и казенная манера писать обо всем. «В дороге», Н<екрасов>а, превосходно *; он написал и еще несколько таких же, и напишет их еще больше; но он говорит — это оттого, что он не работает в журнале. Я понимаю это. Отдых и свобода не научат меня стихи писать, но дадут мне возможность так хорошо писать, как мне дано. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без «Отечественных записок», может быть, еще лучше, это, кажется, ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при прочих занятиях никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много.

Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одно боюсь: всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды. Мысль записок медика * прекрасна, и я уверен, что ты мастерски воспользуешься ею. «Даниил Галицкий» — дельный и занимательный монограф. О статье К<авелина> нечего и говорить, это чудо. Итак, вы, ленивые и бездеятельные москвичи, оказались исправнее наших петербургских скорописцев. Спасибо вам!

А что мой альманах должен быть слоном или левиафаном, это так. Пьеса, как «В дороге», нисколько не виновата в успехе альманаха. «Бедные люди» — другое дело, и то потому, что о них заранее прошли слухи. Сперва покупают книгу, а потом читают; люди, поступающие наоборот, у нас редки, да и те покупают не альманахи. Поверь мне, между покупателями «Петербургского сборника» много есть людей, которым только и понравится, что статья «О парижских увеселениях»*. Мне рисковать нельзя, мне нужен успех верный и быстрый; нужно, что называется, сорвать банк. Один альманах разошелся, глядь, за ним явится другой, покупатели уж смотрят на него недоверчиво. Им давай нового, повторений не любят, у меня те же имена, кроме твоего и М(ихайла) С(еменича)*. Когда альманах порядком разойдется, тогда статья К(авелина) поможет его окончательному ходу, а сперва она только испугает всех своим названием, скажут: «Ученость, сушь, скука!» Итак, мне остается рассчитывать на множество повестей да на толщину баснословную. И верь мне: я не ошибусь — вы, москвичи, народ немножко идеальный, вы способны написать или собрать хорошую книгу, но продать ее не ваше дело: тут вам остается только снять шляпу да низко нам поклониться.

Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже в объявлении для столиц: это вторая часть «Мертвых душ». Но ведь такая книга только одна и была на Руси.

Бедного Я(зыка) постигло страшное несчастье — у него умер Саша, чудесный мальчик. Бедная мать чуть не сошла с ума, молоко готовилось броситься ей в голову, она уже заговаривалась. Страшно подумать, смерть двухлетнего ребенка! Моей дочери только восемь месяцев, а я уж думаю: «Если тебе суждено умереть, зачем ты не умерла полгода назад!» Чего стоит матери родить ребенка, чего стоит поставить его на ноги, чего стоит ребенку пройти через прорезывание зубов, крупы, кори, скарлатины, коклюши, поносы, запоры, — смерть так и бьется за него с жизнью, а если жизнь побеждает, то для того, чтобы ребенок сделался со временем чиновником или офицером, барышней и барыней. Было из чего хлопотать! Смешно и страшно! Жизнь исполнена ужасного юмора. Бедный Я(зык)в!

Коли мне не ехать за границу, так и не ехать. У меня давно уже нет жгучих желаний, и потому мне легко отказываться от всего, что не удается. С М. С. в Крым и Одессу очень бы хотелось; но семейство в Петербурге оставить на лето не хочется, а переехать ему в Гапсаль — двойные расходы.

Впрочем, посмотрю. Твоему приезду в апреле рад донельзя.

V

С.-Петербург, 20 марта 1846.

Получил я конец статьи К(авелина), «Записки доктора Крупова», стрывок М. С. и, наконец, статью М(ельгунова)* — и все то благо, все добро*. Статья К(авелина) — эпоха в истории русской истории, с нее

начнется философическое изучение нашей истории. Я был в восторге от его взгляда на Грозного. Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было знания для оправдания моего взгляда *.

«Записки доктора Крупова» — превосходная вещь, больше пока ничего не скажу. При свидании мне много будет говорить с тобою о твоём таланте; твой талант — вещь не шуточная, и если ты будешь писать меньше тома в год, то будешь стоить быть повешенным за ленивые пальцы. Отрывок М. С. — прелесть. Читая его, я будто слушал автора, столько же милого, сколько и талантливого*. Статья М<ельгуно>ва мне очень понравилась, я очень благодарен ему за нее. Особенно мне нравится первая половина и тот старый румянцовский генерал, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называет мальчишками. Вообще, в этой статье много мемуарного интереса; читая ее, переносишься в доброе старое время и впадешь в какое-то тихое раздумье. Ты что-то писал мне о статье Рулье *, недурно бы; не мешало бы и Грановского что-нибудь. Чисто литературных статей у меня теперь по горло, ешь не хочу, и потому ученых еще две было бы очень не худо. Имя моему альманаху — «Левифан». Выйдет он осенью, но в цензуру пойдет на днях и немедленно будет печататься.

Насчет путешествия с М. С., кажется, что поеду. Мне обещают денег, и как получу, сейчас же пишу, что еду. Семейство отправляю в Гапсаль, это и дача в порядочном климате, и курс лечения для жены, что будет ей очень полезно. Тарантас, стоящий на дворе М. С., видится мне и днем и ночью, это не соллогубовскому тарантасу чета. Святители! Сделать верст тысячи четыре, на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии — да это для меня лучше Магометова рая, и гурий не надо, черт с ними!

Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать М. С., я так и буду готовиться. Альманах при мне напечатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу¹.

Здравствуй, Николай Платонович, наконец-то твое возвращение уже не миф *. Я был на тебя сердит и больно бранил, а за что, спроси у Герцена. А теперь я хотел бы поскорей увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редереру — что это за вино, братец ты мой! С<атину> и всем вам жму руку.

VI

С.-Петербург, 6 апреля 1846

Вчера написал было я к тебе письмо, сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго

¹ Альманах этот никогда не выходил. Белинский вместо его поставил на ноги «Современник».

«ждал *». Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой во сне даже брежу) черт положит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки? Я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнью. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это с таким спутником, как М. С., да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. Мой доктор (очень хороший доктор, хотя и не Крупов) сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, М. С. едет решительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться; но во всяком случае я на днях беру место в мальпост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли М. С. и когда именно. Вот почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так, что куда девалась лень, и я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то что Т<учков>едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 р. с. тоже не последнее обстоятельство в письме твоём, меня обрадовавшее. Только этих денег мне не высылай, а отдай мне их в Москве, оно проще и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет; может быть, станет их на месяц и по приезде в Питер, а там что будет, то и будет, *vogue la galère!* Нашему брату *подлецу*, т. е. нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего, а притом, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти.

Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?»*. Я из нее окончательно убедился, что ты большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт, не только в «Генриаде», но и в «Кандиде» — однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие не великие уже пережил и еще больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию — и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди — ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у природы по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот — талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который все родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом, — нет, твой талант — черт его знает — такой же бастард или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думал об этом вопросе) и мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу: «Эврика! Эврика!» Есть умы чисто спекулятивные,

для которых мышление почти то же, что чистая математика, и вот когда такие принимаются за поэзию, у них выходят аллегии, и тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума с бездарностью родит камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Хроносу *. Но у тебя, при уме живом и осердеченном, есть своего рода талант; в чем он состоит, не умею сказать, но дело в том, что я глупее тебя на много раз, а искусства (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе; фантазия у меня преобладает над умом, и, кажись, по всему этому, такому *своего рода* таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя (уже по одному тому, что тебе читать Канпа, Гегелеву феноменологию и логику — нипочем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей), а ведь у меня такого *своего рода* таланта ни больше ни меньше, как на столько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лег в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как *Нос* в Гоголевой повести, ты можешь сказать: «Я сам по себе!» Дельные идеи и талантливое, живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностью автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя все оригинально, все свое — даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинство. Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши, как можно более и не для себя, а для дела; у тебя такой талант, закрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие.

Кончаю письмо известием, что мы с Н<екрасовым> взяли билет в мальпост на 26 апреля.

В. Б.

VII

Одесса, 4 июля 1846.

Вчера получил письмо твое *, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо. Насчет первого пункта * вполне полагаюсь на тебя; не забывай только одного — распорядиться в том случае, если мы разведемся.

Мои путевые впечатления * собственно будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои «Письма об изучении природы» — вовсе не об изучении природы. Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкой статьи или, лучше сказать, придири-

кою к ней. Они будут состоять больше в толках о скверной погоде и еще сквернейших дорогах.

А буду писать я вот о чем: 1. О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими и мною, но предмет будет рассмотрен à fond¹. М. С. играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе и, может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и черт знает где еще. Я видел много, ходя и на репетиции и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, М. С. прусердно снабжает меня комментариями и фактами, что все будет ново и сильно.

2. В Харькове я прочел «Московский сборник». Статья С(амарина) * умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отирается от неблагопристойного принципа кротости и смирения и зацепляет меня в лице «Отечественных записок» *. Как умно и зло казнил он аристократические замашки С(оллогу)ба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Х(омяков)... я ж ему дам зацеплять меня — узнает он мои крючки! *

3. Я не читал еще ругательства Сенковского *; но рад ему как новому материалу для моей статьи.

Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячине, одобренною полемическим задором.

В Калуге столкнулся я с И. А(ксаковым) *. Славный юноша! Славянофил — а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!

Здоровье мое лучше. Я как-то свежее и заметно крепче, но кашель все еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30 опять посвежело; впрочем, все тепло, так что ночью потеешь в летнем пальто. Начал было я читать Данта, т. е. купаться в море², да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал кровью; доктор велел на время прекратить купанья.

Вот что скверно. Последние два письма от жены получил я в Харькове, от 22 и 27 мая, в обоих она жалуется на огорчения и на лихорадку; а с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с нею делается, — тоска! Без этого мне было бы весело — far niente³.

С(около)в славный малый, но впал в провинциальное прекраснородушие. Оттого, что ты в письме ко мне не упомянул о нем,

¹ досконально (франц.).— *Ред.*

² Стих Шевырева: «Что в море купаться — что Данта читать».

³ ничегонеделание (итал.).— *Ред.*

чуть не расплакался. О провинция, ужасная вещь! Одесса лучше всех губернских городов, это решительно третья столица России, очаровательный город, но *для проходящих* *. Остаться жить в ней гибель.

Наталье Александровне мой поклон. А что ж ты не пишешь, где теперь пьет О<гарев> и селадонствует С<атин>? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты К<орша>? Поклонись от меня его семейству и не сказывай М<арье> Ф<едоровне>..., что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства: она, пожалуй, сочтет меня за *преступного** *семьянина*, а такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты К<орша>. Прощай. Если не поленишься, напиши что-нибудь.

В. Б.

VIII

Симферополь, 6 сентября 1846.

Здравствуй, любезный Герцен, пишу к тебе из тридевятого царства, тридесятого государства, чтобы знал ты, что мы еще существуем на белом свете, хотя он и кажется нам куда как черным. Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительными славянофилами. Но увы! в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большею частью носят на голове длинные волосы, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотческих обычаев времен Кошихина — своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуше чумы и бесконечно уважают старшего в роде, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом — принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснее того, что блеет Ш. * и вся почтенная славянофильская братия.

Несмотря на то, Симферополь по своему местоположению, очень миленький городок; он не в горах, но от него начинаются горы и из него видна вершина Чатыр-Дага. После степей Новороссии, обожженных солнцем и пыльных и голых, я бы видел себя теперь как бы в новом мире, если б не страшный припадок геморроя, который теперь проходит, а мучить начал меня с 24 числа прошлого месяца.

Настоящая цель этого письма — напомнить вам о «Букиньоне», или «Букильоне», — пьесе, которую С<атин> видел в Париже и о которой он говорил М. С. как о такой пьесе, в которой для него есть хорошая

роль. А он давно уж подумывает о своем бенефисе и хотел бы узнать вовремя, до какой степени может он надеяться на ваше содействие в этом случае.

Нет! Я не путешественник, особенно по степям. Напишешь домой письмо — и получаешь ответ на него через полтора месяца: слуга покорный пускаться вперед в такие Австралии!

Когда ты будешь читать это письмо, я уже, вероятно, буду на пути в Москву. По сие время еще не пришли в Симферополь «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» за август. Прощай, кланяюсь всем нашим и остаюсь жаждущий увидиться с ними поскорее.

В. В.

Р. С. Не знаю, привезу ли с собою здоровье; но уж бороду непременно привезу — вышла, братец, бородка весьма недурная.

ИЗ ПИСЕМ ТИМОФЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРАНОВСКОГО

I

Москва, 1847 *.

«Опять романтизм», — скажешь ты, может быть, прочитав это письмо. Пусть будет по-твоему, Герцен. Я остаюсь неизлечимым романтиком. Сегодня у меня потребность говорить с тобой. Ночь так хороша; Лиза до двух часов мне играла Моцарта, душа настроена тепло, как давно не было. И потом твой «Крупов»!

Я его слышал от тебя прежде, но он мало произвел на меня впечатления, не знаю почему. В «Современнике» он напечатан с большими выпусками, а я не могу его начитать. Знаешь ли, что это просто гениальная вещь? Давно я не испытывал такого наслаждения, какое он мне дал. Так шутил Вольтер, во время оно, и сколько теплоты и поэзии; мне от него повеяло тобою, днями, проведенными в Покровском и в деревянном доме¹; Крупов снял у меня с души что-то ее сжимавшее, от чего ей было неловко с тобою. Мне кажется, что я опять слышу твой смех, что я опять вижу тебя во всей красоте и молодости твоей природы. Зачем же было надевать на себя какую-то *буржуазную* маску, которую ты так гонишь во Франции?² Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они

¹ Грановский говорит о доме, в котором мы жили до кончины моего отца.

² Я этого упрека никогда не мог понять и относил его к дамским разговорам перед нашим отъездом, об них я упомянул вскользь, см. «Былое и думы» в «Полярной звезде» на 1858 *.

производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная aggrège-repsée, которая поминутно пробивается наружу. То же чувствовал, кажется, и К<орш>, хотя мы не говорили с ним об этом. Твои прежние насмешки над близкими тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письме к Т<атьяне> А<лексеевне>* и т. д., это было нехорошо. Последние дни твои в многом могли доказать тебе, что соколовские споры не оставили следов и сколько любви и преданности оставил ты за собою. К<орш> умеет шутить и острить, когда его дети больны, но он плакал, провожая тебя. Неужели ты не оцепил этих недешевых слез? К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.? * Мы не писали к тебе, но разве твои письма из Парижа вызывали к ответу? Что мне за охота спорить с тобою о настоящем значении bourgeoisie, я говорю об этом довольно с кафедры. Я человек до крайности личный, т. е. дорожу своими личными отношениями, а эти отношения к тебе были нележки в последнее время. Дай же руку, carissime!¹ Да здравствуют записки д-ра Крупова, они были для меня и художественным произведением, и письмом от тебя. Из них я опять услышал твой голос, увидел твое лицо.

Жду с нетерпением писем из Avenue Marigny* и от тебя также.

Наталье Александровне пожми от меня крепко обе руки. Когда же увижу вас, друзья мои? Покаместь будьте счастливы, прощайте! А Крупов дивно хорош! М<арье> Ф<едоровне> рукожатие.

II

Москва, 1849*.

Х. * берется доставить вам эти письма, друзья мои, следовательно, можно сказать несколько слов, не опасаясь почтовой цензуры. Положение наше становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университет предполагалось закрыть. Теперь ограничались пока следующими уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату с студентов и уменьшили их число законом, вследствие которого ни в одном русском университете не может быть более 300 своекоштных студентов. Приемы студентов в университет года на два остановлены. У нас, вероятно, до 1852 года, потому что в Московском университете 1400 студентов, надобно, следовательно, выпустить 1200, чтобы иметь право принять сотню новых. Даже

¹ дорогой мой (итал.).— Ред.

невежды вопиют против этой меры, лишаящей их детей, в продолжение нескольких лет, университетских аттестатов. Дворянский институт закрыт; учебным заведениям грозит та же участь, например, Лицею и Школе правоведения. Не устоят и университеты. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставлен образцом подчинения, дисциплины. Учитель истории должен разоблачить мишурные добродетели древнего мира и показать величие *не понятой историками империи* римской, которой недоставало одного только — *наследственности*. Даже учителю танцевания поручена нравственная пропаганда. А между тем в Петербурге открыты три тайные общества разом, и в них много офицеров, вышедших из кадетских корпусов. О литературе и говорить нечего.

Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда ж развалится этот мир! Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершение судьбы. Кое-что еще можно делать благородному человеку, пусть выгоняют сами...

Ты не понял, что я писал о деньгах, дело идет не лично о ком-нибудь, а о всех нас и о возможности еще действовать. Все мы держимся на волоске, каждому предстоит или отставка, или поездка в Вятку и, может, далее. Журналы едва существуют. Надобно дать публике книги, хорошие книги; они легче проходят через цензуру, у нас читают много, более делать нечего — а читать что? На все эти *éventualités*¹ нужен капитал, к которому мы могли бы прибегать и который был бы всегда готов, это дело общее и личное наше... Потеря этого капитала невозможна, ибо он гарантирован всеми нами и способом употребления. Пока будет лежать в банковых билетах, если случится что важное с кем-нибудь, ему будет тотчас выдано что-нибудь и будут средства для литературных изданий. Сверх того, Фролов и я затеяли всеобщую историю.

Голохвастов подал в отставку от страха, видя что делается, на его место никто не идет. Что будет, не знаем. Строгонов в совершенной немилости. Все это для них либералы, даже Голохвастов. Первые казни, верно, будут в Петербурге. Вопрос об эманципации оставлен; приняты меры против фабричных работников, за ними строгий надзор. Слышен глухой, общий ропот, но где силы для оппозиции? Тяжело, Герцен, а выхода нет живому!

Т. Г.

¹ возможные случаи (франц.). — *Ред.*

III

Село Ильинское, в 20 верстах от Москвы, 1849*.

Вчера привезли нам известие о смерти И. П. Галахова. Еще одним благородным человеком стало менее. На днях распустили в Москве слух о твоей смерти. Когда мне сказали об этом, я готов был хохотать от всей души. Этого не доставало еще, а впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального. Пока хорошо, что ты жив. Есть о ком с любовью подумать. Поводом к слухам о твоей смерти было твоё письмо к Е<гору> И<вановичу> *, где ты говоришь о припадке холеры с И. Т. *, вас смешали. Галахов писал тебе много перед смертью *, нельзя ли как-нибудь доставить интереснейшие письма Фролову? Он просит тебя об этом.

Жму вам обоим руку, обнимаю детей ваших. Учить их истории более не хочу, не стоит. Довольно им знать, что это глупая, ни к чему не ведущая вещь. Лето хороше, на зиму я набрал много работы. Менее буду думать, grübeln¹, телом я очень здоров, но душа едва ли когда выздоровеет. Еще раз жму ваши руки.

Ваш Грановский.

IV

Весною 1851*.

Пользуюсь наскоро, чтоб сказать вам несколько слов, друзья мои. Какой-то добрый немец берет письмо мое для доставления вам. Он едет через несколько часов.

Кроме отрывочных сведений, сообщаемых М<ельгуновым>, мы ровно ничего не знаем об вас, возвратились ли вы из Испании? и где намерены жить этот год?..

... Если бы здешние друзья твои могли отправиться en pèlerinage² к тебе, они пошли бы и привели бы с собою много лиц, тебе неизвестных. О тебе осталось исполненное любви воспоминание не у одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои (кроме одного, парижского) разным юношам. Есть негодяи, бранящие тебя, но они бедны умом и подлы сердцем.

Книги твои дошли до нас *. Я читал их с радостью и с горьким чувством. Какой огромный талант у тебя и какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нас и говорить чужим языком; но, с другой стороны, я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека. Оно, пожалуй, оправдает Гайнау и tutti quanti³. Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого

¹ углубляться в размышления (нем.). — *Ред.*

² на поклонение (франц.). — *Ред.*

³ всех прочих (итал.). — *Ред.*

скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей. Всякому правительству можно стать на твою точку зрения и наказывать революционеров за бесплодные и ни к чему не ведущие волнения. Все, что ты писал до сих пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталость, отрешено от живого движения событий. Ты стоишь одинок. Ты, скажу без увлечения, значительный писатель, у тебя есть условия сделаться великим писателем, но то, что было в России живого и симпатичного для всех в твоём таланте, как будто исчезло на чужой почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею. — Скоро едут мои знакомые за границу, они привезут тебе *большое* письмо¹, там расскажу подробнее обо всех нас и скажу, может быть, еще что-нибудь о книгах твоих.

Мне открывалась возможность ехать на Лондонскую выставку, но она мелькнула только.

Наши все вам кланяются. Лиза была крепко больна, жму вам обоим крепко руку, ваш

Т. Г.

V

1854 года *.

Годы прошли с тех пор, как мы слышали в последний раз живое слово от тебя. Отвечать не было возможности. Над всеми здешними друзьями твоими висела туча, которая едва рассеялась. Но утешительного мало и впереди, хотя живется как-то легче.

Из сочинений твоих некоторые дошли и к нам с большим трудом и в большой тайне. Друзья твои прочли их с жадностью, любовью и грустью. От них веет нашею прошлой, общей молодостью и нашими несбывшимися надеждами. Многого хотели — а на чем помирила нас судьба? Менее всего понравился здесь «Юрьев день». Зачем ты бросил камень в Петра *, вовсе не заслужившего твоих обвинений, потому что ты привел неверные факты. Чем более живем мы, тем колоссальнее растет перед нами образ Петра. Тебе, оторванному от России, отвыкшему от нее, он не может быть так близок и так понятен; глядя на пороки Запада, ты клонишься к славянам и готов им подать руку *. Пожил бы ты здесь, и ты сказал бы другое. Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранять какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет.

Еще одно замечание по поводу твоих сочинений. Если ты хочешь действовать на мнение у нас, не печатай таких вещей, как песня

¹ В конце 1851 г. Грановский написал мне длинное письмо; письмо это, отданное в Париже моей матери, погибло вместе с нею 16 ноября.

Соколовского¹. Она оскорбила многих, которые иначе остались бы довольны книгой и согласились бы с нею. Вообще имей больше в виду твоих читателей и берегись неверных фактов, которые у тебя часто проскакивают.

Но довольно общего, перейдем к частному. У нас опять проснулась надежда когда-нибудь видеться с тобою и пожать тебе крепко, братски руку. Может, через год. Сколько перемен, сколько горя, сколько утрат со дня нашей разлуки...

...Что сказать тебе? Память о тебе свежо сохранилась в кружке твоих друзей. Когда случай сводит нас вместе, рассеянных теперь, твое имя чаще всех других раздается между нами. Где-то увидим тебя?.. Только не здесь!

Твой Г.

ПИСЬМО ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ЧААДАЕВА

Москва, 26 июля 1854.

Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что события мира разлучили нас с вами, может быть, навсегда. Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, так чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне кажется, лучше было усвоить вам себе язык французский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при чтении хороших образцов ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются. Тяжело однако ж будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались. Как бы то ни было, я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот, а это главное дело. Стыдно бы было, чтоб в наше время русский человек стоял ниже Кошихина.

Благодарю вас за известные строки. Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете не общие места — а общие мысли. Этому человеку, кажется, суждено было быть примером не угнетения, против которого восстанут люди, — а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнее первого. *N'allez pas prendre cela pour un lieu commun*². Может быть, дурно выразился.

Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас, так же как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите.

¹ «Тюрьма и ссылка»*.

² Не примите это за общее место (франц.).— *Ред.*

I

S-te Pélagie*,² 27 ноября 1851.

Весть о несчастье, вас поразившем, дошла до нас ³, она глубоко огорчила нас. Все наши друзья поручили мне от их имени передать вам слово их искреннего участия, живой симпатии, неизменной любви к вам.

Итак, видно, еще мало, что мы страдаем внутри нашего разума, в качестве мыслящих людей, страдаем в нашей совести — человека, гражданина... надо еще, чтоб несчастье за несчастьем гналось за нами по пятам и преследовало бы нас в нашей любви сына, отца... Бедствия, так же как, с другой стороны, счастливые случаи, идут, пепляясь друг за друга, и когда вглядываешься поближе, то связь становится заметна, начинаешь разглядывать, что тот же самый гнет, который ведет нас в тюрьму, в ссылку, с другой стороны, морит голодом, болезнями.

Двадцать лет тому назад мой брат, молодой солдат, лишил себя жизни; капитан — вор, которому он не хотел помогать, довел его мелкими преследованиями до самоубийства. Отец и мать мои умерли преждевременно, одряхлевшие, изнуренные жизнью, исполненной горечи, побитые сборщиками податей, судейскими прижимками, всем, что называется властью.

В чем разница между крестьянином, у которого сын взят в солдаты, хозяйство разорено налогами и пр., который ломится под тяжестью безвыходного положения, — и вами, обреченным на скитанье из страны в страну, на все случайности переездов и у которого часть семьи гибнет в волнах?

Я родился в семье земледельцев и очень знаю, сколько членов семьи нашей с отцовской и с материнской стороны были разорены, доведены до отчаяния, убиты всеми этими старыми и новыми рабствами в продолжение века. И будьте уверены, что эти наболевшие, глухие воспоминания очень взошли в счет, когда я предпринял мою борьбу. Несчастье, поразившее вас, разбередило мои раны больше, чем когда-нибудь, и как ни печально и ни суетно такое утешение, но и этот новый зуб (grief ³) не забудется в репертуаре выстраданных мною вещей.

¹ Из двух первых писем Прудона, одного, писанного 23 августа 1849, и другого из Консержри от 15 сентября 1849, выписана вся общая часть в тексте «Былое и думы» *.

² Весть о гибели парохода 16 ноября 1851.

³ урон (франц.).— *Ред.*

Станемте теснее, чтоб лучше переносить наши невзгоды и бороться против наших врагов; чтоб увеличить, усилить нами, нашими словами — возмущающееся поколение, для которого мы ничего не можем сделать любовью и семейной жизнью.

Я сам отец, и скоро буду им во второй раз. Жена моя кормила ребенка своим молоком, растила его на моих глазах. Я знаю, что такое то непрерывное чувство отцовской любви, которое ежеминутно растет, каким-то непрерывным, повторяющимся изливанием сердца. Я через два года чувствую, как неразрывно тверды стали цепи, которые приковывают нас к этим маленьким существам, которые словно сжимают в себе начало и конец нашей жизни, ее причину, ее цель. Из этого вы поймете, как отозвалось во мне ваше несчастье.

Не успел я оплакать нашего Бакунина¹, вдруг весть о гибели этого парохода. Ничего не подозревая, я на днях писал к Ш. Е. *, и писал об вас, шутя, с моей вечной иронией. Сегодня скорбь удручает меня; о, сколько слез, крови, в которых я имею право спросить отчета у гнетущей силы... так много, что я отчаиваюсь при жизни свести счеты, и только повторяю с псалмопевцем: *Beatus qui retribuit tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis!*².

Да, Герцен, Бакунин, я вас люблю, вы тут, в этой груди, которую многие считают каменной. У русских, у казаков (простите выражение) (!?) — я нашел больше души, решимости, энергии. А мы выродившиеся *крикуны* (*tarageurs*), унижающиеся перед силой сегодня и завтра безжалостные гонители, если завладеем местом.

А между тем все распадается, оседает, все дрожит и готовится к борьбе, волны поднялись высоко, того и смотри затопят последние убежища реакции. По деревням, на полях являются страшные места, невидимый враг поджигает житницы, валит деревья в лесу, уничтожает дичь, грозит и исполняет иной раз угрозы под штыками солдат и саблями конницы.

О, друзья мои! торопитесь оплакать ваши частные горести, идет время, и если его не устранит последнее условие примиряющего разума, если оно не сведет покоя на землю, оно придет, и вы увидите вещи, от которых сердце ваше окаменеет и вы сделаетесь нечувствительными к собственным бедствиям своим! * Жму вашу руку.

П. Ж. Прудон.

Р. С. В ту минуту, как я хотел запечатать мое письмо, пришел меня навестить Мишле. Он знал уж о вашем несчастье, и мы вместе погоревали еще. Говорили мы много с ним о России, о Польше, об иезуитах, об рево-

¹ Слух о смерти М. Бакунина в шлюссельбургских казематах был тогда распространен во всей Европе.

² Блажен, кто так же воздает тебе по заслугам, как и ты воздаешь нам! (лат.).— *Ред.*

люции и об вашей брошюре¹. Все люди с сердцем понимают друг друга от одного конца Европы до другого... но бегите *особенных кружков* (concellibules) и *ложных пророков*...

II

Rue d'Enfer, 83, Париж, 23 июля 1855.

Письмо ваше от 14 * было мне передано только 18 и имснно в такую минуту, когда я был завален работой и делами. Отвечать прежде мне было невозможно.

Пользуюсь небольшим досугом, чтоб сердечно поблагодарить вас, что вы не забыли меня, предпринимая ваше «Русское обозрение» *. Наше воззрение, я думаю, сходно; мы связаны круговой порукой, у нас общие надежды и те же упования. С края на край Европы та же мысль, как молния, освещает все свободные сердца. Не говоря друг с другом, не переписьваясь, хотим мы того или не хотим, — мы *сотрудники* друг друга. Я не могу теперь написать вам статьи, но чего нельзя сегодня, то можно завтра, и во всяком случае, живой или мертвый, я хочу быть одним из титулярных (honoraïres) редакторов «Русской звезды» ² *.

Наше положение ужасно трудно! Вы пока еще заняты правительствами, а я, напротив, смотрю на управляемых. Не следует ли прежде, чем нападать на деспотизм притеснителей, напасть на деспотизм освободителей? Видали ли вы что-нибудь ближе подходящее к тирании, чем народные трибуны, и не казалась ли вам иной раз нетерпимость мучеников так же отвратительной, как бешенство их гонителей? Деспотизм оттого так трудно сокрушить, что он опирается на внутреннее чувство своих антагонистов, я должен бы сказать — своих соперников, так что писатель, действительно любящий свободу, истинный друг революции, часто не знает, в которую сторону ему направлять свои удары, в скопище ли утеснителей или в недобрóсовестность утесненных.

Верите ли вы, например, что русское самодержавие произведено одной грубой силой и династическими происками?.. Смотрите, нет ли у него сокровенных оснований, тайных корней в самом сердце русского народа? * Я спрашиваю вас — как одного из самых откровенных людей, которых я знал, — неужели вы не приходили в негодование, в отчаяние от притворства, от макиавеллизма тех, которых так или иначе европейская демократия признает или *выносит* своими главами? Не надо распаться перед неприятелем — скажете вы; но, любезный Герцен, что страшнее для свободы — распадение или измена?

То, что я вижу на Западе, дает мне право предположить о том, что будет на Востоке, которого я не знаю; люди всё те же под всеми мери-

¹ «La Russie et le socialisme», lettre à J. Michelet.

² Отрывок из этого письма был напечатан в I кн. «Полярной звезды» *.

дианами. Я четыре года смотрю, как вслед за гибельным примером какое-то бешенство деспотизма охватило все души; как презрение масс, вчера объявляемых самодержавными, почти боготворимых, сделалось общим мнением; как люди, у которых свобода была девизом, ругаются теперь над ней; как социальная революция была осмеяна, посвящена смерти — лицемерами, которые со дня ее рождения поклонялись ей. Знаете ли вы, наконец, на ком хотят эти побежденные вчерашнего дня выместить горе своей неудачи? — На тирании, на привилегиях, на суеверии? Нет, на народе (*la plèbe*), на философии, на революции...

*Speramini, popule meus!*¹ Какое же общение возможно с ними? Сделаемте союз, как Бертран дю Гесклин и Оливье де Клиссон, *за свободу quand même*², против всех живых и мертвых. Будем поддерживать дело освобождения, откуда бы оно ни шло и каким бы образом оно ни являлось, и будем без пощады сражаться против предрассудков, хотя бы мы их и встречали у наших единомышленников и братьев. Если газеты говорят правду, то Александр II собирается возвратить Польше долю ее прав³, как будто исполняя программу вашу, любезный Герцен, и это в то время, как Запад воюет против него и против революции за Турцию. Кому же дать пальму? Английской ли аристократии, которая с высоты свободной трибуны всенародно отзывается с презрением о Венгрии и Польше, или царю, начинающему восстановление Польши? Римскому ли понтифу*, проклинаящему восстание Польши, или еретическому царю, зовущему ее на жизнь?

Снова будто с Востока занимается свобода, с Востока варварского, из этой родины рабов, кочующих дикарей отсвечивает на нас нравственная жизнь его, убитая на Западе эгоизмом мешан и нелепостью якобинцев: отсвечивает на нас в то время, как грубый материализм нас пожирает больше чумы и картечи; наше несчастное войско и народ русский увлекаются в бой благородными чувствами народности, религии, ненавистию к варварству и, может, надеждой на свободу, обещанную царем.

История полна этих противуречий.

Принесут ли наши солдаты, храбрые в опасности, герои перед смертью, — принесут ли они с собой заразу благородных чувств и широких помыслов? Не знаю. От Запада они отрезаны механизмом дисциплины; казарменный дух, жалкая страсть отличий их очень забили — может, они придут так, как пошли солдатами паны и императора, Рима и 2 декабря.

Но чего не сделает «пушечное мясо», то сумеет сделать перо писателя. С берегов Черной, Днепра, Вислы — мысль о свободе придет присылать старую революционную весть. Она вызовет воспоминания 14 июля,

¹ Надейся, народ мой! (лат.).— *Ред.*

² вопреки всему (франц.).— *Ред.*

³ Тогдашние слухи!

10 августа, 31 мая, 1830, 1848* . Тогда мир узнает, может ли Франция, победоносная в Крыму (это предположение я поневоле должен сделать для моих суетных соотечественников), еще держать скинстр образования и прогресса...

Прощайте, любезный друг. Сохраните себя неприкосновенным и чистым в наших передрыгах, это мое единственное желание вам, пусть оно будет залогом вашего успеха.

П. Ж. Прудон.

ПИСЬМО ТОМАСА КАРЛЕЙЛЯ

5, Чайна Род, Чельси, 13 апреля 1855.

Dear Sir¹,

Я прочел вашу речь² о революционных началах и элементах в России; много в ней мощного духа и сильного таланта, она особенно поражает трагической серьезностью тона, которого нельзя не видеть и нельзя легко принять читателю, какого бы мнения он ни был о вашей программе и о вашем пророчестве России и миру.

Что касается до меня, я признаюсь, что никогда не считал, а теперь (если это возможно) еще меньше, чем прежде, надеюсь на всеобщую подачу голосов, во всех его видоизменениях. Если оно может принести что-нибудь хорошее, то это так, как воспаление в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый царизм или даже великий туркизм (*grand turkism*) — чистой анархии (а я ее такую, по несчастию, считаю), развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов. «*Ach, mein lieber Sultzer, er kennt nicht diese verdammte Rasch*»³, — сказал раз Фридрих II, и в этом он выразил печальную истину.

В вашей обширной родине, которую я всегда уважал как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя провидения, которого внутренний смысл еще неизвестен, но который очевидно не исполнен в наше время; она имеет талант, в котором она первенствует и который дает ей мощь, далеко превышающую другие страны, — талант, необходимый всем нациям, всем существам и беспощадно требуемый от них всех под опасением наказаний, — талант повиновения, который в других местах вышел из моды, особенно теперь. И я нисколько не сомневаюсь, что отсутствие его будет, рано или поздно, вымещено до последней копейки и принесет с собой страшное банкротство. Таково мое мрачное верование в эти революционные времена.

¹ Дорогой сэр (англ.).— *Ред.*

² Произнесенная в С. Мартин'с Галь 26 февраля 1855.

³ «Ах, мой дорогой Шульцтер, он не знает этой проклятой расы» (нем.). — *Ред.*

Несмотря на наши разномыслия, я буду очень рад, если вы заедете ко мне, будучи в городе; да я и сам надеюсь как-нибудь, прогуливаясь, завернуть в вашу Чомле-Лодж и потолковать с вами о разных разностях.

С искренним уважением и желанием всякого добра...

Т. Карлейль¹.

¹ Вот мой ответ на письмо Томаса Карлейля:

«Позвольте вам сказать несколько слов о тех близких мне предметах, которые вы затронули в вашем письме.

Я никогда не был горячим поклонником *всеобщей* подачи голосов. Она, как всякая форма, не связанная с необходимым содержанием, может быть хороша и дурна, может привести к результатам счастливым или совершенно нелепым. Социализм идет дальше арифметического сложения и вычитания голосов, которыми определяют *числовое* достоинство закона. Социализм старается раскрыть законы наиболее естественного устройства общества и стремится к данным историческим условиям.

«Анархия», «талант повиновения» — все это очень смутно и требует большей определенности. Если анархия значит беспорядок, произвол, разрыв круговой поруки, разрыв с разумом, то социализм больше борется с ней, чем монархия...

Талант повиноваться в согласии с нашей совестью — *добродетель*. Но талант *борьбы*, который требует, чтоб мы не повиновались против нашей совести, — тоже добродетель!

Природа представляется нам самую огромную гармоническую анархией, и именно оттого-то в природе все в порядке, что идет само по себе. Разумеется, анархия в этом смысле не значит tohu-bohu (беспорядок (франц.)), путаница капризов, странностей. Признание анархии в мысли не значит освобождение ее от логики, но дело в том, что я не из *повиновения* говорю, что $2 \times 2 = 4$. Религия — совсем напротив, она, как монархия, требует не только талант разума, но и талант послушания и верования.

Без таланта борьбы и противодействия мир бы еще стоял на точке Японии, не было бы ни истории, ни развития...

«Всякая власть от бога», — сказал ап. Павел, а сам был мятежный гражданин римский, богохулец Дианы Ефесской, бродящий демагог на Via Appia, общинник (partageux), казненный цезарем именно за то, что он у него не находил достаточно развитым талант повиновения.

Вы, как мыслитель, должны извинить меня, что я против вас отстаиваю мои мнения, зная очень хорошо сравнительную слабость моих сил.

Как только я буду в Лондоне, непременно явлюсь с моим почтением к г-же Карлейль, и очень буду рад вас видеть в моей Ричмондской пустыне для того, чтобы продолжать *viva voce* (в личной беседе (итал.)) наши споры.

Чомле-Лодж, Ричмонд, 14 апреля 1855.



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ



Ч А С Т Ь Ш Е С Т А Я

⟨ Г Л А В А VII ⟩

Немцы в эмиграции.—Руге.—Кинкель.—Марксиды.—Северо-американский обед.—Международный комитет.—Подонки эмиграции — индустриалы, ходебщики, разбойники и шпионы.

Немецкая эмиграция отличалась от прочих своим тяжелым, скучным характером, бесконечными сплетнями и совершенным разъединением. У ней не было ни общей цели, ни плана. Они неопределенно хотели единства Германии, свободы Германии. Но тут не было живого, резкого стремления итальянцев. Теоретический спор и теоретические разветвления делали при личной ненависти невозможным какое б то ни было соединение. Наимнейшие из немецких изгнанников чувствовали это.



⟨ Г Л А В А X ⟩
C A M I C I A R O S S A

Запрещение митинга на Примроз-Гилле — один из самых нелепых фактов, принадлежащих к ряду невероятных промахов, ошибок, неловкостей, *piaiseries*¹ знаменитого россель-палмерстоновского управления. Вся их политика экспедиентов, выжиданий — когда надобно действовать, вмешательств — когда надобно выждать, консерватизма в либеральной одежде, картонных тигров и леопардов, громких нот и тихих дел давно оказалась совершенно негодной. Без поддержки Дерби, Дизраэли и их приятелей такое управление не продержалось бы дня. Ужас попасть в беззубый торизм — хранит поддельные зубы седого вигизма. От Крымской войны, которая принесла пользу одной России, до вреда Польше и Дании, которым хотели помочь, от Conspiracy Bill до соединения обеих враждующих Америк в одном чувстве — ненависти к Англии — мало было ошибок наивнее запрещения митинга на Примроз-Гилле². Непокойная совесть правительства сказала в излишнем усердии полиции. Если б нужно было искать доказательств министерского участия в отъезде Гарибальди, то один этот факт был бы достаточен за глаза. Ловко вывернулись государственные люди — нечего сказать.

Неполнота конституционного самоуправления нигде не является так оскорбительно, как в министерских ответах на вопросы, на которые министры не хотят отвечать — и не могут молчать. Они говорят вздор; все знают, что это вздор; большинство соглашается с министрами играть на фальшивые деньги, а меньшинство не имеет права требовать пробы.

¹ глупостей (франц.).— *Ред.*

² «Моск(овские) вед(омости)» воображают, что Примроз-Гилль в Гайд-парке. Он верст пять от него. Это <б>ольшой холм на огромном пустыре за зоологическим садом.

Для лордов, для десятифунтовиков дело об отъезде Гарибальди было кончено. Кларендон и Палмерстон им объявили, что правительство в отъезде Гарибальди не участвовало. *L'honneur était sauf*¹ — чего же больше? Даже газеты, за исключением чисто демократических, вроде «*Reynolds Newspaper*», или чисто реакционных, как «*Standard*», точно так же порешили дело, как палаты. Но свежему народному чувству не хотелось удовлетвориться призраком — ему хотелось знать правду.

Два слова от Гарибальди сняли бы все сомнения. Их ждали все, но они не являлись. Шефсбюри просил их, говоря, что весь город думает, что он едет не по своей воле, — Гарибальди отказался. Еще больше — когда Чамберт принес ему подписать письмо, которым он благодарил шотландцев за приглашение и извинялся расстройством здоровья, Гарибальди вымарал эту строку и написал, что оставляет Англию «по многим причинам».

Гарибальди — плебей, и со всеми плебейскими предрасудками. Он мог поступить слабо под влиянием минуты раздражения, мог, давши слово, не выдавать интриги, но солгать все-народно, солгать перед людьми, которые его приняли с любовью и восторгом, он не мог. Действительно, он одной ложью в этом деле страшно потерял бы у народа.

В этом натянутом положении собирался огромный митинг для шекспировского торжества. Им хотели воспользоваться, чтоб поговорить о Гарибальди и поставить вопрос об его отъезде перед народом. И этот-то митинг полиция разогнала.

Новая интерпелляция.

Новая мистификация.

— Министр внутренних дел ничего не знал — кто разогнал? кого разогнали? Где был митинг? — и будто был митинг? Были какие-то слухи, но Грей ничего не знал, ничего не приказывал, и Р. Мейн ничего не приказывал — это случилось само собой, как грибы растут.

— Во-вторых, если Примроз-Гилль и не парк, то он мог бы быть парком, у него есть кругом решетка, и он находится под заведованием того же господина, который заведует парками. Конечно, *Primrose-Hill* от них отличается тем, что на нем нет ни одного дерева, кроме посаженного в честь Шекспира, но отчего же не быть плешивому парку — есть же плешивые люди...

В этом роде дурачился министр внутренних дел и два-три депутата. Когда же, наконец, догадался его спросить: «По какому праву вообще полиция запрещает митинги в парке или где-нибудь под открытым небом?» — «По какому праву?» —

¹ Честь не была затронута (франц.). — *Ред.*

отвечал министр, — так вы хотите знать... и знать от меня... Это уж атанде — много будете знать — скоро состаритесь».

Депутация является к министру и объявляет, что в будущую субботу созван другой митинг — и решено в случае полицейского вмешательства отражать силу силой. А потому депутаты спрашивают, имеет ли он законные основания противодействовать. Министр молчит об этом, как рыба.

Митинг собрался — я был на нем. Полиции не было. Один молодой полицейский под горой гуторил с ирландкой, продававшей апельсины, и даже ел один из них, показывая, что он митинга не видит и не занимается им.

Итак, право митинга подтверждено? — Нисколько. Вопрос остался в том же положении, т. е. что правительство может позволять и не позволять митинги под открытым небом.

Отнять право у жителей Лондона собираться на таких пустырях, как Primrose-Hill, и даже в парках — одно из самых преступных поползновений против народных сходок вообще. Площади и парки — народные залы. Где же народу собираться — и притом в числе 20, 30 000 человек — в Exeter Hall или в зале какого-нибудь театра?.. Но их даром не отдадут, а, напротив, берут очень дорого. И что за резон неудобство гуляющих — пусть они гуляют в другой аллее или совсем не гуляют.

Гулять можно всякий день, а народ слишком занят, чтоб собирать серьезные митинги больше чем два, три раза в год. Десятифунтовики видели очень хорошо опасность и какую французскую ногу подставляет полиция одному из краеугольных оснований английской свободы, — однако ж *они удовлетвоались*. В сущности, если б им занудобилось сделать сходку, они найдут место, — ну, а работникам немного затруднить право собираться — может, недурно... и пивное богослужение по воскресеньям долею так строго соблюдается для того, чтоб работники без нужды не часто сходились, — о чем им толковать, работать надобно... Благо министры отыгрались, чего же лучше...

Но если старая, рутинная Англия явилась во всем характере своем крючкотворчества в деле митинга, то и *новейшая* Англия отличилась.

Вопрос об отъезде Гарибальди был поставлен Шеном ясно, просто и без всяких преувеличений. Он наглазно раскрыл интригу и рассказал, не щадя собственных имен, как было дело, что он слышал от Иосифа Коцена, от друзей Гарибальди.

Перчатка была брошена.

Ее поднял — Гладстон.

Гладстон — одно из самых интересных лиц современной Англии и английского правительства. Если течение Англии

не изменится, об ней можно сказать, что она впадает в Гладстона. Финансист, эллинист, пиетист — один из тех работников, о которых в России понятия не имеют, свободный от старых предрассудков правительств, он тем легче может их поддерживать, если нужно. Дающий министерству одну руку, он дает один палец социальным идеям и, главное, работникам. Столп церкви, канцлер университета, комментатор «Одиссои», гениальный министр финансов, он подымается, и это его единая цель. С Гомером под мышкой, как Нерон, chief of the Exchequer¹ скоро обойдет двух спаянных врагов, стоящих во главе английского управления.

Россель и Палмерстон мне представляются в одном лице какой-то двуглавой Агриппины. И я приветствую в Гладстоне — сына, идущего воздать по заслугам родительнице своей и потом воспеть ее добродетели, явный результат англиканского религиозного воспитания. Что он умнее Росселя и дельнее Палмерстона — об этом нельзя сомневаться, прочитавши любую его речь о бюджете.

Гладстон сам пригласил депутацию от митинга, но в объяснении не был счастлив. Он действительно ездил к Гарибальди, но больше интересуюсь его болезнью, он уговаривал его, но как частное лицо и хороший знакомый. Он не скрыл от него, что его присутствие несколько мешает, но это было его мнение. Наконец, он очень жалел, что Гарибальди сам так же думал, как митинг, и уехал в таком глубоком заблуждении.

Вслед за тем с необычайным *à propos*, которое всегда сопровождается восходящие силы, а иногда и нисходящие министерства — как, напр<имер>, поездки Кларендона, — он произнес свою знаменитую речь, в которой защищал всеобщую подачу голосов и нападал на всякий ценс.

Как ответчик — Гладстон несчастлив. Не тут его сила. Лет десять тому назад было в Лондоне происшествие, много смешившее меня. По окончании оперы в Ковен-гардене один меломан отправился домой пешком. Конец оперы и театров, конец Аргайлрум и казино — блестящая минута лондонской уличной жизни. Работники спят, мещане спят, мирные люди спят, семейные люди бранятся перед сном, а освещенные улицы покрыты мотыльками и ночными бабочками всех сортов, волос, цен и шляпок. Они летают из стороны в сторону, никогда не обжигаются, а скорее обжигают других, заговаривают с прохожими, скромные просят хересу, гордые — ничего не просят и сами дают улыбку. Меломан — человек чувствительный, как мы увидим впоследствии, — под какой-то аркадой наткнулся на мотылька и завел с ним разговор. И вдруг тяжелая

¹ глава казначейства (англ.). — *Ред.*

рука командора опустилась на его плечо, и плохо одетый господин сказал ему: «Не годится... Нехорошо члену совета королевы говорить на улице с мотыльками».

Видя, что он не может отделаться от этого угрызенья совести в потертом пальто, Гладстон позвал полицейского и, сказавши ему, кто он и в чем дело, поручил свести моралиста в полицию. Но полицейский не нашел в рассказе министра достаточной причины арестовать человека. Никто никому не обломил ребра, не разбил челюсти, и никто ни у кого не украл часов. Моралист не шел и продолжал читать морали. Полицейский, взойдя в положение министра, заметил ему:

— Ведите его сами в полицию; если он пойдет, и я пойду, пожалуй.

— С охотой, — говорит министр.

— С охотой, — говорит совесть.

Они пошли — а мотылек вспорхнул да и был таков.

Пришли в полицию.

— Вот, — говорит министр, — этот человек...

— Вот, — говорит человек, — этот министр так и так-то, в ночное время в уголку нашептывал нехорошие вещи хорошей девочке... Я его хотел усоветить — он рассердился, позвал полицейского... and here we are¹.

Кто обвинитель, кто обвиняемый — все перепуталось. Судья, видя, что уголовщины никакой нет, а время позднее, записал адреса обоих и велел явиться завтра в 11 часов обоим в суд. А потом лег спать.

В 11 они явились.

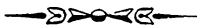
...Представьте себе у нас — не настоящего министра или Адлерберга, а так, какого-нибудь Вронченку тогда или Буткова теперь, и его бы позвали в частный дом за какой-нибудь tête-à-tête на углу Невского и Итальянской улицы... Святых пришлось бы вон нести.

Рассказал Гладстон свое...

И человек свое...

Судья обратился к министру с величайшей учтивостью, сказал, что он не сомневается, что вещи, которые он говорил престланной незнакомке, были назидательны (как он сам намекнул), но что он обсудить дело в порядке не может — по той простой причине, что единственная особа, которая может решить противуречащие показания, — это сама незнакомка. Что если министр может ее представить, то все пойдет как по маслу.

¹ и вот мы здесь (англ.). — *Ред.*





Ч А С Т Ь С Е Д Ь М А Я

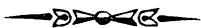
ЗА КУЛИСАМИ

(1863—1864)

Мы остались одни — без веры прислушиваясь к дальним раскатам выстрелов, к дальнему стону раненых. В первых числах апреля пришла весть о том, что *Потебня* убит в сражении у Песковой горы. В мае был расстрелян *Подлевский* в Плоцке. А там и пошло и пошло.

Трудное, невыносимо трудное время!

И ко всему печальному, быть невольным зрителем людской тупости, бестолковости проклятого очертя голову, губящих все силы около себя.



ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

MŒURS RUSSES

Les fleurs doubles et les fleurs de Minerve

(FRAGMENT)

II

Tout ce qui se produisait en Occident se reproduisait chez nous, dans notre Occident *oriental*, dans notre *Europe russe*, et cela en réduction quantitative et exagération qualitative. Nous avons eu des jésuites byzantinisés, des bourgeois princes, des fourriéristes grands seigneurs, des démocrates de chancellerie, des républicains de corps de garde. Nous ne pouvions donc, raisonnablement, manquer d'un demi-monde. — Eh bien! si restreint qu'il fût, je hasarderai de dire que c'était *un monde et demi*.

C'est que nos *traviates*, nos camélias — l'étaient par choix, elles étaient *honoraires* ou, si l'on veut, *dilettantes*. Elles naissaient sur un autre sol que leur prototype et fleurissaient dans un autre milieu. Il ne fallait pas les chercher dans les marais et les plaines, mais aux sommets, quelquefois un peu plus haut. Elles ne s'élevaient pas au soleil comme un brouillard des champs, elles tombaient du ciel comme la rosée. — Une princesse *traviate*, une camélia, héritière de propriétés immenses à Tambov ou à Voronège, est un phénomène exclusivement russe, national — et j'en suis tout fier.

Entendons-nous: j'ai dit national, mais il y a deux nationalités chez nous. La *Russie non européenne* n'y entre pour rien.

Les bonnes mœurs des paysans étaient en partie sauvegardées par le servage. L'amour était triste dans *l'izba*. — Toujours sous la menace d'une séparation forcée par ordre du seigneur — il s'envisageait comme un vol. Le village fournissait la maison seigneuriale de bois, de foin, de moutons et de ses propres filles. C'était bien loin de toute dépravation, c'était un genre de devoir sacré qu'on ne pouvait refuser sans enfreindre les lois de

la moralité et de la justice et sans provoquer les verges du seigneur et le knout de Sa Majesté.

Ce temps est passé. Je connais peu les mœurs d'aujourd'hui, et je reste tout aristocratiquement dans les parages supérieurs.

La minorté des dames papillonnacées imita admirablement les lorettes parisiennes; il faut leur rendre cette justice: elles s'assimilaient leurs manières, leurs gestes, tout leur *habitus* enfin, avec un art, une intelligence superbes. Il ne leur manquait qu'une chose pour être accomplies, et cette chose n'y étant pas, l'illusion était troublée — il ne leur manquait *que d'être lorettes* et elles ne l'étaient pas. C'est toujours Pierre I^{er}, sciant, raboutant, clouant à Saardam, convaincu qu'il faisait réellement quelque chose. Nos grandes dames jouaient *au métier*, comme leurs maris se fatiguaient en faisant le tourneur.

Ce caractère de superflu, de luxe, de *fleurs doubles*, change de fond en comble l'affaire. D'un côté on admire un décor magnifique — de l'autre on sent une nécessité implacable. De là une différence tranchante. On plaint très souvent la *bona fide traviata*, et presque jamais la dame aux perles, ayant des terres peuplées par des paysans, temporairement obligés maintenant, pillés à perpétuité dans le beau temps du servage. Ayant des sommes folles à dépenser, on peut beaucoup... Faire la lionne excentrique aux eaux d'Allemagne, s'étendre avec une grâce voluptueuse dans sa calèche, faire un grand bruit et de petits scandales, faire baisser les yeux aux hommes par des propos érotiques, fumer des cigares de Havane le soir, prendre du champagne le matin, mettre des rouleaux d'or et des brochures de billets de banque sur le noir et le rouge, changer chaque quinzaine d'amant et faire avec l'ami *de service* des parties fines, aller entendre des «conversations» et assister à des exercices callisthéniques, être Messaline I^{re} ou Catherine II, tout est possible, praticable— excepté d'être une *lorette*. Et pourtant les lorettes ne *naissent pas*, elles se forment. Mais leur éducation est tout autre que celle de nos turbulentes compatriotes.

Ordinairement une jeune fille pauvre, sans conseil ni protection, va sans savoir où elle va et tombe dans un guet-apens. Froissée, offensée, maculée, abandonnée avec la rage ou l'amour rentré, elle cherche à s'étourdir et à se venger, elle cherche le luxe pour couvrir les taches, elle cherche le bruit pour ne pas entendre une voix intérieure. Pour avoir de l'argent, il n'y a *qu'un seul* moyen — elle le prend — et s'élançe dans une concurrence ardente. Les victoires la gâtent (celles qui n'ont pas vaincu, nous ne les connaissons pas — elles succombent, disparaissent sans traces), elles gardent le souvenir de leur Marengo, de leur pont d'Arcole; impossible de s'arrêter. La courtisane s'est créé elle-même sa position. Elle a commencé à n'avoir que son corps, elle

finit par *les âmes* des richards attachés à elle et qu'elle ruine. La traviata-princesse arrive au monde avec milliers d'âmes de pauvres paysans attachés à ses terres, les ruine aussi et finit très souvent par n'avoir que son corps.

Il n'y a pas de contraste plus fort.

La lorette, soupant dans un cabinet de la *Maison d'Or*, rêve à son salon futur. La traviata, grande dame chez nous, faisant les honneurs de son salon, rêve à l'estaminet.

Il serait bien intéressant de savoir d'où est venue dans le cœur des dames riches, haut placées, cette soif de ribote, d'esclandre, ce désir de faire parade de leur émancipation, de narguer l'opinion, de jeter tout voile, tout masque; par quel escalier le demi-monde est monté au grand, en y introduisant *platoniquement* ses mœurs. Les premiers symptômes de cet envahissement du salon par le «*camélisme*» ne datent presque pas au delà de 1840. Mais le revirement était si subit qu'il se faisait encore du vivant des mères et des grand-mères — de nos héroïnes — qui passaient leur existence muette dans la soumission patriarcale; qui, prudes et candides jusqu'à cinquante ans, se contentaient, et cela rarement, dans le silence le plus profond, d'un petit parasite ou d'un grand laquais.

Il y a une coïncidence étrange. Après une prostration morale qui dura plus de dix ans du règne de Nicolas, quelque chose se remua au fond de la pensée — on devint plus triste et plus vif. Une protestation non exprimée se sentait dans l'air, un frémissement fit tressaillir les intelligences; on eut peur du néant, du silence que le régime impérial faisait en Russie. Ce réveil se fit vers les premières années de 1840.

Eh bien, oui, le «*camélisme*» aristocratique était aussi une protestation et aussi un réveil. Protestation mutine et échevelée, inconsciente, mais protestation de la femme écrasée par la famille, absorbée par la famille, offensée par la dissolution dévergondée du mari. Quelle est donc cette *terra incognita* dont parlent avec enthousiasme les époux et les jeunes gens? Allons voir de près cette femme libre, qui n'appartient à personne parce qu'elle peut appartenir à tout le monde. Et les romans! les romans! Les jeunes femmes délaissées, emprisonnées sous le despotisme lourd des belles-mères, de la parenté entière, se mirent à lire. George Sand fit ravage en Russie. Enfin la patience se rompt et la femme prend le mors aux dents. «Ah! Messieurs, vous n'aimez que des courtisanes, vous en aurez. — Vous nous aimez et nous vous dédaignerons». Cette protestation était sauvage; mais la position de la femme l'était aussi. Son opposition n'a pas été formulée, elle fermentait dans le sang; l'humiliation de l'état à demi-serf était sentie, mais non le mode de l'émancipation. L'indépendance personnelle n'allait pas plus loin que de la frivolité à la licence. Son idéal

était l'orgie et la conquête. La femme offensée protestait par sa conduite; sa révolte était capricieuse, elle gardait ses mauvaises habitudes, elle se débrétait sans devenir libre. Au fond de son âme, il y avait des terreurs et des doutes; elle narguait le monde en le craignant; et, comme une fusée, elle se levait avec éclat et bruit et tombait avec bruit et étincelles, sans s'enfoncer profondément dans la terre.

Telle est l'histoire de nos dames aux perles et aux diamants, à l'écusson et à la couronne princière.

Le vieux grognard Rostoptchine avait bien raison, en disant sur son lit de mort, après avoir entendu la nouvelle de l'insurrection sur la place d'Isaak: «Tout se fait chez nous au rebours du bon sens. En France, la roture voulait monter au niveau de la noblesse, cela se conçoit. Chez nous, la noblesse veut s'encanailler. Allez comprendre cela».

Eh bien, le grand incendiaire de Moscou doit nous excuser, nous comprenons parfaitement cette voie du développement comme conséquence d'une civilisation dont on nous a grevé, d'un dualisme artificiel avec le peuple, et de tout l'ensemble de nos aspirations— mais cela nous mènerait trop loin...

III

Nos camélias doubles ont leur place dans l'histoire; mais elles n'en ont plus dans le mouvement actuel. Qu'elles se consolent. Goëthe a dit: «Ce n'est que le passager qui est beau». C'est la première phalange de volontaires à l'avant-garde, exaltée, téméraire, qui va la première au feu en chantant (peut-être pour cacher l'émotion). La colonne qui la suit est toute autre: austère et sérieuse, elle va avec fière conscience au pas de charge remplacer les bacchantes — un peu chauves et à cheveux blancs.

Dans les nouveaux rangs, il n'y a que des enfants, les plus âgés de 18 ans; mais ces jeunes filles sont des *jeunes gens*, étudiants de l'Université et de l'Académie médicale. Les camélias ont été nos Girondins; elles nous rappellent des scènes du *Faublas*. Nos étudiants demoiselles, ce sont les Jacobins de l'émancipation féminine. Saint-Just en amazone — tout est pur, tranchant, sans pitié, avec toute la férocité de la vertu et l'intolérance des sectaires. Elles ôtent la crinoline, elles se désignent par l'absence d'une pièce d'habillement, comme les Jacobins; ce sont des *sans-crinolines*; les cheveux coupés, l'éclat des yeux amorti par des lunettes bleues pour ne pas offusquer la seule lumière de la raison. Autre temps, autres mœurs, la différence de sexe presque oubliée devant la science. *Im Reiche der Wahrheit* tous sont égaux.

C'est vers l'année 1860 que s'épanouissent nos *fleurs de Minerve*: vingt ans de différence avec les *fleurs doubles*. La *traviata*

et la camélia de salons appartenait au temps de Nicolas. C'étaient en partie des filles de régiment, des vivandières de la grande caserne d'hiver. Elles appartenait à son temps comme ces généraux d'étalage, de devanture, qui faisaient la guerre à leurs propres soldats. La guerre de la Crimée mit fin à ces généraux «d'exhibition» et le «nihilisme» supplanta les doubles fleurs tant soit peu fanées. Le bruit des fêtes, les amours de boudoir, les salons de casino se changèrent en auditoires académiques, en salles de dissection, dans lesquelles des jeunes filles étudiaient avec entraînement les arcanes de la nature.

Ce n'est plus une émeute, c'est une révolution. Ce ne sont plus des passions, des aspirations vagues, c'est la solennelle proclamation des droits de la femme. L'amour est relégué au troisième, au quatrième plan. On se livre par principe, on fait des infidélités par devoir. Aphrodite se retire, en boudant, avec son écuyer tout nu, portant le carquois et les flèches. C'est le règne de Pallas-Athènes, avec sa pique, comme Théroigne de Méricourt et le hibou, l'oiseau des sages à côté.

La passion était pour les questions générales. Pour le cas privé, pour l'application, on ne mettait pas plus d'entraînement que n'en mettent les Léontine¹, peut-être moins. Les Léontine jouent avec le feu et en prennent souvent; alors, tout embrasées, elles se jettent dans la Seine pour éteindre l'incendie; entraînées par le tourbillon avant toutes réflexions, elles n'ont pas d'armes contre leur propre cœur. La jeunesse de Minerve, au contraire, commence par l'analyse; beaucoup de choses peuvent arriver à ces doctes enfants, mais aucune surprise: elles ont des parachutes théoriques, elles se jettent dans le fleuve avec un manuel de natation, et si elles nagent contre le courant, c'est qu'elles le désirent.

Nageront-elles longtemps à *livre ouvert*? je n'en sais rien; mais qu'elles laisseront une trace, un sillon, il n'y a pas de doute. Les gens les moins avisés se sont aperçus de leur signification.

Nos pères et grand-pères de la patrie, nos graves et burgraves s'en émurent. Eux qui étaient si condescendants, si paternels avec les «belles polissonnes» (pourvu qu'elles ne fussent les épouses de leurs fils), envisagèrent tout autrement les austères *nihilistes*. Ils virent au-dessous de leurs lunettes un danger imminent pour l'Etat.

Le coup de pistolet du 4 avril acheva la conviction, quoiqu'il n'y eût aucun rapport entre le fanatisme d'un jeune homme exalté et les sérieuses occupations de ces demoiselles. Les pères de la patrie tournèrent l'attention du souverain sur ces jeunes personnes qui ont changé les coupes et les formes des habits, ont abandonné la crinoline et adopté les lunettes, puis ont taillé les cheveux.

¹ Héroïne du premier chapitre.

Le monarque, indigné de ce qu'elles ont changé la *forme prescrite*, les livra aux vieillards.

L'affaire était grave. Le Conseil, le Sénat, le Synod, les ministres, l'état-major, les archevêques et toutes les autres polices se réunirent pour arrêter radicalement le mal. La première chose que l'on décida c'était d'exclure les jeunes personnes des hautes écoles et d'appliquer la loi salique aux Universités et à la science. Ensuite on ordonna, sous peine d'être arrêté par les farouches orang-outangs de la police, et traîné au violon, de porter la crinoline, d'ôter les lunettes et de se faire croître de longs cheveux en vingt-quatre heures.

Le Saint-Synode donna sa bénédiction et son consentement, quoique le nomocanon byzantin ne dise rien des crinolines et parle très précisément contre l'habitude «païenne» de tresser les cheveux. La police était lancée à la chasse des *nihilistes*. Les vieillards étaient convaincus qu'ils ont assuré l'existence de l'empereur contre toute tentative, jusqu'aux Champs Élysées, mais ils ont oublié que les Champs Élysées ont un représentant terrestre à Paris, avec un Rond-point très dangereux.

Ces mesures extraordinaires de salut public ont fait le plus grand bien, non aux archevêques et aux pères de la patrie, mais à nos jeunes *nihilistes*.

Il leur manquait une chose, c'est de jeter bas le côté théâtral, l'uniforme, et de se développer en toute largeur et liberté. Oter un habit qu'on prenait pour un signe de ralliement, ce n'est pas chose facile. *L'État*, avec sa grossièreté habituelle, s'en chargea, en laissant, par-dessus le marché, une petite auréole de martyr sur leurs cheveux coupés.

Maintenant, débarrassées de votre costume, naviguez *au large* «nel largo oceanos».



РУССКИЕ ПРАВЫ

Махровые цветы и цветы Минервы

(ОТРЫВОК)

II

Все, что вырабатывалось на Западе, воспроизводилось у нас, на нашем *восточном* Западе, в нашей *русской Европе*, и делалось это в уменьшенном по количеству и искаженном по качеству виде. У нас были проникнутые византийским духом иезуиты, мещане-князья, фюреристы-вельможи, канцелярские демократы, республиканцы из кордегардии. Мы не могли, разумеется, обойтись и без полусвета. — И что же! несмотря на его ограниченность, осмелюсь сказать, что он представлял собой *полтора света*.

Дело в том, что наши *травяты*, наши камелии являлись таковыми по собственному усмотрению, то были *почетные* травяты и камелии или, если хотите, *дилетантки*. Они возникли совсем на другой почве, чем их прототип, и цвели в другой среде. Их надобно было искать не в болотах, не в низинах, а на вершинах, иногда даже несколько выше. Они не поднимались к солнцу, как туман в поле, они падали с неба, как роса. — Княгиня-травята, камелия, наследница огромных поместий в Тамбове или в Воронеже — явление чисто русское, национальное — и этим я чрезвычайно горжусь.

Поймите меня правильно: я сказал — национальное, но у нас имеются две нации. *О неевропеизированной России* мы здесь не говорим.

Здоровые крестьянские нравы были частично спасены крепостным правом. Любовь *в избе* была печальна. — Вечно находясь под угрозой насильственной разлуки по приказанию барина, она рассматривалась как воровство. Деревня поставляла в помещичий дом дрова, сено, баранов и собственных

своих дочерей. Это было далеко от всякого разврата, это был особого рода священный долг, от которого нельзя было отказываться, не нарушая законов нравственности и справедливости и не навлекая на себя розог помещика и кнута его величества.

Время это прошло. Я плохо знаю нынешние нравы, и я остаюсь самым аристократическим образом в высших сферах.

Меньшинство мотыльковидных дам превосходно подражало парижским лореткам; в этом им надобно отдать справедливость: они усвоили их манеры, их ухватки, весь их *облик*, наконец, с чрезвычайным искусством и понятливостью. Для полного сходства им недоставало только одного, и поскольку этого не было — иллюзия нарушалась, — им недоставало *только быть на самом деле лоретками*, а они ими не были. Это все тот же Петр I, пилящий, строгающий, вколачивающий гвозди в Саардаме в полном убеждении, что он действительно делает дело. Наши барыни играли *в ремесло*, подобно тому как мужья их изнуряли себя у токарного станка.

Этот характер ненужности, роскоши, *махровости* в корне меняет все дело. С одной стороны — восхитительная, роскошная декорация, с другой — неумолимая необходимость. Отсюда эта поразительная разница. Весьма часто жалеешь *травмату bona fide*¹, но почти никогда — даму с жемчугами, владелицу земель, заселенных крестьянами, временно обязанными ныне, вечно разорявшимися в милые времена крепостничества. Имея шальные деньги на расходы, можно себе позволить многое... Изображать эксцентричную львицу на немецких водах, растянуться со сладострастной грацией в своей коляске, производить большой шум и маленькие скандалы, заставлять своими эротическими намеками опускать глаза мужчин, курить вечерами гаванские сигары, пить по утрам шампанское, ставить свертки с золотом и пачки банковских билетов на красное и черное, каждые две недели менять любовника и совершать с *дежурным* другом интимные прогулки, отправляться слушать «конверсации» и присутствовать на каллиграфических упражнениях, быть Мессалиной I или Екатериной II — все это доступно, осуществимо, — нельзя только быть *лореткой*. А между тем лоретками *не рождаются*, ими делаются. Однако воспитание у них совсем иного рода, чем у наших неистовых соотечественниц.

Обыкновенно бедная девушка, лишенная совета и поддержки, идет сама не зная куда и попадает в ловушку. Оскорбленная, униженная, запятнанная, покинутая, охваченная бешенством или подавленной любовью, она пытается заглушить

¹ подлинную (лат.).— *Ред.*

боль и отомстить, ей нужна роскошь, чтобы прикрыть позорные пятна, ей нужен шум, чтобы не слышать внутреннего голоса. Деньги можно достать только *одним* путем — она на него вступает — и устремляется в ревностную конкуренцию. Победы ее балуют (тех, которые не победили, мы не знаем, — они гибнут, пропадают бесследно), они сохраняют память о своем Маренго, своем Аркольском мосте. Остановиться невозможно. Куртизанка сама создала себе положение. Она начала, не имея ничего, кроме своего тела, она кончает тем, что приобретает *души* богачей, которые к ней привязаны и которых она разоряет. Травиата-княгиня является на свет с тысячами душ нищих крестьян, прикрепленных к ее землям, тоже их разоряет и очень часто кончает тем, что у нее, кроме тела, ничего не остается.

Сильней контраста быть не может.

Лоретка, ужиная в кабинете «Maison d'Or», мечтает о своем будущем салоне. Наша же великосветская травиата, устраивая приемы в своем салоне, мечтает о трактире.

Интересно было бы знать, откуда взялась в сердцах наших богатых, высокопоставленных дам эта жажда разгула, кутежа, это желание похвастать своим освобождением, пренебречь мнением, сбросить всякую вуаль, всякую маску; по какой лестнице полусвет поднялся до большого света, *платонически* введя в него свои нравы. Первые симптомы этого вторжения «*камелизма*» в салоны почти не переходят за пределы 1840 года. Но перемена эта была так внезапна, что произошла еще при жизни матерей и бабушек наших героинь, влачивших безмолвно свое существование в патриархальной покорности; недоступные и чистосердечные, они довольствовались до пятидесяти лет, и то лишь изредка, в глубочайшей тишине, маленьким нахлебником или рослым лакеем.

Странное совпадение. После нравственного изнеможения, длившегося более десяти лет николаевского царствования, в глубинах мысли что-то шевельнулось — все сделались печальной и живой. В воздухе почувствовался невысказанный протест, трепет охватывал умы; мертвенность, безмолвие, внедряемые императорским режимом в России, внушали страх. Это пробуждение наступило в самом начале 1840-х годов.

И вот аристократический «*камелизм*» несомненно также был и протестом и пробуждением. Протестом своенравным и беспорядочным, неосознанным, но протестом женщины, разведенной семьей, поглощенной семьей, оскорбленной бесстыдным развратом мужа. Что же однако представляет собою эта *terra incognita*¹, о которой с восторгом говорят мужья и

¹ неизведанная область (лат.).— Ред.

мужская молодежь? Посмотрим же вблизи на эту свободную женщину, которая никому не принадлежит, потому что может принадлежать всем. А романы! романы! Молодые женщины, покинутые, находившиеся в заключении под тяжелой деспотической властью свекровей, всей родни, принялись за чтение. Жорж Санд произвела подлинное опустошение на Руси. Наконец терпение лопается, и женщина закусывает удила. «А, господа, вы любите только куртизанок — вы получите их. Вы полюбите нас, а мы будем пренебрегать вами». Этот протест был дик; но и положение женщины было дико. Ее оппозиция не была ясно выражена, она бродила в крови; унижение полукрепостного состояния было осознано, но способ освобождения оставался неясным. Личная независимость не простиралась далее суетности и распущенности. Идеалом ее была оргия и привлечение поклонников. Оскорбленная женщина протестовала своим поведением; ее бунт был капризен, она сохраняла свои дурные привычки, она разнуздалась, не освободившись. В глубине души ее сохранились страх и сомнения; она презирала свет, боясь его; и, как ракета, подымалась она с блеском и шумом и падала с шумом и искрясь, но не вонзаясь глубоко в землю.

Такова история наших дам с жемчугом и бриллиантами, с гербом и княжеской короной.

Старый ворчун Ростопчин был совершенно прав, когда сказал на смертном одре, услышав новость о восстании на Исаакиевской площади: «Все у нас делается наперекор здравому смыслу. Во Франции разночинцы хотели подняться до уровня дворянства, это понятно. У нас же дворянство хочет стать чернью. Вот и поймите, что это такое».

Ну что ж, великий поджигатель Москвы должен извинить нас, мы отлично понимаем этот путь развития как следствие цивилизации, которой обременили нас, как следствие искусственной разобщенности с народом и всей совокупности наших устремлений, — но это нас завело бы слишком далеко.

III

Нашим махровым камелиям принадлежит свое место в истории; но в современном движении они его уже не имеют. Пусть же они утешатся. Гёте сказал: «Лишь преходящее прекрасно». Это первая фаланга добровольцев в авангарде, восторженная, отважная, идущая первой в огонь, распевая песни (быть может, для того, чтобы скрыть волнение). Колонна, следующая

за ней, совсем иная: суровая и серьезная, она идет с гордым сознанием, ускоренным шагом, чтобы заменить вакханок, немного уже оплешивевших и поседевших.

В новых рядах одни лишь дети, не старше 18 лет; но эти девушки — *молодые люди*, студенты университета и медицинской академии. Камелии были нашими жирондистами; они напоминают нам сцены из «Фоблаза». Наши студенты-барышни — якобинцы женской эмансипации. Сен-Жюст в амазонке — все чисто, резко, беспощадно, со всей свирепостью добродетели и непримиримостью сектантов. Они снимают кринолины, они, как якобинцы, отличаются отсутствием одной части одежды; это *сан-кринолины*; волосы острижены, блеск глаз ослаблен синими очками, чтобы не мрачить единственный свет разума. Другие времена — другие нравы, различия полов почти забыты пред лицом науки. Im Reiche der Wahrheit¹ все равны.

Около 1860 года распускаются наши *цветы Минервы*: двадцать лет отделяют их от *махровых цветов*. Салонные травиата и камелия принадлежали временам Николая. То были частично полковые девки, маркитантки большой зимней казармы. Они принадлежали его времени, как те генералы с витрины, которые вели войну со своими собственными солдатами. Крымская война прихлопнула этих генералов («выставки»), и «нигилизм» вытеснил несколько увядшие махровые цветы. Шум праздников, будуарная любовь, залы казино сменились академическими аудиториями, анатомическими залами, в которых барышни с увлечением изучали тайны природы.

Это уже не бунт, это революция. Это уже не страсти, не смутные порывы, это торжественное провозглашение прав женщины. Любовь отодвинута на третий, на четвертый план. Отдаются из принципа, совершают неверности из долга. Афродита удаляется, надувшись, со своим совсем голым оруженосцем, держащим колчан и стрелы. Наступило время Афины-Паллады, с ее копьём, как у Теруань де Мерикур, и совой, птицей мудрецов, сбоку.

Они проявляли страсть в общих вопросах. В частный же случай, в применение они вносили не больше увлечения, чем Леонтины², — может, еще меньше. Леонтины играют с огнем и часто загораются сами; тогда, вспыхнув, они бросаются в Сену, чтобы потушить пожар; увлеченные водоворотом прежде

¹ В царстве истины (нем.). — *Ред.*

² Героиня первой главы.

всяких рассуждений, они не имеют оружия против своего собственного сердца. Молодежь Минервы, наоборот, начинает с анализа; многое может случиться с этими учеными детьми, но ни одного сюрприза: они обладают теоретическими парашютами, они бросаются в реку с руководством о плавании в руках, и если они плывут против течения, то только потому, что сами желают этого.

Долго ли проплывут они с *открытой книгой* в руках? Не знаю; но что они оставят след, борозду — в этом нет сомнения. Самые недогадливые люди заметили их значение.

Наши отцы и дедушки отечества, наши графы и бургграфы забеспокоились. Они, относившиеся столь снисходительно, столь по-отечески к «прелестным шалуням» (если только те не были супругами их сыновей), совсем по-иному взглянули на суровых *нигилистов*. Они разглядели за их очками неминуемую опасность для государства.

Пистолетный выстрел 4 апреля укрепил это убеждение, хотя никакой связи между фанатизмом восторженного юноши и серьезными занятиями этих барышень не было. Отцы отечества обратили внимание государя на этих молодых особ, которые изменили покрой и форму своего платья, сбросили кринолин и надели очки, а затем остригли себе волосы. Монарх, возмущенный тем, что они отступили от *предписанной формы*, выдал их на расправу старичкам.

Дело было немаловажное. Совет, сенат, синод, министры, штаб, архиереи и все другие полиции объединились для того, чтобы решительно пресечь зло. Прежде всего решили исключить молодых особ из высших учебных заведений и применить салический закон к университетам и к науке. Затем было приказано — под страхом быть арестованными свирепыми орангутангами из полиции и заключенными в карцер — носить кринолины, снять очки и в двадцать четыре часа отрастить себе волосы.

Святейший синод дал свое благословение и согласие, хотя византийский номоканон ничего не говорит о кринолинах и весьма определенно выступает против «языческого» обычая плести волосы. Полиция устремилась на охоту за *нигилистами*. Старички были убеждены, что они обеспечили жизнь императора от всех покушений до самых Елисейских Полей, но они забыли, что Елисейские Поля имеют свое земное представительство в Париже, с очень опасной Круглой площадью.

Эти чрезвычайные меры общественного спасения принесли величайшую пользу не архиереям и не отцам отечества, а юным нашим *нигилисткам*.

Им недоставало одного — отбросить театральную сторону, мундир, и развиваться во всю ширь и со всей свободой. Снять одежду, которой придавалось условно-партийное значение, — вещь нелегкая. *Государство*, со своей обычной грубостью, взяло это на себя, оставив вдобавок маленький ореол мученичества на их стриженных волосах.

Теперь избавившись от своего костюма, плывите *в просторы*, «*nel largo oceano*»¹.

¹ «в широкий океан» (итал.).— *Ред.*



**АВТОРСКИЕ
ПЕРЕВОДЫ**

R. OWEN

Chapitre I

Bientôt après mon arrivée à Londres en 1852 j'ai reçu une lettre de la part d'une dame — elle m'invitait de venir passer un couple de jours à sa ferme à Seven Oaks. Je fis sa connaissance à Nice en 1850 — elle connut et quitta notre famille avant les terribles orages. Je voulais moi-même la voir—je sympathisais avec le pli élégant de son esprit, qui¹

Chapitre II

R. Owen donna à un de ses articles le titre *Essai de changer l'asyle des aliénés dans lequel nous vivons — en un monde rationnel*.

Ce titre rappelle à son biographe le propos suivant tenu par un malade enfermé à Bedlam: «Tout le monde me prend pour un fou, — disait-il, — moi j'ai la même opinion de tout le monde; malheureusement *la majorité* n'est pas de mon côté».

Cela explique très bien le titre d'Owen et jette une grande lumière sur la question. Nous sommes convaincus que *la portée* de cette comparaison a échappé au sévère biographe. Il a voulu seulement insinuer qu'Owen était fou — et nous ne voulons pas le contredire, — mais cela n'est pas une raison pour penser que *tout le monde* ne l'est pas.

Si Owen était fou — ce n'est nullement parce que le monde le pensait tel, et que lui-même le pensait de tout le monde. Mais bien parce qu'Owen — connaissant qu'il demeurerait dans une maison des aliénés — parlait soixante ans de suite aux malades — comme s'ils étaient parfaitement sains.

Le nombre des malades n'y fait absolument rien. La raison a sa justification, son criterium ailleurs — elle ne se soumet jamais à la majorité des voix. Si toute l'Angleterre, par ex., se

¹ Запись обрывается на половине страницы.— *Ред.*

prenait de croire que les «mediums» évoquent les esprits des défunts — et Faraday lui seul le nierait — la vérité et la raison seraient de son côté et non du côté de toute la population de l'Angleterre. Et cela n'est pas tout — supposons que même Faraday partagerait l'erreur — eh bien, dans ce cas la vérité concernant le sujet n'existerait pas du tout et l'absurdité adoptée par l'unanimité des voix ne gagnerait rien — elle resterait ce qu'elle a été — *une absurdité*.

La majorité contre laquelle se plaignait le malade de Bedlam — n'est pas formidable suivant qu'elle a raison ou tort, mais parce qu'elle est très forte et les clefs de Bedlam sont dans ses mains.

La notion de la force n'implique pas comme nécessaire — ni la conscience, ni l'intelligence. Plutôt le contraire — plus une force est inintelligente — plus elle est indomptable, terrible. On peut se sauver assez facilement d'un aliéné, cela devient plus difficile lorsqu'on a à faire à un loup enragé et devant l'aveugle inconscience des éléments déchaînés — l'homme n'a qu'à se résigner et périr.

La profession de foi faite par R. Owen en 1817 — qui fit tant de scandale en Angleterre — ne l'aurait pas fait en 1617 dans la patrie de Jordano Bruno et de Vanini, en 1717 — ni en France, ni en Allemagne. Peut-être quelque part en Espagne, au sud de l'Italie les moines auraient ameutés contre lui la foule, peut-être on l'aurait livré aux alguazils de l'inquisition, torturé, brûlé — tout cela est très probable; mais la partie *humanisée* de la société serait certainement pour lui.

Les Goethe, les Schiller, les Kant, les Humboldt — de nos jours, les Lessing — il y a un siècle avouaient très sincèrement leurs pensées. Jamais ils ne feignaient une religion qu'ils n'avaient pas. Jamais on ne les voyait — oubliant toute vergogne — s'en aller pieusement à la messe avec un livre de prières le dimanche — après avoir prêché les six jours de la semaine tout le contraire — écouter avec onction la rhétorique vide d'un pasteur, et tout cela pour en imposer la plèbe, la vile populace, le mob.

En France — la même chose, ni Voltaire, ni Rousseau, ni Diderot, ni tous les encyclopédistes, ni les hommes de science comme Bichat, Cabanès, La Place — et ultérieurement Comte — n'ont jamais feint le piétisme, ni l'ultramontanisme — pour faire acte de «vénération des préjugés — chers aux catholiques».

C'est que le continent politiquement asservi est plus *libre moralement* que ne l'est l'Angleterre, la masse d'idées, de doutes entrés dans la circulation générale — est plus grande, la conscience plus indépendante.

La liberté de l'Anglais n'est pas en lui — mais dans ses institutions — sa liberté est dans le «Common law», dans le «habeas corpus»... Nous ne nous sentons pas à notre aise devant un tri-

bunal, dans les rapports avec le gouvernement — l'Anglais ne se sent libre que devant le tribunal ou dans un conflit avec l'autorité gouvernementale.

Les hommes feignent partout — mais ils ne comptent pas la franchise pour un crime. La hypocrisie n'est nulle part promue au degré d'une vertu sociale et obligatoire. Ce n'est pas exactement le cas en Angleterre. Le cens de l'intelligence s'est élargi, l'auditoire d'Owen n'était pas composé exclusivement d'aristocratie éclairée et de quelques littérateurs.

Certes, les David Hume, les Gibbon — ne feignaient pas une religion qu'ils n'avaient pas — mais depuis les Hume et les Gibbon — l'Angleterre a passé une quinzaine d'années enformée dans une prison cellulaire par Napoléon. D'un côté elle sortit du grand courant des intelligences, de l'autre «la médiocrité conglomérée»¹ de la bourgeoisie submergeait de plus en plus tout. Dans cette nouvelle Angleterre, les Byron et les Schelley — sont des étrangers égarés. L'un demande au vent de le mener partout où il veut en exceptant les «native shores»; à l'autre on enlève les enfants, et sa propre famille dénaturée par le fanatisme — aide la force judiciaire.

Or donc l'intolérance contre Owen ne donne aucun droit de conclure sur le degré de vérité ou d'erreur de sa doctrine — mais elle donne une mesure de l'aliénation mentale, c'est-à-dire du degré de l'asservissement moral en Angleterre et principalement de la classe qui fréquente les meetings et écrit des articles de revues.

Quantitativement la raison sera toujours subjuguée au poids elle sera toujours battue. La raison — comme l'aurore boréale — éclaire, mais existe à peine. Car c'est le sommet, c'est le dernier effort, le dernier succès — auquel le développement ne parvient que rarement. La raison toute puissante — succombera toujours à un coup de poing. Comme intelligence, comme conscience — la raison peut ne pas exister du tout. Historiquement, c'est un nouveau-né sur notre globe, elle est très jeune, comparée à ces vieillards de granit — témoins et acteurs dans les révolutions antidiluviennes. Avant l'homme, en dehors de la société humaine l'intelligence n'existe pas — il n'y a dans la nature, ni intelligence, ni stupidité — il n'y a que la nécessité des rapports, l'action mutuelle et les conséquences infaillibles. L'intelligence commence à regarder d'un regard enfantin et troublé — par les yeux de l'animal. L'instinct se développe dans la cohabitation humaine — de plus en plus en entendement. Il se forme en tâtonnant. Il n'y a pas de chemin tracé, il faut le frayer — et l'histoire — comme le poème d'Arioste — s'avancant par vingt

¹ J. Stuart Mill. *On Liberty*.

épisodes, s'écartant à droite et à gauche — tend à parvenir à un peu de raison sous le poids de l'inintelligence. Et cela grâce à une activité inquiète — plus concentrée que ne l'est l'agitation du singe, et qui n'existe presque pas dans les organisations inférieures — qu'on pourrait appeler les *satisfaits* du règne animal.

L'expression «lunatic asylum» employé par R. Owen n'est qu'une manière de dire. Les Etats ne sont pas du tout des maisons de santé pour ceux qui ont *perdu* l'esprit — au contraire, ce sont des maisons d'éducation pour ceux *qui ne l'ont pas encore trouvé*. Pratiquement Owen pouvait l'employer — car le poison ou le feu sont également dangereux dans les mains d'un enfant ou d'un fou.

La différence consiste en cela que l'état de l'un est pathologique — tandis que chez l'autre — c'est une phase d'embryogénie. Une huître représente un degré de développement de l'organisme dans lequel les extrémités ne sont pas encore formées, de fait elle est boiteuse — mais non de la même manière comme un quadrupède qui aurait perdu ses jambes. Nous le savons (mais les huîtres ne s'en doutent pas) que les essais organiques peuvent parvenir à former les jambes et les ailes — et nous regardons les mollusques — comme une vague encore montante des formes animales; tandis que le quadrupède boiteux — c'est déjà la vague descendante qui va se perdre dans l'océan des éléments et ne représente rien qu'un <cas> particulier de l'agonie ou de la mort.

Owen, convaincu que l'organisme avec des extrémités développées est supérieur à l'organisme apode, qu'il est préférable de marcher et de voler comme un lièvre ou un oiseau que de dormir éternellement dans une coquille, convaincu de plus de la possibilité de développer des pauvres parties d'un mollusque — les jambes et les ailes — il s'est tellement entraîné — qu'il crie aux huîtres: «Prenez vos coquilles et marchez!»

Les huîtres s'en offensèrent, le prirent pour un *antimollusque* — c'est-à-dire pour un être immoral dans le sens des vrais habitants des coquilles — et le maudirent. Tout cela est parfaitement naturel.

«...Le caractère des hommes se détermine essentiellement par les circonstances qui les entourent... La société *peut facilement* combiner ces conditions de manière qu'elles puissent faciliter le développement intellectuel et pratique en conservant toutes les nuances individuelles».

Tout cela est clair, et il faut avoir un degré peu commun de faiblesse d'entendement — pour ne pas comprendre ces vérités. Au reste, on ne les a jamais réfutées. Contredire par la majorité des voix, par l'immoralité de la doctrine, par son désaccord avec une telle religion ou une telle autre — n'est pas une réfutation.

Dans le pire des cas de pareilles réfutations ne peuvent aboutir qu'à la triste constatation d'une incompatibilité flagrante entre *la vérité* — et *la morale* à la sanction de l'utilité du mensonge et du danger de la vérité.

Le talon d'Achille n'est pas dans les principes d'Owen, mais bien dans sa conviction que cela soit facile pour la société de comprendre ces *simples vérités*. Toute sainte erreur d'amour, d'impatience par lesquelles ont passé tous les précurseurs d'une nouvelle ère — depuis Jésus Christ et Thomas Münster, à Saint-Simon et Fourier.

Ils ont oublié que l'intelligence chronique consiste précisément en cela que les hommes subissent l'influence de la réfraction historique et projettent les objets loin de leur véritable position. En général les hommes comprennent le moins facilement les choses simples — tandis qu'ils sont prêts à croire, et plus que cela, à *croire qu'ils les comprennent* — les choses les plus compliquées, les plus extravagantes et par leur nature totalement incompréhensibles — mais que la tradition et l'habitude leur ont rendues familières.

Simple — facile! Mais est-ce que le simple est toujours facile?

Positivement — il est plus simple de respirer par l'air que par l'eau — mais il faut avoir des poumons pour cela — et comment se développeraient les poumons chez un poisson — qui a besoin d'un appareil respiratoire bien plus compliqué — pour gagner un peu d'oxygène de l'eau qui l'entoure? — Le milieu dans lequel le poisson existe n'appelle pas l'organe à la simplicité des poumons — il est trop dense et l'organe est *ad hoc*. La densité morale dans laquelle grandirent les auditeurs de Owen — a conditionné des bronches morales adéquates au milieu et la respiration d'un air plus raréfié, plus pur — doit nécessairement produire un malaise, une irritation et partant de là une aversion.

Ne pensez pas qu'il n'y ait là qu'une comparaison extérieure... C'est une analogie réelle qui existe entre des phénomènes homologues — dans leurs phases de développement — corrélation.

Facile à comprendre! Facile à changer! De grâce... pour qui? Serait-ce par hasard pour cette foule qui remplit l'immense transept du *Crystall palace* — pour écouter avec ferveur et applaudissements les sermons d'un plat bachelier du moyen âge qui s'est égaré dans notre siècle et qui menace la foule par les maux terrestres et les foudres du ciel — en une langue vulgaire et baroque du célèbre capucin de *Wallenstein's Lager*? Ce n'est pas facile pour eux!

Les hommes sacrifient une part de leur avoir, de leur indépendance, ils se soumettent aux autorités, ils arment à grands frais des masses de fainéants, — ils bâtissent des prisons, des

tribunaux, des cathédrales — enfin ils arrangent toute la société de manière — que le refractaire de quelque côté qu'il se tourne — rencontre ou un bourreau temporel — le menaçant de la corde prête à tout finir, ou un bourreau céleste — le menaçant d'un feu qui brûlera éternellement. Le but de tout cela est l'intimidation de l'homme pour contenir ses passions qui tendent à déborder et détruire la sécurité sociale.

Au milieu de tout cela — paraît un homme étrange qui avec une naïveté offensante prêche à haute voix que tout cela n'a pas de sens commun, que l'homme n'est pas un criminel par droit de naissance, qu'il est innocent et irresponsable comme tous les autres animaux — mais qu'il a un avantage immense sur eux — c'est qu'il est beaucoup plus *éducable*. Partant de là, cet homme ose affirmer en présence des juges et des prêtres qui n'ont d'autres raisons d'existence que le châtement et l'absolution — que l'homme ne fait pas lui-même son caractère, comme il ne fait pas sa vue ou son nez; que si l'on mettait l'homme dans des circonstances qui ne le provoqueraient pas aux vices — cela serait un brave homme. Tandis que maintenant la société le déprave — et les juges punissent non la société — mais l'individu.

Et R. Owen pensait que c'est facile à comprendre? Allons donc!

Il ne savait pas probablement qu'il est beaucoup plus facile pour nous de comprendre qu'on a pendu un chat — convaincu d'un souricide prémédité, de comprendre qu'un chien a reçu la croix de la légion canine — pour le zèle qu'il a déployé dans l'arrestation d'un lièvre — que de s'imaginer un enfant de deux ans — qui n'a pas été puni pour une espièglerie?

Ce n'est pas facile de se convaincre que la vengeance soutenue par la société entière contre le criminel est lâche, et qu'entrer en concurrence avec lui et lui faire — à propos délibéré, froidement et avec toute la sécurité possible autant de mal qu'il a fait, entraîné par les circonstances et les passions, à ses risques et périls — est infâme et stupide. C'est beaucoup trop raréfié pour nos bronches... cela les écorche... Nous nous sommes habitués à entendre les cris des hommes martyrisés par la torture ou mourants de faim... Cela rend l'organe dur!

Dans l'obstination timide et acharnée des masses... à se cramponner aux formes étroites et vieilles — il y a une reminiscence instinctive — de grands services rendus par elles. C'est un reflet de gratitude au prêtre et au bourreau. Car le gibet et l'autel, la crainte de la mort et la crainte de Dieu, la peine capitale et l'immortalité de l'âme, la cour criminelle et le dernier jugement... tout cela, il fut un temps, étaient des marche-pieds pour le progrès, — c'étaient des échafaudages, des échelles par lesquelles les hommes atteignaient la tranquillité de la vie sociale,

c'étaient des pirogues dans lesquelles, bafoués par tous les vents, sans connaître de route, ils arrivèrent peu à peu — dans les ports—où on pouvait enfin se reposer un peu—du travail de la terre et du travail de sang, trouver un peu de loisir et de cette sainte oisiveté qui est la première condition du progrès, de l'art, de la poésie, de la liberté.

Pour conserver ce peu de repos acquis, les hommes entourèrent leurs ports — de phantômes et d'instruments de torture. Ils donnèrent à leur roi — un bâton et une hâche, ils reconnurent au prêtre le droit de maudire et de bénir, de faire descendre des cieus les foudres—pour les mauvais, et la pluie génératrice—pour les bons.

Mais comment donc les hommes inventèrent eux-mêmes des épouvantails — et en ont eu peur? Les épouvantails n'étaient pas toujours phantastiques — et lorsqu'on s'approche de nos jours des villes en Asie Centrale, par un petit chemin bordé de gibets, sur lesquels sont perchés — des squelettes contordus — il y a de quoi réfléchir... Secondement, il n'y a pas d'invention préméditée; nécessité de défense et l'imagination ardente de l'enfance — menèrent les hommes à ces créations devant lesquelles ils s'inclinèrent eux-mêmes. Les premières luttes des races — des tribus — devaient aboutir à la conquête. L'esclavage des conquis était le berceau de l'Etat, de la civilisation, de la liberté. L'esclavage mettant en opposition une minorité des forts — avec une multitude des faibles — permit au conquérant de manger plus et travailler moins, — ils inventèrent des freins pour les conquérir — et se prirent eux-mêmes en partie par ces freins. Le maître et l'esclave croyaient naïvement que les lois étaient dictées au milieu des éclairs et orage par Iehova au mont Sinaï — ou doucement chuchotées à l'oreille du législateur par quelque esprit intestinal...

Pourtant à travers une infinité de décors et des habits les plus bariolés — il est facile de reconnaître les bases invariables qui ne font que se modifier, restant les mêmes depuis le commencement de la société jusqu'à nos jours — dans chaque église, dans chaque tribunal. Le juge en robe et perruque blanche, avec une plume derrière l'oreille et le juge tout nu, tout noir, avec une plume à travers le nez — ne doutent pas que dans de certaines circonstances tuer un homme — n'est pas seulement un droit — mais un devoir.

La même chose dans les affaires de religion. La ressemblance entre l'incohérente absurdité des conjurations et exorcismes employés par un chaman sauvage ou un prêtre de quelque tribu qui se cache dans la foule — et le fatras de rhétorique bien arrangée d'un archevêque saute aux yeux. *L'essence* de la question religieuse — n'est pas dans la forme et la beauté de la conjuration —

mais dans la foi en un monde existant hors des frontières du monde matériel, agissant sans corps, sentant sans nerfs, raisonnant sans cervelle et par dessus ayant une action immédiate sur nous non seulement après notre passage à l'état d'éther — mais même de notre vivant. C'est le fond — tout le reste n'est que nuance et détail. Les dieux de l'Égypte avec la tête canine, les dieux de la Grèce avec leur beauté plastique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Joseph—Mazzini et de Pierre-le-Roux c'est toujours le Dieu si clairement défini par l'Alcoran: «Dieu est Dieu!»

Et jusqu'à ce qu'il en reste *quelque chose* d'extramondain — le développement peut aussi aller jusqu'à une certaine limite — et pas plus loin. La chose la plus difficile à passer dans un Etat c'est la frontière.

Le catholicisme — religion des masses et des olygarches — nous opprime plus, mais ne rétrécit pas autant l'esprit — comme le catholicisme bourgeois du protestantisme. Mais l'église sans église, le déisme rationnel se faisant en même temps logique médiocre et religion bâtarde est indéracinable chez les hommes qui n'ont pas assez d'esprit — pour raisonner jusqu'au bout, ni assez de cœur—pour croire sans raisonner¹.

¹ Moïse connaissait bien son monde lorsqu'il mettait dans le premier commandement une défense de diviniser toute chose, il n'y a pas d'abstraction logique, pas de nom collectif, pas de généralité — qui n'aient été pour un certain temps promus au rang de divinité. Les iconoclastes du rationalisme faisant une guerre acharnée contre les idoles, s'étonnaient de voir qu'à mesure qu'ils terracent les dieux de leurs piédestals — d'autres poussent à leur place d'une matière moins dense. Et le plus souvent ils ne s'étonnent même pas — car ils acceptent ces nouveaux dieux — tout de bon — pour les vrais.

Des naturalistes qui se croient matérialistes parlent des plans prémédités — dans la nature, de son économie et autres bonnes qualités. Comme si la «*natura sic voluit*» était plus claire que «*fiat lux*». C'est du fétichisme à la troisième puissance. A la première — boue le sang de S. Janvier, à la seconde — on fait descendre la pluie pendant la sécheresse—à la troisième—on découvre les arrière-pensées des éléments, les conspirations tramées par les affinités chimiques et on apprécie l'intendance de la nature — qui prépare autant de jaune d'œufs qu'il y a d'embryons. Il y a peu de sujets plus pitoyables que les dissertations superbes des protestants — prouvant avec ironie et amertume — ce qu'il y a d'absurde à croire aux miracles opérés par le sang de S. Janvier — et ne doutant pas le moindre du monde de l'efficacité météorologique d'une prière de l'archevêque. Comme si c'était plus difficile pour le bon Dieu de faire bouillir le sang de S. Janvier, que d'arroser en septembre les champs protestants. C'est ridicule, mais il y a là quelquefois — une simplicité si naïve et une bonhomie si simple qu'on ne s'en indigne

Le roi chasseur qui juge avec sa lance et sa hâche peut très facilement changer de rôle — si la lance de l'accusé est la plus longue. Le juge avec la plume à travers le nez sera probablement entraîné par les passions et provoquera ou un soulèvement ou une opposition passive de défiance et de terreur mêlée avec du mépris, comme en Russie — où l'on se soumet à la décision d'un tribunal — comme on se soumet au typhus, au malheur d'avoir rencontré un ours. Autre chose dans les pays où la législation est respectée de part et d'autre — la stabilité est autrement grande, personne ne doute dans la justice du tribunal — sans même excepter le patient qui joue le premier rôle et qui s'achemine vers la potence — dans la plus profonde conviction de l'urgente nécessité qu'on le pende.

Outre la crainte de liberté, cette crainte que sentent les enfants lorsqu'ils commencent à marcher seuls, outre l'attachement d'une longue habitude — à toutes ces cordes et garde-foux — couverts de sang et de sueur, outre la vénération pour ces bateaux—arches de salut — dans lesquels les peuples ont traversé maintes orages — il y a encore d'autres contreforces qui soutiennent ces formes croulantes. Le peu d'intelligence de la foule ne peut pas comprendre un nouvel ordre de choses, et la préoccupation timorée des propriétaires ne le veut pas. La classe la plus active et la plus puissante de nos jours — la bourgeoisie — est prête de trahir ces convictions — de s'agenouiller sans foi devant l'autel, se prosterner devant un trône, s'humilier devant l'aristocratie — qu'elle déteste et payer les soldats qu'elle abhorre, être enfin menée à la laisse — pourvu qu'on ne coupe pas la corde par laquelle on tient la foule.

Et en effet — ce n'est pas sans danger de la couper.

Les calendriers ne sont pas les mêmes en haut et en bas. En haut le XIX^e siècle, au rez-de-chaussée tout au plus le XV^e — et en descendant encore on arrive en pleine Afrique... ce sont des Caffres, des Hottentots de divers couleurs, races et climats.

Si on pense sérieusement à cette civilisation qui se cristallise

pas. Le piétisme idéaliste dans la physiologie ou la géologie est bien autrement révoltant.

C'est une concession, un compromis entre la vérité connue et le mensonge adopté, entre la conscience et les vues personnelles; c'est une trahison de la science, c'est une simonie d'un autre genre — ou une déviation étonnante de la dialectique — que peut on dire à un naturaliste qui se met à s'extasier avec piété de la bonté infinie et de la sagesse sans bornes de la providence qui a donné les ailes — précisément aux oiseaux... Sans les ailes ces pauvres créatures seraient tombées... et se seraient cassé le cou! N'est-ce pas — c'est pour cela qu'ils chantent chaque matin leur prière ornithologique!

en bas par les *lazzaroni* et le mob de Londres... par des êtres humains qui, rebroussant le chemin, retournent aux singes — et qui s'épanouit aux sommets par les mérovingiens rabougris de toutes les dynasties, par les chétifs Aztèques de l'aristocratie — et si on pense que sa partie saine et intelligente et forte — est représentée par la bourgeoisie — alors la tête peut bien tourner. Imaginez-vous une ménagerie pareille — sans église, sans baïonnette, sans tribunal, sans prêtre, sans roi, sans bourreau?...!

Que R. Owen prenait ces forts séculaires de la théocratie et de la jurisprudence — pour quelque chose de mort, de faux à force de se survivre, c'est claire, mais lorsqu'il les sommait de se rendre — il comptait sans son hôte, sans le commandant et la brave garnison. Il n'y a rien de plus obstiné qu'un mort, on peut mettre en pièces un cadavre mais c'est impossible de le convaincre. Et quels morts — ce ne sont pas les feus bambocheurs de l'Olympe, auxquels on est venu dire — pendant qu'ils discutaient des mesures à prendre contre les libres penseurs d'Athènes — qu'on a prouvé dans cette ville de Pallas — qu'ils n'existaient pas du tout. — Les dieux pâlirent, perdirent la tête, s'évaporèrent et disparurent — si on en croit Lucien. Les Grecs, hommes et dieux, étaient plus naïfs. Les dieux servaient à ces grands enfants de poupées, les Grecs aimait l'Olympe par un sentiment artiste. La bourgeoisie soutient le jésuite et l'*Old Shop* — à tant pour cent, comme une sécurité de transaction — allez-moi prendre cela par la logique.

...A travers tout cela une question grave et triste perce et se fait jour, question bien autrement importante que celle de savoir si Owen avait raison ou tort... la question de définir si en générale *l'indépendance morale et l'intelligence libre de toute entrave* — est compatible avec *l'existence de l'État*?

Nous voyons dans l'histoire que les hommes vivant ensemble tendent continuellement à une autonomie raisonnée — et qu'ils restent constamment dans l'asservissement moral. La tendance, la disposition ne garantit pas la possibilité du succès. — Que le cerveau humain soit un organe qui n'est pas arrivé à son état le plus développé — et qu'il a une tendance à y parvenir — c'est difficile de nier — mais s'il y parviendra ou s'il périra à mi-chemin comme périrent les mastodontes et les ichtyosaures — ou s'arrêtera dans un *statu quo* — comme le cerveau des animaux existants — ce sont des questions qui ne sont pas du tout faciles à être résolues. Et si elles le seront — certes, ce n'est ni par l'amour de l'humanité ni par la déclamation sentimentale et mystique.

Nous rencontrons dans toutes les sphères de la vie des antinomies indissolubles, ces asymptotes qui s'approchent éternellement de leurs hyperboles sans jamais les atteindre — ce sont

comme des phares, des limites, des *nec plus ultra* — entre lesquels se balance, se meut et s'écoule la vie réelle.

Les cris des phares, les hommes qui protestent ont existé de tout temps dans chaque civilisation — principalement en décadence. Ce n'est que l'exception, que la limite supérieure, que la puissante transgression subjective, l'effort suprême — chose rare comme le génie, comme la beauté, comme une belle voix.

Sommes-nous plus prêts de la liberté de conscience, de notre souveraineté individuelle, de notre autonomie morale — par toutes les paroles et doctrines d'un prophète-précurseur?

L'expérience nous oblige d'être circonspects. Voilà un exemple. De mémoire d'hommes il n'y avait jamais un tel concours de toutes les conditions les plus propices — pour un développement rationnel d'un être libre comme aux Etats-Unis en Amérique.

Tout ce qui empêche le progrès des Etats sur un sol épuisé par une longue histoire ou complètement sauvage — n'existait point. Les doctrines du XVIII^e siècle, des grands penseurs de la grande révolution sans le militarisme français, le *common law* de l'Angleterre — sans les castes aristocratiques — formèrent le fondement de leur édifice social.

A quoi l'Europe osait rêver à peine — était de prime abord donné en Amérique — république, démocratie, fédération, autonomie de chaque partie et la ceinture à peine tangente de l'Etat confédéré — avec un nœud faible — et prêt à se délier. Eh bien, les résultats?

La société, la majorité — a usurpé les droits d'un dictateur et d'un sbire. Le peuple lui-même s'est fait Nicolas et la rue Jérusalem. Les persécutions au Sud pour les opinions et paroles, — avec leur bannière chantée — «L'esclavage ou la mort!» ne cèdent en rien aux persécutions du roi de Naples ou de l'Autrichien.

C'est vrai qu'au Nord — «l'esclavage» n'est pas un dogme religieux. Mais que dire du niveau intellectuel et de la liberté de conscience d'une population d'arithméticiens — qui après avoir fermé leurs livres de compte — tournent les tables et font des conversations avec les *rapping spirits*?

Nous trouvons — avec moins de grossièreté — quelque chose de pareil en Angleterre, en Suède — c'est à dire dans les pays les plus libres de l'Europe. Pouvons-nous conclure de là — que moins le pays est opprimé par son gouvernement, plus il est opprimé par la masse, qu'à un gouvernement tolérant correspond une opinion publique persécutant comme l'inquisition? La famille, la paroisse, le club vous épient, vous empoisonnent la vie... Je n'en sais rien, mais le doute est possible. L'histoire paraît être ce jeu des aspirations sociales — vers l'indépendance de l'individu, de la raison — une aspiration qui *semble* se réaliser mais

la réalisation desquelles — est complètement incompatible avec l'existence de l'Etat... Systole et diastole de la circulation humaine.

Nous confessons franchement de ne pas connaître la réponse à cette question... mais nous ne voulons non plus accepter une solution toute faite — derrière notre dos. Jusqu'à présent l'histoire la résout d'une manière, et quelques penseurs éminents, dans leur nombre notre R. Owen, — d'une autre. Owen a une foi inébranlable, cette foi des grands philosophes du XVIII^e siècle (qu'on a surnommé *le siècle des incrédules!*) que non seulement l'humanité parviendra un jour à une organisation rationnelle — mais que nous sommes à la veille d'exiger notre toge virile... Quant à cette dernière assertion, il nous semble que les tuteurs, pasteurs ménins et bonnes peuvent encore tranquillement dormir et manger aux frais de leurs pupilles. Tant que notre siècle dure — les hommes d'aucun pays ne demanderont pas les droits des majeurs — et se contenteront encore des petits jouets — et du col rabattu à l'enfant.

Il y a mille raisons à cela. Et d'abord pour qu'un homme puisse arriver au *simple bon sens* — il faut qu'il soit un géant; quelquefois même les forces les plus colossales ne peuvent suffire pour se frayer un passage à travers les morts et les spectres — de la tradition. Prenez un état social bien et carrément assis sur ses bases comme en Chine ou au Japon.

Du moment où l'enfant ouvre ses yeux avec un sourire — en regardant sa mère, — jusqu'au moment où il les referme, presque avec le même contentement — ayant fait sa paix avec Dieu et assuré un bon placement qu'on lui fera occuper pendant un petit somme qu'il fera — tout est disposé pour qu'il ne puisse voir clair, avoir une seule notion simple. Il suce avec le lait de sa mère je ne sais quelle belladone — qui lui tourne la tête — pas un sentiment ne reste intact, pas une passion qui ne soit détournée de sa voie naturelle. L'éducation de l'école continue en aggravant l'œuvre de l'éducation domestique — en généralisant, en justifiant théoriquement — les pratiques et règles de la maison, donnant une base scolastique à tous les mirages, en habituant les enfants de *connaître sans comprendre* et d'accepter les *noms pour des définitions*.

L'homme ahuri — continue à exister dans un monde d'illusions optiques, perd l'instinct de la vérité, le goût de la nature et doit certainement avoir une force énorme d'intelligence pour s'en apercevoir et peut-être encore plus de courage — pour sacrifier tout s'il le faut et sortir — déjà chancelant et ivre de la malaria qui l'entoure.

R. Owen aurait répondu à cela — que c'est nommément par ces considérations qu'il est venu à la conclusion — qu'il fallait

commencer la régénération sociale — non par un phalanstère, non par Icarie — mais par *l'école*.

Il avait raison, et encore plus, il a prouvé pratiquement qu'il l'avait. Devant l'exemple de New Lanark — ses adversaires se taisent, le maudit New Lanark ne peut être digéré par les gens qui accusent le socialisme — de ne s'occuper que d'utopie — sans savoir réaliser le moindre détail. N. Lanark était là en chair et os pour répondre à tous ces Saint Thomas de l'économie politique — tout le monde y allait — ministres, ducs, fabricants, lords et même évêques. — Un sceptique, le docteur du duc de Kent n'y croit rien, le duc lui propose d'y aller et de voir de ses propres yeux — le docteur Mac-Neb y va et commence sa première lettre par ces mots: «Mon rapport à demain, je suis trop ému, de ce que j'ai vu — plus d'une fois je sentais des larmes dans mes yeux».

Sur cet aveu magnifique en faveur de N. Lanark — je m'arrête et je constate qu'Owen a donné une grande preuve à sa doctrine de l'éducation — par sa réalisation.

Comment donc cela se fit que N. Lanark, étant au sommet de son bien-être — au milieu de la plus énergique, de la plus ardente activité d'Owen — croula et se transforma en une école — un peu moins vulgaire, peut-être, que les autres — mais très vulgaire? Est-ce qu'Owen s'était ruiné? Est-ce qu'il y avait dissidence parmi les maîtres, mécontentement de parents, insubordination des enfants?.. Rien de pareil, au contraire, la fabrique allait parfaitement bien, les revenus s'augmentaient, les ouvriers quittaient complètement l'ivrognerie et le vol, l'école étonnait le monde. Quel malheur est donc tombé sur N. Lanark? /

Un beau matin l'école de N. Lanark vit entrer deux sinistres figures habillées en noir, d'une gravité comique, dans des chapeaux très bas et des pardessus d'une coupe préméditativement laide. C'étaient deux braves et pieux quakers — copropriétaires de N. Lanark. Ils froncèrent les sourcils en voyant les figures charnellement gaies des enfants, ils devinrent sombres en les entendant chanter de la musique *de ce monde* et baissèrent leurs yeux — s'apercevant que les petits garçons n'avaient pas d'«inexpressibles»! — Bon Dieu!

Ces malheureux enfants ne ressentaient aucun remords de la première chute d'Adam — et les quakers secouèrent la tête avec tristesse... Owen pour conjurer la première attaque répondit par un trait de génie — par le chiffre de l'accroissement du gain. Ce chiffre annuel était si grand qu'il arrêta pour un certain temps le zèle religieux des quakers. Mais dans quelque temps leur conscience se réveilla — et cette fois héros du devoir et résolu de ne pas céder, ils exigèrent l'abolition de la danse, du chant laïc, des manœuvres par groupes — pour cela ils permettaient aux enfants de se récréer en chantant les psaumes.

R. Owen quitta la direction de N. Lanark — et ne pouvait agir autrement.

Les saints commencèrent leur administration apostolique (comme nous le voyons dans la biographie d'Owen) — par augmenter les heures du travail dans les fabriques — mais aussi ils diminuèrent le salaire.

/ Voilà comment N. Lanark est tombé.

Il ne faut pas oublier que le succès entier d'Owen nous montre une chose de la première gravité et tout à fait méconnue — c'est que le pauvre prolétaire — privé de toute culture, habitué à l'état de guerre sourde — avec le propriétaire, ne s'oppose au fond aux innovations qu'au commencement, et cela par méfiance — dès qu'il comprend qu'il n'est non plus oublié dans le changement, — dès qu'il acquiert confiance, il se soumet avec docilité à un nouveau régime.

Le salut n'est pas de ce côté.

Geintz — valet de chambre littéraire assez famé du prince Metternich — assis un beau jour pendant un grand dîner à Francfort à côté d'Owen lui dit :

— Supposons que vous eussiez réussi — eh bien, quoi ?

R. Owen, un peu surpris, lui répondit :

— Comment quoi ? Mais c'est évident. Le bien-être des classes nécessiteuses se serait tellement accru, que chacun serait mieux nourri, mieux logé, mieux élevé...

— Mais... c'est précisément ce que nous ne voulons pas, — lui répondit le Ciceron du Congrès de Vienne. Celui-là avait au moins le mérite de la franchise...

...Du moment où les prêtres, boutiquiers et leurs consorts s'aperçurent que le but de N. Lanark n'était pas du tout une plaisanterie, lorsqu'ils en devinèrent la portée — la perte de N. Lanark était décidée d'une manière immuable.

Et voilà pourquoi la chute d'un petit hameau en Ecosse avec sa fabrique et son école — a pour nous le sens d'un grand malheur historique. Les ruines de N. Lanark remplissent l'âme de réflexions peut-être plus tristes, plus tragiques — que d'autres ruines ne réveillaient dans l'âme de Marius... Le réfugié Romain était assis sur le tombeau d'un vieillard qui a fait son temps... Nous le pensons assis près d'un berceau — nous regardons le cadavre d'un enfant... qui promettait beaucoup et qui s'est éteint par la faute et la concupiscence des tuteurs qui craignaient ses droits à l'héritage.

Chapitre III

Nous avons vu que R. Owen doit être acquitté devant le tribunal de la logique, ses déductions sont non seulement d'une

pialectique irréprochable — mais plus que cela — justifiées par la réalisation. Ce qui manquait à sa doctrine — *c'est l'entendement des masses.*

— Affaire de temps — il viendra un jour — elles comprendront.

— Qu'en savez-vous, peut-être oui — peut-être non!

— C'est impossible d'admettre que les hommes ne puissent jamais parvenir à bien entendre leur propre intérêt.

— Pourtant c'était ainsi de tout temps. C'est précisément à ce manque d'entendement que suppléait l'église et l'Etat. Et nous voilà dans un cercle logique — car d'un autre côté l'église et l'Etat — empêchent le développement intérieur. Owen s'imaginait qu'il suffisait de montrer aux hommes l'absurdité de quelque chose pour qu'ils s'empressent à la renier — mais il n'en est rien. L'absurdité de l'Etat et encore plus de l'église — est évidente, mais cela ne leur fait pas beaucoup plus de mal que la critique la plus raisonnée ne change les contours des montagnes et la direction des fleuves. Leur inébranlable stabilité — n'est pas basée sur l'intelligence — mais sur son défaut. L'histoire s'est créée — grâce aux absurdités les plus phantastiques. Les hommes cherchaient de tous temps la réalisation des rêves, de leur idéal — et chemin faisant réalisaient tout autre chose. Ils cherchaient l'arc-en-ciel et le paradis sur la terre — et trouvaient des chants immortels, et créaient des statues éternelles, et bâtissaient Athènes et Rome, Paris et Londres.

Un rêve cède à un autre — le sommeil est quelquefois très léger, mais jamais le réveil n'est entier. Les hommes acceptent tout, sacrifient beaucoup — mais reculent d'horreur, lorsque entre deux religions s'ouvre une fente par laquelle pénètre la lumière matinale et souffle la brise fraîche de la raison et de la critique.

Les hommes isolés qui se réveillent quelquefois et protestent contre les dormeurs — ne font qu'un acte de constatation qu'ils sont réveillés, et partant de ce qu'il est *possible* à l'homme de se développer jusqu'à l'entendement raisonné — mais ils ne réveillent personne, ou bien peu <de monde>. Si ce développement exceptionnel peut se généraliser ou non — c'est une question. L'induction prise du passé n'est guère favorable pour la solution positive. C'est possible que le futur ira tout autrement, de nouvelles forces se produisent, de nouveaux éléments peuvent entrer et changer (en bien ou en mal) le courant. La découverte de l'Amérique, les chemins de fer, le télégraphe — ont fait une révolution qui n'est pas moindre des révolutions géologiques. Tout cela est *possible*, mais nous ne pouvons dès aujourd'hui compter sur les choses que nous ne connaissons pas; admettant les meilleurs chances, nous pouvons pourtant être convaincus

que cela ne sera pas desi tôt que l'homme arrivera par masses au *bon sens*.

Si l'on pense que la nature restait des milliers et des milliers <d'années> dans la léthargie minérale et se contentait d'autres milliers à nager comme poisson, à chanter comme oiseau, à errer dans les bois comme bête fauve — on peut arguer de là que le délire historique avec ses rêves phantastiques pourra suffire pour longtemps d'autant plus que ce délire continue largement la plasticité de la nature — épuisée dans les autres sphères.

Les hommes qui ont eu la chance d'ouvrir les yeux — sont impatients avec les dormeurs — sans prendre en considération que tout le milieu, qui les entoure, les endort et les empêche de se réveiller. La vie depuis le foyer de la famille et l'économie culinaire jusqu'aux foyers du patriotisme et l'économie politique — n'est qu'une série d'images optiques. Pas une notion simple et lucide pour voir clair dans ces brouillards, pas un sentiment naturel laissé intact, pas une question qui ne soit déracinée de son sol et placée sur un autre.

Prenez au hasard une feuille de journal — ouvrez la porte d'une maison — regardez ce qui se passe — et vous verrez quel Robert Owen peut y faire quelque chose. Les hommes souffrent avec résignation — pour des absurdités, meurent pour des absurdités, tuent les autres pour des absurdités. L'individu dans des soucis éternels, alarmé, nécessiteux, entouré d'un vacarme épouvantable, n'ayant pas un moment pour réfléchir — passe soucieux et inquiet sans même jouir. A-t-il un peu de repos — il se hâte de suite à tresser une toile d'araignée entière par laquelle il se prend soi-même et ce qu'il appelle le bonheur de famille s'il n'y trouve pas la faim et les travaux forcés à perpétuité — il invente peu à peu ces persécutions acharnées et sans fin — qui au nom de l'amour paternel ou conjugal — font haïr les liens les plus saints...

Les préoccupations et les soucis de chaque fourmi isolée ou de toute la fourmillière — ne se distinguent presque pas. Regardez ce que l'individu veut, ce qu'il fait, à quoi il parvient, quelles sont ses notions du bon et du mauvais, de *l'honneur et de l'opprobre*. Regardez à quoi il consacre ses derniers jours, à quoi il sacrifie ses meilleurs moments — ce qu'il prend pour *«business»* et ce qu'il prend hors d'œuvre — et vous verrez que vous êtes en plein chambre d'enfants, — où les chevaux ont des roues sous les pieds, où les poupées sont punies — avec autant de sérieux — par les enfants, qu'eux-mêmes sont punis par les bonnes... S'arrêter, réfléchir est impossible — vous ruinerez les affaires, on vous poussera, on vous débordera, tout le monde est trop compromis, trop avancé dans le courant, pour faire halte et pour quoi? — pour écouter une poignée d'hommes sans canons.

sans argent, sans pouvoir — qui proteste au nom de la raison — sans même avoir des miracles pour prouver leur vérité.

Un Rotschild, un Montefiore s'empresse d'aller dans son bureau, il lui faut commencer la thésaurisation de la seconde centaine de millions — tout va bien et très vite, — on meurt en Brésil de la fièvre, en Italie de la guerre, l'Amérique se brise... l'Autriche a le miserere — et on lui parle de l'irresponsabilité de l'homme et d'une distribution des biens... Il n'écoute pas. C'est évident, pourquoi voulez-vous qu'il perde son temps?

...Un Mac-Mahon a travaillé des années à méditer un bon plan pour anéantir dans le temps le plus court, et à moindre frais — la plus grande quantité possible d'hommes habillés en uniforme blanche — par des hommes en pantalons rouges — il a parfaitement réussi, tout le monde en est touché, les Irlandais qui en qualité de papistes ont été battus par lui — lui envoient une épée... et voilà que des hommes prêchent que la guerre est non seulement une barbarie atroce et absurde — mais un crime... il ne les écoute pas — et regarde son épée d'Ile de l'Émeraude.

Je connaissais en Italie un vieux banquier — chef d'une grande maison. Ne pouvant dormir la nuit, je m'habillai et j'allai faire une longue promenade, en retournant vers cinq heures du matin — je passai devant sa maison. Il y avait grande activité — des ouvriers roulaient des barils d'huile et les rangeaient sur des charriots. Le vieillard en long pardessus était là, il notait dans un livre chaque baril. Le vent du matin était frais — le vieillard était transi de froid, les lèvres pâles et les mains tremblantes:

— Vous êtes bien matinal? — lui dis-je.

— Il y a plus d'une heure que je suis là.

— Vous souffrez du froid — comme si vous étiez en Russie?

— Que voulez-vous, la vieillesse, les forces commencent à m'abandonner. Vos amis (il parlait de ses fils) — dorment encore... puisque le vieux père est encore là pour travailler. Je n'en plains pas... j'aime le travail... j'appartiens à une autre génération... j'ai beaucoup vu, j'ai vu quatre révolutions — et je restai à ma place, et pas un baril d'huile est sorti — sans que je l'aie noté. Une fois fini avec l'huile je m'en vais au bureau — c'est là que je prends aussi mon café.

— Vous ne vous gêtez pas!

— L'habitude, cher monsieur, et s'il faut dire toute la vérité, lorsque *je n'ai rien à faire, je m'ennuie, je deviens triste.*

«Le vieillard, — pensai-je en m'éloignant, — mourra demain ou après-demain, — qui donc fera le contrôle de l'huile?.. ou peut-être alors son fils aîné se sentira aussi „d'une autre génération“, se lèvera à quatre heures du matin et continuera cela un demi-siècle — et de père en fils, de frère en frère — la fortune

ira croissante tant qu'elle n'arrive à un des dynastes (très probablement le meilleur de tous) qui aimera d'autres distractions que de noter les barils... et toute cette richesse passera par une maison de jeu ou par le boudoir d'une lorette, et les braves gens diront... en secouant la tête: „Si on pense quels parents — et un tel fils — enfant prodigue... quels temps, quelles mœurs... Les vieillards se refusaient tout à eux-mêmes (aux autres aussi) — pour lui laisser des monceaux d'or — et ce misérable — il les a donnés à cette... vous savez... a cette Colombine“.

Allez donc par la logique seulement voir — toucher les chairs à travers cette croûte — par la seule logique.

R. Owen en leur prêchant un autre emploi des forces et d'autres buts — ne pouvait convaincre les mauvais mécaniciens, mais les effaroucha. Ce n'est que l'intelligence qui est tolérante et pleine de condescendance, de douceur.

Nous avons vu qu'Owen s'étant heurté contre le mur de l'église — l'escalada — mais de l'autre côté il se vit tout seul, personne ne le suivit, et les pieux lui jetaient des pierres...

A la longue il se serait de la même manière cassé le cou — en se heurtant à *l'autre seuil*, il serait resté seul et conquis — aussi au delà de l'autre *valve de la coquille*.

La foule ne s'acharna pas dès le commencement contre lui — pour son hérésie juridique de l'irresponsabilité parce que l'Etat et le tribunal ne sont pas populaires comme l'église. Mais pour le code criminel, se seraient levés à la longue des gens autrement ferrés que quelques théofous de quakers ou des rhéteurs piétistes.

Un homme qui s'estime n'ira pas sérieusement discuter des vérités de catéchisme, sachant bien qu'elles ne peuvent supporter la moindre critique. Qui donc entreprendra la justification raisonnée de l'immaculée conception ou de l'identité des recherches géologiques de Moïse et de Murchison.

Bien loin de là — *l'église laïque* — du droit — a une base autrement puissante. Leurs dogmes de foi sont acceptés — comme des vérités prouvées, absolues, comme des axiomes irrécusables.

Les hommes qui ont eu l'audace de renverser les autels — n'osèrent jamais toucher le tribunal. Anacharsis Cloots et ses amis qui osèrent appeler à haute voix Dieu par son nom — *Raison*, n'étaient pas moins convaincus de la toute-puissance du «*Salus populi*» et des autres *commandements* criminels et civils que ne l'étaient les prêtres du moyen âge dans la vérité du droit canonique et dans la justice de brûler les sorciers.

Naguère encore un des hommes les plus puissants de notre siècle, un des penseurs les plus courageux — pour porter le coup de grâce à l'église — la sécularisa — et en fit un tribunal. — Arrachant l'Isaac qu'on allait immoler à Dieu des mains d'un prêtre, <il> le livra au tribunal et le sacrifia à la justice humaine.

La dispute sécularie — sur *le libre arbitre et la prédestination* — n'est pas terminée. Owen n'était ni le premier, ni le seul de nos temps à en douter de la responsabilité de l'homme. Vous trouverez ce doute chez Bentham et chez les fouriéristes, chez Kant et chez Schopenhauer, chez les médecins et les physiologues — et ce qui est plus fort que tout cela — vous trouverez plus que du scepticisme dans les chiffres de la statistique criminelle. Dans tous les cas *la question n'est pas résolue* — mais tout le monde est d'accord *qu'il est juste de punir un criminel et cela en proportion de son crime*. — Chacun est d'accord sur cela.

De quel côté est donc le *lunatic asylum*?

«La peine c'est le droit inaliénable du criminel!» — a dit lui-même, le divin Platon.

C'est dommage qu'il a fait lui-même ce calembour — et enfin si c'est le droit du criminel — laissez-lui la faculté de le réclamer — moi je suis de l'avis qu'on peut faire donner des coups de bâton à un homme qui en exige lui-même.

Bentham définit le criminel — mauvais calculateur... lorsqu'on fait une faute de calcul on en subit les conséquences — mais ce n'est pas un droit. Spinosa convient qu'on est quelquefois dans la nécessité de tuer un homme malfaisant — *comme on tue un chien enragé*. Les penseurs ne sont peut-être pas assez *divins* — mais ils sont plus *humains* que Platon.

La différence de ces deux points de vue est immense... et les juristes répudient avec connaissance de cause l'opinion que le châtement n'est rien qu'une *défense vindicative* de la société. Dans la guerre on est beaucoup plus franc — pour tuer un ennemi on ne cherche pas de prouver qu'il a mérité la mort, on ne dit pas même que cela soit juste — on terrasse un adversaire, et voilà tout.

— Mais avec des notions pareilles il faudra fermer le Palais de Justice.

— Une fois on a déjà changé les basiliques en églises; si on les change en écoles maintenant — les portes pourraient rester encore plus ouvertes.

— Mais avec de pareilles notions — il n'y a pas de gouvernement qui pourrait se tenir.

— A cela Owen aurait la faculté <de répondre> à la manière du premier frère historique: «Qui donc m'a chargé de la conservation du gouvernement?»

— Il n'en parle pas des gouvernements — c'est vrai. Sous ce rapport c'est un grand diplomate — il était ami avec tous les gouvernements et tous les gouvernants... avec la reine, le président de Washington, les torys et le tzar.

— Est-ce qu'Owen était moins bien avec les catholiques qu'il n'a été avec les protestants et autres sectaires?

- Pensez-vous qu'il ait été républicain?
- Je pense qu'il préfère la forme du gouvernement la plus adéquate, la plus correspondante à son église.
- Quelle église — il n'en a pas.
- Eh bien?
- C'est pourtant impossible pour un Etat de ne pas avoir un gouvernement quelconque.
- Sans doute... même un très mauvais. Hégel raconte qu'une pauvre vieille femme disait — à ceux qui se plaignaient du mauvais temps: «Mais c'est toujours mieux d'avoir un mauvais temps, que de n'en avoir pas du tout».
- Amusez-vous autant que vous voulez — mais *l'Etat* périra avec le gouvernement.
- Et que cela me fait?

Chapitre IV

L'histoire de la révolution nous présente un essai d'un changement radical des bases de la société actuelle — *par la voie gouvernementale* et avec la conservation d'un *pouvoir fort*.

Les décrets du gouvernement qui allait se former — nous sont restés, avec leur préambule —

Egalité Liberté
Bonheur commun

et quelquefois avec l'alternative — ou la Mort!..

Ces décrets comme il fallait s'attendre commencent par le décret de police.

Art. 1. Les individus qui ne font rien pour la patrie ne peuvent exercer aucun droit politique, ce sont des étrangers auxquels la république accorde l'hospitalité.

Art. 2. Ne font rien pour la patrie ceux qui ne la servent pas par un travail utile.

Art. 3. La loi considère comme travaux utiles ceux de l'agriculture, de la vie pastorale, de la pêche et de la navigation,
Ceux des arts mécaniques et manuels;
Ceux de la vente en détail;
Ceux du transport des hommes et des choses;
Ceux de la guerre;
Ceux de l'enseignement et des sciences.

Art. 4. Néanmoins les travaux de l'enseignement et des sciences ne seront pas réputés utiles, si ceux qui les exercent ne rapportent pas dans le délai de... un certificat de civisme, délivré dans les formes qui seront réglées.

Art. 6. L'entrée des assemblées publiques est interdite aux étrangers.

Art. 7. Les étrangers sont sous la surveillance directe de l'administration suprême, qui peut les reléguer hors de leur domicile ordinaire et les envoyer dans les lieux de correction.

Dans le *décret du travail* — tout est réglementé, distribué, la loi définit à quel genre de travail, dans quelle saison — il faut s'occuper, combien d'heures il faut travailler. Des magistrats donneront l'exemple du zèle et de l'activité, l'administration municipale a constamment sous les yeux l'état des travailleurs de chaque classe — elle instruit régulièrement l'administration suprême... elle déplace les travailleurs d'une commune à une autre...

Art. 11. L'administration suprême astreint à des travaux forcés les individus dont l'incivisme, l'oisiveté, le luxe et les dérèglements donnent à la société des exemples pernicieux. Leurs biens sont acquis à la communauté nationale.

Art. 14. Les magistrats... veillent à la propagation et amélioration des animaux propres à la nourriture, à l'habillement, au transport et au soulagement des travaux des hommes.

Dans le décret de la distribution et de l'usage des biens de la communauté:

Art. 1. Nul membre de la communauté ne peut jouir que de ce que la loi lui donne par la tradition réelle du magistrat.

Art. 2. La communauté nationale assure à chacun de ses membres:

Un logement sain — proprement meublé.

Des habillements de travail et de repos.

Le blanchissage, l'éclairage et le chauffage.

Une quantité suffisante d'aliments en pain, viande, volaille, poisson, œufs, beurre... et autres objets dont la réunion constitue une médiocre et frugale aisance.

Art. 3. Il y aura dans chaque commune des repas communs auxquels tous les membres seront *tenus* d'assister.

Art. 5. Tout membre qui reçoit un salaire ou conserve de la monnaie est puni.

Décret du commerce

Art. 1. Tout commerce particulier avec les peuples étrangers est défendu.

Le commerce se fera administrativement. Après cela — «la dette nationale est éteinte, la République ne fabrique plus de monnaie, l'or et l'argent ne seront plus introduits, les dettes de tout Français — envers un autre Français sont éteintes. Et — pour la bonne bouche — toute fronde à cet égard est punie de l'esclavage perpétuel».

Vous pensez peut-être que ces décrets sont signés par Pierre I^{er} et contresignés par le comte Araktchéieff. — Non, ce n'est

pas Pierre I^{er} qui les a signés à Sarskoïé Sélo, mais le premier socialiste de France — Gracchus Babeuf.

Cela serait injuste que de se plaindre qu'il n'y a pas assez de gouvernement dans ce communisme — on a soins de tout, on surveille tout, on gouverne tout. Même la reproduction des animaux domestiques n'est pas abandonnée à leur faiblesse et à leur coquetterie — mais réglée par des magistrats.

Et pourquoi pensez-vous tout cela se fera? Pourquoi les membres de la communauté seront-ils «nourris, habillés et *amusés*», pourquoi est-ce qu'on donnera à ces galériens du bonheur commun, à ces bataillons disciplinaires de l'égalité, à ces serfs *Rei publica ad scripti* — les poulets et les poissons...? Vous pensez *pour eux-mêmes*, pour leur propre bonheur — pas du tout... leur état sera d'après le décret assez médiocre — «La République seule sera riche, toute-puissante... splendide...»

Cela me rappelle l'image miraculeuse de la madone d'Ibérie à Moscou — elle a tout, des perles et des diamants, une voiture et des chevaux, des prêtres et des laquais... et la seule chose qui lui manque — *c'est elle-même*, elle possède tout cela *in effigie*.

...Après des siècles... lorsque tout se changera, il suffira d'avoir l'empreinte de ces deux dents molaires — pour restaurer jusqu'au dernier petit osselet les fossiles de l'Angleterre et de la France de nos temps d'autant plus facilement que les deux mastodontes du socialisme appartenaient au bout du compte à la même famille et avaient le même but.

Ils sortent d'une série d'idées très analogues. L'un voyait que nonobstant la République et le 21 janvier, l'anéantissement des fédéralistes et la terreur — le peuple ne gagnait pas beaucoup. L'autre voyait que nonobstant le développement colossal des machines et des capitaux, une productivité prodigieuse — «l'old merry England» devenait de plus en plus triste, et l'Angleterre vorace et gloutonne — de plus en plus l'Angleterre affamée. Ces considérations amenèrent l'un et l'autre à la nécessité d'un changement radical de toutes les conditions de la vie économique et politique de la société contemporaine.

R. Owen et Babeuf appartiennent à une époque dans laquelle les contradictions de la vie sociale devinrent plus grillées et plus manifestes, l'absurdité des institutions — plus évidente. Les maux n'empirent pas — cela serait une exagération, le développement inégal des éléments qui constitue l'existence sociale anéantit la harmonie qui existait avant, les circonstances étant moins bonnes et mieux équilibrées.

Mais ce n'est que sur ce premier pas qu'ils sont d'accord... une fois en chemin l'un va à droite, l'autre à gauche.

R. Owen voit dans le fait même qu'on s'en ait aperçu—le dernier succès, l'achèvement de l'histoire, la grande acquisition gagnée par le chemin douloureux des siècles, il salue la tendance d'en sortir comme l'aurore d'un nouveau jour — *qui n'a jamais été* — et n'était jamais possible — car l'intelligence n'était jamais à la hauteur de cette question.

La constitution de 1793 ne l'entendait pas ainsi — ni Babeuf non plus. Elle décrétait la réintégration — des droits naturels *oubliés et perdus*, elle rentrait dans une possession légitime — l'Etat actuel n'étant qu'un fruit illégitime de l'usurpation, venue à la suite d'une conspiration tramée par les tyrans et les riches. Le temps est venu de châtier les ennemis du peuple, et restituer les biens détenus par eux au seul *souverain* légitime qui manque de tout et qu'on appelle à cause de cela — *sans culotte*. Il faut le réintégrer dans ses droits *perdus*.

— Mais quand est-ce qu'il les possédait et pourquoi est-ce qu'on lui donne le nom de souverain — et quel droit a-t-il sur les biens des traîtres à la patrie?

— Vous doutez, vous n'avez pas de civisme, vous êtes *suspects* — prenez garde à vous — on peut appeler le premier souverain de la rue... Il vous mènera chez le citoyen juge et le citoyen bourreau — et vous ne douterez plus de rien.

...La pratique de l'opérateur Babeuf ne pouvait gêner la pratique de l'accoucheur R. Owen.

Babeuf voulait détruire par la force ce qui était imposé par la violence, anéantir une œuvre inique. Pour faire sauter le vieil édifice, il fit une conspiration, et si elle était parvenue à avoir le dessus, le «comité insurrecteur» aurait imposé à la France sa république égalitaire — comme les Turcs ont imposé à Byzance leur monarchie islamique. L'esclavage — que nous avons vu dans les décrets — aurait fait naître une opposition acharnée, — qui aurait fini par une nouvelle insurrection et la République égalitaire succomberait en léguant à l'humanité une grande idée et une forme absurde — une idée — qui n'est que sous les cendres et quoique à peine visible — trouble la quiétude des satisfaits.

R. Owen ne voulait que soulager et accélérer le développement — par lequel la société passait d'un état à un autre; il commença ses études avec une grande conséquence — par une cellule, par un cas particulier, comme un naturaliste. New Lanark était son laboratoire, son microscope...il agrandissait ses vues avec la connaissance de la cellule et parvint à la conclusion — que sauf quelques palliatifs le seul moyen était *l'éducation*.

Une conspiration était inutile pour Owen, une insurrection — pernicieuse. Il pouvait tolérer tout gouvernement — non seulement le meilleur gouvernement du monde — le gouvernement anglais — il voyait dans les formes usées du pouvoir un résultat

historique, une décrépitude, une agonie lourde, longue mais non un crime prémédité, à ses yeux l'autorité était entre les mains des hommes arriérés — mais non d'une bande de brigands et de malfaiteurs. Il ne voulait ni terminer d'une manière violente le vieil ordre des choses gouvernemental — mais il ne voulait non plus le corriger ou l'améliorer. Si les saints boutiquiers ne lui auraient mis des bâtons dans les roues — nous aurions maintenant un réseau de N. Lanark et de N. Harmony en Angleterre et aux Etats-Unis. La sève saine de la population — s'y serait de plus en plus portée — en sevrant les hauts parages — il pouvait laisser les agonisants à leur mort naturelle — connaissant très bien que chaque enfant qu'on apportait dans les écoles à la N. Lanark — était autant de pris sur l'église et le pouvoir¹.

Plus loin.

Babeuf et R. Owen se rencontrent encore une fois dans leur insuccès, quoique leur sort tragique porte le cachet du même contraste que nous avons signalé.

Babeuf était guillotiné. Le monstre omnivore, allaité dans les tombes, où l'on avait jeté pêle-mêle les cadavres des Césars païens et des rois très catholiques, des prêtres et des chevaliers, — grandissait. L'individu — pâlit devant lui, s'effaça et disparut. Jamais sur le sol de l'Europe depuis les trente tyrans d'Athènes — jusqu'à la guerre de trente ans, et de là jusqu'à la révolution — l'homme n'a été si entièrement enlacé dans les filets de la police gouvernementale — si entièrement livré à l'administration qu'il ne l'a été par la centralisation.

R. Owen fut peu à peu pris par les eaux troubles et marécageuses — il se remuait autant <...>²

<Chapitre> V

Qui donc gagnait lorsque les deux perdaient?

Vers le temps dans lequel les têtes de Babeuf et Dorthès tombaient dans le sac des bourreaux, et R. Owen demeurait avec un autre génie méconnu — plus pauvre encore que lui-même — Fulton, auquel il donnait son dernier argent — pour faire des modèles de machines par lesquelles le petit gnome pensait enrichir l'humanité, — vers ce temps un jeune officier montrait à des dames de sa connaissance sa batterie — pour être tout à fait aimable, il fit lancer quelques boulets (tout cela est raconté par l'officier lui-même); l'ennemi riposta, quelques hommes tom-

¹ Il y a maintenant en Angleterre quelques écoles et quelques associations d'ouvriers (par ex. à Rochdale) qui s'accroissent de plus en plus.

² В рукописи недостает одного листа. — *Ред.*

bèrent, d'autres blessés — les dames étaient très contentes de la secousse nerveuse. L'officier avait un peu de remords — que les gens soient morts inutilement — mais bien peu.

Cela promettait... Et en effet le jeune homme à lui seul versa plus de sang humain que toutes les révolutions ensemble, consumma par les conscriptions plus d'hommes qu'il ne fallait d'écoliers pour Owen — pour régénérer le monde entier.

Il n'avait pas de système, il ne voulait pas de bien aux hommes et ne le feignait pas. Il ne voulait du bien que pour lui seul et par le mot de bien il ne comprenait que le pouvoir. Comparez à lui les deux nains — Babeuf et Owen... Son nom a suffi trente ans après sa mort — avait encore assez de prestige pour faire élire empereur un sien neveu.

Quel secret avait-il donc?

Babeuf voulait imposer le bien-être et décréter une république égalitaire.

R. Owen voulait éduquer l'homme — pour le rendre capable de s'organiser d'une manière intelligente.

Napoléon ne voulait ni l'un ni l'autre.

Il comprit très bien que sérieusement les Français ne désiraient ni le potage lacédémonien, ni les mœurs du temps des Brutus l'ancien, qu'ils sont loin à se contenter, pour tout plaisir — «de se réunir les jours de fête discuter les lois et enseigner les vertus aux enfants». — De l'autre côté il observa très bien qu'ils sont d'une humeur très belliqueuse. Au lieu de les empêcher à se ferrailer, ou leur prêcher les douceurs de la paix éternelle — Napoléon profita de cette manie — pour les lancer sur les autres peuples, allant à la chasse lui-même le premier. Il ne faut pas l'inculper de cela. Les Français seraient les mêmes sans lui — ils aiment avec passion le triomphe dans le sang, la victoire les grise. Cette sympathie entre Napoléon et la France explique l'amour par lequel elle l'entoura. Il n'était pas un reproche, un acte d'accusation — contre la masse — mais sa gloire splendide, il ne l'offensait point par sa pureté, ni par ses vertus, il ne présentait point en lui un idéal transfiguré devant ses yeux humiliés, il n'apparaissait pas comme un prophète fulminant, il n'enseignait rien, — il appartenait lui-même à la foule — et il lui montra elle-même, avec ses faiblesses et vices, avec ses passions et tendances — *potentiés* en un génie, couvert de gloire et de puissance. Voilà la cause de l'amour — touchant, tragique, ridicule que lui portait la masse, le peuple, même la bourgeoisie...

Et il n'est pas tombé parce que le peuple entrevit tout le vide de sa politique, qu'il était las de donner son dernier fils et de répandre pour lui des torrents de sang. Du tout. Il finit par amener contre lui d'autres masses qui s'armèrent avec acharnement pour la défense de leur propre tyran — la théologie chrétienne

était satisfaite — de part et d'autre on se battait avec fureur — pour le salut de ses plus grands ennemis.

...On rencontre souvent à Londres une gravure qui représente la rencontre de Wellington avec Blücher — au moment où la victoire de Waterloo se prononçait pour eux — il m'est impossible de rencontrer cette gravure sans m'arrêter. Cette figure calme, toute anglaise, ne promettant rien de bon, d'un côté, et de l'autre — ce vieux lansquenet tudesque, borné, bonasse et féroce — se saluent mutuellement avec un plaisir qu'ils ne cachent point... Et comment ne pas être au septième ciel — ils détournèrent l'Europe du grand chemin dans une boue fangeuse — dans laquelle elle pataugera un demi-siècle... A peine le jour commence à poindre — l'Europe dort encore sans savoir que ses destinées sont changées parce que Blücher vint à temps et Grouchy trop tard... Que de larmes, que de souffrances a coûté aux peuples cette victoire... et que de larmes et de sang leur aurait coûté la victoire de l'autre parti!

— Quel est donc enfin le résultat de tout cela?

— Qu'appellez vous résultat?.. — est-ce une sentence morale dans le genre de «Fais ce que dois — advienne ce qui pourra» ou une sentence profonde dans le genre «que de tout temps l'homme versait des larmes — et du sang». *Comprendre* — voilà le résultat, *s'émanciper des représentations* fausses — voilà la moralité.

— A quoi bon?

— Tout le monde maintenant crie contre le lucre et la concussion et vous demandez un pot de vin de la vérité. «La vérité est une religion, — dit notre vieillard Owen, — n'exigez rien d'elle qu'elle seule».

...Pour tout ce que nous avons souffert, pour les os brisés, pour l'âme foulée, pour les pertes, les erreurs... pour tout cela — au moins déchiffrer quelques chiffres mystérieux dans les livres Sibyllins, saisir tant soit peu le sens général — de ce qui se fait autour de nous mais c'est énorme!

Les jouets d'enfants que nous perdons ne nous suffisent plus en réalité, ils ne nous sont chers que par habitude — et il est vraiment temps de les reléguer dans le garde-meuble — tout ensemble — l'ogre et la force vitale, le conte du siècle d'or et la fable — du progrès infini, le sang bouillant de S. Janvier, la prière météorologique pour la pluie — et «la natura sic vult!»

Le premier moment peut être rude — on se sent trop délaissé... Tout se meut, se précipite... on peut aller où l'on veut, ni barrière, ni guide, «ni administration». — Et bien, je présume que la mer faisait aussi peur aux hommes qui osaient s'avancer, mais dès qu'ils comprirent que tout ce va et vient des

vagues n'a aucun but — ils *prirent le chemin avec eux* et traversèrent les océans dans le creux d'une noisette.

Sachant que la nature et l'histoire *ne vont nulle part* et à cause de cela sont prêtes à aller partout où l'on peut; sachant qu'elles se développent à fur et mesure — par une infinité de circonstances réagissant l'une sur l'autre, se heurtant, s'empêchant mutuellement et s'entraînant — l'homme loin de se perdre comme une graine de sable dans les Alpes — acquiert une énorme puissance. Il devient de plus en plus le pilote qui fend les vagues par sa petite nacelle faisant servir de voie de communication un abîme sans fond.

Sans programme, sans thème, sans but l'histoire — improvisation échevelée, qui se déroule sans gêne — offre à chacun ses pages pour intercaler son vers à lui — et qui restera *le sien* — pourvu qu'il soit sonore et le poème ne s'interrompe pas!

Partout sommeillent des mondes de possibilités. Elles peuvent dormir des millions d'années, ne se jamais réveiller — cela leur est indifférent — mais cela n'est pas indifférent à l'homme. Depuis que la foudre et la vapeur — passa de Jupiter *tonons et pluvius* à l'homme — regardez ce qu'il a fait de l'électricité et de l'eau acriforme. Le soleil parcourt depuis longtemps le ciel... un beau matin l'homme intercepta son rayon, fixa sa trace — et le soleil lui fait des portraits.

La nature ne lutte jamais contre l'homme, c'est une absurdité inventée par le spiritualisme. Elle n'a pas assez d'intelligence pour lutter. En faisant la tâche de l'homme — la nature continue sa manière d'existence. La première condition de dominer la nature — c'est de connaître ses lois et ce que fait l'homme — par rapport à la mer et aux autres éléments, mais dans l'histoire l'homme ne veut pas se gêner — tantôt il se laisse passivement entraîner par le torrent, tantôt il fait une irruption violente — criant *l'Égalité ou la Mort!*.. Au lieu d'étudier le flux et le reflux des vagues qui l'entourent et le rythme de leur vibration — pour se frayer des chemins infinis.

Nacelle, — vague et pilote à la fois, — sa position en effet est très compliquée dans le monde historique.

— Au moins s'il y avait une carte.

— Mais avec une mape — Colomb ne pourrait découvrir l'Amérique.

— Pourquoi?

— Parce que pour figurer sur une mape — il fallait que l'Amérique ait été découverte antérieurement. L'histoire et l'homme ne peuvent être pris au sérieux que dans le cas s'il n'y ait aucun plan prédestiné pour le développement. Si les événements étaient arrangés d'avance, et si toute l'histoire n'est que la réalisation d'un *complot* antéhistorique, prémédité, sa mise en

scène — prenons alors des sabres en bois et des boucliers en papier mâché — pourquoi donc verser de véritable sang et de véritables larmes pour la représentation de cette charade providentielle.

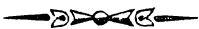
Les braves gens qui parlent avec horreur qu'Owen dépouille l'homme de la liberté et de toute dignité morale savent par je ne sais quel effort mettre d'accord avec la liberté — la prédestination, et la prédestination avec le bourreau. Peut-être ils s'appuient sur ce texte de l'Écriture — que, j'avoue, je n'ai jamais pu comprendre: «Le fils de l'homme doit être livré pour accomplir les prophéties, mais malheur à celui qui le livrera»¹.

Dans la religion la cosmogonie mystique contient une lutte, un drame, — c'est l'éternelle Messiaie — avec les Titans, les Lucifer, les Abbadonna — avec Adam, chassé du paradis, Prométhé — rivé à un rocher de Caucase — puni par Dieu le père et sauvé par son fils. C'est un roman, c'est de la poésie. Mais c'est nommément cela ce que les doctrinaires ont rejeté — en se réduisant à une faute logique toute nue, à l'absurdité d'une arrière-pensée historique. Le fatalisme²


¹ Les théologiens en général ont plus de courage, ils disent franchement qu'un cheveu ne tombera de la tête d'un homme sans la volonté suprême — mais laissent toute la responsabilité des actes et même des pensées peser sur l'individu... Le fatalisme scientifique au contraire prétend qu'il n'admet pas du tout la prédestination individuelle — pour nous autres simples mortels... quant aux autres, nous avons assez entendu *ex post facto* sur la prédestination d'Alexandre le Grand et la vocation de Pierre I^{er}... mais soit, il ne s'occupe que des masses, il arrange les destinées en gros... Et je demanderai avec mes amis les sophistes d'Athènes, où est la limite entre le troupeau et l'individu, quand est-ce que les quelques graines — commencent à faire un tas? — nous ne le savons pas.

Cela va sans dire — que nous ne voulons pas de l'induction ou de la théorie des probabilités. Les hommes ont tout le droit de supposer, de conclure d'après des séries d'antécédants — le caractère probable du futur. Vous voyez un homme de trente ans — vous avez raison en supposant que dans trente ans encore — il sera chauve ou aura les cheveux blancs — cela ne signifie pas qu'il a été prédestiné à devenir chauve ou que sa vocation était d'avoir des cheveux gris. D'autant moins que s'il meurt à 35 ans tout cela n'arrivera pas — et au lieu de blanchir les cheveux, on en fera la *clay* — comme dit Hamlet — pour en enfentrer les fenêtres ou on en mangera en forme de salade...

² Конец рукописи не сохранился. — *Ред.*



ВАРИАНТЫ



П Р И Н Я Т Ы Е С О К Р А Щ Е Н И Я

В разделах «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:

1. А р х и в о х р а н и л и щ а

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.

СК — «Софийская коллекция».

2. П е ч а т н ы е и с т о ч н и к и

ПЗ — альманах «Полярная звезда».

К — «Колокол».

Сб — «Сборник посмертных статей» А. И. Герцена, Женева, 1870, 2-е изд.— 1874.

ЛН — сборники «Литературное наследство».

Л — (в сопровождении римской цифры, обозначающей номер тома)— А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке. П. 1919—1925 гг., тт. I—XXII.



БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава II

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛВ)

Стр. 21

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* в апреле и мае — *было:* 15 мая

Стр. 23

⁹ *Вместо:* смотрел на меня с недоумением — *было:* несколько смутился

Глава III

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛВ)

Стр. 39

³⁴ *После:* кланялись... — *было:* и из-за чего?

Стр. 42

³³ *Вместо:* он — *было:* он давно

³³⁻³⁴ *Вместо:* известен — *было:* известен в литературе

³⁴ *Вместо:* скучной — *было:* прескучной

Стр. 43

²¹ *Вместо:* суровый педант — *было:* один из решительнейших революционеров — педант

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* Выходки — *было начато:* Многим забавным выходкам

²⁶ *Вместо:* принципам и пр. *было:* другим лицам

Стр. 44

¹² *Вместо:* на манер — *было:* картины

³¹ *Вместо:* один — *было:* один изгнанник

³⁵ *Вместо:* мог только убедить в противном — *было:* был чистойшей ошибкой

Стр. 45

² *Вместо:* Он ∞ отвел — *было:* Уходя от меня вместе с Ф. Пиа, он отвел

³ *Вместо:* знакомый его — *было:* какой-то

⁴ *После:* журнал — *было:* как libel¹

⁹ *Вместо:* вот что скверно — *было:* я боюсь

²³ *Вместо:* которые — *было:* которые только

²⁶ *Вместо:* Наполеон — *было:* султан

¹ клевету (англ.). — Ред.

- 2-29 *Вместо:* Им следовало не ∞ острова — *было:* Ясно, что им не следовало слушаться... пусть он схватил бы кого-нибудь силой
- 29-31 *Вместо:* поставить вопрос ∞ англичане — *было:* ему сделать процесс.
- Стр. 46*
- 3-4 *Вместо:* особенно торжественно — *было:* было бы особенно торжественно, если б оно было нужно
- 6-7 *Вместо:* когда ∞ сказал — *было:* потом сказал
- 9 *Вместо:* Полицейский — *было:* Вероятно, ничего не понимавший клерк
- 10 *Вместо:* за двери — *было:* на двор
- 11-12 *Вместо:* отдавая справедливость — *было:* удивляясь
- 16 *Вместо:* Серьезных партий, как мы сказали, — *было:* Итак, серьезных партий
- Стр. 47*
- 35 *Вместо:* Мозговая религиозность — *было:* Этот-то мозговой фанатизм
- Стр. 49*
- 3-4 *Вместо:* и что вряд есть ли — *было:* но что следовало бы иметь(?)
- Стр. 58*
- 5 *Вместо:* и подчас — *было:* но чаще и чаще
- 6-7 *Вместо:* разрушительным огнем, наводящим ужас и смятение — *было:* с разрушительной силой, наводящей ужас
- 11-12 *Вместо:* участвовала лет десять в борьбе с Людвигом-Филиппом, увлеклась событиями — *было:* участвовала с увлечением в событиях
- 15 *Вместо:* горячей — *было:* своей горячей
- 15 *Вместо:* но — *было:* но в самом деле
- 18 *Вместо:* почти вовсе нет. — *было:* вовсе не было.
- 22-23 *Вместо:* Вместо ее удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом... *было начато:* Теоретическая цель или просто знамя и заголовок удовлетворяют...
- 23-24 *Вместо:* Право на работу ... уничтожение пролетариата — *было начато:* Красное знамя социальной республики и трехцветное демократической ...
- 28 *После:* слушаться — *было:* Что за вздор
- 34 *Перед:* Террор — *в рукописи зачеркнутый отрывок, начало которого оторвано:* ... и всех святых Комитета общественного спасения. Странная судьба этих мрачных, но сильных личностей — не устояться, не занять своего места в памяти людской ... они постоянно переходят от позорного столба на треножник канонизации. Поклонение террористам положительно вредно — это тоже поклонение Молоху — государства, основанное на заклятии личности, — мысль романская, католическая — ведущая прямо к теократии или к самодержавью полиции.
- Стр. 58—59*
- 34-1 *Вместо:* Террор был величествен в своей грозной неожиданности, в своей неприготовленной, колоссальной мести; — *было:* Я террор понимаю, понимаю его величие грозы, мести,
- Стр. 59*
- 3 *Вместо:* странная ошибка, которой мы обязаны реакции — *было:* странное дело
- 4 *Вместо:* то — *было:* почти то же
- 14-15 *Вместо:* бредили до того, что — *было:* до тех пор, пока
- 15 *Вместо:* одним добрым днем перевели — *было:* не перевели
- 19 *Вместо:* пятом действии XVIII века — *было:* истории
- 20 *Вместо:* в истории — *было:* в ней

- ²³ *После: приложения.*— *было:* Канонизировавши своих героев, французы меньше дозволяют судить о них, чем наши попы о Митрофане или Дмитрие Ростовском.
- ²⁴⁻²⁶ *Вместо:* Повторяя ∞ не допускают — *было:* Повторяя их натянутые, напоминающие хрестоматию, латинские сентенции, восхваляясь их холодным, риторическим красноречием — они не дозволяли
- ²⁹ *После: «в бозе почивших»* — *было:* сиятельство и превосходительств
- ³⁰ *Вместо:* в шпионстве — *было:* в орлеанизме
- ³¹ *После:* впрочем — *было:* в числе французских изгнанников
- Стр. 60
- ⁵⁻⁶ *Вместо:* В 1854 ∞ письмо.— *было:* В 1854 я получил письмо от доктора Scurdegeoy из Сантандра и вместе с ним его брошюру.
- ⁸ *Вместо:* слышать — *было:* читать
- ¹² *После:* мне — *было:* что посылает брошюру
- ¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* ответил мне, что возлагает — *было:* написал мне длинный ответ, в котором возлагает
- ²⁰ *Вместо:* Одно уцелевшее письмо его прилагаю — *было:* Одно из его писем прилагаю

Прибавление

ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1859 г.

- Стр. 68
- ⁸ *Вместо:* исключая // кроме
- ³² *Вместо:* книжников// крыжников
- Стр. 69
- ¹¹ *Вместо:* остановил // остановил своих
- Стр. 73
- ²³ *Вместо:* или разрушения // разрушения
- Стр. 77
- ²⁰ *После:* невольничеством! // Но кто же из них прав? Правого между голодным и сытым найти немудрено, но это ни к чему не ведет. Иисус Христос разве не был прав против синагоги, однако же его распяли.— Зато через четыре века Римская империя сделалась христианской. — А христианство языческим!¹
- ⟨Глава IV⟩
- ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛВ)
- Стр. 95
- ²⁰ *После:* никакого.—*было:* Одно было ясно, спасения ему не было.
- ²² *Вместо:* за это — *было:* и так как за это
- ²³ *Вместо:* а потому — *было:* то
- ²⁶ *Вместо:* мы узнали мало-помалу — *было:* было
- ³⁰ *Вместо:* фабриканту содовой воды — *было:* делавшему содовую воду
- ³¹⁻³² *Вместо:* хозяин пригласил их в парлор и вслед за тем пошел—*было:* сказала хозяину, хозяин по обыкновению пригласил их в гостиную и пошел
- ³⁶ *Вместо:* Купец упал мертвый — *было:* Рана была смертельна
- Стр. 96
- ³ *Вместо:* остановил Бартелеми на улице; он грозил — *было:* остановил его; Бартелеми просил его выпустить руку, грозил

¹ Прибавление о книге С. Милля писано в 1859 году.

- ⁵ *После*: не хотел — *было*: в самом деле
- ¹⁰ *После*: Бартеlemi — *было*: т. е. партия Ледрю-Роллена и все друзья Курне
- ¹²⁻¹³ *Вместо*: Без полного помешательства трудно предположить, чтоб человек пошел — *было*: Без полного помешательства в человеке трудно предположить, чтоб он пошел
- ²⁰ *После*: способу — *было*: изобретенному им и Пти Жаном
- ²¹ *После*: 15 — *было*: у них
- ²²⁻²³ *Вместо*: Ясно, что тут было что-то важнее простого воровства — *было*: Нет, тут было не тупое воровство... а [нечто] что-то гораздо больше важное
- ²³⁻²⁴ *Вместо*: Внутренняя мысль Бартеlemi, его страсть, его монomanия остались. — *было*: Что внутренняя мысль Бартеlemi, его страсть, его монomanия было убийство Наполеона — в этом я не игаю ни малейшего сомнения. Итак, вот где надобно искать отгадки.
- ²⁶ *После*: раздумье — *было*: с серьезным вопросом
- ³² *Вместо*: ждут два рефюжье — *было*: ждет Пти Жан и два других рефюжье
- ³³ *Вместо*: говорят они — *было*: говорит Пти Жан
- ³³ *После*: приехали — *было*: только для того
- ³⁵⁻³⁶ *Вместо*: мало ли с кем приходится работать. Теперь — *было*: вот и все. Пожалуй, теперь
- ³⁶ *После*: подумают... — *было*: Я засмеялся и спросил, нисколько не скрывая иронии:

Стр. 97

- ⁵ *Вместо*: никакой общей работы не имел, но — *было*: и теперь
- ⁶⁻⁷ *После*: предоставляю — *было*: королевскому атторнею и
- ⁷⁻⁸ *Вместо*: молодая и богатая — *было*: юная, огромная
- ¹⁰ *После*: палача. — *было*: Я разнакомился с ними за это.
- ¹¹ *После*: тюрьме — *было*: было удивительно хорошо, оно
- ¹⁵ *После*: баррикаде. — *было*: (Ледрю-Роллен был в зале при произнесении приговора).
- ²¹ *Вместо*: просил Палмерстона — *было*: ходил к Палмерстону просить

Стр. 98

- ¹ *Вместо*: дичь — *было*: чушь
- ¹² *Вместо*: один — *было*: один глухой
- ¹⁴ *Вместо*: жизни — *было*: сознания
- ²⁶ *Вместо*: я был согласен их дать — *было*: я тотчас согласился
- ²⁷ *Вместо*: это ничтожное дело — *было*: подробно это дело
- ³⁵ *Вместо*: близкий знакомый — *было*: француз, печально, натянуто и официально, задумчиво
- ³⁸ *Вместо*: гости — *было*: дамы все

Стр. 99

- ³⁻⁴ *Вместо*: сказал, опускаясь на стул, сосуд, отяжелевший от тайны. — *было*: сказал он, опускаясь на стул, как сосуд, отяжелевший от тайны, которую хочет разболтать.
- ⁵ *Вместо*: при всех вызвал меня — *было*: вышел со мной
- ⁶ *После*: сказавши — *было*: таинственно
- ⁷ *Вместо*: о ссуде деньгами отъезжающего — *было*: одного из его приятелей о ссуде его, помнится, десятью фунтами
- ⁸⁻⁹ *Вместо*: — С большим удовольствием ∞ принесу. — *было*: — Вручить вам теперь деньги? Когда вам их надобно?
- ¹⁸ *Вместо*: часов в восемь утра — *было*: в девятом часу
- ¹⁸ *Вместо*: Франсуа — *было*: мой человек

¹⁸ *После*: видеть.— *было*: В начале моей лондонской жизни я был вынужден принять некоторые оборонительные меры против незнакомых посетителей — а потому я и сказал Франсуа, чтоб он спросил, зачем он, имеет ли ко мне письмо — и, наконец, кто он!?

Каково же было мое удивление, когда через [две, три минуты] минуту Франсуа принес записочку.

²⁰ *Вместо*: на себя — *было*: на себя поскорее

²⁰ *Вместо*: в сад — *было*: в залу

²¹ *Вместо*: где он меня дожидался. Там — *было*: «Где этот господин?» — «Пошел в сад». В саду

²⁵ *Вместо*: дорожный картуз — *было*: шапка

²⁸⁻²⁷ *Вместо*: остановили бы на себе глаза — *было*: останавливали бы на себе глаза [особенно английские], про английские и говорить нечего

²⁷ *Вместо*: Неаполе — *было*: Дрездене

Стр. 100

⁴ *Вместо*: могли ему — *было*: хотели ему их

⁵⁻⁶ *Вместо*: ему хотелось с вами познакомиться; он спрашивал — *было*: но вчера он, не то чтоб намерное, а говорил, что он, может, сам заедет, и спрашивал

⁸⁻⁹ *Вместо*: очень. Но только я не знаю, хорошо ли он выбрал время — *было*: Но вы ли выбрали и этот удобный час... когда никто у меня не бывает?

¹²⁻¹³ *Вместо*: он уезжал, его товарищ — *было*: один из друзей Бартеlemi собирался уезжать, другой вдруг

Стр. 101

⁷ *После*: Д(оманже) — *было*: бледный, расстроенный

Стр. 102

¹ *Перед*: Когда — *был отрывок, начало которого отрезано*: ... у меня стучал зуб об зуб... Я встал, сел за письменный стол — и, ничего не делая, просидел в какой-то лихорадке до одиннадцатого часа. Звонок — и через минуту вздохел Д., бледный, растерянный и и со слезами на глазах. — «Кончено?» — спросил я. — «Кончено», — ответил он. Остальное досказал «Times». Описывая гордую твердость Бартеlemi, «Times» прибавляет, что

¹ *Вместо*: попросил — *было*: попросил взять в руку

Стр. 104

² *Вместо*: равно останутся следы богатырской — *было*: сохраняются следы геройской

³ *Вместо*: и возле ступня... ослиных и свиных копыт — *было*: и копыт вепрей

⁸ *Вместо*: и не надобно — *было*: и это не надобно

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо*: да ничего ∞ пальто? — *было*: ну хоть это пальто!

¹⁷ *После*: пальто? — *было*: — Я вам буду очень, очень благодарен, — сказал наивный адвокат. — Я признаться уж запродал его, и очень хорошо.

Оставьте мне ваше пальто.

Стр. 105

⁸ *Вместо*: Ах, я совсем было забыл попросить — *было*: Ах, боже мой, я совсем было забыл попросить, ради бога — прикажи(те)

⁹ *После*: Герингу! — *было*: И довольно!

⟨Глава VI⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)

Стр. 135—136

²⁵⁻³ *Вместо*: Около ∞ эти // И около того же времени давно накипавшее неудовольствие против [Ворцеля] Централизации в молодой

части демократической эмиграции подняло голос. Голос, обвиняющий Ворцеля. Он обомлел — этой раны он не ждал, а она пришла совершенно естественно. Был ли он виноват и насколько, мы сейчас увидим.

Небольшая кучка людей, [особенно] близко окружавших Ворцеля и из числа которых были избраны почти все члены Централизации, — далеко не имела одного уровня с ним. [Люди посредственные, бездарные, рядовые революционеры без дела, занятые эмиграционными сплетнями, они не понимали] Ворцель понимал это [свое превосходство] и постоянно находился под их влиянием. Этому странному явлению способствовало многое: снисхождение человека сильного к слабым, но благонамеренным людям, желание сохранить около себя целую партию — ценою, по-видимому, неважных уступок; наконец, физическая слабость и его астм, — ему говорить было трудно, поднимать голос он не мог, — а те не привыкли его понижать и в случае возражений так кричали, что Ворцель [с радостью уступал] отказывался от своего мнения, чтоб опомниться от крика. Привыкнув к своему [дурному] жиденькому хору, он воображал, что ведет его, в то время как хор [тащил] [вел его с собой], стоя сзади, направлял его куда хотел. Только старик подымался на ту высь, в которой ему было свободно дышать, в которой ему было естественно, — хор, исполняя должность мещанской родни, как гиря, стягивал его в низменную сферу эмиграционных дрязг и мелочных расчетов. Бедный Ворцель задыхался в этой среде столько же от духовного астма, сколько от физического.

Люди, окружавшие Ворцеля

Стр. 139

⁴ *Вместо:* фунтов — *было:* франков

Стр. 141

⁴⁻⁵ *Вместо:* была недовольна; — *было:* начала роптать.

⁵ *Вместо:* винили товарищей, — *было начато:* в особенности не были довольны товарищами

Стр. 142

⁸ *Вместо:* имени — *было:* мнения

³³ *После:* письмо — *было:* Жабицкому

Стр. 143

⁸ *Вместо:* ясно понимая — *было:* он очень хорошо понимал

¹¹⁻¹² *Вместо:* пропадала ∞ Польши. — *было:* не удалась. Невозможно было, чтоб мало-помалу разговор не склонился на это.

¹³ *Перед:* П. Тейлор — *было:* Поняв, что его товарищи не брезгают жить на его счет и видя страшную нужду его —

¹⁶ *Вместо:* Ворцелю — *было:* ему

¹⁸ *Вместо:* ему предложил — *было:* тотчас ему предложил

¹⁹ *После:* видаться. — *было:* Он с большой любовью следил за успехами русской пропаганды — и расспрашивал меня обо всех подробностях.

²⁵ *Вместо:* там — *было:* а там

²⁸⁻²⁹ *Вместо:* без воздуха, дыша каменным углем, он потухал — *было:* без воздуха, без прислуги, в мрачном одиночестве, без удобств, он потухал.

Стр. 144

²⁸ *Вместо:* я ему — *было:* тогда я ему

Стр. 147

²⁰⁻²¹ *Вместо:* трогательную и симпатичную личность — *было:* трогательную фигуру

³² *Вместо:* Дом, в котором жил Ворцель — *было:* Ворцель знал, что его дом

Стр. 149

³⁵ *Вместо:* дворцом — *было:* домом

³⁶ *После:* регенту.— *было:* Уж кутить, так кутить.

⟨Глава VII⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)

Стр. 150

³ *После:* Кинкель.— *было:* Нечистота —

⁷⁻⁸ *Вместо:* ни горячих языков — *было:* ни еще больше горячих болтунов

¹²⁻¹⁴ *Вместо:* тяжелый ∞ затрудняли — *было:* излишняя фамильярность немцев, иногда очень простодушная, затрудняет

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* с другой — *было:* с тем вместе

²⁰ *После:* Внутри — *было:* себя она, т. е.,

Стр. 151

⁵⁻⁹ *Вместо:* мы ∞ радикализм.— *было:* Гейне превосходно назвал его le concierge de la philosophie de Hegel^{1*}.

¹² *Вместо:* Мерославского — *было:* генерала

¹⁵ *Перед:* признавать — *было:* нисколько

¹⁹ *Вместо:* его — *было:* Руге

²² *Вместо:* Руге — *было:* он

³⁶ *Вместо:* гениального — *было:* будущность

Стр. 152

² *Вместо:* говорят — *было:* говорят, узнав это,

³ *Вместо:* нелепостям — *было:* глухим слухам

¹⁻⁵ *Вместо:* Да я ∞ захолюстье — *было:* Я и сам не очень верил им. [знаете] Живу в этом захолюстье

¹⁹ *После:* него — *было:* усталый и

²⁸ *Вместо:* мимо нас — *было:* подошел к нам

Стр. 153

⁷ *Вместо:* Готфрид Кинкель — *было:* В немецкой эмиграции Кинкель

¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* в разных вариациях встречается у модных — *было:* часто встречается у известных

Стр. 154

⁶⁻⁷ *Вместо:* лаяли, лаяли и стали, по-крыловски — *было:* полаяли и стали заметно

⁸⁻⁹ *Вместо:* выбежит из нижнего этажа германской демократии куда-нибудь в фельетон — *было:* родившаяся в чернилах и очках, в нижнем этаже германской демократии, выбежит где-нибудь в фельетоне

¹⁶ *Вместо:* интересные — *было:* умные

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* их светленькие глазенки и звонкие голоса обещали меньше — *было:* с их светленькими глазенками и громкими голосами, можно от них ждать меньше

²⁶ *Вместо:* слово об их отношениях. Кинкель — *было:* их отношения были квинтэссенцией всего остального. Он

Стр. 155

⁶ *Вместо:* Johanna — *было:* Она

¹¹⁻¹² *Вместо:* и неумолимой, вечно возбужденной любовью.— *было:* вечно возбужденной любовью, страхом за него, беспокойством и пр.

²⁶ *После:* спохватившись — *было:* что я за вздор говорю

Стр. 155—156

²⁶⁻¹ *Вместо:* в притязании — *было:* долею на притязании туда же

¹ привратником гегелевской философии (франц.).— *Ред.*

Стр. 156

⁴ После: чернилы. — было: «Зато у нас были Гёте и Шиллер», — пусть и останутся при них.

⁶ Вместо: доктринерским — было: хвастливым

¹¹ Вместо: журналист — было: один журналист из евреев

¹⁴⁻¹⁵ и ¹⁶ Вместо: ненавидят — было: не любят

Стр. 157

⁶ После: сцену — было: политическую или даже ученую,

⁶⁻⁸ Вместо: то озлобленное удивление немцев, которое по так давно находили от них же — было: тот отпор немцев, который встарь находили

¹² Вместо: который — было: как только Бакунин сделался известным в Германии после защиты Дрездена и

¹³ Вместо: саксонского — было: немецкого

¹⁷ Вместо: его компрометирующую переписку — было: переписку об этом

¹⁸ После: не подозревал. — было: Жизнь человека, геройски дравшегося за свободу, может, пожалели бы и саксонские судьи, но уж, конечно, не жизнь русского агента.

¹⁹ Вместо: на эшафот — было: в руки палача

¹⁹ Вместо: общение — было: великое общение

²⁰ После: массой — было: порывалась гнусным обвинением.

²³ Вместо: отзываясь — было: говоря

²⁹ Вместо: немецкий — было: национальный

²⁹ Вместо: невозможен — было: совершенно невозможен

³⁴ Вместо: свалить — было: подумать свалить

Стр. 158

² После: Бакунина — было: [томившегося] запертого тогда третий год

³ После: равелине. — было: Это случилось так.

²³ После: «Теймс» — было: и с обычной грубостью своей

²⁴ Вместо: потребовал свидания — было: послав свою карточку — требовал делового свидания

²⁸ После: наконец — было: спросил выведенный из терпения Луи Блан

Стр. 159

¹⁰ Вместо: своего чтения — было: своей речи

¹¹ После: Давид — было: Уркуард

¹² Вместо: свихнул руку — было: повредил сильно.

¹⁴ После: Маццини — было: наконец

³² После: друзья — было: как бы оправдывая пословицу

Стр. 160

² После: гнусен — было: до того подл

³ После: в Бакуине. — было: Второй год томился он в Алексеевском равелине, после Ольмюца и Грачина, после Кенигштейна и всевозможных бедствий — перед ним ни одной не было надежды — и нашелся плюгавый мерзавец, снова бросивший на него подозрение, зная, что он не будет не только отвечать, но и знать не будет об этом.

⁷ Вместо: не было — было: не оставалось

¹² Вместо: скучнейшую — было: отвратительную

¹⁸⁻¹⁹ Вместо: грубым ухаживанием — было: дружбой и Wohlwollen¹

²⁷ Вместо: К марксизмам присоединился вскоре — было: Спустя несколько времени явился на барьер

²⁸ Перед: враг — было: заклятый

³⁰ Вместо: по поводу обеда — было: об политическом обеде

¹ благосклонностью (нем.). — Ред.

- ³⁰ *Вместо:* нам — *было:* разным радикалам, революционным знаменитостям
- Стр.* 161
- ⁸ *После:* Блинда, — *было:* с которым я был знаком в Париже и приятельски встретился в Лондоне,
- ¹⁴ *После:* наделавший — *было:* очень незаслуженно
- Стр.* 163
- ⁷ *Вместо:* я — *было:* я раза два
- Стр.* 165
- ¹⁴ *Вместо:* и попросил еще — *было:* m-me Sanders
- ²⁵ *После:* союз. — *было:* В этом комитете всеобщего братства народов марксиды высказались во всей красе.
- ²⁶ *После:* Джонсу. — *было:* она была недурна, но элементов живучих и здоровых (<2 праб.>) не было
- ²⁸ *После:* социалистами — *было:* и, так сказать, дать право гражданства — изгнанникам всех стран — в мире рабочничьего протеста в Англии.
- ³² *Вместо:* членом, прося меня сказать речь о России — *было:* членом. Всегдашний враг декоративной части революции, ее фразы —
- Стр.* 166
- ¹ *После:* Джонс — *было:* как председатель комитета
- ⁶⁻⁷ *Вместо:* («La Russie et le vieux monde») — *было:* Джонс сообщил мне эту пошлость — я вместо ответа послал ему экземпляр «Le vieux monde et la Russie».
- ¹⁵ *Вместо:* избрание — *было:* свое приглашение
- ¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* что пусть Маркс формулирует свои обвинения и он их предложит — *было:* но что Маркс может и даже должен формулировать свои обвинения, которые он готов предложить
- ²⁵ *После:* Эрнст Джонс — *было:* [заметил ему, что, по его мнению, равно нет достаточной причины — ни сделать оскорбление человеку, который не набивался, ни оставлять Комитета. Что, впрочем, он его вопрос предлагает Комитету] спросил Комитет
- ³² *Вместо:* Чтоб товар продать лицом — *было:* Привыкнущие к гадкой рекламе
- Стр.* 167
- ⁷ *Вместо:* сделали рубрику — *было:* стали помещать статейки под заглавием
- ⁹⁻¹² *Вместо:* Адвертейзеровские немцы ∞ ссылке? — *было:* До какой пошлости доходили немцы — можно судить по тому, что они не только сомневались в Сибири, приписанной добрым книгопродавцем, которому пришлось перепечатывать заглавный лист ... но и в самой ссылке.
- ¹⁷ *Вместо:* выдавать (анонимно) ∞ за агента — *было:* помещать, размещается, анонимно, разные клеветы. Карла Фохта он выдавал за агента
- ¹⁹ *Вместо:* продавшихся Бонапарту — *было:* совсем передавшихся на сторону бонапартизма
- ²³ *Вместо:* Я не отвечал — *было:* Я даже не отвечал подлой газете
- ²⁴ *Вместо:* поместил статью — *было:* поместил против меня статью
- ²⁵⁻²⁶ *Вместо:* я этого никогда не писал — *было:* этого нет нигде ни в одном из моих сочинений
- ³³ *После:* казармах — *было:* (в Австрии есть целый запас доморощенных генералов) таких [этот]
- ³³ *Вместо:* по всему — *было:* [следственно] стало
- Стр.* 168₁
- ¹ *Вместо:* Дело — *было:* Это
- ⁹⁻¹⁰ *Вместо:* за Австрию и за свое собственное рабство. — *было:* и быть убитыми пулями венсенских стрелков и зуавов.

10-11 *Вместо:* Либеральный изгнанник ∞ Барбароссы — *было:* Либерал, политико-эконом, доктринер и [рефюжье] изгнанник Бухер [вместе с] и какой-то, должно быть, потомок с решеткой на гербу Барбароссы —

29-30 *Вместо:* Эти ∞ видом ... *было:* заметил я.

33-34 *Вместо:* мы не знаем; все они несносны, противны — *было:* никто не знает

34-35 *Вместо:* все они, да и вдобавок наши лейб-гвардейцы, такие же — *было:* они страшные животные, — заметил я, и, чтоб вас не обижать, я прибавлю: — да с ними вместе и наши лейб-гвардейцы

Стр. 169

⁵ *Вместо:* величайший — *было:* первый

¹² *После:* вышел ... — *было:* Я не счит нужным его останавливать.

¹² *После:* не виделись. — *было:* И этого патриота Германия не спознала и не оценила!..

15-17 *Вместо:* Не въезжая ∞ интереса. — *было:* [Это] Bummleg своего рода тип, и невозможно не остановиться на нем. Возьмем просто его конкретный образ, т. е. самого неистового патриота Мюллера-Стрюбинга.

18-23 *Вместо:* Как все немцы ∞ всю жизнь. — *было:* Само собой разумеется, Мюллер учился древним языкам и всякий раз цитирует Гомера по-гречески, упорно занимался филологией, отроду не заглядывал ни в какую книгу об естествоведении, хотя естественные науки уважал всегда больше потому, что Гумбольдт ими занимался очень усердно.

28-29 *Вместо:* не умевший карандаша в руки взять и изучавший картины и статуи в Берлине — *было:* особенно по части картин и статуй, которые Мюллер изучал в Берлине.

29-32 *Вместо:* Мюллер ∞ спектакля. — *было:* Театрал в высшей степени, Мюллер начал карьеру статьями об игре всяких неизвестных актеров в «Шпееровой газете».

³³ *Вместо:* вообще все — *было:* и все прочие

Стр. 170

⁸ *Вместо:* и принимался — *было:* Тут он принимался

¹² *Вместо:* Мюллер часы — *было:* он часа два

14-16 *Вместо:* портит ∞ что он должен — *было:* картину и симфонию — тут вдруг ему приходило в голову, что он должен

²¹ *Вместо:* Схваченный таким воспоминанием, Мюллер — *было:* и Мюллер

²³⁻²⁴ *Вместо:* бежал ∞ выспаться — *было:* бежал за Шпре, в какой-то четвертый этаж, выспаться на скорую руку

²⁶ *После:* покоившуюся — *было:* в какой-нибудь пирамиде

²⁷ *Вместо:* и тратя последние на *segealia i circenses* — *было:* и с этой любовью [непреодолимым пристрастием] к учено-эстетическому фланированию

²⁸⁻²⁹ *Вместо:* непреодолимую — *было:* страстную

²⁹⁻³⁰ *Вместо:* и столовым лакомствам — *было:* дорогим сигарам и хорошему вину.

³⁰⁻³¹ *Вместо:* Зато, когда фортуна ему улыбалась и его несчастная любовь могла перейти — *было:* В тех случаях, когда его платоническая любовь переходила

³²⁻³³ *Вместо:* столько же отдавал справедливость категории количества — *было:* чуть ли не больше уважал и количество

³⁵ *Вместо:* сильно баловала Мюллера. Он — *было:* улыбнулась Мюллеру. Он как-то

Стр. 171

- ⁴⁻⁵ *Вместо:* Лица ∞ Мюллер — *было:* Лица постоянно менялись, но пир продолжался.
- ⁷⁻⁸ *Вместо:* эпоха поклонения Германии в пущем разгаре; русский останавливался с почтением — *было:* эпоха германопоклонства — всякий останавливался
- ⁹⁻¹⁰ *Вместо:* поминал его и учеников его с Мюллером — *было:* пил с Мюллером у Ягора или zur «Stadt Rom»
- ¹⁴⁻¹⁵ *Вместо:* идущем даже до брошюр — *было:* и с яростным знанием всех брошюр
- ¹⁶ *Вместо:* в жизни усопших знаменитостей — *было начато:* ныне утопших в
- ²⁶ *Перед:* Виргилий — *было:* Церемониймейстер и
- ²⁸ *Вместо:* des reinen Denkens und des deutschen Kneipens — *было:* наук, искусств и Kneipens
- ²⁸⁻³¹ *Вместо:* Чистые душою ∞ полпивную. — *было:* Наши зазывали его к себе и оставляли потом чистые комнаты отелей, чтоб бежать с ним в полпивную.
- ³³ *Вместо:* делил — *было:* долею делил

Стр. 172

- ²⁻³ *Вместо:* смешные анекдоты вроде того, как русский генерал покупал — *было:* уморительные анекдоты, напр., о русском генерале, присланном покупать
- ⁸ *Вместо:* Сверх Ауэрбаха, там бывали два-три — *было:* помню, еще я встречал там не одного Ауэрбаха, а и двух
- ¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* профессора ∞ актер — *было:* профессоров и какого-то спившегося актера
- ¹⁴ *Вместо:* куплеты — *было:* смешные куплеты
- ²⁴ *После:* поклоненья? — *было:* Сколько радостей они нам дали...
- ²⁴⁻²⁵ *Вместо:* Все это — оптический обман. — *было;* Все это зависело от оптического обмана.
- ²⁸ *Вместо:* всякий — *было:* каждый дельный человек
- ³¹ *Вместо:* сразу всю подноготную? Мне просто — *было:* всю подноготную — напротив, мне

Стр. 173

- ¹⁻² *Вместо:* отворачиваясь от старика, говорит, надувши губки — *было:* словно говорит, отворачиваясь от меня
- ⁵ *Перед:* ненужных — *было:* случайных
- ⁶⁻⁷ *Вместо:* зачем? Затем, что его миновать нельзя. — *было:* за которым ровно ничего нет.
- ⁸ *Вместо:* Возвращаясь к Мюллеру — *было:* Но возвращаясь к d-г Мюллеру-Стрюбингу
- ⁹ *Вместо:* бабочкой — *было:* ученой бабочкой
- ⁹ *После:* перелетая — *было:* от одного русского цветка на другой, от одного зрелища [балагана] к другому и наслаждаясь
- ¹⁸ *Вместо:* тогда преследовали — *было:* за какие-то безвредные
- ¹⁵ *Вместо:* воспоминаний — *было:* смутных воспоминаний
- ²⁰⁻²¹ *Вместо:* точно так же — *было:* опять-таки как зритель к спектаклю
- ²² *После:* посмотреть — *было:* не принимая участия
- ²⁸ *Вместо:* окружена — *было:* согрета

Стр. 174

- ¹⁹ *Вместо:* ел что попало — *было:* бутылку вина
- ²³ *Вместо:* Не успел еще — *было:* Далеко не успел
- ²⁴⁻²⁵ *Вместо:* увезла — *было:* пригласила

Стр. 175

- ² После: житье... — было: и брала с собой Мюллера. Счастливейший буммлер
⁶ После: французскими — было: изяществами
⁶ Вместо: Мюллер ∞ помолодел — было: [но увы, к чему все это!] Мюллер вставил в Nohant двойную рамку [но ходил больше без вставленного] лорнета в глаз и [купался, как сыр в масле]
¹⁰ После: дорога — было: когда он окончательно ехал из Chateau великой писательницы
¹³ Вместо: геройство — было: о милом геройстве
²⁰ Вместо: переехал — было: переехал окончательно
²³ Вместо: именно в Лондон — было: в Англию и именно в Лондон

Стр. 176

- ¹ Вместо: локомотив — было: машина
¹⁰ После: русские — было: это не Берлин и не Париж
¹⁹ Перед: Зачем — было: не туда глядели глаза
²³ Вместо: В Лондоне ∞ Длинная — было: Словом длинная
Вместо: (помнится, 4 шиллинга) — было: 2 ш. 6 пенсов
³⁴ Вместо: и завтра утром рано буду опять в Лондоне. — было: — Когда воротиться? — Завтра утром рано.

Стр. 177

- ² Вместо: Да — было: Да, да. время нет
⁴⁻⁷ Вместо: А впрочем ∞ тумане — было: А впрочем, лучше ездить в Рейд, не выдавши его, чем взглянуть в будущее — [и увидеть] светлой точки больше не осталось на его зодиаке.

Глава VIII

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 178

- ¹⁶ Вместо: бесследно исчезнуть и они не должны // и я искренно убежден, что они исчезнуть не должны.
10 марта. 1868. Женева. И-р.
²⁵ Вместо: континентальных толчков и — было: политических
²⁶ Вместо: на британских берегах — было: на британском <1 нрзб.> острове

Стр. 179

- ¹⁻² Вместо: снадобья — было: хлама
⁹⁻¹⁰ Вместо: всех надежд, встречающихся в закоулках, харчевнях — было: встречающихся в гербергах
¹⁴⁻¹⁵ Вместо: сильные монархи Европы, кроме английской королевы» — было: правительства Европы, кроме английского»
¹⁵⁻¹⁸ Вместо: по public-hous'am ∞ горькими словами — было: сидят эти чужие, люди без родины, за джином с горячей водой и совсем без воды, за горьким портером и с горькими словами
²⁰ Вместо: денег ∞ получают. — было: ругаясь между собой для превращения времени.
²² Слова: старого толка — отсутствуют.
²³ Вместо: собственника — было: человека, имеющего собственность
²³ После: карлист — было: оливкового цвета
²⁴⁻²⁵ Вместо: родных ∞ отечеству — было: действительных братьев под предводительством Кабреры
²⁵⁻²⁶ Вместо: о которых ничего не знал и не знает — было: о которых он ничего не знал, кроме того, что они, его законные господа, оставляют его умирать с голода, разъезжая на лихих конях.
²⁷ Вместо: эскадрон — было: полк

- 28-29 *Вместо:* венгерку ∞ венгерку — *было:* пальто без пуговиц, но с крючками и оборванными тесемками, до горла, на военный манер. Пальто
- 30 *Вместо:* которой — *было:* которого
- 30 *Вместо:* ее — *было:* его
- 31-32 *Вместо:* всех литератур и всех искусств — *было:* чего угодно
- 34 *Вместо:* в котором из Гессенов — *было:* где
- 35 *Слова:* прежнего покроя — *отсутствуют.*
- 36-37 *После:* католицизму — *было начато:* переход к обыкновенному...
- Стр.* 193
- 12 *Вместо:* несколько раз — *было:* постоянно
- 15 *Вместо:* такая-то — *было:* эта
- 17 *Вместо:* Гекнее // или Гекнее
- 19 *Вместо:* когда же // когда
- 20 *После:* ждал — *было:* в Лондоне
- 23 *Вместо:* Я его встречал ∞ исчез — *было:* Потом он исчез на долгое время
- 24-25 *Вместо:* спустя ∞ фуражке — *было:* тому назад на старом месте
- 33-34 *Вместо:* малейшей злобы — *было:* малейшего озлобления
- Стр.* 194
- 1 *Вместо:* Я не выдержал и додал сикспенс.— *было:* В которую, — спросил, — в Минорид или в Палингтонную? Но так как путь в обе стоит одно и то же, четыре пенса, я плачу вам весь путь.
- 2-3 *Вместо:* В числе ∞ Стремоухов — *было:* В числе этих господ есть несколько русских. Из них был интересен один Стремоухов
- 17 *Вместо:* Мы // Мы (т. е. я и Гауг)
- 23 *После:* Викторией-Ривер — *было:* строит себе сетлерский шалаш
- 25 *Слова:* взаимных — *отсутствует.*
- 29 *Вместо:* остановился // становился
- 31 *После:* Стремоухова — *было:* и пошел за ним.
- Стр.* 195
- 5-7 *Вместо:* Да и как же вы не уехали?—Опоздал на первый train — *было:* Как я с вами тогда тогда простился,— вот вы хересом попочевали, да еще знакомые — ехать в Австралию не шутка — я и проспал первый train, слаб стал, лета такие
- 12 *Вместо:* А деньги? — *было:* Помилуйте, а деньги?
- 13 *Вместо:* у reverend'a — *было:* у меня
- 14 *Вместо:* их //их и
- 19 *Вместо:* за драку с курьером — *было:* за какую-то драку с курьером, за пропавшие вещи.
- 22-33 *Вместо:* сырую погоду ∞ требовали денег — *был отрывок, частью заклеенный, частью зачеркнутый Герценом.* Заклеенное начало его:
- Берегитесь после болезни — не простудитесь. Нищенство делается болезнью, привычкой, и с ним легко примириться в других, больше простых форм<ах> его. Вечное скитание, независимость, привычка к воздуху, к дали, к перемене, к бездомовью становится второй натурой. Вальтер Скотт превосходно набросал очерк [такого] нищего художника в «Антикварии». Но оно не имеет ничего общего с этим растленным городовым политически революционным нищенством из *благородных*, с этими мокрицами больших столиц, ползающих по щелям и живущих за сырой штукатуркой...
- Зачеркнутый конец его:* à la mère Patrie¹. Они, во-первых, никак не могут отрезать и, подбавляя понемногу, но часто джину, подерживают себя в каком-то состоянии хронического хмеля — что-

¹ к матери родине (франц.).— *Ред.*

резко выступает на лице и в нравах. Спасти их могло бы посольство, испросив им прав воротиться — без перспективы арестантских работ, каторжной работы — aber was macht es denn dem Herrn Baron von Brunnov...

Стр. 196

- ⁶ *Вместо:* был башмачником — *было:* казалось, заслуживал больше, чем скудную денежную помощь,— все остальные были пьяницы. Оказалось, что он
- ⁸ *Вместо:* не пошла // не шла
- 10-11 *После:* Гарибальди — *было:* тотчас
- ¹⁶ *После:* всплывший — *было:* видно было, что он пьянствовал полночи.
- ¹⁹ *Вместо:* Как опоздал? — *было:* Ну, любезный, ты большой негодяй... однако.
- 20-21 *Вместо:* Дело было — *было:* На этот раз дело

Стр. 197

- ⁷ *Слова:* позвав полисмена — *отсутствуют.*
- ¹¹ *Вместо:* занемог // занемог-с
- 21-22 *Вместо:* ищи себе других человечков, только в одном будь уверен — *было:* вон и счастливой дороги на виселицу — в одном будь уверен, умирай с голоду, но
- 25-26 *Вместо:* М<илостивый> ∞ слушать — *было:* Убирайтесь, или я пошла за полицией
- ²⁷ *Вместо:* он // шляхтич
- 30-32 *Вместо:* Может ∞ осторожно.— *было:* Я уверен, что многие с недоумением спросят, какова же категория эмигрантов может быть за этими прошедшими и будущими каторжниками — а *есть*, и довольно большая.

Стр. 198

- ⁶ *Вместо:* воры — *было:* подлые <?> люди
- 9-12 *Вместо:* Это люди ∞ вверх.— *было:* Шпионство само по себе, по своей безопасности самое прозаическое и самое гнусное преступление, а шпионство в эмиграции, шпионство эмигрантов,— это геркулесов столб разврата!

В этом отношении француз стоит далеко выше всех остальных национальностей — поляк прорвется под пьяную руку,¹ похвастается, немец так неловок, что сам себя выдаст. Но француз — художник.

- ¹⁶ *После:* шпиона // в квадрате.
- 16-17 *Вместо:* вызовет вас на дуэль — *было:* выйдет на дуэль
- ¹⁷ *После:* драться.— *было:* [К этому в последнее время, т. е. после 1848 года, присоединилось бесстыдство, которого мир не видал. Шпионы]

В наше литературное время — когда лоретки и горничные пишут свои записки — пишут их не одни Видоки, но и всякого рода лазутчики и сыщики.

- 18-20 *Вместо:* клад ∞ печатает — *было:* Издают свои записки, писанные с цинизмом, от которого бы покраснело все третье отделение. Де ла Год объявил

Стр. 200

- ⁵ *Перед:* В Париже — *было:* Pour la bonne bouche¹ — и перед выходом из этой ямы — расскажу небольшой эпизод, который мы — т. е. Маццини и я — прозвали la vendetta tedesca² ... потом опять на резкий, на суровый, на чистый воздух.

¹ На закуску (франц.).— *Ред.*

² немецкой мстью (итал.).— *Ред.*

⁵⁻⁶ *Вместо:* В Париже ∞ 1848 года — *было:* Речь идет о третьем австрийце и также о приятеле всех австрийских рефюжье — о некоем Нидергрубере.

⁶ *После:* рефюжье // знакомый со всеми

⁶⁻¹⁰ *Текст:* Товарищи ∞ привез.— *отсутствует.*

¹⁰ *Вместо:* бедствовал — *было:* сильно бедствовал

¹⁰ *После:* в Париже.— *было:* Моя мать помогала ему в Париже в 1850 году.

¹³ *Вместо:* Завел он было // Заводил он

¹⁷ *Слово:* поместиться — *отсутствует.*

²⁰⁻²¹ *Вместо:* по поводу этой рекомендации один немецкий рефюжье, Ошпенгейм, заметил мне — *было:* и искал других — и когда говорил об этом одному немецкому рефюжье — тот мне заметил

²⁷ *После:* расхохотался.— *было:* — Это был один из чистейших и, следовательно, из самых непрактических людей в мире.

³⁵ *После:* отгадали ... // вот что

Стр. 201

⁵ *Перед:* Чего // Бог мой

⁶ *Вместо:* собрав все силы, сказал ему // собрал все силы и сказал ему

¹⁰ *Вместо:* В минуту — *было:* Дело в том, что в минуту

¹³ *После:* потом». // Понимаю, что это скверно ... но голод не свой брат,— а теперь он имеет надежду поместиться конторщиком — если узнают этот факт, его не примут. Бедная женщина — она-то чем виновата?

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (СК)

Стр. 178.

³ *Вместо:* красных // белых

⁴ *Слова:* в этой главе — *отсутствуют.*

⁵ *После:* с ним — *было:* здесь

⁷ *После:* шквала — *было:* сорок восьмого года.

¹¹ *Вместо:* гонений // изгнания

¹⁷ *После:* Лондонская — *было:* всемирная

²⁷ *Вместо:* Die Schwefelbande // Немцы назвали марксидов «серной шайкой» — die Schwefelbande.

Стр. 198

²⁰ *После:* печатает — *было:* во всеуслышание

²¹ *После:* дичью» — *было:* по которой охотится

²² *Вместо:* Де ла Год — это Алквивад шпионства.— *было:* Для того, чтоб вполне оценить это, я напомню его историю.

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* он из провинции ∞ Ир — *было:* был в большой крайности

²⁵⁻²⁶ *Вместо:* Ему дали какую-то работу, он ее сделал — *было:* редакторы стали его занимать и

²⁶ *Вместо:* сделал хорошо // сделал

Стр. 199

⁸ *Вместо:* стала брать верх — *было:* восторжествовала

¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* и совался вперед в театрах и других публичных собраниях — *было:* я его видел тогда. Он сидел в передних стульях¹, и сидел не случайно, а с преднамерением

¹¹⁻¹² *Вместо:* лев особой породы — *было:* лев дня

¹³⁻¹⁵ *Вместо:* их узнают ∞ тайны — *было:* и все эмиграции постоянно принимают в свою среду людей никому не известных и потом дивятся, каким образом министр внутренних дел знает все их тайны в Лондоне. Зная, например,

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* был и так хорошо известен, что они были — *было:* которые прямо там и были

¹ креслах в партере (франц. stalle).— *Ред.*

- ²⁰ *После:* полиции.— *было:* Тут, т. е. в нашей лондонской жизни, были случаи очень — как хотите — очень комические или очень трагические
- ²¹⁻²² *Вместо:* В 1849 ∞ Энглендером // В 1849 году Гауг и Таузенау привели ко мне изгнанного австрийского журналиста Энглендера, которого рекомендовали за своего близкого приятеля.
- ²⁴ *Перед:* Энглендер — *было:* Года через три
- ²⁸ *Вместо:* говорил, что Энглендер — *было:* обвинил Энглендера в том, что он
- ³⁰⁻³² *Вместо:* за измену ∞ жалование — *было:* и потом выслали потому, что он изменил брачной верности одной префектуре — в то же время был на жалованье у австрийского посла
- ³² *После:* разгульно — *было:* в обществе парижских лореток
- ³³ *Вместо:* префекта — *было:* платящего префекта
- ³⁶ *Вместо:* муж двух полиций — *было:* пойманный шпион
- Стр. 200
- ² *Вместо:* ему // этому двойному мерзавцу
- ⁴ *Вместо:* получал от него деньги // шпион

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)

- Стр. 182
- ²²⁻²³ *Вместо:* Немецкие изгнанники ∞ французов.— *было:* Вообще немецкие изгнанники бедствовали много.
- ²⁹⁻³⁰ *Слова:* без ожесточения, настойчивости работы — *отсутствуют.*
- ³⁰⁻³¹ *Вместо:* соревнующихся соперников — *было:* кандидатов и соперников
- Стр. 182—183
- ³⁵⁻¹ *Вместо:* родных палисадников — *было:* родного палисадника
- Стр. 183
- ¹ *Вместо:* потерялись в Беловежской пуще — *было:* попали в Беловежский бор
- ¹ *Вместо:* пуще — *было:* лесе
- ² *После:* жизни.— *было:* Тут — судорожная, неразборчивая работа или голодная смерть, безучастие толпы.
- ³ *После:* задавленным — *было:* раздавленным
- ⁴ *Вместо:* и что попало, что потребовали — *было:* что попало
- ⁶ *Вместо:* всякой всячиной — *было:* многообразием всякой всячины
- ⁷⁻⁸ *Вместо:* узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слепки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цветы // узоры, арабески, модели для бронзы, портреты, портретные рамки, акварели, кронштейны
- ¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* Жюльен ∞ Гевлока — *было:* Жюльен в день получения вести о победе Гевлока
- Стр. 204
- ⁵⁻⁶ *Вместо:* немецкой вендеттой // vendetta tedesca
- ⁷⁻⁸ *Слова:* говорят, добрый и честный, старик В<интергальтер> — *отсутствуют.*
- ⁸⁻⁹ *Вместо:* Он созвал комитет немцев // созвал комитет из немецких изгнанников
- ⁹ *После:* меня // на него
- ¹⁰ *Вместо:* ему // добрейшему защитнику (Винтергальтеру)
- ¹¹⁻¹² *Вместо:* Н<идергубер> в моем присутствии сознался Гаугу, что он деньги от префекта получал // я [его] Нидергубера в присутствии Гауга спрашивал, получал ли он деньги от префекта и что он при нем же признался, что получал.
- ¹³ *После:* мне // длинное письмо [говоря], доказывая
- ¹⁵ *Перед:* Н<идергубер> // В нем

16-16 *После:* внимание — *было:* комитета

16 *Слово:* его — *отсутствует.*

17 *Вместо:* гораздо прежде знал от г. Р<ейхеля> // не только по слухам, но от г. Рейхеля

18-20 *Вместо:* во время болезни жены) — *было:* во время болезни моей жены) ... Вот и делай уступки да отсрочки, вот и давай верх чувству человеческого сострадания над чувством обороны и сохранения не только себя, но и целого круга людей!

21 *Слова:* Sehr gut! — *отсутствуют.*

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

<Глава I>

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)

Стр. 304—305

18-7 *Вместо:* Конечно, многие ∞ Зачем? — *было:* Конечно, многие и многие поворотили с тех пор оглобли и взошли в разум и военный артикул, все это — дело очень обыкновенное. [История измен — старая история, все слабое и половинчатое изменяет направление при непопутном ветре] [упомяну один пример совершенно джонинный], [но иногда в ней бывают забавные инциденты]. В 1860— [когда удивительный человек по силе, энергии, самоотверженью] в то же время, когда был в Лондоне чистейший и благороднейший Сераковский [был в Лондоне]—были там [же] и несколько [славных] русских офицеров [они делали Крымскую кампанию и были большие энтузиасты], больших энтузиастов. Один из них — наиболее горячий [красноречивый], просясь, вывел меня в сад и сказал мне, обнимая меня: «Если вам загодится когда-нибудь — зачем-нибудь человек безусловно преданный вам, не забудьте меня. Иду на все — лишь бы вы указывали путь — помните это...» «Сохраните себя и в своей груди те мысли, те чувства, которыми вы теперь полны». [—Если, говорил он,] — «Об этом не заботьтесь, — отвечал он [несколько трагически], — эти чувства проводят меня до гроба, и если вы услышите когда-нибудь что-нибудь такое обо мне ... [такое, — вы понимаете, — что вас заставит усомниться во мне] — пишите ко мне и напомните [только] наш разговор» — и он [растроганный] сжал меня в объятиях своих.

Пять лет спустя — Сераковский был давно повешен, часть [офицеров] молодых людей вышли в отставку, другую отставили. [Россия была под темным террором. Двое из офицеров] Один из моих приятелей, бывших тогда у меня, встретил в [Михайловском] театре [одного, именно того, который так] безусловно отдававшегося мне энтузиаста. Энтузиаст был генералом [и губернатором] другой [офицером в отставке] исключен из службы. Генерал узнал его [поговорил с ним, заметил, что он совершенно против поляков] и подошел к нему. Разговор не клеился. Похвалил [даже] «Московские ведомости» [за] и Каткова статьи о Польше [и], потом, как будто спохватившись, видя, что прежний приятель не очень вистует, сказал: «Вы, верно, все еще помните 1860 и Alpha road — [помните] наши беседы у А. И. ... Какое ребячество...»

Я не писал к нему — зачем?

Стр. 305

9-13 *Вместо:* прекрасные люди ∞ мысль // люди, особенно между молодыми штурманами и гардемаринами. Ф. Капп мне писал в 1864 году, что в Нью-Йорке на одном из пиров, данных американскими моряками русским, один молодой гардемарин вынул наш портрет (мой с Огаревым) и [требовал] предложил при всех выпить

за русских «республиканцев». Печальное дело Трувеллера показало, как смелы бывают они.

²⁰ *После:* государь — было: и я его всегда буду защищать.

²⁵ *Вместо:* обвиняемый — было: или уже обвиненный

²⁸ *Вместо:* его — было: отца

³⁰ *Вместо:* бумаг, контрактов, сенатских записок, экстрактов — было: бумаг о деле отца

³⁵ *Вместо:* работало — было: что-то работало

³⁷ *Вместо:* В самое то время — было: Он рассказывал кое-что об этом — я после ухода его раз записал два, три случая. Между тем

Стр. 312—313

³⁵⁻¹⁴ *Вместо:* По воскресеньям ∞ извещали меня, что они, русские, находятя — был текст, частью вырванный, частью зачеркнутый. *Зачеркнутый конец его следующий:*... не из эмигрантов предупреждали, чтоб они избирали другой день, и всех просили быть осторожными, особенно с людьми, с которыми мы [особенно лично] не знакомы. Скука лондонского воскресенья побеждала осторожность. [и все ездили, несмотря на это мое замечание, и по воскресеньям.]

[Не одни шпионы могли быть опасны — но и болтуны, пустые люди, хвастающие всем на свете, хватающие на лету слово и перевирающие его. Вспомните, что] Мы все еще были в моде [и что], быть у нас считалось бонтоном. (*Здесь стоит отсылочный значок, но текст вставки отсутствует*). [В числе лиц, бывавших у нас, и притом очень часто, я представлю одного, которого знает под-России. Он может служить образцом противоположностей, встречавшихся у нас.

В 1860 я получил письмо из Panton Hôtel — русское и такого содержания: «Мы русские [писали ко мне, как видите, русские] находимся!»

Стр. 313

¹⁸ *Вместо:* деньги вышли — было: денег у нас нет вовсе

²⁰ *После:* говорит. — было: По-французски — одна бывшая прежде гувернанта у князя.

²¹ *Вместо:* они просили, чтоб я их выручил. — было: и, вероятно, зная, что русское посольство никогда никому из русских не помогает, они обратились не к посольству, а ко мне с просьбою выручить их или дать совет.

²²⁻²³ *Вместо:* Я поехал к ним ∞ еще неделю — было: Я поехал на другой день к ним и застал действительно людей этих встревоженными и в очень неприятном положении. Хозяин отеля согласился подождать неделю по моей просьбе и давать им что следует. Через неделю я обещал приехать на совет, но прежде чем мне пришлось их навестить, они были выручены.

²⁴ *Вместо:* крыльцу — было: крыльцу моему

²⁶ *Вместо:* моей прислуге — было: [моему слуге] Жюлю

²⁸ *Вместо:* уважения — было: слабость

³⁰⁻³² *Вместо:* огромный мужчина ∞ обнял меня — было: взосел огромный, довольно молодой мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бога-вола, и тотчас обнял меня

³³ *Вместо:* князь — было: всей России известный

³⁴ *Вместо:* всяя России — было: родины

³⁴⁻³⁵ *После:* specimen'a — было: гомеопатического представителя

Стр. 314

⁴⁻⁵ *Вместо:* не присылает денег — было: его преследует

⁵⁻⁷ *Вместо:* безвыездное житье ∞ барышню — было: житье в

Козлов, а он увез какую-то барышню — и, как наскучив жить в Козлове, он решил бежать и для этого взял с собой барышню

⁸ *Вместо:* горничную через молдавскую границу — *было:* и горничную; как переехал где-то, помнится, молдавскую границу

⁸⁻⁹ *Вместо:* В Галаце он захватил еще какого-то лакея — *было:* и, захватив с собой в Галаце еще какого-то лакея из евреев

¹⁰ *Вместо:* пяти — *было:* десяти

¹⁰ *Вместо:* и показавшегося ему шпионом... — *было:* явился передо мной в Лондоне, как лист перед травой.

¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* Тут же объявил он мне — *было:* Все это он рассказывал с шумом, хохотом, весело и тут же мне объявил

¹² *Вместо:* познакомиться — *было:* сблизиться

¹³ *Вместо:* — Дорого у вас здесь в Англии б-берут — *было:* Как они здесь в Англии дорого берут

²⁸ *После:* города — *было:* возле Westbourne terrace

³¹ *Вместо:* в яблоках — *было:* с яблоками и коляску

Стр. 314—315

³⁵⁻¹ *Вместо:* и успел на несколько месяцев обезпечиться — *было:* и успех па несколько месяцев был обезпечен

Стр. 315

¹⁻² *Вместо:* тупоумный — *было:* тупой

⁹ *Вместо:* Русские песни и молитвы, «Камарипская» и обедня — *было:* Русские духовные песни и молитвы

¹⁴⁻¹⁵ *Вместо:* Старушки вспоминали — *было:* Многие вспоминали

¹⁷⁻¹⁸ *Вместо:* как русский снег, кавалергардскими collants — *было:* как снег, панталонами. К тому же княжеский титул и «Шамблии» императора.

²⁸ *Вместо:* Тут, сверх лондонских цен — *было:* Надобно знать лондонские цены, чтоб понять, что это значит. Да сверх того

³²⁻³³ *Вместо:* стучась в двери разных ресторанов, и — *было:* и стучась в разные двери ресторанов

³³ *После:* наконец — *было:* где-то там

Стр. 316

⁴⁻⁵ *Вместо:* могли легко перейти на Potapoffs Walzer, Mina-Walzer — *было:* помнится, изменились на имена Потапова, Адлерберга и <т. п.> вероятно

⁷ *Вместо:* При всем этом шуме — *было:* И все-таки

¹⁰ *Вместо:* Одним утром — *было:* Как-то утром рано

²⁰⁻²¹ *Вместо:* паром — словно на каменку поддали — *было:* воздухом — вроде нравственного пара русской бани.

²⁵ *Вместо:* князя, ни в пользу графа — *было:* какого б то ни было князя или графа

²⁸⁻²⁹ *Вместо:* Князь скажет ∞ носом — *было:* Ну, князь скажет: «Зачем же вы мешаетесь в чужие дела

³⁰ *После:* послу — *было:* к Бруннову

Стр. 317

⁷⁻¹⁰ *Вместо:* Позвольте ∞ амбиция-с — *было:* — О нет-с, — с живостью возразил секретарь, — не посмеют-с — они же очень боятся-с вас, — знаете-с, в «Колокол»-то попасть им не весело — амбиция-с.

¹⁴⁻¹⁵ *Вместо:* я, если вас в самом деле князь обижает, дам — *было:* я вам тогда дам

¹⁹ *Вместо:* скажу об них — *было:* [необходимо] не мешает сказать и об них

²³ *Вместо:* напоминали мне целый ряд — *было:* так и напоминали мне целую анфиладу

- 25-26 *Вместо*: но больше резкий представитель своего типа — *было*: был недожинный [резкий], но, может, больше резкий, чем общий представитель своего типа — он бросался в глаза.
- 31 *Вместо*: гвоздики для прикрытия — *было*: чеснока. В Париже продаются духи под названием *Cuir Russe*¹
- Стр. 318*
- 2 *После*: время-с — *было*: когда мог бы кусок хлеба заработать.
- 3 *Перед*: До приезда — *было*: Когда он приходил ко мне
- 9-10 *Вместо*: Как только ∞ судьбу — *было*: Как только он поссорился с ним, он, пришедши от него с каким-то поручением, жаловался на свою судьбу и упрекал себя
- 15 *Вместо*: повернулся и ушел — *было*: перестал говорить
- 16-18 *Вместо*: не сыном ∞ Валуевым — *было*: давно был бы Валуевым, обер-прокурором или статским начальником военного интендантства...
- 19 *Вместо*: Через час — *было*: через час времени
- 27 *После*: была — *было*: очень милая собой
- 28 *Вместо*: раздраженная — *было*: кажется, раздраженная.
- 32 *Вместо*: треухов — *было*: плюх
- Стр. 319*
- 1 *После*: регента—*было*: и я, в первый раз от роду, сел судьей на кресла
- 28-30 *Вместо*: сами говорили ∞ месяц — *было*: говаривали здесь, что по моей службе надобно по здешним деньгам фунта четыре в месяц.
- 30 *После*: месяц — *было*: — И вы находили, что это довольно? — Находил-с.
- Стр. 320*
- 2 *Вместо*: Теперь плотину прорвало. Князь вскочил — *было*: Далее князь молчать не мог.
- 7 *После*: щ-щенком?! — *было*: Мне не деньги жаль, я ему их брошу.
- 7-8 *Вместо*: гнусная неблагодарность этого разбойника — *было*: его гнусная неблагодарность
- 9 *После*: босого — *было*: мне казалось, что у него есть голос
- 10-12 *Вместо*: голос ∞ жалованья — *было*: он воротится теперь в Россию, сто рублей в месяц жалованья возьмет.
- 34 *Вместо*: в таком роде — *было*: и сказал: «Вот вам бумага — напишите или я напишу, а вы подпишите
- Стр. 321*
- 8-9 *Вместо*: да уж и я сам готов был прикрикнуть — *было*: и я сам начинаю терять терпенье
- 10 *После*: дьявольщина — *было*: я вас спрашивал
- 18 *Вместо*: рояли — *было*: испуганные рояли
- 20 *Вместо*: ящерицы — *было*: мыши
- 23 *Вместо*: Князь — *было*: Я думаю, что князь
- 24 *Вместо*: контрбомбардосным — *было*: трубным или, лучше, бомбардосным
- 25 *Вместо*: Регент, привыкнувший к всяким звукам — *было*: Опешивший регент
- 29 *Вместо*: в год около 50 фун.— *было*: 1200 фр.
- 35 *Вместо*: никак не ждал — *было*: не ждал от него
- 38 *Вместо*: соколу-певцу — *было*: ему
- Стр. 322*
- 5 *Вместо*: — Прекрасно, ну, так я вот как решаю дело — *было*: Ну, вот видите, я приехал, Юрий Николаевич принял меня в посредники; я дело ваше понял ясно,— а потому говорю вам, что

¹ Русская кожа (франц.).— *Ред.*

вы права требовать больше той суммы, которую вам заплатил князь, не имеете.

6-7 *Вместо:* я их передам князю и с тем вместе — *было:* я их снова передам князю и

8 *Вместо:* Регент — *было:* Регент по справедливости

13 *Вместо:* на полтора — *было:* на полтора в пользу князя

17 *Вместо:* финал — *было:* финал или десерт

26 *Вместо:* Куда ∞ оставайся — *было:* Да разумеется, оставайся — куда ты к черту пойдешь! — Ну, ступай теперь.

27 *Вместо:* Регент разблагодарил князя и ушел — *было:* И когда регент ушел

Стр. 323

2 *После:* «под никитки» — *было:* или, как в Женеве выражается народ, labourer les faubourgs¹

5-6 *Вместо:* Набравшись злобы — *было:* взбешенный

6 *Вместо:* джину — *было:* виски

11 *Вместо:* немного отошел, он пояснил мне, между прочим, — *было:* пришел в себя, он мне тоже объяснил

13 *Вместо:* смошенничал — *было:* смошенничал, продал какие-то часы

20 *Вместо:* Я уехал — *было:* От разбора я отказался

24 *После:* стрелять — *было начато:* «Мы здесь в свободной стране», — так будто бы он ораторствовал — и

25 *После:* заряжен — *было:* Начавши говорить о Голицыне, я не мог остановиться — так родственно «иконописна» вся его обстановка и он сам. Собственно, в его лице я хотел только указать [резкие], какие контрасты [являлись] встречались в наших воскресных беседах.

26-29 *Вместо:* Последние ∞ с рук — *было:* [И тут же не могу остановиться, не сказавши, что он со всеми] Само собой разумеется, что со всеми концертами и чудесами он запутывался денежно больше и больше — и пришел к общей участи всех смертных, тративших вдесятеро больше получения, т. е. к тюрьме за долги. Другого посадили бы и дело в шляпе — с Голицыным этого не могло быть так просто.

31-32 *Вместо:* для удовольствия лореток всего Лондона — *было:* по контракту

33-35 *Вместо:* незаметный ∞ тюрьму — *было:* неподвижно стоявший и незаметный полицейский являлся возле и уводил его на карете, которая везла [его] узника в тюрьму.

35-36 *Вместо:* в саду — у него — *было:* у него раз как-то

36 *Вместо:* смеялся — *было:* хохотал

38 *Вместо:* Потом правительство позволило ему — *было:* Вскоре, впрочем, ему позволили

Стр. 324

5 *После:* монастырь... — *было:* и без миленьких глаз увезенной красавицы

8 *Вместо:* За пышной ∞ вола — *было:* Рядом с пышной фигурой ассирийского бога-вола

9 *Вместо:* не должно забывать — *было:* был в Лондоне

10 *Вместо:* мелькающих тенях — *было:* о тех, которые мелькали и исчезали

11-12 *Вместо:* разными превратностями судьбы — *было:* судьбой

13 *Вместо:* вроде синтеданкта — *было:* Тут были чиновники военного министерства

16-17 *Вместо:* Вроде моего друга Ивана Ивановича — *было:* Тут был мой друг Иван Иванович

¹ обработать предместья (франц.). — *Ред.*

- 18-19 *Вместо:* и будущностью, с какой-то мездрой вместо волос на голове — *было:* и какой-то мездрой с проседью вместо волос, с настоящим и будущим —
- 26 *Вместо:* и решил отказаться от возвращения — *было:* Он мог спокойно ехать назад с своим просроченным паспортом — но боялся.
- 27-29 *Вместо:* Сделалось в самом деле что-то опасно, и он тотчас решил ехать. В это время я с ним познакомился в Ницце. — *было:* Тут случилось в самом деле довольно опасно — и тогда он решил возвратиться. Это было в то самое время, когда я с ним познакомился в Ницце — помнится, в 50 году.
- 36 *Вместо:* другим — *было:* противоположным
- 37-38 *Вместо:* поезд двинулся без Савича — *было:* Савич в уголке — поезд двинулся

Стр. 325

- 10 *Вместо:* других — *было:* людей в его положении
- 10 *После:* жизнь, — *было:* нигде бедность не давит так, как в Лондоне, давит всем — сырой погодой, туманом, людским холодным безучастьем, доходящим подчас до презрения. Из дому Савичу ничего не посылали, что было — ушло —
- 11 *После:* нуждой — *было:* и это одна из лучших страниц его жизни
- 11-12 *Вместо:* Но и ему судьба ∞ событиям — *было:* Но судьба определила, чтобы в его биографии все трагические стороны имели свой комический бортик. Он решил быть учителем.
- 14 *Вместо:* Посоветовавшись с тем и другим, он увидел — *было:* «Посоветовавшись с тем и другим, — (это рассказывал он сам) и не имея знакомых, я решил — напечатал себе карточки, я увидел
- 16 *После:* правительство — *было:* да и зачем ему знать, где я
- 22 *Вместо:* он живал — *было:* он говорил, что живал
- 26 *Вместо:* И это именно в то время, когда — *было:* Но в то же время
- 27 *Вместо:* пошли отвратительно — *было:* шли вовсе не успешно
- 28 *Вместо:* шеф Павловского полка — *было:* император Николай
- 29 *Вместо:* амнистии — *было:* толки об амнистиях и самые амнистии
- 30 *Вместо:* воспользовался царскими милостями — *было:* посмотреть на родные поля — он же малоросс.
- 32 *Вместо:* Через месяц — *было:* Бруннов пишет в Петербург и через месяц
- 34 *Вместо:* старший секретарь — *было:* Николай
- 35 *Вместо:* министерство — *было:* наше министерство

Стр. 326

- 7 *Вместо:* отношения — *было:* все эти отношения
- 10 *Вместо:* о Савиче — *было:* о моем друге И. И. Савиче
- 14 *Вместо:* Скажите — *было:* что вам амнистию дадут, в этом нет сомнения — да скажите
- 17 *Вместо:* не было. — *было:* не было, кроме просроченного паспорта.
- 18 *Вместо:* удивился — *было:* раскрыл большие глаза
- 22 *Вместо:* а паспорт — *было:* вам нужен паспорт

Стр. 328

- 1 *Вместо:* наше — *было:* мое
- 7-8 *После:* изданий — *было начато:* а у него есть мои
- 12 *Вместо:* Этого — *было:* Последнего
- 12 *После:* заметить — *было:* Вот и все... до последней крайности.
- 15 *Вместо:* сна — *было:* сна и упреков совести
- 25 *Вместо:* не следует — *было:* невозможно

Стр. 329

- ³ *Вместо:* Имя — *было:* Имя Магдалины
⁵ *Вместо:* удачность — *было:* поспешность удачного
⁶ *Вместо:* усеченность — *было:* неполнота
⁷ *Вместо:* неуместная — *было:* и местами неуместная

Стр. 329—330

²²⁻⁷ На об. 2 л. зачеркнут текст, по-видимому относившийся к вырванной Герценом странице, которую он заменил текстом: «Бросать ∞ законам»: Пусть все вспомнит от скуки и бедности лондонской до голодованья в Галаце — когда он обвинялся негодьями журнальной полиции в зажигательстве — и сравнит, так ли [у него] легко на душе с тех пор, как у него одна рука в Краевском, другая в Каткове.

Стр. 330

- ¹⁹ *Вместо:* черепом — *было:* шиллеровским черепом
²⁵ *Вместо:* делу — *было:* сословию
²⁸ *Вместо:* часть их достоинств — *было:* все их достоинства
²⁹⁻³³ *Вместо:* читал ∞ поведенья — *было:* все на свете читал и надо всем ломал голову, имел шаткую нравственность [и никакого] ... Петрашевцами заключаются у нас сильно занимавшиеся фаланги. [За ними, т. е. за меньшими из них, является молодежь, поспешно сложившая книгу, воображая, что дело началось]. Их можно называть общим окончанием, последним классом нашего исторического курса, кроме книжной и теоретической деятельности, ничего не было в их времена.
³⁶⁻³⁷ *Вместо:* учебно-исторического развития — *было:* учебно-исторической школы развития

Стр. 331

- ¹⁻² *Вместо:* Особенно оригинально ∞ сохранилась — *было:* Особенную оригинальность придавало Кельсиеву в его скептическом ощупывании —
²⁻³ *После:* фантазий — *было:* с самыми резкими сомнениями
⁴ *Вместо:* стихаре. — *было:* стихаре, который ему вовсе не мешал.
⁴⁻⁵ *Вместо:* наречие и образность — *было:* как освещенье сквозь средневековые крашенные окна, так и
⁶⁻⁷ *Вместо:* основанное ∞ металлов — *было начато:* Представьте себе якобинский
⁸ *Вместо:* У Кельсиева ∞ перебор — *было:* У Кельсиева все обращалось в вопрос, в нем шел тот сильный перебор
¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* и о котором вовсе не думает за недосугом и заботами западный человек — *было:* и о чем редко думают за недосугом и другой деятельностью западные люди
¹¹⁻¹³ *Вместо:* в другие дела ∞ наказауа — *было:* они в них далеко превосходят нас, но зато у них сменяются поколения — награждая и вешая
²¹ *После:* линию — *было:* и на несколько минут.

Этот пытливый, скептический и беспощадный дух, — явившись, несколько нараспашку [так сильно наугал], опрокинул на молодое поколение то свирепое гонение, которое достигло до белой горячки после каракозовского выстрела.

- ²¹⁻²⁶ *Вместо:* На этот-то ∞ консерватизм у нас — *был текст, частью вырванный Герценом, частью зачеркнутый. Конец его:* В этом пире, в этом растрепанном кутеже мысли обличилась [страшная] бездна сил ... и зачались зародыши, которые переживут теперешнюю зиму. Оргия испугала — могла испугать, — [тут только] умеренные люди

поняли, что за младенец шевелится внутри немого и темного царства.

У нас в последнее время привыкли говорить, что традиционный консерватизм Европы

³¹ *После:* вперед — было: или идти на свой салтык своей дорогой

³² *Вместо:* возмужалого — было: проснувшегося

³³ *Вместо:* вопросы и задачи — было: задачи и деятельность.

Стр. 332

³ *Вместо:* Разумеется, бояться причины нет. — Возникающая сила — было: Разумеется, что бояться было нечего. Материально сила была

⁵⁻⁶ *Вместо:* Но в ней была программа, может быть, пророчество — было: Это была программа, пророчество

⁷⁻¹² *Вместо:* Кельсиев ∞ море — было: Кельсиев развился [в лучшую половину аналитического периода, испытывающего без задних мыслей] под первым влиянием времени, о котором мы говорим. Он был в полной нравственной ликвидации старого запаса. Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести — [когда покинул в 1859 году Россию] он только отстранился от старого, распустил (<И нрзб.>) и смело поплыл в этот хаос.

¹¹ *Вместо:* и очертя голову — было: и, vogue la galère, очертя голову

¹²⁻¹³ *Вместо:* вере и к неверью — было: религии и к атеизму

¹³ *Вместо:* порядкам западным — было: революции

²⁶⁻²⁹ *Вместо:* По ним ∞ питаться — было: Ни лавочников со своими дочкарами нет, ни проезжающих, ни разносчиков, ни собак — последним решительно нечего есть.

³¹⁻³² *Вместо:* выгибая — было: выгибая неестественно

³² *Вместо:* внутри дома она передрогла — было: внутри гораздо холоднее

Стр. 333

⁸⁻⁹ *Вместо:* заплочным романистам — было: поверхностным [обидчикам] романистам

¹⁰ *После:* нигилисткой — было: и даже щеголяла этим

¹²⁻¹⁴ *Вместо:* не говорила ∞ плечи. Она — было: а говорила, что ее заставляет вовсе не долг, не обязанность делать что она делает, а такая же страсть, которая заставляет последние деньги тратить на сигаретки, она не выставляла своих жертв детям,

¹⁷ *Вместо:* Твердым товарищем была она мужу — было: Твердая подруга была она мужу и товарищ. Она была удивительная мать.

¹⁹ *Вместо:* разом — было: почти разом

²⁰ *Вместо:* малюток — было: малюток, которых пережить не могла... Но воротимся к их приезду в Лондон.

³⁸ *Вместо:* достали ему — было: достали ему через Трюбнера

Стр. 334

² *Вместо:* Затем передали ему — было: Затем я ему передал

² *Вместо:* нами — было: мною

³⁻⁴ *Вместо:* За издание их и приведение в порядок — было: за это дело

⁶ *Вместо:* грубо наивный — было: и притом, какой-то грубо девственный

⁵⁻⁹ *Вместо:* то раскрывалось ∞ указать — было: то лежало перед ним фактически. Он прибегал иногда по вечерам указать

¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* учение федосеевцев; он был в восторге от их скитанья — было: учение федосеевцев или других, восхищался их скитаньем

¹² *Вместо:* скитаться между ними и сделаться учителем — было: быть бегуном и учителем

¹⁸ *Вместо:* в Белокринице или России. — было: Мысль перейти в раскол и сблизиться с ним тогда уже овладела им.

- ¹⁴ *Вместо:* в душе — *было:* тогда прежде всего
- ¹⁷⁻²¹ *Вместо:* Он нашел ∞ веры — *было:* Он нашел работу, занятие, но не нашел дела — его искать он пошел бы на край света, сделал бы все — постригся бы в монахи, принял бы священство без веры.
- ²³ *Вместо:* придумывал проекты и брался — *было:* новые проекты и часто брался
- ²⁵⁻²⁷ *Вместо:* Он ∞ подальше. — *было:* Он все понимал быстро и легко и из всего с неустрашимой, беспощадной логикой тянул жилы до последнего вывода, а иногда немножко и после.
- ²⁸⁻²⁹ *Вместо:* Сборник о раскольниках ∞ расхившихся — *было:* Работы его шли успешно, но надоедали ему — успешнее всего шел сборник о раскольниках. Кельсиев получил за свои *шесть* изданных им частей хорошие деньги от Трюбнера и сделал сверх того очень полезное дело.
- ²⁹ *Вместо:* это — *было:* как расходится сборник
- ³¹ *После:* библии — *было:* Кельсиев занимался (так же как и Энгельсон) восточными языками и в том числе еврейским. Он принялся за перевод библии с еврейского, а Трюбнер напечатал два или три выпуска.
- Стр. 335*
- ³ *После:* победы — *было начато:* составляют одни из лучших трофеев наших, и их-то нам не ставили в грош. А их много.
- ⁵⁻¹⁶ *Вместо:* В конце 1861 ∞ Sitzfleisch — *было:* В конце 1861 года Кельсиев отправился в Москву и через полгода возвратился в Лондон. [Пусть] Вероятно, он сам когда-нибудь расскажет эту [неслыханную] невероятную, невозможную [Одиссею] поездку, в которой мужество граничит с безумием и героизм идет об руку с [почти преступной] прометчивостью. В Лондоне он снова принялся за работу, взялся написать русскую грамматику для [иностранцев] англичан... но уже Sitzfleisch'у было [окончательно потеряно] мало.
- ¹⁹ *Вместо:* червь — *было:* червь или демон
- ²⁰ *Вместо:* переговоры — *было:* переговоры, встречи
- ²⁸ *Вместо:* Он и ушел. — *было:* Он и ушел, поручив нам свою семью.
- ²⁹⁻³⁰ *Вместо:* сблизиться с раскольниками, составить новые связи и, если возможно, остаться там — *было:* сблизиться с тамошними раскольниками, через них вступить в новые связи, более тесные, с южными раскольниками в России.
- ³¹⁻³⁴ *Вместо:* Я писал ему ∞ уехал — *был текст, заклеенный Герценом:* Я не советовал ему дускаться в этот путь, так, как не советовал с самого начала оставаться в эмиграции, — даже писал ему об этом длинное письмо. Но страсть к скитанью и желанье подвига и великой судьбы, мерещившейся за ними, были сильнее — он уехал. Был ли у нас именно тот разговор, о котором Кельсиев говорит в своем «Пережитом», я не помню. Но очень помню, что первая статья, которую он мне принес, была сильной диатрибой против современного устройства семьи — камня на камне не оставял он [в покое] на месте. Я признался ему, что статьи его в «Колоколе» не напечатают. Его это немного скандализировало. Желая его успокоить и утешить, я ему говорил: «Погодите, погодите немного — не путайте вопросов, дайте нам прежде дойти до освобождения крестьян — и уже потом примемся за женщину — и за что хотите».
- ³¹ *После:* житья — *было:* Называйте это сумасшествием — но не браните и помните лучше, что всякая удача [граничит с] называет-

ся гениальностью, а [всякая] неудача [граничит и с] сумасшествием [и потому]. Мы не имеем права отнимать ни поэзии, ни силы такого миссионерства за то, что оно не удалось.

Для меня Кельсиевым, ушедшим в 1863 году, замыкается особый ряд [я не боюсь сказать] — поэтических [ряд] рельефных и [пламенных] оригинальных личностей нового поколения [являвшихся на долгое время за границу].

Стр. 336

⁴⁻⁶ *Вместо:* Наша ∞ изменяет — *было:* Скоро несется наша общественная метаморфоза и быстро изнашивает одну оболочку за другой и изменяет

¹¹ *Вместо:* изуродовали — *было:* осилили

²³⁻²⁴ *Вместо:* выжидая ∞ отдался — *было:* и интересом чрезвычайно страстным. Эту внутреннюю работу никак не надобно смешивать с жвачной рефлексией, которая была в таком ходу у нас, грешных, в начале сороковых годов. Рефлексией довольствовались московские немцы, она заменяла жизнь, она была их деятельностью. Кельсиев рвался из своего анализа к делу, но [чувствовал] все же боялся, что, не покончив с ним, ничего не сделает. Едва Кельсиев ушел за порог [явились другие. Новая формация,] новые люди, вытесненные суровыми холодами 1863, — [была уже не такая] стучались у наших дверей! [Новые люди] Они шли — не из [приготовительных семинарий], готовален, лабораторий наступавшего переворота, а [уже прямо] с обрушившейся сцены — они были не оглашенными, не <I нрѣб.>, а актерами — отсюда огромная разница.

Здесь же зачеркнутый второй вариант конца отрывка: Едва Кельсиев ушел за порог, новые люди, вытесненные суровыми холодами 1863, стучались у наших дверей. Они шли не из готовален наступающего переворота, а с обрушившейся сцены, на которой они уже выступали актерами.

Сбоку зачеркнутого текста: «Едва ∞ актерами» — Герцен пометил: «писать».

³⁶ *Вместо:* негодяю — *было:* мерзавцу

Стр. 337

¹⁻⁵ *Вместо:* Старший ∞ в Лондон — *было:* Кельсиев звал жену и товарищей. Пока мы ее снаряжали — явился к нам в Лондон

⁸ *Вместо:* с кем идти — *было:* поэтому решить, с кем идти

¹¹⁻¹² *Вместо:* от него я этого не слышал — *было:* он этого не говорил

²⁴ *Вместо:* Он подал мне руку — *было:* — отвечает Гончар. — Он подал мне руку, как-то спрашивая глазами,

²⁶ *Вместо:* была — *было:* сколько помню, была

³⁰ *Вместо:* ваше сиятельство — *было:* граф

³² *Вместо:* сиятельство — *было:* граф

Стр. 338

³⁻⁴ *Вместо:* не переходило — *было:* не возшло

¹⁹ *После:* не проговорился — *было:* о настоящем

²² *Вместо:* не нужна — *было:* действительно не нужна

²⁴ *Вместо:* и осторожности — *было:* ни над внешним, ни над собой.

²⁶ *После:* головой — *было:* и прибавляя

³¹⁻³² *Вместо:* Оно точно ∞ Палестиной — *было:* Вероятно, и об нас суждение его вышло не многим лучше — несмотря на наши трехкратные лобзания при прощанье.

³³ *Вместо:* у нас — *было:* у нас в самом деле

Стр. 338—339

³⁸⁻³ *Вместо:* некрасовцев ∞ государю — *было:* единоверцев. Жена Кельсиева отправилась вслед за Гончаром.

Стр. 339

- ⁹⁻¹⁰ *Вместо:* и раскольниками, товарищами и турками — *было:* и Гончаром, раскольниками и своими товарищами, [только ссорился с Гончаром].
- ¹¹⁻¹³ *Вместо:* Кельсиев ∞ общинников — *было:* [Недолго существовала тульчинская община тогда, когда] Кельсиев писал еще мне свои юмористические рассказы — полные смешного и надежд, — а уж черная рука судьбы была занесена над ним и маленькой кучкой русских в Тульче.
- ¹⁶ *Вместо:* Смерть его была для брата — *было:* Смерть брата была для него
- ¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* начались ∞ сильно пьет — *было:* Гончар письменно жаловался, что Кельсиев стал пить — пошли упреки, ссоры...
- ²¹ *Вместо:* Долше не мог вытерпеть Кельсиев — *было:* Тоска овладела Кельсиевым —
- ²² *Вместо:* своих детей (у него еще родился ребенок) — *было:* своего ребенка — нет, двух (у него еще родилась дочь)
- ²⁵ *Вместо:* он в это время разошелся — *было:* рассорившись
- ²⁷ *Вместо:* с отчаянием смотрел он на — *было:* он с ужасом видел
- ³²⁻³³ *После:* грызла его — *было:* он доходил до отчаяния — семья гибла на его глазах, случался недостаток в хлебе (это писала потом его жена) — и
- ³⁷ *Вместо:* сыщиков — *было:* полицеймейстеров

Стр. 339—340

- ²⁴⁻⁵ *Вместо:* Совершенно ∞ рухнетя. — *было:* В Галаце его сделали смотрителем шоссеной работы.

Стр. 340

- ¹⁻² *Вместо:* Невежество диковосточного мира оскорбляло его, он в нем чахнул и рвался вон. — *было:* Невежество, грубость мира, его окружавшего, надоели ему, он в ней чахнул.
- ⁵⁻¹⁰ *Вместо:* Он только и мечтал ∞ Женеву — *было:* Иногда порывался он во что б ни стало вырваться из этой нравственной дичи — опять на свет — и с ужасом сознавал, что ему ехать нельзя; он мечтал всего больше о том, чтоб с дагерротипом или органом идти пешком куда глаза глядят, и горько жаловался, что не на кого оставить семью.

⟨Глава III⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)

Стр. 341

- ¹³⁻¹⁴ *Вместо:* дали доказательства своей отваги — *было:* дали действительные доказательства своей храбрости, — внутри они были победителями.
- ¹⁷ *Вместо:* несколько изысканное пренебрежение — *было:* анализа, пренебрежение
- ¹⁸ *Вместо:* умственным роскошам — *было:* роскошам и излишествам
- ²⁰ *После:* citoyens!» — *было:* Сильно они ошибались во времени и в своей силе. Но когда же юноши не ошибались в этом? И когда же совершились бы какие-нибудь перевороты, если б меньшинство не верило в свою силу.
- ²¹ *Вместо:* отвлеченно — *было:* логически
- ²²⁻²³ *Вместо:* не брали в расчет — *было:* не знали, как все молодые люди мира сего
- ²⁴⁻²⁵ *Вместо:* Винить — *было:* Но, право, недостает духа винить

Стр. 342

- ²⁹⁻³¹ *Вместо:* резко ∞ приложения — *было:* не так поставлена, чтоб верно судить не общие истины, а их приложение

Стр. 343

²⁹ *Вместо:* нами — *было:* другими

Стр. 344

²¹ *Вместо:* желающим деньги — *было:* нуждающимся

²⁹⁻³³ *Вместо:* В самый разгар ∞ следует — *было:* [Прежде чем мы пойдем дальше, следует]... Здесь кстати

²⁹ *Вместо:* В самый разгар — *было:* Середь медового месяца

Стр. 345

¹ *Вместо:* его — *было:* этого господина

¹² *Вместо:* Я не боюсь — *было:* я не боюсь...знаете —

¹²⁻¹³ *Вместо:* быстро проговорил — *было:* решился высказаться

Стр. 346

² *Вместо:* распорядились — *было:* распорядились ими как бы захотели

⁴ *Вместо:* Ни типография — *было:* Скажу вам откровенно, что ни типография

⁶ *Вместо:* отказываясь от них, позвольте мне — *было:* с тем вместе позвольте вас

¹²⁻¹³ *Вместо:* возвращусь ∞ десять — *было:* возвращусь в продолженные десяти лет; а не возвращусь

¹⁸ *Вместо:* сделайте одолжение — *было:* пожалуйста

³³ *Вместо:* то купим для вас — *было:* мы обязуемся по вашему требованию возвратить всю сумму и сверх того купим

³⁵ *Вместо:* Затем, даю вам слово — *было:* К этому я вам прибавлю на словах, что даю честнейшее слово от имени нас обоих

³⁶⁻³⁷ *Вместо:* мы денег ваших не тронем, вы на них — *было:* денег ваших не трону, особенно капитала,— так что на него вы

Стр. 347

² *После:* деньгами.— *было:* Как я был после доволен, что окружил этими палисадами и кронверками несчастные двадцать тысяч франков маркизского социалиста. Как давно они ушли бы без малейшей пользы — ушли бы, как наши собственные [суммы и другие] и чужие деньги, переходившие через [нас] наши руки. Только при совершенной остановке дел в конце 1864 — когда вся типография и вся пропаганда легла на меня — в самое то же время, как часть американского займа стала выплачиваться гринбеками¹ и часть совсем приостановила платежи² — я решился употребить проценты с капитала Б., считая, что буквами и книгами мы можем всегда наверстать их.

¹¹ *Вместо:* К тому же — *было:* Не лучше было и после перевода —

¹ Бумажными деньгами, банкнотами (англ. greenbacks).— *Ред.*

² В конце 1864 года, проезжая Парижем,— я отправился в контору Джемса Ротшильда, чтоб взять тысячу пять ф. денег. Директор иностранной части, как-то конфузясь, отвечал мне, что пойдет спросить барона, и, выходя из кабинета, сказал мне: «Барон велел выдать хоть *десять тысяч*». Я так привык к банкирской мимике и так знал всех главных ротшильдовских бюрократов, что сказал, глядя на чопорного англичанина: «Я очень благодарен барону — но дело в том, что по моему счету, который у меня в кармане, за вами 6000 ф.» — «Что вы это? Помилуйте», — заметил англичанин.— «Не могу же я, как бы беспорядочен и как бы бессчетен ни был, при моем небольшом доходе, ошибиться больше, чем в 6000». — «Пойдемте посмотреть большую книгу». В книге 4000 за мной. Что за дьявольщина?.. Я передал кассиру мою записку. «Это очень просто,— отвечал тот,— вы проценты из Огайо считали как в прошлое время, а ассигнационный доллар не стоил половины серебряного. Виргиния с 1861 не платила ни гроша».

14-15 *Вместо:* тридцать ∞ расписку — *было:* ехать домой — обдумать, и по дороге заехали в кафе, я написал сказанную записку

21 *Вместо:* сконфужен. Как потеря — *было:* потерял, как недостаток

23 *Вместо:* психологическая загадка натуры человеческой — *было:* секрет натуры

Стр. 348

12 *Вместо:* вытертый, распертый — *было:* ультрахолостой

25-31 *Вместо:* С тех пор ∞ у меня. — *было:* С тех пор об нем не было ни слова ни духа. [Я купил на данные мне деньги индийскую ренту и отложил ее для Б.] Деньги его и теперь лежат как я их положил. В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи. [Чернышевский [употребил] рассказал этот случай в «Что делать?» с изменениями [подобный случай], разумеется, обстоятельство*.] От двух-трех наших знакомых узнали, наконец, что деньги действительно хранятся у меня. В конце 1863 года один молодой человек явился ко мне с очень важным делом; ему было нужно 5000 фр. для спасения человека, подвергавшегося большой ответственности для того, чтоб, в свою очередь, спасти от каторжной работы. Он ему дал общественные деньги с тем, чтоб они были возвращены в такой-то срок. Срок подходил. Молодой человек просил меня выручить его из беды, давши ему 5000 из известной ему суммы. Свободных денег у меня не было, и, как ни противно было трогать Б. капитал, я решил деньги эти дать. Но поставил одно условие — [клятвенное] — формальное обещание, что «никто этого не узнает».

Через несколько месяцев молодой человек деньги отдал — и, вероятно, считая, что этим оканчивается и тягостное обязательство молчать, рассказал об этом в своем кружке.¹ [и сам указал им [путь] на свой антецедент].

28 *Вместо:* об этом — *было:* об этих деньгах

Стр. 350

27 *Вместо:* низших петербургских слоев. — *было:* петербургского периода.

30 *Вместо:* народа — *было:* народа, полей и изб

Стр. 350—351

31-2 *Вместо:* мелкопоместная ∞ мозгу — *было:* барский дом, переработавшись, перегнувшись в противоположное или совсем другое — сохранились,

Стр. 351

21-34 *Вместо:* Она раскрыла ∞ слову — *был текст, вырезанный Герценом, но к нему сохранилась зачеркнутая вставка:* Не крестьянскую, но оскорбительную грубость, не его простоту ввели они в свою доктрину, а неотесанность, <1 нрзб.> грубость подьяческого круга и пограничного с ним мешанства. Их фальшивый демократизм имел в себе так мало народного, что они с народом вовсе не сблизились».

21 *Вместо:* Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. — *было начато:* Нагота, как в торговой бане, не скрыла ни свидетельство о рождении.....

21 *Вместо:* кто они — *было:* их происхождение

24 *После:* приемами — *было:* и нравами

25 *После:* круга — *было:* передней

Стр. 352

15 *После:* проросли — *было:* и быть гораздо больше простыми.

¹ На след. стран. под(строчное) замечание <страница с подстрочным замечанием вырвана Герценом. — Ред.>

Стр. 353

¹³⁻¹⁴ *Вместо:* честолюбиво — *было:* самолюбиво

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* или, пожалуй ∞ 1848 года — *было:* воскресшая тень 1848 года, и не только его одного, но и предшествовавшего ему московского десятилетия.

Стр. 354

⁶ *После:* доверчивый — *было:* непрактичный

⁹ *Вместо:* повторял — *было:* готов был повторять

¹¹⁻¹² *Вместо:* привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году — *было:* привез их к нам через двенадцать лет Японией и Калифорнией

¹³ *Вместо:* резкие — *было:* лучшие

Стр. 357

¹⁷⁻¹⁸ *Вместо:* больше привыкли спрашивать, чем отвечать — *было:* к вопросам не привыкли

³¹ *Вместо:* на его счастье — *было:* тогда

Стр. 358

² *Вместо:* в голове — *было:* тут же

⁸ *Вместо:* и она не осталась — *было:* мать не осталась тоже

²⁴ *Вместо:* торговых — *было:* каких-то торговых

²⁷⁻²⁹ *Вместо:* Бакунин ∞ пригласил — *было:* Когда Бакунин перешел на корабль — капитан хлопотал об обеде, сказал, что у него в этот день обедал какой-то почтенный гость — он пригласил

Стр. 359

⁶ *Вместо:* он принялся за дело. — *было:* и просиживал с ними на маленькой квартире своей с утра до ночи — после чего с ночи до утра пили чай с другой сменой людей, преданных освобождению всех славян, — он принялся за дело.

²² *После:* нарисовать — *было:* конечно, без лести

²⁴ *Вместо:* Тургенев — *было:* и в этом отношении Тургенев

²⁵⁻²⁶ *Вместо:* по своему ∞ жаргона — *было:* скорее по своему образу и подобию, чем по бакунинскому, он только какому-то молодому Тургеневу придал философский жаргон

³⁶ *Вместо:* положением — *было:* положением дел

Стр. 360

²⁵ *Вместо:* об одном и том же — *было:* об одном и том же и одно и то же

Стр. 361

¹⁵⁻¹⁶ *Вместо:* точно взапуски — *было:* взапуски и непрерывно

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* замешательством — *было:* и потерей всех размеров и понятий бедной

²³⁻²⁴ *Вместо:* ниспровергнувшем — *было:* нарушившим

Стр. 362

³ *Вместо:* Его очень уважают в Orsett House'e — *было:* За него я ругаюсь — и не один я — спросите Г. О.

⁸ *Вместо:* надписывает — *было:* и печатает пакет

¹⁰ *Вместо:* ходит ходцем — *было:* дрожит и сотрясается

²⁵ *Вместо:* не совсем своим голосом — *было:* с усилием

³³⁻³⁴ *Вместо:* В Яссах ∞ человек. — *было:* А в Яссах вас так примут, что денег вам не нужно будет.

³⁵⁻³⁶ *Вместо:* пораженный — *было:* пораженный не менее

Стр. 363

³⁻⁵ *Вместо:* en losange ∞ прибавляю — *было:* а потому, прочитав записку, даю ей горсть с ответом

- 10 *Вместо:* Зачем — было: За каким чертом
- 11 *Вместо:* для дела... а что, брат, ** — было: он только отдаст тебе их —
- 43-24 *Вместо:* застенчивый — было: преданный
- 30 *Вместо:* давать — было: вперед давать
- 31-33 *Вместо:* я несколько ∞ деньги — было: Это уж извини.
— Экая секира — ведь он богатый человек — отдаст.
— Богат — так пусть умнее употребляет их
- 35 *Вместо:* есть — было: обедать
- Стр.* 363—364
- 36-1 *Вместо:* все-таки — было: самого
- Стр.* 364
- 4-5 *Вместо:* время. Часто он еще, как Онегин, спал — было: время, даже тогда, когда спал
- 23 *Вместо:* каскады — было: отдуванье
- Стр.* 365
- На об. л. 16 зачеркнут текст двух вставок к первоначальному, уничтоженному потом тексту:* Все это было в то самое время, когда мы с «Колоколом» проходили нашу апогею,— и уже одна сторона его начала скрываться за северными тучами и туманами.
«Нам вряд по дороге ли...» — говорил я в то время, как Бакунин — совершенно под властью ...
Тут же две пометы Герцена: «Мартьянов» и «Ханыков о Польше».
- Стр.* 365
- 7 *Вместо:* от себя и от — было: от своего имени и своих
- 19 *Вместо:* помолодел — он — было: действительно
- 21 *Вместо:* пригготовительную агитацию — было: всю пригготовительную игру, всю
- 27 *Вместо:* елки — было: этой недетской елки
- 30 *Вместо:* на грустном вопросе — было: с грустным вопросом себе, пожалуй, с самообвинением и раскаянием
- 33-34 *Вместо:* готовность поступать совсем иначе.— было: поступки, идущие в другую сторону.
- Стр.* 366
- 1-2 *Вместо:* даже ∞ à contre-sens — было: даже после страшных бедствий, слабую утеху в оправдании себя — то, что другие делали ошибаясь, увлекаясь, то я делал спора с ними и à contre-sens, потому что
- 12 *Вместо:* Меня — было: Я редко, очень редко останавливаюсь на себе — и только потому и разрешил себе эти несколько строк...
Меня напрасно
- 22 *Вместо:* воротившись в свою комнату — было: пришедши домой
- Стр.* 367
- 5 *Вместо:* а у нас — пустые колыбели — было: и они их звали к воскресенью.
- 6-9 *Вместо:* столько же ∞ своих — было: Мы видим столько же мрачного отчаяния, сколько яркой веры — вместо колыбелей они везде носят свои гробы.
- 12-13 *Вместо:* больше искренности, но не больше глубины — было: естественно больше искренности
- 16-17 *Вместо:* нескольких русских почетное — было: нас
- 27 *Вместо:* правительство — было: то же правительство
- 34 *Вместо:* четырьмястами — было: двумястами
- Стр.* 368
- 12-13 *Вместо:* и никто не прибавил ни слова — было: и с минуту все молчали

¹³ *Вместо:* А через полтора года говорил то же — *было:* То же, но уже с пистолетом в руке, говорил

¹⁴ *Вместо:* в Польшу — *было:* в Польшу, вслед за вспыхнувшим восстанием

¹⁹ *Вместо:* за казну и казней по казенному приказу — *было:* подряду и казней в отдаленных губерниях

²² *Вместо:* Бакунин — *было:* Естественно, что Бакунин

³³ *После:* Бакунин... — *было:* Постоянно споря об этих предметах — мы дожили до осени 1862. Между Бакуниным и мной стоял Огарев, глубоко и ясно видевший дела, но все же увлекающийся больше меня, особенно в отношении к раскольникам.

Стр. 369

¹⁰ *Вместо:* с тремя гостями вместо двух. Я прочел мое письмо — *было:* вместо двух с тремя гостями. Третий был М., которого я прежде видел и который говорил речь в Гейдельбуге на банкете, который давали моему сыну. Я взял мое письмо и, сказав, что это наше profession de foi, прочел его.

²³ *Вместо:* хорошо — *было:* очень хорошо

²⁵ *Вместо:* акта — *было:* всего акта

³³ *Вместо:* об самозаконности — *было:* об автономии

³⁴ *Вместо:* Этот спор — *было:* Однако спор, возникавший

³⁶ *Вместо:* утром — *было:* утром рано

Стр. 370

³ *После:* хочешь? — *было:* — говорил он. —

¹⁷ *Вместо:* видел — *было:* ясно видел

²⁶ *Вместо:* затушевать — *было:* замаскировать, затушевать

²⁷ *После:* чертов мост. — *было:* Надобно иметь всю ограниченность и тупость рассвирепевшего нашего патриотизма [всю исключительность, все отсутствие терпимости и понимания], чтоб говорить о Бакунине [как говорили почти все русские], что «он передался полякам». Бакунин, со всеми своими достоинствами и недостатками, с немецким философским жаргоном и французским революционным языком, [был] совершенно русский человек, и русский, страстно любивший Россию, народ русский, любивший его и тогда, когда бранил его, и тогда, когда отворачивался от него... [любящий теперь в своем удалстве... И что такое передаться Польше...] Интересы Польши были в его глазах интересы революции [великой, огромной, социальной революции] — революции польской так же, как русской. Бакунин верил, что она может идти этим <путем>, и шел им... [Из этого ясно, в чем его можно упрекать и в чем тупоумно и узко обвинять его].

²⁸⁻²⁹ *Вместо:* повторял мне с досадой — *было:* говорил мне

Стр. 371

⁴ *После:* организации — *было:* сильно <1 нрвб.> в России

¹¹⁻¹² *Вместо:* были заметны простому глазу — *было:* мы видели

Стр. 372

⁹ *Вместо:* указ — *было:* проклятый указ

¹³⁻¹⁴ *Вместо:* Приехал ∞ Польшу — *было:* Я встретил на концерте одного [венгерца] господина, хорошо поставленного в русском обществе в Париже. «Нет ли поручений, я завтра еду?» — сказал он мне. — «И очень, вы выдается с Т. Скажите вы им, Орлову, чтоб они не кричали о нелепом рекрутстве в Польше, — неужели они не чуют реки крови, которые польются... пусть же хоть предлог будет отнят — скажите, что мы просим, умоляем их об этом».

[Венгерец] Он отвечал через неделю, что ему не пришлось передавать советов, что кн. Орлов уехал из Брюсселя в Варшаву, именно с тем, чтоб вымолить у великого князя отмену набора...

Приехал опять Падлевский. При наборе нельзя было остановить движение... Это и мне было ясно.

— «Да вы подождите ответа из России». Ответ из России пришел. Набор не отменялся. Падлевский уехал в Польшу.

- 17-33 *Вместо:* Мельком ∞ понравилось — *было:* Явился на несколько дней Потевня, и почти в то же время Проватов — член «Земли и воли» и ее уполномоченный. Он хотел из редакции «Колокола» сделать [агентство] заграничный аванпост общества, а из нас его агентов,— [и тут я должен был опять разойтись в мнениях не только с Бакуниным, но и с Огаревым. Чтоб уладить дело и не играть постоянно роль холодильника] Бак<унин>, Огарев соглашались, но мне было что-то противное в этих названиях, и я предложил вступить просто-напросто с ними в союз и быть их друзьями, а не агентами. Проватов мне [показался одним из комиссаров, посылаемых от] живо напомнил знаменитых посланцев Конвента или Комитета общественного спасения в 93, 94 годах в дальние армии [громивших слабых воинов за недостатки управления]. Он строго выговаривал, что, не спрося общества, мы напечатали небольшую статейку о смерти Аргиропуло*, и много говорил о силе и разветвлениях «Земли и воли» и предлагал нам сделаться агентами общества.

- 36 *После:* в провинциях.—*было:* [Последний выходкой] Этой статистикой он был для меня осужден.

Стр. 373

- 10 *Вместо:* Они — *было:* В таком случае они
18 *Вместо:* до отъезда Бакунина пришел — *было:* до отъезда Бакунина в Швецию пришел как-то вечером
19-21 *Вместо:* он сел ∞ восстании — *было:* он был угрюм и недоволен в последнее время — теперь он уже носился с мыслью о возвращении домой, он страдал по России. Шел спор или разговор о польских делах
21-22 *Вместо:* слушал молча — *было:* долго слушал и молчал
34 *Вместо:* сделано — *было:* нами сделано

⟨Глава V⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)

Стр. 380

- 34 *После:* вон — *было:* «Г-да,— сказал я,— слушайте — вы все имеете полное внутреннее убеждение, что это шпион, а потому, кто будет с ним иметь сношения, тот поневоле должен будет взять на себя всякого рода последствия».

Стр. 381

- 3 *Вместо:* Да, это подозрительно — *было:* Да, да, теперь ясно, что это очень подозрительный человек
17 *Вместо:* верил в растущую силу — *было:* верил, ее растущая сила должна была догнать, недаром же она росла
21-22 *Вместо:* Свер<цекевич> ∞ друзья — *было:* Вот в это-то время приехал из Парижа сначала Сверц<екевич>, потом Домантович. В Париже
24-25 *Вместо:* и за тем приехали ∞ дела — *было:* и всё нашли в Лондоне, кроме одного, что было так же необходимо, если не больше,— тайны. Наше желание, чтоб Польша была независима и отделалась, не подлежало сомнению, и в нас — скажем в похвалу им и себе — никто из поляков не сомневался. Зная, что мы были против восстания — пока оно не начиналось,— они знали, что мы от души

желали им успеха и что мы в войске, присланном их душить, видели не Россию — а петербургское императорство. Поэтому от нас им нечего было таить проект экспедиции. Но каким образом скоро узнали о ней люди, далеко стоявшие и холодно сочувствовавшие?

²⁶ *Вместо:* Как-то — *было:* как-то после обеда

³⁴ *Вместо:* просил меня — *было:* просил меня об одном

Стр. 382

³⁻⁴ *Вместо:* я это знаю ∞ истины... — *было:* и теперь, когда дело идет первой важности, — я хочу, чтоб ваше мнение решило, кто прав — моя антипатия или мнение людей, которых я уважаю?

⁷ *Вместо:* повредить — *было:* сильно повредить

¹⁴ *Вместо:* лепить — *было:* делать

¹⁸⁻²⁰ *Вместо:* еще хуже ∞ нравятся — *было:* гораздо хуже, это большой седой ребенок, который никогда не умел отличить фразера от серьезного человека:

²⁵ *Вместо:* они рассердились — *было:* несколько неприятных объяснений отдалили нас

³¹⁻³² *Вместо:* (но свидетелей ∞ вот вам — *было:* — я их узнал). Теперь слушайте и взвесьте

³⁴⁻³⁵ *Вместо:* я бы не замешал его ни в какую серьезную тайну — *было:* конечно, он последний человек, которому бы я доверил важную тайну и которого содействие принял бы в выполнении ее.

³⁵⁻³⁶ *Вместо:* избалованный фразер — *было:* человек пустой, фразер на французский манер [наполненный французскими фразами], исполненный безмерным высокомерием, избалованный всеми потентатными знаменитостями европейского континента

Стр. 383

³ *Вместо:* я все сделаю — *было:* Кажется, не поздно.

— Еще слово, — прибавил я, — помните, что вы ничем в свете не выпытали бы из меня то, что я сказал, я этому человеку вредить не хочу, но ввиду общего дела я счел бы слабостью не сказать вам мое мнение. Итак, еще раз: верьте вашей антипатии — и не замешивайте слишком далеко Б. в ваши тайны — если тайны у вас есть.

⁴ *Вместо:* стал — *было:* встал и стал

⁸ *Вместо:* Я очень рад — *было:* Ну, я очень рад — прошу же вас,

²³ *Вместо:* в голову — *было:* в лицо

Стр. 384

³ *Вместо:* Как так? — *было:* Неужели?

¹⁴ *Вместо:* текстом — *было:* следующим текстом

²⁶ *После:* Наполеона — *было:* «Как вы думаете об этом?» — «Никак. Если б я думал, то не стал бы говорить об этом. Эти вещи только исполняются».

Стр. 385

²⁸ *Вместо:* После — *было:* Между тем после

Стр. 386

⁵⁻⁸ *Вместо:* ненавидел дико ∞ Кавказе — *было:* ненавидел — по крайней мере делал вид, что ненавидит. Затем основательно знал свое ремесло, вел долго войну и написал [очень] замечательную книгу о Кавказе — был, вероятно, и храбр, и отважен, и строг, словом, как я сказал, средневековый кондотьер

¹¹⁻¹² *Вместо:* не знаю ∞ об этом — *было:* надоедал нам беспрерывно — как-то он захватил наших людей. Я

²² *После:* забыли... — *было:* Сегодня кричит, кричит, я уж его взял к себе.

²⁵ *Вместо:* Видно — *было:* Ну, дело сделано,

³⁶ *Вместо:* с ним встречаться — *было:* быть с ним знакомым

Стр. 387

³⁴⁻³⁶ *Вместо:* спрашивали, скоро ли пойдет особый — *было:* искали главных начальников, спрашивали, где приготовленный

Стр. 388

¹ *Вместо:* прискакал — *было:* явился

⁶ *Вместо:* войны... — *было:* войны, уже провожаемые хохотом толпы.

²¹⁻²² *Вместо:* Домантович ∞ капитану — *было:* 19-го Домантовичу приходилось своим револьвером погрозить капитану, а не Лапинскому.

Стр. 389

¹⁶⁻¹⁸ *Вместо:* собранные ∞ время — *было:* потом он писал брошюру. В заключение моему глубоко печальному рассказу прибавлю, что в то время

²⁷ *Вместо:* там секретно — *было:* не было затруднений и приготовить незаметный проезд, и поэтому

³⁴ *Вместо:* они прежде болтают? — *было:* все это делается так гласно?

⟨Глава VII⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛВ)

Стр. 404

⁹ *Вместо:* ничего — *было:* разумеется, ничего

Стр. 405

¹ *Вместо:* бестактности — *было:* дерзости

¹⁵⁻¹⁶ *Вместо:* Я миновал ∞ мне — *было:* В Париже я миновал его знакомство донельзя — но объезжать его было не легче, как суженого. Сначала мне помогла его ссора с Бакуниным.

²² *Вместо:* Каждый день доказывал мне, как я был прав. В Головине — *было:* Человек этот был действительно несносен. В нем

³⁰ *Вместо:* которых все знают — *было:* вечно запивающих обед шампанским и живущих в лучших отелях

³¹ *После:* живут. — *было:* В гостиницах неуловимо злое облако пробирает у обер-кельнера при их приезде и он непременно показывает им комнату похуже, окном в стену, с запахом кухни, зато за столом они сами садятся всегда на [лучшие] видные места. К ним-то по всему принадлежал

Стр. 406

⁸⁻⁹ *После:* «каллиграфического образования» — *было:* — вот как он эмигрировал.

¹³⁻¹⁴ *Вместо:* они ∞ следовало. — *было:* а он любил другую.

¹⁷ *Вместо:* эстетической — *было:* художественной

¹⁹⁻²² *Вместо:* привычки ∞ полубогемы — *было:* чего-то... Вот одна черточка для полноты портрета

Стр. 407

¹ *Вместо:* жить — *было:* платить за содержание

² *Вместо:* в Ницце... — *было:* и он ходил то к моей матери, то к нам обедать. Бедность в иных случаях дает страшные права.

¹² *Вместо:* Здесь ∞ *индустрии* — *было:* Там-то я и застал его года через два, в конце 1852. Два года жизни в литературной богемии еще больше развернули в нем все свойства *chevalier d'industrie*¹

¹³⁻¹⁴ *Вместо:* примкнуть к разным политическим кругам, знакомился со всеми на свете — *было:* приютиться ко всем политическим кругам, не принимавшим его, со всеми знакомился, т. е. всем втеснял свое знакомство, всем надоедал

¹ рыцаря индустрии (франц.).— *Ред.*

- ¹⁵ *После:* вздор. — *было:* Через год случилось прекурьезное происшествие.
- ¹⁷ *Вместо:* Взмошел — *было:* Пока я говорил с ним об этом, взмошел
- Стр. 408
- ² *Вместо:* я — *было:* я с Головиным
- ¹⁰ *Вместо:* падить для польского дела — *было:* менажировать
- ¹¹⁻¹² *Вместо:* что Наполеон ∞ прочее — *было:* что касается до польского вопроса, то разрываться с Наполеоном просто безумие — он один может ее выручить.
- ¹³⁻¹⁴ *Вместо:* теперь ∞ силами — *было:* но и людей, как Маццини и Кошута, которые
- ²⁶ *Вместо:* к Ворцелю — *было:* обратился к Ворцелю,
- ³⁷⁻³⁸ *Вместо:* Результат — *было:* Успех
- Стр. 409
- ¹ *Вместо:* ответа, встал и высокомерно бросил — *было:* его, он встал, с иронией и высокомерно сказал
- ⁴ *Вместо:* и тяжело — *было:* и, как всегда, тяжело
- ⁷⁻⁸ *Вместо:* был ∞ митингов — *было:* помнится, был митинг
- ²²⁻²³ *Вместо:* — Без сомнения, но я хочу, чтоб вы знали, кто он такой — *было:* — Я знаю это, но я прошу вашего мнения.
- ³⁴⁻³⁵ *Вместо:* с своей ∞ погибнет. — *было:* уже тогда имевший дурную репутацию, погибнет навеки.
- Стр. 410
- ²⁻³ *Вместо:* В его положении ∞ И что — *было:* А главное, что
- ⁵ *Вместо:* отложить? — *было:* отложить дела?
- ¹¹ *Вместо:* пьянят — *было:* пьянят больше вина
- ¹⁶⁻¹⁸ *Вместо:* повторял, глубоко тронутый — *было:* на эстраде говорил
- ²³ *Вместо:* передал — *было:* доставил
- ²⁵ *Вместо:* т. е. отправил — *было:* он ее послал
- Стр. 411
- ¹⁰ *Вместо:* ваш — *было:* прекрасно удавшийся
- ²¹ *Вместо:* Головина — *было:* Я поехал. Головина
- Стр. 412
- ³ *Вместо:* поехал — *было:* сказал, что он готов ехать
- ¹²⁻¹³ *Вместо:* прибавил ∞ их — *было:* что, полагая, что он многое из его последних вещей не читал, просит его принять брошюры
- ²¹ *Вместо:* просто раскаиваюсь — *было:* долей раскаиваюсь, потому что он мне наделал впоследствии бездну гадостей.
- ²² *Вместо:* падают — *было:* всегда падают
- ²² *Вместо:* великому — *было:* простому
- ²³⁻²⁴ *Вместо:* «мошеники тем сильны — *было:* «мошеникам все удается потому
- ²⁶⁻³⁰ *Вместо:* Бандиты ∞ impasse — *было:* Эти милые бандиты журнального мира, туркосы цивилизации, делаются именно от своего затруднительного положения чрезвычайно опасными, из мирных сводчиков — мирными брегерами, гаротерами, пожалуй, шпионами. Терять им нечего, даже честного имени нет. Выиграть они могут все. Где же тут равенство и на что их спасти?.. Жаль, что эти рассуждения являются всегда после срока.
- ³⁵ *После:* гениально! — *было:* Впрочем, он догадался напечатать по-русски.
- Стр. 413
- ¹ *Вместо:* я — *было:* мы — т. е. я и...
- ² *Вместо:* русским солдатам — *было:* русскому войнству
- ⁵ *Вместо:* протест — *было:* протест, который прилагаем
- ²⁹ *Вместо:* начало — *было:* начало полного
- ³⁰ *Вместо:* тяжелым — *было:* тяжелым и неприятным

Стр. 414

²⁴ *Вместо:* Недели две-три—*было:* Дня два-три

Стр. 415

²⁸ *После:* письмо — *было:* Чисто то, что французы называют *querelle d'Allemands*¹,— тут я увидел, что от него ничем не отделаешься

³³ *Вместо:* передать ему — *было:* писать

Стр. 416

¹⁻² *Вместо:* что я ни малейшего зла ему не желаю и прошу его оставить меня в покое.— *было:* что напрасно он слушает каких-то сплетников, что я ему желаю всякого добра и прошу только, чтоб он меня оставил в покое.

¹⁷ *Вместо:* не давал — *было:* тогда не давал

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* приступом — *было:* храбростью медного лба.

Стр. 417

⁶ *После:* понятиями — *было:* Как будто в самом деле достаточно быть виноватым и дерзким вместе, чтоб заставить человека не только драться, но и принять все последствия дуэли.

Из иных причин отклонил я иной важности дуэль и рассказывал это подробно, но тут простой здравый смысл диктовал мое поведение.

¹⁷ *Вместо:* встретившими его с Головиным на—*было:* что шел с ним по

Стр. 418

⁴⁻⁵ *Вместо:* книгопродавческим каталогам — *было:* заглавиям книг, еще

⁶⁻⁷ *Вместо:* В феврале ∞ С.-Мартинс-Галля — *было:* В феврале месяце 1855 был известный народный сход С. Мартинс-Галля, на котором был сделан

¹² *После:* отказаться.— *было:* Тут я в первый раз виделся с Эрнстом Джонсом, стоявшим тогда во главе чартизма.

²⁵⁻²⁶ *После:* Вместе с тем — *было:* и прошу мне позволить речь сказать. Тут

²⁷ *Вместо:* очень хорошо — *было:* лучше других

Стр. 422

¹⁰ *Вместо:* Огарев нагнал — *было:* Огарев по обыкновению промолчал, потом нагнал

²⁷ *Вместо:* досаднее — *было:* страшнее, досаднее

²⁹ *После:* пренебрежение — *было начато:* Это я испытал не...

Стр. 423

²¹ *Вместо:* в Петербурге — *было:* с русскими

³²⁻³³ *Вместо:* Затем он предложил русскому посольству — *было:* Устал он, видно, крепко, хотелось [амнистии] вернуться в Россию и [не успевши в первом макиавеллизме] отдохнуть от треволнений эмиграционной жизни, он предложил Николаи, тогда первому советнику русского посольства,

Стр. 424

¹ *Вместо:* Бруннов — *было:* Николаи

³⁻⁴ *Вместо:* Тогда ∞ службу.— *было:* Наконец попросил он просто амнистию и получил,— так мало правительством считало его опасным,— но с условием, чтоб он поступил на службу.

⁹⁻¹⁰ *Вместо:* что он с рвением ему благие дела советует — *было:* с каким рвением он принялся ему советовать.

¹⁷ *Вместо:* Головин — *было:* очень вероятно, Головин

¹⁹ *Вместо:* суду.— *было:* суду или объяснение у солиситора. Несчастный

¹ немецкими дразгами (франц.).— *Ред.*

- 20-21 *Вместо:* к солиситору, он боялся тюрьмы, сильного — *было:* боящийся тюрьмы и
- 21-22 *Вместо:* Солиситор предложил ему — *было:* Ему предложили
- Стр. 425*
- 16-19 *Вместо:* Затем ∞ промолчал — *было:* Затем — плюс портные со счетами, трактирщики со счетами, сапожники со счетами, хозяин дома со счетами. Лондон оказался решительно невозможным — Головин оставил его, и тотчас разнесся слух, что он женился в Германии. Замечательное событие при этой женитьбе была телеграмма, посланная императору Александру II — с извещением о вступлении его в законный брак. Года через два, проживши приданое жены, он с ней разошелся.
- 21 *Вместо:* лицом, — *было:* лицом и довольно сгорбившегося,
- 24 *Вместо:* Старик прятался в воротник — *было:* Сразу я не узнал Головина
- 25-28 *Вместо:* Я приостановился... Головин шел — *было:* Я сначала приостановился... он шел своей дорогой
- Стр. 426*
- 3 *Вместо:* обругал — *было:* такую же или большую глупость

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

⟨Глава I⟩

ВАРИАНТЫ «КОЛОКОЛА»

Стр. 441

²⁰ *После:* русская... //... Мирное наслаждение горными отелями и видами русских министров было возмущено на днях встречей в Интерлакене двух старых знакомых: Головин, министр просвещения, встретился с известным литератором П. В. Долгоруковым. — «Здравствуйте, Александр Васильевич», — говорит Долгоруков. — «Мы больше с вами не знакомы», — отвечает просвещение, приподняв шляпу. Долгоруков ему в ответ*... Мало ли чем старые знакомые могут заключить свое знакомство, когда один говорит «здравствуйте», а другой по казенной надобности отвечает «мы с вами больше не знакомы». Не все звучно в печати, что звучно viva voce!

Окончивши знакомство, Головин уехал из Интерлакена, не окончивши курса. Это приобретет ему большую популярность между студентами, находящимися в том же положении.

История эта сделала *сенсацию*, многие из русских оставили Интерлакен, кто поехал в Тун, кто в Бриенц. Одни финансы в таком расстроенном состоянии, что Рейтерн остался долечивать их горными вершинами.

Головинская встреча с Долгоруковым была вторая неудача для бедного министра просвещения в нынешнем году.

Мне рассказывали, что несколько месяцев тому назад он взялся ходатайствовать о Константине Николаевиче перед Катковым. Головин хотел выхлопотать для Каткова, если он положит гнев на милость, какие-то льготы при пересылке по почте «Московских ведомостей». Катков соглашался оставить в покое великого князя, но требовал для себя, сверх почтовой льготы, не в пример прочим, беспензурности — на том, вероятно, основании, что он, как Сусанин, спас царский дом от поляков и, следовательно, имеет право на то, чтоб быть «вольным газетопашцем». Головин похлопотал — не удалось. Сусанин наш подождал, — толку нет, он и пошел снова намекать и подводить дальние апроши... — не великий ли, мол,

князь жжет Россию?.. Что Польша горит от его управления — сомневаться мудрено: почему, в самом деле, ни он, ни маркиз Велепольский не догадались сослать в Сибирь все зажигательные спички и всех делающих их? Словом, в то самое время, как Головин обнадеживал великого князя и говорил ему, что «смягчил» «Московские ведомости», друг Муравьева продолжал свое следствие о якобы чинимых злоупотреблениях прежним наместником Польши, отрешенным «Московскими ведомостями» от дел, и даже намеревался, что он поддержит «Колокол», когда это было нужно*.

Положение великого князя становится вовсе не легкое. «Московские ведомости» косятся на Грузию, и Михаилу Николаевичу не одобровать. Назови государь Леонтьева своим меньшим братом, Катков и его заподозрит в сепаратизме и желании иметь особенного стат-секретаря при редакции. Одно положение хуже и есть великокняжеского — это положение Шедо-Ферротти. Что бы кто бы ни написал, в Риге или в Кельне, в «Daily News» или в «Крестовой газете», — а уж Шедо-Ферротти достанется от Сусанина*.

А рггроз к доносцам и доносчикам, чернильным инквизиторам и литературным полицейстерам: один военный господин, заслуживающий полного доверия, рассказывал мне некоторые подробности, не важные, но характеристические, о финале дела Серно-Соловьевича, о роли (известного своими собственными историями) Корниолин-Пинского во время следствия и пр. От него я узнал, что другой член Государственного совета, говоривший в пользу обвиненных, был князь Суворов, что несчастный Траверсе умер в тюрьме; что Тургенев с большим успехом цитировал в свою пользу отрывки из «Колокола», засвидетельствованные в парижском посольстве. Процесс составляет, говорят, *четырнадцать томов**.

Серно-Соловьевич, как мы и знали, везде, во всем вел себя удивительно*. Сенаторы были подавлены его благородством, его доблестью.

Суворов хотел, чтоб осужденных везли в каретах на площадь, но благосердый Александр Николаевич, с не менее благосердым третьим отделением, велели их везти на какой-то колеснице. В мелких жестокостях всего больше обрисовывается сердце человека. Сила, энергия иногда увлекаются до жестокости, но никогда не колют булавками.

Настоящий поэт палачей, впрочем, тот из них, который придумал читать Серно-Соловьевичу и его товарищам сентенцию вместе с каким-то господином, делавшим фальшивые документы. Суворов восставал и против этого, но его величество хотело показать, что «не боится злоумышленников».

...Пойду лучше опять смотреть на пустую площадь и на спящую собаку, наши сплетни, как все наши разговоры, как все мысли, чем бы ни начинались, все-таки оканчиваются мрачной ненавистью и печальным презрением...

В заключение говорят, что Михайлов и Чернышевский очень больны*...

Стр. 442

²² После: русские // Да ведь только русские и способны на такие дела.

— Я думаю, вы правы, — сказал я униженный и с стесненным сердцем пошел своей дорогой.

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (СК)

Стр. 452

²³⁻²⁴ Вместо заголовков: II. С этого. 1. Живые цветы. — Последняя мо-

гиканка.— *было*: VI. Moralisches¹. С лишком десять лет тому назад сравнивал я так Лувелсва Фоблаза с Орасом Ж. Санд*.

С тех пор все точки над *i* выступили ярче, явились новые выражения, открылись еще ступени вниз. [От человеческого осталось одно — деньги. Если б не было покупок и продажи — можно было бы подумать, что мы возвратились в пастушески-патриархальные века горилл и орангутангов, сохранив от всей истории отсутствие излишних волос, неуместных цветов и гимнастической ловкости.

Мы говорим о Париже как о передовом городе.. [другим еще далеко, за исключением его спутников] другие [носятся] спутники, вроде Брюсселя, Женевы, и без того на его запятках.

Недавно толкуя об этом, я вспомнил, что и мне привелось видеть одну из последних могицанок, теперь совершенно исчезнувших. Эту-то встречу я и хочу рассказать.

1.

В начале 1849 г.— в минуту ложного выздоровления между двух болезней, в минуту какого-то колебания и фальшивого покоя — я искал всякого шума и рассеянья, как будто чувствуя, что это последние].

²⁶⁻²⁸ *Вместо*: я ∞ не протрезвлявшемся — *было*: я, бросая салфетку и решительно вставая из-за стола в небольшом душном кабинете Café Anglais. Раз ужиная с одним русским художником, всегда кашлявшим и никогда вполне не протрезвлявшимся

²⁸⁻³⁰ *Вместо*: Мне ∞ Лорреном.— *было*: Мне, хотелось на свежий воздух, на шум и, несколько побаиваясь длинного tête-à-tête, я предложил ехать на оперный бал с моим невским Рафаилом.

Стр. 453

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо*: во втором ярусе — *было*: в ложах второго яруса

¹⁸ *После*: «Sub salice» — *было* *начато*: Дездемоны

²⁰⁻²¹ *Вместо*: а то она поправится» — *было*: но не успела она поправиться

²⁶ *Вместо*: танцовщицы — *было*: дебардеры

Стр. 453—454

³⁴⁻² *Вместо*: Кто ∞ нашли.— *было*: 'Только тот может понять сцену, которую мы нашли там, кто видел и хорошо помнит бронзу, представляющую собаку

Стр. 454

³⁰ *Вместо*: удивило — *было*: так удивило

Стр. 455

² *Вместо*: такая добрая — *было*: так мила, добра

⁸⁻⁹ *Вместо*: что иностранцы имеют такое лестное мнение о парижской полиции.— *было*: что мы иностранцы и имеем лестное мнение о полиции.

¹⁵ *После*: Впрочем — *было*: заметил я моему соседу

¹⁷ *Вместо*: Пришлось — *было*: Теперь мне пришлось

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо*: не имея ∞ вас.— *было*: не зная вас, так вступился за вас

³¹⁻³² *Вместо*: Артист ∞ отдадут?» — *было*: Артист бросился туда было тотчас.— Пойдите — да как же вам отдадут?

³⁶ *Вместо*: —Хотите, чтоб я привел фиакр? // — Позвольте вас довести в фиакре домой?

Стр. 456

⁶ *Вместо*: молодым — *было*: отвратительным молодым

¹ Здесь: моралисты (нем.).— *Ред.*

- 7-8 *Вместо:* Очень ∞ историй! — *было:* — Очень обязан, — сказал он мне, — вы благородно поступили. — Потом сказал ей: «А ты всегда надделаешь историй!»
- 14-15 *Слова:* венский агитатор — *отсутствуют.*
- 18-20 *Вместо:* чуть ∞ поблагодарить. — *было:* горячо, детски подает мне руку и говорит: «Я вас не успела тогда поблагодарить... я вам очень, очень благодарна».
- 21-23 *Вместо:* — Ah, mademoiselle Léontine ∞ губки — *было:* — Что вы говорите? Ah, mademoiselle Léontine... я очень рад, что вас вижу. Я так и вижу это заплаканное личико, эти надутые губки —
- 26 *Вместо:* Плутовка — *было:* Она
- Стр. 464*
- 28 *Вместо:* свету ума — *было:* огню глаз
- 31-33 *Вместо:* Вакханки ∞ совершеннолетие. — *было:* Кроме того, что те состарились и отступили, а эти еще не вступили в совершеннолетие — и заняли их место.
- 34 *После:* времени // мирные щеголи войны
- Стр. 465*
- 3 *Вместо:* не замаравшие мундира — *было:* не запятнавшие себя
- 4-5 *Вместо:* Публичных генералов ∞ прихлопнула — *было:* Так как этих публичных генералов, «генералов тротуара» на Невском, разом затерла
- 7-8 *Вместо:* аудиторией — *было:* залой
- 17 *Вместо:* loup — *было:* взятая напрокат
- 20 *Вместо:* Тут — *было:* Это
- 21-22 *Вместо:* Разгул — *было:* Потому что здесь разгул
- 22 *Вместо:* Любовь — *было:* Сама любовь
- 23-24 *Вместо:* Афродита ∞ совой — *было:* Тут не Афродита со стрелой [колчаном], а Паллада с копьем и совой
- 28 *После:* налагаемые // на них
- Стр. 466*
- 8 *Вместо:* с руководством — *было:* с теоретическим руководством
- 9 *Вместо:* по всей справедливости — *было:* чрезвычайно яркое
- 10 *Вместо:* Самые недогадливейшие в мире люди догадались об этом — *было:* Не странно ли, что самые недогадливейшие в мире — они-то об этом догадались...
- 13-14 *Вместо:* не были супругами их сыновей — *было:* не были женами их многообещающих сыновей
- 15 *Вместо:* на «милых шалуний» — *было:* на Мину Ивановну и других генеральш и княгинь
- 17 *Вместо:* суровых — *было:* наших
- 18 *После:* сюркуп. — *было:* Зато на нашу академическую фалангу они и начали иначе. Совет, сенат, синод и другие полиции пошли изгонять студентов женского пола из университетов, велели [ей] носить кринолины и отрачивать волосы несмотря на то, что в Кормчей книге о кринолинах ничего нет, а волосы плести просто не велено. — Престол и церковь в опасности и предержавшие власти [прошли мимо] перешагнули
- 29-30 *Вместо:* приснопамятствовал — *было:* припоминал
- 31 *Вместо:* избрана была папиха Анна — *было:* однажды избрана была папиха Анна [Иоанна]
- 31-32 *Вместо:* своих иноков // иноков на экспертизу — [прибавляя со вздохом]
- 33-34 *Вместо:* Живые не приняли его предложения, генералы же, с своей стороны, думали — *было:* Тем не менее этого не приняли по зависти со стороны генералов, они, с своей стороны, [говорили]

Стр. 467

- ¹⁻² *Вместо:* хотели от военного ведомства предложить это место Адлербергу старшему — *было:* думали от военных просить Адлерберга старшего
- ³ *После:* статских — *было:* принять это место Минина и Пожарского в спасение университетов от нигилистов, в числе которых осмелился существовать Каракозов.
- ⁵ *Вместо:* 24 часа — *было:* тотчас
- ¹⁰ *Вместо:* На первый случай — *было:* На первый случай престол и отечество были спасены и
- ¹⁴ *Вместо:* Чрезвычайные меры ∞ Кому? — *было:* Ряд чрезвычайных мер принес огромную пользу без малейшей иронии—но кому?
- ²⁷ *Слова:* и слава им — *отсутствуют.*

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 457

- ⁶ *Вместо:* мой друг — *было:* он
- ¹¹ *Вместо:* т. е. в блондинку // как он назвал блондинку
- ¹¹ *Вместо:* длинных — *было:* длинных и витиеватых
- ¹¹⁻¹² *Вместо:* курьезных // курьезных по составу и акценту
- ¹³ *Вместо:* проповедь — *было:* длинную проповедь
- ¹⁹ *Вместо:* ходить — *было:* только ходить
- ²⁰ *Вместо:* шепнул я ей — *было:* шептал я Леонтина
- ³² *Вместо:* в своей безыскусственной простоте — *было:* своим концом
- Стр. 457—458
- ³⁰⁻⁷ *Вместо:* откровенно ∞ женщины — *было:* совершенно откровенно... и, не зная, что делать, запела страшную песню, искаженную в гейневском переводе:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hotel-Dieu

От Гауга она не отставала ни на минуту, дразнила его, острила над ним и называла *mon saint, mon petit saint*¹... Она решительно не могла ни одной минуты спокойно сидеть, ни одной минуты молчать. Когда решительно нечего было сказать, она пела ... и все с необыкновенной грацией и непринужденностью. Вот это-то и есть ваш *fiou*?

Стр. 458

- ¹ *Вместо:* «Лаперта» — *было:* «Ящерица»
- ² *Вместо:* дитя в каком-то бессознательном чаду — *было:* и наивно милое дитя в своем каком-то бессознательном падении
- ¹¹ *Вместо:* в силах были — *было:* мог
- ²¹ *Вместо:* Шаловливый // Сначала шаловливый
- ²¹⁻²² *Слова:* тридцатых годов — *отсутствуют.*
- ²² *Вместо:* был // и был
- ³⁰⁻³¹ *Вместо:* Оно экономнее и бескорыстнее — *было:* для того, чтоб он мог поживиться

Стр. 459

- ⁷⁻⁹ *Вместо:* Это ∞ музыкальной иллюстрацией — *было:* Я помню, как в пятидесятых годах добрый Таландьё с страшной досадой влюбленного в свою Францию объяснял мне с аккомпанементом, сидя за фортепьяно
- ¹¹ *Вместо:* «Марсельеза» — *было:* великая «Марсельеза»
- ¹⁴ *Вместо:* монотонные — *было:* более тягучие
- ¹⁵ *Вместо:* падали глубже — *было:* с свирепой злобой начинали играть

¹ мой святой, мой святоша (франц.).— Ред.

- 17-19 *Вместо:* Это ∞ Margot — было: Что же удивительного, что через год мы запели нелепость «Partant pour la Syrie» наверху и гадость «Qu'aime donc Margot... Margot».
- 21 *Вместо:* Можно! Таландые не предвидел — было: Ан можно — Таландые тогда не предвидел Терезы и ее сапера, не предвидел
- 21 *Перед:* Недосужий — было: Chien¹ — скорее предел... была минута, в которую я думал... что собаку пересилит рieuвге², т. е. что le trop chien³ — выразится пьевром. Морское чудо Гюго не принялось — рieuвге слишком похоже на рлеутге⁴. Впрочем, я беру назад сказанное, век двинется дальше. *Собака*, очевидно, не совершенно радикальна.

Стр. 461

- ¹ *Заголовок:* Махровые цветы — отсутствует.
- ² *Вместо:* В нашей Европе — было: У нас в русской Европе
- ³ *Вместо:* в увеличенном — было: и почти всегда в увеличенном
- ⁴ *Вместо:* европейской — было: европейской и особенно в Париже
- ¹² *Вместо:* первообразы — было: «оригиналы»
- 13-14 *Вместо:* как туман — было: как туман, к свету
- ¹⁴ *Вместо:* Травивата — было: лоретка
- ¹⁷ *Вместо:* не-Европы — было: России русской
- ¹⁹ *Вместо:* в деревне — было: в избе
- ²² *Вместо:* господский — было: барский
- 29-30 *Вместо:* мало знаем и потому больше // не знаем и потому по необходимости
- ³⁴ *Вместо:* А недостает // В сущности

Стр. 462

- ³ *После:* станок — было: и они сами бречат на фортепьяно
- 4-5 *Вместо:* С русской — было: С нашей
- ²⁰ *Вместо:* У каждой лоретки своя история, свое посвящение — было: У каждой лоретки своя история, свое посвящение, несравненно больше интересное, чем то, которое они обыкновенно рассказывают [не натянутое] — а вытянутое за уши
- ²⁵ *Вместо:* оьяняенья — было: наслаждений
- ²⁵ *Вместо:* деньги // достаточные деньги
- 25-26 *Вместо:* деньги ∞ vogue la galère — было: и пример безвыходной гибнущей честности, — целомудрия и кутящего легкомыслия

Стр. 463

- 13-17 *Вместо:* И это ∞ буфетчиком — было: Барыне всего того, что делает несчастная камелия, вовсе не нужно — у ней это не забота, а прихоть — и в прежние патриархальные времена она тихо довольствовалась кучером или [гайдуком] буфетчиком.

Но то, чего у патриархальных матерей семейств вовсе в голове не было, то сильно высказывается в аристократическом камелизме — и дает ему характер и освещение. В нем —

В истории нашего развития [они] наши Травиваты не пропадут, они имеют смысл и значение. Они представляют удалую

- 13-16 *Вместо:* довольствовались // довольствовались и то изредка,
- ²¹ *После:* времени // и все вместе составляет один протест
- ²² *Перед:* Тут-то — было: Откуда же взялась [эта необходимость кутежа] потребность этой вольницы, дамского разгула, наслаждений ярких, но грубых. Эта потребность похвастаться [своим

¹ Собака (франц.).— *Ред.*

² спрут (франц.).— *Ред.*

³ слишком собака (франц.).— *Ред.*

⁴ ничтожество (франц.).— *Ред.*

освобождением] своим пренебрежением общественных предрассудков, потребность сбросить с себя все эти вуали и все эти ширмы, все эти маски — у нас явилась не ранее сороковых годов. Бабушки и матушки наших львиц, целомудренные и патриархальные довольствовались [же] — и то изредка — тихо и скромно тургеневским нахлебником наконец, а за неимением его — кучером или буфетчиком — и все было шито и крыто.

²² *Вместо:* Тут-то — было: По-нашему, тут-то

²³⁻²⁴ *Вместо:* Это своего рода полусознанный протест // Действительно, это своего рода растрепанный и полусознанный протест

²⁹ *Вместо:* Селестинах // Леонтинах

³¹ *Вместо:* бродила в крови — она была — было: бродила в их крови, в [их] ее воображении, она тоже была

Стр. 464

⁷ *Вместо:* Конечно ∞ Ростопчина — было: Поневоле вспомнишь желчевого старика графа Ростопчина

⟨Глава II⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (СК)

Стр. 468

³ *Вместо:* (Февраль 1867) — было: (20—28 февраля 1867)

⁶ *Вместо:* Моллюски — было: Осужденные на вечное купанье моллюски

¹³ *Вместо:* торговый склад под военным флагом — было: склад мирной торговли, охраняемой военным флагом

¹⁵ *Вместо:* площади — // форуме

¹⁷ *Вместо:* лодка — было: стрела-лодка

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* Как тут было не топить людей — было: Как тут было не быть великим злодеяниям и сильным подвигам, как тут было не топить людей

²¹ *Вместо:* своеобразный — было: крепкий и своеобразный

²⁴ *Вместо:* пустой — было: сухой

Стр. 469

⁷ *Вместо:* морской красавицы — было: морского города

¹¹ *Вместо:* сокрушить — было: погубить

¹³⁻¹⁴ *Вместо:* явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет — было: Бонапарт, бросивший в нее по-корсикански [в Венецию] стилет

¹⁵ *Вместо:* Венеция // райская Венеция

¹⁵ *После:* Венеция — было: только спала — она

³⁶ *Вместо:* удивляет — было: меня удивляет

Стр. 470

¹⁻² *Вместо:* а не вахтпарад — было: а не арсенал, не вахтпарад и не exhibitum¹

²⁶ *После:* Piazza St. Marco // пожимая сотни рук.

³³ *Вместо:* Пьяные // Вечером пьяные:

Стр. 471

⁷ *Вместо:* давно // давно-давно

¹⁴ *Вместо:* доносился шум — было: доносился, и то все меньше и меньше, шум

²⁴ *Вместо:* славянской красавицы — было: моей славянской красавицы, которая как-то во-время напомнила мне [наше кровное] родство нашей крови с Польшей... Но завтра придет Гарибальди.

¹ Здесь: распутство (лат.).— *Ред.*

Стр. 472

- ²¹ *После:* Махиавелли — *было:* и со всеми глупыми статьями в «Nazione»
- ²² *Вместо:* Теперь воротимесь // Кстати — теперь воротимесь
- ²⁵⁻²⁶ *Вместо:* осуществлял — *было:* прикидывал на дипломатических счетах
- ³³ *После:* плодотворности // в их будущем творчестве
- ³³⁻³⁵ *Вместо:* им правится ∞ не достигая.— *было:* не в прошедшем, а в грядущем, в возможности бросить изжитые формы или приладить их к новому единственному пути к спасению. Они [сами перервали] с широкого пути развития [с него] свернули сами, не зная куда [может, потому, что спаслись бы именно те части, которые теперь не живут настоящей жизнью, а не те, которые сознательно хотят спастись],— боясь, что их богатства ограбит на большой дороге... Они пошли проселками. Может, в этом высказался их предел. Им прогресс тягостен — они любят рваться к нему — не достигая.
- ³⁶⁻³⁸ *Вместо:* Идеал ∞ элемент — *было:* Идеал итальянского освобождения был беден, в нем есть великие воспоминания, истинные требования и горькие упования, начинающие стынуть, но в нем опущен, с одной стороны, существенный, животворный идеал

Стр. 473

- ⁸ *Вместо:* штатский — *было:* гражданский
- ¹³ *После:* не уйдешь // пример [возле] не далек
- ¹⁵⁻¹⁶ *Вместо:* живет за Пиренеями — *было:* там живет
- ¹⁸ *Вместо:* лежать под паром — *было:* спать, как медведи,
- ²⁰ *После:* соков — *было:* когда их все считали мертвыми — начинать новую карьеру, стряхая с себя могильную пыль.
- ²²⁻⁴ *Вместо:* угорала ∞ мир.— *было:* засыпала и мечтала о долгом застое своих усталых и забытых народов, она проснулась и встретила весь мир. Что народ греческий был жив под пятой <1 нрзб.> в этом не было сомнений. Но воскрес народ новый.
- ²⁴⁻²⁹ *Вместо:* Но ∞ существование.— *было:* Но [похожи ли были] греки Каподистрии равно не похожи [ни] на греков Перикла или на греков Византии. Это другое дело. Мы разумеем в продолжении биографии — развитие той же личности, а не ее детей, как бы они ни походили на родителей. Но тогда ей придется начать другую историю. В этой <1 нрзб.> освобождение — ничего не остается, кроме права на существование.

³⁴ *Вместо:* или — *было:* потом

³⁴⁻³⁵ *Вместо:* перевороты — *было:* перевороты и интриги

³⁵ *Вместо:* застрялой природе — *было:* упорной натуре стареющей империи

Стр. 473—474

³⁶⁻² *Вместо:* Древняя ∞ спасло — *было:* Дело в том, что Греция изжила свою жизнь, свою мысль, свой пластицизм, когда римское владычество накрыло ее доживанье и спасло ее

Стр. 474

³⁻⁶ *Вместо:* Византийский период ∞ бесплодности — *было:* Византийский период снял покров, а мертвый город остался мертвым, им завладели попы и монахи... как вечным кладбищем, им распоряжались евнухи—совершенно на месте—как разные наушничавшие старухи

¹⁰ *Вместо:* бог истории — *было:* бог истории — как выражались

- 12 *Вместо:* читая скучные летописи — *было:* протосковавши целые
 фоллянты скучных летописей
- 14–17 *Вместо:* Я учеником ∞ свиданье — *было:* Я ребенком не мог на-
 радоваться на [дикого] рослого дикаря в рубахе, одиноко гребущего
 свою комягу, отправляясь на дипломатическое свиданье
- 24 *После:* делают. — *было:* Собственно факт жизни, сборной или оди-
 ночной, интересен для физиологии — патологической или этно-
 графической.
- 25–26 *Вместо:* ...Помнится ∞ говорил — *было:* [... Раз, — кажется,
 я уж где-то упоминал об этом, — я говорил с Томасом Карлейлем].
 Вы, может, помните ответ Томаса Карлейля мне, когда я ему
 говорил
- Стр. 475*
- 4 *Вместо:* бюрократию — *было:* туринскую бюрократию
- 9 *Слово:* там — *отсутствует.*
- 14–15 *Вместо:* признания гражданской способности совершать акты —
было: признания совершеннолетия
- 15–19 *После:* «вселенную и город»? — *было:* Каким воскресеньем из мерт-
 вых или нарожденьем на этом двойном кладбище удивится мир?
- 22 *Вместо:* Гарибальди бросит — *было:* Гарибальди середь Рима
 бросит
- 24–25 *Вместо:* с ним вместе — *было:* с Симеоном
- 30 *Вместо:* измельчания ее людей // лютого измельчания ее.
- 32 *Слова:* и великого война — *отсутствуют.*
- 32 *Вместо:* их // его
- 33 *После:* меч — *было:* [она сплотила Италию] Программа его принад-
 лежит прошедшему — это знамя, труба
- 34–36 *Вместо:* Половина ∞ перехватывала — *было:* Половина, большая
 половина идеала Маццини исполнилась и именно потому, что идеал
 его перехватывал
- 34 *Вместо:* завоевала себя — *было:* завоевала себя... не больше
- 36 *Перед:* Что Маццини — *было:* Готовясь на дальнюю дорогу, первые
 станции делаются легко, и человек всего больше устает, когда
 идет в дальний квартал того же города. В том
- Стр. 476*
- 11 *Вместо:* — А демократическая республика? — *было:* Нет — еще
 на демократическую республику.
- 12–13 *Вместо:* Это ∞ денния — *было:* Это-то и есть та великая награда
 за гробом, которой напущивались люди на великие деяния
- 16–17 *Вместо:* неподкупных, неутомимых каменщиков — *было:* непод-
 купных якобинцев, часть неутомимых каменщиков
- 20 *Вместо:* немца — *было:* австрияка
- 28 *Вместо:* они не хотят — *было:* в самом деле не хотят
- 28 *После:* не хотят. — *было:* Может, потому, что республики на манер
 французской 1848 года вряд можно ли хотеть через двадцать лет.
 А к другой — вряд готовы ли они — да ее никто и не предлагает.
- 37–38 *Вместо:* служивший потом в Италии — *было:* затерявшийся в ре-
 волюционном стану и служивший потом в Италии
- Стр. 477*
- 4 *После:* муку — *было:* которой кормятся мельники
- 8 *Вместо:* подгоняемый арапником — *было:* подгоняя арапником—
 оппозицию
- 13 *Вместо:* Оно // Ведь оно
- 30 *Вместо:* гулянье — *было:* гулянье под Новинским
- 31 *Вместо:* замирает — *было:* плавает
- 38 *Вместо:* с тиком в ногах — *было:* подергивающих как <1 нрзб.>
 ногами

- ³⁵ *Вместо:* граф — было: граф — выезжая
- ³⁷⁻³⁸ *Вместо:* Я прошу у графа Т. ссудить меня этим выражением — было: Вот <1 нрзб.> взял эти слова
- Стр. 478*
- ³ *После:* духовенству — было: [вероятно, под сурдинку было обещано разным соседям направо и налево] и утверждала за ним большую часть достояний.
- ²² *После:* без нее. — было: Говорили, что банкир привез суммы денег на покупку голосов — это разбудило совесть многих, и они решились охрипнуть
- Стр. 479*
- ³ *Вместо:* графу и феодалу — было: графу, исполненному высокомерия
- ³⁻⁴ *Вместо:* Камера — было: Камера умеренно вотировала
- ⁵ *Вместо:* хотела перейти — было: переходит
- ¹⁰⁻¹² *Вместо:* думал ∞ трудно — было: думал даже о каком-то *сoup d'Etat*, но Чальдини сказал королю, что в случае крутой меры на войско полагаться трудно.
- ¹⁴⁻¹⁵ *Слова:* или скрыть ее — *отсутствуют.*
- ¹⁵⁻¹⁸ *Вместо:* засвидетельствовать свое поражение — было: провести подтасованный закон
- ¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* всемогущество безумия не имеет границ, хотя и имеет — было: свобода и всемогущество безумия не имели границ, но зато имеют
- ²³⁻²⁴ *Вместо:* А если ∞ безнаказанно — было: Но ведь в том-то и беда, что Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, — она его не вынесет безнаказанно, она ополчится в нем
- ²⁴⁻²⁵ *Вместо:* Такого ∞ переработать — было: Такого призрачного мира лжи и пустых слов, фраз без содержания, масок и оптических обманов трудно вынести
- ³⁰ *Вместо:* китайского фонаря // [французского] лантерн мажика и [неправдами]
- ³⁶ *Вместо:* не в самом деле борьба — было: не в самом деле борьба — ополчит его
- Стр. 480*
- ¹⁰ *После:* уважаю — было: и его соотечественников
- ²⁹ *Вместо:* понижение Франции — было: ее понижение
- ³¹ *Вместо:* ищет — было: ищет (как будто она могла быть случайной)
- ³³ *После:* выздоровление // без радикальных операций
- ³⁸ *Вместо:* их пружина доиграла и чуть ли не лопнула — было: оказались несостоятельными
- Стр. 481*
- ⁵ *Вместо:* Явилась дилемма — было: Отсюда роковая дилемма... Как только Франция будет верна
- ⁶ *После:* учреждения // ...и неминуемо [освобожденная мысль]
- ⁸ *Вместо:* рабство — было: разложение
- ¹¹⁻¹² *Вместо:* к вечной борьбе // к борьбе сильных с большинством [одному колебанию]
- ¹²⁻¹³ *Вместо:* В основном ∞ лежит — было: В основном бытовом факте европейской жизни обнаружилось
- ¹⁷ *После:* труднее // при самом формальном понятии демократии и при самой выработанной религии собственности
- ²⁴ *Вместо:* проще // проще, — даже, если хотите
- Стр. 482*
- ¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* окрасив в один цвет пестрые лоскутья немецкого отече-

ства — *было*: захватив в свое единство все пестрое многообразие немецких отечеств

²³ *После*: картечей.— *было*: К тому же, когда средоточие сил переносится в штаб и армию — кому же и быть во главе мира, как не стране, созданной солдатчиной и создавшей гатчинскую выправку, которой заколотили поколения наших мужичков, и те иголки, которые не дают спать Франции.

²⁵ *После*: старикам.— *было*: Да и что заботиться об них.

²⁶⁻²⁷ *Вместо*: Англия ∞ почувствовала — *было*: Англия хитро хранит вид силы, отошедши в сторону и гордая своим неучастием... И в сущности она почувствовала

²⁹⁻³⁰ *Вместо*: потуги посильней...— *было*: с потугами иной силы

³⁷ *Вместо*: последнего военного суда — *было*: последнего и притом военного суда

³⁸ *После*: варваров? — *было*: авангардом неученых?

Стр. 483

¹ *После*: Chi lo sa? — *было*: Во всяком случае Италия будет делить ее судьбу.

²⁰ *Вместо*: Март 1867— *было*: 2 марта 1867. Ницца. Искандер.

⟨Глава III⟩

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (СК)

Стр. 484

¹⁴ *Вместо*: В 1852 я просил — *было*: С тех пор и это прекратилось. В конце 1852 я снова просил

¹⁶⁻¹⁸ *Вместо*: Я написал ∞ тайком — *было*: Я написал в Фрибургский Conseil d'Etat, ставя им на вид, что я, новый согражданин их, хочу ехать в Швейцарию и должен это сделать или тайком

Стр. 485

⁷⁻⁸ *Вместо*: соображения особенной важности, сообщил ему м. в. д., заставили отказать — *было*: по его мнению, соображения особенной важности сообщил м. в. д., заставили его отказать

¹⁰ *Перед*: Я — *было*: Как ни лестны для моего самолюбия такой почет гонения и все эти «соображения особенной важности» — но они все же не имели никакого основания, — кроме озлобления усердных слуг Наполеона.

¹⁵ *После*: связи — *было*: и гнев этот, поддерживаемый мною — статьями в «L'Homme», надгробным словом Ворцелю и пуще всего брошюрой «La France ou l'Angleterre», — продолжался до 1861 года.

¹⁶ *Вместо*: Про этот гнев нельзя не сказать — *было*: Про этот гнев можно сказать буквально

¹⁹⁻²⁰ *Вместо*: Дней ∞ свечу — *было*: Дней через шесть я уже собирался в Лондон, как бельгийская полиция получила приказ побеспокоить меня. Я останавливался в Belle-Vue, вечером прихожу из театра, гарсон, подавая мне свечу

²¹ *Вместо*: Слуга проводил— *было*: однако гарсон, извиняясь, проводил

Стр. 486

³ *Вместо*: толстой и на вид золотой — *было*: на манер золотой — через жилет

⁵ *Вместо*: Я, едва, и то отчасти, одетый — *было*: Я, совершенно раздетый, в одних кальсонах и туфлях

⁷ *Вместо*: с семи часов утра — *было*: с самого утра

³³ *Вместо*: он — *было*: тут он

³⁴ *Вместо*: свой — *было*: милый

Стр. 487

³ *Вместо*: в Бельгии — *было*: в вашем королевстве

- 7-8 *Вместо:* в таком случае я не смею сомневаться — *было:* извините
- 14 *Вместо:* смутился — *было:* смутился моим ответом
- 16-17 *Вместо:* Видно ∞ Швейцарии — *было:* Видно, не все в ней верно, коли не записано, что я давным-давно натурализовался в Швейцарии
- 18 *Вместо:* — Так-с — *было:* Вот — смотрите
- 19-20 *Вместо:* Я спрашивал — *было:* Я часто спрашивал
- 21 *Вместо:* оставят ли типографию — *было:* оставят ли меня с нею
- 22 *Вместо:* на что — *было:* на что действительно
- 23 *Вместо:* как вы легко поверите — *было:* в противном вы меня, конечно, не обвините
- 24 *Вместо:* просил его — *было:* отвечал ему, чтоб
- 25-27 *Вместо:* Консулу ∞ Луи Блана. — *было:* Консул ваш был так деликатен, что не хотел мне письменно сообщить министерское отклонение... а просил мне передать эту весть Луи Блана, которого мы оба уважаем.
- 28-30 *Вместо:* Я ∞ Брюссель — *было:* Я еще помню, что, благодаря Луи Блана, я просил его удостоверить г. Дельпьера, что я с большой твердостью духа узнал, что меня с *типографией* не пустят в Брюссель
- 33 *Перед:* Видите — *было:* Знаете, это я так, шутя!
- 36 *Вместо:* читая — *было:* делая вид, что читает
- Стр. 488*
- 3-4 *Вместо:* как ∞ вас — *было:* как это ни неприятно для нас — просить вас
- 5 *Вместо:* — Я завтра еду — *было:* Это мне напомнило мою высылку из Пиземонта, и я сказал ему: «Удалиться [выслать меня], но это совершенная роскошь относительно человека, который завтра едет».
- 18 *Вместо:* об отказе — *было:* о нелепом отказе
- 30 *Вместо:* постоянно отказывали — *было:* было отказано
- Стр. 489*
- 1 *Вместо:* отнестись — *было:* адресоваться
- 2 *Вместо:* В Париже — *было:* там
- 12-13 *Вместо:* потому, вероятно, и не достигнет цели. — *было:* и что надобно бы прибавить цветов красноречия.
- Стр. 500*
- 24 *Перед:* Город — *было:* «Братство всего материка — неизбежное благо, с этим надобно свыкнуться. Человечество сосредоточивается в Париже.
- 26 *После:* земной — *было:* в нем сосредоточивается человечество. Париж не город, а правительство.
- 30 *Перед:* Но Париж — *было:* Иногда Париж расходится с властью — Париж проходит под огнем, как под дождем, и на другой день греется на солнце... Когда он недоволен, он маскируется, вместо савана, траура он надевает домино — песни, бубенчики, танцы и страстная музыка — *весь вид паденья* — так что можно ошибиться... Париж надобно любить, желать, выносить... Однако возражает себе поэт — волхв.
- 33 *Перед:* Одни — *было:* Дурно говорить о Париже, смеяться над ним, пренебрегать им — дело нетрудное. Ничего нет легче, как принимать презрительный вид с исполинами. Это почти детство. Париж ненавидят — наш долг любить его. Свидетельствовать в пользу Парижа значит подтверждать продолжение великого человеческого развития, идущего к всеобщему освобождению.
- 34-35 *После:* волю... — *было:* Город силы, основанной на согласии, —

согласии, основанном на бескорыстии, он обладает возвышением, ослепляет наукой

³⁵ *Вместо:* Париж изгоняет из себя все нечистое — *было:* Он изгоняет все нечистое

Стр. 501

³ *После:* города! — *было:* А потому милости просим на выставку.

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* И в полном умилении ∞ свобода — *было:* И в полном восторге, упоении Гюго восклицает — удивляясь, как Франция, целый народ *испаряется братством* [и как], народ, которого свобода

²⁴⁻²⁵ *После:* бесконечности — *было:* Прощай, народ, приветствую тебя, человечество

²⁷ *Перед:* Когда // Это было писано в мае 1867. *Здесь значок, отсылающий к л. 9 об., на котором зачеркнут текст:* по поводу этих балаганов на Champ de Mars, по поводу разнородных гербергов и кабаков ...по поводу всемирного толкучего рынка...

Какой царедворец падшего Рима, какой восточный певец-раб больше рабелествовал перед каким-нибудь цесарем Клавдием или Септимием, перед каким-нибудь выродившимся наследником Тамерлана... В строках, выписанных мной, есть китайские звуки, есть слова, напоминающие Византию — Персию...

Большей неправды не было сказано человеком.— Я верю, что Гюго добросовестен, но неправда его [колоссальная] от этого не меньше вопиюща. И в какую минуту он ее возвестил гласом трубным и звуком кимвалов... Когда Франция, вооруженная с головы до ног [всегда] готова броситься на всякого соседа, когда она стоит на дороге всех великих совершений — поддерживая там папу, тут [военный деспотизм] Австрию, там [поддерживая] Турцию и свой собственный деспотизм [турецкое управление]... в то время как одураченный Максимилиан шел на место казни и безумная жена его билась в Мираморе. В то время, когда Франция потеряла всякий смысл самоуправления, свободы. Когда Франция расплылась в оргиях и тонула в вакханалиях, которым позавидовал бы Кутюра. Да, это великое преступление, до которого редко поднималась риторика!

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 490

¹⁰ *Вместо:* одобренный и найденный безопасным для империй — *было:* путешественник

¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* Тут ∞ неистовством.— *было:* Тут только пришло в голову Мейзенбуг, что защитник порядка вызывал с таким неистовством мою дочь, девочку десяти лет, которой был нужен особый паспорт.

²⁵ *Вместо:* — Est-ce que c'est l'empereur? — *было:* «Это сам император?»

²⁶⁻²⁷ *Вместо:* случилось через год еще хуже — *было:* случилось почти то же в 1861

Стр. 491

³ *Вместо:* псалом — *было:* известный псалом

⁴ *Вместо:* с льстивым отчаянием жалуется Иегове // с каким-то льстивым отчаянием жалуется [своему небесному императору]

⁸ *Вместо:* через стол — *было:* там

⁹ *Вместо:* он — *было:* он уже

¹⁰ *Вместо:* Бежал ∞ шел — *было:* Бегу от него за город — он идет

¹³ *Вместо:* На бале в Мабиль? На обедне в Мадлен? — *было:* В Мабиль? или Мадлен?

- 17 *Вместо:* времен Тьера и либеральных историков луи-филипповских времен — *было:* тридцатых годов
- 22–23 *Вместо:* рассыпался пехотой, поплыл флотом — *было:* во все зависящее от администрации, центральной власти, идущее из нее, стремящееся в нее (<1 нрзб.>) армий... во всю нацию и вне народа
- 27–32 *Вместо:* Le bourgeois ∞ ничем — *было:* Son homme¹ Франции, l'homme du destin², уничтожающий в себе все резкие стороны национального характера и все стремления народа, осредотворяющий их ... как та вершинная точка горы или переходы пирамиды, оканчивающей ее ничем... [уничтожает ее] и дагерротипирует себя сверху вниз
- 33–34 *Вместо:* Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценил — *было:* я впал в ошибку всей враждебной ему стороны. Он совершенно соответствует современной Франции, не меньше по крайней мере, чем его дядя соответствует своей — это son homme
- 34–35 *Вместо:* 1861 год ∞ империи — *было:* В 1861 году в империи
- Стр. 492
- ⁴ *Вместо:* хвалил Нью-Йорк в пику Парижу — *было:* хвалил Америку в пику Франции [чему-то другому] Тюльери
- ⁶ *После:* намеки — *было:* все это деликатно и mezzo-voce, точно в Петербурге при Николае
- ¹² *Вместо:* градом // как градом
- ¹² *Вместо:* никто не жаловался — *было:* вовсе не недовольно этим, напротив
- ¹⁴ *Вместо:* масла — *было:* обжорства
- 14–17 *Вместо:* Кому ∞ из Мазаса — *было:* Кому же постить не нравилось, того было трудно видеть — он тотчас исчезал или делался шелковым.
- 17–18 *Вместо:* Полиция ∞ la grande armée — *было:* Полиция — великая французская, парижская полиция — единственная в мире
- 19–20 *Вместо:* В литературе ∞ морю — *было:* В литературе до того плоский штиль, что самые плохие лодочники на самых плохих лодках выплывали далеко, вроде Абу, впрочем, читали мало.
- ²¹ *После:* сценах — *было:* их бессмысленно-смешное, карикатурное содержание
- 21–22 *Вместо:* сонливость — *было:* тоску
- 22–23 *Вместо:* поддерживалась бессмысленными журналами — *было:* сменялась тоской журналов
- ²⁴ *Вместо:* не интересы, а фирмы — *было:* какие-то неизвестные, чуждые интересы или фирмы банкиров и торговых домов. Политическая жизнь их была пуста, бедна, premiers-Paris [нельзя было читать] были на втором плане
- ²⁵ *Вместо:* сжатым — *было:* простым
- ²⁶ *После:* «мышцами» // как прибавим мы
- ²⁸ *Вместо:* полинялые и потертые — *было:* напыщенность
- ³² *Вместо:* миру — *было:* всему миру
- Стр. 492—493
- 33–32 *Вместо:* Оппозиция ∞ ветры — *было:* Преданность и оппозиция делались под знаменем бонапартизма [так, как и преданность], так что могли быть нюансы одного и того же цвета, но не разных цветов — их можно бы означать в том роде, как моряки означают ветры на одной четверти звезды под главным экспонентом.
- Стр. 493
- ^{3–4} *Вместо:* отчаянный ∞ монархический — *было:* Бонапартизм чи-

¹ нужный человек (франц.).— *Ред.*

² человек, отмеченный роком (франц.).— *Ред.*

стѣй [(в смысле цвета — как конституционель, патри и пр.)], идущий далее Наполеона, бонапартизм умеренно монархический

⁷ *Вместо:* тюльерийский — *было:* [орлеанский] конституционный

⁸ *Вместо:* ставившие на место — *было:* поправлявшие

⁹⁻¹⁰ *Вместо:* поверяли время по хронометру префектуры — *было:* ставили по префектному хронометру

¹¹ *Вместо:* торопились — *было:* бежали

¹⁹⁻²⁰ *Вместо:* Я ∞ водой — *было:* и в ответ спросил меня, буду ли я ужинать.

²² *Вместо:* На близком расстоянии — *было:* Тут только

²⁴ *После:* счастливы — *было:* любезный Г.ц

Стр. 494

¹⁻² *Вместо:* Все ∞ колодка — *было:* Все, что обдавало ужасом при Людовиге-Филиппе, все, что можно было предвидеть в 1849, конце Февральской республики, — было далеко обойдено действительностью. Тогда еще были надежды — теперь и их не было.

⁵ *После:* сложившимся... — *было:* Кто не знает чувства, с которым мы ходим по комнатам дома, где прошла яркая часть нашей жизни, совершилось какое-нибудь великое событие, тесно связанное [вас] с его стенами. Человек сначала рад знакомым предметам, узнает их, рассматривает с любовью, и вдруг он видит, что дом для него умер, что он чужой, что тут [идет] прошла совсем другая жизнь, и притом жизнь нехорошая... Это-то чувство давило меня в Париже и толкало из него... К тому же новая жизнь его была не только чужая, но глубоко падшая, антипатичная.

Это не тот Париж, не старый, родной Париж.

⁶ *Вместо:* чужды — *было:* противны

⁷ *Вместо:* дворцы — *было:* палаты

⁸ *Вместо:* любил и ненавидел — *было:* столько любил и столько ненавидел

¹⁰ *Вместо:* утративший — *было:* продавший

¹⁴ *После:* времени — *было:* но и они стирались.

¹⁶⁻¹⁷ *Вместо:* Воспоминания ∞ социалистов — *было:* Одни воспоминания, как у тацитовских республиканцев, одни неопределенные идеалы, как у социалистов

¹⁸⁻¹⁹ *Вместо:* боролся не серьезно — *было:* мало спорил

²⁰⁻²¹ *Вместо:* «Воспоминания» ∞ строже — *было:* «Воспоминания» были ближе, чем надежды — их и держали крепче

²² *Вместо:* ударом — *было:* страшным ударом

²⁴ *Вместо:* на два квартала и на два месяца — *было:* вокруг

²⁴⁻²⁵ *Вместо:* в щели префектуры и коридоры — *было:* в коридоры и щели [пещеры] префектуры и дворцы

³¹ *Вместо:* законы о подозрительных людях — *было:* террор

³⁴ *Вместо:* о человеческом достоинстве — *было:* когда идет речь о днях государя

³⁵ *Вместо:* доказать // ею доказать

³⁵ *После:* власть — *было:* Худшие дни террора возвратились, только гильотина была заменена ссылкой

Стр. 495

³ *Вместо:* ответственности — *было:* суда

⁶⁻⁷ *Вместо:* рассказывал префект Н. нашему поэту Ф. Т. — *было:* рассказывал Н., ниццкий префект — Ф. Тютчеву (я тогда был в департаменте Геро)

⁸ *Вместо:* положение // положение было

¹⁴ *После:* возмутителей — *было:* Все смотрели <1 нрб.>

¹⁷ *Слова:* благодарил меня — *отсутствуют.*

¹⁸ *После:* смеясь — *было:* Один мой знакомый издавал в то время

газету, помнится, в Дижоне. Его приглашает префект и просит поместить алармантную статью насчет опасного расположения умов, тайных происков каких-то клубистов — с целью облегчить эспинасовскую *<I нрзб.>*. Издатель решительно отказался. Префект ему заметил, что это не приказ, а просто заявленное желание, что он не настаивает — но что всякий хороший гражданин должен всеми силами помогать правительству в его борьбе с анархическими страстями. Тем дело и кончилось... но месяца через два издатель должен был оставить и журнал и город.

Франция все это вынесла.

²⁵ *Вместо:* и децентрализациях — *было:* которые он даст.

²⁹ *Вместо:* Он меньше сердил — *было:* Париж меньше сердил, индивидуальность его утрачивалась

³¹⁻³² *Вместо:* политическая жизнь не была слышна // политическую жизнь просто столкнули в реку.

³³⁻³⁴ *Вместо:* беззубая оппозиция ∞ сороковых годов — *было:* чахлая оппозиция риторов явилась со всей прежней фразеологией сороковых годов доказывать свое бессилие

³⁸ *Вместо:* лысую — *было:* мещанскую

Стр. 496

² *После:* рынком — *было:* караван-сараям

⁴ *Вместо:* немцев — *было:* всякого рода немцев

⁵ *Вместо:* Блестящая, тяжелая — *было:* грубая

⁶ *Вместо:* ценная — *было:* тяжелая

⁸ *Вместо:* дороговизной — *было:* деньгами, ценностями

¹⁰⁻¹¹ *Вместо:* Женское ∞ итальянского — *было:* Женское образование страшно пало, ниже итальянского

¹¹ *После:* итальянского — *было:* L'empire, l'empire... .. вот где зло, вот что худо, — без сомнения, что нынешнее правительство много виновато в понижении умственной температуры, в дурном направлении вкуса [в этом нет сомнения], но приписывать империи весь грех — вопиющая несправедливость или удивительная поверхностность.

Причина гораздо глубже. Она лежит в том общем avortement¹ революции, к которой Франция шла... шла, может, слишком рано, слишком поспешно, судорожно, неровным шагом, но которой развитие перервалось оттого, что духа хватало на казни, а на дальнейший ход нет, но перервалось. Накопившиеся силы [всякого рода] бросились в косвенные исходы [или], в ломаные направления. Отсюда необходимые [уродства, истощение одних [элементов] сторон и переполнение других.

Остановила революцию не первая, не вторая империя, не первая, не вторая реставрация — ее остановила громадность задачи, незрелость масс и необыкновенное отношение к ней единственно деятельной среды, развитого меньшинства.

Пока дело шло о политических правах — все образованное стояло со стороны движения, шло перед народом и за него. Дошедши до социального вопроса — сделалось новое расщепление — небольшая кучка людей осталась верной [ему] прогрессу [масса отстала], большинство образованных отступило и незаметно очутилось с консервативной стороны; не оставили своих оппозиционных замашек, пока это было возможно. Народ остался беспомощнее, чем когда-либо [или] исключит(ельно) на руках у попов; его [несчастное невежество] неразвитие было прежде скрыто за фалангой защитников, говоривших во имя его, — они расступились,

¹ выкидыше (франц.). — *Ред.*

и мы увидели несколько пророков вдали, на горе [как Иисус на картине Иванова], и внизу народ, спящий в тяжелом сне [в темноте толпа].

Исторические, вековые институты, делавшие известный строй, имевшие [известную] свою смелость —

17 *После:* выкинутые — *было:* сломленные, обращенные назад и отравившие организм.

18 *Вместо:* не донашивает — *было:* абортировала

19 *После:* поспешно — *было:* слишком отвлеченно

24 *Вместо:* революция делалась не для крестьян — *было:* одна небольшая вершина освещена... от всего ли вместе, но революция перервалась, искажилась.— Вот где причина всему, что теперь совершается во Франции, т. е. в Париже.

(Женева, 1865).

26 *Перед:* *Alpendrücken:* *было:* *Без связи.* П. *La belle France.*

Ahl que j'ai douce souvenance

De ce beau pays de France!

(Ницца 1867 — июнь) Ш. Marie <1 нрѣб.>

29 *Перед:* Русские — *было:* Кто не испытал «давление Альпов»

30-31 *Вместо:* словно кто-то душит — *было:* Кто не испытал этих тяжелых снов. Грудь давит

Стр. 497

3-4 *Вместо:* тут ∞ скользнула — *было:* вы видите, что они живы, и знаете, что они мертвы... внизу пропасти, возле обрывы — вот скользнула

6 *Вместо:* пот на лбу — *было:* пот струится по лицу

7-8 *Вместо:* ветер ∞ леса — *было:* утренний ветер осаживает в одну сторону туман, пахнуло травой, листом [пчелы и птицы...].

9 *Слово:* успокоенные — *отсутствует.*

10 *После:* воздух — *было:* стараясь забыть тяжелый сон.

11-12 *Вместо:* Меня ∞ когда — *было:* Со мной это случилось недавно — только не во сне, а наяву, меня домовый душил в книге, и, действительно, когда

19 *Вместо:* Исаией // пророком Исаией

22-23 *Вместо:* Я ∞ искал — *было:* Я сдержал слово и прочел весь текст... и, подавленный печалью, ужасом, сострадаaniem, искал

29 *Слово:* поэт — *отсутствует.*

32 *Вместо:* для того — *было:* свихнувшись для того

37-38 *Вместо:* дурь вертящихся столов — *было:* дурь спирита

Стр. 498

4 *Вместо:* совокуплений? — *было:* совмещений?

4-10 *Вместо:* Человек ∞ сердца? — *было:* Не то мудрено, что старик одичал за этой теодицеей, потерял здоровое чувство истины, любовь и уважение к разуму и мысли. Но где же причина, отбросившая его так далеко от руслу,— этого [человека] старика, некогда стоявшего в главе социального движения, полного энергии и любви,— человека, которого речь, проникнутая негодованьем и [братством] сочувствием к меньшей братии, потрясала сердца?

10-12 *Вместо:* Я ∞ сороковых годах — *было:* Я это время помню, я сам его прожил. «Петр рыжий», так называли мы его шутя в сороковых годах

17 *Вместо:* не верит больше — *было:* мало верит — столько было разочарований

20 *После:* фантазии — *было:* Он спорит об нем с Жан Рено, как спорят два путешественника о дальнем крае... убавкиваются бредом.

21 *Вместо:* болезнь — *было:* болезнь мозга

21 *Вместо:* имел — *было:* имел же

- ²⁴⁻²⁶ *Вместо:* все мутит ∞ недуга — *было:* вся плеяда, высшая, увенчанная, носит следы душевной тревоги и недуга
- ³⁰ *Вместо:* следы недуга — *было:* следы того же недуга, только мотивы розны
- ³¹ *Вместо:* потерялись — *было:* одичали и потерялись
- Стр. 499
- ¹ *Вместо:* Какой-то вихрь — *было:* Словно какой-то геологический вихрь
- ³ *Вместо:* снес — *было:* скучил
- ¹²⁻¹³ *Вместо:* они отворачиваются от нее — *было:* они потеряли любовь к ней
- ¹³⁻¹⁴ *Вместо:* Романтизм ∞ здорового — *было:* Романтизм — всегда ложный и натянутый — стал у них риторикой. Риторика отучила вкус от простого и запутала своей холодной необузданностью, своими ледяными цветами простое логическое понимание.
- ¹⁶ *После:* ложны... — *было:* огромный мираж. Здоровый человек этого не выносит, этот оптический обман... он рвется вон — у него рйбит в глазах...
- ¹⁷ *Вместо:* хуторах — *было:* чинах

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

<Глава VII>

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛВ)

Стр. 541

- ⁷⁻⁸ *Вместо:* и совершенным разъединением. У ней не было — *было:* Единства не было никакого. Да и не могло быть — у них не было
- ⁹ *Вместо:* неопределенно — *было:* общим образом
- ¹⁰ *Вместо:* резкого — *было:* обдуманного

<Глава X>

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 542

- ⁴ *Вместо:* нелепых — *было:* резких
- ⁶ *После:* управления — *было:* несмотря на то, что отличиться им в этом роде нелегко.
- ⁸ *Вместо:* одежде — *было:* шкуре
- ¹⁴ *Вместо:* до вреда — *было:* до Conspiracy Bill и до вреда
- ²³ *Вместо:* Неполнота — *было:* Тут пошла игра в интерпелляции. Неправда
- ²⁴ *Вместо:* так оскорбительно, как — *было:* без всяких румян, с такой милой наглостью
- ²⁸ *После:* пробы — *было:* Добраться немудрено, в каких случаях большинство будет доходить до истины и в каких нет, — ключ на это в сословных интересах представляемого слоя. Английское представительство дальше мелкой буржуазии, платящей по крайней мере 10 фунт., не идет. В английском народе есть несчастный, раздавленный слой, который вовсе никакого мнения не имеет и отдал бы охотно конституцию за самую плохую похлебку из чечевицы и тюфяк в грязном углу, — но в нем есть огромный слой работников, идущих вперед, если не быстро, то твердо — и на-верное быстрее буржуазии, которая скорее видоизменяется, чем прогрессирует. С этим легально безгласным классом Англия на-

чинает считаться, и хитрый Гладстон [это подметил очень хорошо и тотчас сделался работничьим] недаром стал его куртизаном. Этот класс, вовсе не представленный в парламенте, [был тот, который всего, живее прочих почувствовал все обидное и все нелепое высылки Гарибальди. Он [сам] был унижен и оскорблен тем, что аристократия его оттерла от народа, и в то же время чувствовал себя силой, которую бояться. [Надобно ему было доказать, что он силы не имеет, но это всего больше в интересах буржуазии].

Стр. 543

¹⁰ *Вместо:* Два — *было:* А на совести у всех было скверно. Два

¹¹ *Вместо:* Шефсбюри ∞ причинам — *было:* [Что же было легче, как два слова от самого Гарибальди — о его здоровье, — их страстно хотели многие, видя, что дело все так не клеится]. Два слова Гарибальди, сказанные где-нибудь публично или напечатанные в каком-нибудь журнале, были бы, разумеется, удовлетворительнее. Их ждали все — но их не было.

²⁷ *Вместо:* разогнала. — *было:* невинного и не участвовавшего правительства — грубо разогнала.

³⁰ *Вместо:* Министр внутренних дел ничего не знал — *было:* Во-первых

³² *Вместо:* Грей — *было:* министр внутренних дел

⁴⁰ *Вместо:* есть же — *было:* если есть

⁴³ *Вместо:* запрещает — *было:* смеет запрещать

Стр. 544

³⁻⁹ *Вместо:* Депутация ∞ молодой — *было:* В будущую субботу будет другой митинг — объявляет депутация лорду Греку [который только сказал]. Есть ли законное основание или нет — этого вы от меня не узнаете.

Ободрившийся Beales <1 нрзб.> объявил министру, что, в случае препятствия со стороны полиции, решено ее не слушаться и силой противустоять силе. Суд обязан будет разобрать тогда — с чьей стороны право.

Митинг собрался — я был на нем — полиции (официальной), разумеется, [но ни одного полицейского в форме] не было, говорили, что Р. Мейн, увлекаемый французскими людьми, подымал детективов. Какой-то оратор обратился к ним с удовольствием, что они услышат всю брань, заслуженную полицией. Митинг окончился тихо. Какой-то

¹² *Вместо:* Нисколько — *было:* Beales выиграл. Нисколько — выиграл Грей.

¹⁴ *После:* небом — *было:* Во всяком случае, раз оно еще может разогнать всякий сход

⁴⁴ *После:* правительства — *было:* Об нем следует сказать несколько слов.

Стр. 545

³ *Вместо:* старых — *было:* рутинных

⁵⁻⁶ *Вместо:* он дает ∞ главное — *было:* один палец одной руки — социальным идеям, он дает другой —

⁷ *Вместо:* «Одиссеей» — *было:* Гомера

¹⁰ *Вместо:* спаянных — *было:* спаянных ученой дружбой

¹⁴ *Вместо:* сына — *было:* с Гомером под мышкой — Нерона

³³ *Вместо:* меня — *было:* меня, непривычного к английской жизни.

³⁷ *После:* сном — *было начато:* набожные молятся — а питейные дома, залитые огнем

⁴² *После:* улыбку. — *было:* Трудно иногда не улыбнуться и не сказать слово.

Стр. 546

³ *После:* мотыльками — *было:* Это был Гладстон. —

⁶ *Вместо:* свести моралиста в полицию — *было:* арестовать моралиста

Имеется сноска к отсутствующему тексту:

Готовятся еще интерpellации, готовятся, вероятно, и ответы. Но все интерpellации будут бесполезны, пока [парламент не возьмется серьезно] десятифунтовикам не будет полезно взяться за дело митингов [или пока не выйдет судебного дела], — а до тех пор одно из величайших прав свободного английского народа убито палкой констебля, выкрадено полицейской уловкой.

АВТОРСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

R. Owen

ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 564

⁴⁴ *Перед:* La liberté <свобода> — *было:* Le poète sentant une chaîne a sa main enseignait la jeunesse de ne pas craindre celui qui la brise:

Den Sklaven, wenn er die Kette bricht,
Den freien Mann — den fürchte nicht.

<Поэт, чувствующий на своей руке цепь, учил юношество не бояться тех, кто ее разбивает,—

Раба, когда он разбивает цепь,
свободного человека не бойся>

Стр. 566

²⁶ *Перед:* Owen <Оуэн> — *было:* La pure raison est complètement en faveur de la société. La faute d' <Чистый разум пользуется полной благосклонностью общества. Ошибка>

Стр. 570

⁹ *После:* le Dieu <бог> — *было:* du paysan russe qui donne son dernier sou pour lui offrir une siége, enfin c'est le Dieu, qui est <русского крестьянина, который отдает свою последнюю копейку, чтобы подарить ему свечку; наконец, это бог, который>

Стр. 571

¹⁹ *После:* orages <бури> — *было:* et qui devinrent pour eux des arches de salut <и которые стали для них ковчегами спасения>

Стр. 572

² *Перед:* aux singes <обезьянам> — *было:* aux troglodites <троглодитам>

Стр. 581

¹⁴⁻¹⁵

Вместо: et enfin <и наконец> — *было:* mais enfin je ne suis pas payé pour endosser ce qu'ont dit les sept sages de la Grèce et leur copiste. Pourtant <но, наконец, мне никто не платит за то, чтоб я брал на себя сказанное семью греческими мудрецами и их копиистом. Однако>

Стр. 584

³² *После:* prodigieuse <чудесная> — *было:* accélérée et plus que centuplée <ускоренная и увеличившаяся более чем в сто раз>

Стр. 585

¹ *После:* dans le fait même <в самом факте> — *было:* que ce manque de conscience du mal social, dans la tendance d'en sortir des vieilles formes et s'organiser d'une manière intelligente <что это отсутствие понимания общественного зла, в стремлении покинуть старые формы и организовать разумным образом>



КОММЕНТАРИИ



Настоящий том содержит VI, VII и VIII части «Былого и дум». В томе помещены также другие редакции глав и автоперевод главы «Роберт Оуэн» (ч. VI). Впервые даются многочисленные варианты по рукописям Герцена, хранящимся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, и из «пражской» и «софийской» коллекций.

Начиная с данного тома, тексты собрания сочинений А. И. Герцена печатаются в соответствии с «Правилами русской орфографии и пунктуации» (М. Учпедгиз, 1956 г.), утвержденными президиумом Академии наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР.



БЫЛОЕ И ДУМЫ¹

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Шестая часть «Былого и дум» печаталась в *ПЗ* и *К* с 1859 по 1868 г. Ряд глав этой части Герцен опубликовал в отрывках, делая значительные купюры с тем, чтобы восполнить пробелы в отдельном издании. Подготовить такое издание он не успел. В «Сборнике посмертных статей А. И. Герцена» (Женева, 1870), изданном в год его кончины, впервые были опубликованы по рукописям отрывки из II, III и IV глав, восполнившие пропуски в печатном тексте. Кроме того, в этом же сборнике впервые были напечатаны по рукописям второй раздел главы IV («Бартеlemi») и глава VII («Немцы в эмиграция»). Не все рукописи шестой части «Былого и дум» сохранились полностью — в автографах VI и VII глав недостает ряда страниц.

Авторскими указаниями устанавливается время написания отдельных глав шестой части «Былого и дум». Наиболее ранняя из указанных Герценом дат — 1856—1857 гг. — обозначена в тексте главы VIII («Лондонская вольница пятидесятих годов»). Первоначальное название этой главы — «Политические подонки». Предисловие к ней, как видно из пометы на автографе, написано 10 марта 1868 г. Это самая поздняя из известных дат, относящихся к работе Герцена над «Былым и думами». Надолго задержалось опубликование и главы VI («Польские выходцы»). В предисловии к этой главе, датированном 17 августа 1865 г., отмечено: «Начата в 1857 и, помнится, дописана в 1858», а напечатана глава в *К* спустя семь лет — в 1865 г. Другие главы шестой части публиковались вскоре после окончания работы над ними. «Прибавление» к главе III — «Джон-Стюарт Милль и его книга „On Liberty“», датированное 1859 г., напечатано тогда

¹ В составлении комментария к данному тому участвовали: С. С. Борщевский и М. А. Соколова (текстологический комментарий), И. М. Белявская («Польские выходцы», «М. Бакунин и польское дело», «Пароход „Ward Jackson“ R. Weatherley and Co»), К. П. Богаевская («Старые письма» — письма Белинского), И. И. Зильберфарб («Горные вершины» — Ледрю-Роллен, «Эмиграция в Лондоне», «Два процесса», «Not guilty», «Роберт Оуэн», «Без связи», «La belle France»), С. Б. Кан («Немцы в эмиграция»), Л. Р. Ланский (обзор иностранных отзывов о «Былом и думах»), И. И. Орлик («Горные вершины» — Кошут), А. А. Сабуров («Pater V. Petcherine»), И. Ю. Твердохлебов (комментарий к отдельным главам), М. И. Хейфец («Апогей и перигей», «В. И. Кельсиев», «Молодая эмиграция», «И. Головин», «Без связи»), Э. М. Цыпкина («Горные вершины» — Маццини, «Samicia rossa», «Venezia la bella»), Е. Б. Черняк («Старые письма» — письма Грановского), Я. Е. Эльсберг (вступительные заметки к главам «Немцы в эмиграция», «Pater V. Petcherine» и др.), Н. Д. Эфрос («Старые письма» — письма Прудона и Карлейля).

же дважды — в *ПЗ* и в *К*. Глава IX («Роберт Оуэн»), над которой Герцен работал, как это видно из его писем к Тургеневу, в ноябре — декабре 1860 г., напечатана в *ПЗ* на 1861 г. Глава X («*Camicia rossa*»), законченная, по авторской помете, 15 мая 1864 г., появилась в *К* в том же году. Огрывочно и в непоследовательном порядке печаталась глава II («Горные вершины»): последние страницы — в *ПЗ* на 1859 г., начало — в *ПЗ* на 1861 г., середина — в *Сб*. Вследствие разрозненности публикации эту главу, по справедливому утверждению М. К. Лемке, нельзя было бы составить из печатных отрывков и рукописных дополнений без подробных указаний Герцена.

В подстрочном примечании к главе III («Эмиграции в Лондоне»), напечатанной в *ПЗ* на 1861 г., Герцен поместил: «В следующей главе два процесса работника Бартелеми». В *ПЗ* на 1862 г. (вып. 2-й) были помещены «Два процесса», с подзаголовками: «I. Дуэль» и «II. Not guilty». В первом разделе описан процесс Бартелеми, во втором — суд над доктором Симоном Бернаром. Главку о втором процессе Бартелеми Герцен не опубликовал. В настоящем издании, в соответствии с первоначальным авторским замыслом, она печатается вторым разделом главы «Два процесса», а «Not guilty» — отдельно (глава V).

Первые три главы шестой части и «Прибавление» к главе III Герцен напечатал в *ПЗ* на 1859 г. под общим заглавием «Англия», с подзаголовком «1852—1855», датированным описываемые события. Между тем в «Прибавлении» к главе III речь идет о книге Дж.-Ст. Милля «On Liberty», изданной в 1859 г. В дальнейшем хронологические рамки шестой части продолжали расширяться — в ее заключительной главе «*Camicia rossa*» рассказывается о приезде Гарibaldi в Лондон в 1864 г. В соответствии с этим под общим заглавием «Англия» в настоящем издании поставлены даты «1852—1864».

Основное собрание автографов шестой части «Былого и дум» хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. За последнее десятилетие оно пополнилось рукописями, относящимися к главам «Лондонская вольница пятидесятых годов» и «*Camicia rossa*», из «пражской» (*ЦГАЛИ*) и «софийской» (*ЛБ*) коллекций Герцена — Огарева.

Страницы «Лондонской вольницы пятидесятых годов», входящие в состав обеих коллекций, вырваны из тетради, которая хранится в отделе рукописей *ЛБ*. Рукописи из «пражской» и «софийской» коллекций восполняют этот пропуск лишь частично (см. комментарий к главам).

В *ЛБ*, кроме отдельных рукописных отрывков, хранится рукописная тетрадь, содержащая ряд глав шестой части «Былого и дум». Она представляет собой автограф с правкой Герцена. На первой странице тетради Герцен дает оглавление, которое отражает ранний замысел автора:

«ОТРЫВКИ ИЗ „БЫЛОГО И ДУМ“

I. Немцы в эмиграции.— Руге, Кинкель, нечистота... Schwefelbände.— Американский обед.— The Leader.— Митинг в St. Martin's Hall.— D-g Müller.

II. Политические подонки.— Обыкновенные и политические несчастья.— Самобытный протестант.— Ходебщики-стилисты.— Русские.— Шпионы — 33 стр.

III. Еще о французской эмиграции. Ледрю-Роллен (и Кошут).— Луи Блан.— Ф. Пиа.— В. Гюго.— Барбес — 77 стр.

IV. Польские выходцы в особой книге.— Stanislas Worcell.

V. Париж в 1861—1865.

Тетрадь содержит ряд отдельных отрывков из глав шестой части, восполняющих пропуски в соответствующих главах, опубликованных в *ПЗ*. Рукописные отрывки прерываются ссылками на номера и страницы *ПЗ*.

В текст шестой части внесены следующие исправления:

Стр. 7, строка 3: 1864 вместо: 1855

Стр. 21, строка 25: отдалила вместо: отдалили

Стр. 44, строка 12: страшно и странно освещенные вместо: страшно и страшно освещенные

Стр. 57, строки 32—33: составляющей вместо: составляющую

Стр. 59, строка 29: «в бозе почивших» вместо: «бозе почивших» (ошибочно зачеркнуто)

Стр. 72, строка 24: ее инстинкт вместо: его инстинкт

Стр. 92, строка 35: делу свободы и равенства вместо: делу свободы и равенству

Стр. 110, строка 26: тори вместо: торфа

Стр. 147, строка 14: Herois sepulcrum вместо: heroem Culcor

Стр. 153, строки 23—24: освободившись от него вместо: освободившись от нее

Стр. 160, строка 18: неприязню вместо: неприязней

Стр. 166, строка 13: что комитет вместо: что для того чтоб комитет

Стр. 171, строка 29: оставляли вместо: и оставляли («и» ошибочно не зачеркнуто)

Стр. 174, строка 1: либералов вместо: либералом

Стр. 175, строка 13: 1849 вместо: 1865

Стр. 179, строка 28: застегивающим вместо: застегивающий

Стр. 221, строка 12: трансепт вместо: трансцент (по французскому автографу)

Стр. 250, строка 8 освобождающее их вместо: освобождающее его

Стр. 257, строка 11: удвоил им вместо: удвоил ею

Стр. 274, строка 3: с большой вежливостью вместо: с большей вежливостью

Глава I

Впервые опубликовано в ПЗ, 1859 г., кн. V, стр. 160—164, в составе публикации «Былое и думы. (Отрывок из V части „Записок Искандера“). Англия (1852—1855)» под заглавием «Глава I. Лондонские туманы». Печатается по тексту этого издания.

В этой главе Герцен передает настроения, охватившие его в первые месяцы пребывания в Лондоне, куда он приехал в августе 1852 г. Поездка в Лондон была связана для Герцена с иллюзорными надеждами на проведение общественного суда представителей международной демократии над Гервегом (см. комментарий к ч. V «Былого и дум» — т. X наст. изд.). Лондон, как центр западноевропейской эмиграции, казался наиболее подходящим местом для ведения соответствующих переговоров. Самое пребывание в Лондоне представлялось Герцену сначала кратковременным (ср. соответствующие заявления в письмах, относящихся к сентябрю 1852 г.). Но уже к концу октября (см. письмо к М. К. Рейхель от 26 октября 1852 г.) Герцен приходит к решению поселиться в столице Англии.

Довольно быстро поняв, что цель, ради которой он приехал, неосуществима, Герцен вместе с тем пришел к выводу, что именно жизнь в Лондоне дает наилучшие возможности как для политической деятельности русского революционера-эмигранта — создания вольной русской печати, так и для осуществления владевшего им творческого замысла, т. е. для работы над «Былым и думами» (см. комментарий к т. VIII наст. изд., стр. 443). К тому же эти две задачи неразрывно и естественно сплетались в сознании Герцена. Как показывает письмо Герцена к М. К. Рейхель от 16 октября 1852 г. (ЛН, т. 61, стр. 362), уже тогда он расценивал жизнь в Лондоне с точки зрения возможностей активной деятельности на благо родины. Примерно тогда же стал выкристаллизовываться замысел «Былого и дум».

Глава II

Отрывок с начала до слов: «31 января 1861» (стр. 13, строка 5 — стр. 16, строка 16) впервые опубликован в *ПЗ*, 1861 г., кн. VI, стр. 232—235, в составе публикации «Из IV и V части»; в наст. изд. печатается по *ПЗ*.

Отрывок: «В Лондоне ∞ нет сомнения» (стр. 16, строка 17—стр. 21, строка 16) — там же, стр. 241—246, как часть публикации «Из II главы (1852)».

Отрывок: «На другой день ∞ в кабинет Кошута» (стр. 21, строка 17—стр. 24, строки 23—24) впервые опубликован в *Сб*, стр. 81—84, под заголовком: «Прибавление к „Горным вершинам“. 1. Ледрю-Роллен и Кошут». В настоящем издании публикуется по автографу (*ЛБ*, Г.—О—Г—18, стр. 72—76). В начале отрывка помета Герцена: «Прибавление к Горным вершинам, пом<ещенным> в *Пол. зв. Ледрю-Роллен, Кошут, Ф. Пиа, Гюго и пр. Луи Блан и французские эмигранты*. (Выпущенные стр. в печати). 1 (Ледрю-Роллен и Кошут)» — и в конце (на стр. 76) помета: «Печ. стр. 97. Пол. зв. кн. V и приб. в VI кн. стр. 247 Эмиграции в Лондоне».

Отрывок: «Я застал Кошута ∞ слова веры» (стр. 24, строка 25—стр. 31, строка 13) впервые опубликован в *ПЗ*, 1859 г., кн. V, стр. 165—172, в составе публикации «Былое и думы (Отрывки из V части „Записок Искандера“). Англия (1852—1855)», под заголовком: «Глава II. Горные вершины.— Центральный европейский комитет.— Маццини.— Ледрю-Роллен.— Кошут». Печатается по тексту *ПЗ*.

В главе «Горные вершины» Герцен рисует портреты виднейших деятелей итальянской, французской и венгерской демократической эмиграции — Маццини, Ледрю-Роллена и Кошута.

Для герценовской оценки Маццини существенное значение имело то обстоятельство, что глава была написана под непосредственным впечатлением похода Гарибальди 1860 г. Освобождение южной Италии от власти Бурбонов в 1860 г. Герцен ставит в связь со всей предшествующей деятельностью Маццини, считая, что его многократные неудачи в прошлом проложили дорогу к объединению Италии. После событий 1860 г. Герцен считает возможным также рассказать о своих расходах с Маццини. Отмечая величайшее значение национально-освободительной борьбы для судеб Италии и выдающуюся роль, которую сыграли в ней Маццини и Гарибальди, Герцен видит вместе с тем границы прогрессивного характера их деятельности: поскольку на смену целям национального единения стали выдвигаться новые задачи, связанные с решением вопросов общественного переустройства и социализма, постольку враждебное отношение Маццини к социализму, материализму, его религиозность должны были прийти в явное и резкое противоречие с насущными задачами итальянской революции.

Глава «Горные вершины» является ценным документом по истории революционного движения Италии. Историк Михель в своем исследовании «Герцен и Италия» приходит к выводу, что для изучения итальянского национально-освободительного движения «Былое и думы» Герцена представляют «неисчерпаемый кладезь богатств» (см. R. Michels. *Le memorie di Herzen e l'Italia*. «Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti», 1908, p. 370).

Другой итальянский автор, Джусти, в своей статье «Герцен, Маццини и Италия» широко использует материалы из главы «Горные вершины». Он отмечает необычайное уважение и доверие, которое питали к Герцену виднейшие деятели итальянского революционного движения, возложившие на него трудную и деликатную миссию партийного характера летом 1852 г. Этот эпизод, рассказанный Герценом в «Горных вершинах», оставался долгое время вне поля зрения итальянской историографии.

Не соглашаясь полностью с Герценом в его характеристике Маццини, Джусти тем не менее принимает ряд критических замечаний Герцена в адрес Маццини и признает, что герценовская оценка Маццини «изобилует меткими наблюдениями» (Giusti A. Herzen e i suoi rapporti con Mazzini e l'Italia. «L'Europa orientale», 1936, № 5—6, p. 209).

Ледрю-Роллен, о котором Герцен далее говорит в главе, будучи мелкобуржуазным республиканцем, возглавлял в революции 1848 г. демократическое крыло Временного правительства и Исполнительной комиссии, затем стал вождем новой «Горы» в Законодательном собрании, а после окончательного поражения мелкобуржуазной демократии эмигрировал в Англию. В Лондоне он возглавил эмигрантскую группу «Революция», резко выступавшую против империи Наполеона III и вместе с тем относившуюся враждебно к социализму и классовой борьбе пролетариата. Ледрю-Роллен был одним из наиболее ярких «героев» революционной фразы, который, по словам Маркса, «ухитрился за какие-нибудь две недели окончательно погубить могучую партию, во главе которой он стоял...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 353).

Герцен считал Ледрю-Роллена выдающимся политическим деятелем, который стремился двигать революцию вперед, но сбился с дороги и согласился на гибельные для демократии меры и тем самым «подписал смерть революции» (см. т. V наст. изд., стр. 150, 163, 170, 172).

Герцен приближался к правильному пониманию основной причины политического банкротства Ледрю-Роллена. В изображении Герцена Ледрю-Роллен — тип политических деятелей вчерашнего дня, которым нечего сказать сегодня, которые уже сыграли свою роль и оказываются бессильными в решении новых вопросов. Отсюда — иронический тон, которым окрашен портрет Ледрю-Роллена, нарисованный в «Горных вершинах».

Герцен очень высоко ценил революционную деятельность вождя национально-освободительной борьбы венгров Л. Кошута. В его высказываниях о Кошуте выражено отношение передовой русской общественности середины XIX в. к венгерской революции 1848—1849 гг. и вместе с тем к контрреволюционной политике русского царизма.

Рисуя Кошута как трезвого реального политика, Герцен противопоставляет ему фанатика революционного восстания Маццини, который, как это отмечает Герцен, недостаточно учитывал действительное положение на местах в Италии. Рассказывая о своей беседе с Кошутым, Герцен отметил разочарование Кошута и гибель его упований на помощь Англии в деле освобождения Венгрии.

Стр. 13. 59 и 60 годы...— Годы итало-франко-австрийской войны и национально-освободительной войны за объединение Италии.

...органами всех реакций ∞ до либеральных кастратов Кавура...— Герцен подразумевает ряд газет Пьемонта, таких, как «Unione», «Il Dritto», «Il Parlamento», находившихся в зависимости от Кавура и являвшихся рупором его политики.

...«неколебим пред общим заблуждением»...— Цитата из стихотворения Пушкина «Полководец».

...благословляющим с радостью и восторгом врагов и друзей, исполнявших его мысль, его план.— Первостепенной задачей Маццини считал полное воссоединение Италии, включая Рим и Венецию. Не отказываясь от республиканских убеждений, Маццини приветствовал и поддерживал всех, кто содействовал достижению этой цели, вплоть до монархистов.

Стр. 14. — «Народ, таинственно спасаемый тобою...» — Цитата из стихотворения Пушкина «Полководец».

Как же Гарибальди не отдал ему полвенка своего? Зачем оставленный триумvir римский не предъявил своих прав?— По мнению Герцена, Гарибальди следовало бы во время освободительного похода на юг Италии в 1860 г. выступить с публичным признанием заслуг Маццини в деле объединения Италии и подержать его требование о полном завершении воссоединения страны. В то же время Герцен не считал правильными и действия Маццини, «оставленного триумвира римского», который без борьбы уступил требованию агентов Пьемонта и в конце ноября покинул Неаполь, а затем Италию и в декабре 1860 г. вернулся в Англию.

У «Полярная» звезда.— Герцен имеет в виду свою оценку Гарибальди и рассказ о знакомстве с ним в 1854 г., приведенные в гл. XXXVII «Былого и дум», которая была впервые напечатана в ИЗ на 1859 г., кн. V (см. т. X наст. изд., стр. 72—73).

...Гарибальди ∞ так антично велик в своем хуторе ∞ тогда король отпустил его, как отпускают дошедшего ящичка...— В 1860 г. отряд Гарибальди, поддержанный народом, разбил армию Франциска II Бурбона и освободил Неаполитанское королевство, которое по плебисциту 1860 г. было присоединено к Пьемонту. Виктор Эммануил II, разоружив, а затем распустив гарибальдийские части, заменил их пьемонтскими войсками. Гарибальди была дана отставка, а в качестве награды за оказанные услуги ему был предложен маршалский чин и ценные подарки. Гарибальди от всего отказался и 9 ноября 1860 г. уехал на остров Капреру, где имел участок земли и занимался садоводством и огородничеством.

...перещеголяя Австрию колоссальной неблагодарностью...— Австрия выступила во время Крымской войны против царской России, которая в 1849 г. помогла австрийскому правительству подавить революцию в Венгрии.

...прогнать белых кретинов.— Т. е. освободить Италию от гнета Австрии, войска которой были одеты в белую форму.

...как он увлекся А. Дюма, так увлекается Виктором Эммануилом...— Гарибальди предоставил в распоряжение А. Дюма-отца свои записки и часть корреспонденции с правом их издания. Дюма издал мемуары Гарибальди на французском языке, внес в них много измышленый. Во время пребывания Дюма в Неаполе в 1860 г. ему по распоряжению Гарибальди был отведен дворец. Гарибальди назначил его директором музеев и работ в Помпее и Геркулануме. В Неаполе Дюма начал издавать журнал «Indépendant» при прямой поддержке Гарибальди. В этом журнале Гарибальди поместил объявление, начинавшееся словами: «Журнал, который будет издаваться другом моим Дюма...»

Виктора Эммануила II Гарибальди ошибочно считал защитником национальных интересов Италии. Все антидемократические и антинациональные действия Пьемонтского правительства он приписывал прощам придворного окружения Виктора Эммануила и, в первую очередь, К. Б. Кавура. Гарибальди обычно безоговорочно выполнял требования, предъявляемые к нему королем, обольщаясь дружеской формой королевских посланий.

С г р. 15. ...но с его маленьким Талейраном...— Имеется в виду К. Б. Кавур.

...Маццини создал из разбросанных людей и неясных стремлений плотную партию...— Об организациях, которые создавал на протяжении многих лет своей деятельности Маццини, см. комментарий к гл. XXXVII «Былого и дум» (т. X наст. изд., стр. 462).

...я остановился именно на его размолке с Гарибальди в 1854 и на моем разномыслии с ним.— О размолке Маццини с Гарибальди в 1854 г. рассказывается в гл. XXXVII «Былого и дум» (см. также комментарий к этой главе). О своем «разномыслии» с Маццини Герцен говорит в гл. XL (т. X наст. изд.).

...я поспешил к нему.— Маццини вернулся из Италии в Лондон 20 декабря 1860 г.; Герцен посетил Маццини 4 января 1861 г.

...экспедиции в Сицилию...— О походе Гарибальди и его отряда в южную Италию в 1860 г. см. выше.

...о своих сношениях с Виктором-Эммануилом...— В сентябре 1859 г. Маццини дважды обращался с предложением к Виктору Эммануилу объединить силы революции и монархии для достижения единства Италии, обещая, что если король возьмет на себя руководство национально-освободительным движением, то он, Маццини, устранился от политической деятельности. Никаких практических результатов эти обращения не дали.

Стр. 16. ...только неаполитанцев, побитые агентами Каура, окружили его дом с криками: «Смерть Маццини!» — Демонстрации в Неаполе, направленные против Маццини, происходили в сентябре — октябре 1860 г.; правитель Неаполя, ставленник Каура, предложил Маццини покинуть город.

...один молодой русский...— Вероятно, это был Л. И. Мечников, участник гарибальдийского похода, находившийся в это время в Неаполе (см. Л. Мечников. Записки гарибальдийца, «Русский вестник», 1861, №№ 9, 10; 11).

В Лондоне я спешил увидеть Маццини с тем, чтобы Маццини сблизился с талантливими генералами вроде Уллоа, стоявшего возле старика Пеле в каком-то недовольном отдалении.— Герцен приехал в Лондон 25 августа 1852 г., и в этот же день его посетил Маццини. На следующий день Герцен был с визитом у Маццини и передал ему мнение генуэзской группы соратников Маццини, отрицательно относившейся к политике, проводимой Итальянским национальным комитетом в Лондоне, руководимым Маццини. Генуэзская группа считала, что подготавливаемое Маццини восстание в Милане не имеет шансов на успех. Для более серьезной подготовки восставших в Италии они предлагали использовать опыт военных, участвовавших в революции 1848—1849 гг., и привлечь их в ряды маццинистской организации.

Маццини тогда уже обдумывал свое 3 февраля 1853 года...— Герцен имеет в виду восстание в Милане 6 февраля 1853 г. (см. комментарий к гл. XXXVII «Былого и дум»—т. X наст. изд.).

Стр. 18. А где французская инициатива теперь? Вы увидите, что новую эру революции начнет Италия!— Свои взгляды на историческую роль Франции и Италии Маццини начал проповедовать еще в 1830-х годах и особенно после занятия Рима французскими войсками в 1849 г. и государственного переворота Наполеона III в 1851 г. В 1852 г. Маццини весьма пространно развивал эту тему в ряде своих произведений.

В другом месте я говорил о моей встрече с ним с корабле «Common Wealth».— В главе XXXVII «Былого и дум» (см. т. X наст. изд.).

...Маццини вынул из кармана лист «Italia del Popolo»...— Издание газеты «Italia del Popolo» было прекращено ранее, в феврале 1851 г. С мая же 1851 г. по 1857 г. в Генуе издавалась газета «Italia e Popolo».

Стр. 19. ... молодой человек... — Имеется в виду Виктор Эммануил II.

Стр. 20. ... жил в карбонарских ютах...— Революционную деятельность Маццини начинал в рядах карбонарской организации — тайного заговорческого революционного общества, которое после 1815 г. вело борьбу против австрийского господства и абсолютистско-феодалных режимов в итальянских государствах.

...был в сношениях с греческими гетериями и с испанскими exaltados... Маццини видел в национально-освободительном движении Греции союзника и считал, что сигналом для начала революции в Италии послужит восстание в Греции, а также начавшаяся в 1854 г. буржуазная револю-

ция в Испании, где активную роль играли республиканцы (*exaltados*, как их называет Герцен), с которыми Маццини был связан.

...с настоящим Каваньяком...— Годфруа Кавеньяк, один из самых крупных деятелей республиканского движения при Луи Филиппе, брат генерала Луи Эжена Кавеньяка, который в июне 1848 г. подавил восстание парижских рабочих.

...поддельным Ромарино...— Генерал Ромарино в 1834 г., по поручению Маццини, возглавлял экспедицию революционного отряда в Савойю; экспедиция потерпела неудачу в значительной мере по вине Ромарино, обнаружившего в решительный момент неспособность и нежелание руководить выступлением.

...с молдо-валахами...— С представителями молдо-валахского национально-освободительного движения Маццини работал в Центральном демократическом европейском комитете, в состав которого он привлек в 1851 г. Братиано Димитрия. От имени Центрального демократического европейского комитета Маццини писал обращения к румынскому народу, призывая его к борьбе за национальное освобождение.

Из его кабинета вышел ∞ Конарский, пошел в Россию и погибнул.— После подавления польского восстания 1830—1831 гг. Конарский эмигрировал во Францию и стал активным деятелем «Молодой Польши», которая входила в состав «Молодой Европы», руководимой Маццини. В 1835 г. вернулся в Россию для ведения подпольной работы, в 1838 г. был арестован царской полицией и вскоре расстрелян.

...как Бем, сделаться легендой...— Ю. Бем завоевал широкую известность как военный руководитель Венского восстания 1848 г. и как генерал венгерской революционной армии. Маркс и Энгельс считали Бема «первоклассным военачальником» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, стр. 578—581).

Стр. 21—... не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки ∞ удивительная организация, о которой я говорил, разрушилась.— Герцен упоминает о событиях, связанных с деятельностью маццинистской организации «Партия действия» в период 1853—1854 гг. В сентябре 1854 г. Орсини, по заданию Маццини, пытался поднять восстание в Луниджкиане и был арестован. Летом 1853 г. Маццини предполагал организовать выступление в Риме, но заговор был раскрыт, и в июле — августе 1853 г. был арестован почти весь состав римского комитета «Партии действия». Такую же неудачу потерпела и вторичная попытка Маццини поднять восстание в Риме в августе 1854 г.

...король неаполитанский...— Фердинанд II Бурбон.

«В этих несчастных восстаниях ∞ враги итальянского дела».— Приводимая Герценом цитата является изложением письма Гарибальди, напечатанного 4 августа 1854 г. в газете «Italia e Popolo» (см. комментарий к гл. XXXVII «Былого и дум»—т. X наст. изд., стр. 465—466).

...Его странная, непрямая роль в апреле и мае ∞ отдалила от него часть красных, не сблизив с синими.— Герцен имеет в виду революционные события 1848 г.; «красные»— социалисты, «синие»— буржуазные республиканцы.

...когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне.— После поражения революции 1848—1849 гг. Ф. Пиа вынужден был эмигрировать; в 1852 г. он приехал в Лондон, где возглавил эмигрантскую группу «Революционная коммуна», которая вела активную борьбу против Второй империи, но вместе с тем выступала и против идей пролетарского социализма.

Стр. 25. ... в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям, а в речи, которую произнес в Лондоне ∞ с глубоким уважением говорил о парламентаризме.— Герцен имеет в виду выступление Кошута в Мар-

селе по пути из Турции в Англию, а также по прибытии в Лондон в начале сентября 1851 г.

Стр. 26. ...он не сделался ни глюкистом, ни пиччинистом...— Речь идет о вражде сторонников композиторов Глюка и Пиччини.

Стр. 27. ...цитируя пункты екатеринских трактатов с Портой.— Подразумевается «Трактат вечного мира и дружбы», известный под названием Кучук-Кайнарджийского мирного договора, заключенного между Россией и Турцией в 1774 г. Часть статей этого договора была посвящена урегулированию вопроса о дунайских землях.

Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания...— Имеется в виду подавление царскими войсками венгерской революции в 1849 г.

Стр. 28. ...продолжали отправлять своих Исааков на закание.— Ссылка на библейскую легенду, согласно которой Исаак должен был быть принесен в жертву своим отцом («Бытие», гл. XXII, 1—12).

...Лебени, ткнувший ножом австрийского императора...— Венгр Ласло Либени 18 февраля 1853 г. совершил в Вене покушение на Франца-Иосифа, легко ранив его ударом кинжала в затылок.

...Николай не мог в Лондоне добиться ни протекцией Веллингтона, ни статуей Нельсона...— Во время посещения Лондона в 1848 г. Николай I внес пожертвование на памятники английским военным деятелям — Нельсону и Веллингтону.

...когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре...— Речь идет о посещении Англии Наполеоном III в апреле 1855 г.; в Виндзоре — дворец королевы Виктории.

«Теймс» нахмурил было брови...— Вероятно, имеется в виду недоброжелательная по отношению к Кошуту статья в связи с его приездом в Лондон, напечатанная в «Теймсе» 29 сентября 1851 г.

Глава III

Отрывок с начала до слов: «А когда же у них свобода была нормальной?» (стр. 32, строка 1 — стр. 39, строка 23) впервые опубликован в *ПЗ*, 1859 г., кн. V, стр. 173—180, в составе публикации «Былое и думы. (Отрывки из V части „Записок Искандера“). Англия (1852—1855)», под заголовком: «Глава III. Эмиграция в Лондоне.— Немцы, французы.— Партии.— В. Гюго.— Феликс Пиа.— Луи Блан и Арман Барбес.— On Liberty». В настоящем издании печатается по тексту *ПЗ*.

Отрывок: «Французская эмиграция ∞ наивное самолюбие» (стр. 39, строка 24—стр. 40, строка 4) впервые опубликован в *Сб*, стр. 93. Печатается по автографу *ЛБ* (Г—О—I—18, стр. 77). Перед отрывком заголовок: «III. (Феликс Пиа, В. Гюго, Л. Блан)» и авторская помета в конце: «Стр. 247. Пол. зв. VI».

Отрывок: «Антагонизм, некогда выражавшийся ∞ надобно было употребить...» (стр. 40, строка 5 — стр. 42, строка 31) впервые опубликован в *ПЗ*, 1861 г., кн. VI, стр. 247—250, в составе публикации «Из III главы. Эмиграция в Лондоне». Печатается по *ПЗ*.

Отрывок: «Года через полтора ∞ поздней ночи» (стр. 42, строка 32—стр. 49, строка 30) впервые опубликован в *Сб*, стр. 93—101. Печатается по автографу *ЛБ* (Г—О—I—18, стр. 77—88). В конце отрывка авторская помета: «VI П. зв., стр. 250—258».

Отрывок: «Они присидели ∞ я видел ближе» (стр. 49, строка 31 — стр. 58, строка 2) впервые опубликован в *ПЗ*, 1861 г., кн. VI, стр. 250—258, в составе публикации «Из III главы. Эмиграция в Лондоне». Печатается по *ПЗ*.

Отрывок: «Прежде чем мы перейдем ∞ *Mes jours d'Exil*» (стр. 58, строка 3 — стр. 63, строка 2) впервые опубликован в *Сб*, стр. 101—107.

Печатается по автографу ЛБ (Г — О — I — 18, стр. 88—92). После стр. 92 приклеено письмо к Герцену Кёрдеура, имеющее нумерацию 93—98.

Прибавление было опубликовано в ПЗ, 1859 г., кн. V, стр. 181—193, в составе III главы, с подзаголовком «On Liberty» (см. «Варианты»). Перепечатано с исправлениями в К, л. 40—41 от 15 апреля 1859 г., стр. 323—327, за подписью *Искандер*, под заглавием «Джон-Стюарт Милль и его книга „On Liberty“». Печатается по тексту К.

В главе «Эмиграции в Лондоне» Герцен описывает различные стороны лондонского эмигрантского мира, рассказывает о жизни и быте эмиграции. Эти страницы имеют большую ценность для характеристики движения европейской общественной мысли в рассматриваемый период. И хотя не все суждения Герцена объективны, сами факты, о которых он здесь говорит, представляют несомненный исторический и художественный интерес.

Приток политических эмигрантов из разных стран континента в Англию, которая с давних пор служила для них прибежищем, особенно усилился после поражения революции 1848—1849 гг. За французскими эмигрантами, покинувшими Францию после событий 13 июня 1849 г., потянулись выходцы из других стран Европы, ранее пользовавшиеся убежищем во Франции, Бельгии и Швейцарии. Среди них в 1849 г. в Англию прибыли К. Маркс и Ф. Энгельс.

Партийный состав многонациональной эмиграции того времени был довольно пестрым: подавляющее большинство ее принадлежало к различным мелкобуржуазно-демократическим группировкам, хотя в ее среде были и социалисты и коммунисты. Этот лондонский «народ изгнанников» (так назвал его Маццини, призывавший к объединению эмигрантов всех наций), мнявший себя неким «общевропейским народом», вскоре обрел свое «временное правительство» в лице так называемого Европейского демократического центрального комитета, во главе которого стояли Маццини, Ледрю-Роллен, Дараш и Руге. О манифесте этого комитета Маркс писал в 1850 г., что он «содержит в себе символ веры огромной массы эмигрантов и в подобающей форме суммирует умственные завоевания, которыми эта масса обязана последним революциям» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 258). Однако мелкобуржуазные деятели этого комитета, как показал Маркс, не поняли уроков недавней революционной борьбы и повторяли старые фразы о прогрессе и нравственном законе, о свободе, равенстве и братстве, о сотрудничестве классов, о святости собственности и кредите, о просвещении, о боге и его законе и т. п.

Герцен, приехавший в Англию в 1852 г., с тех пор принимал самое деятельное участие в жизни лондонской эмиграции, был связан с лидерами почти всех ее группировок. Более всего в главе «Эмиграции в Лондоне», как и в последующих двух главах, Герцен говорит об эмигрантах-французах, которые представляли самую многочисленную часть лондонской эмиграции и с которыми, кроме того, личные связи Герцена были наиболее тесными. Яркие страницы посвятил Герцен рассказу о лидерах французской эмиграции — Ледрю-Роллене (см. предыдущую главу) и Луи Блане, которого Герцен хорошо знал, симпатизировал ему и нередко вступал с ним в горячие споры.

Герцен признавал Луи Блана не только истинным республиканцем, но и социалистом, пользовавшимся в свое время доверием, уважением и любовью парижских рабочих (см. отзывы о Луи Блане в «Письмах из Франции и Италии», т. V наст. изд., стр. 137, 151, 159, 381). В то же время он отмечал, что в своих воззрениях Блан, как и другие французские социалисты, не освободился от религиозности и романтизма, всегда оставался лишь «дилетантом социализма» (см. там же, стр. 176, 318, 336, 344, 352, 358, 427). Основной недостаток Луи Блана и главную причину не-

состоятельности всей его деятельности Герцен усматривал в оторванности его идеальных построений от реальной жизни, которая их ломала.

Острая социалистическая критика буржуазного порядка, его культуры и буржуазной демократии, которая содержится в «Прибавлении» к главе, хотя и опирается на книгу Дж. Стюарта Милля, но идет вместе с тем в своих выводах гораздо дальше последней. Несмотря на меткость своих наблюдений и критических замечаний по адресу буржуазного общества, Милль оставался на почве буржуазной идеологии и был сторонником крохоборческих реформ. В отличие от Милля Герцен ставил вопрос о пробуждении активности народных масс, о победе народа над буржуазным строем. Что же касается перспектив такого развития, то в этом отношении у Герцена здесь проявляется известное укрепление оптимистических настроений, хотя он и допускает поражение народа и остановку общественного развития. Привлекая же для характеристики такой возможной остановки пример восточных стран, в частности Китая, Герцен разделял ошибочную точку зрения многих представителей общественных наук того времени, которым Восток казался выключенным из прогрессивного развития человечества.

Стр. 32. *«Сидехом и плакахом на брегах вавилонских...»* — Цитата из Псалтыри, псалом 136.

Стр. 33. *...монахи Афонской горы ∞ ведут те же речи, которые вели во время Златоуста, и продолжают жизнь, давно задвинутую турецким владычеством...* — Первые христианские отшельники появились на Афонской горе в IX столетии, через пять веков после Златоуста. Турецкое владычество, при котором христианская церковь подвергалась гонениям, длилось в Македонии, где находится гора Афон, с XIV—XV вв. до 1913 г.

Стр. 35... *Чаринг Кросс называет Шаран'к ро или Лестер-сквер — Лесестер-с-куар.* — Происхождение на французский лад названий одной из главных улиц Лондона — Charing Cross — и одной из площадей — Leicester Square.

Стр. 37. *...гонение на журнал «L'Нотте» за письмо Ф. Пиа к королеве ∞ и гордо отступили в Гернсей.* — 3 октября 1855 г. в № 44 еженедельника «L'Нотте», издававшегося французскими эмигрантами на острове Джерси (Джерсей), было напечатано сообщение о митинге, состоявшемся 22 сентября в Лондоне в годовщину первой французской революции. На этом митинге Ф. Пиа огласил открытое письмо эмигрантской группы «Революционная коммуна» к английской королеве, полный текст которого был воспроизведен в следующем номере газеты. Письмо выражало возмущение состоявшимся в августе 1855 г. визитом английской королевы Виктории в Париж, к Наполеону III. Против французских эмигрантов была организована кампания и совершены попытки разгромить редакцию и типографию их газеты; губернатор выслал с о. Джерси трех редакторов газеты. В ответ на этот акт произвола 35 проживавших на острове эмигрантов, во главе с Гюго, выступили в очередном номере «L'Нотте» 17 октября с декларацией солидарности, заканчивавшейся словами: «А теперь высылайте и нас!» Когда же последовало распоряжение губернатора о высылке всех подписавших декларацию, французские эмигранты переехали на соседний остров Гернси (Гернсей).

Стр. 38. *...мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами...* — Герцен имеет в виду древнегреческое предание о спартанском царе Леониде, геройски павшем в знаменитой битве при Фермопилах (480 г. до н. э.).

...«Citoyen»... — Обращение, принятое с 1789 г. у французских революционеров в отличие от обычного — monsieur.

...В одной из темных, бедных и нечистых улиц, лежащих между Сога и Лестер-сквером ∞ завел какой-то красный ликворист небольшую апте-

жу. — Аптека, о которой идет речь, расположенная в Ист-Энде, беднейшей и неблагоустроенной части Лондона, содержалась д-ром Ж. Филиппом, французским политическим эмигрантом.

Распалевый воды... — Название болеутоляющего средства, составленного по рецепту Ф.-В. Распаяля.

Стр. 39... *пошли в Кайенну или Ламбессу.* — Места ссылки на какому (Кайенна — во Французской Гвинее, Ламбесса — в Алжире)

Стр. 40. ... *в ∞ Бель-Иле.* — Остров в Атлантическом океане у побережья Франции; находящаяся на этом острове крепость была в 1848—1852 гг. местом заключения осужденных участников революции.

Председатель Люксембургской комиссии... — Заседавшая в Люксембургском дворце Парижа в 1848 г. правительственная комиссия по изучению положения рабочих своими заведомо неосуществимыми проектами лишь отвлекала рабочих от непосредственной революционной борьбы. Общую оценку деятельности Луи Блана как председателя Люксембургской комиссии Герцен дал в «Письмах из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 160, 165, 357, 381).

Стр. 41. ...*Он напал на социалистов, и в особенности на Луи Блана, в небольшой брошюрке ∞ называет Прудона «демоном»...* — Маццини, ставя перед собой цели исключительно национально-освободительного характера, относился отрицательно к социалистической пропаганде. В написанной им в марте 1852 г. брошюре «Dovere della democrazia» Маццини выдвигает длинный список обвинений против возглавлявшихся тогда Луи Бланом французских социалистов, а также делает резкий выпад против «разлагающего, мефистофельского духа Прудона».

...*назвал Маццини «артангелом».* — Герцен имеет в виду критику Прудоном надежд Маццини на национально-освободительное движение в Италии.

Стр. 42. ...*через ров, их разделявший, ловкий акробат бросил свою доску и провозгласил себя на ней императором.* — Луи Бонапарт 2 декабря 1851 г. совершил государственный переворот, а год спустя, под именем Наполеона III, был провозглашен императором.

...*оба французские стана продержались в агрессивной готовности: один, правднчу 24 февраля, другой — июльские дни.* — 24 февраля — день победы народного восстания в Париже в 1848 г.; июльские дни — вероятно, дни буржуазной революции 27—30 июля 1830 г., приведшей к окончательному свержению династии Бурбонов.

...*торжественной прогулке Наполеона с королевой Викторией по Лондону...* — Эта «прогулка», долженствовавшая продемонстрировать единство союзников в Крымской войне, состоялась 19 апреля 1855 г.

Года через полтора после соир d'Etat приехал в Лондон Феликс Пиа из Швейцарии. — Ф. Пиа приехал в Англию в 1852 г., но не из Швейцарии, куда он бежал в 1849 г., а из Бельгии, где он проживал с 1851 г. и откуда вынужден был уехать после переворота 2 декабря 1851 г.

Бойкий фельетонист, он был известен процессом, который имел... — В 1844 г. Ф. Пиа выступил с резкой статьей против реакционного и продажного журналиста Жюль Жанена; оскорбленный Жанен привлек Пиа к суду исправительной полиции, который приговорил его к шести месяцам тюремного заключения.

Стр. 43. *Об этой пьесе я когда-то писал целую статью.* — О драме Ф. Пиа «Парижский ветошник», впервые поставленной в Париже в 1847 г., Герцен рассказывал в «Письмах из Франции и Италии», письмо третье (см. т. V наст. изд., стр. 42—49).

Ф. Пиа ∞ под ра л ся как-то в палате с Прудоном... — Осенью 1848 г. Прудон в разговоре отозвался о Пиа как об «аристократе демократии». Пиа при встрече с Прудоном в кулуарах Учредительного собрания ответил резкостью. Происшедшая между ними драка имела своим последст-

вием дуэль на пистолетах, которая состоялась 1 декабря и обошлась без последствий.

...с *«Марьянной»*...— La Marianne — символическое название республиканской Франции. Под этим наименованием после переворота 2 декабря 1851 г. была создана тайная революционная организация, имевшая целью свержение наполеоновского режима и восстановление республики. Герцен в данном случае имеет в виду не только связь известной части лондонских эмигрантов с этой организацией, но и особое подчеркивание «Революционной коммуной» своей приверженности делу «демократической и социальной республики», высказанное в «Письме к Марианне», изданном в Лондоне в феврале 1856 г. по случаю годовщины революции 1848 г.

Выходки Ф. Пиа в его письмах к королеве, к Валевскому, которого он назвал ex-réfugié и ex-Polonais, к принцам и пр. были очень забавны...— Побочный сын Наполеона I и польской графини Валевской. Ф. Валевский участвовал в польском восстании 1830—1831 гг., в ходе которого был послан с поручением в Лондон. После подавления восстания поселился в качестве политического эмигранта в Париже. При Наполеоне III, будучи назначен французским послом в Лондон, подготовлял сближение Англии с Францией, завершившееся военным союзом. Эту политическую линию Валевский продолжал в дальнейшем, ставши министром иностранных дел. Письмо Пиа разоблачало Валевского как ренегата революционного движения, предателя родины и пособника Наполеона III. О письме Пиа к королеве Викторией см. комментарий к стр. 37.

Стр. 44. ...поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий,— виконт и гражданин, пар орлеанской Франции и агитатор 2 декабря...— В начале 20-х годов Гюго был легитимистом и католиком, затем отдал дань культуре Наполеона, приветствовал июльскую революцию и революционное движение 30-х годов, а с 40-х годов поддерживал Июльскую монархию и в 1845 г. был назначен пэром. С начала революции 1848 г. Гюго был сторонником регентства, затем примкнул к республиканцам, выступал как антиклерикал и защитник «социальной демократии». Будучи депутатом Законодательного собрания, он протестовал против ряда антидемократических мероприятий правительства Второй республики. Только перед лицом государственного переворота, совершенного Луи Бонапартом 2 декабря 1851 г., Гюго решительно выступил с призывом к революционной борьбе.

Приведенный в негодование ценсурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции.— Речь, направленную против правительственной цензуры над театром, Гюго произнес в Учредительном собрании 3 апреля 1849 г. в связи с обсуждением бюджета; позднее он отстаивал свободу деятельности театра также в своих выступлениях в Государственном совете 17 и 30 сентября 1849 г. в связи с рассмотрением законопроекта о театрах. Выступление Гюго против французской контрреволюционной интервенции в Риме состоялось 15 октября 1849 г. в Законодательном собрании.

«Если останутся хоть десять французов в изгнании — я останусь с ними со мной не возвращусь иначе, как в свободную Францию».— Со сходным заявлением В. Гюго выступил, покидая Францию в 1851 г., в своем стихотворении «Ultima verba».

Стр. 46. ...с того времени, как писал *«Историю десяти лет»* и *«Организацию труда»*.— «История десяти лет», охватывающая период 1830—1840 гг., была написана Луи Бланом в 1841—1844 гг., «Организация труда»— в 1840 г.

Стр. 48. ... в разгар мексиканской войны...— Авантюристическая война, которую Наполеон III вел против республиканцев в Мексике в 1861—1867 гг., закончилась поражением интервентов.

...за обедом, который давали в Брюсселе В. Гюго после издания «Les Misérables», Луи Блан в своей речи сказал с военной честью.— Банкет по случаю выхода в свет романа В. Гюго «Отверженные» состоялся 16 сентября 1862 г. Посвятив большую часть своей речи борьбе за освобождение Италии, Луи Блан в связи с этим сказал, что единственной ошибкой Гарибальди было то, что «он не знал, не хотел предвидеть, чтобы в момент, когда он, безоружный, вел высшее сражение за Италию, итальянский солдат стрелял в него». «Ему,— сказал Луи Блан,— не пришло на ум, что военная честь могла быть чем-то отличным от чести».

Стр. 49. В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги Барбес.— В Лондон Барбес прибыл в 1855 г. из Голландии, где поселился после скитаний по разным странам, покинув Францию в 1854 г.

Я звал их на другой день обедать; они пришли, и мы просидели до поздней ночи.— Встреча Герцена с Барбесом и Бланом произошла 27 февраля 1855 г. на митинге, посвященном годовщине февральской революции; посещение ими Герцена отвоилось, следовательно, к 28 февраля.

Стр. 50. ...процесс Барбеса перед Камерой паров.— Барбес, как главный организатор республиканского заговора и предводитель восстания 12 мая 1839 г., вместе с другими его участниками был предан суду палаты паров, которая приговорила его два месяца спустя к смертной казни.

В ночь перед казнью Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал.— Вероятно, Герцен имеет в виду брошюру Барбеса «Deux jours de condamnation à mort», написанную им в тюрьме Нима в марте 1847 г. и содержащую рассказ о продуманном и пережитом им за ночь перед ожидавшейся казнью.

Она выпросила, без его ведома, у Людовика-Филиппа перемену наказания.— Под давлением мощного общественного протеста, проявившегося в массовой манифестации рабочих и студентов в защиту Барбеса и в обращении В. Гюго к королю, смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

...цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу.— Барбес, отбывавший пожизненное заключение в Нимской центральной тюрьме, был освобожден в первый день революции 1848 г. и сразу же прибыл в Париж.

...он явился первым обвинителем Временного правительства за руанские убийства.— О кровавом подавлении восстания рабочих в Руане 27—28 апреля 1848 г. и о выступлении Барбеса в Учредительном собрании Герцен рассказывает в «Письмах из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 136—137).

Стр. 50—51. ...Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Косидьер!— 15 мая 1848 г. в Париже состоялось выступление народных масс против реакционной политики Учредительного собрания. После провозглашения нового Временного правительства к исполнению обязанностей приступили только два члена правительства — Барбес и Альбер; остальные либо заняли нерешительную и выжидательную позицию, как Луи Блан и Косидьер, либо выступили против восставших, как Ледрю-Роллен. Стихийное выступление 15 мая было подавлено, а Барбес и другие революционные вожди в тот же день арестованы.

Стр. 51. ...письмо Барбеса...— Письмо Барбеса к Жорж Санд от 15 мая 1854 г. из тюрьмы Бель-Иль.

Казните Наполеона — из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас — из этого не выйдет взятия Бастилии!— 21 января 1793 г. был казнен Людовик XVI. Мазас — тюрьма, сооруженная в Париже Наполеоном III.

Стр. 52. ...«Gottes feste Burg»...— Протестантский гимн на слова Лютера, начинающийся стихом: «Ein feste Burg ist unser Gott».

...как в макбетовском процессе тений — всё цари, но всё мертвые. — Макбету, герою одноименной шекспировской трагедии, мерещились образы убитых им жертв (акт IV, сцена 1).

Они, когда было время, поступали точно так, как Александр I ∞ а Бенингсена или Зубова у них не было. — Александр был осведомлен о заговоре, приведшем в марте 1801 г. к убийству его отца, императора Павла I.

Стр. 53. В 1856 г. лучший из всей немецкой эмиграции человек, Карл Шуурц, приезжал из Висконсина в Европу. — Приезд К. Шуурца из штата Висконсин в Европу относится к 1855 г. Эмигрировав в 1852 г. в Америку, Шуурц принял деятельное участие в политической жизни страны. В оценке Герценом Шуурца имелось сильное преувеличение.

Стр. 54. ...с времени ламарковских похорон. — Похороны генерала Ж.-М. Ламарка состоялись 5 июня 1832 г. и вылились в мощную демонстрацию приверженцев республики.

Стр. 55. ...с именем республики ее энтузиасты представляют не внутреннюю перемену, а праздник федерализации... — Праздник Федерации, грандиозный революционный праздник французского народа, состоялся на Марсовом поле в Париже 14 июля 1790 г. в первую годовщину взятия Бастилии.

Стр. 56. ...к временам ревокации Нантского эдикта... — В 1685 г. Людовик XIV отменил изданный в 1598 г. Генрихом IV акт, гарантировавший гугенотам свободу вероисповедания. Отмена Нантского эдикта вызвала эмиграцию нескольких тысяч гугенотов из Франции.

...эмигрантов в деревянных башмаках. — Подразумеваются французские эмигранты из крестьян, в то время обычно носившие сабо (обувь на деревянной подошве или же целиком выдолбленная из дерева).

Стр. 57. ... двое крестьян пробрались до реки Вара, составляющей границу. — Река Вар являлась границей между Францией и Савойей. Драгньян — город в нынешнем департаменте Вар. Упомянутый ниже эпизод рассказан Герценом подробно в гл. XLII «Былого и дум» (см. т. X наст. изд., стр. 219).

Стр. 58. ...карманьолы и блузы. — Карманьола — одежда французских революционеров конца XVIII века; блуза — обычная одежда рабочих и крестьян во Франции.

Стр. 59. ...латиклавами à la David... — Костюмы наподобие древнеримских сенаторских туник, предназначавшиеся для театрализованных гражданских празднеств французской революции, оформлявшихся художником Давидом.

«Salus populi» одним добрым днем перевели на «Salvum fac imperatorem» и пропели его «соборно» во всем архиерейском орнаменте, в нотрдамском соборе. — Сопоставляя древнеримский республиканский принцип со словами молебствия за здоровье императора, Герцен отмечает перерождение французской буржуазной революции от демократии к империи, отразившееся в факте коронования в 1804 г. Наполеона Бонапарта в соборе Парижской богородицы (Notre-Dame de Paris).

Стр. 60. ...доктор Свейндероу, посылая мне из Испании свою брошюру... — Э. Кёрдеруа, заимствуя кое-что из Фурье, Прудона и Огюста Конта, развивал весьма путаные идеи, которые изложил в брошюре, напечатанной в Женеве в октябре 1854 г. под заглавием: «Huttagh, ou la Révolution par les cosaques».

Стр. 63. ... по инициативе С. - Антуанского предместья. — Сент-Антуанское предместье Парижа, населенное трудовым людом, неоднократно служило очагом революционных выступлений.

Стр. 65. ...Ваши письма к эсквайру Линтону, с которыми газета «L'Нотте» познакомила своих читателей. — Письма Герцена к Линтону, первоначально опубликованные в журнале «The English Republic», были

затем напечатаны в №№ 18—20 газеты «L'Homme» за март—апрель 1854 г. (см. комментарий к статье «Старый мир и Россия» в т. XII наст. изд.).

...«*Мои дни изгнания*».— Двухтомное автобиографическое сочинение Кёрдеруа «Jours d'exil» вышло в свет в Лондоне в 1854—1855 гг.

На письмо Кёрдеруа, приводимое здесь, Герцен ответил 7 июня 1854 г. письмом, в котором указывал, что «Россия не только казарма и царская канцелярия, но еще таит в себе глубоко революционные элементы», тогда как «Запад вовсе не так чертовски революционен, как он себе воображает», и что в Николае I и его режиме «ничего нет ни славянского, ни национального».

Прибавление

Стр. 66. *С того времени, как я печатал в «Современнике» мои «Письма из Avenue Marigny»*...— В октябрьской и ноябрьской книжках «Современника» за 1847 г. (см. т. V наст. изд.).

...ни умные статьи Парадоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталамбера, ни замена прусского короля прусским принцем не могли отвести глаз, искавших истины.— Статьи Парадоля по вопросам литературы, истории и текущей политики печатались в 1856 г. на протяжении ряда лет в газете «Journal des Débats». Монталамбер — автор книжек «De l'avenir politique de l'Angleterre» (Bruxelles, 1856), «Pie IX et lord Palmerstone» (Paris, 1856) и др. Прусский король Фридрих-Вильгельм IV, вследствие психического расстройств, был заменен в 1858 г. своим братом Вильгельмом, назначенным регентом.

Стр. 67. ...«*kommt an die Sonnen*»...— Из стихотворения Гёте «Die Spinnerin».

...в дело Орсини...— 14 января 1858 г. в Париже Орсини совершил неудачное покушение на Наполеона III.

Стр. 68. *Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту свободы мысли, речи и лица* ... — Герцен имеет в виду книгу Милля «On liberty», London, 1859.

...за два века Мильтон писал о том же...— В 1644 г. в Лондоне была опубликована книга Мильтона «Areopagitica: A Speech for the liberty of unlicensed printing».

...печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей тацитовской.— Произведения Тацита были проникнуты гневным возмущением против деспотизма и произвола в императорском Риме и печалью по поводу исчезновения былых республиканских добродетелей.

Стр. 69. ...то, что Токвиль заметил во Франции ... — Герцен имеет в виду важнейший труд Токвиля «L'Ancien régime et la Révolution».

...как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и совет на кающиеся.— Иоанн Креститель, возвещая пришествие Мессии, обличал современное общество и призывал очиститься от грехов покаянием.

Стр. 70. «*Look here, upon this picture and on this...*»— Слова Гамлета из четвертой сцены третьего акта одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 71. ...боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы.— Речь идет о смене язычества христианством.

Стр. 72. ...что было сказано об этом в «Западных арабесках», «Полярная звезда» на 1857 год.— Герцен имеет в виду главу «Былого и дум»— «Западные арабески. Тетрадь вторая», напечатанную в ПЗ на 1856 г., кн. II (см. т. X наст. изд.).

Стр. 74. ...не пьют скидама ... — Голландская водка.

...меледа хозяйства...— Бесконечные и безрезультатные хлопоты по хозяйству.

...пришествие Бонапартова брата.— В 1806 г. на голландский престол был посажен брат Наполеона I — Луи Бонапарт, который царствовал

до 1810 г., когда Голландия была включена в состав наполеоновской империи.

Стр. 76. *Во Франции народ грозно заявил свой протест ∞ развалился с Маррастом на креслах Людовика XV в Версале, диктовало законы ...* — Революционное выступление парижских рабочих произошло в июне 1848 г.; после Июньских дней и прихода к власти буржуазии А. Марраст возглавлял Учредительное собрание.

Стр. 77. *Этот разбор книги Д.-С. Милля мы берем из V книжки «Полярной звезды», которая выйдет к 1 мая.* — Разбор книги Д.-С. Милля «On liberty» был помещен в ПЗ на 1859 г., кн. V (вышла в свет в начале июня 1859 г.) в составе публикации отрывков из шестой части «Былого и дум», в качестве раздела гл. III.

⟨Глава IV⟩

Первый раздел главы («Дуэль») впервые опубликован в ПЗ, 1862 г. кн. VII, вып. 2, стр. 124—142. Печатается по ПЗ. Второй («Бартеlemi») впервые опубликован в Сб, стр. 108—116. Печатается по рукописи ЛБ (Г—О—I—7), представляющей собой черновую автограф с правкой Герцена. На первом листе помета Герцена: «[2] Е. П. Бартеlemi. Напечата (не дописано). На л. 10 наклеена вырезка из газеты «Times» за январь 1855: письмо в редакцию аббата Roux. На обороте последнего листа зачеркнуто начало главы «Немцы в эмиграции», обозначенной как глава IV (см. «Другие редакции»).

Глава «Два процесса» повествует о некоторых обстоятельствах жизни в эмиграции и трагической смерти французского рабочего-революционера Эмманюэля Бартеlemi. В 17-летнем возрасте Бартеlemi был приговорен к десяти годам каторжных работ за совершенное в 1836 г. убийство полицейского, избившего его во время уличного выступления. Как один из руководящих участников февральских баррикадных боев в Париже, он в дальнейшем находился в особом «батальоне баррикад» сформировавшейся в 1848 г. революционной армии. Когда в марте этот отряд был распущен, его участники образовали свой «Клуб баррикад 24 февраля», председателем которого стал Бартеlemi. В Июньские дни он был одним из руководителей восстания, сражался на баррикадах в предместье Тампль и, схваченный при подавлении восстания, был предан военному суду, который приговорил его к ссылке. Вскоре Бартеlemi удалось бежать из тюрьмы на о. Бель-Иль, и в 1851 г. он оказался в Лондоне, где стал одним из основателей эмигрантского «Клуба изгнанников». Герцен с самого начала знакомства с Бартеlemi проявлял к нему исключительный интерес и характеризовал его как «необыкновенного человека». Этим, как и необычностью событий, связанных с процессами Бартеlemi, объясняется то, что Герцен посвятил им особую главу в «Былом и думах».

Стр. 78. «*Rule, Britannia!*» — Начальные слова английского гимна. Рассказ этот относится к отрывку, помещенному в VI кн. «Полярной звезды». — В ПЗ на 1861 г., кн. VI, был помещен отрывок из главы III шестой части «Былого и дум», кончавшийся словами: «Дикую, разьедающую силу, накипевшую в груди городского работника, я видел ближе» (см. наст. том, стр. 58).

Стр. 78—79. ...к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням... — Народные волнения в Париже 4—5 сентября 1793 г. знаменовали начало усиления революционного террора, достигшего крайнего развития в 1794 г.

Стр. 82. ...секундант Пенского Зарецкий. — Персонажи из «Евгения Онегина» Пушкина.

...ланскене... — Наемные солдаты в средние века (франц. lansquenet, от нем. Landsknecht); впоследствии — название азартной карточной игры и ее любителей.

А уж помогая Наполеону ли в Страсбурге, герцогине ли Беррийской в Блуа или красной республике в предместьи св. Антона... — Луи Наполеон Бонапарт, прибыв тайно в Страсбург, предпринял 30 октября 1836 г. попытку свергнуть правительство Луи Филиппа. Герцогиня Беррийская в 1832 г. пыталась поднять восстание в пользу своего сына в качестве претендента на французский престол. В Сент-Антуанском предместье Парижа неоднократно вспыхивали восстания рабочих.

...во время ссоры Франции с Португалией. — Речь идет о конфликте 1831 г., когда французская эскадра адмирала Руссена вторглась в португальские воды и появилась на р. Тахо.

Стр. 83. *Дрался в Бадене за народ, начальствуя орудиями во время Геккера восстания...* — Восстание, организованное по призыву Геккера и Г. Струве под лозунгом объединения немецких земель в единую демократическую республику, происходило в Бадене в апреле 1848 г. и, не поддержанное массами, было подавлено через несколько дней.

Стр. 86. ... *Ричмонд и Виндзор*. — Произношение на французский лад английских названий: Ричмонд (Richmond) и Виндзор (Windsor).

Стр. 87. ... *«Habeas corpus»* ... — Название английского закона о неприкосновенности личности («Habeas corpus Act»), данное во французском произношении.

Стр. 91. *Помнится, я тот случай рассказав в «Письмах из Италии и Франции»...* — В названном произведении о случае с Пардигоном не упоминается.

Стр. 95. ... *Бартелими убил какого-то мелкого неизвестного английского купца и потом полицейского агента, который хотел его арестовать*. — Оба убийства произошли в Лондоне 8 декабря 1854 г.; убитый купец — фабрикант шпичух вод Джордж Мур; второй убитый — сосед Мура, бакалейщик Коллар, пытавшийся задержать Бартелими.

...в *Ньюгете*. — Лондонская тюрьма, в которой содержался Бартелими.

Стр. 97. *Католический священник...* — Аббат Л. Ру.

...одной знакомой мне даме... — М. фон Мейзенбург. В ее воспоминаниях имеется много важных сведений о Бартелими и его деле, об отношении к нему Герцена, а также приведено письмо Бартелими из тюрьмы и другое письмо аббата Ру о нем. На основании этих данных можно установить, что все дело было спровоцировано агентами французского правительства. Женщина, с которой жил Бартелими в последний период, была, видимо, подосланная наполеоновским правительством шпионка; перед бегством она завладела важнейшими бумагами, хранившимися на квартире Бартелими, и передала их французским властям. Смертный приговор Бартелими был вынесен, несмотря на то, что присяжные подписали просьбу о помиловании.

Стр. 100. *Девятнадцатого января в субботу...* — Суббота приходилась в 1855 г. на 20 января.

Стр. 101. *Остальное досказал «Times»*. — Подробный отчет под заголовком «Казнь убийцы Бартелими» был напечатан в газете «Таймс» 23 января 1855 г.

Против статьи «Теймса» аббат Roux напечатал... — Письмо аббата Ру, приводимое Герценом ниже, было напечатано в газете «Таймс» 25 января 1855 г. (заголовок письма, очевидно, принадлежал редакции газеты); в переводе Герцена имеются неточности.

Стр. 105. ... *madame Тюссо для ее... особой галереи*. — В «комнате ужасов» музея восковых фигур Тюссо находились фигуры казненных и предметы уголовной хроники.

Впервые опубликована в *ПЗ*, 1862 г., кн. VII, вып. 2-й, стр. 143—160. Печатается по тексту этого издания.

Во время следствия по делу покушения Орсини на Наполеона III, состоявшегося 14 января 1858 г., выяснилось, что в подготовке его принимал участие проживавший в Лондоне французский эмигрант Симон Бернар. Под нажимом правительства Наполеона III Пальмерстон (уже после ареста Бернара) внес в парламент законопроект, согласно которому фактически отменялось традиционное в Англии предоставление убежища политическим эмигрантам. Законопроект этот, принятый в первом чтении, был затем под влиянием широко распространившегося недовольства отклонен, что и повело к отставке кабинета. Оправдание Бернара явилось завершением этого ряда событий.

Для понимания того освещения, которое Герцен дает процессу Бернара, следует иметь в виду его склонность противопоставлять беззакониям бонапартистской диктатуры во Франции конституционную законность английской политической жизни и судопроизводства к выгоде Англии, что сказалось еще в статье «Франция или Англия» (см. т. XIII наст. изд.). Герцен несколько преувеличивал ту роль, которая в данном случае принадлежала давлению народных масс на правительство и суд, и недооценивал значение внутрипарламентских и дипломатических комбинаций, имевших место в данном случае.

Следует вместе с тем иметь в виду, что и раньше и одновременно Герцен выступал с социалистической критикой парламентской системы и других общественных установлений Англии, отмечая присущую им буржуазную ограниченность (см., в частности, «Прибавление» к главе «Эмиграция в Лондоне», посвященное книге Дж. Стюарта Милля «О свободе»).

Стр. 106. *«Вчера арестовали на собственной квартире доктора Симона Бернара...»* — Бернар был арестован 15 февраля 1858 г. в своей квартире по Park Street, Bayswater.

Стр. 107. *Взятием Бернара думали отделаться ∞ обдумывал свои гранаты.* — Агенты французского правительства утверждали, что Бернар организовал изготовление бомб для покушения на жизнь Наполеона III. *...Мабиль...* — Парижский кафешантан с садом, известный устраивавшимися в нем балами-маскарадами.

...Палмерстон ∞ на Conspiracy Bill. — Законопроект о заговоре с целью убийства (Conspiracy to Murder Bill) был внесен Пальмерстоном на рассмотрение парламента 8 февраля 1858 г.

Стр. 108. *За несколько дней до вотирования билля...* — Законопроект вотировался 19 февраля 1855 г.

...митинг в следующее воскресенье в Hyde Park... — Митинг был назначен на воскресенье 21 февраля 1858 г.

...Miliary Bill... — Закон о мятеже служил в Англии основанием для объявления страны или ее части в угрожаемом состоянии; при этом допускалось использование вооруженной силы для поддержания порядка.

...большинство, больше 30 голосов, было со стороны Милнер-Гибсона... — Законопроект Пальмерстона при его голосовании во втором чтении 19 февраля 1858 г. после речи оратора либеральной оппозиции Милнер-Гибсона был отклонен большинством в 234 голоса против 215.

Стр. 109. *...в Серпентину его!* — Пруд в лондонском Гайд-парке.

...повторилось через пятьдесят лет ∞ знаменитое тургеневское «французья топим». — В «Однодворце Овсянникове» И. С. Тургенева («Записки охотника») рассказывается о пленном французе м-г Lejeune, которого смолен-

ские крестьяне едва не потопили в проруби во время Отечественной войны 1812 г.

Стр. 111. ...начался в *Old Bailey* процесс Бернара, это «юридическое Ватерлоо» Англии, как мы сказали тогда в «Колоколе». — Процесс состоялся 17 апреля 1858 г. в верховном уголовном суде в помещении лондонской Старой тюрьмы. В заметке «Ватерлоо 17 апреля 1858 г.», напечатанной в «Колоколе» 1 мая 1858 г., об оправдании Бернара присяжными, Герцен расценивал это событие как «мирное Ватерлоо» (см. т. XIII наст. изд.).

Цезарь был испуган. Карфагены были испуганы! — Подразумеваются Наполеон III и правители Англии.

...*Scotland Yard*... — Название улицы в Лондоне, где находилось управление уголовной полиции, затем стало употребляться для обозначения самой уголовной полиции.

Стр. 114. *Когда Пальмера судили*... — Сильно возбудивший общественное мнение процесс врача У. Пальмера происходил в мае 1856 г. Пальмера судили по обвинению в систематическом отравлении своего друга Д. Кука с целью присвоения его бумаг и ценностей; хотя виновность Пальмера полностью доказана не была, он был приговорен к смерти и казнен.

Гладстон ∞ написал комментарии к Гомеру. — В 1858 г. в Оксфорде был опубликован трехтомный труд Гладстона «*Studies on Homer and the Homeric Age*».

Стр. 117. ...в участии аттентата 12 января... — Покушение на Наполеона III было совершено в Париже 14 января 1858 г.

Стр. 119. *Если б Бернар был обвинен* ∞ принести на заклание, для полноты жертвы, дух-трех Исааков книгопечатания. — Готовность британского правительства учинить в угоду Наполеону III судебную расправу над издателями эмигрантской литературы Герцен уподобляет библейской легенде об Аврааме, который, чтобы показать, как сильна его вера в бога, согласился принести в жертву любимого сына Исаака («Бытие», гл. XXII).

...«Письмо» Мадзини. — По-видимому, Герцен имеет в виду написанное Мадзини в 1858 г. «Письмо к Луи Наполеону».

...*Queen's Bench*. — Королевский уголовный суд.

...в широких шароварах, *coleur garance*, в кепи несколько набок... — Форма французской пехоты.

Стр. 120. *Пуще сердце замирает*... — Из стихотворения Н. П. Огарева «Деревенский сторож».

«Что за комиссия, создатель...» — Перефразированное выражение Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова (действие I, явл. 10).

⟨Глава VI⟩

Отрывок: «В начале будущего года ∞ Тун, 17 августа 1865» (стр. 124, строка 2 — стр. 126, строка 4) впервые опубликован в *К*, л. 205 от 1 октября 1865 г., стр. 1680—1682, под заголовком «Из V части „Былого и дум“» и с подписью *И—р*. Далее там же опубликован отрывок: «Другие несчастья ∞ он умер» (стр. 126, строка 10—стр. 131, строка 5)—под заголовком: «Глава IV. *Польские выходцы*. Алоизий Бернацкий.—Станислав Ворцель.—Агитация 1854—56 года.—Смерть Ворцеля». Печатаются по тексту *К*.

Отрывок: «Во время смерти Бернацкого ∞ я предлагал» (стр. 131, строка 6 — стр. 136, строка 4) впервые опубликован в *К*, л. 207 от 1 ноября 1865 г., стр. 1693—1695, с тем же заголовком. Конец этого отрывка — «...Около того же времени ∞ я предлагал» (стр. 135—136, строки 25—4) был напечатан по рукописи в *Сб*, стр. 117—118 (сум. раздел «Варианты»).

Отрывок: «Они в нем видели ∞ граничило с сумасшествием» (стр. 136, строка 4 — стр. 144, строка 3) впервые опубликован в *Сб*, стр. 118—124.

Печатается по рукописи *ЛБ* (Г—О—I—8), представляющей собой

черновой автограф с правкой Герцена (эвгорская нумерация страниц 20—43). На обложке надпись: «К Е

1 приб.
Ворцель
Маццолени».

На обороте обложки поставлена дата: «13 июля 1865» и написано: «„Колокол“ 1 октября 1865, № 205».

В рукописи на стр. 35 вклеена печатная брошюра на французском языке: «„L'Etoile Polaire sur la mort de Stanislas Worcell“ (traduit du Russe)», изданная в Лондоне, в 1857 г.— перевод статьи Герцена «Смерть Станислава Ворцеля», напечатанной в *ПЗ*, 1857 г., кн III (см. т. XII наст. изд.).

В рукописи недостает страниц 28, 29, 32, 33; часть 31 страницы срезана. Пропуски в тексте обозначены: <...>

Отрывок: «Вы, верно, слышали ∞ простых слов» (стр. 144, строка 5 — стр. 146, строка 36) впервые опубликован в *К*, л. 207, стр. 1695—1696. Печатается по тексту этого издания.

Отрывок: «С смертью Ворцеля ∞ пошло к регенту» (стр. 147, строка 1 — стр. 149, строка 36) впервые опубликован в *Сб*, стр. 124—130. Печатается по тому же автографу (*ЛБ*, Г—О—1—8, стр. 34—38).

В этой главе рассказывается о деятельности польских эмигрантов в Лондоне. Непосредственным толчком, побудившим Герцена написать главу, была смерть выдающегося деятеля польского национально-освободительного движения Станислава Ворцеля в феврале 1857 г. 10 февраля 1857 г. Герцен написал некролог Ворцеля, в котором обрисовал основные вехи жизненного пути его и дал высокую оценку его деятельности (см. т. XII наст. изд.). В главе о польских выходцах Герцен рассказал о Ворцеле более подробно и высказал свое отношение к идеалам Ворцеля и польской демократической эмиграции того времени в целом. В своих воспоминаниях Герцен стремился увековечить образ неутомимого борца за освобождение польского народа и искреннего друга революционной России.

Герцен познакомился с Ворцелем в Лондоне в конце 1852 г. Требования освобождения крестьян, борьба против аристократии, против социального и национального гнета, патриотизм и демократизм, отрицательное отношение к буржуазному Западу роднили взгляды Герцена и Ворцеля. Между ними с самого начала знакомства создалось взаимопонимание и дружеские отношения. Это ярко сказалось на их издательской деятельности и особенно на сближении в 1853—1854 гг. русской и польской типографий в Лондоне. Тесному сотрудничеству между русскими и польскими революционерами способствовало и то, что Герцен с самого начала своей деятельности выступил решительным сторонником и поборником независимости Польши и тесного революционного союза между русским и польскими народами в их общей освободительной борьбе против царизма. Эти идеи русско-польского революционного союза разделял и Ворцель.

Отмечая общие черты революционной деятельности, объединявшие Герцена и Ворцеля, нельзя пройти мимо существенных различий между ними. В то время как для Ворцеля и польской эмиграции основным вопросом всей их практической деятельности был вопрос о борьбе за национальную независимость Польши, а вопрос о социальном перевороте, о социальных преобразованиях отходил у них на второй план, для Герцена главным вопросом не только русского, но и польского освободительного движения был и оставался крестьянский вопрос, без разрешения которого демократическим путем нельзя было, по его мнению, добиться подлинного освобождения ни русского, ни польского народов. Кроме того, Герцену были совершенно чужды мистические мессианские взгляды, распро-

страненные в среде польских эмигрантов. Против этих взглядов Герцен выступает в настоящей главе. Острой критике подверг Герцен и националистические устремления части польских эмигрантов из окружения Ворцеля. Герцен требовал от представителей польского освободительного движения признания за всеми народами и, в частности, за украинским народом права на самоопределение. Как видно из главы «Польские выходцы», именно националистические тенденции окружения Ворцеля являлись одной из главных причин, мешавших тесному сотрудничеству между Герценом и лондонской «Централизацией». Столь же отрицательно относился Герцен и к надеждам польской эмиграции и самого Ворцеля на помощь западных держав делу освобождения Польши.

Однако серьезные расхождения, разделявшие Герцена и польскую демократическую эмиграцию, никак не отразились на принципиальной постановке Герценом вопроса о независимости Польши. Он продолжал неуставно пропагандировать на страницах «Колокола» дело освобождения Польши. С особой силой он развернул эту пропаганду накануне и в период польского восстания 1863—1864 гг.

В 1865 г. Герцен не случайно обращается к написанной ранее главе о польских выходцах, намереваясь опубликовать ее в «Колоколе». Глава печаталась в условиях поражения польского восстания 1863—1864 гг., когда неистовствовала реакция и осуществлялись жестокие расправы над польскими повстанцами, когда, по выражению Герцена, «целый народ толкали в могилу». Публикация этой главы в «Колоколе» являлась свидетельством того, что Герцен по-прежнему стоял на стороне польских повстанцев, по-прежнему отстаивал дело независимости польского народа и идей русско-польского революционного союза, рассматривая этот союз как часть общей борьбы против царизма и реакции. По словам В. И. Ленина, Герцен «...продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» (В. И. Ленин и н. Соч., т. 18, стр. 13).

Стр. 124. *В начале будущего года думаем мы издать IV и V томы «Былого и дум».*— Четвертый том «Былого и дум», содержащий главы пятой части, вышел в свет в 1867 г. в Женеве. Пятый том издан не был.

...отрывки из них, напечатанные в «Полярной звезде», и три первые части?— Герцен имеет в виду I—III томы «Былого и дум», вышедшие в Лондоне в 1861—1862 гг. и содержавшие четыре первые части «Былого и дум». В «Полярной звезде» печатались отдельные главы из пятой и шестой частей «Былого и дум» (см. текстологический комментарий к этим частям).

Не дружеский букет на гробе доброго старика в Париже, не плач на Гайгетской могиле...— В Париже — могила А. Бернацкого, на Гайгетском кладбище в Лондоне — могила С. Ворцеля.

...целый народ толкают в могилу.— Имеется в виду подавление царскими войсками польского восстания в 1863—1864 гг.

Стр. 125. ...один из крепких старцев...— М. Квадрио.

Стр. 126. «*Nuovi tormenti e nuovi tormentati!*» *Inferno*.— Цитата из поэмы Данте «Божественная комедия» («Ад», песнь шестая, стих 4).

Европа расступилась с уважением перед торжественным шествием отважных бойцов.— После поражения восстания 1830—1831 гг. Польшу покинули многие участники восстания. Они образовали польскую эмиграцию, находившуюся до революции 1848 г. преимущественно во Франции и Бельгии. После поражения революции 1848 г. польская демократическая эмиграция сосредоточилась в Лондоне.

Стр. 127. «*Здесь!»*— как сказал Ворцель или старший Дараш Временному правительству в 1848 году.— С. Ворцель и В. Дараш были участниками польской депутации к французскому Временному буржуазному

правительству в 1848 г. Депутация стремилась добиться признания независимости Польши, однако эти надежды оказались тщетными.

Самые истые республиканцы вспомнили Польшу ∞ 15 мая 1848.— В этот день в Париже произошла народная демонстрация, направленная против буржуазного учредительного собрания Франции и разогнанная Временным правительством; во время демонстрации раздавались требования о помощи польскому национально-освободительному движению.

...*Легенда о Понятовски*...— Князь Ю. Понятовский, возглавлявший польский корпус во время похода Наполеона в Россию в 1812 г., утонул в Эльстере в октябре 1813 г. во время отступления наполеоновской армии после битвы при Лейпциге.

Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало.— В своих «Псалмах будущего» З. Красинский выступал против революционного движения и с религиозно-мистических позиций рисовал будущее Польши как время «страшного суда» и «конца жизни».

Стр. 128. ...*с польской демократической Централизацией*.— Руководящий орган Польского демократического общества, возникшего в 1832 г. и игравшего видную роль в польском освободительном движении.

Они желали иметь сведения о каком-то заговоре ∞ *спрашивали, участвует ли в нем Ермолов*...— А. П. Ермолов сочувствовал декабристам, которые рассчитывали на его поддержку во время своего выступления. С 1827 г. по указу Николая I находился в отставке.

...«*Stabat Mater*»...— Католический гимн XIII века.

Стр. 128—129. *Мицкевич, Товянский, даже математик Бронский*— все способствовали мессианизму.— См. комментарий к главе XXXVI «Былого и дум» (т. X наст. изд., стр. 457).

Стр. 129. ...*гр. Алоизий Бернацкий, нунций польской диеты* ∞ *представлявший свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал, в 1814 г.*— А. Бернацкий был послом (нунцием) польского сейма (диеты) и министром финансов во время восстания 1830—1831 гг. Александр I стремился привлечь польскую шляхту на свою сторону обещаниями о предоставлении автономии польским землям в составе России.

Стр. 130. ...*пьерро и дебардеры*...— Маскарадчо-карнавальные костюмы.

Стр. 131. «*Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне*», сборник Л. Чернецкого, стр. VIII.— Рассказ о роли С. Ворцеля в организации русской типографии в Лондоне и о его нападении при выходе статьи-прокламации «Юрьев день! Юрьев день!» Герцен приводил, в несколько иных редакциях, в некрологе «Смерть Станислава Ворцеля» (см. т. XII наст. изд.), а также в статье «1853—1863», написанной в качестве предисловия к сборнику «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне» (см. т. XVI наст. изд.).

На польской годовщине 29 ноября 1853 года я сказал речь в Гановере-Руме...— Митинг происходил в Лондоне и был посвящен годовщине польского восстания 1830 г. Речь Герцена, произнесенную на этом митинге, см. в т. XII наст. изд.

Стр. 132. *Это было в 1800 году*.— С. Ворцель родился в 1799 г.

Стр. 134. ...*краковское дело, процесс Мерославского*...— Краковское восстание 1846 г. проходило под лозунгом борьбы за независимость Польши, безвозмездного освобождения крестьян и наделения их землей. Л. Мерославский в конце 1845 г. прибыл в Познань для подготовки восстания, но незадолго до его начала был арестован прусскими властями. В 1847 г. состоялся судебный процесс над Мерославским и другими лицами, арестованными вместе с ним. Их освободила из берлинской тюрьмы революция 1848 г.

...*война Зондербунда*...— В Швейцарии в 1847 г. происходила война клерикальных кантонов с либеральными.

...итальянское *risorgimento*. — В Италии с 1840-х годов началось широкое национально-освободительное движение, которое все более нарастало.

И Паскевич донес Николаю, что Венгрия у его ног.—Революция в Венгрии была подавлена царскими войсками под командованием Паскевича, который, сообщая Николаю I о капитуляции 1 августа 1849 г. командующего венгерской армией Гергеи, писал в рапорте: «Венгрия — у ног вашего императорского величества» («С.-Петербургские ведомости» от 10 августа 1849 г.).

...его застал в конце 1852 членом Европейского комитета. — В состав Комитета от полков вошел В. Дараш, которого с осени 1852 г. заменил С. Ворпель.

Стр. 135. ...министерство, предложившее *Conspiracy Bill*, пало в о ж и д а н и и народного схода в Гайд-парке. — Об этом событии говорится в главе «Not guilty» (см. также комментарий к стр. 107, 108).

Стр. 136. *Я написала Поляки прощают нас.* — Воззвание Герцена было опубликовано «Вольной русской типографией» в июле 1853 г. (см. т. XII наст. изд.).

...произошла вечная сцена Триссотина и Вадюса... — В сцене разговора двух литераторов — Триссотена и Вадюса, персонажей комедии Мольера «Ученые женщины», по мере развития их диалога и перехода в разговор от общих тем к высказыванию конкретных мнений, происходит решительная перемена в их отношениях: взаимные восхваления сменяются язвительными насмешками и упреками, и сцена кончается ссорой.

Стр. 140. ...Эмилия Г. ... — Эмилия Гокс.

Стр. 141. ...поляки ставили свое дело под английский патронаж. — С началом Крымской войны польские эмигранты, надеясь на помощь Англии и Франции в восстановлении независимой Польши, старались возбудить общественное мнение Англии в поддержку польского дела.

Стр. 143. ...написала письмо на имя Жабицкого... — Письмо Жабицкому о переводе русской типографии в другое место было написано Герценом в начале декабря 1854 г. Однако этого оказалось недостаточно, и Герцен по тому же поводу 22 декабря писал Ворпелю.

П. Тейлор велел хозяйке дома всякую неделю посылать к нему счет за квартиру — но «на руки» ему не давал ни одного фунта. — Ворпель жил на квартире у Тэйлора, который получал деньги для Ворпеля от его друзей, в том числе и от Герцена, стараясь при этом скрыть от Ворпеля, что тот живет на чужой счет.

Стр. 144. ...Россель предал своих товарищей? — Лорд Россель вышел из кабинета министров в январе 1855 г., нарушив солидарную ответственность кабинета за проводимую им политику; вскоре после отставки Росселя министерство Эбердина пало.

Стр. 145. ...как идет невшательский вопрос... — В конце 1856 г. сторонники прусского короля попытались произвести в его пользу переворот в Невшателе, входившем в состав швейцарских кантонов, что едва не привело к войне. Угроза войны была ликвидирована в 1857 г.

Стр. 146. *Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказывал в другом месте.* — Написанный Герценом некролог «Смерть Станислава Ворпеля» был опубликован в *ПЗ* на 1857 г., кн. III, и перепечатан в сборнике «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне», 1863 г.

Стр. 147. *Между ними — лучший из лучших...* — И. Лелевель. ...*finis Poloniae?* — Слова, сказанные Костюшко после поражения польских повстанцев 10 октября 1794 г. при Мацеёвицах, во время которого раненный Костюшко был взят в плен.

Стр. 148. *Мир Пана Тадеуша, мир Мурделио...* — Поэма А. Мицкевича «Пан Тадеуш» рисует жизнь шляхетской Польши начала XIX века.

В повести Э. Качковского «Мурделио» изображается старопольский шляхетский быт.

Стр. 149. ...*регента*... — Филипп Орлеанский, правивший во Франции в 1715—1723 гг. в связи с малолетством Людовика XV.

⟨Глава VII⟩

Впервые опубликовано в *Сб*, стр. 51—80. Печатается по автографу (*ЛБ*), содержащемуся в двух тетрадах: Г—О—I—18, стр. 1—32 (стр. 150—158 и 167—177) и Г—О—I—9 (стр. 158—167). В первой тетради (см. описание ее выше, на стр. 655) недостает стр. 11—14. Стр. 15 начинается с середины ее фразы (см. стр. 155). На стр. 10— зачеркнутый текст из главы «Лондонская вольница в пятидесятых годах». На л. 18 об. после слов: «в Алексеевском равелине» (стр. 158, строка 3) — отсылочный значок и авторская помета: «Лб. По приложенной тетради». Во второй тетради, представляющей собой черновую автограф, перед текстом такой же значок с авторской надписью: «К 12 странице Лб (18 стр.)». В начале этой тетради повторен абзац (стр. 158, строка 1—3), которым заканчивается стр. 18 предыдущей рукописи, но с некоторыми разночтениями (вместо «партия» — в первой тетради «шайка», вместо «погребенного» — «сидевшего»). В конце тетради пометы Герцена: «Обе речи» и «В особой книге». Текст, следующий далее в первой тетради (Г—О—I—18, стр. 19), начинается с такой же пометы: «к 12 странице» (эта страница в рукописи отсутствует).

Для правильного понимания главы «Немцы в эмиграции», в особенности того, каким образом Герцен мог здесь прийти к грубому искажению деятельности и роли Маркса, необходимо остановиться хотя бы на основных фактах, характеризующих их взаимоотношения, на причинах отчужденности и даже враждебности, существовавших между ними.

Корни деятельности Герцена уходили в русскую почву; социальная обстановка, обусловившая формирование его мировоззрения и характер его политической деятельности, резко отличалась от той, в которой действовал пролетарский революционер Маркс. Герцен исходил из опыта отсталой крестьянской страны, в которой капитализм был развит слабо и революционная роль пролетариата еще совершенно не выявилась. Духовный крах после поражения революции 1848 г., глубокие сомнения в том, сумеет ли западноевропейский пролетариат после Июньских дней найти в себе новые силы для борьбы, «остановка» перед историческим материализмом — все это также помешало Герцену получить сколь угодно правильное представление о великой революционной и научной роли Маркса и Энгельса.

Личного знакомства между Герценом и основоположниками научного социализма не произошло. Лица же, с которыми Герцен встречался в конце 40-х годов и которые поддерживали те или иные отношения с Марксом, или уже стали в то время идейными противниками основоположников научного социализма (Прудон, Бакунин), или, считая себя учениками последних, на самом деле не понимали истинной сути их учения (Сазонов, М. Гесс). Информация, исходившая из таких источников, способна была лишь дезориентировать Герцена.

С другой стороны, Маркс и Энгельс в конце 40-х и начале 50-х годов не имели в своем распоряжении объективных и бесспорных данных, которые давали бы им возможность судить о сильных сторонах революционной деятельности Искандера, о том, как глубоко и органически Герцен был связан с развитием русской передовой мысли, какое влияние он оказывал на пробуждение к революционной активности новых слоев русской

интеллигенции, хотя книга «О развитии революционных идей в России» обратила на себя внимание Энгельса (см. комментарий к этой работе в т. VII наст. изд., стр. 419).

Маркс и Энгельс не имели также возможности правильно судить о философских взглядах Герцена. Им не были известны «Письма об изучении природы», при жизни Герцена не переиздававшиеся за границей, а в России уже ставшие библиографической редкостью. Между тем произведение это свидетельствовало о приближении Герцена к диалектическому материализму.

Зато некоторые стороны деятельности Герцена не могли не вызывать у Маркса и Энгельса крайней настороженности и даже враждебности. Особенно следует иметь в виду пессимистические отношения Герцена к перспективам революционного движения на Западе и связанные с этим некоторые ошибочные прогнозы относительно будущего России, славянского мира и Западной Европы (см. комментарий к «Письму русского к Маццини» (1849) в т. VI и к статье «Старый мир и Россия» (1854) в т. XII наст. изд.) в духе «демократического панславизма» (под заглавием «Демократический панславизм» в 1849 г. были опубликованы две направленные против Бакунина статьи Маркса и Энгельса). Это впоследствии позволило Марксу сказать, что с точки зрения Герцена «старая гнилая Европа должна быть возрождена победой панславизма» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 375¹), хотя Герцен и признал ошибочность многих положений, высказанных в статье «Старый мир и Россия» (см. предисловие 1858 года к русскому изданию «Старый мир и Россия», т. XII наст. изд.) и не раз решительно выступал против «императорского панславизма».

Маркс критиковал народнические воззрения Герцена, видя в его упованиях на русскую общину прежде всего обоснование панславистских взглядов и отмечая, что Герцен «открыл русскую общину не в России, а в книге прусского регирунгсрата Гакстгаузена» (см. там же).

Все это привело к тому, что Маркс и Энгельс, живя в 50—60-х годах, так же как и Герцен, в Лондоне, считали для себя невозможными совместные с ним политические выступления. Это обнаружилось еще в связи с международным митингом «в память великого революционного движения 1848 года», организованным в 1855 г. по инициативе вождя чартистского движения Джонса. На афише митинга имя Герцена стояло рядом с именами виднейших представителей международной эмиграции, в том числе и Маркса. Однако Маркс, участвовавший в предварительных переговорах по организации митинга, затем отказался выступить на нем. Одной из причин отказа было нежелание Маркса выступать вместе с Герценом.

Герцен же, как то особенно ясно показывает глава «Немцы в эмиграции», склонен был свое отрицательное отношение к немецкой мелкобуржуазной эмиграции, свои адресованные ей обвинения в национализме, духовной ограниченности и сектантстве длительное время относить также к Марксу и Энгельсу. Герцен не мог уяснить себе своеобразие того исторического места, которое им принадлежало. Этому также способствовали конфликты, возникшие вокруг деятельности М. А. Бакунина и К. Фогта (см. ниже реальный комментарий).

Неприятные отношения между Марксом и Герценом в начале 50-х годов зашли так далеко, что сделали навсегда невозможным их сближение.

Плеханов был во многом прав, когда, касаясь в статье «Герцен-эмигрант» знакомства последнего с корифеями международной демократии,

¹ В дальнейшем ссылки на Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса даются сокращенно, по форме: Соч., т. №, стр. №.

писал: «Только с Марксом и его кружком (с «марксистами», по его выражению) у него, как нарочно, были дурные отношения. Это произошло вследствие целого ряда печальнейших недоразумений. Точно какая-то злая судьба препятствовала сближению с основателем научного социализма того русского публициста, который сам всеми своими силами стремился поставить социализм на научную основу» (Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 443).

Вместе с тем можно утверждать, что в течение 60-х годов у Герцена интерес к деятельности Маркса усиливался.

К концу 60-х годов Герцен, как показал Ленин, характеризуя письма «К старому товарищу» (см. комментарий в т. XX наст. изд.), все лучше чувствует и сознает силу Интернационала, международного рабочего движения. Еще в 1868 г., давая ответ «нашим врагам» — реакционерам во главе с Катковым, пытавшимся утешить себя тем, что якобы «времена социализма прошли», Герцен указывал на брюссельский конгресс Интернационала, на «движение немецких рабочих» и другие признаки революционного подъема.

В письме к Огареву от 29 сентября 1869 г. Герцен, касаясь враждебных отношений, установившихся между ним и Марксом, отмечает: «Вся вражда моя с марксистами из-за Бакунина». В этой связи существенно, что Герцен при своей жизни главу «Немцы в эмиграции» не напечатал.

Что же касается отношения Маркса к Герцену в 60-х годах, то следует прежде всего иметь в виду письмо Энгельсу от 13 февраля 1863 г., связанное с польским восстанием: «...теперь Герцену и К^о представляется, случай доказать свою революционную честность...» (Соч., т. XXIII, стр. 184). Герцен, как известно, и доказал ее; встав на сторону восставшей Польши, он «спас честь русской демократии» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 13).

Во втором издании I тома «Капитала» (1873) Маркс снял резкое ироническое замечание по адресу Герцена, помещенное в первом издании этого труда (1867) (см. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 396), однако, как показывает «Письмо в редакцию „Отечественных записок“» (1877), трудно судить о том, в какой мере этот факт отражает изменение оценки Герцена Марксом (т. XV, стр. 375—378).

Об интересе, который Маркс проявлял к творчеству Герцена, говорит в известной мере и тот факт, что он изучал русский язык по «Былому и думам».

Стр. 150. *Schwefelbände*. — Выражение это принадлежит К. Фогту, употребившему его по адресу К. Маркса и его сторонников в 1859 г. в книге «Мой процесс против „Augsburger Zeitung“». В действительности Маркс не имел никакого отношения к «серной банде» — компании молодых немецких эмигрантов, которые в 1849—1850 гг. пугали и смешили жевенских мецен своими пьяными выходками. Стремление Фогта связать с ними имя Маркса объяснялось, очевидно, тем, что он «хотел пугнуть чертом немецкого филлистера или опалить его горяя ей серой», — как об этом писал Марксу в 1850 г. один из его приятелей (Соч., т. XII, ч. 1, стр. 269). В своей книге «Господин Фогт» Маркс до конца разоблачил недостойные приемы, которыми не брезговал в политической борьбе этот человек.

Немецкая эмиграция отличалась от других... — Разгром пфальцско-баденского демократического восстания 1848 г. положил начало широкой волне эмиграции из Германии. Подавляющее большинство эмигрантов направлялось в Швейцарию, а оттуда в Англию или США. С осени 1850 г. Лондон стал основным центром немецкой эмиграции, где особенно остро разгорелась борьба между различными политическими группами или течениями.

К. Маркс и Ф. Энгельс находились в Англии с осени 1849 г. Спад революционной волны на континенте заставил их приступить к пересмотру тактики Союза коммунистов, что вызвало осенью 1850 г. раскол в его ЦК и привело к выходу Маркса и Энгельса из Немецкого просветительного общества. Преобладающее влияние в нем получили Виллих и Шаппер. Они настаивали на поддержании коммунистами тесных связей с «лагерем буржуазно-демократических дел мастеров», которые всерьез обсуждали вопрос о том, «чтобы добыть при помощи революционного займа в Америке необходимые средства для немедленной организации европейской революции» (Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 224).

Лагерь мелкобуржуазной демократической эмиграции с самого начала распадался на ряд враждующих между собой групп, во главе которых стояли «великие люди эмиграции», как называл их иронически Маркс, — Руге, Кинкель, Струве и Гейнцен. Ожидая с часа на час нового революционного взрыва, мелкобуржуазные демократы завязали тесные связи с основанным Маццини Европейским демократическим комитетом и создали в Лондоне ряд союзов и обществ.

После 1861 г. политическая амнистия в Пруссии позволила большинству эмигрантов благополучно возвратиться на родину, где многие бывшие революционные деятели 1848—1849 гг., подобно Бухеру или Блинду, скоро превратились в поддерживающих Бисмарка национал-либералов. Только одна группа коммунистов с Марксом и Энгельсом во главе продолжала, оставаясь за границей, вести упорную борьбу против европейской реакции.

Стр. 151. ...дела нашего сорокапятилетнего Вертера с баронессой? — Немецкая аристократка баронесса Брюнинг, знакомая Герцена, была русской по происхождению. Она сочувствовала демократическому движению и содействовала организации побега Кинкеля из тюрьмы. Герцен упоминает здесь о ее романе с А. Виллихом, которого он иронически называет Вертером.

Стр. 153. Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне. — К. Маркс в своем труде «Великие люди эмиграции» уделяет много места Кинкелю, характеризуя его как человека внутренне фальшивого, умеющего ловко скрывать буржуазную сущность под маской показного демократизма и свободолюбия. В начале 60-х годов от былой «революционности» Кинкеля не осталось и следа: он примкнул к национал-либералам и кончил свои дни в Цюрихе в качестве заурядного университетского профессора.

...Руге был другом неокатолика Ронге. — И. Ронге получил широкую известность в Германии в 1844 г. благодаря своему выступлению против Трирского католического епископа и требованиям реформы церкви. Лишенный священнического сана, он стал основателем так называемой «Немецко-католической церкви», а после начала мартовской революции примкнул к демократической партии.

Стр. 154. ...первого баденского *Schilderhebung'a*, первого австрийского *Schwertfahrt'a* и пр. — Подразумеваются первое баденское восстание в апреле 1848 г. и мартовское восстание в Вене в 1848 г. Говоря о «подъеме щитов» и «потрашении мечами» в начале мартовской революции, Герцен иронизирует над мелкобуржуазными демократами и поднятой ими в эмиграции, в обстановке спада революционной волны, воинственной шумихой.

Стр. 156. Немцы ∞ выдают Англию и Северо-Американские штаты за представителей германизма в сфере государственной *Praxis*. — Подобные мысли высказывал А. Руге в одном из писем к Герцену. Обосновывая право немцев на господство «от Камчатки до Остэнде» и бросая Герцену упрек в «русском национализме», Руге не ограничивается этим: он прямо включает и Англию и США в «германский мир» (см. Л VI, стр. 677—678). Аналогичные националистические мысли развивал в брошюре «Россия,

Германия и восточный вопрос», вышедшей в 1853 г., и немецкий журналист Г. Дитцель, о взглядах которого Герцен упоминает в статье «Западные книги» (см. т. XIII наст. изд.).

Пуге, разгневавшись на Эдгара Бауэра за его пустую брошюру о России, кажется, под заглавием «Kirche und Staat»...— Имеется в виду брошюра «Russland und das Germanenthum», изданная в 1853 г., но не Эдгаром Бауэром, а его братом Бруно, который в годы политической реакции выступил с рядом книг и брошюр, выразив в них свое разочарование в европейской культуре и свои надежды на ее обновление «девственными силами» царской России (ср. оценку К. Марксом взглядов Б. Бауэра на отношения между Западом и Востоком — Соч., т. XXII, стр. 109).

Стр. 157. *Маркс, очень хорошо видевший Бакунина вдалеке от него за русско-го шпиона. Он рассказал в своей газете целую историю...—* Маркс никогда не выдавал Бакунина за русского шпиона. Клеветнические слухи о Бакуине как об агенте царского правительства распространялись русским посольством в Париже еще до начала революции 1848 г. и были затем подхвачены определенными кругами польской эмиграции. Распространялись они и после мартовской революции в Германии, в Бреславле, куда в конце апреля прибыл Бакунин, чтобы быть ближе к русской границе. Слухи эти носили тогда столь упорный характер, что парижское газетное агентство информировало о них редакции газет, в том числе редакцию «Новой рейнской газеты» Маркса. О том же сообщал в своей корреспонденции и парижский сотрудник газеты немецкий эмигрант Эвербек, ссылавшийся на то, что у Ж. Санд находятся компрометирующие русского революционера документы. Сообщение Эвербека было 6 июля 1848 г. помещено на страницах «Новой рейнской газеты»: «Публичное предъявление обвинения, — писал позднее Маркс, — было в интересах дела и в интересах Бакунина» (Соч., т. XXV, стр. 330—331).

Протест самого Бакунина, а также его письмо к Ж. Санд с просьбой сейчас же опровергнуть указанные слухи вскоре появились на страницах бреславльской «Новой одерской газеты» и 16 июля 1848 г. были без промедления перепечатаны газетой Маркса. 3 августа Маркс опубликовал также заявление Ж. Санд, целиком реабилитирующее Бакунина. «Новая рейнская газета» писала: «В № 36 нашей газеты мы сообщали о циркулирующем в Париже слухе, согласно которому Жорж Санд имела в своем распоряжении документы, выставлявшие русского эмигранта Бакунина агентом императора Николая. Мы опубликовали это заявление, потому что оно было нам сообщено одновременно двумя корреспондентами, совершенно не связанными друг с другом. Поступая таким образом, мы лишь выполнили долг публичной печати, которая должна втайне следить за общественными деятелями, и в то же самое время мы предоставили г. Бакунину удобный случай рассеять все подозрения, выдвигаемые против него в некоторых парижских кругах» (Соч., т. XXV, стр. 194). Бакунин был вполне удовлетворен тем, что редакция «Новой рейнской газеты» опубликовала как его собственный протест, так и письмо Ж. Санд. В последний числах августа 1848 г. Маркс встретился с Бакуниным в Берлине и «возобновил с ним тесную дружбу» (там же, стр. 194).

Бакунин тогда сидел, ожидая приговора, в тюрьме и ничего не подозревал.— Бакунин был арестован в связи с участием в Дрезденском восстании в мае 1849 г., т. е. почти через год после появления корреспонденции о нем в «Новой рейнской газете».

Стр. 159. *С Уркуардом и публикой питейных домов возили в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья.—* В действительности Маркс не только не поддерживал с редакцией «Morning Advertiser» сколько-нибудь близких отношений, но и неоднократно весьма резко отзывался как о политическом лице этой газеты, так и о личных качествах ее редактора и издателей (см. Соч., т. IX, стр. 618—619). Маркс считал «Morning Advertiser»

«уличным органом Пама», т. е. Пальмерстона (см. Соч., т. XXII, стр. 192). В своей статье «Пивные хозяева и воскресный праздник Кланрикард» Маркс в январе 1855 г. писал, что «Morning Advertiser» является собственностью «Общества защиты патентованных пивных хозяев», располагавшего возможностью «наводнить этим изданием все трактиры» и что газете этой «закрыт вход в круг „респектабельной“ лондонской прессы...» (Соч., т. X, стр. 250).

С Уркхартом Маркс познакомился лишь спустя несколько месяцев после развернувшейся на страницах «Morning Advertiser» полемики о Бакуине. Политические воззрения Маркса и Уркхарта не имели между собой ничего общего. Маркс и Энгельс неоднократно выступали в печати с резкой критикой Уркхарта и уркхартизма.

Уркхарт в течение долгих лет разоблачал в печати и парламенте «происки царской дипломатии» на Балканах. Поскольку и Маркс в начале 1850-х годов резко критиковал деятельность царской дипломатии на Ближнем Востоке в отдельных его статьи, первоначально напечатанные в органе чартистов «People's Papers», были затем перепечатаны в провинциальных газетах уркхартистов, у Герцена могло создаться ошибочное представление о совпадении политических взглядов Маркса со взглядами Уркхарта. В действительности мысль уркхартистов о сохранении статус-кво на Балканах была совершенно чужда Марксу и Энгельсу. Энгельс в своем письме Марксу от 10 марта 1853 г. прямо говорил об идее неделимости Турции, как о «старой филистерской глупости» (Соч., т. XXI, стр. 465; см. также Соч., т. IX, стр. 393).

Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Были ли Бакуин русский агент или нет?»— Речь идет о письме, напечатанном в «Morning Advertiser» 2 августа 1853 г. под инициалами «Ф. М.». В этом письме Бакуин выставлялся тайным агентом царского правительства; «...он слишком ценное орудие, чтобы держать его в тюрьме»,— говорилось в письме. Герцен совершенно необоснованно подозревал К. Маркса или кого-нибудь из «марксистов» в авторстве этого письма. В действительности за инициалами «Ф. М.» скрывался реакционный помещик Френсис Маркс.

Стр. 160. ...*подписать коллективную протестацию с Головиным...*— Письмо, подписанное Головиным, Герценом и Ворцелем, было напечатано в «Morning Advertiser» 29 августа. В нем они брали под защиту Бакуина, указывая в то же время, что «клевета на Бакуина не является чем-то новым» и что ее уже в 1848 г. распространила одна немецкая газета, «не постеснявшаяся сослаться в подтверждение на Ж. Санд». 31 августа ненавидевший Маркса А. Руге со своей стороны услужливо сообщил в газете, что оклеветала Бакуина в 1848 г. именно «Новая рейнская газета», «издатель которой, „доктор Маркс“, был в такой же мере, как и все остальные демократы, убежден в лживости своей клеветы» (Соч., т. XXI, стр. 511).

Они затянули самую скучнейшую полемику с Головиным...— Маркс немедленно после появления клеветнических писем о Бакуине обратился в редакцию «Morning Advertiser» с заявлением, которое и было 2 сентября опубликовано на страницах газеты. В нем он с возмущением отверг «инициацию господ Герцена и Головина», связавших «Новую рейнскую газету» с полемикой относительно Бакуина, развернувшейся на страницах «Morning Advertiser» (Соч., т. XXV, стр. 193). Маркс далее не только обстоятельно выясняет все обстоятельства, приведшие к появлению в 1848 г. в «Новой рейнской газете» корреспонденции о Бакуине, но и дает решительный отпор всем попыткам снова его оклеветать: «...я первый из немецких писателей,— писал Маркс,— воздал Бакуину должное за его участие в нашем движении, и особенно в дрезденском восстании...» (там же, стр. 194).

После появления нового клеветнического письма «Ф. М.» Головин и поддерживавший его в данном случае Герцен поместили в «Morning Advertiser» 3 сентября новую анонимную заметку «Как пишется история». В ней Головин, возвращаясь к клевете на Бакунина в 1848 г., прямо прислал кампанию против него К. Марксу. Маркс немедленно направил в редакцию газеты письмо, в котором, отвергая клеветнические утверждения Головина, снова возвращался к существу вопроса. «Разве не „глупый друг“, — писал Маркс, — который не может понять, почему консервативные газеты не могли *опубликовывать* подозрения против Бакунина, распространяемые *тайно* по всей Германии, в то время как самая революционная газета Германии была обязана предать их гласности?» (Соч., т. XXI, стр. 515). Однако редакция газеты не напечатала этого второго письма Маркса. Poleмика вокруг Бакунина не прекратилась и после этого и еще 24 сентября на страницах «Morning Advertiser» помещена была статья Уркхарта, направленная против Бакунина.

Позднее, закачивая дискуссию, редакция «Morning Advertiser» признала, что нет никаких оснований для подозрения Бакунина в шпионстве в пользу царской России.

...*прежде напечатан по-немецки в «Deutsche Jahrbücher»*... — Работа Герцена «О развитии революционных идей в России» была впервые напечатана в журнале А. Колачека «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» (см. комментарий к названному произведению — т. VII наст. изд.).

К марксистам присоединился вскоре рыцарь с опущенным забралом, К а р л Б л и н д, тогда fatulus Маркса, теперь его враг. — Маркс познакомился с К. Блиндом в 1849 г. в Карлсруэ. В дальнейшем Блинд, вплоть до 1853—1854 гг., в Париже и, позднее, в лондонской эмиграции много общался с Марксом. Однако об идейной близости между ними не могло быть и речи. В 1854 г. отношения между Марксом и Блиндом делаются все более натянутыми и Маркс прямо ставит Блинда в один ряд с идейно враждебными ему Руге и Геггом (Соч., т. XXII, стр. 19). В конце 50-х годов Блинд окончательно перекочевал в лагерь либеральной буржуазии. Позднее он выступал как открытый сторонник Бисмарка и враг социализма.

...*обеда, который давал нам американский консул в Лондоне*... — Обед у консула Сондерса состоялся 21 февраля 1854 г.

С т р. 161. ...*посольства ∞ сына Р. Оуэна в Неаполь*. — Роберт Дэн Оуэн, сын Роберта Оуэна, остался жить в Америке и с 1830-х годов принимал активное участие в политической жизни страны. В 1853—1858 гг. он являлся американским посланником в королевстве Обеих Сицилий.

...*вскоре после дуэля Суле с Тюрго*... — В январе 1854 г. посол США в Испании П. Суле дрался на дуэли с послом Франции Тюрго и ранил его. Дуэль вызвала осложнения в отношениях между Францией и США.

С т р. 165. *Подражатель Митридата*... — Понтийскому царю Митридату Евпатору легенда приписывала свойство быть невосприимчивым к действию яда: опасаясь отравления, он с юности приучил себя к приему ядовитых веществ.

...*митинг в воспоминание 24 фев<раля> 1848*. — Митинг в память годовщины февральской революции был организован в Сент-Мартинс Холле 27 февраля 1855 г.

...*если б Маркс и Головин не вынудили меня явиться назо им на трибуне St. Martin's Hall*. — 13 февраля в «Morning Advertiser» появилось письмо Головина под заглавием «Февральская революция», содержащее протест против предстоящего выступления Герцена в качестве представителя России. Герцен с своей стороны опубликовал в той же газете 15 февраля протест против злобной выходки Головина, а Международный комитет в особом заявлении в редакцию газеты «Peoples Paper» подтвердил

право Герцена на представительство русской демократии. Сам Герцен подробно рассказал об этом эпизоде в главе «И. Головин» и привел в тексте указанное заявление Комитета (см. стр. 418—421 наст. тома).

К. Маркс, получив от Джонса приглашение принять участие в митинге, отнесся отрицательно к самой идее его организации, считая объединение рабочих с представителями мелкобуржуазной демократической эмиграции не только ненужным, но и вредным делом. Уступая настояниям Джонса, Маркс все же принял 1 февраля участие в заседании организационного комитета, однако затем уклонился от участия в митинге и в своем письме Энгельсу от 2 февраля весьма резко отозвался о выступлении Герцена на заседании. Мотивы, заставившие Маркса уклониться от участия в митинге, не могут быть сведены к соображениям личного характера. Маркс исходил из общеполитических соображений, о которых рассказал Энгельсу в своих письмах от 2 и 13 февраля 1855 г. Он считал, что Джонс передал все руководство делом представителям мелкобуржуазной части эмиграции; что созыв митинга даст Пальмерстону предлог для возобновления закона о чужестранцах; что совместное участие в митинге с Герценом нежелательно, так как он сам не придерживается мнения «будто „old Europe“ <старая Европа (англ.)> может быть обновлена русской кровью» (Соч., т. XXII, стр. 86). Возможно, что в качестве предлога Маркс выдвинул именно свои политические расхождения с Герценом.

Герцен принял участие в указанном митинге и произнес основную речь (см. т. XII наст. изд.). То, что в разгар войны Англии с Россией русский эмигрант публично выступил в защиту демократических и социалистических принципов, бесспорно было прогрессивно и даже революционно. Но Герцен в своей речи также противопоставлял Восток Западу, что, по мнению Маркса, носило сугубо вредный характер.

Стр. 166—167. *Герст и Блакет удали английский перевод одного тома «Былого и дум»* ∞ «Morning Advertiser» начал меня шпиговать ∞ заблы меня. — В октябре 1855 г. вышел в свет перевод «Тюрмы и ссылки» под заголовком, данным издателями без ведома автора (см. комментарий к т. VIII наст. изд., стр. 462). В связи с этим 29 ноября в «Morning Advertiser» появилась анонимная заметка, в которой выражалось сомнение в том, что Герцен был в ссылке. Герцен на следующий день в письме, опубликованном на страницах той же газеты, отметил, что неправильное заглавие было дано его книге не им самим, а издателями, и что он немедленно публично протестовал против этого в газете «The Globe». Однако 6 декабря автор анонимной заметки повторил свои обвинения и продолжал настаивать на том, что Герцен в Вятке и Новгороде находился просто на императорской службе и что, следовательно, данный им самим заголовок книги не соответствует действительности. Редакция газеты решила отмежеваться от своего корреспондента, и поместила в том же номере письмо, направленное в защиту Герцена и на этом объявила полемику законченной (см. комментарий к «Александр Герцен — издателю „The Globe“» и «Моя ссылка в Сибирь» — т. XII наст. изд.).

О том, что Маркс решительно ничего не знал об авторе указанных клеветнических заметок, говорит его письмо к Энгельсу от 7 декабря 1855 г. (см. Соч., т. XXII, стр. 103).

Стр. 167. *Началась итальянская война.* — Война Франции и Пьемонта против Австрии началась 29 апреля 1859 г.

Красный Маркс избрал самый черно-желтый журнал в Германии ∞ стал выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона... — Брошюра К. Фогта «Исследования о современном положении в Европе», в которой он открыто стал на защиту политики Наполеона III, не оставила у Маркса «никакого сомнения в связи его с бонапартистской пропагандой» (Соч., т. XII, ч. 1, стр. 337). В этом целиком убеждали Маркса и сообщенные ему Блиндом сведения о получении Фогтом

от Наполеона III денежных субсидий. Маркс способствовал опубликованию на страницах находившейся под его идейным влиянием лондонской газеты «Volk» материалов, подтверждающих зависимость Фогта от Бонапарта.

Фогт ответил 23 мая 1859 г. статьей «В предостережение», полной гнусных вымыслов. В ответ на клеветническое выступление Фогта, на страницах «Аугсбургской газеты» 22 июня был опубликован текст составленной Блиндом и пересланной в редакцию В. Либкнехтом листовки «Предупреждение — для распространения», содержавшей полное разоблачение Фогта как агента Бонапарта. Герцен с самого начала полемики целиком встал на защиту Фогта. В вышедшем несколько позднее политическом памфлете «Господин Фогт» Маркс с своей стороны, дал Герцену, повторившему клеветнические утверждения Фогта, исчерывающий ответ по поводу упрека в сотрудничестве в «Аугсбургской газете» (см. Соч., т. XII, ч. 1, стр. 335).

...когда тощий лондонский журнал «Hermann» поместил статью... — Полнейшая бесосновательность подозрений Герцена о причастности марксистов к журналу «Hermann», органу правого крыла немецкой мелкобуржуазной эмиграции, становится вполне ясной из резко отрицательного отношения к журналу и его редактору Кинкелю со стороны Маркса (см. его памфлет «Великие люди эмиграции») и Энгельса.

...о злодействах, сделанных Урбаном с своими пандурами... — Войска австрийского фельдмаршала Урбана действовали в войне 1859 г. на севере Италии против отрядов Гарибальди; пандуры — австрийские воинские части, состоявшие из венгров и предстателей южнославянских национальностей, — отличались особой жестокостью.

Стр. 168. ...Ма женты и Солферино. — См. комментарий к стр. 263 и 287.

...чужой «квадрилатер». — См. комментарий к стр. 277.

...бейфрейонгскрига... — Освободительная война немецкого народа против наполеоновских войск в 1813 г. (от нем. Befreiungskrieg).

Стр. 172. ...о покушении Фисески на Людвига-Филиппа... — выстреле Чеха в прусского короля. — Покушение Фисеско на Луи Филиппа произошло в 1836 г.; покушение Чеха на прусского короля Фридриха Вильгельма IV — в 1844 г.

...«Луиза... обмани меня — солги, Луиза!» — Слова Фердинанда из трагедии Шиллера «Коварство и любовь» (действие V, сцена 2).

Стр. 173. ...Под-Линь. — Название улицы в Берлине — Unter den Linden.

...философское правительство... — Ироническое название правительства Фридриха Вильгельма IV, отличавшегося показным интересом к наукам и искусствам.

...отголоски гамбахского праздника... — В городке Гамбах в баварском Пфальце в 1832 г. состоялась крупная политическая демонстрация с требованием объединения Германии и проведения либеральных реформ. Эта демонстрация являлась одним из отголосков в Германии на июльские события 1830 г. во Франции.

Стр. 175. ...геройство Мюллера, кричавшего «Au armes!» на Chaussée d'Antin, я рассказал в другом месте. — О случае с Г. Мюллером-Стрюбингом, происшедшем во время демонстрации 13 июня 1849 г. в Париже, Герцен рассказал в гл. XXXVI «Былого и дум» (см. т. X наст. изд.). «Aux armes!» — начальные слова припева «Марсельезы».

Стр. 176. ...plaisirtrain... — Герцен иронизирует над Мюллером-Стрюбингом, произносившим французские выражения на немецкий лад (ср. также выше, на стр. 175); train de plaisir — удешевленный праздничный поезд.

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1869 г., кн. VIII, стр. 99—129, как глава шестая. На шмуцтитуле после заголовка — дата: 1853—1856. Печатается по тексту этого издания.

Сохранились рукописные отрывки этой главы:

1. В *ЛБ* в тетради Г—О—1—18 сохранилась одна страница из этой главы — 71 (стр. 33—70 вырваны) — со слов: «сделать над главой ∞ во время болезни жены!» (стр. 204, строки 2—20) — см. «Варианты». Кроме того, там же, на стр. 10 (стр. 11—14 вырваны) зачеркнут текст: «Вообще немецкие изгнанники ∞ победе Гевлока, который в настоящем издании также дан в разделе «Варианты»».

2. В *ЦГАЛИ* («пражская» коллекция) сохранился черновой автограф (ед. хр. 16, стр. 51—54, 57—61, 65—66) отрывков «чисто одетый ∞ наивно печатает» (стр. 193, строки 11—12—стр. 198, строка 20) и «В Париже прожил ∞ чего мне стоит этот» (стр. 200, строка 5 — стр. 201, строка 22). Эти листы, по-видимому, относятся к описанной выше тетради Г—О—1—18 (*ЛБ*), в которой эти страницы отсутствуют. Страниц 62—64 недостает, а на стр. 61 после слов: «Де ла Год наивно печатает» (стр. 198, строка 20) помета Герцена: «62, 63, 64, 65 влож(ены)» и стоит отсылочный значок.

3. В «софийской коллекции» (*ЛБ*) имеются: черновой автограф начала главы (авторская нумерация страницы 1) со слов: «Отрывок этот ∞ встречаться» (стр. 178, строки 2—13) и черновой автограф (стр. 62—64) отрывка: «предавая своих друзей ∞ от него деньги» (стр. 198, строка 20—стр. 200, строка 4), начинающийся таким же отсылочным значком, каким кончалась вышеописанная рукопись (*ЦГАЛИ*). Эти листы, по-видимому, также дополняют тетрадь Г—О—1—18 (*ЛБ*).

4. В *ЦГАЛИ* имеется второй черновой автограф первых двух страниц этой главы (ед. хр. 20, авторская нумерация 33—34), начиная со слов: «Печально уродливы» до «ненависти к католицизму» (стр. 178—179, строки 14—37). Абзац: «Печально уродливы ∞ должны» (стр. 178, строки 14—16) стоит перед главой (обозначенной как шестая), в конце его помета Герцена: «10 марта 1868. Женева. И—р». После заголовка еще помета Герцена: «Писано в 1856—57 г.» Перед текстом: «От *серной* шайки» (стр. 178, строка 23) вычеркнут заголовок «Политические подонки» (см. «Варианты»).

Эта глава посвящена «последним подонкам» лондонской эмиграции, ее наикии, людям, связанным с нею более или менее случайно или же пытавшимся затесаться в ее ряды, дабы скрыть истинные, порой объясняемые уголовными деяниями, причины, заставившие их покинуть родину.

Особое место отведено в этой главе шпионам, агентам французского и других правительств; с некоторыми из них Герцену пришлось столкнуться и лично.

О «литературе этих публичных мужчин» Герцен упомянул еще в черновой рукописи «*Première lettre*» (см. т. XII наст. изд.).

Мемуарам, вышедшим из-под пера таких шпионов, как де ла Год и Шеню, уделены в 1850 г. в специальной рецензии внимание также Маркс и Энгельс (см. Соч., т. VIII, стр. 293 и след.).

Стр. 178. Из V тома «*Былое и думы*». — Имеется в виду первое отдельное издание «*Былого и дум*»; четыре тома вышли в свет в 1861—1866 гг. Герцен готовил к изданию пятый том, в который должны были войти главы, посвященные лондонской эмиграции, однако смерть помешала выполнению этого замысла (см. также комментарий к т. VIII наст. изд., стр. 438—440).

Стр. 180. ...самой «Марьянной»...— См. комментарий к стр. 43.
...в Клермоне...— Луи-Филипп после революции 1848 г. эмигрировал в Англию и поселился в Клермонте, близ Виндзора, где после его смерти в 1850 г. оставалась жить его семья.

Стр. 182. ...целомудренной Сусанны, гнавшей нескромных стариков...— Намек на библейский рассказ о Сусанне и двух бесчестных и сластолюбивых старейшинах-судьях («Книга пророка Даниила», гл. XIII).

Стр. 183. ...индейской победе Гевлока...— Кровавое подавление сипайского восстания в Индии в 1857 г.

Стр. 184. ...redova...— Танец, сочетающий элементы вальса и мазурки (чешск. tjejdovák).

А поссорились ∞ за генерала Урбана, но об этом в другой раз...— О своей ссоре с Г. Мюллером-Стрюбингом Герцен рассказал в главе «Немцы в эмиграции» (см. стр. 168—169 наст. тома).

Стр. 196. ...из П о р ч м ы...— Английский порт Портсмут.

Стр. 199. ...помощником мэра XII округа...— Бокэ, о котором Герцен упоминает выше (см. стр. 187 наст. тома).

...В коммунистическом процессе в Кельне...— В октябре — ноябре 1852 г. в Кельне состоялся сфабрикованный прусскими полицейскими властями процесс по делу арестованных за полтора года перед этим членов «Союза коммунистов» (ср. написанные К. Марксом в связи с этим событием «Разоблачения о Кельнском процессе», 1852 г.).

Стр. 202. ...«вскипел бульон»...— Эти слова из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», неудачно переведенные А. Ф. Мерзляковым («Вскипел Бульон и в рать потек») вошли в комическом переосмыслении в разговорный язык литературных кругов того времени.

⟨Глава IX⟩

Впервые опубликовано в ПЗ, 1861 г., кн. VI, стр. 273—324. Печатается по тексту этого издания. В «пражской коллекции» (ЦГАЛИ) сохранился черновой автограф французского перевода главы (см. раздел «Авторские переводы»).

Главе «Роберт Оуэн» Герцен придавал большое значение и в письме к И. С. Тургеневу, написанном в день ее окончания (19 декабря 1860 г.), характеризовал ее как «большую этюду», как «вещь смелую и, сколько кажется, удачную». По напечатании он послал главу Тургеневу и неоднократно просил прочесть ее и сообщить свое мнение. Значительно позднее, в письме к сыну от 17 апреля 1869 г., Герцен относил главу об Оуэне к лучшим из своих статей.

Герцен относился к Оуэну с глубочайшим уважением. Еще до создания данной главы, в своем «Ответе русской даме» (см. т. XIV наст. изд.), Герцен писал о жизни Оуэна как об одном из примеров «человечески прожитой жизни». Вскоре после смерти Оуэна, в статье «Россия и Польша» (см. т. XIV наст. изд.), Герцен писал, что «очень благодарен судьбе, что успел еще застать его в живых и пожать почтенную и много трудившуюся руку Роберта Оуэна». «Оуэн,— отмечал Герцен в этой статье,— был прав, и Англия поймет его, но, конечно, не в XIX столетии».

Значение главы далеко выходит за пределы характеристики Оуэна и воспоминаний о нем. Глава содержит острую критику буржуазного общества и знаменательна тем, что в ней сказалось укрепление тенденций исторического оптимизма в мировоззрении Герцена, его вера в роль исторической активности передовых людей и значения передовой мысли.

Стр. 205. «Ты все поймешь, ты все оценишь!» — Цитата из поэмы К. Ф. Рылеева «Войнаровский», стих 253.

В у р о н, «Дон Жуан», С. XIV-84.— Цитата из поэмы Байрона «Дон Жуан», глава XIV, строфа 84.

...я получил приглашение от одной дамы...— Матильда Биггс, дочь Дж. Станфилда, вся семья которого была в дружеских отношениях с лондонской демократической эмигранткой, в частности с Герценом.

...*Seven Oaks* — старинный городок в графстве Кент, поблизости от Лондона.

Слишком много черного было со мною с тех пор...— Речь идет о семейной драме Герцена и смерти Наталии Александровны (см. т. X наст. изд.).

Стр. 206. ...в *Васильевском*.— Подмосковная усадьба отца Герцена. Мы говорили об *Италии*, о поездке в Ментоне...— Герцен ездил в Ментону из Ниццы в июле 1851 г.

Стр. 207. ...один трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре) ...— Имеется в виду оценка, данная Анаксагору в «Метафизике» Аристотеля, кн. I, гл. 3.

...чудака, который скорбел о мытаре и жалел о падшем...— Герцен, видимо, подразумевает евангельскую притчу об Иисусе Христе и мытаре.

...в драгоmani...— Переводчик при дипломатических миссиях на Востоке (от араб. *targuman*).

Стр. 208. ...А ведь он был у меня в Ленарке.— Николай посетил Р. Оуэна в 1815 г. в Нью-Ленарке, где находилась организованная Оуэном хлопчатобумажная фабрика. В своей автобиографии Оуэн рассказывает, как великий князь Николай приглашал его переселиться в Россию с целью устройства там, при материальной поддержке царского правительства, промышленных общин наподобие Нью-Ленарка. Оуэн это предложение отклонил.

...полуболезненный бред о духах?— В последние годы жизни Оуэн, увлекшись спиритизмом, стал связывать свои социальные идеи с мистическими представлениями.

Стр. 209 ...бесчеловечную *mater dolorosa* ∞ светская инквизиция заменила монашеские ящички с ножами.— В числе всевозможных пыток, применявшихся инквизицией, практиковалось помещение в утыканный внутри острыми ножами ящик, на котором было изображение «скорбящей божьей матери».

Другой старик ∞ столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе...— Иоанн Богослов, один из двенадцати апостолов христианской церкви, будучи сослан римскими властями на Патмос (остров в Эгейском море), написал там свой Апокалипсис и послания к верующим.

...пять лет после его смерти джефферсоновская республика ∞ распадется во имя права сесть негров.— Т. Джефферсон — автор «Декларации независимости», провозглашенной в США в 1776 г. В 1861—1865 гг. происходила гражданская война между северными штатами, выступавшими против рабовладельческой системы, и южными штатами, представлявшими оплот рабовладения. Р. Оуэн умер за несколько лет до этой войны — в 1858 г.

...рочдельского общества...— Первое потребительское кооперативное общество, основанное в 1844 г. рабочими ткацкой мануфактуры в английском городе Рочдейл.

...на «всемирную выставку»...— Первая всемирная выставка, устроенная в 1851 г. в Лондоне.

Стр. 210. ...на место моего рождения...— Оуэн родился и умер в городе Ньютауне (Newtown).

Стр. 211. Английский поп втеснил его праху отпевание ∞ Томас Олсон протестовал смело, благородно...— Местный приходский священник в Ньютауне заявил, что допустит погребение только при условии церковного отпевания и отказа друзей Оуэна от надгробных речей. Сын Оуэна

и некоторые его друзья уступили этому требованию. Один Томас Олсоп, старый друг Оуэна, специально приехавший на похороны, отказался присутствовать на религиозной церемонии, устроенной вопреки взглядам покойного.

...and all was over.— Напечатанное в некоторых английских газетах письмо Роберта Дейла Оуэна от 17 ноября 1858 г., извещавшее о смерти его отца, начиналось словами: «It is all over» («Все кончено»).

Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашел статью о нем.— Журнал «The Westminster and Foreign Quarterly Review» поместил в октябрьской книжке за 1860 г. большую статью об Оуэне, напечатанную без подписи.

«Ein unnütz Leben ist ein früher Tod».— Слова Ифигении в трагедии Гёте «Iphigenie auf Tauris» (акт I, сцена 2).

Стр. 212. ...Веллингтона, этой величайшей не способности во время мира.— Английский полководец, известный своей победой над Наполеоном в 1815 г., вступив позднее на гражданское поприще, проявил себя как неудачливый и непопулярный реакционный политик.

Стр. 213. С цинизмом Ноева сына покажет он наготу... — По библейской легенде, Хам, насмеявшийся над наготой своего отца Ноя, был им проклят («Бытие», гл. XI, 22—27).

Какое подлое начало социализма!— Слово «подлый» в первоначальном значении было лишено бранного оттенка: подлый — принадлежащий к низшему сословию, подлежащий податному обложению.

Стр. 214. Какой-то инквизитор и бумажных дел фабрикант Филипп пристал к Оуэну с вопросом... — Член парламента Джордж Филипп, манчестерский хлопчатобумажный фабрикант, выступил особенно резко против Оуэна при рассмотрении фабричным комитетом палаты общин представленных Оуэном «Замечаний о влиянии промышленной системы» и законопроекта о ее преобразовании. Комитет единогласно отверг домогательства Филиппа, пытавшегося своими вопросами дискредитировать Оуэна.

...Оуэн предпочел отвечать на публичном митинге в Лондоне! — Оуэн не раз выступал на устраивавшихся в большом зале Таверны города Лондона собраниях Ассоциации для облегчения положения бедных. Произнесенная им 21 августа 1817 г. речь, отмечаемая здесь Герценом, была тогда же напечатана под заглавием «New state of Society».

Он по сю сторону Темпл-Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится старый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и светской кафедральной синагоги банка... — Темпл-Бар (Храмовая застава) — историческое место на границе Сити, центральной части Лондона. Под «кафедральным зонтиком» Герцен, видимо, разумеет собор св. Павла. Две громадные фантастические фигуры, названные Гором и Магогом, установлены в 1708 г. в здании лондонской ратуши (Guildhall). Уайт-Холл — здание, в котором помещаются некоторые высшие правительственные учреждения Англии. Светской кафедральной синагогой банка Герцен называет Английский банк, занимавший главенствующее положение в экономической жизни Британской империи.

Стр. 214—215. «Нелепости изверства сделали из человека но с ними рай недолго устоял бы раем!» — Герцен неточно цитирует слова Оуэна из его выступления от 21 августа 1817 г.

Стр. 215. ...с другим биографом Оуэна... — Герцен, вероятно, имеет здесь в виду Уильяма Л. Сарганта, перу которого принадлежит биография Оуэна, изданная в Лондоне в 1860 г. под заглавием «Robert Owen and his social philosophy».

Стр. 216. Р. Оуэн назвал одну из статей «An attempt to change this lunatic asylum into a rational world».— Статья Оуэна «The World a great lunatic asylum» была напечатана в первом номере журнала «Robert

Owen's Journal», вышедшем в Лондоне 2 ноября 1850 г., и заканчивалась словами, почти буквально повторяющими приводимое Герценом заглавие: «To change this lunatic asylum into a rational world, will be the work to be accomplished by this journal» («Превратить этот сумасшедший дом в разумный мир — вот что будет делом, которое должно осуществляться в настоящем журнале»).

Один из биографов Оуэна по этому случаю рассказывает...— Речь идет о Сарганте, приводящем пересказываемый здесь Герценом известный анекдот на стр. 352 названной выше книги об Оуэне.

Стр. 217. «*Wenn er die Kette bricht*».— Из стихотворения Шиллера «Die Worte des Glaubens», в котором речь идет о рабе, разбивающем цепи и утверждающем себя свободным человеком.

Стр. 218. *Трелоне ∞ спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел...*— Речь идет о выступлении Д. Трелоне при обсуждении в палате общин в феврале 1860 г. билля об отмене так называемых «церковных норм». Министром внутренних дел был тогда Дж. Корнуолл Льюис.

Подобные случаи повторялись ∞ с известным публицистом Голиоком.— Д. Голиок в молодости пропагандировал антирелигиозное нравственное учение, именовавшееся «секуляризмом», и в 1841 г. подвергся шестимесячному тюремному заключению за «святотатство» в публичном выступлении.

...она лет пятнадцать просидела в сельляярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном...— Политика изоляции Англии от Европы завершилась в 1806 г. так называемой континентальной блокадой, введенной Наполеоном I с целью закрыть английской торговле доступ на европейский континент.

...один просит у ветра нести его куда-нибудь, только не на родину...— Имеются в виду строки из прощальной песни Чайльда, имеющей автобиографический характер, в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», песнь первая.

...у другого судьи ∞бирают детей, потому что он не верит в бога.— Шелли в 1817 г. решением лорда-канцлера был лишен права воспитывать своих детей, причем основанием для такого решения была «незаконная связь» его с Мэри Годвин и атеистические взгляды, высказанные в произведениях поэта.

Стр. 219. *...поэма Ариоста...*— «Неистовый Роланд».

Стр. 221. *...Кристалльного дворца...*— Здание Crystal-Palace было сооружено из стекла и железа в южной части Гайд-парка для всемирной выставки 1851 г. Перенесенный после закрытия выставки в Сайденхем, в нескольких километрах от Лондона, Кристалльный дворец был предоставлен для художественных выставок, митингов и концертов.

...Кары небесные и бедствия земные ∞ на вульгарном языке шиллеровского капуцина в «Wallenstein's Lager»?— В первой части трилогии Шиллера «Валленштейн» — «Лагерь Валленштейна» — «ученый» капуцин произносит пересыпанную латинскими изречениями длинную проповедь, в которой, между прочим, провозглашает наступление часа «великой вселенской кары» (явл. 8).

Стр. 223. *...перед заповедями ∞ их диктовал Иегова на Синае или что они были внушены человеку, избранному каким-нибудь паразитным духом, живущим в его мозгу.*— Согласно библейскому преданию, десять заповедей даны богом Иеговой Моисею на горе Синай; христианские заповеди, по евангельскому преданию, возведены Иисусом как откровения «святого духа».

Стр. 224. *...кипит кровь Январия...*— Согласно католической легенде, кровь епископа Январия, хранящаяся в особом сосуде в городе Неаполе, чьим патроном он считается, якобы, вскипает в день праздника

этого святого, а также в случае возникновения чрезвычайных для жизни города обстоятельств.

Стр. 225. ...*боги Греции, которым, по словам Лукиана ∞ в Афинах доказали, что и х н е т...* — В диалоге Лукиана «Зевс-трагик».

Стр. 226. ...*old shop...* — «Старой лавкой» (англ. old shop) Герцен называет здесь церковь.

Стр. 227. ...*что делал неаполитанский король и венский император.* — Речь идет о кровавом подавлении народных восстаний в Неаполе и Сицилии в 1821 и 1849 гг. и об удущении вооруженной силой революционного движения 1848—1849 гг. в Австрии и подвластных ей странах.

...*облечения в вирильную тогу.* — Верхнее одеяние, которое древние римляне получали право носить по достижении совершеннолетия.

Стр. 228. ...с *Икарии*.: — Воображаемая страна с коммунистическим строем, представленная в романе-утопии Э. Кабе «Путешествие в Икарию».

«*Что сделал Консидеран с Брейсбеном, что монастырь Сито, что портные в Клиши и Valque di peuple Прудона?*» — Консидеран, эмигрировав в 1852 г. в Америку, организовал два года спустя, при участии Брейсбена, в Техасе колонию «Réunion». В монастыре Сито (департамент Кот-д'Ор) после революции 1848 г. обосновалась одна из рабочих производственных ассоциаций. В Клиши, местечке невдалеке от Парижа, в марте 1848 г. было организовано, по проекту Луи Блана и при поддержке Люксембургской комиссии, большое кооперативное производственное товарищество портных. Основанный Прудоном в 1849 г. «Народный банк», который имел целью предоставлять трудящимся «даровой кредит», должен был, по мысли его учредителя, способствовать разрешению социального вопроса. Все эти мероприятия потерпели неудачу.

Стр. 229. *Доктор герцога Кентского Эдуарда пишет герцогу...* — Доктор Генри-Грей Мак-Наб, по совету герцога Эдуарда посетив Нью-Ленарк в 1819 г., написал благожелательный отчет об этом, опубликованный в Лондоне в том же году.

...*какие-то два черных шута ∞ это были двое квекеров.* — Приезд в Нью-Ленарк У. Аллена и Фостера относится к августу 1822 г.

Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов ∞ так греховная цифра была велика. — Предприятие Оуэна в Нью-Ленарке дало за первые пять лет 160 000 фунтов чистой прибыли, а в дальнейшем годовичные балансы сводились в среднем с прибылью в 15 000 фунтов.

Стр. 229—230. *Оуэн ∞ не согласился ∞ «В таком случае, - сказал он им, - управляйте сами; я отказываюсь».* — Требования компаньонов-квекеров были предъявлены Оуэну в январе 1824 г.; Оуэн подписал их условия и согласился временно продолжать руководство предприятием до подыскания нового управляющего. Разрыв Оуэна с совладельцами и вынужденный уход его из Нью-Ленарка произошли позже — в 1829 г.

Стр. 230. ...*за обедом во Франкфурте...* — Банкет, устроенный банкиром Бетманом в 1818 г. в связи с собиравшимся тогда в Аахене конгрессом Священного союза.

...*п о т е ш н ы е роты работников и учеников...* — «Потешное» войско из малолетних при Петре I явилось зародышем будущей регулярной армии России.

Стр. 233. ...в *Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается...* — Герцен имеет в виду последствия экономической отсталости Бразилии того времени, начало войны за объединение Италии и назревание конфликта между Севером и Югом в Соединенных Штатах Америки, приведшего к гражданской войне.

Мак-Магон ∞ истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны... — Мак-Магон участвовал в военной экспедиции 1830 г. с целью захвата Алжира. Герцен отме-

чает здесь операции французских сухопутных войск (одеты в красного цвета штаны), сопровождавшиеся массовым истреблением, против арабов (носивших белые одежды), оказавших вооруженное сопротивление колонизаторам.

Стр. 235. *Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени — Разумом, были так же уверены во всех salus populi... — Во Франции в 1793 г. началось движение, стремившееся заменить христианскую веру революционным культом Разума. А. Клоотс и левые якобинцы, возглавлявшиеся Эбером («гебертисты»), были наиболее энергичными поборниками культа Разума, отвечавшего, по их мнению, требованиям блага народа. О salus populi см. комментарий к стр. 59.*

...один из сильнейших, из самых смелых мыслителей нашего века... — П.-Ж. Прудон.

Стр. 236. *«Ты прав, Платон, ты прав»... — Последний акт трагедии Д. Аддисона «Катон» открывается сценой, в которой Катон, держа в руках книгу Платона о бессмертии души, произносит монолог, начинающийся этими словами.*

Делали же из базилик приходские церкви... — Здания, соорудившиеся в древней Греции и Риме для собраний, суда, торговли и других общественных нужд, впоследствии были использованы первыми христианами для богослужений; позднее стали строить и новые христианские храмы по архитектурной форме базилик.

...первый исторический брат... — Иисус Христос.

Стр. 237. *Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением сильной правительственной властью. — Бабеф возглавил в 1796 г. революционно-коммунистический «заговор во имя равенства».*

Декреты начинаются с декрета полиции. — Будучи противником централизованного государства, Герцен пытается представить проекты Бабефа в невыгодном для них свете. Цитируемые им разделы «об общественном труде», «о распределении и использовании имущества общины», имевшиеся в наброске проекта экономического декрета, Герцен представляет несколько в упрощенном и утрированном виде.

Стр. 240. *...федералистов... В период революции 1789—1794 гг. во Франции федералисты — противники якобинской диктатуры, централизованной революционной власти.*

...«веселая Англия»... — Традиционное название старой Англии, распространенное в быту и в литературе, — old merry England.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Граф Бабеф. — Бабувисты опирались в своей деятельности на конституцию, принятую Конвентом 24 июня 1793 г., считая ее подлинным выражением воли народа.

Стр. 242. *...New Harmony... — Кооперативная трудовая община, основанная Оуэном в 1824 г. в штате Индиана (Соединенные Штаты Америки) и просуществовавшая до 1829 г.*

...со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны... — В 404 г. до н. э. афинское народное собрание назначило 30 мужей для выработки нового государственного устройства, но они узурпировали власть и в течение года правили самовольно, применяя жестокий террор. Тридцатилетняя война в Европе длилась с 1618 до 1648 г., приведя к исключительным опустошениям и разрушениям.

Стр. 243. *Я, как «сестра Анна» в «Синей бороде», смотрю для вас на дорогу... — В сказке Перро «Рауль Синяя борода» прекрасная Июра, седьмая жена Рауля, узнав об угрожающей ей смерти, посылает за двумя своими братьями, а сестру Анну, высматривающую их с верха башни, ежеминутно спрашивает, не видит ли она кого-нибудь на дороге.*

Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Ба-

бѣфа и Дорте...— Приговоренные к смерти Верховным судом в Вандоме (департамент Луар и Шер) Бабеф и Дарте были гильотинированы 27 мая 1797 г.

...один молодой офицер...— Наполеон Бонапарт.

Стр. 244. *...питаться спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего...*— Быт и пища древних спартанцев отличались простотой и суровостью. Люций Юний Брут, освободитель Рима от власти царей и первый консул республики, был известен строгой требовательностью в вопросах морали.

...л акедемонский стол...— Лакедемон — древняя Спарта.

Стр. 245. *Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал!*— В сражении при Ватерлоо 18 июня 1815 г. Наполеон, отбросив пруссаков к реке Маас, поручил их преследование маршалу Груши и решил разбить Веллингтона до присоединения к нему пруссаков под командой Блюхера, который должен был подоспеть только через сутки. Но расчет Наполеона не оправдался, и он потерпел полное и окончательное поражение.

Стр. 247. *...«Общезе благосостояние или смерть!»...*— Лозунг плебейского крыла французских революционеров конца XVIII в.

«Сын человеческий дол же н бы ть предан, но горе тому, кто его предаст».— Евангелие от Матфея, гл. XXVI, 2, 24 и др.

Стр. 248. *...пойдет «на замазку», как говорит Гамлет...*— В первой сцене пятого акта трагедии Шекспира.

Стр. 251. *...она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду...*— Уголино, заточенный в 1288 г. с двумя сыновьями и двумя внуками в башню Гваланди, был обречен с ними на голодную смерть и, по преданию, использованному Данте в его «Божественной комедии», пережил гибель детей, решившись на людоедство.

⟨Глава X⟩

Впервые опубликовано в *К*, лл. 188, 189 и 191 от 15 августа, 15 сентября и 15 ноября 1864 г. (стр. 1541—1546, 1553—1555 и 1568—1572), за подписью *И—р*. Печатается по тексту этого издания. В 1864 г. «*Samicia rossa*» была издана в Брюсселе брошюрой на французском языке. В «пражской коллекции» (*ЦГАЛИ*) сохранился черновой автограф раздела главы, не опубликованного Герценом (см. «Другие редакции»).

Глава «*Samicia rossa*» посвящена приезду Гарибальди в Лондон в апреле 1864 г. Получив многочисленные приглашения от частных лиц и общественных организаций, выражавших желание английского народа видеть его у себя в гостях, Гарибальди принял приглашение, рассчитывая использовать поездку для получения помощи Англии в деле освобождения Венеции и Рима и для привлечения на сторону Италии английского общественного мнения. Европейские дворы, как французский, так и австрийский, были недовольны приездом Гарибальди в Англию, о чем и довели до сведения английского правительства, и без того напуганного беспрецедентным по теплоте и энтузиазму приемом, оказанным Гарибальди английским народом. Правящие круги Англии стремились захватить в свои руки организацию приема Гарибальди с тем, чтобы замкнуть Гарибальди в узком кругу великосветских приемов и изолировать его от народных масс и революционной эмиграции.

Когда этот план не удался, правящие круги Англии решили прервать пребывание Гарибальди в Англии и заставить его уехать досрочно.

А. Саффи, ближайший сподвижник Маццини, дал очень высокую оценку главе «*Samicia rossa*», отмечая тонкую иронию и несравненное мастер-

ство, с которыми Герцен изобличал лицемерную возню английских правящих кругов вокруг приезда Гарибальди (см. A. Saffi. Ricordi e scritti pubblicati..., v. VIII, 1902, Firenze, p. 42).

Стр. 254. *Camicia rossa* — «красная рубашка», одежда итальянских волонтеров, сражавшихся под командованием Гарибальди за независимость Уругвайской республики, а также участвовавших в революционных боях 1848—1849 гг. и в 1860 г. за освобождение Неаполитанского королевства от власти Бурбонов. С этого времени «краснорубашечник» становится синонимом гарибальдийца.

Шекспиров день... — 23 апреля 1864 г. отмечалось трехсотлетие со дня рождения Шекспира.

Народ, собравшись на Примроз-Гилль, чтоб посадить дерево ∞ остался там, чтоб поговорить о с к о р о п о с т и ж н о м отъезде Гарибальди. — В лондонском парке Примроз-Гилль 23 апреля 1864 г. состоялась церемония посадки дерева в честь трехсотлетия рождения Шекспира. В этот же день в лондонских газетах было опубликовано письмо Гарибальди «К английскому народу», в котором он благодарил английский народ за теплый прием и выражал сожаление, что по независимости от него причинам он не смог посетить своих друзей в остальных городах Англии, приглашение которых он ранее принял. Полиция не дала провести митинг, посвященный выяснению причин отъезда Гарибальди, и разогнала народ.

Стр. 255. *...это — очью совершающееся hero-worship Карлейля.* — Т. Карлейль утверждал, что всемирная история есть результат деятельности великих людей, которым следует поклоняться, как необычайному чудесному явлению (см. Carlyle. On heroes, hero-worship and the heroic in history. 1840).

...перед Стафффорд гаузом. — Дворец герцога Сутерлендского, где жил Гарибальди с 11 по 19—20 апреля 1864 г. во время пребывания его в Лондоне.

...High Church... — Ортодоксальное консервативное направление в англиканской церкви.

...старший сын королевы Виктории... — Альберт Эдуард, принц Валлийский, будущий король Великобритании Эдуард VII.

...Джон-Буль... — Нарцательное прозвище англичан; дословно John Bull — Джон Бык.

Стр. 256. *Разве три министра, один неминистр, один дюк, один профессор хирургии и один лорд пиетизма не засвидетельствовали ∞ болел так, что его надобно послать на яхте вдоль Атлантического океана и поперек Средиземного моря?..* — 19 апреля 1864 г. в палате лордов и 21 апреля в палате общин были сделаны запросы о причине досрочного отъезда Гарибальди из Англии. Член правительства лорд Кларендон, премьер-министр Пальмерстон, министр финансов Гладстон, член парламента писатель Сили, герцог Сутерлендский, лейб-медик королевы Викториа Фергюссон, лорд Шефтсбюри выступили в палатах и в печати с заявлениями о якобы плохом состоянии здоровья Гарибальди, требующем немедленного отъезда из Англии. Герцог Сутерлендский на своей яхте «Увдина» отвез Гарибальди на остров Мальту и предложил далее совершить совместное путешествие на восток. Гарибальди отказался и возвратился к себе домой на остров Капреру.

...Газеты подробно рассказали о пирах и яствах ∞ Чизвике и Гильдголле. — Чизвик — предместье Лондона, где в вилле герцога Девонширского был устроен прием в честь Гарибальди. Гильдголл — здание Лондонского городского управления.

В Брук гаузе... — Дом Д. Сили на о. Вайт, где Гарибальди жил с 4 по 11 апреля 1864 г.

Стр. 257. ...*«Полярная звезда», кн. V, «Былое и думы».*— См. комментарий к стр. 14.

...*он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпущают ямщика...*— См. комментарий к стр. 14.

...*ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу.*— Во время похода гарибальдийцев на Рим с целью его освобождения от власти папы и французов в битве при Аспромонте 29 августа 1862 г. Гарибальди был ранен и захвачен в плен войсками Виктора Эммануила II, что вызвало бурю возмущения во всей Италии и усилило популярность Гарибальди.

...*моряк, приведший «Common Wealth» из Бостона в Indian Docks...*— Герцен встретился с Гарибальди в феврале 1854 г. в Вест-Индских доках Лондона на корабле «Common Wealth», который Гарибальди привел из Северо-Американских Соединенных Штатов и на котором он был капитаном. Рассказ Герцена об этой встрече см. также в главах XXXVII (т. X наст. изд.) и «Горные вершины».

...*о адешиных интригах и нелепостях ∞ линиях тряпьем с гербами.*— С 26 февраля по 30 марта 1864 г. во французском суде рассматривалось дело по обвинению четырех итальянцев — Гресо, Трабуcco, Imperatori и Saggio — в подготовке покушения на Наполеона III. Используя ложные показания Греко, прокуратура обвинила в соучастии также Маццини и Стансфилда, депутата английского парламента, входившего в правительство Пальмерстона. Вслед за официозной французской прессой английские консерваторы на протяжении нескольких месяцев вели в печати и в парламенте кампанию разнузданной клеветы и оскорблений против Маццини и Стансфилда, надеясь вызвать правительственный кризис и заменить либеральное правительство Пальмерстона правительством консерваторов. 14, 17 марта и 4 апреля 1864 г. в парламенте обсуждался вопрос о возможности пребывания Стансфилда в составе правительства в связи с выдвинутыми против него обвинениями.

Он только что уехал на остров Вайт. 4 апреля 1864 г. Гарибальди из Саутгемптона выехал на о. Вайт, где до 11 апреля был гостем депутата парламента Сила в его поместье Брук гауз.

... *я отправился в Коус.*— Населенный пункт на о. Вайт, куда Герцен приехал 4 апреля 1864 г.

Стр. 258. ...*к секретарю Гарибальди — Гверцони.* Гверцони впоследствии написал ценную работу о Гарибальди, в которой он описал и пребывание Гарибальди в Англии в 1864 г. (см. G u e r z o n i. Garibaldi. Firenze, 1926).

Стр. 259. ...*кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drapello гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии...*— Начав с 15-летнего возраста свою службу во флоте, Гарибальди был очень популярен среди моряков и рыбаков Ниццы. С большой любовью относились к нему и матросы, совершавшие с ним в 1851—1854 гг. океанские рейсы в Лиму, Перу, Китай и Новую Зеландию. Герцен сам видел в феврале 1854 г. отношение команды корабля «Common Wealth» к своему капитану (см. комментарий к стр. 257). *Drapello гверильясов в Монтевидео* — итальянский легион, которым командовал Гарибальди с 1843 по 1848 г., сражавшийся за независимость уругвайской республики. *Войско ополченцев в Италии* — волонтеры национально-освободительного движения, сражавшиеся под командованием Гарибальди в 1848 г. в Ломбардии, в 1849 г. в Риме, в 1859 г. вновь в Ломбардии и в 1860 г. участвовавшие в гарибальдийском походе в Сицилию и Неаполь.

Стр. 260. ...*равные подробности о 1854 году ∞ об обеде у американского консула с Бюхананом...*— На обеде у американского консула Сондерса 21 февраля 1854 г. в Лондоне, где присутствовал американский посол Бьюкенен, Герцен встретился с Гарибальди (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 23 февраля 1854 г.).

В непечатанной части «Былое и думы» обед этот рассказан.— В главе «Немцы в эмиграции» (см. стр. 161—165 наст. тома).

Стр. 261. ...*Гарибальди ∞ был пожалован генералом королем, которому он пожаловал два королевства...*— Король Пьемонта Виктор Эммануил II пожаловал Гарибальди в 1859 г. чин генерал-майора. В 1860 г. Гарибальди в результате похода на юг Италии дал возможность Виктору Эммануилу присоединить к Пьемонту королевство Общих Сицилий.

Стр. 262. *«Я не солдат ∞ схватился за оружие, чтоб их выгнать».*— Цитата из речи Гарибальди, произнесенной им 16 апреля 1864 г. в Кристальном дворце на торжественном заседании, созванном в честь Гарибальди итальянской колонией в Лондоне (см. G a r i b a l d i. Edizione nazionale degli scritti di G. Garibaldi. Scritti e discorsi politici e militari, v. V, p. 223).

«Я работник, происхожу от работников и горжусь этим».— сказал он в другом месте.— Ответ Гарибальди на адрес рабочего комитета Англии, зачитанный на митинге в день его прибытия в Лондон 11 апреля 1864 г. (см. там же, стр. 221).

Гарибальди заговорил о польских делах. Он дивился отваге поляков.— Речь идет о польском восстании 1863—1864 гг.

я вам писал письмо, в ноябре месяце... — Письмо Герцена к Гарибальди от 21 ноября 1863 г. из Флоренции было напечатано в *R*, л. 177 от 15 января 1864 г. (см. т. XVII наст. изд.).

Стр. 263. ...*принялся читать «Теймс».* С первых строк я был ошеломлен. — В номере газеты «Таймс» за 5 апреля 1864 г. был помещен отчет о заседании палаты общин от 4 апреля, на котором обсуждался вторично поставленный Стансфилдом вопрос о его отставке с поста младшего лорда адмиралтейства. Отставка Стансфилда была принята Пальмерстоном.

Семидесятипятилетний Авраам ∞ принес окончательно на жертву своего галифакского Исаака.— В деле Стансфилда роль библейского Авраама Герцен отвел Пальмерстону, который, начиная с бонапартистского переворота во Франции в декабре 1851 г., проводил политику сближения с Наполеоном III. Последний Герцен иронически сравнивает с Агарью, наложницей Авраама. Профранцузская политика Пальмерстона не раз подвергалась критике в палате общин. Пальмерстон, желая примирить с правительством оппозицию консерваторов и вернуть расположение Наполеона, принес им в жертву Стансфилда. Герцен называет Стансфилда галифакским Исааком, так как Стансфилд был уроженцем Галифакса и был избран в парламент от Галифакского избирательного округа.

...*Стансфилд подал во второй раз в отставку ∞ бросить свое лордшипство.* — Стансфилд, ставя в палате общин 4 апреля 1864 г. вторично вопрос о своей отставке, категорически отвергал свою причастность к делу Греко и компании (см. комментарий к стр. 257), одновременно подчеркивая неизменность своей давней дружбы с Маддини. Как младший лорд адмиралтейства Стансфилд имел титул светлости (англ. lordship).

С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике ∞ навеки нерушимого.— Герцен передает смысл речи Пальмерстона на заседании палаты общин 4 апреля 1864 г. Выразив сожаление, что, в силу настойчивости Стансфилда, он вынужден принять его отставку, Пальмерстон заявил затем, что члены парламента проникнуты сознанием важности личной безопасности Наполеона III и устойчивости его династии, так как Наполеон является верным другом и союзником Англии и оплотом мира в Европе.

Это была М а ж е н т а. — Сравнением позиции Пальмерстона в деле Стансфилда с положением Австрии после битвы при Мадженте 4 июня 1859 г., в которой австрийские войска потерпели поражение от француз-

ских и сардинских, Герцен подчеркивает унижительную роль Пальмерстона, пожертвовавшего Стансфилдом в угоду Наполеону III.

Стр. 264. ...прочсть «Теймс» Гарибальди ∞ о безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями Маццини. — В номере «Таймса» от 5 апреля 1864 г. рядом с отчетом о заседании парламента, где обсуждался вопрос о Стансфилде и Маццини, было напечатано подробное описание пышного церемониала встречи Гарибальди в Саутгемптоне 3 апреля 1864 г.

Стр. 265. Это была официальная депутация от Лондона ∞ к Гарибальди. — Делегация от Совета лондонского графства передала Гарибальди приглашение на торжественную церемонию в связи с присвоением ему звания почетного гражданина Лондона, которая состоялась 20 апреля 1864 г.

Стр. 270. ...бешенство листов, состоящих на службе трех императоров и одного «imperial»-торизма... — Герцен имеет в виду официальную прессу австрийской, французской и русской империй, а также консервативную (торийскую) прессу британской империи.

«Отчего, — говорит опростоволосившаяся «La France» ∞ Лондон никогда так не встречал маршала Пелисье ∞ он выжигал сотнями арабов с детьми и женами... — В 1854 г. по приказу маршала Пелисье, командовавшего французскими войсками в Алжире, было задушено в дыму большое количество мирного арабского населения, находившегося в пещерах. Газета «La France» в течение нескольких недель преподносила триумфальную встречу Гарибальди в Англии как одно из очередных модных увлечений, до которых падка английская публика и которое вскоре будет предано забвению ради новой сенсации. Но в статье Bonnin'a «Le jeu de l'Angleterre» газета 24 апреля 1864 г. признала ошибочность своих утверждений.

Стр. 271. Какой-то итальянец сделался полицмейстером, церемониймейстером ∞ бутафором, суфлером. — По-видимому, Герцен имеет в виду Негретти, члена итальянского комитета в Англии, который взял на себя роль импресарио при Гарибальди, всемерно содействуя осуществлению задуманной против Гарибальди великосветской интриги.

Стр. 272. Такую даль, как Теддингтон... — Пригород Лондона, где Герцен жил с 28 июня 1863 г. до июня 1864 г.

Стр. 274. ...Ледрю-Роллен ∞ как пострадавший за Рим (13 июня 1849 года) ... — В этот день в Париже Ледрю-Роллен возглавил демонстрацию, организованную мелкобуржуазными группировками, и призвал к восстанию в знак протеста против отправки Наполеоном Бонапартом экспедиции Удино для свержения Римской республики и восстановления светской власти папы. Демонстрация была разогнана; Ледрю-Роллен был привлечен к судебной ответственности, но ему удалось бежать за границу.

Стр. 276. День этот... — Гарибальди был у Герцена 17 апреля 1864 г. Поездка Гарибальди к Герцену сыграла немаловажную роль в провале заговора английской аристократии против Гарибальди, и не случайно сообщение о «болезни» Гарибальди и его отъезде из Англии появилось в лондонских газетах на следующий день после посещения Гарибальди дома Герцена. Вырезка из газеты «The Daily News» с заметкой, посвященной этому визиту Гарибальди, сохранилась в архиве Герцена в нескольких экземплярах (см. ЛН, т. 63, стр. 820—821).

Стр. 276—277. ...немцы не понимают, что в Дании побеждает не их свобода, не их единство, а две армии двух деспотических государств... — Имеется в виду война Австрии и Пруссии против Дании в 1864 г. из-за герцогств Шлезвиг и Гольштиния, находившихся тогда в зависимости от Дании.

Стр. 277. ...Гарибальди в оценке своей шлезвиг-гольштинского вопроса встретился с К. Фотом? — Ратуя за объединение Германии на основе единого демократического законодательства и демократических принципов,

К. Фогт в брошюре «*Andeutungen zur gegenwärtigen Lage*» выступил против расширения территории Германии за счет захвата новых земель и считал, что в современной Европе на основе поглощения малых независимых государств образуются сильные милитаризованные державы, как Австрия и Пруссия, единство которых скрепляется не правом и свободой, а насилием и деспотизмом. В войне 1864 г. Фогт был на стороне Дании, утверждая, что для свободного человека ее господство предпочтительнее австро-прусского.

...*есть немцы, которые хотят отдать Венецию и квадрилатер?* — Опираясь на Венецию и четырехугольник крепостей — Мантуя, Пескьера, Леньяго и Верона, — австрийская армия господствовала над верхней Италией и охраняла Бреннерский проход в Альпах.

...*О Триесте, который им нужен для торговли, и о Галиции или Познани...* — Решением Венского конгресса в 1815 г. Триест и Галиция были переданы Австрии, а Познань — Пруссии.

Стр. 278. ... *мы сами Гнейста читали!* — Гнейст в своих работах отстаивал реакционную идею сохранения за дворянством господствующего влияния в управлении государством (см., например, G n e i s t. Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht, B-de 1—2, Berlin, 1857—1860). М. Н. Катков в «Московских ведомостях» проповедовал те же взгляды, ссылаясь на Гнейста.

...*лодочник в Неаполе, который рассказывал о был подкуплен партией Сиккарди и министерством Венеты!* — Герцен провозирует над клириками, утверждавшими, что популярность Гарибальди создана искусственно, а не является выражением подлинных чувств народа. Д. Сиккарди в 1850 г. провел закон об отмене судебных привилегий духовенства. Министр Э. Висконти подготовил итало-французское соглашение 1864 г. о выводе французских войск из Папской области. Эпизод с неаполитанским лодочником Герцен сообщает также в примечании к своему письму к Гарибальди от 21 ноября 1863 г., напечатанному в *К*, л. 177 от 15 января 1864 г. (см. т. XVII наст. изд.).

Стр. 279. ...*журнальные Видоки, особенно наши москворецкие, так уж ясно могли отгадывать игру таких мастеров, как Пальмерстон, Гладстон и Ко* — Герцен неоднократно называл М. Н. Каткова Видоком, т. е. сыщиком, доносчиком. В данном случае Герцен, видимо, имеет в виду передовую статью в газете Каткова «Московские ведомости» от 23 апреля 1864 г., в которой утверждалось, что теплый прием, оказанный Гарибальди в Англии, не выражал чувства английского народа, а был инсценирован членами правительства в дипломатических целях. Статья носила характер пасквиля и содержала ряд грубых выпадов против Гарибальди, в частности, в связи с его поездкой к Герцену 17 апреля 1864 г.

...*Несколько слов, которые сказали Маццини и Гарибальди, известны читателям «Колокола»...* — Речи Маццини и Гарибальди, произнесенные на обеде у Герцена, приведены в статье Герцена «17 апреля 1864 г.», напечатанной в *К*, л. 184 от 1 мая 1864 г. (см. т. XVII наст. изд.). Герцен несколько преувеличивает значение состоявшейся у него встречи Гарибальди и Маццини, которая не привела и не могла привести к устранению противоречий между ними.

Стр. 281. *Prince's Gate* — «Ворота принца», название дома Д. Сили, в котором жил Гарибальди в Лондоне после отъезда из дворца герцога Сутерлендского с 20 по 28 апреля 1864 г.

Стр. 282. ... *как обвинение Уркуарда, что Пальмерстон берет деньги с России.* — Утверждение Уркуарта, будто Пальмерстон подкуплен царским правительством и является наемником России, являлось излюбленной темой его статей и памфлетов (см. также комментарий к стр. 159).

...*Чамберс и другие спрашивали Пальмерстона, не будет ли приезд Гарибальди неприятен правительству.* — Будучи у Гарибальди на

о. Капрере, Чемберс усиленно приглашал его совершить поездку в Англию и вместе с ним приехав на пароходе «Ripon» в Саутгемптон 3 апреля 1864 г. Запрос Пальмерстону об отношении правительства к приезду Гарибальди в Англию был сделан председателем Комитета по организации встречи Гарибальди Ричардсоном.

Гарибальди согласился приехать с целью снова выдвинуть в Англии итальянский вопрос, собрать настолько денег, чтобы начать поход в Адриатике... — Мнение Герцена о цели поездки Гарибальди в Англию полностью подтверждается итальянскими источниками; А. Саффи в своих воспоминаниях пишет, что Гарибальди надеялся получить в Англии денежные средства и корабль для похода в Адриатику, чтобы поднять восстание в Венеции и среди балканских народов против поработившей их Австрии (см. A. Saffi. Ricordi e scritti, v. VIII, p. 40).

...раненный итальянской пулей... — См. комментарий к стр. 257.

Стр. 283. *...лондонские работники были первые, которые в своем адресе преднамеренно поставили имя Маццини рядом с Гарибальди.* — Лондонский рабочий комитет в день приезда Гарибальди в Лондон 11 апреля 1864 г. от имени рабочих Англии преподнес ему адрес, в котором, отмечая выдающуюся роль Гарибальди в освобождении и объединении Италии, также напоминал о не менее выдающихся заслугах Маццини в деле национального возрождения Италии.

...на эпсомской скачке... — Эпсом — пригород Лондона, где ежегодно устраивались конные состязания, из которых главное — дерби.

Стр. 284. *...Кларендону занадобилось попилигримствовать в Тюльери.* — Лорд Кларендон в апреле 1864 г. вошел в состав английского кабинета и для урегулирования ряда спорных вопросов англо-французских отношений, в частности, чтобы рассеять недовольство, возникшее у французского правительства в связи с приездом Гарибальди в Англию, был направлен для конфиденциальной беседы с Наполеоном III в Париж, где пробыл с 14 по 19 апреля 1864 г.

...Дрюэн де Люис говорил, т. е. он ничего не говорил... — Герцен в завуалированной форме высказывает мысль, что английское правительство не допустило бы вмешательства Франции в дела Англии в нежелательном для ее правящих кругов направлении и что французский министр иностранных дел Дрюэн де Люис отлично понимал невозможность подобной попытки.

«Я близ Кавказа рождена». — Цитируя строку из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина, Герцен тонко иронизирует над английскими притязаниями на особые привилегии. Свою мысль Герцен подкрепляет приводимым затем латинским изречением («Civis romanus sum»), намекая на речь Пальмерстона, которую тот произнес в палате общин в 1850 г. в связи с греко-английским конфликтом (дело Пасифико), когда Англия отклонила посредничество Франции и принудила Грецию подчиниться своим требованиям. Пальмерстон в своей речи утверждал, что как в древности принадлежность к римскому гражданству обеспечивала право на господствующее положение в мире, так ныне это право дает принадлежность к английскому подданству.

Австрийский посыл даже и не радовался приему у м в е л ь ц у н г с генерала. — Австрийским послом в Англии в 1864 г. был Апшони. «Умвельцунгс-генерал» — Гарибальди. Австрийское правительство было крайне недовольно дружеским приемом Гарибальди в Англии, поскольку Гарибальди в прошлом руководил борьбой за освобождение Италии от австрийского ига, а целью его приезда в Англию было получение помощи для изгнания австрийцев из Венеции.

Стр. 285. *Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гилле Шеном...* — Первый митинг в Примроз-Гилле в связи с отъездом Гарибальди был разогнан полицией 23 апреля 1864 г. (см. комментарий к стр. 254).

Второй митинг, созванный на Примроз-Гилле комитетом рабочих в знак протеста против недоброжелательного и лицемерного отношения английского правительства к Гарибальди, состоялся 7 мая 1864 г. Речь Шена, видного юриста, друга Маццини, опубликованную в газете «Таймс» от 9 мая 1864 г., Герцен взял за основу при изложении закулисной истории событий, вынудивших Гарибальди покинуть Англию.

Стр. 286. ...*прописывает ему без его спроса Атлантический океан и сугерландскую «Ундицу»*... — См. комментарий к стр. 26.

Стр. 287. *Это — Сольферино!* — Деревня в северной Италии, где 24 июня 1859 г. во время австро-франко-итальянской войны произошло сражение, в котором австрийская армия была разбита французскими и пьемонтскими войсками. Этим напоминанием о Сольферино Герцен намекал на моральное поражение Пальмерстона.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Работа над седьмой частью «Былого и дум» была начата Герценом во второй половине 1850-х годов (для более точной датировки данных нет) и закончена в 1867 г. Эту часть составляют семь глав. Герцен опубликовал лишь отрывок из гл. I («Апогей и перигей»), в К 1867 г. и полностью гл. VI («Pater V. Petcherine») в ПЗ на 1861 г. Собрать и подготовить седьмую часть своих мемуаров для журнальной публикации и отдельного издания автор не успел, и оставшиеся в рукописях неопубликованные главы были впервые напечатаны в 1870 г. в Сб. В этот сборник по неизвестным причинам не была включена гл. VII («И. Головин»); ее впервые напечатал по рукописи М. К. Лемке в 1907 г. в журнале «Былое». В печатном тексте и в рукописях имеются пометки, определяющие время написания отдельных глав седьмой части. В публикации «Апогея и перигея» помечено в подстрочном примечании: «Писано в 1864 г.». В рукописной части этой главы содержится упоминание о Комиссарове, спасшем Александра II в 1866 г. Под рукописным текстом гл. IV («Бакунин и польское дело») обозначен 1865 г., гл. V («Пароход „Ward Jackson“ R. Weatherley and Co») датирована 1867 г. Как видно из указания в гл. VII («И. Головин»), Герцен начал писать ее в февралю 1866 г. В гл. II («В. И. Кельсиев») Герцен доводит свой рассказ до весны 1865 г., предисловие к ней написано позднее, после возвращения Кельсиева в Россию в июне 1867 г. В гл. III (в рукописи она не озаглавлена) упоминается о разговоре с «поклонником Конта», происходившем «год тому назад». Г. Н. Вырубов в своих воспоминаниях о Герцене пишет, что этот разговор велся с ним «по поводу произвольного закрытия кафедры Ренана». Ренан был лишен кафедры императорским декретом в 1864 г., следовательно, гл. III писалась в 1865 г.

На рукописях Герценом указан порядок расположения неопубликованных глав; из его других помет видно, что эту часть мемуаров он намеревался печатать обособленно от шестой части. В настоящем издании она выделена в часть седьмую под заглавием «Вольная русская типография и „Колокол“» согласно указанию Герцена в письме к Г. Н. Вырубову от 17 мая 1867 г. На автографе главы «И. Головин» имеется помета, свидетельствующая о том, что по первоначальному авторскому замыслу она являлась вторым разделом главы «Русские в Париже». Место главы в составе части в настоящем издании определено в соответствии с хронологической последовательностью событий.

Автографы седьмой части «Былого и дум» хранятся в ЛБ.

Очерки «А. Иванов» (1859) и «Михаил Семенович Щепкин» (1863), впервые опубликованные в «Колоколе» и ранее произвольно включавшиеся в состав «Былого и дум» (например, в издании ГИХЛ, 1946), в настоящем издании печатаются в соответствующих томах с материалами «Колокола».

В текст седьмой части внесены следующие исправления:

Стр. 299, строка 4: которую *вместо:* который

Стр. 305, строка 17: отца с матерью *вместо:* отца и с матерью

Стр. 313, строка 8: являвшимся *вместо:* являвшихся

Стр. 327, строки 3—4: летом 1862 *вместо:* летом 1852

Стр. 334, строка 20: но сделаться монахом *вместо:* но сделаться, но постричься монахом (*ошибочно не зачеркнуто*)

Стр. 337, строка 23: Осип Семенович? *вместо:* Осип Семенович?

Стр. 342, строки 5—6: не только <не> католики, но и <не> действы *вместо:* не только католики, но и действы

Стр. 343, строка 36: друг над другом *вместо:* друг на другом

Стр. 347, строка 20: 30 000 *вместо:* 30 000 тысяч

Стр. 349, строка 2: желавших *вместо:* желавшим

Стр. 350, строка 11: их чересчурную крайность *вместо:* ее чересчурную крайность

Стр. 353, строка 25: сороковых годов и всего больше 1848 года *вместо:* 1848 года и сороковых годов и всего больше 1848 года (*«1848 года и»* *ошибочно не зачеркнуто*)

Стр. 359, строка 21: делая се *вместо:* делая из нее

Стр. 359, строка 28: он, во-первых, стал *вместо:* он принялся, он, во-первых, стал (*ошибочно не зачеркнуто*)

Стр. 360, строки 35—36: сам <готов> отдать *вместо:* сам отдать

Стр. 369, строки 27—28: признание <права> крестьян на землю *вместо:* признание крестьян на землю

Стр. 370, строки 3—7: Абзац «—Чего же ∞ чувство...» *разделен на два (после слова «ступок»)*

Стр. 372, строки 27—28: пригласил нас сделаться *вместо:* пригласил нас сделать (*по смыслу зачеркнутого текста, см. «Варианты»*)

Стр. 401, строка 21: 3 мая *вместо:* 3 марта

Стр. 407, строка 38: к 13 июню *вместо:* к 13 июля

⟨Глава I⟩

Отрывок: с начала до слов «тяжесть раздумья...» (стр. 295, строка 2—стр. 312, строки 33—34) впервые опубликован в *К*, л. 244—245 от 1 июля 1867 г. (в отделе «Литературное прибавление», стр. 1997—2002), за подписью *И—р*, с пометкой «Из VI части „Былого и дум“». Печатается по тексту этого издания. В *ЛБ* (Г—О—I—11) имеется черновой автограф отрывка: «Конечно, многие и многие ∞ борт парохода» (стр. 304, строка 18—стр. 306, строка 8). В главке II после слов: «вашу мысль» (стр. 305, строка 13) в *К* две строки точек, указывающие на пропуск. В рукописи вместо этого пропуска дан в виде подстрочного примечания рассказ об истории Трувеллера. В настоящем издании он печатается как подстрочное дополнение в основном тексте.

Отрывок: «По воскресеньям ∞ первое письмо от него» (стр. 312, строка 35—стр. 328, строка 27) впервые опубликован по рукописи в *Сб*, стр. 131—149. Печатается по автографу (*ЛБ*, Г—О—I—12, стр. 24—51), имеющему заголовок: «Продолжение („Апогей и перигей“)». При нумерации страниц Герцен пропустил стр. 28. На стр. 29 наверху он пометил: «№ 28 пропу<щен>». На обороте стр. 33 заметка Герцена: «Гол<ицын> знал, что секр<етарь> вор. Пико». После слов: «—Помилуйте-с — а сколько нужды натерпелся с тех пор, как здесь...» (стр. 321, строки 12—13) — отсылочный значок, но текст вставки отсутствует. На последнем листе рукописи под текстом отсылочный значок и помета Герцена: «В большой тетради. В. И. Кельсиев».

В «софийской коллекции» на обороте 65-го листа рукописи 2-й главы VIII части «Былого и дум» («Venezia la bella») имеется следующая запись

Герцена, по-видимому отражающая первоначальный замысел построения главы «Апогей и перигей» (четыре раздела вместо трех):

«АПОГЕЙ и ПЕРИГЕЙ

I
А п о г е й
I
II
П е р и г е й
I
II»

В главе «Апогей и перигей» Герцен дает характеристику первых лет работы основанной им в мае 1853 г. русской типографии в Лондоне. История «Колокола» в период с 1857 по 1862 г., быстрый и неуклонный рост его влияния до «апогея», после которого начинается постепенный спад в распространении герценовских изданий, снижение их общественно-действенной роли, — такова центральная тема данного очерка.

При всей насыщенности главы фактами и эпизодами, характеристиками различных лиц и портретными зарисовками, при всей сложности и внешней пестроты ее состава она раскрывает одну идею — идею неразрывной связи издательской деятельности Герцена с коренными вопросами русской общественной жизни, с борьбой передовых сил за полное раскрепощение страны и народа. В главе дана картина некоторых сторон общественной жизни этого переходного в истории России периода как того фона, на котором развевывалась в эти годы деятельность Герцена. Вместе с тем в ней отражается идейный рост Герцена, процесс освобождения его от либеральных иллюзий и колебаний на основе осмысления личного и общественного опыта этих насыщенных большими событиями лет.

Характерно, что об успехе «Колокола» в среде чуждой и по существу враждебной его издателям Герцен пишет в ироническом тоне, начиная свой рассказ «великолепной сценой» беседы с «колонель рюс». Правда, Герцен в своем очерке полностью не раскрывает всей противоречивой природы успеха «Колокола». И. И. Кельсиев писал Герцену в сентябре 1863 г., что «если многие либеральничали и не прочь были почитать „Колокол“, то это только по непониманию дела и по какому-то суеверному преклонению перед вашим авторитетом» (*ЛН*, т. 62, стр. 230).

Тема «Колокол» и Россия» во всей ее сложности и многопроблемности не была для Герцена темой из далекого «былого» и давно пережитых «дум». Она непосредственно смыкалась с теми вопросами и задачами революционной практики и теории, над решением которых Герцену и другим русским революционерам приходилось работать в это время. Поэтому о многих самых важных событиях в Лондоне и России, о некоторых сторонах организационной и идейной работы заграничного революционного центра и его связях с революционно-демократическим лагерем в России, о сношениях издателя «Колокола» со своими корреспондентами из различных общественных кругов Герцен не мог писать в своих мемуарах, которые именно в этой своей части особенно конспиративны. Он очень осторожно и скупко говорит о связи с представителями той революционной России, бесцензурным органом которой был «Колокол». Герцен не мог рассказать о тех серьезных, конспиративных свиданиях, которые, по словам В. И. Кельсиева, составляли тайну Герцена и Огарева (см. *ЛН*, т. 41—42, стр. 274), например, о встречах и беседах в июне 1859 г. в Лондоне с Чернышевским. В исторический подтекст этой главы входит вся совокупность материалов, связанных с вопросом о разработке и осуществлении идеи создания революционной организации.

Стр. 296. ...что скажешь у нас о Сухозанете ∞ или вот об Адлерберге? — Разоблачительные материалы о Н. О. Сухозанете и В. Ф. Адлерберге систематически помещались на страницах «Колокола».

Стр. 297. ...я официально отказался ехать в Россию. — Об отказе Герцена в 1851 г. вернуться в Россию и принятии им швейцарского гражданства см. гл. XL «Былого и дум» (т. X наст. изд.).

...А. И. Сабуров... — В источнике, видимо, ошибочно: Я. И. Сабуров. Генерал-майор А. И. Сабуров был у Герцена в Ницце между июлем 1851 г. и январем 1852 г.; с ним Герцен передал письма для московских друзей (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 20 февраля 1852 г.).

Стр. 298. *Проезжая тайком Францию в 1852, я в Париже встретил кой-кого из русских...* — В августе 1852 г. на пути в Лондон Герцен без разрешения французских властей пробыл восемь дней в Париже, где встречался с М. К. Рейхель, А. В. и Е. К. Станкевичами, Н. А. Мельгуновым (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 15 октября 1852 г.).

...«Ни звука русского, ни русского лица». — Слова из монолога Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие III, явление 22).

О свидании с ним я рассказывал в другом месте. — О своей встрече с М. С. Щепкиным в Лондоне в сентябре 1853 г. Герцен писал в статье «Михаил Семенович Щепкин», опубликованной в *К* от 1 октября 1863 г. (см. т. XVII наст. изд.).

...*Доктор В-ский.* — Под этим псевдонимом из-за конспиративных соображений Герцен скрыл фамилию П. Л. Пикулина, который, уехав из России в начале июня 1855 г., до приезда в Лондон к Герцену некоторое время пробыл в Вене (отсюда — псевдоним Венский). Пикулин был связан с московскими друзьями Герцена и привез ему письмо от Т. Н. Грановского с припиской Н. Х. Кетчера (см. *ЛН*, т. 62, стр. 102—104).

Стр. 299. ...«ныне отпускаеши» Симеона-богоприимца. — По евангельской легенде, Симеону, жителю Иерусалима, было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Иисуса. После долгого ожидания, увидя его, он произнес: «ныне отпускаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром...» (Евангелие от Луки, гл. II, 25—30).

Так умер Грановский... — О впечатлении, которое на Герцена произвело известие о смерти Т. Н. Грановского, см. в гл. XXIX «Былого и дум» (т. IX наст. изд.).

... в маленькой комнате «старого дома»... — Дом в Москве, принадлежавший отцу Герцена И. А. Яковлеву, в Б. Власьевском пер., в котором Герцен жил до 1830 г. и который позже был им описан в гл. IV «Былого дум», а Н. П. Огаревым — в стихотворении «Старый дом».

Стр. 300. *Весной 1856 приехал Огарев, год спустя (1 июля 1857 г.) вышел первый лист «Колокола».* — Роль Н. П. Огарева в создании «Колокола» Герцен неоднократно отмечал в письмах и печати. В черновом наброске письма неизвестному адресату Герцен писал после 1867 г.: «Ему-то <Огареву> принадлежит первая мысль о „Колоколе“» (*ЛН*, т. 61, стр. 270); см. также письмо Герцена к И. С. Тургеневу от 22 ноября 1862 г. и предисловие к сб. «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне».

...говарил мне в Лондоне, *horribile dictu*, *К а т к о в...* — Встреча произошла в 1859 г. во время заграничного путешествия М. Н. Каткова.

...В. П. ... — В. П. Боткин.

...«обвинительное письмо» Ч<ичерина>. — О полемике с Б. Н. Чичериным в связи с его письмом, опубликованным в *К* от 1 декабря 1858 г. под названием «Обвинительный акт» (см. т. XIII наст. изд.), Герцен рассказывает в гл. «Н. Х. Кетчер» (т. IX наст. изд.).

...как Бирон, вылил ∞ ушат холодной воды на голову. — В романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» описывается, как люди Бирона, выливая на непокорного украинца ушаты холодной воды, превратили его в ледяную статую.

Стр. 301. ...крепкого патриотизма михайловского времени. — Период разгула реакции и поворота части либерального общества к национализму, шовинизму и черносотенству в начале 1860-х годов Герцен называет по имени тех деятелей, которые олицетворяли собою реакцию — Михаила Каткова, Михаила Муравьева.

...одно из них было подписано общими друзьями нашими... — Герцен имеет в виду письмо К. Д. Кавелина, к которому присоединились И. С. Тургенев, П. В. Анненков, И. К. Бабст, Н. Н. Тютчев, А. Д. Галахов и некоторые другие, пересланное ему в марте 1859 г. Б. Н. Чичериным.

...дело «стрелка Кочубей»... — Кн. Л. В. Кочубей в 1853 г. стрелял в управляющего своим именем И. Зальцмана и ранил его, однако остался не только безнаказанным, но, подкупив судей, добился заключения Зальцмана в тюрьму. Разоблачению этих злоупотреблений Герцен посвятил ряд заметок в «Колоколе» за 1858—1859 гг., в результате чего дело было пересмотрено и Зальцман освобожден (см. заметки «Что значит суд без гласности», «Times» говорит...», «Еще о стрелке Кочубей» и др. — тт. XIII—XV наст. изд.).

Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей... — «Письмо к императрице Марии Александровне» Герцена было напечатано в К от 1 ноября 1858 г. (см. т. XIII наст. изд.). Об отношении императрицы к «письму» Герцен, очевидно, узнал от К. Д. Кавелина. Имеются данные, подтверждающие, что лист «Колокола» с «письмом» Герцена произвел среди обитателей Зимнего дворца сильное впечатление (см. А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров, М., 1929, стр. 181; «Воспоминания Ф. А. Оома». «Русский архив», 1896, VIII, стр. 569; А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, Гослитиздат, М., 1955, стр. 45, запись от 19 ноября 1858 г.).

Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте... — В статье «Михаил Семенович Щепкин» (см. т. XVII наст. изд.).

...напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. — В К от 1 марта 1861 г. были помещены материалы об обсуждении проекта крестьянской реформы на заседании Государственного совета 28 января 1861 г. (см. т. XV наст. изд.).

Бескорыстный Муравьев ∞ жираф в андреевской ленте, Панин... — М. Н. Муравьев и В. Н. Панин, названный Герценом жирафом за его длинный рост, были объектом систематических разоблачений в «Колоколе», первый, в частности, как казнокрад и крупный взяточник.

Горчаков, исправивший между этими «мертвыми душами» роль Мижужева... — А. М. Горчакова, выразившего сомнение в возможности подкупа издателя «Колокола», Герцен уподобляет Мижужеву, «зятяю» Ноздреву, принадлежавшему, по словам Гоголя, к тем, кто «согласятся именно на то, что отвергали» («Мертвые души», том первый, гл. IV).

Стр. 302. ...от благодарности, подписанной князем Хованским... — Взятка, дававшаяся в начале XIX в. бумажными деньгами, на которых была подпись князя А. Н. Хованского, управляющего государственным банком.

Стр. 303. ...провали губернской Миной Ивановной... — В «Колоколе» часто печатались материалы, разоблачавшие различные финансовые махинации придворно-правительственной среды, в которых видную и грязную роль играла, в частности, Мина Ивановна Буркова — наглая и корыстолюбивая фаворитка министра двора В. Ф. Адлерберга.

...«свиной в Ермолках», как выразился бессмертный автор гениального «Ревизора». — Выражение Хлестакова из «Ревизора» Н. В. Гоголя (действие пятое, явление VIII).

Стр. 304. ...кавненными, как Сливицкий, Арнеольд ... и убитыми, как Потребня, и посланными на каторгу, как Красовский, Обручев и пр. — П. М. Сливицкий и И. Н. Арнеольд за участие в революционной военной организации были расстреляны по приговору военно-полевого суда в 1862 г.

Герцен в заметке «Аргольдт, Сливичкий и Ростовский», напечатанной в *К* от 1 августа 1862 г. (см. т. XVI наст. изд.), назвал день их казни «черным днем», который будет памятен полякам, за чью свободу они боролись. А. А. Потебня дважды был у Герцена в Лондоне (см. гл. «М. Бакунин и польское дело»), принял участие в польском восстании и был убит в бою с русскими войсками 4 марта 1863 г.; в «Колоколе» за 1863 г. был помещен ряд статей, посвященных Потебне. А. А. Красовский за распространение среди солдат прокламаций был в 1862 г. приговорен к смертной казни, замененной 12 годами каторжных работ, которые он отбывал в Нерчинске на Александровском заводе одновременно с Н. Г. Чернышевским. «Колокол» 1 января 1863 г. откликнулся на приговор сочувственной статьей. Во время неудачной попытки бежать с каторги Красовский в 1868 г. покончил жизнь самоубийством. В. А. Обручев в 1862 г. был приговорен к каторжным работам за распространение прокламации «Великорусс».

Стр. 305. ...*беседы в Alpha road?* — Лондонская улица, на которой Герцен жил с мая по ноябрь 1860 г.

Между моряками ∞ славные юноши, о которых мне писал Ф. Капп из Нью-Йорка... — Ф. Капп, принимавший участие в революционных событиях 1848—1849 г. в Париже, в это время познакомился с Герценом (см. о нем в гл. XXXVII «Былого и дум»). Переехав вскоре в Соединенные Штаты Америки, Капп поддерживал переписку с Герценом (см. письмо Герцена к Н. П. Огареву от 3 марта 1864 г. О содержании письма Каппа к Герцену см. в разделе «Варианты», стр. 610 наст. тома). Упоминаемые в письме Каппа русские моряки — из эскадры Лесовского, прибывшие в Нью-Йорк в сентябре 1863 г. Две русские эскадры (вторая под командованием адмирала Попова стояла в Сан-Франциско), направленные в 1863 г. в США в связи с обострением напряженности в отношениях между Россией и Англией и Францией, усилили позиции Севера в гражданской войне с рабовладельческим Югом.

Историю Трувеллера изложить стоит. — В. В. Трувеллер в 1861—1862 гг. находился в заграничном плавании на фрегате «Олег», посетил Герцена в Лондоне и приобрел революционные издания лондонской типографии для распространения в России, в первую очередь — среди моряков. Трувеллер при помощи гардемарина В. Дьяконова пытался также приобрести типографский шрифт для организации в России нелегальной типографии. По доносу судового священника по прибытии судна в июне 1862 г. в Кронштадт был произведен обыск, при котором обнаружены герценовские издания. Трувеллер был арестован, приговорен к каторжным работам, замененным ссылкой в Западную Сибирь, откуда вернулся в 1865 г. большим.

...переписка с частью офицеров «Великого адмирала». — Переписка с офицерами фрегата «Генерал-адмирал», о которой упоминает Герцен, завязалась в связи со статьей «Константин Николаевич за линьки», напечатанной в «Колоколе» от 15 декабря 1860 г. (см. т. XIV наст. изд.). О письмах офицеров, бравших под защиту командира фрегата И. И. Шестакова или сообщавших новые сведения об истязаниях матросов на корабле, часто писалось в «Колоколе» (например, в листах 93, 95, 114, 212).

Командир его, помнится — Андреев... — Андреев был командиром другого фрегата — «Олег», на котором также систематически избивали матросов, о чем в «Колоколе» от 15 октября 1861 г. была помещена специальная заметка «„Олег“ и Андреев» (см. т. XV наст. изд.).

Стр. 306. ...*константиновский либерал ∞ в фавёре у великого князя...* — Вокруг великого князя Константина Николаевича группировались сторонники умеренных реформ.

...был лейтенант Стофреген ∞ защищал в теории (как впоследствии князь Витгенштейн) военное палачество. — Герцен имеет в виду выступление в 1861 г. Э. Витгенштейна в защиту телесных наказаний в армии

(см. заметку «Плач „Московских ведомостей“ о Шварце, равнодушие к Пейкеру» в т. XVII наст. изд.). К. К. Штофреген служил на фрегате «Генерал-адмирал» под командованием И. И. Шестакова и был в числе офицеров, о зверском обращении которых с матросами сообщалось в «Колоколе» (см. заметки «Собственное сознание о взрыве „Пластуна“», «Еще раз о „Генерал-адмирале“» в тт. XV и XVI наст. изд.).

Вот его ответы и письмо к матери. — Эти материалы не были приведены Герценом. В «Колоколе» были опубликованы лишь некоторые сведения о Трувеллере и его деле (лл. 143, 152). Материалы «Из военно-судного дела о гардемарине 8 флотского экипажа Владимире Трувеллере» (опубликованы в «Историческом архиве», 1955, № 5, стр. 114—137) включают ответы Трувеллера на вопросы следствия, в которых он смело и откровенно изложил свои революционные убеждения.

Стр. 307. *Park House, Fulham.* — Дом в предместье Лондона — Фуламе, в котором Герцен и Огарев жили с ноября 1858 г. до мая 1860 г.

На это письмо капитан парохода отвечал... — Далее Герцен цитирует письмо капитана русского парохода С. Лазаревича от 3/15 февраля 1860 г. (см. ЛН, т. 62, стр. 787).

Стр. 308. *Green Dry Dock, Блэквол.* — Название места стоянки парохода в лондонских доках на р. Темзе.

Стр. 309. *...совершилось великое несчастье...* — Арест П. А. Ветшников, повлекший за собой массовые аресты в России (см. комментарий к стр. 328).

Стр. 310. *...вы участвовали в петербургском пожаре?* — Большие пожары в Петербурге, начавшиеся 28 мая 1862 г., продолжались несколько дней. Царское правительство воспользовалось этим поводом для проведения ряда репрессивно-террористических мер против революционного лагеря и стремилось распространением провокационных слухов о том, что пожары якобы являлись делом рук студентов, подстрекаемых Герценом и Н. Г. Чернышевским, поднять волну ненависти к революционной молодежи и ее идейным руководителям.

Стр. 311. *...играть роль Шарлотты Кордэ ∞ я сижу не в ванне.* — Герцен иронически сравнивает свою посетительницу с Ш. Кордэ, убитшей в 1793 г. кинжалом Ж. П. Марата, из-за болезни работавшего сидя в ванне.

Стр. 312. *...на выставку...* — Всемирная выставка 1862 г. в Лондоне.

Стр. 313. *...зале Orset House'a...* — Название дома в Лондоне, в котором Герцен жил с ноября 1860 г. до июня 1863 г.

Это был князь Юрий Николаевич Голицын. — Некоторые эпизоды из своей жизни в Лондоне Ю. Н. Голицын описал в мемуарах «Прошедшее и настоящее», СПб., 1870. Голицын рассказывает также, не называя Герцена и Огарева, о своих встречах с ними в Лондоне.

Стр. 315. *...императора Николая, победившего лондонских дам.* — Николай I посетил Англию в 1844 г.

Стр. 316. *...с «регентом» ∞ с отцом Филиппа Орлеанского.* — Регентом Франции в 1715—1723 гг. в период малолетства Людовика XV был сам Филипп II Орлеанский, а не отец его (Филипп I Орлеанский).

Стр. 321. *...гласом контрбамбардосны.* — По названию музыкального духового инструмента бомбардона — басовой трубы (франц. *bombarde*, англ. *bombardon*).

Стр. 324. *...Бетховен посвятил ему одну из симфоний.* — Речь идет, по-видимому, о трех струнных квартетах Бетховена (Es-dur, A-moll, B-dur), написанных им в 1823 г. по заказу Н. Б. Голицына, отца Ю. Н. Голицына.

Стр. 325. *...никем не преследуемый, как Людви-Филипп, приехал в Лондон.* — Герцен проводит ироническую аналогию с бегством в Англию французского короля Луи Филиппа, свергнутого февральской революцией 1848 г.

...шеф Павловского полка... — Николай I был шефом Измайловского полка.

...пишет к Бруннову письмо... — Герцен подразумевает русского представителя в Лондоне, которым в это время (1856—1858 гг.) был не Бруннов, а М. И. Хребтович. Ф. И. Бруннов был русским полномочным представителем в Англии в период 1840—1854 гг. и в 1858—1874 гг. (с 1860 г. в ранге посла).

Стр. 327. ...было летом 1862.— В автографе ошибочно написано— 1852.

Стр. 328. ...один из гостей... — Среди гостей Герцена находился агент III отделения Г. Г. Перетц, который донес о возвращении П. А. Ветошникова с «опасными» документами (см. М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. М.—Л., 1923, стр. 179).

Ветошников схватили на пароходе; остальное известно. — Все письма, переданные П. А. Ветошникову, оказались после его ареста в руках III отделения. В июле 1862 г. были арестованы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич. Особо назначенная следственная комиссия под председательством А. Ф. Голицына начала вести «Дело о липах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», по которому было привлечено 32 человека. Дело Н. Г. Чернышевского было выделено из «процесса 32-х» в самостоятельное (см. Мих. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1908). Массовые аресты в России серьезно ослабили связи Герцена и Н. П. Огарева с русским революционным движением.

⟨Глава II⟩

Впервые опубликовано по рукописи в Сб, стр. 151—164. Печатается по черновому автографу ЛВ (Г—О—I—13, стр. 1—11, 30—35). После заголовка: «В. И. Кельсиев» (продолжение) «Былое и думы» VI часть. За главой «Апогей и перигей» стоит отсылочный значок; таким же значком и пометой Герцена «В начале» начинается отрывок: «Имя В. Кельсиева ∞ по законам» (стр. 329—330, строки 3—7). После слов: «в слоге» (стр. 331, строка 5) — выносной знак, но подстрочное примечание отсутствует. На стр. 334, строка 21, после слов «без веры» Герцен делает пометку: «В начало книги». Далее, перед текстом: «Настоящий русский» и т. д. — снова заголовок: «В. И. Кельсиев (продолжение)». В конце главы помета Герцена: «Отрывки из писем».

На л. 17 об. вклеена вырезка из «Московских ведомостей», — сообщение о возвращении Кельсиева в Россию (см. стр. 713).

В этой главе на основе краткой биографической канвы дан портрет В. И. Кельсиева, этого временного попутчика в среде политической эмиграции, разночинца, ставшего одним из первых ренегатов в истории русского освободительного движения. Характеристику Кельсиева Герцен связывает с особенностями идейного формирования последовательно сменявшихся поколений участников революционного движения в России.

Герценовская оценка Кельсиева во многом совпадает с оценкой, данной Кельсиеву Н. А. Добролюбовым, знавшим его до выезда из России в 1856—1857 гг. (см. Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. VI, М., 1939, стр. 459).

В. И. Кельсиев, сын мелкого чиновника-дворянина, окончив в 1855 г. петербургское коммерческое училище, поступил вольнослушателем на филологический факультет Петербургского университета, одновременно работая переводчиком в Российско-Американской компании. С 1859 г. начинается девятилетний период эмигрантской жизни Кельсиева. Уезжая из России, он не собирался стать эмигрантом; Герцен и Огарев отговаривали его от такого шага, но, как писал в своей «Исповеди» Кельсиев,

он «остался в Лондоне против их желания, без определенной цели, без выясненной задачи» (ЛН, т. 41—42, стр. 269).

С 1859 г. до осени 1862 г. Кельсиев жил в Лондоне, выполняя вспомогательную работу при редакции «Колокола». С начала марта по конец мая 1862 г. он с паспортом турецкого подданного купца Василия Яни тайно ездил в Россию — побывал в Петербурге и Москве. Герцен пишет, что поездка была предпринята с целью установить прочные связи с раскольниками. Однако, очевидно, программа поездки этим не исчерпывалась. Кельсиев встречался не только с представителями верхушки старообрядческих общин, но и с видными участниками революционного движения: братьями Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичами, В. И. Касаткиным, А. Бени. Об этих встречах и беседах Кельсиев рассказывает в «Исповеди» (ЛН, т. 41—42, стр. 309—329). В письмах, отправленных в Россию с П. А. Ветошниковым и попавших в руки III отделения, Кельсиев пишет о тех задачах «общего дела» — революционной работы, над решением которых он работал во время пребывания в России. В письме к Н. А. Серно-Соловьевичу он писал: «Как центр склеится, Г<ерцен> и Ог<арев> объявят в «Колоколе», что они пристали к нему, вы подтолкнете к нему всякие кружки, и мои мыслепроводы, сочувствователи, пойдут в дело» (Мих. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1908, стр. 38). Таким образом, поездка Кельсиева в Россию весной 1862 г., о которой так осторожно и глухо пишет Герцен, очевидно, была связана с осуществлением планов объединения революционных сил. Вернувшись в Лондон, Кельсиев, обуреваемый честолюбием и желанием играть руководящую роль, не мог примириться с той скромной работой, которая в действительности была ему по силам.

Осенью 1862 г. Кельсиев уехал на Восток, и с этого времени началась его кочевая жизнь. Потеряв брата, двух детей, жену, он скитался последние два года своей эмигрантской жизни: побывал в Вене, Венгрии, Галиции, Яссах, пытался заниматься научной и литературной деятельностью. В эти годы в мировоззрении Кельсиева намечается перелом, приведший его к измене революционному делу и переходу в лагерь реакции. В Константинополе и Тульче он еще продолжал революционную работу, рассматривая себя как представителя нелегальной организации «Земля и воля» и лондонского центра. Он пытался наладить связи с югом России для пересылки революционной литературы, составил и отпечатал прокламацию «Слушная пора приходит» (см. ЛН, т. 41—42, стр. 323), хлопотал об организации типографии и более всего стремился установить контакт со старообрядцами, проживавшими в Добрудже. Кельсиев вначале переоценил успех своей агитации и полагал, например, что один из представителей старообрядческой верхушки, О. С. Гончаров, стал сторонником «Земли и воли». Герцен после беседы с приехавшим в Лондон Гончаровым (см. «памятный листок», в котором подведены итоги бесед Герцена и Огарева с Гончаровым, — ЛН, т. 62, стр. 74—75) разгадал хитрую и своекорыстную политику этого деятеля старообрядчества и скептически расценивал возможность установления союза с ним и его друзьями. Вскоре и Кельсиев убедился в полной нереальности своих планов приобщения старообрядцев к революционному движению. Уже в это время Кельсиев в письмах к Герцену начинает выражать сомнение в целесообразности продолжения революционной работы, в правильности и жизненности революционных идей; все более и более внутренне отходит он от революционно-демократического лагеря. 19 мая 1867 г. Кельсиев, явившись в Скулянскую таможню, на русско-румынской границе, добровольно отдал себя русским пограничным властям. Раскаившись и выразив верноподданнические чувства, он получил быстрое и полное прощение.

Совершая измену, Кельсиев сохранил видимую объективность, считывая на большой политический эффект. Слухи о том, что он многих

выдал, оказались ошибочными. «Я еще больше убеждаюсь, — писал Герцен 29 октября 1867 г. Огареву, — что он пакостей политических не делал». Кельсиеву, вопреки его надеждам, не удалось после ренегатства играть какую-либо заметную роль в общественно-литературной жизни. Он занимался литературным трудом, не принесшим ему ни известности, ни достатка, и умер в 1872 г.

Герцен раскрыл идейные и нравственные предпосылки, определившие возможность трусливого бегства Кельсиева из революционного лагеря, связь этого поступка с факторами общественно-исторического порядка. В период революционной ситуации в водоворот политической борьбы вовлекались новые и новые слои интеллигенции, и среди них к революционному движению примыкали случайные, неустойчивые элементы. Когда же наступила реакция, тогда те, у кого не было необходимой стойкости, понимания перспектив революционного движения, отошли от революции и демократии. По-своему такую эволюцию проделал и Кельсиев.

Стр. 329. ... *всенародной исповеди*... — Мемуары В. И. Кельсиева, вышедшие под названием «Пережитое и передуманное», СПб., 1868. Эти воспоминания являются подцензурной редакцией обширной «Исповеди» Кельсиева, написанной им в тюрьме при III отделении и адресованной шефу жандармов (см. ЛН, т. 41—42).

... *вооружило против него лучшую часть нашей журналистики*. — Публичная исповедь и ренегатство В. И. Кельсиева были встречены резкими отзывами в ряде органов русской легальной печати (см. «Вестник Европы», 1868, № 7; «Неделя», 1868, №№ 11, 27, 46; 1869, № 1 — 4; «Отечественные записки», 1868, № 12). Возвращению Кельсиева в Россию Герцен посвятил в 1868 г. статью «В. И. Кельсиев» (см. т. XX наст. изд.).

... *не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения*... — Герцен имеет в виду стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и, очевидно, «Стансы», которые переводые современники рассматривали как отход поэта от его свободолюбивых позиций. Об этом писал и В. Г. Белинский в 1847 г. в своем «Письме к Гоголю».

Стр. 330. ... *в Ситку или Уналашку*... — Ситха — поселение и один из островов архипелага Александра у берегов Аляски; Уналашка — один из Алеутских островов; острова принадлежали России до 1867 г., когда были вместе с Аляской проданы Соединенным Штатам Америки.

Стр. 331. ... *ti-sarête*... — Четверг на третьей неделе великого поста у католиков; здесь — середина тридцатилетнего царствования Николая I, разгул реакции.

Стр. 332. *В Лондоне он поселился ∞ в глухом переулке Фулама*... — Герцен далее дает яркое описание лондонских трущоб, населенных ирландскими рабочими-эмигрантами, влачившими полуголодное существование и нещадно эксплуатировавшимися английскими капиталистами. Яркая характеристика этого района Лондона дана Энгельсом в 1845 г. в его работе «Положение рабочего класса в Англии».

Стр. 333. ... *великой страдальцей сложила голову свою на дальнем Востоке ∞ двух последних малюток*. — 29 августа 1863 г. В. Т. Кельсиева с дочерью приехала в Константинополь. После смерти сына и дочери она умерла 15 октября 1865 г. в Галаце. Герцен в некрологе «Две кончины», напечатанном в К от 15 ноября 1865 г. (см. т. XVIII наст. изд.), с большой теплотой писал о В. Т. Кельсиевой. Она, очевидно, верила в прочность революционных убеждений своего мужа и именно поэтому перед смертью, по словам В. И. Кельсиева, завещала ему «ехать на Запад» (см. ЛН, т. 41—42, стр. 397).

Стр. 334. ... *в Велокринице*... — Селение в Буковине, входившей в состав Австрии, ставшее с 40-х годов XIX в. местом пребывания главы «австрийской» иерархии старообрядцев-поповцев.

Сборник о раскольниках шел успешно; он издал шесть частей...— «Сборник правительственных сведений о раскольниках», составленный В. И. Кельсиевым на основе материалов, переданных ему Герценом, был издан Вольной русской типографией в четырех выпусках в течение 1860—1862 гг. Кроме четырех выпусков этого сборника, в 1863 г. были изданы две книги «Сборника постановлений по части раскола».

...выпущенные либретоны разошлись меновенно... — В 1860 г. в издании Трюбнера вышла «Библия» в переводе В. И. Кельсиева под псевдонимом «Вадим» и с его предисловием. Кельсиев в своей «Исповеди», в противоположность Герцену, утверждает, что книга распродавалась плохо (см. *ЛН*, т. 41—42, стр. 283—284).

Стр. 335. *Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать.*— Своей поездке и пребыванию в России с начала марта по конец мая 1862 г. В. И. Кельсиев посвятил второй отдел «Исповеди» (см. *ЛН*, т. 41—42, стр. 297—342).

...обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку ∞ взята мною на плечи. — Герцен иронически противопоставляет честолюбивое хвастовство В. И. Кельсиева самооценке названных лиц. При этом Герцен имеет в виду слова Цезаря, который, читая о жизни Александра Македонского, сказал своим друзьям: «...в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего блестящего!» (П л у т а р х. Юлий Цезарь, 11); Дон-Карлос в одноименной драме Шиллера восклицает: «Мне двадцать третий год! А что успел я сделать для бессмертья?» (действие II, явление 2). О сходных рассуждениях университетского товарища Герцена, В. В. Пассека, см. в гл. XXV «Былого и дум».

Стр. 336. *...другой—чтоб схоронить себя ∞ злоба мстящих помещиков-сенаторов.* — Вернувшись добровольно в Россию, 12 апреля 1863 г. П. А. Мартынов был арестован и осужден сенатом на 5 лет каторжных работ и вечное поселение в Сибирь. В сентябре 1865 г. он умер в Иркутской тюремной больнице. Во время пребывания Мартынова в Лондоне в «Колоколе» 3 мая 1862 г. было напечатано его «Письмо к Александру II». В конце 1862 г. в издании Трюбнера вышла написанная им брошюра «Народ и государство». Во взглядах Мартынова причудливо сочетались ненависть к дворянству и чиновничеству с утопической верой в «хорошего» царя и в возможность созыва царем Земской думы. Мартынов выступал против идеи русско-польского революционного союза и не одобрял отношения Герцена к восстанию в Польше.

Стр. 336. *Теперь воротимся к Кельсиеву.*— Этой фразе в рукописи предшествовал первоначально текст главы «Молодая эмиграция» (см. текстологический комментарий к гл. «Молодая эмиграция» — стр. 713 наст. тома).

Он сблизился с старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале превозносил его до небес. — В. И. Кельсиев в письме к Герцену от 11 июня 1863 г. сообщал, что он установил контакт с О. С. Гончаровым (он же Гончар). Гончаров принимал участие в осуществлении различных мероприятий, направленных против России, а в 60-х годах вступил в сношения с представителями царского правительства, которым давал информацию о русских эмигрантах.

Летом 1863 подвезал к нему его меньшей брат Иван, прекрасный даровитый юноша. — Герцен и Н. П. Огарев высоко оценивали И. И. Кельсиева как одного из талантливых представителей молодого революционного поколения. Он отличался от своего брата В. И. Кельсиева политической зрелостью, последовательностью революционно-демократических убеждений, стремлением к активной деятельности, к сближению с народными массами (см. письма И. И. Кельсиева к Герцену и Огареву — *ЛН*, т. 62, стр. 229—253). В письме к Е. В. Салиас от 2 октября 1863 г. Огарев писал

об И. И. Кельсиева: «Мне иногда в голову приходит — не перевести ли его сюда. Пожалуй, что мы стары становимся. Надо наследников» (*ЛН*, т. 61, стр. 821).

Стр. 337. ...говорят даже, что его возили к Наполеону, — от него я этого не слышал. — По поводу встречи О. С. Гончарова с Наполеоном III В. И. Кельсиев категорически утверждал: «Это неправда; я знаю дело от него самого и от его переводчика». По словам Кельсиева, Гончаров был принят французским министром иностранных дел Э. Тувенелем (см. *ЛН*, т. 41—42, стр. 368—369).

...письмо, в котором, называя меня «графом», спрашивал, может ли приехать к нам и как нас найти. — О. С. Гончаров 21 и 30 июня 1863 г. отправил к Герцену два письма из Марселя (см. *ЛН*, т. 62, стр. 72—74). Первое письмо начиналось обращением: «Его сиятельству господину Герцену». В этих письмах Гончаров рассказывал о своих беседах с В. И. Кельсиевым и выражал сомнения в возможности своей поездки в Лондон.

Мы жили тогда в Теддингтоне... — Район Лондона, в котором Герцен жил с июня 1863 г. В. Т. Кельсиева с дочерью до своего отъезда в Константинополь жила в доме Герцена.

Стр. 338. Гончар прожил у нас три дня. — О. С. Гончаров прожил у Герцена с 14 по 19 августа 1863 г.

...с такой Палестиной. — Т. е. с Россией.

Стр. 339. Он и от нас уехал, качая головой. Написал потом два три письма ∞ и подал, вопреки нашего мнения, адрес государю. — Герцен справедливо не разделял надежд Кельсиева на возможность прочного союза русских революционеров со старообрядцами и скептически оценивал обещания Гончарова оказывать помощь революционной работе. В тех письмах, о которых упоминает Герцен (письма Гончарова к Герцену и Огареву от 2 февраля и 24 мая 1864 г. опубликованы в *ЛН*, т. 62, стр. 75—78), Гончаров писал о столкновениях с Кельсиевым в связи с отказом верхушки старообрядцев содействовать созданию русской типографии в Константинополе. Второй причиной конфликта был адрес на имя Александра II с просьбой прекратить гонение старообрядческой веры, проект которого (см. *Л* XVI, стр. 166—168) был Гончаровым переслан в Лондон и вызвал возражения Герцена и Огарева (см. письма Огарева к Гончарову от 10 марта и 4 июля 1864 г.).

В начале 1864 поехали в Тульчу два русских офицера, оба эмигранты, Краснопевцев и В(асильев)(?) — Обосновавшись в Тульче, В. И. Кельсиев обращался в письме к Герцену от 23 февраля 1864 г. с просьбой: «Если у вас в Лондоне есть эмигранты, порядочные люди, желающие честно жить и честно работать, пусть едут к нам» (*ЛН*, т. 62, стр. 193). О приезде и жизни в Тульче П. И. Краснопевцева и М. С. Васильева Кельсиев писал в «Исповеди» (см. *ЛН*, т. 41—42, стр. 382—383) и сообщал в письмах к Герцену от 11/23 июля и 25 июля 1864 г. (см. *ЛН*, т. 62, стр. 200, 203).

...эта ужасная «Тульчинская агенция» ∞ в «Полицейских ведомостях» Каткова. — Статья «Агенция Герцена в Тульче» была помещена в газете Каткова «Московские ведомости» 2 сентября 1865 г. Герцен в своих статьях «Агентство Герцена в Тульче и «Московские ведомости» и «Агентство в Тульче» тогда же опроверг клевету Каткова и раскрыл ее истинный, провокационный смысл (см. т. XVIII наст. изд.).

Кельсиев писал еще нам свои юмористические рассказы о их водворении... — Герцен, очевидно, имеет в виду письмо В. И. Кельсиева, написанное 23 февраля 1864 г. (см. *ЛН*, т. 62, стр. 190—195). Однако последовательность событий у Герцена спутана: М. С. Васильев приехал в Тульчу в июле, а П. И. Краснопевцев — в августе 1864 г., уже после смерти И. И. Кельсиева, последовавшей 21 июня 1864 г.

Гончар писал, что Кельсиев сильно пьет. — В письме к Герцену от 2 февраля 1864 г. (см. *ЛН*, т. 62, стр. 76).

...писала незадолго до своей смерти его жена. — Очевидно, имеется в виду приписка, сделанная В. Т. Кельсиевой на письмо своего мужа к Герцену от 25 июля 1864 г. Однако прямых жалоб на нужду в этой приписке нет (см. ЛН, т. 62, стр. 204).

Стр. 340. «Милуша» — так звали старшую дочь... — Дочь В. И. Кельсиева — Мария, «Малуша», как ее называли родители (а не «Милуша»), — умерла осенью 1865 г. в Галаце в возрасте около пяти лет.

И она еще раз улыбнулась ∞ и умерла. — В письме к Герцену 26 октября 1865 г. В. И. Кельсиев подробно описал последние минуты своей жены, умершей в больнице Галаца 15 октября 1865 г. Из этого письма Герцен и взял приведенный им диалог умирающей В. Т. Кельсиевой со своим мужем (см. ЛН, т. 62, стр. 204—206).

Далее в автографе подклеена газетная вырезка из «Московских ведомостей» от 11 июня 1867 г.:

«Нам пишут из Петербурга, что на днях начальник скулянской таможни получил, за подписью „В. Кельсиев“, письмо, предварявшее его, что пассажир, имеющий прибыть на эту таможню с правильным турецким паспортом на имя Ивана Желуджова, есть не кто иной, как он, г. Кельсиев, и что он, желая предать себя в руки русского правительства, просит арестовать себя и препроводить в Петербург».

⟨Глава III⟩

Впервые опубликовано по рукописи в Сб, стр. 165—177, под редакционным заголовком «Общий фонд», не соответствующим содержанию главы. Печатается по автографу ЛВ (Г — О — I — 14, стр. 11—28). На л. 1 рукописи помета Герцена: «Вслед за главой о Кельсиеве». Этот текст ранее был частью главы «В. И. Кельсиев», затем Герцен изъял его из этой главы, пометив на об. л. 12 рукописи главы о Кельсиеве: «Особая тетрадь. Об них мы поговорим после».

На рукописи имеется исправление, сделанное карандашом, которое нельзя с достаточным основанием ни приписать Герцену, ни считать авторизованным:

Слова: не только католики, но и дейсты — *исправлены на:* не только не католики, но и не дейсты (стр. 342, строки 5—6).

Основным содержанием главы являются отношения между Герценом и «молодой эмиграцией», сложившиеся в последний период существования «Колокола». После наступления реакции 60-х годов впервые в истории русского освободительного движения образуется, особенно в Швейцарии, сравнительно широкая политическая эмиграция. Вопрос об установлении контакта и сотрудничества между «старыми» лондонскими эмигрантами и «молодой эмиграцией» в Швейцарии становится важным вопросом русского революционного движения.

В кругах «молодой эмиграции» вынашивается план консолидации всех эмигрантских сил, превращения «Колокола» в общеэмигрантский орган, возрождения революционных организаций в России. Эта программа была в развернутом виде изложена в письме Н. И. Утина к Герцену от 16 декабря 1864 г. (см. ЛН, т. 62, стр. 673—678). Автор письма и его друзья отдавали себе отчет в том, что их план может быть отвергнут Герценом, и не остановились перед ультиматумом, заявив, что имеют в виду «печальную альтернативу» возможного разрыва между «учителем и учениками». Герцен, стремясь к достижению практического компромисса, принял участие в съезде эмигрантов, состоявшемся в Женеве в конце декабря 1864 г. — начале января 1865 г. Однако эта попытка объединения всех эмигрантских сил закончилась полной неудачей и стала исходным этапом дальнейшего роста напряженности в отношениях между Герценом и «молодой эмигра-

цией» (истории этого съезда и отношений Герцена с «молодой эмиграцией» посвящены исследования Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция“» — *ЛН*, т. 41—42 и тт. 61 и 62). Герцен и в дальнейшем стремился установить контакт с некоторыми представителями молодого поколения. Он переехал в марте 1865 г. в Женеву свою типографию и «Колокола», привлек к сотрудничеству отдельных молодых эмигрантов, оказывал нуждающимся материальную поддержку. Но наладить широкое и систематическое сотрудничество так и не удалось. Выступления А. А. Серно-Соловьевича в 1866—1867 гг. с критикой Герцена и Огарева (листочка «Польский вопрос. Протест русского против „Колокола“», брошюра «Наши домашние дела») еще более обострили отношения между Герценом и «молодой эмиграцией», хотя впоследствии и делались попытки установления взаимных контактов.

Представители «молодой эмиграции» продолжали ту линию критики либеральных колебаний и ошибок Герцена, которая была начата революционной демократией в конце 50-х годов. Они хотели создать общеземлянский центр со своим печатным органом, при помощи чего надеялись оживить революционное движение в России. Поэтому они требовали от Герцена передачи «фонда Бахметева» «на общее дело». Герцен скептически относился к этим планам, расценивая их как проявление революционной декламации и опасного фразерства. В обстановке раздражительности и нервного возбуждения, созданию которых способствовало гнетущее и деморализующее влияние эмигрантской жизни, и Герцен и представители «молодой эмиграции» проявляли взаимную несправедливость и резкость. В своей критике ошибок Герцена молодые эмигранты игнорировали содержание всей его деятельности, его разрыв с либералами и решительный поворот в начале 60-х годов, несмотря на некоторые рецидивы либеральных иллюзий, к революционному демократизму.

Герцен имел основания писать: «на нас они смотрели как на почтенных инвалидов» и упрекать молодежь в исторической неблагодарности. Но Герцен в своих оценках и характеристиках не смог исторически верно и всесторонне определить особенности молодого революционного поколения. В них сквозит раздраженность и обида, неоправданные придирчивость и резкость.

Герцену, с его широким, энциклопедическим кругозором, с его разносторонними художественно-эстетическими вкусами, с его многогранными интересами, были чужды некоторая прямолинейность, непримиримость представителей молодого поколения, которые он расценивал как узость взглядов. И та и другая стороны подходили друг к другу без учета особенностей двух поколений деятелей русского освободительного движения, к которым они принадлежали. Сама «молодая эмиграция» по своему составу была разнородной. В ее среде были также попутчики и случайные люди, вскоре покинувшие революционный лагерь. Герцен внимательно присматривался и изучал русскую революционную молодежь, представлявшую за границей «молодой эмиграцией». «Я много думал об этом в последнее время», — сообщал Герцен Бакунину 30 мая 1867 г.

Реакционная печать пыталась использовать эту главу для того, чтобы фальсифицировать содержание и направленность идейной эволюции Герцена в последние годы его жизни.

На деле же Герцен всегда живо ощущал историческую связь с поколениями своих преемников по революционной борьбе. «Как же вы не заметили, — писал Герцен в августе 1866 г. П. В. Долгорукову, — что я телом и душой не только принадлежу к нигилистам, но принадлежу к тем, которые вызвали их на свет» (*ЛН*, т. 62, стр. 130).

С подлинным историческим оптимизмом и глубокой проницательностью Герцен увидел в революционерах-разночинцах наших «молодых штурманов будущей бури». В своей статье о Герцене В. И. Ленин использовал

эту замечательную характеристику молодых революционеров (см. В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 15).

Стр. 341. *«Отечество в опасности, aux armes, citoyens!»* — Слова из декрета Законодательного собрания Франции от 11 июля 1792 г., объявившего отечество в опасности в связи с наступлением интервенционистских войск коалиции феодальных монархий.

Стр. 342. *«Год тому назад один француз, поклонник Конта...»* — Г. Н. Вырубов в 1864 г. уехал из России. Познакомился с Герценом в ноябре 1865 г. В своих мемуарах «Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров)» («Вестник Европы», 1913, №№ 1, 2) Вырубов рассказывает о беседе с Герценом, однако тенденциозно изображает Герцена либеральным мыслителем и преувеличивает степень своей близости к нему. Герцен критически относился к взглядам и деятельности Вырубова, называя его «французом», «доктринером», и осуждал за полный отрыв от родины.

...когда праздновали конкордат... — Соглашение между первым консулом Французской республики Наполеоном и римской курией предусматривало отмену провозглашенных во время революции законов против католической церкви. Празднование было отмечено 12 августа 1802 г. торжественным молебствием в соборе Парижской богоматери.

L'infâme sera écrasée... — Герцен передает смысл известного выражения Вольтера: «Раздавите гадюгу!» («Ecrasez l'infâme!»), призывавшего к решительной борьбе против католической церкви и реакционного духовенства.

Стр. 344. *«пуще всех печалей...»* — Слова Лизы из «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» (действие I, явление 2).

Опыты собрания «Общего фонда» не дали важных результатов. — Об учреждении «Общего фонда» сообщалось в «Колоколе» от 15 мая 1862 г. (см. извещение «От издателей» — т. XVI наст. изд.). В дальнейшем в «Колоколе» регулярно печатались сведения о поступивших взносах в «Общий фонд» и неоднократно отмечалось, что приток денег очень невелик. Герцен был одним из учредителей и распорядителей фонда и лично оказывал через фонд и непосредственно помощь нуждающимся молодым эмигрантам. В практике распределения средств фонда возникали конфликты между отдельными эмигрантами и Герценом. 15 мая 1867 г. в «Колоколе» было опубликовано сообщение о ликвидации «Общего фонда» (см. т. XIX наст. изд.).

...странном случае, бывшем в 1858 году. — П. А. Бахметев был в Лондоне у Герцена в августе 1857 г.

Стр. 345. *«На Маркизовы острова.* — П. А. Бахметев, по словам знавшего его Д. Л. Мордовцева, собирался уехать в Новую Зеландию (см. Д. Л. Мордовцев. О Рахметове. «Северный курьер», 1900, 18 апреля (1 мая), № 164).

Стр. 346. *«Во-первых, в расписке будет сказано о кроме банкротства в Англии.* — Рассказ Герцена точно соответствует содержанию письма П. А. Бахметева к Герцену от 31 августа 1857 г. (см. ЛН, т. 41—42, стр. 526). После отъезда из Лондона Бахметев в Европе не появлялся и о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. До 1869 г. фонд Бахметева оставался нетронутым. В июле 1869 г. Герцен, по требованию Н. П. Огарева, отдал ему половину фонда, которая была передана С. Г. Нечаеву. После смерти Герцена и вторая половина фонда была Огаревым отдана Нечаеву. Опасения Герцена сбылись, и фонд Бахметева был растрочен на бесполезные для русского революционного движения бакунинско-нечаевские авантюристические предприятия.

Стр. 348. *«...узнали, что деньги о хранятся у меня.* — Более подробный рассказ об этом содержится в первоначальном варианте текста,

впоследствии вычеркнута в автографе (см. раздел «Варианты» — стр. 622 наст. тома).

Стр. 350. ...*христианство судить по Оригеновым хлыстам и революцию по сентябрьским мясникам и робеспьеровским чулочницам?* — Герцен имеет в виду последователей богослова и изувера Оригена, призванного к самооскоплению во имя достижения христианского идеала праведной жизни. Во Франции 2—5 сентября 1792 г. народ, опасаясь соединения внешних и внутренних врагов революции, ворвался в тюрьмы, где по приговору импровизированных судов, а иногда и в порядке самосуда, подверг казни заключенных изменников и контрреволюционеров. Под «робеспьеровскими чулочницами» Герцен, вероятно, подразумевает плебейские слои населения, поддерживавшие якобинскую диктатуру.

Стр. 351. ...*в костюме гоголевского Петуха...* — Помещик Петух из повести Н. В. Гоголя «Мертвые души» встретился Чичикову в голом виде (том второй, гл. III).

...*называть Ст. Милля р а к а л ь е й...* — Экономист «Русского слова» Н. В. Соколов в статье «Милль» писал: «...в одном томе сочинения Милля найдется множество таких замечательных софизмов и гнусных правил и выводов, которые обратят имя этого писателя в синоним английского слова „Rascal“» («Русское слово», 1865, июль, отд. «Литературное обозрение», стр. 47). Между Соколовым и «Современником» в связи с этой статьей завязалась полемика (см. «Современник», 1865, август; «Русское слово», 1865, сентябрь; также в книге Н. В. Соколова «Экономические вопросы и журнальное дело», СПб., 1866).

...*«старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло?»* — Из стихотворения Д. Л. Давыдова «Современная песня».

Стр. 352. ...*«дать фельдфебеля в Вольтеры?»* — Несколько измененные слова Скалозуба из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие IV, явление 5).

⟨Глава IV⟩

Впервые опубликовано по рукописи в *Сб*, стр. 179—203. Печатается по автографу *ЛБ* (Г — О — I — 15/1, 31 л.). На л. 1 рукописи заголовок: «Продолжение главы „Перигей“. II. М. Бакунин и польское дело». На л. 8 об. к характеристике Бакунина Герценом сделана сноска: «Необход(имо) перечитать сказанное в „Былом и думах“, часть IV—11-й опус». На л. 25 об. вклеена гранка (один лист) статьи Герцена «Русским офицерам в Польше» в первоначальной редакции с авторской пометой: «Поправленный текст в 147 листе Колокола (15 октября)». Обращения к комитету русских офицеров в Польше, подписанные Н. Огаревым и М. Бакуниным, были впервые опубликованы по рукописи в *Сб*, стр. 204—206. В настоящем издании эти обращения публикуются как приложение к главе по рукописи *ЛБ* (Г — О — I — 15/2), представляющей собой автограф Бакунина и список обращения, подписанного Огаревым.

Содержание главы «М. Бакунин и польское дело» шире ее названия. Помимо вопроса об отношении Бакунина к польскому освободительному движению, в ней большое место занимают такие вопросы, как отношение Герцена к Бакунину, разногласия между ними, возникшие вскоре после приезда Бакунина в Лондон, тактика издателей «Колокола» в период польского восстания 1863—1864 гг.

Суть расхождений между Герценом и Бакуниным в 60-е годы состояла в том, что первый стремился сохранить за собой и за «Колоколом» пропагандистскую идеологическую деятельность, тогда как второй хотел ограничить эту деятельность чисто «практическим» направлением, хотел превратить «Колокол» в руководящий центр заговорщической, в духе анар-

хизма, деятельности среди русских, поляков и других славянских народов.

В феврале 1862 г. в прибавлении к 122—123 листу «Колокола» была опубликована статья Бакунина, а точнее, ее первая часть — «Русским, польским и всем славянским друзьям». Заявляя в этой статье об ограничении «своей прямой деятельности Россией, Польшей, славянами», Бакунин обращается к «людям всех сословий», людям «живой мысли и доброй воли в России» с призывом создавать кружки, собирать деньги, распространять брошюры, образовать партию, целью которой являлась бы борьба «за пришествие народного царства». Эта партия должна подать братскую руку всем славянам и прежде всего полякам, которым, как и народу русскому, нужны «земля и воля». Продолжение статьи ни в «Колоколе», ни в прибавлении к нему не последовало. Основной причиной этого, по всей видимости, было несогласие Герцена с положениями статьи Бакунина.

Герцен был решительным противником и авантюристического подхода к восстанию, и нигилистического отношения к программным, теоретическим вопросам борьбы, что так свойственно было Бакунину и что как нельзя яснее он выразил в своей брошюре «Народное дело», опубликованной в 1862 г.

Разногласия между Герценом и Бакуниным, выявившиеся уже в 1862 г., определили и то место, которое занял Бакунин в союзе издателей «Колокола». Его стремление «быть третьим» не осуществилось. «Вы правы, друзья, — писал Бакунин Герцену и Огареву 20 мая 1862 г., — дружеское и союзное возле. Вот то отношение, в котором я должен стоять к вам» («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», СПб., 1906, стр. 195). Это «союзное возле» выразилось в некоторой общности в постановке ряда вопросов Герценом и Бакуниным, в их совместной деятельности в начале 60-х годов. Однако с течением времени разногласия Герцена с Бакуниным усилились.

В вопросе о восстании в России в период польского восстания Бакунин занимал совершенно иную, нежели Герцен, позицию. Он требовал от Герцена осенью 1862 г. «поднимать знамя на дело», т. е. на восстание (см. письмо Бакунина к Герцену от 3 октября 1862 г. — там же, стр. 200). Огарев в ответном письме от 31 октября 1862 г. заметил Бакунину: «Ты затем и хочешь вредной попытки, потому что она тебе дает занятие, хотя бы и вредила делу... Если ты ищешь себе занятия, хотя бы по дороге погибла надолго русская свобода и рост внутренней организации народа, — я враг тебе» (там же, стр. 203, 204).

Существовала и другая сторона разногласий между Герценом и Бакуниным в связи с польским восстанием. В переговорах с поляками он, не задумываясь, утверждал, что в России уже существует тайная организация, которая незамедлительно выступит на стороне польских повстанцев. Герцен считал своим долгом развеять эту мистификацию Бакунина.

В период начавшегося польского восстания Герцен не только приветствовал освободительную борьбу польского народа, но и признал необходимость практической поддержки польского восстания русскими революционерами. Главной причиной этого шага была не уступчивость Герцена Бакунину, как это может на первый взгляд показаться на основе данной главы, а вера издателей «Колокола» в возможность военно-крестьянского восстания в России (о чем также говорится в этой главе) в связи с окончанием срока подписания уставных грамот и под воздействием польского восстания, взявшего за основу «аграрное начало и волю областям». Однако ход событий в России и Польше в период восстания 1863 г. был таков, что эта вера не оправдалась. Польское восстание не переросло в крестьянское, надежды на «повсюдное» восстание в России оказались ошибочными. Именно это прежде всего и имеет в виду Герцен, когда говорит в этой главе о своих ошибках в «польском деле».

Ознакомившись с главой «М. Бакунин и польское дело», впервые опубликованной в сборнике посмертных статей Герцена в 1870 г., Бакунин называл эти воспоминания Герцена пасквилем (см. письмо Бакунина Огареву от 14 ноября 1871 г. — «Письма М. А. Бакунина...», стр. 427), хотя в них не было ни одного достоверного факта и основные упреки Герцена по его адресу были давно известны Бакунину. Все эти упреки были высказаны Герценом Бакунину еще в 1862—1863 гг. как лично, так и в письмах (см., например, письма Герцена и Огарева Бакунину от 1 сентября и 12 октября 1863 г.).

Стр. 353. ...получили от Бакунина следующее письмо... — Герцен приводит далее отрывки из письма М. А. Бакунина (см. «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», СПб., 1906, стр. 188—191). Упомянутое в этом письме Бакунина слово «прохвость» произведено от немецкого Proöß — полицейская должность в старой армии.

Стр. 354. ...как в статьях Жюль Элизара повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust». — В 1842—1848 гг. М. А. Бакунин публиковал свои статьи под псевдонимом Жюль Элизара. В 1842 г. под этим псевдонимом он поместил статью «Реакция в Германии. Очерк француз» («Deutsche Jahrbücher» от 17—21 октября 1842 г.). В этой статье Бакунин впервые высказал свой девиз, цитируемый Герценом. Герцен ознакомился с этой статьей в январе 1843 г. и отозвался о ней тогда восторженно (см. т. II наст. изд., стр. 256—257). Вскоре после этого Герцен узнал, что под псевдонимом Жюль Элизара скрывается М. А. Бакунин.

...его заперли в Кенигштейне... — Крепость в Саксонии для заключения политических преступников.

Стр. 355. ...речи славян на Пражском съезде... — Съезд славян происходил в Праге с 31 мая по 12 июня 1848 г. В работе съезда принимал участие М. А. Бакунин, блокировавшийся с левой, радикальной частью съезда. Руководящую роль на съезде играла чешская либеральная буржуазия, выдвигавшая идею преобразования Австрийской империи в федерацию славянских государств под эгидой Габсбургской монархии.

...его речь на польской годовщине 29 ноября 1847... — На собрании, состоявшемся в Париже 29 ноября 1847 г. по случаю 17 годовщины польского восстания 1830—1831 гг., М. А. Бакунин произнес речь, в которой обличал политику царизма в Польше и призывал к свержению самодержавия совместными силами русского и польского народов (см. М. А. Б а к у н и н. Собр. соч. и писем 1828—1876 гг., т. III, М., 1935, стр. 270—279).

...отправить его ∞ к славянам... — Герцен имеет в виду отъезд М. А. Бакунина из Парижа в конце марта 1848 г. с целью направиться в Познаньщину. Однако берлинская полиция помешала осуществлению этого намерения Бакунина. Он смог посетить только Вроцлав, откуда в мае 1848 г. направился в Прагу.

Стр. 355—356. ...пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречия ∞ не подстрелит незначай своей жены). — Виндишгрец командовал австрийскими войсками, подавившими восстание в Праге в июне 1848 г. Во время перестрелки была смертельно ранена в своем доме жена Виндишгреца, подошедшая к окну.

Стр. 357. Бакунин написал журнальный leading article. — В Петропавловской крепости летом 1851 г. М. А. Бакунин написал для Николая I свою «Исповедь», в которой нашли отчетливое выражение его панславистские тенденции. «Я буду исповедоваться Вам как духовному отцу», — писал он царю. В «Исповеди» Бакунин покаялся перед царем во всех своих проступках, а свою революционную деятельность назвал безумием и преступлением, вызванным незрелостью ума (см. М. А. Б а к у н и н. Собр. соч. и писем..., т. IV, стр. 104—206). Бакунин понимал, что «Исповедь» может только скомпрометировать его в глазах революционеров, и поэтому

стремился скрыть ее действительное содержание. Он уверял Герцена в своем письме от 8 декабря 1860 г., что «...письмо мое <т. е. «Исповедь»>... было написано очень твердо и смело...» (там же, стр. 366).

Стр. 358. *Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добывание Михайлова?*— Оужденный в конце 1861 г. на шесть лет каторги и вечное поселение в Сибири, М. И. Михайлов был закован в цепи и направлен на тяжелейшие каторжные работы на Кандинские прииски, где и погиб в 1865 г. (см. статью Герцена «Убили» — т. XVIII наст. изд.).

А что какой-нибудь Корсаков получил выговор...— Генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков в июне 1861 г. дал М. А. Бакунину разрешение на поездку по Амуру, чем Бакунин воспользовался для побега. За эту «оплошность» Корсаков получил строжайший выговор от Александра II.

Стр. 362. *...уважают в Orset Hous'e.* — См. комментарий к стр. 313.

Стр. 366. *Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849.*— В пятой части «Былого и дум», гл. XXXVI (см. т. X наст. изд.).

Стр. 367. *Перед выстрелами по попам и детям ∞ написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков.*— В 1861 г. в Польше проходили массовые демонстрации и манифестации протеста против политики усиления национального гнета, осуществлявшегося русским царизмом; в костелах распевались национально-религиозные гимны. Некоторые из этих манифестаций завершились кровавыми столкновениями с царскими войсками. Герцен откликнулся на события в Польше рядом статей: «Vivat Polonia», «10 апреля и убийства в Варшаве», «Mater Dolorosa» и др., опубликованными тогда же в «Колоколе» (см. т. XV наст. изд.).

Старик Адам Чарторижский ∞ прислал мне ∞ теплое слово... — В связи с публикацией в «Колоколе» статей о Польше Герцен получил ряд приветственных посланий от поляков. По-видимому, «теплое слово» от А. Чарторыхского (его письмо, пересланное с сыном Герцена в конце марта — начале апреля 1861 г.) также было откликом на эти статьи.

Стр. 368. *Зашла речь ∞ о выстреле в Константина.* — Великий князь Константин Николаевич в 1862 г. был назначен наместником Царства Польского. В первый же день его пребывания в Варшаве, в июне 1862 г., на него было совершено покушение.

...Ш. Э... — Шарль Эдмон, литературный псевдоним Хоецкого.

...через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь ч е р е з П е т е р б у р г в П о л ь ш у. — В сентябре 1862 г. Падлевский участвовал в переговорах между представителями Центрального национального комитета и издателями «Колокола» в Лондоне, а в конце ноября того же года — в переговорах с представителями общества «Земля и воля» в Петербурге. С. Падлевский играл видную роль в начальном периоде восстания 1863 г., но вскоре был взят в плен и казнен царскими властями.

Стр. 369. — *Гиллер ∞ прогулялся в кандалах до рудников ∞ снова принял за дело.* — За участие в восстании 1830—1831 гг. А. Гиллер был сослан в Сибирь. Возвратившись в Польшу в конце 1850-х годов, он примкнул к правому крылу повстанческой организации.

Тогда набирался мой ответ офицерам. — Статья Герцена «Русским офицерам в Польше» была напечатана в «Колоколе» от 15 октября 1862 г. Страница типографского набора с окончанием статьи Герцена в ее первоначальной редакции, датированной «16 сентября», с авторской правкой, подклеена к автографу текста данной главы; под страницей — надпись рукой Герцена: *Поправленный текст в «Колоколе»* (см. т. XVI наст. изд.).

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух. — Третьим, помимо С. Падлевского и А. Гиллера, был В. Милович, представитель правого крыла «красных».

...документ этот, известный читателям «Колокола»... — Письмо Центрального национального комитета издателям «Колокола» было опубликовано в «Колоколе» от 1 октября 1862 г.

Стр. 372. *Через день двое из них отправились в Варшаву, третий уехал в Париж.* — Во второй половине октября 1862 г. в Варшаву уехали С. Падлевский и А. Гиллер, в Париж — В. Милович.

...тут явился указ о «подтасованном» наборе... — Осенью 1862 г. царские власти издали указ о рекрутском наборе в Царстве Польском, осуществлявшемся по заранее составленным спискам. Этой мерой царские власти пытались покончить с революционным движением в Польше. Проведение набора в январе 1863 г. послужило поводом для начала восстания.

Теперь и белые стали переходить на сторону движения. — В национальном движении в Польше в начале 1860-х годов «белые» объединяли либеральную шляхту и буржуазию, были против революционных методов борьбы и выступали сторонниками умеренных реформ. Герцен не совсем точен, относя факт перехода «белых» на сторону движения к осени 1862 г., когда был объявлен рекрутский набор. В период подготовки восстания и в его начале «белые» не участвовали в движении. Они присоединились к восстанию в конце февраля — начале марта 1863 г., когда начались дипломатические «пропольские» выступления западноевропейских держав.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского... — М. А. Бакунин выехал из Лондона 21 февраля 1863 г., за месяц до экспедиции Т. Лапинского, и присоединился к ней в шведском порту Хальсингборге, чтобы пробраться в восставшую Польшу. После провала экспедиции, в конце марта 1863 г., он направился в Стокгольм для установления связей с финскими и шведскими революционерами и находился там почти до конца 1863 г. Об экспедиции Лапинского Герцен рассказал в главе «Пароход „Ward Jackson“».

Мельком (явился) Потенба и исчез след за Бакуниным. — Потенба прибыл в Лондон в середине февраля 1863 г. и после свидания с Герценом 22 февраля выехал в Польшу.

...приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от «Земли и Воли». — А. А. Слепцов приехал в Лондон для переговоров с Герценом и Н. П. Огаревым. Он предлагал превратить «Колокол» в орган «Земли и воли», а также создать в Лондоне главный совет общества. Первое предложение не было принято Герценом, а совет общества был создан.

Стр. 373. ...он прямо идет на гибель. — А. А. Потенба возглавил отряд, принявший непосредственное участие в польском восстании, и погиб в марте 1863 г. в сражении у Песчаной Скалы.

Стр. 374. *Шарлотта Корде из Орла и Даниил из крестьян были правы!* — Герцен имеет в виду, в первом случае, описанную им в главе «Апогей и перигей» встречу с русской девушкой, заявившей ему: «Друзья ваши и сторонники ваши вас оставят». В другом случае, подразумеваемая под именем библейского пророка Даниила — П. А. Мартынова, он имеет в виду его высказывания о падении влияния «Колокола» в связи с выступлениями Герцена в защиту восставшей Польши.

⟨Глава V⟩

Впервые опубликовано по рукописи в Сб, стр. 207—221. Печатается по автографу ЛБ (Г — О — I — 16, 27 лл.).

На рукописи имеется карандашная правка, которую нельзя с достаточным основанием ни приписать Герцену, ни считать авторизованной: Стр. 380

¹⁴ Слово: его — исправлено на: Михаловского

¹⁷ Слово: Он — исправлено на: Михаловский

²⁰ Слово: я — вычеркнуто.

²² Слова: был гадок и противен — вычеркнуты.
Стр. 381

¹ После: один — вставлено: порядочный

Стр. 383

¹⁵ Вместо: Blackwood Герценом был оставлен пропуск, а на полях он пометил: «Не помню — кажется. Blackwood». В пропуск вставлено: Блеквуд

В главе «Пароход „Ward Jackson“», кроме вопросов, связанных с морской экспедицией, снаряженной в марте 1863 г. для помощи польским повстанцам, Герцен коснулся и вопросов, связанных с тактикой русских революционеров в период польского восстания в 1863—1864 гг. В этом отношении данная глава тесно примыкает к главе «М. Бакунин и польское дело». Издатели «Колокола» полагали, что «польская революция действительно удастся, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание». Для этого, по их убеждению, было необходимо, «чтобы и самое польское восстание из характера только национальности перешло в характер восстания крестьянского...» (записка Н. П. Огарева от марта 1863 г. — *ЛН*, т. 61, стр. 521). Хотя издатели «Колокола» мало верили, что события будут развиваться именно в таком направлении, они, тем не менее, приняли участие в ряде действий, способствовавших осуществлению их надежд. С этим были связаны поездка М. А. Бакунина и сына Герцена, А. А. Герцена, в Швецию, участие русских революционеров в польском восстании, снаряжение морской экспедиции к берегам Литвы. В упомянутой выше записке Н. П. Огарев писал: «Я считаю большим несчастьем задержку корабля, ибо Д(емонтович) и Б(акунин) более, чем кто другой, могли повернуть вопрос национальный на вопрос крестьянский» (*ЛН*, т. 61, стр. 521).

Положение русских революционеров в экспедиции Лапинского было очень сложным. К этому времени руководство восстанием захватили в свои руки «белые», относившиеся крайне враждебно к сотрудничеству польских повстанцев с русскими революционерами. Даже Бакунин, столь мало задумывавшийся над условиями и возможностями осуществления русско-польского революционного союза, соприкоснувшись с морской экспедицией, был вынужден признать сомнительность успеха «русского предприятия» в польской среде.

Примерно через неделю после выхода из Англии, 28 марта 1863 г., когда пароход находился в Копенгагене, его покинули капитан и почти вся команда. Новые капитан и команда, нанятые в Дании, привели пароход в Мальме, где он был интернирован шведскими властями. Основной причиной неудачи экспедиции была ее недостаточная конспиративность, что Герцен и показал в комментируемой главе. Его попытки предостеречь организаторов экспедиции в этом отношении не достигли цели. Бакунин также отмечал, что «экспедиция была устроена и отправлена с преступной невинностью и небрежностью». Это же подтверждали Демонтович и Лапинский.

Стр. 378. ... Сверцкевич ~~с~~ арестован вместе с Хмелинским и Миловичем, о котором я упоминала при свиданье с членами жонда. — И. Пверцкевич, И. Хмелинский и В. Милович были арестованы в декабре 1862 г., однако вскоре, за неимением улик, были освобождены. О Миловиче Герцен упоминал в гл. «М. Бакунин и польское дело» (см. стр. 369 наст. тома).

Стр. 379. Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс... — В период польского восстания 1863 г. прусские власти арестовали ряд деятелей княжества Познаньского, принимавших участие в восстании либо причастных к нему; к судебной ответственности было привлечено свыше 100 человек. Судебный процесс происходил в июле 1864 г. в Берлине.

Стр. 384. ...«*Sinite venire parvulos*». — Часть фразы Иисуса, приведенной в Евангелии от Матфея, гл. XIX, 14.

Стр. 385—386. *Лапинский был в полном смысле слова кондотьер ∞ вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе.* — Т. Лапинский в 1849 г. сражался в рядах революционной армии Венгрии против австрийских и русских войск. Во время Крымской войны под именем Тевфик-бея воевал против России на стороне турок. В конце 1850-х годов принимал участие в так называемой черкесской экспедиции, снаряженной «партией» А. Чарторьского при содействии английского и турецкого правительств для борьбы против русского влияния на Кавказе и создания в Черкесии своей военной базы. В начале 1860-х годов он прибыл в Англию и предложил английскому правительству план организации интервенции на Кавказ. После неудачи экспедиции на пароходе «Ward Jackson» он жил некоторое время во Франции, Италии и других западноевропейских странах, в начале 1870-х годов был амнистирован австрийским правительством, после чего поселился в Галиции. В 1878 г. опубликовал воспоминания о морской экспедиции повстанцев: *Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę. Z pamiętników pułkownika Łapińskiego, Lwów, 1878.* Эти воспоминания содержат много вымысла и неточностей. В них, в частности, искажен вопрос о подготовке экспедиции и причинах ее неудачи. Упомянутая Герценом книга Лапинского о борьбе горцев против России — *T. Ł a p i n s k i. Die Bergvölker des Kaukasus und ihr Freiheitskampf gegen die Russen, B. 1—2, Hamburg, 1863.*

Стр. 386. ...*в Самогитии.* — Современная Жемайте (Жмудь), область Литвы между низовьем Немана и верхним течением Венты.

Стр. 388. *Подробности дела и второй попытки Лапинского...* — В начале июня 1863 г. Лапинским была предпринята новая попытка морской экспедиции. Датская шхуна «Эмилия» с отрядом добровольцев вышла из Копенгагена и направилась к берегам Литвы. 11 июня во время высадки у мыса Паланги разыгралась буря. Часть людей утонула, а часть удалось спасти. От высадки пришлось отказаться. Шхуна направилась к шведскому острову Готланд, где и была интернирована.

Стр. 388—389. — ...*некий доктор Тугендгольд ∞ оставил своим агентом меньшого брата...* — Фамилия Полеса значилась в списке шпионов, опубликованном польским повстанческим правительством. В 1863 г. Полес опубликовал на шведском языке брошюру, в которой пытался расшеять подозрения в шпионаже с его стороны — *Poles S. Polska expeditionen och Stephan Poles, Malmö, Köbenhavn, 1863).*

Стр. 389. ...*собиралась другая экспедиция, снаряженная б е л ы м и...* — Во второй половине 1863 г. «белые» (см. комментарий к стр. 372) подготовили морскую экспедицию, которая должна была направиться через Гибралтар и Черное море к берегам Кавказа, в Черкесию, где участники экспедиции предполагали организовать борьбу горских народов против России. Одновременно с этим организаторы экспедиции рассчитывали, что они смогут использовать экспедицию в качестве повода для признания европейскими державами польских повстанцев воюющей стороной. Эти замыслы не осуществились.

Стр. 390. ...*мы хотели на юг...* — В Соединенных Штатах Америки в 1861—1865 гг. происходила гражданская война между Севером и Югом.

⟨Глава VI⟩

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1861, кн. VI, стр. 259—272. Печатается по тексту этого издания.

Драматическая судьба В. С. Печерина, талантливого русского интеллигента, бежавшего от удушающего гнета николаевщины за границу и вме-

сте с тем сломленного этим режимом, быстро разуверившегося в западноевропейском революционном движении и нашедшего «убежище» в религии, интересовала Герцена еще до встречи с ним. Черты биографии Печерина получили отражение в повести «Долг прежде всего» (см. т. VI наст. изд., стр. 525).

В «Былом и думах» на основе одной встречи с Печериным Герцен глубоко и пронизательно определил сущность драмы, переживавшейся бывшим московским профессором, сказав, что последнему был присущ тот «искусственный клерикальный покой», которым монахи «замораживают целые стороны сердца и ума». В письме к М. К. Рейхель от 23 марта 1853 г., написанном вскоре после свидания с Печериным, Герцен говорит: «Мне его жаль: он, кажется, совсем не так счастлив о Христе и потерян».

Действительно, Печерин до конца жизни оставался католическим священником, хотя им владело полнейшее разочарование в религиозной вере и даже отвращение к той «презренной и ненавистной касте», к которой принадлежал сам (см. *ЛН*, т. 62, стр. 469).

В 60-х годах Печерин помогал денежными взносами «общему фонду», созданному издателями «Жолокола», но надежды на более активное его участие в революционном движении, которые, в отличие от Герцена, питал Н. П. Огарев, не оправдались.

С т р. 391. ...*это было* ∞ *между 1835 и 1840*. — В. С. Печерин вернулся из-за границы в 1835 г.

...*молодые профессора*... — Имеются в виду П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков, М. С. Куторга и их товарищи по «профессорскому институту», созданному в конце 1820-х годов при Дерптском университете. В него входили лучшие студенты, окончившие Московский, Петербургский и Харьковский университеты. Их подготовка к профессоруре завершалась заграничной командировкой. С 1833 г. все кандидаты, предназначенные к профессоруре, стали называться членами профессорского института независимо от того, при каком университете они оставлены.

С т р. 392. ... *написал гр. С. Строганову письмо*... — Письмо В. С. Печерина С. Г. Строганову от 23 марта 1837 г. из Брюсселя было ответом на письмо Строганова, предлагавшего Печерину вернуться в Россию (перевод письма Печерина см. в книге — М. Гершензон. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910, стр. 126—130; оригиналы обоих писем хранятся в *ЛБ*, архив Ф. В. Чижова).

...*мы услышали* ∞ *что Печерин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре*. — В. С. Печерин в 1840 г. принял католичество, затем стал монахом, а в 1843 г. — священником ордена редemptористов, близкого к иезуитам.

...*«Горжество смерти»*... — Поэма В. С. Печерина, написанная за границей в 1834 г., была напечатана впервые в *ПЗ* на 1861 г., кн. VI, и в сб. «Русская потаенная литература», Лондон, 1861. Полный текст поэмы и ее рукопись не сохранились.

С т р. 395. ...*наш Саул*... — Так Герцен иронически называет Николая I; Саул — израильский царь, правление которого, согласно библейскому преданию («Первая книга царств», гл. IX — XXXI), было омрачено жестокостями и самовластием; Саул покончил жизнь самоубийством, потерпев поражение в войне с филистимлянами.

...*«Поликрат Самосский»*... — Это произведение В. С. Печерина неизвестно.

С т р. 396. ...*об одной книге, изданной* ∞ *на немецком языке*. — Вероятно, книга Герцена «Vom anderen Ufer», вышедшая в Гамбурге в 1840 г. без имени автора (см. т. VI наст. изд.).

...*следующее письмо по-французски*... — Французские подлинники писем В. С. Печерина к Герцену хранятся в «пражской коллекции» (*ЦГАЛИ*).

...вашу брошюру... — Вероятно, книга Герцена «С того берега».

Стр. 397. Я прочел обе ваши книги... — Судя по содержанию следующих писем, это были работы Герцена «Русский народ и социализм» и «О развитии революционных идей в России» (см. т. VII наст. изд.).

Одна вещь особенно поразила меня... — Вероятно, В. С. Печерин имеет в виду главу «Литература и общественная мысль после 14 декабря 1825 года» в работе Герцена «О развитии революционных идей в России».

...«фаланстер — не что иное, как видоизменение николаевского самовластия». — Неточная цитата из послесловия к работе Герцена «О развитии революционных идей в России» (см. т. VII наст. изд., стр. 253 и комментарий к этому месту).

Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины... — В. С. Печерин ссылается на работу Герцена «О развитии революционных идей в России», глава «1812—1825» (см. т. VII наст. изд., стр. 204).

...я отвечал ему по-русски... — Письма Герцена к В. С. Печерину за 1853 г. в подлинниках не сохранились. Имея в виду свое письмо к Печерину от 21 апреля 1853 г., Герцен замечал в письме к М. К. Рейхель, написанном в тот же день: «Печерин прислал послание, в котором умно, поэзунтски, критикует мои брошюры о России; я ему отвечал письмом тоже дипломатическим, грубо-вежливо, деликатно».

Стр. 398. ...не мог быть спасен ни элевзинскими таинствами... — Тайный культ Деметры в начале нашей эры ставил задачей воскресить древнегреческий религиозный культ. Герцен сопоставляет элевзинские таинства с реакционными попытками реставрации католицизма в XIX веке.

...терапевты и ессениане... — Древнеиудейские секты.

...русская история — история дворянства и правительства. — Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» полемизирует со славянофилами, прикрывавшими идеализацией крестьянства свои реакционные взгляды. Указывая на революционизирующее значение петровской реформы, Герцен считал, что именно в передовой дворянской интеллигенции, образовавшейся в результате произведенной Петром I революции, сосредоточивалось «все умственное и политическое движение» (см. т. VII наст. изд., стр. 173, 175).

Стр. 399. ... в письме к Мишле... — Имеется в виду статья Герцена «Русский народ и социализм», написанная в форме письма к Ж. Мишле (см. т. VII наст. изд.).

Стр. 403. ...за публичное сожжение на площади протестантской библии. — «Дело о сожжении библии» было возбуждено в 1855 г. В. С. Печерин был оправдан, так как на суде выяснилось, что по указанию Печерина сжигалась порнографическая литература, а не протестантская библия.

⟨Глава VII⟩

Впервые опубликовано по рукописи М. К. Лемке в журнале «Былое», 1907 г., кн. V, стр. 2—18. Печатается по черновому автографу ЛБ (Г — О — I — 10, 29 лл.). На л. 1 рукописи заглавие: «Глава „Русские в Париже. П. И. Головин“». Лемке указывает, на основании материалов семейного архива, что первой главой предпологался «Н. И. Сазонов», который потом был введен в «Русские тени» (см. т. X наст. изд.). К л. 15 приклеено письмо И. Головина к Герцену, напечатанное в Вольной русской типографии, и копия письма Герцена к И. Головину; к лл. 17 и 17 об. — два письма Головина к Герцену (одно из них, помеченное Герценом буквой «Д», — от 12 августа 1854 г.; эта штемпельная дата отправления письма обозначена на конверте) и два письма Герцена к Головину. Перед словами: «Опять пауза» (стр. 417, строка 12) — отсылочный значок и надпись на обороте листа 20: «В начале книги», но вставка отсутствует. На л. 21 об. наклеены две вырезки из английских газет: статья председателя Международного

комитета Эрнеста Джонса и письмо Международного комитета. К лл. 21 об. и 23 подклеены два письма Головина к Огареву (на первом из них рукою Герцена написано: «Письмо к Огареву 12 янв. 1857»), к л. 25 — литографированная копия письма Головина к Стерну. Между лл. 26 и 27 вклеено письмо Головина к Герцену, а между лл. 27 и 28 — письмо Головина к Каткову. Письма Головина приложены в подлинниках.

Этой главой Герцен подводил черту своим отношениям с И. Г. Головиным, с которым его свела эмигрантская судьба в первые годы заграничной жизни.

Окончив дипломатическое отделение Дерптского университета и проработав год в министерстве иностранных дел, Головин в 1841 г. уехал из России за границу, где издал несколько книг политико-экономического содержания, что вызвало недовольство Николая I. Головину было предложено немедленно вернуться в Россию, но он не решился и в декабре 1844 г. был заочно лишен дворянства и присужден к каторжным работам. Так он стал эмигрантом. Во второй половине 1840-х годов Головин в своих публицистических произведениях разоблачает некоторые стороны николаевского режима. Он пытается примкнуть к демократическим кругам и играть видную роль в среде революционной эмиграции. В 1849 г. в Париже Головин издал на русском языке брошюру «Катехизис русского народа» (см. «Звенья», I, 1931), направленную против царизма. Однако никакого влияния на русское революционное движение брошюра Головина не оказала.

Знакомство Герцена с Головиным состоялось в Париже в 1848 г. и продолжалось до 1853 г. С самого начала их знакомства для Герцена была очевидна вся глубина идейных расхождений между ними. Однако русская эмиграция в то время была малочисленна, и устойчивые сношения с Россией установить в эти годы было невозможно. В этих условиях Герцен был вынужден пойти на некоторое сближение с Головиным, рассматривая его не столько как соратника и единомышленника, сколько как временного союзника в деле разоблачения николаевского деспотизма. Именно прежде всего с этой стороной литературно-публицистической деятельности Головина в эти годы Герцен считал возможным и необходимым солидаризироваться в своей статье «Россия» (см. т. VI наст. изд., стр. 477) и в работе «О развитии революционных идей в России» (см. т. VII наст. изд., стр. 406). Но уже в октябре 1852 г. в письме к М. К. Рейхель из Лондона Герцен писал: «Головин явился из Лугано... преуморительный и добрый малый. Я жду, когда он наймет квартиру, чтобы искать себе в противоположной части города. А право, он добрый человек, но не очень близко...» (*ЛН*, т. 61, стр. 362). Через год, особенно в связи с организацией Вольной русской типографии, для Герцена становится ясным необходимость не только отдаления от Головина, но и прежде всего политического отмежевания от его деятельности, все более приобретающей авантюристический характер. Головин пытался превратить разрыв с Герценом в политический скандал, стремился развенчать Герцена перед лицом европейской демократии и русской эмиграции. Однако это ему не удалось сделать, а вскоре Головин фактически перестает играть какую-либо роль в среде международной и русской эмиграции.

В 1855 г. Головин вступает в переписку с представителями царского правительства по поводу своего возвращения в Россию и в августе 1856 г. добивается разрешения на въезд. В связи с этим Н. А. Мельгунов писал Герцену 9 октября 1856 г., что Головин «попадет в голубенькие» (т. е. допускать возможность его сотрудничества с III отделением), утверждая, что «он на это способен: из того, чтоб попасть в миленькие, или чтоб иметь право жить в столицах, или просто из денег, наконец, даже из бабьего сплетничества» (*ЛН*, т. 62, стр. 324). Однако Головин, еще много лет пере-

писывавший с русским правительством, так и не решился вернуться в Россию. Вместе с тем он не раз предлагал царскому правительству свои услуги, литературные и осведомительно-шпионские, для борьбы против революционного движения и, в частности, против революционной деятельности Герцена.

Стр. 404. ...*после обыска у меня и захвата моих бумаг, во время июньской битвы...*— Июньская битва — восстание парижских рабочих 23—26 июня 1848 г. Об обыске, захвате и возвращении бумаг Герцен подробно рассказывает в главе «Западные арабески». Тетрадь первая, II. В грозу (см. т. X наст. изд.).

...*И. Головин, до того известный мне по бедарным сочинениям своим...*— До 1848 г. были опубликованы следующие произведения И. Г. Головина: «Поездка в Швецию в 1839 г.», СПб., 1840; «Vom Vesen des Geldes», Leipzig, 1842; «Esprit de l'économie politique», Paris, 1843; «Discour sur Pierre le Grand. Réfutation du livre de M. de Custine: „La Russie en 1839“», Paris, 1843; «Science de la politique», Paris, 1844; «La Russie sous Nicolas I», Paris, 1845.

...*Яков Толстой и генерал Жомини*.— Я. Н. Толстой в 1826 г. был привлечен к следствию по делу декабристов, но, находясь в это время за границей, отказался вернуться в Россию. Стремясь вымолить прощение у царского правительства, стал ренегатом, а с 1837 г., действительно, агентом III отделения. Шпионско-осведомительная деятельность Толстого была разоблачена во время февральской революции 1848 г. Данных о том, что Жомини, проживавший в 1840 г. в Париже, был агентом русского правительства, нет.

Стр. 405. *Головин поместил в каком-то журнале дворянски либеральную статейку...*— В письме, опубликованном 18 января 1845 г. в парижской «Gasette des Tribunaux», И. Г. Головин, ссылаясь на «хартию дворянству», будто бы дарованную Михаилом Романовым в 1613 г., доказывал юридическую незаконность приговора, заочно вынесенного Николаем I ему и М. А. Бакунину.

Бакунин объявил, что с Головиным ничего общего не имеет.— В статье, напечатанной в виде письма к редактору в газете «La Réforme» от 27 января 1845 г., М. А. Бакунин, отмежевавшись от апелляции Головина к «правам российского дворянства», выступил с разоблачением самодержавного деспотизма и изложением своих революционных убеждений, побудивших его стать политическим эмигрантом. Бакунин сам считал это письмо первым печатным словом, сказанным им о России (см. «Материалы для биографии М. Бакунина», т. I, М.—Л., 1923, стр. 117). Отзыв Герцена об этой статье Бакунина см. в дневнике, запись от 2 марта 1845 г. (т. II, наст. изд., стр. 409).

Стр. 406. ...*савояр...*— Житель Савойи; в более широком значении слова — чистильщик печных труб и каминов (франц. savoyard).

Стр. 407. ...*Головин напечатал в «Réforme» свою встречу...*— Письмо И. Г. Головина по поводу его встречи с Луи Наполеоном, происшедшей 28 января 1849 г., было напечатано в «La Réforme» и в «Le voix du Peuple».

...*придравшись к 13 июню*.— О выступлении мелкобуржуазной демократии в Париже 13 июня 1849 г. см. в гл. XXXVI «Былого и дум» (т. X наст. изд.).

...*смело прибавив к своей фамилии титул князя Ховры, на который не имел права*.— И. Г. Головин подписывал некоторые свои произведения именем «князя Ховры», стремясь, без всяких оснований, подчеркнуть свою принадлежность к графскому роду Головиных, родоначальником которого был грек — князь С. В. Ховра, переселившийся в конце XIV в. из Крыма в Москву.

...*возвратился в Турин и стал издавать какой-то журнал*.— В 1852 г. И. Г. Головин издавал в Турине газету «Journal de Turin», в которой пе-

чалат свои фельетоны под названием «Русские портреты и эскизы». По требованию австрийского посла газета была закрыта, а Головин выслан из Турина.

...печатал *невоображимый вадор*. — И. Г. Головин, приехавший в начале 1853 г. в Лондон, издал книги: «The Emperor by the national will, a letter to the count Montalambert, by a Russian diplomatist», London, 1853; «The Nation of Russia and Turkey and their destiny», London, 1854. Головин также сотрудничал в ряде лондонских изданий.

...на польской годовщине. — В 1853 г. отмечалась двадцать третья годовщина польского восстания 1830 г.

Стр. 410. *Об речи я говорил в другом месте*. — В гл. «Польские выходы»; речь, произнесенную Герценом на польском митинге 9 ноября 1853 г., см. в т. XII наст. изд.

...Копингхамом... — Очевидно, написано ошибочно вместо Кеннингхам (W. Coningham).

...American Store. — Универсальный магазин в Лондоне, при котором находился ресторан.

Стр. 412. ...*мошенники тем сильны как с честными людьми*. — Неточная цитата из письма В. Г. Белинского к Герцену от 6 февраля 1846 г.

...Головин напечатал в Германии через десять лет, что Ледрю-Роллен и в в ня л ся перед ним... — Герцен имеет в виду тенденциозное освещение данного эпизода в «Записках» И. Г. Головина, опубликованных в Лейпциге в 1859 г.

Стр. 413. ...*воззвание к русским солдатам в Польше от имени «Русской вольной общины в Лондоне»*. — Герцен подразумевает свою прокламацию «Вольная русская община в Лондоне русскому войству в Польше». Прокламация датирована: «25 марта 1854 г. День благовещения» (см. т. XII наст. изд.).

...*следующий протест*... — Далее приводится текст письма И. Г. Головина, которое Герцен опубликовал отдельным листком со своим замечанием. Внизу под текстом напечатано: «Лондон, Вольная русская книгопечатня, 38, Regent Square». Печатный оттиск этого листка сохранился в архиве Герцена (см. ЛН, т. 63, стр. 858).

Стр. 414. ...*погребального приглашения, разосланного 2 мая 1852 года*. — Извещение о похоронах жены Герцена — Натальи Александровны.

Стр. 415. «Morning Advertiser» *опоместил глупейшую статью*... — Герцен имеет в виду письмо, опубликованное в газете «The Morning Advertiser» 24 апреля 1854 г. за подписью «Democrat». Автор статьи подверг резкой критике Герцена за его статью «Старый мир и Россия», рассматривая ее как апологию панславизма и агрессии русского царизма.

Стр. 416. *О самом Савиче мы поговорим еще куда-нибудь*. — Об И. И. Савиче Герцен говорит в главе «Апогей и перигей».

Стр. 417. ...*в Висетр*... — Дом для умалишенных в Париже (Vicètre).

Стр. 418. *Подробности и сюда и марковских интриг против моего избрания я рассказал в другом месте*. — Рассказано Герценом в гл. «Немцы в эмиграции»

...я *встретил одного чартиста*... — Д. Финлейн, кассир Международного комитета, организовавшего митинг 27 февраля 1855 г. в Лондоне.

...*письмо Головина в «Morning Advertiser»*? — В газете «The Morning Advertiser» от 18 февраля 1855 г. было опубликовано клеветническое письмо Головина, демагогически оспаривавшего право Герцена представлять революционную Россию на международном демократическом митинге. В своих «Записках» Головин позже признал свою неправоту в этом поступке.

Стр. 419. *Джонс на другой день напечатал несколько строк в своем «The People» и послал письмо в «Daily News»*. — Заметка Э. Джонса «Alexandre Herzen, the Russian exile» напечатана в газете «The People Paper»

от 17 февраля 1855 г. Письмо Международного комитета «Herzen. To the editor of „The Daily News“» было опубликовано в газете «The Daily News» 20 февраля 1855 г.

Стр. 421. *Г-н Герцен уже отвечал...* — Имеется в виду опубликованное 15 февраля 1855 г. в газете «The Morning Advertiser» письмо Герцена «Ответ г. Головину» (см. т. XII наст. изд.).

...*статья, напечатанную* ∞ в «*Athenaeum*»... — Имеется в виду напечатанная 6 января 1855 г. в еженедельнике «The Athenaeum» статья, дававшая положительную оценку опубликованной части «Былого и дум» Герцена — «Тюрьма и ссылка». В статье отмечалось, что произведение Герцена — «самое интересное из всех существующих сочинений о России».

Стр. 422. ...*бог цензурой русской...* — И. Г. Головин перефразирует строки из стихотворения П. А. Вяземского «Русский бог».

Стр. 423. *У меня Стрела готова!* — Два номера журнала И. Г. Головина «Стрела» вышли в декабре 1858 г. и январе 1859 г.

Стр. 425. ...*скоростижно женился*. — В 1859 г. И. Г. Головин женился на Александре Гесс, дочери генерал-лейтенанта.

...*В начале 1865 я встретил в Париже* ∞ *старика...* — О своей встрече 19 марта 1865 г. с И. Г. Головиным Герцен подробно рассказал в письме к Н. П. Огареву 20 марта 1865 г.

Стр. 426. ...*Гольинского, о котором упомянул*. — В гл. «Н. И. Саонов» (см. т. X наст. изд.).

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Восьмая часть «Былого и дум» была впервые полностью опубликована Герценом в кн. VIII *ПЗ*, 1869 г., изданной в конце 1868 г. До подготовки журнальной публикации всей этой части в *К* за 1865—1867 гг. печатались отрывки из главы I («Без связи») с подзаголовком «Отрывки из путешествия». Первый из них появился в *К* в сентябре 1865 г., второй — почти через год — в августе 1866 г., три — в мае и июне 1867 г. Печатались они в *К* не в том порядке, в каком их расположил автор в журнальной публикации. Время написания отдельных глав восьмой части устанавливается авторскими отметками в печатном тексте и в рукописи. Глава «*Zu deutsch*» датирована в *К* (в *ПЗ* дата снята): «Генуя, 15 января 1867 г.». Глава II («*Venezia la bella*») имеет две даты: перед текстом — «Февраль 1867», в конце — «Март 1867 года»; в рукописи: «20—28 февраля 1867» и «2 марта 1867. Ницца». Под текстом главы III («*La belle France*») значит: «Генуя, 31 декабря 1867», в рукописи этой главы — более ранняя дата, соответствующая времени начала работы над ней: «Ницца 1867 — июнь». Как видно из рукописей («*La belle France*», Герцен вначале назвал эту главу «Париж через X лет» и намеревался печатать ее с цифрой II в составе главы «Без связи». Не исключено, что он хотел опубликовать всю восьмую часть под общим заглавием «Без связи». Второй раздел главки «С того и этого света» («*Живые цветы*». — Последняя могианка») в черновой рукописи имеет другое начало и заглавие («*Moralisches*»). Отброшенный текст заклеен текстом последней редакции.

Восьмую часть своих мемуаров Герцен датировал 1867—1868 гг., упустив из виду, что один «Отрывок из путешествия» он опубликовал в *К* 1865 г. В настоящем издании восьмая часть датируется 1865—1868 гг.

Рукописи восьмой части «Былого и дум» хранятся в составе «праздской коллекции» (*ЦГАЛИ*) и «софийской коллекции» (*ЛБ*). В «софийской коллекции» наборная рукопись «*Venezia la bella*» — единственная наборная рукопись во всем собрании автографов «Былого и дум».

Глава «Альпийские виды. — Женева» в настоящем издании, в соответствии с указаниями Герцена, печатается в составе очерков «Скуки ради» (см. комментарий к «Скуки ради», т. XX).

В текст восьмой части внесены следующие исправления:

Стр. 459, строка 8: влюбленного в свою Францию *вместо:* влюбленного на свою Францию (*по автографу*)

Стр. 462, строка 31: всем *вместо:* всему

Стр. 480, строка 14: оставил *вместо:* он оставил

Стр. 487, строка 32: во веки веков *вместо:* во век веков

Стр. 488, строка 12: — Я забыл одно, — запутавшись в объяснении, сказал мне *вместо:* — Я забыл одно, запутавшись в объяснении, — сказал мне

Стр. 493, строка 29: в росте *вместо:* в рост

Стр. 497, строки 20—21: но и прилаженная *вместо:* но прилаженная (*по автографу*)

Стр. 498, строка 22: Огюст Конт *вместо:* Август Конт (*по автографу*)

Последняя часть «Былого и дум» представляет собой по форме записи путевых впечатлений Герцена, путешествовавшего во второй половине 1860-х годов по Италии, Франции, Швейцарии. Это уже в значительной степени рассказ не о былом, а о настоящем. По своему же содержанию эта часть «Былого и дум», как и предыдущие, ставит острее проблемы общественной борьбы и культуры, во многом по-новому освещая их. При этом внимание Герцена сосредоточено здесь не на «эксцентрических», по его собственному определению, людях, то есть наиболее ярких представителей тех или иных общественных течений, а на типических чертах целых поколений, от представителей исторически обреченных господствующих классов, принадлежащих уже «тому свету», до молодых революционеров России и Франции и пролетариев Италии. Свообразие этой части тесно связано с тем, что вторая половина 60-х годов была для Герцена периодом переоценки ценностей; его внимание, пусть еще не до конца последовательно, было обращено к тому новому, что зарождалось в общественной жизни.

Герцен делает, хотя еще и очень осторожно, *оптимистические* выводы из опыта 1848—1867 гг.; он отдает себе отчет в том, насколько сам пошел вперед в познании движущих сил действительности.

Сопоставляя идейную, литературную жизнь 1840-х годов с современностью, Герцен отмечает, что ныне передовая мысль стала гораздо ближе к «низменным полям», к «стону современных человеческих трясин».

В главе «Даниилы» он создает многозначительный диалог французского буржуазного демократа с немцем, бывшим эмигрантом, по-видимому, находящимся под влиянием идей Маркса. В отличие от «битых фраз» и «слезливой сентиментальности» француза немец проповедует «разбор дела, внимание, понимание» действительности и необходимость иметь ясную цель перед собою.

Герцен подчеркивает полный крах всех буржуазно-демократических и утопически-социалистических верований и иллюзий, особенно пышно расцветших во Франции, их падение перед лицом надвинувшихся на Европу во второй половине 60-х годов грозных событий политической жизни. Герцен ощущает все яснее приближающееся «безумие, бешенство крови», он предвидит военное столкновение между Францией Наполеона III и «прусским деспотизмом» Бисмарка.

Много иронических и резких штрихов находит Герцен для характеристики западноевропейской буржуазии, он обнажает ее духовную пустоту, неуверенность в будущем, неспособность и нежелание создать общественный порядок, при котором техника и наука служили бы большинству.

Но Герцен все крепче верит в грядущую победу новых, социалистических сил человечества. Буржуазный порядок для него теперь лишь этап развития, через который суждено пройти и России.

Свои надежды Герцен возлагает на пролетариат, на передовую, глубоко понимающую действительность и стремление народа, интеллигенцию. Он пристально присматривается, например, к «резкому, как альпийский воздух, виду <...> работничьего населения» Турина.

В главе «Цветы Минервы» Герцен приветствует молодое русское революционное поколение в лице «девушки-студентки, барышни-бурша» 60-х годов: «Эта фаланга — сама революция, суровая, в семнадцать лет...»

⟨Глава I⟩

Отрывок с начала до слов: «на артистическое расстояние...» (стр. 431, строка 2 — стр. 436, строки 20—21) впервые опубликован в *ПЗ*, 1869 г., кн. VIII, стр. 1—9, в составе публикации «Былое и думы. (1867—1868). I. Без связи». Печатается по тексту этого издания.

Отрывок: «...В Фрибург я приехал ∞ каких-то черных точек на небосклоне...» (стр. 436, строка 22—стр. 439, строки 36—37) впервые опубликован в *К*, л. 243 от 15 июня 1867 г., стр. 1985—1986, в отделе «Литературное прибавление», за подписью *И—р*, под заголовком «Без связи (Отрывки из путешествия). III. В. Zaeringhoff'e». Перепечатан в *ПЗ*, 1869 г., стр. 9—13, без этого заголовка. Печатается по *ПЗ*.

Отрывок: «Есть место в Андерматт? ∞ говорит русская...» (стр. 440, строка 3 — стр. 441, строка 20) опубликован в *К*, л. 203 от 1 сентября 1865 г., стр. 1663—1664, за подписью *И—р*, под заголовком «Болтовня с дороги (Тессинская учтивость. — Зоология русских туристов. — Министр, не окончивший курс. — Бой Константина Николаевича с Катковым. — О деле Серно-Соловьевича)». Перепечатано в *ПЗ*, 1869 г., стр. 13—15, под заголовком «Болтовня с дороги и родина в буфете». Печатается по *ПЗ*. После слов: «говорит русская...» — в *ПЗ* строка точек, указывающая на купюру. Опуценный Герценом текст в настоящем издании печатается в разделе «Варианты» по *К*.

Отрывок: «Intinç minutes d'arrêt...∞ это русские» (стр. 441, строка 21 — стр. 442, строка 22) был опубликован в *К*, л. 225 от 1 августа 1866 г., стр. 1844, в отделе «Смесь», под заголовком «Родина в буфете». Перепечатан в *ПЗ*, 1869 г., стр. 15—16. Печатается по тексту этого издания.

Главка третья опубликована в *ПЗ*, 1869 г., стр. 16—19. Печатается по тексту этого издания.

Главка четвертая опубликована в *К*, л. 241 от 15 мая 1867, стр. 1971, в отделе «Литературное прибавление», за подписью *И—р*, под заголовком «Без связи (Отрывки из путешествия). 1. Zu deutsch», с пометкой: «Генуя, 15 января 1867 г.» Перепечатана в *ПЗ* на 1869 г., стр. 19—22, под заголовком «IV. Zu deutsch», без обозначения места и даты написания. Печатается по *ПЗ*.

Первый раздел главки пятой впервые опубликован в *К*, л. 242 от 1 июня 1867 г., стр. 1978—1979, в отделе «Литературное прибавление», за подписью *И—р*, под заголовком «Без связи (Отрывки из путешествия). II. С того света». Перепечатан в *ПЗ*, 1869 г., стр. 23—29, под заголовком «V. С того и этого света. I. С того». Печатается по тексту этого издания.

Первый отрывок второго раздела главки пятой печатался в *ПЗ*, 1869 г., стр. 29—37, под заголовком «II. С этого. 1. Живые цветы. — Последняя могицанка». Сохранились две черновые рукописи, относящиеся к этому отрывку. Первая рукопись — из «софийской коллекции» (авторская пагинация 37—42), с начала до слов: «что это правда» (стр. 452, строка 23—стр. 456, строка 25). В рукописи этот отрывок первоначально был озаглавлен «Moralisches» и имел другое начало (см. раздел «Варианты»). Вторая рукопись — из «пражской коллекции» (*ЦГАЛИ*, ед. хр. 20, лл. 16—22), является продолжением первой (авторская пагинация 43—48) от слов: «Неужели вы не простудились тогда?» (стр. 456, строка 26) до конца отрывка. Печатается по *ПЗ*.

Второй отрывок опубликован в *ПЗ*, 1869 г., стр. 38—42, под заголовком «II. Махровые цветы». Сохранились рукописи этого отрывка в «пражской коллекции» (*ЦГАЛИ*, ед. хр. 20, лл. 18—18 об., 23—25, 35, авторская пагинация 49—51) — с начала до слов: «того же времени» (стр. 461, строка 1 — стр. 463, строка 21) и со слов: «Тут-то и раскрывается» до: «желчевого Ростопчина» (стр. 463—464, строки 22—7) (см. раздел «Варианты»). Печатается по *ПЗ*.

Третий отрывок опубликован в *ПЗ*, 1869 г., стр. 42—45, под заголовком «III. Цветы Миервы». Сохранилась черновая рукопись этого отрывка в «софийской коллекции» (авторская пагинация 53—55) — от слов: «говорившего на смертном одре» (стр. 464, строка 8) до конца отрывка. Печатается по тексту *ПЗ*.

Стр. 431. *Лет десять тому навад...* — О встрече Герцена осенью 1858 г. с негром Жоржем и его службе в доме Герцена см. в «Воспоминаниях» Н. А. Тучковой-Огаревой, гл. IX (ср. также письмо Герцена к сыну от 2 декабря 1858 г.).

Стр. 435. *...единственное художественное произведение, выдуманное в Бавеле, представляет пляску умирающих со смерти...* — Имеется в виду серия рисунков Гольбейна-Младшего «Образы смерти».

Я в Лозанне проведом. — В Лозанне Герцен пробыл с 18 по 28 октября 1866 г. и выехал в Женеву.

Стр. 436. *В Фрибурге я приехал часов в десять вечера... прямо к Zähringhof'у.* — Герцен приехал в Фрейбург 14 октября 1866 г. Zähringhof — название гостиницы в Фрейбурге.

Стр. 441. *...словно выписан из «Памятной книжки»...* — В ежегоднике «Памятная книжка» помещался список высших военных и гражданских чинов Российской империи.

Стр. 444. *...«Переписка Гейне», два тома.* — Имеется в виду публикация незаданной переписки Гейне за 1821—1842 гг.: «Correspondance inédite de Henri Heine...», t. 1—2, Paris, 1866—1867.

Стр. 445. *...немецкие письма того немецкого периода, на первой странице которого Веттина-дитя, а на последней Рахель-еврейка.* — Беттина фон Арним — автор известной в свое время книги «Götes Briefwechsel mit einem Kinde». Рахель фон Энзе Варнгаген — автор «Galerie v. Bildnissen aus Rahels Umgang und Briefwechsel». Гейне был частым посетителем литературного салона Рахели, которая взяла молодого поэта под свою защиту.

«Der Pan ist gestorben!» ... — Неточная цитата из второй книги «Ludvig Bötge» Гейне (см. комментарий к стр. 134 в т. VIII наст. изд.).

Стр. 447. *...за год до войны...* — Война между Пруссией и Австрией, 1866 г.

Стр. 448. *...у Полицей-брюке.* — Около Полицейского моста в Петербурге прежде находился дом полиции; неподалеку (на Гороховой улице у Красного моста) помещалось III отделение.

Стр. 450. *Старик Брум* — защитник несчастной королевы Каролины... — Г. Брум был известен своей защитительной речью в 1820 г. на процессе королевы Каролины, которая обвинялась в измене супругу, Георгу IV, добивавшемуся ее отречения. Каролина была оправдана.

Стр. 452 *...«времен наваринских и покорения Алжира».* — Герцен перефразирует слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова («Горе от ума» (действие II, явление 5):

Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма...

Под Наварином в 1827 г. англо-русско-французский флот одержал победу над египетско-турецким; с 1830 г. Алжир стал французской колонией.

Стр. 453. ...в *∞* *ложках Ковен-гардена*... — «Ковент-Гарден» — один из известнейших и старейших оперных театров Лондона.

...«*Casta diva*» или «*Sub salice*» — Названия романсов:

...*похищение Прозерпины*. — По античной мифологии, Прозерпина была похищена богом подземного мира Гадесом.

Стр. 457. ...в *Café Riche*. — Одно из самых модных кафе на Итальянском бульваре в Париже.

...*влюбиться в «Мадонну» Андреа Дел Сарто*... — Из мадонн, созданных кистью Андреа Анджели ди Франческо, шедевром считается *Madonna del Sarto*, которую, вероятно, имеет здесь в виду Герцен.

...*ходить в Мадлену*. — Одна из аристократических церквей Парижа, незадолго до того законченная строительством и известная богатством своего внутреннего убранства и архитектуры.

Стр. 458. ...«*Пацарта» гётевских элегий*... — Гёте в ряде стихотворений цикла «Эпиграммы. Венеция, 1790» (эпиграммы 67—72) называет «пацартами» молодых венецианок легкого нрава.

...*не делающая несчастного тротуара*... — Калька с французского *faire le trottoire* — заниматься проституцией.

...*перешел в собаку*. — От франц. вульг. — *avoir du chien*; «женщина-собака» — женщина, приманивающая мужчину всем своим поведением, рассчитанным взглядом, походкой и т. п.

Стр. 459. ...*звуки «Mourir pour la patrie»*... — Песня Руже де Лилля, дополненная новой строфой анонимного поэта и получившая широкое распространение во Франции во время революции 1848 г. как «вторая Марсельеза» (см. также комментарий к т. VI наст. изд., стр. 500—501).

«*Un sous-lieutenant accablé de besogne*...» — Кафешантанная песенка, популярная в конце 1850-х годов, так же как и упомянутая ниже песня «*Partout pour la Syrie*».

...«*Qu'aime donc Margot... Margot*...» — Не совсем точная цитата из получившей известность в то время песенки в пьесе Т. Барьера и Л. Тибу «*Les filles de marbre*». Правильное имя героини пьесы — Маркò (Марсо).

...*ни «Je suis la femme à barrrebe», ни «Санера»*... — Песенки, которые стали в то время особенно любимыми в Париже благодаря исполнению певицы Эммы Валадон, известной под псевдонимом Терезы, выступавшей в самых модных кафешантанах.

...*как я сказал еще десять лет тому назад, Марго, la fille de marbre, вытеснила Лизетту Беранже*... — Герцен ссылается на написанный им в 1856 г. очерк «Оба лучше» (см. т. XII наст. изд.), где затрагивается та же тема — о нравственной деградации буржуазного общества и упоминается та же героиня пьесы «Мраморные девы» — Маркò. Лизетта — тип парижской гризетки, воспетая Беранже в ряде стихотворений.

Стр. 460. ...*Дежазе — на большой сцене света и на маленькой théâtre des Variétés. Живая песня Беранже, притча Вольтера, молодая в сорок лет*... — Дежазе с 1845 г. выступала в парижском театре Варьете, где она особенно блистала в 1858 г., исполняя песни Беранже, а также песню Ф. Бера «Лизетта Беранже». В конце 60-х годов, когда Герцен писал эти строки, Дежазе, которой было уже около 70 лет, продолжала играть, выступая, в частности, в пьесе «Вольтер на отдыхе».

Pieuvre Гюго... — В 1866 г., после выхода в свет «Тружеников моря» В. Гюго, где имеется яркое и страшное описание спрута (франц. *pieuvre* — женского рода), некоторые газетчики стали сравнивать со спрутом красивых женщин легкого поведения, появились рисунки, изображающие спрута в виде очаровательницы, стали модными платья, шляпки *à la pieuvre* и вскоре слово *pieuvre* приобрело во французском языке новое значение: женщина легкого поведения, высасывающая состояние своего поклонника.

...*Кассандриной песни*. — По древнегреческой мифологии, Кассандра обладала даром пророчания.

Стр. 461. ...один с четвертью. — Герцен подразумевает женщин «полусвета», принадлежавших к титулованной аристократии. Смысл непереводами игры слов яснее раскрыт во французском переводе этого места, сделанном самим Герценом: «...un demi-monde <...> c'était un monde et demi» («... полусвет <...> представлял собой *полтора света*») (см. стр. 579 наст. тома).

...Петр I, работающий молотом и долотом в Саардаме... — Имеется в виду пребывание Петра I в 1697 г., на голландских верфях.

Стр. 462. ...*adame aux perles*... — Герцен иронически перефразирует название известного романа А. Дюма-сына «La dame aux camélias».

...свои Маренго и Арколи... — Решительные победы наполеоновских войск над австрийцами в северной Италии в 1796 и в 1800 гг.

Стр. 463. ...*Maison d'Or!* — Речь идет о фешенебельном ресторане Maison Dorée на Итальянском бульваре в Париже.

...тургеневским нахлебником... — Кузовкин, персонаж комедии И. С. Тургенева «Нахлебник», бедный дворянин, приживальщик и шут в доме богатого помещика Корина, жена которого приблизила к себе Кузовкина в знак протеста против деспотизма мужа.

...«Домострой» плохо идет с Ж. Санд... — Герцен сравнивает житейские правила, выраженные в памятнике русской литературы XVI в. «Домострое» и утверждавшие бесправное положение женщины в патриархальной семье, с идеями равноправия женщины, освобождения ее от семейного гнета, проповедовавшимися Ж. Санд в ее романах.

Стр. 464. ...о 14 декабря... — День революционного выступления декабристов в 1825 г.

...ни в оружии с иголкой... — Герцен использует намек на новые, введенные в середине XIX в. так называемые игольчатые ружья (см. комментарий к стр. 470) для того, чтобы подчеркнуть вооруженность русской революционной молодежи передовыми идеями.

Sans crinolines, идущие на замену sans-culottes'am. — Герцен проводит аналогию между молодыми женщинами-студентками, отказавшимися от ношения кринолинов (*sans crinolines* буквально с франц. — без кринолинов), и санкюлотами (*sans-culotte* буквально — без штанов), плебейскими революционерами, заменившими дворянскую одежду — короткие штаны (кюлоты) с чулками — длинными панталонами, которые носили тогда трудящиеся.

Стр. 465. ...*маска loup*... — Черная полумаска.

«*Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution.*» — Известная реплика герцога де Лианкура Людовику XVI, который при вести о вятии Бастилии восставшим народом 14 июля 1789 г. воскликнул: «Да ведь это — бунт!»

Афродита с своим голым оружием надулась и ушла; на ее место Паллада с копьем и совой. — Богиня любви Афродита изображалась в сопровождении своего сына Эроса, несущего лук со стрелами, не дающими промаха. Девственная Паллада, мудрая богиня-воительница, изображалась часто в шлеме со щитом и копьем, а также с совой — одной из ее эмблем.

Стр. 466. ...*Каракозов выстрелил*... — Неудавшееся покушение Д. В. Каракозова на Александра II было совершено 4 апреля 1866 г.

...изгнать студентов женского пола из университетов... — Запрещение женщинам посещать университет было введено еще в 1864 г. Герцен имсет, очевидно, в виду «Правил о надзоре за студентами», утвержденных в мае 1867 г. и вводившие систему полицейской слежки в высшей школе.

...во время оно в лекафалической церкви на папез избрана была папиха Анна... — По средневековому преданию, возникшему в связи с исключительной развращенностью папского двора того времени, на папский престол в середине IX века была избрана женщина Иоанна. Это обнаружилось, когда она, пробыв два года в роли римского папы, во время торжественной церковной процессии родила ребенка и тут же умерла.

Стр. 467. ...в «Кормчей книге»...— Сборник церковных правил и государственных законов, касающихся религиозных отношений. Впервые появился в VI веке в Византии под названием «Номоканон», в IX веке был переведен на славянский язык для болгарской церкви, а в XI веке принят русской православной церковью, подвергшись впоследствии различным исправлениям (последняя редакция — 1787 г.).

... жизнь государя казалась обеспеченною до Елисейских Полей с в Париже тоже нашлись Елисейские Поля да еще с «круглой точкой». — В греческой мифологии Елисейские поля (Элизиум) — место, куда после смерти переселяются души праведников. В Париже на проспекте Елисейские Поля имеется площадь «Круглая точка» (Rond Point), где 6 июня 1867 г. польский эмигрант Антон Березовский неудачно стрелял в Александра II.

Они уже возвращаются с блестящим дипломом доктора медицины, и слава им!— Первая русская женщина-врач Н. П. Суслова, изгнанная вместе с другими студентками в 1864 г. из Медико-хирургической академии в Петербурге, закончила в 1867 г. Цюрихский университет со степенью доктора медицины (ср. статью Герцена «La femme et le prêtre admis au droit de l'homme», напечатанную в «Колоколе» от 15 июня 1868 г.— т. XX наст. изд.). Суслова была близка к революционным кругам и сотрудничала в 1864 г. в «Современнике», а за границей поддерживала сношения с некоторыми русскими революционными эмигрантами и была знакома с Герценом. Пример Сусловой усилил тягу передовой части женской молодежи к высшему образованию и общественно полезному труду.

⟨Глава II⟩

Впервые опубликовано в ПЗ, 1869 г., стр. 46—63, под заголовком «II. Venezia la bella. (Февраль 1867)». Сохранилась наборная рукопись этой главы в «софийской коллекции» (л. 24, авторская пагинация 40—65); часть стр. 45 оторвана, от слов «чтоб показать, что дуются на Гарибальди» (стр. 471, строка 29) до «Но он был» (стр. 472, строка 2). Недостающий в ней отрывок находится в «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ед. хр. 16, л. 7). На л. 54 об. запись, сделанная Огаревым, в которой, в частности, говорится:

«В т о р н и к. Письма от Герц. не получал.— Стр. 55 и 56 и вставки (на обороте 54-й) в 55-ю в наборе у меня нет. Я их потерял или вы просто не присылали? Только отыскать не могу и посылаю стран. в рукописи, а до того все поправил и теперь же и посылаю»... Печатается по тексту ПЗ.

Стр. 468. *Venezia la bella.* — Герцен был в Венеции в феврале 1867 г., когда там широкой популярностью пользовалась песенка «La bella Venezia»; возможно, отсюда и возникло название главы. Известно также стихотворение А. Григорьева «Venezia la bella», в котором описание Италии дано в романтически приподнятых тонах («Современник», 1858, № 12).

Стр. 469. ...на развалинах французского трона явилась «единая и нераздельная» республика и на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет, отравленный Австрией.— Республика была провозглашена во Франции в сентябре 1792 г. после свержения монархии Бурбонов. Во время итальянской кампании 1796—1797 гг. Наполеон Бонапарт, уроженец Корсики, захватил Венецию, эмблемой которой являлась фигура льва св. Марка. По заключенному Наполеоном от имени французской Директории с австрийской империей мирному договору в Кампо-Формио в октябре 1797 г. Венеция передавалась Австрии в качестве компенсации за ее уступки Франции на Рейне.

...первый карнавал на воле после семидесятилетнего пленения.— В 1867 г. исполнилось семьдесят лет с того времени, как в 1797 г. по Кампо-

Формийскому миру Венеция утратила свою самостоятельность и была подчинена Австрийской империи, под властью которой находилась, за исключением короткого времени, вплоть до 1866 г. В 1866 г. в результате австро-итальянского соглашения после австро-прусской войны Венеция вошла в состав Итальянского королевства.

...без кантаридности... — Без эротической фривольности (от франц. *cantharide* — шанская муха; порошок из них применялся в качестве средства, возбуждающего чувственность).

Стр. 470. ...вроде Бисмарковой иголки, чтоб усилить и сделать неотразимее выстрелы. — Герцен имеет в виду игольчатое ружье с ударником, изобретенное Дрейзе, заряжавшееся с казенной части. Хотя игольчатое ружье было принято на вооружение прусской армии в 1841 г., но только при Бисмарке в середине 60-х годов оно начало широко применяться. В австро-прусской войне 1866 г. игольчатое ружье дало прусским войскам решающий перевес над австрийской армией.

Стр. 471. *Мой провожатый...* — Герцен был с графом Хотомским.

Я ∞ поехал встречать Гарибальди. — Гарибальди прибыл в Венецию 26 февраля 1867 г. из Флоренции для участия в выборах в палату депутатов на стороне левой оппозиции. Гарибальди хотел использовать свой приезд для ускорения подготовки похода на Рим, без освобождения которого не могло быть завершено воссоединение Италии.

...принцу Амедею были приказаны его отцом все мелкие неделikatности, вся подленькая пикировка... — Принц Амедей, находившийся в Венеции во время пребывания Гарибальди, демонстративно игнорировал его и всячески стремился подорвать его популярность. Демонстрации в честь Гарибальди принц Амедей пытался представить выражением верноподданнических чувств к Савойской династии, превратить в чествования королевского дома и его лично.

...Гарибальди им подарил две короны двух Сицилий! — См. комментарий к стр. 261.

Стр. 472. ...после лондонского свиданья в 1864. — О встрече с Гарибальди в Лондоне в 1864 г. Герцен рассказал в главе «*Sanctia rossia*».

...он очил в Кюджини, где его ждали лодочники и рыбаки... — Кюджини, город рыбаков и моряков, расположенный на островах и лагунах Адриатического моря южнее Венеции, Гарибальди посетил 28 февраля 1867 г.

Храбрый генерал Ламармора и неутешный вдовец Риказоли, со всеми вашими Шиалолами, Депретисами, вы уж отложите попеченье разрушить эту связь... — Генерал Ламармора командовал итальянской армией во время войны с Австрией в 1866 г. и был одним из главных виновников поражения Италии в этой войне; «неутешным вдовцом» Герцен именует премьер-министра Риказоли, потерявшего в 1852 г. жену и вторично не женившегося. Ламармора и Риказоли намеренно ставили армию волонтеров, которой командовал Гарибальди, в тяжелые условия. Во время избирательной кампании в феврале — марте 1867 г. итальянское правительство чинило бесконечные препятствия, инсценировало направленные против Гарибальди провокационные выступления. Риказоли обратился с письмом к Гарибальди, в котором в вызывающем и оскорбительном тоне потребовал от него возвращения на о-в Капрера. В аналогичном духе действовал министр финансов Шиалола и морской министр Депретис, заменивший после 13 февраля 1867 г. (в дни, когда Герцен был в Венеции) Шиалола на посту министра финансов.

...что ждет Италию ∞ Ту ли, которую проповедовал Маццини, ту ли, к которой ведет Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществляя Кавур? — Маццини призывал итальянский народ к созданию единой демократической республики. Гарибальди возглавлял вооруженные силы волонтеров и объединял народ Италии в борьбе за создание единого итальянского государства. Ради единства Италии он поступался республикан-

скими принципами и шел на компромисс с итальянскими монархистами, содействуя созданию в Италии единого королевства. Кавур проводил политику объединения Италии в интересах имущих классов — дворянства и буржуазии, осуществляя это с помощью династических войн и дипломатических маневров.

Стр. 474. ...дикаря в рубахе, одиноко гребущего свою комягу, отпавляясь ∞ на свиданье с ∞ императором Цимисхием. — Свидание великого князя Святослава Игоревича с византийским императором Цимисхием состоялось на Дунае в 971 г. в связи с заключением мира между ними после войны 968--971 гг.

...Помнится, я упоминал об ответе Томаса Карлейля мне, когда я ему говорил о строгостях парижской цензуры. — Ответ Т. Карлейля на замечание о строгостях наполеоновской цензуры Герцен приводил в своей статье «„Renaissance“ par J. Michelet» (см. т. XII наст. изд.).

Стр. 475. ...с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на римском Форуме, или на том балконе, с которого папа века благословлял «вселенную и город»? — Капитолий и Квиринал — названия двух из семи римских холмов. В древнем Риме Капитолий являлся центром религиозной и политической жизни, на Квиринале в XIV—XVIII веках был сооружен папский дворец; на площади Форум происходили народные собрания и ораторы обращались с речами к народу. В Ватиканском дворце имеется балкон, носящий название loggia della benedizione, с которого папа показывался римскому народу и благословлял его и весь католический мир.

Стр. 477. Чего Египет — и тот въезжал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником. — Правитель Египта Мухаммед Али в первой половине XIX века осуществил реформы, характерной чертой которых являлось сочетание сохраненных феодальных отношений с вводимыми буржуазными формами правления.

Оно родилось в Кариньянском дворце... — Намек на царствовавшую в Италии Савойскую династию. Первым королем объединенной Италии стал Виктор Эммануил II, сын Карла Альберта, принца Кариньянского, резиденцией которого был Кариньянский дворец в Турине, где 14 марта 1820 г. родился будущий король Италии.

Я был удивлен в 1863 общей нелюбовью в Неаполе к правительству. — Свои впечатления от поездки в Неаполь в октябре 1863 г. Герцен изложил в статье «С континента. Письмо из Неаполя» (см. т. XVII наст. изд.).

Стр. 478. ... «Империя — мир» Людовика-Наполеона ... — Лозунг «Империя — это мир» был впервые выдвинут Луи Наполеоном Бонапартом, в целях завоевания популярности и привлечения на сторону империи большинства населения Франции, 10 октября 1852 г. в Бордо во время агитационной поездки по Франции накануне провозглашения Второй империи.

...закон ∞ закреплял большую часть достояния духовенству, наввал законом «о свободе (или независимости) церкви в свободном государстве». — Внесенный правительством Риказоли на рассмотрение итальянского парламента 17 января 1867 г. законопроект, разработанный при участии министра Шиаля, предусматривал предоставление духовенству церковных земель за выкуп на льготных условиях в полную и безраздельную собственность. Маскируя подлинные цели законопроекта, правительство назвало его законом «О свободе церкви и ликвидации церковного имущества». В письме к Н. П. Огареву от 3 февраля 1867 г. Герцен подробно излагает суть этого законопроекта.

Явился бельгийский грешник и мытарь, за которого спрятались отцы-иезуиты. — Остро нуждаясь в деньгах, итальянское правительство поспешило, не дожидаясь решения парламента, дать согласие на предложение

бельгийского банкира Лагран-Димонсо, являвшегося ставленником римского папы. Согласно заключенному соглашению, банкир должен был в течение четырех лет выплатить итальянскому правительству всю сумму выкупных платежей за церковные земли, которую церковь впоследствии должна была ему вернуть. Эта хитроумно задуманная мошенническая операция обеспечила бы за счет ограбления народа сохранение церковных земель за церковью, сулила большие барыши бельгийскому банкиру и была выгодна правящей верхушке Италии.

Герцог Персиньи находит неумеренное сходство между второй империей и первой республикой нашего времени.— Выйдя в отставку в 1863 г., Персиньи в своих многочисленных выступлениях восхвалял бонапартистский режим как наиболее демократический из всех современных форм правления, якобы наилучшим образом гарантирующий свободу, подобно республиканскому режиму в Соединенных Штатах Америки.

...камера стала понимать, что игра была подтасована, и подтасована без нее.— Комитеты парламента, изучавшие законопроект о «свободе церкви», высказались против его утверждения. В ряде провинций Италии возникло движение протеста. 2 февраля 1867 г. Риказоли предписал префектам Венецианской провинции запретить всякого рода собрания, что вызвало запрос в парламенте. Палата выразила недоверие правительству, но Риказоли 13 февраля 1867 г. с согласия короля распустил палату и назначил новые выборы.

Собираясь для празднования короля и подносить букеты al gran comandante Ламармора ничего не значит.— 7 ноября 1866 г. в Венецию прибыл король Италии Виктор Эммануил II, где ему была устроена торжественная встреча. Муниципалитет Венеции обратился тогда же к генералу Ламармора, находившемуся в отставке, с письмом, в котором от имени венецианцев выражал благодарность за его «заслуги» в деле освобождения Венеции от австрийского ига.

С т р. 480. *...мне попалась брошюра Кине: «Франция и Германия»...*— Брошюра E. Quinet «France et Allemagne» была опубликована в Париже в 1867 г.

...книгу берлинского Мишле «о бессмертии духа»...— Книга профессора берлинского университета К. Михелета (Michelet) «Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und die Unsterblichkeit der Seele oder die ewige Persönlichkeit des Geistes», Berlin, 1841.

Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть...— Говоря о торжестве реакции и кризисе буржуазной демократии во Франции в связи с поражением революции 1848—1849 гг., Герцен в книге «С того берега» (глава «Omnia mea mecum porto»), а также в «Письмах из Франции и Италии» (письмо четырнадцатое) и в гл. ХLI «Былого и дум» ссылается на фразу Прудона из его статьи «Philosophie du 10 mars» (статья вторая): «Ce n'est pas Catilina [...] qui est à vos portes: c'est la mort» («Le voix du Peuple» от 29 марта 1850 г.). Прудон в данном случае перефразировал французское выражение «Catilina est à nos portes!», восходящее в свою очередь к латинскому «Hannibal ad portas!» (клич, возвещающий у римлян крайнюю опасность ввиду приближения к Риму войск Ганнибала в 212 г. до н. э.); это выражение, начиная с Цицерона (см. его речь за Мурену, § 84), употреблялось также с именем Катилины, грозившего Риму в 63 г. до н. э. переворотом (см. также комментарий в т. X наст. изд., стр. 482—483).

...держась за полу Стюарта Милля, я твердил об английском китаизме...— Взгляды Милля по вопросу «об английском китаизме», высказанные им в книге «On Liberty» (London, 1859, Chap. III), Герцен приводит в «Прибавлении» к гл. «Эмиграции в Лондоне». Русский перевод книги Милля, опубликованный в 1861 г. в Лейпциге, был посвящен Герцену.

Стр. 481. *Les principes des 1789...* — Принципы, провозглашенные французской буржуазной революцией 1789 г.: Liberté, Egalité et Fraternité (Свобода, Равенство и Братство).

Стр. 482. ...*Бисмарк* ∞ *заказал план Мольтке* ∞ *забрал спелые немецкие груши и съел с смешным Фридриху-Вильгельму в фартух...* — Для осуществления планов объединения Германии в период австро-прусской войны 1866 г. Бисмарку был необходим нейтралитет Франции, которого он добился, воспользовавшись внутренним кризисом империи, порожденным политикой Наполеона III. План военной кампании 1866 г. был разработан начальником генерального штаба прусской армии Мольтке. В результате победы в войне Пруссия получила Шлезвиг, Голштинию, Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау и Франкфурт. Королем Пруссии был тогда Вильгельм I Фридрих Людвиг, которого Герцен ошибочно называет Фридрихом-Вильгельмом.

Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: «В тебе, Боруссия, нет ничего, что бы я мог назвать царем». — Герцен имеет в виду слова гр. Кента из трагедии Шекспира «Король Лир» (акт I, сцена 4): «Я вижу на твоём челе нечто такое, что меня заставляет тебя почитать царем» (ср. в «Капризах и раздумьях» — т. II наст. изд., стр. 92). Боруссия — новолатинское название Пруссии.

Англия ∞ *почувствовала в глубине своих внутренностей ту же социальную боль* ∞ *Но потузи посильней... и она стягивает далеко хватющие щупальцы свои на домашнюю борьбу.* — В 1860-е годы рабочее движение в Англии значительно активизировалось, чему содействовала деятельность I Интернационала. Английское правительство вынуждено было пойти на расширение избирательных прав населения (реформа 1867 г.) и улучшение рабочего законодательства.

Франция ∞ *грохот* ∞ *Италии, если она дотронется до временных владений вечного отца...* — Правительство Наполеона III, стремясь помешать возникновению сильного итальянского государства и желая сохранить свое влияние в Италии, противодействовало присоединению Рима к итальянскому королевству и поддерживало своими вооруженными силами светскую власть папы в Римской области. С заявлениями в этом духе правительство Второй империи выступало в 1867 г.

⟨Глава III⟩

Впервые опубликовано в ПЗ, 1869 г., стр. 64—98. К первой главке сохранилась черновая рукопись в «софийской коллекции» (лл. 5, авторская пагинация 99—108) под заголовком: «La belle France—первая тетрадь. 1. Ante portas; первоначальный, зачеркнутый заголовок был: «IV. Париж через X лет»; ко второй главке—в «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ед. хр. 20, лл. 36—41, авторская пагинация 109—120) под заголовком «2. Intra muros; к третьей главке — также в «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ед. хр. 20, лл. 28—34), под двумя заголовками — зачеркнутым «Без связи. II. La belle France (Нидца 1867. — юнь), III» и «III. Alpendrücken» с начала до слов «свой мозг, называемый *Париж*» (стр. 496, строка 25 — стр. 500, строка 23) и в «софийской коллекции» (стр. 8—10), от слов «Город этот имеет одно неудобство» до «théâtre des Variétés» (стр. 500, строка 24 — стр. 502, строка 6). Печатается по тексту ПЗ.

Стр. 484. «*Ah! que j' ai souvenir...*» — Несколько измененные слова романа Лотрека в романе Шатобриана «Les aventures du dernier des Abencérages».

Я написал в фribургский Conseil d'Etat... — После того как сенат лишил Герцена всех прав состояния и возможности вернуться в Россию, Герцен в 1851 г. принял швейцарское подданство во Фрейбургском кантоне.

Стр. 485. ...Нулин, «свечку погасил». — Из поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин».

Стр. 488. Два года спустя, меньшая дочь моя, жившая в Париже, занемогла. — Ольга Герцен заболела в мае 1861 г. (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 28 мая 1861 г.).

Стр. 489. ...я отправился через месяц в Париж. — Герцен выехал из Лондона в Париж 21 июня 1861 г.

Стр. 491. ...одна из любимых фраз доктринерского жаргона времен Тьера и либеральных историков луи-филлипповских времен. — Под доктринерами Герцен здесь подразумевает защищавшую интересы крупной буржуазии политическую группировку, которая в эпоху Реставрации отвергала абсолютизм, но в то же время была враждебна демократии. В 1820-е годы в начале своей политической деятельности А. Тьер подвизался на страницах газеты доктринеров «Le Constitutionnel». Виднейшими из либеральных историков периода Июльской монархии были выдвинувшиеся уже в годы Реставрации О. Тьерри, Минье, Ж. Мишле, Э. Кине.

В 49, в 50 годах я не угадал Наполеона III ∞ я дурно его оценил. — В указанных годы Герцен дает уничтожающую характеристику Луи Наполеону Бонапарту в своих «Письмах из Франции и Италии», письмо четырнадцатое (см. т. V наст. изд., стр. 213—215).

Стр. 492. Лабуле ∞ хвалил Нью-Йорк в пику Парижу, Прево Парадоль — Австрию в пику Франции. — Лабуле в своей трехтомной «Истории Соединенных Штатов Америки», в очерках «Соединенные Штаты и Франция» и в сатирическом романе «Париж и Америка» выступал против режима Второй империи, противопоставляя ему американскую буржуазную демократию. Прево Парадоль выступил в 1866 г. на страницах газеты «Courrier de Dimanche» со статьями, в которых он, в связи с австро-прусской войной, говорил об угрозе европейскому миру со стороны Пруссии, становившейся гегемоном Германии.

По делу Миреса делали анонимные намеки. — Финансовый делец Мирес за мошенничество был осужден в 1861 г. на пять лет тюремного заключения, но наказания не отбывал.

Были даже свои недовольные знаменитости ∞ как Гизо. — Реакционная деятельность Гизо, прекращенная революционными событиями 1848 г., не могла быть возобновлена после подавления революции и государственного переворота Луи Бонапарта в 1851 г., так как Гизо был противником бонапартистов.

...из Ламбессы или из Мааса. — См. комментарий к стр. 39 и 51 наст. тома.

...la grande police, заменявшая la grande armée... — Полицию Наполеона III называли «великой полицией», иронически сопоставляя ее с «великой армией» Наполеона I.

Стр. 493. Бонапартизм ∞ пале-рояльский и тюльерийский... — Пале-Рояль являлся резиденцией экс-короля Жерома, объявленного наследником престола; дворец Тюильри — резиденция Наполеона III.

Стр. 494. ...я Париж не узнавал, мне были чужды его перестроенные улицы, недостроенные дворцы... Во времена Второй империи были предприняты большие работы по строительству и перепланировке Парижа, имевшие целью также изгнание трудящейся бедноты из центра, затруднение возведения баррикад на улицах в случае народного восстания и облегчение действий войск против восставших.

Это не тот Париж, который я ∞ покидал с проклятьем на губах. — Герцен уехал из Парижа в июне 1850 г. О своих переживаниях того времени он рассказывает в «Письмах из Франции и Италии», письмо двенадцатое (см. т. V наст. изд.).

Воспоминания тацитовских республиканцев ∞ не могли потрясти цезарский трон. — См. комментарий к стр. 68 наст. тома.

...покушениями Пианори и Орсини мстила Италия, мстила Рим.— Покушение Пианори на жизнь Наполеона III состоялось в 1855 г., покушение Ф. Орсини — в 1858 г.

...законы о подозрительных людях Эспинаса...— В 1858 г. был издан «Закон об общественной безопасности», проведение которого в жизнь Наполеон III поручил Эспинасу.

Стр. 495. ...потому Ф. Т. ...— С Ф. И. Тютчевым Герцен встретился в Париже в марте 1865 г. и тогда, вероятно, узнал от него о сообщаемой здесь истории.

Умственное движение, наука, отодвинутые за Сену... — Латинский квартал, где находятся Сорбонна, Французская академия, ряд высших учебных заведений и научных учреждений, расположен на левом берегу Сены, тогда как политический и деловой центр Парижа — на правом берегу.

Стр. 496. «Да здравствует разум!» — Из «Вакхической песни» А. С. Пушкина.

Стр. 497. Старик Пьер Леру, которого я привык любить и уважать лет тридцать...— Герцен высоко ценил политическую деятельность Пьера Леру (см. «Письма из Франции и Италии» — т. V наст. изд.). Вместе с тем Герцен критически относился к нему как к мыслителю: попытки Леру соединить социализм с некоей религией человечности и равенства вызвали со стороны Герцена осуждение.

«Книга Иова» сочиненная Исаией и переведенная Пьером Леру.— Повествование об Иове Пьер Леру приписал древнееврейскому пророку Исаие, хотя ни автор этой легенды, ни даже время ее сочинения не установлены.

Стр. 498. ... Ж. Санд и Сен-Симон...— П. Леру в молодости был последователем Сен-Симона и в 1824 г. основал журнал «Le Globe», ставший органом сен-симонистов. Позднее, после того как он отошел от сен-симонизма и создал собственную социальную теорию, он совместно с Ж. Санд издавал с 1841 г. «Revue indépendante».

«Петр Рыжий» так называли мы его в сороковых годах — становится моим Христом», — писал мне Белинский...— Письмо В. Г. Белинского, из которого Герцен приводит цитату, датирован предположительно 1842 годом, до нас не дошло. Рыжий — перевод с французского фамилии Леру (Leroux).

...этот-то учитель и после пятнадцатилетнего удаления в Жерсе является с grève de Samarez и с книгой Иова...— П. Леру прожил в изгнании на о. Джерси и о. Гернси с 1841 по 1859 г. «La grève de Samarez» («Самарезский берег») — социально-философское сочинение Леру с мистическими тенденциями, вышедшее в свет в Париже в 1863 г.; написано на о. Гернси, которым прежде правили герцоги de Saumarez.

Ньютон имел свою книгу Иова, Огюст Конт — свое помешательство.— Герцен имеет в виду проникнутые религиозным мистицизмом комментарии Ньютона к «Апокалипсису» и уход Конта в мистику в последний период его жизни, когда он стал выступать с идеями культа земли, девственного материнства и т. д.

Стр. 499. ...дело идет о путешествиях души по планетам, об ангельских хуторах Жана Рено, о разговоре Иова с Прудоном и Прудона с мертвой женщиной...— П. Леру развивал учение о метемпсихозе (переселении душ), пытаясь использовать его для морального обоснования социализма.

...повержен в прах старик-поэт. Он приветствует Париж и уверяет его, что базар на Champ de Mars — почин братства народов и примирения вселенной.— В 1867 г. в Париже открылась расположенная на Марсовом поле всемирная выставка; в альманахе-путеводителе, изданном к открытию выставки, был помещен очерк В. Гюго «Париж».

Стр. 500. ...апофеозу божественного Нерона и божественного Калигулы или Каракаллы и Сенеки и Ульпианы были в силе

и власти... — Сенека занимал высокие должности при требовавших себе божеских почестей императорах Калигуле и Нероне, которых он поддерживал, так же как Ульпиан — при императоре Каракалле.

Стр. 500—501. *«В XIX столетии будет чрезвычайная страна ∞ и должны любить его, желать его, выносить его!»* — Приведенные выдержки, как и следующая ниже, составлены Герценом из различных мест очерка Гюго «Париж» (см. выше).

...*la Roquette*. — Одиночная тюрьма для пересыльных и приговоренных к смерти, построенная в Париже в 1830 г.

Стр. 501. *1866 был годом столкновения народов...* — Имеются в виду австро-прусская война, предъявление Францией Пруссии требования уступить ей Майнц и часть левого берега Рейна и война Италии против Австрии за Венецию.

...*передо мной лежала газета, и в ней какой-то простодушный корреспондент писал следующее...* — Кем написаны и где напечатаны приводимые далее Герценом строки, установить не удалось.

Стр. 503. *Д а н и и л ы*. — Этим названием очерка Герцен сравнивал обличителей Второй империи с библейским пророком Давидом, обличавшим властителей его времени.

«А ты молчи, ты слишком беден, чтоб тебе иметь речь». — Осудив кровавое подавление народного движения в июньские дни 1848 г., Ламенне вскоре после восстановления системы залога для периодических изданий прекратил выпуск своей газеты «Le Peuple constituant». Редакционная статья, напечатанная 10 июля 1848 г. в последнем номере газеты, вышедшей в этот день в траурной рамке, заканчивалась словами: «Сейчас нужно золото, много золота, чтобы пользоваться правом говорить; мы же недостаточно богаты: бедняку — молчать!»

...*вемические суды...* — В средневековой Германии *Vehmgerichte* — тайные суды, выносившие смертные приговоры.

...*ничтожное облако, мешающее величественному рассвету...* — Выражение, употребленное Наполеоном III в его речи, произнесенной в Лилле 27 августа 1867 г., в которой он говорил о внешнеполитических неудачах Второй империи.

«В худшие времена древнего цезаризма, — говорил Эдгар Кине на конгрессе в Женеве... — Герцен приводит выдержки из речи Э. Кине, произнесенной 9 сентября 1867 г. на конгрессе Лиги мира и свободы в Женеве.

Стр. 504. *Месяца два перед тем ∞ другой изгнанный прежнего времени писал следующие строки...* — Далее приводятся несколько мест из введения к написанной в Цюрихе в 1864 г. и изданной в Париже в 1867 г. книге М. Дюффресса «Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815».

Стр. 505. *Жирондист Мерсье ∞ говорил во время падения первой империи ∞ чтоб увидеть, чем это кончится!* — Замечание о Мерсье приведено Герценом по рассказу М. Дюффресса (см. выше). Мерсье на протяжении всего царствования Наполеона I высказывал свое возмущение его политикой, несмотря на угрозы тюремного заключения, и не раз выражал горячее желание увидеть конец наполеоновского деспотизма. Это желание сбылось: Мерсье умер в 1814 г., дожив до падения Наполеона.

Стр. 506. *Они, как языческие первосвященники ∞ Не они, а гонимые назареи возвещали воскресение и жизнь будущего века.* — Герцен противопоставляет современных «назареев», возвещающих социалистическое грядущее, «первосвященникам» буржуазного республиканства.

...*странная книга Ренана о современных вопросах*. — В письме к М. Мейзенбуг от 13 апреля 1860 г. Герцен очень резко отозвался о вышедшей в свет в 1858 г. книге Ренана «Les questions contemporaines».

Стр. 507. ...*как Робеспьер декретировал l'Être suprême*. — Культ «верховного существа» был введен во Франции декретом Конвента от 18 флореаля II года Республики (7 мая 1794 г.).

Стр. 508 ...о речи Жюль Фавра в академии. — Речь Ж. Фавра 23 апреля 1868 г. по случаю избрания его во Французскую академию; посвященная философу-эклектику Кузену, она по сути была направлена против материализма и социализма.

Стр. 509. *Мы говорим о Латинском квартале, об этой Авентинской горе, на которую отступили учащиеся и их учителя...* — На Авентинскую гору в древнем Риме в V веке до н. э. удалились плебеи, борющиеся против патрициев (о Латинском квартале см. комментарий к стр. 495).

Для того, чтоб раз ум мог похвалиться, Анахарсис Клоц должен был одеть его в хорошенккую актрису, а ее раздеть донага. — По решению Парижской коммуны от 20 брюмера II года Республики (10 ноября 1793 г.) в соборе Парижской богоматери было организовано народное празднество в честь Разума. Одним из инициаторов этого празднества был Анахарсис Клоотс (см. также комментарий к стр. 235). На проведенном торжестве «богиня Разума» изображала артистка оперы Тереза Обри в одеянии трех цветов национального знамени: белое платье, голубой плащ и красный колпак.

Стр. 510. *После набега.* — В конце октября 1867 г. войска Наполеона III выступили против отрядов Гарибальди, за месяц до того вторгшихся на папскую территорию с целью освободить Рим от власти папы и включить его в состав объединенной Италии.

«Святой отец, теперь ваше дело!» — Неточная цитата из заключительной сцены «Дон Карлоса» Шиллера.

Стр. 511. — *Мне жаль этого Мазепу, которого отвязали от хвоста одной империи, чтоб привязать к хвосту другой.* — Италия, освободившись от гнета Австрии, впала в зависимость от Франции Наполеона III. Предание о Мазепе, который однажды в молодые годы был привязан к спине дикой лошади, пущенной вскачь, нашло поэтическое воплощение в поэме Байрона «Мазепа» и в стихотворении Гюго «Мазепа» (из книги «Восточные мотивы»). На стихотворение Гюго как вероятный источник сравнения, к которому здесь прибегает Герцен, указывает его письмо к Н. А. Захарьиной от 9 января 1837 г.

Во время первого ареста Гарибальди я был в Париже. — Когда Гарибальди в сентябре 1867 г. приблизился со своими отрядами к границе папских владений, итальянское правительство, по требованию Наполеона III, приказало насильно отвезти его на о. Капреру, где за ним был установлен строжайший надзор.

...известный французский ученый, прощаясь со мной, говорил мне... — Этот разговор произошел при отъезде Герцена из Парижа 26 сентября 1867 г. Имя французского ученого, его провожавшего, не установлено.

Стр. 512. *...флот, отправляющийся из Тулона в Чивиту.* — Французские войска, сосредоточенные за несколько недель перед тем в Тулоне, по приказу Наполеона III были погружены на корабли, прибыли в итальянский порт Чивита-Веквиа и 30 октября 1867 г. вступили в Рим.

И на этом крепком слове ∞ подали руку ее злейшие враги ∞ Тьера. — В Законодательном корпусе, где 5 декабря 1867 г. обсуждались итальянские дела, Беррье и Тьер резко выступили против движения за объединение Италии и требовали от Наполеона III, чтобы он не выводил французских войск из Рима.

Я считаю с л о в о Руэра историческим откровением. — Французский министр внутренних дел Э. Руэр, отвечая на требование демократической оппозиции в Законодательном корпусе очистить Рим от французских войск, выступил 5 декабря 1867 г. со следующими словами: «Италия жаждет иметь Рим, который она считает непременным условием объединения. Ну, так мы от имени французского правительства заявляем, что Италия не завладеет Римом. Никогда Франция не допустит этого посягательства на свою честь и на католичество».

...с иголками и другими пружинами. — Речь идет о новом для того времени оружии — французских ружьях системы Шаспо и прусских игольчатых ружьях (см. также комментарий к стр. 470).

Стр. 513. ...подслащенной демократии, которую вам подносил кондитер Ламартин... — Своими сладкими речами А. Ламартин усыплял бдительность народных масс, обуздывал их революционный порыв и содействовал утверждению буржуазной республики. Двойственный и по сути контрреволюционный характер политической деятельности Ламартина, «этого Манилова французской революции», был разоблачен Герценом в его «Письмах из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 132, 135, 345 и др.).

...фениане с бочкой пороха и зажженным фитилем. — Члены Ирландского республиканского братства, боровшиеся за освобождение родины от английского ига, действовали заговорческими и террористическими методами, пренебрегая социальными требованиями трудящихся Ирландии и организацией их массового движения. Их восстание в 1867 г. окончилось неудачей.

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Впервые опубликовано в ПЗ, 1859 г., кн. V, стр. 194—230. Печатается по тексту этого издания со следующими исправлениями:

Стр. 518, строка 15: бодрым духом вместо: добрым духом (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 518, строка 32: о племенном и родовом вместо: о письменном и родовом (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 518, строка 34: и он вместо: а он (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 519, строка 15: бросивши вместо: бросившись (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 522, строка 40: написал вместо: записал (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 523, строка 3: о важности и пользе вместо: о возможности и пользе (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 523, строка 40: родит вместо: родится (по тексту публикуемого Герценом письма Белинского)

Стр. 530, строка 3: хорошее вместо: хорошо (по тексту публикуемого Герценом письма Грановского)

Стр. 530 строка 31: скажу без увлечения вместо: скажу без увеличения (по тексту публикуемого Герценом письма Грановского).

Стр. 533, строка 14: обреченным вместо: обреченному

Стр. 544, строки 27—28: основ(аний) вместо: основ

Стр. 514. «Oh, combien de marins, combien de capitaines...» — Не совсем точная цитата из стихотворения Гюго «Осеано пох» (из книги «Les rayons et les ombres»)

...письма Карамзина в «Атенее» и Пушкина в «Библиографических записках». — Письма Н. М. Карамзина к брату Василию за 1799—1826 гг. были напечатаны в журнале «Атеней» за 1858 г. (часть третья, май — июнь, №№ 19—26 и часть четвертая, июль — август, №№ 27—28). В «Библиографических записках» за 1858 г. (№№ 1, 2, 4) были опубликованы письма А. С. Пушкина к брату Льву за 1820—1836 гг.

Стр. 515. ...три полицейских нашествия: одно в Москве и два в Париже... — О полицейском обыске в Москве в июле 1834 г. Герцен рассказывает в гл. IX «Былого и дум» (см. т. VIII наст. изд., стр. 180—181); об обыске в Париже в июне 1848 г. говорится в гл. «Западные арабески.

Тетрадь первая» (см. т. X наст. изд., стр. 32—34); об обыске в июне 1849 г. — в гл. XXXVI (см. там же, стр. 54).

Та к и м л и б ы л я р а с ц в е т а я ? — Не совсем точная цитата из «Евгения Онегина А. С. Пушкина на («Путешествие Евгения Онегина»).

Письмо Н. А. Полевого

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1859 г., кн. V, стр. 196—198. Печатается по тексту этого издания. Подлинник хранится в архиве Герцена—Огарева в «пражской коллекции» (*ЦГАЛИ*).

Стр. 516. *Статью вашу о Гофмане я получил.* — В письме к Н. X. Кетчеру от 31 декабря 1835 г. Герцен сообщал о посылке в Москву своей статьи «Гофман» (см. т. I наст. изд.) «при письме к Полевому», оставшемся неизвестным.

...на вас... — В автографе письма Полевого — *на нас*.

...потом отдать ее в какой угодно журнал. — Статья Герцена «Гофман» была напечатана в «Телескопе», 1836, № 10 (историю публикации статьи см. в комментарии к т. I наст. изд., стр. 487—488).

Братец ваш... — Е. И. Герцен.

...вы принялись за географию, за статистику... — В 1835 г. Герцен, находившийся в ссылке в Вятке, был привлечен к работам губернского статистического комитета и писал «Монографию Вятской губернии», из которой известны отрывки: «Вотяки и черемисы», «Русские крестьяне Вятской губернии» (см. в т. I наст. изд. рубрику «Заметки в „Прибавлениях“ к „Вятским губернским ведомостям“» и комментарий к ним).

Стр. 517. *Я ему отвечал и потом браниться.* — В письме к Н. А. Полевому от 2 сентября 1836 г., в котором Герцен объясняет недоразумение с публикацией статьи «Гофман», этой фразы нет. Из письма видно, что Герцен предварительно писал брату, Е. И. Герцену, поручая ему объяснение с Полевым, и получил от брата известие о результатах разговора.

...это было время «Параша Сибирячки»... — Пьеса Н. А. Полевого «Параша Сибирячка», написанная в духе официальной народности, была поставлена в Петербурге на сцене Александринского театра 17 января 1840 г. и получила одобрение в придворно-бюрократических кругах. К этому времени уже отчетливо определился переход Полевого на реакционно-охранительные позиции.

Из писем В. Г. Белинского

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1859 г., кн. V, стр. 199—213. Печатается по тексту этого издания. Подлинники хранятся в *ЦГАЛИ*.

Из всей переписки Герцена с В. Г. Белинским до нас дошло только два письма Герцена (от 26 ноября 1841 г. и от мая 1842 г.) и десять писем Белинского (одно от 26 января 1845 г., остальные письма — за 1846 г.). После отъезда Герцена за границу переписка его с Белинским, видимо, совершенно прекратилась. О некоторых не дошедших до нас письмах Белинского к Герцену известно из записей в дневнике Герцена за 1842—1844 гг. (см. т. II наст. изд., стр. 242, 266, 276, 354, 372) и из писем Герцена этих лет (*ЛН*, т. 56, стр. 227—228).

Из девяти писем Белинского за 1846 г., находившихся в руках Герцена, последний опубликовал восемь, сократив почти вдвое текст. Он изъясил главным образом все, что касалось разрыва Белинского с А. А. Краевским, семейных дел, а также убрал резкие высказывания по адресу некоторых современников. Фамилии лиц, еще живших в то время, Герцен скрыл под их начальными буквами.

Передавая подлинники писем, вероятно, непосредственно в типографию, Герцен прямо на автографах отмечал карандашом места, которые следовало набирать, а иногда заменял слова Белинского другими. В частности, в письме I он заменил имена Кетчера, Грановского и Корша словами: «твоими друзьями»; в письме II слова: «О<тестественные> з<аписки>» словами: «журнальная работа»; в письме III слова (по собственному адресу): «прав, собака» словами: «он прав» и т. п. Наиболее существенные пропуски строк и исправления отдельных мест по автографам писем приведены в ЛН, т. 62, стр. 777—780; полностью по автографам письма приведены в издании: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, М., изд. АН СССР, 1956.

Стр. 517. ...*«Об изучении природы»*... — Белинскому в это время могли быть известны «Письма об изучении природы» с первого по шестое, напечатанные в «Отечественных записках», 1845, №№ 4, 7, 8 и 11 (см. т. III наст. изд.).

...*«О пристрастии»*... — Речь идет о первой редакции четвертой главы очерка Герцена «Новые вариации на старые темы» из серии «Капризы и раздумье» (см. т. II наст. изд., стр. 86—102).

...*о твоей преемственной повести*... — Роман Герцена «Кто виноват?», часть первая. Об оценке Белинским этого произведения см. в т. IV наст. изд., стр. 324.

...*о Копернике, Ярополке Водянском*... — Имеются в виду фельетон Герцена «„Москвитянин“ о Копернике» и фельетон «„Москвитянин“ и вселенная», подписанный псевдонимом Ярополк Водянский. В автографе письма Белинского фельетон о Копернике не упомянут, но вместо него назван другой фельетон Герцена — о г. Вёдрине, то есть «Путевые записки г. Вёдриана» (см. т. II наст. изд.).

...*нервическое потрясение по поводу прихода* ∞ *как о г. Герцене*. — Об этом эпизоде Белинский рассказывает Герцену в письме от 26 января 1845 г.

Стр. 518. ...*статью «О жизни и сочинениях Кольцова»*... — Вступительная статья Белинского к сборнику «Стихотворения Кольцова», изданному Н. А. Некрасовым и Н. Я. Прокоповичем в 1846 г.

...*я издаю толстый огромный альманах*... — Белинский задумал издание альманаха «Левифан», чтобы создать себе материальную базу для ухода из «Отечественных записок». Все друзья и знакомые критики охотно пошли ему навстречу, понимая, как важно помочь Белинскому освободиться от эксплуатации А. А. Краевского. Однако альманах в свет не вышел, и в конце 1846 г. Белинский уступил все собранные произведения вновь организованному журналу Н. А. Некрасова и И. И. Панаева «Современник».

Достоевский дает повесть ∞ *у Майкова выпросить поэму*. — Ф. М. Достоевский обещал для альманаха Белинского задуманную им повесть «Сбритые бакенбарды»; И. С. Тургенев дал, видимо, рассказ «Петр Петрович Каратаев»; А. Н. Майков — поэму «Барышня»; И. И. Панаев — повесть «Родственники»; произведение Н. А. Некрасова «Семейство» неизвестно.

...*обращаюсь к тебе: повесть или жизнь!* — Герцен написал для альманаха Белинского повесть «Сорока-воровка» и предполагал дать еще «Доктора Крупова» (см. т. IV наст. изд.).

...*профессору К<авелину>* ∞ *Если бы он дал мне статью*... — К. Д. Кавелин прислал статью «Взгляд на юридический быт древней России»; см. о ней далее в письмах IV и V.

Сам я хочу что-нибудь написать о современном значении поэзии. — Белинский не выполнил своего замысла, но возможно, что задуманные им положения вошли в обзор «Взгляд на русскую литературу 1846 года».

...с Кудрявцевым ∞ и от этого получу повесть.— Кудрявцев прислал из Берлина Белинскому повесть «Без рассвета».

А<нненков> тоже пришлет что-нибудь вроде путевых заметок.— С начала 1847 г. П. В. Анненков регулярно посылал в «Современник» из-за границы свои «Парижские письма».

Стр. 519. ...первую часть моей истории русской литературы.— В конце 1840 — начале 1841 г. Белинским была задумана «Критическая история русской литературы», главы из которой вошли затем в собрание сочинений как отдельные статьи («Идея искусства», «Разделение поэзии на роды и виды», «Общее значение слова литература», «Общий взгляд на народную поэзию и ее значение»). По свидетельству Н. Х. Кетчера, критик работал над этой книгой до конца жизни.

...ты не замедлил ответом...— Ответное письмо Герцена не сохранилось.

...новую повесть твою...— Вероятно, «Сорока-воровка» Герцена.

...продолжать и доканчивать старую...— Подразумевается роман Герцена «Кто виноват?».

Насчет писем В<отки>на, об Испании...— Первая серия «Писем об Испании» В. П. Боткина напечатана в «Современнике», 1847, № 3.

Полгода, даже четыре месяца за границей ∞ ни в чем не бывало.— Надежды Белинского на лечение за границей в 1846 г. не сбылись. После поездки в Зальцбрунн летом 1847 г. болезнь усилилась и 26 мая 1848 г. Белинский умер.

Стр. 520. ...а — вор, б — дурак, а в — плут...— В автографе письма Белинского написано: «Погодин—вор, Шевырко—дурак, а Аксаков—шут».

...как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира»...— По преданию, Г. А. Потемкин сказал Д. И. Фонвизину после первого представления «Недоросля»: «Умри, Денис! Лучше не напишешь!»

...«Грановский мог бы прислать из лекций»...— Т. Н. Грановский в учебный 1845/46 г. читал вторично в Московском университете курс лекций по средней истории. Отклик Герцена на первое чтение этого курса зимой 1843/44 г. см. в статьях «Публичные чтения г. Грановского» и «О публичных чтениях г-на Грановского (Письмо второе)» (т. II. наст. изд.), а также в гл. XXIX «Былого и дум» (т. IX наст. изд.). Для альманаха Белинского Грановский не прислал ничего.

Статье С<оловье>ва...— Статья С. М. Соловьева «Даниил Романович, король Галицкий».

«В дороге», Н<екрасов>а, превосходно...— Стихотворение Н. А. Некрасова «В дороге», напечатанное в 1846 г. в «Петербургском сборнике». В статье «Петербургский сборник» Белинский также выделил «В дороге» из всех других стихотворений Некрасова, напечатанных там.

...записок медика...— Повесть Герцена «Доктор Крупов».

Стр. 521. ...статья «О парижских увеселениях». — Очерки И. И. Панаева «Парижские увеселения», как и упомянутая выше повесть Ф. М. Достоевского «Бедные люди», вошли в «Петербургский сборник», изданный Н. А. Некрасовым.

...М<ихайла> С<еменовича>. — М. С. Щепкин дал для альманаха Белинского воспоминания о своем детстве — «Из записок артиста».

...статью М<ельгунова>...— Статья Н. А. Мельгунова «Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель. Из воспоминаний обыкновенного человека».

...и все то благо, все добро. — Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Утро».

Стр. 522. Я был в восторге от его взгляда на Грозного ∞ не было знания для оправдания моего взгляда. — В статье К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» Иван IV был представлен борцом против родового дворянства и защитником людей незнатного происхождения.

...талантного. — В автографе письма В. Г. Белинского — толстого ...о статье Рулье... — К. Ф. Рулье в 1847 г., вероятно, побуждаемый Герценом, сотрудничал в «Современнике». Об отношении Герцена к лекциям Рулье см. в статье «Публичные чтения г-на профессора Рулье» — т. II, наст. изд.

...Николай Платонович, наконец-то твоё возвращение уже не миф. — Н. П. Огарев прехал из-за границы в начале марта 1846 г.

С т р. 522—523. ...написал было я к тебе письмо ∞ получил твоё, которого так долго ожидал. — Ни начатое письмо Белинского, ни письмо Герцена не сохранились.

...интермедию к «Кто виноват?» — Отрывок из романа Герцена «Кто виноват?» «Владимир Бельтов» (впоследствии — главы V — VII первой части) был напечатан в «Отечественных записках», 1846, № 4. Белинский высоко оценил этот отрывок романа в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

С т р. 524. ...показывала вместо детей Рея Хроносу. — Согласно древнегреческому мифу, Кроносу было предсказано, что один из его сыновей лишит его престола. Из опасения, что предсказание сбудется, Кронос съедал своих новорожденных детей. Рея спасла Зевса, подсунув Кроносу камень, завернутый в пеленку.

...письмо твоё... — Это письмо Герцена не сохранилось.

Начет первого пункта... — Речь идет о материальной помощи, которую Герцен оказал Белинскому для его поездки на юг в 1846 г.

Мои путевые впечатления... — Замысел написать о своей южной поездке с М. С. Щепкиным Белинский не осуществил.

С т р. 525. Статья С<амарина>... — Статья Ю. Ф. Самарина «Тарантас. Путевые впечатления», помещенная в «Московском сборнике» за подписью «М...З...К...»

...зацепляет меня в лице «Отечественных записок». — В начале статьи Ю. Ф. Самарин, делая обзор критических выступлений, посвященных книге В. А. Соллогуба «Тарантас», полемизировал со статьей Белинского, напечатанной без подписи в «Отечественных записках», 1845, № 6.

Зато Х<омяков> ∞ знает он мои крючки! — В статье «Мнение русских о иностранцах», напечатанной в «Московском сборнике», А. С. Хомяков возражал против оценки, которую дал Белинский «Борису Годуну» в десятой статье «Сочинения Александра Пушкина» («Отечественные записки», 1845, № 11), и его оценки русского фольклора. Имени Белинского он не называл. Во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» Белинский упомянул о содержательности статьи Ю. Ф. Самарина, но специального разбора «Московского сборника» не написал.

...ругательства Сенковского... — Недоброжелательная рецензия О. И. Сенковского на брошюру Белинского «Николай Алексеевич Полевой» (СПб., 1846), напечатанная без подписи в «Библиотеке для чтения», 1846, № 6.

В Калуге столкнулся я с И. А<ксаковым>. — В Калуге Белинский был с М. С. Щепкиным с 18 по 30 мая 1846 г.; с И. С. Аксаковым он встречался в доме А. О. и Н. М. Смирновых.

С т р. 526. ...д л я п р о х о д я щ и х. — Из басни И. И. Дмитриева «Прохожий».

...п р е с т у п н о г о... — В автографе письма Белинского — *примерного*.

...Ш. ... — С. П. Шевырев (в автографе письма Белинского — *Шевырко*).

Из писем Т. Н. Грановского

Впервые опубликовано в ПЗ, 1859 г., кн. V, стр. 214 — 220. Печатается по тексту этого издания.

Тексты писем Т. Н. Грановского, полностью восстановленные по рукописям, опубликованы: письма II и III — в сборнике «Звенья», VI, стр.

356—364 (подлинники хранятся в ПД); письма I, IV и V — в ЛН, т. 62, стр. 92—104 (подлинники хранятся в ЦГАЛИ).

Герцен зашифровал имена и опустил все, что могло привлечь внимание царского правительства и что касалось личных дел его и Огарева, а также внес много редакционных поправок.

Стр. 527. *Москва. 1847.* — Более точная дата — начало сентября 1847 г. (см. ЛН, т. 62, стр. 93).

...к дамским размолкам ∞ см. «Былое и думы» в «Полярной звезде» на 1858. — Подразумевается разлад в отношениях между Н. А. Герцен и женами и сестрами друзей Герцена, наступивший во второй половине 1846 г. под влиянием идейно-теоретических разногласий, вскрывшихся тогда в московском кружке. Краткое упоминание о разладе «в дамском обществе» содержится в гл. XXXII «Былого и дум», опубликованной впервые в ПЗ на 1858 г., кн. IV, с подзаголовком (затем опущенным в отдельном издании «Былого и дум») — «Дамское общество» и строкой точек в соответствующем месте текста (см. т. IX наст. изд., стр. 212).

Стр. 528. ...письме к Т<атьяне> А<лексеевне>... — Это письмо Герцена к Т. А. Астраковой неизвестно.

К чему же повторять смешные обвинения ∞ в апатии и пр.? — В письме к Н. П. Огареву из Парижа от 3 августа 1847 г. Герцен высказывал недовольство молчанием московских друзей и упрекал их в «холодном невнимании» к нему.

...писем из Avenue Marigny... — «Письма из Avenue Marigny» Герцена были напечатаны в «Современнике» за 1847 г., №№ 10, 11 (см. т. V наст. изд.).

Москва, 1849. — Более точная дата — июнь 1849 г. Даты писем II и III определяются письмами Герцена к Т. Н. Грановскому от 12—14 мая и 2—5 августа 1849 г. На первое из них Грановский отвечает настоящим письмом. Второе письмо Герцена является ответом на письма II и III.

...Х. ... — В автографе: Кошелев.

Стр. 530. ... 1849. — Более точная дата — июль 1849 г. (см. «Звенья», VI, стр. 363).

...письмо к Е<гору> И<вановичу>... — Письмо Герцена к брату неизвестно.

...о припадке холеры с И. Т. ... — О заболевании И. С. Тургенева холерой Герцен писал Н. П. Огареву в письме от 10 июня 1849 г.

Галахов писал тебе много перед смертью... — О предсмертном письме И. П. Галахова Герцен упоминает в письме к Грановскому от 2—5 августа 1849 г., а также в гл. XXIX «Былого и дум».

Стр. 530. *Весною 1851.* — Более точная дата — май — июнь 1851 г. (см. ЛН, т. 62, стр. 100). Герцен ответил на это письмо Грановского письмом от 19—20 июня 1851 г.

Книги твои дошли до нас. — В 1850 г. впервые вышли на немецком языке книги Герцена «С того берега» и «Письма из Италии и Франции» (см. т. V и VI наст. изд.).

Стр. 531. *1854 года.* — Более точная дата — конец мая — начало июня 1855 г. (см. ЛН, т. 62, стр. 104). На автографе надпись Герцена: «Последнее письмо Грановского».

Зачем ты бросил камень в Петра... — Т. Н. Грановский ошибся: О Петре I Герцен писал не в брошюре «Юрьев день!», а в вышедшей в том же 1853 г. брошюре «Крещеная собственность» (см. т. XII наст. изд.).

...и готов им подать руку. — В автографе: <...> и готов подать руку Хомякову и Аксакову.

Стр. 532. «Тюрьма и ссылка». — Приписываемая В. И. Соколовскому песенка «Русский император в вечность отошел...» приводится в гл. XII «Былого и дум»; Герцен дает отсылку на первую публикацию второй части своих мемуаров — «Тюрьма и ссылка». Из записок Искандера», Лондон, 1854 г.

Письмо П. Я. Чаадаева

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1859 г., кн. V, стр. 221. Печатается по тексту этого издания.

Ранее небольшой отрывок из письма был напечатан в *ПЗ*, 1858 г., кн. IV, в составе публикации гл. XXIX «Былого и дум», где письмо упоминается под несколько иной датой (сохраненной в тексте отдельного издания «Былого и дум», т. II, Лондон, 1861) — 20 июля 1851 г. По словам Герцена, это письмо было единственным, которое П. Я. Чаадаев писал ему за границу (см. т. IX наст. изд., стр. 130).

Письмо Чаадаева являлось, вероятно, откликом на упоминание его имени в работе Герцена «О развитии революционных идей в России» (см. т. VII наст. изд., стр. 221—223).

Из писем П.-Ж. Прудона

Впервые опубликовано в *ПЗ*, 1859 г., кн. V, стр. 222—227. Печатается по тексту этого издания.

Переписка Герцена с Прудоном дошла до нас не в полном виде. Известная до настоящего времени в печати часть переписки относится к 1849—1861 гг. и включает 8 писем Герцена и 11 писем к нему Прудона (см. *ЛН*, тт. 15, 39—40, 62). Библиографическую справку о письмах Прудона к Герцену см. в *ЛН*, тт. 39—40 и 62.

Герцен сократил для печати все, что, по его мнению, лишено для читателя, в особенности для русского читателя, общего интереса, устранил повторения, длинноты, излишнюю риторичность выражений, опустил или смягчил лестные слова, сказанные по его личному адресу.

Первое из публикуемых писем содержит отклик Прудона на постигшее Герцена в 1851 г. горе — гибель матери и сына Коли. Герцен очень ценит проявленное Прудоном участие. Он вспоминает и цитирует строки из этого письма в гл. XLII «Былого и дум» (см. т. X наст. изд., стр. 196). Герцен ответил Прудону большим письмом от 26 декабря 1851 г.

Второе письмо Прудона является его ответом на приглашение Герцена сотрудничать в создававшейся им тогда «Полярной звезде». О значении, которое Герцен придавал сотрудничеству в «Полярной звезде» Прудона и других передовых людей Запада (В. Гюго, Д. Маццини, Ж. Мишле, Луи Блана), также приглашенных участвовать в ней, он говорит в статье «К нашим» (см. т. XII наст. изд.).

Характеристика Прудона как политического деятеля, философа, писателя и человека и описание встреч с ним наиболее полно даны Герценом в главе XLII «Былого и дум»; о взаимоотношении Герцена с Прудоном см. также в комментарии к этой главе (т. X наст. изд.).

Стр. 533. *Из двух первых писем Прудона* ∞ *выписана вся общая часть в тексте «Былого и думы»*. — В гл. XLII «Былого и дум» (см. т. X наст. изд., стр. 191—193).

St. Pélagie ... — Парижская тюрьма, в которой был заключен Прудон, приговоренный в 1849 г. к трехгодичному тюремному заключению за резкие статьи против президента Луи Наполеона Бонапарта.

Стр. 534. ... *Ш. Е.* ... — Шарль Эдмон — литературный псевдоним Хоецкого.

Стр. 534. *Торопитесь оплакать ваши частные горести ∞ к собственным бедствиям своим!* — В ответном письме Прудону от 26 декабря 1851 г., написанном после бонапартистского переворота, Герцен цитирует эти слова и называет их пророческими.

Стр. 535. *Письмо ваше от 14...* — Это письмо Герцена неизвестно. ...«Русское обозрение». — Альманах «Полярная звезда».

Я не могу теперь написать вам статьи ∞ редакторов «Русской звезды». — В ответном письме Прудону от <25—31> июля 1855 г. Герцен снова настойчиво напоминал ему о статье для «Полярной звезды», однако статья Прудона в «Полярной звезде» не появлялась.

Отрывок из этого письма был напечатан в I кн. «Полярной звезды». — В ПЗ на 1855 г., кн. I, стр. 231—232 были напечатаны вступительные фразы настоящего письма Прудона от слов: «сердечно поблагодарить вас» до: «Русской звезды». Отрывок дан в другом переводе.

...нет ли у него ∞ тайных корней в самом сердце русского народа? — Ряд положений, высказанных в письме, например, рассуждение Прудона о народных корнях русского самодержавия, приписывание царю прогрессивной роли, преувеличенный взгляд на русскую исключительность, таивший в себе тенденцию оторвать Россию от общеевропейского революционного движения, были совершенно неприемлемыми для Герцена. В ответном письме от <25—31> июля 1855 г. Герцен, не вступая в полемику, в кратких тезисах сформулировал свою точку зрения на затронутые Прудонов вопросы. Ответ этот, несмотря на дружеский его тон и выраженные в нем чувства симпатии и уважения к Прудону, свидетельствует о резком с ним расхождении. Это и побудило, очевидно, Герцена ограничиться только краткой выдержкой из письма Прудона при его публикации в ПЗ на 1855 г., кн. I (ср. письмо Герцена к А. Саффи от 30 июля 1855 г.).

Стр. 536. *Римскому ли понтифу...* — Подразумевается папа Римский Пий IX.

Стр. 537. *...воспоминания 14 июля, 10 августа, 31 мая, 1830, 1848.* — Даты происшедших в Париже народных восстаний, определивших этапы развития французской буржуазной революции: 14 июля 1789 г. — взятие Бастилии, положившее начало революции; 10 августа 1792 г. — свержение монархии; 31 мая 1793 г. — установление якобинской диктатуры; 1830 г. — июльская революция; 1848 г. — февральская революция.

Письмо Т. Карлейля !

Впервые опубликовано в ПЗ, 1859 г., кн. V, стр. 228—229. Там же напечатан и русский перевод ответного письма Герцена, стр. 228—229. Печатается по тексту этого издания. Подлинный английский текст письма Карлейля неизвестен; французский текст ответного письма Герцена впервые напечатан по авторской копии в ЛН, т. 61, стр. 231—232.

О знакомстве и встречах с Карлейлем он упоминает в письмах 1852—1853 гг. к М. К. Рейхель и К. Фогту. В этих письмах и в статье «Еще вариация на старую тему» (см. т. XII наст. изд.) он вспоминает о своих спорах с Карлейлем о России. В связи с этими спорами и возникла настоящая переписка (подробнее о ней и об отношениях Герцена с Карлейлем см. публикацию М. П. Алексеева в ЛН, т. 61, стр. 229—232).

Поводом для письма Карлейля послужила посылка ему Герценом текста своей речи, произнесенной 27 февраля 1855 г. в С.-Мартинс холле в Лондоне на интернациональном митинге в годовщину февральской революции (см. т. XII наст. изд.).

Карлейлевская проповедь пассивности и застоя вызвала, естественно, резко отрицательное отношение Герцена. Отвечая Карлейлю, Герцен противопоставил реакционной апологии «таланта повиновения» революционный «талант борьбы».

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

〈Глава VII〉

Немцы в эмиграции

Печатается по черновому автографу ЛБ (Г — О — I — 7). Текст зачеркнут и находится на об. л. 12.

〈Глава X〉

«Camicia rossa»

Впервые опубликовано в ЛН, т. 61, стр. 126—132, по черновой рукописи «пражской коллекции» (ЦГАЛИ). Печатается по этому же автографу. Отрывок представляет собою черновую редакцию одного из разделов главы, опущенного при публикации «Camicia rossa» в К и в отдельном издании.)

Стр. 545. ...*chief of the Exchequer*... — Возможно иное прочтение: *chief of the Exequies* (распорядитель похорон — англ.).

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

За кулисами

Впервые опубликовано в Сб, стр. 150. Печатается по рукописи ЛБ (Г — О — I — 13), представляющей собой отрывок текста, озаглавленный «За кулисами» и находящийся в тетради «В. И. Кельсиев». В конце отрывка помета Герцена: «В другую тетрадь».

I Ward Jackson, R. Weatherley Co...

II Lapinski — colonel. Poles — aide de camp».

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Mœurs russes

〈Русские нравы〉

Впервые опубликовано в «Kolokol», № 4 от 15 февраля 1868 г. Печатается по этому изданию.

АВТОРСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

R. Owen

Печатается по черновому автографу «пражской коллекции» (ЦГАЛИ). Текст перевода, не доведенного Герценом до окончательной отделки, несколько сокращен и во многом отстает от русского оригинала. Перевод первой главы оборван Герценом в самом же начале. Последняя глава была, вероятно, переведена полностью, но рукопись конца ее не сохранилась. Эпиграф и посвящение во французском тексте отсутствуют.

В текст автографа внесены следующие изменения:

Стр. 566, строка 19: *que les essais* <что попытки> вместо: *les essais* <попытки> («*que*» ошибочно зачеркнуто)

Стр. 571, строка 16: *garde-foux* <перила> вместо: *gardes de foux* <смотрители в сумасшедшем доме> (по контексту)

Стр. 572, строка 5: *et forte* <и сильная> вместо: *est forte* <сильна> (по контексту)

Стр. 572, строка 34: la possibilité <возможность> вместо: l'impossibilité <невозможность> (по контексту)

Стр. 675, строка 5: digéré <переварен> вместо: dirigé (явная описка, исправлено по тексту русской основной редакции)

Стр. 578, строки 3—4: des milliers et des milliers <d'années> <тысячи и тысячи лет> вместо: des milliers et des milliers <тысячи и тысячи> (по тексту русской основной редакции)

Стр. 584, строка 24: les fossiles <ископаемые> вместо: les fossiles squelettes <ископаемые скелеты> («squelettes» ошибочно не зачеркнуто)

Стр. 586, строка 3: Il ne voulait <Он не хотел> вместо: voulait <хотел> («Il ne» ошибочно зачеркнуто)

Ниже приводится перечень наиболее значительных смысловых отличий французского текста от русской основной редакции (в русском переводе):

Стр. 205

¹⁸⁻²⁰ Вместо: через Мадцини ∞ я поехал // она знала и покинула нашу семью до ужасных бурь. Я сам хотел ее видеть — мне симпатичен был изящный склад ее ума, который

Стр. 216

¹³ Вместо: биограф // суровый биограф

Стр. 217

¹³ После: Испании // на юге Италии

¹⁵ Вместо: посадили ∞ костре // пытали бы, сожгли,— все это вполне возможно

¹⁷⁻²² Вместо: Разве Гёте ∞ христианством? // Гёте, Шиллеры, Канты, Гумбольдты наших дней, Лессинги — сто лет тому назад — совершенно искренно высказывали свои мысли. Никогда они не притворялись набожными, если не верили. Их никогда не видели по воскресеньям благочестиво идущими к обедне, — позабыв всякий стыд — с молитвенником в руке — после того, как проповедовали шесть дней в неделю совершенно противоположное, — чтоб умышленно слушать пустопорожнюю риторику пастора, — и все это с целью обмануть плебс, простонародье, толпу.

²⁴⁻²⁷ Вместо: ни школа Биша ∞ значения // ни люди науки, как Биша, Кабанис, Лаплас — и впоследствии Конт, — никогда не прикидывались ни набожными, ни ультрамонтанами, чтобы проявлять «благоговение перед предрассудками, дорогами для католиков»

³⁰⁻³² Вместо: к ней привыкли ∞ bricht // совесть более независима

Стр. 218

¹⁻¹¹ Вместо: а не в нравах ∞ и в глубине // Нам как-то не по себе, когда мы находимся перед судьями, в сношениях с правительством, — англичанин же чувствует себя свободным только перед судьями или в столкновении с властями.

Люди притворяются везде — но они не считают откровенность пороком. Лицемерие нигде не возведено до степени общественной и обязательной добродетели. Совсем не так обстоит дело в Англии.

Стр. 220

¹⁻⁴ Вместо: организму ∞ оконечности // организм с развитыми оконечностями выше организма безногого, что предпочтительней ходить и летать, подобно зайцу или птице, чем вечно спать в раковине, еще более убедившись в возможности развить бедные оконечности моллюска — ноги и крылья, он

⁸ После: и проклинали его. // Все это совершенно естественно

Стр. 222

² После: характер // как свои глаза или нос

⁹⁻¹⁰ Вместо: почетным ошейником // крестом собачьего легиона

¹⁷ *Вместо:* Резко! // это их раздирает... Мы привыкли к крикам людей, терзаемых пыткой или умирающих с голоду... Это делает орган бесчувственным!

Стр. 222—223

³¹⁻³² *Вместо:* Чтоб сберечь ∞ без нерв // Чтоб сберечь эту чуточку достигнутого покоя, люди окружили свои гавани призраками и орудиями пытки. Они дали своему царю палку и топор, они признали право жреца проклинать и благословлять, спускать с небес молнии — для дурных и плодородный дождь — для добрых.

Но как же это люди сами изобрели пугала — и устрашили их? Пугала не всегда имели фантастический характер — и когда приближаешься в наши дни к городам Центральной Азии, по дорожке, окаймленной виселицами, на которых повисли скрюченные скелеты, — есть о чем подумать... Во-вторых, изобретение не бывает преднамеренным, необходимость защиты и пламенное детское воображение привели людей к этим созданиям, перед которыми они сами и преклонились. Первоначальная борьба рас — племен должна была привести к победе. Рабство побежденных явилось колыбелью государства, цивилизации, свободы. Рабство, противопоставившее меньшинство сильных — большинству слабых, позволило завоевателю больше есть и меньше работать, — они придумали узду для покорения большинства — и сами частично подпали под эту узду. И владыка и раб наивно верили, что законы были продиктованы среди молний и бури Иеговою на горе Синае — или тихо напечатаны на ухо законодателю каким-нибудь внутриутробным духом...

Однако через все это бесконечное множество декораций и наипестрейших одежд легко распознать жизненные основания, которые только видоизменялись, оставаясь все теми же с самого образования общества до наших дней, — в каждой церкви, в каждом суде. Судья в мантии и белом парике, с пером за ухом, и судья совершенно голый, совершенно черный, с пером в носу, не сомневаются, что в некоторых обстоятельствах убить человека — не только право, но и долг.

То же самое в вопросах религии. Сходство между бессвязной нелепостью заклинаний и заговариваний, пускаемых в ход диким шаманом или жрецом какого-нибудь племени, прячущимся в толпе, и складной риторической чепухой какого-нибудь архиерея бросается в глаза. *Главное* в вопросах религии — не в форме и красоте заклинания, а в вере в какой-то мир, существующий вне границ материального мира, действующий без тела, чувствующий без нервов, рассуждающий без мозга и сверх всего

Стр. 224

¹⁻⁸ *Вместо:* Чем развитие ∞ рассуждать // И пока в нем остается что-то потустороннее — развитие также может идти до определенной границы — но не далее. Вещь, наиболее трудно переходимая в государстве, — это граница.

Католицизм — религия масс и олигархов — нас притесняет более, но не так суживает ум, как буржуазный католицизм протестантизма. Но церковь без церкви, рациональный деизм, притязавший в то же время на самую убогую логику, и незаконнорожденная религия, — неискоренима у людей, не имеющих ни довольно ума, чтобы доводить до конца свои размышления, ни довольно сердца, чтобы верить не размышляя.

¹⁷ *Перед:* Нет той логической // Моисей знал хорошо свой народ, когда он вносил в первую заповедь запрещение обожествлять всякий предмет

²² *После:* являются другие // из менее плотного вещества

²⁷ *Вместо:* фатализм // фетишизм

³⁰ *Вместо:* химического процесса // элементов, заговоры, замышляемые химическим средством

³¹⁻⁴¹ *Вместо:* Как ни смешны ∞ в прах, и пр. // Немного есть на свете предметов более жалких, чем пышные диссертации протестантов, доказывающих с иронией и горечью, как в наш век нелепо верить в чудеса, производимые кровью св. Януария, и нисколько не сомневающиеся в метеорологическом действии молитвы архиерея. Как будто для господа бога трудней вскипятить кровь св. Януария, чем мочить в сентябре протестантские поля. Это смешно, но тут иногда заключается такая темная глупость и такое тупое добродушие, что уже и не возмущаешься. Идеалистическое ханжество в физиологии или геологии гораздо более возмущает.

Это уступка, компромисс между познанной истиной и принятой ложью, между совестью и личными взглядами; это предательство науки, это симония другого рода — или поразительное отклонение диалектики: что можно сказать натуралисту, который приходит в ханжеский восторг перед бесконечной благодатью и безграничной мудростью провидения, снабдившего крыльями именно птиц... Без крыльев эти бедные создания упали бы вниз... и они свернули бы себе шею! Не правда ли — именно потому они и поют каждое утро свою орнитологическую молитву!

Стр. 224—225

¹³⁻² *Вместо:* будет казнить зря ∞ неизбежнее // будет увлечен страстями и вызовет либо бунт, либо страдательную оппозицию недоверия и страха, смешанного с презрением, как в России, где покоряются решению суда, как покоряются горячке, несчастью встретиться с медведем. Иное дело в странах, где законодательство уважается и той и другой стороной, — неизбежность там гораздо больше

Стр. 225

³ *После:* пациента // играющего первую роль

¹¹⁻¹⁸ *Вместо:* Неразвитость ∞ толпу // Неразвитость толпы не дает ей возможности понимать новый порядок вещей, а боязливая озабоченность собственников не желает этого. Самый деятельный и могучий класс наших дней — буржуазия — готова предать свои убеждения — преклонить колена без веры пред алтарем, пасть ниц перед троном, унизиться перед аристократией, которую она ненавидит, и оплачивать солдат, к которым питает отвращение, быть, наконец, ведомой на цепочке — лишь бы не обрубили веревку, на которой держат толпу.

²⁵⁻²⁶ *После:* аристократий // и если подумать, что ее здоровая и мыслящая и сильная часть — представлена буржуазией

Стр. 226

⁶⁻⁷ *Вместо:* Это приводит ∞ прав Р. Оуэн // ... Через все это приближается на свет вопрос серьезный и исполненный грусти, вопрос, гораздо более важный, чем установление того, прав ли был Оуэн или неправ...

⁹⁻¹³ *Вместо:* История ∞ чувствами // Мы видим в истории, что люди, живя вместе, постоянно стремятся к разумной автономии — и что они всегда остаются в нравственной неволе. Стремление, расположение не гарантирует возможность успеха. Что человеческий мозг является органом, не дошедшим до состояния полного развития, и что он имеет стремление достигнуть его — трудно отрицать; но достигнет ли он его или погибнет на полдороге, как погибали мастодонты и ихтиозавры, или остановится в status quo, как мозг

существующих животных,— это вопросы, которые нелегко разрешить. И если они и будут разрешены — то, конечно, не вследствие любви к человечеству и не вследствие сентиментальной и мистической декламации.

16-18 *Вместо:* Это ∞ то другого // Это словно маяки, границы, пес plus ultra, между которыми колеблется, движется и утекает действительная жизнь. Возгласы маяков,

24-26 *Вместо:* Опыт ∞ пример // Подготовлены ли мы более к свободе совести, к нашей личной самостоятельности, к нашей нравственной автономии — всеми речами и учениями пророка-предвестника?

Опыт обязывает нас быть осмотрительными. Вот пример

Стр. 227

6-12 *Вместо:* III отделения ∞ император... // и Иерусалимской улицы. Преследования на Юге за мнения и слова — с их хваленым знаменем «Рабство или смерть!» — ни в чем не уступают преследованиям короля неаполитанского или австрийского.

19-31 *Вместо:* Чем страна ∞ не имеем права // — т. е. в самых свободных странах Европы. Можем ли мы заключить из того, что чем страна менее угнетается своим правительством, тем более ее угнетает толпа, что снисходительному правительству соответствует общественное мнение, преследующее подобно инквизиции. Семья, приход, клуб шпионят за вами, отравляют вам жизнь... не знаю, так ли это, но сомнение возможно. История напоминает игру общественных стремлений к независимости личности, к разуму — стремления, которые *как бы* осуществляют, — но осуществление их на самом деле полностью несовместимо с существованием государства... Систола и диастола человеческого круговорота.

Мы откровенно признаемся, что не знаем ответа на этот вопрос... но мы не хотим также соглашаться с решением, окончательно принятым — за нашей спиной.

34-35 *Вместо:* что человечество ∞ А нам // не только, что человечество достигнет когда-нибудь рационального устройства, но что мы накануне того дня, когда потребуем нашу вирильную тогу... Что касается этого последнего утверждения, то нам

Стр. 228

¹ *Вместо:* проходит с // удовлетворится еще маленькими игрушками и

⁵ *После:* пробиться // через мертвецов и призраки

20-24 *Вместо:* Сбитый ∞ все вокруг! // Человек, сбитый с толку, продолжает существовать в мире оптических обманов, теряет инстинкт истины, природный вкус и должен иметь огромный ум, чтобы заметить это, и, быть может, еще более смелости, чтоб пожертвовать всем, если надобно, и вырваться — уже шатаясь и одурманенный болотной лихорадкой, которая его окружает

Стр. 228—229

33-3 *Вместо:* «Что сделал ∞ из школы // N. Lanark был там, во плоти и костях, чтоб ответить всем этим святым Фомам политической экономии,— все туда отправлялись — министры, герцоги, фабриканты, лорды и даже епископы

Стр. 229

⁵ *После:* доктор // II Мак Неб

Стр. 229—230

12-8 *Вместо:* New-Lanark был ∞ N. Lanark пал! // Как же это случилось, что N. Lanark, будучи на вершине своего благосостояния, несмотря на самую энергичную, самую пламенную деятельность Оуэна, лопнул и превратился в школу — несколько менее вульгарную, быть может, чем другие, но очень вульгарную? Разорился

ли Оуэн? Были ли ссоры между учителями, недовольство родителей, неподчинение со стороны детей?.. Ничего подобного — наоборот, фабрика работала превосходно, доходы росли, работники полностью оставляли пьянство и воровство, школа удивляла мир. Какое же несчастье пало на N. Lanark?

В одно прекрасное утро в школу N. Lanark'a вошли две зловещие, одетые в черное, комически важные фигуры в низеньких шляпах и намеренно уродливо скроенных скюртуках. То были два главных и набожных квакера — совладельцы N. Lanark'a. Они насупили брови, увидев плотски веселые лица детей, они помрачнели, услышав, как поют песни *сега мира*, и опустили долу взоры, заметив, что маленькие мальчики были без «невыразимых!» Господи боже ты мой!

Эти несчастные дети не испытывали никаких угрызений совести по поводу грехопадения Адама — и квакеры грустно покачали головой... Оуэн, чтоб отбить первую атаку, ответил с гениальной находчивостью — цифрой приращения доходов. Эта ежегодная цифра была так велика, что остановила на некоторое время религиозное усердие квакеров. Но несколько времени спустя их совесть проснулась вновь — и на этот раз, герои долга и исполненные решимости не уступать, они потребовали уничтожения танцев, светского пения, групповых движений — вместо этого они разрешали детям отдыхать, распевая псалмы.

P. Оуэн покинул управление N. Lanark'ом — и не мог поступить иначе.

Святоши начали свое апостолическое управление (как мы видим из биографии Оуэна) увеличением часов работы на фабриках, — но зато уменьшили заработную плату.

Вот как пал N. Lanark.

Стр. 230

³⁴⁻³⁸

Вместо: сидя ∞ наследства! // сидя у колыбели — мы смотрим на труп ребенка... который много обещал и который угас вследствие алчности опекунов, боявшихся его прав на наследство

Стр. 232

¹⁴⁻¹⁸

Вместо: равняется ∞ отношения // железные дороги, телеграф произвели переворот, не меньший, чем геологические перевороты. Все это возможно, но

²⁸⁻³⁰

Вместо: не позволяет ∞ удовлетворений // усыпляет их и мешает им проснуться. Жизнь, начиная с домашнего очага и кулинарной экономии до очагов патриотизма и политической экономии, есть не что иное, как ряд оптических обманов. Ни одного простого и ясного представления, чтоб отчетливо видеть в этом тумане, ни одного естественного чувства, оставшегося целым, ни одного вопроса, который не был бы вырван из своей почвы и пересажен в другую.

³⁶

Вместо: даже и не наслаждается // окруженный ужасным шумом, не имея минутки, чтоб поразмыслить, проходит озабоченный и полный беспокойства, не наслаждаясь даже.

Стр. 232—233

³⁷⁻⁸

Вместо: семейные сети ∞ покоя // целую паутину, в которую попадает сам, и то, что он называет семейным счастьем, и, если не находит в ней голода или пожизненной каторжной работы, он мало-помалу изобретает те ожесточенные и бесконечные преследования, которые во имя родительской или супружеской любви делают ненавистными священнейшие связи...

Стр. 233

¹⁸⁻¹⁸

Вместо: и с розгами ∞ рассеянности // с такой же серьезностью, детьми, как они сами бывают наказаны няньками...

²⁶ *После:* распадается // у Австрия заворот кишков

²⁸ *После:* он не слушает // Это ясно, зачем хотите вы, чтоб он зря терял свое время? Какой-нибудь

³⁶ *Вместо:* поднесенным Ирландией // с Изумрудного острова

Стр. 234

⁵ *После:* он зябнул // губы были бледны и руки дрожали

¹²⁻¹³ *Вместо:* А без собственного надзора нельзя // Я не жалуюсь на это... я люблю работу...

²⁷⁻³⁰ *Вместо:* проиграет ∞ сын...»// который будет любить иные развлечения, а не подсчет бочонков... и все это богатство уйдет через игорный дом или будуар лоретки, и добрые люди скажут... покачивая головой: «Подумать только, какие родители и какое детище — блудный сын... что за времена, что за времена... Старики отказывали во всем себе (и другим тоже)— чтоб оставить ему кучи золота — а этот негодяй отдал их этой... вы знаете... этой Колумбине...»

Стр. 234—235

³³⁻⁴ *Вместо:* Этим людям ∞ Действительно // Р. Оуэн, проведя им другое употребление сил и другие цели, не мог убедить дурных механиков, а озлобил их. Один лишь разум обладает терпимостью и полон мягкости, снисходительности.

Мы видели, что Оуэн

Стр. 235

⁷⁻⁹ *Вместо:* провожаемый ∞ outlaw // никто не последовал за ним, и благочестивые люди бросали в него камни

В конце концов он точно так же сломил бы себе голову, стукнувшись о *другой порог*, он остался бы одиноким и оплеванным — так же и за *другой створкой раковины*.

¹⁰ *После:* с самого начала // за его юридическую ересь безответственности.

Стр. 236

¹ *Вместо:* у Фурье // у фурьеристов

⁹ *Перед:* Платон // божественный

¹⁶ *Вместо:* Права втеснять не надобно // я же придерживаюсь мнения, что можно бить палками человека, который сам этого требует.

²⁴⁻²⁷ *Вместо:* Это понятно ∞ равновесия // Мыслители, может быть, недостаточно божественны, но они более *человечны*, чем Платон.

Различие этих двух точек зрения огромно.. и юристы отвергают со знанием дела мнение, что кара — это только *мстительная оборона общества*.

³³ *После:* школы // — двери могли бы оставаться еще более широко открытыми

Стр. 237

¹⁻⁵ *Вместо:* Он в отношении ∞ республики // Он не говорит этого о правительствах — вы правы. В этом отношении он был великий дипломат — он был другом всех правительств и всех правителей... королевы, вашигтонского президента, ториев и царя.

⁴ *После:* протестантами // и другими сектантами

²⁰ *Вместо:* гражданского быта // оснований современного общества — *государственным путем*

Стр. 239

²¹ *Вместо:* проекте // коммунизме

²⁶⁻³¹ *Вместо:* Для чего кормят ∞ всемогуща // Почему же членов общины будут «кормить, одевать и *забавлять*», почему будут давать этим каторжникам общего благополучия, этим дисциплинарным батальонам равенства, этим крепостным *Rei publica ad scripti* — цыплят и рыбу..? Вы думаете, *для них самих*, для их собственного

счастья — совсем нет... Их положение будет, судя по декрету, весьма посредственно — «Одна Республика будет богатой, все могущей... великолепной...»

Стр. 240

¹⁰ *Перед:* Один видел // Они исходят из ряда совершенно аналогичных идей.

³⁰⁻³⁴ *Вместо:* и уговаривает ∞ княч // ибо разум никогда не стоял на высоте этого вопроса

Стр. 241

¹⁻² *Вместо:* Государственный быт // она вступала вновь в законное владение. Современное государство

¹⁶ *Вместо:* Для этого // Чтобы взорвать старое здание

Стр. 242

¹³⁻¹⁷ *Вместо:* Бабёф ∞ *Централизации* // Более того. Бабёф и Р. Оуэн встречаются еще раз в общем неуспехе, хотя их трагическая судьба несет на себе печать того же контраста, который был нами отмечен.

Бабёф был гильотинирован. Всепоглощающее чудовище, вскормленное в могиле, куда были брошены в беспорядке трупы языческих цезарей и правоверных католических королей, священников и рыцарей, росло

²¹⁻²² *Вместо:* правительственной ∞ во Франции // сетями государственной полиции — и так целиком выдан администрации, как это было сделано централизацией.

Стр. 243

¹⁷ *Перед:* ...Около того времени // — Кто же однако выигрывал, когда оба теряли?

²¹⁻²² *Вместо:* он обогатил ∞ человеческий // маленький гном думал обогатить человечество

Стр. 244

²⁰ *После:* были бы такие же // — они страстно любят торжество в крови, победа пьянит их

²⁷⁻²⁹ *Вместо:* Вот отгадка ∞ портрет // Вот причина любви — трогательной, трагической, смешной, которую к нему питали массы, народ, даже буржуазия...

Стр. 245

²⁻³ *Вместо:* Я не могу ∞ представляющей // ... В Лондоне часто встречаешь гравюру, представляющую

³⁻⁴ *После:* Ватерлоо // мне невозможно не остановиться, встретив эту гравюру

²⁷ *После:* взятки?! // и вы требуете в качестве взятки — истину

³⁵⁻³⁶ *Вместо:* чего тут ∞ Бабу-ягу или // и теперь поистине настало время убрать в чулан все вместе: сказочного великана-людоеда и

Стр. 246

²¹⁻³² *Вместо:* готова идти ∞ и они идут // которая разворачивается без стеснения — предлагает каждому свои страницы, чтобы включить свой собственный стих — и который останется *его стихом* — лишь бы он был звучен и поэма не прерывалась!

Всюду дремлют целые миры возможностей. Они могут спать миллионы лет, никогда не проснуться — это им безразлично — но это не безразлично человеку. С тех пор как молния и пар перешли от tonans et pluvius <приносящего грома и дождь (лат.)> Юпитера — к человеку — посмотрите, что он сделал с электричеством и со сжатым паром

Стр. 246—247

³⁵⁻¹ *Вместо:* пошлый, религиозный поклеп на нее // это нелепость, изобретенная спиритуализмом

Стр. 247

³³ После: текста // Священного писания, который, признаю, я никогда не мог понять

Стр. 248

¹⁻⁴ Вместо: В мистическом ∞ усмирение // В религии мистическая космогония содержит борьбу, драму — это

⁶⁻⁷ Вместо: потрясающий ∞ наука // это поэзия. Но именно это отбросили доктринеры

²⁸ После: кучей?// — мы этого не знаем

ВАРИАНТЫ

Стр. 600. Гейне превосходно назвал его *le concierge de la philosophie de Hegel*. — Гейне назвал А. Руге «привратником гегелевской школы» («*der Türhüter der Hegel'schen Schule*») в предисловии ко второму изданию своей работы «К истории религии и философии в Германии», вышедшему в свет в 1852 г. Эта же характеристика А. Руге затем повторена Гейне в качестве автоцитаты в его «Признаниях» («*Bekenntnisse*»), опубликованных в 1854 г. во французском журнале «*Revue des Deux Mondes*» (выпуск от 15 сентября), читавшемся Герценом (см. его письмо к М. К. Рейхель от 28 сентября 1854 г.).

Стр. 622. Чернышевский ∞ рассказал этот случай в «Что делать?» с изменениями ∞ обстоятельств. — См. в романе Н. Г. Чернышевского гл. третью (XXIX. «Особенный человек»).

Стр. 626. ...мы напечатали небольшую статейку о смерти Аргиропуло... — в К, л. 155 от 1 февраля 1863 г. была помещена заметка «Кончина П. Аргиропуло (из письма)», в которой сообщалось о его смерти 20 декабря 1862 г. в московской полицейской больнице и давалась краткая характеристика его деятельности.

Стр. 631. ...Головнин, министр просвещения, встретился ∞ Долгоруков ему в ответ... — О своей встрече с А. В. Головниным летом 1865 г. рассказывает сам П. В. Долгоруков в письме к М. П. Погодину от 14/2 октября 1865 г.: «Вы, вероятно, слышали о моей встрече с Головниным в Интерлакене; я ему говорю: „Здравствуйте, Ал. Вас.“, а он мне в ответ: „Мы с вами более не знакомы“. Я ему крикнул: „Ах! ты подлец!“ А он преепокойно продолжал свой путь» («Звенья», I, 1932, стр. 81).

...ходатайствовать о Константине Николаевиче перед Катковым ∞ он поддерживал «Колокол», когда это было нужно. — Газета М. Н. Каткова «Московские ведомости», выступая против всяких уступок либералам и отстаивая прямолинейно реакционный курс государственной политики, критиковала с этих позиций Константина Николаевича за его якобы либеральную политику «умиротворения» поляков в бытность наместником Польши в 1862—1863 гг. и намекала на будто бы имевшуюся у него связь с «Колоколом».

Стр. 632. ...а уже Шедо-Ферротти достанется от Сусанина. — Герцен, по-видимому, имеет в виду ту резкую критику, которой подверг М. Н. Катков на страницах «Московских ведомостей» вышедшую в 1864 г. брошюру Шедо-Ферротти (Ф. И. Фиркса) о польском вопросе «*Que fera-t-on de la Pologne*» (см. «Московские ведомости» от 5, 6 и 29 сентября 1864 г.). Брошюра Шедо-Ферротти выражала взгляды либерально-бюрократической «партии» сторонников Константина Николаевича, признававших необходимым проведение некоторых реформ для привлечения польского общества на сторону царизма. Несмотря на то, что Шедо-Ферротти активно участвовал в походе против Герцена и в этой брошюре признавал заслуги Каткова в борьбе против русского революционного движения и, в частности, Герцена, Катков, враждовавший с «константиновцами», обвинял

Шедо-Ферроти в солидарности с Герценом в польском вопросе. Герцен и Н. П. Огарев очень интересовались этой полемикой в лагере своих противников (см. письмо Огарева с припиской Герцена от 1 октября 1864 г. к Е. В. Салиас — ЛН, т. 61, стр. 836—838).

О финале дела Серно-Соловьевича ∞ *Процесс составляет, говорят, ч е т ы р н а д ц а т ь томов.* — «Процесс 32», или «Дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» разбиралось в сенате в 1864 г. В архиве хранится восьмитомное дело, насчитывающее более трех тысяч страниц (см. М. К. Л е м к е. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб., 1908). Н. А. Серно-Соловьевич был приговорен к вечной ссылке на поселение в Сибирь, где умер в феврале 1866 г. Н. А. Травверс сошел с ума и умер в тюрьме еще до вынесения приговора. Сенатор М. М. Корниолин-Пинский, о котором пишет Герцен, намекая на какую-то его скандальную семейную историю, участвовал в разборе дела и проявил при этом особую грубость и жестокость.

Серно-Соловьевич ∞ веде, во всем вел себя удивительно. — Об этом ярко свидетельствует его письмо, переправленное из Петропавловской крепости в первой половине 1864 г. и адресованное Герцену и Н. П. Огареву (см. ЛН, т. 62, стр. 560—561).

...Михайлов и Чернышевский очень больны... — Н. Г. Чернышевский и М. И. Михайлов находились в 1865 г. на каторге в Кадинском руднике Нерчинского округа. Михайлов был тяжело болен и 3 августа 1865 г., до опубликования этого очерка в «Колоколе» (20 августа 1865 г.), умер; слухи о тяжелой болезни Чернышевского не соответствовали действительности.

Слишком десять лет тому назад сравнивал я так Лувелева Фоблаза с Орасом Ж. Санд. — В статье «Оба лучше» (1856) — см. т. XII наст. изд.

ОБЗОР РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ОТЗЫВОВ О «БЫЛОМ И ДУМАХ»

В современной Герцену публицистике и критике появилось очень мало отзывов о «Былом и думах». В России имя Герцена находилось под запретом и сохранившиеся отзывы содержатся главным образом или в зарубежной вольной печати, или в эпистолярных материалах. В иностранной же прессе «Было и думы» как рассказ о жизни Герцена являлись по преимуществу отправной точкой для суждений о его деятельности как революционера и мыслителя, удельный вес которой значительно перевешивал в глазах иностранных наблюдателей литературно-художественный интерес, представляемый «Былым и думами».

Так как отзывы русских писателей и критиков о тех или иных частях «Былого и дум» широко и многократно использовались в герценоведческой литературе, здесь дается лишь краткий обзор их.

В № 9 «Современника» за 1856 г. появилась статья Н. Г. Чернышевского «Стихотворения Н. Огарева», в которой, так же как и в гл. VI «Очерков гоголевского периода русской литературы», в завуалированной форме содержался отклик на напечатанные в «Полярной звезде» главы «Былого и дум». Чернышевский обратил внимание читателей именно на те мотивы «Былого и дум», которым в опубликованных главах действительно принадлежало центральное место. Это — свободолюбивые революционные настроения молодого Герцена и Огарева и идейные искания передовых русских людей 40-х годов. Эти же публикации «Былого и дум» вызвали сочувственные и очень тонкие в эстетическом отношении замечания И. С. Тургенева в его письмах к Герцену за 1856—1857 гг. В письме от 28/16 февраля 1857 г. Тургенев упоминает о том, что Некрасов «был в восхищении от последнего отрывка твоих мемуаров» («Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Женева, 1892, стр. 106).

После смерти Герцена в письмах к П. В. Анненкову (от 30/18 октября 1870 г.) и М. Е. Салтыкову-Щедрину (от 19 января 1876 г.) Тургенев дал глубокую, содержательную характеристику «Былого и дум» и их художественного значения.

С другой стороны, как показывают письма Т. Н. Грановского и К. Д. Кавелина (август 1857 г.) к Герцену, а также мемуары Б. Н. Чичерина, либеральные круги ценили в «Былом и думах» преимущественно семейно-бытовые картины и биографические подробности, игнорируя идейную направленность произведения. Б. Н. Чичерин писал: «„Былое и думы“ я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно изображено в нем прошлое» (Б. Н. Ч и ч е р и н. Путешествие за границу, М., 1932, стр. 67).

Из выступлений русских авторов, появившихся за рубежом, следует отметить статью Н. И. Сазонова «Литература и писатели в России. Александр Герцен» («La Gasette du Nord», № 21, от 26 мая 1860 г., перевод помещен в ЛН, т. 41—42, стр. 194—201), статью Н. П. Огарева «Памяти Герцена» (так наз. «нечасовский» «Колокол», 1870, № 3) и вышедшую в 1860 г. анонимно отдельной брошюрой статью «А. И. Герцен. Несколько слов от русского к русским» (перепечатано в ЛН, т. 41—42, стр. 164—177), автором которой, по предположению Б. П. Козьмина, является В. А. Зайцев. Авторы этих статей сосредоточивают свое внимание на наиболее существенных сторонах «Былого и дум».

Появление в 1855—1862 гг. английских, немецких и французских переводов «Былого и дум», а также публикация в периодической печати отрывков из этой книги принесли Герцену большую и прочную популярность на Западе. Многочисленные критические статьи и рецензии, напечатанные в западноевропейских газетах и журналах различных направлений, почти единодушно отмечали художественные достоинства этой книги и ее огромное познавательное значение. Не ограничиваясь разбором «Былого и дум», рецензенты уделяли большое место в своих статьях изложению биографии Герцена и характеристике его авторской и издательской деятельности. Во всех без исключения отзывах приводились обширные цитаты из «Былого и дум», и некоторые критические статьи представляли собой, в сущности, сокращенную перепечатку книги.

1 сентября 1854 г. во французском журнале «Revue des Deux Mondes» появилась статья будущего переводчика «Былого и дум» на французский язык Делаво, озаглавленная: «Годы тюрьмы и ссылки русского писателя». Эта статья была вызвана выходом в свет первого русского издания «Былого и дум» («Тюрьма и ссылка», Лондон, 1854). Несмотря на поверхностный характер и «глухо-консервативное», по словам Герцена, направление, статья Делаво (так же, как другая статья его, напечатанная несколько ранее и посвященная философским и беллетристическим произведениям автора «Былого и дум» — см. «Revue des Deux Mondes» от 15 июля 1854 г.) сыграла немалую роль в популяризации имени Герцена и его сочинений на Западе: к мнениям «Revue des Deux Mondes» внимательно прислушивалась вся европейская пресса, и публикация этих статей несомненно укрепляла литературную репутацию Герцена.

По поводу этой статьи Герцен писал не без иронии, что «Revue des Deux Mondes», «этот целомудреннейший и чопорнейший журнал, поместил полкниги в французском переводе» (см. т. IX наст. изд., стр. 266). В другом месте он также упомянул об «очень лестной статье „Revue des Deux Mondes“», подчеркивая при этом, что не разделяет точек зрения Делаво.

Превозносил «Былое и думы» за «спокойное и искреннее изложение» и выражая в то же время сожаление о том, «что книга эта не проникнута, наподобие сочинения Сильвио Пеллико, духом христианского смирения, Делаво тенденциозно противопоставлял «Былому и думам» революционно-

публицистические произведения Герцена, которые объявлял не достойными его таланта, и призывал русского революционера отказаться от сочинения «эфемерных памфлетов», проникнутых духом партийности, и подняться «в более безоблачный мир», превратившись из трибуна в беспристрастного наблюдателя, сторонника постепенных реформ. Делаво характеризовал Герцена как писателя, стоящего в первых рядах современной русской литературы. «Для тех, кто имеет представление о литературной деятельности Герцена, начиная с его первых московских опытов и кончая пребыванием в Лондоне, — писал Делаво, — есть все основания думать, что его борьба и все испытания, перенесенные с мужеством, не прошли бесследно для его таланта».

В благожелательном духе была выдержана и статья «умного, ученого» (как характеризовал его Герцен) лондонского критико-библиографического журнала «The Athenæum» (№ 1419 от 6 января 1855 г.). Подробно излагая историю русско-английских культурных связей и с большой симпатией и уважением отзываясь о Герцене и его издательской деятельности, рецензент писал о «Тюрьме и ссылке»: «Это повествование имеет особенную ценность. Во многих отношениях оно представляет параллель или дополнение к „Prigioni“ Сильвио Пеллико — но с той заметной разницей, что г. Герцен еще полон гордости своим жизненным путем. В отношении литературных достоинств сочинение русского писателя кажется нам гораздо более высоким, чем сочинение итальянца. Дарование Герцена никогда не отрицалось теми, кто знаком с его сочинениями, а эта книга имеет преимущество перед всеми другими его произведениями, в которых он касается политики, и написана она в умеренном духе и без преувеличений. Она содержит в себе очерки характеров, полные силы, наряду с живыми описаниями событий и ярким изображением жизни».

Выход в свет осенью 1855 г. английского перевода «Тюрьмы и ссылки», под заглавием «My exile in Siberia» («Моя ссылка в Сибирь») явилось заметным событием в литературной жизни Англии, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы о книге на страницах влиятельнейших столичных и провинциальных изданий. Некоторые из этих рецензий, напечатанных, по английскому обычаю, анонимно, сохранились в личном архиве Герцена (см. ЛН, т. 63, стр. 793—830). «...Шум здесь crescendo об книге, — писал Герцен из Лондона М. К. Рейхель 12 ноября 1855 г., — решительно все журналы — хвалят, ругают, но говорят». Об этом издании лондонская литературная газета «The Critic» в статье, напечатанной в номере от 15 октября 1855 г., писала: «Талантливость сочинений Герцена, его стиль, легкий, плавный и приятный, могли бы с полным правом быть замечены при любых обстоятельствах, но произведения его вызывают особый интерес еще и потому, что принадлежат перу русского писателя и отражают характерные свойства его ума». Рецензент отмечал, что автор «Тюрьмы и ссылки» «наделен всеми свойствами, отличающими русский ум, — провицательностью, глубиной анализа, живостью мысли, гибкостью и выразительностью, блестящей остротой сарказма». «Сила Герцена, — писал далее рецензент, — заключается в его подлинной человечности; вера и надежда никогда не покидают его; он искренне стремится ко всеобщему благу и считает его осуществимым; он беззаветно предан своему делу и знает, чего именно хочет».

«Герценовские портреты восхитительны, — писал тот же рецензент, — они набросаны и отделаны карандашом подлинного мастера». «Нам редко приходилось читать повествование, так сильно возбуждающее интерес к автору, как герценовская „Ссылка в Сибирь“, — заявлял далее рецензент, — картина русской жизни свежа и оригинальна, начертана без преувеличений и отмечена несомненной печатью правды. Эта книга достойна прочтения. Она является страшным свидетельством против правительства, объявившего войну лучшим умам России».

Журнал «The Athenæum», уже цитированный нами выше, в своей статье, посвященной английскому изданию (№ 1460 от 20 октября 1855 г.), подробно изложив содержание первых частей «Былого и дум», заявлял, что «эти удивительные и своеобразные мемуары могут дать читателю отчетливое представление о русской общественно-политической жизни. Произведение Герцена, написанное с простодушием и мастерством и безусловно правдивое, вне всякого сомнения, намного выше по интересу, чем девять десятых всех существующих произведений о России».

Такого же мнения о книге Герцена придерживались и рецензент газеты «The Atlas». Называя Герцена наиболее замечательным представителем молодой России, человеком, «глубоко опечаленным недостатками и страданиями своей родины, но всегда глядящим на нее с любовью и надеждой», рецензент подчеркивал, что «чисто русские достоинства Герцена придают его книге особую ценность» и что она может дать внимательному читателю самое полное представление о жизни в самодержавной России.

Столь же высокую оценку книга получила на страницах и других английских газет и журналов.

12 ноября 1855 г. известный итальянский революционер и друг Герцена Аврелио Саффи писал ему из Манчестера: «Я проследил с великим удовольствием критику или, точнее сказать, дань удивления английских журналов вашей книге. Я прочел ее всю и сам всей душой чувствую, что другого приема и не могло быть. Это — творение, которое останется, в то время как все проходит, все вымирает в этом поверхностном и хвастливом веке. В вашей книге слово есть одновременно и мысль, и чувство, и действие — вот секрет ее успеха» (*Л VIII*, стр. 242).

«Manchester Guardian», весьма популярная либеральная газета, в более поздней статье заявляла, что «Автор „Моей ссылки“ приобрел почетное место на английском литературном поприще. Наиболее уважаемые критические органы, которые нельзя обвинить в сочувствии к демократической политике, принесли щедрую дань талантности произведения, изданного на нашем языке. Появлению в свет „Моей ссылки“ способствовали самые благородные акушеры, и взыскательные обозреватели отметили, что этот иностранец здоров и жизнеспособен и никому не уступит в этом отношении. Преемники Кольберна (известного издателя), разумеется, не относят это произведение к числу своих неудач» (номер от 4 января 1858 г.).

Подобный успех книги русского революционера как у читателей, так и у рецензентов, разумеется, не мог не вызвать озлобления реакционной прессы. С резко отрицательным отзывом о «Былом и думах» выступила 8 ноября 1855 г. махрово-консервативная газета «The Morning Post», пытавшаяся скомпрометировать Герцена в глазах английских читателей вздорными утверждениями об антипатриотическом характере его книги и каких-то корыстных мотивах, заставивших Герцена выступить за границы с произведением, якобы чернящим Россию и русский народ.

Как известно, английское издание «Былого и дум» вышло под заглавием, самовольно измененным издателями на «My exile in Siberia» («Моя ссылка в Сибирь»). Из текста же самой книги явствовало, что Герцен никогда не бывал в Сибири. Воспользовавшись этим, лондонская газета «The Morning Advertiser», «орган питейных домов», по выражению Герцена, подняла против него клеветническую кампанию, обвиняя его в мошеннических приемах привлечения читателей. В «Былом и думах» Герцен рассказывает об этом подробно (см. наст. том, стр. 166—167).

На страницах той же газеты «Morning Advertiser» было напечатано большое открытое письмо неизвестного читателя, подписавшегося «Довольный, а не обманутый». «Милостивый государь, — писал издатель автор этого письма, — ваш корреспондент, подписывающийся „Обманутый“, не удовлетворенный дарованной ему привилегией печатать свое личное злопыхательство на г. Герцена и его последнее сочинение, идет еще

далее и включает в круг своего презрения или сострадания введенную в заблуждение публику и журналистов. Вы разрепите мне, я уверен в этом, протестовать против наглого утверждения, что каждый читатель „Мосей ссылки в Сибирь“ — либо дурак, либо одураченный.

Тому, кто берется обличать чужие ошибки, надлежит быть особенно осторожным — как бы самому не создать ложного впечатления. Ваш корреспондент, разоблачая „литературную ложь“ заглавия, не сомневается однако в правдивости самого рассказа — наоборот, он извлекает из него все касающееся автора, но самым несправедливым образом и с очевидным намерением передать содержание книги совершенно искажив ее подлинный характер. Г-н Герцен вовсе не утверждал, что он был сослан в Сибирь. С другой стороны, надо, очевидно, полагать, что составители карт умышленно искажают географию, помещая Вятку у границы Сибири. Переезд во Владимир был ему дозволен как смягчение наказания, и если бы г. Герцен в самом деле пытался убедить читателей в том, что Новгород находится в Сибири, он этим бы показал, что считает невежество британской публики равным чудовищному невежеству, проявленному его оппонентом. Он не был четыре года императорским российским советником, а был в Вятке скромным служащим в губернской канцелярии, где ему приходилось общаться с людьми самого низшего круга. Молодого человека, который не совершил никакого преступления, разлучают с близкими, отрывают от общества, в котором он привык вращаться, высылают в одну из глухих губерний громадной российской пустыни. Это ли не ссылка? Каким еще словом можно обозначить подобное положение? Рассказ г. Герцена булет и впрямь возбуждать благороднейшие симпатии журналистов и публики не потому, что Вятка находится или не находится в Сибири, а потому, что автор был жертвой как крупных, так и мелких преследований.

Я открыл книгу г. Герцена с известным предубеждением, являвшимся следствием моего разочарования в сочинениях других русских писателей, придерживающихся либеральных воззрений. Сведения, которые я почерпнул из нее, так заинтересовали меня — она воссоздала передо мной все фазы русской жизни, ее внутреннюю динамику, нынешнее состояние и перспективы на будущее, — что я невольно стал искать другие произведения того же пера. Ваш корреспондент требует произвести „более глубокое расследование“ — что ж, это не трудно! Мы можем соглашаться или не соглашаться с политическими взглядами Герцена, но нельзя его винить ни в скрытности, ни в лицемерии, ни в отсутствии прямоты при выражении своих взглядов. Англичане, которые так тщеславятся своей личной свободой мысли и действия, своей свободой печати, не станут поддерживать кампанию против первого русского, который отправился в добровольное изгнание, чтоб основать вольную русскую печать с целью просветить своих порабощенных сограждан.

Милостивый государь, у меня нет никаких личных побуждений для ведения полемики, кроме интереса читателя к писателю, чьи произведения доставили ему пользу или удовольствие. Книга г. Герцена достигла бы нынешней своей популярности и под всяким другим названием, и этот успех, возможно, и вменяют ему в преступление. Позвольте же мне еще раз выразить мой протест, заверяя вас, что многие читатели присоединятся к этому моему заявлению.

Д о в о л ь н ы й, а н е о б м а н у т ы й.

Upper Tuls Hill
Декабря 3-го 1855 г. »

В №№ 262—263 реакционной аугсбургской газеты «Allgemeine Zeitung» 19—20 сентября 1855 г. была напечатана большая статья, посвященная разбору немецкого издания «Былого и дум» («Aus den Memoiren eines

Russen», Hamburg, 1855), озаглавленная «Картины северной России». Анонимный автор подробно изложил содержание книги Герцена и его биографию, привел множество цитат, отмечая при этом, что «Герцен зарисовывает быстрыми и остроумными штрихами весь этот мир полицейских, судебных следователей, арестантов, жандармов, с которыми вступил в соприкосновение в описываемый период своей жизни; в его рассказе переплетается множество характеристических эпизодов». Довольно благожелательная по своему характеру статья заканчивается сообщением об издании Герценом первой книжки «Полярной звезды».

Выходившая в Лондоне на немецком языке газета «Londoner Deutsches Journal...» в большой статье, помещенной в № 1 от 4 августа 1855 г., дала очень высокую оценку «Былому и думам», особенно отмечая «срелигиозный, торопливый, гневный и пламенный стиль Герцена, делающий правдоподобным слух, что автор родился во время московского пожара».

В предисловии к третьей части «Былого и дум» Герцен писал: «Один парижский рецензент, разбирая, впрочем, очень благосклонно („La Presse“, 13 oct. 1856), третий томик немецкого перевода моих „Записок“, изданных Гофманом и Кампе в Гамбурге, в котором я рассказываю о моем детстве, прибавляет шутя, что я повествую свою жизнь, как эпическую поэму: начал *in medias res* и потом возвратился к детству» (см. т. VIII наст. изд., стр. 408). Упомянутая Герценом статья принадлежала перу известного в свое время литературного критика Огюста Неффцера, подробно изложившего содержание «Былого и дум». Неффцер особенно подчеркивал, что книга Герцена «является красноречивым ходатайством в пользу освобождения крестьян». «Одна лишь страничка Герцена, — писал Неффцер, — дает большее представление или, вернее, гораздо больше обнаруживает внутреннюю жизнь страны, национальную душу народа, сущность вещей, чем длинные кропотливые писания других. Правда сверкает в его умных воспоминаниях со всей прелестью неожиданности <...> В воспоминаниях Герцена особенно определенно бросается в глаза то, что в России под кажущейся неподвижностью царит глубокая, интенсивная, интеллектуальная жизнь, богатая и разносторонняя работа мысли. Выясняется, что ни одна идея, которая волнует век, не остается чуждой России; все научные и философские системы нашли в ней своих компетентных и убежденных сторонников».

В известном французском биографическом словаре Вапро «Былое и думы» охарактеризованы как «интересное повествование, в которое включены многие любопытные очерки современной жизни и злоупотреблений администрации» («G. Vapreaux. Dictionnaire universelle des contemporains», Paris, 1858, p. 872—873).

В содержательном предисловии редакции «Le Courrier de l'Europe» к опубликованному ею 3 января 1857 г. отрывку из III тома «Былого и дум» отмечалось, что «Былое и думы», «будучи опубликованными на трех языках — русском, немецком, английском, не только были увенчаны тройным успехом, но еще до издания на французском языке уже известны и вызывают восхищение во Франции», и выражалась надежда, что французские читатели смогут вскоре познакомиться с этим сочинением Герцена не только по цитатам из литературно-критических статей, а в полном переводе. И действительно, перевод первых частей «Былого и дум», выполненный Делаво, был к этому времени уже готов, и переводчик, при содействии Мишле, принимал энергичные меры к его изданию в Париже.

Первый том перевода вышел в начале 1860 г. «со скверными картинками, — как писал Герцен сыну 25 февраля 1860 г., — и с титулом еще сквернее: „Le Monde russe et la Révolution“ („Русский мир и революция“). Это издание было с большой благожелательностью встречено французскими читателями. Ж. Мишле писал Герцену из Парижа 4 июня 1861 г.: «Мой дорогой Герцен, я только что прочитал вашу очаровательную книгу с са-

мым живым интересом. В ней сотня вещей, трепещущих жизнью; маленькие евреи, встреченная вечером женщина исторгают слезы. Донельза трогательна любовная встреча на кладбище и т. д. Это меня привело к самой глубокой ваших наиболее жестоких воспоминаний, — сердце заболело от них... Я также сохранил драгоценное воспоминание об этой очаровательной женщине, — тот набросок портрета Бакунина, который она была так добра для меня сделать.

Да вознаградит вас родина за ваши великие усилия для ее возрождения; пусть ваш огромнейший успех хоть несколько возместит за то, что вы перестрадали <...> Тысяча благодарностей за вашу последнюю посылку. Все, что исходит из-под вашего пера, носит на себе яркую печать оригинальности, остроумной и красноречивой» (LXI, стр. 131).

Со столь же восторженным письмом обратился к Герцену и В. Гюго 15 июля 1860 г.: «Дорогой соотечественник по изгнанию, — ибо в настоящее время изгнание является отечеством честных душ, — жму вашу руку. Благодарю вас за прекрасную книгу, которую вы мне прислали. Ваши воспоминания — это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели. Вы умеете хорошо мыслить и хорошо страдать — два высочайших дара, какими только может быть наделена душа человека. Из глубины сердца поздравляю вас.

Я только сожалею, что в этой прекрасной и хорошей книге есть одна страница (218) <см. т. VIII наст. изд., стр. 151—152; ср. также комментарий к стр. 45 в т. IX наст. изд.>: более, чем кто-либо другой, вы достойны были дать правильную оценку поколению 1830 г., которое совершило во Франции революцию событий, революцию идей, которое одним порывом породило социализм и романтизм, т. е. новый мир с его глаголом, и которое ныне продолжает свое апостольство сопротивлением и свое священнослужение — изгнаничеством. Наставет день, когда эта идея справедливости захватит вас и вы прославите молодое поколение 1830 года, клеймя в то же время молодое поколение 1860 г. За исключением этой страницы, повторяю, я аплодирую вашей книге с начала до конца. Вы заставляете ненавидеть деспотизм, вы способствуете уничтожению чудовища; в вас виден неустранимый боец и великодушный мыслитель. Я с вами!» (LXIV, стр. 795—796).

Отзывы прессы об этом издании были не менее благоприятны. 21 января 1860 г. в лондонской газете «The Leader» в отделе «Из иностранных книг» появилась рецензия на французский перевод «Былого и дум». ярко характеризуя видное положение, занимаемое Герценом среди политических писателей настоящего времени, автор рецензии отмечает «свежесть эмоций» Герцена и «проникновенность его философского мышления», добавляя, что «Гёте мог бы усмотреть в нем яркое подтверждение теории грядущей универсальной литературы. Из Лондона этот один человек оказывает такое влияние на Россию, примера которому публицистическая литература еще никогда не давала; и все, что он делает и создает для России, в то же время становится достоянием остальной Европы. Ему удалось стать в Англии творцом свободной прессы для России, прогрессу которой он мощно содействует, и вся Европа с большим интересом и сочувствием смотрит на все возрастающую энергию его деятельности».

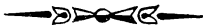
26 марта, 2 и 12 мая 1862 г. в парижской газете «Le Siècle» была напечатана обширная статья Анри Мартэна, посвященная французскому изданию «Былого и дум». «Чтобы познакомить нас с Герценом, как с человеком и писателем, — пишет Мартэн после пространной характеристики издательской деятельности русского изгнанника, — Делова выбрал для перевода собственно не политическую его работу, а воспоминания его личной жизни. Выбор удачен. Именно отсутствие системы и непосредственной цели в „Воспоминаниях“, написанных с простотой и искренностью, внушают такое большое доверие и пробуждают громадный интерес». Давая оценку правди-

вomu воспроизведению Герценом русской жизни, автор рецензии отмечает, как особенно удачные, портреты Тюфяева, Михаила Орлова и Николая I — «этого всемогущего правителя с его бюрократической посредственностью и железной волей». «Былое и думы», по утверждению Мартэна, вызывают у читателя сильнейшее отвращение к русской правительственной системе.

В ноябрьской книжке французского журнала «Revue Moderne» за 1866 г. (т. XXX) появилась большая статья Шарля дю Бузе (Bouzet), озаглавленная «Герцен»; значительное место автор статьи уделил «Былому и думам». «Это наблюдатель,— пишет рецензент о Герцене,— полный беспощадной прозорливости, и виденное он рассказывает с энергичной сдержанностью, скрывая презрение и умеряя гнев. Медленно ли расшифровывая его сочинения, написанные на трудном для нас языке, или же знакомясь с ними при помощи перевода — угадываешь сильного писателя, энергическая мысль и сосредоточенная страсть которого увлекают нас и не дают возможности оторваться от книги, не дочитав ее до конца. Только русские в силах определить его место в ряду их писателей. Быть может, они скажут, что в наши дни Александр Герцен является наиболее оригинальным умом и первым писателем России».

Публикация отрывков из французского перевода «Былого и дум» в «Kolokol» 1868 г. вызвала ряд восторженных отзывов у французских читателей. По свидетельству Г. И. Вырубова и других лиц, приведенному самим Герценом в письме к Н. П. Огареву от 27 января 1869 г., «в Париже, т. е. в молодом Париже, большую сенсацию сделали отрывки из „Был(ого) и дум“ в „Колоколе“». «Э. Кине,— писал он в другом письме,— всячески настаивает на том, чтобы я издал на французском языке продолжение моих воспоминаний. Он предсказывает большой успех». В письме к дочери от 8 июля 1869 г. Герцен сообщал, что читал накануне у Э. Кине отрывки из «Былого и дум», отмечая, что Кине, решительно сделавшийся его почитателем, «в восторге требует издания». С не меньшим энтузиазмом отнесся к этим отрывкам из «Былого и дум» и В. Гюго, который, по словам самого Герцена, «безмерно хвалил» французский язык его статей и так же решительно, как Кине, советовал издавать продолжение «Былого и дум».

Как известно, первые попытки Герцена найти издателя для французского перевода следующих томов «Былого и дум» закончились неудачей. Дальнейшим шагом в этом направлении помешала преждевременная смерть Герцена.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абаддон (Абадонна) (библ.) — 13, 248, 590
- Абердин (Эбердин) (Aberdeen) Джордж Гамильтон Гордон, лорд (1784—1860), англ. политический деятель, консерватор — 451, 677
- Абу (About) Эдмон Франсуа (1828—1885), франц. писатель и публицист — 644
- Авраам (библ.) — 148, 223, 263, 570, 673, 697
- Агарь (библ.) — 263, 697
- Агриппина Младшая (16—59), жена римского императора Клавдия — 545
- Адам (библ.) — 248, 252, 418, 575, 590, 754, 756
- Адамс, англ. публицист, автор брошюры, выпущенной в связи с покушением Орсини на Наполеона III — 110
— «Тираноубийство — законно» (Tiranicide is justifiable) — 110
- Аддисон Джозеф (1672—1719), англ. писатель — 236, 693,
— «Катон» — 693; Катон — 236, 693
- Адлерберг Владимир Федорович, граф (1790—1884), министр двора с 1852 г. — 296, 467, 546, 612, 635, 704, 705
- Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист и поэт, славянофил — 300, 525, 746—748
- Александр Македонский (356—323 до н. э.) — 248, 590, 711
- Александр I (1777—1825), император — 52, 129, 514, 668
- Александр II (1818—1881), император — 301, 314, 336, 339, 357, 358, 373, 424, 425, 466, 535, 536, 552, 553, 559, 631, 632, 675, 701, 712, 719, 734, 750
- Алкивиад (ок. 451—404 до н. э.), политический деятель древних Афин. Обвиненный в святотатстве, бежал в Спарту и сражался на стороне спартанцев против родины — 198, 608
- Аллен Уильям, квакер, совладелец основанной Р. Оуэном фабрики в Нью-Ланарке — 229, 575, 692, 755, 756
- Альбер (настоящая фамилия Мартен) Александр (1815—1895), франц. социалист, участник февральской революции 1848 г., член временного правительства, вместе с Луи Бланом возглавлял комиссию по труду — 198, 199, 667
- Альберт Эдуард, принц Уэльский (Вельский) (1841—1910), король Англии под именем Эдуарда VII с 1901 г. — 255, 269, 291, 695
- «Альманах изгнания» («Жерсейский альманах», «Almanach de l'exil»), сборник франц. эмигрантов на о-ве Джерси — 45, 157, 594
- Амедей, герцог Аостский (1845—1890), сын Виктора Эммануила, короля Италии — 471, 735
- Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.), древнегреческий философ; обвиненный в безбожии, бежал из Афин — 207, 689
- Андреев Николай Николаевич (1824—1888), вице-адмирал, участник Севастопольской обороны, командир фрегата «Олег» в 1861 г. — 305, 706

- Анна папиха — см. Иоанна
- Анненков Павел Васильевич (1812—1887), критик и мемуарист — 518, 519, 705, 746, 761. — «Парижские письма» — 518, 746
- Антонмарки Франческо (1780—1838), врач из Флоренции, с 1818 г. был при Наполеоне I на о-ве Св. Елены — 496
- Аполлон (миф.) — 324
- Аполлоний (Аполлон) Тианский (I в.), представитель религиозно-мистической школы (новопифагорейской), борющейся против христианства — 398
- Аппонии Родольф (1812—1876), австр. дипломат, с 1860 г. посол в Лондоне — 284, 700
- Араго Этьенн (1803—1892), франц. журналист и политический деятель, участник революции 1848 г., эмигрант, вернулся в Париж по амнистии 1859 г. — 355, 378, 379
- Арачьев Алексей Андреевич, граф (1769—1834) — 239, 583
- Аргироуло Перикл Эммануилович (1839—1862), русский революционер 60-х годов — 626, 759
- Ариосто Лодовико (1474—1533), итал. поэт — 219, 565, 691
— «Неистовый Роланд» — 219, 565, 691
- Аристотель (Стагирит) (384—322 до н. э.) — 207, 689
— «Метафизика» — 207, 689
- Аргольдт Иван Николаевич, член военного революционного кружка среди русских войск в Польше, расстрелян в 1862 г. — 304, 705
- Арим Беттина (Элизабет) фон (1785—1859), нем. писательница — 445, 731
- Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — 205
- Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892), писательница, друг Герцена — 527, 748
- «Атений» — ежемесячный журнал критики, современной истории и литературы, изд. Е. Ф. Корш в 1858—1859 гг. — 514, 743
- «Атлас» («The Atlas»), англ. газета — 29, 763
- «Аугсбургская газета» — см «Всеобщая газета»
- Ауэрбах Бертольд (1812—1882), нем. писатель, автор рассказов из жизни шварцвальдских крестьян — 172, 604
- Афина Паллада (миф.) — 465, 552, 558, 572, 634, 733
- Афродита (миф.) — 465, 552, 558, 634, 733
- Ахилл (миф.) — 220, 283, 567
- Бабеф Франсуа Ноэль Гракх (1760—1797) — 40, 239—244, 584—587, 694, 758
- Бадер (Baader) Франц (1765—1841), реакционный немецкий философ-богослов — 171
- Базаров, действ. лицо в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (см.)
- Базилио, врач Гарибальди, сопровождавший его в Англию в 1864 г. — 271
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 205, 211, 218, 450, 565, 689, 691, 741
— «Дон Жуан» — 205, 689
— «Мазепа» — 741
— «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Childe Harold's Pilgrimage) — 218, 691; Чайльд-Гарольд — 218, 691
- Бакунин Михаил Александрович (Жюль Элизар) (1814—1876) — 152, 157—160, 327, 353—365, 369—373, 377, 381, 382, 388, 389, 405, 415, 435, 533, 534, 601, 623—626, 627, 628, 678, 679, 680, 682, 683, 714—721, 726, 766
— «Исповедь» — 357, 718
- Бакунина Барвара Александровна (рожд. Муравьева) (ум. 1864), мать М. А. Бакунина — 358, 623
- Бальзак Оноре де (1799—1850) — 181
— «Человеческая комедия» — 181
- Барбаросса, прозвище Фридриха I (ок. 1123—1190), император т. н. Священной Римской империи германской нации (с 1152) — 168, 603
- Барбес Арман (1809—1870), франц. революционер, один из

- руководителей парижского восстания 1839 г. В 1854 г. был амнистирован и эмигрировал — 32, 49—51, 81, 92, 354, 662, 667
- «Deux jours de condamnation à mort» — 50, 667
- Бароне (Baronnet), секундант Курне в дуэли его с Бартеlemi (см.) — 87, 90—94, 140, 141
- Бартеlemi Эммануэль (ок. 1820—1855), франц. рабочий-механик, участник революции 1848 г., эмигрировал в Англию — 78—81, 83—91, 93—105, 111, 140, 596—598, 655, 670, 671
- Барьер (Bagrière) Теодор (1823—1877), франц. драматург, пьесу «Les filles de marbre» написал совместно с Л. Тибу (см.) — 459, 732
- «Мраморные девы» («Les filles de marbre») — 732; Марко (Марго) — 459, 636, 731, 732
- Бауэр Бруно (1809—1882) у Герцена ошибочно Эдгар Бауэр), левогегельнец в 40-х годах, автор ряда работ по истории христианства. После революции 1848 г. перешел в ряды консерваторов — 156, 682
- «Россия и германский мир» (Russland und das Germanenthum) — 156, 682
- Бахметев Павел Александрович, русский помещик, покинувший в 1857 г. Россию — 344—349, 621, 622, 715
- Баяр (Bayard) Жан Франсуа (1796—1853), франц. драматург, воевал «Voquillon à la recherche d'un père» написал совместно с Дюмануаром (см.) — 526
- «Voquillon à la recherche d'un père» — 526
- Белинский Виссарион Григорьевич (В. Б.) (1811—1848) — 128, 287, 359, 412, 498, 517, 519, 522, 527, 529, 710, 727, 729, 740, 744—747
- «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» — 518, 745—747
- «О жизни и сочинениях Кольцова» — 518, 745
- «Николай Алексеевич Полевой» — 747
- Бем Юзеф (1795—1858), участник польского национально-освободительного движения 1830—1831 гг. В 1848—1849 гг. командовал венгерской революционной армией в Трансильвании — 20, 661
- Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1783—1844) — 163
- Беннигсен Леонтий Леонтьевич, барон (1745—1826), генерал-лейтенант, участник дворцового переворота 1801 г. — 52, 668
- Бентам Иеремия (1748—1832), англ. юрист и философ — 236, 581
- Беранже Пьер Жан (1780—1857) — 460, 732
- Лизетта — 459, 732
- Бернар Симон Франсуа (1817—1862), врач, участник революции 1848 г. в Париже — 106, 107, 109—113, 115, 117—120, 165, 672, 673
- Бернацкий Алоизий Проспер (1778—1855), участник польского восстания 1830—1831 гг. — 124, 126, 129—132, 673, 675, 676
- Беррийская герцогиня Каролина Фердинанда Луиза (1798—1870), мать графа Шамбора (Генриха V), объявленного наследником Бурбонской династии; пыталась поднять в 1832 г. восстание легитимистов в пользу своего сына — 82, 671
- Беррье (Berger) Антуан (1790—1868), франц. адвокат и политический деятель, легитимист — 512
- Бертани Агостино (1812—1886), деятель итальянского национально-освободительного движения, ближайший соратник Гарибальди в период объединения Италии — 16
- Беттина — см. Арним Беттина
- Бетховен (Бетговен) Людвиг ван (1770—1827) — 324, 707
- «Библиографические записки», двухнедельный журнал, выходил в Москве в 1858—1861 гг. — 514, 743
- «Библиотека для чтения», ежемесячный журнал, изд. в Петербурге (1834—1864), до 1848 г. выходил под редакцией Сенковского (см.) — 527, 747

- Бигс (Biggs) Матильда (ум. в 1867 г.), дочь Джемса Стансфилда, близкий друг Маццини, знакомая Герцена — 205, 207, 563, 689, 752
- Бийо (Бильо, Billault) Огюст (1805—1863), франц. политич. деятель, республиканец, перешедший на сторону Наполеона III, министр внутренних дел в 1854—1858 гг. — 141
- Бирон Эрнст Иоганн, герцог (1690—1772) — 300, 704
- Бисмарк Отто фон Шенгаузен, князь (1815—1898) — 447, 470, 482, 510, 512, 681, 684, 735, 738
- Биша (Bichat) Мари Франсуа Ксавье (1771—1802), франц. анатом и физиолог — 217, 564, 752
- Блан Луи (1811—1882) — 26, 32, 40—43, 46—51, 79, 85, 157, 158, 192, 274, 277, 417, 487, 601, 642, 657, 662, 663, 665—667, 692, 749
— «История десяти лет» («Histoire de dix ans») — 46, 666
— «Организация труда» («L'Organisation du travail») — 46, 666
- Блан Шарль (1813—1882), брат Луи Блана — 48, 49
- Бланки Огюст (1805—1881) — 43, 80, 81, 92, 354, 594
- Бланш — 463
- Блинд Карл (1826—1907), нем. политический деятель, публицист, активный участник вооруженного восстания в Бадене в 1848 г. — 151, 160, 161, 415, 601, 602, 681, 684—686
- Блум (Блум) Роберт (1807—1848), глава демократической партии Саксонии во время революции 1848 г., расстрелян при захвате Вены войсками Виндишгреца — 154
- Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819), прусский фельдмаршал в период Наполеоновских войн — 245, 588, 694
- Бокэ (Bocquet) Жан Батист, участник революции 1848 г. в Париже, эмигрировал в Англию — 187, 199, 688
- Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732—1799)
— «Безумный день, или Женитьба Фигаро»; Фигаро — 271, 512
- Бонапарт Жером (1784—1860), брат Наполеона I, наследник франц. престола с 1852 г. — 493, 739
- Бонапарт Луи (Людовик) (1778—1846), брат Наполеона I; король Голландии в 1806—1810 гг. — 74, 669
- Боткин Василий Петрович (В. П.) (1811—1869), критик и литератор — 120—122, 300, 519, 704, 746
— «Письма об Испании» — 519, 746
- Браницкий Ксаверий Владиславович, граф (1812—1879), один из руководителей польской аристократической эмиграции, был близок к принцу Наполеону, которого сопровождал в поездке в Константинополь во время Крымской войны — 368, 488, 489
- Братиану (Братиано) Ион (1821—1891), участник революционного движения 1848 г. в Бухаресте, член Центрального европейского революционного комитета — 134, 139
- Брисбейн (Брейсбен) Альбер (1809—1890), основатель фурьеристского движения в Америке — 228, 692
- Брискорн Максим Максимович (1794—1872), русский чиновник, фактически управлявший военным министерством в конце 30-х годов — 422
- Брум (Brougham) Генри, лорд (1778—1868), англ. госуд. деятель, представитель англ. либерализма первой половины XIX в., президент Ассоциации социальной науки в 1860—1865 гг. — 210, 212, 450, 731
- Бруннов Филипп Иванович (1797—1875), граф, русский посол в Лондоне в 1840—1854 и в 1858—1874 гг. — 195, 316, 325, 326, 415, 424, 607, 612, 615, 630, 708

- Бруно Джордано (Иордано) (1548—1600) — 217, 564
- Брут (старший) Люций Юний (ум. 509 до н. э.), первый консул Римской республики, в борьбе с тиранией не останавливался перед самыми жесткими мерами — 244, 587, 694
- Брюнинг (рожд. Ливен) (ум. в 1853 г.), баронесса, сочувствовала демократическому движению, участвовала в устройстве побега Кинкеля, эмигрировала в Англию — 151, 681
- Буатель (Boitell) Симфонен (р. ок. 1814), префект парижской полиции в 1858 г. после покушения Орсины — 489
- Буашо (Boichot) Жан Батист (р. в 1820), франц. революционер, один из руководителей выступления 13 июня 1849 г., эмигрант — 199
- Будберг Андрей Федорович, барон (1817—1881), русский посланник в Париже в 1861—1868 гг. — 423
- «Букинъон» («Бужильон»), водевиль Баяра и Дюмануара (см.)
- Булевский Людвиг, польский эмигрант, член «Централизации» с 1854 г. — 382—384, 627
- Буонаротти — см. Микельанджело
- Буркова Мина Ивановна, фаворитка графа В. Ф. Адлерберга (см.) — 303, 316, 612, 634, 705
- Бурдев (Бурпов) Алексей Петрович (ум. в 1813 г.), гусар, однополчанин Дениса Давыдова (см.) — 82
- Бутков Владимир Петрович (1820—1881), государственный секретарь в 1853—1865 гг., участник судебной реформы 1864 г., — 301, 467, 546
- Бухер Лотар (1817—1892), нем. публицист и политический деятель, член Прусского Национального собрания, радикал. В 1850—1860 гг. эмигрант в Лондоне, с 1864 г. сотрудничал с Бисмарком — 168, 603, 681
- Бьюнен (Бюханан, Bichanan) Джеймс (1791—1868), в 1832—1833 гг. посол США в России, в 1853—1856 гг. посол в Англии, президент США в 1857—1861 гг. — 260, 696
- Бэкон Фрэнсис, лорд Веруламский (1561—1626), англ. философ-материалист — 247
- Бужо (Bugeaud) Тома Робер (1784—1849), франц. маршал — 181, 197
- Вагнер Рихард (1813—1883) — 183
- «Тангейзер» — 183
- Валадон Эмма (Тереза), франц. кафешантанная певица — 459, 636, 732
- Валевский Александр Флориан, граф (1810—1868), сын Наполеона I и польской графини Валевской, участник польского восстания 1830—1831 гг., натурализовался во Франции. Министр иностранных дел Франции в 1855—1860 гг. — 43, 485, 641, 666
- Валуев Петр Александрович, граф (1814—1890), министр внутренних дел в 1861—1868 гг. — 318, 613
- Ванини Лючилио (1585—1619), итал. философ, младший современник Джордано Бруно, казнен инквизицией — 217, 564
- Варнгаген фон Энзе (Varnhagen von Ense) Карл Август (1785—1858), нем. писатель, литературный критик, автор многочисленных биографий — 444, 446
- Варнгаген фон Энзе Рахиль (Рахель) (1771—1833), близкий друг многих выдающихся деятелей искусства, литературы и науки Германии первых десятилетий XIX в. — 445, 731
- Васильев, Михаил Семенович, русский офицер, служивший в Польше и эмигрировавший в Париж, чтобы не участвовать в подавлении польского восстания в 1863 г. — 339, 712
- Васко да Гама (1469—1524) — 469
- Вашингтон Джордж (1732—1799) — 129
- Вела Виченцо (1822—1891), каменотес, затем скульптор, участник войны за освобождение Италии — 126

- Велепольский Александр, маркиз (1803—1877), польский реакционный государственный деятель. В 1861—1862 гг. занимал ряд постов в Королевстве Польском — 632
- Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852), англ. полководец и реакционный государственный деятель, командовал армией, одержавшей победу под Ватерлоо при поддержке войск генерала Блюхера (см.) — 28, 212, 245, 522, 588, 662, 690, 694
- Вельский, джук Вельский — см. Альберт Эдуард
- Венера Медицейская, скульптура — 351
- Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.) — 171, 176, 604
- Вердер Карл (1806—1893), нем. философ-гегельянец и поэт — 171
- Верн, содержатель ресторана в Лондоне — 88, 140
- Веронезе Паоло (наст. имя Паоло Кальяри) (1528—1588) — 469
- Вертер, герой романа «Страдания молодого Вертера» Гёте (см.)
- Веста (миф.) — 448
- «Вестминстерское обозрение» («The Westminster and Foreign Quarterly Review») — 211, 213, 215, 690
- Ветошников Павел Александрович (род. в 1831), служащий торговой фирмы, арестованный в 1862 г. при возвращении из Лондона в Россию — 327, 328, 707—709
- Виардо-Гарсия Мишель Полина (1821—1910), франц. певица, вокальный педагог и композитор — 173—176
- Видок Эжен Франсуа (1775—1857), франц. сыщик — 607, 699
- Виктор Эммануил II (1820—1878), король Сардинии в 1849—1861 гг. и объединенной Италии с 1861 г. — 14, 15, 19, 261, 282, 471, 476; 478, 479, 512, 640, 659, 660, 696, 697, 737
- Виктория (1819—1901), королева Великобритании с 1837 г. — 10, 28, 37, 39, 42—45, 86, 108, 190, 255, 276, 287, 581, 605, 662, 664, 666, 695
- Виллих Август (1810—1878), прусский офицер, глава фракции ультралевых в «Союзе коммунистов», участник Пфальцско-Баденского восстания в 1849 г., участник гражданской войны в США на стороне северян — 78, 83—85, 150, 151, 681
- Вильгельм, принц прусский (1797—1888), брат Фридриха Вильгельма IV, регент в 1858—1861 гг., король прусский с 1861 г. — 66, 288, 669, 738
- Вильгельм I (1781—1864), король вюртембергский с 1816 г. — 288
- Вильгельм III Орапский (1650—1702), правитель Нидерландов с 1674 г., король Англии с 1689 г. — 40
- Виндишгрец Альфред (1787—1862), австр. фельдмаршал, в 1848 г. подавил восстание в Праге и Вене, в 1848—1849 гг. руководил борьбой против революционной венгерской армии — 355, 718
- Винтерсберг (у Герцена ошибочно Винтергальтер), немецкий эмигрант в Лондоне — 204, 609
- Висконти Веноста Эмилио, маркиз (1829—1914), итал. политический деятель, министр иностранных дел Пьемонта в 1863—1864 гг. — 278, 699
- Витгенштейн Эмилий Карл Людвигович (1824—1878), нем. офицер, поступивший на русскую службу, в 1863 г. командовал отрядом при подавлении польского восстания — 306, 706
- Вольмслей (Wolmsley) Джошуа (Жозуа) (1794—1871), англ. политический деятель, член парламента, поддерживал либеральное движение на континенте Европы — 141, 142, 162
- Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари (1694—1778) — 49, 66, 101, 103, 107, 217, 342, 352, 460, 482, 501, 523, 527, 564, 715, 732
- «Генриада» — 523
- «Кандид» — 523
- Ворцель Станислав Габриэль, граф (1799—1857), польский революционер, руководитель демократической части польской эмиграции 30—50-х годов —

- 26, 29, 31, 124—127, 131—139, 141—149, 152, 160, 162, 164, 366, 382, 407—410, 598—600, 629—641, 673—677, 683
- Вронский (Гёне-Вронский) Юзеф (1778—1853), польский математик и философ, автор книги о месснянской роли славянства — 129, 676
- Вронченко Федор Павлович (1780—1852), министр финансов в России в 1844—1852 гг. — 546
- «Всеобщая газета» («Аугсбургская газета», «Allgemeine Zeitung») ежедневная газета, выходившая с 1798 г., в 1810—1882 гг. издавалась в Аугсбурге — 167, 686, 764
- Вулкан (миф.) — 249
- Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), естествоиспытатель, философ-позитивист, возррения которого вызывали у Герцена острую критику. С 1864 г. жил за границей, был душеприказчиком Герцена. Издавал в Париже вместе с Литтре в 1867—1884 гг. журнал «Philosophie politique» — 342, 701, 715, 765
- Высоцкий Юзеф (1809—1873), участник польского восстания 1830—1831 гг., революционного движения в Галиции и Венгрии в 1848—1849 гг., эмигрант — 128
- Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт и критик. В 1856—1858 товарищ министра народного просвещения. В эти же годы возглавлял цензуру — 728
- «Русский бог» — 422, 728
- Гааг Луиза Ивановна (1795—1851), мать Герцена — 530, 628, 749
- Гагарин Федор Федорович («Адамова голова»), князь (1787—1863), командир гусарского полка — 82
- Гайнау Юлиус Якоб (1786—1853), австр. фельдмаршал, проявил зверскую жестокость при подавлении революции в Венгрии и национально-освободительного движения в Италии — 530
- Галахов Иван Павлович (1809—1849), друг Герцена, участник кружка Герцена — Огарева в 40-х годах — 529, 705, 748
- Гамлет, герой одноименной трагедии В. Шекспира (см.)
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 14—21, 125, 133, 162, 163, 196, 207, 254, 256—266, 268—291, 470—472, 475, 511—513, 542—545, 607, 637, 639, 649, 655, 657, 659—661, 667, 686, 694—697, 698—701, 735, 742
- Гарибальди Менотти (1840—1908), сын Дж. Гарибальди — 266, 271, 275, 276
- Гарибальди Ричиотти (1847—1924), сын Дж. Гарибальди — 266, 271, 276
- Гарибальди Роза Раймонди, мать Дж. Гарибальди — 161
- Гауг Эрнст, участник революции в Вене в 1848 г., защитник Римской республики в 1849 г., эмигрант — 10, 18, 194, 202—204, 456, 457, 606, 609, 635
- Гверцони Джузеппе (1835—1886), итал. писатель, участник военных походов Гарибальди и его секретарь — 258, 263—265, 271—273, 275, 287, 696
- Гебер — см. Эбер
- Гевлок (Havelock) Генри (1795—1857), англ. полковник, участвовал в подавлении восстания индийских войск в 1857 г. — 183, 609, 687, 688
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831)—171, 237, 266, 524, 582, 600, 759
- «Наука логики» — 524
- «Феноменология духа. Система науки» — 524
- Геден (библ.) — 264, 265
- Геденов Александр Михайлович (1791—1867), директор императорских театров в 1833—1858 гг. — 301, 705
- Гейне Генрих (1797—1856) — 155, 444—446, 457, 600, 635, 731, 759
- «К истории религии и философии в Германии» («Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland») — 600, 759
- «Людвиг Бёрне» («Ludwig Börne») — 445, 731

- «Переписка» («Correspondance inédite de Henri Heine») — 444, 731
- Геккер Фридрих (1811—1881), нем. демократ, один из руководителей восстания в Бадене в 1848 г. — 83, 671
- Генрих IV (1553—1610), вождь гугенотов, французский король с 1594 г. — 40
- Генц (Гейнц) (Gentz) Фридрих (1764—1832), австр. реакционный государственный деятель и публицист, один из вдохновителей и секретарь конгрессов Священного союза — 230, 576
- Гера (миф.) — 283
- Геринг, лондонский адвокат, защитник Бартелеми — 104, 105, 598
- Герст и Блеккет, англ. издательская фирма — 166, 685
- Герц Карл Карлович (1820—1883), проф. Московского университета — 517
- Герцен Александр Александрович (1839—1906), сын Герцена — 10, 11, 20, 30, 260, 298, 367, 485, 625, 688, 719, 721
- Герцен Александр Иванович (Искандер, Ярополк Бодянский) (1812—1870)
- «Вольная русская община в Лондоне русскому войнству в Польше» — 413, 727
- «Гофман» — 516, 517, 744
- «Доктор Крупов» — 520—523, 527, 528, 745, 746
- «Напризы и раздумье» — 517, 738, 745
- «Кто виноват?» — 517—520, 523, 745, 747
- «Михаил Семенович Щепкин» — 301, 704, 705
- «„Москвитянин“ и вселенная» — 517, 745
- «„Москвитянин“ о Копернике» — 517, 745
- «Оба лучше» — 632, 760
- «О развитии революционных идей в России» («Du développement des idées révolutionnaires en Russie») — 60, 63, 160, 397, 679, 684, 724, 725, 749
- «Письма из Avenue Marigny» — 66, 528, 669, 748
- «Письма из Франции и Италии» — 91, 160, 530, 663, 665, 667, 671, 737, 740, 743, 748
- «Письма об изучении природы» — 517, 524, 679, 745
- «Письмо к императрице Марии Александровне» — 301, 704
- «Поляки прощают нас» — 136, 677
- «Русский народ и социализм» — 397, 399, 534, 724
- «Русским офицерам в Польше» — 369, 716, 534, 719
- «Скуки ради» — 728
- «Смерть Станислава Ворцеля» — 146, 674, 676, 677
- «Сорока-воровка» — 518—520, 745, 746
- «Старый мир и Россия» («La Russie et le vieux monde») — 166, 602, 678, 679, 727
- «С того берега» («Vom andern Ufer») — 160, 396, 511, 530, 724, 737, 748
- «Тюрьма и ссылка» («My exile in Siberia») — 166, 531, 685, 728, 749, 761 — 764
- «Франция или Англия?» («La France ou l'Angleterre?») — 641, 672
- «Юрьев день» — 531, 676, 748
- «„Renaissance“ par Michelet» — 474, 736
- Герцен Егор Иванович (1803—1882), брат Герцена — 516, 529, 744, 748
- Герцен Наталья Александровна, рожд. Захарьина (1817—1852), жена Герцена — 525, 528, 689, 727, 742
- Герцен Ольга Александровна (1850—1953), дочь Герцена — 488, 490, 643, 739, 767
- Гесс Александра, жена И. П. Голловина — 425, 728
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 67, 217, 445, 446, 458, 551, 557, 564, 601, 669, 690, 732, 752, 766
- «Ифигения в Тавриде» («Iphigénie auf Tauris») — 211, 690
- «Пряха» («Die Spinnerin») — 67, 669
- «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers»); Вертер — 151, 681

- «Фауст» — 8, 445; Фауст — 213, 214, 445, 450; Гретхен — 214; Мефистофель — 450, 665
- «Эпиграммы. Венеция. 1790» — 458, 731
- Гейфнер (Heffner) Леопольд (род. в 1820), участник революционных событий в Вене в 1848 г., эмигрировал. В дальнейшем разоблачен как шпион парижской префектуры — 199, 200
- Гиббон Эдуард (1737—1794), англ. историк, автор исследования по истории периода упадка Римской империи — 218, 436, 565
- Гизо Франсуа Пьер (1787—1874), франц. политический деятель и историк, глава правительства при Луи Филиппе — 159, 355, 492, 739
- Гиллер Агатон (1831—1887), польский писатель, один из руководителей польского восстания 1863 г. — 368—372, 720
- Гиперион (миф.) — 70
- Гладстон Уильям Юарт (1809—1898), англ. государственный деятель, в 1852—1855 гг. министр финансов от консерваторов в коалиционном кабинете, в 1859 г. министр финансов в либеральном кабинете Пальмерстона, стал одним из лидеров английских либералов — 114, 279, 284—287, 544—546, 649, 673, 695, 699
- «Studies on Homer and the Homeric age» — 114, 673
- Глазенап Владимир Григорьевич (1784—1862), генерал, участник подавления польского восстания 1830—1831 гг. и венгерской революции 1848—1849 гг. — 189, 649
- Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 315
- Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — 26, 662
- Гнейст Рудольф Генрих (1816—1895), нем. юрист, автор работ по теории и истории английской конституции — 278, 699
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 303, 329, 351, 399, 523, 524, 705, 716
- «Выбранные места из переписки с друзьями» — 329
- «Мертвые души» — 138, 301, 521, 705, 716; Манилов — 518, 743; Мижувев — 301, 705; Нодрев — 138, 350, 405, 705; Петух — 351, 716; Селифан — 389; Собакевич — 350; Чичиков — 138, 389, 716
- «Нос» — 524
- «Ревизор» — 303, 705; Хлестаков — 303, 405, 705
- Гокс (Hawkes) Эмилия, дочь лондонского адвоката В. Шерста, близкий друг, секретарь, переводчик и корреспондент Маццини — 140, 677
- Голиаф (библ.) — 159, 264
- Голиок (Holoake) Джордж Джекоб (1817—1906), англ. политический деятель и публицист, чартист, участник кооперативного движения и его историк — 218, 266, 691
- Голицын Николай Борисович (1794—1866), отец Ю. Н. Голицына (см.), публицист, музыкальный деятель, переводчик — 324
- Голицын Сергей Михайлов ч, князь (1774—1859), попечитель Московского учебного округа в 1830—1835 гг. — 149
- Голицын Юрий Николаевич (1823—1872), русский хоровой дирижер и композитор — 313—324, 611—614, 702, 707
- Голицыны, старинный русский княжеский род, в XVIII и XIX веках занимали высшие военные и гражданские должности — 149
- Головин Иван Гаврилович (1816—1890), русский эмигрант, публицист — 160, 165, 404—418, 422—427, 628—631, 684, 725—727, 728
- «Записки» — 412, 726, 727
- «Россия под Николаем» («La Russie sous Nicolas») — 404, 406
- Головин Александр Васильевич (1821—1886), министр народного просвещения в 1862—1866 гг. — 631, 683, 759
- Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849), попечитель Московского учебного округа в 1847—1849 гг. — 529

- Гольнский Александр Викентьевич (род. в 1816 г.), примыкал к демократическому крылу польской эмиграции — 426, 728
- Гольбейн Ганс Младший (1497—1543) — 731
- «Образы смерти» («Totentanz») — 435, 731
- Гомер — 14, 114, 545, 603, 649, 673
- «Одиссея» — 74, 545, 649; Телемак — 197; Уллис — 74
- Гонерилья, действ. лицо трагедии «Король Лир» В. Шекспира (см.)
- Гончаров (Гончар) Осип Семенович (1796—1880), один из руководителей находившихся в Турции старообрядцев — 336—339, 619, 620, 709, 712
- Горацій Флакк (65—8 до н. э.), древнеримский поэт — 114
- Горчаков Александр Михайлович, князь (1798—1883), министр иностранных дел с 1856 г., государственный канцлер с 1867 г. — 301, 302, 424, 705
- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), нем. писатель — 516
- Гофман и Кампе, гамбургская издательская фирма — 160, 167, 445, 765
- Грабов Вильгельм (1802—1874), нем. либерал, председатель франкфуртского и берлинского учредительных собраний в 1848—1849 гг., руководитель либерально-монархической оппозиции в 60-х годах против Бисмарка — 447
- Грахи братья: Тиберий (163—132 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) — 40, 445
- Грановская Елизавета Богдановна (1824—1857), жена Т. Н. Грановского — 527—531
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — 123, 298, 299, 391, 394, 517, 518, 520, 522, 527, 529—531, 704, 745—747, 761
- Грей Джордж (1799—1882), англ. министр внутренних дел в 1857—1866 гг. — 543, 544, 649
- Греко (Грессо) Паскуале, участник итальянского национально-освободительного движения, сто-
- ронник Маддини, арестован в 1863 г. в Париже как организатор покушения на Наполеона III — 263, 696, 697
- Гресс, горничная у М. А. Бакунина — 361
- Гретхен — см. В. Гёте, «Фауст»
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 673, 704, 716, 731
- «Горе от ума» — 452, 673, 704, 716, 731; Лиза — 344, 715; Скалозуб — 352, 716; Чацкий — 298, 452, 704, 731; Фамусов — 120, 673
- Гризи Джулия (1811—1869), итал. певица — 42
- Груши Эммануэль (1766—1847), маршал Франции, сподвижник Наполеона в кампании 1815 г. — 245, 588, 694
- Гулливирово путешествие («Путешествие Гулливера в отдаленные страны») — см. Свифт Дж.
- Гумбольдт Александр Фридрих Генрих (1769—1859) — 169, 217, 446, 564, 603, 752
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — 32, 37, 43—46, 48, 79, 460, 499—501, 510, 514, 595, 636, 643, 657, 662, 664, 667, 732, 740—743, 749, 766, 767
- «Возмездия» (Châtiments) — 44
- «Наполеон Маленький» («Napoléon le petit») — 44
- «Ночь на океане» («Oceanic Nox») — 514, 743
- «Отверженные» («Les misérables») — 48, 667
- «Последний день осужденного» («Dernier jour d'un condamné») — 44
- «Труженики моря» (Travailleurs de la mer) — 460, 732
- Давид (библ.) — 264, 491
- Давид Жак Луи (1748—1825), франц. живописец — 59, 663
- Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — 82, 716
- «Современная песня» — 351, 716
- Даниил (библ.) — 374, 503, 509, 720, 741
- Данте Алигьери (1265—1321) — 159, 190, 198, 442, 450, 675

- «Божественная комедия» — 675; «Ад» — 126, 675; «Чистилище» — 449—450; Люцифер — 198; Франческа да Римини — 159
- Дантон Жорж Жак (1759—1794) — 59, 70, 126
- Дараш Павел (1809—1871), участник польского восстания 1830—1831 гг. и революционных событий в Галиции в 1848 г., эмигрант в Лондоне — 126, 127, 201, 409, 663, 675, 676
- Даримон Альфред (1819—1902), франц. публицист; в молодости был близок к Прудону и являлся одним из редакторов «La voix du peuple»; в 1849 г. сотрудничал в газете «La presse» Жирардена; после переворота 1852 г. — сторонник режима Наполеона III — 493
- Дарте (Дорте, Dorthès) Огюстен Александр (1769—1797), франц. революционер, утопист-коммунист, ближайший соратник Бабефа — 243, 586, 694
- Девонширы — англ. графы и герцоги — 283
- Дежазе Виргиния (1797—1875), франц. актриса — 460, 732
- Дездемона, действ. лицо трагедии «Отелло» В. Шекспира (см.)
- Де ла Год (Delahodde) Люсьен (1808—1865), франц. журналист, участник тайных обществ эпохи Июльской монархии, разоблачен как шпион — 198, 199, 607, 608, 687
- «Записки» — 198, 199
- Делеклюз Шарль (1809—1871), франц. революционер, журналист, после поражения революции 1848 г. эмигрировал в Англию, в 1858 г. нелегально вернулся во Францию и был арестован — 199
- Делессер Габриель Абрагам (1786—1858), префект парижской полиции с 1836 по 1848 г. — 52
- Дельпьер (Delpierre) Жозеф (1802—1879), бельг. литератор, секретарь посольства и затем генеральный консул Бельгии в Лондоне — 487, 642
- «Демократ Польский» («Demokrata Polski»), журнал, орган польской демократической эмиграции 1840-х годов, после перерыва издание возобновилось в 1851 г. в Брюсселе, с осени 1852 г. издавался в Лондоне — 136
- Демонтович (Домантович) Иосиф, деятель польского национально-освободительного движения, заграничный представитель Варшавского центрального комитета перед восстанием 1863 г. — 381, 385, 387—389, 626, 628, 721
- Депретис Агостино (1813—1887), в молодости принадлежал к «Молодой Италии», участвовал в 1860 г. в походе Гарибальди, но вскоре перешел на сторону Каура. После объединения Италии занимал ряд министерских постов — 472, 735
- Дерби Эдуард, лорд Стэнли (1799—1869), англ. политический деятель, лидер консерваторов — 68, 108—110, 119, 159, 255, 283, 437, 542
- Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 746
- «Утро» — 521, 746
- Джемс (James) Эдвин (1812—1882), англ. адвокат, защитник Бернара в процессе 1858 г. о покушении Орсини на Наполеона III — 111—113
- Джефферсон Томас (1743—1826), президент США в 1801—1809 гг. — 209, 689
- Джонс (Jones) Эрнст Чарльз (1819—1869), один из руководителей левого крыла чартистского движения, поэт и публицист — 165, 166, 418, 419, 602, 630, 679, 685, 725, 727
- Диана Эфесская (миф.) — 538
- Дидона (миф.) — 387, 388
- Дидро Дени (1713—1784) — 49, 217, 564
- Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804—1881), лидер и идеолог английских консерваторов 108, 542
- Диккенс Чарльз (1812—1870) — 176
- Димитрий (Дмитрий) (1651—1709), митрополит Ростовский — 596

- Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт и баснописец — 747
— «Прохожий» — 525, 747
- Долгоруков Василий Андреевич, князь (1804—1868), военный министр в 1848—1856 гг., шеф жандармов и начальник III отделения в 1856—1866 гг.—422
- Долгоруков Петр Владимирович, князь (1816—1868), публицист-памфлетист 60-х годов, в 1859 г. эмигрировал, сотрудничал в «Колоколе» — 280, 631, 714, 759
- Доманже Жозеф, франц. эмигрант в Лондоне, учитель сына А. И. Герцена — 101, 598
- Домантович — см. Демонтович
- Домбровский Конрад, представитель польской эмиграции в Лондоне в 1855 г. — 421
- «Домострой», памятник русской письменности XVI века, свод правил поведения, особенно семейно-бытового — 463, 733
- Доницетти Гаэтано (1797—1848), итал. композитор
— «Лукреция Борджиа» — 290
- Дон Кихот — см. Сервантес М., «Хитроумный гыдалго Дон Кихот Ламанчский»
- Дон Хуан (1823—1887), претендент на испанский престол — 179
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 518, 519, 745
— «Бедные люди» — 521, 745
- Друэн де Люис (Drouyn de Lhuys) Эдуард (1805—1881), франц. министр иностранных дел в 1862—1866 гг. — 284, 700
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), начальник штаба корпуса жандармов с 1835 г. и управляющий III отделением в 1839—1856 гг. — 406
- Дюгеклен (Дю Гесклин) (Du Guesclin) Бертран (ок. 1320—1380), франц. полководец, вел войны с англичанами; воспользовавшись ссорой бретанского герцога с Клиссоном (см.) объединился с последним для борьбы против англичан — 535
- Дюма Александр (отец) (1803—1870) — 14, 425, 659
- Дюма Александр (сын) (1824—1895) — 733
- «Дама с камелиями» («La dame aux camelias») — 462, 733
- Дюмануар (Dumanoir) (1806—1865), франц. драматург, написал водевил «Bouquillon à la recherche d'un père» совместно с Баррем (см.)
- Дюфресс (Dufresse) Марк (1811—1876), франц. публицист и политический деятель, был близок к Прудону, изгнан из Франции после 2 декабря 1851 г. — 504—506, 509, 741
— «История права мира и войны с 1789 по 1815 г.» («L'Histoire du droit de paix et de guerre de 1789 à 1815») — 504, 741
- Ева (библ.) — 418
- «Европеец», журнал, изд. в Москве в 1832 г. (вышло два номера). Редактор И. В. Киреевский — 391
- Екатерина II (1729—1796), императрица — 27, 68, 397, 462, 549, 555
- Елизавета Тюдор (1533—1603), англ. королева с 1558 г. — 206
- Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), полководец и дипломат, герой Отечественной войны 1812 г.; с 1816 г. управлял Грузией, уволен в отставку Николаем I в 1827 г. — 128, 492, 676
- Жабицкий Антоний (1810—1871), польский революционер, эмигрировал в Лондон, член «Централизации» с 1851 г. — 143, 144, 146, 599, 677
- Жанна Д'Арк (Орлеанская дева) — (1412—1431), героиня французского народа в его борьбе против английских захватчиков, сожженная ими на костре — 259
- «Жерсейский Альманах» — см. «Альманах изгнания»
- Жюмини Анри (1779—1869), французский генерал. В 1813 г. перешел на русскую службу, в 40-х годах жил в Париже — 404, 726
- Жорж, негр, служил в доме Герцена в 1858 г. — 431, 432, 731
- Жорж Санд (псевдоним Авроры

- Дюдеван) (1804 — 1876) — 148, 157, 174—176, 463, 498, 550, 557, 605, 633, 667, 682, 683, 733, 740, 760
— «Орас»; Орас — 633, 760
Жюль, слуга Герцена в Лондоне — 295, 611
Жюль Элизар, псевдоним М. А. Бакунина (см.)
Жюльен Луи Антуан (1812—1860), франц. композитор и дилец, автор легких музыкальных пьес — 183, 609
- Замойский Владислав, граф, польский политический деятель, эмигрант, во время Восточной войны пытался организовать в Турции польский легион против России — 337
Зарецкий, действ. лицо в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина (см.)
Зевс (миф.) — 153, 283, 747
Зенкович Леон (1803—1871), польский революционер, публицист, выбран в «Централизацию» в 1852 г. — 136—138, 142, 382
Златоуст — см. Иоанн Златоуст
Зубов Платон Александрович (1767—1822), фаворит Екатерины II, участник заговора против Павла I — 52, 668
- Иаков (библ.) — 223
Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584) — 522, 746
Иванов Александр Андреевич (1806—1858), русский художник — 647
— «Явление Мессии народу» — 647
Иегова (библ.) — 223, 491, 569, 643, 691, 753
Измайлов Лев Дмитриевич (1763—1836), генерал, помещик, прославившийся жестокостью и самодурством — 149
Иммерман Карл Лебрехт (1794—1840), нем. писатель, друг Гейне — 444
Иоанн I Цимисхий (925—976), византийский император с 969 г. — 474, 736
Иоанн Богослов (библ.) — 209, 689
- Иоанн Златоуст (ок 347—407), архиепископ Константинопольский в 398—404 гг. — 33, 66#
Иоанн Лейденский (Иоанн Боккользон) (1510—1536), вождь плейбейской секты анабаптистов, глава Мюнстерской коммуны — 259
Иоанн Предтеча («Креститель») (библ.) — 69, 669
Иоанна (Анна папиха) — по преданию, занимала папский престол под именем Иоанна VIII в 855—858 гг. — 466, 634, 733#
Иов (библ.) — 31, 498, 499, 510, 740
Иосиф (библ.) — 419, 570
Иосиф II (1741—1790), соправитель Марии Терезии в 1765—1780 гг., император т. н. Священной Римской империи с 1780 г. — 397
Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 95), еврейский историк — 419
Ир (библ.) — 198, 608
Иродиада, внучка царя Ирода Великого; по преданию, Иоанн Креститель был убит по ее требованию — 303
Исаак (библ.) — 28, 119, 148, 235, 263, 570, 580, 662, 673, 697
Исайя (библ.) — 498, 647
- Кабанис Пьер Жан Жорж (1757—1808), франц. врач, философ школы Декарта — 217, 564, 752
Кабе (Cabet) Этьенн (1788—1856), франц. публицист, представитель утопического коммунизма — 692
— «Путешествие в Икарию» — 228, 692
Кабрера, граф (1810—1877), испанский генерал, карлист — 605
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк и юрист, либеральный публицист, преподавал в Моск. ун-те в 1844—1848 гг. и в Петербургском в 1857—1861 гг. — 205, 300, 518, 520, 521, 705, 745, 746, 761
— «Взгляд на юридический быт древней Руси» — 518, 520, 521, 745, 746
Кавеньяк (Каваньяк) Луи Годфруа (1801—1845), франц. республиканец, участник революции 1830 г. — 20, 133, 661

- Кавеньяк** (Каваньяк) Луи Эжен (1802—1857), франц. генерал, военный диктатор в июньские дни 1848 г. — 76, 661
- Кавур** Камилло Бензо, граф (1810—1861), государственный деятель Пьемонта, проводил политику национального объединения Италии в буржуазно-монархическое государство — 16, 167, 168, 472, 653—660, 736
- Калигула** Гай Цезарь (12—41), римский император с 37 г. — 500, 740, 741
- Кальвин** Жан (1509—1564), деятель Реформации, основатель кальвинистского вероучения — 436, 438
- Калдези**, фотограф в Лондоне — 20, 260
- Калкрафт** (Калкрофт), палач в Лондоне, которому было поручено привести в исполнение смертный приговор над Бартеlemi — 101
- Каннинг** Джордж (1770—1827), англ. госуд. деятель, один из лидеров тори; министр иностранных дел в 1807—1809 и в 1822—1827 гг., премьер-министр Англии в 1827 г. — 450
- Кант** Иммануил (1724—1804) — 217, 236, 299, 524, 564, 581, 752
- Каподистрия** Иоани, граф (1776—1831), греческий государственный деятель, перешел на русскую службу в 1809 г., руководил внешней политикой России вместе с Нессельроде в 1815—1822 гг., президент Греческой республики с 1827 г. — 473, 638
- Капп** Фридрих (1824—1884), нем. политический деятель и литератор, участник революции 1848 г., эмигрировал в Париж, а затем в Америку — 305, 610, 706
- Каракалла** Марк Аврелий Антонин (186—217), римский император с 211 г. — 500, 740, 741
- Каракозов** Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер, стрелявший в 1866 г. в Александра II — 466, 552, 559, 616, 635, 733
- Карамзин** Николай Михайлович (1766—1826) — 514, 524, 743
- «История Государства Российского» — 524
- Карл V** (1500—1558), император т. н. Священной Римской империи в 1519—1555 гг. — 384, 385
- Карл X** (1757—1836), брат французского короля Людовика XVI, эмигрировал после революции 1789 г. и жил за границей до реставрации, франц. король в 1824—1830 гг., после революции эмигрировал в Англию — 107
- Карлейль** (Carlyle) Томас (1795—1881), англ. писатель, историк и философ — 67, 255, 474, 536—538, 639, 695, 736, 750
- «Герои и героическое в истории» («On heroes, hero-worship and heroic in history») — 695
- Карлье** (Carlier) Пьер (1799—1858), префект парижской полиции в 1849—1852 гг. — 130
- Карниолин-Пинский** Матвей Михайлович (1794—1866), сенатор, член суда над Каракозовым — 632, 760
- Каролина Шарлотта** (1768—1821), жена английского короля Георга IV — 450, 731
- Кассандра** (миф.) — 460, 732
- Кастелри** (Castlereagh) Роберт Стюарт, лорд Лондондерри (1769—1822), англ. государственный деятель, министр иностранных дел в 1812—1822 гг. — 108
- Катялина** Луций Сергей (108—62 до н. э.), политический деятель Древнего Рима, глава неудавшегося заговора против республики — 480, 737
- Катков** Михаил Никифорович (1818—1887), реакционный публицист, редактор «Московских ведомостей» в 1850—1855 и в 1863—1887 гг. и журнала «Русский вестник» в 1856—1887 гг. — 279, 300, 301, 309, 339, 352, 426, 610, 616, 631, 632, 680, 699, 705, 712, 725, 730, 759, 760
- Каульбах** Вильгельм (1805—1874), нем. живописец и рисовальщик — 170, 171
- Кауфман**, нем. журналист, издавал в 50-х годах в Париже, затем в Лондоне бюллетень для

- печати — «Литографированная корреспонденция» — 423
- Качковский Сигизмунд (1826—1896), польский писатель, автор исторических повестей и романов — 677
- «Мурделио» — 677, Мурделио — 148, 677
- Кашовская Саломея, жена С. Ворцеля — 132
- Квадрио (Quadrio) Маурицио (1800—1876), участник итальянского национально-освободительного движения, начиная с революционного движения в Пьемонте в 1821 г., публицист, ближайший сотрудник Маццини — 125, 675
- Келли (Kelly) Фидрой (1796—1838), англ. королевский прокурор, обвинитель по делу Бернара — 112, 116, 121, 122
- Кельсиев Василий Иванович (1835—1872), участник революционного движения 1860-х годов, с 1865 г. перешел в лагерь реакции — 305, 327—337, 339—341, 616—620, 701, 703, 708—713
- «Исповедь» — 335, 708—711, 718, 719
- «Пережитое и передуманное» — 618, 710
- «Сборник правительственных сведений о раскольниках» — 334, 711
- Кельсиев Иван Иванович (1840—1864), революционер 1860-х годов, брат В. И. Кельсиева — 336, 337, 339, 620, 702, 708, 711, 712
- Кельсиева Варвара Тимофеевна (ок. 1840—1865), жена В. И. Кельсиева — 332, 333, 337, 339, 340, 617, 619, 620, 708, 710, 711, 713
- Кельсиева Мария («Малуша», «Милуша») (ум. 1865 г.), дочь В. И. Кельсиева — 340, 620, 708, 710—713
- Кемпбелл Джон, лорд (1779—1861), англ. юрист, главный судья в 1850—1859 гг., лорд-канцлер с 1859 г. — 88, 89, 91—95, 97, 112—114, 116—118, 120—123, 286
- Кеннингам (ошибочно у Герцена Копингам) Уильям, англ. радикал, участвовал в агитации в пользу Польши — 410, 727
- Кентский герцог Эдуард (1767—1820), отец англ. королевы Виктории — 211, 229, 575, 692
- Кёрдеруа («Cœurderouy») Эрнест (1825—1862), врач, участник революции 1848 г. во Франции, примыкал к крайним левым республиканцам, эмигрант, публицист — 60, 62, 65, 596, 663, 668, 669
- «Мои дни изгнания» («Jours d'exil») — 60, 63, 65, 596, 669
- «Ура, или революция, совершенная казаками» («Hurrah, ou la Révolution par les cosaques») — 60, 668
- Кестнер, служащий банкирской конторы Ротшильда в Лондоне — 347, 621
- Кетчер (К.) Николай Христофорович (1806—1886), врач, поэтопереводчик, друг юности Герцена, участник его кружков 30-х и 40-х годов — 517, 704, 744—746
- Кине (Quinet) Эдгар (1803—1875), франц. историк и публицист, член Учредительного и Законодательного собраний 1848—1851 гг., после переворота 2 декабря 1851 г. — эмигрант — 480, 503, 506, 640, 737, 739, 741, 767
- «Франция и Германия» («France et Allemagne») — 480, 737
- Кинкель Готфрид (1815—1882), нем. поэт, участник революции 1848 г., посажен в крепость, откуда бежал в 1859 г. в Англию — 141, 150, 152—155, 541, 600, 681, 686
- Кинкель Иоганна (1810—1858), жена Готфрида Кинкеля, немецкая писательница — 154, 155, 600
- Киселева Софья Станиславовна, графиня, жена русского посла в Париже Н. Д. Киселева — 451
- Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.), римский император в 41—54 гг. — 643
- Кларендон Джордж, граф (1800—1870), англ. государственный деятель, в 1864 г. член правительства, с 1865 г. министр иностранных дел — 284, 286, 543, 545, 695, 700
- Клиссон де Оливье, британский

- аристократ, после ссоры с британским герцогом Иоанном IV перешел в 1370 г. на службу к французскому королю Карлу V и вместе с Дюгекленом (см.) воевал против англичан — 535
- Клиффорд, лорд (1790—1858), член верхней палаты англ. парламента и публицист — 102, 105
- Клоотс (Клоц) Анахарсис (настоящее имя Жан Батист) (1755—1794), деятель французской революции конца XVIII века, оратор, пропагандист идеи «всемирной республики» — 235, 509, 693, 742
- Кобден Ричард (1804—1865), англ. политический деятель, организатор «Лиги борьбы с хлебными законами», добившейся в 1846 г. отмены хлебных пошлин — 159
- Козенц (Cosenz) Энрико (1820—1898), итал. генерал, деятель национально-освободительного движения, участник боев в Неаполе и Венеции против австрийцев, военный министр в Неаполе при Гарибальди — 16
- Колачек Адольф (род. в 1821 г.), нем. публицист, член «левой» франкфуртского парламента 1848 г., издавал в Штутгарте журнал «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», где были напечатаны несколько статей Герцена. В 1851 г. переселился в Париж, а в 1853 г. в Америку — 160, 199, 684
- Коллар, англ. купец, убит Бартеlemi в 1854 г. — 95, 96, 596, 671
- Колло д'Эрбуа (Collet d'Herbois) Жан Мари (1750—1796), член Комитета общественного спасения в 1793 г. — 38
- «Колокол», газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне и Женеве в 1857—1867 гг. — 111, 124, 145, 254, 278, 279, 298, 300—303, 305—307, 310, 314, 317, 327, 328, 349, 359, 369, 373, 374, 381, 426, 431, 612, 618, 626, 631, 632, 673—675, 699, 701—707, 709, 711, 713, 715—721, 723, 734, 759—761, 767
- Колумб Христофор (1451—1506) — 247, 469, 476, 589
- Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 518
- Комиссаров Осип Иванович (1838—1892), спас Александра II, толкнув покушавшегося на него в 1866 г. Каракозова (см.) — 316, 601
- Конарский Шимон (1808—1839), польский революционер, участник восстания 1830—1831 гг., с 1836 г. стоял во главе подпольной организации «Содружество польской нации», казнен царским правительством — 20, 661
- Консидеран Виктор (1808—1893), социалист-утопист, ученик и последователь Фурье — 228, 692
- Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), управлял морским министерством в 1853—1881 гг. — 305, 306, 368, 625, 631, 632, 706, 719, 730, 759, 760
- Конт Огюст (1798—1857), франц. философ и социолог, основатель позитивистского направления в философии — 217, 342, 498, 564, 668, 701, 729, 740, 752
- Коперник Николай (1473—1543) — 517
- Копингам — см. Кеннингам
- Корделия — см. В. Шекспир «Король Лир»
- Кордэ Шарлотта (1768—1793), убийца Марата — 311, 374, 707, 720
- Корменев (Корменов) Луи Мари (1788—1868), франц. юрист и политический деятель, вице-президент Учредительного собрания 1848 г. — 90
- Кормчая книга (Номоканон), сборник церковных правил и государственных законов о церкви — 467, 634, 734
- Корнелий Непот (ок. 100 — ок. 27 до н. э.), древнеримский историк и писатель — 14, 257
- Корнелиус Петер (1783—1867), нем. живописец — 170
- Корсаков Михаил Семенович (1826—1871), чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири — 358, 719
- Корш Евгений Федорович (1810—1897), редактор «Московских ведомостей» в 1843—1848 гг., уча-

- стник кружка Герцена в 40-х годах — 526—528, 745
- Корш Мария Федоровна (М. Ф.) (1808—1883), близкий друг Герцена, сестра Е. Ф. Корша — 526, 528
- Коссидьер Марк (1809—1861), участник революции 1848 г., префект парижской полиции в феврале — мае 1848 г. — 51, 52, 198, 199, 355, 667
- Костюшко Тадеуш (Фаддей) (1746—1817), руководитель польского национально-освободительного движения в 1794 г. — 147, 677
- Котопихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подьячий посольского приказа, бежал за границу, написал в Стокгольме сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича», изданное в 1846 г. — 526, 532
- Котта Иоганн Фридрих (1764—1832), нем. издатель — 445
- Коцен Иосиф — 544
- Кочубей Лев Викторович, князь (1810—1890), предводитель дворянства Полтавской губернии — 301, 705
- Кошелев (Х.) Александр Иванович (1806—1883), публицист и общественный деятель — 528, 748
- Кожут Лайош (1802—1894), вождь венгерского национально-освободительного движения, стоял во главе революции 1848—1849 гг. в Венгрии — 13, 17, 23—30, 79, 134, 135 142, 143, 159, 161—164, 167, 189, 190, 408, 629, 657, 658, 661, 662
- Краевский Андрей Александрович (1810—1889), издатель «Отечественных записок» в 1837—1868 гг. и «Петербургских ведомостей» в 1852—1862 гг. — 616, 744, 745
- Красинский Зыгмунт (1812—1859), польский поэт, реакционный романтик — 127, 128, 676 — «Псалмы будущего» («Stabat mater») — 128, 676
- Краснопевцев Петр Иванович (ум. в 1865), русский офицер, член революционной группы офицеров в Польше, в 1863 г. перешел на сторону польских революционеров; арестованный после подавления восстания, бежал в Париж; в 1864 г. переехал в Тульчу — 339, 712
- Красовский Андрей Афанасьевич (1822—1868), подполковник, распространял в 1862 г. среди солдат прокламации с призывом не применять оружие против восставших крестьян — 304, 706
- Краут, нем. скульптор, знакомый Герцена — 184
- Кремье Исаак Адольф (1796—1880), франц. министр юстиции во Временном правительстве 1848 г. — 80
- «Крестовая газета» — см. «Новая прусская газета»
- Кромвель Оливер (1599—1658) — 40, 69, 70, 436
- Кронос (Хронос) (миф.) — 498, 524, 747
- Крюков Дмитрий Львович (1809—1845), историк и филолог, профессор Московского ун-та, член кружка Герцена и Грановского в 40-х годах — 391, 394, 723
- Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858), профессор Московского ун-та, друг и преемник Грановского — 518, 746 — «Без рассвета» — 518, 746
- Кузен (Кузень) Виктор (1792—1867), франц. философ, основатель эклектической школы — 508, 742
- Курне Фредерик (1808—1852), участник французской революции 1848—1849 гг., эмигрировал после переворота 1851 г. в Лондон, был убит на дуэли с Бартеlemi — 81—88, 90—94, 597
- Кутузов Михаил Илларионович, князь (1745—1813) — 14, 522
- Кутюр (Couture) Тома (1815—1879), франц. живописец — 643
- Кюн, владелец ресторана в Лондоне — 327
- Лаблаш Луиджи (1794—1858), франц. оперный певец — 42, 319, 321, 322, 451
- Лабочета Доменик (1823—1896), певец и виолончелист — 170
- Лабуле (Laboulaye) Эдуард Рене (1811—1883), франц. публицист,

- в 50-х и 60-х годах принадлежал к умеренной оппозиции — 492, 644, 739
- «История Соединенных Штатов Америки» («Histoire des Etats-Unis d'Amérique») — 492, 739
- «Париж в Америке» («Paris en l'Amérique») — 492, 739
- «Соединенные штаты и Франция» («Des Etats-Unis et la France») — 492, 739
- Лагранд-Димонсо, бельгийский банкир — 478, 640, 737
- Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — 704
- «Ледяной дом» — 300, 704
- Лазаревич С., капитан парохода — «Великий адмирал» — 307, 707
- Лаланд Жозеф Жером Франсуа (1732—1807), франц. астроном — 361
- Ламарк Максимилиан (1770—1832), франц. генерал — 54, 668
- Ламармора Альфонс, маркиз (1804—1878), итал. генерал и политический деятель, глава правительства в 1864—1866 гг., потерпел поражение от австрийцев в сражении при Кустоцце (июнь 1866 г.) — 472, 478, 735, 737
- Ламартин Альфонс Мари Луи де (1791—1869) — 127, 134, 513, 743
- Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер (1782—1854), франц. аббат, политический деятель и публицист, один из идеологов «христианского социализма» — 153, 503, 741
- Ламорисьер Луи Кристоф (1806—1865), франц. военный министр в кабинете Кавеньяка — 404
- Ланинский Феофил (Теофил) (1826—1886), деятель польского национально-освободительного движения, участник венгерской революции 1848—1849 гг., на Кавказе принимал участие в борьбе горцев против русских войск — 372, 381, 384—386, 388, 390, 627, 719, 722, 751
- «Горные народы Кавказа и их освободительная война против русских» — 386, 627, 720—722
- Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — 217, 564, 752
- Латур Теодор (1780—1848), австр. военный министр, повешен в Вене в октябре 1848 г. восставшим народом — 202
- Лафайет Мари Жозеф Поль, маркиз (1757—1834), участник франц. революции конца XVIII века, начальник национальной гвардии во время революции 1830 г. — 445
- Левицкий (Львов-Львицкий) Сергей Львович (ум. 1898), сын Л. А. Яковлева, двоюродный брат Герцена, чиновник, впоследствии известный фотограф — 328
- Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808—1874) — 13, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 40, 42, 46, 50, 51, 79, 81, 85, 133, 134, 139—141, 157, 162, 164, 165, 272—274, 277, 408—412, 597, 629, 657, 658, 663, 667, 698, 727
- Лелевель Иоахим (1786—1861), польский историк и политический деятель, возглавлял революционное крыло во время восстания 1830 г., затем играл руководящую роль в польской демократической эмиграции — 147, 206, 677
- Ленский — см. Пушкин А. С., «Евгений Онегин»
- Леонид, царь Спарты в 488—480 до н. э. — 38, 664
- Леонтина, девушка, с которой встретился Герцен на маскараде в Париже в 1849 г. — 453—458, 460—465, 552, 558, 634, 635, 637
- Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), профессор римской литературы и реакционный публицист, один из редакторов «Московских ведомостей» — 632
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 62, 65
- Леру (Leroux) Пьер («Петр Рыжий») (1797—1871), франц. мелкобуржуазный социалист-утопист — 68, 148, 223, 497, 498, 500, 510, 570, 647, 740
- «Иов, трагедия в пяти действиях, сочиненная Исаией и переведенная Пьером Леру» («Job, drame en cinq actes par

- le prophète Isaïe, traduit 'de l'hebreu) — 497, 498, 740
- Лессинг Готтольд Эфраим (1729—1781) — 155, 217, 564, 752
- Лианкур де (La Rochefoucauld-Liancourt), герцог (1747—1827), монархист, эмигрант после 10 августа 1792 г. — 465, 733
- Либени (Либени) Ласло, венгерский подмастерье, неудачно покушался в 1853 г. на Франца Иосифа — 28, 662
- Ливен Доротея (Дарья Христофоровна) (1784—1857), жена князя Х. А. Ливена, славилась своим салоном в Петербурге, а затем в Лондоне — 451
- «Лидер» («The Leader»), лондонская газета — 150, 160, 766
- Линдсей (Линдзей, Lindsay), Вильям (1816—1877), англ. судовладелец, член палаты общин — 265, 266
- Линтон Вильям (1812—1897), англ. гравер, чартистский поэт и публицист, основатель журнала «The English Republic» — 62, 75, 166, 668
- Лир, король — см. Шекспир В., «Король Лир»
- Ло (Лау) Джон (1671—1729), контролер финансов Франции в 1719 г., привел к банкротству королевский банк выпуском банкнот без их обеспечения — 49
- Ловлас, действ. лицо романа «Кларисса Гарлоу» Ричардсона (см.)
- Лоррен Клод (1600—1682), франц. живописец, пейзажист — 452, 633
- Луве де Куврэ (Louvet de Couvraу Жан Батист (1760—1797), франц. писатель, автор серии романов о Фоблазе — 465, 551, 558, 633, 760
- Луи Филипп (Людовик Филипп) (1773—1850), франц. король в 1830—1848 гг. — 40, 50, 58, 80, 87, 107, 134, 172, 181, 325, 434, 459, 478, 491, 494, 512, 595, 644, 645, 661, 667, 671, 686, 688, 707, 739
- Луиза, действ. лицо драмы «Коварство и любовь» Шиллера (см.)
- Лукиан (ок. 120 — после 180), древнегреческий писатель-сатирик — 225, 398, 572, 692
- «Лукреция» («Лукреция Борджиа»), опера Доницетти (см.)
- Людовик I (Карл Август) (1786—1868), король баварский в 1825—1848 гг. — 446
- Людовик XV (1710—1774), король Франции с 1715 г. — 33, 76, 670, 678, 707
- Людовик XVI (1754—1793), франц. король в 1774—1792 гг. — 51, 240, 667, 733
- Лютер Мартин (1483—1546) — 40, 52, 667
- Люцифер (Люцифер) (библ.) — 248, 590
- Льюис (Lewis) Джозеф Корнуол (1806—1863), англ. министр внутренних дел в 1859—1861 гг. — 218, 691
- Магдалина (библ.) — 616
- Магомет — см. Мухаммед
- Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 518, 745
- «Барышня» — 518, 745
- Макбет, действ. лицо одноименной трагедии В. Шекспира (см.)
- Маккавей (библ.) — 264
- Маккиавели (Макиавели) Никколо ди Бернардо (1469—1527) — 472, 535, 630, 638
- Мак-Магон Мари Эдм Патрис (1808—1893), франц. генерал, реакционный политический деятель; в войне 1859 г. одержал победу над австрийцами — 233, 579, 692
- Мак-Наб Генри Грей, врач герцога Кентского — 229, 575, 692
- Маколей (Macauley) Томас Бабингтон, лорд (1800—1859), англ. историк — 450
- Максимилиан Фердинанд Иосиф (1832—1867), австр. эрцгерцог, по требованию Наполеона III избран императором Мексики. Не признанный большинством мексиканского народа был расстрелян во время гражданской войны — 643
- Малибран Мария Фелиция (1808—1836), франц. певица — 451
- Манилов, действ. лицо поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя (см.)
- Манон Леско — см. Превю А., «История кавалера де Грие и Манон Леско»

- Марий Гай (156—86 до н. э.), римский политический деятель и полководец, в 88 г. до н. э. бежал в Африку, потерпев поражение в борьбе с Суллой — 230, 576
- Мария (библ.) — 235
- Мария Александровна (1824—1880), императрица, жена Александра II — 301, 423, 705
- Маргейнке Филипп Конрад (1780—1846), нем. философ-теолог, глава правых гегельянцев — 171
- Марко (Марго), действ. лицо в пьесе «Мраморные девы» Барьера и Тибу (см.)
- Маркс Карл (1818—1883) — 157—161, 165—167, 178, 415, 418, 541, 601, 602, 658, 661, 663, 678—686, 688, 727, 729
- Маркс Френсис (1816—1876), англ. помещик и реакционный публицист — 601, 684
- Марраст Арман (1801—1852), франц. политический деятель, редактор газеты «National», член Временного правительства в 1848 г., один из руководителей контрреволюции, подавившей июньское восстание 1848 г. — 76, 174, 670
- Марс (миф.) — 70
- «Марсельеза» — 51, 52, 95, 164, 459, 510, 635, 686, 732
- Мартьянов Петр Алексеевич (1835—1865), бывший крепостной, автор «Письма к Александру II» о созыве Земской думы, напечатанного в «Колоколе» — 335, 336, 361, 373, 382, 624, 626, 711, 720
- Массена Андре (1756—1817), маршал Франции при Наполеоне I — 163
- Маццини Джузеппе (1805—1872) — 13—28, 30, 31, 41, 79, 85, 86, 119, 125, 133—135, 138—140, 146, 148, 152, 159—164, 203, 205, 223, 257, 260, 264, 266, 270—272, 279, 281—283, 285, 287, 291, 339, 379, 382, 408, 472, 475, 476, 512, 513, 570, 601, 607, 629, 639, 657, 658 — 661, 663, 665, 694, 696, 697, 700, 701, 735, 749, 752
- «Письмо к Луи Наполеону» — 119, 673
- «Dovere della democrazia» — 41, 665
- Маццолени Периклес, маццинист, доверенное лицо Маццини в Лондоне во время миланского восстания 1853 г. — 139, 140, 674
- Медичи Джакомо (1819—1882), деятель национально-освободительного движения Италии — 16, 206
- Мейзенбург Мальвида-Амалия фон (1816—1903), нем. писательница, эмигрантка, была воспитательницей дочерей Герцена — 97, 490, 643, 671, 741
- Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), литератор — 298, 521, 522, 530, 704, 725, 746
- Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель. Из воспоминаний обыкновенного человека — 521, 522, 746
- Мен (Мейн) Ричард (Роберт) (1796—1868), начальник лондонской полиции с 1850 г. — 42, 112, 113, 543, 649
- Меровинги, династия франкских королей (V—VIII вв.); в VI—VII вв. их владычество отмечено множеством преступлений, насилий и убийств — 225, 572
- Мерославский Людвиг (1814—1878), польский политический деятель, участник польского восстания 1830—1831 гг., представитель шляхетско-националистического крыла польской эмиграции; командовал революционной армией Юго-Западной Германии в мае 1849 г. — 134, 151, 360, 600, 676
- Мерсье Луи Себастиан (1740—1814), франц. писатель; в годы революции конца XVIII в. примыкал к жирондистам, после 9 термидора перешел в лагерь контрреволюции — 505, 741
- «Мертвые души» — см. Гоголь Н. В.
- Мессалина Валерия (15—48), жена императора Клавдия, отличалась исключительным распутством — 462, 549, 555
- Мессия (библ.) — 248, 669
- «Метафизика», сочинение Аристотеля (см.)
- Меттерних Клеменс Венцель, князь (1773—1859) — 190, 230, 576

- Мефистофель — см. Гёте И. В., «Фауст»
- Меццокапо Карло (1817 — 1905), итал. военный и политический деятель, в 1849 г. участник защиты республики в Венеции и Рима, эмигрант — 16
- Мечников Лев Ильич (1838—1888), русский географ, социолог и публицист, участвовал в 1860 г. в походе Гарибальди; сотрудничал в «Колоколе» — 16, 660
- Мижув, действ. лицо поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя (см.)
- Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — 443, 453
— «Давид» — 443
- Милль Джон Стюарт (1806—1873) англ. буржуазный философ, и экономист — 66, 68, 69, 71, 72, 75—77, 109, 218, 351, 480, 565, 596, 655, 663, 664, 670, 672, 716, 737
— «О свободе» («On Liberty») — 66, 68, 77, 480, 565, 655, 662, 670, 672, 737
- Милович Владимир, деятель польского национально-освободительного движения. Находился за границей для подготовки восстания 1863 г. — 369, 372, 378, 625, 719—721
- Мильнер-Гибсон (Кульм Сюзанна) (1814—1885), жена Мильнер-Гибсона — 109
- Мильнер-Гибсон (Gibson Thomas Milner) Томас (1806—1884), один из руководителей манчестерцев (сторонников свободы торговли) в английском парламенте, сочувствовал освободительным движениям в Европе — 108, 417, 418, 672
- Мильтон Джон (1608—1674), англ. поэт и публицист, защитник свободы печати — 68, 669
— «Ареопагитика. Речь в защиту свободы печати» («Aereopagitica. A speech for the liberty of unlicensed printing») — 68, 669
- Мина Ивановна — см. Буркова
- Минерва (миф.) — 464, 548, 551, 552, 558
- Минин (Сухорук) Козьма Захарович (ум. в 1616 г.) — 635
- Мирабо Онопере Габриель (1749 — 1791) — 213
- Мирес Жюль Исаак (1809—1871), финансовый делец при Наполеоне III, глава банковских и промышленных предприятий, осужден за мошенничество — 492, 493, 739
- Митридат VI Евпатор (Дионис) (132—63 до н. э.), царь Понта и Босфора — 165, 634
- Митрофан (1623—1703), воронежский епископ — 596
- Миттермайер Карл Иосиф (1787—1867), нем. юрист-криминалист — 322
- Михаил Николаевич, вел. князь (1832—1909), наместник Кавказа с 1863 г. — 632
- Михайлов Михаил Илларионович (1829—1865), поэт, публицист, соратник Чернышевского; в 1861 г. сослан на каторгу — 358, 632, 719, 760
- Михаловский Генрих, поляк, эмигрант, служил в издательстве Трюбнера, оказывал шпионские услуги прусскому и русскому правительствам — 379—381, 384, 626, 720
- Михелет Карл Людвиг (1801—1893), нем. философ-идеалист, правый гегельянец — 480, 657, 737
— «Лекции о личности бога и бессмертии души» («Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele oder die ewige Persönlichkeit des Gottes») — 480, 737
- Мицкевич Адам (1798—1855) — 128, 676, 677
— «Пан Тадеуш» — 677; Тадеуш — 148, 677
- Мишле (Michelet) Жюль (1798—1874), франц. историк — 399, 480, 534, 724, 739, 749, 765
- Мозер Моисей (1796—1838), нем. филолог, друг Г. Гейне — 444
- Моисей (библ.) — 46, 148, 235, 580, 691, 753
- Мольер Жан Батист (Поклен) (1622—1673) — 677
— «Ученые женщины» — 677; Вадюс — 136, 677; Трисотен — 136, 677
- Мольтке (Старший) Хельмут Карл (1800—1891), прусский фельдмаршал — 482, 738

- «Монитор» («Монитер», Moniteur), франц. правительственная газета — 13
- Монталамбер Шарль, граф (1810—1870), франц. писатель и политический деятель, глава партии либеральных католиков — 66, 669
- Монтемолино Карлос, граф (1818—1861), глава карлистов и претендент на престол в Испании — 179
- Монтень Мишель де (1533—1592) — 49
- Монтес Лола (1820—1861), испанская танцовщица, фаворитка баварского короля Людовика I — 10
- Монтефиоре Моисей (1784—1885), лондонский банкир — 233, 579
- Мордини Антонио (1819—1902), участник революционного движения в Италии в 1848—1849 гг. — 271, 275, 276, 287, 290
- «Московские ведомости» («Полидейские ведомости»), газета, выходила с 1756 до 1917 г., в 1863—1887 гг. издателем и редактором был М. Н. Катков — 339, 426, 542, 610, 631, 632, 699, 706, 708, 713, 759
- «Московский литературный и ученый сборник» («Московский сборник»), славянофильский орган, изд. в 1846, 1847 и 1852 гг. Валуевым Д. А. и Аксаковым И. С. — 525, 747
- «Московский телеграф», двухнедельный научный и литературный журнал, изд. в 1825—1834 гг. Редактор Н. А. Полевой — 391, 527
- Мур Джордж, англ. фабрикант, убит Бартелемей в 1854 г. — 95, 96, 596, 671
- Муравьев Михаил Николаевич («Вешатель») (1796—1866), министр государственных имуществ в 1857—1862 гг., участник подавления польского восстания 1863 г. — 301, 309, 352, 357, 632, 705
- Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф (1809—1881), в 1847—1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири — 357, 358
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1617—1682), испанский живописец — 356
- Мурчисон Родерик Импи (1792—1871), англ. геолог. — 235, 580
- Мухаммед (Магомет) (ок. 570—632), религиозный проповедник, считается основателем ислама — 522
- Мухаммед II Эль Фатих (Османлис) (1430—1481), турецкий султан, в 1453 г. взял Константинополь и завершил завоевание Византии — 241
- Мюллер-Стрюбинг Герман (1810—1893), участник революционных событий в Берлине в 1848 г., эмигрировал сначала в Париж, затем в Лондон — 150, 168—171, 173—177, 184, 456, 603—605, 686, 688
- «Эрик» — 176, 184
- Мюнцер (Мюнстер) Томас (ок. 1490—1525) — 40, 220, 567
- Нани, итал. граф, участник национально-освободительного движения — 313
- Наперсток (Naprstek), чешский общественный деятель и музыкант — 360
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 51, 74, 127, 128, 147, 218, 243, 342, 361, 469, 522, 565, 586, 587, 637, 644, 666, 668, 669, 676, 686, 690, 691, 694, 714, 733
- Наполеон III Луи (Людовик) 1808—1873), император Франции в 1852—1870 гг. — 22, 28, 29, 35, 42, 44, 51, 81, 82, 111, 117, 121, 135, 161, 167, 244, 284, 286, 337, 360, 381, 384, 407, 408, 474, 478, 488—491, 494—496, 587, 602, 627, 629, 641, 644, 645, 658, 660, 662, 664—667, 669, 671 — 673, 685, 686, 696—698, 700, 712, 715, 726, 729, 736—743, 748
- Наполеон, принц (1822—1891), сын Жерома Бонапарта, брата Наполеона I — 167, 488, 489, 597
- Негретти, член итальянского комитета в Англии — 271, 698
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 518, 520, 524, 745, 746, 760
- «В дороге» — 520, 521, 746
- Нельсон Горацио (1758—1805), англ. адмирал — 28, 175, 662

- Нешир Чарлз (1786—1860), англ. адмирал, командовал в 1854 г. британским флотом в Балтийском море, угрожавшим Кронштадту и Петербургу — 357
- Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император с 54 г. — 500, 545, 649 740, 741
- Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), министр иностранных дел России в 1816—1856 гг. — 406
- Нидергубер, офицер венской национальной гвардии во время революции 1848 г., затем эмигрант в Париже и Лондоне — 200—204, 608, 609
- Николай Николай Павлович (1818—1869), русский дипломат, советник посольства в Лондоне — 325, 326, 615, 630
- Николай I (1796—1855), император — 27—29, 41, 60, 61, 64, 127, 134, 145, 163, 207, 208, 214, 227—229, 296, 298, 299, 305, 315, 325, 352, 357, 367, 391, 397, 406, 418, 420, 421, 423, 448, 464, 550, 552, 558, 573, 581, 611, 615, 644, 662, 669, 676, 677, 682, 689, 703, 710, 722—725, 726, 767
- «Новая прусская газета» («Крестовая газета», «Neue Preussische Zeitung»), орган прусских консерваторов, основана в 1848 г. в Берлине — 632
- Ноздрев — см. Гоголь Н. В., «Мертвые души»
- Ной (библ.) — 213, 690
- Ньютон Исаак (1643—1727), — 498, 740
- Обри (Aubry) Тереза, — 509, 742
- Обручев Владимир Александрович (1836—1912), участник революционно-демократического движения 60-х годов, сотрудник «Современника», арестован в 1861 и сослан в Сибирь — 304, 706
- Огарев Николай Платонович (1813—1877) — 291, 298, 300, 307, 314, 316, 326, 327, 346, 347, 370, 372, 373, 376, 380, 385, 386, 422, 522, 525, 610, 625, 626, 630, 673, 680, 704, 706—710, 712, 714—721 723—725, 734, 736, 747, 748, 759—761, 767
- «Деревенский сторож» — 120, 673
- «Одиссея» — см. Гомер
- Ожеро (Augereau) Пьер Франсуа Шарль (1757—1816), франц. военный деятель, вступил в революционную армию в 1792 г. солдатом, впоследствии маршал — 342
- О'Коннелль Даниель (1775—1847), лидер либерального крыла в ирландском освободительном движении — 129
- Олсоп (Alsopp) Томас (1795—1882), англ. полит. деятель и публицист, друг Р. Оуэна — 67, 211, 689
- Ольхин Михаил Дмитриевич, петербургский книготорговец и издатель — 518
- Омер-Паша (1806—1871), австр. офицер, переселившийся в Турцию, выдвинулся на высокие командные посты — 189
- Оппенгейм Генрих Бернгард (1819—1880), нем. публицист, в 1848 г. издавал в Берлине вместе с А. Руге (см.) радикальную газету «Die Reform», в том же году эмигрировал — 200, 608
- Ориген (185—254), христианский философ и богослов — 350, 716
- Орлеанская дева — см. Жанна д'Арк
- Орлов Алексей Федорович, граф (1786—1861), с 1844 г. шеф жандармов и начальник III отделения — 163, 357
- Орлов Николай Алексеевич, князь (1827—1885), дипломат, посланник в Бельгии в 1859—69 гг. — 625
- Орсини Феличе (1819—1858) — 18, 21, 24, 67, 81, 106, 107, 110, 113, 161—163, 206, 211, 494, 661, 669, 672, 740
- Османлис — см. Мухаммед II
- «Отечественные записки», ежемес. журнал, изд. в Петербурге в 1839—1884 гг. А. А. Краевским; в 1840—1845 гг. фактическим руководителем был В. Г. Белинский — 517, 520, 525, 526, 745, 747
- Оуэн Роберт (1771—1858) — 69, 205—212, 214—222, 225—232, 234—237, 240—245, 247, 450,

- 563—568, 572, 574—578, 580, 581, 584—588, 590, 650, 684, 689, 690—693, 751, 754—757
- «The World a great lunatic asylum» («Мир — это огромный сумасшедший дом») — 216, 563, 691
- Оуэн Роберт Дейл (1801—1877), сын Р. Оуэна, переселился в США в 1824 г. — 161, 210, 214, 450, 684, 689
- Павел, апостол (библ.) — 149, 538, 667
- Павел I (1754—1801), император — 149, 285, 668
- Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель и журналист, в 1853 г. выслан в Пермь, с 1860 г. перешел в лагерь реакции, издавал в Москве на субсидии министерства внутр. дел газету «Наше время» — 310
- Падлевский (Подлевский) Зыгмунт (1835—1863), польский революционный демократ, один из руководителей польского восстания 1863 г. — 368, 369, 371, 372, 547, 625, 626, 719, 720
- Паке (Pasquier) Этьен Дени (1767—1862), председатель палаты пэров при Луи Филиппе вплоть до революции 1848 г., руководил процессами против республиканцев — 51
- Паллада — см. Афина Паллада
- Пальмер Вильям (1824—1856), англ. врач — 114, 673
- Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865) — 97, 100, 107 — 110, 114, 119, 120, 158, 216, 260, 263, 279, 282, 284, 286, 287, 423, 424, 542, 543, 545, 597, 672, 683, 685, 696, 697, 699—701
- «Памятная книжка», ежегодник, в котором помещался список высших военных и гражданских чинов — 441, 731
- Панаев Иван Иванович (1812—1862), журналист и писатель — 518, 745, 746
- «Родственники» — 518, 745
- «Парижские увеселения» — 521, 746
- Пандора (миф.) — 175, 605
- Панич Виктор Никитич, граф (1801—1874), министр юстиции в 1841—1861 гг., ярый крепостник — 301, 705
- Паоли Паскаль (1725—1807), корсиканский патриот, боролся за независимость Корсики; эмигрант в Англии с 1769 до 1790 г. — 107
- Парадоль — см. Превос-Парадоль
- Пардигон, участник революции 1848 г. во Франции, эмигрант — 90—92, 94, 671
- Паскевич-Эриванский Иван Федорович князь (1782—1856), генерал-фельдмаршал, возглавлял в 1849 г. русские войска, сражавшиеся против революционной Венгрии — 134, 677
- Пассаланы — 170, 173
- Пассек Вадим Васильевич (1808—1842), этнограф и писатель, университетский товарищ Гердена, участник его студенческого кружка — 335, 517, 711
- Патти Аделина (1843—1919), итал. певица — 451
- Пелисье Жан Жак (1794—1864), франц. маршал, подавлял с большой жестокостью сопротивление арабов в Алжире, командовал французскими войсками в Крымской войне; в 1858—1859 гг. посол в Лондоне — 270, 698
- Пепе Гульельмо (1782—1855), итал. военный и политический деятель, возглавлял в 1820 г. восстание в Неаполе против австрийцев, после неудачи которого эмигрировал; в 1848 г. руко одил обороной Венецианской республики и вновь эмигрировал после поражения революции — 16, 660
- Перец Г. Г., агент III отделения — 328, 708
- Перикл (ок. 490—429 до н. э.), афинский политический деятель, вождь рабовладельческой демократии в период ее расцвета — 473, 638
- Перро (Perrault) Шарль (1628—1703), франц. писатель, автор многих сказок — 693
- «Рауль Синяя борода» — 243, 479, 693; Анна — 243, 693; Рауль — 243, 479, 693
- «Персей», статуя Бенвенуто Челлини (см.)
- Персины Жан Жильбер Виктор Фиален, герцог (1808—1872),

- франц. министр. внутренних дел в 1852—1854 г. и в 1860—1863 гг.; в 1855—1860—посол в Лондоне; приспешник Наполеона III и его доверенное лицо— 478, 488, 737
- Пестель Павел Иванович (1793—1826) — 308
- «Петербургский сборник», альманах, изд. в 1846 г. в Петербурге Н. А. Некрасовым — 520, 521, 746
- Петр I (1672—1725), император— 61, 64, 239, 248, 398, 461, 531, 549, 555, 583, 584, 590, 692, 724 733, 748
- Петрашевич (Бутаевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866) — 330, 616
- Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885), поэт и профессор греческой филологии в Моск. ун-те в 1835—1836 гг., в 1836 г. эмигрировал; в эмиграции перешел в католичество — 391—397, 399, 401, 403, 723, 724
- «Поликрат Самосский» — 395, 723
- «Торжество смерти» — 392, 395, 723
- Пиа Феликс (1810—1889), франц. политический деятель и драматург — 21, 32, 37, 42—45, 110, 122, 594, 657, 661, 662, 664—666
- «Диоген» — 42
- «Парижский ветошник» («Le Chiffonier de Paris») — 43, 665
- Пианори Джованни (1827—1855), участник революции 1848 г. в Италии, эмигрировал после падения Рима, казнен за покушение на жизнь Луи Наполеона — 494, 740
- Пианчани (Пьянчани) Луиджи (1810—1890), итал. политический деятель и публицист, участник революции 1848 г., эмигрировал в Англию — 141, 380, 410, 629
- Пиетри Пьер Мари (1810—1864), префект парижской полиции в 1851—1858 гг. — 203, 204
- Пизакане Карло (1818—1857), итал. революционер, публицист, начальник штаба войск Римской республики в 1849 г. — 16
- Пий IX Мاستаи-Феррети, граф (1792—1878), римский папа с 1846 г., бежал в 1848 г. из Рима и вернулся лишь в 1850 г. при помощи французов — 19, 41, 536, 750
- Пико, француз, слуга кн. Ю. Н. Голицына — 318, 321, 702
- Пикулин (В-ский) Павел Лукич (1822—1885), врач, адъютант Моск. ун-та, друг Грановского, был в 1855 г. за границей — 298, 299, 704
- Пирс (Pierce) Франклин (1804—1869), президент США в 1853—1857 гг. — 161
- Питт Уильям Старший, граф Чаттам (1708—1778), англ. государственный деятель, лидер партии вигов — 286
- Пиччини Никколо (1728—1800), итал. композитор — 26, 662,
- Платон (427—347 до н. э.) — 236, 581, 693, 757
- Плутарх (ок. 46—126) — 257
- Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, реакционный публицист — 405, 520, 746, 759
- Подлевский — см. Падлевский
- Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578 ок. 1641) — 635
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, журналист и историк — 515, 517, 744
- «Параша Сибирячка» — 517, 744
- «Полицейские ведомости» — см. «Московские ведомости»
- «Полководец», стихотв. А. С. Пушкина (см.)
- Поллес, псевдоним С. Тугендгольда (см.)
- Поллок Фредерик (1783—1870), англ. судебный деятель — 117
- «Полярная звезда», сборник, издававшийся Герценом в Лондоне и Женеве в 1855—1869 гг., с 1856 — совместно с Огаревым — 13, 14, 21, 72, 77, 78, 124, 145, 254, 300, 527, 534, 659, 670, 675, 696, 747—750, 760, 765
- Понятовский Юзеф, князь (1762—1813), польский политический и военный деятель, участник

- восстания Костюшки 1794 г., командующий польскими войсками в армии Наполеона — 127, 676
- Попов Андрей Александрович (1821—1898), адмирал — 358, 705
- Потапов Александр Львович (1818—1886), генерал, московский обер-полицмейстер в 1860—1861 гг., затем управляющий III отделением до 1864 г. — 316, 612
- Потебня Андрей Афанасьевич (1838—1863), русский революционер, организатор революционной группы среди офицеров в войсках, расположенных в Польше, участник польского восстания 1863 г., — 304, 365, 368, 372, 373, 547, 624, 626, 706, 720
- Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791), генерал-фельдмаршал — 520, 746
- Потоцкие — польский род, представители которого занимали крупные государственные посты на протяжении XVI—XIX веков — 132
- Полцо ди Борго Карл, граф (1764—1842), родом из Корсики, русский дипломат, представитель России на Венском конгрессе, посланник в Париже после реставрации Бурбонов — 451
- Превост д'Экзиль (Prévost d'Exiles) Антуан Франсуа (1697—1763), франц. писатель, аббат — «История кавалера де Грие и Манон Леско» («Histoire du chevalier de Grioux et de Manon Lescaut»); Манон Леско — 363
- Превост-Парадол (Prévost-Paradol) Люсьен (1829—1870), франц. журналист, член французской академии, либерал, впоследствии стал сторонником наполеоновской империи — 66, 492, 669, 739
- Проватов, член «Земли и воли» — 626
- Прозерпина (миф.) — 453, 732
- Прокл (410—485), древнегреческий философ — идеалист — 398
- Прометей (миф.) — 248, 590
- Процида Джiovанни (1225—1305), один из организаторов освобождения Сицилии от власти французов — 15
- Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — 41, 43, 67, 213, 228, 235, 398, 480, 499, 532, 533, 536, 580, 665, 668, 673, 692, 693, 737, 740, 748, 749
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 134
- Пульская Тереза, жена Ф. Пульского — 189, 190
- Пульский Ференц (Франц) (1814—1897), писатель, участник венгерской революции 1848 г., эмигрировал в Англию — 162—167
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 62, 65, 329, 352, 514, 523, 658, 670, 700, 716, 739, 740, 743, 744
- «Бахчисарайский фонтан» — 284, 700
- «Бородинская годовщина» — 329, 709
- «Вакхическая песнь» — 496, 740
- «Граф Нулин» — 739; Нулин — 485, 739
- «Евгений Онегин» — 515, 670, 744; Зарецкий — 82, 670; Ленский — 82, 670; Онегин — 364, 397—399, 624, 724
- «Клеветникам России» — 329, 710
- «Полководец» — 13, 14, 658
- «Стансы» — 329, 710
- Пьерро, слуга-шут в итальянских комедиях — 453, 469, 470
- Рабле Франсуа (1494—1553) — 62, 65
- Раглан Джемс Генри, лорд (1788—1855), англ. фельдмаршал, лишившийся в битве при Ватерлоо руки, командовал английскими войсками под Севастополем — 189, 190
- Радзивилл, один из представителей старинного литовского княжеского рода — 149
- Расин Жан (1639—1699) — 36
- Распайль (Распаль) Франсуа Венсан (1794—1878), франц. республиканец-радикал, естествоиспытатель, пользовался широкой популярностью среди трудящихся Парижа, которым оказывал бесплатную медицинскую помощь — 38, 190, 665
- Рафаэль Санти (1483—1520) — 356, 633

- «Сикстинская мадонна» — 259, 356
- Рахель — см. Варнгаген фон Энзе Рахиль
- Рашель Элиза (1821—1858), франц. драматическая актриса — 459
- Редкин Петр Григорьевич (1808—1891), юрист, профессор Моск. ун-та в 1835—1848 гг., принадлежал к западной группе молодых профессоров — 391, 394, 723
- Рейтерн Михаил Христофорович (1820—1890), русский министр финансов в 1862—1878 гг. — 441, 631
- Рейхель Адольф (1817—1897), нем. музыкант и композитор, друг Бакунина и Герцена — 157, 200—202, 204, 610, 696
- Рейхель Мария Каспаровна, рожд. Эрн (1823—1916), близкий друг семьи Герцена, жена А. Рейхеля — 298, 488, 656, 704, 724, 725, 739, 750, 759, 762
- Рейхенбах Оскар, граф (1815—1893), нем. демократ, участник движения 1848 г., эмигрант, был хранителем сумм, собранных на революционные цели — 141, 150
- Рекамье Жюли Аделаида (1777—1849), жена банкира; ее салон во времена империи Наполеона и Реставрации был политическим и литературным центром реакционеров — 451
- Рембрандт (1606—1669) — 69
- Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892), франц. историк христианства — 506, 701, 741
- «Современные вопросы» («Les questions contemporaines») 506, 741
- Рено Жан, франц. поэт, живший в XII веке — 499, 647, 740
- «Реформа» («La Réforme»), газета левых республиканцев, изд. в Париже в 1843—1850 гг. — 198, 354, 407, 726
- Рей (миф.) — 524, 747
- Ригби, друг и помощник Р. Оуэна — 210, 212
- Ридигер Федор Васильевич, граф (1783—1856), русский генерал, участвовал в подавлении революции 1849 г. в Венгрии — 189
- Риказоли (Рикасоли) Беттино (1809—1880), глава итальянского правительства в 1861—1862 и 1866—1867 гг. — 472, 478, 479, 640, 735, 737
- Ричардсон Самюэл (1689—1761) англ. писатель
- «Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» («Clarisse Harlow»); Ловлас — 458
- Ричардсон, англ. журналист и политический деятель — 287, 700
- Робеспьер Максимилиен Мари Изидор (1758—1794) — 49, 59, 66, 181, 716, 741
- Родбертус (Родбартус) Карл Иоганн (1805—1875), нем. экономист, консерватор — 168, 603
- Роджерс, сыщик лондонской полиции — 111—113
- Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), нем. философ-гегельянец — 171
- Ромарино Жером (1792—1849), итал. генерал; по предложению Маццини, возглавлял неудавшееся революционное вторжение в Италию в 1834 г.; после поражения итальянцев в войне с Австрией (в 1848 г.) обвинен в измене и расстрелян — 20, 661
- Ронге Иоганн (1813—1887), нем. церковный и политический деятель, инициатор движения «немецких католиков»; в 1848 г. был членом «левой» франкфуртского парламента, в 1849 г. эмигрировал в Лондон — 153, 681
- Ронкони Доменико (1772—1839), итал. певец — 320
- Росселл Джон, лорд (1792—1878), англ. политический деятель, глава партии вигов, член ряда министерств; в 1855 г. за несколько дней до падения кабинета Эбердина вышел в отставку — 144, 542, 545, 677
- Россини Джоаккино Антонио (1792—1868) — 183
- Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), госуд. деятель, в 1857—1858 гг. член секретного и главного комитетов, созданных для составления законопроекта об отмене крепостного права, позднее — председатель редакционных комиссий — 300

- Ростопчин Федор Васильевич, граф (1763—1826), московский военный губернатор и главнокомандующий Москвы в 1812—1814 гг., реакционер и крепостник — 464, 551, 557, 637
- Роттек Карл Венцеслаус Родеккер фон (1775—1840), нем. историк и политический деятель, видный представитель либерально-оппозиционного направления в Германии 1830—1840 гг. — 405
- Ротшильд Джемс, барон (1792—1868), банкир в Париже — 488, 621
- Ротшильд Лионель, барон (1808—1889), банкир в Лондоне — 216, 233, 291, 346, 347, 380, 579
- Ру (Roux) Л., аббат, посещавший Бартеlemi в тюрьме — 97, 101, 103, 105, 671
- Рубенс Петер Пауль (1577—1640) — 459
- Руге Арнольд (1802—1880), нем. радикальный публицист, младогегельянец — 134, 141, 150—153, 156, 355, 410, 541, 600, 663, 681—684, 759
- Рулье Карл (1814—1858), профессор зоологии Моск. ун-та — 522, 747
- Румянцев Петр Александрович, граф (1725—1796), генерал-фельдмаршал, полководец, оказавший большое влияние на развитие военного искусства XVIII в. — 522
- Руссо Жан Жак (1712—1778) — 49, 148, 217, 564
- Руэр Эжен (1814—1884), франц. государственный деятель, занимал разные министерские посты при Наполеоне III — 512, 742
- Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 688
— «Войнаровский» — 205, 688
- Сабуров Алексей Иванович, генерал-майор, был женат на Е. М. Сатиной, сестре Н. М. Сатина — 297, 704
- Савашкевич Леопольд, польский эмигрант в Париже, а после 1848 г. — в Лондоне, где примыкал к левым группировкам эмиграции — 426
- Савишьи Фридрих Карл (1779—1861), нем. юрист, один из основателей исторической школы права — 322
- Савич Иван Иванович брат Н. И. Савича; с 1844 г. проживал за границей, с 1851 г. — в Лондоне; был учителем русского языка детей Герцена — 324—326, 415, 416, 426, 614, 615, 727
- Савич Николай Иванович (1808—1892), участник Кирилло-Мефодиевского общества. В 1847 г., после закрытия общества, был отправлен в ссылку — 324, 326
- Сазонов Николай Иванович (1815—1862), участник московского кружка Герцена — Огарева, впоследствии эмигрант, публицист — 354, 370, 678, 761
- Самарин Юрий Федорович (1819—1876), публицист, славянофил — 300, 525, 747
— «Тарантас. Путевые впечатления» — 525, 747
- Сандерс — см. Сондерс Томас
- Сапета, граф — 387
- Саргант Уильям Л., биограф Р. Оуэна — 215, 216, 230, 235, 563, 691, 752
— «Роберт Оуэн и его социальная философия» («Robert Owen and his social philosophy») — 215, 690
- Сарто Андреа дель (1486—1531 или 1530), итал. живописец эпохи Возрождения — 457, 732
— «Мадонна» (Madonna del Sarto) — 457, 732
- Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт и переводчик, участник студенческого кружка Герцена — Огарева — 522, 525, 526
- Саул (библ.) — 395, 723
- Саффи Аурелио (1819—1890), деятель итал. освободительного движения, эмигрировал в Англию после падения Рима в 1849 г., публицист — 24, 152, 161, 272, 275, 276, 287, 288, 290, 694, 700, 750, 763
- Сбышевский (псевдоним «Un polonais») — 389
— «Польша и дело порядка» («La Pologne et la cause de l'ordre»), 389

- Сбышевский, граф, брат предыдущего, офицер русского военного флота, поляк по происхождению, эмигрировал в начале польского восстания 1863 г. — 389, 390
- Свентославский Зено (род. в 1811 г.), участник польского национально-освободительного движения, эмигрировал в Англию, печатал в своей типографии произведения эмигрантов, в том числе Герцена и Огарева — 44—46, 380, 594
- Сверцекевич — см. Цверцякевич
- Свифт Джонатан (1667—1745) — «Путешествие Гулливера в отдаленные страны» («Gulliwers Travels») — 47
- Святослав Игоревич (942—972), князь Киевский — 474, 736
- Селестина — 463, 637
- Селифан — см. Гоголь Н. В., «Мертвые души»
- Сенека Люций Анней (ок. 4 в. до н. э. — 65), римский философ-стоик, воспитатель Нерона — 500, 740, 741
- Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794) член Конвента и Комитета общественного спасения, казнен вместе с Робеспьером — 59, 79, 300, 461, 551, 558
- Сенковский Осип Иванович (псевдоним — барон Брамбеус) (1800—1858), востоковед, писатель и журналист, редактор журнала «Библиотека для чтения» — 525, 747
- Сен-Симон Анри Клод (1760—1825) — 220, 398, 498, 567, 740
- Сент-Арно Жак (Leroy de Saint Arnaud) (1801—1854), франц. военный деятель, один из организаторов переворота 2 декабря 1851 г., военный министр в 1851—1854 гг. — 189, 190
- Септимий Север Луций, римский император в 193—211 гг. — 643
- Сераковский Зыгмунт (1827—1863), польский революционер, видный участник восстания 1863 г. в Литве, захвачен в плен царскими войсками и казнен — 304, 610
- Сервантес Мигель де Сааведра (1547—1616)
- «Хитроумный гидальго Дон Кихот Ламанчский»; Дон Кихот — 444
- Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), революционер-демократ, сотрудничал в «Современнике»; один из организаторов «Земли и воли»; поддерживал деятельную связь с Герценом и Огаревым — 327, 632, 708, 709, 714, 730, 760,
- Сийес (Sieyès) Эммануэль Жозеф (1748—1836), аббат, деятель французской революции конца XVIII в. — 203
- Сиккарди Джузеппе (1804—1857), министр юстиции в Пьемонте в 1850 г. — 278, 699
- Силен (миф.) — 203
- Сили (Seeley) Роберт (1798—1886), лондонский издатель и писатель по историческим и религиозным вопросам — 284, 285, 287, 695, 696, 699
- Симеон-богоприимец (библ.) — 299, 639, 704
- Скарятин Владимир Дмитриевич, реакционный публицист; с 1863 г. редактировал крайне правую газету «Весть» — 385
- Скотт Вальтер (1771—1832) — 606 — «Антиквариум» («The Antiquary») — 606
- Слепцов Александр Александрович (1835—1906), один из организаторов и членов центрального комитета общества «Земля и воля» начала 60-х годов — 372, 720
- Сливицкий Петр Михайлович, член революционной группы в русских войсках, расстрелянных в Польше, расстрелян в 1862 г. — 304, 705
- Собакевич, действ. лицо поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя (см.) «Современник», литературный и политический журнал, изд. в Петербурге в 1836—1866 гг. — 66, 328, 522, 527, 669, 716, 734, 746, 748, 760
- Соколов Н. В., сотрудник «Русского слова» — 351, 525, 716
- Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839), поэт, в 1832 г. сблизился со студенческим кружком Герцена — Огарева — 531, 749

- Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882), писатель — 525, 717
- Словьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 520, 746
— «Даниил Романович, князь Галицкий» — 520, 746
- Сондерс (Сандерс) Томас (1786—1872), один из начальников сысской полиции в Лондоне в 1858 г. — 115
- Сондерс (Соундерс, Saunders), консул США в Лондоне в 1864 г. — 160, 162, 164, 165, 684
- Сондерс г-жа, жена консула — 164, 165, 602
- Спартак (ум. 71 г. до н. э.) — 78, 316, 323
- Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — 236, 581
- Станфилд (Stansfield) Джемс (1820—1898), англ. политический деятель, член палаты общин в 1859—1895 гг., примыкал к левой фракции либеральной партии; друг Маццини — 260, 261, 263, 282, 284, 287, 288, 639, 696, 698
- Стеели, владелец пивной в Берлине — 169, 170, 173
- Стерн Е., лондонский биржевой маклер — 424, 425, 725
- Штофреген — см. Штофреген
- «Стрела» — журнал, изд. Головинным. Вышли два номера: в декабре 1858 г. и в январе 1859 г. — 423, 727
- Стремоухов, русский офицер — 194, 195, 606
- Строганов Сергей Григорьевич граф (1794—1882), государственный деятель. Будучи попечителем Московского учебного округа в 1835—1847 гг., привлекал в профессию Моск. ун-та передовых русских ученых — 392, 529, 723
- Стэнли, лорд — см. Дерби
- Стюарты, династия английских королей — 40
- Суворов Александр Аркадьевич, князь (1804—1882), генерал-губернатор остзейских провинций в 1848—1861 гг., петербургский генерал-губернатор в 1861—1866 гг. — 424, 632
- Суворов Александр Васильевич, князь (1730—1800) — 163, 522
- Суле (Soulé) Пьер (1800—1870), француз, эмигрировал в 1824 г. в Америку, стал там членом Конгресса, в 1853 посол США в Мадриде — 161, 684
- Сулла Люций Корнелий (138—78 до н. э.), римский диктатор — 40
- Сулук (1782—1867), негритянский политический деятель, в 1847 г. избран президентом о-ва Гаити, с 1849 г. император, в 1859 г. бежал на о-в Ямайку — 40
- Сусанин Иван Осипович (ум. в 1613), крестьянин Костромского уезда, спасший царя Михаила Федоровича от отряда польских интервентов — 631, 632, 759
- Сусанна (библ.) — 182, 688
- Суслова Надежда Прокофьевна (1843—1918), первая русская женщина-врач — 467, 734
- Сутерленд (Sutherland) Джордж, герцог (1828—1892) — 257, 263, 269, 270, 276, 283, 286, 695, 699
- Сухозанет Иван Онуфриевич (1785—1861), генерал — 451
- Сухозанет Николай Онуфриевич (1794—1871), военный министр в 1856—1861 гг. — 296, 704
- «Таймс» («Теймс», «Times»), англ. ежедневная газета консервативного направления, основана в 1785 г. — 13, 28, 97, 98, 101—103, 139, 157, 158, 179, 194, 263, 288, 328, 433, 598, 601, 662, 670, 671, 697, 698, 700, 701, 705
- Таланье Альфред (1822—1890), франц. адвокат, участник революционного движения в 1848—1849 гг., эмигрант — 421, 459, 635, 636
- Талейран-Перигор Шарль Морис (1754—1838) — 15, 659
- Тальма Франсуа (1763—1826), франц. актер — 172
- Тамерлан — см. Тимур
- Тансен (Tencin) (1685—1749), хозяйка одного из парижских литературно-политических салонов, в молодости фаворитка регента, герцога Орлеанского — 49

- Тассо Торквато (1544 — 1595) — 688
 — «Освобожденный Иерусалим» 202, 688
- Таузунау Карл (1808—1873), участник революционного движения 1848 г. в Вене, эмигрант — 201—204, 456, 609, 634
- Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — 68, 69, 494, 645, 669, 739
- Тейлор (Taylor) Петр Альфред (1819—1891), англ. политический деятель, радикал; друг Маццини, председатель англ. «Общества друзей Италии» — 143, 599, 677
- «Телеграф» — см. «Московский телеграф»
- Телеки Сандор, граф (1821—1892), венгерский политический деятель, сражался в рядах венгерской революционной армии, в 1849 г. эмигрировал в Англию — 46, 167, 189, 190, 476, 477, 639, 640
- Телемак — см. Гомер «Одиссея»
- «Телескоп», журнал, изд. в Москве в 1831—1836 гг. Редактор Н. И. Надеждин — 391, 517, 744
- Темплъ, англ. судья — 218
- Теннисон (Tennyson) Альфред (1809—1892), англ. поэт — 263
- Тереза, псевдоним Эммы Валадон (см.)
- Тёрнер (Турнер, Turner) Джозеф Мэллорд Уильям (1775—1851), англ. живописец — 44
- Теруань де Мерикур (Theroigne de Mericourt) настоящее имя Анна Теруань (1762—1817), деятельница французской революции конца XVIII в. — 552, 558
- Тибу Л., драматург, написал пьесу «Les filles de marbre» совместно с Т. Барьером (см.)
- Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — 643
- Тинторетто (настоящая фамилия Робусто), Якопо (1518—1594) — 457, 469
- Титан (миф.) — 248
- Тициан Вечеллио (ок. 1477—1576) 453, 469
- Товянский Андрей (1799 — 1878), польский мистик, глава религиозной секты — 128, 676
- Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805—1859), франц. историк — 69, 669
 — «Старый режим и революция» («L'ancien régime et la Révolution») — 69, 669
- Толстой Яков Николаевич (1791—1867), один из первых русских эмигрантов; стал с 1837 г. агентом III отделения в Париже 404, 726
- Трабукко (Trabucchi) Рафаэле, итал. эмигрант, привлекался по делу о покушении на Наполеона III в 1863 г. — 263, 696
- Траверсе (Traversay) Николай Александрович, маркиз де (1829—1864), чиновник особых поручений в госуд. контроле, познакомился с М. А. Бакунинным в Сибири, в 1862 г. ездил в Лондон для свидания с ним и с Герценом — 632, 759
- Трелоне, член англ. парламента — 218, 691
- Трувеллер Владимир Васильевич (род. в 1842), флотский юнкер, сосланный в 1862 г. в Сибирь за распространение нелегальной литературы — 305, 306, 611, 702, 706, 707
- Трулов Эдвард (род. в 1809), англ. общественный деятель, издатель радикальной литературы в Лондоне — 110, 120—123
- Трюбнер Николай (1817—1884), англ. издатель, издавал произведения Герцена — 116, 299, 335, 380, 617, 618, 711
- Тугендгольд (псевдоним Поллес, Polles) Стефан, выходец из русской Польши, учился в Петербурге, жил в Париже и Лондоне, русский шпион — 384—389, 627, 628, 632, 722
- Тугендгольд, брат Стефана Тугендгольда, доктор — 388, 389, 722
- Тур Альберт, польский эмигрант в Лондоне — 379, 381, 383, 384, 626
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 109, 174, 300, 359, 364, 463, 518, 529, 623, 632, 637, 655, 672, 688, 705, 733, 745, 748, 760, 761
- «Записки охотника» — 109, 672
 — «Нахлебник» — 637, 733; Кузовкин — 463, 733

- «Отцы и дети»; Базаров — 352
 — «Петр Петрович Каратаев» — 518, 745
 — «Рудин»; Рудин — 359
 Турнер — см. Тёрнер
 Тучков Алексей Алексеевич (1799—1878), сосед Огарева по имению; был близок к кружку Герцена — Огарева — 523
 Тхоржевский Станислав, польский эмигрант, имел книжную лавку в Лондоне, помогал польской эмиграции — 110, 120—123, 307, 347, 381, 383, 390
 Тьер Луи Адольф (1797—1877) — 491, 512, 644, 739, 742
 Тюрго Луи Феликс, маркиз (1796—1866), франц. политический деятель, посол в Испании в 1853 г. — 161, 684
 Тюссо (Tussaud) Мария (1760—1850), основательница музея восковых фигур и реликвий в Лондоне — 105, 671
 Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — 495, 645, 705, 740
- Убичини, агент лондонской полиции — 113
 Уголино дельла Герардеска, правитель Пизы, глава гвельфов, в 1288 г. свергнут гиббеллинами — 251, 694
 Уллоа (Ulloa) Джироламо (1810—1891), итал. генерал, в качестве адъютанта генерала Пепе (см.) участвовал в походе неаполитанской дивизии в Пьемонт, начальник гарнизона во время обороны Венецианской республики в 1848 г., эмигрировал во Францию, в 1859 г. вернулся в Италию — 16, 660
 Ульпиан (Ulpianus) Домиций (170—228), один из создателей римского права, опекун императора Александра Севера, занимал важные государственные должности — 500, 740, 741
 Урбан Карл, барон (1802—1877), австр. фельдмаршал; в 1859 г. командовал дивизией, действовавшей против отрядов Гарибальди — 167, 184, 686, 688
 Уркхарт (Уркуард, Urquhart) Давид (1805—1877), англ. политический деятель и публицист — 158, 159, 282, 601, 682—684, 699
- Фавр Жюль (1809—1880), франц. адвокат, политический деятель, в годы Второй Империи возглавлял буржуазно-республиканскую оппозицию, враг социализма и рабочего движения — 508, 742
 Фази Жан Жак (Джеймс) (1794—1878), швейцарский публицист и политический деятель, фактический руководитель совета Женевского кантона в 1847—1861 гг. — 20, 438
 Фарадей (Фаредей) Майкл (1791—1867) великий англ. физик — 216, 564
 Фауст — см. Гёте И. В., «Фауст»
 Фелинский Сигизмунд (1822—1895), участник революционного движения в Познани в 1848 г.; в 1855 г. принял сан священника; с 1862 г. архиепископ — митрополит Варшавский; выслан в Ярославль в 1863 г. — 324
 Фергюсон (Фергуссон) Вильям (1808—1877), лейб-медик королевы Виктории — 284 — 286, 695
 Фердинанд — см. Шиллер И. Ф., «Коварство и любовь»
 Фердинанд I (1793—1875), австрийский император в 1835—1848 гг. — 227, 573, 755
 Фердинанд II (1810—1859), неаполитанский король (король Обеих Сицилий) с 1830 г. — 21, 227, 573, 661, 692, 755
 Фигаро, действ. лицо в комедиях Бомарше (см.)
 Фиески Жозеф (1790—1836), корсиканец, покушался на жизнь Луи Филиппа в 1835 г. — 172, 686
 Филипп II, герцог Орлеанский (1674—1723), регент Франции в 1715—1723 гг. — 149, 316, 600, 678, 707
 Филипп Ж., франц., полит. эмигрант, содержатель аптеки в Лондоне — 38, 665
 Филипс Джордж, манчестерский фабрикант, член парламента — 214, 689
 Филопанти Квирико (1812—1894),

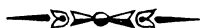
- политический деятель и ученый, в 1849 г. секретарь римского республиканского триумvirата, с 1859 г. профессор механики Болонского университета — 32
- Финлен (Финлейн, Finlen) Джемс, деятель чартистского движения, участник «Международного комитета» 1855 г. — 418, 727
- Фиркс Федор Иванович (Шедо-Ферроти), барон (1812—1872), русский чиновник, монархист — 632, 759, 760
- «Что будет с Польшей» («Que fera-t-on de la Pologne») — 632, 759
- Фихте Иоганн Готтлиб (1762—1814), нем. философ — 217
- Флокон Фердинанд (1800—1866), редактор французской газеты «La Réforme» в 1845—1848 гг., после февральской революции — член Временного правительства — 355
- Флориани, придворный парикмахер в Петербурге — 449
- Фоблаз (Фоблас), герой серии романов Луве де Кувре (см.)
- Фогт Карл (1817—1895), нем. естествоиспытатель, участник революции 1848 г., эмигрировал в Швейцарию, в 1850-х годах — агент Луи Наполеона — 143, 167, 277, 602, 679, 680, 685, 686, 698, 699, 750
- Фокс Чарлз Джемс (1749—1806), англ. политический деятель, лидер партии вигов; в личной жизни был известен кутежами и азартной карточной игрой — 213, 434
- Фома (Saint Thomas) (библ.) — 575, 755
- Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — 520, 746
— «Бригадир» — 520, 746
— «Недоросль» — 520, 746
- Фопвизин Михаил Александрович (1788—1854), генерал-майор, участник наполеоновских войн, декабрист — 308
- Фостер, квакер, один из совладельцев основанной Робертом Оуэном в Нью-Ланарке фабрики — 229, 575, 692, 755, 756
- Фоше Леон (1804—1854), франц. министр внутренних дел при Луи Наполеоне — 484
- Франсуа, итальянец, слуга в семье Герцена — 99, 188, 597, 598
- Франц Иосиф I (1830—1916), австр. император с 1848 г. — 28, 227, 662, 692
- Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876), нем. поэт, представитель революционной поэзии 1848 г., в 1851 г. эмигрировал в Лондон — 151
- Фридрих II (1712—1786), прусский король с 1740 г. — 397, 537
- Фридрих Август II (1797—1854), король Саксонии в 1836—1854 гг. — 356
- Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), прусский король с 1840 г.; с 1858 ввиду его слабоумия королевством управлял его брат Вильгельм — 66, 173, 446, 482, 669, 686
- Фрич Иозеф Вацлав (1829—1890), чешский политический деятель и писатель, видный участник Пражского восстания 1848 г., сотрудничал в 1848 г. с Бакуниным в период славянского съезда в Праге и при подготовке революционного движения в Богемии, эмигрировал в Лондон — 360, 529
- Фролов Петр Александрович (1828—1867), литератор, сотрудник «Отечественных записок» с 1849 г. — 529
- Фультон Роберт (1765—1815), американский изобретатель, создатель первого парохода — 243, 586
- Фурье Шарль (1772—1837), франц. социалист-утопист — 213, 220, 236, 567, 581, 668, 757
- Хам (библ.) — 213, 690
- Ханыков — 624
- Харон (миф.) — 450.
- Хлестаков — см. Гоголь Н. В., «Ревизор»
- Хмелинский Игнатий (ок. 1830—1863), организатор покушения в 1862 г. на в. кн. Константина Николаевича, член революционного правительства в 1863 г., расстрелян — 378, 721
- Хованский Александр Николаевич, князь (1771—1857), управляющий государственным банком — 302, 705

- Ховра Степан Васильевич, князь, по национальности грек, родоначальник графов Головиных — 407, 726
- Хоецкий Карл Эдмунд (литер. псевдоним Шарль Эдмон, Ш. Э.) (1822—1899), уроженец русской Польши, с 1844 г. поселился во Франции; литератор и публицист; после Крымской войны — личный секретарь принца Наполеона — 161, 181, 368, 533, 719, 759
- Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт-славянофил — 353, 525, 531, 747, 748
- «Мнение русских о иностранцах» — 525, 746
- Хотомский, граф — 471, 735
- Христос Иисус (библ.) — 181, 197, 207, 220, 236, 248, 260, 278, 337, 396, 501, 507, 528, 567, 581, 590, 596, 646, 689, 691, 693, 704, 723, 740
- Хронос — см. Кронос
- Цверпякевич (Сверцекевич) Иосиф, польский революционер, представитель повстанческого правительства в Лондоне в 1863 г. — 378, 379, 381—383, 387, 388, 626, 627, 721
- Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — 111, 284, 335, 673, 711, 739
- Цимисхий — см. Иоанн I Цимисхий
- Цинциннат Люций Квинкий (V в. до н. э.), политический деятель Древнего Рима — 451
- Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — 230, 398, 576, 737
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — 391, 532, 749
- Чальдини Энрико (1811—1892), итал. генерал, в 1862 г. командовал сардинскими войсками, остановившими движение Гарибальди на Рим — 479, 640
- Чамберс — см. Чемберс
- Чапмен (Sharpes) Роберт, член Комитета по организации международного митинга в Лондоне в 1855 г., представитель английской секции — 421
- Чарторьские (Чарторижские) княжеский род в Литовском и Литовско-польском государстве, играли большую роль в политической жизни Польши в XVII и XVIII вв. — 133
- Чарторьский (Чарторижский, Czartoryski) Адам Юрий, князь (1770—1861), польский политический деятель, глава польского правительства после революции 1830 г., возглавлял аристократическую часть польской эмиграции — 133, 147, 337, 360, 367, 719, 722.
- Чатам — титул Питта Старшего (см.)
- Челлини Бенвенуто (1500—1571), итал. скульптор, ювелир и медальер — 443
- «Персей» — 443
- Чемберс (Чамберс, Chambers) Роберт (1802—1871), англ. писатель и издатель — 282, 543, 699, 700
- Чернецкий Людвиг, польский эмигрант, заведовал Вольной русской типографией в Лондоне — 131, 141, 142, 145, 146, 298, 380, 676
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 327, 328, 632, 703, 706—708, 760
- Чех (Tschech) Генрих Людвиг (1789—1844), покусался в 1844 г. на жизнь прусского короля Фридриха Вильгельма IV, казнен — 172, 686
- Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), писатель и публицист, профессор Моск. ун-та, в 50-х гг. примыкал к либерально-монархическим кругам — 300, 301, 705, 761
- «Обвинительный акт» — 300, 301, 704
- Чичиков — см. Гоголь Н. В., «Мертвые души»
- Шаллер Юлиус (1810—1868), нем. философ, профессор университета в Галле, в своих ранних работах стоял на позициях правого гегельянства — 171
- Шарлотта, знакомая Кинкелей — 155
- Шарлотта — см. Каролина-Шарлотта

- Шарлотта (1840—1927), дочь бельг. короля Леопольда I, жена австр. эрцгерцога Максимилиана (см.) — 643
- Шарлотта Кордэ — см. Кордэ Шарлотта
- Шарр (Charré) Л., франц. революционер, эмигрировал после революции 1848 г., друг Э. Кёрдеруа — 63, 65
- Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), франц. писатель-романтик — 738
- «Приключения последнего Абенсерага» («Les aventures du dernier des Abencérages») — 738; Лотрек — 484, 738
- Шевалье Мишель (1806—1879), франц. экономист, во время революции 1848 г. выступал с травлей социалистов, ярый защитник политики Наполеона III — 400
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — 324
- Шевырев (Ш.) Степан Петрович (1806—1864), историк, литературный критик, реакционный журналист — 405, 520, 525, 747
- Шедо-Феррот — псевдоним Ф. И. Фиркса (см.)
- Шекспир Вильям (1564—1616) — 36, 254, 352, 445, 499, 543, 668, 669, 694, 695, 738
- «Венецианский купец»; Шейлок — 445
- «Гамлет» — 213, 669, 694; Гамлет — 70, 124, 213, 248, 254, 255, 511, 590, 669
- «Король Лир» — 738; Гонерилья — 254, 291; Лир — 254, 291, 482, 738; Кент — 482, 738; Корделия — 254, 291
- «Макбет»; Макбет — 52, 668
- «Отелло»; Дездемона — 633; Яго — 254
- Шелли (Шеллей, Shelley) Перси Биши (1792—1822) — 211, 218, 565, 691
- Шельшер Виктор (1804—1893), один из основателей газеты «La Réforme», в 1848—1851 гг. входил в группу Горы, а затем был изгнан из Франции — 79, 181, 182, 197
- Шен, англ. адвокат, друг Маццини — 285, 544, 700, 701
- Шеню (Chenu) Адольф (р. ок. 1817), член тайных обществ в период Июльской монархии, разоблачен как провокатор в 1848 г. — 198, 687
- «Заговорщики, тайные общества, городская полиция при Коссидьере; добровольцы» («Les conspirateurs; les sociétés secrètes; la préfecture de police sous Caussidière; les corps francs») — 198
- Шепп (Шнепф, Schepp), франц. полицейский агент, командированный в Швейцарию — 198
- «Мои политические приключения в Швейцарии» («Mes aventures politiques en Suisse») — 198
- Шереметевы (Шереметьевы), древний боярский род, первые в России получили графский титул — 149
- Шеридан Ричард (1751—1816), англ. драматург и политический деятель — 434
- Шестаковский Наполеон, польский эмигрант — 380
- Шефтсбюри Антони Эшли, лорд (1801—1885), англ. консерватор — 265, 266, 283 — 285, 543, 649, 695
- Шиалоа (Шиалола, Scialoja) Антонио (1817 — 1878), министр финансов объединенной Италии, монархист — 472, 478, 735, 736
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 172, 190, 217, 221, 564, 601, 616, 686, 691, 711, 742, 752
- «Дон Карлос» — 510, 711, 742; Дон Карлос — 335, 711
- «Коварство и любовь» — 686; Луиза — 172, 173, 686; Фердинанд — 686
- «Лагерь Валленштейна» — 221, 567, 691
- «Порука» («Bürgschaft») — 172
- «Слова верующего» («Die Worte des Glaubens») — 217, 691
- Шнепф — см. Шепп
- Шопенгауер Артур (1788—1860) — 236, 581
- «Шпеерова газета» («Speierische Zeitung») выходила в Берлине в 1740—1784 гг. — 169, 603

- Штейн Генрих Фридрих (1757—1831), прусский государственный деятель — 155
- Штоффregen (Стоффреген) Кондратий Кондратьевич (1817—1873), морской офицер, служил на фрегате «Генерал-адмирал» в 1861 г. — 306, 706, 707
- Шурц Карл (1829—1906), нем. революционер, участник восстания в Вадене в 1848 г.; эмигрировал в 1852 г. в Америку, активно участвовал на стороне республиканцев в политической жизни США — 53, 150, 668
- Щепкин Михаил Семенович (М. С.) (1788—1863) — 298, 301, 521—523, 525, 526, 704, 705, 746, 747
— «Из записок артиста» — 521, 522, 746
- Эбер (Геберт, Hébert) Жак (1757—1794), деятель франц. революции конца XVIII в., якобинец — 59, 235, 693
- Эмсон Г., англ. адвокат по делу Головина (см.) — 425
- Энгельсон Владимир Аристович (1821—1857), русский публицист, эмигрант — 330, 336, 413, 618
- Энглендер Зигмунд, австр. журналист, эмигрант — 199, 609
- Эрнст Август, король Ганновера в 1837—1851 гг. — 446
- Эрот (миф.) — 465, 733
- Эспартеро Бальдомеро (1793—1879), испанский государственный деятель, министр-президент Испании в 1854—1856 гг. — 159
- Эспинас Эспри Шарль (1815—1859), франц. генерал, министр внутренних дел с 1858 г. — 494, 646, 740
- Эстергази Павел Антон, князь (1786—1866), австр. дипломат — 451
- Эстергази, венгерские магнаты — 132
- Юм Давид (1711—1776) — 218, 565
- Юнона (миф.) — 152
- Юпитер (миф.) — 70, 152, 246, 589, 758
- Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт — 521
- Януарий, епископ Беневентский, умер мученической смертью при Диоклетиане — 224, 246, 570, 588, 691, 754
- Ярополк Водянский — см. Герцен А. И.
-
- «The Athenaeum», еженедельный литературно-критический журнал, основан в 1828 г. в Лондоне, выходил до 1921 г. — 420, 421, 728, 762, 763
- Charrière, франц. фабрикант хирургических инструментов, владелец магазина в Париже — 59
- «Châtiments», стихотворный цикл В. Гюго (см.)
- «Le Constitutionnel» («Конститусионель»), франц. газета, выходила с 1815 по 1866 г. — 645, 739
- «The Cooperator», журнал, изд. в Лондоне—Манчестере с 1860 г. — 242
- «Daily News», газета, изд. в Лондоне в 1846—1928 гг. — 419—421, 632, 698, 727, 728
- «Daily Telegraph», газета, близкая к консервативной партии, изд. в Лондоне — Манчестере с 1855 г. — 159
- «Deutsche Jahrbücher» — см. «Hal-lische Jahrbücher»
- «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», соч. Герцена (см.)
- Elsler (ошибочно у Герцена Els-sner) Fanny (1810—1884), известная танцовщица, родом из Вены — 451
- «Evening Standard» («Standard»), консервативная газета, изд. в Лондоне в 1827—1905 гг. — 543
- «La France», консервативная газета, изд. в Париже в 1861—1919 гг. — 270, 698

- «La France ou l'Angleterre?», соч. Герцена (см.)
- «Gazette des Tribunaux», консервативная газета, выходила в Париже с 1828 г. — 405, 726
- «Hallische Jahrbücher», орган младогегельянцев, изд. в 1838—1841 гг. в Дрездене, переименован в 1841 г. в «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst», выходил до 1844 г. — 160, 684
- «Hermann», еженед. газета на нем. яз., орган нем. эмиграции в Лондоне, основана Г. Кинкелем в 1859 г. — 167, 686
- «L'Homme», еженед. газета франц. эмиграции в Лондоне, выходила на о-ве Джерси — 37, 44, 45, 62, 641, 664, 668, 669
- «Italia del Popolo», итал. газета, основана Мадзини в 1848 г., выходила до 1857 г., с 1851 г. под названием «Italia e Popolo» — 18, 660, 661
- «Journal de Turin», газета, изд. в Турине И. Г. Головиным в 1852 г. — 407, 726
- «The Leader» — см. «Лидер»
- «Les Misérables», соч. В. Гюго (см.)
- «Morning Advertiser», англ. газета, основана в 1794 г. — 159, 166, 167, 415, 418, 419, 602, 682 — 685, 727, 728, 763
- «Morning and Evening Star» — 159, 265
- «La Nazione», газ. умеренно-либеральн. направления, выходила во Флоренции с 1859 г.—638
- «Le Nord», газета, выходила в Брюсселе с 1856 до 1865 и в 1868—1871 гг., субсидировалась русским правительством — 385
- «L'Opinion Nationale», франц. газета, орган либеральных бонапартистов, выходила с 1859 до 1879 г. — 48
- «La Patrie», франц. газета, выходила с 1841 до 1866 г. — 645
- «Le Peuple Constituant», франц. газета, выходила с февраля 1848 г. до июля 1848 г. — 503, 741
- «The People's Paper» («The People»), еженед. газета, орган чартистов, выходила в Лондоне с 1852 по 1858 г., издатель и редактор Эрнест Джонс — 419, 683, 684, 727
- Pristnitz (1799—1851), основатель гидротерапии и водолечебных заведений — 109
- «La Réforme» — см. «Реформа»
- «Que fera-t-on de la Pologne», брошюра Ф. И. Фиркса (см.)
- «Renaissance» par J. Michelet», соч. Герцена (см.)
- «Reynolds Newspaper» — 543
- «Rubini Giovanni» (1795—1854), итал. тенор — 451
- «La Russie et le vieux monde», соч. Герцена (см.)
- «Russland und Germanenthum», соч. Бруно Бауэра (см.)
- «Le Siècle», парижская либеральная газета, выходила с 1836 до 1866 г. — 48, 765
- Taglioni Marie (1804—1884), франц. танцовщица — 451
- «Temps», газета, изд. в Париже с 1861 до 1942 г.— 48
- «La Voix du peuple», франц. газета, выходила с 1 октября 1849 г. до 14 мая 1850 г. под ред. Прудона — 90, 726
- La Vraie République», франц. газета, выходила с 26 марта до 21 августа 1848 г. при участии П. Леру и А. Барбеса — 354
- «The Westminster Review» — см. «Вестминстерское обозрение»



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. И. Герцен. С фотографии С. Л. Львова-Львицкого, 1861 г. Государственный литературный музей, Москва	4
«Былое и думы». Оглавление отрывков из части VI (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина	16
«Былое и думы», часть VI, главы «Горные вершины» и «Эмиграции в Лондоне». Страницы рукописи (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина	32
«Былое и думы», часть VI, глава «Горные вершины». Страница рукописи (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина	48
«Былое и думы», часть VI, глава «Лондонская вольница пятидесятих годов». Страницы рукописи (автограф Герцена). «Софийская коллекция» Герцена — Огарева	192
«Былое и думы», часть VII, глава «В. И. Кельсиев». Страница рукописи (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина	336



ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
101	17 св.	a jouter	ajouter
103	6 св.	celui	celui qui
124	6 св.	событиям	событиям.
181	8—9 св.	<Хоецкий>	Х<оецкий>
275	1 св.	hansom)	hansom). — <i>Ред.</i>
416	1 св.	Вы хотите	С. Вы хотите
478	1 св.	lapaix	la paix
545	10 св.	спаянных	пронически спаянных
553	1 св.	indigne	indigné
568	12 св.	immense	immense
577	1 св.	pialectique	dialectique

СО Д Е Р Ж А Н И Е

БЫ Л О Е И Д У М Ы

Ча с т ь ш е с т а я

А н г л и я (1852—1864)

	Текст	Варианты	Комментарии
<i>Глава I.</i> Лондонские туманы	9		656
<i>Глава II.</i> Горные вершины	13	594	657
<i>Глава III.</i> Эмиграции в Лондоне	32	594	662
<i>Прибавление.</i> Джон-Стюарт Милль и его книга «On Liberty»	66	596	669
⟨ <i>Глава IV.</i> Два процесса	78	596	670
⟨ <i>Глава V.</i> «Not guilty»	106		672
⟨ <i>Глава VI.</i> Польские выходцы	124	598	673
⟨ <i>Глава VII.</i> Немцы в эмиграции	150	600	678
⟨ <i>Глава VIII.</i> Лондонская вольница пятидесятих годов	178	605	687
⟨ <i>Глава IX.</i> Роберт Оуэн	205		688
⟨ <i>Глава X.</i> Camicia rossa	254		694

Ча с т ь с е д ь м а я

⟨Вольная русская типография
и «Кулокол»⟩

⟨ <i>Глава I.</i> Апогей и перигей (1858—1862)	295	610	702
⟨ <i>Глава II.</i> В. И. Кельсиев	329	616	708
⟨ <i>Глава III.</i> «Молодая эмиграция»	341	620	713
⟨ <i>Глава IV.</i> М. Бакунин и польское дело	353	623	716
⟨ <i>Приложение.</i> Обращения к комитету русских офицеров в Польше)	375		
⟨ <i>Глава V.</i> Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley & Co	378	626	720
⟨ <i>Глава VI.</i> Pater V. Petcherine	391		722
⟨ <i>Глава VII.</i> П. Головин	404	628	724

Часть восьмая

〈О т р ы в к и〉

(1865—1868)

	Текст	Варианты	Комментарии
〈Глава I〉. Без связи	431	631	730
I. Швейцарские виды	431		
II. Болтовня с дороги и родина в буфете	440		
III. За Альпами	442		
IV. Zu deutsch	444		
V. С того и этого света	447		
〈Глава II〉. Venezia la bella (Февраль 1867)	468	637	734
〈Глава III〉. La belle France	484	641	738
I. Ante portas	484		
II. Intra muros	490		
III. Alpendrücken	496		
IV. Даниилы	503		
V. Светлые точки	509		
VI. После набега	510		
Старые письма	514		743

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

Часть шестая

〈Глава VII〉. Немцы в эмиграции	541	648	751
〈Глава X〉. Samicia rossa	542	648	751

Часть седьмая

За кулисами (1863—1864)	547		751
-----------------------------------	-----	--	-----

Часть восьмая

Mœurs russes. Les fleurs doubles et les fleurs de Minerve	548		751
Русские нравы. Махровые цветы и цветы Минервы (перевод)	554		

АВТОРСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

R. Owen	563	650	751
В а р и а н т ы		591	759
Принятые сокращения		593	
К о м м е н т а р и и		651	
Обзор русских и иностранных отзывов о «Былом и думах»		760	
У к а з а т е л ь и м е н		768	
С п и с о к и л л ю с т р а ц и й		805	



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, Б. П. КОЗЬМИН (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, Ю. Г. ОКСМАН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМИРНОВА, Е. В. ТАРЛЕ,
Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ.

Текст и текстологические примечания подготовил С. С. Борцовский при участии Л. Р. Ланского (французские тексты) и М. А. Соколовой.

Комментарии составили: И. М. Белянская, К. П. Богаевская, И. И. Зильберфарб, С. Б. Кан, Л. Р. Ланский, И. Н. Орлик, А. А. Сабуров, Н. Ю. Твердохлебов, М. И. Хейфец, З. М. Цыпкина, Е. Б. Черняк, Я. Е. Эльсберг, Н. Д. Эфрос.

«Mœurs russes. Les fleurs doubles et les fleurs de Minerve» перевел Л. Р. Ланский, письма Э. Кёрдерау (ч. VI, гл. III) и аббата Ру (ч. VI, гл. IV) перевела З. Н. Липовецкая; редакция М. Н. Черевич. Лингвистическая редакция французских текстов З. Н. Липовецкой. Переводы иноязычных текстов редактировали Е. А. Гунст (франц.), Н. Г. Елина (итал.), Б. И. Колесников (англ.), О. Н. Михеева (нем.), Ф. А. Петровский (лат.).

Указатель имен составила М. Я. Бессмертная

Редактор тома Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

Редакторы издательства А. И. Нормангин и М. Б. Покровская
Переплет и титул художника А. Н. Радищева
Технический редактор Е. В. Зеленкова
Корректор В. К. Гарди

РИСО АН СССР № 9-10В. Сдано в набор 3/Х 1956 г.
Подписано в печать 20/II 1957 г. Формат бум. 60×92 $\frac{1}{2}$.

Печ. л. 50,5. Уч.-изд. л. 48,4+вкл. 0,4 (48,8).

Тираж 23000. Издат. № 2086. Тип. заказ 892.

Цена ~~15 р.~~ 4-00

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-64, Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 10

